

Ирина  
Одоевцева

*Ирина Одоевцева*

**ДОСТОЯНИЕ РОССИИ**

# Ирина Одоевцева

ИЗБРАННОЕ



Москва «Согласие» 1998

# Ирина Одоевцева

ИЗБРАННОЕ



*Стихотворения*



*На берегах Невы*



*На берегах Сены*



Москва «Согласие» 1998

УДК 882  
ББК 84(2Рос=Рус)6  
О-44

Руководитель программы «Согласие»

*В.В.Михальский*

Вступительная статья,  
составление, подготовка текста

*Е.В.Витковского*

Послесловие

*А.П.Колоницкой*

Редактор

*В.П.Кочетов*

Художник

*С.А.Стулов*

ISBN 5-86884-061-5

© АО «Согласие», 1998

© А.П.Колоницкая, 1998

© Е.В.Витковский. Вступительная статья,  
составление, подготовка текста, 1998

© С.А.Стулов. Оформление, 1998

## «МНЕ НРАВЯТСЯ НЕПРАВИЛЬНОСТИ РЕЧИ...»

...я часто вспоминаю мелочи о Гумилеве... когда мы шли с ним от Оцупа, он впервые прочитал мне про Одоевцеву, женщину с рыжими волосами: «Это было, это было в той стране».

*Корней Чуковский. Дневник 1927 г.*

Об Ирине Одоевцевой, о ее стихах в разное время кто только не писал! Писали Троцкий и Чуковский, Блок и Гумилев, Адамович и Эренбург, Ходасевич и Евтушенко, Ахматова и Надежда Мандельштам, Набоков и Цветаева. Можно несколько страниц одними знаменитыми фамилиями заполнить; уже этим заслужила Ирина Одоевцева право писать об этих людях сама. Мемуарные книги «На берегах Невы» и «На берегах Сены», созданные Одоевцевой в шестидесятые и семидесятые годы, принесли ей заслуженную славу: сперва они были изданы эмигрантскими двухтысячными тиражами, позднее — советскими тиражами в сотни тысяч экземпляров. Одоевцева диктовала и третью книгу — «На берегах Леты». Закончить не успела. Впрочем, для обретения славы ей с лихвой хватило и этих двух книг.

Но зато уж и доставалось Одоевцевой от современников и современниц! Упрекали ее прежде всего в недостоверности. «Совершенно не веришь стенографической, на многие десятки страниц, передаче высказываний полувековой давности. А цитаты из поэтов почти все перевернуты! Если Одоевцева их не запомнила — как она могла запомнить разговоры?»<sup>1</sup> — возмущался в Германии старший современник Одоевцевой, поэт Дмитрий Кленовский, не сообразив, что разговоры полувековой давности старческая память подчас хранит лучше, чем стихи, — уж их-то проще простого цитировать без ошибок, знай переписывай. Ошибок в воспоминаниях Одоевцевой и вправду много, только вот *ошибки* ли это?

Скорее — *описки*. К примеру, пишет Одоевцева: за столом среди прочих сидел сын Андреева, Игорь Леонидович. Но

<sup>1</sup> Странник. Переписка с Кленовским. Париж, 1981. С.216.

Игорем звали не сына Леонида Андреева, а его племянника, к тому же умершего в 1912 году; так кто же сидел за столом в Париже? Вадим Андреев жил в Женеве, имел советский паспорт и с кругом Одоевцевой не общался; Савва Андреев жил в Аргентине. Методом исключения получаем, что за столом мог сидеть лишь Валентин Леонидович Андреев, некогда танцор, позднее — рисовальщик и переводчик, оставивший воспоминания об отце. Или пишет Одоевцева, что в 1957 году Георгий Иванов якобы выдвигался какими-то американцами на Нобелевскую премию, а вот получил ее Роже Мартен дю Гар. Литературоведы возмущаются: все у старухи в голове перепуталось, ведь Мартен дю Гар получил эту премию в 1937 году! Действительно, в 1957 году Нобелевскую премию получил «другой француз» — Альбер Камю: что, серьезная ошибка?..

Ничего бы не стоило эти ошибки выловить в тексте, — я насчитал их почти полсотни, — исправить в новой публикации или хотя бы откомментировать. Но законы жанра противятся. Мемуары — не документ, а явление художественной литературы. В стихах Одоевцевой несколько раз возникает странный образ: портрет в зеркальной раме. Человек, рассматривающий такой портрет, неизбежно будет видеть также и себя. Одоевцева, глядя в прошлое, отнюдь не стремилась к точности, ее воспоминания — не «один из столь модных ныне “человеческих документов” <...> необходимо подчеркнуть, что <...> книга слишком искусственна и искусна для того, чтобы ее отнести к этому убогому роду литературы»<sup>1</sup> — слова, сказанные Ходасевичем о «Распаде атома» Георгия Иванова, приложимы к «На берегах Невы» и «На берегах Сены» почти в полной мере, нужно лишь вернуть слову «искусственный» его первичное значение («с искусством сделанный»<sup>2</sup>), в котором оно отнюдь не является синонимом слова «неестественный».

Тридцать семь лет провели бок о бок муж и жена — Георгий Иванов и Ирина Одоевцева, и многим читателям книги Одоевцевой кажутся не то продолжением, не то даже «версией» «Петербургских зим» и «Китайских теней». Это относится не только к рядовому читателю, так полагают и серьезные ученые. Комментируя первое в СССР, изуеченное цензурой издание «Петербургских зим», Н.А.Богомолов писал: «Нами лишь в очень незначительной степени учитывались параллельные мес-

<sup>1</sup> Ходасевич Владислав. Собр. соч.: В 4 т. М.: Согласие, 1996—1997. Т.2. С.416.

<sup>2</sup> Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Русский язык, 1989. Т.2. С.52.

та из мемуаров И.В.Одоевцевой “На берегах Невы” <...>, т.к. проверка показала, что мемуаристка часто пользовалась материалом “Петербургских зим” и газетных очерков Иванова»<sup>1</sup>.

Никто и не сомневается, что пользовалась. И Берберова, создавая «Курсив мой», воспоминаниями Ходасевича тоже пользовалась. Люди, живущие вместе, неизбежно накапливают общие воспоминания и сами порой не могут вспомнить — «его» это рассказ или «ее». И нет никаких правил, по которым подобные «пары» людей могли бы и были обязаны писать воспоминания. В стихах Одоевцевой тоже полным-полно скрытых и явных цитат из Георгия Иванова, который и сам был великим «цитатным поэтом», как назвал его Владимир Марков, — и цитаты эти в стихах нередко восходят к *прозе* Иванова. В стихотворении «Я всегда была такой...», датированном 1975 годом, Одоевцева пишет: «Дай дожить мне до ста лет / И прибавь еще кусочек / Вечности!» Этот «кусочек вечности» — из рецензии Георгия Иванова на сборник Бориса Поплавского «Флаги», опубликованной в 1931 году в «Числах»<sup>2</sup>, — но также, судя по всему, и расхожее, постоянное выражение в семье Ивановых. Кто первым произнес его: Иванов, Одоевцева, а то и вовсе кто-то другой?

Мемуарные книги Иванова и Одоевцевой взаимозависимы, но и взаиморазличны — не меньше, чем их поэтическое творчество. Может, это станет яснее теперь, когда в нашем издании впервые полностью воспроизводятся стихотворения Ирины Одоевцевой, по меньшей мере в течение последнего десятилетия воспринимавшиеся российским читателем как нечто совершенно несущественное в сравнении с ее мемуарными книгами. Легенда об отсутствии у Ирины Одоевцевой поэтического дара имеет, видимо, единственный источник. К сожалению, это было мнение Анны Ахматовой. Л.К.Чуковская записала слова Ахматовой, сказанные ею 3 января 1957 года: «Придуманно, будто я отсутствую в лирике Гумилева, будто он меня никогда не любил! <...> Я думаю, все это идет от Одоевцевой, которую Николай Степанович (Гумилев. — Е.В.) во что бы то ни стало хотел сделать поэтом, уговаривал не подражать мне, и она, бедняжка, писала про какое-то толченое стекло, не имея ни на грош поэтического дара»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> См.: Иванов Георгий. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. М.: Книга, 1989. С.541.

<sup>2</sup> См.: Иванов Георгий. Собр. соч.: В 3 т. М.: Согласие, 1994. Т.3. С.534.

<sup>3</sup> Чуковская Лидия. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М.: Согласие, 1997. Т.2: 1952—1962. С.235.



Учитывая высочайшую степень достоверности записей Л.К. Чуковской, можно не сомневаться, что вот так прямо и сказала Ахматова об Одоевцевой: *«не имея ни на грош поэтического дара»*. Увы, великая поэтесса Анна Ахматова начисто теряла объективность, когда упоминалось имя Ирины Одоевцевой, которую Николай Степанович Гумилев посмел любить после того, как она, Анна Ахматова, его бросила и ушла к Шилейко. Впрочем, не нам Ахматову судить, да и кто в подобной «семейной ситуации» сумел бы сохранить объективность?

Сохранила объективность, к счастью, Ирина Одоевцева: у нее перед Ахматовой было лишь преклонение, и тому есть любопытное доказательство — притом лежит оно не в мемуарной, а в поэтической части ее наследия. Кто не помнит ахматовскую строфу из первой части «Поэмы без героя»:

Но мне страшно: войду сама я,  
Кружевную шаль не снимая,  
Улыбнусь всем и замолчу.  
С той, какую была когда-то,  
В ожерелье из черных агатов,  
До долины Иосафата  
Снова встретиться не хочу...

В последнем, насколько мне известно, уже ни в какие сборники не вошедшем стихотворении «Во время обедни» Одоевцева тоже написала о самой себе размером и строфами «Поэмы без героя». Поскольку стихотворение «не вошедшее» — опубликовано оно лишь в 1986 году в филаделфийском ежегоднике «Встречи», накануне переезда Одоевцевой в СССР, — его нужно процитировать целиком:

Завтра праздник первопрестольный.  
Мысли мечутся. Сердцу больно.  
Тяжело и трудно дышать.  
До чего я собой недовольна —  
Хоть бы сброситься с колокольни,  
Чтобы только другою стать!

Ясно вижу свои недостатки —  
Я челнок без руля и весла,  
Я с собою играю в прятки,

Оттого-то я так весела  
И так много делаю зла,  
Я хотела бы, если могла,  
Убежать от себя без оглядки!

Лучезарно сияет дорога,  
Уводящая в рай голубой.  
 Попрошу-ка у Господа Бога,  
Чтоб Он сделал меня другой  
И чтоб я не встречалась с собой —  
Той, веселой и злой,  
Никогда.

Под стихотворением дата — 16 февраля 1977 года. Последний сборник стихотворений вышел у Одоевцевой годом раньше. Меньше чем через три месяца после публикации, 11 апреля 1987 года, лучезарно просиявшая дорога увела Ирину Одоевцеву не в рай голубой, а в СССР, в Ленинград, где ее действительно ждала слава. Третья слава в ее жизни, если первой считать начало двадцатых годов, когда даже Блок занес в записную книжку отдельной строкой — «Одоевцева»<sup>1</sup>, а Троицкий удостоил хамоватой похвалы в статье; вторую славу принесли в эмиграции книги «На берегах Невы» и «На берегах Сены»; третью Одоевцева увидела в СССР, в годы «перестройки», после того как в 1988 и в 1989 годах, одна за другой, вышли в Москве отдельными изданиями «На берегах Невы» тиражом в 250 тысяч экземпляров и «На берегах Сены» тиражом в 500 тысяч экземпляров; к книге «На берегах Невы» была приложена подборка в девять стихотворений, предваренная словами: «Не сомневаемся, что в скором времени советский читатель сможет в полном объеме познакомиться с поэзией Ирины Одоевцевой...»

Все оказалось не так. Лишь теперь читатель имеет возможность познакомиться со всеми стихотворениями Одоевцевой, включенными ею в авторские сборники, — почти столько же осталось расплыто по периодике и коллективным сборникам, — но тому, что читатель получает сейчас не «полное собрание стихотворений», а лишь текст авторских книг, есть особая причина, заложенная в самой сути поэзии Одоевцевой.

Дело в том, что за почти шестьдесят лет писания стихов

---

<sup>1</sup> Блок Александр. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1960—1963. Т.7. С.371.

(самое раннее из нам известных она датировала 1918 годом, самое позднее, процитированное выше, — 1977-м) Одоевцева перedelывала текст одного и того же произведения по пять и по десять раз, в печать попали многие варианты, и даже решить: одно перед нами стихотворение или это две (порой больше) различные разработки единой темы, — непросто, а то и невозможно. Пользуясь лично (и письменно) выданным мне Ириной Одоевцевой разрешением на составление ее «итоговой» поэтической книги, я положился на следующий принцип: стихотворение дается в редакции самого позднего сборника, а в тех случаях, когда переработка текста превышает пятьдесят процентов от общего объема, — сохраняются обе редакции.

Стоит сравнить тексты стихотворений «Довольно вздор нести / Про Терек и Дарьял...» из сборника «Одиночество» (1965) и «Антитеза» («Довольно вздор нести / Про ту страну, куда Макар...») из сборника «Златая цепь» (1975). Второе стихотворение посвящено нетривиальной теме, давшей название этому предисловию. Дело в том, что именно эмиграция «первой волны» ратовала за сохранение русской речи в раз и навсегда законсервированной форме, над чем издевалась еще Тэффи, от лица анонимного ревнителя требуя говорить не «идти за вином» — а лишь «идти по вино», и никак иначе.

Язык мой ангельски неточен,  
Мне нравятся созвучья лиро-лирные,  
Барокко-рококо-ампирные... —

признавалась Одоевцева в первом варианте, а во втором развернула образ еще более ужасный для эмигрантского слуха:

Язык мой ангельски неточен,  
Акробатичен и порочен,  
Я сознаюсь в том без труда.  
Мне нравятся созвучья лиро-лирные,  
Барокко-рококо-ампирные...

Между тем в довоенные годы подобную гротескиаду просто не пропустили бы в респектабельную эмигрантскую печать, а того, кто отважился на подобное в собственной книге, объявили бы душевнобольным — именно так сделали с выдающимся сюрреалистом Борисом Божневым. Права гово-

рить «на птичьем языке» эмиграция не давала. Но Одоевцева взяла да и заговорила. Точнее, на таком сюрреалистическом языке сначала заговорил Георгий Иванов: из таких стихотворений сложен раздел «Rayon de gauponne» в двух его последних сборниках. «Даже рыбе в речке тесно, / Даже ей нужна беда...» — рыбе, как выясняется по Иванову, нужно, чтобы ее с нежностью зажарили. Впрочем, едва ли не та же самая рыбка плеснула хвостом в стихотворении Одоевцевой «Я всегда была такой...» — именно у нее поэтесса попросила возможности дожить до ста лет (с прибавлением все того же «кусочка вечности»). Темы Иванова неизбежно продолжают звучать у Одоевцевой, но после своей смерти Иванов сам превращается в одну из ее тем: более десятка стихотворений в 1958–1975 годах пишет Одоевцева непосредственно о своем покойном муже и друге — «Ты говорил — на вечную разлуку...», «Я не могу простить себе...» и др., — не считая прямых продолжений в разработках тем Георгия Иванова; у него было — «Где-то рыжие верблюды / На оранжевом песке / Опасаются простуды, / Напевая бре-ке-ке», а у Одоевцевой больше чем через два десятилетия выяснилось наконец-то, в чем главная беда: «...Во всем виноват верблюд. / Отдать верблюда под суд!»

Советский журналист А. Сабов, собственно говоря, и угоривший Одоевцеву переехать в СССР (рука не в силах написать — «вернуться»: какое такое «возвращение» через шестьдесят пять лет?), будто бы сказал Одоевцевой: «Трудно сыскать двух таких разных по мироощущению поэтов (да еще живущих под одной крышей), как вы с Георгием Владимировичем»<sup>1</sup>. Журналист честно сообщил в этой фразе, что уж по меньшей мере одного кого-то из четы Ивановых он не читал вовсе. Тому, кто внимательно сравнит поздние стихи Иванова с поздними же стихами Одоевцевой, будет ясно видно: как раз мироощущение у этих поэтов было гармонично-общим, общими были и темы и во многом — поэтические средства, «мастерская». Ощущение такое, словно прозвучал камертон и задал двум по разному устроенным музыкальным инструментам единую ноту, — и нота эта была никак не «парижская» — во Франции был свой собственный сюрреализм «от отчаяния» — Одарченко, Божнев, Ильязд. Нота эта, прямо указанная у Одоевцевой, пришла строкой застрелившегося в 1906 году на площади Трокадеро русского поэта Виктора Полякова —

---

<sup>1</sup> Сабов А. Снова на берегах Невы // Одоевцева Ирина. На берегах Невы. М.: Худож. лит., 1988. С.319.

«Мы — последние поэты...» От того столь гармонично ложатся в книги Одоевцевой стихотворения-послания к немногим в эмиграции друзьям-поэтам — Георгию Адамовичу, Юрию Терапиано, Игорю Чиннову. Ближе всех к Одоевцевой последний, к нему обращено самое программное ее стихотворение, поэтическое кредо поэтессы — «Открытка — море и скала...» Разворачивая бодлеровскую метафору «проклятого поэта» — альбатроса, метафору ослепительно красивую, но нигилистическую и уж наверняка атеистическую, в иную плоскость, глубоко христианскую, Одоевцева остается в пределах орнитологического образного ряда:

И я подумала:  
Бодлер не прав,  
Поэт не альбатрос, а пеликан —  
Ведь отрывает он от сердца своего  
Куски, сочащиеся кровью,  
Звенящие живою болью,  
И превращает их в стихи,  
Кормя свои стихи собою,  
Как кормит пеликан своих птенцов  
Своею плотью.

Напоминаю, что пеликан в христианской традиции — один из образов Христа, питающего и причащающего своих птенцов-детей собственной кровью и плотью. Так и остаются для нас в благодарной памяти сердца сидящие рядком на скале поэты-пеликаны: Ирина Одоевцева, Игорь Чиннов, — а рядом с ними — просто пеликан. Не поэт, а птица. Разница небольшая.

Ахматова всю жизнь методично и едва ли не ежедневно ругала, ругала, ругала Георгия Иванова и Ирину Одоевцеву, во-первых, за злоязычность, которую в «свободном мире» никто не хочет одернуть, во-вторых, понятно, за бездарность. Ахматовское устное слово было сильнее любого печатного, ибо было оно ахматовское. А тут еще такой удобный случай: решительно вся любовная лирика Георгия Иванова в эмиграции обращена к Ирине Одоевцевой. Стихи Иванова доходили до Москвы и Ленинграда, циркулировали как в самиздате, так и в тамиздате, то есть в виде подлинных, неведомо как провезенных в СССР книг. Попадали они и в руки Ахматовой, тому есть надежнейшее свидетельство. Л.К. Чуковская 11 декабря 1960 года записала:

«Показала мне томик стихов Георгия Иванова с предисловием Гуля. Утверждается, будто Георгий Иванов — князь во поэтах, из него выработался великий поэт и пр.

Анна Андреевна испытующе на меня взглянула, взяла с тумбочки какую-то книжку, важно надела очки — а мне велела читать про себя Иванова и потом высказаться.

<...> Миную Гуля, я принялась читать стихи Иванова.

Нет, не выработался. Нет, бледно. Нет, ритмы, интонации — чужие. Нет.

Я доложила Анне Андреевне свое впечатление. Она нашла меня слишком снисходительной.

— Не бледные и чужие, а пренеприятные и ничтожные, — сказала она. — Очень неприятные. Вот, например, это.

Она прочитала с издевкой одно любовное стихотворение.

— Это — Одоевцевой. Еще “пупочкой” ее назвал бы. Не только никакого величия — никакого вкуса. Гуль выводит Иванова из Анненского.

Я удивилась: Анненского и ноты нет.

— Да, да, не больше и не меньше, из Анненского. Это наспех сколоченная родословная, знаете, как раньше покупали на Апраксином рынке»<sup>1</sup>.

Стихотворение, которое «с издевкой» (можно себе представить) продекламировала Ахматова, опознается без труда:

Отзовись, кукушечка, яблочко, змееныш,  
Весточка, царпинка, снежинка, ручеек.  
Нежности последыш, нелепости приемыш,  
Кофе-чай-сахарный потерянный паек...<sup>2</sup>

А это, вопреки отвращению Ахматовой, вопреки ее ненависти к женщине, посмевающей занять в сердце Гумилева ЕЕ место, — стихотворение это — жемчужина русской любовной лирики, жемчужина черная и неправильной формы — такие ценятся выше обычных и назывались в старину португальским словом «барокко». Если б поверить в то, что просто Анна Андреевна была невосприимчива к барокко...

Стихи Одоевцевой стоило бы прочесть уже за одно то, что ее любил Георгий Иванов. Но хочется думать, что их и без этого необходимо прочесть: оригинальная, никем не повторенная поэтесса, замкнутый микрокосм отчаяния, озаренный (в от-

<sup>1</sup> Чуковская Лидия. Записки об Анне Ахматовой. Т.2. С.449—450.

<sup>2</sup> Иванов Георгий. Собр. соч. Т.1. С.441.

личие от поэзии Георгия Иванова) возможным светом надежды на еще что-то хорошее в будущем, незаурядный версификационный дар и многое другое — все это обеспечивает Ирине Одоевцевой высокое место в пантеоне русской поэзии XX века.

Мемуарные книги Одоевцевой замечательны. Но если Нина Берберова с ее «Курсивом» существует в истории русской литературы вполне независимо от остального ее творчества (особенно — от стихов, которым она и сама большого значения не придавала), то воспринимать «На берегах Невы» и «На берегах Сены», не прочтя и не прочувствовав стихи Одоевцевой, означает впасть в грех поиска облегченного чтения.

Тем не менее *славу* Одоевцевой принесли все-таки книги воспоминаний, и приходится возвратиться к биографии автора — к самому ее началу. И тут мы немедленно попадаем в область мифологии.

Потому что звали писательницу от рождения иначе: Ираида Густавовна Гейнике, по первому мужу — Попова-Одоевцева (точность этой фамилии не проверена), по второму — Иванова, по третьему — Горбова. Но когда весной 1987 года писательница переехала в СССР, в документах ее литературный псевдоним стал зафиксированным именем: Ирина Владимировна Одоевцева. И дата и место рождения были в документах такие: «27 июля 1895 года, Рига».

В общепринятой датировке никто месяц и день рождения Одоевцевой не оспаривает, да и родилась она определенно в Риге. Но в довоенных анкетах год рождения фигурировал иной — 1901-й, да и в посвященном Георгию Адамовичу стихотворении от 1958 года есть у Одоевцевой строки, описывающие 1919 или 1920 год в Петрограде:

Дом Искусств. Литераторов Дом.  
Девятнадцать жасминовых лет,  
Гордость студии Гумилева,  
Николая Степановича...

Последнее время махнувшие на эту загадку рукой литературоведы пишут при обозначении года рождения Одоевцевой — «1895 или 1901». Нина Берберова в книге «Курсив мой» вплоть до последнего прижизненного издания указывала дату рождения Одоевцевой «среднюю» — 1897-й, а недавно в чет-

вертом томе Собрания сочинений Владислава Ходасевича (в комментариях) Н.А. Богомолов написал об Одоевцевой: «род. в 1903 г.»<sup>1</sup>. То есть перед нами уже четвертая печатно зафиксированная версия даты рождения Одоевцевой, и одна ничем не лучше другой: по разным причинам люди (особенно женщины) иной раз указывают свой год рождения «не совсем точно». В разные годы менялись даты рождения у многих русских поэтов — у Тэффи, у Ольги Чюминой, у Михаила Кузмина, у Николая Клюева, у Георгия Адамовича, у Михаила Зенкевича и др. Никакой закономерности тут нет. Возможно, в послевоенные годы при определении в дом для престарелых требовалось доказать, что Одоевцева уже достигла какого-то нужного возраста. Могут быть и другие причины. Архивы в Латвии для российского исследователя недоступнее американских, да и плохо сохранились. Полагаю, рано или поздно подлинная дата рождения Ираиды Гейнике всплывет. Особого значения для понимания ее творчества эта дата не имеет, важнее другое: Ираида Гейнике появилась в городе на Неве уже после переворота 1917 года, когда город этот назывался *Петроград*: здесь важно именно название, ибо оно очерчивает конкретную эпоху как нельзя более точно.

В совсем недавно изданных «Записных книжках» Анны Ахматовой за 1958—1966 годы содержится много злых выпадов против Одоевцевой (а также Георгия Иванова, Оцупа и других членов «Цеха поэтов», которых в литературоведении иной раз без размышления именуют «младшими акмеистами»). Ахматова заносит в книжку: «Ни Одоевцева, ни Оцуп Петербурга и не нюхали. Они появились в 19 г., когда все превратилось в свою противоположность и, во-первых, все уехали. Если Од<оевцева> и Оц<уп> дожили до начала нэп'а — это не меняет дела. Нэп был дьявольской карикатурой на 10-ые годы»<sup>2</sup>.

«Во-вторых» в тексте нет, но нет смысла придирается к стилю: текст не предназначался для печати. Тем он ценнее: Ахматова указывает на принципиальное отличие *петербургского* серебряного века до начала войны в 1914 году, самое большее — до переломного 1917 года, от *петроградского* периода, который (Ахматова права) во многом напоминает нам своим буйным цветением что-то вроде пира во время чумы.

<sup>1</sup> Ходасевич Владислав. Собр. соч. Т.4. С.579.

<sup>2</sup> Записные книжки Анны Ахматовой: (1958—1966). Москва; Турин: Эйнауди, 1996. С.264.



Тут — принципиальное отличие мемуарных книг Георгия Иванова и Ирины Одоевцевой. Он был свидетелем обеих эпох, она — лишь второй. Причины тому, что называется, «календарные». Однако Ахматова, отрицая петроградский период, не могла отрицать того факта, что он все-таки *был*. Л.К.Чуковская в апреле 1958 года записала со слов Ахматовой: «Оказывается, Одоевцева напечатала где-то в Париже, будто Николай Степанович относился к стихам Анны Андреевны как к рукоделю жены поэта <...> У него роман с Одоевцевой был в начале двадцатых, он тогда был сильно уязвлен нашим разводом. Кроме того, она из него кое-что по-женски выдрознила»<sup>1</sup>.

Впрочем, Л.К.Чуковская тут же помещает комментарий: «У меня ошибка. Как я поняла теперь, говорила тогда А.А. не про мемуары самой Одоевцевой “На берегах Невы” (которые начали появляться позднее), а про воспоминания ее мужа Георгия Иванова “Петербургские зимы” (Париж, 1928 и Нью-Йорк, 1953) — про воспоминания, написанные, как полагала А.А., со слов Одоевцевой»<sup>2</sup>.

Первые фрагменты книги «На берегах Невы» появились лишь в 1962 году в альманахе «Мосты» (№9) и в «Новом журнале» (№68).

Попробуем по независимым источникам восстановить хронологию тех дней, с описания которых начинается книга.

15 ноября 1918 года состоялось открытие Института живого слова. Записалось более четырехсот человек. Первое собрание слушателей — 19 ноября. Первая лекция Гумилева по курсу «Теория поэзии» — 28 ноября. Лекция эта Одоевцевой описана в книге «На берегах Невы».

Февраль 1919 года: Одоевцева в первый раз принесла Гумилеву стихи.

Примерно год можно пропустить: свидетельства Одоевцевой об этом времени достовернее всех иных, а их читатель найдет в нашей книге.

30 апреля 1920 года у Гумилева имел место прием по случаю приезда из Москвы Андрея Белого. Гумилев представлял Белому членов своего очередного «Цеха»: И.Одоевцеву, В.Рождественского, Н.Оцупа. «Пришедший позже Г.Иванов особое внимание обратил на “Балладу о толченом стекле”

<sup>1</sup> Чуковская Лидия. Записки об Анне Ахматовой. Т.2. С.304.

<sup>2</sup> Там же. С.706.

И. Одоевцевой, и с этого дня она стала известна в литературных кругах Петрограда»<sup>1</sup>.

3 мая 1920 года Гумилев с Одоевцевой присутствовали на лекции Чуковского о творчестве Авдотьи Панаевой. Именно Чуковскому посвятила Одоевцева «Балладу о толченом стекле», хотя посвящение, видимо, было проставлено позже — при подготовке к печати первого сборника Одоевцевой «Двор чудес». Интересно, что в поздней перепечатке Одоевцева под «Балладой» проставила дату — 1919, хотя на титульном листе сборника под словом «Стихи» обозначено: «1920—1921». Но это как раз согласуется с рассказом Одоевцевой о том, что «Баллада» довольно долго валялась у Гумилева в папке, прежде чем была «обнародована» на встрече с Андреем Белым.

3 августа 1920 года Гумилев представил Одоевцеву на ее первом публичном выступлении на литературном утреннике Дома литераторов<sup>2</sup>.

28 ноября 1920 года Корней Чуковский заносит в дневник: «Вечером лекция о Достоевском. Нас снимали при магнии. Слушателей было множество. Была, между проч., Ирина Одоевцева, с к-рой — в “Дом Искусств” и обратно»<sup>3</sup>.

Тот же Чуковский сорок пять лет спустя заносит в дневник: «Вчера была милая Столярова <...> Она видела в Париже старых эмигрантов: вымирающее племя — 30 инвалидов из богадельни — в том числе Г. Адамович, Одоевцева»<sup>4</sup>.

Удивительное дело: младшие, но эмигрировавшие современники всегда казались оставшимся здесь дряхлыми стариками...

Но вернемся в 1920—1921 годы, к «Звучащей раковине», ко «Второму Цеху поэтов», которые возглавлял Гумилев, к книгам тех лет.

В 1961 году Ахматова с горечью занесла в записную книжку: «В “Дракон” и альманахи Цеха поэтов я даже не была приглашена»<sup>5</sup>.

Еще бы! В петроградском альманахе «Дракон» (1921, на титуле местом издания обозначен *Петербург* — но, увы, таков был самообман жителей города *Петрограда*) Гумилев опубли-

<sup>1</sup> Степанов Е. Николай Гумилев: Хроника // Гумилев Николай. Соч. : В 3 т. М.: Худож. лит., 1991. Т.3. С.416.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Чуковский К. Дневник 1901—1929. М.: Сов. писатель, 1991. С.149.

<sup>4</sup> Чуковский К. Дневник 1930—1969. М.: Сов. писатель, 1994. С.379.

<sup>5</sup> Записные книжки Анны Ахматовой: (1958—1966). С.147.

ковал чуть ли не главные свои стихотворения — «Слово» и «Лес» — и на втором прямо проставил посвящение — «Ирине Одоевцевой»<sup>1</sup>. Друзья даже упрекали его: нехорошо так уж впрямую описывать в стихах внешность любимой женщины да еще называть ее по имени-фамилии — все-таки ты человек женатый. В дальнейшем посвящение с «Леса» исчезло, но написан он был летом 1919 года и обращен именно к Одоевцевой, о чем есть запись в дневнике Чуковского, взятая эпиграфом к этому предисловию.

А в «Дракон» были приглашены три акмеиста (Гумилев, Мандельштам, Зенкевич), символисты — Сологуб, Блок, Белый, был приглашен Кузмин, участники «Цеха» — и среди них Ирина Одоевцева с «Балладой о Роберте Пенгегью». И Маргарита Тумповская в «Дракон» попала. А Ахматову не пригласили. Даже менее самолюбивый человек обиделся бы. Ахматова обиделась не просто так, а на всю жизнь и во всю ахматовскую мощь.

Между тем как раз во времена «Дракона», весной-летом 1920 года, состоялось знакомство Георгия Иванова с Ириной Одоевцевой, в августе 1921 года Гумилев был расстрелян, а 10 сентября того же года Иванов и Одоевцева, говоря по-советски, «расписались». Впрочем, в декабре 1921 года, датируя окончательный состав своего второго итогового сборника «Вереск», Георгий Иванов посвятил эту книгу — в ней нет стихотворений, написанных после 1918 года, — первой жене, Габриэль Тернизьен. А вот третий свой сборник — «Сады» — он посвятил уже Ирине Одоевцевой.

Первый год супружеской жизни четы Ивановых прошел в советской России: Георгий Иванов с бешеной скоростью переводил для «Всемирной литературы» Байрона, Кольриджа, Вольтера; попал однажды по пустяковому делу в облаву, просидел больше месяца в ЧК, но, слава Богу, выпустили. Одоевцева с трудом доказала («оптировала», как тогда говорили) право на латвийское подданство. Оба писали стихи, оба решили при первой же возможности из этой страны уехать. В конце сентября 1922 года Георгий Иванов покидает страну — навсегда. Чуть позже уезжает Одоевцева — чтобы вернуться в Летний сад весной 1987 года.

В конце августа 1988 года я приехал в Переделкино, где в то время жила Одоевцева, согласившаяся уделить мне послеобе-

---

<sup>1</sup> Дракон: Альманах стихов. 1921. Вып. 1. С. 7.

денные часы для беседы: я тогда готовил большой однотомник Георгия Иванова для издательства «Советский писатель» (забегая вперед, скажу, что однотомник издан не был, и слава Богу: вышел в 1994 году трехтомник в издательстве «Согласие», где никакая советская цензура на меня уже не давила). Зашла речь и об издании отдельного сборника стихотворений Одоевцевой, на его составление Ирина Владимировна даже написала мне доверенность — храню и поныне, — и поэтический раздел в настоящем томе представляет собою как раз исполнение желания поэтессы, в этой доверенности высказанного. Потом Одоевцева стала отвечать на мои вопросы, связанные с Георгием Ивановым, с жизнью русского литературного Парижа в целом. Магнитофон попросила не включать: «Как запомните, так запишете — так ведь лучше, правда?..»

А вопросы мои были мелкие, как теперь понимаю — скучные. «В.» в первой главе “Петербургских зим” — это Иван Вольнов? Так мой соавтор, Георгий Мосешвили, предположил». — «Вольнов? Сектант? Вероятнее всего... Даже наверняка он. Пойдите, даже наверняка Вольнов, Георгий (Иванов. — *Е.В.*) про него еще рассказывал...» — «Ваш “Двор чудес” посвящен Сергею Попову-Одоевцеву...» — «А, про это я люблю рассказывать. Отец меня не отпускал в Петроград, если я не выйду замуж. Вот я и придумала выйти замуж за двоюродного брата, он, правда, вовсе не адвокат был, как Берберова сочинила, юрист, конечно, но совсем не адвокат, и не Одоевцев, это я сама ему такую фамилию сочинила...» Тут Ирина Владимировна сделала паузу, придвинулась ко мне из инвалидного кресла и спросила тоном заговорщицы: «Скажите, ведь правда, Георгий Иванов поэт более значительный, чем Гумилев?»

Уйти от ответа было невозможно, я подумал и честно сказал, что сравнивать их нельзя из-за неравного срока жизни: если уделить Георгию Иванову лишь тридцать пять гумилевских лет — то попадем мы в 1929 год, даже «Розы» написаны меньше чем наполовину, очень не в пользу Георгия Иванова будет сравнение. А если исходить из *данности*, из оставленного каждым поэтом поэтического наследия, то, вероятно, да: Георгий Иванов для русской поэзии поэт более значительный, чем Гумилев, к тому же по сей день лучший русский сюрреалист (и что-то я еще сказал, но это уже не имеет значения). Одоевцева победно откинулась в кресле и неожиданно веско промолвила: «Вот. И я так тоже считаю. Несмотря на мученическую смерть Гумилева — все-таки Георгий».

Разговор был длинный, касался преимущественно тех самых ошибок в мемуарах, узнав о которых, она неизменно отвечала: «Ну, исправьте». Для нее мелочи и детали эпохи были живыми. Только раз смутилась: в парижском издании Ада Оношкович-Яцына была у нее поименована как «Анушкович». «Ну, я на слух ее фамилию записала. Но какая была красавица, какая красавица! Непременно найдите ее фотографию! А фамилию поправьте так, как надо. Они с Жоржем у Лозинского в студии переводами занимались — жалко, что переводы Жоржа все пропали. Он только “Кристалль” Кольриджа увез и в Берлине издал, а Байрон так весь и пропал<sup>1</sup>. Он, конечно, английского не знал, все по подстрочнику делал, но так жалко, что все это пропало! И Адамович тоже хорошо переводил. Также все пропало. Скажите, вы любите Адамовича?..»

Дальнейший, на много часов растянувшийся разговор стал очень странным — это Одоевцева расспрашивала меня, а не я ее. Она хотела знать обо всем, что тут, в СССР, происходило за шестьдесят пять лет ее отсутствия, и то, что «по календарным соображениям» я никак не мог быть свидетелем чего бы то ни было ранее пятидесятих годов, ее не смущало: я ведь был «здешний», обо всем «здешнем» знал (или должен был знать) из первых рук. Любопытство Одоевцевой было безгранично.

Но и защититься от обвинений в неточности и недобросовестности она тоже хотела. «Она пишет, что была в пижаме... Наверное! Она же лучше знает, в пижаме или не в пижаме! Но я не знала, что по городу можно ходить в пижаме! Скажите, это важно?..» (Речь шла о следующих словах Надежды Мандельштам: «В воспоминаниях Одоевцевой я прочла, будто я ходила в костюме Мандельштама и накормила гостя (Г.Иванова. — *Е.В.*) отличным обедом. Кто из них врет, я не знаю, но думаю, что Иванов застал меня в пижаме. У меня была — синяя в белую полоску. В Петербурге еще не знали пижам, и у меня там несколько раз спрашивали: “Это у вас в Москве так ходят?..” Эта пара — Иванов и Одоевцева — чудовищные вруны»<sup>2</sup>.)

<sup>1</sup> Переведенные Г.Ивановым поэмы Байрона «Мазепа» и «Корсар», а также ряд лирических стихотворений сохранились в РГАЛИ и опубликованы в Москве в 1994—1996 гг., как и поэма Томаса Мура «Огнепоклонники» в переводе Георгия Адамовича.

<sup>2</sup> Мандельштам Надежда. Вторая книга. М.: Московский рабочий, 1990. С.120—121.

Вместе с тем Одоевцева была непоколебима в своем убеждении, что другие мемуаристы тоже оклеветали их семью. «Наиболее клеветническими» из всех воспоминаний о Георгии Иванове она называла воспоминания того автора, который *обвинил* ее мужа (уже достаточно пожилого человека)... в отсутствии зубов! У Жоржа — пишет Одоевцева — до конца были прекрасные зубы!

Речь идет о Нине Берберовой. Что правда, то правда, насчет «беззубости» в книге «Курсив мой» несколько слов есть. Одоевцева, надо полагать, лучше была осведомлена о состоянии зубов собственного мужа, а Берберова просто ошиблась: врожденная шепелявость Георгия Иванова после войны усилилась ввиду прогрессирующей гипертонии (верхняя граница артериального давления заходила за 300 мм).

Спросить Одоевцеву ее же словами: «Скажите, это важно?» (насчет зубов) — у меня духу не хватило. Я с трудом объяснил ей, что меня гораздо больше волнует другое: отчего так часто в ее воспоминаниях возникает одна и та же ситуация — кого-то куда-то провожают, Цветаеву, скажем, в Москву, — и тут-то и происходит серьезный разговор. «Но так было! В эмиграции очень часто люди уезжают, друзья их провожают. И в эти минуты человек как-то раскрывается...» — «Ирина Владимировна, не отвечайте, если противно, но тут многие годы ходила легенда о том, что “Двор чудес” за вас друзья написали». Одоевцева весело смеется: «Нет, “Двор чудес” я сама писала. Мне только несколько строчек друзья подарили, но так мало, так мало!..»

Все семь поэтических сборников, представленных в этом томе, подтверждают: писать «за Одоевцеву» невозможно, ибо она ни на кого не походит и редко какому поэту удастся сохранить с годами такую внутреннюю цельность, какую сохранила она.

Ирина Владимировна согласилась с обычно применяемым мною при публикациях ненаучным принципом: порядок стихотворений дается по первому изданию книги, а текст — по последней публикации в последнем прижизненном авторском сборнике, пусть даже он содержит одни лишь избранные стихи. Исключение сделано для раздела «В те баснословные года...», никогда не выходявшего отдельно: им заканчивался сборник «Златая цепь» (1975), в нем поэтесса собрала стихи начала двадцатых годов, как попавшие в «Двор чудес», так и оставшиеся за его пределами. Вот эти последние и составляют в нашей книге раздел, следующий за сборником «Двор чудес», —

в те годы Одоевцева писала много. А потом — вот что было потом (цитирую по тексту книги «На берегах Сены»):

«Стихов я почти не писала (описывается 1926 год. — *Е.В.*). Зачем? Раз они никому здесь не нужны <...> Стихи надо писать для современников, а не для проблематических потомков. Можно ли быть уверенным, что потомки найдут, прочтут и оценят мои стихи?»

Гораздо проще перестать писать их. Я так и сделала».

На многие годы Одоевцева «переключилась на прозу». Опубликовав в 1926 году рассказ «Падучая звезда», уже годом позже она выпустила первый роман — «Ангел смерти» (Париж, 1927), в 1938 году вышедший вторым изданием, — случай такой в эмиграции принято называть успехом. В 1931 году в Берлине вышел роман «Изольда», в 1939-м, в Париже, — роман «Зеркало». Четвертый роман — «Оставь надежду навсегда» (не могу охарактеризовать его иначе как «экзотический» — это роман из советской жизни), — написанный в 1945–1946 годах, сперва вышел на французском в автопереводе, затем на английском и на испанском и лишь в 1954 году появился на русском в нью-йоркском издательстве имени Чехова. Наконец, последний, пятый роман — «Год жизни» — был опубликован в парижском журнале «Возрождение» в 1957 году (№63–68). Иначе говоря, пока был жив Георгий Иванов, Одоевцева писала романы.

Об этих романах есть даже монография русско-канадской писательницы Эллы Бобровой. Книга претендует на то, чтобы быть «литературным портретом» Ирины Одоевцевой, но содержит лишь пересказ пяти романов — почти ничего больше<sup>1</sup>. Лучшее, что можно сказать о них, кратко выразил Вадим Крейд: «Когда-то эти романы широко читались и обсуждались. <...> Потом, в шестидесятые годы, романы стали постепенно забываться и вот оказались полностью забытыми»<sup>2</sup>. Сколько ни вспоминай рецензенты и исследователи похвалу, которой удостоился первый же рассказ Одоевцевой, — хвалил все-таки сам Бунин! — сколько ни переиздавай нынешние русские журналы романы Одоевцевой (а есть и это) — к шедеврам русской прозы их отнести трудно. «Любовная история, поданная в остросюжетном обрамлении, кажется до предела насыщенной сценами соперничества, коварства, измены,

<sup>1</sup> Боброва Элла. Ирина Одоевцева: Поэт, прозаик, мемуарист: Литературный портрет. М.: Наследие, 1995.

<sup>2</sup> Новый журнал. 1995. №201. С.305.

ревности, душевных мук, раскаяния, разочарования, утрат»<sup>1</sup> — увы, Одоевцева-романистка не идет ни в какое сравнение ни с Одоевцевой-поэтом, ни с Одоевцевой-мемуаристом.

Переключившись в середине двадцатых годов на писание романов, Одоевцева, к счастью, окончательно поэзию не забросила: время от времени одно-два ее стихотворения мелькали то в «Современных записках», то в «Числах», то в первой антологии поэзии русской эмиграции «Якорь» (Берлин, 1935): там она проходила в одном разделе с «ветеранами» — с Мережковским и Вячеславом Ивановым, как приобретшая известность еще до отъезда из России. Из стихотворений, написанных больше чем за четверть века, сложился первый поэтический сборник Одоевцевой, выпущенный в эмиграции, — «Контрапункт» (Париж: Рифма, 1950): книга эта была совершенно не похожа на «Двор чудес», в ней (и только в ней) Одоевцева с натяжкой могла бы быть причислена к поэтам пресловутой «парижской ноты». Но и натяжка получилась бы немалая, и книга эта все же много слабее последующих; качественный рывок поэзия Одоевцевой сделала в пятидесятые годы — едва ли намного позже, чем произошла такая метаморфоза с самым близким к Одоевцевой человеком, с самым близким к ней поэтом — Георгием Ивановым. В эти годы Одоевцева много и трудно болела, и цикл, вышедший отдельным изданием в 1952 году в Париже, так и был озаглавлен: «Стихи, написанные во время болезни». В этой книге Одоевцева, пожалуй, наконец-то обрела творческую зрелость. Изменились формы: появились разностопные ритмы, «ёлочка» в записи, самоповторы и автореминисценции, реминисценции из Георгия Иванова и других близких поэтов, короче говоря, все то, что дало повод Георгию Иванову считать, что у его жены открылось новое творческое дыхание. В письме к Сергею Маковскому (к которому — после смерти Рахили Чеквер — перешел частичный контроль над издательством «Рифма») Георгий Иванов писал (19 декабря 1957 года): «Спасибо за предложение издать мои стихи. По отношению ко мне оно запоздало — в Америке будут издавать мою толстую книгу. Но вот если бы вы могли издать новую книгу Одоевцевой, было бы чрезвычайно приятно. Как Вы, должно быть, заметили, ее творчество за последние два-три года сделало резкий (по-моему — ошеломляющий) скачок вверх, и эта новая книга, на

<sup>1</sup> Новый журнал. 1995. №201. С.306.



редкость цельная и оригинальная, как нельзя лучше подходит, чтобы открыть ею поэтический бал, Вами задуманный. Я лично сейчас убедился, что ее стихи сплошь и рядом выигрывают в сравнении с моими, и считаю, что ничего равного им в эмиграции (да и наверняка в России) не найти»<sup>1</sup>.

Умиравший Георгий Иванов был очень и очень озабочен человеческой и творческой судьбой Одоевцевой после его смерти: он-то знал, что умирает, и предполагал, что Одоевцева его переживет. Себя он чувствовал полностью реализовавшимся, читая же стихи Одоевцевой, понимал, что она реализовываться начала только-только. Дни в жарком и влажном городке Йер-ле-Пальме наставали страшные. Кирилл Померанцев вспоминает:

«В Париже, как и раньше, почти каждые две недели я получал письма из Йера, больше от Одоевцевой, с июня только от нее: “Пришли соленых огурцов и, если найдешь, русскую селедку. Жорж очень просит. Ему стало хуже...” Раза два послал <...>

29 августа 1958 года снова приезжаю в Йер. Вхожу в дом, спрашиваю, где комната Ивановых. Замешательство. Кто-то смущенно отворачивается, кто-то проводит и указывает на дверь. Стучу и, не дожидаясь ответа, вхожу. Вся в черном сидит Одоевцева.

— А Жорж?

— Позавчера...

На местном кладбище — чуть заметный бугорок земли, маленький, сделанный из двух веток, воткнутый в него крест»<sup>2</sup>.

27 августа Георгий Иванов умер, а в начале сентября 1958 года Одоевцева уже переселилась в дом для престарелых русских в Ганьи под Парижем: все-таки отыскались друзья, все-таки помогли. Об этих днях Одоевцева пишет в книге «На берегах Сены»: «Мне казалось, когда я въезжала в сад, окружающий Дом Ганьи, что это мое последнее траурное новоселье <...> Нет, в этот день я никак не могла предвидеть, что мне еще предстоит “вписать новую главу в книгу жизни и стихов”». Впереди были еще четыре поэтических сборника: «Десять лет» (Париж: Рифма, 1961), «Одиночество» (Вашингтон, 1965) — эту книгу Одоевцева не допустила в продажу, сочтя небрежной с точки зрения полиграфии и корректуры, — нако-

<sup>1</sup> РГАЛИ. Ф.2512. Ед.хр. 243.

<sup>2</sup> Померанцев в Кирилл. Сквозь смерть: Воспоминания. Лондон, 1986. Цит. по сб.: Дальние берега. М.: Республика, 1994. С.209.

нец, итоговые книги «Златая цепь» (Париж, 1975) и «Портрет в рифмованной раме» (Париж, 1976) — обе вышли в издательстве «Рифма» и содержали, помимо новых стихотворений, ряд старых, переделанных до неузнаваемости. Впереди были мемуарные книги «На берегах Невы» и «На берегах Сены», а также ряд очерков для неоконченной третьей части. Впереди были десятки литературно-критических статей, прижизненная слава, возвращение в город на Неве. Странно сказать, но именно тогда, в дни после смерти Георгия Иванова, у Одоевцевой впереди была еще целая жизнь.

Одоевцева много раз говорила, что никогда не лжет в мемуарах — только рассказывает далеко не все из того, что знает. Но приходилось и отвечать на обвинения, порою далеко не пустячные.

В начале девяностых годов буквально прогремели воспоминания В.С.Яновского «Поля Елисейские»; Сергей Довлатов писал в предисловии к их российскому переизданию: «Кому-то мемуары Яновского покажутся резкими и даже злыми, но ни один компетентный и непредвзятый читатель не обнаружит в них ни попытки сведения счетов, ни выражения личных обид или запоздалых частных претензий к именитым покойникам — воспоминания продиктованы стремлением к правде, той окончательно выверенной временем правде, каковая доступна лишь умному, внимательному и тонкому очевидцу»<sup>1</sup>.

При всем уважении к бойкой книге Яновского, при всей любви к Довлатову я вынужден обнаружить в этой книге именно эти грехи. Один пример: «...при оккупации он (В.Смоленский. — *Е.В.*), как и Мережковские, Иванов, Злобин, идеологически расцвел. После победы парижане одно время их всех бойкотировали. Так, в их первом сборнике “Четырнадцать” (или “Тринадцать”?) ни Смоленский, ни Иванов, ни Одоевцева, ни Гиппиус, ни Злобин не участвовали и не могли участвовать. То же в “Эстафете”!»<sup>2</sup>.

Тут есть все перечисленные Довлатовым грехи: сведение счетов, претензии к именитым покойникам, а что хуже всего, тут нет ничего, кроме злобного вранья, и это не спишешь на тот факт, что Яновскому в год первого издания «Полей Ели-

---

<sup>1</sup> Довлатов С. Против течения Леты // Яновский В.С. Поля Елисейские. СПб.: Пушкинский фонд, 1993. С.7.

<sup>2</sup> Яновский В.С. Поля Елисейские. С.199.

сейских» (1983) было семьдесят семь лет. «Четырнадцать» — это сборник «Кружка русских поэтов в Америке», изданный в 1949 году в Нью-Йорке, он не включал вообще *никаких* парижан, — а в Париже в те годы никакого сборника с похожим названием издано не было. А вот в парижской «Эстафете» кое-кто из «американцев» напечатан был: Кира Славина, Михаил Тимашев. Отсюда, видимо, и путаница в голове мемуариста. В «Эстафете» и вправду не было ни Иванова, ни Одоевцевой — их стихи большими подборками почти одновременно появились в альманахе «Орион», тоже вышедшем в Париже. Слух же о сотрудничестве Иванова и Одоевцевой с немцами распустил (едва ли по злому умыслу) Адамович; как раз Одоевцева пишет об этом: «(Адамович. — *Е.В.*) решил, что мы принимаем немецкий генералитет, и оповестил об этом всех знакомых, украсив рассказ “цветами своей фантазии”. А именно — что я разъезжаю с немецкими офицерами верхом и играю с ними в теннис» («На берегах Сены»).

В появляющихся ныне в печати послевоенных письмах Георгия Иванова много раз разъяснено, какова была правда: «Я не служил у немцев, не доносил (на меня доносили, но это, кажется, другое дело), не напечатал с начала войны нигде ни на каком языке ни одной строчки, не имел не только немецких протекций, но и просто знакомств, чему одно из доказательств, что в 1943 году я был выброшен из собственного дома военными властями, а имущество мое сперва реквизировано, а затем уворовано ими же»<sup>1</sup>.

Таких писем-оправданий множество. В те годы казалось, что если человек не впадает в восторг от личности Сталина (за Адамовичем такой грех недолго, но был), то, ясное дело, он был (да и остался) поклонником Гитлера. К середине пятидесятых годов «казус» разъяснился и выветрился. А Одоевцева в своих воспоминаниях не только простила Адамовича — она даже нашла оправдание его проступку. Одоевцева умела прощать: в этой области среди русских мемуаристов серебряного века ее умение было уникальным.

А вот в СССР ей не могли простить того, что во многом из-за ее книги «На берегах Невы», где участие Гумилева в Таганцевском заговоре прямо подтверждено, Гумилев в СССР все еще запрещен и не издается, тогда как другие поэты-современники — Вячеслав Иванов, Мандельштам, Цветаева — уже

<sup>1</sup> Письмо Г.Иванова к М.Алданову от 6 февраля 1948 г. // Минувшее: Исторический альманах. №21. М.; СПб.: Атенеум; Феникс, 1997. С.495—496.

изданы. Нам, пережившим инфляцию начала девяностых, может прийти в голову, что «пачки денег» в столе у Гумилева были просто гонораром из «Всемирной литературы» за переводы баллад о Робин Гуде, но советской цензуре конца шестидесятых-семидесятых так, конечно, не казалось. Быть может, цензура и вправду уцепилась за Одоевцеву, дабы «запретить» Гумилева. Не было бы этого повода — все равно запретили бы, нашли бы другой повод. Довольно было и того, что самиздатские «тиражи» Гумилева вполне были сравнимы с государственными (уж в тысячах-то копий Гумилев точно ходил, а вероятнее — в десятках тысяч). Кто хотел — тот все равно читал в те годы то, что действительно хотел прочесть.

И книги Одоевцевой тоже: в самиздат не просочилась ее поэзия, зато с лихвой отыгрывалась Одоевцева в том же самиздате на популярности своих мемуаров — тут счет домодельных копий тоже шел на тысячи.

...Август 1988 года. Переделкино. Яркое солнце за окном. Одоевцева улыбается мне из инвалидного кресла:

— Вы знаете, мне кажется, я никогда не умру! Я просто буду жить, и жить, и жить. Столько новых людей вокруг, так все интересно!..

Это говорилось от чистого сердца. Она никого не ругала, только удивлялась: зачем Берберова такая злая? Почему Адамовича так плохо знают в России — он ведь был так очарователен! Почему совсем не говорят о Юрии Терапиано, — пусть он критик и неглубокий был, зато поэт — замечательный!

Отбросим «загадочный» год рождения Одоевцевой: как ни считай, женщине, беседовавшей со мной, было больше восьмидесяти пяти, а может быть, и вправду за девяносто. Душа ее лучилась радостью: дожила! дожила!..

Сравнивать Одоевцеву — как и ее воспоминания — с Ниной Берберовой (что очень любят делать в критике: все-таки обе — вдовы великих поэтов) — невозможно.

Вся Берберова — железный интеллект, жесткость. Да, конечно, и мифотворчество тоже, но всецело подчиненное единой концепции жизни и культуры.

Вся Одоевцева — широко распахнутые глаза. Вечное удивление, вечное очарование. Да, конечно, и неточности, и «неправильности речи».

Она просила издать ее, «поправив, но не комментируя». Кому надо, тот сам наведет справки, узнает годы жизни, обстоятельства смерти.

Одоевцева умерла 14 октября 1990 года в Ленинграде. Меньше чем через год городу вернулось его имя: Санкт-Петербург. Она была бы счастлива, если бы узнала об этом. Но она и без того была счастлива — несмотря ни на какое выпавшее ей в жизни отчаяние. Ее книги — доказательство того, что она обладала уникальным даром: она умела своим счастьем делиться.

Портреты современников, оставленные Одоевцевой, временами кажутся сильно идеализированными: люди встречаются, пьют кофе, беседуют, провожают друг друга, читают стихи, лишь очень редко и ненадолго ссорятся, даже проведя по полвека в эмиграции, не впадают в черную депрессию.

«Пора, казалось бы, и мне ожесточиться...» — писала она в стихах.

Но не только не ожесточилась — скорее, наоборот.

И всю жизнь жалела тех, кто ожесточился.

*Евгений Витковский*

# СТИХОТВОРЕНИЯ



# ДВОР ЧУДЕС

1920—1921

*Сергею Алексеевичу  
Попову-Одоевцеву*

## ПАМЯТИ ГУМИЛЕВА

Мы прочли о смерти его.  
Плакали громко другие.  
Не сказала я ничего,  
И глаза мои были сухие.

А ночью пришел он во сне  
Из гроба и мира иного ко мне,  
В черном старом своем пиджаке,  
С белой книгой в тонкой руке,

И сказал мне: «Плакать не надо,  
Хорошо, что не плакали вы.  
В синем раю такая прохлада,  
И воздух тихий такой,  
И деревья шумят надо мной,  
Как деревья Летнего сада...»

*1921*



## БАЛЛАДА О ТОЛЧЕНОМ СТЕКЛЕ

*Корнею Чуковскому*

Неправо о стекле те думают, Шувалов,  
Которые стекло чтут ниже минералов.  
*Ломоносов*

Солдат пришел к себе домой,  
Считает барыши.  
«Ну, будем сыты мы с тобой,  
И мы, и малыши.

Семь тысяч! Целый капитал!  
Мне здорово везло —  
Сегодня в соль я подмешал  
Толченное стекло».

Жена вскричала: «Боже мой!  
Убийца ты и зверь!  
Ведь это хуже, чем разбой, —  
Они помрут теперь».

Солдат в ответ: «Мы все порем,  
Я зла им не хочу.  
Сходи-ка в церковь вечерком,  
Поставь за них свечу».

Поел и в чайную пошел,  
Что прежде звали «Рай».  
О коммунизме речь повел  
И пил советский чай.

Прошло три дня, и стал солдат  
Невесел и молчит.  
Уж капиталу он не рад,  
Барыш не веселит.

А в полночь сделалось черно  
Солдатское жильё.  
Стучало крыльями в окно,  
Слетаясь, воронье.

По крыше скачут и кричат,  
Проснулась детвора,  
Жена вздыхала. Лишь солдат  
Спал крепко до утра.

В то утро встал он позже всех,  
Был сумрачен и зол.  
Жена, замаливая грех,  
Стучала лбом о пол.

«Ты б на денек, — сказал он ей, —  
Поехала в село.  
Мне надоело — сто чертей —  
Проклятое стекло!»

Жена уехала, а он  
К окну с сигаркой сел.  
Вдруг слышит похоронный звон —  
Затрясся, побледнел.

Семь кляч влачат по мостовой  
Досчатых семь гробов.  
В окно несется бабий вой  
И говор мужиков:

«Кого хоронишь, Константин?»  
«Да Глашу, вот, — сестру.  
В четверг вернулась с именин  
И померла к утру.

У Никанора помер тесть,  
Клим помер и Фома,  
А что такая за болеть,  
Не приложу ума».

Настала ночь. Взошла луна.  
Солдат ложится спать.  
Как гроб, тверда и холодна  
Двухспальная кровать.

И вдруг... Иль это только сон?  
Вошел вороний поп.  
За ним огромных семь ворон  
Внесли стеклянный гроб,

Вошли и встали по углам.  
Сгустилась сразу мгла.  
«Брысь, нечисть! В жизни не продам  
Проклятого стекла!»

Но поздно. Замер стон у губ,  
Семь раз прокаркал поп,  
И семь ворон подняли труп  
И положили в гроб,

И отнесли его в овраг,  
И бросили туда,  
В гнилую топь, в зловонный мрак —  
До Страшного суда.

1919

\* \* \*

Всегда всему я здесь была чужою —  
Уж вечность без меня жила земля,  
Народы гибли, и цвели поля,  
Построили и разорили Трою.

И жизнь мою мне не за что любить.  
Но мне милы ребяческие бредни —  
О, если б можно было вечно жить,  
Родиться первой, умереть последней:  
Сродниться с этим миром навсегда  
И вместе с ним исчезнуть без следа!

\* \* \*

Дрожит и стынет  
В твоей руке моя рука.  
Со мной отныне  
Твоя тоска.

— О, Мери! Мери!  
— Прощай, прощай, любимый мой!  
Открою двери,  
Уйду домой.

В вечернем свете  
Левкой на твоём окне  
И губы эти  
Не видеть мне.

И не услышу  
Над изголовьем голос твой,  
Когда на крышу  
Слетит покой.

— О, Мери! Мери!  
— Любимый мой, прощай, прощай!  
Несчастливым двери  
Откроет рай.

## БАЛЛАДА ОБ ИЗВОЗЧИКЕ

К дому по Бассейной, шестьдесят,  
Подъезжает извозчик каждый день,  
Чтоб везти комиссара в комиссариат —  
Комиссару ходить лень.

Извозчик уснул. Извозчик ждет.  
И лошадь спит и жует.  
И оба ждут. И оба спят —  
Пора комиссару в комиссариат!

На подъезд выходит комиссар Зон,  
К извозчику быстро подходит он —  
Уже не молод. Еще не стар.  
На лице отвага. В глазах пожар —  
Вот каков собой комиссар.  
Он извозчика в бок и лошадь в бок,  
И сразу в пролетку скок!

Извозчик дернет вожжей,  
Извозчик крикнет: «Ну!»  
Лошадь ногу поднимет одну,  
Поставит на землю опять,  
Пролетка покатится вспять,  
Извозчик щелкнет кнутом,  
И двинется в путь с трудом.  
В пять часов извозчик едет домой,  
Лошадь трусит усталой рысцой.

Сейчас он в чайной чайку попьет,  
Лошадь сенца пока пожует.

На дверях чайной засов  
И надпись: «Закрыто по случаю дров».  
Извозчик вздохнул: «Ишь, чертов стул!»  
Почесал затылок и снова вздохнул.

Лошадь снова трусит усталой рысцой,  
Голодный извозчик едет домой.

Наутро подъехал он в пасмурный день  
К дому по Бассейной, шестьдесят,  
Чтоб везти комиссара в комиссариат —  
Комиссару ходить лень.  
На подъезд выходит комиссар Зон,  
К извозчику быстро подходит он —  
Извозчика в бок и лошадь в бок,  
И сразу в пролетку скак!

Но извозчик не дернул вожжей,  
Не дернула лошадь ногой,  
Не крикнул извозчик: «Ну!»  
Не подняла лошадь ногу одну,  
Не щелкнул извозчик кнутом,  
Не двинулись в путь с трудом.  
Комиссар вскричал: «Что за черт!  
Лошадь мертва, извозчик мертв!  
На площадь Урицкого, пять,  
Теперь мне пешком придется бежать».

Небесной дорогой голубой  
Идет извозчик и лошадь ведет с собой.  
Подходят они к райским вратам.  
«Апостол Петр! Отворите нам!»  
Раздался голос святого Петра:  
«А много вы сделали в жизни добра?»  
«Мы возили в комиссариат  
Каждый день комиссара туда и назад,  
Голодали мы тысячу триста семь дней —  
Сжальтесь над лошастью бедной моей!  
Тепло и сытно у вас в раю,  
Впустите меня и лошадь мою!»  
Апостол Петр отпер дверь,  
На лошадь взглянул: «Ишь, тощий зверь!  
Ну, так и быть — полезай!»  
И вошли они в Божий рай.

1921

\* \* \*

Ты заснул тревожным сном.  
Вьется белый голубь под твоим окном,  
И шумит ветвистый кипарис зеленый  
В легкой тишине.  
Мой печальный, навсегда влюбленный,  
Ты с другой во сне.

Ночь, мороз и колкий снег.  
По Неве замерзшей узких санок бег;  
С нею мчишься ты, с бледною и злою,  
К морю, всё скорей.  
Но не бойся, милый, я с тобою  
В комнате твоей.

\* \* \*

За старой сосной зеленела скамья,  
Дорожки вели неизвестно куда,  
И детьми мы были — ты да я  
У голубого пруда.

Ты тихо сказал: «Там за камнем — дракон  
С тремя головами, зеленый и злой.  
К обеду съедает девочку он,  
Но ты не бойся — ведь я с тобой».

— Нет, там не дракон, там добрый медведь.  
У него медвежата и липовый мед,  
Он умеет плясать и любит реветь,  
С утра он нас в гости ждет.

Я проснулась. Белое утро зимы,  
Белый, торжественный Петроград.  
И это сон, что дети мы,  
И сном оказался драконий сад.

И я рада, что храброго мальчика нет,  
И не нужен мне добрый медведь.  
Чего мне желать? О чем мне жалеть,  
Если ты меня любишь и ты — поэт?

*Октябрь 1921*

## СОН

...Остроконечные чернеют в небе крыши,  
Всё спит кругом.  
Бегу опаснее серой мыши,  
Вот наконец твой дом.

Я вбила гвоздь в твои ворота  
В полночный час.  
Дрожу. Страшна моя работа.  
Фонарь погас.

Из дома вышел ты усталою походкой  
И подошел ко мне.  
Я притворилась девочкою кроткой,  
Припав к стене.

Ты на меня взглянул, как будто я — прохожий,  
И вдруг узнал меня,  
Сказал: — Нехорошо людей во сне тревожить,  
Вам разве мало дня?

*1919*



## БАЛЛАДА О РОБЕРТЕ ПЕНТЕГЬЮ

Возле церковной ограды дом,  
Живет в нем веселый могильщик Том  
С женой своей Нэнси и черным котом.

Если звонят колокола —  
Новая к Богу душа отошла.  
Роет могилу веселый Том —  
Мертвому строит уютный дом.  
Кончив работу, идет он домой,  
Очень довольный своей судьбой —  
Могильное любит он ремесло.  
Быстро проходят зимние дни,  
Вот уже вечер и солнце зашло.  
В сумерках зимних мелькнули огни,  
Словно сверканье церковных свечей.  
Том прошептал: «Господи, сохрани», —  
И меж могил зашагал скорей.  
Кто-то зовет его: «Том! Эй, Том!»  
В страхе он огляделся кругом —  
На свежей могиле уселись в ряд  
Девять котов и глаза их горят.  
Том закричал: «Кто меня зовет?»  
«Я», — отвечает тигровый кот.  
Шляпу могильщик снимает свою —  
Никогда не мешает вежливым быть:  
«Чем, сэр, могу я вам служить?»  
«Скажите Роберту Пентегью,  
Что Молли Грей умерла!  
Не бойтесь — вам мы не желаем зла!»  
И с громким мяуканьем девять котов  
Исчезли между могильных крестов.  
Нэнси пряжу прядет и мужа ждет,  
Сонно в углу мурлычет кот.  
Том, вбегая, кричит жене:  
«Нэнси, Нэнси, что делать мне?  
Роберту Пентегью я должен сказать,

Что Молли Грей кончила жизнь свою.  
Но кто такой Роберт Пентегью  
И где мне его отыскать?»  
Тут выскочил черный кот из угла  
И закричал: «Молли Грей умерла?  
Прощайте! Пусть Бог вам счастье пошлет!»  
И прыгнул — в камин горящий — кот.

Динь-дон! Динь-динь-дон!  
Похоронный утром разнесся звон.  
Девять юношей в черных плащах  
Белый гроб несут на плечах.  
«Кого хоронят?» — Том спросил  
У Сэма, уборщика могил.  
«Никто не слышал здесь прежде о ней,  
Зовется она Молли Грей,  
И юношей этих не знаю совсем», —  
Ответил Тому уборщик Сэм  
И плюнул с досады. А Том молчал.  
О котах он ни слова не сказал.

Я слышала в детстве много раз  
Фантастический этот рассказ,  
И пленил он навеки душу мою —  
Ведь я тоже Роберт Пентегью —  
Прожила я так много кошачьих дней.

Когда же умрет моя Молли Грей?

1920

\* \* \*

Облаками, как пушистой шалью,  
Зябкая укуталась луна.  
Эта осень началась печалью,  
И печалью кончится она.

Осень — это время расставанья,  
Но никто не скажет мне — прости!  
Говорят чужие: — До свиданья! —  
И еще: — Счастливого пути!

Только как счастливый путь найти?

1923

\* \* \*

Январская луна. Огромный снежный сад.  
Неслышно мчатся сани.  
И слово каждое, и каждый новый взгляд  
Тревожней и желанней.  
Как облака плывут! Как тихо под луной!  
Как грустно, дорогая!  
Вот этот снег, и ночь, и ветер над Невой  
Я вспомню, умирая.

\* \* \*

Он сказал: — Прощайте, дорогая!  
Я, должно быть, больше не приду. —  
По аллее я пошла, не зная  
В Летнем я саду или аду.

Тихо. Пусто. Заперты ворота.  
Но зачем теперь идти домой?  
По аллее черной белый кто-то  
Бродит, спотыкаясь, как слепой.

Вот подходит ближе. Стала рядом  
Статуя, сверкая при луне.  
На меня взглянула белым взглядом,  
Голосом глухим сказала мне:

— Хочешь, поменяемся с тобою?  
Мраморное сердце не болит.  
Мраморной ты станешь, я — живую.  
Стань сюда. Возьми мой лук и щит.

— Хорошо, — покорно я сказала, —  
Вот мое пальто и башмачки. —  
Статуя меня поцеловала,  
Я взглянула в белые зрачки,

Губы шевелиться перестали,  
И в груди не слышу теплый стук.  
Я стою на белом пьедестале,  
Щит в руках, и за плечами лук.

Кто же я? Диана иль Паллада?  
Белая в сиянии луны,  
Я теперь — и этому я рада —  
Видеть буду мраморные сны.

Утро... С молоком проходят бабы,  
От осенних листьев ветер бур.  
Звон трамваев. Дождь косой и слабый.  
И такой обычный Петербург.

Господи! И вдруг мне стало ясно —  
Я его не в силах разлюбить.  
Мраморною стала я напрасно —  
Мрамор будет дольше сердца жить.

А она уходит, напевая,  
В рыжем клетчатом пальто моем.  
Я стою холодная, нагая  
Под осенним ветром и дождем.

1922

\* \* \*

С луны так сладостно и верно веет  
Великое предчувствие любви,  
Но верить счастью печаль не смеет —  
Печальных, Господи, благослови!

В сиянии лунном пролетает птица,  
Благоуханно дышит резеда.  
Любовь до гроба может только сниться,  
Тебя я не увижу никогда.

И всё напрасно здесь, на этом свете —  
Когда-нибудь найдешь ты мой портрет:  
— Кто это? — спросишь ты.  
Тебе ответят,  
Кто я была и что меня уж нет.

Задумаешься ты и тихо скажешь:  
— Вот эту женщину я б мог любить.

Я знаю, это будет. Знаю даже,  
Что долго будешь ты по мне грустить.  
И никогда другую не полюбишь.

### САЛАМАНДРА

С неба луна светила,  
Я тихо в постель легла,  
Подушку перекрестила  
И все четыре угла.  
Тепло и спокойно было в спальне,  
Давно стоял за дверьми сон,  
Но, когда надо мной наклонился он,  
Легкий и беспечальный,  
Саламандрой красной из моей груди

Выскользнула моя душа.  
Я вскочила, от страха чуть дыша,  
Вскрикнула «Погоди!»  
И за ней побежала.  
Гулкий длинный коридор,  
По лестнице темной во двор,  
Мимо черного канала.  
На улицах было пусто совсем.  
Маленький город казался нем.  
Кой-где поблескивали фонари,  
Где-то часы пробили три.  
Саламандра бежала скорее, скорее,  
Город уже миновали мы,  
Садом бежали по узкой аллее  
Туда, где зеленые холмы.  
Сердце глухо и громко стучало,  
Я так боялась ее потерять.  
За Саламандрой я бежала —  
Она мне дороже, чем друг, чем мать.

Холм высокий и серые кущи,  
Отсюда вся окрестность видна —  
Озеро и луг цветущий,  
В зеленом небе медовая луна,  
На лугу тритоны, лягушки и змеи,  
Веселые крики услышала я,  
И крики стали еще звончее,  
Когда к ним подошла она,  
Саламандра, огня краснее,  
Саламандра, душа моя.  
Занялась веселой игрою  
Толпа картавых лягушат  
И прыгала под луною,  
Саламандру мою тормоша.  
Какая милая у меня душа!  
Она носится, словно летая.  
Вот свернулась кольцом и ловит хвост,

Вот во весь выпрямляется рост.  
Милая, смешная,  
Как я люблю ее, Боже мой!

Внезапно луг огласился криком.  
Души помчались гурьбой  
В ужасе диком.  
Медленно выйдя на луг, крокодил  
Зубастую пасть разинул,  
Маленькую лягушку проглотил,  
Расправил зубчатую спину  
И оглянулся кругом.

Странное, смутное было потом,  
Что-то холодное по мне пробежало.  
Я испугалась, я закричала:  
По мне карабкался тритон,  
Ища от врага защиты.  
Прыгнул в рот мой открытый  
Черный и мокрый тритон...

Я проснулась. Солнце светило.  
Возле постели стояла сестра.  
«Который час?» — я спросила.  
«Одиннадцать, вставать пора.  
Вставай скорей, дорогая!»  
Я сказала: «Сегодня я злая,  
Не лезь. Надоела мне».  
Как болезнь, мучала тело  
Тяжелая мутная лень.  
Я поздно встала и надела  
Серое платье на каждый день.  
Отец с газетой сидел в столовой,  
Я не подошла его поцеловать:  
Он был какой-то чужой и новый.  
Я спросила его, где мать.

«Мама с Ниной в церкви давно:  
Сегодня — Троица», — он ответил.  
Я сказала, глядя в окно:  
«Надоели мне праздники эти.  
Я никуда не пойду,  
Я буду читать в саду».

Весело было в саду и тихо,  
Вокруг жасмина летала пчела,  
В гнезде на яйцах сидела грачиха,  
А я была беспокойна и зла.  
В сад пришел любимый мною,  
Тот, кого я ждала,  
И сказал мне: «Голубою  
Вы сегодня снилися мне.  
И вот я вижу вас такую,  
Какою я видел вас во сне.  
Ваши глаза, как озера,  
Как лилии — руки. Скоро  
Вы мне дадите ответ?»  
Я вскричала: «Да вы эстет,  
Как я раньше не замечала?  
Эстет — это слишком мало!»  
И потом прибавила: «Нет».  
Он сказал: «Вы сердце разбили».  
«Сердце на то, чтоб его разбить, —  
Ответила я. — И вы говорили,  
Что высшее счастье несчастным быть».  
Он побледнел: «Прошу вас, не надо  
Смеяться надо мной!»  
И зашагал по дорожкам сада,  
А я вернулась домой.

У мамы за чаем в гостиной  
Две старые дамы сидели в гостях  
И вели разговор бесконечно длинный  
О городских новостях.



Мама скучала с воскресной улыбкой,  
Нина чай разливала за круглым столом  
И казалась особенно тонкой и гибкой  
В белом платье кружевном.  
У нее забавный испуганный вид,  
Словно зяблик она и сейчас улетит,  
Синие глаза и нежный рот,  
Она вечно твердит: «Я не смею!» —  
И ей только семнадцатый год.

Я позвала ее с порога зала,  
Она прибежала ко мне сейчас,  
Я обняла ее и поцеловала —  
Никто не видел нас —  
Розовый рот, и тонкую шею,  
И веки испуганных глаз.  
Она прошептала: «Как я рада,  
Ты не сердись больше, но идти мне надо».  
Я коснулась маленькой груди,  
Она испугалась: «Оставь, уйди!»  
Краснели пятна на белой шее,  
Рука моя стала смелее,  
Она убежала, вскрикнув слегка.  
Острая влюбленная тоска  
Сердце мое ущемила.

Вечером я не крестила  
Ни подушки своей, ни углов,  
Мне не надо веселых снов,  
Не страшна мне темная сила.  
Спящим городом шла я во сне,  
Шаги мои быстры и гулки.  
Куда я иду? Как страшны мне  
Узкие, темные переулки.  
Растет и ширится испуг.  
Садом я иду, спеша,  
Ах, я вышла на луг,  
Где меня покинула душа.

Да, это здесь. Вот и холм зеленый,  
Пролетел испуганный грач.  
Вдруг воздух, теплый и сонный,  
Жалобный прорезал плач,  
И тогда я ее увидела,  
Саламандру, душу мою,  
И тогда я на миг узнала  
Радость блаженных в раю.  
Она на холме сидела,  
Мордочку подняв к луне,  
Как огонь, ее сверкало тело,  
И она плакала по мне.

Я проснулась еще печальней.  
Ночь... Далеко до утра.  
За стеной соседней спальной  
Сонно и ровно дышит сестра.  
Я бесшумно встала с постели,  
Я пробралась к сестре босиком.  
О любимом — о нем, о нем  
Двери жалобно заскрипели.  
Лампадка горела в углу...  
Но душа моя там, на лугу...

## ПОЭТ

Белым полем шла я ночью,  
И странник шел со мной.  
Он тихо сказал, качая  
Доброй, снежной головой:

— На земле и на небе радость,  
Сегодня Рождество,  
Ты грустна оттого, что не знаешь,  
Сейчас ты увидишь его.

И поэт прошел предо мною,  
Сердцу стало вдруг горячо.  
И тогда сказал мне странник:  
— Через правое взгляни плечо!

Я взглянула. Он был печальный,  
Добрый был он, как в стихах своих.  
И в небе запели звезды,  
И ветер холодный стих.

И опять сказал мне странник:  
— Через левое плечо взгляни! —  
Я взглянула. Поднялся ветер,  
И в небе погасли огни.

А он стал злой и веселый,  
К нему подползла змея.  
Под тонкой рукой блеснула  
Зеленая чешуя.

Год прошел и принес с собою  
Много добра и много зла,  
В дом пять на Преображенской  
Я походкой робкой вошла.

Низкая комната. Мягкая мебель.  
Книги повсюду и теплая тишь —  
Вот сейчас выползет черепаха,  
Пролетит летучая мышь.

Но всё спокойно и просто,  
Только совсем особенный свет.  
У окна папиросу курит  
Не злой и не добрый поэт.

1920

## ТРИ СОВЕТА

Что будет, Господи, теперь?  
А сердце бьется глухо-глухо.  
Егоровна стучится в дверь,  
И отворяет ей старуха,  
Кивнула вещей головой  
И говорит: — Иди за мной! —  
Взъерошенная кошка  
Вскочила на окошко.

Они уселись у огня.  
— Печалит что тебя, сударка?  
— Муж бросил для другой меня.  
Сапожник он, а я кухарка.  
С тех пор прошло уж десять лет,  
А для меня всё счастья нет.  
Грызет меня досада:  
Вернуть его мне надо.

— Ну, что же? Маленький разлад.  
Позволь-ка рублик для начала. —  
В стеклянный шар вперяя взгляд,  
Старуха быстро зашептала:

— Я вижу треугольник, круг,  
Вот ты, а вот и твой супруг.  
Лишь не теряй терпенья,  
Вернется муж в Крещенье.  
И хорошо всё будет вновь.  
Удачлива твоя планета:  
Узнаешь радость и любовь,  
Коль три исполнишь ты совета.

Егоровна пришла домой.  
Кряхтит за печкой домовой,  
В углу горит лампадка,  
На сердце сладко-сладко.

И вовсе ей не жаль рубля,  
Рубля для мужа мало,  
Вот пикового короля  
Она средь карт сыскала.  
Протяжно тикают часы,  
Топорщит таракан усы  
И прячется за гири,  
И бьют часы четыре.

На карту дунула она  
И к маятнику прицепила,  
Чтоб муж, помаявшись без сна,  
Вернулся бы к жене постылой.  
Раскачивается король.  
— Ах, скоро муж узнает боль,  
И скуку, и тревогу.  
Найдет к жене дорогу.

Но в этот день сгорел пирог,  
К жаркому не было салата,  
Клялась кухарка: — Видит Бог,  
Я, барыня, не виновата. —  
Сердита барыня с утра:  
— Вам отказать давно пора! —  
Кухарка шепчет, плача:  
— От карты неудача.

Молящимися полон храм  
Архистратига Михаила.  
С тоской взглянув по сторонам,  
Егоровна свечу купила.  
Рождается небесный царь,  
Поют Рождественский тропарь  
Угрюмые монахи...

Идет кухарка в страхе  
В притвор, где нарисован ад,  
И ставит вверх ногами свечку

Тому, кто черен и рогат  
И грешников сажает в печку.  
Ему кладет земной поклон,  
Но к ней бегут со всех сторон:  
— Ах, ведьма, вон скорее!  
Не то дадим по шее.

А время всё идет-идет,  
Не зная промедленья.  
Отпраздновали Новый год,  
Настал канун Крещенья;  
Давно уж съедена кутья,  
Легла господская семья.  
В людской темно и жарко.  
Во двор спешит кухарка.

Чернеет ночь, белеет снег,  
Крещенская крепчает стужа.  
Ночной проходит человек.  
Вот, наконец, и домик мужа.  
И потихоньку, словно вор,  
Прошла Егоровна во двор...  
К стене бревно приперто:  
Уж это дело черта.

Егоровна, как будто зверь,  
По нем ползет всё выше, выше.  
Внизу скрипит входная дверь.  
Егоровна дрожит на крыше.  
Но нет, повсюду тишина.  
И крикнула в трубу она:  
— Зачем жену оставил?  
Вернись к супруге, Павел!

Ползет. Споткнулась о карниз,  
Не удержалась и с размаха  
На камни полетела вниз,  
Крича от боли и от страха.

Она сломала три ребра.  
Ах! Не дожить ей до утра  
И не увидеть мужа!  
Всё злей и злее стужа.

Чу... Скрипнул снег. Еще. Шаги.  
Шаги всё ближе и слышнее.  
Кричит кухарка: — Помоги!  
Сюда, скорей. Я коченею. —  
Над ней склонился кто-то вдруг,  
Она глядит: пред ней супруг.  
— Ой! — и душа из тела  
Навеки улетела.

\* \* \*

Окреплю паруса. Отрадно кораблю  
Плыть к золотому краю.  
Но для чего мне плыть, когда я так люблю,  
Люблю и умираю?

— Нет, чувства этого любовью не зови.  
Еще лукавить рано.  
Еще живет рассказ о смерти и любви  
Изольды и Тристана.

\* \* \*

Под окном охрипшая ворона  
Глухо каркнула. Взошла луна.  
Город спит. Ни шороха, ни звона.  
И не сплю теперь лишь я одна.

И теперь тебе, я знаю, снится,  
Что ты в комнате своей сидишь,

Смотрят со стены родные лица,  
И тебя оберегает тишь.

Вот вхожу к тебе я рыжей кошкой,  
Мягкою, пушистою, большой.  
Вспрыгнула бесшумно на окошко,  
Зорко наблюдая за тобой.

Как иголки, ранят злые взгляды  
Немигающих зеленых глаз,  
И ты знаешь — нет тебе пощады:  
Всё окончится теперь, сейчас.

Не уйти тебе от кошки рыжей —  
С рыжей женщиной ты был жесток.  
Вот я подползаю ближе, ближе,  
Вот сейчас я сделаю прыжок!

## ОТРЫВОК

Ночь... Развалины... Море... Глубокая тишь...  
Дымный факел чуть видно горит...  
Бьется в стены большая летучая мышь  
И протяжно и глухо кричит.

— Помоги! Помоги! С первым проблеском дня  
Полечу, над морями кружа.  
Стивен-Рой, разве мог не узнать ты меня?  
Разве я не твоя госпожа?

Стивен-Рой, у тебя красный, пламенный рот.  
Поцелуй же меня, Стивен-Рой!  
Кровь рекой потечет, пламя замок сожжет,  
И навеки я буду с тобой.



Но несется в ответ голос, слышный едва:  
— Нет, пред смертью не верю я лжи,  
Не такие глаза, не такие слова  
У прекрасной моей госпожи.

### БАЛЛАДА О ТОМ, ПОЧЕМУ ИСПОРТИЛИСЬ В ПЕТРОГРАДЕ ВОДОПРОВОДЫ

В контору Домкомбеда  
Является едок.  
«Зашел я вас проведать,  
Нельзя ли ордерок».

«Вот, гражданин хороший,  
Вы распишитесь тут,  
А ордер на галоши  
Сейчас вам принесут».

Он подписал сначала,  
Потом не стал читать,  
Но в памяти застряла  
Огромная печать.

Идет гулять, погожий  
Похваливая день;  
Как вдруг кричит прохожий:  
«Вы потеряли тень».

Едок в оцепененьи:  
«Ах! Буду я в аду:  
Коль человек без тени,  
То с чертом он в ладу».

Сошлась народу сила,  
Глядит на едока,

И ордер уронила  
Дрожащая рука!

Бежит он, что есть мочи,  
Торопится домой.  
С тех пор и дни, и ночи  
Он бродит сам не свой.

И дом родимый тошен,  
И с близкими разлад,  
А новые галоши  
Насмешливо блестят.

Едок таит заботу,  
И молчалив, и тих,  
Как вдруг в одну субботу  
Его уносит тиф.

Вдова лежит, рыдая,  
Не в силах слез унять.  
«Сходи в Комбед, родная, —  
Советует ей мать. —

Возьми там разрешение  
На гроб и три свечи,  
На вынос, погребенье —  
О всем похлопочи».

Контора очень близко,  
Но заперт Домкомбед,  
И на дверях записка:  
«Приема в праздник нет».

Но председатель Громан  
Живет в квартире два,  
И, может быть, он дома!  
К нему идет вдова.

Как видно, председатель  
Был дома очень прост:  
Сидит в цветном халате,  
Расчесывает хвост.

«Спасите! Злая сила!  
Рассыпья, сатана!» —  
И с воплем закрестила  
Нечистого она.

Он стал белее снега;  
Разинув дико рот,  
Взревел и вдруг с разбега  
Вскочил в водопровод.

Из крана пламя пышет,  
От грома дрогнул дом  
Весь от земли до крыши,  
И смолкло всё кругом.

Но с той поры на годы  
Нам не избыть беды:  
Хоть есть водопроводы,  
Но нет и нет воды.

## ЛУНА

Ночью, когда наступает тишь,  
К жабе прилетает летучая мышь.  
Говорит о том, что мертва луна,  
И о том, что ночь темна и длинна.  
Пресвятая Дева, помилуй нас!  
Добрый сон бежит от испуганных глаз  
Оттого, что ночь длинна и страшна.  
А дурного не надо сна.

Далеко в темный лес заехал граф,  
Преследовал вепря он.  
Перед ним душистое море трав  
И старые сосны со всех сторон,  
А вепря запутался след.  
Уж луна с небес льет холодный свет —  
Граф обратно скачет на резвом коне  
Вдоль узких лесных дорог  
Туда, где звенит охотничий рог.  
Два зеленых глаза горят в вышине...  
Он взглянул и видит рысь на сосне,  
А за ней на небе круглая луна.  
Шкура рыси, как медь, красна.  
На него спокойно глядит она  
И кажется кошкой большой,  
Рыжей кошкой, совсем не злой.  
Тогда граф берет арбалет,  
И в голову рыси летит стрела:  
Рысь упала на землю. Лунный свет  
Вдруг погас. Настала черная мгла.  
Тишину прорезал в тот же миг  
Человеческий отчаянный крик:  
— Луна!.. Луна умерла! —  
И стало так тихо потом,  
Что слышно, как шепчутся лист с листом.  
Граф рыси нигде найти не мог,  
И, крестясь, он поехал своим путем  
Туда, где звенел охотничий рог.

Но странный графу приснился сон  
В ту ночь, как с охоты вернулся он.  
Будто в спальне он и стоит у окна,  
Большая, круглая в небе луна...  
Кто-то тихо-тихо ступил на балкон  
(Так бесшумно ступать может только зверь)

И к нему вошел сквозь закрытую дверь.  
И видит он: дева пред ним стоит  
Такой удивительной красоты,  
Что сердце графа громко стучит,  
Когда он спрашивает: — Кто ты? —  
Печально дева молчит в ответ,  
А косы ее красны, как медь.  
— Ты грустна? Позволь за тебя умереть! —  
И пред ней на колени став,  
В любви клянется ей граф.  
В зеленых глазах мерцает свет,  
На щеках ее краска стыда.  
Она не сказала ни разу «нет»,  
Хотя не сказала и «да».  
Она так прекрасна и так нежна,  
И так упоительно-покорна она:  
И впервые граф блаженство узнал,  
Целуя рот, что печален и ал.  
Слезы текли из зеленых глаз...  
И графу деву было мучительно жаль.  
Но желанья наши сильнее нас,  
И прекрасна в любви печаль.  
Сон этот снился ему до утра,  
А когда проснулся он,  
Была подушка от слез мокра,  
И страшный он помнил сон.

В герцогском замке одна и грустна  
Прелестная Виолетта сидит у окна,  
Смотрит в вечернюю синюю тьму,  
Песни поет и графа ждет...  
Ах, не едет он к ней почему?  
Прежде он был так нежен и мил,  
А теперь, наверно, ее разлюбил.  
Но вот проходит двенадцать дней —  
Виолетта графа видит из башни своей,  
И вниз спешит по ступеням она  
Оттого, что в графа она влюблена.

Он в залу входит, и смутен он,  
Изысканно вежлив его поклон,  
Но поднять на нее он не смеет глаз.  
И смертельно бледнеет ее лицо.  
— Я давно уже, граф, не видела вас. —  
Виолетта встает, холодна и горда.  
— Наверно, другую любите вы.  
Тогда прощайте, граф, навсегда.  
Я отдаю вам ваше кольцо. —  
И чуть слышно вздохнула: — Увы!  
— Я люблю ту, — был графа ответ, —  
Прекрасней которой на свете нет.  
Но свободы моей не надо мне  
Оттого, что это было во сне.  
А вам, госпожа моя, я жизнь отдам  
И покорным слугою буду вам. —  
Виолетта подумала: «Бредит он,  
И это грешно влюбляться в сон.  
Когда я стану его женой,  
Узнает он верное счастье со мной».  
Граф от невесты едет домой  
Полночной, тихой порой.  
За графом скачет его слуга.  
Дремучий лес сменяет луга...  
Но странно, что нет луны, хоть с небес  
Огромные звезды смотрят в лес.  
Два зеленых глаза горят в вышине.  
И видят они — рысь сидит на сосне,  
Шкура ее, как медь, красна.  
На графа спокойно глядит она  
И кажется кошкой большой,  
Рыжей кошкой, совсем не злой.  
Граф шпоры вонзает в коня:  
— Пресвятая Дева, помилуй меня! —  
Шепчет он, и мчится стрелой  
Конь его по тропинке лесной.  
А граф белей полотна  
И всё повторяет: — Луна... луна...

Тускло сверкает жабий взор,  
Жаба и мышь ведут разговор.  
— Если бы звезды съесть,  
Стало б еще темней.  
Жаль, что на небо никак не взлезть.  
У звезды, должно быть, вкус светляка,  
Головка так же жирна и мягка,  
Только еще вкусней.  
— Девять раз в лесу прокричала сова,  
Я понять не могу слова.  
Слушай, сталь звенит и льется кровь.  
Навсегда я с тобой, моя любовь.  
Нет, нет, ты — летучая мышь,  
И ты мне изменишь, и ты улетишь.  
Как сладко пахнет свежая кровь...  
Слушай, сова закричала вновь.

В капелле ярко свечи горят,  
Виолетта и граф под венцом стоят.  
Да поможет им в жизни Бог!  
Виолетта — нежный, хрупкий цветок,  
Дрожит под белой своей фатой,  
И крестится трепетною рукой,  
И шепчет патеру: — Да.  
— Да, — громко граф повторяет за ней  
И мыслит: «Теперь навсегда!»  
Поет торжественно свадебный хор.  
Рассеянно граф поднимает взор  
И видит: вдали от гостей,  
Белой одежды своей белей,  
Стоит у колонны одна  
Грустная дева странного сна.  
И это не сон, и это не бред...  
Она живая, это она.  
Теперь Виолетта его жена.  
А там, у колонны, стоит она,  
Та, прекрасней которой на свете нет,

И косы ее красны, как медь.  
Ах, лучше бы графу вчера умереть.  
Гнутся столы под тяжестью блюд,  
Гости смеются, едят и пьют,  
И все довольны, и весело всем.  
Один новобрачный грустен и нем.  
Подняв на графа взор голубой,  
Виолетта шепчет: — Любимый мой! —  
И во взоре от счастья блестит слеза,  
И она опускает глаза.  
Но в сердце графа смерть и ад.  
Он слов не находит в ответ,  
И на ту устремляет он страстный взгляд,  
Прекрасней которой на свете нет,  
На ту, что слишком поздно пришла.  
Она так печальна и так светла,  
И первого снега она белей.  
И видит граф, что рядом с ней  
Суровый, черный рыцарь сидит,  
Глаза его черной ночи черней,  
И на графа он мрачно глядит.

Гости встают из-за стола.  
— Граф, я к матери пойду моей,  
Я с вами сегодня ехать должна  
И с ней расстаюсь на много дней. —  
И с улыбкой Виолетта от мужа ушла,  
И рядом с матерью села она.  
В зал входят жонглеры, певцы и шут,  
Сейчас представленье они начнут.  
Вдали от гостей сидит одна  
Грустная дева из странного сна.  
Граф к ней подходит. Низкий поклон.  
И руку ей предлагает он.  
И тихо с кресла она встает,  
Рука ее холодна, как лед;  
Но по жилам графа пробежал огонь,



Когда он тронул ее ладонь.  
Он говорит: — Я давно вас ждал,  
Но я думал, вы — только сон! —  
Она молчала, и он продолжал:  
— Здесь душно, выйдемте на балкон. —  
И они покинули праздничный зал.  
— Отчего вы не приходили ко мне, —  
Спрашивает граф, — как тогда, во сне?  
— Граф, я не понимаю вас,  
Я сегодня вас вижу в первый раз.  
— Но ваш рот, что печален и ал,  
Ваше нежное тело я уже целовал. —  
И в страхе шепчет она, задрожав:  
— Вы бредите, граф.  
Я маркиза de Saint-Arlatte,  
Вот там, у окна, стоит мой брат. —  
Граф обернулся и встретил взор  
Черных глаз, что глядели в упор,  
И черного рыцаря он увидел,  
И холод по телу его пробежал.  
Она говорила: — Далеко мой дом,  
Много дней и ночей плыть пришлось кораблю. —  
Он тихо сказал: — Я вас люблю! —  
И еще тише: — Дорогая, уйдем. —  
И вниз по ступеням, мимо окон,  
В темный сад ее уводит он.  
Луны нет на небе, хоть в тихий сад  
Звезды огромные глядят.  
И покорно с графом идет она,  
Грустная дева из странного сна.  
Он приводит ее на цветущий луг;  
На милом лице ее испуг,  
А косы ее красны, как медь.  
— Ты грустна? Позволь за тебя умереть! —  
Пред ней на колени став,  
О любви умоляет граф.  
В зеленых глазах мерцает свет,

На щеках ее краска стыда,  
Она не сказала ни разу «нет»,  
Хотя не сказала и «да».  
Но когда ее уст коснулся он,  
Она испустила чуть слышный стон.  
И стон этот сразу напомнил ему  
Рысь, и луну, и ночную тьму,  
И жадные пасти свежих могил...  
Но граф сейчас же о всём забыл  
Оттого, что так она нежна —  
И так упоительно-покорна она.  
Слезы текли из зеленых глаз,  
И графу деву было мучительно жаль.  
Но желания наши сильнее нас,  
И прекрасна в любви печаль.  
Вдруг с цветущего ложа встала она.  
— Милая, уходишь ты отчего?  
— Прощайте, граф, я идти должна. —  
И она ушла от него.  
Он умолял ее: — Вернись, вернись;  
Милая, нежная, без тебя я умру. —  
Меж низких кустов проскользнула рысь  
И спряталась в черную нору.

Граф вернулся в праздничный зал,  
И всюду ее он искал,  
Ту, прекрасней которой на свете нет,  
И спрашивал всех, но был общий ответ:  
Девы такой никто не видал.  
И нигде он не мог ее найти.  
И тогда он решил: «Это был сон,  
Что приснился мне среди душистых трав.  
Пресвятая Дева, сон грешный прости!»  
И к Виолетте вернулся граф.  
Нежной улыбкой был встречен он;  
Виолетта сказала: — Я давно вас жду.  
Не было ли холодно вам в саду?

К отъезду трубят рога,  
Уж дверцу кареты открыл слуга.  
Граф с молодой женой  
И пышной свитой едет домой.  
Вдруг черный рыцарь к нему подошел,  
И был он бледен, мрачен и зол.  
— Граф, два слова сказать вам надо мне,  
Но не при графине, вашей жене. —  
Он низкий Виолетте отвесил поклон,  
И в сторону быстро отходит он.  
— Виолетта, я к вам возвращусь сейчас.  
Простите, что ждать заставляю вас. —  
И к черному рыцарю граф идет.  
На графа смотрит с презреньем тот  
И говорит: — Вы забыли, граф,  
Что сестры рыцарей не для забав.  
— Маркиз, не надо напрасных слов, —  
Ответил граф, — идем, я готов! —  
И в сад идут они на зеленый луг.  
На луг, где графу явилась любовь,  
Неужели же здесь прольется кровь?  
Раздастся мечей лязг и стук?  
Огромные звезды смотрят в сад,  
Но странно, что нет луны.  
На сук высокой сосны  
Уселась рыжая рысь,  
И злобой горит зеленый взгляд.  
Вдруг черный рыцарь крикнул: — Молись!  
Сейчас твою душу примет ад! —  
Звон стали, короткий стон,  
И раненый граф на луг упал.  
И луг под ним стал влажен и ал.  
Склонились сосны со всех сторон...  
Так тихо стало кругом,  
Что слышно, как шепчется лист с листом.  
И граф простонал: — Луна...  
Луна умерла! — И умер сам...

Рысь бесшумно подкралась к его ногам  
И лизала из раны теплую кровь,  
А на небе засияла вновь  
Большая, круглая луна.

Жабе говорит летучая мышь:  
— Хорошо цепляться за выступ крыш  
И висеть вниз головой.  
Хочешь, полетим со мной!  
— Я нашла на кладбище человеческий зуб, —  
Ответила жаба, — там, где старый дуб.  
В полночь зарюю его, тогда  
Станет отравой в колодцах вода,  
И много новых будет могил;  
А звон похоронный мне очень мил,  
И много жирных будет червей.  
Пойдем, помоги мне в работе моей! —  
И с жабой уходит летучая мышь.

Ночь, только ночь, и ночная тишь.  
Пресвятая Дева, молитву услышь!  
Я лишилась покоя и сна  
Оттого, что ночь длинна и страшна,  
Оттого, что мертва луна.

## В ТЕ БАСНОСЛОВНЫЕ ГОДА...

\* \* \*

Нет, я не буду знаменита,  
Меня не увенчает слава,  
Я — как на сан архимандрита —  
На это не имею права.

Ни Гумилев, ни злая пресса  
Не назовут меня талантом.  
Я маленькая поэтесса  
С огромным бантом.

*1918*

\* \* \*

— Скажите, вам приятно жить?  
— О да! Конечно, даже очень!  
Мне с жизнью весело дружить,  
Союз наш неразрывно прочен  
И благостен.

За годом год  
Кошачьей поступью идет  
По звеньям той цепи золотой,  
И дуб зеленый надо мной  
Широкошумною листвою,  
Золотоей тишиной

Лирно-лирически поет.  
Всё сладкозвучней, всё нежней.

1919

\* \* \*

А ко мне в полуночном сне  
Прилетала рыжая сестра,  
И со мной пробыла до утра,  
И в подарок оставила мне  
Уголек своего костра,  
Чтобы помнила я о сестре,  
Чтобы косы стали мои  
Красны, как медь,  
Чтобы мне, как и ей, сгореть  
На костре.

1919

\* \* \*

*Н.Гумилеву*

Вьется вихрем вдохновенье  
По груди моей и по рукам,  
По лицу, по волосам,  
По цветущим рифмами строкам:  
Я исчезла. Я — стихотворенье,  
Посвященное Вам.

1919

\* \* \*

Скрипнула зловеще половица,  
Двери распахнулись на балкон.  
Это сон, тебе всё это снится,  
Это только скверный сон.

Вот вхожу я рыжей кошкой  
В комнату твою звенящей тишиной,  
Впрыгнула бесшумно на окошко,  
Зорко наблюдая за тобой.

Как иголки колют злые взгляды  
Немигающих, кошачьих глаз —  
Нет прощения и нет пощады,  
Всё окончится теперь, сейчас.

Легким воздухом ночной прохлады  
Подыши еще в последний раз.

Не уйти тебе от кошки рыжей —  
(Если б ты от сна очнуться мог!..)

Вот я подползаю ближе, ближе,  
Вот сейчас я сделаю прыжок!..

*1921*

\* \* \*

В городе не знаешь даже, что зима,  
В городе большие, мрачные дома,  
И живут в домах расчетливые люди,  
Вечно беспокоясь: что-то завтра будет?

А в лесу морозно, солнечно и тихо,  
Выйдет на прогулку круглая ежиха,

На снегу блестящем колыхнется тень,  
Из еловой чащи выглянет олень,  
Вьется грациозно рыжая лисица  
И поводит носом — чем бы поживиться?  
Звери ищут корма, на небо глядят  
На морозно-райский, розовый закат,  
И в глазах их мысли ясные, простые,  
И совсем небесные, и совсем земные.

1921

\* \* \*

*Г.И.*

Любовь. Как изучать ее законы?  
О чудо из чудес — счастливый брак!  
Бывают изумительные жены —  
Бывают и бывали — это так.  
Да, это непреложный факт.

Вот Пенелопа или Андромаха,  
Покорные и мужу, и судьбе...  
Но я скажу без гордости и страха,  
Без преувеличенья о себе:

Я строю замки на песке сыпучем,  
Слова любви пишу я на воде,  
Но если даже улетишь ты к тучам,  
И там — ни на луне, ни на звезде —  
Ни в мире том, что называют лучшим, —  
Такой жены ты не найдешь нигде.

1922



\* \* \*

*Г.И.*

Летят на юг соловьи  
Дорогой певучей и дальней.  
Улыбаются губы твои,  
Но сердце мое печально.

Откуда печаль моя,  
Хотя бы лишь на мгновенье?  
Ведь мне улыбка твоя —  
Как соловьиное пенье.

*1922*

\* \* \*

Луна. Новогодняя ночь.  
Ворона сидит на окне.  
— Ворона, прошу вас убраться прочь  
И не возвращаться ко мне! —  
Ворона зловещее каркнула «Кра!»  
И, стукнув клювом в окно,  
В сиянии лунном исчезла, но  
Теперь не уснуть до утра.

А время идет.

И вот настает

Тысяча девятьсот

Двадцать первый год.

— Не жди от него добра!..

*1920*

\* \* \*

Я знаю,  
Что в море плавают большие рыбы,  
Спокойно плавниками шевеля,  
И в девственных лесах бредут стадами  
Столетние слоны на водопой,  
И пестрые летают попугаи,  
Гортанным криком воздух наполняя.  
И где-то там, на севере, медведи  
Глядят на белое сиянье ночи,  
И глупые моржи заводят пляски,  
А в городах спешат, толкаясь, люди,  
И трудятся, и проклинаят труд —  
У всякого своя любовь и злоба,  
И собственная горькая судьба.  
И в небе над усталою землею  
Огромные стоят в молчаньи звезды  
И обещают каждому, кто хочет,  
Спокойствие и исполненье снов.

1923

\* \* \*

Сияет дорога райская,  
Сияет небесный сад,  
Гуляют святые угодники,  
На райские розы глядят.

Идет Иван Иванович  
В люстриновом пиджаке,  
С ним рядом Марья Филипповна  
С французской книжкой в руке.

Прищурясь на солнце райское,  
С улыбкой она говорит:  
— Ты помнишь, у нас в Кургановке  
Такой же прелестный вид.

И пахнет совсем по-нашему  
Черемухой и резедой. —  
Сорвав золотое яблоко,  
Кивает он головой.

— Да, всё, как у нас в Кургановке,  
Манюрочка, ручку дай,  
Подумать, мы в Бога не верили,  
А вот и попали в рай.

1923

## БАЛЛАДА О ПЛОЩАДИ ВИЛЛЕТ

*Роману Гулю*

Ложатся добрые в кровать,  
Жену целуя перед сном,  
А злые будут ревновать  
Под занавешенным окном.

А злые будут воровать —  
Не может злой не делать зла.

А злые будут убивать  
Прохожего из-за угла.  
И окровавленной полкой  
Нож осторожно вытрет злой.

А в спальне доброго луна  
Глядит, бледна и зелена,

И злые снятся сны ему  
Про гильотину и тюрьму.  
Он просыпается крича,  
Отталкивая палача.

А злой сидит в кафе ночном  
Над рюмкой терпкого вина,  
И засыпает легким сном,  
Хотя ему и не до сна.

Во сне ему двенадцать лет,  
Он в школу весело бежит.

И там, на площади Виллет,  
Никто убитый не лежит.

*1923*

# КОНТРАПУНКТ

\* \* \*

Я сегодня с утра весела,  
Улыбаются мне зеркала,  
Олеандры кивают в окно.  
Этот мир восхитителен... Но

Если б не было в мире зеркал,  
Мир намного скучнее бы стал.

Если б не было в мире стихов,  
Больше было бы слез и грехов,

И была бы, пожалуй, грустней  
Невралгических этих дней  
Кошки-мышкина беготня —  
Если б не было в мире меня.

*1950*

\* \* \*

По набережной ночью мы идем.  
Как хорошо — идем, молчим вдвоем.

И видим Сену, дерево, собор  
И облака...

А этот разговор

На завтра мы отложим, на потом,  
На послезавтра...  
На когда умрем.

\* \* \*

Всё, о чем душа просила,  
Что она любила тут...

Время зимний день разбило  
На бессмыслицу минут,  
На бессмыслицу разлуки,  
На бессмыслицу «прости».

...Но не могут эти руки  
От бессмертия спасти...

*1950*

\* \* \*

На дорожке мертвый лист  
Зашуршал в тоске певучей.  
Хочется ему кружиться,  
С первым снегом подружиться,  
Снег так молод и пушист.

Неба зимнего созвучья,  
Крыши и сухие сучья  
Покрывает на вершок  
Серебристый порошок.

Говорю на всякий случай:  
— Память, ты меня не мучай.  
Всё на свете хорошо,  
Хорошо, и будет лучше...

*1950*

\* \* \*

Ночь глубока. Далеко до зари.  
Тускло вдали горят фонари.

Я потеряла входные ключи,  
Дверь не откроют: стучи не стучи.

В дом незнакомый вхожу, не звоня,  
Сколько здесь комнат пустых, без огня,

Сколько цветов, сколько зеркал,  
Словно аквариум, светится зал.

Сквозь кружевную штору окна  
Скользкой медузой смотрит луна.

...Это мне снится. Это во сне.  
Я поклонилась скользкой луне,

Я заглянула во все зеркала.  
Я утонула. Я умерла...

*1950*

\* \* \*

К луне протягивая руки,  
Она стояла у окна.  
Зеленым купоросом скуки  
Светила ей в лицо луна.

Осенний ветер выл и лаял  
В самоубийственной тоске,  
И, как мороженое, таял  
Измены вкус на языке.

*1950*

\* \* \*

Сквозь музыку и радость встречи —  
Банально-бальный разговор,  
Твои сияющие плечи,  
Твой романтично-лживый взор.

Какою нежной и покорной  
Ты притворяешься теперь!

Над суетою жизни вздорной  
Ты раскрываешь веер черный,  
Как в церковь открывают дверь.

\* \* \*

В этот вечер парижский, взволнованно-синий,  
Чтобы встречи дожждаться и время убить,  
От витрины к витрине в большом магазине —  
Помодней, подешевле, получше купить.

С неудачной любовью... Другой не бывает —  
У красивых, жестоких и праздных, как ты.  
В зеркалах электрический свет расцветает  
Фантастически-нежно, как ночью цветы.

И зачем накупаешь ты шарфы и шляпки,  
Кружева и перчатки? Конечно, тебе  
Не помогут ничем эти модные тряпки  
В гениально-бессмысленной женской судьбе.



\* \* \*

— В этом мире любила ли что-нибудь ты?..  
— Ты, должно быть, смеешься! Конечно, любила.  
— Что? — Постой. Дай подумать! Духи, и цветы,  
И еще зеркала... Остальное забыла.

1950

\* \* \*

Всё снится мне прибор  
И крылья белых птиц,  
Волшебно-голубой  
Весенний Биарриц.

И как обрывок сна,  
Случайной встречи вздор,  
Холодный, как волна,  
Влюбленный синий взор.

\* \* \*

Над водой луна уснула,  
Светляки горят в траве,  
Здесь когда-то утонула  
Я, с венком на голове.

...За Днепром белеет Киев,  
У Днепра поет русалка.  
Блеск идет от чешуи...  
Может быть, меня ей жалко —  
У нее глаза такие  
Голубые, как мои.

1950

\* \* \*

Но кто такой Роберт Пентегью  
И где мне его отыскать?

*Баллада о Роберте Пентегью*  
И.О.

В такие вот вечера  
    Цветут на столе георгины,  
А в окнах заката парча.  
    Сегодня мои именины  
(Не завтра и не вчера).

Поздравлять приходили трое,  
    И каждый подарок принес:  
Первый — стихи о Трое,  
    Второй — пакет папирос.

А третий мне поклонился:  
    — Я вам луну подарю,  
Подарок такой не снился  
    Египетскому царю...  
(Ни Роберту Пентегью).

1950

\* \* \*

В легкой лодке на шумной реке  
Пела девушка в пестром платке.

Перегнувшись за борт от тоски,  
Разрывала письмо на клочки.

А потом, словно с лодки весло,  
Соскользнула на темное дно.

Стало тихо и стало светло,  
Будто в рай распахнулось окно.

*1950*

\* \* \*

Потомись еще немножко  
В этой скуке кружевной.

На высокой крыше кошка  
Голосит в тиши ночной.  
Тянется она к огромной,  
Влажной, мартовской луне.

По-кошачьи я бездомна,  
По-кошачьи тошно мне.

*1950*

\* \* \*

Я помню только всего  
Вечер дождливого дня,  
Я провожала его,  
Поцеловал он меня.

Дрожало пламя свечи,  
Я плакала от любви.  
— На лестнице не стучи,  
Горничной не зови!

Прощай... Для тебя, о тебе,  
До гроба, везде и всегда...

По водосточной трубе  
Шумно бежала вода.  
Ему я глядела вслед,  
На низком сидя окне...

...Мне было пятнадцать лет,  
И это приснилось мне...

\* \* \*

Каждый дом меня как будто знает.  
Окна так приветливо глядят.  
Вот тот крайний чуть ли не кивает,  
Чуть ли не кричит мне: «Как я рад!

Здравствуйте. Что вас давно не видно?  
Не ходили вы четыре дня.  
А я весь облез, мне так обидно,  
Хоть бы вы покрасили меня».

Две усталые, худые клячи  
Катафалк потрепанный везут.  
Кланяюсь. Желаю им удачи.  
Да какая уж удача тут!

Медленно встает луна большая,  
Так по-петербургски голуба,  
И спешат прохожие, не зная,  
До чего трагична их судьба.

\* \* \*

— Теперь уж скоро мы приедем,  
Над белой дачей вспыхнет флаг.  
И всем соседкам и соседям,  
И всем лисицам и медведям  
Известен будет каждый шаг.

Безвыездно на белой даче  
Мы проживем за годом год.  
Не будем рады мы удаче,  
Да ведь она и не придет.

Но ты не слушаешь, ты плачешь,  
По-детски открывая рот...

\* \* \*

Как неподвижна в зеркале луна,  
Как будто в зеркало выросла она.

А под луной печальное лицо,  
На пальце обручальное кольцо.

В гостиной плачет младшая сестра:  
От этой свадьбы ей не ждать добра.

— О чем ты, Ася? Отчего не спишь?  
— Ах, Зоя, увези меня в Париж!

За окнами осенний сад дрожит,  
На чердаке крысиный яд лежит.

Игру разыгрывают две сестры,  
Но ни одной не выиграть игры.

На свадьбе пировали, пили мед,  
Он тек и тек, не попадая в рот.

Год жизни Зоиной. Последний год.

\* \* \*

Облокотясь на бархат ложи,  
Закутанная в шелк и газ,  
Она, в изнеможеньи дрожи,  
Со сцены не сводила глаз.

На сцене пели, танцевали  
Ее любовь, ее судьбу,  
Мечты и свечи оплывали,  
Бесцельно жизнь неслась в трубу,

Пока блаженный сумрак сцены  
Не озарил пожар сердец  
И призрак счастья... Но измены  
Простить нельзя. Всему конец.

Нравоучительно, как в басне,  
Любовь кончается бедой...

— Гори, гори, звезда, и гасни  
Над театральной ерундой!

\* \* \*

В руках жасминовый букет,  
И взгляд невинно-удивленный,  
И волосы, как лунный свет,  
Косым пробором разделенный.

Сквозь тюлевый туман фаты  
Девическое восхищенье...  
Но неужели это ты,  
А не твое изображение

На полотне за гранью лет,  
В поблекшем золоте багета,  
Воображаемый портрет,  
«Банальная мечта поэта»?

\* \* \*

Летала, летала ворона.  
Долетела до широкого Дона,  
А в Дону кровавая вода —  
Не идут на водопой стада,  
И в лесу кукует не кукушка,  
А грохочет зенитная пушка.

Через Дон наводят мосты,  
И звенят топоры и пилы,  
Зеленеют братские могилы,  
На могилах — безымянные кресты...

А вороне какое дело —  
Вильнула хвостом и домой улетела.

\* \* \*

Угли краснели в камине,  
В комнате стало темно...  
Всё это было в Берлине,  
Всё это было давно.

И никогда я не знала,  
Что у него за дела,

Сам он рассказывал мало,  
Спрашивать я не могла.

Вечно любовь и тревога...  
Страшно мне? Нет, ничего.  
Ночью просила я Бога,  
Чтоб не убили его.

И уезжая кататься  
В автомобиле, одна,  
Я не могла улыбаться  
Встречным друзьям из окна.

\* \* \*

Серебряной ночью среди шумного бала,  
Серебряной ночью на шумном балу,  
Ты веер в волненьи к груди прижимала,  
Предчувствуя встречу к добру или злу.

Среди шумного бала серебряной ночью  
Из музыки, роз и бокалов до дна,  
Как там на Кавказе когда-то, как в Сочи,  
Волшебно и нежно возникла весна.

Серебряной ночью среди шумного бала  
Кружилась весна на зеркальном полу,  
И вот эмигрантской печали не стало,  
И вот полудетское счастье сначала,  
Как в громе мазурки на первом балу,

Как там на Кавказе когда-то, как в Сочи,  
Среди шумного бала серебряной ночью...



\* \* \*

Далеко за арктическим кругом,  
Распластав поудобней хвосты,  
Рассуждали тюлени друг с другом,  
Называя друг друга на «ты».

Согласились разумно тюлени:  
Жизнь спокойна, сытна, весела  
И полна восхитительной лени,  
Много холода, мало тепла,  
Ни надежд, ни пустых сожалений.

Жизнь от века такую была...

А про ландыши, вешнее таянье,  
Исступленное счастье, отчаянье  
Сумасшедшая чайка врала  
Перед тем, как на льду умерла.

1950

\* \* \*

За окном сухие ветки,  
Ощущенье белки в клетке.

Может быть, я, как и все,  
Просто белка в колесе?  
И тогда мечтать не вправе  
Я о баснословной славе?

Слава всё равно придет,  
Не сейчас, так через год.

1950

\* \* \*

Ключья света, обрывки тепла,  
Золоченой листвы фалбала,

Сад в муаровой шумной одежде  
Легкомысленно верит надежде,

Что не будет от осени зла,  
Что она, как весна, весела.

Вспоминаю, насколько я прежде  
Рассудительней, старше была

И насколько печальной жила.

*1950*

\* \* \*

Банальнее банального,  
Печальнее печального,  
Умильнее умильного  
Под гром оркестра бального,  
А дальше — право сильного,  
Без разговора дальнего.

А там — совсем банальщина,  
Шампанское, цыганщина.

Банальнее банального  
«Прости» свистка вокзального,  
Печальнее печального  
В купе вагона спального,  
В ночи с огнями встречными,  
С цветами подвенечными,

Железа бормотание:  
«В Ис-панию, в Ис-панию»...

\* \* \*

В белом дыму паровоза,  
Возле вагонных колес,  
Были улыбки и розы,  
Не было правды и слез.

Так в этот час расставанья,  
В час умиранья души  
Он говорил: «До свиданья,  
Ведь ненадолго. Пиши...»

Сердце царапают кошки.  
Все утешенья — вранье.  
... Белый платочек в окошке  
Делает дело свое.

\* \* \*

Прощанье на вокзале,  
Прощальные цветы.

На «вы» или на «ты»?..

— Зачем вы не сказали?  
Ведь я простить могла,  
Ведь я не помню зла...

— Не надо расставаться,  
Двенадцать, нет — тринадцать  
Минут еще осталось,  
И можно всё решить...

— Мне больно. Я устала,  
И времени так мало,  
Так трудно говорить...

Широкая перчатка,  
Дорожное пальто.  
...В Берлине пересадка...

Ах, это всё не то!  
Осталось восемь, семь...  
И нет минут совсем,  
И всё же надо жить...

Свисток. И говор шведский...

Навек твой профиль детский,  
Навек твой детский рот...

...А поезд уж идет.

\* \* \*

Из счастья не вышло ничего —  
Мы елки не зажгли под Рождество,  
Не встретили мы вместе Новый Год,  
На лыжах мы не бегали.

И вот  
На счастья поставить надо крест...

Как театрально суетлив отъезд!  
Опять разлука. О, в который раз  
Мужские слезы из холодных глаз!  
В который раз «навсегда», «навсегда»!  
Слова, как ветер, слезы, как вода.

— Так до весны, не забывай... — Свисток.  
Летает голубем в руке платок.

Всё кончено. И всё же надо жить.  
Сесть у окна. На столик положить  
Свой похоронно-свадебный букет.

...Ни прошлого, ни будущего нет...

\* \* \*

Не дни, не часы, а столетья  
В разлуке, дотла сгорев...  
И вот наконец Венеция,  
Дворцы и Крылатый лев.

Стеклянные воды канала,  
Голубизна голубей.  
Ты плакала: «Мне этого мало.  
Убей меня лучше. Убей!..»

Казалось, что даже и смертью —  
Ничем уж тебе не помочь  
Не в первую, нет, а в третью  
Венецианскую ночь...

— Послушай, поедem в Венецию!..

\* \* \*

Весной в лесу таинственном,  
Булонском, восхитительном...  
О, этот день таинственный,  
Блаженный, светлый, длительный.  
Трубит труба победная,  
Труба автомобильная.  
Весна такая бледная,  
Бессильная, холодная,  
А платье очень бедное

(На медные гроши),  
И сумочка немодная,  
Чулки не хороши,  
И даже шляпка — пыльная.

В Лоншане скажут лошади,  
Конечно — страшно нравится,  
До одури, до зависти...  
О, только бы прославиться,  
Чтобы на круглой площади  
Мне памятник стоял!

— Но разве можно выиграть?  
— Попробуй. Ведь игра.

Теперь как раз пора  
Побить удачу козырем,

С победой по пути,  
И в дом над белым озером  
Хозяйкою войти.

Женою? Нет, вдовою,  
С влюбленностью, с тоскою  
(Пока шумит гроза),

И слабою рукою  
Закрыть ему глаза...

\* \* \*

Всё на земле кончается,  
Теряется, находится...  
Волна с волной встречается,  
Волна с волной расходится...  
На мачте флаг качается,  
А в трюме крысы водятся.

Растрепанная, шумная  
Душа по горю треплется,  
Высоко в небе теплится  
Звезда зелено-думная.

Бессонница... Несносица...  
Соленый бром... Истерика...  
Тоски разноголосица.  
Ни отдыха, ни сна.  
А сердце в омут просится...

— Привет тебе, Америка,  
Чужая сторона! —  
Но если в волны броситься,  
Не доплывешь до берега  
И не достанешь дна...

\* \* \*

Под лампой электрической,  
С улыбкой истерической,  
В подушку головой.

По полю, под луной  
Летит стрелой лисица...  
Нет, это только снится.  
Нет, это скверный сон —  
И казино, и Ницца,  
И лунный Пантеон.

И всё ж она гордится  
Богатством, и собой,  
И горькою судьбой.

Она такая странная,  
Прелестная и пьяная,  
И — вдребезги стакан...

— Вы из далеких стран?  
Вам хочется любить?  
Вам хочется пожить  
На маленькой земле  
В печали и тепле?..

\* \* \*

В аллеях бродят сумерки  
Тоскливо, будто умер кто-то.  
Жасмин под ветром ежится  
И сыпятся цветы.  
Опять мелькает рожица  
Несбыточной мечты.

Как за решеткой пленница,  
Горит звезда-изменница,  
И в радиоприемнике  
Любовь зовет и пенится.

Истасканное, пошное  
Хрипит чужое прошлое,  
Любви мешая петь —  
Про встречи и разлуки:  
— О, перестань хрипеть!  
Про плечи, губы, руки,  
О сладостном грехе  
И прочей чепухе.

Но зябнущее сердце  
Уже попало в сеть.  
О, только бы согреться,  
Согреться и сгореть.



\* \* \*

Было счастье подвенечное,  
Было платье бесконечное,  
Шлейф, как Млечный путь.  
Звезды, розы и приветствия  
И классически — Венеция.

Все причины и все следствия,  
    Вся земная суть.  
С океанскою безбрежностью,  
С восхищеньем, с нежной ревностью,  
С праздничною повседневностью  
    Ночи до утра...

Это всё вчера,  
А теперь пора  
Днями жить, а не ночами,  
Стать портретом в пышной раме,  
От тоски и от удушья  
Научиться равнодушью,  
Одиночеству вдвоем.  
Принимать, вести свой дом.  
Быть женою экономной,  
Томной, скромной, вероломной...  
    Вся земная суть,  
    Вся земная жуть.

### БАЛЛАДА О ГУМИЛЕВЕ

На пустынной Преображенской  
Снег кружился и ветер выл.  
К Гумилеву я постучала,  
Гумилев мне двери открыл.

В кабинете топилась печка,  
За окном становилось темней.  
Он сказал: «Напишите балладу  
Обо мне и жизни моей.

Это, право, прекрасная тема».  
Но, смеясь, я ответила: «Нет!  
Как о вас написать балладу?  
Ведь вы не герой, а поэт».

Он не спорил. Но огорченье  
Промелькнуло в глазах его.  
Это было в вечер морозный  
В Петербурге, на Рождество.

Я о нем вспоминаю всё чаще,  
Всё печальнее с каждым днем,  
И теперь я пишу балладу  
Для него и о нем:

Плыл Гумилев по Босфору  
В Африку, страну чудес,  
Думал о древних героях  
Под широким шатром небес.

Обрываясь, падали звезды  
Тонкой нитью огня,  
И каждой звезде говорил он:  
«Сделай героем меня!»

Словно в аду, в пустыне  
Полгода жил Гумилев,  
Сражался он с дикарями,  
Охотился на львов.

Со смертью не раз он встречался  
В пустыне под небом чужим;

Когда он домой возвратился,  
Друзья потешались над ним:

«А, Николай Степаныч,  
Ну, как веселились вы там?  
И как поживают жираф и  
Друг ваш гиппопотам?»

Во фраке, немного смущенный,  
Вошел он в сияющий зал  
И даме в парижском платье  
Руку поцеловал:

«Я вам посвящу поэму,  
Я вам расскажу про Нил,  
Я вам подарю леопарда,  
Которого сам убил».

Веял холодом страусовый веер,  
Гумилев не нравился ей:  
«Я стихов не люблю.  
На что мне шкуры диких зверей?»

Когда войну объявили,  
Гумилев ушел воевать.  
Ушел и оставил в Царском  
Сына, жену и мать.

Средь храбрых он был храбрейшим,  
И, может быть, оттого  
Вражеские снаряды  
И пули щадили его.

Но приятели косо смотрели  
На Георгиевские кресты:  
«Гумилеву их дать — умора!»  
И насмешка кривила рты.

«Солдатские. По эскадрону.  
Кресты такие не в счет.  
Известно, он дружбу с начальством  
По пьяному делу ведет!..»

...Раз незадолго до смерти  
Сказал он уверенно: «Да!  
В любви, на войне и в картах.  
Я буду счастлив всегда.

Ни на море, ни на суше  
Для меня опасности нет!»  
И был он очень несчастен,  
Как несчастен каждый поэт.

Потом поставили к стенке  
И расстреляли его.  
И нет на его могиле  
Ни креста, ни холма. — Ничего.

Но любимые им серафимы  
За его прилетели душой,  
И звезды в небе пели:  
...Слава тебе, герой!..

1923

## СТИХИ, НАПИСАННЫЕ ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ

\* \* \*

Мне казалось всегда, что писатель  
Очень нужен на этой земле,  
И что я для Вас, мой читатель,  
Как тепло, как еда на столе.

Но какое Вам, в сущности, дело  
До того, что я стать хотела  
Другом Вашим, опорой в борьбе,  
Утешеньем в горькой судьбе.

Вот пишу я черным по белому,  
По щемяще до слез сожалелому,  
Без утайки и без прикрас,  
Откровенно, как в смертный час, —

Обо всём, что я не сумела,  
Как горела душа и болела,  
Как томилась и как всецело —  
Вами, с Вами, о Вас, для Вас.

\* \* \*

Помурлычь, Серокошка-Краля,  
Уложив на макушке ушки,  
Помурлычь на моей подушке,  
Отгони болезнь и печали.

С каждым вздохом глотаю бритву,  
Ненавижу Блеза Паскаля  
За его дурную «молитву  
Об использовании болезни».  
Что болезни еще бесполезней  
И бессмысленнее страдания?

«До свиданья, ночь! До свиданья!»  
Как шальные, кричат петухи.

В этот час таинственно-ранний,  
В час томительных воспоминаний  
Заклинаю страданье: — Исчезни!

И чтоб мне простились грехи,  
Превращая болезнь в стихи.

1949

\* \* \*

— Вам надо уехать в Египет —  
Вам вреден Париж весной,  
Вам это совсем не по силам.  
— Ах, доктор, старик смешной!

За окнами дождик сыплет  
С упрямою косизной,  
Как скучно лежать больной!

...А ласточки в теплом Египте,  
В шушаньи стотысячекрылом,  
С мечтою на каждом крыле,  
На север готовы лететь,  
И Нил плодотворным илом  
Разлился на целую треть.

— О, любите меня, любите,  
Удержите меня на земле,  
О, любите меня, любите,  
Помешайте мне умереть!

1949

\* \* \*

Вот палач отрубил мне голову,  
И она лежит на земле.  
И ни золотом, и ни оловом...  
Кончен спор о добре и зле.  
И теперь уже, плачь не плачь,  
Не пришьет головы палач.

Посмотри, какая красивая —  
Косы черные, как смоль.  
А была гордячка спесивая,  
Презирала бедность и боль.

Только как же?.. позволь, позволь!..  
Если это моя голова,  
Как могла я остаться жива?  
И откуда черные косы  
И глаза лукаво-раскосые?  
И какая же я гордячка?

Вьются вихри. Несется конница,  
Пол вздымает морская качка,  
В лоб стучится, в сознание ломится  
Балаболка — ведьма — бессонница.

— Надоела! Которую ночь.  
Убирайся отсюда прочь!..

Убирайся! Всё это бред —  
Уголек, залетевший из ада,  
Лепесток из райского сада —  
Никакой головы здесь нет.

Никакой головы. Ничего.  
Беспощадно метет метелка,  
Полнолунным светом звеня,  
Выметая в пространство меня.

Дверь распахнута в праздничный зал,  
Сколько там позолоты и шелка,  
И гостей, и цветов, и зеркал!  
В зеркалах отражается елка,  
Оттого, что всегда Рождество —  
Вечный праздник на Божьем свете.

В хороводе кружатся дети.  
Кто же я?

Одна из детей?

Снова детство —

Как скучно!..

А если

Я одна из старушек-гостей,  
Прапрабабушка в шелковом кресле?..

— Замолчи, замолчи, балаболка!  
Замолчи, не трещи без умолка!  
Ты же видишь прекрасно: я — елка.  
Я вот эта елка зеленая,  
Блеском свечек своих ослепленная.  
Как волшеббно...

Как больно...

Огонь!..

1949



\* \* \*

Над зеленой высокой осокой скамья,  
Как в усадьбе, как в детстве, с колоннами дом.  
Возвращается ветер на круги своя,  
В суету суеты, осторожно, с трудом...

Возвращается ветер кругами назад  
На пустыню библейских акрид и цикад,  
На гору Арарат, где шумит виноград  
Иудейски картаво. На Тигр и Евфрат.  
Возвращается ветер, пространством звеня,  
На крещенский парад, на родной Петроград,  
Возвращается вихрем, кругами огня...

— Ветер, ветер, куда ты уносишь меня?..

\* \* \*

Подушка, тетрадь, чернила,  
Жасмин и солнце в окне.  
Ленора, Сольвейг, Людмила,  
Русалка на лунном дне.

...О том, как жизнь я любила,  
Как весело было мне.

О том, что моя тоска  
Тяжелее морского песка.

\* \* \*

Фотография, книжная полка  
И болезни моей протокол,  
Одеяло, сбитое с толка,  
Улеглось на холодный пол,

Но в пуховой подушке иголка,  
И в груди отдается укол...

...Тень охотника проскользнула  
За косматою тенью льва,  
Ледяная звезда блеснула  
Сквозь оконные кружева...

Я спросила у книжной полки:  
— Как зовут звезду?.. — Орион.

...Тени пальцев тенью иголки  
Вышивают счастливый сон...

\* \* \*

Я всё понимаю и слышу  
Не хуже, чем кто другой:  
Вот падает снег на крышу,  
Бубенчик поет под дугой —  
И мчатся узкие санки  
Вдоль царственно белой Невы...

...Потом я жила на Званке  
В гнезде у вдовой совы.

О том, что было когда-то,  
Мне лучше не помнить совсем —  
Глазастых собак, и солдата,  
И дочек. Их было семь.

Ах, дочки мои — цветочки  
В сияющем райском саду  
(...А вдруг они тоже в аду?..)

Довольно! Дошла я до точки  
В беспамятстве и бреду  
И дальше — нет — не пойду!

\* \* \*

В окнах светится крест аптеки,  
Цвет зеленый — надежды цвет,  
Мой пушистый зеленый плед.  
Закрываю, как ставни, веки.  
Может быть, это счастье навеки,  
А совсем не жар и не бред.

Разбиваются чайки о снасти,  
Разбиваются лодки о льды,  
Разбиваются души о счастье,  
Как бы ни были души горды.  
Расцветают крестами сады,  
Далеко до зеленой звезды...  
    Как мне душно.  
        Дайте воды!..

\* \* \*

Прилетают голуби поштучно  
И воркуют на окне гурьбой.  
Как в Венеции, воркуют звучно,  
Утешительно, наперебой.

— Ах, мои дружочки-голубочки,  
До чего же вы народ смешной!.. —  
В голове рифмованные строчки,  
Как адриатический прибой...

День закончился благополучно,  
Словно точкой, круглою луной,  
Удивительно, что мне не скучно,  
Даже весело лежать одной.

\* \* \*

...Горит над пустыней звезда,  
Верблюды, волхвы, цари,  
Их тысяча двадцать три,  
И каждый принес мне подарок  
За прежние все года...  
— Гитара, звени, говори  
О счастья навсегда!..

...Звезда, как осколок льда...  
Звезда, как свечной огарок,  
И вдруг погасла звезда!..

...Пушистость зеленого пледа —  
И нет бутафории бреда,  
Шампанского, влажных роз,  
Египетских папирос,  
Влюбленных глаз визави...

Но всё продолжает гитара  
Обрывками счастья и жара  
Разгульно звенеть в крови...

\* \* \*

Началось. И теперь опять  
Дважды два не четыре, а пять.

По ковру прокатился страх  
И с размаха о стенку — трах!  
Так, что искры посыпались вдруг  
Из моих протянутых рук.  
Всё вокруг двоится, троится,  
В зеркалах отражаются лица,  
И не знаю я, сколько их,  
Этих собственных лиц моих.

На сосну уселась лисица,  
Под сосной ворона стоит.  
Со щитом? На щите? Нет, щит  
На воротах Цареграда прибит.

Как в лесу сиротливо и сыро,  
До чего можжевельник сердит!

Бог послал мне кусочек сыра,  
Нет, совсем не мне, а вороне,  
Злой вороне в железной короне,  
Значит, ей, а не мне, повезло.

Но лишившись царского трона,  
Трижды каркнула злая ворона  
Пролетающей тройке назло.  
Кучер гикнул. Взметнулись кони.

— Берегись! Сторонись, посторонний! —  
Сном и снегом глаза занесло.

Соловьиная трель телефона  
Вдруг защелкала звонко:  
— Алло?

Сразу всё в порядок пришло.  
Нереальность скользнула на дно,  
В глубину зеркального лона,  
Там, где рифмы коралловый риф,  
Там, где ритмов прилив и отлив,  
Там, где ей и лежать суждено.

Легкий месяц сияет в эфире,  
Уводя облаками на юг.  
Лампа светит уютней и шире,  
Образуя спасательный круг.  
И теперь, как повсюду в мире,

В эмигрантской полуквартире  
Дважды два не пять, а четыре.

Значит, кончено. Спать пора.  
Спите, спите — без снов — до утра!

*1950*

# ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Вот наша жизнь прошла,  
А это не пройдет.

*Георгий Иванов*

\* \* \*

Всё чисто для чистого взора.

*Н.Гумилев*

Ни спора с судьбой. Ни укора.  
Жара и усталость. Бреду  
Одна вдоль чужого забора,  
Одна, как повсюду на свете.

Закатные розы в саду,  
На небе закатная роза,  
И те огорченья, и эти  
В победно-лучистом свете  
Заката Апофеоза.

И ветер в асфальтном чаду  
Вздыхает облаком сора:  
— Всё чисто для чистого взора  
В земном и небесном аду.

\* \* \*

Я говорю слова простые эти,  
Сгорая откровенностью дотла:  
Мне кажется, нельзя на свете  
Счастливей быть, чем я была.

Весельем и волнением ожидания  
Светился каждый новый день и час,  
Без сожалений, без воспоминаний,  
    Без лишних фраз  
    И без прикрас,  
Всё было для меня всегда как в первый раз.

    Всегда ждала я торжества и чуда,  
    Волхвов,  
        Даров,  
            Двугорбого верблюда,  
Луны, положенной на золотое блюдо,  
И, главное, читательской любви.



# ОДИНОЧЕСТВО

Одиночество мое,  
одиночество твое,  
Наше, ваше, их  
одиночество.  
*И.О.*

\* \* \*

В городском саду,  
В теплом свете дня,  
Лирою скользит  
Лебедь на пруду.

— Я сейчас приду,  
Подожди меня.  
Возле тучки той,  
Как верблюд, горбатой.

Я сейчас приду,  
Подожди меня  
И побудь со мной  
До заката.

\* \* \*

Сон без начала и конца,  
Сон в центре звездного кольца,  
Сон, раскаленный добела.  
В сияньи тонет голова,  
Сияньем кружатся слова.

Из лука воина-стрельца  
Летит крылатая стрела,

Летит и ранит Льва —  
Льва или Солнце?

Стон львино-солнечной тоски,  
Сон раскололся на куски.  
Но нет. Сон цел.

Осколки сна, как голубки,  
Влетают в круглое оконце  
Высокой тесной голубятни.  
И сон становится понятней,  
Насквозь, как море, голубой,  
И можно быть самой собой,  
Пока я сплю, пока сон цел,  
Пока божественный прицел  
Стрелу приводит прямо в цель,  
И Пана пьяная свирель  
Тревожит легконогих нимф  
(Пан здесь! О, встретиться бы с ним!),  
И пенное морское чудище  
Из скользких ритмов, хрупких рифм  
Коралловый возводит риф,  
Русалочий слагает миф.

Не с Паном, нет, не с пенным чудищем,  
Не с человеком, не со зверем  
Всем огорченьям, всем потерям

Наперекор

Веду

Я с небом разговор

О будущем

В раю.

\* \* \*

Сердце чужое (ваше, читатель?  
Ваше, мечтатель?  
Ваше, прохожий?)  
Бьется в груди моей  
Всё разностопнее, всё тяжелей  
Ночью, и днем, и даже во сне,  
Повторяя одно и то же,  
Непонятное мне.

На стене, на полу, на окне —  
Серебристо-лунные блики,  
И звенит соловьиное пение  
Полнолунного наваждения.  
В зеркалах черномазые рожи  
И прелестные нежные лики —  
Расплываются в лунной дрожи,  
Хоть они и мое отраженье,  
Все они на меня не похожи,  
А за ними, как фон, в зеркалах  
Рассыпается искрами страх.

— Помогите мне! Помогите!  
Далеко на острове Крите  
Лабиринт, Минотавр кровожадный  
И ведущая нить Ариадны.

Но найдутся другие нити,  
Те, что вас приведут ко мне, —  
Отыщите их, отыщите!

\* \* \*

Можно ли еще писать стихи  
Всерьез?

*И. О.*

Вот елочка, а вот и белочка.  
*Георгий Иванов*

Довольно вздор нести  
Про Терек и Дарьял —  
Из щепетильности  
Я жизнь потерял.  
Но это до меня  
Уже Рембо сказал.

Рембо сказал. Я повторила,  
Немного изменяя.  
В чужих словах магическая сила,  
Чужое часто очень мило,  
И даже до чего  
Милее своего.

Так вот — под Рождество  
Слова плечом к плечу,  
Скрипя, треща, звеня,  
Бегут, как на вокзал  
К отходу поезда.  
О, только бы успеть,  
О, только бы суметь  
Сказать

То,  
Что  
Хочу!

Совсем не то, что говорю всегда,  
Совсем иное. Да!

Звонок последний, третий.  
Как много нужно слов,  
Недоговорок, строк и строф

Пред тем,  
        Как умереть — и  
Стать наконец (конец — венец):  
Навеки глух и нем,  
Не понятый никем.

Постскриптум:  
                                Ум

Зашел за разум,  
За горы чепухи,  
Рассыпался по фразам,  
Запратался в стихи.

Ошибок и неправильностей риф  
И вдохновения отлив-прилив.  
Не спорю, правильно «жизнь», а не «жизень»,  
Не «изменя», а «изменив»,  
Но — извините, я капризен,  
Вернее — я капризна. Даже очень.  
Словарь мой ангельски-неточен,  
Мне нравятся созвучья лиро-лирные,  
Барокко-рококо-ампирные,  
Не значащие ничего.  
Мне нравятся неправильности речи,  
Они горят, как елочные свечи.

А белка, елка, Рождество —  
Слова, что мне милей всего,  
Всех прочих слов на свете.

Постскриптум просто так,  
Для разъяснения  
                                Читателей недоуменья,  
Его примите просто как  
                                Любви и преданности знак.

\* \* \*

В сквере женщина седая  
Плоскогрудая, худая,  
Шарф дырявый теребя,  
Напевала про себя:  
— Месяц, друг печальный мой,  
Как мне хочется домой —  
В Петербург над царственной Невой!

Беженка-изгнанница,  
Я устала кланяться  
И с протянутой рукой  
Подходить к чужим порогам,  
Слушать окрик: «С Богом, с Богом!  
Нищим тут  
Не подают!..»

Милый месяц, я устала.  
Ах, напрасно убежала  
Я из собственной страны.  
Месяц, опустись пониже!  
Месяц, подойди поближе!  
Месяц, сжался надо мной,  
Унеси меня домой!

Так тихонько напевала  
Женщина в уснувшем сквере  
Ночью лунною в Париже.

\* \* \*

Как ты любила зеркала  
Любовью непонятной с детства, —  
Ты в руки зеркало брала,  
Не зная, как в него глядеться.

Полуоткрыв от страха рот,  
Над зеркалом ты наклонялась  
И, как Нарцисс над гладью вод,  
Вдруг восхищенно улыбалась.

Еще не зная, что себя,  
Свое ты видишь отраженье,  
Уже восторженно любя  
Души земное воплощенье.

\* \* \*

Полнеба охватила мгла...  
*Тютчев*

Над золотою полосой заката  
Таинственно и чудно за звездой звезда...  
...Да, я, конечно, я когда-то,  
В те баснословные года...

Но в установленные роком сроки  
Всё унесли сороки-белобоки —  
И молодость мою, и деньги — на хвосте.

И все-таки сознаться мне пора,  
Нет, никогда,  
Ни в те года,  
    Ни в те, ни в те,  
Счастливей, чем сейчас,  
Вот в этот золотой закатный час,  
Когда почти доиграна игра,  
Когда полнеба охватила мгла,  
Счастливей, чем сейчас,  
Я не была.

\* \* \*

Я живу день изо дня  
Океански одиноко,  
И не знаю, отчего  
Нет ни одного  
Друга у меня.

И казалось — что грустней,  
Безнадежней и темней  
Горестной моей судьбы?

Ну, а вот, поди,  
Бьется радостно в груди  
Сердце.

Если б, если б да кабы  
Улететь бы мне в Америку,  
В Тегеран, на Арарат,  
В Индию, в Китай, и к Тереку,  
И в Москву, и в Петроград,  
Чтобы встретиться с тобой.

Друг далекий, друг и брат,  
Где бы ни жил ты на свете,  
На одной со мной планете,  
Разве встрече ты не рад? —  
Нашей встрече долгожданной,  
Нам обещанной с тобой  
Нашей общею судьбой?

Ты читаешь строки эти,  
Ты в глаза мои глядишь,  
Сонно закрываешь веки —

Остальное свет и тишь,  
Как в раю —  
навек,  
навек.



\* \* \*

Этот дом совсем обыкновенный.  
Он не маленький и не большой.  
В серый цвет окрашенные стены,  
Вывеска зеленая: «Портной».

Внешности обманчивой не верю,  
Поднимаюсь во второй этаж,  
Знаю, спрятался за этой дверью  
Мир чудесный и почти не наш.

На диване мы сидим в столовой.  
Георгины. Окна на восток.

Бьют часы одиннадцать. И снова  
Раскрывается бесшумно потолок.  
И с небес по лестницам прозрачным  
Из благоуханной темноты  
Ангелы спешат к нам, новобрачным,  
Рассыпая звезды и цветы.

Но ничто не кажется мне странным,  
Мы смеемся, пьем остывший чай,  
А потом по лестницам стеклянным  
Мы поднимемся, за ангелами, в рай.

\* \* \*

Я поздравленья к Рождеству  
Пишу за океан родным:  
«Париж Вам низкий шлет поклон!»  
Пишу, зачеркиваю, рву  
(Не те слова — банальный тон).

А за окошком — белый дым,  
Морозный воздух, звездный звон...  
...Сквозь белый дым фонарь блестит,  
Сквозь белый дым душа летит —  
Сквозь белый дым, и звон, и сон...

Всё выше, выше, не дыша,  
Летит смущенная душа.  
Навстречу ей, по облакам,  
По райски хрупким лепесткам,  
Пугая лунных лягушат,  
Подруги легкие спешат:  
— Ты, наконец, вернулась к нам!

Но длится встречи торжество  
Недолго — только миг один,  
Короткий миг —

И нет его.

Что это было? Ничего.  
И снова стол, и груда книг,  
Фонарь сквозь кружево гардин,  
Сон наяву —  
И поздравленья к Рождеству.

1924

## ЗЛАТАЯ ЦЕПЬ

И днем и ночью кот ученый  
Всё ходит по цепи кругом.

*А. С. Пушкин*

\* \* \*

Парапсихическое ощущение  
Реальной нереальности. И вот,  
Предчувствуя стихотворенье,  
Ко мне слетает вдохновенье  
И ямбами мурлычит кот.  
Мой мудрый кот, мой кот ученый,  
Суть политических интриг  
И стихотворные законы  
Мой мудрый кот вполне постиг  
И в парапсихику проник —  
Она не для его персоны.

Он потянулся, полусонный,  
Взмахнул хвостом, в окошко прыг!  
И побежал на Лукоморье.

1975

\* \* \*

Королевская мантия  
И корона рассыпались в прах...

Надоели мне анти-я,  
Анти-я, что живут в зеркалах,  
И в стихах моих, и грехах,

Ну, конечно, и в добрых делах  
Тех, что я по ошибке творю.

Лишь под утро, встречая зарю,  
Расцветающую за окном,  
Между полусознанием и сном,  
Я не больше пяти минут  
Настоящая.

А потом —

Ничего не поделаешь тут —  
День идет своим чередом,  
Превращая меня в другую,  
Иль, точнее, в многих других  
Анти-я, мне почти враждебных,  
Анти-я, обманно волшебных,  
Лженесносных — как много их!

До чего же они, до чего же  
На меня совсем не похожи!

1975

\* \* \*

*Ю.Терапиано*

Тень пространства, времени тень,  
День сегодняшний, день вчерашний,  
Ну, конечно, и завтрашний день...

Я живу в поднебесьи, на башне,  
Неуютно и тесно живу  
Не во сне, а впрямь, наяву,  
Как во чреве кита Иона,  
Без комфорта и без телефона,  
Так, как жили во время оно,  
А не в атомные года.

Прилетает ко мне иногда  
Ведьма с Брокена для развлечения,  
Чтоб со мною писать стихи,  
От безудержного вдохновенья  
Превращать их в лесные мхи,  
В мухоморы и лопухи,  
В отголоски райского пенья —  
Те, что в памяти прозвучат  
У моих нерожденных внучат,  
Как надежда и как утешенье.

\* \* \*

*Я.Н.Горбову*

Снег — серебряный порошок —  
Щедры сыпят добрые тучи,  
До чего же мне хорошо,  
Никогда не бывало лучше!..

Твердо помню — теперь девятьсот  
Семьдесят пятый год —  
Год всемирного заката, —  
До которого я когда-то  
И не думала, что доживу,

Только это совсем негоже.  
Чепуха. Ни на что не похоже.  
Но со мной — не во сне — наяву  
Очень странное что-то творится,  
Будто время идет для меня  
Час от часу, день ото дня  
Не вперед, а назад,  
Будто я становлюсь моложе,  
А не старше, чем прежде была.

Я смотрю из окна на сад —  
Всё в саду на праздничный лад  
По-весеннему веселится.  
Вот, слетев на обрубок ствола,  
Вдруг запела Синяя Птица,  
Круглоглазая, как сова, —  
Птица счастья из сказочной зоны:  
«Жизнь прошла. Безвозвратно прошла.  
Жизнь прошла, а молодость длится».  
И в ответ ей мой кот ученый,  
Мудрый кот лукоморный мой,  
Замурлыкал: — Постой, постой.  
Дай подумать... Эти слова  
Ты когда-то давно написала,  
Но теперь лишь мне ясно стало,  
До чего ты была права.

1975

## АНТИТЕЗА

Довольно вздор нести  
Про ту страну, куда Макар,  
Кипя, как самовар,  
Телят, а не котят,  
Гонял иль не гонял.  
Из щепетильности я жизнь потерял.  
Но это до меня уже Рембо сказал.  
Рембо сказал,  
Я повторила —  
Чужое часто очень мило  
И даже — до чего! — милее своего.

Так вот: под Рождество  
Слова — не знаю для чего —  
Бегут, как на вокзал  
К отходу поезда.

Им Вифлеемская звезда  
Сквозь суть и муть  
Столетий и столетий  
Указывает верный путь,  
Ведущий прямо в никуда.

Звонок последний, третий...

Как много надо слов  
На этом свете,  
Предлогов, междометий,  
Недоговорок, строк и строф  
Пред тем,  
Как, повздыхав дней семь,  
Спросить свою судьбу —  
Задать ей напрямик вопрос-табу:  
— А жил я, собственно, зачем? —  
Не удостоясь от судьбы ответа,  
Отнюдь с ней не вступать в борьбу,  
Но всё же, несмотря на это, —  
Пустить себя в трубу:  
С улыбкою на лбу  
Уютно лечь в гробу,  
Став, наконец, и глух и нем,  
Исчезнуть насовсем —  
До перевоплощения,  
До следующего рождения  
В Египте? Индии? Иль Полинезии?

Здесь у Поэзии,  
Рассчитывая на ее ко мне благоволение,  
Осмеливаюсь я просить прощения  
За мной в нее вводимое нововведение,  
За мой

*Постскриптум:*

Вижу, разум  
Зашел за ум,

Без подготовки, разом,  
С размаху, наобум  
Рассыпался по фразам  
По городским садам,  
Аэропланнм базам  
И ординаторам,  
Повсюду — тут и там, —  
Пока под утро августа второго  
Не докатился вдруг до Пскова...  
Сомненье — мудрости основа.  
Поэтому-то я признать готова  
Моих неточностей прилив-отлив,  
Моих ошибок океанский риф  
И всякие там шуры-муры,  
Хотя в них не участвуют амурь.

Особо подчеркнула я б  
Строку, где о нововведеньи речь,  
Сиречь  
Тот шестистопный ямб,  
Который —  
Подумать страшно — без цезуры!  
Засим я — ненавидя споры —  
Согласна: правильно «жизнь», а не «жизень»,  
Не «насовсем», а «навсегда», —  
Но, извините, я капризен,  
Вернее, я капризна. Даже очень.  
Язык мой ангельски неточен,  
Акробатичен и порочен,  
Я сознаюсь в том без труда.  
Мне нравятся созвучья лиро-лирные,  
Барокко-рококо-ампирные,  
Не значащие ничего.  
Мне нравятся неправильности речи —  
Я ими щегольнуть не прочь —  
Они горят, как елочные свечи,  
Как обещания волшебной встречи  
В рождественскую ночь.



Ах, Рождество...  
На этом «Ах...»  
И многоточии  
Кончается мое стихотворение —  
В порыве яростного вдохновения  
Парапсихического откровения  
Написанное ретро-авангардно,  
Гиппопотамно-леопардно,  
К тому ж гиперреалистично —  
И не за совесть, а за страх.

Не знаю, как кому,  
Что до меня — оно мне, лично,  
И по душе, и по уму  
И льстит тщеславию моему —  
Какой полет! Какой размах!  
Но, знаю, авторы не вправе  
Себя превозносить и славить —  
Недопустимо! Неприлично!  
И можно многое еще в вину поставить  
Стихотворенью моему:  
Длинноты. Надо бы короче и  
Без синтаксических истерик,  
Без «открывания Америк»,  
И гиперреализм здесь ни к чему.  
Да, я пишу не то — не так,  
Как, впрочем, и другие прочие  
Мне современные поэты.  
Они подспудно мной воспеты:  
То, что неясно и темно,  
Их славою освещено,  
Сияньем их озарено.

Постскриптум лишь для разъяснения  
Читателей недоуменья —  
А может быть, и возмущения —  
Его принять прошу я как  
Любви и уваженья знак

Ко всем, кто дышит в мире этом,  
И ко всему, что в нем растет.  
А главное — ко всем поэтам.

1975

\* \* \*

Я благодарна небу и судьбе  
За то, что я так много лет живу на свете,  
С надеждой ожидая завтра  
И не жалея о вчера.

За то, что нежный, снежный вечер жизни  
Принес с собой мне Лампу Аладдина,  
Ту лампу, что своим волшебным светом  
Рассеивает мрак, тоску и скуку  
И превращает будни в праздник,  
Очарование и торжество.

1974

\* \* \*

*Ренэ Герра*

Ненароком,  
Скоком-боком  
По прямой и по кривой  
Время катится назад  
В Петербург и в Летний сад.

Стало прошлое так близко,  
Тут оно — подать рукой —  
И проходят предо мной  
Друг за другом, чередой,  
«Я», помянутые ниже:

«Я — подросток», «Я — студистка»  
С бантом, в шубке меховой,  
«Я — невеста», «Я — жена»  
(Это, впрочем, уж в Париже),  
И, печальна и грустна,  
До прозрачности бледна,  
Молча в черное одета,  
Вот проходит «Я — вдова  
Знаменитого поэта»...

Только было ли всё это?  
Или это лишь слова?  
Лишь игра теней и света?

Хоть, бесспорно, жизнь прошла,  
Песня до конца допета,  
Я всё та же, что была, —  
И во сне, и наяву  
С восхищением живу.

*1961–1973*

\* \* \*

О том, что мы живем, о том, что мы умрем,  
О том, как грустно всё и как непоправимо.

*Г.Адамович*

Он мне полушутя писал из Ниццы:  
«Живу как в глупом сне. Неладное мне снится.  
И ясно, что — пора, мой друг, пора! —  
Тебя уже заждались там!  
А вот не хочется... А вам?»

Прозрачная, медлительная ночь.  
И снова мне не спится оттого,  
Что я не сделала ему добра,  
Что не сумела я помочь

Его томительному одиночеству.  
Мы были с ним близки и далеки.  
Так — я всегда звала его  
По имени и отчеству,  
А он меня «мадам».

Ни разу не сказала я, о, нет!  
— Жорж, дорогой, единственный, любимый,  
Чтобы утешить вас, я всё отдам...

...А за окном тоскует лунный свет  
О том, как грустно всё и как непоправимо.

1973

\* \* \*

*Наталии Александровне Зербино*

А если нет, а если да?  
И где, скажите, и когда —  
Сейчас, сегодня иль потом,  
В день Страшного суда?

Луна таинственно блесит,  
Ночь дышит сном и колдовством,  
Лисица по полю бежит  
И замечает лапок след  
На аметистовом снегу  
Своим сияющим хвостом:  
И тихо-тихо всё кругом,  
И лунный свет. И ни гу-гу...

А вдруг пушистый лисий хвост —  
Он серебристо-черно-бур —  
Преобразится в легкий мост  
И я по нем перебегу  
Домой, в Россию, в Петербург

И там останусь навсегда.  
И что тогда?

Нет или да?

1973

\*\*\*

Лунный блик и горсточка пыли,  
Иль точней — уголек в золе.  
Все мы пишем, чтоб нас не забыли,  
Чтоб оставить след на земле.

Но в конце двадцатого века  
Быть поэтом почти что грешно  
И, пожалуй, даже смешно —  
Этот склад авангардных затей,  
Эти поиски новых путей  
С белой палкой, как нищий-калека.  
«Ночь. Улица. Фонарь. Аптека...»  
Так теперь не напишет никто.

Современники, братья-поэты, —  
Сколько ни было б нас, хоть сто, —  
Нет меж нас ни звезды, ни кометы,  
Все мы канем в медлительность Леты,  
На земле не оставив следа.

1973

\* \* \*

Я — поэт и вдова поэта.  
Это очень важно. За это  
Мне, наверно, простятся грехи  
И за то, что пишу я стихи,  
Те, что сводят людей с ума,  
Как с ума я схожу сама.

Я — поэт и вдова поэта —  
Беззаконнейшая комета,  
У которой в поющей крови  
Мало шариков красных, но много любви,  
А свободы хоть отбавляй.

Мой читатель, мой почитатель,  
Друг неверный, прощай, прощай!  
Да, прощай, а не до свиданья.  
Что мне слава и что почитанья,  
Что мне Англия или Китай?

Я слагаю в стихи слова  
Так, что кругом идет голова,  
Как волчок,  
И, кружась меж рифмованных строк,  
Поднимаясь всё выше и выше,  
Вот пробив головой потолок,  
Разбросав черепицы крыши,  
Превращаюсь я вдруг в сиянье,  
В крылья ласточки, в Древо познания  
Мирового добра и зла,  
В длинноухую тень осла.

1972

\* \* \*

Я во сне и наяву  
С наслаждением живу.  
*И.О.*

Я с юности всегда умела  
В улыбку и веселье превращать  
Отчаянье  
И в праздники —  
Безрадостные будни.  
И всем вокруг меня —

И даже мне самой —  
Казалось, невозможно быть  
Счастливее меня.  
И долго на земле я так жила,  
Добра не делая, не помня зла,  
Гордясь собою и своим умением  
Во сне и наяву  
Жить с наслаждением.  
И вот теперь,  
Оглядываясь, как с горы,  
На прошлое мое,  
Я вижу ясно,  
Что нет в нем дня,  
Нет даже часа,  
Который бы хотела  
Я заново, вторично пережить,  
И, значит, я всегда была несчастна.  
Ни в книгах, ни в людских сердцах  
Следа я не оставлю по себе.  
И, значит, жизнь я прожила напрасно,  
И лучше бы мне вовсе не родиться.  
Да, это так, и это очень больно.  
И все-таки наперекор всему —  
Сама не понимая почему —  
Я продолжаю улыбаться  
И в праздник будни превращать.

1971

\* \* \*

Как этот летний вечер тих,  
Как нежно стелится и вьется  
Тень будущего здесь, у ног моих.  
Луна плывет по легким облакам,  
В ее магическом сиянии,  
Где будущее стало прошлым,  
А прошлое воркует голубком,  
Жасминовым кустом цветут, благоухая,

Мои надежды и мечты —  
Те, что меня так горько обманули,  
Но обернулись все-таки победой,  
Восточной засияв звездой  
Над неудавшейся моей судьбой.

— Но погоди, постой, постой!  
А как же я, а как же ты,  
Теперь, когда мы встретились с тобой  
Не в прошлом-будущем  
А в настоящем?  
Не там когда-нибудь  
И не когда-то там,  
А здесь — сегодня и сейчас?

О, неужели и для нас  
Еще не кончена игра  
И будут завтра и вчера —  
Дни лучезарные  
И ночи до утра  
На самом деле?..

1969

\* \* \*

*Г.И.*

В рассветный час метаморфоз  
Шиповник, что здесь ночью рос,  
Орлицей в тучи улетел,  
И лепестки ширазских роз —  
Душистой прелести предел —  
Как рифмы, падают попарно  
На волны озера Локарно,  
Вернее, на Лаго Маджоре,  
Вдруг превратившееся в море.



А я — не знаю я иль ты? —  
С междупланетной высоты,  
Волнуюсь, мучась и любя,  
Твоими жадными глазами  
Гляжу, прищурясь, на себя,  
Как на портрет в зеркальной раме.

1968

\* \* \*

Я в руку камушек беру  
И согреваю его своим дыханьем,  
И вот он исчезает,  
он превращается в змею,  
Свисающую с гибкой ветки ивы,  
В благоуханное дыхание сонных роз,  
В прозрачное очарованье  
Июльской лунной ночи и  
Ширококрылым вдохновеньем  
Перелетает океан,  
Чтоб звездной музыкой наполнить слух  
Мне незнакомого поэта.

А я испуганно гляжу  
На узкую свою ладонь  
И начинаю  
Взволнованно, как в полусне,  
Ритмично повторять слова,  
Слова, что прозвучат  
В еще никем не созданных стихах,  
Преображая  
До дыр и вдрызг изношенную тему  
О жизни,  
смерти  
и любви.

1968

\* \* \*

*Ренэ Герра*

«Вращается Фортуны колесо»,  
Но я не думаю об этом.  
Желанье стать простым предметом,  
Обожествленным Пикассо,  
Всю ночь тревожило меня, —  
Серебряною ложечкой звеня,  
Подсвечником иль утюгом —  
Перенестись на полотно  
Бессмертным красочным пятном.  
Хочу, чтоб было мне дано  
Мильоны стоять и в музее,  
Недели, годы и века,  
Пока течет «времен река»,  
Мной восхищались ротозеи.

1967

\* \* \*

Луна качается на облаках,  
То умирая,  
  то воскресая.  
Нет, я в жизни совсем другая,  
Чем в стихах.  
Так, скажите, с какой же стати  
Стану вам я, мой друг читатель,  
Под обманчивой луной  
Назначать свидание с собой?

1967

\* \* \*

*Ирине Сабуровой*

Нежданно, хоть, пожалуй, зря,  
В ночь на восьмое октября  
Открылся мне и стал понятен  
Тот хрупкий параллельный мир,  
Где вздохи муз, и всплески лир,  
И много звездных пятен,  
Где все пути ведут к добру,  
Где жизнь похожа на игру,  
На зеркало в хрустальной раме,  
Где нет ни дерева, ни пня,  
Три тигры смотрят на меня  
Почтительно, зелеными глазами.

*Мюнхен, 1967*

\* \* \*

*Г.И.*

Но была ли на самом деле  
Эта встреча в Летнем саду  
В понедельник, на Вербной неделе,  
В девятьсот двадцать первом году?

Я пришла не в четверть второго,  
Как условлено было, а в пять.  
Он с улыбкой сказал: — Гумилева  
Вы бы вряд ли заставили ждать.

Я смутилась. Он поднял высоко,  
Чуть прищурившись, левую бровь.  
И ни жалобы, ни упрека.  
Я подумала: это любовь.

Я сказала: — Я страшно жалею,  
Но я раньше прийти не могла. —  
Мне почудилось вдруг — на аллею  
Муза с цоколя плавно сошла.

И бела, холодна и прекрасна,  
Величаво прошла мимо нас,  
И всё стало до странности ясно  
В этот незабываемый час.

Мы о будущем не говорили,  
Мы зашли в Казанский собор  
И потом в эстетическом стиле  
Мы болтали забавный вздор.

А весна расцветала и пела,  
И теряли значенья слова,  
И так трогательно зеленела  
Меж торцов на Невском трава.

1964

\* \* \*

*Г.И.*

Дни лучезарней и короче,  
Полны тревогой звездной ночи,  
И снова наступает осень  
Золототканым торжеством.  
О, до чего же мир несносен  
В однообразии своем!  
Однообразье красоты,  
Однообразье безобразья,  
Однообразные черты  
Всех этих «я» и этих «ты»,  
Однообразие веселья,  
Однообразие тоски,

Круговращенье карусели,  
Взлет и падение качелей,  
Часы, минуты, дни, недели  
Горят, как ночью мотыльки,  
На белом пламени тоски,  
На черном пламени похмелья  
Воспоминаний.

1953–1963

\* \* \*

Я во сне и наяву  
С наслаждением живу.  
*И.О.*

В чужой стране,  
В чужой семье,  
В чужом автомобиле...  
При чем тут я?

Ну да, конечно, было, были  
И у меня  
    Моя страна,  
            Мой дом,  
                    Моя семья  
И собственный мой черный пудель Крак.

Всё это так.  
Зато потом,  
Когда февральский грянул гром —  
Разгром  
    и крах,  
И беженское горе, и  
Моря — нет — океаны слез...  
И роковой вопрос:  
Зачем мы не остались дома?

Давно наскучивший рассказ  
О нас,  
Раздавленных колесами истории.  
Не стоит вспоминать о том,  
Что было. Было, да прошло  
И лопухом

забвенья поросло...

...Хрустальный воздух Пиреней.  
Всё безрассудней, всё нежней  
Вздыхает сердце.  
На высоте трехтысячестровой —  
Где снег небесно-голубой —  
Жизнь кажется волшебной новой,  
Как в девятнадцать лет  
На берегах Невы.

Орел бесшумно со скалы  
Взметнулся ввысь  
И полетел  
К Престолу Божьему,  
Должно быть.

— Мгновение, остановись!  
Остановись и покатысь  
Назад:

В Россию,

В юность,

В Петроград!

Крик сердца,  
До чего банальный крик,  
Лишенный волшебства  
И магии.

Ведь знаю я,  
Что этот миг  
Не остановится  
И не покатится назад,

И не вернутся мне  
Моя страна,  
                                  Моя семья,  
Мой дом,  
                                  Мой черный пудель Крак.

Я не многострадальный Иов,  
Который после всех утрат  
Стал снова славен и богат —  
Славнее и богаче во сто крат.

Не будет у меня, как у него,  
Ни сыновей, ни дочерей,  
Ни сказочных дворцов,  
Ни рощ оливковых,  
Ни аравийских скакунов,  
Верблюдов, коз, овечьих стад,  
Ни шелковых ковров,  
Ни слуг покорных,  
Ни драгоценностей библейских...

Не будет ровно ничего  
И никого.  
Не будет даже канарейки,  
Герани на окне,  
Зеленой лейки —  
То, что доступно каждой швейке,  
Но недоступно мне.

И все-таки наперекор всему —  
Сама не понимая почему, —  
Наперекор безжалостной судьбе  
И одиночеству,  
По-прежнему во сне и наяву  
Я с наслаждением живу.

*1962*

\* \* \*

Ожиданье Страшного суда?  
Страшный суд происходит всегда —  
Завтра, сегодня, вчера,  
С вечера и до утра.

Дальше нечего ждать —  
Ни ангелов, ни чертей,  
Ни райских, ни адских затей.  
Дальше нет ничего. Дальше лишь торжество,  
Дальше лишь благодать  
Вечности и бессмертия.

Всё же поверьте,  
Ангелы и черти,

Встретить хотела бы я вас  
Хоть мимоходом, случайно, на час,  
Хоть на минутку крылато-хвостатую.

1961

\* \* \*

Да, бесспорно, жизни начало  
Много счастья мне обещало  
В Петербурге над синей Невой —  
То, о чем я с детства мечтала,  
Подарила судьба мне тогда,  
Подарила щедро, сполна,  
Не скупясь, не торгуясь: — На!  
Ты на это имеешь право. —  
Всё мне было удача, забава,  
И звездой путеводной — судьба,  
Мимолетно коснулась слава  
Моего полудетского лба...



\* \* \*

Что связывает нас, всех нас?  
Взаимное непонимание.

*Георгий Иванов*

Сияли фонари. Текла спокойно Сена.  
Я не предчувствовала зла.  
И вдруг...  
Нет, это не любовная измена,  
Не африканской ревности недуг.  
Нет, это проще и больней во много раз.  
Я плачу. Слезы катятся из глаз:  
— Прощай — прощайте, мой последний друг.

Сомкнулся навсегда порочный круг  
Обиды, одиночества и тьмы,  
И больше «я» и «вы» не составляем «мы».

Взаимное непониманье,  
Смущенное пожатье рук.  
Прощенье это иль прощанье?  
Не всё ль равно, ведь навсегда.  
Без обещанья: — До свиданья.

Что делать мне теперь? Идти куда?  
О если б зло предчувствовать заране.

Сократ когда-то говорил  
(Сократ? А может быть, Эсхил?):  
«Друзья мои, нет на земле друзей».  
И с этим надо помириться.

\* \* \*

Неволя ты, невольница,  
Разлука ты, разлучница,  
Чужая сторона!  
Так еженощно мучиться  
У лунного окна.

Царапается, колется  
Бесовская бессонница,  
Бесовская тоска.  
Хоть на луну завой,  
Хоть закричи совой,  
Взлети до потолка!

Но нет, постой, постой,  
Постой и помолчи —  
«В муку всё перемелется»  
(Не му́ка, а мука́,  
Та, что нужна для хлеба) —  
Ты видишь там, в ночи,  
В апофеозе неба,  
Скрестились, как мечи,  
Победные лучи.

За лунною оконницей,  
За городской околицей  
Несутся тучи конницей  
В июньском небе вскачь,  
В победоносном шелесте,  
В победоносной прелести  
Всех будущих удач.  
Играй зарю, трубач!

1961

Волшебная, воздушная весна.  
На глади золотисто-голубой  
Луна,  
Как лотос на воде.  
Звезда поет, звезда летит к звезде...

Не всё ли мне равно, весна или зима?  
О, Господи, что делать мне с собой,  
Чтоб не сойти с ума?

Совсем не то. Не то, не то  
И не о том.  
Тревожно спит усталый дом  
Кряхтящим, стариковским сном.  
На вешалке висит пальто.  
Не помню где,  
Не помню кто  
Сравнил висящее на вешалке пальто  
С повешенным.  
Но надо быть слегка помешанным  
Для этакого вот сравненья.

Ах, вспомнила. Ведь это я сама  
В моем стихотворении  
С названьем «Ночь в вагоне».  
В нем всё качанье и движенье,  
В нем о кукушке и вороне,  
О фантастической погоне  
За призрачным оленем,  
В нем волны вдохновения с волнением,  
С тоской железнодорожной  
Смешаны.  
В нем о веронской пересадке  
И о моей потерянной перчатке —

Ее искать придется мне  
Во тьме кромешной и огне  
В аду,  
Как предсказал мне критик и поэт.

Но нет,  
Не ада я, а рая жду:  
Я твердо верю, что в раю  
Я родину найду свою,  
Что там, в раю, я буду дома.

Я на земле всегда была изгнанницей,  
Бездомной босоножкой-странницей,  
Ходившей — весело — по мукам.

1961

\* \* \*

Островом может стать каждый.  
*Имп. Елизавета Австрийская*

«Островом стать может каждый!»  
Это сказала однажды  
В час огорченья и гнева —  
Странствований королева —  
Елизавета Австрийская.  
«Островом стать может каждый...»  
Островом? Что это значит?  
Сердце вздыхает и плачет,  
Слезы по ветру летят  
И улетают назад  
Брызгами волн океанских  
На океанское дно.

Знать никому не надо  
То, что судьбой суждено.  
...Нож. И смертельная рана...

Стройность прекрасного тела,  
Нежная прелесть лица...  
Плана она не имела,  
Счастья найти не умела  
В долгих скитаньях своих,  
Вечно томимая жаждой  
Дальних, чужих горизонтов,  
Очень боялась конца.  
И умерла, не поняв, не заметив,  
Что умирает.

Может ли каждый  
Островом стать?  
Вряд ли мне это удастся узнать —  
Вряд ли я островом стану.

1961

\* \* \*

И опять в романтическом Летнем саду,  
В голубой белизне петербургского мая  
По пустынным аллеям неслышно пройду,  
Драгоценные плечи твои обнимая.

*Георгий Иванов*

За прозрачной, сквозной занавеской окна  
Голубиной дорогой летит  
Голубая луна.  
Бьет двенадцать. Кругом всё безрадостно спит.  
Я не сплю. Мне совсем не до сна.

Завтра утром... Но как далеко до утра!  
Разве было вчера или позавчера,

Будни, праздники, всякие там вечера,  
Дни и полдни  
С той самой поры,  
Как, не кончив игры,  
Словно камень с горы,  
Словно камень, упавший в колодезь забвенья...

Я не помню, не помню, и помнить не надо,  
И деревья чужого, французского сада  
Серебристой листвою в забытии упоенья  
Легким отзвуком ангельски-райского пенья  
Широко шелестят под луной...

— Ты вернулся. Ты снова со мной,  
Мы выходим из темного, спящего дома  
И по набережной над Невой...  
Белой ночью, волшебной весной  
В тихий-тихий, таинственный час...

Как мне всё здесь до боли знакомо!..  
Ты со мною — веселый, живой,  
Взлет бровей, очерченный четко  
Над мерцаньем насмешливых глаз.

Летний сад. Кружевная решетка...  
Навсегда, неразлучно вдвоем  
Мы с тобою, обнявшись, идем  
По аллее Летнего сада.

— Ты вернулся. Я страшно рада!  
Я не помню ни горя, ни зла,  
Я счастливой такой, как сейчас,  
Никогда еще не была.  
Всё как будто бы в первый раз.  
Видишь, в небе звезда упала  
И за нею другая опять.  
Ничего я не пожелала —  
Больше нечего нам желать.

Ты не веришь? Поверь мне, поверь,  
Навсегда всё прекрасно теперь!..  
Видишь, видишь, луна участливо  
Распахнула нам вечности дверь,  
Стелет ковриком Млечный путь.

Но с тобой мне и вечности мало!..  
Ах, я счастлива, счастлива, счастлива!  
Я устала, устала, устала!

Спать!  
Скорее, скорее уснуть!  
Так уснуть, чтоб уже не проснуться...

*1960*

\* \* \*

Еще один окончен день,  
Ненужный и неповторимый.  
Таинственно, как в сказках Гримма,  
Прозрачная ложится тень  
На дольней жизни дребедень:  
На книги, на постель, на двери,  
На бархатные лапки кошки,  
На огорченья и потери,  
На бледность вдовьего лица,  
На боль, которой нет конца.

В незанавешенном окошке,  
Скользя по тучам, как ладья,  
Располагая рот к зевоте,  
Луна поет на светлой ноте:  
— А вот и вечер. Вот и я,  
Вот будет ночь и вы уснете!..

*1920—1960*

\* \* \*

«Звезды, звезды,  
Откуда такая тоска?»  
А.Блок

У зеркального пруда  
Белая томится лилия.  
Кто занес ее сюда,  
В мировое одиночество?

Адрес, возраст, имя, отчество  
и фамилия...

Одиночество мое,  
одиночество твое,  
Наше, ваше, их  
одиночество.

Вечер благостен и тих,  
В небе празднично-прозрачном  
Первая зажглась звезда,  
А за ней вторая, третья,  
Сотни, миллиарды звезд.

Звезды — древнее пророчество,  
Музыка астрологическая  
И тоска,  
тоска магическая —  
«Звезды, звезды, откуда такая тоска?»

Кто услышит, кто опишет  
Одиночество звезды,  
Одиночество мое,  
одиночество твое,  
Наше, ваше, их  
одиночество?..

1959



\* \* \*

*Г.И.*

Лепестками вечности  
Вьются мотыльки,  
Холодком беспечности  
Тянет от реки.

Квакают лягушки на  
Топком берегу.  
Вспоминаю Пушкина.  
Вспомнить не могу,  
Что, зачем и почему,  
С целию какой  
В роковой его судьбе.

Ты о нем с тоской  
Бредил, умирая.  
Неужели ни ему,  
Ни ему и ни тебе,  
Не увидеть рая?

1958

\* \* \*

*Г.И.*

Уже не в Йере, а в Ганьи  
Холодной, западной весной  
В круговращеньи чепухи  
Не розы, пальмы, соловьи,  
А клены, жабы, лопухи —  
Свидетели тоски дневной,  
Участники ночной тоски.

Но одиночества тиски...  
С какую пытку, с какой  
Сравниться может одиночество?

Сбылось извечное пророчество,  
Зловещая насмешка рока,  
до срока,

Несправедливо

и жестоко.

Ведь жизни светлое начало  
Мне столько счастья обещало,  
А я теперь одна стою  
На скользком, гибельном краю  
обрыва.

Нет в мире дружеской руки,  
Которая бы удержала  
В час огнедышащей тоски  
Меня от гибели — паденья.  
Томленье, головокружение  
Над страшной бездною.

И вот

Паденье это иль полет?..  
В сумасводящем вдохновении  
Изнемогая, я пою —  
Так, как поет пред смертью лебедь, —  
Отчаянье, тоску мою.

И ангел смерти в звездном небе  
Смущенно слушает меня.

1958

## ПОРТРЕТ В РИФМОВАННОЙ РАМЕ

\* \* \*

Я не только в стихах живу,  
Я живу и впрямь, наяву,  
И меня нетрудно увидеть,  
Разглядеть, по статьям разобрать,  
Чтобы после другим рассказать  
Обо мне, какой я была  
В те года, что я здесь жила  
    Вместе с вами  
    На этой земле.  
Но, конечно, как все очевидцы,  
Не запомните вы ничего.

Вот я шлю вам привет из Ниццы  
И подарок на Рождество —  
Мой портрет в рифмованной раме —  
Сохраните на счастье его.

*1950—1975*

\* \* \*

И вот слова —  
Волнуясь и стыдясь —  
Ложатся будто в первый раз  
На белый лист бумаги,

Образуя  
Волшебные узоры.

Слова соединяются влюбленно,  
Как некогда в Раю  
Адам и Ева  
В блаженной, первозданной чистоте.  
И музыка созвездий —  
Таинственно и чудно —  
Слова лишает будничного смысла  
И превращает их  
В стихи.

1975

\* \* \*

*Юрию Терапиано*

Я всегда была такой:  
Ни с другими, ни с судьбой —  
Временами очень злой —  
Не вступала в пререкания —  
Это ведь напрасный труд.

А в саду — прозрачный пруд,  
И живет в нем золотая рыбка,  
Та, что исполняет все желания.

Да, я вижу — рыбка тут,  
Вот ее волшебный след  
В глубине жемчужно-зыбкой  
Лунною блеснул улыбкой.

Наклоняясь над водой,  
С чувством радостной беспечности,  
Я прошу у рыбки золотой:

— Рыбочка, дружок мой,  
Дай дожить мне до ста лет  
И прибавь еще кусочек вечности!

1975

\* \* \*

Нет, я не нахожу свои стихи  
    Прекрасными.  
Как далеки они от тех  
Стихов грядущих лет,  
Горящих звездами в моем воображении.

Я не воздвигла памятник себе,  
И даже эмигрантской, нищей славой  
Увенчана я не была...

Я лишь беспомощно бросаю зерна  
На тернии сегодняшнего дня,  
Я только сею,  
Жать придут другие  
Те злаки, что произрастут из зерен,  
Посеянных моей рукой.

И значит, все-таки  
Жила я не напрасно —  
Здесь, на земле, —  
Стараясь в звезды превратить  
    Стихи.

1975

## СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ ВО СНЕ

Пустыня. Двугорбый верблюд.  
И мы на верблюде вдвоем.  
И сфинкс в песчаной дали,  
И голос твой шепотком:  
— Пойми, я тебя люблю,  
Мы счастливы быть могли  
Тогда, и теперь, и потом.  
Но ты виновата кругом,  
Но ты виновата во всем!..  
— О чем ты толкуешь тут?  
Я не виновата ни в чем —  
Во всем виноват верблюд.  
Отдать верблюда под суд!

1975

\* \* \*

Открытка — море, и скала,  
И на скале три пеликана.  
И я подумала:  
Бодлер не прав,  
Поэт не альбатрос, а пеликан —  
Ведь отрывает он от сердца своего  
Куски, сочащиеся кровью,  
Звенящие живою болью,  
И превращает их в стихи,  
Кормя свои стихи собою,  
Как кормит пеликан своих птенцов  
Своею плотью.

Мне это ясно стало,  
Так ясно, что себя я вдруг —  
На мимолетное мгновенье —  
Увидела зобастым пеликаном,

С широковейными крылами,  
Средь моря, на скале.

Со мною рядом  
Увидела я тоже пеликаном  
Вас, Игорь Чиннов, Вас, недавно  
Приславшего открытку эту мне.

И тут же рядом, на скале —  
Совсем, как на открытке, —  
Сидел и третий пеликан,  
Точь-в-точь такой же, как мы с вами.

Но не поэт, а птица пеликан.

1975

\* \* \*

В этом мире, враждебном поэтам  
И, казалось, враждебном и мне,  
С каждым зверем, с каждым предметом  
Наяву и во сне  
Ощущаю я братство-сестричество,  
Неразрывное с миром родство,  
Но не знаю сама, отчего —  
Хоть и странно сознаться мне в этом —  
Мне роднее всего электричество.

Я одна по аллее иду  
В черном, пышном, приморском саду,  
Искрометно, как смех истерический,  
Рассыпается свет электрический,  
Розовея, как роза на льду, —  
Нет, пожалуй, еще розовой,  
Как над розой поет соловей.

1950

\* \* \*

Об Офелии, о фее  
Лира-Лир, о Лорелее  
И еще о той комете,  
Хвост раскинувшей по небу.  
И еще об этом лете,  
Что уходит на потребу  
Катастрофы бытия...

Я... Но что такое я?..  
До чего мудреный ребус!  
Мне не разгадать его  
Даже в ночь под Рождество.

Но уже готов ответ  
Глубочайшего прозренья,  
Соломонова решенья —  
В этом и сомненья нет:  
«Я — строка стихотворенья,  
Посвященного судьбой —  
С уваженьем — мне самой».

Вот я что! А я не знала,  
Даже не предполагала,  
И теперь горжусь собой!..

1975

\* \* \*

Птица-самолет. Светлая истома,  
Сдвиг во времени-пространстве.  
Хоть гораздо лучше мне жилось бы дома,  
«Муза дальних странствий»,  
Ты и мне знакома.



Беззакатный день. Вечер длинный-длинный,  
И пропеллера голос лебединый.  
Звук звенит за звуком и за словом слово,  
Как в стихотвореньях Гумилева  
Из «Чужого Неба»...

1975

\* \* \*

*Андрею Седых*

Дождь шумит по грифельной крыше,  
Еле слышно скребутся мыши  
Там, внизу, этажом пониже —  
Очень много мышей в Париже.

Снова полночь. И снова бессонница,  
Снова смотрит в мое окно,  
За которым дождь и темно —  
Ледяная потусторонница.

Как мне грустно!.. Как весело мне!..  
Я левкоем цвету на окне,  
Я стекаю дождем по стеклу,  
Колыхаюсь тенью в углу,  
Легким дымом моей папиросы  
Отвечаю на ваши вопросы —  
Те, что вы задаете во сне  
О вчерашнем и завтрашнем дне.

1950

\* \* \*

Средь меланхолических ветвей  
Серебристо плещущей ольхи  
Вдохновенно, в совершенстве диком,  
Трелями исходит соловей  
Над шафранною, китайской розой.  
Восхищаясь собственной позой,  
Тень играет дискобольным бликом,  
И роса на бархатные мхи  
Капает жемчужинами слез.

Розы, розы!.. Слишком много роз,  
Слишком много красоты-печали.  
Было слово (было ли?) в начале,  
Слово без словесной шелухи?

Мотыльками, крыльями стрекоз  
Над кустами розовых азалий  
За вопросом кружится вопрос,  
Ядовитее, чем купорос:  
— Можно ли еще писать стихи?  
Можно ли еще писать стихи  
Всерьез?..

1951

\* \* \*

*Роману Гулю*

На заре вернувшись с бала,  
Я усталая легла.  
В звездной пене, в лунных стружках,  
Застилая зеркала,  
Легкий сон на одеяло  
Наплывает из угла.

От усталости в подушках  
Догорая вся дотла,  
До чего же я устала,  
До чего я весела!

Если б жизнь начать сначала —  
Я такой бы не была:  
Никому бы я не стала  
Делать ни добра, ни зла.

А была бы я лягушкой,  
Квакающей у пруда.  
Стынет темная вода,  
Над густой лесной опушкой  
Яркая горит звезда...

Или в крапинку кукушкой,  
Что, усевшись на суку,  
День-деньской твердит ку-ку  
В средних числах сентября,

Не пророча, а для смеху,  
Рыжим листьям на потеху.

Но средь звезд и снов скользя,  
Ясно вижу — стать нельзя  
Ни лягушкой, ни кукушкой.

Что ж? Согласно я — изволь —  
Взять себе другую роль:  
Стать красавицей-пастушкой,  
Босоножкой-простушкой,  
На которой, хоть и зря,  
В сказке женится король.

1948

\* \* \*

Дни считать напрасный труд.  
Дни бегут,  
Часы летят,  
Превращаются в года.

В тихий сад, на сонный пруд  
Принесли топить котят.  
Глубока в пруду вода —  
Хоть котят не хотят,  
Как уж не утонешь тут?

И кошачья та беда,  
Намяукавшись в эфире,  
В милосердном этом мире  
Исчезает без следа.

Разве что блеснет звезда  
Светляком, осколком льда,  
Острым лезвием секиры  
Над безмолвием пруда.

Мне ж до Страшного суда  
(Если будет Страшный суд)  
Погрешить еще дадут.

1948

\* \* \*

Сорок градусов в тени.  
Душно каждому цветочку,  
Дурно каждому листочку.  
Только комары одни  
Да трескучие цикады  
Этакой жарнице рады.

Оборвать? Поставить точку,  
Потушить навек огни?..

Нет, поставлю многоточье.  
Будут и другие дни,  
И прохладней, и короче,  
Будут и другие ночи,  
Ну, и прочее, и прочее —  
Всё переживу воочью.

Мне дышать не надоело,  
Хоть «печален наш удел».  
Жизнь — приятнейшее дело  
Изо всех приятных дел.

Я во сне и наяву  
С наслаждением живу.

1957

\* \* \*

*Я.Н.Горбову*

Гладью вышитый платок,  
Мной забытый на окне,  
Мной подаренный не мне,  
Мной потерянный во сне.

Хореический прыжок  
В нереальность повседневности,  
Слез соленый кипяток  
Между строф и между строк —  
От влюбленности? Из ревности?

В небе звезды и гроза,  
Небо — как его глаза.

Беззаконие закона,  
Произвола благодать.  
Не понять, не разгадать —  
Осудить иль оправдать?

Слишком тяжела корона  
Для курчавой головы.

Окна настезь. Крик совы,  
На предсмертный стон похожий.

Над каналами Венеции  
В розовом палаццо Дожей  
Призрачно сияют свечи,  
Отражаясь в зеркалах,  
И с трапедии — балкона,  
Без приветствия-поклона,  
В спальню тихо входит страх.

— Дездемона, Дездемона,  
Прелести земной цветок,  
Где твой вышитый платок?

Отблеск лунного опала.  
Обручальное кольцо  
Падает на одеяло.  
Как прозрачно, как устало,  
До чего невинным стало  
В мертвой прелести лицо.

...Всё, что сердцу было мило,  
Всё, что здесь оно любило,  
Всё, о чем оно просило,  
Всё, чем мучилось оно —  
Так недавно, так давно —  
Камнем кануло на дно...

— Хорошо ли, Дездемона,  
Между звезд и молний спать  
Хрупкогорлой и влюбленной,  
С ним навеки разделенной,  
Даже в сновиденьях врозь?

И тебе ли иль Офелии  
В грозно-громовом веселии  
Звездометной карусели  
Выпало кометой стать?

Если б сердце не болело,  
Не металось вкривь и вкось,  
О себе и об Отелло  
Позабыть бы удалось.

Как она про иву пела  
И рукою влажной, белой...

Обе плакали и пели —  
Дездемона и Офелия —  
Перед тем, как умереть  
От любовного похмелья...

Нет, довольно. Хватит! Брось!  
Ничего мне здесь не мило,  
Ни о чем я не просила,  
Никого я не любила.

Обо мне не надо петь,  
Не за что меня жалеть.

*1956*

— За верность. За безумье тост.  
За мщенье!.. —

Пенных кубков звон.  
Какой сквозной тревожный сон:  
Узорчатые рукава,  
«Дочь пекаря, сова...  
Слова, слова, слова...»

Белеет мост. Блестит погост.  
О, вихри вздохов, волны слез!  
Известно всё заранее:  
Средь звезд

И роз  
Апофеоз  
Непонимания.

Высокий королевский дом  
В туманной Дании.  
И королева с королем,  
И принц на первом плане.  
Прожечь вином,  
Залить огнем,  
Пронзить рапиры острием!  
Ни хмеля, ни похмелия,  
Цветы на память, на потом,  
Цветы на новоселие.

Как тихо спит на дне речном,  
В русалочьей постели,  
Как сладко спит бессмертным сном  
Офелия.

1955



\* \* \*

Это молоточек-память,  
Искромечущее пламя,  
Звездноплещущее знамя  
В суматохе голубой,  
Волн ликующий прибой,  
Струн гитарных перебой,  
Разговор сама с собой.

То, что скользкой льдинкой тает,  
То, о чем сосед не знает,  
То, чем пенится корыто,  
То, о чем стучат копыта  
По торцовой мостовой  
В Петербурге над Невой,  
То, что пляшет шито-крыто  
Пляскою святого Витта  
В подсознании, на дне,  
Что потеряно во сне,  
То, что белой ниткой шито,  
То, что шито красным шелком,  
То, что рыщет серым волком,  
Крысою по книжным полкам,  
То, о чем не скажешь толком,  
То, чего не объяснить,  
То, на чем порвется нить  
Жизни.

И стихов.

1953

Не во мне, а там, вовне,  
В сердце ночи, в глубине,  
Как на плоском дне колодца,  
Светлодумная луна.  
Лунный луч спиралью вьется,  
Скользкою эмалью льется,  
Образуя на стене  
Искрометного уродца.

В сердце ночи, у окна,  
Где стихи и тишина,  
Безысходно, точно встарь,  
Мутностеклый, длинный-длинный  
Блоковский горит фонарь,  
И в его бессмертном свете  
В зеркалах и на паркете  
Рябь отчаянья видна.

— Друг мой, незнакомый друг,  
На одной со мной планете,  
Очень мне «и ску и гру»,  
Не с кем мне вести игру  
Без ухаба, без ушиба,  
Без азартного загиба,  
Некому: пожатье рук,  
Некому: — За все спасибо!

— Здравствуй, здравствуй! — поутру.  
Вечером: — Спокойной ночи.  
Спи, закрывши звезды-очи,  
Спи до завтрашнего дня!..

Иль точнее и короче —  
Нет в лазури одиноче,  
Белопарусней меня!

1959

## НОЧЬ В ВАГОНЕ

*Ренэ Герра*

У окна качается пальто,  
Как повешенный.  
Не о том. Совсем не то.  
Вместо имени — местоимение.  
Он? Оно? Растерянность, смятение  
С болью-солью смешаны.

Дребезжанье, лязг и треск.  
За окном рога олени,  
Между рог оленьих крест  
Светится торжественно-неярко,  
Как ляпис-лазурная лампадка.

До чего вагонно-гадко,  
До чего вагонно-жарко!  
Не забыть — в Вероне пересадка.

На одной руке перчатка,  
А другая где?

Потеряна?

Всё вперед бессмысленно расчислено,  
По квадратикам размерено,  
Прямо под откос —  
К беде.

Не уснуть бы, не проспать,  
Ведь в Вероне...

Треск колес,

И вот опять

Крест мелькает на лесной опушке.

Надоедливый вопрос:  
— Есть ли у кукушки ушки,

Больно ль ей на каменной подушке  
В перегаре папирос?  
А вороне?

Надо помнить, что в Вероне  
Пересадка.

Затекли колени.

Лязг и звон.

Прыжок олений

Под ритмический уклон

В железнодорожный сон.

Если бы суметь спасти

И другого, и себя,

Если бы суметь уйти,

Не ревнуя, не любя,

Без предчувствий, без воспоминаний,

Как идут на первое свиданье

В празднично расцветший сад.

В лунном свете блекнет повилика,

В лунатичности серебряного блика

Воскресает призрачно и дико

Прошлое на новый лад.

— Не оглядывайся, Эвридика,

На тобой пройденный ад!

Не оглядывайся! Не огляд...

Провались поглубже, Эвридика,

В белый, беспредметный сон,

В звон, скользящий под уклон.

...Ты проснешься впотьмах,

Ты проснешься в слезах,

Ты проснешься в тоске

С красной розой в руке,

На железнодорожном диване —

Ни надежд, ни воспоминаний,  
Ни прощально-приветных огней.

...Лай собак, бегущих за оленем,  
Всё заливчатее, всё нежней,  
Всё волшебней в воздухе весеннем,  
Всё прозрачнее, всё розовой,  
Словно трелями исходит соловей  
Или фавн играет на свирели,  
Нет, на флейте.

И летят часы, летят недели  
Молньеносно, как с горы летели  
Сани  
В русский лунно-голубой сугроб...

...Это там. А это тут  
На заумно-умном плане,  
На воздушном океане.

— Херувимы, лейте, лейте,  
Исполняйте светлый труд,  
Лейте ужас с облаков  
В розами завитый гроб!  
Лейте, проливайте мимо,  
Лейте, лейте, херувимы,  
Как на розы Широшимы,  
Райский ужас между слов!..

1954

\* \* \*

Ты говорил: — На вечную разлуку. —  
Мою бесчувственную руку  
В последний, предпоследний раз...  
Слеза из потемневших глаз,

Как синтетический алмаз...  
Твоя слеза,  
Моя слеза,  
Какие у тебя глаза?  
Такие же, как были?  
Ты всё такой же милый?

Не знаю,  
Если ты теперь  
Тихонько постучишься в дверь, —  
Узнаю? Не узнаю?

В преображении потерь  
Ты стал горбатый, лысый,  
Ты стал хвостатой крысой,  
Ты стал крапивой иль грибом?

А прядка над высоким лбом?  
А складка на высоком лбу?

Но ты давным-давно в гробу —  
На солнечном погосте —  
И ты не ходишь в гости.

1958

\* \* \*

О жизни, что прошла давно,  
Бесследно канула на дно,  
Не надо громко говорить  
И продолжать соломкой пить  
Случайность, что зовут судьбой,  
Той, что связала нас с тобой.  
Моя судьба,  
Твоя судьба

В пустыне неба голубой.  
О, Господи, я так тиха,  
Я так слаба,  
Что до греха  
Недалеко.

Я так изменчиво-нежна —  
Нежней, чем нежная весна,  
Изменчивее, чем волна.  
О, Господи, я так честна,  
Что, веря в грех,  
Грешу легко.  
Я, может быть, грешнее всех.

Но осуждающую фразу  
По ветру рассыпает смех:  
— Неправда. Нет!  
За столько лет  
Не согрешила я ни разу.  
Всё это бред.  
Был лучезарным мой позор  
И осиянным.  
Победно-пламенный костер,  
Шелками вышитый узор  
Над океаном.

В конце концов на этот вздор  
Поставим точку.  
А нашу дочку,  
Дочку нашу,  
Цветок-Наташу,  
Подарим мы  
Снегам зимы.

1953

\* \* \*

*Владимиру Маркову*

Отравлен воздух, горек хлеб —  
Мир нереален и нелеп,  
Но жизнь всё слаще, всё нежнее.  
...О Дон-Кихоте, об Альдонце,  
Что притворялась Дульцинеей.

Заходит кухонное солнце  
На фитиле жестяной лампы.  
В кастрюльке булькает картофель.  
Ни занавеса нет, ни ramпы,  
И Хлебникова светлый профиль  
В пурпурном ящике-гробу.

— Приветствую твою судьбу,  
«Земного шара Председатель»!  
Приветствую в тебе творца,  
Я твой читатель — почитатель-  
ница.

Как «дева ветреной воды»,  
Забыв озера и пруды,  
В себя дыхание забрав,  
До локтя закатав рукав,  
Я ложкой по столу стучу,  
Понять-постичь тебя хочу,  
Твои пиррихии, спондеи,  
От вдохновенья холодея,  
Заумный твой язык учу.

Не до Альдонцы-Дульциinei!

1957



Ты видишь, как я весело живу  
У горлинкой воркующего моря,  
Как весело.

О будущем не споря,  
Чужие сны я вижу наяву,  
Посыпанные едкой солью горя.

В сомнамбулической, подветренной тоске —  
Тоска? (А может быть, вернее, скука?) —  
Танцует босоножкой на песке  
Пеннорожденная разлучница-разлука,  
И кораблекрушения волна  
Выносит заумь гибели со дна.

Беда-водоворот. Беда-победа.  
За мраморным плечом обломано крыло  
Чужого бреда.

Да, как назло,  
Тебе не повезло.  
И все-таки не надо плакать, Леда!  
О чем печалиться? О чем, о чем  
Под леопардовой расцветкой плета?

Взгляни — звездой обманной у воды  
Блестит кусок слюды —  
Звезда песочная, звезда воспоминаний —  
Семирамидовы сады,  
Пласты слезо-серебряной руды  
Страданий.

Ложится время дуновеньем пыли  
На праздничные льды  
Заморской были.

Ну, кто же спорит? Жили-были,  
То тускловато, то светло,  
На свадьбах пировали, ели-пили,

И по усам текло...  
Но кончилось. Прошло, прошло,  
Забвением роскошно поросло...

Все корабли отчалили, отплыли  
К пределам огнедышащей земли,  
На дно отчаянья навеки отошли.

О, нежностью сводящая с ума  
Мимозоструйная весна-зима!  
Со дна всплывает лунная ундина  
В соленый, хрупкий лед девической любви.

— Не прикасайся к сердцу. Не зови  
Сомнений песней лебединой!

В самоубийственной крови  
Чужих страстей, чужого сна,  
Не слушая, не понимая  
Чужого маятника маяния,  
Я чутко сплю, не достигая  
Двойного дна  
Отчаяния.

1956

\* \* \*

*Памяти поэта Виктора Полякова \**

Средиземноморский ад  
В стрекотании цикад.  
Пальмоносная гора  
Гумилевского «Шатра».

---

\* Поэт Виктор Поляков застрелился еще до войны 1914 года в Париже на площади Трокадеро (*Примеч. автора*).

Ни былинки ни одной,  
Ни веселого цветка —  
Концентрированный зной  
И такая же тоска.

Броситься бы вниз с горы,  
Чтобы сразу — трах, и нету!  
Вдребезги! В тартарары!  
И пойдешь ищи по свету,  
Отчего и почему.

Память вечная ему,  
Память вечная поэту!  
Так — не доиграв игры —  
Вдребезги! В тартарары! —  
Рассыпаются миры,  
Обрываются кометы,  
И стреляются поэты —  
От тоски. И от жары.

Прожита всего лишь треть  
Или даже — меньше трети.  
Разве можно умереть  
В цвете лет, в июльском свете?

Но томленье... Но усталость.  
Но презрительная жалость  
К современникам. И эти  
Складки у тяжелых век.

Черный вечер. Белый ветер...  
Веером ложится снег.  
Вдоль навек замерзших рек  
Рысаков волшебный бег.  
В лунно-ледяной карете  
Гордая Царица Льдов,  
Покровительница вдов, —

Хрупких, нежных, бессердечных,  
Безнадёжно безупречных,  
Тех, что, не дождавшись встречи,  
Зажигают в церкви свечи  
И бесчувственной рукой  
Крестятся за упокой  
Всех, ушедших слишком рано...

— Только как же?.. Погоди!  
Выстрел. Маленькая рана  
В левой стороне груди.

Под раскидистою елью,  
Под зеленой тенью хвой,  
Упоительно шумящих  
Над усталой головой...

В абажурно-лунной чаше,  
В шепотке страниц шуршащих  
Чище звезд и лиры слаще  
Луч струится голубой,  
Уводящий за собой —  
В первозданный мир стихов...

— Погоди! Постой, постой!  
Было нелегко решиться  
Умудриться застрелиться  
В сквере на Трокадеро.

И когда дано от Бога  
Золота и серебра  
Очень много, слишком много —  
Нет от этого добра.

Тише, тише, помолчи, —  
Каблучками не стучи,  
Воли не давай слезам!  
В черной воровской ночи

«Все подобраны отмычки,  
Все подделаны ключи»  
К тюрьмам, сейфам, и сердцам,  
И к началам, и к концам.

Грохот чичиковской брички,  
Возглас: «Отворись, Сезам!»  
Берег Сены. Берег Леты...  
... «Мы последние поэты»...

1958

\* \* \*

Золотой Люксембургский сад.  
Золотой, золотой листопад,  
Силлабически листья шуршат...

Мы идем, и по нашему следу,  
Удлиняясь, тени идут  
И таинственную беседу  
Шепотком золотистым ведут:  
— Я устала по саду метаться,  
Я устала на части ломаться,  
Становиться длинней и короче...  
— Не хочу я с тобой расставаться!  
Не расстанусь с тобой никогда!  
За твои ненаглядные очи,  
Все мои непроглядные ночи...  
Отвечай, ты согласна? Да? —  
Шелестит чуть слышно ответ:  
— Я с тобой не согласна. Нет!  
У теней нет очей и ночей,  
Тень, как воздух, как дым, как ручей —  
Тень отчаянья, тень свечей...  
Я устала быть тенью ничьей.

Ах, устала, устала я очень,  
Этот мир так порочно-непрочен!..

Золотой, золотой листопад,  
Силлабически листья шуршат...

Бьют часы с расстановкою — семь.  
Потемнело. Пусто совсем.

— До свиданья. Пора мне домой.  
В светлый дом, где пылают печки,  
Где томительно-звонкий покой  
Перемешан с гитарной тоской,  
Ну, совсем как — подать рукой —  
На цыганской, на Черной речке.

1957

\* \* \*

«Человек человеку бревно».  
Это Ремизов где-то давно  
Написал.

И как правильно это.  
Равнодушие сживает со света  
Одиноких и плачущих.

Но  
Для бродяги, глупца и поэта,  
У которых мозги набекрень,  
Одинокество — чушь, дребедень,  
Трын-трава.

Им участие смешно,  
Им не надо привета-ответа.

Вот окончился каторжный день,  
Полный муки и разного вздора.  
Не оставив и воспоминаний

По себе.

Серебристые лани,  
Запряженные в лунные сани,  
Под окном.

Только где же окно?  
Где окно и оконная штора?  
Где же дверь?

Так темно и черно,  
Так темно, что не видно ни зги.  
— Зазвени, зга! Сиянье зажги!  
Озари эту темь-черноту,

Искрометно звеня на лету,  
Молньеносно метнись в высоту  
И обрушься пожаром на дом,  
Огнедышащим дымным столбом,  
Красным ужасом, черным стыдом  
Справедливейшего приговора!

...Так погибли когда-то Содом  
И Гоморра.

1960

\* \* \*

Скользит слеза из-под усталых век,  
Звенят монеты на церковном блюде...

О чем бы ни молился человек,  
Он непременно молится о чуде:  
Чтоб дважды два вдруг оказалось пять,  
И розами вдруг расцвела солома,  
И чтоб к себе домой прийти опять,  
Хотя и нет ни у себя, ни дома.

Чтоб из-под холмика с могильною травой  
Ты вышел вдруг веселый и живой.

*Георгию Адамовичу*

Верной дружбе глубокий поклон.  
Ожиданье. Вокзал. Тулон.

Вот мы встретились. — Здравствуйте. Здрасьте! —  
Эта встреча похожа на счастье,  
На левкой в чужом окне,  
На звезду, утонувшую в море,  
На звезду на песчаном дне.

— Но по стойте. А как же горе?  
Как же горе, что дома ждет?  
Как беда, что в неравном споре  
Победит и с ума сведет?

Это пауза, это антракт,  
Оттого-то и бьется так,  
Всем надеждам несбывшимся в такт,  
Неразумное сердце мое.

Полуявь. Полузабытье...

Как вы молоды! Может ли быть,  
Чтобы старость играла в прятки,  
Налагала любовно заплатки  
На тоски и усталости складки,  
На бессонных ночей отпечатки,  
Будто не было их?

Не видны.

И не видно совсем седины  
В шелковисто-прямых волосах.

Удивленье похоже на страх.  
Как же так? Через столько лет...  
Значит, правда — времени нет,



И уводит девический след  
Башмачков остроносых назад,  
Прямо в прошлое,  
    В Летний сад:

По аллее мы с вами идем,  
По аллее Летнего сада.  
Ничего мне другого не надо:  
Дом Искусств. Литераторов Дом.  
Девятнадцать жасминовых лет,  
Гордость студии Гумилева,  
Николая Степановича...

— Но по стойте, по стойте. Нет!  
Это кажется так, сгоряча.  
Это выдумка. Это бред.  
Мы не в Летнем саду. Мы в Тулоне,  
Мы стоим на тютчевском склоне,  
Мы на тютчевской очереди  
Роковой — никого впереди.

Осторожно из-за угла  
Наплывает лунная мгла.  
Ничего уже не случится.  
Жизнь прошла.  
                                    Безвозвратно прошла.

Жизнь прошла.  
    А молодость длится.  
                                    Ваша молодость.  
  И моя.

1958

## РАЗНОСТОПНЫЕ ЯМБЫ

*Ренэ Герра*

Лазурный берег, берег Ниццы.  
Чужая жизнь. Чужие лица.  
Я сплю.

Мне это только снится.  
До смерти так недалеко —  
Рукой  
Подать.

Я погружаюсь глубоко —  
С какой сознательной тоской —  
В чудовищную благодать  
Дурного сна.  
Его бессмысленность ясна:

На койке городской больницы  
Страдания апофеоз  
И унижения.  
Но розы, розы, сколько роз,  
И яркий голос соловья  
Для вдохновения  
Во сне.

Я сплю — всё это снится мне —  
Всё это только скверный сон,  
Я сознаю, что я — не я,  
Я даже не «она», а «он» —

И до чего мой сон нелеп!  
О, лучше б я оглох, ослеп —  
Я — нищий русский эмигрант!

Из памяти всплывает Дант:  
«Круты ступени, горек хлеб  
Изгнания...»

Так! Правильно!  
    Но о моей беде,  
О пытке на больничной койке  
Дант не упомянул нигде:  
Такого наказания  
Нет даже в дантовском Аду.

...Звезда поет. Звезда зовет звезду.  
«Вот счастье мое на тройке...»  
Ни тройки, ни кабацкой стойки,  
Ни прочей соловьиной лжи.  
Ты пригвожден к больничной койке,  
Так и лежи!..

А рядом енчит старичок.  
В загробность роковой скачок  
Ему дается тяжело.  
Ничто ему не помогло,  
Проиграна его игра,  
И он уже идет ко дну,  
Крестом и розою увенчан.  
И значит, стало на одну  
Жизнь опозоренную меньше.  
Пора о ней забыть! Пора!  
Как далеко до завтра... До утра...

Таинственно белеют койки,  
Как будто окна на Неву.  
Мне странно, что такой я стойкий,

И странно мне,  
Что я еще живу  
И что не я, а старичок  
В бессмертье совершил скачок  
В нелепом сне.

1958

Я не могу простить себе —  
Хотя другим я всё простила, —  
Что в гибельной твоей судьбе  
Я ничего не изменила,  
Ничем тебе не помогла,  
От смерти не уберегла.

Всё, что твоя душа просила,  
Всё то, что здесь она любила...  
Я не сумела. Не смогла.

Как мало на земле тепла,  
Как много холода — и зла!

Мне умирать как будто рано,  
Хотя и жить не для чего.  
Не для чего. Не для кого.  
Вокруг — безбрежность океана  
Отчаяния моего —  
Отчаяния торжество.

И слезы — не вода и соль,  
А вдовьи слезы — кровь и боль.

Мне очень страшно быть одной,  
Еще страшнее — быть с другими —  
В круговращеньи чепухи —  
Страшнее. И невыносимей.

В прозрачной тишине ночной  
Звонят чуть слышно те стихи,  
Что ты пред смертью диктовал.

Отчаянья девятый вал.

Тьма.

И в беспамятство провал —  
До завтрашнего дня.

1958

\* \* \*

Последнее траурное новоселье.

Мне хочется музыки, света, тепла

И чтоб отражали кругом зеркала

Чужое веселье.

И в вазе хрустальной надежда цвела

Бессмертною розой, как прежде.

Смешно о веселье.

Грешно о надежде.

В холодной, пустой, богадельческой келье

Сварливая, старческая тишина.

И нет ни покоя, ни сна,

И тянет тоскою из щелей окна,

Из сада, где дождь и промозглая слякоть.

— Не надо, не надо!

Прошу вас не плакать.

1958

\* \* \*

Мы играем не для денег,  
А чтоб время провести.  
*А.Пушкин*

Всё было, было, бы...

Лото под лампой,  
Старушки-богаделки, старцы-богадельцы —  
От жизни старостью, как театральной  
рампой.

Вечернее лото — приятнейшее дельце  
Пред тем, как спать идти, с восьми до десяти.  
Ведь «не для денег, а чтоб время провести»,  
Как черти в дурачки у Пушкина играли.  
Тэ-лэ трещит в почти безлюдном зале.

Я в комнате своей у лунного окна.  
Дверь заперта на ключ. Одна, всегда одна  
С тех пор, как умер ты, — одна на целом свете.

Пора, казалось бы, и мне ожесточиться,  
Стать язво-сплетницей, подслеповатой, злой,  
Лихой лотошницей, как богаделки эти.

Луна сквозь облаков полупрозрачный слой,  
Как там, как над Невой, прелестно серебрится.  
— Луна, далекий друг, сестра моя луна...

...Не то, что молодость спешит, летит стрелой  
И падает стремглав подстреленною птицей,  
А то, что молодость так бесконечно длится,  
Когда давно она мне больше не нужна.

*1959*

\* \* \*

Неправда, неправда, что прошлое мило.  
Оно как открытая жадно могила —  
Мне страшно в него заглянуть.  
— Забудем, забудьте, забудь!

По синим волнам океанится парус,  
Налейте вина и возьмите гитару.  
Давайте о завтра мечтать,  
Чтоб завтра казалось еще неизвестней,  
Еще невозможней, тревожней, прелестней,  
Чтоб завтра не стоило ждать.

О, спойте скорей «Лебединую песню»,  
И «Белой акации...»,  
  И «В том саду...»,  
Хоть встретились мы не в саду, а в аду,  
В аду эмиграции.

А парус белеет, навек одинокий,  
Скользя по волнам в байроническом сплине,  
В пучине стихов, от шампанского синей.

— Прощайте, прощайте, пора!  
Прощайте, желаю вам счастья!

Но разве так поздно? Нет, здравствуйте,  
  здрасьте!

Уже не сегодня, еще не вчера,  
Еще далеко до утра!  
И значит, игра  
  Продолжается.

1960

Банальнее банального,  
Печальнее печального  
Сознание — жизнь прошла.

Ну что ж? Поговорим  
О подвигах, о славе —  
Троя, Рим...

Вот дни мои и все мои дела:  
Как мало доброго. Как много зла!  
Не то я делала, не так жила,  
И ясно, что я лучше быть могла.

От одиночества и от усталости  
Прилив горячей, нежной жалости  
К себе и прочим тварям на земле,  
Как уголек, краснеющий в золе.  
Печаль, похожая на вдохновенье,  
И драгоценно каждое мгновенье,  
Когда уже отсчитаны они —  
На счетах звонких и магических, —  
Мои пустынные, торжественные дни.

Но раз в стихах лирических  
Нельзя без точки зрения  
И собственного мнения,  
Я признаюсь — банальнее банального,  
Сусальнее сусального  
Мне кажется высокий этот тон  
Раскаяния, просветления  
И старческого всепрощенья  
Предпохоронный звон,  
Полупоследний стон,  
Благословляющее — Ах!



— Нет, старость мудрая, прости,  
С тобою мне не по пути  
Ни в жизни, ни в стихах  
До самой смерти!

1959

## НОЧЬ БЕЗ СНА

Ледяная луна в ледяной высоте  
Озаряет озябшие вяза и клены,  
И на снежной поляне четыре вороны,  
Как чернильные пятна на белом листе.

Почему их четыре? Не три и не пять?  
Почему мне опять ничего не понять?  
Почему всё меня до смешного тревожит  
И ничто на земле успокоить не может?

Если б было ворон или пять, или три,  
Треугольник или пентагон  
Без затей и затрат  
Преудобно улегся бы в сон.  
Но четыре вороны — вороний квадрат, —  
Никуда не уляжется он.

В черной душной ночи горят фонари,  
Далеко до луны, далеко до зари,  
Невозможно уснуть и немислимо спать,  
Оттого что ворон-то четыре,  
А не три и не пять.

И кругами, кругами всё шире и шире  
Наплывает отчаяние.

1959

# НА БЕРЕГАХ НЕВЫ

*Посвящаю свою книгу  
Анне Колоницкой*

На берегах Невы  
Несется ветер, разрушеньем вея...  
*Георгий Иванов*

# Предисловие

Это не моя автобиография, не рассказ о том,

Какой я была,  
Когда здесь на земле жила...<sup>1</sup>

Нет. И для меня: «Воспоминания, как острый нож они».

Ведь воспоминания всегда regrets ou remords<sup>2</sup>, а я одинаково ненавижу и сожаление о прошлом, и угрызения совести.

Недаром я призналась в стихах:

Неправда, неправда, что прошлое мило.  
Оно как разверстая жадно могила,  
Мне страшно в него заглянуть...

Нет, я ни за что не стала бы описывать свое «детство, отрочество и юность», своих родителей и, как полагается в таких воспоминаниях, несколько поколений своих предков — все это никому не нужно.

Я пишу не из эгоистического желания снова окунуться в те трагические, страшные и прекрасные, несмотря на все ужасы, первые пореволюционные годы.

Я пишу не о себе и не для себя, а о тех, кого мне было дано узнать «на берегах Невы».

Я пишу о них и для них.

---

<sup>1</sup> Сохраняя особенности авторского стиля, издательство не уточняет поэтические цитаты, в том числе и автоцитаты, приводимые Ириной Одоевцевой в ее мемуарах (*Примеч. ред.*).

<sup>2</sup> сожаления или угрызения совести (*фр.*).

О себе я стараюсь говорить как можно меньше и лишь то, что так или иначе связано с ними.

Я только глаза, видевшие их, только уши, слышавшие их.

Я одна из последних, видевшая и слышавшая их, я только живая память о них.

Авторы воспоминаний обыкновенно клянутся и божатся, что все, о чем они рассказывают, — чистейшая, стопроцентная правда, — и тут же делают ошибки за ошибками.

Я не клянусь и не божусь.

Очень возможно, что и у меня найдутся ошибки и неточности. Я совсем не претендую на непогрешимость, граничащую со святостью.

Но я утверждаю, что пишу совершенно честно и правдиво.

Многих удивляет, что я так точно, так стенографично привожу слова и разговоры. Как могла я все так точно запомнить? А не сочиняю ли я их? Нет ли в моих воспоминаниях больше *Dichtung*, чем *Warheit*?<sup>1</sup>

Но, положа руку на сердце, я ничего не сочиняю и не выдумываю. Память у меня, действительно, прекрасная. Я помню слово в слово то, что слышала сорок — и даже больше — лет тому назад.

Впрочем, по-моему, в этом нет ничего поразительно-го. Спросите кого-нибудь из ваших пожилых знакомых, как он держал выпускные экзамены или как шел в первый бой, и вы получите от него самый — до мелочей — точный ответ.

Объясняется это тем, что в тот день и час внимание его было исключительно напряжено и обострено и навсегда запечатлело в его памяти все происходившее.

Для меня в те годы каждый день и час был не менее важен, чем экзамен или первый бой.

Мое обостренное, напряженное внимание регистрировало решительно все и на всю жизнь записало в моей памяти даже незначительные события.

Все же приведу пример моей памяти.

Как-то, совсем недавно, я напомнила Георгию Адамовичу о забавном эпизоде его детства. Он и его сестра Таня «выживляли» большого игрушечного льва, по утрам потихоньку вливая ему в пасть горячий чай и суя в нее бутерброды. До тех пор, пока, к их восторгу, лев не

<sup>1</sup> воображение... правда (нем.).

задергал головой и не «выживился». Но тут-то он и лопнул пополам и залил ковер своим содержимым.

Георгий Адамович, сосредоточенно сдвинув брови, слушал меня.

— Что-то такое было... Мы действительно, кажется, «выживляли» льва, — неуверенно проговорил он. — Да, да! Но, скажите, откуда вам это известно?

— Как откуда? Ведь вы сами рассказывали мне о «выживлении» картонного льва в июле 1922 года у вас на Почтамтской, и как вы впервые были с вашей французкой в Опере на «Фаусте» и она, указывая на Мефистофеля, вздохнула: «Il me rappelle mon Polonais!»<sup>1</sup>

Адамович кивнул:

— Да. Все это так и было. Теперь и я вспомнил. Но как странно — вы помните случаи из моего детства, которые я забыл. — И прибавил улыбаясь: — Я могу засвидетельствовать, что вы действительно все помните, решительно все, — можете сослаться на меня...

Теперь, оглядываясь назад, я иногда спрашиваю себя, не ошибаюсь, не преувеличиваю ли я? Были ли они — те, о ком я пишу, — действительно так очаровательны и блестящи? Не казались ли они мне такими «в те дни, когда мне были новы все ощущения бытия», оттого что поэтов я тогда считала почти полубогами?

Но нет. Я уверена, что не ошибаюсь. Я стараюсь относиться к ним критически и не скрываю их теневых сторон.

Но стоит мне закрыть глаза и представить себе Гумилева, Блока, Мандельштама, и я сейчас же вижу их лица, окруженные сияньем, как лики святых на иконах.

Да, я восхищалась ими. Я любила их. Но ведь любовь помогает узнать человека до конца — и внешне, и внутренне. Увидеть в нем то, чего не могут разглядеть равнодушные, безучастные глаза.

Зинаида Гиппиус часто повторяла: «Когда любишь человека, видишь его таким, каким его задумал Бог».

Возможно, что и для меня сквозь их земные оболочки просвечивал их образ, задуманный Богом.

Я согласна с Gabrielem Марселем, что «любовь дарует бессмертие» и что, произнося: «Я тебя люблю», — тем самым утверждаешь: «Ты никогда не умрешь».

Не умрешь, пока я, любящий тебя, буду жить и помнить тебя.

---

<sup>1</sup> «Он же напоминает моего поляка!» (фр.)

Я пишу эти воспоминания с тайной надеждой, что вы, мои читатели, полюбите как живых тех, о ком я вспоминаю. Полюбите их, воскресите их в своей памяти и в сердцах.

И тем самым подарите им бессмертие.

Вы, мои современники, и вы, те, кто будут читать — я и на это самоуверенно надеюсь — «На берегах Невы», когда меня уже давно не будет на свете.

Ноябрь 1918 года.

Огромные ярко-рыжие афиши аршинными буквами объявляют на стенах домов Невского об открытии Института живого слова и о том, что запись в число его слушателей в таком-то бывшем великокняжеском дворце на Дворцовой набережной.

В зале с малахитовыми колоннами и ляпис-лазуревыми вазами — большой кухонный стол, наполовину покрытый красным сукном. За ним — небритый товарищ в кожаной куртке, со свернутой из газеты козьей ножкой в зубах. Перед столом длинный хвост — очередь желающих записаться.

Запись происходит быстро и просто. Но вот уже моя очередь. Товарищ в кожаной куртке спрашивает:

— На какое отделение, товарищ?

— Поэтическое, — робко отвечаю я.

— Литературное, — поправляет он. И критически оглядев меня: — А не на театральное ли? Но так и запишем. Имя, фамилия?

Я протягиваю ему свою трудкнижку, но он широким жестом отстраняет ее.

— Никаких документов. Верим на слово. Теперь не царские времена. Языки иностранные знаете?

От удивления я не сразу отвечаю.

— Ни одного не знаете? Значения не имеет. Так и запишем.

Но я, спохватившись, быстро говорю:

— Знаю. Французский, немецкий и английский.

Он прищуривает левый глаз.

— Здорово! А вы не заливаете? Действительно знаете? Впрочем, значения не имеет. Но так и запишем. И чего вы такая пугливая? Теперь не те времена — никто



не обидит. И билета вам никакого не надо. Приняты, обучайтесь на здоровье. Поздравляю, товарищ!

Я иду домой на Бассейную, 60. Я чувствую, что в моей жизни произошел перелом. Что я уже не та, что вчера вечером и даже сегодня утром.

Институт живого слова.

Нигде и никогда за все годы в эмиграции мне не приходилось читать или слышать о нем.

Я даже не знаю, существует ли он еще.

Скорее всего, он давно окончил свое существование.

Но был он одним из самых фантастических, очаровательных и абсолютно нежизнеспособных явлений того времени.

Его основатель и директор Всеволод Гернгросс-Всеволодский горел и пылал священным огнем и заражал своим энтузиазмом слушателей «Живого слова».

Я никогда не видела его на сцене. Думаю, что он был посредственным актером.

Но оратором он был великолепным. С первых же слов, с первого же взмаха руки, когда он, минуя ступеньки, как тигр вскакивал на эстраду, он покорял аудиторию.

О чем он говорил? О высоком призвании актера, о святости служения театральному делу. О том, что современный театр зашел в тупик и безнадежно гибнет. О необходимости спасти театр, вывести его на большую дорогу, преобразить, возродить, воскресить его.

Вот этим-то спасением, преображением, возрождением театра и должны были заняться — под мудрым водительством самого Всеволодского — собравшиеся здесь слушатели «Живого слова».

Всеволодский, подхваченный неистовым порывом вдохновения и красноречия, метался по эстраде, то подбегал к самому ее краю, то, широко раскинув руки, замирал, как пригвожденный к стене.

Обещания, как цветочный дождь, сыпались на восхищенных слушателей.

— Вы будете первыми актерами не только России, но и мира! Ваша слава будет греметь! Отовсюду будут съезжаться смотреть и слушать вас! Вы будете чудом, немеркнущим светом! И тогда только вы поймете, какое счастье было для вас, что вы поступили в «Живое слово»...

Слушателей охватывала дрожь восторга. Они верили в свое непостижимо прекрасное будущее, они уже чувствовали себя всемирными преобразователями театра, увенчанными лучами немеркнущей славы.

Всеволодский был не только директором «Живого слова», но и кумиром большинства слушателей — тех, что стремились стать актерами. Кроме них, хотя и в несравненно меньшем количестве, были стремившиеся стать поэтами и ораторами.

Лекции пока что происходят в Тенишевском училище, но «Живое слово» в скором времени собирается переехать в здание Павловского института на Знаменской.

В будущую пятницу лекция Гумилева. Стихов Гумилева до поступления в «Живое слово» я не знала, а те, что знала, мне не нравились.

Я любила Блока, Бальмонта, Ахматову.

О том, что Гумилев был мужем Ахматовой, я узнала только в «Живом слове». Вместе с прочими сведениями о нем — Гумилев дважды ездил в Африку, Гумилев пошел добровольцем на войну, Гумилев в то время, когда все бегут из России, вернулся в Петербург из Лондона, где был прекрасно устроен. И наконец, Гумилев развелся с Ахматовой и женился на Ане Энгельгардт. На дочери того самого старого профессора Энгельгардта, который читает у нас в «Живом слове» китайскую литературу.

— Неужели вы не слышали? Не знаете? А еще стихи пишете...

Нет, я не знала. Не слышала.

Первая лекция Гумилева в Тенишевском училище была назначена в пять.

Но я пришла уже за час, занять место поближе.

Зал понемногу наполняется разношерстной толпой. Состав аудитории первых лекций был совсем иной, чем впоследствии. Преобладали слушатели почтенного и даже чрезвычайно почтенного возраста. Какие-то дамы, какие-то бородатые интеллигенты, вперемежку с пролетариями в красных галстуках. Все они вскоре же отпали и, не получив, должно быть, в «Живом слове» того, что искали, — перешли на другие курсы.

Курсов в те времена было великое множество — от переплетных и куроводства до изучения египетских и санскритских надписей. Учиться — и даром — можно было всему, что только пожелаешь.

Пробило пять часов. Потом четверть и половину шестого. Аудитория начала проявлять несомненные признаки нетерпения — кашлять и стучать ногами.

Всеволодский уже два раза выскакивал на эстраду

объявлять, что лекция состоится, непременно состоится:

— Николай Степанович Гумилев уже вышел из дома и сейчас, сейчас будет. Не расходитесь! Здесь вы сидите в тепле. Здесь светло и тепло. И уютно. А на улице холод, и ветер, и дождь. Черт знает, что творится на улице. И дома ведь у вас тоже не топлено и нет света. Одни коптилки, — убедительно уговаривал он. — Не расходитесь!

Но публика, не внимая его уговорам, начала понемногу расходиться. Моя соседка слева, нервная дама с вздрагивающим на носу пенсне, шумно покинула зал, насмешливо кивнув мне:

— А вы что, остаетесь? Презимовать здесь намерены?

Мой сосед слева, студент, резонно отвечает ей:

— Столько уже ждали, можем и еще подождать. Тем более, что торопиться абсолютно некуда. Мне, по крайней мере.

— И мне, — как эхо вторю я.

Я действительно готова ждать хоть до утра.

Всеволодский, надрываясь, старается удержать слушателей.

— Николай Степанович сейчас явится! Вы пожалейте, если не услышите его первую лекцию. Честное слово...

Не знаю, как другие, но я несомненно очень жалела бы, если бы не услышала первой лекции Гумилева.

— Он сейчас явится!..

И Гумилев действительно явился.

Именно «явился», а не пришел. Это было странное явление. В нем было что-то театральное, даже что-то оккультное. Или, вернее, это было явление существа с другой планеты. И это все почувствовали — удивленный шепот прокатился по рядам.

И смолк.

На эстраде, выскользнув из боковой дверцы, стоял Гумилев. Высокий, узкоплечий, в оленьей дохе с белым рисунком по подолу, колыхавшейся вокруг его длинных худых ног. Ушастая оленья шапка и пестрый африканский портфель придавали ему еще более необыкновенный вид.

Он стоял неподвижно, глядя прямо перед собой. С минуту? Может быть, больше, может быть, меньше. Но мне показалось — долго. Мучительно долго. Потом двинулся к лекторскому столику у самой ramпы, сел,

аккуратно положил на стол свой пестрый портфель и только тогда обеими руками снял с головы — как митру — свою оленью ушастую шапку и водрузил ее на портфель.

Все это он проделал медленно, очень медленно, с явным расчетом на эффект.

— Господа, — начал он гулким, уходящим в небо голосом, — я предполагаю, что большинство из вас поэты. Или, вернее, считают себя поэтами. Но я боюсь, что, прослушав мою лекцию, вы сильно поколеблетесь в этой своей уверенности.

Поэзия совсем не то, что вы думаете, и то, что вы пишете и считаете стихами, вряд ли имеет к ней хоть отдаленное отношение.

Поэзия такая же наука, как, скажем, математика. Не только нельзя (за редчайшим исключением гениев, которые, конечно, не в счет) стать поэтом, не изучив ее, но нельзя даже быть понимающим читателем, умеющим ценить стихи.

Гумилев говорит торжественно, плавно и безапелляционно. Я с недоверием слушаю и смотрю на него.

Так вот он какой. А я и не знала, что поэт может быть так не похож на поэта. Блок — его портрет висит в моей комнате — такой, каким и должен быть поэт. И Лермонтов, и Ахматова...

Я по наивности думала, что поэта всегда можно узнать.

Я растерянно гляжу на Гумилева.

Острое разочарование — Гумилев первый поэт, первый живой поэт, которого я вижу и слышу, и до чего же он не похож на поэта!

Впрочем, слышу я его плохо. Я сижу в каком-то бессмысленном оцепенении. Я вижу, но не слышу. Вернее, слышу, но не понимаю.

Мне трудно сосредоточиться на сложной теории поэзии, развиваемой Гумилевым. Слова скользят мимо моего сознания, разбиваются на звуки.

И не значат ничего...

Так вот он какой, Гумилев! Трудно представить себе более некрасивого, более особенного человека. Все в нем особенное и особенно некрасивое. Продолговатая, словно вытянутая вверх голова с непомерно высоким плоским лбом. Волосы, стриженные под машинку, неопределенного цвета. Жидкие, будто молью траченные брови. Под тяжелыми веками совершенно плоские глаза.

Пепельно-серый цвет лица. Узкие бледные губы. Улыбается он тоже совсем особенно. В улыбке его что-то жалкое и в то же время лукавое. Что-то азиатское. От «идола металлического», с которым он сравнивал себя в стихах:

Я злюсь, как идол металлический  
Среди фарфоровых игрушек.

Но улыбку его я увидела гораздо позже. В тот день он ни разу не улыбнулся.

Хотя на «идола металлического» он все же и сейчас похож... Он сидит чересчур прямо, высоко подняв голову. Узкие руки с длинными ровными пальцами, похожими на бамбуковые палочки, скрещены на столе. Одна нога заброшена на другую. Он сохраняет полную неподвижность. Он, кажется, даже не мигает. Только бледные губы шевелятся на его застывшем лице.

И вдруг он резко меняет позу. Вытягивает левую ногу вперед. Прямо на слушателей.

— Что это он свою дырявую подметку нам в нос тычет? Безобразия! — шепчет мой сосед студент.

Я шикаю на него.

Но подметка действительно дырявая. Дырка не посередине, а с краю. И полкаблука сбито, как ножом срезано. Значит, у Гумилева неправильная, косолапая походка. И это тоже совсем не идет поэту.

Он продолжает торжественно и многословно говорить. Я продолжаю, не отрываясь, смотреть на него.

И мне понемногу начинает казаться, что его косые плоские глаза светятся особенным таинственным светом.

Я понимаю, что это о нем, конечно, о нем Ахматова писала:

И загадочных, темных ликов  
На меня поглядели очи...

Ведь она была его женой. Она была влюблена в него.

И вот уже я вижу совсем другого Гумилева. Пусть некрасивого, но очаровательного. У него действительно иконописное лицо — плоское, как на старинных иконах, и такой же двоящийся загадочный взгляд. Раз он был мужем Ахматовой, он, может быть, все-таки «похож на поэта»? Только я сразу не умею разглядеть.

Гумилев кончил. Он, подняв голову, выжидательно оглядывает аудиторию.

— Ждет, чтоб ему аплодировали, — шепчет мой сосед студент.

— Может быть, кому-нибудь угодно задать мне вопрос? — снова раздаётся гулкий, торжественный голос.

В ответ молчание. Долго длящееся молчание. Ясно — спрашивать не о чем.

И вдруг из задних рядов звенящий, насмешливо-дерзкий вопрос:

— А где всю эту премудрость можно прочесть?

Гумилев опускает тяжелые веки и задумывается, затем, будто всесторонне обдумав ответ, важно произносит:

— Прочесть этой «премудрости» нигде нельзя. Но чтобы подготовиться к пониманию этой, как вы изволите выражаться, премудрости, советую вам прочесть одиннадцать книг натурфилософии Кара.

Мой сосед студент возмущенно фыркает:

— Натурфилософия-то тут при чем?

Но ответ Гумилева явно произвел желаемое впечатление. Никто больше не осмелился задать вопрос.

Гумилев, выждав немного, молча встает и, стоя лицом к зрителям, обеими руками возлагает себе на голову, как корону, оленью шапку. Потом поворачивается и медленно берет со стола свой пестрый африканский портфель и медленно шествует к боковой дверце.

Теперь я вижу, что походка у него действительно косолапая, но это не мешает ее торжественности.

— Шут гороховый! Фигляр цирковой! — возмущаются за мной. — Самоедом вырядился и ломается!

— Какая наглость, какое неуважение к слушателям! Ни один профессор не позволил бы себе... — негодует мой сосед студент.

— Я чувствую себя лично оскорбленной, — клокочет седая дама. — Как он смеет? Кто он такой, подумаешь!

— Тоже, африканский охотник выискался. Все врет, должно быть. Он с виду вылитый консистерский чиновник и в Африке не бывал... Брехня!

Это последнее, что доносится до меня. Я бегу против ветра, только бы не слышать отвратительных возмущенных голосов, осуждающих поэта. Я не с ними, я с ним, даже если он и не такой, как я ждала...

Много месяцев спустя, когда я уже стала «Одоевцева, моя ученица», как Гумилев с гордостью называл меня,

он со смехом признался мне, каким страданием была для него эта первая в его жизни злосчастная лекция.

— Что это было! Ах, Господи, что это было! Луначарский предложил мне читать курс поэзии и вести практические занятия в «Живом слове». Я сейчас же с радостью согласился. Еще бы! Исполнилась моя давнишняя мечта — формировать не только настоящих читателей, но, может быть, даже и настоящих поэтов. Я вернулся в самом счастливом настроении. Ночью, проснувшись, я вдруг увидел себя на эстраде — все эти глядящие на меня глаза, все эти слушающие меня уши — и похолодел от страха. Трудно поверить, а правда. Так до утра и не заснул.

С этой ночи меня стала мучить бессонница. Если бы вы только знали, что я перенес! Я был готов бежать к Луначарскому отказаться, объяснить, что ошибся, не могу... Но гордость удерживала. За неделю до лекции я перестал есть. Я репетировал перед зеркалом свою лекцию. Я ее выучил наизусть.

В последние дни я молился, чтобы заболеть, сломать ногу, чтобы сгорело Тенишевское училище — все, все что угодно, лишь бы избавиться от этого кошмара.

Я вышел из дома, как идут на казнь. Но войти в подъезд Тенишевского училища я не мог решиться. Все ходил взад и вперед с сознанием, что гибну. Оттого так и опоздал.

На эстраде я от страха ничего не видел и не понимал. Я боялся споткнуться, упасть или сесть мимо стула на пол. То-то была бы картина!

Я принес с собой лекцию и хотел читать ее по рукописи. Но от растерянности положил шапку на портфель, а снять ее и переложить на другое место у меня уже не хватило сил.

О, Господи, что это был за ужас! Когда я заговорил, стало немного легче. Память не подвела меня. Но тут вдруг запрыгало проклятое колено. Да как! Все сильнее и сильнее. Пришлось, чтобы не дрыгало, вытянуть ногу вперед. А подметка у меня дырявая. Ужас! Не знаю, не помню, как я кончил. Я сознавал только, что я навсегда опозорен. Я тут же решил, что завтра же уеду в Бежецк, что в Петербурге после такого позора я оставаться не могу.

И зачем только я про одиннадцать книг натурфилософии брякнул? От страха и стыда, должно быть. В полном беспомоществе.

— Но у вас был такой невероятно самоуверенный, важный тон и вид, — говорю я.

Гумилев весь трясется от смеха.  
— Это я из чувства самосохранения перегнул палку.  
Как тот чудака, который, помните:

На чердаке своем повесился  
Из чувства самосохранения.

Нет, правда, все это больше всего походило на самоубийство. Сплошная катастрофа. Самый страшный день моей жизни.

Я, вернувшись домой, поклялся себе никогда больше лекций не читать. — Он разводит руками. — И, как видите, клятвы не сдержал. Но теперь, когда у меня часто по две лекции в день, мне и в голову не приходит волноваться.

И чего, скажите, я так смертельно трусил?

\* \* \*

Январь 1919 года. Голодный, холодный, снежный январь. Но до чего интересно, до чего весело! В «Живом слове» лекции сменялись практическими занятиями и ритмической гимнастикой по Далькрозу. Кони возглавлял ораторское отделение, гостеприимно приглашая всех на свои лекции и практические занятия.

Я поступила, конечно, на литературное отделение. Но занималась всем, чем угодно, и кроме литературы: слушала Луначарского, читавшего курс эстетики, Кони, самого Всеволодского и делала ритмическую гимнастику.

Гумилев, со времени своей лекции еще перед Рождеством, в Тенишевском училище ни разу не показывался.

Независимо от отделения, на которое они поступили, всем слушателям ставили голос и всех учили театральной дикции актеры Александринского театра — Юрьев, Железнова, Студенцов и, главное, Всеволодский. Я, благодаря своей картавости, попала в дефективную группу к «великому исправителю речевых недостатков» актеру Берлинду. Он при первом же знакомстве со мной, желая, должно быть, заставить меня энергичнее взяться за работу, заявил мне:

— Посмотреть на вас, пока молчите — да, конечно... А как заговорите, вы просто для меня горбунья, хромоножка. Одним словом — уродка. Но не впадайте в



отчаяние. Я помогу вам. Я переделаю вас. Обещаю. Я вами специально займусь.

Обещание свое ему исполнить не удалось. Я так на всю жизнь и осталась «горбуньей, хромоножкой, одним словом — уродкой». Впрочем, по своей, а не по его вине. К «исправительным упражнениям» я относилась без должной настойчивости и не соглашалась сто раз подряд выкрикивать звонко: «Де-те-те-де, де-те-те-де-раа. Рак, рыба, роза-ра!» — в то время как рядом со мной другие «дефективники» по-змеиному шипели: «Ш-ш-ш-шило-шут!» Или распевали: «Ло-ло-ло-ла-лук-луна-ложь!»

Я, к огорчению махнувшего на меня рукой Берлинда, ограничилась только постановкой голоса, скандируя гекзаметр: «Он перед грудью поставил свой щит веле-лепный». Но и тут не вполне преуспела. Что, кстати, меня нисколько не печалило. Ведь я не собиралась стать актрисой. Я хотела быть поэтом. И только поэтом. Ничто, кроме поэзии, меня серьезно не интересовало.

Мы — слушатели «Живого слова», «живословцы» — успели за это время не только перезнакомиться, но и передружиться. Я же успела даже обзавестись «толпой поклонников и поклонниц» и стала считаться первой поэтессой «Живого слова». Кроме меня, не было ни одной настоящей «поэтессы».

Самый «заметный» из поэтов, Тимофеев, жил, как и я, на Бассейной, 60 и, возвращаясь со мной домой, поверял мне свои мечты и надежды, как брату-поэту, вернее, сестре-поэту.

Он был так глубоко убежден в своей гениальности, что считал необходимым оповестить о ней великолепными ямбами не только современников, но и, через головы их, — потомков:

— Потомки! Я бы взять хотел,  
Что мне принадлежит по праву —  
Народных гениев удел,  
Неувядаемую славу!

И пусть на хартьи вековой  
Имен народных корифеев,  
Где Пушкин, Лермонтов, Толстой, —  
Начертан будет Тимофеев!

На «хартьи вековой» начертать «Тимофеев» ему,

конечно, не удалось. Все же такой грандиозный напор не мог пропасть совсем даром. Это он, много лет спустя, сочинил знаменитые «Бублички», под которые танцевали фокстрот во всех странах цивилизованного мира:

Купите бублички,  
Горячи бублички,  
Гоните рублички  
Ко мне скорей!

И в ночь ненастную  
Меня, несчастную,  
Торговку частную,  
Ты пожалей.

Отец мой пьяница,  
Он этим чванится,  
Он к гробу тянется  
И всё же пьет!

А мать гулящая,  
Сестра пропавшая,  
А я курящая —  
Смотрите — вот!

«Бублички» действительно — и вполне справедливо — прославили своего автора. Но в те дни Тимофеев мечтал не о такой фокстротной славе. Лира его была настроена на высокий лад. Он торжественно и грозно производил запоздалый суд над развратной византийской императрицей Феодорой, стараясь навек пригвоздить ее к позорному столбу. На мой недоуменный вопрос, почему он избрал жертвой своей гневной музыки именно императрицу Феодору, он откровенно сознался, что ничего против нее не имеет, но, узнав о ее существовании из отцовской энциклопедии Брокгауза и Ефрона, не мог не воспользоваться таким великолепным сюжетом. Понятно, мои «кружевные» стихи пользовались у слушателей и, в особенности, у слушательниц несравненно ббльшим успехом. Все они были ярыми поклонницами Лидии Лесной и Веры Инбер и, захлебываясь от восторга, декламировали:

Дама с тонким профилем ноги  
Выломала жемчуг из серьги... —

и тому подобный вздор. Из моих стихов им, как, впрочем, и мне самой, особенно нравилось:

Я сижу на сафьяновом красном диване.  
За окном петербургская снежная даль.  
И я вижу, встает в петербургском тумане  
Раззолоченный, пышный и милый Версаль.

Всё сегодня мне кажется странно и ложно.  
Ты сегодня особенно страстен и дик,  
И мне хочется крикнуть тебе: «Осторожно!  
Ты сотрешь мои мушки, сомнешь мой парик!»

Электрический свет и узоры карниза,  
Все предметы и люди чужие вокруг.  
Я сегодня не я. Я сегодня маркиза.  
— Не сердись на маркизу, мой ласковый друг.

Когда в начале февраля нас известили, что в следующую пятницу состоится лекция Гумилева с разбором наших стихов, не только вся литературная группа, но все мои «поклонники» пришли в волнение.

Гумилев на первой своей лекции объявил, что вряд ли наше творчество имеет что-нибудь общее с поэзией. Естественно, Гумилев и предполагать не может, какие среди нас таланты. И главное, какой талант — я. Было решено удивить, огорошить его, заставить пожалеть о его необоснованном суждении. Но какое из моих стихотворений представить для разбора? Долго спорили, долго советовались. Наконец выбор пал на «Мирамарские таверны». Гумилев, как известно, любитель экзотики и автор «Чужого неба». Его не могут не пленить строки:

Мирамарские таверны,  
Где гитаны пляшут по ночам...

или:

Воздух душен и пьянящ.  
Я надена черное сомбреро,  
Я накину красный плащ...

Эти «Таверны», каллиграфически переписанные на большом листе особенно плотной бумаги, не мной, а одним из моих «поклонников», будут положены поверх всех прочих стихов. И Гумилев сразу прочтет и оценит их. Оценит их и, конечно, меня, их автора. В этом ни у меня, ни у других сомнения не возникало.

В ночь с четверга на пятницу я плохо спала от предчувствия счастья. Я радостно замирала, представляя себе изумление Гумилева.

— Я поражен, — скажет он. — Эти стихи — настоящего, большого поэта. Я хочу сейчас же познакомиться с ним.

И я встану со своего места и подойду к кафедре. Гумилев спустится с нее, низко поклонится мне и пожмет мне руку своей длинной, узкой рукой.

— Поздравляю вас.

И все заплодируют.

В мечтах мне это представлялось чем-то вроде венчания Петрарки — все же в миниатюре. Я не сомневалась, что все произойдет именно так. Я была уверена, что в жизни сбывается все, что сильно и пламенно желаешь. А я ли не желала этого с самого детства?

В тот день я оделась и причесалась особенно тщательно и долго крутилась перед зеркалом, расправляя большой черный бант в волосах. Без этого банта меня тогда и представить себе нельзя было.

Дома, как и в «Живом слове», все знали о моем предстоящем торжестве. И здесь, и там никто не сомневался в нем.

Класс, где должен был произойти разбор стихов, был переполнен слушателями других отделений. Я скромно уселась на предпоследнюю скамью. С краю. Чтобы, когда Гумилев попросит «автора этих прекрасных стихов» выйти на середину класса, другим не пришлось бы вставать, пропуская меня.

На этот раз Гумилев не опоздал ни на минуту. «Живое слово» очень хорошо отапливалось, и Гумилев оставил у швейцара свою самоедскую доху и ушастую оленью шапку. Без самоедской дохи и ушастой шапки у него, в коричневом костюме с сильно вытянутыми коленями, был гораздо менее экзотичный вид. Держался он, впрочем, так же важно, торжественно и самоуверенно. И так же подчеркнуто медленно взошел на кафедру, неся перед собой, как щит, пестрый африканский портфель. Он отодвинул стул, положил портфель на тонень-

кую стопку наших стихов и, опершись о кафедру, обвел всех нас своими косящими глазами.

Я тогда впервые испытала странное, никогда и потом не менявшееся ощущение от его косого, двоящегося взгляда. Казалось, что он, смотря на меня, смотрит еще на кого-то или на что-то за своим плечом. И от этого мне становилось как-то не по себе, даже жутко.

Оглядев нас внимательно, он медленно сел, скрестил руки на груди и заговорил отчетливо, плавно и гулко, повторяя в главных чертах содержание своей первой лекции. Казалось, он совсем забыл об обещании разобрать наши стихи. Лица слушателей вытянулись. Осталось только четверть часа до конца лекции, а Гумилев все говорит и говорит. Но вдруг, не меняя интонации, он отодвигает портфель в сторону.

— Не пора ли заняться этим? — И указывает своим непомерно длинным указательным пальцем на листы со стихами. — Посмотрим, есть ли тут что-нибудь стоящее?

Неужели он начнет не с меня, а возьмет какой-нибудь другой лист? Я наклоняюсь и быстро трижды мелко крещусь. Только бы он взял мои «Таверны»!

Гумилев в раздумье раскладывает листы веером.

— Начнем с первого, — заявляет он. — Конечно, он неспроста положен первым. Хотя не окажется ли, по слову евангелиста, первый последним?

Он подносит лист с «Мирамарскими тавернами» к самым глазам.

— Почерк, во всяком случае, прекрасный. Впрочем, не совсем подходящий для поэта, пожалуй. Не без пиарского шика.

Я чувствую, что холодею. Зачем, зачем я не сама переписала свои стихи? А Гумилев уже читает их, как-то особенно твердо и многозначительно произнося слова, делая паузу между строками и подчеркивая рифмы. Мое сердце взлетает и падает с каждым звуком его гулкого голоса. Наконец он откладывает листок в сторону и снова скрещивает руки по-наполеоновски.

— Так, — произносит он протяжно. — Так! Подражание «Желанию быть испанцем» Козьмы Пруткова: «Тореадор, скорей, скорее в бой! Там ждет тебя любовь!»

Он усмехается. Не улыбается, а именно усмехается. Не только злобно-язвительно, но, как мне кажется, даже кровожадно. В ответ — робкий, неуверенный смех.

Несколько голов поворачиваются в мою сторону с удивлением. А Гумилев продолжает:

— До чего красиво! До чего картинно!

Я надену черное сомбреро,  
Я накину красный плащ... —

по-моему, сомбреро и плащ одно и то же, но, может быть, автор настоящий испанец и лучше знает?

Теперь уже громко смеются. Смеются почти все. Злорадно, предательски. Неужели у меня хватит сил вынести эту пытку? Неужели я не упаду в обморок? Нет, сил, как всегда, больше, чем думаешь. И я продолжаю слушать. Гумилев отодвигает рукав пиджака и смотрит на свои большие никелированные часы.

— К сожалению, время в Испании летит стрелой, — говорит он с комическим вздохом. — Приходится спешно покинуть гитан и гидальго. Аривидерчи! Буоно notte! Или как это у вас, испанцев! — Он прищелкивает пальцами: — Олэ! Олэ! До следующей корриды!

Теперь хохочут все. До слез. До колик.

— Олэ! Олэ! — несется отовсюду. Гумилев с презрением отбрасывает мой листок и вынимает новый из середины стопки.

— Посмотрим, что тут такое?

Я сквозь шум в ушах слышу:

Осенний ветер свистит в дубах,  
Дубы шуршат, дубы вздыхают...

Пять очень медленно прочитанных строк. И я их все выслушиваю.

— Что же? Довольно грамотно, — произносит Гумилев будто с сожалением. — Только скучное о скучном. Хотя и шуршащие, но дубовые стихи. — И он начинает зло критиковать их. Снова смеются. Но — или это мне только кажется — не так громко, не так предательски. И в голосе Гумилева нет издевательских, злорадных ноток, когда он говорит устало:

— А остальное разберем, если вы еще не убедились, что и разбирать не стоит, — в следующий раз.

Он берет свой портфель и не выходит, а торжественно покидает класс. За ним бежит Тимофеев и сейчас же, давась от смеха, доносит ему, что «испанские стихи принадлежат той рыженькой с бантом».

Об этом я узнала много позже. Но не от Гумилева. Как это ни странно, за все мои ученические годы Гумилев никогда не вспоминал о том, что он чуть было не зарезал меня. Меня, «свою лучшую ученицу». Гумилев притворялся, что так и не узнал, кому принадлежали высмеянные им испанские стихи. Я же притворялась, что верю этому.

Я давным-давно научилась смотреть на себя, ту, прежнюю, —

Как души смотрят с высоты  
На ими брошенное тело.

Разве это была я? И все-таки у меня и сейчас сжимается сердце, когда я вспоминаю, как в тот снежный вечер возвращалась домой.

Я не помню, как вышла из класса, спустилась по лестнице, прошла через сад и очутилась на улице.

Я помню только мрачные сумерки, снег и зловещее карканье ворон на углу Бассейной и Греческого.

Обыкновенно я весело кричала каркающим воронам:

— На свои головы! На свои головы каркаете!

Но сейчас я молча слушала их карканье. Конечно, на мою голову. На чью же еще, кроме моей?

Дома меня встретили радостными расспросами. Но я, сбросив шубку прямо на пол — пусть другие вешают ее, если хотят, — махнула рукой.

— Не пришел. Не пришел Гумилев! Напрасно целый час ждали. Не пришел! У меня голова болит. Я пойду лягу. И обедать не буду.

То, что я пожаловалась на головную боль — у меня никогда не болела голова, — и, главное, то, что я пожалела лечь и не обедать, испугало моих домашних — а вдруг я заболела? И они заходили на носках и стали шепотом советовать, не позвать ли доктора.

У себя в комнате я заперла дверь на ключ и действительно легла. «Легла, как ложатся в гроб», — сказала я себе громко.

На следующий день я проснулась поздно. Лучше всего было бы умереть от горя и позора. Но раз умереть не удалось, надо продолжать жить.

Но как и чем? Ведь я жила только стихами.

И вот оказалось, что я ошиблась.

После вчерашнего возврата к поэзии быть не могло. С поэзией все покончено, раз и навсегда.

Я пролежала сутки в кровати, позволяя домашним ухаживать за собой. За это время я успела все обдумать и решить.

На третий день я записалась на кинокурсы, находившиеся совсем близко, на Суворовском проспекте.

Нет, я не собиралась стать кинематографической звездой, но мне необходимо было найти какое-нибудь занятие.

На кинокурсах меня опять спросили, знаю ли я иностранные языки — вопрос особенно нелепый в годы немого кинематографа, — умею ли я ездить верхом и править автомобилем.

Верхом я ездила с раннего детства, но об управлении автомобилем понятия, конечно, не имела, что, впрочем, не помешало моему условному принятию на кинокурсы.

— Через три недели состоится зафильмованный экзаме́н, после которого выяснится, кто принят и кто исключен, — нахмурившись, объявил заведующий. И, помолчав с минуту, добавил, улыбаясь дружелюбно: — Впрочем, вам, товарищ, бояться не надо. Вижу, что фотогеничны. И даже очень. Вы-то приняты будете.

Но это обещание не обрадовало меня. Я чувствовала себя здесь совсем не на своем месте. Здесь ничем, кроме кинематографа, не интересовались и часами спорили о Вере Холодной, Мозжухине, Франческе Бертини, Максимове. Но до них всех мне не было решительно никакого дела.

Я чувствовала себя одинокой, несчастной и, чтобы не переживать в сотый раз гибели всех моих надежд, до изнеможения занималась гимнастикой, карабкалась по лестницам, раскачивалась на трапеции. Гимнастике отдавались утренние часы, в остальное время разыгрывали всевозможные театральные сцены, что было довольно забавно и, главное, мешало думать о моем горе.

На кинокурсах жили, как под дамокловым мечом, нервничали, интриговали, заранее стараясь перебежать друг другу дорогу в ожидании страшного экзамена.

Я одна не проявляла нервности, что принималось остальными за самонадеянность.

— Знает, что будет принята, и задирает нос!

Как-то почти накануне экзамена, выйдя из дома, я не свернула на Суворовский, а пошла вниз по Бассейной, не отдавая себе отчета, куда я иду. И только дойдя до



Знаменской, поняла, что иду в «Живое слово». Иду оттого, что не могу не идти.

Первый, кто меня встретил в вестибюле, был Всеволодский. Он обхватил меня за плечи, заглядывая мне в лицо.

— Наконец-то! Вы что, больны были? Ай! Ай! Еще похудели. Но теперь поправились? Ну, слава Богу, слава Богу!

Он повел меня с собой в класс и объявил радостно:

— Смотрите, вот она! Вернулась к нам. Ведь как мы все по ней скучали! И вот она с нами опять! Теперь мы уж ее не отпустим!

И я сразу почувствовала себя прежней, окруженной дружбой и любовью. Будто Гумилев не выставлял меня к позорному столбу, будто надо мной никогда не глумились все эти мои друзья и поклонники.

В тот же день я слушала лекцию Луначарского и профессора Энгельгардта, читавшего о китайской литературе, слушала с тем же увлечением, как прежде.

— А завтра будем праздновать юбилей Кони, — сейчас же сообщили мне. — Как хорошо, что вам удастся присутствовать на нем!

Да, это было очень хорошо. Кони мы все глубоко уважали. Я радовалась, что буду на его юбилее.

Кони исполнилось семьдесят пять лет. Возраст, казавшийся нам, слушателям «Живого слова», почти мафусаиловым.

Юбилей, стараниями Всеволодского, удался на славу. Стены ярко освещенного зала были разукрашены звездами и лавровыми венками с красными лентами.

На эстраде восседал сам юбиляр, окруженный группой ораторов, восхвалявших его в юбилейных речах.

Маленький, сухонький, сгорбленный Кони с тоской в глазах выслушивал многословные, пустозвонные приветствия Луначарского, Всеволодского, Юрьева, Студенцова и каких-то незнакомых нам комиссаров и представителей печати.

Но когда на эстраду поднялся один из слушателей «Живого слова» и начал пространно и восхищенно перечислять все события, приведшие Россию к революции, Кони вдруг заерзал на месте и поднял руку.

— Знаю, знаю, верю! Кончайте, голубчик, скорей. Невтерпеж мне!

Оратор поперхнулся на полупhrазе.

— Благодарная Россия! Вам! Вас!.. Благодарная Рос-

сия, — он покраснел, смутился и крикнул: — поздравляет! — и, пятась, спрятался за широкую спину Луначарского.

Кони быстро встал и трижды поклонился:

— Сердечно благодарю всех.

И, ни с кем не прощаясь, мелкой, старческой походкой заковыляв к выходу, покинул актовый зал под аплодисменты присутствующих.

Мы гурьбой бросились за ним. Каждому из нас — ведь мы все были его учениками — хотелось лично поздравить его и пожать ему руку. Он, держась за перила, уже спускался по широкой лестнице. Швейцар подал ему шубу и распахнул перед ним дверь. Кони нахлобучил котиковую шапку и ринулся в сад.

Все это было похоже на бегство.

В саду он, оглянувшись с испугом, почти с отчаянием на нас, уже успевших выбежать вслед за ним на крыльцо, махнул рукой, будто отгоняя нас, сошел с расчищенной, утоптанной аллеи, ведущей к выходу, и, утопая по колени в снегу, направился к группе черневших деревьев.

Мы остановились, сбитые с толку. Что же это такое? Почему он бежит от нас, словно мы свора гончих, преследующая оленя?

Мы смотрели на него, застыв на месте, не смея двинуться за ним.

А он остановился около деревьев, спиной к нам. Постав так несколько минут, он снова заковылял по снегу, уже не к нам, а прямо к выходу.

Вот он выбрался на расчищенную аллею и медленно и устало, еще более сгорбившись, дошел до распахнутых ворот, ведущих на улицу.

Вот черная тень его мелькнула на снегу и пропала.

Я все еще стояла в полной растерянности, не понимая, что произошло.

Это был первый юбилей, на котором мне привелось присутствовать.

Но разве таким должен быть юбилей?

А я могла из-за него простудиться. Ведь я выбежала на мороз в одном платье, без шубки и ботишков.

Вернувшись в «Живое слово», я зажила прежней восхитительной, полной жизнью.

Я была почти счастлива.

«Почти» — ведь воспоминание о моем «позоре» все еще лежало, как тень, на моей душе.

На лекции Гумилева я, конечно, не ходила. Мои друзья поддерживали меня в моем решении навсегда «вычеркнуть» из памяти Гумилева.

— Очень он вам нужен, подумаешь! — Теперь они, будто сговорившись, осуждали его за тогдашнее.

— Кто же не знает, что сомбреро — шляпа, а не плащ?

— Но почему же вы хохотали? — спрашивала я.

— Оттого, что он так смешно ломался. Мы не над вашими стихами, а над ним смеялись. Честное слово! Ей-Богу! Неужели не верите?

Я качала головой. Нет, я не верила. И все-таки мне было приятно, что они так дружно осуждают Гумилева и по-прежнему восхищаются моими маркизами и гитанами.

Я перестала мечтать о славе, но снова начала писать стихи — в прежнем стиле, как бы назло Гумилеву.

Особенным успехом пользовалось мое стихотворение, кончавшееся строфой:

Ни Гумилев, ни злая пресса  
Не назовут меня талантом.  
Я маленькая поэтесса  
С огромным бантом.

Да, казалось, я примирилась с тем, что с поэзией все кончено, что я из поэта превратилась в «салонную поэтессу».

Я стала ревностно обучаться у Кони ораторскому искусству, слушала лекции Луначарского, Энгельгардта и самого Всеволодского, мне ставили голос. Но с наибольшим удовольствием, пожалуй, я занималась ритмической гимнастикой по Далькрозу. В ней, несмотря на полную немзыкальность, я чрезвычайно отличалась.

Всеволодский даже спросил меня и другую успешную далькрозистку, согласны ли мы отправиться на год в Швейцарию к Далькрозу — разумеется, на казенный счет.

Конечно, это был чисто риторический вопрос — никого из «Живого слова» не отправили к Далькрозу. Но это свидетельствовало о планетарном размахе Всеволодского.

Хотя я и не ходила на лекции Гумилева, но я не могла не интересоваться тем, что на них происходит.

— Нет, разбора стихов больше не было. Никто боль-

ше не пожелал подвергаться такому издевательству. Но практические занятия — обучение, как писать стихи, — очень забавны.

Я жадно слушала.

— К следующему четвергу мы должны написать стихотворение на заданные рифмы, — рассказывает мне живословка, не похожая на остальных. Она — дама. И даже немолодая дама, годящаяся мне в матери. Очень милая, всем интересующаяся.

Она берет меня под руку и спокойно и уверенно убеждает меня:

— Вам непременно надо ходить на его занятия. Это просто необходимо. Вы многому научитесь у него. Забудьте обиду.

— Никогда! — упрямо отвечаю я. — Никогда в жизни!

Но я все же беру листок с рифмами, переписанными ею для меня. И соглашаюсь дать ей написанные мною стихи с тем, чтобы она выдала их за свои.

Ведь это меня ни к чему не обязывает. Я только проверю себя — могу ли я или не могу исполнить задание. Действительно ли я уже так безнадежно бездарна?

В тот же вечер я заперлась у себя в комнате и написала стихотворение на данные Гумилевым рифмы:

Нет, я не верю, что любовь обман.  
Из дальних стран китаец косоглазый  
Привез измены и греха заразы.  
Позорной страстью дух твой обуян.

Но неприступны городские стены.  
Сны наших жен белее моря пены.  
Их верность — золото, их честь — гранит.  
За синими мечети куполами,  
За городом, за спящими садами,  
Там, на заре, китаец твой убит.

Я отдала его моей покровительнице — снова взяв с нее слово, что она выдаст его за свое.

И стала ждать, ни на что не надеясь.

А все-таки... Вдруг Гумилев похвалит его? Нет, этого не будет, уверяла я себя.

Но Гумилев действительно похвалил и даже расхвалил мое стихотворение.

Рифмы, оказалось, были взяты из его собственного усеченного сонета.

Гумилев сказал:

— Этот сонет можно было бы напечатать. Он, право, не хуже моего. Он даже чем-то напоминает пушкинскую «Черную шаль».

Я слушала и не верила. Гумилев не мог этого сказать. Я стала спрашивать всех, и все повторяли одно и то же: «Можно напечатать. Похож на “Черную шаль”». Что же это такое? Я недоумевала. Значит, я не бездарна? Значит, моя жизнь еще не кончена?..

Теперь, когда оглядываюсь назад, мне ясно, что Гумилеву было известно, кто автор сонета, похожего на «Черную шаль», и он, пожалев «рыженькую с бантом», снова «перегнул палку» — уже в сторону чрезмерных похвал.

И все же я не пошла на следующую лекцию Гумилева. Я выдерживала характер. Хотя эта выдержка давалась мне нелегко.

Я, как тень, металась по коридору мимо класса, где вел занятия Гумилев, и только из остатка самоуважения не подслушивала у дверей.

И однажды случилось невероятное: Гумилев, окончив занятия, вышел раньше обыкновенного из класса и спустился по лестнице.

Я, сама не зная почему, стала тихо спускаться за ним. Он, надев свою доху и оленью ушастую шапку, не пошел к двери, а круто повернул прямо на меня. Я, как это бывает во сне, почувствовала, что окаменела и не могу двинуться с места.

— Почему вы больше не приходите на мои занятия? — спросил он, глядя на меня одним глазом, в то время как другой глаз смотрел в сторону, будто внимательно разглядывая что-то.

И под этим двоящимся взглядом я не нашла в себе даже силы ответить.

— Почему вы не приходите? — повторил он нетерпеливо. — Непременно приходите в следующий четверг в четыре часа. Мы будем вместе переделывать ямбы на амфибрахии. Вы знаете, что такое амфибрахий?

Я молча покачала головой.

— А знать необходимо. — Он улыбнулся и неожиданно прибавил: — Вас зовут Наташа.

Не вопрос, а утверждение.

Я снова покачала головой.

— Нет. Совсем нет, — проговорила я быстро, холодея от ужаса за нелепое «совсем нет».

Гумилев по-своему оценил мой ответ.

— Вы, мадемуазель, иностранка?

— Нет, я русская, — ответила я с раскатом на «р» — «ррусская». И, будто очнувшись от этого картавого раската, бросилась от него вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки.

— Так в четверг. Не забудьте, в четыре часа. Я вас жду, — донесся до меня его голос.

Забывать? Разве можно забыть? И разве я могла не пойти, когда он сказал — я вас жду!

И я в четверг уже сидела в классе, когда вошел Гумилев. В тот день я узнала, что такое амфибрахий.

И даже впервые услышала имя Георгия Иванова.

Гумилев, чтобы заставить своих учеников запомнить стихотворные размеры, приурочивал их к именам поэтов — так, Николай Гумилев был примером анапеста, Анна Ахматова — дактиля, Георгий Иванов — амфибрахия.

Но кто такой амфибрахический Георгий Иванов, я не знала, а Гумилев, считая нас сведущими в современной поэзии, не пояснил нам.

В тот же день мы переделывали «Птичку Божию» в ямбы:

А птичка Божия не знает  
Работы тяжелой и труда... —

и так далее.

И я с увлечением, забыв о прошлом, подыскивала слова.

С тех пор я стала постоянной посетительницей лекций Гумилева, но старательно избегала встречи с ним в коридоре.

Через месяц я уже понимала, что Гумилев был прав, что мои прежние стихи никуда не годятся, и сожгла тетрадь, где они были записаны.

«Вот эта синяя тетрадь с моими детскими стихами» медленно горела в камине, а я смотрела, как коробятся и превращаются в пепел строки, бывшие мне когда-то так дороги.

Ведь Гумилев говорил: лучше все, что вы написали прежде, сжечь и забыть. Из огня, как феникс, должны восстать новые стихи.

Но мои новые стихи совсем не были похожи на феникса. Ни легкокрылости, ни полета в них не было. На-

против, они, хотя и соответствовали всем правилам Гумилева, звучали тяжело и неуклюже и давались мне с трудом. И они совсем не нравились мне.

Не нравились мне и стихи, сочиненные под руководством Гумилева на практических занятиях, вроде обращения дочери к отцу-дракону:

Отец мой, отец мой,  
К тебе, семиглавый, —  
В широкие синие степи твои  
Иду приобщиться немеркнувшей славы  
Двенадцатизвездной твоей чешуи...

И хотя я поверила Гумилеву, что «испанцы и маркизы — пошлость», но семиглавый дракон с двенадцатизвездной чешуей меня не очаровал. Гумилев сам предложил строчку — «Двенадцатизвездной твоей чешуи», и она была принята единодушно. Все, что он говорил, было непреложно и принималось на веру.

Да, учиться писать стихи было трудно. Тем более, что Гумилев нас никак не обнадеживал.

— Я не обещаю вам, что вы станете поэтами, я не могу в вас вдохнуть талант, если его у вас нет. Но вы станете прекрасными читателями. А это уже очень много. Вы научитесь понимать стихи и правильно оценивать их. Без изучения поэзии нельзя писать стихи. Надо учиться писать стихи. Так же долго и усердно, как играть на рояле. Ведь никому не придет в голову играть на рояле, не участь. Когда вы усвоите все правила и проделаете бесчисленные поэтические упражнения, тогда вы сможете, отбросив их, писать по вдохновению, не считаясь ни с чем. Тогда, как говорил Кальдерон, вы сможете запереть правила в ящик на ключ и бросить ключ в море. Теперь же то, что вы принимаете за вдохновение, просто невежество и безграмотность.

Я ежилась от таких речей. Надо действительно быть всецело преданным поэзии, чтобы выдержать эту «учебу».

Я не пропускала ни одной его лекции и дома исписывала целые тетради всевозможными стихотворными упражнениями.

Сколько рондо, октав, газелл, сонетов я сочинила в те дни!

Был уже май месяц, когда Гумилев, войдя в класс, заявил:

— Сообщаю вам сенсационную новость: на днях открывается Литературная студия, где главным образом будут изучать поэзию.

И он стал подробно рассказывать о Студии и называть имена писателей и поэтов, которые будут в ней преподавать.

— Вам представляется редчайший случай. Неужели вы не сумеете им воспользоваться? — Он оглядел равнодушные лица слушателей. — Боюсь, что никто, — и вдруг протянул руку, длинным пальцем указывая на меня, — кроме вас. Ваше место там. Я уже записал вас. Не протестуете?

Нет, я не протестовала. Мне казалось, что звезды падают с потолка.

Гумилев был прав — из «Живого слова» никто, кроме меня, не перешел в Литературную студию.

Литературная студия открылась летом 1919 года.

Помещалась она на Литейном в доме Мурузи, в бывшей квартире банкира Гандельבלата.

Подъезд дома Мурузи был отделан в мавританском стиле «под роскошную турецкую баню», по определению студистов.

Когда-то, как мне сейчас же сообщили, в этом доме жили Мережковский и Зинаида Гиппиус, но с другого подъезда, без восточной роскоши.

В квартире банкира Гандельבלата было много пышно и дорого обставленных комнат. Был в ней и концертный зал с эстрадой и металлической мебелью, крытой желтым штофом.

В первый же день Гумилев на восхищенное восклицание одной студистки, ощупавшей стул: «Да ведь он из серебра. Из чистого серебра!» — ответил тоном знатока:

— Ошибаетесь. Не из серебра, а из золота. Из посеребренного золота. Для скромности. Под стать нам. Ведь мы тоже из золота. Только для скромности снаружи высеребрены.

«Мы», конечно, относилось к поэтам, а не к студистам.

Впрочем, из студистов, не в пример живословцам, многие вышли в люди, и даже в большие люди.

Одновременно со мной в Студию поступили Раиса Блох, талантливейший, рано умерший Лева Лунц, Нельдихен, еще не успевший кончить школы Коля Чуковский и Вова Познер, Шкапская и Ада Оношковиц-Яцына.

Ко времени открытия Студии Гумилев уже успел



многому научиться и стать более мягким. Разбор стихов уже не представлял собой сплошного «избиения младенцев». Ни Коле Чуковскому, ни Вове Познеру, ни Лунцу не пришлось пережить того, что пережила я.

Напротив, все для них сошло гладко и легко — как, впрочем, на этот раз и для меня.

На первой лекции Гумилева мы сами читали свои стихи, и Гумилев высказывал снисходительные суждения.

Помню стихи, которые читал Коля Чуковский, его милое мальчишеское большеносое лицо, его удивительно чистую белую рубашку с разорванным от плеча рукавом.

Гумилев очень похвалил его стихи:

Я плохо жил,  
Я время лил, как воду, —

и второе, начинавшееся:

То не ангелы, то утки  
Над рекой летят.

— Вполне хорошо и, главное, не банально! — одобрил он важно.

Очень похвалил он и Вову Познера, хорошенького черноглазого, черноволосого мальчика, даже еще более картавого, чем я.

Особенно ему понравились стихи Левы Лунца. Впрочем, Лева Лунц не только нравился, но и поражал своей даровитостью — в Студии и в университете. Он уже был студентом.

В тот день читала и я свой, уже заранее, в «Живом слове», одобренный Гумилевым сонет:

Всегда всему я здесь была чужою,  
Уж вечность без меня жила земля,  
Народы гибли и цвели поля,  
Построили и разорили Троию... —

и так далее.

Вот это «построили и разорили Троию» и заслужило одобрение Гумилева.

— Сколько раз говорили о разорении Трои, и никто, кроме вас, не вспомнил, что ее и «построили».

В тот день читались, конечно, и очень слабые стихи, но Гумилев воздерживался от насмешек и убийственных приговоров, ограничиваясь только кратким: «Спасибо. Следующий», — и отметкой на лежавшем перед ним листке.

Когда мы все — нас было не больше двадцати — прочли свои стихи, Гумилев объявил, что поделит нас на две группы — для успешности занятий. Я вместе с Чуковским, Познером и Лунцем попала в первую группу.

Но, забегаая вперед, должна сказать, что и в Студии вначале, как и в «Живом слове», из лекций и практических занятий Гумилева получалось немного.

Хотя Гумилев победил уже свою застенчивость и сумел отделаться от «бесчеловечной жесткости выносимых им приговоров», но он еще не понимал своей аудитории, недооценивал ее критического отношения и ее умственного развития. Он старался во что бы то ни стало поразить ее воображение и открыть перед ней еще неведомые горизонты. Он не умел найти нужного тона и держался необычайно важно и торжественно.

И в Студии многие не выдерживали его «учебы». С каждой лекцией у Гумилева становилось все меньше слушателей.

Но Гумилев, сохраняя олимпийское величие, оглядывал редеющие ряды своих слушателей:

— Я очень рад, что никчемный элемент отпадает сам собой. Много званных, мало избранных. — И он поднимал, как бы призывая небо в свидетели, свою узкую руку.

В Студии занятия происходили ежедневно, и я, при всем желании, не могла совмещать их с «Живым словом». Надо было сделать выбор. И я, конечно, выбрала Студию.

Все же я не порывала с «Живым словом» совсем, по-прежнему занимаясь ритмической гимнастикой, постановкой голоса... Гумилев продолжал свои лекции и практические занятия, в «Живом слове» до конца 1920 года у него оставалось всего три-четыре слушателя — включая меня, бессменно присутствовавшую на его лекциях и занятиях.

К концу своей жизни он стал одним из самых популярных лекторов и всецело овладел искусством подчинять себе аудиторию.

Но это было зимой 1920—1921 года. Теперь же шло

лето 1919-го. Очень жаркое лето. Дни казались бесконечно длинными.

Летнее время было декретом отодвинуто на целых три часа назад, и утро нормально начиналось с восходом солнца, а день кончался в 9 часов вечера. Это было удобно, мы все лето обходились без освещения, что придавало жизни какой-то фантастический оттенок, какой-то налет нереальности. Дни были удивительно голубые, поместительные, длинные, глубокие и высокие. В них как будто незримо присутствовало и четвертое измерение.

Казалось, что трех измерений для них, как и для всего тогда происходившего, мало.

На Невском между торцами зеленела трава. В сквере напротив нашего блока домов Бассейной, как и в Таврическом саду, щелкали соловьи. Соловьи залетали даже в деревья под наши окна.

Однажды я проснулась от соловьиного пения под моим окном. От луны было совсем светло. Я села на низкий подоконник. Мне казалось, что захлестывающее чувство счастья сейчас унесет меня в открытое окно и я разорвусь на куски — распадусь звездной пылью и лунным сиянием. От счастья.

Мне вдруг стало страшно, я спрыгнула с подоконника, добежала до кровати, забралась в нее и натянула одеяло на голову, спасаясь от непомерного чувства счастья. И сейчас же заснула.

Но и во сне чувство счастья не покидало меня.

Все, что я с детства желала, все, о чем мечтала, вот-вот исполнится. Я стояла на пороге. Скоро, скоро и я смогу сказать:

— Сезам, откройся!

Скоро и я буду поэтом. Теперь я в этом уже не сомневалась. Надо только немножко подождать. Но и ожидания — уже счастье, такое счастье, или, точнее, такое предчувствие счастья, что я иногда боюсь не выдержать, не дожидаться, умереть — от радости.

\* \* \*

Так жила я в то лето, первое «настоящее лето» в моей жизни. До него все было только подготовкой.

А жить в Петербурге в те дни было нелегко. В кооперативных лавках выдавали мокрый, тяжелый хлеб, нюхательный табак и каменное мыло — даром.

На Бассейной мешочники и красноармейцы предлагали куски грязного сахара, держа его для приманки на грязной ладони, и покупатели, осведомляясь о цене, ощупывали кусок сахара и, не сойдясь в цене, клали его обратно.

Правила гигиены, всякие микробы и миазмы, которых так опасались прежде: «Не трогай деньги! Пойди вымой руки!» — были теперь забыты.

Как и чем я питалась, я плохо помню. Конечно, и я бывала голодна. Но я научилась не обращать внимания на голод.

В те дни я, как и многие, научилась «попирать скудные законы бытия». В те дни я, как и многие, стала более духовным, чем физическим существом. «Дух торжествует над плотью» — дух действительно торжествовал над моей плотью. Мне было так интересно жить, что я просто не обращала внимания на голод и прочие неудобства.

Ведь все это было ничтожно, не существовало по сравнению с великим предчувствием счастья, которым я дышала. Ахматова писала:

И так близко подходит чудесное  
К покосившимся грязным домам,  
Никому, никому неизвестное,  
Но от века желанное нам.

Значит, и она тоже, пусть и не так, как я, испытывала таинственное очарование этих дней. И для нее тоже это было «от века желанное». Для нее и для многих других. Для каждого по-своему.

Литстудия открылась летом. В июле месяце. Июль обыкновенно до революции предоставлялся отдыху от занятий и развлечениям.

Но теперь все изменилось, все перепуталось. Каникулы вообще не существовали больше, или, вернее, каникулы продолжались круглый год. Ведь в принципе во время каникул занимаешься именно тем, делаешь именно то, что хочешь. А теперь мне впервые предоставлено право делать то, заниматься тем, чем я хочу.

В это лето я сделала еще одно удивительное открытие. Я вдруг почувствовала, что Петербург — мой город и действительно принадлежит мне. Исчезло все столичное, чопорное, чужое. Петербург стал чем-то вроде своего именина, по лесам и полям которого бродишь целыми днями.

— Что ж. В деревнях мужикам часто приходилось голодать, а теперь и мы, баре, поголадываем, зато как интересно стало жить, — говорил Михаил Леонидович Лозинский.

Михаил Леонидович Лозинский, последний поэт-символист и переводчик, только входивший тогда в славу. Очаровательный, изумительный, единственный Лозинский.

Когда Лозинский впервые появился в Студии за лекторским столом, он тоже разочаровал меня. Большой, широкоплечий, дородный. Не толстый, нет, а доброкачественно дородный. Большеликий, большелобий, с очень ясными большими глазами и светлой кожей. Какой-то весь насквозь добротный, на иностранный лад, вроде василеостровского немца. Фабрикант, делец, банкир. Очень порядочный и буржуазный. И безусловно богатый. Это о таких, как он, писал Маяковский:

Ешь ананасы, рябчиков жуй,  
день твой последний приходит, буржуй.

С буржуазно-барственным видом Лозинского мне было труднее примириться, чем даже с нелепой фигурой Гумилева в короткой, широкой дохе и ушастой шапке.

Лозинский заговорил — спокойно, плавно и опять как-то барственно, приятным полнозвучным баритоном. О переводе стихов. И привел несколько примеров переводов. Сначала оригинал по-французски и английски — с прекрасным выговором, — потом по-русски.

Помню, как он произнес, великолепно скандируя, каждое слово падало звонко:

Valmiki le poète immortel est très vieux...<sup>1</sup>

Я не любила Леконт де Лилля, но тут вдруг почувствовала всю красоту и силу этих слишком парнасских стихов. Лозинский читал стихи лучше всех тогдашних поэтов, но сам он был, хотя и прекрасный переводчик, слабый поэт. И это тем более непонятно, что он владел стихом, как редко кто во всей русской поэзии, и обладал, по выражению Гумилева, «абсолютным слухом и вкусом».

---

<sup>1</sup> Вальмики, бессмертный поэт, очень стар... (фр.)

Лозинский считал себя последним символистом. Но и среди символистов он вряд ли мог рассчитывать на одно из первых мест.

Помню его отдельные строки:

Рука, что гладит ласково  
И режет, как быка... —

или:

Печаль и радость прежних лет  
Я разливаю в два стакана... —

или еще:

И с цепью маленькие руки,  
Похожие на крик разлуки.

Эти руки, «похожие на крик», да еще не просто на крик, а на «крик разлуки», — как будто при разлуке кричат как-то особенно, — не свидетельствуют о совершенном вкусе, как и рука, что «режет, как быка».

Абсолютный вкус и слух Лозинский проявлял лишь в отношении чужих стихов и, главное, в переводах.

Была у него, впрочем, одна вполне «абсолютная» строфа, и совсем не символистская:

Проснулся от шороха мыши  
И видел большое окно,  
От снега белые крыши, —  
...А мог умереть давно...

За ней шла вторая строфа «с расширением темы», ненужная и потому не удержавшаяся у меня в памяти. Гумилев советовал отбросить ее, но Лозинский не послушался его.

Гумилев вспоминал всегда это «А мог умереть давно», когда хотел доказать, что Лозинский не только переводчик, но и поэт.

Но спорящие приводили в доказательство своей правоты слова Брюсова:

— Нет ни одного поэта, как бы плох он ни был, хоть раз в жизни не написавшего хорошей строфы. Даже Ратгауз — образец бездарности — автор простых и удачно найденных строк:

День проходит,  
Меркнет свет.  
Мне минуло  
Сорок лет...

Роль Лозинского в кругах аполлонцев и акмеистов была первостепенной. С его мнением считались действительно все. Был он также библиофил и знаток изданий. Это ему сборники стихов акмеистов обязаны своей эстетической внешностью — ему и типографии Голике.

Гумилев говорил о Лозинском, внимательно рассматривающем принесенный на его суд проект обложки:

Лозинский глаз повсюду нужен,  
Он вмиг заметит что-нибудь.

И действительно, «лозинский глаз» всегда замечал «что-нибудь».

— Вот эту букву надо поднять чуть-чуть и все слово отнести налево на одну десятую миллиметра, а эта запятая закудрявилась, хвостик слишком отчетлив.

Лозинский, прославленный редактор журнала «Гиперборей».

Гумилев скоро прочтет мне шуточные стихи, посвященные пятницам в «Гиперборее»:

Выходит Михаил Лозинский,  
Покуривая и шутя,  
Рукой лаская исполинской  
Свое журнальное дитя.

У Николая Гумилева высоко задрана нога,  
Для романтического лова нанизывая жемчуга.  
Пусть в Царском громко плачет Лева,  
У Николая Гумилева  
Высоко задрана нога.

Печальным взором и молящим  
Глядит Ахматова на всех.  
Был выхухолем настоящим  
У ней на муфте драный мех...

Прочтет с комментариями. Я в этот день узнаю, что

Ахматова была очень самолюбива и совсем не понимала шуток, когда они касались ее, и что строки «был выхухолем настоящим у ней на муфте драный мех» привели ее в негодование и она страстно протестовала против них.

— Женщина, к сожалению, всегда женщина, как бы талантлива она ни была! — прибавит он, а мне будет трудно ему поверить, так это не вяжется с образом Ахматовой, созданным моим воображением.

Но всего этого, как и того, какой Лозинский исключительный собеседник и до чего он остроумен, я тогда, конечно, не знала.

Переводами мне не очень хотелось заниматься. Никакого влечения к ним я не испытывала и удивлялась энтузиазму, с которым за них бралось большинство студистов.

Переводчицы стихов из меня так и не вышло. Я скорее присутствовала на занятиях Лозинского, чем принимала в них деятельное участие.

Среди особенно преданных «переводчиков» была Раиса Блох, в 1943 году замученная гитлеровцами. Была она тогда очень молодая, полная — редкость в те голодные годы, когда большинство из нас, и особенно я, были так тонки, так «умилительно тонки», что, по выражению Гумилева: «Ветер подует, ломает или унесет. Взмахнете бантом, как крылом, — и только вас и видели».

Раиса Блох производила скорее впечатление тяжести, что не мешало ее девически невинному и нежному виду.

Когда приехавший с юга Осип Мандельштам впервые прочел свои стихи:

Сестры тяжесть и нежность,  
Одинаковы ваши приметы... —

Лозинский кивнул, сохраняя присущую ему серьезность:

— Понимаю. Это вы про Раису Блох. Тяжесть и нежность — очень характерно для нее.

Раиса Блох, кроме Студии, училась еще и в университете. В Литстудии она больше всего занималась переводами. К Гумилеву на занятия ходила редко, хотя и писала уже тогда стихи. Вот одно из них:

А я маленький воробей,  
На заборе нас не мало есть,



Из пращи меня не убей,  
Дай допеть мою дикую весть.

Этот «маленький воробей» с его «дикой вестью» веселил студистов, и Раису Блох прозвали «маленьким воробьем» и «диковестницей». Впрочем, смеялись очень добродушно, безобидно и весело, Раиса Блох была на редкость мила и симпатична — ее все любили.

В те дни мы вообще смеялись очень много. Смеялись так же легко, как и плакали. Плакать приходилось часто — ведь аресты и расстрелы знакомых и близких стали обыкновенным, почти будничным явлением, а мы еще не успели, по молодости лет, очерстветь душой.

Но возвращаюсь к Лозинскому — Ада Оношкович-Яцына была его любимейшей ученицей. Такой же «лучшей ученицей» Лозинского, как я — Гумилева.

Ада Оношкович не была красивой, ни даже хорошенькой. Но этого ни она, ни другие не замечали. В ней кипела такая бурная молодость, она была полна такой веселой силой и энергией, что никому и в голову не приходило заметить, красива она или нет.

Однажды она явилась в Студию с торчащими во все стороны короткими волосами и объяснила весело:

— Надоело причесываться каждое утро. Вот я сама и остриглась. Я теперь похожа на Египетский мост. Разве не хорошо?

И действительно вышло очень хорошо — став еще немного некрасивей, она стала еще очаровательней. Кстати, она показала очень передовой вкус, предвосхитив моду на сорок лет, — ведь теперь многие кинематографические звезды причесываются такими Степками-растрепками, уродуя себя.

Но тогда понятия о женской красоте еще не эволюционировали. И все же «египетский мост», хотя и не нашел подражательниц, был нами одобрен.

Ада Оношкович, несмотря на дарование, не стала настоящим поэтом, не выступала на поэтических вечерах и нигде не печаталась.

Но, как это ни удивительно, стихи ее были известны и нравились Маяковскому, хотя мы, петербуржцы, почти не имели с ним сношений. Не только мы, молодые, но и наши мэтры.

Осенью 1920 года Маяковский приехал «удивить Петербург» и выступил в только недавно открывшемся Доме искусств. Огромный, с круглой коротко острижен-

ной головой, он скорее походил на силача-крючника, чем на поэта. Читал он стихи совсем иначе, чем было принято у нас. Скорее по-актерски, хотя — чего актеры никогда не делали — не только соблюдая, но и подчеркивая ритм. Голос его — голос митингового трибуна — то гремел так, что стекла звенели, то ворковал по-голубиному и журчал, как лесной ручеек.

Протянув в театральном жесте громадные руки к оглушенным слушателям, он страстно предлагал им:

Хотите, буду от мяса бешеным,  
И, как небо, меняясь в тонах,  
Хотите, стану невыразимо нежным, —  
Не мужчина, а облако в штанах?..

В ответ на эти необычайные предложения зал восторженно загрохотал. Казалось, все грохотало, грохотали стулья, грохотали люстры, грохотал потолок и пол под звонкими ударами женских ног.

— Бис, бис, бис!.. — неслось отовсюду.

Гумилев, церемонно и прямо восседавший в первом ряду, поднялся и, даже не взглянув на Маяковского, стал медленно продвигаться к выходу сквозь кольцо обступавших эстраду буйствовавших слушательниц.

Когда по окончании чтения я пришла в отведенную для поэтов артистическую, прилегающую к зрительному залу, Гумилев все еще находился в ней. Прислушиваясь к крикам и аплодисментам, он, морщась брезгливо, проговорил:

— Как видите, не ушел, вас ждал. Неужели и вас... и вас разобрало? — И, не дожидаясь моего ответа, добавил, продолжая прислушиваться к неистовым крикам и аплодисментам: — Коллективная истерика какая-то. Позор!.. Безобразия!

Вид обезумевших, раскрасневшихся, потных слушательниц, выкрикивающих, разинув рты: «Ма-я-ковский, Ма-я-ков-ский!» — казался и мне отвратительным и оскорбительным.

Да, я испытывала чувство оскорбления и обиды. Ведь ничего подобного не происходило на «наших» выступлениях. Ни Блоку, ни Гумилеву, ни Кузмину не устраивали таких неистовых, сумасшедших оваций.

И когда Гумилев, не дожидаясь появления в гостинной триумфатора — его все еще не отпускала буйствующая аудитория, — предложил мне:

— Идем домой. Вам совсем незачем знакомиться с ним, — я согласилась.

Уже пересекая Невский, Гумилев, всю дорогу говоривший о «Кристабель» Кольриджа, недавно переведенной Георгием Ивановым для «Всемирной литературы», вдруг сказал:

— А ведь Маяковский очень талантлив. Тем хуже для поэзии. То, что он делает, — антипоэзия. Жаль, очень жаль...

Маяковский уехал на следующий день из Петербурга. Между ним и нами снова встала глухая стена равнодушия и, пожалуй, даже враждебности. Мы не интересовались его новыми стихами, он же открыто презирал петербургских поэтов: «Мертвецы какие-то. Хлам! Все до одного, без исключения...»

Поздней осенью 1922 года, уже в Берлине, на вечеринке у художника Пуни, я в первый и в последний раз встретила с Маяковским.

Шкловский уверял, что когда-нибудь наше время будут называть Пуническим, по «знаменитому Пуни». Но в 1922 году слава Пуни еще не гремела.

Жена Пуни, растрепанная и милая, старается объединить гостей если и не беседой, то напитками. Сколько бутылок, и как быстро пустые бутылки заменяются новыми.

В маленьких мансардных комнатах много гостей — Белый, Оцуп, художник Альтман, только что приехавший из России Шкловский, Бахрах и еще много других, незнакомых мне. Лиля Брик, красивая, немного скуластая, внимательноглазая, в фантастической кружевной шляпе, похожей на крылья коричневой бабочки, сидит рядом с Маяковским на диване. Они вдвоем образуют не то центр, не то какой-то остров в этом волнующемся людском море.

Маяковский вдруг громко спрашивает, указывая на меня пальцем:

— Кто эта девушка, которая ничего не пьет и ни с кем не целуется?

Я действительно ничего не пью. Не научилась еще.

— Ирина Одоевцева, — отвечает Оцуп.

Маяковский кивает:

— Ах, знаю, знаю.

Я иду с своей судьбой не в ногу  
На французских тонких каблучках.

Недурно. Очень недурно.

Но Шкловский машет на него рукой. Шкловский — наш петербуржец, мы с ним в приятельских отношениях.

— Нет, совсем нет! Это Ада Оношкович написала. А Ирина Одоевцева — это «Лошадь поднимет ногу одну»... «Баллада об извозчике». Слыхали, конечно?

Но Маяковский, «конечно», не слышал. Он пожимает плечами.

— Лошадь? Лошадь следовало бы мне оставить. Все равно лучше не скажешь: «Лошадь, вам больно?» А про французские каблучки ей бы подошло. Мило про каблучки. Девически мило. Мне нравится. Даже очень.

Но, к сожалению, Аде Оношкович вряд ли стало известно, что ее стихи нравились Маяковскому, самому Маяковскому. Умерла она в 30-х годах, о чем я узнала уже в Париже.

\* \* \*

Как началась моя дружба с Гумилевым? Но можно ли наши отношения назвать дружбой?

Ведь дружба предполагает равенство. А равенства между нами не было и быть не могло. Я никогда не забывала, что он мой учитель, и он сам никогда не забывал об этом.

Говоря обо мне, он всегда называл меня «Одоевцева — моя ученица».

Однажды Чуковский — к тому времени я уже стала самостоятельным поэтом, автором баллад и членом Второго цеха — насмешливо предложил ему:

— Вместо того чтобы всегда говорить «Одоевцева — моя ученица», привесьте-ка ей просто на спину плакат «Ученица Гумилева». Тогда всем без исключения будет ясно.

Да, дружбы между нами не было, хотя Гумилев в редкие лирические минуты и уверял меня, что я его единственный, самый близкий, незаменимый друг.

Его другом я, конечно, не была. Но у Гумилева вообще не было ни одного друга.

Ни в мое время, ни, судя по его рассказам, в молодости.

Были приятели, всевозможные приятели, начиная с гимназической скамьи, были однополчане, были поклонники и ученики, были женщины и девушки, влюбленные в него и те, в которых он — бурно, но кратковременно — влюблялся.

Был синдик Сергей Городецкий, деливший с Гумилевым власть в Первом цехе поэтов, члены Цеха и аполлонцы — Осип Мандельштам, Мишенька Кузмин, Георгий Иванов и остальные. Ближе всех других ему был, пожалуй, Лозинский.

С ними всеми, как и многими другими, Гумилев был на «ты». Он вообще, несмотря на свою «чопорность» и церемонность, удивительно легко переходил на «ты».

С поэтами-москвичами отношения оставались более далекими — даже с теми, которых он, как Ходасевича и Белого, очень высоко ставил.

Тогда, в начале лета девятнадцатого года, я и мечтать не смела, что скоро, очень скоро я не только буду здороваться «за руку» с Гумилевым, но что Гумилев будет провожать меня домой.

В Студии занятия, в отличие от «Живого слова», происходили не вечером, а днем и кончались не позже шести часов.

Только что кончилась лекция Гумилева, и я в вестибюле надевала свою широкополую соломенную шляпу — несмотря на революцию, мы не выходили из дома без шляпы. И даже без перчаток. Перчаток у меня было множество — целые коробки и мешки почти новых длинных бальных перчаток моей матери, сохранявшихся годами аккуратно, «на всякий случай». И вот, действительно, дождавшихся «случая».

Я перед зеркалом заправляла бант под шляпу и вдруг увидела в рамке зеркала рядом со своим лицом улыбающееся лицо Гумилева.

От удивления я, не оборачиваясь, продолжала смотреть в зеркало на него и на себя, как будто это не наши отражения, а наш общий портрет.

Это, должно быть, длилось только мгновение, но мне показалось, что очень долго.

Лицо Гумилева исчезло из зеркала, и я обернулась.

— Вы, кажется, — спросил он, — живете в конце Бассейной? А я на Преображенской. Нам с вами по дороге, не правда ли?

И, не дожидаясь моего ответа, он отворил входную дверь, пропустив меня вперед.

Я иду рядом с Гумилевым. Я думаю только о том, чтобы не споткнуться, не упасть. Мне кажется, что ноги мои невероятно удлинлись, будто я, как в детстве, иду на ходулях. Крылья за плечами? Нет, я в тот первый день не чувствовала ни крыльев, ни возможности лететь. Все это было, но потом, не сегодня, не сейчас.

Сейчас — я совершенно потрясена. Это слишком неожиданно. И скорее мучительно.

Гумилев идет со мной рядом, смотрит на меня, говорит со мной, слушает меня.

Впрочем, слушать ему не приходится. Я молчу или односложно отвечаю «да» и «нет».

Кровь громко стучит в моих ушах, сквозь ее шум доносится глухой голос Гумилева:

— Я несколько раз шел за вами и смотрел вам в затылок. Но вы ни разу не обернулись. Вы, должно быть, не очень нервны и не очень чувствительны. Я — на вашем месте — не мог бы не обернуться.

Я еще более смущаюсь от упрека — поэты нервны и чувствительны, и он бы на моем месте...

— Нет, — говорю я. — Я нервна. Я очень нервна.

И будто в доказательство того, что я действительно очень нервна, руки мои начинают дрожать, и я роняю свои тетрадки на тротуар. Тетрадки и листы разлетаются веером у моих ног. Я быстро нагибаюсь за ними и стукаюсь лбом о лоб тоже нагнувшегося Гумилева. Шляпа слетает с моей головы и ложится рядом с тетрадками.

Я стою красная, не в силах пошевелиться от ужаса и стыда.

Все погибло. И навсегда...

Убежать, не попрощавшись? Но я застыла на месте и бессмысленно слежу за тем, как Гумилев собирает мои записки и аккуратно складывает их. Он счищает пыль с моей шляпы и протягивает ее мне.

— Я ошибся. Вы нервны. И даже слишком. Но это пройдет.

Бывают головокруженья  
У девушек и стариков, —

цитирует он самого себя. — Наденьте шляпу. Ну, идемте!

И я снова шагаю рядом с ним. Он как ни в чем не бывало говорит о движении на парижских улицах и как трудно их пересекать.

— А у нас теперь благодать, иди себе по середине Невского, никто не наедет. Я стал великим пешеходом. В день верст двадцать делаю. Но и вы ходите совсем недурно. И в ногу, что очень важно.

Я не заметила, что иду с ним в ногу. Мне казалось, напротив, что я все время сбиваюсь с шага.

Возле пустыря, где прежде был наш Бассейный рынок, я останавливаюсь. Раз Гумилев живет на Преображенской, ему надо здесь сворачивать направо.

Но Гумилев продолжает шагать.

— Я провожу вас и донесу ваши тетрадки. А то, того и гляди, вы растеряете их по дороге.

И вдруг совершенно неожиданно добавляет:

— Из вас выйдет толк. Вы очень серьезно занимаетесь, и у вас большие способности.

Неужели я не ослышалась? Неужели он действительно сказал: «У вас большие способности. Из вас выйдет толк»?

— До завтра, — говорит Гумилев.

Завтра? Но ведь завтра у него в Студии лекции нет. Только через три дня, в пятницу. Не до завтра, а до после-послезавтра, но я говорю только:

— До свиданья, Николай Степанович. Спасибо!

Спасибо за проводы и, главное, за «из вас выйдет толк». Неужели он действительно думает, что из меня может выйти толк?

Я вхожу в подъезд нашего дома, стараясь держаться спокойно и благовоспитанно. Я не позволяю себе оглянуться. А вдруг он смотрит мне вслед?

Но на лестнице сразу исчезают моя сдержанность и благовоспитанность. Я перескакиваю через три ступеньки. Я нетерпеливо стучу в дверь — звонки давно не действуют.

Дверь открывается.

— Что ты так колотишь? Подождать не можешь? Пожар? Потоп? Что случилось?

— Случилось! — кричу я. — Случилось! Гумилев! Гумилев...

— Что случилось с Гумилевым?

— Гумилев меня проводил! — кричу я в упоении.

Но дома меня не понимают.

— Ну и?..

Как «ну и...»? Разве это не чудо? Не торжество?

Я бегу в залу, кружусь волчком по паркету, ношусь взад и вперед большими парадными, «далькрозированной»

ными» прыжками, чтобы как-нибудь выразить свой восторг. И вдруг на бегу поджимаю ногу и падаю навзничь. Этому меня тоже научила ритмическая гимнастика. Это совсем неопасно. Но мой отец в отчаянии.

— Сумасшедшая! Спину сломаешь. Довольно, довольно!.. Успокойся!..

Но я ничего не слышу. Я в экстазе, в пароксизме радости.

Такой экстаз, такой пароксизм радости я видела только раз в моей жизни, много лет спустя, в фильме «La guêe vers l'og»<sup>1</sup> — Чаплин от восторга выпускает пух из подушек и, совсем как я когда-то, неистовствует.

Успокойся!.. Но разве можно успокоиться? И разве можно будет сегодня ночью уснуть? И как далеко до завтра, до после-послезавтра!..

Но уснуть все же удастся. И завтра очень скоро наступает. И в Студии все идет совсем обыкновенно — лекция Чуковского, лекция Лозинского. И вот уже конец. И надо идти по той самой дороге, где вчера...

Я нарочно задерживаюсь, чтобы одной возвратиться домой, чтобы все снова пережить. Вот тут, в вестибюле, он сказал: «Нам по дороге», — и распахнул дверь и снял шляпу, пропуская меня, будто я важная дама. До чего он вежлив и церемонен...

Я иду по тому же тротуару, по которому я вчера шла вместе с Гумилевым, и повторяю: «Из вас выйдет толк...»

Мне кажется, что Гумилев все еще идет рядом со мной. Как глупо я вела себя вчера. Вряд ли он еще раз захочет проводить меня домой. Но и этого единственного раза и воспоминаний о нем мне хватит надолго. На очень долго.

— О чем вы так задумались?

Я подымаю глаза и вижу Гумилева. Он стоит в своем коричневом поношенном пиджаке, в фетровой шляпе, с портфелем под мышкой, прислонившись к стене, так спокойно, будто он у себя дома, а не на улице.

— Как вы долго не шли. Я жду вас тут уже кусочек вечности.

— Отчего?.. — спрашиваю я только.

Но это значит: отчего вы меня ждете? И он понимает.

— Я возвращался после лекции у красноармейцев.

---

<sup>1</sup> «Золотая лихорадка» (фр.).



Очень славные красноармейцы. Ведь я вчера сказал вам — до завтра, помните? А я всегда держу слово. Вы в этом убедитесь, когда вы меня лучше узнаете... Вы ведь меня еще совсем не знаете.

Да, я тогда действительно еще совсем не знала его.

С этого дня я стала его узнавать — все лучше и лучше. Я все же ни тогда, ни теперь не могу сказать, что знала его совсем, до конца.

Кто был Гумилев?

Поэт, путешественник, воин, герой — это его официальная биография, и с этим спорить нельзя.

Но... но из четырех определений мне хочется сохранить только «поэт». Он был прежде всего и больше всего поэтом. Ни путешественника, ни воина, ни даже героя могло не выйти из него — если бы судьба его сложилась иначе. Но поэтом он не мог не быть.

Он сам говорил:

— Я родился поэтом, а не стал им, как другие. Мои самые далекие детские воспоминания уже свидетельствуют об этом. Мое мироощущение всегда было поэтическим. Я был действительно

Колдовской ребенок,  
Словом останавливавший дождь...

Гумилев утверждал, что стихотворение тем богаче и совершеннее, чем больше разнообразных и даже противоречивых элементов входят в него.

Если это определение отнести не к стихотворению, а к поэту — Гумилев был совершенным поэтом. Сколько в нем совмещалось разнообразных элементов и противоречивых черт!

Знал ли кто-нибудь Гумилева по-настоящему, до конца? Мне кажется — нет. Никто.

Гумилеву очень нравилось, что я старалась никому не подражать. Никому. Даже Ахматовой. Особенно Ахматовой.

И в «Живом слове», и в Студии слушательницы в своих стихотворных упражнениях все поголовно подражали Ахматовой, властительнице их дум и душ.

Но как часто бывает, слишком страстное увлечение принесло поклонницам Ахматовой не только добро, но и зло.

Они вдруг поняли, что они тоже могут говорить «о своем, о женском». И они заговорили.

На лекциях Гумилева мне пришлось быть свидетельницей безудержного потока подражаний Ахматовой.

Чаще всего эти подражания принимали даже несколько комический оттенок и являлись попросту перепевами и переложениями стихов «Четок». В них непременно встречались несчастная любовь, муж, сын или дочка. Ведь в «Умер вчера сероглазый король» говорилось о дочке.

Так, семнадцатилетняя Лидочка Р., краснея и сбиваясь, читала высоким, срывающимся голосом перед Гумилевым, царственно восседавшим на кафедре:

Сердце бьется медленно, устало,  
На порог я села на крыльцо.  
Я ему сегодня отослала  
Обручальное кольцо.

Лицо Гумилева выражает удивление. Он пристально глядится в нее.

— Никак не предполагал, что вы уже замужем. Позвольте узнать — давно?

Лидочка Р. еще сильнее краснеет.

— Нет. Я не замужем, нет!

Гумилев недоумевающе разводит руками:

— Как же так? Помилуйте. Кому же вы отослали кольцо? Жениху? Любовнику?..

Лидочка закусывает нижнюю губу в явном, но напрасном усилии не расплакаться и молчит.

— А, понимаю! — продолжает Гумилев. — Вы просто взяли мужа, как и крыльцо, из ахматовского реквизита. Ах вы, бедная подахматовка!

«Подахматовками» Гумилев называл всех неудачных подражательниц Ахматовой.

— Это особый сорт грибов-поганок, растущих под «Четками», — объяснял он, — подахматовки. Вроде мухоморов.

Но, несмотря на издевательства Гумилева, «подахматовки» не переводились.

Уже не Лидочка Р., а другая слушательница самоуверенно продекламировала однажды:

Я туфлю с левой ноги  
На правую ногу надела.

— Ну и как? — прервал ее Гумилев. — Так и доковыляли домой? Или переобулись в ближайшей подворотне?

Но, конечно, многие подражания были лишены комизма и не служили причиной веселья Гумилева и его учеников. Так, строки:

Одною болью стало больше в мире,  
И в небе новая зажглась звезда... —

даже удостоились снисходительной похвалы мэтра.

— Если бы не было: «Одной улыбкой меньше стало. Одною песней больше будет», — прибавил он.

\* \* \*

Мы с Гумилевым часто ходили гулять не только летом, но и осенью, и даже зимой.

В Летнем саду мы бывали редко. Летний сад был гораздо дальше, хотя в то время мы «расстоянием не стеснялись». Сейчас кажется совершенно невероятным, что мы, преодолевавшие не меньше пятнадцати верст в день, еще находили силы для прогулок — силы и охоту.

Таврический сад. Снег скрипит под ногами. Как тихо, как безлюдно. Мы одни. Кроме нас, нет никого. Ни у кого нет ни времени, ни желания гулять. Только мы и вороны на снежных деревьях.

Гумилев читает свои стихи:

Всё чисто для чистого взора.  
И царский венец и суму,  
Суму нищеты и позора  
Я всё беспечально возьму...

И тем же тоном:

— Воронам не нравится. Вот они и каркают.

— Вороны глупы и ничего не понимают в стихах, — говорю я. — На свою голову каркают! На свою!..

Мы подходим к пруду и, держась друг за друга, спускаемся на лед.

— Здесь я когда-то каталась на коньках.

— Совсем не нужно коньков, чтобы кататься, — заявляет Гумилев и начинает выделывать ногами замысловатые фигуры, подражая конькобежцам, но, поскольку

нувшись, падает в сугроб. Я стою над ним и смеюсь, он тоже смеется и не спешит встать.

— Удивительно приятно лежать в снегу. Тепло и уютно. Чувствую себя настоящим самоедом в юрте. Вы идите себе домой, а я здесь останусь до утра.

— Конечно, — соглашаюсь я. — Только на прощание спрошу вас:

В самом белом, в самом чистом саване  
Сладко спать тебе, матрос?

И уйду. А завтра

Над вашим смертным ложем  
Взвьется тучей воронье...

Но он уже встает, забыв о своем желании остаться лежать в сугробе до утра, отряхивает от снега доху и спрашивает недовольным тоном:

— Почему вы цитируете Блока, а не меня?

Мы выбираемся на берег. Еще день и совсем светло. Но на бледно-сером зимнем небе из-за снежных деревьев медленно встает большая круглая луна. И от нее в саду еще тише, еще пустынее. Я смотрю не отрываясь на луну. Мне совсем не хочется больше смеяться. Мне грустно, и сердце мое сжимается, как от предчувствия горя. Нет, у меня никогда не будет горя! Это от луны, уговариваю я себя. И будто бессознательно желая задобрить луну, протягивая к ней руки, говорю:

— Какая прелестная луна!

— Очень она вам нравится? Правда? Тогда мне придется... Вы ведь знаете, — важно заявляет он, — мне здесь все принадлежит. Весь Таврический сад, и деревья, и вороны, и луна. Раз вам так нравится луна, извольте...

Он останавливается, снимает оленью ушастую шапку и отвешивает мне церемонный поклон:

— Я вам луну подарю. Подарок такой не снился египетскому царю.

Много лет спустя, уже после войны, в Париже, я вставила его тогдашние слова в свои стихи:

А третий мне поклонился:  
— Я вам луну подарю.  
Подарок такой не снился  
Египетскому царю...

Сделав мне такой царский подарок, Гумилев не забыл о нем, а часто вспоминал о своей щедрости.

— Подумайте только, кем вы были и кем вы стали. Ведь вам теперь принадлежит луна. Благодарны ли вы мне?

Да, я была ему благодарна. Я и сейчас еще благодарна ему.

Гумилев был моим настоящим учителем и наставником. Он занимался со мной каждый день, давал книги поэтов, до тех пор знакомых мне только по имени, и требовал критики прочитанного. Он был очень строг и часто отдавал обратно книгу.

— Вы ничего не поняли. Прочтите-ка еще и еще раз. Стихи не читают как роман. — И, пожимая плечами, добавлял: — Неужели я ошибся в вас?

Чтобы доказать ему, что он не ошибся, я просиживала часами над стихами, не нравившимися и непонятными мне, стараясь вникнуть в них.

Так я, благодаря Гумилеву, узнала и изучила всевозможных поэтов — не только русских, но и английских, французских и даже немецких, хотя сам Гумилев немецкого языка не знал. И помнил по-немецки только одну строку, которую приписывал Гейне:

Их бин дер гот дер му́зика<sup>1</sup>.

Этот «гот дер му́зика», как единственный пример немецкого стихосложения, часто вспоминался им.

Книг у Гумилева было множество. Ему удалось с помощью своих слушателей-красноармейцев привезти из Царского Села свою библиотеку.

Но мне доказать, что Гумилев «не ошибся» во мне, было иногда не по силам. Так, однажды он достал с полки том Блейка и протянул его мне. С Блейком я была знакома с детства и собиралась уже удивить Гумилева своими познаниями:

— Tiger, tiger in the wood...<sup>2</sup> — начала я.

Но Гумилев, не обратив внимания на «тайгера», открыл книгу.

— Вот тут я не совсем понимаю. Вы лучше знаете английский, чем я. Читайте вслух и переводите.

И я послушно стала читать. Я читала и ничего не пони-

---

<sup>1</sup> Я — бог музыки (нем.).

<sup>2</sup> — Тигр, тигр в лесу... (англ.)

мала. Какие-то философские термины, какие-то математические исчисления, извлечение корней — тут же нарисованных. Отдельные понятные слова в непонятном сочетании. Я с трудом прочла полстраницы и остановилась.

— Ну, переводите же!

— Не могу, Николай Степанович. Я ничего не понимаю.

— Почему же вы не понимаете?

— Оттого, что слишком сложно. Я даже не поняла, о чем это.

Гумилев разочарованно развел руками и свистнул.

— Вот так-так! Значит, вы невежественны, как карп?

Я киваю:

— Даже невежественнее карпа, по-видимому, — ничего не понимаю.

— А я всегда был уверен, что поэты самые умные из людей и что философию они постигают, не учась ей. Что ж, я, по-видимому, ошибся. Я очень ошибся в вас.

Я мигаю обиженно и морщу нос:

— Ах, пожалуйста, — неожиданно раздражается Гумилев, — не вздумайте плакать. Если посмеете заплакать, я с вами перестану заниматься. Кисейные недотроги, обижающиеся на каждое слово, не могут быть поэтами. Поняли? Запомнили?

Я поняла и даже кивнула в знак того, что запомнила.

— Ну, вот и отлично, — одобрил меня Гумилев. — Но неужели вы совсем не знаете философии? Ведь философия необходима поэту. Неужели вы не читали «Критики чистого разума» Канта?

— Не читала, — сознаюсь я. — Пробовала, но не поняла.

— И Шопенгауэра не читали? И Ницше?

— Не читала.

— Неужели? — Левый глаз Гумилева с недоверием уставляется на меня, правый с таким же недоверием и любопытством смотрит в огонь печки.

— Даже забавно. Но ничего. Мы это исправим. — Он встает, идет в спальню и возвращается, держа в руке книгу в синем сафьяновом переплете.

— Начнем с Ницше. К тому же он еще и поэт. Это совсем легко, увидите. Легко и понятно. Вот вам — «Так говорил Заратустра». Если и это не поймете, ну, тогда я действительно ошибся.

Но я поняла. И Гумилев в награду подарил мне своего «Так говорил Заратустра» в сафьяновом переплете,

сделав на нем в шутку неприятную надпись из «Бориса Годунова»:

Учись, мой сын: наука сокращает  
Нам опыты быстротекущей жизни...

Этот Ницше прибыл со мной в эмиграцию и погиб только во время бомбардировки нашего дома в Биаррице в 1944 году.

Ницше я прочла без особого труда. Прочла я и «По ту сторону добра и зла», и все книги Ницше, бывшие у Гумилева.

Ницше — знакомство с ним помогло мне многое понять в самом Гумилеве. Я поняла, что Ницше имел на него огромное влияние, что его напускная жестокость, его презрение к слабым и героический трагизм его мироощущения были им усвоены от Ницше.

И часто потом я подмечала, что он сам, не отдавая себе в этом отчета, повторял мысли Ницше.

Он говорил:

— Герои и великие поэты появляются во времена страшных событий, катастроф и революций. Я это чувствую.

Или:

— В каком-то смысле мне иногда хочется, чтобы люди стали еще злее и мир еще более ужасным и страшным. Люди, не умеющие переносить несчастье, возбуждают во мне презрение, а не сочувствие.

Но я знала, что это только поза, только игра в бессердечие и жестокость, что на самом деле он жалостлив и отзывчив. И даже сентиментален.

Как он любил вспоминать свое детство! У него теплел голос и менялось выражение лица, когда он произносил:

— Я был болезненный, но до чего счастливый ребенок...

— Мое детство было до странности волшебным, — рассказывал он мне. — Я был действительно колдовским ребенком. Я жил в каком-то мною самим созданном мире, еще не понимая, что это мир поэзии. Я старался проникнуть в тайную суть вещей воображением. Не только вещей, но и животных. Так, у нашей кошки Мурки были крылья и она ночами улетала в окно, а собака моей сводной сестры, старая и жирная, только притворялась собакой, а была — это я один знал — жа-

бой. Но и люди вокруг меня были не тем, чем казались, что не мешало мне их всех — зверей и людей — любить всем сердцем. Мое детское сердце. Для поэта важнее всего сохранить детское сердце и способность видеть мир преображенным.

О своем детстве он мог говорить без конца.

— Детство — самая главная, самая важная часть жизни. У поэта непременно должно быть очень счастливое детство. — И, подумав, добавлял: — Или очень несчастное. Но никак не скучное, среднее, серое. Я родился поэтом, а не стал им, как другие. Да, я действительно был колдовской ребенок, маленький маг и волшебник. Таким я сам себя считал. Тогда уже во мне возникло желание воплотить

мечту мою —

Будить повсюду обожанье.

В сущности, это ключ к пониманию меня. Меня считают очень сложным, но это неправильно — я прост. Вот когда вы меня хорошо узнаете, вы поймете, до чего я прост.

Когда вы меня хорошо до конца узнаете...

Но мне, повторяю, несмотря на наши почти ежедневные встречи, так и не удалось его узнать — до конца.

Мы возвращаемся из Таврического сада.

— Я в молодости был ужасным эстетом и снобом, — рассказывает Гумилев, — я не только носил цилиндр, но завивал волосы и надевал на них сетку. И даже подкрашивал губы и глаза.

— Как? Не может быть. «Конквистадор в панцире железном», африканский охотник подкрашивался, мазался?

Должно быть, в моем голосе звучит негодование.

Гумилев отвечает не без обиды.

— Да, представьте себе, мазался. Тогда это, с легкой руки Кузмина, вошло в моду, хотя это вас и возмущает. Почему одним женщинам позволено исправлять природу, а нам запрещено? При дворе Генриха III мужчины красились, душились и наряжались больше женщин, что не мешало им быть бесстрашными и храбрыми, как львы.



— Нет, все-таки противно, — говорю я. — И у вас, наверно, был презабавный вид.

Гумилев недовольно пожимает плечами.

— Другая эпоха, другие вкусы. Мы все были эстетамы. Ведь не я один. Много поэтов тогда подкрашивалось. Теперь мне это и самому смешно. Но тогда очень нравилось — казалось необычайно смело и остро. Впрочем, я все это бросил давно, еще до женитьбы на Ахматовой.

Мы продолжаем идти, и он снова «погружается в воспоминания»:

— Я ведь всегда был снобом и эстетом. В четырнадцать лет я прочел «Портрет Дориана Грея» и вообразил себя лордом Генри. Я стал придавать огромное значение внешности и считал себя очень некрасивым. И мучился этим. Я действительно, должно быть, был тогда некрасив — слишком худ и неуклюж. Черты моего лица еще не одухотворились — ведь они с годами приобретают выразительность и гармонию. К тому же, как часто у мальчишек, ужасный цвет кожи и прыщи. И губы очень бледные. Я по вечерам запирал дверь и, стоя перед зеркалом, гипнотизировал себя, чтобы стать красавцем. Я твердо верил, что могу силой воли переделать свою внешность. Мне казалось, что я с каждым днем становлюсь немного красивее. Я удивлялся, что другие не замечают, не видят, как я хорошею. А они действительно не замечали.

Я в те дни был влюблен в хорошенькую гимназистку Таню. У нее, как у многих девочек тогда, был «заветный альбом с опросными листами». В нем подружки и поклонники отвечали на вопросы: «Какой ваш любимый цветок и дерево? Какое ваше любимое блюдо? Какой ваш любимый писатель?»

Гимназистки писали — роза или фиалка. Дерево — береза или липа. Блюдо — мороженое или рябчик. Писатель — Чарская.

Гимназисты предпочитали из деревьев дуб или ель, из блюд — индюшку, гуся и борщ, из писателей — Майн Рида, Вальтера Скотта и Жюль Верна.

Когда очередь дошла до меня, я написал не задумываясь: «Цветок — орхидея. Дерево — баобаб. Писатель — Оскар Уайльд. Блюдо — канандер».

Эффект получился полный. Даже больший, чем я ждал. Все ступевались передо мною. Я почувствовал, что у меня больше нет соперников, что Таня отдала мне свое сердце.

И я, чтобы подчеркнуть свое торжество, не стал засиживаться, а отправился домой, сопровождаемый нежным, многообещающим взглядом Тани.

Дома я не мог сдержаться и поделился с матерью впечатлением, произведенным моими ответами. Она выслушала меня внимательно, как всегда.

— Повтори, Коленька, какое твое любимое блюдо. Я не расслышала.

— Канандер, — важно ответил я.

— Канандер? — недоумевая, переспросила она.

Я самодовольно улыбнулся:

— Это, мама, — разве ты не знаешь? — французский очень дорогой и очень вкусный сыр.

Она всплеснула руками и рассмеялась.

— Камамбер, Коленька, камамбер, а не канандер!

Я был потрясен. Из героя вечера я сразу превратился в посмешище. Ведь Таня и все ее приятели могут спросить, узнать о канандере. И как она и они станут надо мной издеваться. Канандер!..

Я всю ночь думал, как овладеть проклятым альбомом и уничтожить его. Таня, я знал, держала его в своем комоде под ключом.

Проникнуть в ее комнату, взломать комод и выкрасть его невозможно — у Тани три брата, родители, гувернантка, прислуга — к ней в комнату не проскользнешь незамеченным.

Поджечь ее дом, чтобы проклятый альбом сгорел? Но квартира Тани в третьем этаже, и пожарные потушат пожар прежде, чем огонь доберется до нее.

Убежать из дому, поступить юнгой на пароход и отправиться в Америку или Австралию, чтобы избежать позора? Нет, и это не годилось. Выхода не было.

К утру я решил просто отказаться от разделенной любви, вычеркнуть ее из своей жизни и больше не встречаться ни с Таней, ни с ее приятелями. Они, к счастью, все были не в одном со мною классе, и мне не стоило большого труда избегать их.

Но все это оказалось тщетной предосторожностью. Никто из них, по-видимому, не открыл, что такое «канандер». Нелюбопытные были дети. Неинтеллигентные.

Таня напрасно присылала мне розовые записки с приглашением то на именины, то на пикник, то на елку. Я не удостаивал их ответом. А на гимназическом балу она прошла мимо меня, не ответив на мой поклон.

— А вы все продолжали ее любить? — спрашиваю я. Он машет рукой.

— Какое там. Сразу как ножом отрезало. От страха позора прошло бесследно. У меня в молодости удивительно быстро проходила влюбленность.

— Не только в молодости, но и сейчас, кажется, Николай Степанович, — замечаю я насмешливо.

Он весело кивает.

— Да, что греха таить. На бессмертную любовь я вряд ли способен. Хотя кто его знает? Голову на отсечение не дам. Ведь я сам Дон Жуан до встречи...

Но о Дон Жуане он в тот день не успеваеет мне ничего рассказать.

Прямо перед нами толпа прохожих. На что они смотрят? Мы подходим ближе и видим яростно грызущихся собак, грызущихся не на жизнь, а на смерть. Они сцепились так, что кажутся большим, оглушительно рычащим, катающимся по мостовой клубком чернорыжей взъерошенной шерсти. Прохожие кричат и суетятся вокруг них.

— Воды! Притащите воды. Надо их разлить. А то загрызут друг друга.

— Откуда достать воды?

— А жаль, красивые, здоровые псы! Ничего с ними не поделаешь.

Кто-то боязливо протягивает руку, стараясь схватить одну из собак за ошейник.

— Осторожно! Разъярились псы, осатанели, отхватят руку! Их бы из рогатки, тогда пожалуй!.. Или оглоблей.

— Если бы мы были в Англии, — говорит Гумилев, — тут уже начали бы пари держать. Кто за черного, кто за рыжего. Азартный народ англичане.

Гумилев выпрямляется и тем же шагом идет прямо на грызущихся собак.

— А я готов пари держать, что псиный бой кончится вничью.

— Николай Степанович! — Я не успеваю удержать его за полу дохи. — Ради Бога, не трогайте их!

Он властным жестом раздвигает прохожих, и они расступаются перед ним, — и вдруг он, не останавливаясь, а продолжая спокойно идти, со всех сил бьет ногой в кружащихся на снегу, сцепившихся мертвой хваткой собак.

Мгновенье — и собаки, расцепившись, отскакивают друг от друга и с воем стремглав, поджав хвосты, бросаются в разные стороны.

И вот их уже не видно.

А Гумилев так же спокойно, не удостоивая вниманием всеобщее одобрение прохожих, возвращается ко мне.

— Этому приему я научился еще у себя в имении. У нас там злющие псы-овчарки. Надо только правильно удар рассчитать, — говорит он с напускным равнодушием, но я вижу, что он очень горд одержанной победой. Будто он разнял дерущихся львов, рискуя жизнью.

— Я так испугалась. Ведь они могли вас разорвать на куски, вы просто герой, Николай Степанович!

Он снисходительно улыбается мне.

— Ну, уж и герой!.. Скажете тоже...

\* \* \*

В тот вечер Гумилев позвонил мне по телефону, предупредив меня, что, если я ничем не занята, он зайдет ко мне через час.

Я ничем не была занята, но если бы у меня не было ни минуты свободной, я все равно ответила бы:

— Конечно, приходите! Я страшно рада.

Гумилев очень редко пользовался телефоном, и то, что он позвонил мне, меня действительно страшно обрадовало. Я не видела его несколько дней. Он уезжал в Бежецк к матери и жене и только сегодня вернулся.

Я ради такого исключительного случая решила затопить камин в кабинете. Обыкновенно у нас топилась только «буржуйка» в столовой. У Гумилева камина не было, а ему очень нравилось сидеть на медвежьей шкуре, глядя в огонь камина.

— До чего приятно, — говорил он, жмурясь от удовольствия, — будто меня шоколадным тортом угощают.

Я заняла у наших соседей четыре полена, с обещанием отдать шесть поленьев на будущей неделе. Ростовщические условия, но я согласилась на них.

Гумилев пришел вовремя. Он всегда был очень точен и ненавидел опаздывать.

— Пунктуальность — вежливость королей и, значит, поэтов, ведь поэты — короли жизни, — объяснял он, снимая свою оленью доху и ушастую шапку, известную всему Петербургу.

В те дни одевались самым невероятным образом. Поэт Пяст, например, всю зиму носил канотье и свет-

лые клетчатые брюки, но все же гумилевский зимний наряд бил все рекорды оригинальности.

Мы уселись в кабинете перед камином. Он очень доволен своей поездкой и рассказывает мне о ней.

— Как быстро растут дети. Леночка уже большая девочка, бегаёт, шумит и капризничает. Она и Левушка, как две капли воды, похожи на меня. Они оба разноглазые.

«Разноглазые», то есть косые. Меня это скорее огорчает. Особенно Леночка. Бедная Леночка! А ее мать такая хорошенькая.

— Левушка очень милый и умный мальчик, а Леночка капризна. Знаете, мне иногда трудно поверить, что это мои дети, что я их отец. Отец — как-то совсем неприложимо ко мне. Совсем не подходит. Я хотел бы вернуться в детство.

Peut-on jamais guerir de son enfance?<sup>1</sup>

Как это правильно. Мне, слава Богу, не удалось «guerir de mon enfance».

Он поправляет дрова в камине, хотя они сухие и хорошо горят. Но ему всегда хочется, чтобы пламя было еще ярче и дрова еще скорее сгорали. Он говорит, задумчиво глядя в огонь:

— Ничего так не помогает писать стихи, как воспоминания детства. Когда я нахожусь в особенно творческом состоянии, как теперь, я живу будто двойной жизнью: наполовину здесь, в сегодняшнем дне, наполовину там, в прошлом, в детстве. В особенности ночью.

Во сне — не странно ли — я постоянно вижу себя ребенком. И утром, в те короткие таинственные минуты между сном и пробуждением, когда сознание плавает в каком-то сиянии, я чувствую, что сейчас, сейчас в моих ушах зазвучат строчки новых стихов. Но, конечно, иногда это предчувствие обманывает. И сколько ни бьешься, ничего не выходит.

И все же это ощущение, если его только уметь сохранить, помогает потом весь день. Легче работать и веселее дышать.

Хорошо тоже вспоминать вслух свое детство. Тогда переживаешь его острее от желания заставить другого почувствовать то же, что чувствую я. Но это редко удается. Трудно найти настоящего слушателя, способного действительно заинтересоваться чужим детством. Сейчас же начнутся бесконечные банальные рассказы. — Он поворачивается ко мне. — А вот мне Бог послал ваши уши, —

---

<sup>1</sup> Можно ли когда-нибудь излечиться от детства? (фр.)

добавляет он полунасмешливо. — Всегда готовые меня слушать уши. Это очень приятно. Ведь все хотят говорить не «обо мне и о тебе», как полагается в идеальной беседе, а «обо мне и о себе». Слушать никто никого не желает. За уши я вас больше всего и ценю. За хорошие уши, умеющие слушать.

Да, я умела слушать. Не только слушать, но и переживать вместе с ним его воспоминания. И запоминать их навсегда.

Он подбрасывает новое полено в камин, последнее полено. Но в моем «дровяном запасе» еще сломанный стул и два ящика. Следовательно, можно не жалеть о полене.

— Меня очень баловали в детстве, — продолжает Гумилев. — Больше, чем моего старшего брата.

Он был здоровый, красивый, обыкновенный мальчик, а я — слабый и хворый. Ну, конечно, моя мать жила в вечном страхе за меня и любила меня фантастически, так,

Как любит только мать  
И лишь больных детей.

И я любил ее больше всего на свете. Я всячески старался ей угодить. Я хотел, чтобы она гордилась мной.

Он мечтательно улыбается, снова глядя в огонь, и продолжает:

— Это было летом в деревне. Мне было шесть лет. Моя мать часто рассказывала мне о своих поездках за границу, об Италии. Особенно о музеях, о картинах и статуях. Мне казалось, что она скучает по музеям.

И вот в одно июльское утро я вбежал к ней в спальню очень рано. Она сидела перед туалетом и расчесывала свои длинные волосы. Я очень любил присутствовать при том, как она причесывается и одевается с помощью горничной Вари. Тогда ведь это было длительное и сложное дело — корсет, накрахмаленные нижние юбки, платье, застегивающееся на спине бесконечными маленькими пуговками. Но в то утро я нетерпеливо стал дергать ее за руку: «Идем, идем, мама, в сад. Я приготовил тебе сюрприз».

Я был так взволнован, что она уступила и как была, в пеньюаре, в ночных туфельках, с распущенными волосами, согласилась идти со мной.

В саду я взял ее за руку:

— Закрой глаза, мама, и не открывай, пока я не скажу. Я поведу тебя.

И она, смеясь, дала мне вести себя по дорожке. Я был так горд. Я задыхался от радости.

— Вот, мама, смотри. Это я для тебя! Это музей! Твой музей!

Она открыла глаза и увидела: на клумбе между цветов понатыканы шесты, на них извивались лягушки и ящерицы. Четыре лягушки, две жабы и две ящерицы. Поймать их мне стоило большого труда.

— Это для тебя, мама. Я сам все сделал! Для тебя!

Она с минуту молча смотрела, будто не понимая, потом вырвала свою руку из моей.

— Как ты мог! Какой ужас! — И, не оглядываясь, побежала в дом. Я бежал за ней, совершенно сбитый с толку. Я ждал восторженных похвал и благодарности, а она кричала:

— Скверный, злой, жестокий мальчишка! Не хочу тебя видеть!

Добежав до крыльца, я остановился и заплакал. Она не поняла, она не сумела оценить моего первого творчества. Я чувствовал себя оскорбленным. Раз она не любит меня, не хочет меня больше видеть, я уйду от нее. Навсегда. И я повернул обратно, прошел весь сад, вышел на дорогу и пошел по ней в лес. Я знал, что в лесу живут разбойники, и тут же решил стать и сам разбойником, а может быть, даже — у меня всегда были гордые мечты — стать атаманом разбойников.

Но до леса мне дойти не удалось — он был в пяти верстах. Меня очень скоро хватились, и за мной уже неслась погоня. Брат и двое дворовых верхом, мама в коляске.

Пришлось вернуться.

Нет, меня не бранили и не наказали за попытку бегства из дома. Напротив даже. Возвращение блудного сына было, как и полагается, пышно отпраздновано — мать подарила мне книжку с картинками и игрушечный лук со стрелами, а к обеду подали мои любимые вареники с вишнями. Но моей разбойничьей карьере был положен конец. А жаль! Из меня мог бы выйти лихой атаман разбойников.

Он смеется, и я тоже смеюсь. Я никак не могу представить себе Гумилева разбойничьим атаманом. Впрочем, как и гусаром Смерти или африканским охотником на львов. Не могу. У него для этого на редкость неподходящая наружность. Он весь насквозь

штатский, кабинетный, книжный. Я не понимаю, как он умудрился наперекор своей природе стать охотником и воином.

А он, внимательно глядя мне в лицо, уже отвечает мне, будто читает мои мысли:

— Я с детских лет был болезненно самолюбив. Я мучился и злился, когда брат перегонял меня в беге или лучше меня лазил по деревьям. Я хотел все делать лучше других, всегда быть первым. Во всем. Мне это, при моей слабости, было нелегко. И все-таки я ухитрялся забираться на самую верхушку ели, на что ни брат, ни дворовые мальчишки не решались. Я был очень смелый. Смелость заменяла мне силу и ловкость.

Но учился я скверно. Я почему-то «не помещал своего самолюбия в ученье». Я даже удивляюсь, как мне удалось окончить гимназию. Я ничего не смыслю в математике, да и писать грамотно не мог научиться. И горжусь этим. Своими недостатками следует гордиться. Это их превращает в достоинства.

Я недоумеваю. Я спрашиваю:

— Но какое же достоинство безграмотность?

Он нетерпеливо дергает плечом:

— Ах, всегда вы со своей плоской, трехмерной логикой. Моя безграмотность совсем особая. Ведь я прочел тысячи и тысячи книг, тут и попугай стал бы грамотным. Моя безграмотность свидетельствует о моем кретинизме. А мой кретинизм свидетельствует о моей гениальности. Поняли? Усвоили? Ну, ну, не хохлитесь! Не морщите нос! Я шучу.

Он, конечно, шутил. Впрочем, только наполовину. В свою гениальность он верил. И нисколько не стеснялся своей безграмотности. Писал он действительно непостижимо неправильно. Когда ему указывали на его ошибки, он только удивленно качал головой:

— Кто его знает! Вы, пожалуй, правы. Пусть будет по-вашему.

Мне давно хотелось узнать, когда он начал сочинять стихи. Мне казалось, что непременно совсем маленьким, еще до времен музея.

— Нет, — говорит он, — гораздо позже музея. Как ни странно, я, несмотря на то, что создал себе свой особый мир, в котором

...Каждый куст придорожный  
Мне шептал: поиграй со мной,



Обойди меня осторожно  
И узнаешь, кто я такой, —

несмотря на мое поэтическое восприятие жизни и мира, о стихах не помышлял.

Зато с какой невероятной силой обрушились они на меня и завладели мною в четырнадцать лет. Мы переселились в Тифлис. И там, когда я проезжал впервые по Военно-Грузинской дороге, это и началось. Кавказ просто ошеломил меня. На меня вдруг нахлынули стихи Пушкина и Лермонтова о Кавказе. Я их знал и любил уже прежде. Но только здесь я почувствовал их магию. Я стал бредить ими с утра до вечера и с вечера до утра твердил их. Там же, в Тифлисе, я впервые напечатал в «Тифлисском листке» свои стихи. Такой уж я был решительный и напористый. Читать их вам не хочу. Верьте на слово, что дрянь. Да еще и демоническая. Не хочу. И не буду. Не приставайте.

Он отмахивается от меня рукой.

— Но запомните: с опубликованием своих шедевров спешить не надо. Как я жалел, что выпустил «Путь конквистадоров». Не сразу, конечно. Жалел потом. Скупал его и жег в печке. А все-таки, к моему стыду, этот «Путь конквистадоров» еще и сейчас где-то сохранился. Ничего не поделаешь. Не надо торопиться. И все же много стихов «Романтических цветов», уже настоящей книги, были написаны еще в гимназии. Как, например:

Мой старый друг, мой верный Дьявол,  
Пропел мне песенку одну...

Этот «старый друг» явился результатом двойки, полученной мною на уроке алгебры. И утешил меня.

Но это было уже в Царском, в последних классах.

В Тифлисе мы провели два года. Там-то я впервые и почувствовал себя тем самым поэтом, который

верил ветрам юга,  
В каждом шуме слышал вздохи лир,  
Говорил, что жизнь — его подруга,  
Коврик под его ногами — мир.



Ирина Одоевцева. 1920-е годы



Николай Гумилев. Фото М.С.Наппельбаума. Июль 1921



Анна Ахматова. Фото  
М.С.Наппельбаума



Георгий Иванов. Рисунок  
Ю.П.Анненкова. 1921



Н.С.Гумилев и А.А.Ахматова с сыном Львом. Декабрь 1914



Двор Дома искусств. Рисунок М.В.Добужинского. 1920. ГРМ

Афиша Дома искусств. В дате — опечатка: должно быть: 20 декабря <1919>. Пушкинский Дом

**ДОМ ИСКУССТВ**  
**ПРИ НАРКОМПРОСЕ**  
Угол Малого и Нового Дворов в Москве, д. 50/1.  
**В Понедельник, 29 Декабря с. г.,**  
**СОСТОИТСЯ**  
**ВЕЧЕР**  
**ПЕТРОГРАДСКИХ ПОЭТОВ**  
**УЧАСТВУЮТ: А. Блок, Н. Гумилев,**  
**Зоргенфрей, Г. Иванов, М. Куз-**  
**мин, Н. Оцуп, В. Пяст, В. Рожде-**  
**ственский и др.**  
**Начало в 6 час. вечера.**  
**ПОМЕЩЕНИЕ ОТАПЛИВАЕТСЯ.**  
Билеты по 80, 60 и 40 руб. продаются в Доме Искусств и в помещении  
Издательства Всесоюзной Литературы (Малый двор, д. 50/1).

---

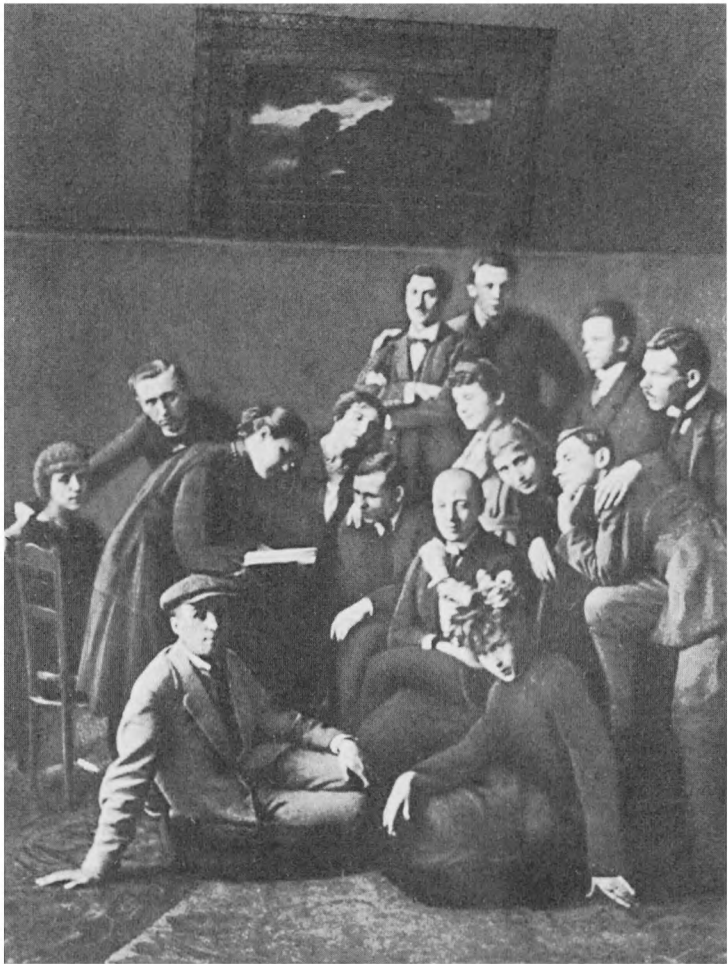
В ближайшем Пятницу в 6 ч. в Доме Искусств состоится следующая лекция в серии 5-го цикла лекции М. Горького о ТОЛСТОМ. 12-го Января лекция К. Чуковского о НЕКРАСОВЕ. 18-го Января — дала Андрей Велого о ПОЭТИКЕ. 25-го Января — вечер памяти Леонида Андреева.  
**Билеты и все справки там же.**  
Отдел Рекламы. № 1947.



А.И.Оношкович-Яцына



Николай Оцуп. Фото  
М.С.Наппельбаума



Поэтическая студия «Звучащая раковина». Фото М.С.Наппельбаума. Петроград, июль 1921. Мастерская М.С.Наппельбаума. Слева направо стоят: Д.Горфинкель, А.Столяров, П.Волков, Никаноров; сидят — слева: А.И.Федорова (Вагинова), Т.Рагинский-Корейва, Ф.М.Наппельбаум, И.М.Наппельбаум; рядом сидят: В.Миллер, Н.Сурина, В.Лурье, К.Вагинов. В центре — Н.С.Гумилев. Ниже — гости студии: Г.В.Иванов и И.В.Одоевцева

Михаил Кузмин.  
Фото М.С.Наппель-  
баума



С.М.Городецкий



А.М.Ремизов. Рисунок  
С.М.Городецкого. 1920



**ПОНЕДЕЛЬНИКИ ДОМА ИСКУССТВ**  
В Понедельник, **15-го** Марта 1920 г.,  
СОСТОИТСЯ  
**ВЕЧЕР ПОЭТОВ**  
УЧАСТВУЮТ:  
**Андрей Белый, Александр Блок,  
Н. Гумилев, М. Кузьмин и др.**  
Начало в **7 час. веч.**  
БИЛЕТЫ В ДОМЕ ИСКУССТВ - МОЯКА 59

Афиша «Понедельники Дома искусств». Пушкинский Дом



Анна Радлова. Фото М.С.Наппельбаума



Георгий Адамович. Фото М.С.Наппельбаума



А.А.Блок. Петроград, октябрь 1918



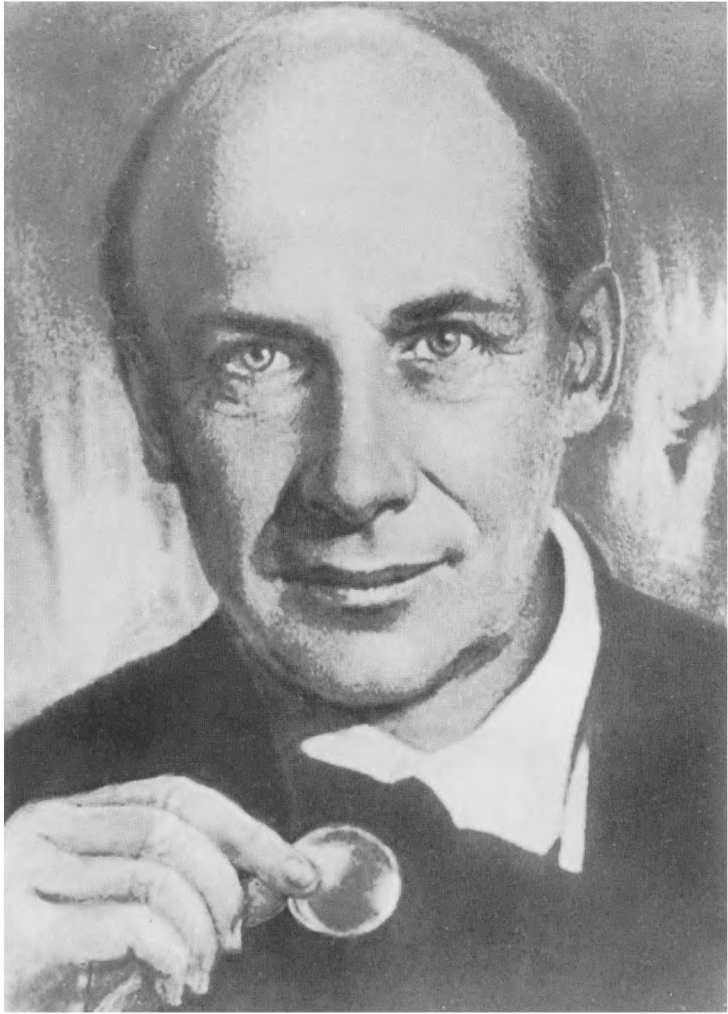
А.А.Блок и Л.Д.Блок на балконе своей квартиры. Фото С.М.Алянского. Лето 1919



Владимир Пяст. Рисунок  
Ю.П.Анненкова. 1921



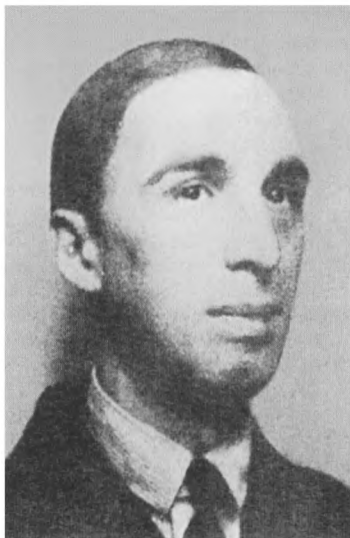
В.Ф.Ходасевич. 1918 (?)—1920



Андрей Белый. 1918



Корней Чуковский.  
Рисунок Ю.П.Ан-  
ненкова. 1921



Георгий Иванов. 1920-е годы



Н.Я.Мандельштам. 1920-е годы



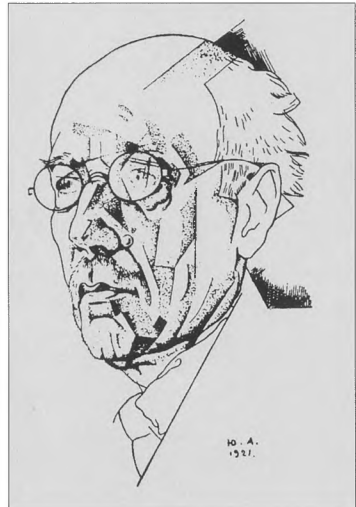
О.Э.Мандельштам. Фото М.С.Наппельбаума



Ф.К.Сологуб и  
А.Н.Чеботаревская.  
1910



Владимир Маяковский. 1923



Федор Сологуб. Рисунок  
Ю.П.Анненкова. 1921



Ю.П.Анненков. Фото М.С.Наппельбаума. Начало 1920-х годов





Ирина Одоевцева. Портрет работы В.Милашевского. 1922

Гумилев любил играть во всевозможные, часто им самим тут же выдуманные, игры. Особенно в «театр для себя».

Осенью 1919 года, накануне второй годовщины октябрьской революции — ее готовились пышно отпраздновать, — он с таинственным видом сказал мне:

— Завтра и мы с вами попразднуем и повеселимся. Не спрашивайте как. Увидите. Наденьте только ваше рыжее клетчатое пальто и рыжую замшевую шапочку.

Мое рыжее клетчатое пальто — я им впоследствии поменяюсь в стихах со статуей в Летнем саду:

А она уходит, напевая,  
В рыжем клетчатом пальто моем, —

мое клетчатое пальто, привезенное мне во время войны из Лондона. Оно не очень теплое, а в Петербурге в конце октября холодно, и я уже ходила в шубке.

Но Гумилев настаивал:

— Наденьте непременно клетчатое пальто. Я найду за вами в три часа, завтра.

Он пришел ровно в три. Хотя часов у него не было. Не только на руке или в кармане, но даже дома.

Его часы остановились еще летом. Часовщик за починку запросил несуразно дорого. Купить новые оказалось невозможным. С тех пор Гумилев научился определять время без часов, «шестым чувством-бис» — чувством времени.

— У гениев и кретинов чувство времени безошибочно. А я, как известно, помесь гения с кретином. Нет ничего удивительного, что за три месяца я ни разу никуда не опоздал. Все же, — рассказывал он мне как-то, — я сегодня утром так увлекся, переводя старинные французские песенки, что забыл обо всем, даже и о том, что должен быть на заседании «Всемирной литературы» на Моховой. Выхожу на улицу, спрашиваю первого встретившегося прохожего: «Простите, который час?» Тот в ответ развел недоумевающе руками: «А кто его знает?» — и побрел дальше.

Вот если бы у меня была кошка, я бы, как китайцы, по ее зрачкам определял время, до полминуты. Но заведешь кошку — она всех мышей переловит. А я их берегу на случай настоящего голода, про черный день. Михаил Леонидович Лозинский даже пустил слух, что я не только прикармливаю их, но и предательски здороваюсь со

старшей мышью за лапку. Вздор. Не верьте. Даже по отношению к мыши я предателем быть не могу...

Я открыла Гумилеву сама — и ахнула. Он стоял в дверях в длинном, почти до пят, макферлане-крылатке, с зонтиком под мышкой. На шее — шотландский шарф. На голове — большая кепка, похожая на блин с козырьком. Полевой бинокль через плечо на ремне.

— Hallo! — приветствовал он меня. — Let's go!<sup>1</sup> — И он со смехом объяснил мне, что мы с ним англичане. Он — приехавший на октябрьские торжества делегат Labor Party<sup>2</sup>, а я его секретарша.

Критически оглядев меня, он кивнул:

— Отлично. Настоящая english girl in her teens<sup>3</sup>, и даже волосы у вас английские — «оберн». Ведь и я настоящий англичанин, а?

Не знаю, как я, но он на англичанина совсем не был похож. Разве что на опереточного, прошлого века. И где только он откопал свой допотопный макферлан и эту нелепую кепку? Но он сам был так доволен своим видом, что я согласилась, сдерживая смех:

— Стопроцентный английский делегат.

— Помните, мы не говорим по-русски. Не понимаем ни слова. И в Петербурге впервые.

Мы вышли на Невский и там ходили в толпе, обмениваясь впечатлениями, и громко спрашивали, указывая пальцем то на Гостиный двор, то на Аничков дворец, то на Казанский собор:

— What is that?<sup>4</sup> — После многократно повторенного ответа Гумилев снимал с головы свой блин и невозмутимо флегматически заявлял:

— I see. Thank you ever so much<sup>5</sup>: Козá Сабó (Казанский собор).

И хотя мы и видом, и поведением напоминали скорее ряженых, чем англичан, до нас все время доносилось:

— Англичане! Смотри, английские делегаты!

Я, не в силах сдержаться, громко смеялась. Гумилев же сохранял англосаксонскую выдержку, повторяя:

— Don't giggle. Don't play the giddy goat. Shut up!<sup>6</sup> — Но я еще сильнее заливалась смехом.

<sup>1</sup> — Привет!.. Пошли! (англ.)

<sup>2</sup> лейбористской партии (англ.)

<sup>3</sup> молоденькая англичанка (англ.)

<sup>4</sup> — Что это? (англ.)

<sup>5</sup> — Понятно. Премного благодарен (англ.)

<sup>6</sup> — Не хихикайте. Не изображайте шаловливую козочку. Замолчите же! (англ.)

Мы проделали все, что полагалось: смотрели на процессии, аплодировали и даже подпевали. Оба мы были абсолютно безголосы и лишены слуха. Но нам как гостям-англичанам все было позволено. Стоявший рядом с нами красноармеец с явным удовольствием и даже умилением слушал, как Гумилев выводил глухим, уходящим в небо голосом тут же сымпровизированный им перевод «Интернационала». Я же, между двумя приступами смеха, душившего меня, только выкрикивала какое-то вау-лау, лау-вау-ююю!

Окончив, к общему удовольствию, пение, мы вместе с толпой двинулись дальше. Гумилев стал спрашивать «The way to Wassilo Ostow»<sup>1</sup>, повторяя настойчиво «уосило осто». Но никто, несмотря на явное желание помочь иностранцу, не мог понять, чего он добивается. Гумилев благодарил, улыбался, азартно повторяя: «Wonderful! O, yes! Your great Lenin! Karl Marx! O, yes!»<sup>2</sup> — и пожимал тянущиеся к нему со всех сторон руки.

Какой-то особенно любезный товарищ вдруг громко заявил:

— Должно, от своих отбились. Заплутались. Надо их на трибуны доставить. Где милиционер?

Гумилев горячо — Thank you. Thank you!<sup>3</sup> — поблагодарил его и, подхватив меня под руку, бросился со мной назад, в обратную сторону, будто увидел в толпе англичанина.

Забежав за угол, мы остановились перевести дух. Тут было тихо и пусто.

— Ох, даже жарко стало. — Гумилев весь трясся от смеха. — Хороши бы мы были на трибуне! Представляете себе? Еще сняли бы нас! И завтра наши портреты появились бы в «Красной газете»! И никто, решительно никто нас бы не узнал. Ну, нечего время терять, идем!

И мы снова вышли на Невский и смешались с толпой. Так мы проходили до самого вечера, в полном восторге.

Когда в толпе начались пляски, мы, хотя и с большим трудом, в особенности я, удержались и не пустились в пляс. Гумилев, для большей убедительности подняв зонтик к звездному небу, заявил:

— An Englishman does not dance in the street. It is shocking!<sup>4</sup> — А я, ослабев от смеха, в изнеможении прислонилась к стене:

<sup>1</sup> «Дорогу на Васильевский остров» (англ.).

<sup>2</sup> «Чудесно! О, да! Ваш великий Ленин! Карл Маркс! О, да!» (англ.)

<sup>3</sup> Спасибо. Спасибо! (англ.)

<sup>4</sup> — Англичанин не танцует на улице. Это шокирует! (англ.)

— Довольно. Больше не могу. Ведите меня домой!..

На следующий день в Студии Гумилев рассказал Лозинскому об «английских делегатах». Но Лозинский отнесся к нашему развлечению очень неодобрительно:

— С огнем играешь, Николай Степанович. А что было бы, если бы вас забрали в милицию?

— Ничего не было бы, — перебил его Гумилев. — Никто тронуть меня не посмеет. Я слишком известен.

Лозинский покачал головой:

— Я совсем не уверен, что не посмеют, если захотят. Не надо «им» подавать повода. Ты слишком легкомыслен.

— А ты, Михаил Леонидович, слишком серьезен и благоразумен. Мне скучно без развлечений.

Лозинский не сдавался:

— Никто не мешает тебе развлекаться чем и как хочешь. Только не задевай «их». Оставь «их» в покое!

Гумилев достал свой большой черепаховый портсигар и постучал папиросой по крышке. Как всегда, когда был раздражен.

— Ты недорезанный буржуй, вот ты кто, Михаил Леонидович. Нам друг друга не понять. Тебе бы только покой и возможность работать у себя в кабинете. А мне необходимо *vivre dangereusement*<sup>1</sup>. Оттого мне вчера и весело было, что все-таки чуточку опасно, — в этом ты прав. Без опасности и риска для меня ни веселья, ни даже жизни нет. Но тебе этого не понять...

Дома, когда я проболталась о том, как мы веселились на октябрьских торжествах, мне сильно попало. Отец хотел даже «объясниться по этому поводу» с Гумилевым.

— Ты отдаешь себе отчет, что могла очутиться на Шпалерной с обвинением в шпионаже? — горячился отец. — Никто не поверил бы, что нашлись идиоты, для забавы разыгрывающие англичан-делегатов!

Нет, я не «отдавала себе отчета». Мне казалось, что перепуганные, затравленные «буржуи» боятся даже собственной тени и делают из мухи слона. И я, защищаясь, повторяла:

— Если бы ты знал, как весело было. И как мы смеялись.

— А если бы тебя и твоего Гумилева поволокли расстреливать, вы бы тоже смеялись и веселились?

На это отвечать было нечего.

Но в те дни я не верила не только в возможность быть

---

<sup>1</sup> жить рискованно (фр.).

расстрелянной, но и просто в опасность. «Кай смертен», и с ним, конечно, случаются всякие неприятности. Но меня это не касается. У меня было особое чувство полной сохранности, убеждение, что со мной ничего дурного не случится.

\* \* \*

Зима 1919—1920 года. Очень холодная, очень голодная, очень черная зима.

Я каждый день возвращаюсь поздно вечером из Института живого слова одна. По совершенно безлюдным, темным — «хоть глаз выколи» — страшным улицам. Грабежи стали бытовым явлением. С наступлением сумерек грабили всюду. В полной тишине, в полной темноте иногда доносились шаги шедшего впереди. Я старалась приблизиться к ним. Мне и в голову не приходило, что сейчас может вспыхнуть свет электрического фонарика и раздастся грозное «Скидывай шубу!» — мою котиковую шубку с горностаевым воротничком. Я ее очень любила. Не как вещь, а как живое существо, и называла ее Мурзик.

Мурзик нравился и Гумилеву. Иногда утром, зайдя неожиданно ко мне, Гумилев предлагал:

— А не прогулять ли нам Мурзика по снегу? Ему ведь скучно на вешалке висеть.

Я всегда с радостью соглашалась.

Проходя мимо церкви, Гумилев всегда останавливался, снимал свою оленью ушастую шапку и истово осенял себя широким крестным знаменем, «на страх врагам». Именно «осенял себя крестным знаменем», а не просто крестился.

Прохожие смотрели на него с удивлением. Кое-кто шаркался в сторону. Кое-кто смеялся. Зрелище действительно было удивительное. Гумилев, длинный, узкоплечий, в широкой дохе с белым рисунком по подолу, развевающимся, как юбка, вокруг его тонких ног, без шапки на морозе, перед церковью, мог казаться не только странным, но и смешным.

Но чтобы в те дни решиться так резко подчеркивать свою приверженность к гонимому «культу», надо было обладать гражданским мужеством.

Гражданского мужества у Гумилева было больше, чем требуется. Не меньше, чем легкомыслия.

Однажды на вечере поэзии у балтфлотцев, читая свои африканские стихи, он особенно громко и отчетливо проскандировал:

Я бельгийский ему подарил пистолет  
И портрет моего государя.

По залу прокатился протестующий ропот. Несколько матросов вскочило. Гумилев продолжал читать спокойно и громко, будто не замечая, не устаивая вниманием возмущенных слушателей.

Кончив стихотворение, он скрестил руки на груди и спокойно обвел зал своими косыми глазами, ожидая аплодисментов.

Гумилев ждал и смотрел на матросов, матросы смотрели на него.

И аплодисменты вдруг прорвались, загремели, загрохотали.

Всем стало ясно: Гумилев победил. Так ему здесь еще никогда не аплодировали.

— А была минута, мне даже страшно стало, — рассказывал он, возвращаясь со мной с вечера. — Ведь мог же какой-нибудь товарищ-матрос, «краса и гордость красного флота», вынуть свой небельгийский пистолет и пальнуть в меня, как палил в «портрет моего государя». И, заметьте, без всяких для себя неприятных последствий. В революционном порыве, так сказать.

Я сидела в первом ряду между двумя балтфлотцами. И так испугалась, что у меня, несмотря на жару в зале, похолодели ноги и руки. Но я не думала, что и Гумилеву было страшно.

— И даже очень страшно, — подтвердил Гумилев. — А как же иначе? Только болван не видит опасности и не боится ее. Храбрость и бесстрашие — не синонимы. Нельзя не бояться того, что страшно. Но необходимо уметь преодолеть страх, а главное, не показывать вида, что боишься. Этим я сегодня и подчинил их себе. И до чего приятно. Будто я в Африке на львов поохотился. Давно я так легко и приятно не чувствовал себя.

Да, Гумилев был доволен. Но по городу пополз, как дым, прибитый ветром «слух» о «контрреволюционном выступлении Гумилева». Встречаясь на улице, два гражданина из «недорезанных» шептали друг другу, пугливо оглядываясь:

— Слыхали? Гумилев-то! Так и заявил матросне с эстрады: «Я монархист, верен своему государю и ношу на сердце его портрет». Какой молодец, хоть и поэт!

Слух этот, возможно, дошел и до ушей, совсем не предназначавшихся для них. Вывод: Гумилев монархист и активный контрреволюционер, — был, возможно, сделан задолго до ареста Гумилева.

...Шесть часов вечера. Падает снег. Я иду домой с родственных именин. По Бассейной.

Я сегодня ни в Студии, ни в «Живом слове» не была. И не видела Гумилева.

Меня ждут дома. Но я сворачиваю на Преображенскую. Ничего, опоздаю к обеду — к этому у меня уже привыкли.

Я поднимаюсь с черного хода. Парадный недавно заколотили — для тепла и за ненадобностью. «Нет теперь господ, чтобы по парадным шляться!»

Дверь кухни открывает Паша, старая, мрачная домработница, неизвестно как и почему служащая у Гумилева. То ли Аня — вторая жена Гумилева, дочь профессора Энгельгардта — оставила ее мужу в наследство, уезжая с новорожденной дочкой в Бежецк, то ли сам Гумилев, угнетенный холостым хозяйством, предложил мешочнице, продававшей на углу яблоки из-под полы:

— Хотите у меня работать? Сыты будете.

Как бы там ни было, но Паша верой и правдой служила Гумилеву, к их обоюдному удовольствию. Исчезла она — и опять по неизвестной мне причине, не то умерла, не то ей снова захотелось мешочничать — весной 1921 года.

Сейчас она еще здесь и встречает меня мрачно-фамиллярным:

— Входите. Дома!

Эта Паша, несмотря на свою мрачность, была не лишена стремления к прекрасному. Иногда, когда Гумилев читал мне стихи, дверь комнаты, где мы сидели, вдруг открывалась толчком ноги и на пороге появлялась Паша.

Гумилев недовольно прерывал чтение.

— Что вам, Паша?

— А ничего, Николай Степанович, — мрачно отвечала Паша, уютно прислонившись к стенке, спрятав руки под передник. — Послушать пришла стишки. Только и всего.



И Гумилев, благосклонно кивнув ей, продолжал чтение, будто ее и не было в комнате.

Как-то он все же спросил ее:

— Нравится вам, Паша?

Она застыдилась, опустила голову и прикрыла рот рукой:

— До чего уж нравится! Непонятно и чувствительно. Совсем, как раньше в церкви бывало.

Ответ этот поразил Гумилева:

— Удивительно, как простой народ чувствует связь поэзии с религией! А я и не догадывался.

Впустив меня, Паша возвращается к примусу, а я, стяхнув снег с шубки и с ног, иду через холодную столовую.

Никогда я не входила к Гумилеву без волнения и робости.

Я стучу в дверь.

— Войдите!

И я вхожу.

Низкая комната. Мягкая мебель,  
Книги повсюду и теплая тишь...

Впрочем, я лучше приведу полностью все это стихотворение, написанное мною под Рождество 1920 года:

Белым полем шла я ночью,  
И странник шел со мной.  
Он тихо сказал, качая  
Белоснежной головой:

— На земле и на небе радость —  
Сегодня Рождество!  
Ты грустна оттого, что не знаешь, —  
Сейчас ты увидишь его.  
И поэт прошел предо мною,  
Сердцу стало вдруг горячо.

И тогда сказал мне странник:  
— Через правое взгляни плечо!

Я взглянула — он был печальный,  
Добрый был он, как в стихах своих.  
И в небе запели звезды,  
И снежный ветер затих.

И опять сказал мне странник:  
— Через левое плечо взгляни! —  
Я взглянула.  
Поднялся ветер,  
И в небе погасли огни.  
А он стал злой и веселый,  
К нему подползла змея,  
Под тонкой рукой блеснула  
Пятнистая чешуя.

Год прошел и принес с собою  
Много добра и много зла,  
И в дом пять, по Преображенской,  
Я походкой робкой вошла:  
Низкая комната. Мягкая мебель,  
Книги повсюду и теплая тишь.  
Вот сейчас выползет черепаха,  
Пролетит летучая мышь...  
Но всё спокойно и просто,  
Только совсем особенный свет:

У окна папиросу курит  
Не злой и не добрый поэт.

Да, все совсем так, как в моем стихотворении. Все правильно — и разбросанные повсюду книги, и теплая тишь, и сказочное ощущение, что «вот сейчас выползет черепаха, пролетит летучая мышь», и «особенный свет», таинственно освещающий курящего Гумилева. Свет горящей печки. Ведь Гумилев курит не у окна, а у печки.

Гумилев встает и церемонно здоровается со мной, прежде чем помочь мне снять шубку. Он совсем не удивлен моим неожиданным приходом, хотя вчера было условлено, что мы сегодня не увидимся.

— Я вас ждал. Я знал, что вы сейчас придете.

— Ждали? Но ведь я совсем не собиралась идти к вам. Я шла домой.

Гумилев пожимает плечами.

— Шли домой, а пришли ко мне. Оттого, что мне очень хотелось вас сейчас увидеть. Я сидел здесь у печки и заклинал огонь и звал вас. И вот — вы пришли. Против своей воли пришли.

Я не знаю, шутит он или говорит серьезно. Но я стараюсь попасть ему в тон:

— Должно быть, я действительно почувствовала. И потому пришла к вам.

Он пододвигает зеленое креслице к печке.

— Мне сегодня ужасно тяжело с утра. Беспричинно тяжело, — искренне и просто признается он. Даже голос его звучит иначе, чем всегда, тише и мягче. — Как я одинок, Господи! Даже поверить трудно.

— Одиноки? — недоверчиво переспрашиваю я. — Но ведь у вас столько друзей и поклонников. И жена, дочь и сын, и брат. И мать.

Он нетерпеливо машет рукой.

— Ах, все это не то! Это все декорация. Неужели вы не понимаете? У меня нет никого на свете. Ни одного друга. Друзей вообще не существует. До чего я одинок! Даже поверить нельзя. Я всегда сам по себе. Всегда «я», никогда ни с кем не «мы». И до чего это тяжело.

Он вздыхает, глядя в огонь.

Я понимаю, что ему очень тяжело, очень грустно. Я молчу, не зная, чем ему помочь. И можно ли вообще ему помочь? Что ему сказать? Что?

Он поворачивает ко мне лицо, освещенное снизу пламенем печки. Один из его косящих глаз продолжает смотреть в огонь, другой выжидательно останавливается на мне.

Я, как всегда, чувствую себя неловко под его раздвоенным взглядом. Я растерянно моргаю и молчу. Все утешения кажутся мне такими ничтожными и глупыми.

Он продолжает молчать, и мне становится невыносимо его молчание. И этот взгляд. Мне хочется вскочить, схватить его за руку и вместе с ним побежать по снежным улицам в Дом литераторов.

Там светло, шумно и многолюдно. Там всегда можно встретить Кузмина с Юрочкой Юркуном. И мало ли еще кого?

Но я молчу. И Гумилев, глядя на меня, вдруг неожиданно улыбается. Конечно, он смеется надо мной. У меня, должно быть, от смущения и незнания, что сказать, очень комичный вид. Но я отвечаю улыбкой на его улыбку.

— Вот мне и легче стало, — говорит он повеселевшим голосом. — Просто от вашего присутствия. Посмотрел на ваш бант. Такая вы забавная, в особенности когда молчите. Как хорошо, что вы пришли.

Да, очень хорошо. В этот снежный зимний вечер он не говорил, как обычно, о поэзии, поэтах и стихах, а только о себе, о своем одиночестве, о смерти.

— Все мы страшно, абсолютно одиноки. Каждый замурован в себе. Стучи не стучи, кричи не кричи, никто не услышит. Но ничто не спасает от одиночества, ни влюбленность, ни даже стихи. А я, к тому же, живу совсем один. И как это тягостно! Знаете, я недавно смотрел на кирпичную стену и завидовал кирпичикам. Лежат, так тесно прижавшись друг к другу, все вместе. Все одинаковые. Им хорошо. А я всюду один, сам по себе. Даже в Бежецке. В первый же день мне становится скучно. Я чувствую себя не на своем месте даже в своей семье. Мне хочется скорее уехать, хотя я к ним всем очень привязан и очень люблю свою мать. — Он разводит руками. — А вот поймите, я там чувствую себя еще более одиноким, чем здесь.

Он поправляет игрушечной саблей горящие в печке поленья и продолжает:

— Я в последнее время постоянно думаю о смерти. Нет, не постоянно, но часто. Особенно по ночам. Всякая человеческая жизнь, даже самая удачная, самая счастливая, — трагична. Ведь она неизбежно кончается смертью. Ведь как ни ловчись, как ни хитри, а умереть придется. Все мы приговорены от рождения к смертной казни. Смертники. Ждем — вот постучат на заре в дверь и поведут вешать. Вешать, гильотинировать или сажать на электрический стул. Как кого. Я, конечно, самонадеянно мечтаю, что

Умру я не на постели  
При нотариусе и враче...

Или что меня убьют на войне. Но ведь это, в сущности, все та же смертная казнь. Ее не избежать. Единственное равенство людей — равенство перед смертью. Очень банальная мысль, а меня все-таки беспокоит. И не только то, что я когда-нибудь, через много-много лет, умру, а и то, что будет потом, после смерти. И будет ли вообще что-нибудь? Или все кончается здесь на земле: «Верю, Господи, верю, помоги моему неверию...»

Он на минуту замолкает, глядя на пляшущее в печке пламя. И вдруг, повернувшись ко мне, неожиданно предлагает:

— Давайте пообещаем друг другу, поклянемся, что тот, кто первый умрет, явится другому и все, все расскажет, что там.

Он протягивает мне руку, и я, не колеблясь, кладу в нее свою.

— Повторяйте за мной, — говорит он медленно и торжественно. — Клянусь явиться вам после смерти и все рассказать, где бы и когда бы я ни умерла. Клянусь. Я послушно повторяю за ним:

— Клянусь!

Он, не выпуская моей руки, продолжает еще торжественнее:

— И я клянусь, где бы и когда бы я ни умер, явиться вам после смерти и все рассказать. Я никогда не забуду этой клятвы, и вы никогда не забываете ее. Даже через пятьдесят лет. Даже если мы давно перестали бы встречаться. Помните, мы связаны клятвой.

Он выпускает мою руку, и я прячу ее в карман юбки. Мне становится очень неудобно. Что я наделала? Зачем я поклялась? Ведь я с детства до ужаса, до дрожи боюсь привидений и всяких сношений с загробным миром.

— Естественно и логично, что я умру первой. Но знать ничего нельзя. Молодость, к сожалению, не защищает от смерти, — серьезно продолжает он и вдруг перебивает себя: — Что это вы как воробей наохлились? И отчего вы такая бледная? Неужели испугались?

Я энергично трясую головой, стараясь улыбнуться:

— Нет. Совсем нет.

— Ну и слава Богу! Пугаться нечего. Ведь и я, и вы доживем до самой глубокой старости. Я меньше, чем на девяносто лет, не согласен. А вы, насколько мне известно, хотите дожить до ста. Так ведь?

— До ста с хвостиком, — поправляю я. — К тому времени, наверно, изобретут эликсир долголетия.

— Непременно изобретут, — соглашается он. — Как мне нравится в вас это желание жить как можно дольше! Ведь обыкновенно молодые девушки заявляют: «Я хочу умереть в двадцать пять лет. Дальше жить неинтересно». А вы — сто с хвостиком! — Он смеется. — Молодец! Ведь чем дольше живешь, тем интереснее. И я уверен, самое лучшее время — старость. Только в старости и в детстве можно быть совсем, абсолютно счастливым. А теперь хорошо бы чаю попить. — Он встает. — Пойдем, скажем об этом Паше.

Мы идем на кухню. Но кухня пуста. Паши нет.

— Должно быть, пошла хвоститься за хлебом в кооператив, — говорит Гумилев. — Ничего, я хитрый, как муха, и сам могу приготовить чай.

Он наливает воду в большой алюминиевый чайник, снимает кастрюльку с примуса и ставит на него чайник.

Все это он проделывает с видом фокусника, вынимающего живого кролика из своего уха.

Мы садимся за кухонный стол и ждем, пока вскипит вода. Ждем долго.

— Удивительно некипячая, глупая вода, — замечает Гумилев. — Я бы на ее месте давно вскипел.

И как бы в ответ крышка чайника начинает громко хлопать.

— Вот видите, — торжествует Гумилев, — обиделась и сразу закипела. Я умею с ней обращаться. Вода, как женщина, — надо ее обидеть, чтобы она вскипела. А то бы еще час ждали.

Мы возвращаемся к печке пить чай.

Гумилев достает из шкафа кулек с «академическим изюмом».

— Я сегодня получил академический паек. И сам привез его на саночках, — рассказывает он. — Запрягся в саночки и в своей оленьей дохе чувствовал себя оленем, везущим драгоценный груз по тайге. Вы бы посмотрели, с какой гордостью я выступал по снегу. — И вдруг перебивает себя: — А обещание свое вы никогда не забываете. Никогда. И я не забуду...

Но Гумилев так и не сдержал своего обещания и не являлся мне.

Только раз, через несколько дней после его расстрела, я видела сон, который хотя и отдаленно, но мог быть принят за исполнение обещания. За ответ.

Тогда же я написала стихотворение об этом сне:

Мы прочли о смерти его.  
Плакали горько другие.  
Не сказала я ничего,  
И глаза мои были сухие.

А ночью пришел он во сне  
Из гроба и мира иного ко мне,  
В черном старом своем пиджаке,  
С белой книгой в тонкой руке,

И сказал мне: «Плакать не надо,  
Хорошо, что не плакали вы.  
В синем раю такая прохлада,  
И воздух легкий такой,  
И деревья шумят надо мной,  
Как деревья Летнего сада...»

С.К.Маковский в своих воспоминаниях «На Парнасе “Серебряного века”» совершенно честно описал того Гумилева, которого видел и знал. Но до чего этот Гумилев не похож на моего!

Не только внутренне, но даже внешне. Маковский пишет, что Гумилев был блондин среднего роста, тонкий и стройный, с «неблагообразным лицом, слегка косящий, с большим мясистым носом и толстыми бледными губами».

Портрет этот относится к 1909 году.

Я же увидела Гумилева только в конце 1918-го. Но все же вряд ли он мог так измениться.

Гумилев сознавал, что сильно косит, но, как ни странно, гордился этим как особой «Божьей отметиной».

— Я разноглазый. И дети мои все разноглазые. Никакого сомнения, что я их отец, — с удовлетворением повторял он.

Гумилев находил свои руки поразительно красивыми. Как и свои уши. Его уши, маленькие, плоские и хорошо поставленные, были действительно красивы. Кроме них, решительно ничего красивого в нем не было.

Он не сознавал своей «неблагообразности» и совсем не тяготился ею. Напротив, он часто говорил, что у него очень подходящая для поэта внешность.

Николай Оцуп в своей монографии о Гумилеве, прочитанной им в Сорбонне и потом напечатанной в «Опытах», вывел из некрасивости Гумилева целую теорию, объясняющую его поэтический и жизненный путь. Там же Оцуп доказывает, что «Гондла» — автобиографическое произведение и что Гумилев чувствует себя горбуном.

Все это, конечно, чистая фантазия, и я удивляюсь, как Оцуп, хорошо знавший Гумилева, мог создать такую неправдоподобную теорию.

С духовным обликом, по Маковскому, дело обстоит еще хуже. Гумилев, в его описании, какой-то простачок-недоучка, более чем недалекий, одержимый поэзией и ничем, кроме поэзии, не интересующийся.

Гумилев действительно был «одержим поэзией», но ни простачком-недоучкой, ни недалеким он не был.

Мне не раз приходилось слышать фразу: «Гумилев

был самым умным человеком, которого мне довелось в жизни встретить».

К определениям «самый умный» или «самый талантливый» я всегда отношусь с недоверием.

«Самым умным» назвать Гумилева я не могу. Но был он, безусловно, очень умен, с какими-то иногда даже гениальными проблесками и, этого тоже нельзя скрыть, с провалами и непониманиями самых обыкновенных вещей и понятий.

Помню, как меня поразила его реплика, когда Мандельштам назвал одного из сотрудников «Всемирной литературы» вульгарным.

— Ты ошибаешься, Осип. Он не может быть вульгарным — он столбовой дворянин.

Я думала, что Гумилев шутит, но он убежденно добавил:

— Вульгарным может быть разночинец, а не дворянин, запомни.

Мандельштам обиженно фыркнул и покраснел. Сам он, понятно, дворянином не был.

Конечно, это могло быть только позой со стороны Гумилева, но Мандельштам насмешливо подмигнул мне и сказал, когда мы остались одни:

— Не без кретинизма ваш мэтр.

Необразованным Гумилева назвать никак нельзя было. Напротив. Он прочел огромное количество книг, и память у него была отличная.

Он знал поэзию не только европейскую, но и китайскую, японскую, индусскую и персидскую.

Неправильно также, что он ограничивался изучением одной поэзии. Он считал, что поэту необходим огромный запас знаний во всех областях — истории, философии, богословии, географии, математике, архитектуре и так далее.

Считал он также, что поэт должен тщательно и упорно развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Что надо учиться видеть звуки и слышать цвета, обладать слышащими глазами и зрячими ушами, чтобы воспринимать жизнь во всей ее полноте и богатстве.

— Большинство людей, — говорил он, — полуслепые и, как лошади, носят наглазники. Видят и различают только знакомое, привычное, что бросается в глаза, и говорят об этом привычными штампованными, готовыми фразами. Три четверти красоты и богатства мира для них пропадает даром.



В своих воспоминаниях Маковский уверяет, что Гумилев не знал ни одного иностранного языка. Это не так. Французский язык он знал довольно хорошо. Правда, известный факт перевода «chat Minet»<sup>1</sup> не свидетельствует об этом. Непонятно, как он мог спутать chat Minet с православными Четьи-Минеями, которые француженка-католичка никак, конечно, читать не могла.

И все же, несмотря на злосчастного chat Minet, Гумилев свободно, хотя и с ошибками — в них он не отдавал себе отчета, — говорил и писал по-французски. И читал даже стихи à livre ouvert<sup>2</sup> — трудных и сложных поэтов, как Heredia, Mallarmé, Rimbaud<sup>3</sup>, — и переводил их, не задумываясь, очень точно.

С английским дело обстояло хуже, хотя Гумилев провел несколько месяцев в Англии и рассказывал мне, что на большом обеде у какого-то лорда он рассказывал о своих путешествиях по Африке.

Я сомневаюсь, чтобы гости лорда что-нибудь поняли. Выговор у него был отчаянный, но читал он довольно бегло. Немецкого языка он не знал и жалел, что не знает. Он считал его лучшим, после русского, для стихов. Он иногда заставлял меня читать ему немецкие стихи — балладу Шиллера «Der Handschuh»<sup>4</sup> он особенно любил. Слушал он, непременно прислонясь к стене, сложив руки на животе, — изображая прислугу Пашу, и, подражая ей, говорил, вздыхая: «Красиво! Непонятно и чувствительно! Если бы не лень, обучился бы».

Но думаю, что обучиться ему мешала не только лень, но и отсутствие способностей к языкам, как и ко многому другому.

Гумилев очень любил сладкое. Он мог «ликвидировать» полфунта изюма или банку меда за один вечер, весь месячный академический паек.

— Я не только лакомка. Я едок-объедало, — с гордостью говорил он. — Я могу один съесть целого гуся.

Но это явное хвастовство. Гуся он в те дни никак съесть не мог — по простой причине, что гусей тогда и в помине не было.

Аппетит у него действительно был большой. Когда через год открылись «нелегальные» столовые, мне часто

<sup>1</sup> «кот Минэ» (фр.).

<sup>2</sup> с листа (фр.).

<sup>3</sup> Эредиа, Малларме, Рембо (фр.).

<sup>4</sup> «Перчатка» (нем.).

приходилось присутствовать при его «пантагрюэлевских трапезах».

— Приглашаю вас, — говорил мне Гумилев, выходя из Студии, — на пантагрюэлевскую трапезу, — и мы шли в маленькую темную квартиру на Фурштадтской, ничем не напоминавшую ресторан.

В двух комнатах, спальне и столовой, стояли столы, покрытые пестрой клеенкой. Вид широкой кровати со взбитыми подушками, по-видимому, не портил аппетита посетителей — в спальне обедающих бывало больше, чем в соседней столовой.

Гумилев обыкновенно усаживался в столовой, в конце стола.

Усевшись, он долго и основательно изучал меню, написанное на клочке оберточной бумаги, потом, подождав хозяйку, заказывал ей:

— Борщ. Пирог с капустой. Свиную отбивную в сухарях и блинчики с вареньем. С клубничным вареньем.

И только заказав все, оборачивался ко мне:

— А вы? Берите что хотите.

Я неизменно благовоспитанно отвечала:

— Спасибо. Я сыта.

И Гумилев, не удивляясь тому, что я «сыта», не споря, соглашался.

— Барышне подадите стакан чаю, раз ее ничто не соблазняет.

Я наблюдала за своим стаканом чая, с каким наслаждением он «ликвидировал» одно блюдо за другим, не переставая говорить о стихах.

Сейчас меня удивляет, что я, голодная — я тогда всегда была голодна, — могла спокойно слушать его, глядя на «свиную отбивную в сухарях», чувствуя ее запах. Ведь я столько месяцев не ела ни кусочка мяса. А это так вкусно! И как мне хочется обгрызть хоть оставшуюся у него на тарелке косточку.

— Вы напрасно отказались. Превкусная котлета! — говорит Гумилев и, обращаясь к хозяйке: — Дайте еще порцию!

У меня замирало сердце. Неужели он заказал эту «порцию» для меня! Но нет! Надежда напрасна. Он аккуратно съедает «еще порцию», не прерывая начатого разговора.

Конечно, если бы я сказала: «Пожалуйста, дайте мне борщ, котлету и пирожное», — он бы не выказал неудовольствия. Но раз я благовоспитанно отказалась, он не

считает нужным настаивать, — по-плюшкински: «хороший гость всегда пообедавши».

Мне и сейчас непонятно, как можно есть в присутствии голодного человека.

Но раз я не заявляла о своем голоде, Гумилев попросту игнорировал его. Не замечал. В голову не приходило.

Его жена, Аня Энгельгардт, как все продолжали ее звать, однажды пожаловалась мне:

— Коля такой странный. Вчера на вечере в Доме поэтов мы подходили к буфету. Он ест одно пирожное за другим: «Бери, Аня, если хочешь». Вот если бы он положил мне на тарелку пирожное. А то он ест, а я только смотрю. Он даже не заметил.

Возможно, что он действительно не замечал. Он был очень эгоистичен и эгоцентричен. И к тому же мы с Аней сами были виноваты — не брали «что хотите» — от скромности и чрезмерной благовоспитанности. Такие глупые!

Аня Энгельгардт приезжала раз в год на несколько дней к мужу — рассеяться и подышать петербургским воздухом.

«Рассеяться» ей, бедной, действительно было необходимо. Она жила в Бежецке у матери и тетки Гумилева, вместе с дочкой Леночкой и Левой, сыном Гумилева и Ахматовой. С тем самым Левой, которому Ахматова писала:

Жил на свете мальчик с пальчик,  
Как тебя унять?  
Спи, мой тихий, спи, мой мальчик,  
Я дурная мать...  
Долетают редко вести  
К нашему крыльцу.  
Подарили белый крестик  
Твоему отцу.  
Было горе, будет горе,  
Горю нет конца...

Гумилев не раз вспоминал при мне, как Аня в ответ на его вопрос — хочет ли она стать его женой? — упала на колени и всхлипнула: «Я не достойна такого счастья!»

Жизнь в Бежецке назвать «счастьем» никак нельзя было. Скорее уж там: «Было горе. Будет горе. Горю нет конца».

Аня Энгельгардт казалась четырнадцатилетней девочкой не только по внешности, но и по развитию.

Очень хорошенькой девочкой, с большими темными глазами и тонкими, прелестными веками. Я никогда ни у кого больше не видела таких век.

В то июльское воскресенье 1920 года, когда она открыла мне кухонную дверь, я, хотя и знала, что к Гумилеву на три дня приехала его жена, все же решила, что эта стриженная девочка-ломака в белой матроске, в сандалиях и коротких чулках никак не может быть женой и матерью.

Она же сразу признала меня и, как-то особенно извернувшись, звонко крикнула через плечо:

— Коля! Коля! Коля! К тебе твоя ученица пришла!

То, что я ученица ее мужа, она никогда не забывала. И это иногда выражалось очень забавно.

Так, уже после расстрела Гумилева она, во время одного из моих особенно удачных выступлений, сказала:

— И все-таки я отношусь к Одоевцевой как королева. Ведь я вдова Гумилева, а она только его ученица.

Но была она премилая девочка, и жилось ей не только в Бежецке, но и в Петербурге нелегко. Гумилев не был создан для семейной жизни. Он и сам сознавал это и часто повторял:

— Проводить время с женой так же скучно, как есть отварную картошку без масла.

Еще об эгоизме Гумилева.

Весной 1921 года обнаружилось, что Анна Николаевна, как он подчеркнуто официально звал свою жену, почему-то не может продолжать жить в Бежецке и должна приехать в Петербург.

К тому времени Паши уже не было. Вместе с Аней приехала и Леночка.

— Можно с ума сойти, хотя я очень люблю свою дочку, — жаловался Гумилев. — Мне для работы необходим покой. Да и Анна Николаевна устает от хозяйства и возни с Леночкой.

И вот Гумилев разрубил гордиев узел, приняв соломоново решение, как он, смеясь, говорил.

В Доме искусств тогда жило много писателей.

Гумилев решил перебраться в Дом искусств. В бывшую баню Елисеевых, роскошно отделанную мрамором. С потолком, расписанным амурами и богинями. Состояла она из двух комнат. У Гумилева был свой собственный «банный» кабинет.

— Я здесь чувствую себя древним римлянином. Утром, завернувшись в простыню, хожу босиком по мраморному полу и философствую, — шутил он.

Жить в Доме искусств было удобно. Здесь Гумилев читал лекции, здесь же вместе с Аней и питался в столовой Дома искусств.

Но возник вопрос: как быть с Леночкой? Детям в Доме искусств места не было. И тут Гумилев принял свое «соломоново решение». Он отдал Леночку в один из детдомов.

Этим детдомом, или, по-старому, приютом, заведовала жена Лозинского, его хорошая знакомая. Гумилев отправился к ней и стал ее расспрашивать, как живется детям в детдоме.

— Прекрасно. Уход, и пища, и помещение — все выше похвал, — ответила она. Она была одной из тех возвышенно настроенных интеллигенток-энтузиасток, всей душой преданных своему делу, — их было немало в начале революции. Гумилев улыбался.

— Я очень рад, что детям у вас хорошо. Я собираюсь привести вам мою дочку — Леночку.

— Леночку? Вы шутите, Николай Степанович? Вы хотите отдать Леночку в детдом? Я правильно поняла?

— Совершенно правильно. Я хочу отдать Леночку вам.

Она всплеснула руками:

— Но это невозможно. Господи!..

— Почему? Вы ведь сами сейчас говорили, что детям у вас прекрасно.

— Да, но каким детям? Найденным на улице, детям пьяниц, воров, проституток. Мы стараемся для них все сделать. Но Леночка ведь ваша дочь.

— Ну и что из этого? Она такая же, как и остальные. Я уверен, что ей будет очень хорошо у вас.

— Николай Степанович, не делайте этого! Я сама мать, — взмолилась она. — Заклинаю вас!

Но Гумилев только упрямо покачал головой:

— Я уже принял решение. Завтра же я привезу вам Леночку.

И на следующий день дочь Гумилева оказалась в детдоме.

Передавая мне этот разговор, Гумилев недоумевал:

— Как глубоки буржуазные предрассудки. Раз детям хорошо в детдоме, то и Леночке там будет хорошо. Смешно не пользоваться немногими удобствами, предоставленными нам. Тогда и хлеб и сахар по карточке брать нельзя — от большевиков.

Был ли Гумилев таким эгоистом? Таким бессердечным, жестоким, каким казался?

Нет, конечно, нет!

Он был добр, великодушен, даже чувствителен. И свою дочку Леночку очень любил. Он уже мечтал, как он будет с ней гулять и читать ей стихи, когда она подрастет.

— Она будет — я уверен — умненькая, хорошенькая и милая. А когда она влюбится и захочет выходить замуж, — говорил он со смехом, — я непременно буду ее ревновать и мучиться, как будто она мне изменила. Да, отцы ведь всегда ревнуют своих дочерей — так уж мир устроен.

Он никогда не проходил мимо нищего, не подав ему. Его холод, жестокость и бессердечие были напускными. Он ими защищался, как щитом.

— Позволь себе только быть добрым и слабым, сразу все бросятся тебе на горло и загрызут. Как раненого волка грызут и сжирают братья-волки, так и братья-писатели. Нравы у волков и писателей одинаковые.

— Но вы ведь — я знаю — очень добры, Николай Степанович, — говорила я.

— Добр? — Гумилев пожимал плечами. — Возможно, если бы я распустил себя, то был бы добр. Но я себе этого не позволяю. Будешь добрым — растаешь, как масло на солнце, и поминай, как звали поэта, воина и путешественника. Доброта — не мужское качество. Ее надо стыдиться, как слабости. И предоставить ее женщинам.

Гумилев действительно стыдился не только своей доброты, но и своей слабости. От природы у него были слабое здоровье и довольно слабая воля. Но он в этом не сознавался никому, даже себе.

— Я никогда не устаю, — уверял он. — Никогда.

Но стоило ему вернуться домой, как он надевал войлочные туфли и садился в кресло, бледный, в полном изнеможении.

Этого не полагалось замечать, нельзя было задавать ему вопроса:

— Что с вами? Вам нехорошо?

Надо было просто «не замечать», взять книгу с полки или перед зеркалом «заняться бантом», как он говорил.

Длились такие припадки слабости всего несколько минут. Он вставал, отряхивался, как пудель, вылезший из воды, и как ни в чем не бывало продолжал разговор, оборвавшийся его полуобморочным молчанием.

— Сократ говорил: «Познай самого себя». А я говорю: «Победи самого себя». Это главное и самое трудное,— часто повторял он.— Я, как Уайльд, — побеждаю все, кроме соблазна.

Он вечно боролся с собой, но не мог побороть в себе «*ragresse-delicé de l'âme*»<sup>1</sup> — по Ларошфуко, желания валиться на кровати, читая не Ронсара или Клеменса Брентано, а «Мир приключений», — и жаловался мне на себя, комически вздыхая.

«Мира приключений» он стыдился как чего-то неприличного и прятал его под подушку от посторонних глаз. Зато клал на подушку «на показ» для посетителей том «Критики чистого разума» или «Одиссею», хотя он их больше «ни при какой погоде не читал».

Он был вспыльчив, но отходчив. Рассердившись из-за какого-нибудь пустяка, он принимал скоропалительное решение:

— Никогда не прощу. Никогда не помирюсь. Кончено!

Но на следующий же день встречался и разговаривал с тем, с кем навсегда все было «кончено», как ни в чем не бывало.

— Главное не объясняться. Никаких «я тебя», «ты меня», которые так любят женщины. Запомните это правило. Оно вам пригодится в жизни — никаких «выяснений отношений», в особенности любовных. Ах, если бы Ахматова не говорила с первого же года: «Николай, нам надо объясниться...» На это я неизменно отвечал: «Оставь меня в покое, мать моя!..»

Был он и довольно упрям, что тоже скорей свидетельствует о слабой воле. Сколько я ни встречала упрямых людей, все они были слабовольны.

Гумилев признавался:

— Я знаю, что не прав, но сознаться в этом другому мне трудно. Не могу. Как и просить прощения. Зато терпеть не могу, когда у меня просят прощения. Надо забывать. Раз забыто, так и прощено.

— А как же, Николай Степанович, афоризм: «Мужчина прощает, но не забывает. Женщина не прощает, но забывает», — значит, вы поступаете по-женски? Вы женственны?

Но упрек в женственности возмущает Гумилева:

— Вздор. Чепуха. Женщины памятьливы на обиды,

---

<sup>1</sup>«блаженная леность души» (фр.).

памятливы до ужаса. Вы, например, не забываете ни одной обиды, никакого зла.

— И никакого добра, — добавляю я, — у меня хорошая память. Но, может быть, это во мне мужская черта?

Гумилев смеется.

— Ну, знаете, мужских черт в вас днем с огнем не сыщешь. Вас бы в средние века сожгли на костре, как ведьму. И не только оттого, что вы рыжая.

Я говорю:

— Вот и опять обида. Я ее прощу, но не забуду.

Гумилев продолжает смеяться:

— Быть названной ведьмой — комплимент, а не обида, в особенности для пишущей стихи. Зинаида Гиппиус очень гордилась тем, что ее считают и даже в печати называют ведьмой. Ведьмовское начало схоже с вдохновением. Ведьмы сами были похожи на стихотворения. Вам скорее лестно, что вас сожгли бы на костре. Непременно сожгли бы. И правильно бы поступили.

На следующий день я принесла Гумилеву две строфы:

Вьется вихрем вдохновенье  
По груди моей и по рукам,  
По лицу, по волосам,  
По цветущим рифмами словам.  
Я исчезла. Я — стихотворенье,  
Посвященное Вам.

И вторую:

А ко мне сегодня в лунном сне  
Прилетела рыжая сестра  
И со мной осталась до утра.  
И во сне вложила в сердце мне  
Уголек из своего костра.

Гумилев, что с ним не часто случалось, одобрил их и меня:

— У поэта должно быть плюшкинское хозяйство. И веревочка пригодится. Все, что вы слышали или читали, тащите к себе, в стихи. Ничего не должно пропадать даром. Все для стихов.

Стихи я тогда писала каждый день. По совету, вернее, даже по требованию Гумилева. Он говорил: «День без новых стихов — пропащий день».



Я ежедневно давала Гумилеву свои стихи на суд — «скорый и немилостивый», как он сам его определил.

Как-то я пришла к нему с букетом первой сирени. Я весной и летом постоянно ходила с цветами. Выходя из дома, я покупала у уличных мальчишек, будущих беспризорных, цветы и так и носила их с собой целый день, воображая, что я гуляю по саду, где цветут сирень, жасмин и черемуха.

Гумилеву очень нравилось мое «хождение с цветами», как он его называл. Он сам с удовольствием принимал участие в прогулках с черемухой или сиренью, в игре в цветущий сад и даже сочинил о наших прогулках с цветами строфу:

Снова идем мы садами  
В сумерках летнего дня,  
Снова твоими глазами  
Смотрит весна на меня.

Но сегодня, хотя день солнечный и голубой — настоящий «прогульный день», по его выражению, он не желает выходить из дома.

— Нет, лучше позанимаемся, садитесь, слушайте и отвечайте.

Он берет из моих рук сирень и кладет ее передо мной на стол.

— Представьте себе, что вы еще никогда не видели сирени, не знаете ее запаха, даже не трогали ее, — что вы скажете о ней неизбитыми, нешаблонными словами?

И я, как могу, стараюсь описать сирень, ее влажную хрупкость, и благоухание, и двенадцатилепестковую звездочку, приносящую счастье.

Он внимательно выслушивает меня.

— Совсем неплохо. А теперь стихами то же самое или что хотите о сирени, без лишних слов, ямбом. Не более трех строф. Не задумываясь. Даю вам пять минут.

Я зажмуриваюсь от напряжения и почти сразу говорю:

Прозрачный, светлый день,  
Каких весной не мало,  
И на столе сирень  
И от сирени тень.  
Но хочет Гумилев,  
Чтобы без лишних слов

Я б ямбом написала  
Об этой вот сирени  
Не более трех строф  
Стихотворенье.

Брови Гумилева удивленно поднимаются. В его раскосом взгляде — один глаз на меня, другой в сторону на сирень — вспыхивают искры.

— Хорошо. Даже очень. Вы действительно делаете мне честь как ученица. Вы моя ученица номер первый. Гордость моей Студии. Предсказываю вам — вы скоро станете знаменитой. Очень скоро.

Сердце мое, вылетев из груди, бьется в моем горле, в моих ушах.

Не может быть! Неужели? Наконец! Наконец-то. Гумилев хвалит меня, и еще как!

Я вскакиваю и начинаю кружиться по кабинету. Гумилев недовольно смотрит на меня.

— Не кружитесь волчком, вы собьете меня с ног. Да перестаньте же!

Но я не перестаю. Я кружусь от восторга, захлестывающего меня.

— Вы скоро будете знаменитой, — повторяю я нарастающим тоном.

— Господи! — вздыхает Гумилев. — Как вас унять?

И вдруг он, подойдя ко мне, двумя руками берет меня за талию. Мне кажется, что он хочет кружиться и танцевать со мной. Но ноги мои уже не касаются пола. Я в воздухе. Он поднимает меня. И вот я уже сижу на шкафу, и он притворно строго говорит, грозя мне пальцем:

— Сидите тут тихо. Совсем тихо. Мне надо закончить перевод. Не мешайте мне.

Я сижу в полном недоумении на шкафу, свесив ноги. Что же это такое?

Гумилев, посадив меня на шкаф, поворачивается ко мне спиной и возвращается к столу. Он сбрасывает мою сирень на пол — и раскладывает перед собой толстую рукопись. Что же это такое, в самом деле?

Сидеть на шкафу неудобно. Паша, по-видимому, никогда не вытирает пыль на шкафу, и он оброс ею, как мохом. От пыли и от обиды щекочет в носу. Но я молчу. Я выдерживаю характер.

Страницы рукописи шуршат. Красный карандаш в руке Гумилева делает пометки на полях. Гумилев молча

перелистывает рукопись. Он ни разу даже не повернул голову, не взглянул на меня.

Я не выдерживаю:

— Николай Степанович. Меня ждут дома!

Гумилев вздрагивает, как от неожиданности, и вот уже он стоит передо мною.

— Ради Бога, простите! Я совсем забыл. Мне казалось, что вы давно ушли.

Притворяется он или действительно забыл обо мне? В обоих случаях обидно, во втором даже еще обиднее.

Он осторожно снимает меня со шкафа.

Мое платье и руки перепачканы пылью. Он достает щетку:

— Почиститесь. Или давайте лучше я.

Но я отстраняю щетку. Я слишком оскорблена.

— Не надо. Я спешу. И так пойду. — Я натягиваю перчатки на запыленные руки. Молча. С видом оскорбленного достоинства.

— Неужели вы сердитесь?

Я поднимаю с пола сирень. Иду на кухню.

— Нисколько не сержусь. Мне надо домой, — говорю я сдержанно и холодно.

Глупо показывать обиду, да он все равно не поймет.

Но он, кажется, понимает.

Он достает с полки большой мешок.

— Вот, возьмите. Я приготовил для вас. Тут двадцать селедок из академического пайка. На хлеб выменяете.

От селедок я не отказываюсь. Селедки действительно можно выменять на хлеб. Или на сахар. Пригодятся. Еще как пригодятся.

— Спасибо, — говорю я так же холодно. И беру мешок с селедками и мой полузавядший букет сирени.

Гумилев открывает передо мной кухонную дверь.

— Не сердитесь. И помните, вы действительно скоро будете знамениты.

Я иду домой. Мешок с селедками очень тяжелый и оттягивает руки. Нести его и сирень неудобно. Бросить сирень? Но я прижимаю ее к груди, придерживая подбородком. И улыбаюсь мечте о будущей славе.

Нет, я не предчувствую, не догадываюсь, что предсказание Гумилева «вы скоро будете знаменитой» действительно исполнится не когда-нибудь там, а молниеносно скоро...

Как это ни странно, меня «открыл» не мой учитель Гумилев, а Георгий Иванов. Произошло это важное в моей жизни событие 30 апреля 1920 года.

Гумилев за несколько дней сообщил мне, что у него в будущую субботу в пять часов вечера прием в честь приехавшего из Москвы Андрея Белого. С «поэтическим смотром». Выступят Оцуп, Рождественский и я.

И Оцуп, и Рождественский хотя и молодые, но настоящие поэты. Я же — только студистка. Выступать с ними на равных началах мне чрезвычайно лестно.

В субботу 30 апреля я прихожу к Гумилеву за полчаса до назначенного срока. Оцуп и Рождественский уже здесь, и оба, как и я, взволнованы.

«Смотр» почему-то происходит не в кабинете, а в прихожей. Перед заколоченной входной дверью три стула — для нас. На пороге столовой — два зеленых кресла — для Гумилева и Белого.

Гумилев распоряжается как режиссер. Он усаживает меня на средний стул, справа Рождественский, слева Оцуп.

— Николай Авдеевич, ты будешь читать первым. Каждый по два стихотворения. Давайте прорепетируем!

И мы репетируем.

— Громче. Отчетливее, — командует Гумилев. — Держитесь прямо. Голову выше.

Я чувствую себя на сцене. Мной овладевает актерский «трак»<sup>1</sup>.

Напряженное ожидание. Наконец — стук в кухонную дверь.

— Андрей Белый прибыл! — громко объявляет Гумилев.

«Прибыл». В дворцовой карете с ливрейными лакеями или, по крайней мере, в сверкающем длинном «бенце» прибыл, а не пришел пешком.

Гумилев спешит на кухню с видом царедворца, встречающего коронованную особу.

Мы все трое, как по команде, встаем.

Об Андрее Белом ходит столько легенд, что для меня он сам превратился в легенду. Мне не совсем верится, что он сейчас появится здесь.

В Студии рассказывают, что он похож на ангела. Во-

<sup>1</sup> «страх» (от фр. trac).

лосы — как золотое сиянье. Ресницы — опахала. Глаза — в мире нет подобных глаз. В него все влюблены. Нельзя не влюбиться в него. Вот увидите сами! Он — гений. Это чувствуют даже прохожие на улице и уступают ему дорогу. В Москве, задолго до войны, все были без ума от него. Но он, устав от славы, уехал, скрылся за границей. Во время войны он в Швейцарии, в Дорнахе, строил Гетеанум. С доктором Штейнером.

Потом он вернулся в Россию. Он здесь. И я сейчас увижу его.

Из кухни доносятся голоса. Слов не разобрать. Шаги...

Гумилев, особенно чопорный и будто весь накрахмаленный, с церемонным поклоном пропускает перед собой... Но разве это Андрей Белый? Не может быть!

Маленький. Худой. Седые, легкие, как пух, волосы до плеч. Черная атласная шапочка не вполне закрывает лысину. Морщинистое бледное лицо. И большие, светло-голубые, сияющие, безумные глаза.

— Борис Николаевич, — голос Гумилева звучит особенно торжественно, — позвольте вам представить двух молодых поэтов: Николая Оцупа и Всеволода Рождественского.

Оцуп и Рождественский, не сходя с мест, молча кланяются.

Но Андрей Белый уже перелетел прихожую и трясет руку Оцупа, восторженно заглядывая ему в глаза.

— Так это вы Оцуп? Я слышал. Я читал. Оцуп! Как же! Как же... — И, не докончив фразы, бросается к Рождественскому.

— Вы, как я и думал, совсем Рождественский. С головы до ног — Рождественский. Весь как на елке!

Рождественский что-то смущенно бормочет. Гумилев, хотя церемония представления явно разворачивается не по заранее им установленному плану, указывает на меня широким жестом:

— А это — моя ученица.

Без фамилии. Без имени.

Сияющие, безумные глаза останавливаются на мне.

— Вы — ученица? Как это прекрасно! Всегда, всю жизнь оставайтесь ученицей! Учитесь! Мы все должны учиться. Мы все ученики.

Он хватает мою руку, высоко поднимает ее и, встряхнув, сразу выпускает из своей. Потом быстро отступает на шаг и оглядывается. Будто сомневается, нет ли здесь

еще кого-то, кого он не заметил, не одарил сиянием своих глаз и своего восхищения.

И вот он уже снова рядом с Гумилевым. Движения его легки, отрывчаты и неожиданны. Их много, их слишком много.

Он весь — движение: руки простерты для полета, острые колени согнуты. Готовы пуститься вприсядку. И вдруг он неожиданно весь застывает в какой-то напряженной, исступленной неподвижности.

Гумилев пододвигает ему кресло.

— А теперь, с вашего позволения, Борис Николаевич, начнется чтение стихов.

Белый кивает несколько раз.

— Стихи? Да, да. Непременно стихи. Стихи — это хорошо!

Он садится, вытягивает шею, поворачивает голову в нашу сторону. Вся его поза подчеркивает, что он весь — слух и внимание.

Первым, как было условлено, читает Оцуп. Спокойно. Внятно. Уверенно.

О, жизнь моя. Под говорливым кленом,  
И солнцем проливным, и легким небосклоном,  
Быть может, ты сейчас последний раз вздыхаешь...  
Быть может, ты сейчас, как облако, растаешь...

Белый, встрепенувшись, начинает многословно и истово хвалить:

— Я был уверен... Я ждал... И все же я удивлен — лучше, еще лучше, чем я думал...

Но я не слушаю. Я, зажмурившись, повторяю про себя свои стихи. Только бы не забыть, не сбиться, не оскандалиться.

Дирижерский жест Гумилева в мою сторону.

— Теперь вы!

Я встаю — мы все всегда читали стихи стоя — и сейчас же начинаю:

Всегда всему я здесь была чужою.  
Уж вечность без меня жила земля...

Прочитав первое стихотворение, я делаю паузу и перевожу дух.

Но эта полминутная тишина выводит Белого из молчания и оцепенения.

Он весь приходит в движение. Его глаза сверкают. Голос звенит:

— Инструментовка... Аллитерация... Вслушайтесь, вслушайтесь! «Всегда всему я». Ведь это а-у-я. А-у-я! — И вдруг, подняв к потолку руку, уже поет: — А-у-я! Аллилуйя! — Он поворачивает к Гумилеву бледное восторженно-вдохновенное лицо, скосив на меня глаза. — Как она могла? Сразу же без подготовки. В первой же строчке — Аллилуйя! Осанна Вышнему! Осанна Учителю!

Я слушаю. Казалось бы, я должна испытывать радость от этих похвал. Но нет. Мне по-прежнему неловко. Мне от этих «аллилуй» и «осанн» стыдно — за себя, за него, за Гумилева. Не надо. Не надо...

Ведь я чувствую, я знаю, он говорит это так, нарочно, зря. Ему совсем не понравились мои стихи. Он вряд ли их даже слышал. Только первую строчку и слышал.

Он заливает меня сиянием своих глаз, но вряд ли видит меня. Я для него просто не существую. Как, впрочем, и остальные. Я для него только предлог, чтобы воскликнуть: Аллилуйя! Осанна Андрею Белому!

Торжественно-официальный голос Гумилева: «Еще!»

И я читаю «Птицу». И, дочитав, покорно жду.

Но, видно, Белый истратил на меня слишком много красноречия. Он молчит. И Гумилев, убедившись, что Белый о «Птице» ничего не желает сказать, делает знак Рождественскому.

Рождественский закидывает голову и сладостно и мелодично начинает выводить нараспев свое прелестное — всех, даже Луначарского, восхищавшее стихотворение:

Что о-ни с то-бою сде-ла-ли,  
Бедная мо-я Мос-ква!

Окончив, Рождественский от волнения вытирает лоб платком.

Новый взрыв восторга Белого. И я опять понимаю, что он не слушал, что он хвалит не стихи Рождественского, а жонглирует словами.

— Замечательно находчиво! Это они — они. О-ни! О — эллипсис. О — дыра. Дыра — отсутствие содержания. Дыра, через которую ветер вечности уносит духовные ценности. О — ноль! Ноль — моль. Моль съедает драгоценные меха — царственный горноста́й, соболь, бобер.

— И вдруг, понизив голос до шепота: — У меня у самого котиковая, молюю траченная шапка там на кухне осталась. И сердце тоже, тоже траченное молюю.

Рождественский выжидательно смотрит на Гумилева. Ему по программе полагается прочесть еще свое, тоже всех очаровывающее:

Это Лондон, леди. Узнаете?

Но можно ли прервать словесные каскады Белого? Гумилев незаметно качает головой, и Рождественский, вздохнув, снова занимает свое место.

А Белый, разбрасывая фонтаном брызги и блески вдохновения, поднимается в доступные ему одному, облачные выси:

— Мое бедное сердце, траченное молюю! А ведь сердце — лев. И значит — травленный молюю котик на голове и травленный молюю лев в груди, — всплеск рук, — un lion mité!<sup>1</sup> И я сам — un lion mité! Ужас! Ужас! Но ведь у меня, как у каждого человека, не только сердце, но и печень, желудок, легкие. Печень — волк, желудок — пантера, легкие — лебедь, широко раскинувший крылья, легкий двукрылый лебедь. Мое тело — лес, где все они живут. Я чувствую их в себе. Они все еще здоровые, только вот сердце — лев, бедный лев, бедный lion mité. Они загрызут его. Я боюсь за него. Очень боюсь! — И неожиданно перебивает он себя: — А вы, Николай Степанович, тоже чувствуете их в себе?

Гумилев совершенно серьезно соглашается:

— Конечно. Часто чувствую. Особенно в полнолуные ночи.

Гумилев начинает выкладывать какие-то обрывки схоластических познаний о соотношении органов человеческого тела со зверьми и птицами, согласно утверждениям оккультистов.

— Гусь, например...

Белый болезненно морщится и вежливо поправляет:

— Не совсем так. Нет, совсем не так! Гусь тут ни при чем. Гусь, тот сыграл свою роль при сотворении мира в древнеегипетском мифе. Помните? Вначале был только остров в океане. На острове — четыре лягушки. И четыре змеи. И яйцо. — Белый привстает. Простирает руки вперед, на мгновение он застывает, кажется, что он ви-

---

<sup>1</sup> лев, травленный молюю (фр.).



сит в воздухе. Лицо его вдруг перекашивается. Он почти кричит: — Яйцо лопнуло! Лопнуло! Из яйца вылупился большой гусь. Гусь полетел прямо в небо и... — Он весь съеживается, прижимает руки к груди. — Гусь стал солнцем! Солнцем! — Он с минуту молчит, закрыв глаза, будто ослепленный гусем-солнцем. Потом поворачивается к Гумилеву и внимательно, пристально смотрит на него, как бы изучая его лицо. — Если человек похож на гуся, вот, скажем, как вы, Николай Степанович, это значит, что он отмечен солнцем. Символом солнца!

Гумилев улыбается смущенно и в то же время гордо. Лестно быть отмеченным солнцем. Хотя сходство с гусем, скорее, обидно. Но он не спорит.

Я смотрю на Белого. Кого он мне напоминает? И вдруг вспоминаю — профессора Тинтэ из сказки Гофмана «Золотой горшок».

Как я сразу не догадалась? Ведь Белый — вылитый профессор Тинтэ, превращавшийся в большую, черную, жужжащую муху. Меня бы не очень удивило, если бы Белый вдруг зажужжал черной мухой под потолком.

Гумилев встает.

— А теперь, Борис Николаевич, пожалуйста чай пить. — Полукивок в сторону наших стульев. — И вы, господа.

Как будто без этого пригласительного полукивка нас троих могли оставить в прихожей, как зонтик или калоши.

В столовой на столе, покрытом белой скатертью, чашки, вазочки с вареньем, с изюмом, медом, сухариками и ярко начищенный, клопочущий самовар. Полный парад.

Обычно Гумилев пьет чай прямо на пестрой изрезанной клеенке, из помятого алюминиевого чайника. Самовар я у него вижу в первый раз. Я впервые присутствую на приеме у Гумилева.

Мы рассаживаемся в том же порядке — с одной стороны стола Оцуп, я и Рождественский, с другой — Белый и Гумилев у самовара.

Я очень боялась, что Гумилев заставит меня разливать чай. Но нет. Он сам занялся этим.

Белый вскакивает, подбегает к самовару, смотрится в него, как в зеркало, строя гримасы.

— Самовар! — блаженно вздыхает он. — Настоящий томпаковый, пузатый! С детства люблю глядеться в не-

го — так чудовищно и волшебено. Не узнаешь себя. А вдруг я действительно такой урод, и все другие видят меня таким, и только я не знаю? — И, оторвавшись от самовара, вернувшись на свое место: — С детства страстно люблю чай. Горячий. Сладкий-пресладкий. И еще с вареньем.

Он накладывает себе в чашку варенья, сухарики хрустят на его зубах. Он жмурится от удовольствия. От удовольствия? Или от желания показать, какое невероятное удовольствие он сейчас испытывает?

— Ведь я в Москве, — глаза его ширятся, становятся пустыми, — почти голодаю. Нет, не почти, я просто голодаю. Хвосты! Всюду хвосты! Но я не умею стоять в хвостах. Я не могу хвоститься. Я — писатель. Я должен писать. Мне некогда писать. И негде, — с ужасом: — негде! У меня ведь нет комнаты. Только темная, тесная, грязная каморка. И за стеной слева пронзительное з-з-з-з! — пила, а справа трах, трах, трах! — топор. Дуэт, перекличка через мою голову, через мой мозг — пилы и топора. Мозг мой пилят и рубят. А я должен писать!

Гумилев пододвигает Белому изюм.

— Да, Борис Николаевич, трудные, очень трудные времена!..

— Трудные? Нет, нет. Совсем не трудные! Трудные времена благословенны. Времена, полные труда. Я хочу трудиться, а мне не дают, — как самовар, шумит и хлопчет Белый. — Поймите, не дают! Скажите, что мне делать?.. Что? Что мне делать, Николай Степанович?

Гумилев недоумевающе и скорбно разводит руками.

— Право, Борис Николаевич...

И вдруг как бы в ответ раздается дробный стук в кухонную дверь. Лицо Гумилева сразу светлеет.

— Это Георгий Иванов, — говорит он с облегчением.

Гумилев встает. Без официальной церемонности. С гостеприимной улыбкой. Два шага навстречу уже входящему Георгию Иванову.

— Как хорошо, что ты пришел, Жоржик! Я уже боялся, что ты за обедом у Башкирова забудешь о нас.

Да, хорошо, очень хорошо, что Георгий Иванов в тот вечер не остался у Башкирова. Не столько для Гумилева, как для меня. Если бы в тот вечер... Но не стоит гадать о том, что было бы, если бы не было...

Георгий Иванов здоровается с Белым, и Белый, уже сияющий восторгом встречи, рассыпается радостными восклицаниями:

— Как я рад! Так страшно давно... Наконец-то!

Отулыбавшись и сказав несколько приветственных слов Белому, Георгий Иванов кивает Оцупу:

— Здравствуй, Авдей!

Авдей — это удивляет меня. Ведь Оцупа зовут Николай. Николай Авдеевич.

Я молча подаю руку Георгию Иванову. В первый раз в жизни. Нет. Без всякого предчувствия.

Геorgia Иванова я уже видела на улице, возвращаясь с Гумилевым из Студии, и в самой Студии, где он изредка, мимолетно появлялся.

Он высокий и тонкий, матово-бледный, с удивительно красным большим ртом и очень белыми зубами. Под черными, резко очерченными бровями живые, насмешливые глаза. И... черная челка до самых бровей. Эту челку, как мне рассказал Гумилев, придумал для Георгия Иванова мэтр Судейкин. По-моему — хотя Гумилев и не согласился со мной, — очень неудачно придумал.

Георгий Иванов чрезвычайно элегантен. Даже слишком элегантен по «трудным временам». Темно-синий, прекрасно сшитый костюм. Белая рубашка. Белая дореволюционной белизны. Недавно маленькая девочка из нашего дома сказала про свое плохо выстиранное платьице: «Оно темно-белое, а мне хочется светло-белое!»

У Георгия Иванова и рубашка, и манжеты, и выглядывающий из кармана носовой платок как раз светло-белые. У Гумилева все это темно-белое.

На Оцупе ловко сидящий френч без признаков какой бы то ни было белизны и ловкие ярко-желтые высокие сапоги, вызывающие зависть не только поэтов.

Белый же весь, начиная со своих волос и своего псевдонима, — Белый, — сияюще-белый, а не только светло-белый. Впрочем, рубашка на нем защитного цвета. Но она не защищает его от природной белизны.

Георгий Иванов садится напротив меня, но я отвожу глаза, не решаясь смотреть на него. Я знаю от Гумилева, что он самый насмешливый человек литературного Петербурга. И, вместе с Лозинским, самый остроумный. Его прозвали «общественное мнение».

— Вам непременно надо будет постараться понравиться ему. Для вас это, помните, очень важно, — настаивал Гумилев.

Георгий Иванов весело рассказывает, что он только

что обедал у Башкирова, у поэта Башкирова-Верина. И тот прочел ему свои стихи:

...И я воскликнул, как в бреду:  
Моя любовь к тебе — возмездие,  
Бежим скорее на звезду!..

— Я посвятил эти стихи одной восхитительной баронессе, — объяснил Башкиров-Верин. — С ней действительно хочется подняться к звездам.

А подававшая пирог курносая девчонка-горничная громко фыркнула:

— Полно врать, Борис Николаевич. Какая там еще баронесса? Ведь вы это мне написали!

Все смеются, Белый особенно заливчато и звонко.

— Полно врать, Борис Николаевич! — повторяет он. — Это и мне часто следует говорить. Как правильно! Как мудро! Ах, если бы у меня была такая курносая девчонка-горничная! — И уже совсем другим тоном, грустно и серьезно: — Ведь я вру. Я постоянно вру. Не только другим. Но и себе. И это страшно. Очень страшно.

Снова тягостное молчание. Всем неловко. Гумилев старается спасти положение:

— Ты опоздал, Жоржик. Мы здесь с Борисом Николаевичем слушали без тебя стихи, — и как утопающий хватается за соломинку, — может быть, послушаем еще?

Георгию Иванову, по-видимому, не очень хочется слушать стихи. Но он соглашается:

— Отлично. С удовольствием. Стихи Николая Авдеевича и Всеволода Александровича я, впрочем, и сам могу наизусть прочитать. А вот твою ученицу, — он кивает мне, улыбаясь, — еще ни разу слышать не пришлось.

Я холодею от страха. Неужели же мне еще придется читать?

— Прочтите что-нибудь, — говорит Гумилев.

Но я решительно не знаю что. Я растерянно моргаю. И ничего не могу вспомнить.

Гумилев недоволен. Он стучит папиросой по крышке своего черепахового портсигара. Он терпеть не может, когда поэты ломаются.

— У вас же так много стихов. Какое-нибудь. Все равно какое.

Но я продолжаю молчать.

— Ну, хотя бы, — уже раздраженно говорит он, — хотя бы эту вашу «Балладу о толченом стекле».

Балладу? Неужели он хочет, чтобы я прочла ее? Ведь я написала ее еще в октябре. Я была уверена, что мне наконец удалось сочинить что-то стоящее, что-то свое. Я принесла ее Гумилеву чисто переписанной. Но он, прочитав ее, нахмурился:

— Что ж? Очень хорошо. Только сейчас никому не нужно. Никому не понравится. Большие, эпические вещи сейчас ни к чему. Больше семи стрóf современный читатель не воспринимает. Сейчас нужна лирика и только лирика. А жаль — ваша баллада совсем недурна. И оригинальна. Давайте ее сюда. Уложим ее в братскую могилу неудачников. — И он спрятал мою балладу в толстую папку своих, забракованных им самим, стихов. Это было в октябре. И с тех пор он ни разу не вспоминал о ней.

— Если не помните наизусть, я принесу вам рукопись, — предлагает он.

— Нет, я помню.

И я, не задумываясь, начинаю решительно:

### БАЛЛАДА О ТОЛЧЕНОМ СТЕКЛЕ

Солдат пришел к себе домой,  
Считает барыши...

Я произношу громко и отчетливо каждое слово. Я так переволновалась, не зная, какие стихи прочесть, что сейчас чувствую себя почти спокойно.

Гумилев слушает с благодушно-снисходительной улыбкой. И значит, все в порядке.

...Настала ночь. Взошла луна.  
Солдат ложится спать.  
Как гроб, тверда и холодна  
Двухспальная кровать...

Гумилев продолжает все так же благодушно, снисходительно улыбаться, и я решаюсь взглянуть на Георгия Иванова.

Он тоже слушает. Но совсем иначе. Без снисходительной улыбки. Он смотрит на меня во все глаза, с острым, колючим любопытством. Наверно, хочет разглядеть и запомнить «ученицу Гумилева» во всех подробно-

стях. И завтра же начнет высмеивать мой бант, мои веснушки, мою картавость и, главное, мою злосчастную балладу. Зачем только Гумилев заставил меня читать ее? Ведь он сам предупреждал меня:

— Бойтесь попасть на зубок Георгию Иванову — съест!

И вот сам отдал меня на съедение ему.

Мне становится страшно. Я произношу с трудом, дрожащим голосом:

И семь ворон подняли труп  
И положили в гроб...

Георгий Иванов порывисто наклоняется ко мне через стол:

— Это вы написали? Действительно вы? Вы сами?

Что за нелепый, что за издевательский вопрос?

— Конечно, я, И, конечно, сама.

— Правда, вы? — не унимается он. — Мне, простите, не верится, глядя на вас.

Теперь не только он, но и Оцуп и Рождественский с любопытством уставляются на меня. У Гумилева недоумевающий, даже слегка растерянный вид. Наверно, ему стыдно за меня.

Я чувствую, что краснею. От смущения, от обиды. Мне хочется встать, убежать, провалиться сквозь пол, выброситься в окно. Но я продолжаю сидеть. И слушать.

— Это замечательно, — неожиданно заявляет Георгий Иванов. — Вы даже не понимаете, до чего замечательно. Когда вы это написали?

Отвечать мне не приходится. За меня отвечает Гумилев.

— Еще в начале октября. Когда я — помнишь — в Бежецк ездил. Только чего ты, Жоржик, так горячишься?

Георгий Иванов накидывается на него.

— Как чего? Почему ты так долго молчал, так долго скрывал? Это то, что сейчас нужно, — современная баллада! Какое широкое эпическое дыхание, как все просто и точно...

Георгий Иванов — о чем я узнала много позже — был великим открывателем молодых талантов. Делал он это с совершенно не свойственной ему страстностью и увлечением. И даже с пристрастностью и преувеличением. Но сейчас его странное поведение окончательно сбива-

ет меня с толку. Он продолжает расхваливать мою «современную балладу».

— Современной балладе принадлежит огромная будущность. Вот увидите, — предсказывает он. — Вся эта смесь будничной повседневности с фантастикой, с мистикой...

Но тут Белый — ему, по-видимому, давно надоело молчать, и ему, конечно, нет никакого дела до моей баллады — не выдерживает:

— Мистика, — подхватывает он. — Символика врон. Так и слышишь в каждой строфе зловещее карканье. Кра-кра-кра! Но Египетский Бог... Ра...

— В особенности в таком картавом исполнении, — насмешливо бросает Георгий Иванов.

— Но Бог Солнца Ра... — не слушая, продолжает Белый с увлечением.

От смущения я плохо понимаю. Но слава Богу! Слава Солнечному Богу Ра, я уже не в центре общего любопытства и внимания.

Разговор, вернее, монолог Белого, прерываемый остротами Георгия Иванова, течет пенящимся горным ручьем.

Чаепитие окончено. Все встают и переходят в кабинет.

Я незаметно выскальзываю на кухню. Гумилев нагоняет меня.

— Неужели вы уже уходите? Можете уйти?

Меня ждут дома. Я обещала.

Он помогает мне надеть пальто.

— Вы, кажется, не отдаете себе отчета в том, что произошло. Признаюсь, я не думал, что это случится так скоро. Запомните дату сегодняшнего дня — 30 апреля 1920 года. Я ошибся. Но я от души поздравляю вас!..

Поздравляет? С чем? Я не спрашиваю. Я подаю ему руку.

— Спасибо, Николай Степанович! Спокойной ночи.

— Счастливой ночи, — говорит он.

И я выхожу на улицу.

\* \* \*

Это было в субботу 30 апреля. Сегодня вторник 3 мая. Я на публичной лекции Чуковского «Вторая жена». О Панаевой.

Зал набит. Чуковский, как всегда на публичных своих выступлениях, гораздо менее блестящ, чем в Студии. Он читает по тетрадке, не глядя на слушателей. И от этого многое теряется. И все-таки очень интересно. Ему много хлопают. Он кончил. Он встает. К нему, как всегда, подбегает толпа студистов и молодых поклонников. Он идет по коридору. Они бегут за ним. Он выше всех, его видно в толпе. Он что-то говорит, жестикулируя и спрутообразно извиваясь. И вдруг останавливается и, повернув, идет решительно прямо на меня. Публика расступается. Вокруг него и меня образуется пустое место.

Чуковский кланяется, как всегда «сгибаясь пополам». Этот поклон предназначается мне. И все видят.

— Одоевцева, я в восторге от вашей баллады! — говорит он очень громко. И все слышат. Нет, может быть, он произносит другие слова — от волнения я плохо слышу. Но смысл их — восхищение моей балладой.

— Я очень прошу вас записать «Толченное стекло» в «Чукоккалу». Обещаете?

Я ничего не обещаю. У меня для обещания нет голоса. Я даже кивнуть головой не могу.

Но ведь его «обещаете» — только цветок риторического красноречия, поднесенный им мне.

«Чукоккала» — святая святых, тетрадь в черном кожаном переплете. Только знаменитости удостоиваются чести писать в ней.

Чуковский снова отвечает мне нижайший театральный поклон. Он идет к выходу. Я стою на том же месте. Гумилев трогает меня за плечо:

— Идемте!

Слушатели все еще толпятся вокруг меня. Теперь они идут за нами с Гумилевым. До меня доносится: Как ее зовут? Как? Одоевцева? Какое такое «Стекло»? Кто она такая?

Мы на Невском. Гумилев говорит взволнованно:

— Вот видите. И случилось. Поздравляю вас!

Но я не понимаю. Откуда Чуковский знает? Почему? И Гумилев рассказывает, что он вчера, в понедельник, брился в парикмахерской Дома искусств рядом с Чуковским и прочел ему «Толченное стекло» наизусть. И Чуковский, как Георгий Иванов, пришел в восторг.

— И вот результат. Поздравляю. Я думал, что вы будете знаменитой. Но не думал, что так скоро. Теперь вас всякая собака знать будет.



«Всякая собака» — вряд ли. Петербургские собаки были по-прежнему заняты своими собачьими делами. Но, действительно, с вечера 3 мая я стала известна в литературных — и не только литературных — кругах Петербурга.

Так. Сразу. По щучьему велению. Не успев даже понять, как это случилось.

С этой весны для меня началась уже настоящая литературная жизнь и понеслась ускоренным, утроенным, удесятеренным темпом. Не хватало времени, чтобы перевести дух. Столько событий кружились и кружили нас снежным вихрем. Лекции сменялись литературными вечерами и концертами, концерты — танцевальными вечерами. Все это происходило в Доме литераторов и в Доме искусств. Были и настоящие балы.

Столько событий! И мое первое публичное выступление.

3 августа 1920 года я читала впервые «Балладу о толченом стекле» на литературном утреннике Дома литераторов. Уже как настоящей, полноценный поэт. Ведь никаких ученических и дилетантских выступлений здесь не полагалось.

Волновалась ли я? Не особенно. Я в мечтах давно пережила все свои выступления и успехи. И когда они наконец стали реальностью, отнеслась к ним довольно сдержанно.

В день моего первого выступления Гумилев зашел за мной. Я вышла к нему уже готовая, в туфлях на высоких каблуках и чулках. В обыкновенное время я, следуя тогдашней моде, — ходила в носочках. Но для торжественного выступления они — я понимала — не годятся. На мне синее платье. Не белое кисейное с десятью воланами, не розовое, а синее шелковое. Для солидности. И в волосах, как птица, бант. Синяя птица — в цвет платья и как у Метерлинка.

Гумилев осматривает меня внимательно.

— Бант снимите. Бант тут не к месту.

Я не сразу уступаю. Ведь бант — часть меня. Без него я не совсем существую.

Но Гумилев настаивает:

— Верьте мне, с бантом слишком эффектно.

Выступать с бантом он разрешил мне только через два месяца:

— Теперь вам не только можно, но и следует выступать с бантом. Он еще поднимет вашу популярность...

Мое первое выступление прошло вполне благополучно, хотя и не сопровождалось овацией.

Мне, как и профессору Карсавину, выступавшему передо мной, в меру поаплодировали.

Большого в Доме литераторов ждать не приходилось. Аудитория здесь была тонно-сдержанная, не то что в Доме искусств.

Объяснялось это ее составом — большинство здешних слушателей достигло почтенного и даже сверхпочтенного возраста и давно научилось «властвовать собой» и не проявлять бурно своих чувств и симпатий, тогда как в Доме искусств преобладал «несовершеннолетний, несдержанный элемент».

Все же и Гумилев, и я остались вполне довольны моим первым выступлением.

Но этим дело не ограничилось. Через три дня Гумилев с таинственным видом подвел меня к стене, на которой, как тогда полагалось, была наклеена «Красная газета», и ткнул пальцем в нижний фельетон.

— Читайте! Только дайте я вас под руку возьму, чтобы вы в обморок не упали. Обо мне в «Красной газете» фельетонов никогда не появлялось! Куда там! Лариса Рейснер вас прославила, и как еще! С первого же вашего появления. Поздравляю и завидую!

Ни ему, ни мне, ни, конечно, самой Ларисе Рейснер, — писавшей стихи и вполне дружески относившейся к поэтам, — не пришло в голову, что такое «прославление» могло кончиться для меня трагично. Она в своем фельетоне сообщала, что «изящнейшая поэтесса» в талантливой балладе возвела клевету на красноармейца, обвиняя его в подмешивании стекла к продаваемой им соли, то есть в двойном преступлении — не только в мешочничестве, но и в посягательстве на жизнь своих сограждан.

«На верхах», узнав о существовании явно контрреволюционной «изящнейшей поэтессы», клеветущей на представителей Красной Армии, могли, конечно, заинтересоваться ею и пожелать прекратить раз и навсегда ее зловредную деятельность — даже вместе с ее жизнью.

Но мы, повторяю, по своему невероятному, необъяснимому легкомыслию об этом вовсе и не подумали.

А фельетон Ларисы Рейснер, несмотря на его намеки на мою контрреволюционность или благодаря ему —

как впоследствии и хвалебный отзыв Троцкого, — принес мне известность не только в буржуазных, но и в большевистских кругах.

\* \* \*

Начало осени 1920 года. Второй вечер, устраиваемый Союзом поэтов. Совсем недавно — только этим летом — основанным Союзом поэтов и уже успевшим переорганизоваться, переменить председателя. И изменить направление. История эта наделала много шума в тогдашнем литературном мире.

Из Москвы в Петербург прибыла молодая поэтесса Надежда Павлович с заданием организовать петербургский Союз поэтов, по образцу московского. Задание свое она выполнила с полным успехом — на все 120 процентов. Председателем был избран Блок. Сама Павлович занимала видное место в правлении, чуть ли не секретарское. Имена остальных членов правления, кроме Оцупа и Рождественского, я забыла.

Союз поэтов, как и предполагалось по заданию, был «левым». И это, конечно, не могло нравиться большинству петербургских поэтов. К тому же стало ясно, что Блок, хотя и согласился «возглавить» Союз поэтов, всю свою власть передаст «Надежде Павлович с присными».

Выгод от такого правления петербургским поэтам ждать не приходилось. Гумилев же был полон энергии, рвался в бой, желая развить ураганную деятельность Союза на пользу поэтам. Лагерь Павлович «с присными» был силен и самоуверен — ведь его поддерживала Москва, и все же ему пришлось потерпеть поражение. Гумилев проявил в этой борьбе за власть чисто макиавеллистические способности. Придравшись к тому, что правление Союза было выбрано без необходимого кворума, некоторые поэты потребовали перевыборов. На что правление легко согласилось, предполагая, что это простая формальность и оно, конечно, останется в своем полном и неизменном составе. Но в гумилевском лагере все было рассчитано и разыграно виртуозно; на перевыборах совершенно неожиданно была выставлена кандидатура Гумилева, который и прошел большинством... в один голос. Результат перевыборов ошеломил и возмутил прежнее правление.

— Это Пиррова победа, — горячилась Павлович, —

мы этого так не оставим. Мы вас в порошок сотрем!

В Москву полетели жалобы. Но вскоре выяснилось — ничего противозаконного в действиях Гумилева не усматривалось. Все, по заключению экспертов, было проведено так, что и «комар носа не подточит». Хотя Блок нисколько не держался за свое председательство, но все же провал не мог не оскорбить его. Но он и вида не показал, что оскорблен. Когда новое правление во главе с председателем Гумилевым и секретарем Георгием Ивановым отправилось к нему с визитом, Блок не только любезно принял его, но нашел нужным «отдать визит», посетив одну из пятниц, устраиваемых Союзом на Литейном.

И на сегодняшнем вечере Блок так же не отказался выступить вместе со всеми поэтами, находящимися сейчас в Петербурге.

Я, хотя и считаю уже поэтом и даже уже выступала один раз в Доме литераторов, этой чести сегодня не удостоилась. Я сознаю, что это справедливо — выступают только поэты с поэтическим стажем и твердо установившимся именем. Мне все же дано разрешение находиться в «артистической» — в гостиной, рядом с эстрадной залой. И это наполняет меня гордостью. И смущением.

— Я опоздаю, — предупредил меня вчера Гумилев. — А вы приходите пораньше и ждите меня там. Кузмин обещал непременно быть. Вот, наконец, и увидите его. И познакомьтесь с ним.

Да, я еще ни разу не видела Кузмина. Но я слышала о нем много самых противоречивых рассказов. По ним мне никак не удастся составить себе ни образа, ни биографии Кузмина: Кузмин — король эстетов, законодатель мод и тона. Он — русский Брюммель. У него триста шестьдесят пять жилетов. По утрам к нему собираются лицеисты, правоведы и молодые гвардейцы присутствовать при его «*petit lever*»<sup>1</sup>. Он — старообрядец. Его бабушка — еврейка. Он учился у иезуитов. Он служил малым в мучном лабазе. В Париже он танцевал канкан с моделями Тулуз-Лотрека. Он носил вериги и провел два года послушником в итальянском монастыре. У Кузмина — сверхъестественные «византийские глаза». Кузмин — урод.

Как сочетать все это?

---

<sup>1</sup> «малый прием» (фр.), т.е. утренний прием посетителей — из ритуала французских королей.

Но вдобавок оказывается еще, что Вячеслав Иванов восхищался его эрудицией и в спорах прислушивался к его мнению. Он гордился тем, что Кузмин жил у него на Башне. Но, оказывается, Кузмин жил еще и у Нагродской, прославленного автора «Гнева Диониса». И там устраивались маскарады, о которых и сейчас говорят шепотом. Оказывается также, что Кузмин готовился стать композитором и учился в консерватории у Римского-Корсакова и что стихи он стал писать только в тридцать три года, по совету Брюсова. Он все не мог найти подходящих «слов» для своей музыки.

— Если чужие стихи вам не подходят, пишите сами, — посоветовал ему Брюсов и «показал, как это делается».

Кузмин сразу обнаружил огромные способности и вскоре махнул рукой на музыку, заменив ее поэзией. Хотя музыку бросил не совсем.

Рассказывали, что он так объяснял этот переход к поэзии:

— И легче, и проще. Стихи так с неба готовыми и падают, как перепела в рот евреям в пустыне. Я никогда ни строчки не переделываю.

Этому, как и многому другому в его легендарной и противоречивой биографии, мне было трудно поверить. Неужели правда — никогда, ни строчки? Ведь Гумилев иногда неделями бьется над какой-нибудь строкой и меня по многу раз заставляет переделывать стихи, пока не получится «то, что не требует исправления».

Я очень люблю стихи Кузмина. В особенности «Александрийские песни» и это — я его всегда читаю вслух, проходя мимо Таврического сада:

Я тихо от тебя иду,  
А ты остался на балконе.  
«Коль славен наш Господь в Сионе» —  
Трубят в Таврическом саду.

Я вижу бледную звезду  
На тихом, теплом небосклоне,  
И лучших слов я не найду,  
Когда я от тебя иду:  
«Коль славен наш Господь в Сионе».

Неужели и оно «с неба, как перепелка в рот»? Неужели? Ведь это одно из восхитительнейших русских стихо-

творений. Нет, я не верила. Только потом, когда я стала женой Георгия Иванова, я узнала, что у него

Вдруг появляются стихи.  
Вот так, из ничего, —

что совершенные стихи, не требующие исправлений, могут появляться «чудесно, на авось». Но тогда я об этом еще понятия не имела. И Кузмин казался мне чем-то вроде мага и волшебника. И фокусника.

Я всегда волнуясь перед встречей с еще не виданным мною поэтом. Но сегодня я иду в Дом искусств, «как идут на первое свиданье в розами расцветший сад». С сердцем, заранее переполненным восхищением и благодарностью судьбе за эту встречу. Я готова восхититься Кузминым. Не только его «византийскими глазами» — «глазами-безднами, глазами-провалами, глазами — окнами в рай», — но и его дендизмом, даже его жилетом, — всем, что составляет того легендарного Кузмина, чьи стихи

Из долины мандолины...

повторяет сам Блок наизусть. А ведь Блок, по словам Гумилева, не признает почти никого из современных поэтов.

Я нарочно пришла рано, пока еще никого нет. Я усаживаюсь в большое шелковое кресло в темном углу гостиной. Отсюда мне будут видны все входящие, а я сама могу остаться не замеченной никем, как в шапке-невидимке.

Первым является Владимир Пяст. Самый богемный из богемных поэтов. Русская разновидность «poète maudit»<sup>1</sup>. Он летом и зимой носит соломенное канотье и светлые клетчатые брюки, прозванные «двустопные пясты». В руках у него незакрывающийся ковровый саквояж. Из него выглядывают, как змеи, закрученные трубками рукописи. На ногах — похожие на лыжи длинноносые стоптанные башмаки, подвязанные веревками. Веревки явно не нужны — башмаки держатся и без них. Но веревки должны дорисовывать портрет «поэта моды» во всем его падении, нищете и величии. Так же, как и ковровый саквояж с рукописями, — «все свое ношу с собой».

---

<sup>1</sup>«пробланный поэт» (фр.).

Пяст знает все свои стихи наизусть и может их читать часами, не заглядывая в рукописи. Я с ним давно знаком. Он «чтец-декламатор», то есть учит слушателей «Живого слова» декламации. Но самое удивительное в Пясте не его внешность и не его «чтец-декламаторство», а то, что он один из друзей Блока, вместе с Евгением Ивановым — рыжим Женей — и Зоргенфреем. Этот Зоргенфрей неожиданно достиг широкой известности своим единственным, как нельзя более современным стихотворением. Мы все на разные лады повторяли при встречах строки из него:

— Что сегодня, гражданин,  
На обед?  
Прикреплялись, гражданин,  
Или нет?  
— Я сегодня, гражданин,  
Плохо спал.  
Душу я на керосин  
Променял...

Зоргенфрей, рыжий Женя и Пяст. Только их троих, неизвестно почему, «допускает до себя» Блок. С ними он совершает загородные прогулки, с ними в пивных на Васильевском острове проводил бессонные ночи — до революции. К Пясту, несмотря на его чудачества, относятся все не без некоторого уважения. Как к другу Блока. Как к бывшему другу Блока. Пяст не мог простить Блоку «Двенадцати». И они разошлись.

За Пястом входит прямая противоположность ему — Михаил Леонидович Лозинский. Холеный. Похожий на директора банка. За ним — Дмитрий Цензор, признанный кумир швеек.

По словам все того же Гумилева, Цензор умеет вызвать у своих поклонниц слезы умиления строчками вроде:

Какое счастье, какое счастье  
Дать кому-нибудь в мире счастье, —

и даже заставить их «дать ему счастье».

Гостиная понемногу начинает наполняться. Я знаю — с виду — далеко не всех. Но вот входит Блок. И Андрей Белый. Андрей Белый останавливается на пороге,

оглядывает комнату своими светлыми сияющими дальнорезкими глазами. Я стараюсь уйти поглубже в кресло. Но от таких глаз не уйдешь. Они видят все. На два аршина под землей — видят.

Белый, будто исполняя балетный танец, начинает подлетать к присутствующим в рассыпающемся сиянии седых кудрей, с распростертыми для полета и для объятий руками. Но нет, до объятий не доходит. Вместо объятий — рукопожатие и сияющая улыбка, обворожительная улыбка.

— Как я рад... — Легчайший прыжок в сторону, и конец фразы достается уже не Блоку, а разговаривающему с ним Лозинскому.

Я с тревогой слежу за сложным рисунком его танца-полета. Пронеси, Господи! А он уже летит по диагонали, сияя улыбкой узнавания, в мой угол — прямо на меня. Радостное восклицание:

— Вы? Ведь мы с вами с самой Москвы... — и, не докончив, отлетает, оставляя меня в полном недоумении. Я сбита с толку. Надо ли объяснять ему, что он принял меня за кого-то другого, что я никогда в Москве не была? Но он уже в противоположном конце гостиной рассыпает, как цветы, улыбки и приветствия, обвораживая и очаровывая.

Я застываю в своем кресле на виду у всех. Я чувствую, что у меня не только смущенный, но глупый и смешной вид. Я закрываю глаза. Я тону, гибну. И некого позвать на помощь.

Но помощь неожиданно является — в лице Лозинского. Он подходит ко мне своей неспешной, эластичной походкой, любезно и благосклонно улыбаясь.

— Здравствуйте. Вы тоже выступаете сегодня? Я с удовольствием прослушаю еще раз вашу «Балладу о толченом стекле». С большим удовольствием. Наши бабушки, наверно, слушали «Светлану» Жуковского, как я вашу балладу. С таким же восхищением.

У Лозинского ясный, полнозвучный голос. Он отчетливо произносит каждое слово. Мне кажется, что он умышленно говорит так громко, чтобы все слышали. Я понимаю: он хочет поддержать меня. Он добрый. И я, приободрившись, отвечаю:

— Нет, Михаил Леонидович, я сегодня не выступаю.

— Ну, это можно поправить. Мы вас во втором отделении выпустим. Сверх программы.

Но меня снова охватывает смущение. Я качаю головой:



— Нет, нет. Я не могу. Я не приготовилась.

И он не настаивает:

— Что ж? Торопиться вам, слава Богу, незачем. Еще успеете славы хлебнуть. Время терпит.

И он произносит на прощанье почтительно и веско:

— Чик!

«Чик» — придуманное им сокращение. Теперь мода на сокращения. Надо идти в ногу с веком, серьезно объясняет он недоумевающим. «Честь имею кланяться». Ч. И. К. — Чик! Я не могу без смеха слышать этот с важной серьезностью произносимый им «Чик»! Я и сейчас смеюсь. И уже по-новому сижу в своем кресле. Почти смело. Теперь гостиная полна и «шумит нарядным ульем».

Блок стоит у окна. Его темное усталое лицо повернуто в мою сторону. Он смотрит на меня своим тяжелым усталым взглядом и вдруг кланяется мне! Да, мне! Никакого сомнения. Блок узнал меня. Я сдержанно отвечаю на его поклон. Но мое сердце прыгает в груди от восторга. С Блоком я познакомилась месяц тому назад во «Всемирной литературе».

Но с кем это разговаривает Блок? Я не заметила, как пришел этот странный маленький человечек. Кто он такой? Неужели он тоже поэт? Он стоит ко мне спиной. Я вижу его лысину и по бокам ее, над левым и правым виском, две густо нафабранные пряди темных волос, закрученные наподобие рожек. Рожки, как у фавна или черта. Может быть, у него не только рожки, но и копытца? Но нет, под полосатыми брюками — ярко-зеленые носки и стоптанные лакированные туфли. Никаких копытцев. Обыкновенные ножки.

До меня доносится низкий, глуховатый голос Блока:

— Я боюсь за вас. Мне хочется оградить, защитить вас от этого страшного мира, Михаил Алексеевич...

Я чувствую толчок в лоб. Михаил Алексеевич... Ведь Кузмин — Михаил Алексеевич. И кому, кроме Кузмина, Блок, нелюдимый Блок, мог бы сказать с такой нежной заботливостью: «Я боюсь за вас. Мне хочется защитить вас от этого страшного мира»?

Это он — Кузмин. Принц эстетов, законодатель мод. Русский Брюммель. В помятой, закапанной визитке, в каком-то бархатном гоголевском жилете «в глазки и лапки». Должно быть, и все остальные триста шестьдесят четыре вроде него. Я всматриваюсь в его лицо. Да, глаза действительно сверхъестественно велики. Как два

провала, две бездны, но никак не два окна, распахнутых в рай. Как осенние озера. Пожалуй, не как озера, а как пруды, в которых водятся лягушки, тритоны и змеи. Таких глаз я действительно никогда не видела. И веки совсем особенные. Похожие на шторы, спускающиеся над окнами. На шторы, почему-то называющиеся маркизами. В памяти моей вдруг начинают звучать отрывки стихов Кузмина про маркиз и маркизов:

Клянусь семейною древностью,  
Что вы обмануты ревностью...

.....  
Кто там выходит из-за боскета?  
Муж Юлии то обманутый,  
В жилет атласный затянутый,  
Стекла блеснули его лорнета...

Нет, не лорнета, а пенсне. Стекла пенсне Кузмина, нетвердо сидящие на его носике и поблескивающие при каждом движении головы. Может быть, непрерывное поблескивание стекол и придает такую странность его глазам? И вдруг я замечаю, что его глаза обведены широкими черными, как тушь, кругами и губы густо кроваво-красно накрашены. Мне становится не по себе. Нет, не фавн, а вурдалак: «На могиле кости гложет красногубый вурдалак...» Я отворачиваюсь, чтобы не видеть его.

Дверь снова открывается. Входит Гумилев, и за ним Георгий Иванов, подчеркнуто элегантный, в синем костюме. С челкой. Мне очень не нравится эта челка. Гумилев церемонно обходит всех и со всеми здоровается за руку. Церемонно и почтительно. Осведомляется о здоровье, уславливается о порядке выступления и кто какие стихи будет читать. И только условившись обо всем, направляется к моему креслу.

— Ну, как вы тут? Не умерли от страха?

Я оглядываю его не без самоуверенности.

— Ничего страшного. Даже наоборот...

Мне очень хочется рассказать ему об «омаже»<sup>1</sup>, как это у нас называется, сделанном мне Лозинским. Но здесь не место и не время хвастаться.

— Пойдемте, я вас познакомлю с Кузминым, — предлагает Гумилев.

Вся моя самоуверенность сразу пропадает. Я не хочу.

---

<sup>1</sup> «почтение» (от фр. *hommage*).

Ни за что не хочу, сама не понимаю отчего. Гумилев на-смешливо улыбается:

— Трусите? Стесняетесь? Ведь не съест же он вас!

Нет, я не трушу и не стесняюсь. Но мне почему-то кажется невозможным заглянуть в его густо подведенные глаза, увидеть близко его кроваво-красные губы, пожать его маленькую смуглую руку, похожую на корни дерева. Ведь у него руки как в стихотворении Гумилева «Лес»: «...Из земли за корнем корень выходил — Словно руки обитателей могил...»

— Пожалуйста, не сегодня. В другой раз, пожалуйста! — защищаюсь я.

Гумилев пожимает плечами:

— Не хотите — не надо. Тогда бегите в зал. Сейчас начнут.

Я встаю и, стараясь шагать широко и плавно, как меня учили на уроках ритмической гимнастики, иду к выходу. По дороге мне кланяется Георгий Иванов. Но его поклон после поклона Блока я принимаю без удивления, как должное. Еще бы он не узнал меня! Я наклоняю голову, проходя мимо него, и чувствую, что он смотрит мне вслед.

Зал переполнен. Не только нет свободных мест, но и во всех проходах стоят запоздавшие слушатели. Здесь, в эмиграции, просто невозможно себе представить, как слушали, как любили поэтов в те баснословные года в Петербурге, да и во всей России. Марина Цветаева была права, когда писала: «Из страны, где мои стихи были нужны, как хлеб, я в 22-м году попала в страну, где ни мои стихи, ни вообще стихи никому не нужны».

Да, стихи тогда были нужны не меньше хлеба. Иначе как могли бы все эти усталые, голодные люди после изнурительного трудового дня найти в себе силу пройти пешком, иногда через весь Петербург, лишь для того, чтобы услышать и увидеть поэтов?

Только тогда и там, в Петербурге, чувствовалась эта горячая, живая связь слушателей с поэтами, эта любовь. Овации, бесконечные вызовы. Поэтов охватывало ощущение счастья от благодарного восхищения слушателей. Казалось, что все — друзья поэтов. Готовые для поэтов на любые жертвы. Если надо — отдать последнее. Отдать даже тот хлеб, о котором Марина Цветаева говорила, что он так же нужен, как стихи.

Нет, пожалуй, на этот раз Цветаева не преувеличила, а скорее преуменьшила — стихи тогда многим были даже нужнее хлеба.

Скоро, очень скоро и я испытаю это опьяняющее ощущение счастья, с которым не сравнится ничто на свете. Но сейчас я еще только составляю часть восторженной аудитории. Я с замиранием сердца слушаю глухой однотонный голос Блока, скандирующий:

Под насыпью, во рву некошенном,  
Лежит и смотрит, как живая,  
В цветном платке, на косы брошенном,  
Красивая и молодая...

Блок читает совершенно спокойно и даже как-то равнодушно и безучастно. Но я знаю, что он волнуется. Он никогда, несмотря на все бесчисленные выступления, не мог отделаться от «трака». Последние минуты перед выходом на сцену он, как лев в клетке, ходит взад и вперед и повторяет свои стихи. Почти всегда те, что сегодня: «На железной дороге». Другие он почему-то редко читает.

Блок стоит неподвижно. В «ярком беспощадном свете» электрических ламп, направленных на него, еще резче выступает контраст между темным усталым лицом и окружающими его, как нимб, светлыми локонами. Он продолжает все так же отчетливо, медленно и равнодушно:

Вагоны шли привычной линией,  
Подрагивали и скрипели,  
Молчали желтые и синие,  
В зеленых плакали и пели...

Я знаю эти стихи наизусть, но мне кажется, что я слышу их в первый раз. Я сжимаю руки, я боюсь пропустить хоть одно слово. Я как будто в первый раз слышу эту трагедию «станционной барышни», не только слышу, но и переживаю ее. От монотонного, равнодушного голоса Блока, от его безучастной манеры читать она еще сильнее «доходит», еще сильнее ранит сердце. И вот уже конец. Блок слегка наклоняет голову и уходит. Уходит, чтобы больше не возвращаться. Ни на какие вызовы и аплодисменты. А вызовы и аплодисменты грохочут грозой, настоящей грозой, как будто

...ветренная Геба,  
Кормя Зевесова орла,

Громокипящий кубок с неба,  
Смеясь, на землю пролила, —

уже звучит тютчевская строфа в моей начиненной стихами голове. Да, совсем так.

Я вместе с другими студистами яростно отбиваю себе ладони, до хрипоты выкрикивая короткое, звонкое имя: «Блок! Блок! Блок!» Я знаю, что Блок больше не вернется. Я и не вызываю его. Это только бескорыстный восторг, дань преклонения перед ним.

Зал продолжает греметь, пока на эстраде не появляется Кузмин. Овация Блоку постепенно переходит в аплодисменты, встречающие Кузмина. Правда, значительно более сдержанные. Кузмин на эстраде кажется еще меньше. Он держится удивительно просто, как-то добродушно-любезно. Он всем своим видом выражает радость встречи со слушателями: «Наконец-то я добрался до вас, душики вы, голубчики мои. И как это хорошо! Как приятно! И вам, и мне». Он слегка вытягивает шею, закидывает голову, надувает щеки и, повернувшись в профиль, начинает:

За-за-залетной голубкой  
Ты мне в сердце влетел...

Господи, да он еще и заикается! А я и не знала. Гумилев мне об этом не говорил. Но Кузмин, справившись с первым приступом заиканья, уже плавно катится со стихотворения на стихотворение, лишь изредка налетая на риф какой-нибудь трудности, рассыпаясь звуковыми брызгами:

На-на-навек, — сказали вы грациозно  
И показали на 3-3-звезду...

Я вслушиваюсь. И вот мне уже кажется, что именно так, с придыханиями, захлебываниями и заиканиями, и надо читать его стихи. Так просто. Так ласково и уютно. Не заставляя себя просить. Еще и еще. И лицо его становится совсем другое, чем только что там, в гостиной, — маленькое, милое, загримированное старостью, с полузакрытыми глазами. Глазами — окнами в рай? Не знаю. Сейчас я ни за что не поручусь.

Домой я, как всегда, возвращаюсь с Гумилевым.

— Как вам понравился Кузмин? — спрашивает он.

— Не знаю, — совершенно искренне отвечаю я.

Гумилев недовольно морщится:

— Вы просто не умеете его оценить.

Да. Не умею и никогда не сумею. Мое первое впечатление о нем оказалось решающим. И я так до сих пор еще не знаю, нравился ли он мне или нет. Вернее, нравился и не нравился в одно и то же время.

\* \* \*

Сырой, холодный октябрьский день 1920 года.

Я сижу в столовой Дома литераторов за длинным столом над своей порцией пшенной каши.

Я стараюсь есть как можно медленнее, чтобы продлить удовольствие. Каша удивительно вкусна. Впрочем, все съедобное кажется мне удивительно вкусным. Жаль только, что его так мало. Конечно, я могу попросить еще порцию каши — мне в ней не откажут.

Но для этого пришлось бы сознаться, что я голодна. Нет, ни за что.

Во мне, как в очень многих теперь, неожиданно проснулась «гордость бедности» — правда, «позолоченной бедности». Ведь мы все еще прекрасно одеты и живем в больших барских квартирах. Но, Боже, как мы голодаем и мерзнем в них.

Возле меня вьюном вьется Люся Дарская, дочь актера Дарского — «терибельное дитя» и вундеркинд Домлита.

Вряд ли она где-нибудь учится. Она здесь с утра и до закрытия, вместе со своей матерью и теткой.

Люся, как никто, знает все местные происшествия, ежедневно рапортует о них Кузмину, тоже постоянному посетителю, и как заправская кумушка-сплетница обсуждает их с ним.

Люся — на редкость развитая и одаренная девочка. Она читает наизусть все наши новые стихи, еще не появившиеся в печати, и сочиняет очень недурные, вполне грамотные подражания им. Кроме того, она хорошо рисует и сама премило иллюстрирует наши стихи.

Ей только двенадцать лет, но она в самых дружеских отношениях со всеми поэтами Домлита — как равная с равными.

Ее все любят и прощают ей ее непочтительный тон и даже дерзости. Она наградила всех поэтов кличками, по большей части зоологическими. Так, Гумилев — дядя

Изысканный жираф, в память его строк:

Далёко, далёко на Озере Чад  
Изысканный бродит жираф...

Гумилев не обижается. Впрочем, у него еще второе прозвище — дядя Гум.

Георгий Иванов — дядя Мышка. Олечка Арбенина — тетя Свинка. Я — тетя Леопард. Есть и дядя Таракан, и дядя Бегемот, и тетя Пчелка и так далее. Ей все позволено, и она этим широко пользуется.

Она садится на пол у моих ног, изображая собаку, вычесывающую блох.

— Тетя Леопард, а дядя Гум скоро придет?

— Нет, Люся, он сегодня не придет, — говорю я. — Ему надо спешно кончить перевод для «Всемирной литературы».

Люся забавно морщит носик.

— Терпеть не могу его переводов, — и она, подражая голосу Гумилева, торжественно и глухо произносит:

И Робин бросился за ним,  
Его опередив. —

Скажите, тетя Леопард, вы, когда бросаетесь вдогонку кому-нибудь, тоже опережаете его?

— Перестань, — строго обрываю я ее. — Это не твоего ума дело. Вырасти сначала, а пока иди играть с Дмитрием-где-ложка. Видишь, он, бедненький, слоняется один и скучает.

Димитрий-где-ложка — второй общий любимец, вместе с Люсей составляющий детский сад Домлита. Он очаровательный большеглазый малыш с длинными темными локонами. Его мать, занимающая какую-то должность в Домлите, водит его летом и зимой в белоснежных костюмчиках — каких трудов должна стоить ей эта белизна.

Дважды в день ему выдается его порция каши. Он съедает ее и возвращается неизменно с тарелкой, но без ложки. Тут-то и раздается грозный материнский окрик «Димитрий, где ложка?», ставший его прозвищем.

— А как же, — вскрикивает Люся, — вы только что сказали, что дядя Гум не явится, когда он тут во всем своем величии? — И она, вскочив, летит навстречу входящему в столовую Гумилеву.

Но он, не обращая на нее внимания, быстро оглядев столовую, идет прямо ко мне в своей оленьей дохе, держа оленью шапку в руках.

Люся обиженно и недоуменно провожает его взглядом — обыкновенно он очень ласков с ней, — и, насмешливо сделав ему за его спиной реверанс, бежит к Димитрию-где-ложка. Ведь она, несмотря на свою скороспелость, все еще ребенок и с увлечением играет с ним и возит его на своей спине. Иногда и я, забыв, что я равноправный член Дома литераторов, присоединяюсь к ним.

Гумилев, против своего обыкновения, не здоровается со мной церемонно, а заявляет:

— Вас-то я и ищущу, вас-то мне и надо. Кончайте скорее вашу кашу и идемте!

От радости — я всегда испытываю радость при встрече с ним, в особенности если это, как сейчас, неожиданная встреча, — каша сразу перестает казаться вкусной. Я стараюсь как можно скорее покончить с ней. Оставить ее недоеденной я все-таки не решаюсь. Я так тороплюсь, что боюсь поперхнуться.

— Идемте! — нетерпеливо повторяет он, уже направляясь к выходу.

И я иду за ним.

В прихожей я надеваю свою котиковую шубку с горностаевым воротничком, нахлобучиваю прямо на бант круглую котиковую шапку. Очень быстро, не тратя времени на ненужное предзеркальное кокетничанье.

Но Гумилев, хотя он и спешит, все же останавливается перед зеркалом и обеими руками, как архимандрит митру, возлагает на себя свою ушастую оленью шапку.

Сколько раз мне приходилось видеть, как он самодовольно любит себя своим отражением в зеркале, и я все же всегда изумляюсь этому.

Должно быть, его глаза видят не совсем то, что мои. Как бы мне хотелось хоть на мгновенье увидеть мир его глазами!

Мы выходим на темную Бассейную. Идет мокрый снег. Как холодно и бесприютно. А в Домлите было так тепло, светло и уютно. Зачем мы ушли?

— Куда мы идем, Николай Степанович?

Он плотнее запахивает полы своей короткой дохи.

— Любопытство вместе с леностью — мать всех пороков, — произносит он менторским тоном. — Вспомни-



те хотя бы Пандору. И не задавайте праздных вопросов. В свое время узнаете. И прибавьте шагу.

Я знаю по опыту, что настаивать напрасно, и молча шагаю рядом с ним. Мы идем вверх по Бассейной, а не вниз. Значит, не ко мне и не к нему. Но куда? Мы сворачиваем на Знаменскую. Тут, в бывшем Павловском институте, когда-то помещалось «Живое слово», с которого началась моя настоящая жизнь.

Теперь «Живое слово» переехало в новое помещение возле Александринского театра. Я в нем больше не бываю. Оно — обманувшая мечта. Из него за все время его существования ничего не вышло. «Гора родила мышь». А сколько оно обещало и как прелестно было его начало! Я не могу не вспоминать о нем с благодарностью.

— Какое сегодня число? — неожиданно прерывает молчание Гумилев.

— 15 октября, — с недоумением отвечаю я.

Гумилев, не в пример очень многим — ведь календарей больше нет, — всегда точно знает, какое сегодня число, какой день недели, и даже определяет время без помощи часов.

— А что случилось в ночь с 14 на 15 октября 1814 года? — спрашивает он.

Я растерянно мигаю. Это мне неизвестно. Наверно, что-нибудь касающееся Наполеона. Ватерлоо? Отречение? Или вступление русских войск в Париж? Но почему в ночь на 15-е? Нет, русские войска вступили в Париж днем и, кажется, весной...

— Не знаете? Событие, касающееся непосредственно нас с вами.

— Ватерлоо? Вступление русских войск в Париж? — предполагаю я неуверенно.

Гумилев смеется.

— С каких это пор армия вас непосредственно касается? Нет, нет, совсем нет. Бросьте проявлять ваши исторические познания, которые у вас, кстати, слабы. Слушайте — и запомните. — Он вынимает правую руку, засунутую в левый рукав дохи, как в муфту, и, подняв длинный указательный палец, произносит: — Слушайте и запомните! В ночь на 15 октября 1814 года родился Михаил Юрьевич Лермонтов. И вам стыдно не знать этого.

— Я знаю, — оправдываюсь я, — что Лермонтов родился в 1814 году, только забыла месяц и число.

— Этого нельзя забывать, — отрезает Гумилев. — Но

и я тоже чуть было не прозевал. Только полчаса тому назад вспомнил вдруг, что сегодня день его рождения. Бросил перевод и побежал в Дом литераторов за вами. И вот, — он останавливается и торжественно смотрит на меня, — и вот мы идем служить по нем панихиду!

— Мы идем служить панихиду по Лермонтову? — переспрашиваю я.

— Ну да, да. Я беру вас с собой оттого, что это ваш любимый поэт. Помните, Петрарка говорил: «Мне не важно, будут ли меня читать через триста лет, мне важно, чтобы меня любили».

Да, Гумилев прав. Я с самого детства и сейчас еще больше всех поэтов люблю Лермонтова. Больше Пушкина. Больше Блока.

— Подумайте, — продолжает Гумилев, — мы с вами, наверно, единственные, которые сегодня, в день его рождения, помолимся за него. Единственные в Петербурге, единственные в России, единственные во всем мире... Никто, кроме нас с вами, не помянет его... Когда-то в Одессе Пушкин служил панихиду по Байрону, узнав о его смерти, а мы по Лермонтову теперь.

Мы входим в Знаменскую церковь. Возле клироса жмутся какие-то тени. Мы подходим ближе, шаги наши гулко отдаются в промерзлой тишине. Я вижу: это старухи — нищие, закутанные в рваные платки и шали. Наверно, они спрятались тут в надежде согреться, но тут еще холоднее, чем на улице.

— Подождите меня, — шепчет Гумилев, — я пойду поищу священника.

И он уходит. Я прислоняюсь к стене и закрываю глаза, чтобы не видеть старух-нищенок. Они чем-то напоминают мне ведьм. Им совсем не место в церкви. Мне становится страшно.

Слишком тихо, слишком темно здесь, в этой церкви. От одиноко мерцающих маленьких огоньков перед иконами все кажется таинственным и враждебным.

Я почему-то вспоминаю Хому Брута из «Вия». Я боюсь обернуться. Мне кажется, если я обернусь, я увижу гроб, черный гроб.

Мне хочется убежать отсюда. Я стараюсь думать о Лермонтову, но не могу сосредоточиться. Скорей бы вернулся Гумилев!

И он наконец возвращается. За ним, мелко семеня, спешит маленький худенький священник, на ходу опираясь, должно быть, наспех надетую на штатский кос-

твом рясу. «Служителям культа» рекомендуется теперь, во избежание неприятностей и насмешек, не носить «спецодежду» за стенами церкви.

— По ком панихида? По Михаиле? По новопреставленному Михаиле? — спрашивает он.

— Нет, батюшка. Не по новопреставленному. Просто по болярине Михаиле.

Священник кивает. Ведь в церкви, кроме нас с Гумилевым и нищенок-старух, никого нет, и значит, можно покойника величать «болярином».

Гумилев идет к свечному ящику, достает из него охапку свечек, сам ставит их на поминальный столик перед иконами, сам зажигает их. Оставшиеся раздаст старухам.

— Держите, — и Гумилев подает мне зажженную свечку.

Священник уже возглашает:

— Благословен Бог наш во веки веков. Аминь...

Гумилев, стоя рядом со мной, крестится широким крестом и истово молится, повторяя за священником слова молитвы. Старухи поют стройно, высокими, надтреснутыми, слезливыми голосами:

— Святой Боже...

Это не нищенки, а хор. Я ошиблась, приняв их за нищенок.

— Со святыми упокой...

Гумилев опускается на колени и так и продолжает стоять на коленях до самого конца панихиды.

Но я не выдерживаю. Каменные плиты так холодны.

Я встаю, чувствуя, как холод проникает сквозь тонкие подошвы в ноги, поднимается до самого сердца. Я напрасно запрещаю себе чувствовать холод.

Я тоже усердно молюсь и крещусь. Конечно, не так истово, как Гумилев, но все же «от всей души».

— Вечная память... — поют старухи, и Гумилев неожиданно присоединяет свой глухой, деревянный, детонирующий голос к их спевшемуся, стройному хору.

Гумилев подходит ко кресту, целует его и руку священника подчеркнуто благоговейно.

— Благодарю вас, батюшка!

Должно быть, судя по радостному и почтительному «Спасибо!» священника, он очень хорошо заплатил за панихиду.

Он «одаривает» и хор — каждую старуху отдельно — «если разрешите». И они «разрешают» и кланяются ему в пояс.

Делает он все это с видом помещика, посещающего церковь, выстроенную на его средства и на его земле.

— Ну как, вы замерзли совсем? — осведомляется он у меня уже на улице.

Я киваю.

— Замерзла, совсем.

— Но все-таки не жалуете, рады, что присутствовали на панихиде по Лермонтову? — спрашивает он.

И я отвечаю совершенно искренне:

— Страшно рада!

— Ну, тогда все отлично. Сейчас пойдем ко мне. Я вас чаем перед печкой отогрею.

Он берет меня под руку, и мы быстро шагаем в ногу.

— Ведь еще не кончено празднование дня рождения Лермонтова, — говорит он. — Главное еще впереди.

Мы сидим в прихожей Гумилева перед топящейся печкой.

Я протягиваю озябшие руки к огню и говорю:

После ветра и мороза было  
Любо мне погреться у огня...

— Ну нет, — строго прерывает меня Гумилев. — Без Ахматовой, пожалуйста. Как, впрочем, и без других поэтов. На повестке дня — Лермонтов. Им мы и займемся. Но сначала все же пообедаем.

Прихожая маленькая, тесная, теплая. В нее из холодного, необитаемого кабинета перенесены зеленый диван и два зеленых низких кресла. Электрический матовый шар под потолком редко загорается. Прихожая освещается пламенем не перестающей топиться печки. От этого теплого красноватого света она кажется слегка нереальной, будто на наполняющую ее

Предметов жалких дребедень  
Ложится сказочная тень...

будто

Вот сейчас выползет черепаха,  
Пролетит летучая мышь...

Но раз запрещено цитировать стихи, кроме лермонтовских, я произношу эти строчки мысленно, про себя. Тем более, что они принадлежат мне.

«Пообедаем», сказал Гумилев, и он приступает к приготовлению «обеда». Закатав рукава пиджака, он с видом заправского повара нанизывает, как на вертел, нарезанные кусочки хлеба на игрушечную саблю своего сына Левушки и держит ее над огнем.

Обыкновенно эта сабля служит ему для подталкивания горящих поленьев, но сейчас она — «орудие кухонного производства».

— Готово! — Он ловко сбрасывает кусочки запекшегося дымящегося хлеба на тарелку, поливает их подсолнечным маслом и объявляет: — Шашлык по-карски! Такого нежного карачаевского барашка вы еще не ели. — Он протягивает мне тарелку. — Ведь правда, шашлык на редкость хорош? А бузу вы когда-нибудь пили? Нет? Ну, тогда сейчас попробуйте. Только пейте осторожно. Она очень пьяная. Голова закружиться может. И как я вас тогда домой доставлю?

Он сыплет пригоршнями полученный по академическому пайку изюм в котелок с морковным чаем, взбалтывает его и разливает эту мутную сладкую жидкость в два стакана.

Я, обжигая пальцы, беру стакан. Мы чокаемся.

— За Лермонтова! — провозглашает он, залпом проглатывая свой стакан, и морщится. — Чертовски крепкая! Всю глотку обожгло. Хорошая буза!

Я прихлебываю «бузу» мелкими глотками и заедаю ее «шашлыком».

— Вкусно? — допытывается он. — Самый что ни на есть кавказский пир! Только зурны не хватает. Мы бы с вами под зурну сплясали лезгинку. Не умеете? Ничего, я бы вас научил. Я бы в черкеске кружился вокруг вас на носках, с кинжалом в зубах, а вы бы только поводили плечами, извивались и змеились.

И вдруг, бросив шутовской тон, говорит серьезно:

— Лермонтов ведь с детства любил Кавказ. Всю жизнь. И на Кавказе погиб. Ему было всего десять лет, когда он впервые увидел Кавказ. Там же он пережил свою первую влюбленность.

Он задумывается.

— Не странно ли? И я тоже мальчиком попал на Кавказ. И тоже на Кавказе впервые влюбился. И тоже не во взрослую барышню, а в девочку. Я даже не помню, как ее звали, но у нее тоже были голубые глаза и светлые волосы. Когда я наконец осмелился сказать ей: «Я вас люблю», — она ответила: «Дурак!» — и показала мне язык. Эту обиду я и сейчас помню.

Он взмахивает рукой, будто отгоняя муху.

— Вот я опять о себе. Кажется, я действительно выпил слишком много бузы и хмель ударил мне в голову. А вы как? Ничего? Не опьянели? Отогрелись? Сыты? Сыты совсем?

— Совсем.

— Тогда, — говорит он, ставя пустые стаканы и тарелки на столик перед раз навсегда запертой входной дверью: ведь теперь ходят с черного хода, через кухню, — тогда, — повторяет он, — можно начинать.

— Что начинать? — спрашиваю я.

— А вы уже забыли? Начинать то, для чего я вас привел сюда, — вторую часть празднования дня рождения Лермонтова. Панихида была необходима, не только чтобы помолиться за упокой его души, но и как вступление, как прелюд. И как хорошо, что нам удалось отслужить панихиду! Как ясно, как светло чувствуешь себя после панихиды. Будто вдруг приподнялся край завесы, отделяющей наш мир от потустороннего, и оттуда на короткое мгновение блеснул нетленный свет. Без нее я вряд ли сумел и смог бы сказать вам все то, что скажу сейчас. Оттого, — продолжает он, — что у нас, у вас и у меня, открылось сердце. Не только ум, но и сердце, на встречу Лермонтову.

Он встает, выходит в спальню и возвращается, неся несколько книг. Он сбрасывает их прямо на пол возле своего кресла.

— О Лермонтове. Они мне сегодня понадобятся. Ведь вы, хотя он и ваш любимый поэт, ровно ничего не знаете о нем, как, впрочем, почти все его поклонники. Сколько трудов о Пушкине, и как их мало о Лермонтове. Даже не существует термина для изучающих Лермонтова. Пушкинисты — да, но лермонтовисты — звучит странно. Лермонтовистов нет, и науки о Лермонтове еще нет, хотя давно пора понять, что Лермонтов в русской поэзии — явление не меньшее, чем Пушкин, а в прозе — несравненно большее. Вы удивлены? Я этого еще никогда не говорил вам? Да. Не говорил. И вряд ли когда-нибудь скажу или напишу в статье. И все же это мое глубокое, искреннее убеждение.

Он усаживается снова в кресло.

— Мы привыкли повторять фразы вроде «Пушкин — наше все!», «Русская проза пошла от “Пиковой дамы”». Но это, как большинство прописных истин, неверно.

Русская проза пошла не с «Пиковой дамы», а с «Героя нашего времени». Проза Пушкина — настоящая проза поэта, сухая, точная, сжатая. Прозу Пушкина можно сравнить с Мериме, а Мериме ведь отнюдь не гений. Проза Лермонтова — чудо. Еще большее чудо, чем его стихи. Прав был Гоголь, говоря, что так по-русски еще никто не писал...

Перечтите «Княжну Мери». Она совсем не устарела. Она могла быть написана в этом году и через пятьдесят лет. Пока существует русский язык, она никогда не устареет.

Если бы Лермонтов не погиб, если б ему позволили выйти в отставку!..

Ведь он собирался создать журнал и каждый месяц — понимаете ли вы, что это значит? — каждый месяц печатать в нем большую вещь!

Гумилев достает портсигар и закуривает.

— Да, действительно, — говорит он, пуская кольца дыма, — как трагична судьба русских поэтов, почти всех: Рылеева, Кюхельбекера, Козлова, Полежаева, Пушкина...

Неужели же права графиня Ростопчина? Кстати, она — вы вряд ли это знаете — урожденная Сушкова. Нет, не печальной памяти Катрин Сушкова, написавшая о Лермонтове апокрифические воспоминания, а ее родная старшая сестра Додо Сушкова. Она была другом Лермонтова, поверенной его чувств и надежд, его наперсницей, как это тогда называлось. Неужели же она права, советуя поэтам:

Не трогайте ее, зловещей сей цевницы,  
Поэты русские, она вам смерть дает!  
Как семимужняя библейская вдовица,  
На избранных своих она грозу зовет!

Я не выдерживаю:

— Но ведь вы запретили читать сегодня какие бы то ни было стихи, кроме лермонтовских?

Он пожимает плечами:

— Значит, и я не умею говорить, не цитируя стихов. Но смягчающее вину обстоятельство: эти стихи написаны на смерть Лермонтова.

Гумилев смотрит в огонь. Что он там видит такого интересного? Пламя освещает его косоглазое лицо.

— Иногда мне кажется, — говорит он медленно, —

что и я не избегну общей участи, что и мой конец будет страшным. Совсем недавно, неделю тому назад, я видел сон. Нет, я его не помню. Но когда я проснулся, я почувствовал ясно, что мне жить осталось совсем недолго, несколько месяцев, не больше. И что я очень страшно умру. Я снова заснул. Но с тех пор — нет-нет да и вспомню это странное ощущение. Конечно, это не предчувствие. Я вообще не верю в предчувствия, хотя Наполеон и называл предчувствия «глазами души». Я уверен, что проживу до ста лет. А вот сегодня в церкви... Но ведь мы не обо мне, а о Лермонтове должны говорить сейчас.

И вдруг перебивает себя:

— Скажите, вы не заметили, что священник ошибся один раз и вместо «Михаил» сказал «Николай»?

Я качаю головой.

— Нет, не заметила. Нет, я ведь очень внимательна. Я бы услышала.

Он недоверчиво улыбается и закуривает новую папиросу.

— Ну, значит, я ослышался, мне почудилось. Но мне с той минуты, как мне послышалось «Николай» вместо «Михаил», все не по себе. Вот я дурачился и шашлык готовил, а под ложечкой сосет и сосет, и не могу успокоиться. Но раз вы уверены... Просто у меня нервы не в порядке. Надо будет съездить в Бежецк отдохнуть и подкормиться. Кстати, буза — совсем уж не такой пьяный напиток. Я пошутил. А теперь забудьте, где вы, забудьте, кто я. Сидите молча, закройте глаза. И слушайте.

Я послушно закрываю глаза и вся превращаюсь в слух. Но он молчит.

Как тихо тут. Слышно только, как дрова потрескивают в печке. Будто мы не в Петербурге, а где-то за тысячу верст от него. Я уже хочу открыть глаза и заговорить, но в это мгновенье раздается глухой голос Гумилева:

— Сейчас 1814 год. Мы в богатой усадьбе Елизаветы Алексеевны Арсеньевой в Тарханах, Пензенской губернии, на новогоднем балу.

В двусветном зале собран весь цвет окружающих соседей-помещиков.

На сцене разыгрывается драма господина Вильяма Шекспира «Гамлет — принц Датский». Несколько странный выбор для новогоднего спектакля. Впрочем, Елизавета Алексеевна большая оригиналка.

Играют крепостные актеры и сам хозяин Михаил



Васильевич. Правда, он исполняет очень скромную роль — роль могильщика.

Этот бал должен решить его судьбу. Он страстно влюблен в недавно поселившуюся в своем имении молодую вдову-княгиню. И сегодня он, наконец, надеется сломить ее сопротивление.

Но время идет, а прелестная княгиня все не едет. Он напрасно прислушивается к звону бубенцов подъезжающих саней, напрасно выбегает на широкое крыльцо с колоннами встречать ее — ее все нет.

И вот в полном отчаянии, держа гипсовый череп в руке, он со сцены повторяет заученные слова.

В первом ряду величаво восседает его жена Елизавета Алексеевна, улыбаясь хитро и торжествующе.

После спектакля — ужин под гром крепостного оркестра. Уже взвиваются в воздух пробки шампанского и часы приближаются к двенадцати, а место хозяина дома все еще пусто. Елизавета Алексеевна хмурит брови и посылает свою дочь Мари поторопить отца. Наверно, он замешкался, переодеваясь, забыл, что его ждут.

Мари бежит, быстро перебирая ножками в розовых атласных туфельках, через пустые ярко освещенные залы. Ей шестнадцать лет. Сегодня ее первый бал. Ей очень хотелось сыграть Офелию, но Елизавета Алексеевна нашла такое желание неприличным. Все же Мари счастлива, как никогда еще, — на ней впервые декорированное длинное воздушное платье, и как ей к лицу высокая прическа с цветами и спускающимся на плечо локоном. Она останавливается перед стенным зеркалом и делает своему отражению низкий реверанс.

«Вы очаровательны. Вы чудо как хороши, Мария Михайловна!» — говорит она себе и весело бежит дальше. Она стучит в дверь кабинета: «Папенька! Маман гневается. Папенька, гости ждут!»

Она входит в кабинет и видит: отец лежит, скрючившись, на ковре, широко открыв рот и уставившись остекленевшими, мертвыми глазами в потолок.

Она вскрикивает на весь дом и падает без чувств рядом с ним.

Оказалось — этого не удалось скрыть — Елизавета Алексеевна приказала слугам не пускать красавицу княгиню в Тарханы. Слуги, встретив ее сани на дороге, преградили ей путь, передав приказ барыни. В страшном гневе красавица княгиня вырвала страничку из

своего carnet de bal<sup>1</sup>, написала на ней: «После такого оскорбления между нами все навсегда кончено!», — велела: «Вашему барину в собственные руки!» — и повернула обратно домой.

Слуги доставили записку «в собственные руки барина». Он в это время переодевался у себя в кабинете с помощью камердинера.

Прочитав записку, он надел фрак, завязал белый галстук, отослал камердинера и отравился.

Так рок, еще до рождения Лермонтова, занялся его будущей матерью, навсегда наложив на нее свою печать...

Через два часа Гумилев провожает меня домой, держа меня под руку.

Уже поздно, и мы спешим.

— Да перестаньте же плакать! — недовольно говорит Гумилев. — Перестаньте! У вас дома вообразят, что я вас обидел. Кто вам поверит, что вы разливаетесь по Лермонтову. Вытрите глаза. Можно подумать, что он только сегодня умер и вы только сейчас узнали об этом.

Он протягивает мне свой платок, и я послушно вытираю слезы. Но они продолжают течь и течь.

— Я не знала, я действительно не знала, как это все ужасно было и как он умирал, — всхлипываю я. — Я не могу, не могу. Мне так больно, так жаль его!..

Он останавливается и, нагнувшись близко, заглядывает в мои плачущие глаза.

— А знаете, если загробный мир на самом деле существует и Лермонтов сейчас видит, как вы о нем плачете, ему, наверно, очень приятно. — И, помолчав, прибавляет потеплевшим, изменившимся голосом: — Вот я бранил вас, а мне вдруг захотелось, чтобы через много лет после моей смерти какое-нибудь молодое существо плакало обо мне так, как вы сейчас плачете. Как по убитом женихе... Очень захотелось...

\* \* \*

Гумилеву было только тридцать пять лет, когда он умер, но он по-стариковски любил «погружаться в свое прошлое», как он сам насмешливо называл это.

---

<sup>1</sup> Большая записная книжка (*фр.*), где за кавалером записывали танец на балах.

— Когда-нибудь, лет через сорок, я напишу все это, — повторял он часто. — Ведь жизнь поэта не менее важна, чем его творчество. Поэту необходима напряженная, разнообразная жизнь, полная борьбы, радостей и огорчений, взлетов и падений. Ну и, конечно, любви. Ведь любовь — главный источник стихов. Без любви и стихов не было бы.

Он поднимает тонкую руку торжественно, будто читает лекцию с кафедры, а не сидит на ковре перед камином у меня на Бассейной.

— По Платону, любовь одна из трех главных напастей, посылаемых богами смертным, — продолжает он, — и хотя я и не согласен с Платоном, но и я сам чуть не умер от любви, и для меня самого любовь была напастью, едва не приведшей меня к смерти.

О своей безумной и мучительной любви к Анне Ахматовой и о том, с каким трудом он добился ее согласия на брак, он вспоминал с явным удовольствием, как и о своей попытке самоубийства.

— В предпоследний раз я сделал ей предложение, заехав к ней по дороге в Париж. Это был для меня вопрос жизни и смерти. Она отказала мне. Решительно и бесповоротно. Мне оставалось только умереть.

И вот, приехав в Париж, я в парке Бютт Шомон поздно вечером вскрыл себе вену на руке. На самом краю пропасти. В расчете, что ночью, при малейшем движении, я не смогу не свалиться в пропасть. А там и костей не сосчитать...

Но, видно, мой ангел-хранитель спас меня, не дал мне упасть. Я проснулся утром, обессиленный потерей крови, но невредимый, на краю пропасти. И я понял, что Бог не желает моей смерти. И никогда больше не покушался на самоубийство.

Рассказ этот, слышанный мной неоднократно, всегда волновал меня. Гумилев так подробно описывал парк, и страшную скалу над еще более страшной пропастью, и свои мучительные предсмертные переживания, что мне и в голову не приходило не верить ему.

Только попав в Париж и отправившись, в память Гумилева, в парк Бютт Шомон на место его «чудесного спасения», я увидела, что попытка самоубийства — если действительно она существовала — не могла произойти так, как он ее мне описывал: до скал невозможно добраться, что ясно каждому, побывавшему в Бютт Шомон.

Гумилев, вспоминая свое прошлое, очень увлекался

и каждый раз украшал его все новыми и новыми подробностями. Чем, кстати, его рассказы сильно отличались от рассказов Андрея Белого, тоже большого любителя «погружаться в свое прошлое».

Андрей Белый не менял в своих рассказах ни слова и даже делал паузы и повышал или понижал голос на тех же фразах, будто не рассказывал, а читал страницу за страницей, отпечатанные в его памяти. Гумилев же импровизировал, красноречиво и вдохновенно, передавая свои воспоминания в различных версиях.

Если я робко решалась указать ему на несовпадение некоторых фактов, он удивленно спрашивал:

— А разве я прошлый раз вам иначе рассказывал? Значит, забыл. Спутал. И к тому же, как правильно сказал Толстой, я не попугай, чтобы всегда повторять одно и то же. А вам, если вы не умеете слушать и наводите критику, я больше ничего рассказывать не буду, — притворно сердито заканчивал он.

Но видя, что, поверив его угрозе, я начинаю моргать от огорчения, уже со смехом:

— Что вы, право! Шуток не понимаете? Не понимаете, что мне рассказывать хочется не меньше, чем вам меня слушать? Вот подождите, пройдет несколько лет, и вы сможете написать ваши собственные «Разговоры Гете с Эккерманом».

Да, действительно, я могла бы, как Эккерман, написать мои «Разговоры с Гете», то есть с Гумилевым, «толщиною в настоящий том».

Их было множество, этих разговоров, и я их все бережно сохранила в памяти.

Ни одна моя встреча с Гумилевым не обходилась без того, чтобы он не высказал своего мнения о самых разнообразных предметах, своих взглядов на политику, религию, историю — на прошлое и будущее Вселенной, на жизнь и смерть и, конечно, на «самое важное дело жизни» — поэзию.

Мнения его иногда шли вразрез с общепринятыми и казались мне парадоксальными.

Так, он утверждал, что скоро удастся победить земное притяжение и станут возможными межпланетные полеты.

— А вокруг света можно будет облететь в восемьдесят часов, а то и того меньше. Я непременно слетаю на Венеру, — мечтал он вслух, — так лет через сорок. Я надеюсь, что я ее правильно описал. Помните:

На далекой звезде Венере  
Солнце пламенной и золотистой,  
На Венере, ах, на Венере  
У деревьев синие листья.

Так, он предвидел новую войну с Германией и точно определял, что она произойдет через двадцать лет.

— Я, конечно, приму в ней участие, непременно пойду воевать. Сколько бы вы меня ни удерживали, пойду. Снова надену военную форму, крикну и сяду на коня, только меня и видели. И на этот раз мы побьем немцев! Побьем и раздавим!

Предсказывал он также возникновение тоталитарного строя в Европе.

— Вот, все теперь кричат: Свобода! Свобода! А в тайне сердца, сами того не понимая, жаждут одного — подпасть под неограниченную деспотическую власть. Под каблук. Их идеал — с победно развевающимися красными флагами, с лозунгом «Свобода» стройными рядами — в тюрьму. Ну, и, конечно, достигнут своего идеала. И мы, и другие народы. Только у нас деспотизм левый, а у них будет правый. Но ведь хрен редьки не слаще. А они непременно — вот увидите — тоже получают то, чего добиваются.

Он, бесспорно, намного опередил свое время. У него бывали «просто гениальные прорывы в вечность», как он без ложной скромности сам их определял.

Конечно, иногда у него бывали и обратные, «антигениальные прорывы» — нежелание и неумение понять самые обыкновенные вещи. Но и они интересны, характерны и помогают понять Гумилева — живого Гумилева.

Да, мне действительно следовало бы записать мои разговоры с ним.

Январский полдень, солнечный и морозный.

Мы, набегавшись в Таврическом саду, как мы часто делали, сели отдохнуть на «оснеженную» скамейку.

Гумилев смахнул снег с полы своей дохи, улыбнулся широко и вдруг совершенно неожиданно для меня «погрузился в прошлое».

— Я в мае 1917 года был откомандирован в Салоники, — говорит он, будто отвечает на вопрос: «Что вы делали в мае 1917 года?»

Но, хотя я и не задавала ему этого вопроса, я всегда готова его слушать. А он продолжает:

— Я застрял в Париже надолго и так до Салоник и не добрался. В Париже я прекрасно жил, гораздо лучше, чем прежде, встречался с художниками. С Гончаровой и Ларионовым я даже подружился. И французских поэтов видел много, чаще других Морраса.

Ну и, конечно, влюбился. Без влюбленности у меня ведь никогда ничего не обходится. А тут я даже сильно влюбился. И писал ей стихи. Нет, я не могу, как Пушкин, сказать о себе: «Но я, любя, был глуп и нем». Впрочем, ведь и у него много любовных стихотворений. А я как влюблюсь, так сразу и запою. Правда, скорее петь, чем соловьем. Но кое-что из этой продукции бывает и удачно.

Он подробно рассказывает о своем парижском увлечении, о всех перипетиях его и для иллюстрации читает стихи из «альбома в настоящий том», посвященные «любви несчастной Гумилева, в год четвертый мировой войны».

— Да, любовь была несчастной, — говорит он, смеясь. — Об увенчавшейся победой счастливой любви много стихов не напишешь.

Он читает стихотворение за стихотворением. Он уже и раньше читал мне их. Мне особенно нравится:

Вот девушка с газельими глазами  
Выходит замуж за американца.  
Зачем Колумб Америку открыл?

Голос его звучит торжественно и гулко в морозной, солнечной, хрупкой тишине:

Мой биограф будет очень счастлив,  
Будет удивляться два часа,  
Как осел, перед которым в ясли  
Свежего насыпали овса.

Вот и монография готова,  
Фолиант почтенной толщины... —

и, не дочитав до конца, смотрит на меня, улыбаясь:

— Здесь я, признаться, как павлин, хвост распустил. Как вам кажется? Вряд ли у меня будут биографы-ищейки. Впрочем, кто его знает? А вдруг суд потомков

окажется более справедливым, чем суд современников. Иногда я надеюсь, что обо мне будут писать монографии, а не только три строчки петитом. Ведь все мы мечтаем о посмертной славе. А я, пожалуй, даже больше всех.

Гумилев, морщась, долго разжигает папиросу, закрывая ее рукой от ветра, потом, помолчав и уже изменившимся голосом, продолжает, глядя перед собой на покрытую снегом дорожку и на двух черных ворон, похожих на два чернильных пятна на белой странице:

— Я действительно был страшно влюблен. Но, конечно, когда я из Парижа перебрался в Лондон, я и там сумел наново влюбиться. Результатом чего явилось мое стихотворение «Приглашение в путешествие».

А из Англии я решил вернуться домой. Нет, я не хотел, не мог стать эмигрантом. Меня тянуло в Россию. Но вернуться было трудно. Всю дорогу я думал о встрече с Анной Андреевной, о том, как мы заживем с ней и Левушкой. Он уже был большой мальчик. Я мечтал стать его другом, товарищем его игр. Да, я так глупо и сентиментально мечтал. А вышло совсем не то...

Он развел руками, будто недоумевая.

— До сих пор не понимаю, почему Анна Андреевна заявила мне, что хочет развестись со мной, что она решила выйти замуж за Шилейко. Ведь я ничем не мешал ей, ни в чем ее не стеснял. Меня — я другого выражения не нахожу — как громом поразило. Но я овладел собой. Я даже мог заставить себя улыбнуться. Я сказал: «Я очень рад, Аня, что ты первая предлагаешь развестись. Я не решался сказать тебе. Я тоже хочу жениться». Я сделал паузу — на ком, о Господи?.. Чье имя назвать? Но я сейчас же нашелся: «На Анне Николаевне Энгельгардт, — уверенно произнес я. — Да, я очень рад». И я поцеловал ее руку: «Поздравляю, хотя твой выбор не кажется мне удачным. Я плохой муж, не спорю. Но Шилейко в мужья вообще не годится. Катастрофа, а не муж».

И гордый тем, что мне так ловко удалось отпарировать удар, я отправился на Эртелев переулок делать предложение Анне Энгельгардт — в ее согласии я был заранее уверен.

Было ли все именно так, как рассказывал Гумилев, или, «погружаясь в свое прошлое», он слегка разукрасил и исказил его — я не знаю.

В тот зимний полдень в Таврическом саду Гумилев подробно рассказал мне историю своего сватовства и

женитьбы. И так же подробно историю своего развода.

Вторая жена Гумилева, Аня Энгельгардт, была прелестна.

Злые языки пустили слух, что она дочь не профессора Энгельгардта, а Бальмонта. Ее мать была разведенная жена Бальмонта.

Гумилев верил этому слуху и не без гордости заявлял:

— Моя Леночка не только дочь, но и внучка поэта. Поэзия у нее в крови. Она с первого дня рождения кричала ритмически. Конечно, она будет поэтом.

Не знаю, стала ли Леночка поэтом. Ни о ней, ни о ее матери, Ане Энгельгардт (ее, несмотря на то что она вышла замуж за Гумилева, в литературных кругах продолжали называть Аня Энгельгардт), я за все годы эмиграции ничего не слыхала.

Леночка была некрасивым ребенком, вылитым портретом своего отца — косоглазая, с большим плоским лбом и длинным носом. Казалось невероятным, что у такой прелестной матери такая дочь. Впрочем, некрасивые девочки часто, вырастая, становятся красивыми. И наоборот. Надеюсь, что и Леночка стала красивой.

— Когда я без предупреждения, — рассказывал Гумилев, — явился на квартиру профессора Энгельгардта, Аня была дома. Она, как всегда, очень мне обрадовалась. Я тут же, не тратя лишних слов, объявил ей о своем намерении жениться на ней. И как можно скорее!

Она упала на колени и заплакала: «Нет. Я не достойна такого счастья!»

— А счастье оказалось липовое. — Гумилев скорчил презрительную гримасу. — Хорошо, нечего сказать, счастье! Аня сидит в Бежецке с Леночкой и Левушкой, свекровью и старой теткой. Скука невообразимая, непролазная. Днем еще ничего. Аня возится с Леночкой, играет с Левушкой — он умный, славный мальчик. Но вечером тоска — хоть на луну вой от тоски. Втроем перед печкой — две старухи и Аня. Они обе шьют себе саваны — на всякий случай все готовят к собственным похоронам. Очень нарядные саваны с мережкой и мелкими складочками. Примеряют их — удобно ли в них лежать? Не жмет ли где? И разговоры, конечно, соответствующие. А Аня вежливо слушает или читает сказки Андерсена. Всегда одни и те же. И плачет по ночам. Единственное развлечение — мой приезд. Но ведь я езжу в Бежецк раз в два месяца, а то и того реже.



И не дольше, чем на три дня. Больше не выдерживаю. Аня в каждом письме умоляет взять ее к себе в Петербург. Но и здесь ей будет несладко. Я привык к холостой жизни... — Он вздыхает. — Конечно, нехорошо обижать Аню. Она такая незащитная, совсем ребенок. Когда-то я мечтал о жене — веселой птице-певунье. А на деле и с птицами-певуньями ничего не выходит. — И вдруг, переменяв тон: — Никогда не выходите замуж за поэта, помните — никогда!

\* \* \*

Поздняя осень 1920 года. На улице холодно и темно. А здесь, в Доме литераторов, тепло и светло. Совсем особенно, по-дореволюционному тепло и светло. Электричество ярко сияет круглые сутки напролет, а не гаснет в восемь часов вечера на всю ночь. И тепло здесь ровное, мягкое, ласковое — тепло центрального отопления, не то что палящий жар «буржук», дышащих льдом, как только их перестают топить.

Случайные посетители Дома литераторов чувствуют себя здесь как в каком-то сказочном царстве-государстве. Ведь здесь не только светло и тепло, но и сытно. Каждому посетителю выдается порция похлебки и кусок хлеба.

Уже с осени я — к великой зависти всех студистов и студисток — стала членом Дома литераторов и бываю здесь ежедневно.

В большой прихожей бородатый профессор-египтолог старательно и неумело пристраивает поверх своего котелка голубой детский башлык на розовой подкладке с кисточкой.

— Слыхали, — обращается он ко мне, — говорят, Мандельштам приехал. Будто даже видели его на улице. Но я не верю. Ведь не сумасшедший же он, чтобы с сытого юга, из Крыма, от белых приехать сюда голодать и мерзнуть.

Одна из кавалерственных дам — их немало среди членов Дома литераторов — оправляет перед зеркалом седые букли.

— Мандельштам? Что такое Мандельштам? — спрашивает она, продолжая глядеться в зеркало, будто ждет ответа от него, а не от профессора или меня. Лорнетка изящным жестом поднимается к ее чуть презрительно

прищуренным глазам. И снова падает, повисая на черном шнурке для ботинок, заменяющем золотую цепочку. В лорнетке нет стекол. Стекла теперь найти невозможно. Но лорнетка необходима. Ведь лорнетка, вместе с буклями, почти единственное, оставшееся от прежней жизни.

— Не верю, — раздраженно повторяет профессор, туго стягивая узел башлыка. — Не сумасшедший же он.

Я тоже не верю. Боюсь поверить, чтобы потом не разочароваться.

«Что такое Мандельштам», я узнала совсем недавно, в одну ночь прочитав «Камень». Я сразу и навсегда запомнила наизусть большинство его стихов и часто повторяю про себя:

За радость легкую дышать и жить  
Кого, скажите мне, благодарить?

Ах, если бы Мандельштам приехал... Нет, лучше пока не верить.

Дверь прихожей отворяется, и в струе холодного воздуха, серебрясь морозной пылью, появляется в своей неизменной дохе и оленьей шапке обмерзший Гумилев. Должно быть, он пришел издалека, а не из своей квартиры. Ведь она здесь, за углом, в трех шагах. Он с несвойственной ему поспешностью сбрасывает с себя доху, отряхивает снег с ног и громко объявляет во всеуслышанье, как глашатай на городской площади:

— Мандельштам приехал!

Но эта сенсационная новость не производит ожидаемого эффекта. Профессор, наконец справившийся со своим башлыком, недовольно бурчит:

— Приехал? Значит, действительно спятил!

Кавалерственная дама, так и не получив ответа на свое «что такое Мандельштам?», относится к известию о его приезде с абсолютным безразличием и не удостоивает Гумилева даже взглядом через свою бесстекольную лорнетку. А я от волнения и радости не в состоянии говорить.

Гумилев идет в столовую, становится в длинную очередь за пшенной кашей. Я иду за ним. Я уже овладела собой и задаю ему множество вопросов, взволнованно и радостно. И Гумилев, не менее меня взволнованный и радостный, рассказывает:

— Свалился, как снег на голову! Но разве он может

иначе? Прямо с вокзала в семь часов утра явился к Георгию Иванову на Каменноостровский. Стук в кухонную дверь. Георгий Иванов в ужасе вскакивает с кровати — обыск! Мечется по комнатам, рвет письма из Парижа. А стук в дверь все громче, все нетерпеливей. Вот сейчас начнут ломать. «Кто там?» — спрашивает Георгий Иванов, стараясь, чтобы голос не дрожал от страха. В ответ хриплый крик: «Я! я! я! Открывай!»

«Я» — значит, не обыск. Слава Богу! Но кто этот «я»?

— Я, я, Осип! Осип Мандельштам. Впусти! Не могу больше! Не могу!

Дверь, как полагается, заперта на ключ, на крюк, на засов. А из-за двери несется какой-то нечленораздельный вой. Наконец Георгию Иванову удалось справиться с ключом, крюком и засовом, грянула цепь, и Мандельштам, весь синий и обледеневший, бросился ему на шею, крича:

— Я уже думал, крышка, конец. Замерзну у тебя здесь на лестнице. Больше сил нет. — И, уже смеясь: — Умереть на черной лестнице перед запертой дверью. Очень подошло бы для моей биографии? А? Достойный конец для поэта.

Мы уже успели получить нашу пшеничную кашу и съесть ее. К нашему столу подсаживается Кузмин с Юрием Юркуном послушать рассказ о «чудесном прибытии Мандельштама».

Оказывается, Мандельштам — так уж ему всегда везет — явился к Георгию Иванову в день, когда тот собирался перебраться на квартиру своей матери. До вчерашнего утра Георгий Иванов жил у себя, отапливаясь самоваром, который непрерывно ставила его прислуга Аннушка. Но вчера утром у самовара отпаялся кран, ошпарив ногу Аннушки, и та, рассердившись, ушла со двора, захватив с собой злополучный самовар, а заодно и всю кухонную утварь. И Георгию Иванову стало невозможно оставаться у себя. О том, чтобы вселить Мандельштама к матери Георгия Иванова, тонной и чопорной даме, не могло быть и речи. И Георгий Иванов, кое-как отогрев Мандельштама и накормив его вяленой воблой и изюмом по академическому пайку и напоив его чаем, на что потребовалось спалить два тома какого-то классика, повел его в Дом искусств искать пристанища. Там их и застал Гумилев.

С пристанищем все быстро устроилось. Мандельштаму тут же отвели «кособоковую комнату о семи углах»

в писательском коридоре Дома искусств, где прежде были какие-то «меблированные комнаты». Почти все они необычайны по форме — ромбообразные, полукруглые, треугольные, но комната Мандельштама все же оказалась самой фантастической среди них. Мандельштам сейчас же и обосновался в ней — вынул из своего клеенчатого сака рукопись «Тристии», тщательно обтер ее и положил в ящик комода. После чего запищал клеенчатый сак под кровать, вымыл руки и вытер их клетчатым шарфом вместо полотенца. Мандельштам был очень чистоплотен, и мытье рук переходило у него в манию.

— А бумаги у тебя в порядке? — осведомился Гумилев.

— Документы? Ну конечно, в порядке, — и Мандельштам не без гордости достал из кармана пиджака свой «документ» — удостоверение личности, выданное Феодосийским полицейским управлением при Врангеле на имя сына петроградского фабриканта Осипа Мандельштама, освобожденного по состоянию здоровья от призыва в белую армию. Георгий Иванов, ознакомившись с «документом», только свистнул от удивления.

Мандельштам самодовольно кивнул:

— Сам видишь. Надеюсь, довольно...

— Вполне довольно, — перебил Георгий Иванов, — чтобы сегодня же ночевать на Гороховой, 2. Разорви скорей, пока никто не видел.

Мандельштам растерялся.

— Как же разорвать? Ведь без документов арестуют. Другого у меня нет.

— Иди к Луначарскому, — посоветовал Гумилев. — Луначарский тебе, Осип, мигом нужные бумаги выдаст. А этот документ, хоть и жаль, он курьезный, уничтожь, пока он тебя не подвел.

И Мандельштам, уже не споря, поверив, что «документ» действительно опасный, порвал его, поджег куски спичкой и развеял пепел по воздуху — чтобы и следов не осталось.

— Сейчас они у Луначарского. И, конечно, беспокоиться нечего. Все, как всегда, устроится к лучшему. Ведь о поэтах, как о пьяницах, Бог всегда особенно заботится и устраивает их дела.

Суеверный Кузмин трижды испуганно сплевывает, глядя сквозь вздрагивающее на его носике пенсне на Гумилева своими «верблюжьими» глазами. У Кузмина

глаза как у верблюда или прекрасной одалиски: темные, томные, огромные. «Бездонные» глаза, полные женской и животной прелести.

— Тьфу, тьфу, тьфу, Коленька. Не сглазь меня. Сплюнь.

«Меня» — Кузмин всегда думает только о себе. Он большой охотник до всяких сплетен, слухов и сенсаций и готов говорить о них часами. Приезд Мандельштама приятен ему именно с этой анекдотической стороны.

— Завтра в пять Осип приедет ко мне чай пить. Приходи и ты, Мишенька. Он написал массу чудных стихов и будет их читать. И вы, Юрочка, — это уже к Юркуну, — тоже приходите послушать новые стихи Мандельштама.

Но перспектива послушать новые стихи Мандельштама вообще — или чьи бы то ни было стихи — не кажется Кузмину соблазнительной.

— Завтра? Завтра мы заняты. Нет, завтра совсем нельзя. Ты уж извини, Коленька. Без меня послушаете.

Конечно, он ничем не занят завтра. Но одно упоминание о стихах заставляет его вдруг заторопиться.

— Уже поздно. Пора идти. Идем, Юрочка. Кланяйся Осипу Эмильевичу, Коленька. До свидания, — это уже мне.

Он суетливо снимается с места и мелкими быстрыми шагами идет к выходу рядом с высоким, молчаливым, красивым Юркуном.

Гумилев улыбается.

— И всегда он так. Бежит от стихов, как черт от лада-на. А сам такой замечательный поэт. Вот и пойми его.

Но мне хочется говорить о Мандельштаме, а не о Кузмине.

— Правда, что он будет завтра читать у вас новые стихи?

— Сущая правда. Приходите послушать. Вы-то, уж конечно, даже если и очень заняты, придете. Вас, наверно, поразит внешность Мандельштама. И я готов держать пари, он вам не понравится. Боюсь, что вы не сумеете ни понять, ни оценить его. Он совсем особенный. Конечно, смешной, но и очаровательный. Знаете, мне всегда кажется, что свои стихи о Божьем Имени он написал о себе. Помните:

Божье Имя, как большая птица,  
Вылетело из моей груди.

Впереди густой туман клубится,  
И пустая клетка позади.

Мне всегда кажется, что он сам эта «птица — Божье Имя», вылетевшая из клетки в густой туман. Очаровательная, бедная, бездомная птица, заблудившаяся в тумане.

На следующий день я, конечно, пришла к Гумилеву. Вернее, прибежала. Я была на лекции Чуковского о Достоевском. Пропустить ее казалось невозможным. Но и опоздать к Гумилеву было тоже невозможно. И я, напрасно прождав трамвай целых десять минут, в отчаянии пустилась бегом по Невскому, по мягкой, усыпанной снегом мостовой.

Если начнут с чая, не беда, что опоздаю. Но если со стихов — катастрофа. Ведь не станет же он повторять свои стихи для меня. Нет, никогда не прощу себе, если...

Меня впускает прислуга Паша. От долгого бега мне трудно отдышаться. Я перевожу дух, чтобы спросить:

— Мандельштам уже тут?

Паша пожимает плечами:

— Должно, тут. Народу много. Кто его знает, который из них Мамштам.

Я еще раз перевожу дыхание перед тем, как войти в столовую.

«Народу много», сказала Паша. Но за чайным столом сидят только Михаил Леонидович Лозинский, Георгий Иванов, сам Гумилев и — да, это, должно быть, Мандельштам. Кто же другой, как не он?

Нет, меня не поразила внешность Мандельштама. И он мне сразу очень понравился.

Сколько раз мне впоследствии приходилось читать и слышать описание его карикатурной внешности — маленький, «щуплый, с тощей шеей, с непомерно большой головой», «обремененный чичиковскими баками», «хохол над лбом и лысина», «тощий до неправдоподобности», «горбоносый и лопухий». И совсем недавно в советском журнале о встречах с Мандельштамом в Крыму: «Его брата называли “красавчик”, а его — “лошадь”... за торчащие вперед зубы».

Бедный Мандельштам! Слошадью у него не было абсолютно никакого, даже отдаленнейшего, сходства. А торчавшие вперед зубы — зубов у него вообще не было.

Зубы заменяли золотые лопаточки, отнюдь не «торчавшие вперед», а скромно притаившиеся за довольно длинной верхней губой. За эти золотые лопаточки он и носил прозвание Златозуб.

Меня всегда удивляло, что он многим казался комичным, «карикатурой на поэта и на самого себя». Но вот я впервые смотрю на него и вижу его таким, каким он был на самом деле.

Он не маленький, а среднего роста. Голова его не производит впечатления «непомерно большой». Правда, он преувеличенно закидывает ее назад, отчего на его шее еще резче обозначается адамово яблоко. У него пышные, слегка вьющиеся волосы, поднимающиеся над высоким лбом. Плешь, прячущуюся среди них, никак нельзя назвать лысиной. Конечно, он худой. Но кто же из нас в те дни не был худ? Адамович, как-то встретив меня на Морской, сказал:

— Издали на вас смотреть страшно. Кажется, ветер подует и вы сломаетесь пополам.

Упитанными и гладкими среди поэтов были только Лозинский и Оцуп, сохранившие свой «буржуйский» вид.

Нет, внешность Мандельштама тогда меня не поразила. Я как-то даже не обратила на нее внимания. Будто она не играла решающей роли в впечатлении, производимом им. Возможно, что она теряла свое значение благодаря явному несоответствию между его внешностью и тем, что скрывалось под ней.

Здороваясь со мной, он протянул мне руку и, подняв полуопущенные веки, взглянул на меня сияющими «ангельскими» глазами. И мне вдруг показалось, что сквозь них, как сквозь чистую воду, я вижу дно его сознания. И дно поэзии.

Я скромно сажусь на свободный стул между Оцупом и Лозинским.

С осени 1920 года я уже настоящий поэт, член Дома литераторов. И — что много почетнее и важнее — равноправный член недавно восстановленного Цеха поэтов. Но меня все еще продолжают называть «Одоевцева — ученица Гумилева», и я продолжаю чувствовать и вести себя по-ученически. Вот и сейчас я сознаю свою неуместность в этом «высоком обществе» за одним столом с Мандельштамом. С «самим Мандельштамом».

Гумилев особенно старательно разыгрывает роль гостеприимного хозяина. Он радушно угощает нас на-

стоящим, а не морковным чаем с сахарным песком внакладку и ломтиками черного хлеба, посыпанного солью и политого подсолнечным маслом.

Виновник торжества, Мандельштам, с нескрываемым наслаждением пьет горячий сладкий чай, закусывая его этими ломтиками хлеба, предварительно насыпав на них целую горку сахарного песка.

Оцуп опасливо следит за тем, с какой быстротой набухшие от масла солено-сладкие ломтики исчезают в золотозубом рту Мандельштама. И, не выдержав, спрашивает:

— Как вы можете, Осип Эмильевич? Разве вкусно?

Мандельштам кивает, не переставая жевать:

— Очень вкусно. Очень.

— Еще бы не вкусно, — любезно подтверждает Лозинский, — знаменитое самоедское лакомство. Самоеды шибко хвалят.

— Только, — с компетентным видом прибавляет Георгий Иванов, — вместо подсолнечного масла лучше рыбий жир, для пикантности и аромата.

Взрыв смеха. Громче всех смеется Мандельштам, чуть не подавившийся от смеха «самоедским лакомством».

Теперь мы сидим в прихожей перед топящейся печкой в обтянутых зеленой клеенкой креслицах — все ближайšie «соратники» Гумилева — Лозинский, Оцуп, Георгий Иванов (Адамовича в то время не было в Петербурге).

Гумилев, сознавая всю важность этого исторического вечера — первое чтение «Тристини» в Петербурге, как-то особенно торжественно подкидывает мокрые поленья в огонь и мешает угли игрушечной саблей своего маленького сына Левы.

— Начинай, Осип!

И Мандельштам начинает:

На каменных отрогах Пиерии  
Водили музы первый хоровод...

Нерасторопна черепаха-лира,  
Едва-едва беспалая ползет,  
Лежит себе на солнышке Эпира,  
Тихонько грея золотой живот.



Ну, кто ее такую приласкает,  
Кто спящую ее перевернет? —  
Она во сне Терпандра ожидает,  
Сухих перстов предчувствуя налет...

Слушая его, глядя на его закинутое, мучительно-вдохновенное лицо с закрытыми глазами, я испытываю что-то похожее на священный страх.

Мандельштам, кончив, широко открывает глаза, отряхивается, как только что выкупавшийся в пыли воробей, и спрашивает взволнованной скороговоркой:

— Ну как? Скверно? Как, Николай Степанович? Как, Михаил Леонидович? Это я в Киеве написал.

Пауза. Затем Гумилев веско заявляет — не говорит, а именно заявляет:

— Прекрасные стихи. Поздравляю с ними тебя и русскую поэзию. — И тут же исчерпывающе и последовательно объясняет, почему эти стихи прекрасны и чем обогащают русскую поэзию.

За Гумилевым — такова уж сила цеховой дисциплины — все по очереди выражают свое восхищение «с придаточными предложениями», объясняющими восхищение.

Но я просто восхищена, я просто в восторге, я не нахожу никаких «придаточных предложений». И чтобы только не молчать, я задаю очень, как мне кажется, «акмеистический» вопрос:

— Отчего черепаха-лира ожидает Терпандра, а не Меркурия? И разве Терпандр тоже сделал свою кифару из черепахи?

Мандельштам, только что превознесенный самим синдиком Цеха Гумилевым, окрыленный всеобщими похвалами, отвечает мне несколько надменно:

— Оттого, что Терпандр действительно родился, жил на Лесбосе и действительно сделал лиру. Это придает стихотворению реальность и вещественную тяжесть. С Меркурием оно было бы слишком легкомысленно легкокрылым. А из чего была сделана первая лира — не знаю. И не интересуюсь этим вовсе.

Но мой вопрос, по-видимому, все-таки возбудил сомнение в его вечно колеблющемся, неуверенном в себе сознании, и он быстро поворачивается к Лозинскому:

— Михаил Леонидович, а может быть, правда, лучше вместо Терпандра Меркурий? А?

Но Гумилев сразу кладет конец его сомнениям.

— Вздор! Это стихотворение — редкий пример правильности формулы Банвиля: «то, что совершенно, и не требует изменений». Ничего не меняй. И читай еще! Еще!

Я не смею ни на кого взглянуть. Мне хочется влезть в печку и сгореть в ней вместе с поленьями. С каким презрением все они, должно быть, смотрят на меня. В особенности мой учитель, Гумилев. Я чувствую себя навсегда опозоренной. И все же до меня доносится сквозь шум крови в ушах:

Золотистого меда струя из бутылки текла  
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела...

Голос Мандельштама течет, как эта «золотистого меда струя», и вот уже я, забыв, что я «навсегда опозорена», вся превращаюсь в слух, и мое сердце вслед за орфической мелодией его стихов то взлетает ласточкой, то кубарем катится вниз.

Да, я забыла. А другие? И я осторожно оглядываюсь. Но оказывается, что и другие забыли. Не только о моем неуместном выступлении, но и моем существовании. Забыли обо всем, кроме стихов Мандельштама.

Гумилев каменно застыл, держа своими длинными пальцами детскую саблю. Он забыл, что ею надо править мокрые поленья и ворошить угли, чтобы подерживать огонь. И огонь в печке почти погас. Но этого ни он и ни кто другой не замечает.

Ну, а в комнате белой как прятка стоит тишина.  
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.  
Помнишь, в греческом доме любимая всеми жена,  
Не Елена, другая, как долго она вышивала?..

Мандельштам резко и широко взмахивает руками, будто дирижирует невидимым оркестром. Голос его крепнет и ширится. Он уже не говорит, а поет в сомнамбулическом самоупоении:

Золотое руно, где же ты, золотое руно?  
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,  
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,  
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

Последняя строфа падает камнем. Все молча смотрят на Мандельштама, и я уверена, совершенно уверена, что в этой потрясенной тишине они, как и я, видят не Мандельштама, а светлую «талассу», адриатические волны и корабль с красным парусом, «пространством и временем полный», на котором возвратился Одиссей.

Мандельштам нервно шарит в кармане пиджака в поисках папиросы, как всегда напрасно. Я вскоре узнала, что папирос у него никогда нет. Он умудрялся забывать их, добытые с таким трудом папиросы, где попало, отдавал их первому встречному или просто терял, сунув мимо кармана.

Гумилев засовывает ему папиросу в рот и зажигает ее.

— Кури, Осип, кури! Ты заслужил, и еще как заслужил!

И тут во все еще потрясенной тишине раздается спокойный, слегка насмешливый голос Георгия Иванова:

— Да. И это стихотворение тоже пример того, что прекрасное не требует изменений. Все же я на твоём месте изменил бы одну строчку. У тебя: «Ну, а в комнате белой как прятка стоит тишина». По-моему, будет лучше: «Ну, а в комнате белой как палка стоит тишина».

Мандельштам, жадно затянувшийся папиросой и не успевший выпустить изо рта дым, раздражается неистовым приступом кашля-хохота:

— Как палка! Нет, не могу! Как палка!

Все смеются. Все, кроме Георгия Иванова, с приторным недоумением убеждающего Мандельштама:

— Я ведь совершенно серьезно советую, Осип. Чего же ты опять хохочешь?

Смешливость Мандельштама. Никто не умел так совсем по-невзрослому заливаться смехом по всякому поводу — и даже без всякого повода.

— От иррационального комизма, переполняющего мир, — объяснял он приступы своего непонятного смеха. — А вам разве не смешно? — с удивлением спрашивал он собеседника. — Ведь можно лопнуть со смеху от всего, что происходит в мире.

Как-то, уже в весенний ветреный день, когда от оттепели на Бассейной голубели и потягивались рябью огромные лужи-озера, я увидела шедшего по противоположному тротуару Мандельштама. Он смотрел прямо

на меня, трясаясь от смеха. Помахав мне шляпой, стал торопливо перебираться ко мне, разбрасывая брызги и зачерпывая калошами воду.

Смеясь все сильнее, он подошел ко мне, и я не могла не присоединиться к его смеху. Так мы и простояли несколько минут, не переставая смеяться, пока Мандельштам не объяснил мне между двумя взрывами смеха:

— Нет, представьте себе. Я иду в Дом литераторов. Думаю, встречу там и вас. И вспомнил вашу «Балладу о котях». А тут вдруг кошка бежит, а за ней, за ней другая. А за кошками, — тут смех перешел в хохот и клекот, — за кошками — вы! Вы идете! За кошками! Автор Котов!

Он вытер слезы, катившиеся из его цвета весеннего неба глаз, и, взглянув поверх меня, поверх крыш домов в голубое небо, заговорил другим голосом, грустно и чуть удивленно:

— Знаете, мой брат, мой младший брат выбросился из окна. Он был совсем не похож на меня. Очень дельный и красивый. Недавно только женился на сестре Анны Радловой, счастливый, влюбленный. Они накануне переехали на новую квартиру. А он выбросился из окна. И разбился насмерть. Как вы думаете, почему? Почему?

Мне показалось, что он шутит, что он это выдумал. Только впоследствии я узнала, что это была правда. Его брат, муж сестры Анны Радловой, действительно неизвестно почему выбросился из окна. И разбился насмерть.

Но от ответа на вопрос, почему выбросился из окна брат Мандельштама, меня избавило появление Гумилева, шествующего в Дом литераторов, как и мы.

Мандельштам ринулся ему навстречу и, снова захлебываясь и клокоча, стал объяснять:

— Я иду... а тут коты... бегут, а тут Одоевцева. Нет, ты только подумай! Не могу! Не могу! Коты... и Одоевцева!

Встречи с Мандельштамом были всегда не похожи на встречи с другими поэтами. И сам он ни на кого не походил. Он был не лучше и не хуже, а совсем другой. Это чувствовали многие, даже, пожалуй, все.

Человек из другого мира, из мира поэзии.

На его стихи из «Камня» —

Я блуждал в игрушечной чаше  
И открыл лазоревый грот...

Неужели я настоящий  
И действительно смерть придет? —

мы, студисты, сочинили ответ:

Вы, конечно, ненастоящий —  
Никогда к вам смерть не придет, —  
Вас уложат в стеклянный ящик,  
Папиросу засунут в рот  
И поставят в лазоревый грот —  
Чтобы вам поклонялся народ!

Стихи, хотя и привели Мандельштама в восхищение и восторг, были, как мы сами понимали, далеко не блестящи. Но, должно быть, действительно —

Бывают странными пророками  
Поэты иногда, —

ведь о стеклянных ящиках, мавзолеях для поклонения народа, никто тогда и понятия не имел. Впрочем, в стеклянный ящик, «чтобы ему поклонялся народ», уложили не Мандельштама, а погубившего его Сталина. Но это случилось позже, много позже. А сейчас все еще зима 1920—1921 года. И моя первая встреча с Мандельштамом у Гумилева.

Это было во вторник. А на следующий вечер я встретила Мандельштама на одной из очередных «сред» Дома искусств. Он подошел и заговорил со мной, будто мы давно и хорошо знакомы.

— А я здесь превосходно устроился. Комната у меня маленькая и безобразная. Но главное — крыша и печка. И ведь теперь весь Дом искусств принадлежит и мне. Я здесь один из его хозяев, и вы у меня в гостях. Вы это сознаете, я надеюсь? Вы — мой гость.

Он не дает мне ответить.

— Я, конечно, шучу. Я никогда и нигде не чувствовал себя дома, а тем более хозяином. Хорошо, если меня, как здесь, приютят. А то чаще гонят в три шеи. Я привык.

И опять, не дав мне сказать ни слова, прибавляет:

— А про Меркурия вы правильно заметили. Он в детстве изобрел лиру. Хотя это изобретение приписывают еще — а ну-ка, скажите, кому? Ведь не знаете?

— Музе Эрато, — говорю я не задумываясь.

Он разводит руками.

— Правильно. Но откуда вы такая образованная? Такая всезнайка?

Мне очень лестно, хотя это совсем незаслуженно. Образованной меня еще никто не считал. Скорей наоборот.

Мои познания в мифологии я почерпнула из детской книжки, которую в семь лет читала вперемежку со сказками братьев Grimm и Андерсена. Но этого я Мандельштаму не открываю. А он, может быть, именно из-за моей мнимой образованности говорит со мной как с равной, просто и дружески. Без преувеличенной снисходительности и оскорбительной любезности. Мандельштам — первый поэт, с которым я сразу легко себя почувствовала. Будто между нами нет пропасти — он прославленный автор «Камня», всероссийски знаменитый, а я еще продолжаю сидеть на школьной скамье и слушать лекции.

Он рассказывает мне о своих южных злоключениях и радостях. Как же без радостей? Их тоже было много, но злоключений, конечно, неизмеримо больше.

— Вот, в Коктебеле, у Волошина... Вы, конечно, бывали в Коктебеле?

Я качаю головой.

— Нет. И даже Волошина не знаю. Никогда его не видела.

— Ах, сколько вы потеряли. Не знать Волошина! — Мандельштам искренне огорчен за меня. — Волошин — представьте себе — бородатый шар в венке и хитоне. Едет на велосипеде по горной, залитой солнцем каменистой тропинке. Кажется, что не едет, а летит по воздуху, что он — воздушный шар. А за ним стая пестрых собак с лаем несется по земле.

Мандельштам с увлечением рассказывает, как он за стакан молока и сладкую булочку стерег на берегу моря каких-то заговорщиков, левых эсеров, для конспирации совещавшихся, ныряя в волнах.

— А в Киеве? В Киеве мне жилось привольно. Как, впрочем, и потом в Тифлисе. В Киеве профессор Довнар-Запольский подарил мне свою шубу, длинную, коричневую, с воротником из обезьянки. Чудесную профессорскую шубу. И такую же шапку. Только шапка мне оказалась мала — голова у меня не по-профессорски большая и умная. Но одна премилая дама пожертвовала мне свою скунсовую горжетку и сама обшила ею

шапку. Получилось довольно дико — будто у меня вместо волос скунсовый мех. Раз иду ночью по Крещатику и слышу: «Смотри, смотри, поп-расстрига! Патлы обстричь не умеет. Патлатый. Идиот!»

Мандельштам не обращает внимания на происходящее на эстраде и мешает лектору Замятину и слушателям своим звонким шепотом. Но ни я, ни кто другой не смеет «призвать его к порядку». Так он и продолжает говорить до той минуты, когда Замятин встает и под аплодисменты — Мандельштам аплодирует особенно громко — почти так же, как я, считающаяся «мэтром клаки» за особое умение хлопать и заставлять хлопать слушателей, — уходит, послав отдельную улыбку и поклон Мандельштаму.

«Среда» кончена. Надо и мне уходить. А Мандельштам еще многого не успел рассказать. Раз начав, ему трудно остановиться, не доведя воспоминаний до конца. И он неожиданно принимает героическое решение:

— Я пойду вас проводить до угла.

— До какого угла? Ведь Дом искусств — на углу.

— На углу Мойки и Невского, — резонно замечает Гумилев.

— Ну, все равно. До первого незажженного фонаря, до второго угла — несколько шагов.

Мы выходим гурьбой из подъезда — Гумилев, Мандельштам и несколько студисток. Мы идем по Невскому.

— Подумай только, Николай Степанович, — беря Гумилева под руку, говорит Мандельштам, — меня объявили двойным агентом и чуть было не расстреляли. Я в тюрьме сидел. Да! Да! Поверить трудно. Не раз сидел!

И вдруг он неожиданно заливается своим увлекательным звенящим смехом.

— Меня обвинили и в спекуляции! Арестовали как злого спекулянта — за яйцо! — кончает он, весь исходя от смеха. — За одно яйцо! Было это в Киеве.

И он рассказывает, как ему в одно весеннее утро до смерти захотелось гоголь-моголя. «От сытости, конечно, когда голоден — мечтаешь о корке хлеба». Он пошел на рынок и купил у торговки яйцо. Сахар у него был, и, значит, все в порядке и можно вернуться домой.

Но по дороге, тут же рядом, на рынке бородатый мужик продавал шоколад Эйнем «Золотой ярлык», любимый шоколад Мандельштама. Увидев шоколад, Мандельштам забыл про гоголь-моголь. Ему «до зареза» захотелось шоколаду.

— Сколько стоит?

— Сорок карбованцев.

Мандельштам пересчитал свои гроши. У него только тридцать два карбованца. И тогда ему пришла в голову гениальная мысль — отдать за нехватящие карбованцы только что купленное яйцо.

— Вот, — предложил он мужику-торговцу, — вам это очень выгодно. Я отдаю вам прекрасное сырое яйцо и тридцать два карбованца за шоколад, себе в убыток.

Но тут, не дожидаясь ответа торговца, со своего места с криком сорвалась торговка.

— Держите его, спекулянта проклятого! Он у меня за семь карбованцев купил яйцо, а сам за восемь перепродает. Держите его! Милиционер! Где милиционер?

Со всех сторон сбежались люди. Прибежал на крики и милиционер.

Баба надрывалась:

— За семь купил, за восемь перепродает. Спекулянт проклятый!

Мандельштама арестовали, и он до вечера просидел в участке.

Во время ареста раздавили яйцо и кто-то украл у «спекулянта проклятого» его тридцать два карбованца.

Смеется Гумилев, смеюсь я, смеются студисты.

Мы прошли уже почти весь Невский, и слушатели по одному начинают прощаться и отпадать. До угла Литейного доходим только мы трое — Гумилев, Мандельштам и я.

Мандельштам продолжает нестись по волнам воспоминаний.

— А были и сказочные удачи. Раз, вы не поверите, мне один молодой поэт подарил десятифунтовую банку варенья. Я зашел к нему, он меня чаем угостил. А потом я ему прочел «На каменных отрогах» — я только что тогда написал. Он поохал, повосторгался и вдруг встал и вышел из кабинета, где мы сидели. Возвращается с огромной банкой варенья, протягивает ее мне — это вам! Я прямо глазам и ушам своим не поверил. Даже не поблагодарил его. Надел свою шубу, схватил банку и наутек. Чтобы он не опомнился, не передумал, не отнял бы! Шел, прижимая драгоценный груз к груди, дрожа как в лихорадке. Ведь гололедица. Того и гляди поскользнешься — и прощай священный дар! Ничего. Донес. Только весь до нитки вспотел, несмотря на холод, — от волнения. Зато какое наслаждение! Какое высокое худо-



жественное наслаждение! Я двое суток не выходил из дому — все наслаждался.

Как замечательно, то повышая, то понижая голос, изображая и торговку, и милиционера, и одарившего его поэта, рассказывает Мандельштам! Конечно, он преувеличивает, разукрашивает, но от этого все становится по-мандельштамовски очаровательно. Ну конечно, банка варенья была не десятифунтовой, а фунтовой. Если она существовала не только в фантазии Мандельштама. Да и арест из-за яйца вряд ли не выдумка.

И только много лет спустя, уже потом, в Париже, я убедилась, что в рассказе Мандельштама не было никакой фантазии. Все было именно так. И банка варенья оказалась действительно десятифунтовой, подаренной Мандельштаму в минуту восторга, «когда душа жаждет жертв», проживавшим в Киеве поэтом, переселившимся потом в Париж, Юрием Терапиано. Подарена после настолько потрясшего молодого поэта чтения «На каменных отрогах», что он безрассудно поделился с Мандельштамом своим запасом варенья. И никогда об этом не жалел. От него же я узнала, что история «спекуляции с яйцом», несмотря на всю свою неправдоподобность, чистейшая правда.

Мы уже давно идем по бесконечно длинной Бассейной. Темно. Снег кружится и скрипит под ногами.

— А в Тифлисе...

Но Гумилев перебивает его:

— Это все очень забавно и поучительно. Но ты, Осип, собственно говоря, куда направляешься? Тебе давно пора повернуть лыжи. Ведь тебе до Мойки...

— Как до Мойки? — Мандельштам растерянно останавливается. — Чтобы я один прошел все это расстояние? Это совсем невозможно. Я думал... — Он обращивает ко мне испуганное лицо. — Я был уверен, что вы пустите к себе ночевать. Ведь у вас, я слышал, очень большая квартира. И, значит, место найдется и для меня, хоть на кухне.

— Нет, не найдется, — отрезает Гумилев. — Ты напрасно думал. Там революционные богемные нравы не в чести. И ночевать поэтов там не пускают. Ни под каким видом. Даже на площадку перед дверью.

Я растеряна не меньше самого Мандельштама. Но Гумилев прав — пустить Мандельштама к себе домой я действительно никак не могу. А он стоит передо мной

такой несчастный, потерянный. Как бездомная собака.

— Я замерзну. Я не дойду один.

— Идите ночевать к Николаю Степановичу. На клеенчатом диване в прихожей, — с решимостью отчаяния говорю я, будто я вправе распоряжаться чужой квартирой. Пусть Гумилев сердится. Мне все равно. Нельзя бросить Мандельштама ночью на улице.

Но Гумилев не сердится, а смеется.

— Наконец догадались. Колумбово, а не киевское яйцо. Я уже на Невском решил, что пушу тебя ночевать к себе. И чаем с патокой угощу. Не замерзать же тебе здесь, как рождественскому мальчику у Христа на елке! Я только попугать тебя хотел. Но какой же ты, Осип, легкомысленный! Я перед тобой — образец осторожности и благоразумия.

Мандельштам, успевший оправиться от страха, неожиданно переходит в наступление:

— Это я-то легкомысленный? Поищи другого такого благоразумного, предусмотрительного, осторожного человека.

Он подскакивает, по-петушиному задирая голову.

— Знаю, знаю, — успокаивает его Гумилев, — не кипятись. Ты отчаянный трус. Из породы легкомысленнейших трусов. Действительно очень редкая порода.

«Трус» — оскорбительное слово. Конечно, Мандельштам обидится.

Но Мандельштам повторяет:

— Из породы легкомысленнейших трусов! Надо запомнить. До чего правильно!

Мы прощаемся у ворот моего дома. Мандельштам снова весел и доволен. На сегодняшнюю ночь у него не только крыша, диван, сладкий чай с патокой, но и собеседник. Они будут читать друг другу стихи и вести бесконечные вдохновенно-задушевные ночные разговоры — до утра. «А завтра новый день. Безумный и веселый». Веселый, очень веселый. Все дни тогда были веселые. Это были дни зимы 1920—1921 года, и веселье их действительно было не лишено безумья. Холод, голод, аресты, расстрелы. А поэты веселились и смеялись в умирающем Петрополе, где

...Прозрачная весна над черною Невой  
Сломилась. Как бессмертье тает.  
О, если ты, звезда — Петрополь, город твой,  
Твой брат, Петрополь, умирает...

Как-то уже в декабре, когда Мандельштам успел «прижиться» в Петербурге и снова «обрасти привычками», как будто он никогда из него и не уезжал, мы с ним зашли за Гумилевым во «Всемирную литературу» на Моховой, чтобы вместе идти на какую-то публичную лекцию. Но у подъезда Мандельштам вдруг стал топтаться на снегу, не решаясь войти во «Всемирную литературу».

— Я лучше вас здесь на улице подожду. Только вы скорей, пожалуйста.

Был мороз, и я удивилась.

— Отчего вы не хотите войти отогреться? Разве вам не холодно?

Он подул на свои посиневшие руки без перчаток.

— Еще бы не холодно! Но там наверху сейчас, наверно, Роза. Увидит меня — поднимет крик. А это хуже холода. Этого я совсем перенести не могу.

Я все же уговорила его войти и спрятаться у стены за шубами и пальто. А сама пошла на разведку. Розы, слава Богу, не оказалось, и Мандельштам благополучно поднялся наверх — пронесло на сегодня!

Роза была одной из привлекательных достопримечательностей «Всемирной литературы». Она, с разрешения Горького и Тихонова, устроила в зале около лестницы, направо от входа, «напротив кассы» подобие продовольственной лавочки и отпускала писателям за наличные, а чаще в кредит, сахар, масло, патоку, сало и прочие лакомства. Толстая, старая, похожая на усатую жабу, она безбожно обвешивала и обсчитывала, но зато никого не торопила с уплатой долга. Никого, кроме Мандельштама. При виде его она начинала гудеть густым, грохочущим басом:

— Господин Мандельштам, отдайте мне мои деньги! Не то пожалеете! Я приму меры... — Но Мандельштам уже несся по лестнице, спасаясь от ее угроз. А она, оборвав их на полуслове, как ни в чем не бывало сладко улыбалась Кузмину:

— Какую я вам коврижку достала, Михаил Алексеевич! Медовую. Пальчики оближете. Никому другому не уступлю. Вам одному. Себе в убыток. Верьте.

Эта Роза была не только одарена коммерческими способностями, но и умна и дальновидна. Она умела извлекать из своего привилегированного положения «всемирной маркитантки» всяческие выгоды. Так, она завела альбом в черном кожаном переплете, куда

заставляла всех своих клиентов-писателей написать ей «какой-нибудь хорошенький стишок на память». И все со смехом соглашались и превозносили Розу в стихах и в прозе. Роза благодарила и любезно объясняла:

— Ох, даже и подумать страшно, сколько мой альбом будет стоить, когда вы все, с позволения сказать, перемрете. Я его завещаю своему внуку.

Альбом этот, если он сохранился, действительно представляет собой большую ценность. Кого в нем только нет. И Сологуб, и Блок, и Гумилев, и Кузмин, и Ремизов, и Замятин. Возможно, что благодаря ему создастся целая легенда о прекрасной Розе. И будущие литературоведы будут гадать, кто же была эта восхитительная красавица, воспетая столькими поэтами и прозаиками.

...На что нам былая свобода?  
На что нам Берлин и Париж,  
Когда ты направо от входа  
Насупротив кассы сидишь?.. —

патетически спрашивал ее поэт Зоргенфрей.

Роза принимала восторги и мадригалы как должное. Все же «стишок» Георгия Иванова тронул ее до слез:

Печален мир. Всё суета и проза,  
Лишь женщины нас тешат да цветы,  
Но двух чудес соединенье ты.  
Ты — женщина. Ты — Роза.

Узнав, что Мандельштам, ее новый клиент, уже успевший набрать у нее в кредит и сахар, и варенье, — «поэт стоящий», она протянула и ему свой альбом. И, должно быть, чтобы возбудить в нем благодарность и вдохновение, напомнила ему кокетливо:

— Вы мне, господин Мандельштам, одиннадцать тысяч уже должны. Мне грустно, а я вас не тороплю. Напишите хорошенький стишок, пожалуйста.

Мандельштам, решительно обмакнув перо в чернильницу, не задумываясь, написал:

Если грустишь, что тебе задолжал я одиннадцать тысяч,  
Помни, что двадцать одну мог тебе задолжать я.

И подписался с несвойственным ему дерзко-улетающим росчерком.

Роза, надев очки, с улыбкой нагнулась над альбомом, разбирая «хорошенький стишок», но вдруг побагровела, и грудь ее стала биться, как волны о берег, о прилавок, заставляя звенеть банки и подпрыгивать свертки. Она дрожащей рукой вырвала «гнусную страницу» и, скомкав, бросила ее в лицо Мандельштама с криком:

— Отдайте мне мои деньги! Сейчас же, слышите, отдайте!

С того дня она и начала преследовать его.

Одиннадцать тысяч в те времена была довольно ничтожная сумма. Ее легко можно было выплатить хотя бы по частям. Тогда Роза не только оставила бы Мандельштама в покое, но и — по всей вероятности — возобновила ему кредит. Я сказала ему об этом. Он посмотрел на меня с таким видом, будто я предлагаю ему что-то чудовищное.

— Чтобы я отдавал долги? Нет, вы это серьезно? Вы, значит, ничего, ровно ничего не понимаете, — с возмущением и обидой повторил он. — Чтобы я платил долги?

Да, я действительно «ничего не понимала» или, точнее, многого не понимала в нем. Не понимала я, например, его страха перед милиционерами и матросами — особенно перед матросами в кожаных куртках, — какого-то мистического, исступленного страха. Он, заявивший в стихах:

Мне не надо пропуска ночного,  
Я милиционеров не боюсь, —

смертельно боялся милиционеров. Впрочем, в печати для цензурности «милиционеры» были переделаны в «часовых» — часовых я не боюсь, — и не вполне удачно переделаны. Ведь часовые обыкновенно охраняют какой-нибудь дворец или учреждение и ровно никому не внушают страха. Не то что милиционеры. Но у Мандельштама не было никаких оснований бояться и милиционеров. Бумаги у него были в порядке, ни в каких «заговорах» он никогда участия не принимал и даже в разговорах избегал осуждать «правительство». И все же, увидев шагавших куда-то матросов или стоящего на уг-

лу милиционера, Мандельштам весь съеживался, стараясь спрятаться за меня или даже юркнуть в подворотню, пока не скроется проходящий отряд матросов.

— Ух, на этот раз пронесло! — неизменно говорил он и, вздохнув облегченно, плотно запахивал полы своего легкого пальто, заменявшего ему киевскую профессорскую шубу.

— Что пронесло? — подпытывалась я.

— Мало ли что. Если надо объяснять, то не надо объяснять. Все равно не поймете.

Да, понять было трудно. Как могла в нем, наряду с такой невероятной трусостью, уживаться такая же невероятная смелость? Ведь нам всем было известно, что он не побоялся выхватить из рук чекиста Блюмкина пачку «ордеров на расстрел» и разорвать их. Кто бы, кроме Мандельштама, мог решиться на такое геройство или безумие? Как же так? Труслив, как кролик, и в то же время смел, как барс.

— А очень просто, — любезно разрешил мое недоумение Лозинский, — Осип Эмильевич — помесь кролика с барсом. Кролико-барс или барсо-кролик. Удивляться тут вовсе нечему.

Но я все же удивлялась многому в Мандельштаме, например, его нежеланию хоть на какой-нибудь час остаться одному. Одиночества он не переносил.

— Мне необходимо жить подальше от самого себя, как говорит Андре Жид, — повторял он часто. — Мне необходимо находиться среди людей, чтобы их эманации давили на меня и не давали мне разорваться от тоски. Я, как муха под колпаком, из которого выкачали воздух, могу лопнуть, разлететься на тысячу кусков. Не верите? Смеетесь? А ведь это не смешно, а страшно. — И он продолжал: — Это действительно страшно. Я сижу один в комнате, и мне кажется, что кто-то входит. Кто-то стоит за спиной. И я боюсь обернуться. Я всегда сажусь так, чтобы видеть дверь. Но и это плохо помогает.

Я уже не смеюсь. Я понимаю, что он не шутит.

— Чего же вы боитесь?

Он разводил руками.

— Если бы я знал, чего боюсь. Боюсь — и все тут. Боюсь всего и ничего. Это совсем особый, беспричинный страх. То, что французы называют *angoisse*<sup>1</sup>. На людях он исчезает. И когда пишу стихи — тоже.

---

<sup>1</sup> беспричинный страх (фр.).

Не знаю, из-за этого ли страха или по какой другой причине, но Мандельштам с утра до вечера носился по Петербургу. Гумилев шутя говорил, что Мандельштаму вместе с «чудесным песенным даром» дан и чудесный дар раздробляться, что его в одну и ту же минуту можно встретить на Невском, на Васильевском острове и в Доме литераторов. И даже уверял, что напишет стихи — о вездесущем Златозубе.

Мандельштама действительно можно было видеть всюду, в любое время дня. Встретив знакомого, он сейчас же присоединялся к нему и шел с ним по всем его делам или в гости. Он понимал, что его посещение не может не быть приятным, что ему всегда и везде будут рады. А там, наверно, угостят чем-нибудь вкусным. Иногда он все же бросал своего попутчика, хотя он уже и сговорился следовать за ним повсюду до самого вечера, и перебежал от него к какому-нибудь более близкому приятелю, наскоро объяснив:

— Вот идет Георгий Иванов, а он мне как раз нужен. До зарезу. Ну, прощайте...

Но случилось, что Мандельштам исчезал на несколько дней. И тогда все знали, что он пишет стихи. То, что он мог заболеть, никому и в голову не приходило. Впрочем, как это ни странно, в те голодные и холодные годы никто из нас не болел. Я даже не помню, чтобы у кого-нибудь был грипп.

Обыкновенно Мандельштам вставал довольно поздно, щелкая зубами, основательно умывался и тщательно повязывал галстук в крапинку — спешил до ночи покинуть свою семиугольную комнату.

В писательском коридоре отапливались печками-«буржуйками». Дрова, правда, выдавались в изобилии. Они занимали один из углов комнаты Мандельштама, громоздясь чуть ли не до потолка.

Мандельштам, никогда не сидевший у себя, кроме дней писания стихов, все же не отказывался от дровяного пайка, и разбросанные всюду поленья придавали его и без того странному обиталищу еще более фантастический вид. Обыкновенно Мандельштам и не пытался топить свою «буржуйку».

— Это не моего ума дело, — говорил он.

«Дело» это действительно требовало особых знаний и навыка. Дрова были сырые и отказывались гореть. Их надо было поливать драгоценным керосином и раздувать. Они шипели, тухли и поднимали чад. На «борьбу с

огнем» Мандельштам решался только в дни, когда к нему «слетало вдохновение». Сочинять стихи в ледяной комнате было невыносимо. Ноги коченели, и руки отказывались писать. Мандельштам с решимостью отчаяния набивал «буржуйку» поленьями, скомканными страницами «Правды» и, плеснув в «буржуйку» стакан — всегда последний стакан керосина, став на колени, начинал дуть в нее изо всех сил. Но результата не получалось. Газеты, ярко вспыхнув и едва не спалив волосы и баки Мандельштама, тут же превращались в пепел. Обуглившиеся мокрые поленья так чадили, что из его глаз текли слезы. Провозившись до изнеможения с «буржуйкой», Мандельштам выскакивал в коридор и начинал стучать во все двери:

— Помогите, помогите! Я не умею затопить печку. Я не кочегар, не истопник. Помогите!

Но помощь почти никогда не приходила. У обитателей писательского коридора не было охоты возиться еще и с чужой печкой. Все они тоже не были «кочегарами и истопниками» и с большим трудом справлялись с «самоотоплением».

Михаил Леонидович Лозинский на минуту отрывался от своих переводов и приотворял дверь.

— Ну зачем вы опять шумите, Осип Эмильевич? К чему это петушье восклицанье, пока огонь в Акрополе горит — или, вернее, не хочет гореть? Ведь вы мешаете другим работать, — мягко урезонивал он Мандельштама, но тот не унимался:

— У меня дым валит из печки! Чад — ад! Я могу угореть. Я могу умереть!

Лозинский благосклонно кивал:

— Не смею спорить. Конечно:

Мы все сойдем под вечны своды,  
И чей-нибудь уж близок час.

Надеюсь все же, что не наш с вами. А потому позвольте мне вернуться к Еврипиду, — и он, улыбнувшись на прощание, бесшумно закрывал свою дверь. А Мандельштам бежал в ту часть Дома искусств, где царил тепло центрального отопления, — в бывшие хоромы Елисеевых.

Но здесь было не легко найти уединенный и тихий уголок. В Доме искусств, или, как его называли сокращенно, в Диске, всегда было шумно и многолюдно. Сю-



да заходили все жившие поблизости, здесь назначались встречи и любовные свидания, здесь студисты устраивали после лекций игры, в приступе молодого буйного веселья носясь с визгом и хохотом по залам.

Но я в этот день пришла в Диск не для встреч или игр. Лозинский накануне сообщил мне, что в Диск привезли из какого-то особняка много французских и английских книг и их пока что свалили в предбаннике.

— Пойдите, поищите, — посоветовал он мне. — Может быть, найдется что-нибудь интересное для вас.

В предбаннике, разрисованном в помпейском стиле, стояла статуя Родена «Поцелуй», в свое время сосланная сюда тогдашней целомудренной владелицей елисеевских хором за «непристойность» и так и забытая здесь новыми хозяевами.

В этом предбаннике Гумилев провел свои последние дни. Он переселился сюда в начале лета 1921 года с приехавшей к нему женой.

Но теперь еще зима, и Гумилев по-прежнему живет один на Преображенской, 5, а жена его, Аня, скучает и томится в Бежецке и напрасно умоляет мужа взять ее к себе.

— И чего ей недостает? — недоумевает Гумилев. — Живет у моей матери вместе с нашей дочкой Леночкой, как у Христа за пазухой. Мой Левушка такой умный, забавный мальчик. И я каждый месяц езжу их навещать. Другая бы на ее месте... А она все жалуется.

Мне кажется, хотя я и не говорю этого ему, что и другая на ее месте жаловалась бы — слишком уж девическая мечта о небесном счастье брака с поэтом не соответствует действительности.

Я прохожу через ярко освещенную столовую Диска. Здесь не те правила, что в Доме литераторов, и никого, даже обитателей Диска, не кормят даром. За длиннейшим столом Добужинский и молодой художник Милашевский, приобретший громкую известность своими гусарскими чикчирами-рейтузами, лакомятся коронным блюдом дисковой кухни — заячьими котлетами. Так для меня и осталось тайной, почему эти котлеты назывались «заячьими». Ни вкусом, ни видом они зайца не напоминали.

Милашевский оживленно рассказывает:

— Чудесно вчера вечер провел. Надрался до чертиков. Ух, как надрались! Божественно!

Добужинский, стараясь казаться заинтересованным, улыбается:

— У вас, наверно, *vin gai*, а не *vin triste*<sup>1</sup>, — говорит он. Милашевский багровеет от смущения:

— Помилуйте! Мы без этого...

Я останавливаюсь на пороге предбанника. Тихо. Пусто. Никого нет. Уже сумерки. У окна матово белеют книги, сваленные на полу. Их еще не успели разобрать. Я пришла посмотреть, не найдется ли среди них «*Une saison en enfer*»<sup>2</sup> Рембо.

И вдруг я слышу легкое жужжание. Что это? Неужели книги жужжат? Разговаривают между собой. Я оглядываюсь. Нет, я ошиблась. Я тут не одна. В темном углу, у самой статуи Родена, перед ночным столиком, неизвестно зачем сюда поставленным, сидит Мандельштам. Я вглядываюсь в него. Как он бледен. Или это кажется от сумерек? Голова его запрокинута назад, лицо неподвижно. Я никогда не видела лунатиков, но, должно быть, у лунатика, когда он скользит по карнизам крыши, такое лицо и такой напряженный взгляд.

Он держит карандаш в вытянутой руке, широко взмахивая им, будто дирижирует невидимым оркестром — вверх, вниз, направо, налево. Еще и еще. Внезапно его поднятая рука повисает в воздухе. Он наклоняет голову и застывает. И я снова слышу тихое ритмичное жужжание. Я не шевелюсь. Я сознаю, что здесь сейчас происходит чудо, что я не имею права присутствовать при нем.

Так вот как это происходит. А я и не знала. Не догадывалась. Я не раз видела, как Гумилев, наморщив лоб и скосив глаза, то писал, то зачеркивал какое-нибудь слово и, вслух подбирая рифмы, сочинял стихи. Будто решал арифметическую задачу. Ничего таинственного, похожего на чудо, в этом не было. И я не испытывала волнения, охватившего меня сейчас. Волнения и смутного страха, как перед чем-то сверхъестественным.

Сумерки все более сгущаются. Теперь бледное лицо Мандельштама превратилось в белое пятно и стало похожим на луну. Он уже не лунатик, а луна. И теперь уже я, как лунатик, не могу оторвать глаз от его лица. Мне начинает казаться, что от его лица исходит свет, что оно окружено сияющим ореолом.

Тихо. Даже жужжание прекратилось. Так тихо, что я слышу взволнованный стук своего сердца.

---

<sup>1</sup> веселое опьянение... грустное опьянение (*фр.*).

<sup>2</sup> «Пора в аду» (*фр.*).

Я не знаю, как мне уйти отсюда. Только бы он никогда не узнал, что я была тут, что я видела, что я подглядела, хотя и невольно. Я стою в нерешительности. Надо открыть дверь. Но если она скрипнет, я пропала.

И вдруг в этой напряженной магической тишине раздается окрик:

— Что же вы? Зажгите же электричество! Ведь совсем темно.

Это так неожиданно, что я, как разбуженный луна-тик, испуганно прислоняюсь к стене, чтобы не упасть.

— Что вы там делаете? Да зажгите же, наконец!

Я щелкаю выключателем и растерянно мигаю. Значит, он видел меня, знал, что я тут. Что же теперь будет? А он собирает со стола скомканные листки и сует их в карман пиджака. Совсем спокойно.

— У меня в комнате опять чад. Пришлось сюда спастись. С самого утра. — Он встает, отодвигает стул и потягивается. — Который теперь час? Неужели уже четыре? — Голос будничный, глухой, усталый. И весь он совсем не похож на того, от лица которого шло сияние. — Хотите послушать новые стихи?

Конечно! И как еще хочу. Но он не дает мне времени ответить и уже запекает:

Я слово позабыл, что я хотел сказать.  
Слепая ласточка в чертог теней вернется,  
На крыльях срезанных, с прозрачностью играть.  
В беспамятстве ночная песнь поется...

Я слушаю, затаив дыхание. Да, такая «песнь» не только поется, но и слушается в беспамятстве. А он продолжает в упоении, все громче, все вдохновеннее:

О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,  
И выпуклую радость узнаванья.  
Я так боюсь рыданья аонид...

И вдруг, не закончив строфы, резко обрывает:

— А кто такие аониды?

Я еще во власти музыки его стихов и не сразу соображаю, что это он спрашивает меня. Уже настойчиво и нетерпеливо:

— Кто такие аониды? Знаете?

Я качаю головой:

— Не знаю. Никогда не слыхала. Вот данаиды...

Но он прерывает меня:

— К черту данаид! Помните у Пушкина: «Рыдание безумных аонид»? Мне аониды нужны. Но кто они? Как с ними быть? Выбросить их, что ли?

Я уже пришла в себя. Я даже решаюсь предложить:

— А нельзя ли заменить аонид данаидами? Ведь ритмически подходит, и данаиды, вероятно, тоже рыдали, обезумев от усталости, наполняя бездонные бочки.

Но Мандельштам возмущенно машет на меня рукой:

— Нет. Невозможно. Данаиды звучит плоско... нищий, низкий звук! Мне нужно это торжественное, это трагическое, рыдающее «ао». Разве вы не слышите — аониды? Но кто они, эти проклятые аониды?

Он задумывается на минуту.

— А может быть, они вообще не существовали? Их просто-напросто гениально выдумал Пушкин? И почему я обязан верить вашей мифологии, а не Пушкину?

С этим я вполне согласна. Лучше верить Пушкину. И он, успокоившись, снова начинает, закинув голову:

Я слово позабыл, что я хотел сказать...

И я снова стою перед ним, очарованная, заколдованная. Я снова чувствую смутный страх, как перед чем-то сверхъестественным.

Только он один умеет так читать свои стихи. Только в его чтении они становятся высшим воплощением поэзии — «Богом в святых мечтах земли».

И теперь, через столько лет, когда вспоминаю его чтение, мне всегда приходят на память его же строки о бедуине, поющем ночью в пустыне...

...И если подлинно поется  
И полной грудью, наконец,  
Всё исчезает, остается  
Пространство, звезды и певец.

Да, когда Мандельштам пел свои стихи, все действительно исчезало. Ничего не оставалось, кроме звезд и певца. Кроме Мандельштама и его стихов.

Теперь, оглядываясь назад, мне трудно поверить, что мои встречи с Мандельштамом продолжались только

несколько месяцев. Мне кажется, что они длились годы и годы — столько у меня (и самых разнообразных) воспоминаний о нем.

Конечно, я знаю, что время в ранней молодости длится гораздо дольше. Или, вернее, летит с головокружительной быстротой и вместе с тем почти как бы не двигается. Дни тогда были огромные, глубокие, поместительные. Ежедневно происходило невероятное количество внешних и внутренних событий. И ощущение времени было совсем особенное. Как в романах Достоевского — у него тоже события одного дня вряд ли уместились бы в месяц реальной жизни.

Но этим все же трудно объяснить не только количество моих воспоминаний о Мандельштаме, но и их живость и яркость. Они как будто и сейчас еще не хотят укладываться на дно памяти и становиться далеким прошлым. Будто я вчера рассталась с ним. Дело тут, я думаю, не во мне, а в нем, в Мандельштаме. В его необычности, в его неповторимости. Каждая встреча с ним — а встречались мы почти ежедневно — чем-нибудь поражала и навсегда запоминалась.

Входя в Дом литераторов или в Диск, я всегда чувствовала, что он здесь, прежде чем видела его. И на публичной лекции среди множества слушателей безошибочно находила его, как будто над ним реял

Какой-то особенный свет,  
Какое-то легкое пламя,  
Которому имени нет.

Но у этого пламени было имя — благодать поэзии. Никогда, ни тогда, ни потом, я не встречала поэта, которого пламя благодати и поэзии так пронизывало бы, который сам как на костре горел, не сгорая в этом пламени. Мне кажется, что это пламя и сейчас освещает воспоминания о нем. И я, снова переживая их, не знаю, которое из них выбрать, все, что касается Мандельштама, мне одинаково дорого.

Вот, взятое почти наугад, наудачу, одно из воспоминаний.

Зимний вечер. Мы, то есть Мандельштам, Георгий Иванов и я, пьем чай у Гумилева. Без всякой торжественности, из помятого жестяного чайника — чай с изюмом из бумажного свертка. Это не прием. Я, возвращаясь с Гумилевым после лекции в Диске, зашла на минутку отогреть-

ся у печки. Георгий Иванов и Мандельштам столкнулись с нами на углу Преображенской и присоединились. И вот мы сидим вчетвером перед топящейся печкой.

— Ничего нет приятнее «нежданной радости» случайной встречи, — говорит Гумилев.

Я с ним согласна. Впрочем, для меня все встречи, случайные и неслучайные, «нежданная радость». Я как-то всегда получаю от них больше, чем жду.

— Есть у кого-нибудь папироса? — задает привычный вопрос Мандельштам. И папироса, конечно, находится. Гумилев подносит спичку Мандельштаму.

— Скорей, скорей закуривай. А то вся сера выйдет.

Мандельштам быстро закуривает, затягивается и заливается отчаянным задыхающимся клетотом. Он машет рукой, смеясь и кашляя. Слезы текут из его глаз.

— Удалось! Опять удалось, — торжествует Гумилев. — В который раз. Без промаха.

Спички серные. Продавая их, мальчишки кричат звонко на всю улицу:

Спички шведские,  
Головки советские,  
Пять минут вонь,  
Потом огонь!

Закуривать от них надо не спеша, крайне осторожно, дав сгореть сере. Все это знают. И Мандельштам, конечно, тоже. Но по рассеянности и «природной жадности», по выражению Георгия Иванова, всегда сразу торопливо закуривает. К общему веселью.

— А я вам сейчас прочту свои новые стихи, — говорит Георгий Иванов.

Это меня удивляет. Я уже успела заметить, что он не любит читать свои стихи. И, написав их, не носит с ними, не в пример Гумилеву и Мандельштаму, готовым читать свои новые стихи хоть десять раз подряд.

— Баллада о дуэли, — громко, важным, несвойственным ему тоном начинает Георгий Иванов.

И сразу становится ясно, что стихи шуточные. На них Георгий Иванов — «великий маг и волшебник», по определению Лозинского.

Все события нашей жизни сейчас же воспеваются в стихах, как воспевались и события прежних лет. Существовала и особая разновидность их — «античная глупость». Никогда, Впрочем, к недоумению Гумилева,

восхищавшегося ею, не смешившая меня. Приведу три примера из нее:

Сын Леонида был скуп. Говорил он, гостей принимая:  
— Скифам любезно вино, мне же любезны друзья.

Соль этого двустишья заключалась в том, что Лозинский, к которому оно относилось, славился гостеприимством. Или:

— Ливия, где ты была? — Я лежала в объятьях Морфея.  
— Женщина, ты солгала. В них я покоился сам.

И:

Пепли плечо и молчи,  
Вот твой удел, Златозуб! —

отмечающее привычку Мандельштама засыпать пеплом папиросы свое левое плечо, когда он сбрасывает пепел за спину. Предложение молчать подчеркивало его несмолкаемую разговорчивость.

— Баллада о дуэли, — повторяет Георгий Иванов и кидает насмешливый взгляд в мою сторону. Я краснею от смущения и удовольствия. «Баллада» значит подражание мне — и это мне очень лестно.

Георгий Иванов с напыщенной серьезностью читает о том, как в дуэли сошлись Гумилев и юный грузин Мандельштам.

...Зачем Гумилев головою поник,  
Что мог Мандельштам совершить?  
Он в спальню красавицы тайно проник  
И вымолвил слово «любить».

Взрыв смеха прерывает Иванова. Это Мандельштам, напрасно старавшийся сдержаться, не выдерживает:

— Ох, Жорж, Жорж, не могу! Ох, умру! «Вымолвил слово “любить”»!

Только на прошлой неделе Мандельштам написал свои прославившиеся стихи «Сестры тяжесть и нежность». В первом варианте вместо «Легче камень поднять, чем имя твое повторить» было: «Чем вымолвить слово “любить”».

И Мандельштам уверял, что это очень хорошо как

пример «русской латыни», и долго не соглашался переделывать эту строчку, заменить ее другой: «Чем имя твое повторить», — придуманной Гумилевым.

Мы выходим на тихую, пустую улицу. Ветер улегся. Все небо в звездах, и большие снежные сугробы сияют в полутьме. Мандельштам молча идет рядом со мной и, закинув голову, глядит на звезды не отрываясь. Я начинаю скандировать:

Я ненавижу бред  
Однообразных звезд.

И, оборвав, перескакиваю на другое стихотворение, меняя ритм шагов:

Что, если над модной лавкой,  
Сияющая всегда,  
Мне в сердце длинной булавкой  
Опустится вдруг звезда?

Мандельштам всегда с нескрываемым удовольствием слушает цитаты из своих стихов. Но сейчас он не обращает внимания и продолжает молчать. О чем он думает? И вдруг он говорит приглушенным грустным голосом, как будто обращаясь не ко мне, а к звездам:

— А ведь они не любят меня. Не любят.

От неожиданности я останавливаюсь.

— Да что вы, Осип Эмильевич? Никого другого так не любят, как вас!

Он тоже останавливается. Теперь он смотрит прямо мне в лицо широко открытыми глазами, и мне кажется, что в них отражаются звезды.

— Нет. Не спорьте. Не любят. Вечно издеваются. Вот и сегодня эта баллада!

— Но ведь это лестно, — убеждаю я.

— Про Гумилева никто не посмеет.

— Как не посмеет? Разве не про него «откушенный нос»? Это же нос Гумилева. Ваш зуб, а его нос.

Мандельштам качает головой.

— И все-таки больше всего смеются надо мной. Я и Златозуб, и «юный грузин». Неужели я уж такой шут гороховый, что надо мной нельзя не издеваться? Скажите, только правду, я вам тоже кажусь очень смешным?

— Нет, совсем нет. Напротив, — с полной искренно-



стью почти кричу я. — Я восхищаюсь вами, Осип Эмильевич!

Он недоумевающе разводит руками.

— Неужели? Ну, спасибо вам, если это правда. Спасибо. Не ожидал от вас. — Он берет меня под руку. — Но знаете, — продолжает он доверчиво, — они действительно не любят меня. Прежде любили, а теперь нет. В особенности Гумилев. И Жорж тоже разлюбил меня. А как мы с ним прежде дружили. Просто не разлучались. Я приходил с утра. Он всегда вставал поздно. Вместе у него пили чай и отправлялись вместе на целый день. Всюду — в «Аполлон», и в гости, и на вернисажи, и в «Бродячую собаку». Если поздно возвращались, я у него ночевал на диване. Ни с кем в Петербурге мне так хорошо не было, как с ним. Он замечательный. Я его совсем не за его стихи ценил, нет. За него самого. А теперь внешне все как будто почти по-прежнему, но настоящей дружбы уже и в помине нет. Они все очень изменились.

Я пытаюсь найти объяснение:

— Может быть, не только они, но и вы изменились за это время? Я сама совсем другая, чем два года тому назад.

Но он не слушает меня. Какое ему дело до того, какая я была прежде?

Он вдруг неожиданно начинает смеяться.

— У Жоржа была прислуга. Она меня терпеть не могла. Меня почему-то все прислуги не выносят, как собаки почтальонов. Жорж как-то повесил у себя над диваном портрет Пушкина. А прислуга возмутилась: «Эх, мало вам, что ваш Осип тут с утра торчит. Еще, чтобы любоваться, его богомерзкую морду на стенку повесили». И так и не поверила, что это не моя богомерзкая морда. Все же, хоть и душой-бабой, а лестно быть принятым за Пушкина.

— Конечно, лестно.

— А вот в Киеве, — продолжает он, оживляясь, — там меня действительно любили. И еще как! Нигде мне так приятно не жилось, как в Киеве. Сначала приняли сдержанно и даже холодно. Киевляне народ гордый. Перед петербуржцами не низкопоклонничают. Пригласили меня в какой-то поэтический кружок. Я пошел. Квартира барственная. Даже чересчур. И ужин соответствующий. Все чинно и чопорно. И я стараюсь держаться важно и надменно. Смотрю поверх их голов и делаю

вид, что не замечаю соседей за столом. Будто здесь пустые стулья. И отвечаю нарочно невпопад. Перешли в гостиную пить кофе. Хозяин просит меня почитать стихи. А у меня от смущения и застенчивости — я ведь очень застенчив — все из головы вылетело. Дыра в мозгу. И, чтобы не потерять лицо, я заявляю: «Я сегодня не расположен читать». И вдруг один молодой человек робко спрашивает меня: «Тогда, может быть, позволите нам за вас?» И начал читать наизусть: «Дано мне тело» и потом «Есть целомудренные чары». А за ним другой уже запекает без передышки: «Сегодня дурной день». И так по очереди они весь «Камень» наизусть отхватили, ничего не пропустив, ни разу не споткнувшись. Я просто своим ушам не верил. Сижу, обалдев, красный, еле сдерживаю слезы. Когда кончили, стали меня обнимать и признаваться в любви. С этого вечера и началась у нас теснейшая дружба. Как они обо мне все заботились! Мы ежедневно встречались в кафе на Николаевской улице, и каждый приносил мне подарок. Про банку варенья вы уже знаете. Да, там мне жилось отлично. Там я в первый раз почувствовал себя знаменитым. Со мной все носились, как здесь с Гумилевым. И никто не смел со мной спорить. Тамошний мэтр Бенедикт Лившиц совсем завял при мне. Должно быть, люто мне завидовал, но вида не подавал.

И Мандельштам неожиданно заканчивает:

— А может быть, вы и правы. Я там изменился. Хлебнул славы и поклонения. Отвык от насмешек. Я в Киеве княжил, а тут Гумилев верховодит. И не совсем, создайтесь, по праву. Вот мне иногда и обидно.

Мы дошли до моего дома.

— Спокойной ночи, Осип Эмильевич.

Мандельштам торопливо прощается:

— Спокойной ночи. Побегу, а то они без меня все морковные лепешки съедят.

И он действительно пускается почти бегом не по тротуару, а по середине улицы, увязая в рыхлом снегу.

Я вхожу в подъезд, ошупью добираюсь до лестницы и в темноте, держась за перила, медленно поднимаюсь. Как я устала. Как мне грустно. Мне жаль Мандельштама. До боли. До слез. «Бедный, бедный! Я не сумела утешить его. Вздор! — уговариваю я себя. — Он не нуждается в моем утешении. И что я могла ему сказать?» Но сердце продолжает ныть. Нет, никакого предчувствия его страшного конца у меня, конечно, не было ни тогда, ни потом.

Не только у меня, но и у него самого не было. Скорее, напротив. Ему казалось, что он всех должен пережить, что другие умрут раньше его. Так, он писал о Георгии Иванове:

...Но я боюсь, что раньше всех умрет  
Тот, у кого тревожно-красный рот  
И на глаза спадающая челка.

А о себе:

Неужели же я настоящий  
И действительно смерть придет?

Я как-то, еще в самом начале знакомства, спросила его:  
— Осип Эмильевич, неужели вы, правда, не верите, что умрете?

И он совершенно серьезно ответил:

— Не то что не верю. Просто я не уверен в том, что умру. Я сомневаюсь в своей смерти. Не могу себе представить. Фантазии не хватает.

Нет, это не было предчувствие. Но жалость к Мандельштаму осталась навсегда.

Через несколько дней я решила сказать Гумилеву:

— Николай Степанович, знаете, мне кажется, Мандельштаму обидно, что его называют Златозуб и постоянно высмеивают.

Но Гумилев сразу осадил меня:

— Экая правозаступница нашлась! С каких это пор цыплята петухов защищают? И ничего вы не понимаете. Мандельштаму, по-вашему, обидно, что над ним смеются? Но если бы о нем не писали шуточных стихов, не давали бы ему смешных прозвищ, ему было бы, поверьте, еще обиднее. Ему ведь необходимо, чтобы им все всегда занимались.

Я не стала спорить, и Гумилев добавил примирительно:

— Его не только любят и ценят, но даже часто переоценивают. И как не смеяться над тем, что смешно? Ведь Мандельштам — ходячий анекдот. И сам старается подчеркнуть свою анекдотичность. При этом он по-женски чувствителен и чуток. Он прекрасно раскусил вас. И разыгрывает перед вашей жалостливой душой униженного и оскорбленного. Что же, жалеете его, жалеете! Зла от этого не будет ни ему, ни вам...

И вот еще одно воспоминание. Трагикомическое воспоминание. Мандельштам был чрезвычайно добр. Он был готов не только поделиться последним, но и отдать последнее, если его об этом попросят. Но он был по-детски эгоистичен и по-детски же не делал разницы между моим и твоим.

Это была очень голодная зима. Хотя я и научилась голодать за революционные годы, все же так я еще не голодала. Но делала я это весело, легко и для окружающих малозаметно. Я жила в большой, прекрасно обставленной квартире — в Петербурге квартирного кризиса тогда не было и никого не «уплотняли» еще. Я была всегда очень хорошо одета. О том, как я голодаю, знал один только Гумилев. Но он, по моей просьбе, никому не открывал моей тайны. А голодала я до головокружения, «вдохновенно». Мне действительно часто казалось, что голод вызывает вдохновение и помогает писать стихи, что это от голода

...Так близко подходит чудесное  
К покосившимся грязным домам.

Когда я выходила на улицу, мне иногда казалось, что и небо, и стены домов, и снег под ногами — все дышит вдохновением и что я сама растворяюсь в этом общем вдохновении и превращаюсь в стихотворение, уже начинающее звучать в моей голове.

В один из таких моих особенно «вдохновенных» дней, когда вечером предстояло собрание Цеха, я по пути в Диск, где заседал Цех, зашла в Дом литераторов за своей кашей, составлявшей для меня сразу и завтрак, и обед, и ужин. Я решила, что перед Цехом необходимо поесть попозже. В вестибюле Дома литераторов меня встретил Ирецкий.

— Вас-то мне и надо! — приветствовал он меня. — Пойдемте ко мне в кабинет, решим, когда вы будете выступать на следующем вечере. В первом или втором отделении?

Мне так хотелось есть, что я стала отказываться, ссылаясь на необходимость идти скорее в Цех.

— Завтра решим. А сейчас мне надо стать в хвост за кашей. Я ужасно тороплюсь.

Но Ирецкий настаивал:

— Успеете. Вот и Осип Эмильевич еще здесь. Он, пока мы будем с вами разговаривать, похвостится за ва-

шей кашей. Ведь свою он уже съел. Вы не потеряете ни минуты. Идемте!

Мандельштам с полной готовностью согласился «похвоститься» за меня. А я пошла с Ирецким.

Он действительно не задержал меня. Я торопливо вошла в полукруглую комнату с окнами в сад, где перед столом с огромным котлом выстроилась длинная очередь. Мандельштама в ней не было. Я облегченно вздохнула: «Значит, уже получил и ждет меня в столовой».

Мандельштам действительно уже сидел в столовой. Но перед ним вместо моей каши стояла пустая тарелка.

— Отчего же вы не взяли каши, ведь вы обещали? — начала я еще издали с упрека.

— Обещал и взял, — ответил он.

— Так где же она? — недоумевала я.

Он сладко, по-кошачьи зажмурился и погладил себя по животу.

— Тут. И превкусная кашка была. С моржеватиной.

Но я не верила. Мне казалось, что он шутит. Не может быть!

— Где моя каша? Где?

— Я же вам объясню, что съел ее. Понимаете, съел. Умял. Слопал.

— Как? Съели мою кашу?!

Должно быть, в моем голосе прозвучало отчаяние. Он покраснел, вскочил со стула и растерянно уставился на меня.

— Вы? Вы правда хотели ее съесть? Вы правда голодны? Вы не так, только для порядка, чтобы не пропадало, хотели ее взять? — сбивчиво забормотал он, дергая меня за рукав. — Вы голодны? Голодны? Да?..

Я чувствую, что у меня начинает щекотать в носу. О, Господи, какой скандал: я — Одоевцева, я — член Цеха и плачу оттого, что съели мою кашу!

— Скажите, вы правда голодны? — не унимался Мандельштам. — Но ведь это тогда было бы преступлением! Хуже преступления — предательством. Я оказался бы последним мерзавцем, — все больше волнуясь, кричал он, возмущенно теребя меня за рукав.

Я уже кое-как успела справиться с собой. Нет, я не заплакала.

— Успокойтесь. Я шучу. Я хотела вас попугать. Я только что дома ела щи с мясом и жареную на сале картошку.

И — что бы еще придумать особенно вкусного?

— И селедку! И варенье!

— Правда? Не сочиняете? Я ведь знаю, вы буржуазно живете и не можете быть голодны. А все-таки я готов пойти и сознаться, что я утянул вашу кашу. Пусть меня хоть из членов Дома литераторов исключат. Пусть!

Но я уже смеюсь.

— За это вас вряд ли исключили бы. Но говорить ничего не надо. Пойдемте, а то мы опоздаем в Цех. И это уже будет настоящим преступлением. Не то что кашу съесть.

Всю дорогу в Цех Мандельштам продолжал переживать эпизод с кашей, обвиняя не только себя, но и меня:

— Как вы меня испугали. Разве можно так шутить? Я бы никогда не простил себе, если бы вы правда были голодны. Я страшно боюсь голода, страшно.

В эту ночь, засыпая, я подумала, что я сегодня совершила хороший поступок и за него мне, наверное, отпустится какой-нибудь грех, очень тяжелый грех.

Правда, ни одного хорошего поступка по отношению к Мандельштаму мне больше, к сожалению, совершить не удалось.

Костюмированный бал в Доме искусств в январе 1921 года — «гвоздь петербургского зимнего сезона», как его насмешливо называют.

Мандельштам почему-то решил, что появится на нем немецким романтиком, и это решение принесло ему немало хлопот. Костюм раздобыть нелегко. Но Мандельштам с несвойственной ему энергией победил все трудности и принес откуда-то большой пакет, завернутый в простыню.

— Не понимаю, — говорит Гумилев, пожимая плечами, — чего это Златозуб суетится. Я просто надену мой фрак.

«Просто». Но для того, чтобы надеть «мой фрак», ему требуется длительная и сложная подготовка в виде утюжки, стирки и наведения предельного блеска на башмаки — лакированных туфель у него нет. Все это совсем не просто. А в облаченном в «мой фрак» Гумилеве и подавно ничего простого нет. Напротив. Он еще важнее, чем обыкновенно.

— Всегда вспоминаю пословицу «L'habit fait le moine»<sup>1</sup>, как погляжу на тебя офраченного, Николай Степанович, — говорит Лозинский. — Только тебя habit

---

<sup>1</sup> «Одежда делает монаха» (фр.).

не монахом делает, а монархом. Ты во фраке, ни дать ни взять, — коронованная особа, да и только.

Гумилев притворно сердито отмахивается от него:

— Без острословия ты уж не можешь, Михаил Леонидович!..

Но я по глазам его вижу, что сходство с коронованной особой ему очень приятно.

Я надела одно из бальных платьев моей матери: золотисто-парчовое, длинное-предлинное, с глубоким вырезом, сама, как умела, ушив его. На голове вместо банта райская птица широко раскинула крылья. На руках лайковые перчатки до плеча, в руках веер из слоновой кости и бело-розовых страусовых перьев, с незапамятных лет спавший в шкатулке.

Я постоянно закрываю, открываю его и обмахиваюсь им. Я в восторге от него и еще дома, одеваясь, сочинила о нем строфу:

Мой белый веер  
Так нежно веет,  
Нежней жасминовых ветвей,  
Мой белый веер, волшебный веер,  
Который стал душой моей.

Нет, я не прочту ее Гумилеву. Мне, эпическому поэту, автору баллад, она совсем не идет. Она из цикла жеманно-женственных стихов, тех, что Гумилев называет: «Я не такая, я иная» — и «до кровоотмщения» ненавидит.

В этом необычайном наряде я очень нравлюсь себе — что со мной бывает крайне редко — и уверена, что должна всем нравиться. Я останавливаюсь перед каждым зеркалом, любуюсь собой, и не могу на себя наглядеться.

Костюмированных на балу — кроме пасторальной пары Олечки Арбениной и Юрочки Юркуна, пастушки и пастушка, Ларисы Рейснер, Нины из «Маскарада» Лермонтова, и романтика Мандельштама — почти нет.

Поздоровавшись с Мандельштамом, я, даже не осведомившись у него, кого именно из немецких романтиков он собой представляет, спрашиваю:

— А где ваша жаба?

О жабе я узнала от Гумилева, когда мы с ним шли на бал. Не ехали на бал в карете или в автомобиле, а шли пешком по темным снежным улицам.

— У Мандельштама завелась жаба!

И Гумилев рассказывает, что они с Георгием Ивано-

вым встретились сегодня перед обедом в Доме искусств. Ефим, всеми уважаемый местный «товарищ служающий», отлично осведомленный о взаимоотношениях посетителей и обитателей Дома, доложил им, что «Михаил Леонидович вышли, господин Ходасевич в парикмахерской бреются, Осип Эмильевич на кухне жабу гладят».

— Жабу? — переспрашивает Жоржик.

— Так точно. Жабу. К балу готовятся.

— Я-то сразу смекнул, в чем дело. Жабу гладит — магнетические пассы ей делает. — Гумилев многозначительно смотрит на меня из-под оленьей шапки и продолжает, еле сдерживая смех: — Чернокнижием, чертовщиной занимается. Жабу гладит — хочет Олечку приворожить. Только где ему жабу раздобыть удалось? Мы с Жоржиком решили молчать до бала о жабе.

Так жаба, по воле Гумилева и Георгия Иванова, материализовалась и стала реальной. А став реальной и зажив своей жабьей жизнью, не могла остаться невоспетой.

И вот мы с Гумилевым, хохоча и проваливаясь в снежные сугробы, уже сочинили начало «Песни о жабе и колдуне».

Слух о том, что у Мандельштама завелась жаба и он ее гладит, молниеносно разнесся по залам и гостиным. Жабой все заинтересовались.

Мандельштам в коротком коричневом сюртуке, оранжевом атласном жилете, густо напудренный, с подведенными глазами, давясь от смеха, объясняет, тыкая пальцем в свою батистово-кружевную грудь:

— Жабо, вот это самое жабо на кухне гладил. Жабо, а не жабу.

Ему никто не хочет верить.

— С сегодняшнего дня, — торжественно объявляет ему Гумилев, — тебе присваивается чин Гладящий жабу. И уже разрабатывается проект Ордена жабы. Шейного, на коричневой ленте. Поздравляю тебя! Жаба тебя прославит. О ней уже складывают песню. Слушай!

И Гумилев с пафосом читает сочиненное нами по дороге сюда начало «Песни о жабе и колдуне»:

Маг и колдун Мандельштам  
Жабу гладит на кухне.  
Блох, тараканов и мух не  
Мало водится там.  
— Слопай их, жаба, распухни  
И разорвись пополам!..



Все смеются, не исключая и самого «мага и колдуна». Но смех его не так безудержен и заразителен, как всегда. Неужели он обиделся?

А приставанья и расспросы о жабе продолжают беспрерывно и назойливо.

— Брось, Осип! Не лукавь, признавайся, — убеждает его Георгий Иванов. — Я ведь давным-давно догадался, что ты занимаешься магией, чернокнижием и всякой чертовщиной — по твоим стихам догадался.

Я очень люблю танцевать, но ни Гумилев, ни Мандельштам, ни Георгий Иванов не танцуют — из поэтов танцует один Оцуп. Но танцоров на балу все-таки сколько угодно.

Между двумя тустепами я слышу все те же разговоры о жабе. Мандельштам продолжает отшучиваться, но уже начинает нервничать и раздражаться.

— Я на твоём месте отдавал бы жабу напрокат, внаем, — говорит Гумилев. — Я сам с удовольствием возьму ее на недельку-другую для вдохновения — никак не могу своего «Дракона» кончить. Я хорошо заплачу. Не торгуясь, заплачу и в придачу привезу тебе из Бежецка банку варенья. Идет? По рукам? Даешь жабу?..

Мандельштам морщится:

— Брось. Довольно. Надоело, Николай Степанович!

Но когда сам Лозинский — образец такта и корректности — осведомляется у него о драгоценном здоровье Жабы Осиповны и просит передать ей почтительный привет, Мандельштам не выдерживает:

— Сдохла жаба! Сдохла! — кричит он, побагровев. — Лопнула! И терпение мое лопнуло. Отстаньте от меня. Оставьте меня в покое! — И он, расталкивая танцующих, бежит через зал и дальше, через столовую и коридор, к себе, в свою комнату.

Лозинский разводит недоумевающе руками и, глядя ему вслед:

— Гарун бежал быстрее лани. Что же это с юным грузином стало? Обиделся?

Но мы смущены. Мы понимаем, что перетянули нитку, не почувствовали границы «jusqu'ou on peut aller trop loin»<sup>1</sup> и безнаказанно перемахнули через нее.

Спешно снаряжается делегация. Она должна принести Мандельштаму самые пламенные, самые уни-

---

<sup>1</sup> «зайти слишком далеко» (фр.).

женные извинения и во что бы то ни стало, непременно привести его.

После долгих стуков в запертую дверь, после долгих бесплодных просьб и уговоров Мандельштам наконец сдается — с тем, «чтобы о проклятой жабе ни полслова».

Его возвращение превращается в триумф. Его встречают овацией.

— Не вернись ты, Осип, — Гумилев обнимает его за плечи, — бал превратился бы в катастрофу.

— А теперь, — громко и радостно заявляю я, — так весело, так весело, как еще никогда в жизни не было!

— Неужели? — спрашивает меня Лозинский. — Сколько уж раз мне приходилось слышать от вас это самое: «сегодня так весело, как еще никогда в жизни» — и всегда с полной убежденностью и искренностью. Объясните, пожалуйста, как это возможно?

За меня отвечает Гумилев:

— Потому что это всегда правда, сущая правда. Как и кузминское:

И снова я влюблен впервые,  
Навеки снова я влюблен, —

сущая правда. Это каждый из нас сам, по своему личному опыту знает.

И все опять смеются.

Так веселились поэты. Так по-детски, бесхитростно, простодушно. Смеялись до слез над тем, что со стороны, пожалуй, даже и смешным не казалось.

А «Песня о жабе и колдуне» осталась незаконченной. Ведь мы обещали Мандельштаму — «о проклятой жабе ни полслова».

А жаль!

Мандельштам относился к занятиям в литературной студии «без должного уважения», как он сам признавался.

— Научить писать стихи нельзя. Вся эта «поэтическая учеба», в общем, ни к чему. Я уже печатался в «Аполлоне», и с успехом, — рассказывал он, — когда мне впервые пришлось побывать на Башне у Вячеслава Иванова по его личному приглашению. Он очень хвалил мои стихи: «Прекрасно. Прекрасно. Изумительная у вас оркестровка ямбов, читайте еще. Мне хочется послушать

ваши анапесты или амфибрахии». А я смотрю на него, выпучив глаза, и не знаю, что за звери такие анапесты и амфибрахии. Ведь я писал по слуху и не задумывался над тем, ямбы это или что другое. Когда я сказал об этом Вячеславу Иванову, он мне не поверил. И убедить его мне так и не удалось. Решил, что я «вундеркиндствую», и охладел ко мне. Впрочем, вскоре на меня напал Гумилев. Просвятил меня, посвятил во все тайны. Я ведь даже удостоился чести быть объявленным акмеистом. Сами понимаете, какой я акмеист? Но по слабости характера я позволил наклеить себе на лоб ярлык и даже усердно старался писать по-акмеистически — хотя бы это, помните?

От вторника и до субботы  
Одна пустыня пролегла.  
О, длительные перелеты!  
Семь тысяч верст — одна стрела.

И ласточки, когда летели  
В Египет водяным путем,  
Четыре дня они висели,  
Не зачерпнув воды крылом.

Гумилев просто в восторге от него был. За акмеистическую точность — «от вторника и до субботы», «семь тысяч верст», «четыре дня» — устроил мне в Цехе всенародный триумф. Трудно, очень трудно мне было освободиться от его менторства, но все же удалось. Выкарабкался и теперь в «разноголосице девического хора пою на голос свой». Ведь Гумилев, сами знаете, такой убедительный, прирожденный Учитель с большой буквы. И до чего авторитетен. И до чего любит заводить литературные споры и всегда быть правым.

Мандельштам не любил литературных споров, не щеголял своими знаниями, не приводил ученых цитат, как это делал Гумилев. Мандельштам — в этом он был похож на Кузмина — как будто даже стеснялся своей «чрезмерной эрудиции» и без особой необходимости не обнаруживал ее, принимая кредо Кузмина:

Дважды два четыре,  
Два и три — пять.  
Это все, что знаем,  
Что нам надо знать.

Но разница между Кузминым и Мандельштамом была в том, что Кузмин действительно был легкомыслен, тогда как Мандельштам только притворялся и под легкомыслием старался скрыть от всех — а главное от себя — свое глубоко трагическое мироощущение, отгораживаясь от него смехом и веселостью. Чтобы не было слишком страшно жить.

Меньше всего Мандельштам хотел выступать в роли учителя.

И все же, очень скоро поняв, что меня, как он выражался, «мучит неутолимая жажда знаний», без всякой просьбы с моей стороны взял на себя эту несвойственную ему роль. И стал меня — когда мы оставались с глазу на глаз — полегоньку подучивать. Делал он это как-то совсем ненарочито, будто случайно, заводя разговор то о Рильке, то о Леопарди, то о Жераре де Нервале, то о Гриммельсхаузене, о котором я до него понятия не имела. От него я узнала очень многое, что запомнила на всю жизнь.

Так, это он открыл мне, что последние строки «Горе от ума» — просто неуклюжий перевод последних строк «Мизантропа». И что в «Мизантропе» были в первом издании еще две строки, свидетельствовавшие о том, что Алцест не так уж решительно и навсегда порывает со «светом». В правильности его слов мне удалось убедиться только в Париже. Как это ни странно, сам великий литспец (слова «литературовед» тогда еще не существовало) Лозинский спорил со мной, что или я не так поняла, или Мандельштам просто разыграл меня. Оказалось, что две последние строчки «Мизантропа» действительно были отброшены за «несценичность» и в книгах, и в театре.

От Мандельштама же я узнала, что лозунг «Мир хижинам, война дворцам» принадлежит не Ленину, а Шамфору. И еще много других разнообразных сведений получила я от него во время бесконечных хождений по Петербургу.

— Только не рассказывайте Гумилеву о наших разговорах. А то он рассердится и на меня, и на вас. Ведь это его прерогатива — учить вас уму-разуму. Вообразит еще, что я на нее посягаю. А ведь я толком ничего не знаю. И никого ничему научить не могу. Я, слава Богу, аутодидакт и горжусь этим.

Была весна, и наступили белые ночи. Белые, сияющие, прозрачные. В одну из таких ночей мы возвращались по Дворцовой набережной после концерта. Мандельштам был бледен и взволнован.

— Знаете, я с детства полюбил Чайковского, на всю жизнь полюбил, до болезненного иступления. Мы летом жили на даче, и я ловил музыку из-за колючей изгороди. Я часто рвал свою матроску и расцарапывал руку, пробираясь зайцем к раковине оркестра. Это там, на Рижском взморье, в Дуббельне, для меня впервые оркестр захлебывался Патетической симфонией Чайковского, и я тонул в ней, как в Балтийском заливе. А потом уже появился для меня, как центр мира, Павловский вокзал. В него я стремился, как в некий Элизиум. Помните у Тютчева: «Моя душа — Элизиум теней...»? Но это был Элизиум звуков и душ, в котором царили Чайковский и Рубинштейн. Я с тех пор почувствовал себя навсегда связанным с музыкой, без всякого права на эту связь. Незаконно. Когда, как сегодня, я слушаю и потрясаюсь до наслаждения, вернее, наслаждаюсь до потрясения, мне вдруг делается страшно: вот сейчас все кончится ужасным скандалом, меня позорно выведут. Возьмут под руки и — из концертной залы, из салона меценатки — в шею, кубарем по лестнице. Опозорят. Погубят. И так страшно, что я пьянею от страха. Скажите, разве это можно назвать любовью к музыке?

Я растерянно молчу, но ведь он и не ждет ответа. Он продолжает:

— А для Гумилева, как, впрочем, и для обожаемого им Теофиля Готье и Виктора Гюго, «музыка — самый неприятный из всех видов шума». И поэтому ему, конечно, несравненно легче жить. Ведь музыка не окрыляет, а отравляет жизнь.

Он вдруг перескакивает на совсем другую тему:

— А ваш «Извозчик» мне симпатичен, хорошо, что вы о нем написали балладу.

Он продолжает:

— Петербургский извозчик всегда был мифом. А советский уж и подавно. Его нужно пускать по меридиану. А вы его — и отлично сделали — в рай впустили. И ведь сознайтесь, вы об осле Жамма ничего не слышали? А?

Я качаю головой.

— Не слыхала. Что это за осел такой?

— Двоюродный брат вашей лошади. Тоже райский. В рай попал. Но и мы с вами сейчас в гранитном раю.

Он замолкает и наклоняет голову набок, будто прислушивается к чему-то.

Дворцы, мосты и небо — все сияет, и все бело и призрачно. Кажется, еще минута, и этот «гранитный рай» растает и растворится в белом сиянии. Останутся только белое небо и белые воды Невы.

— Слышите, как они поют? — Мандельштам указывает рукой на дворцы, тянущиеся длинным рядом по набережной. — Неужели не слышите? Странно. Ведь у них у каждого свой собственный голос. И собственная мелодия. Да, лицо. Некоторые похожи на сборник стихов. Другие — на женские портреты, на античные статуи. Ведь архитектура ближе всего поэзии. И дополняет, воплощает ее. Неужели вы и этого не видите? И ничего не слышите?

Я снова качаю головой:

— Нет, решительно ничего не слышу. И не вижу ни статуй, ни портретов, ни книг. Одни дворцы.

Он разводит руками.

— Жаль. А я иногда выхожу сюда ночью. Слушаю и смотрю. Нигде не чувствую столько поэзии, такого восхитительного, такого щемящего одиночества, как ночью здесь.

Я не выдерживаю:

— Но вы всегда говорите, что ненавидите, боитесь одиночества.

— Мало ли что я говорю, — прерывает он меня, — всему верить не стоит. Впрочем, я всегда искренен. Но я ношу в себе, как всякий поэт, спасительный яд противоречий. Это не я, а Блок сказал. И это очень умно, очень глубоко. И правильно. Конечно, я ненавижу одиночество. И люблю его. — И, помолчав, прибавляет: — Страстно люблю... Люблю и ненавижу, как женщину, изменяющую мне.

Мандельштам исчез из Петербурга так же неожиданно, как и появился в нем.

В один прекрасный день он просто исчез. Я даже не могу назвать дату его исчезновения. Знаю только, что это было в начале лета 1921 года.

Мне не пришлось с ним ни прощаться, ни провожать его. У меня с ним не было последней встречи. Той грустной встречи, к которой готовишься заранее тревожной мыслью: а вдруг мы больше никогда не увидимся?

Мы расстались весело, уверенные, что через неделю снова встретимся. Я уезжала на неделю в Москву. И это никак не могло считаться разлукой. «Разлукой — сестрой смерти», по его определению. Но неделя в Москве превратилась в месяцы, и когда я наконец вернулась в Петербург, Мандельштама в нем уже не было.

На расспросы, куда он уехал, я не получила ответа. Никто не знал куда. Уехал в неизвестном направлении. Исчез. Растворился, как дым. Впрочем, загадкой исчезновения Мандельштама занимались мало, ведь это была трагическая осень смерти Блока и расстрела Гумилева. Я и сейчас не знаю, куда из Петербурга уехал Мандельштам и почему он никого не предупредил о своем отъезде.

В Москве — в те два месяца, что я провела в ней, — его, во всяком случае, не было. Он бы, конечно, разыскал меня и, конечно, присутствовал бы на вечере Гумилева, остановившегося проездом на сутки в Москве после своего крымского плавания с Немцем.

Да, Мандельштам исчез. Исчез. «И вести не шлет. И не пишет». Это, впрочем, никого не удивляло. Перепиской из нас никто не занимался. Почте перестали доверять. Письма, и то очень редко, пересылали, как в старину, с оказией. Эпистолярное искусство почти заглохло в те дни. И вдруг — уже весной 1922 года, до Петербурга долетел слух: Мандельштам в Москве. И он женат. Слуху этому плохо верили. Не может быть. Вздор. Женатого Мандельштама никто не мог себе представить.

— Это было бы просто чудовищно, — веско заявил Лозинский. — «Чудовищно», от слова «чудо», впрочем, не без некоторого участия и чудовища.

Но побывавший в Москве Корней Чуковский, вернувшись, подтвердил правильность этого «чудовищного» слуха. Он, как всегда, «почтительно ломаясь пополам» и улыбаясь, заявил:

— Сущая правда! Женат.

И на вопрос: на ком? — волнообразно разведя свои длинные, гибкие, похожие на щупальца спрута руки, с недоумением ответил:

— Представьте, на женщине.

Потом стало известно, что со своей женой Надеждой Хазиной Мандельштам познакомился еще в Киеве. Возможно, что у него уже тогда возникло желание жениться на ней.

Но как могло случиться, что он, такой безудержно

болтливый, скрыл это от всех? Ведь, приехав в Петербург, он ни разу даже не упомянул имени своей будущей жены, зато не переставал говорить об Адалис, тогдашней полуофициальной подруге Брюсова. И всем казалось, что он увлечен ею не на шутку.

Георгий Иванов даже сочинил обращение Мандельштама к Адалис. Чтобы понять его, следует знать, что многие литовские фамилии кончаются на «ис».

Страстной влюбленности отданный,  
Вас я молю, как в огне:  
Станьте литовскою подданной  
По отношению ко мне.

Но в Петербурге Мандельштам недолго помнил об Адалис и вскоре увлекся молодой актрисой, гимназической подругой жены Гумилева. Увлечение это, как и все его прежние увлечения, было «катастрофически гибельное», заранее обреченное на неудачу и доставило ему немало огорчений. Оно, впрочем, прошло быстро и сравнительно легко, успев все же обогатить русскую поэзию двумя стихотворениями: «Мне жалко, что теперь зима» и «Я наравне с другими».

Помню, как я спросила у Мандельштама, что значат и как понять строки, смешившие всех:

И сам себя несу я  
Как жертву палачу?

Я недоумевала. Чем эта добродушная, легкомысленная и нежная девушка походит на палача? Но он даже замахал на меня рукой:

— И ничуть не похожа. Ничем. Она тут вовсе ни при чем. Неужели вы не понимаете? Дело не в ней, а в любви. Любовь всегда требует жертв. Помните, у Платона: любовь одна из трех гибельных страстей, что боги посылают смертным в наказание. Любовь — это дыба, на которой хрустят кости; омут, в котором тонешь; костер, на котором горюшь.

— Неужели, Осип Эмильевич, вы действительно так понимаете любовь?

Он решительно закинул голову и выпрямился.

— Конечно. Иначе это просто гадость. И даже свинство, — гордо прибавил он.

— Но вы ведь не в первый раз влюблены? Как же? —



не сдавалась я. — Или вы по Кузмину каждый раз:

И снова я влюблен впервые,  
Навеки снова я влюблен?

Он кивает, не замечая насмешки в моем голосе:

— Да, всегда в первый раз. И всегда надеюсь, что навсегда, что до самой смерти. А то, прежде, — ошибка. — Он вздыхает. — Но сколько ошибок уже было. Неужели я так никогда и не буду счастлив в любви? Как вам кажется?

Я ничего не отвечаю. Тогда мне казалось, что никогда он не будет счастлив в любви.

Я помню еще случай, очень характерный для его романтически-рыцарского отношения к женщине. О нем мне рассказал Гумилев.

Как-то после литературного вечера в Диске затеяли по инициативе одной очаровательной светской молодой дамы, дружившей с поэтами и, что еще увеличивало для поэтов ее очарование, не писавшей стихов, довольно странную и рискованную игру. Она уселась посреди комнаты и предложила всем присутствующим поэтам подходить к ней и на ухо сообщать ей о своем самом тайном, самом сокровенном желании. О том, что невозможно громко сказать. Поэты подходили по очереди, и каждый что-то шептал ей на ухо, а она то смеялась, то взвизгивала от притворного возмущения, то грозила пальчиком.

Вот подошел Николай Оцуп, и она, выслушав его, весело и поощрительно крикнула: «Нахал!» За ним, смущаясь, к ней приблизился Мандельштам. Наклонившись над ней, он помолчал с минуту, будто не решаясь, потом нежно коснулся завитка над ее ухом, прошептал: «Милая...» — и сразу отошел в сторону.

Соблюдая очередь, уже надвигался Нельдихен, но она вскочила вся красная, оттолкнув его.

— Не хочу! Довольно! Вы все мерзкие, грязные! — крикнула она. — Он один хороший, чистый! Вы все недостойны его! — Она схватила Мандельштама под руку. — Уйдем от них, Осип Эмильевич! Уйдем отсюда!

Но Мандельштам, покраснев еще сильнее, чем она, вырвал свою руку и опрометью бросился бежать от нее, по дороге чуть не сбив с ног Лозинского.

За ним образовалась погоня.

— Постой, постой, Осип! Куда же ты? Ведь ты выиграл! Ты всех победил! Постой! — кричал Гумилев.

Но Мандельштам уже летел по писательскому коридору. Дверь хлопнула. Щелкнул замок. Мандельштам заперся в своей комнате, не отвечая ни на стуки, ни на уговоры.

И так больше и не показался в тот вечер.

— Только вы и виду не подавайте, что я рассказал вам. Ведь он чувствует себя опозоренным, оттого что его назвали «чистый», и не знает, куда деваться от стыда, — заканчивает Гумилев и добавляет: — Какой смешной, какой трогательный. Такого и не выдумаешь нарочно.

И вот оказалось, что Мандельштам женился. Конечно, неудачно, катастрофически губительно. Иначе и быть не может. Конечно, он предельно несчастен. Бедный, бедный!..

То, что его брак может оказаться счастливым, никому не приходило в голову. Наверно, скоро разведется, если еще не развелся. Нет в мире женщины, которая могла бы с ним ужиться. Нет такой женщины. И быть не может.

В начале августа 1922 года Георгию Иванову пришлось побывать в Москве по делу своего выезда за границу. Уезжал он вполне легально, «посланный в Берлин и в Париж для составления репертуара государственных театров». То, что командировка не оплачивалась, а шла за счет самого командированного, слегка убавляло ее важность. Все же она звучала вполне убедительно и почтенно, хотя и была липовой.

Георгий Иванов провел в Москве всего день — от поезда до поезда. Но, конечно, разыскал Мандельштама. И часто мне потом рассказывал об этой их встрече.

Мандельштам жил тогда — если не ошибаюсь — в Доме писателей. На седьмом этаже. В огромной, низкой комнате, залитой солнцем. Солнце проникало в нее не только в окно, но и в большую квадратную дыру в потолке.

Мандельштам бурно обрадовался Георгию Иванову.

— А я уже думал, никогда не увидимся больше. Что тебя пришьют к делу Гумилева и — фьют, фьют — на Соловки или еще подальше. Ну, слава Богу, слава Богу.

Я и за себя страшно боялся. Сколько ночей не спал. Все ждал: спохватятся, разыщут, арестуют. Только здесь, в Москве, успокоился. Неужели ты даже в тюрьме не сидел? И не допрашивали? Чудеса, право. Ну, как я рад, как рад!

Но радость его быстро перешла в испуг, когда он узнал о командировке за границу.

— Откажись! Умоляю тебя, откажись. Ведь это ловушка. Тебя на границе арестуют. Сошлют. Расстреляют.

Но Георгий Иванов только отшучивался, не сдаваясь ни какие убеждения и просьбы.

И Мандельштам махнул на него рукой.

— Что ж? Не ты первый, не ты последний поэт, погубленный большевиками. Но чтобы самому лезть в пасть льва? Вспомнишь мои слова, да поздно будет.

— А пока еще не поздно, расскажи лучше о себе, Осип. Как ты — счастлив?

Мандельштам не сразу ответил.

— Так счастлив, что и в раю лучше быть не может. Да и какое глупое сравнение — рай. Я счастлив, счастлив, счастлив, — трижды, как заклинанье, громко произнес он и вдруг испуганно оглянулся через плечо в угол комнаты: — Знаешь, Жорж, я так счастлив, что за это, боюсь, придется заплатить. И дорого.

— Вздор, Осип. Ты уже заплатил сполна, и даже с процентами вперед. Довольно помучился. Теперь можешь до самой смерти наслаждаться. Верь мне.

— Ах, если бы! А то я часто боюсь. Ну, а ты как? Вы оба как?..

Оба — это значило Георгий Иванов и я. В сентябре 1921 года я вышла замуж за Георгия Иванова. Естественно, расспросам не было конца — расспросам о нас и рассказам о них с Надей... Надя... Надей... о Наде...

И вдруг, перебив себя, Мандельштам усталился на Георгия Иванова.

— Ну, что ты можешь мне предложить в Петербурге? Здесь я прекрасно устроился. — Он с явным удовольствием огляделся кругом. — Отличная комната. Большая, удобная. Полный комфорт.

— Отличная, — кивает Георгий Иванов, — в особенности ночью, когда

Всё исчезает, остается  
Пространство, звезды и певец, —

полный комфорт — лежишь в кровати и смотришь на звезды над головой. А когда дождь идет, можно бесплатно душ принимать. Чего же удобнее?

— Вздор. — Мандельштам недовольно морщится. — К зиме потолок починят или переведут нас с Надей в другую комнату. Я серьезно спрашиваю тебя, что ты можешь лучшего предложить мне в Петербурге?

Георгий Иванов пожимает плечами.

— Да ничего не могу предоставить тебе. Тем более, что через неделю сам уезжаю. И наверно — надолго.

— Не надолго, а навсегда, — снова начинает хлокотать Мандельштам. — Если не одумаешься, не останешься — никогда не вернешься. Пропадешь.

Шаги на лестнице. Мандельштам вытягивает шею и прислушивается с блаженно-недоумевающим видом.

— Это Надя. Она ходила за покупками, — говорит он изменившимся, потеплевшим голосом. — Ты ее сейчас увидишь. И поймешь меня.

Дверь открывается. Но в комнату входит не жена Мандельштама, а молодой человек. В коричневом костюме. Коротко остриженный. С папиросой в зубах. Он решительно и быстро подходит к Георгию Иванову и протягивает ему руку:

— Здравствуйте, Жорж! Я вас сразу узнала. Ося вас правильно описал — блестящий санктпетербуржец.

Георгий Иванов смотрит на нее растерянно, не зная, можно ли поцеловать протянутую руку.

Он еще никогда не видел женщин в мужском костюме. В те дни это было совершенно немыслимо. Только через много лет Марлен Дитрих ввела моду на мужские костюмы. Но, оказывается, первой женщиной в штанах была не она, а жена Мандельштама. Не Марлен Дитрих, а Надежда Мандельштам произвела революцию в женском гардеробе. Но, не в пример Марлен Дитрих, славы это ей не принесло. Ее смелое новаторство не было оценено ни Москвой, ни даже собственным мужем.

— Опять ты, Надя, мой костюм надела. Ведь я не ряжусь в твои платья? На что ты похожа? Стыд, позор, — набрасывается он на нее. И поворачивается к Георгию Иванову, ища у него поддержки. — Хоть бы ты, Жорж, убедил ее, что неприлично. Меня она не слушает. И снашивает мои костюмы.

Она нетерпеливо дергает плечом.

— Перестань, Ося, не устраивай супружеских сцен. А то Жорж подумает, что мы с тобой живем, как кошка с

собакой. А ведь мы воркуем, как голубки — как «глиняные голубки».

Она кладет на стол сетку со всевозможными свертками. Нэп. И купить можно все что угодно. Были бы деньги.

— Ну, вы тут наслаждайтесь дружеской встречей, а я пока обед приготовлю.

Жена Мандельштама, несмотря на обманчивую внешность, оказалась прекрасной и хлебосольной хозяйкой. За борщом и жарким последовал кофе с сладкими пирожками и домашним вареньем.

— Это Надя все сама. Кто бы мог думать? — Он умиленно смотрит на жену. — Она все умеет. И такая аккуратная. Экономная. Я бы без нее пропал. Ах, как я ее люблю.

Надя смущенно улыбается, накладывая ему варенья.

— Брось, Ося, семейные восторги не интереснее супружеских сцен. Если бы мы не любили друг друга — не поженились бы. Ясно.

Но Мандельштам и сам уже перескочил на другую тему:

— До чего мне не хватает Гумилева. Ведь он был замечательный человек, я только теперь понял. При его жизни он как-то мне мешал дышать, давил меня. Я был несправедлив к нему. Не к его стихам, а к нему самому. Он был гораздо больше и значительней своих стихов. Только после смерти узнаешь человека. Когда уже поздно.

Он задумывается и сыплет пепел прямо на скатерть мимо пепельницы. Жена смотрит на него, нежно улыбаясь, и не делает ему замечания. Потом так же молча сбрасывает пепел на пол.

— Но лучшей смерти для Гумилева и придумать нельзя было, — взволнованно продолжает Мандельштам. — Он хотел быть героем и стал им. Хотел славы и, конечно, получит ее. Даже больше, чем ему полагалось. А Блок, тот не выиграл от ранней смерти. И, говорят, был безобразным в гробу. А ведь он всегда был красив. Знаешь, мне его еще больше жаль, чем Николая Степановича. Я по нем, когда узнал, что он умер, плакал, как по родному. Никогда с ним близок не был. Но всегда надеялся, что когда-нибудь потом... А теперь поздно. И как это больно. И сейчас еще как больно. Блок, Гумилев...

Уже поздно. Георгию Иванову пора на вокзал. Ман-

дельштам едет его провожать. На перроне он вдруг снова начинает уговаривать Георгия Иванова бросить безумную мысль, разорвать командировку и остаться в Петербурге.

— Если ты останешься, мы с Надей тоже переберемся в Петербург. Честное слово, переберемся.

И Георгию Иванову вдруг становится ясно, что Мандельштаму не так уж сладко в Москве, что он хотел бы вернуться в Петербург. Хотя, может быть, сам не сознает этого.

Поезд подошел, и Георгий Иванов отыскивает с помощью проводника свое место в спальном вагоне. Ведь теперь, при нэпе, снова появились спальные вагоны и услужливые проводники.

— Ты все-таки едешь? Тогда вряд ли увидимся. А может быть, одумаешься? А?

— До свидания, Осип! — Георгий Иванов обнимает его крепко. И целует.

— Не до свидания, а прощай, если уедешь. Прощай, Жорж.

У Мандельштама глаза полны слез.

— Полно, Осип. Скоро все кончится, все переменится. Я вернусь, и мы с тобой снова заживем в Петербурге.

Но Мандельштам грустно вздыхает:

— Ты никогда не вернешься.

Георгий Иванов во что бы то ни стало хочет отвлечь его от черных мыслей, рассмешить его.

— А почему ты так уверен, что никогда? Разве не ты сам писал, — и он напевает торжественно под мелодичную сурдинку, подражая Мандельштаму:

Кто может знать при слове «расставанье»,  
Какая нам разлука предстоит,  
Что нам сулит петушьи восклицанье,  
Когда в Москве локомотив свистит?

Конечно, он хотел рассмешить Мандельштама, но такого результата он не ожидал. Мандельштам хохочет звонко и громко на весь перрон. Уезжающие и провожающие испуганно шарахаются от него.

— Как? Как, повтори! «Пока в Москве локомотив свистит?» Ой, не могу! Лопну! — И снова заливается смехом.

А локомотив действительно свистит. И уже третий

звонок. Георгий Иванов в последний раз обнимает хохочущего Мандельштама и вскакивает в поезд.

— До свидания, Осип. До свидания.

Поезд трогается. Георгий Иванов машет платком из окна.

Мандельштам все еще трясется от смеха, кричит что-то. Но колеса стучат, и слов уже не разобрать...

\* \* \*

Хотя мне самой это теперь кажется невероятным, но в те годы настоящим властителем моих дум был не Гумилев, а Блок.

Конечно, я была беспредельно предана моему учителю Гумилеву и — по-цветаевски готова

...О, через все века  
Брести за ним в суровом  
Плаще ученика.

Не только была готова, но и «брела» всюду и всегда. Я следовала за ним, как его тень, ежедневно — зимой и летом, осенью и весной. Правда, не в «суровом плаще ученика», а, смотря по погоде, то в котиковой шубке, то «в рыжем клетчатом пальто моем», то в легком кисейном платье.

Я заходила за ним во «Всемирную литературу» на Моховой, чтобы оттуда вместе возвращаться домой, я сопровождала его почти на все лекции.

Я так часто слышала его лекции, что знала их наизусть.

Гумилев в шутку уверял, что во время лекций я ему необходима, как суфлер актеру. Для уверенности и спокойствия. «Знаю, если споткнусь или что-нибудь забуду, вы мне сейчас же подскажете».

Он и сам постоянно навещал меня или звонил мне по телефону, назначая встречу.

Да, все это так. И все-таки не Гумилев, а Блок.

Гумилева я слишком хорошо знала, со всеми его человеческими слабостями. Он был слишком понятным и земным. Кое-что в нем мне не очень нравилось, и я даже позволяла себе критиковать его — конечно, не в его присутствии.

В Блоке же все — и внешне, и внутренне — было пре-

красно. Он казался мне полубогом. Я при виде его испытывала что-то близкое к священному трепету. Мне казалось, что он окружен невидимым сиянием и что, если вдруг погаснет электричество, он будет светиться в темноте.

Он казался мне не только высшим проявлением поэзии, но и самой поэзией, принявшей человеческий образ и подобие.

Но я, часами задававшая Гумилеву самые разнообразные и нелепые вопросы о поэтах, желавшая узнать решительно все о них, никогда ничего не спрашивала о Блоке. Я не смела даже произнести его имя — от преклонения перед ним.

Я смутно догадывалась, что Гумилев завидует Блоку, хотя тщательно скрывает это. Но разве можно было не завидовать Блоку, его всероссийской славе, его обаянию, кружившим молодые головы и покорявшим молодые сердца? Это было понятно и простительно.

Я знала, что со своей стороны и Блок не очень жалует Гумилева, относится отрицательно — как и Осип Мандельштам — к его «учительству», считает его вредным и не признает акмеизма. Знала, что Блок и Гумилев — идейные противники.

Но я знала также, что их отношения в житейском плане всегда оставались не только вежливо-корректными (Блок был вежлив и корректен решительно со всеми), но даже не были лишены взаимной симпатии.

Распространенное мнение, что они ненавидели друг друга и открыто враждовали, совершенно неправильно и лишено оснований.

Сверкающий, пьянящий, звенящий от оттепели и капли мартовский день 1920 года.

В синих лужах на Бассейной, как в зеркалах, отражается небо и чудная северная весна.

Мы с Гумилевым возвращаемся из «Всемирной литературы», где он только что заседал.

— Вы посмотрите, какой я сегодня подарок получил. Совершенно незаслуженно и неожиданно. — Он на ходу открывает свой пестрый африканский портфель, достает из него завернутую в голубую бумагу книгу и протягивает мне.

— Представьте себе, я на прошлой неделе сказал при Блоке, что у меня, к сожалению, пропал мой экземпляр «Ночных часов», и вдруг он сегодня приносит мне



«Ночные часы» с той же надписью. И как аккуратно поблоковски запаковал. Удивительный человек!

Я беру книгу и осторожно разворачиваю голубую бумагу. На заглавном листе крупным, четким, красивым почерком написано:

*Николаю Гумилеву*

Стихи которого я читаю не только днем, когда не понимаю, но и ночью, когда понимаю.

*Ал. Блок*

Господи, я отдала бы десять лет своей жизни, если бы Блок сделал мне такую надпись!

Гумилев хватает меня за локоть:

— Осторожно, лужа! Смотрите под ноги!

Но я уже вступила в лужу, зеркальные брызги высоко взлетают. Я смотрю на них и на мои серые бархатные сапожки, сразу намокшие и побуревшие.

— Промочили ноги? — недовольно осведомляется Гумилев.

Промочила? Да, наверно. Но я не чувствую этого.

— Николай Степанович, вы рады? Очень, страшно рады?

Гумилев не может сдержать самодовольной улыбки. Он разводит руками:

— Да. Безусловно рад. Не ожидал. А приходится верить. Ведь Блок невероятно правдив и честен. Если написал, значит — правда. — И, спохватившись, добавляет: — Но до чего туманно, глубокомысленно и велеречиво — совсем поблоковски. Фиолетовые поля, музыка сфер, тоскующая в полях «мировая душа»!.. Осторожно, — вскрикивает он. — Опять в лужу попадете!

Он берет из моих рук «Ночные часы» и укладывает их обратно в свой африканский портфель. Лист голубой бумаги остается у меня. Я протягиваю его Гумилеву.

— Бросьте бумагу. На что она мне?

Но я не бросаю. Мне она очень «на что». Мне она — воспоминание о Блоке.

— Вы понимаете, что значит «ночью, когда я понимаю»? — спрашивает Гумилев. — Понимаете? А я в эти ночные прозрения и ясновидения вообще не верю. Помоему, все стихи, даже Пушкина, лучше всего читать в яркий солнечный полдень. А ночью надо спать. Спать, а не читать стихи, не шататься пьяным по кабакам.

Впрочем, как кому. Ведь Блок сочинял свои самые божественные стихи именно пьяным в кабаке. Помните —

И каждый вечер в час назначенный —  
Иль это только снится мне? —  
Девичий стан, шелками схваченный,  
В туманном движется окне...

Я слушаю, затаив дыхание, — продолжая идти, не останавливаясь.

Я даже смотрю себе под ноги, чтобы снова не вступить в лужу и этим не прервать чтения.

А Гумилев, должно быть, против воли поддавшись магии «Незнакомки», читает ее строфа за строфой, аккуратно обходя лужи. Читает явно для себя самого, а не для меня. Может быть — это ведь часто случается и со мной, — даже не сознает, что произносит вслух стихи.

...В моей груди лежит сокровище,  
И ключ поручен только мне.  
Ты право, пьяное чудовище...

Он вдруг обрывает и взмахивает рукой так широко, что его доха приходит в движение.

— В этом «пьяном чудовище» все дело. В нем, в «пьяном чудовище», а совсем не в том, что «больше не слышно музыки», как Блок уверяет, и не в том, что «наступила страшная тишина». То есть тишина действительно наступила, раз закрыли кабаки с оркестрами, визжащими скрипками и рыдающими цыганками, раз вина больше нет. А без вина он не может. Вино ему необходимо, чтобы слушать музыку сфер, чтобы

Свирель запела на мосту...

Ведь он сам признавался:

Я пригвожден к трактирной стойке,  
Я пьян давно...

А теперь ведь уже не пьян. Трудно поверить, глядя на него, что он, только когда пьян, видит

Берег очарованный  
И очарованную даль...

И вот никаких стихов, кроме юмористических. Ведь для них «музыка сфер» не требуется. Их можно строчить и в «страшной тишине». Отлично они у него получаются. Не хуже, чем у Теодора де Банвиля.

Да, я знаю, что Блок часто пишет юмористические стихи. Во время изводяще скучных, бесконечных заседаний «Всемирной литературы» кто-нибудь из заседающих — Лозинский, Гумилев, Замятин, тоже истомленные скукой, — подсовывают ему тетрадь или Чуковский свою «Чукоккалу», и Блок сейчас же начинает усердно строчить.

Гумилев мне их постоянно читает и очень хвалит. Но мне они совсем не нравятся. Они даже кажутся мне слегка оскорбительными для Блока.

Я, несмотря на мою «фантастическую» память, никогда не забываю их, а стараюсь пропустить мимо ушей. Но несколько строк из них все-таки всегда застревают в моей голове.

Вот и сейчас Гумилев читает мне то, что Блок сочинил сегодня:

Скользили мы путем трамвайным...

И дальше, «о встрече с девой с ногами, как поленья, и глазами, сияющими, как ацетилен», одетою в каракулевый сак, который

...В дни победы  
Матрос, краса и гордость флота,  
С буржуйки вместе с кожей снял.

— Как ловко! Как находчиво! — восхищается Гумилев. — С буржуйки вместе с кожей снял — а?

Он явно ждет, чтобы и я разделила его восторг. Но я не хочу, я не могу притворяться. В особенности, когда это касается Блока.

Я молчу, и он продолжает:

— Блоку бы следовало написать теперь анти-«Двенадцать». Ведь он, слава Богу, созрел для этого. А так многие все еще не могут простить ему его «Двенадцать». И я их понимаю. Конечно — гениально. Спору нет. Но тем хуже, что гениально. Соблазн малым сим. Дьявольский соблазн. Пора бы ему реабилитироваться,

смыть со своей совести это пусть гениальное, но кровавое пятно.

Я отворачиваюсь, чтобы он не видел, как я морщусь. Какой неудачный, совсем не акмеистический образ! Кровавое гениальное пятно! Да еще на совести. Нет, я решительно предпочитаю «музыку сфер».

Мы идем дальше. Разговор о Блоке больше не возобновляется.

Разговоров о Блоке вообще мало, хотя я об этом очень жалею. Но сама заводить их я не решаюсь. Жду счастливого случая. И он, этот счастливый случай, не заставил себя ждать долго.

В тот весенний вечер Гумилев позвонил мне из Дома литераторов: у него, на Преображенской, 5, телефона не было.

— Вы дома? А я вас тут жду. Напрасно жду.

Да, я была дома. И даже вроде как арестована: нам обещали привезти мешок картошки, и кто-нибудь должен был остаться дома, чтобы принять это богатство.

Я не принимала никакого участия в хозяйстве и житейских заботах, но на этот раз я поняла, что должна пожертвовать своей свободой.

— Если бы вы могли прийти ко мне, Николай Степанович...

Гумилев, поняв, что мое отсутствие вызвано уважительной причиной, сразу соглашается навестить меня в моем заточении.

И вот уже стучат в кухонную дверь. Я лечу открывать. Если это картошка, я побегу навстречу Гумилеву. Ведь от Дома литераторов до нас — разойтись нельзя. Мы пойдем в Таврический сад. Такой чудный вечер...

Я открываю дверь. Это Гумилев. В сером пальто с бархатным воротником и в серой фетровой шляпе. Нет, доха и оленья шапка ему гораздо больше к лицу.

Я веду его в кабинет.

— Как я рада. Мне было так скучно одной.

Он кивает:

— Ну, конечно, понимаю: «Сижу за решеткой в темнице сырой...» Как уж тут не затосковать!.. А меня, — говорит он, усаживаясь в красное сафьяновое кресло, — сейчас атаковал Т.

Т. — молодой поэт, один из многих отпавших от Гумилева учеников, не пожелавших поддаться его «муштре и учебе».

Гумилев хмурится:

— Лысец. Хитрая Лиса Патрикеевна. Стал меня ни с того ни с сего уверять, что я лучше Блока. Я его осадил: «Бросьте! Я ведь знаю, что вы к Блоку на поклон ходили и клялись, что я ему в подметки не гожусь». Ничего такого я не знаю, а, должно быть, правда. Покраснел, смутился, стал что-то бормотать... До чего противно!

Он достает свой черепаховый портсигар и как всегда, когда он у меня в гостях, просит разрешения закурить.

Я наклоняю голову: «Пожалуйста!» — и ставлю перед ним пепельницу.

Ему нравится, что я не машу на него руками, не кричу, как богемные дамы: «Да что вы, Николай Степанович! Курите! Курите! Мне совсем не мешает. Я сама дымлю, как паровоз!»

Он зажигает спичку и бросает ее в открытое окно.

— Терпеть не могу, когда поэтов сравнивают и гадают — кто лучше, кто хуже. Конечно, Блок лучше меня. — И прибавляет, подумав: — Но не надо забывать, что он на целых пять лет старше меня. Через пять лет я, Бог даст, еще многое напишу. Я не скороспелка, я поздно развился. До «Чужого неба» все мое малоценно и неоригинально. Я по-настоящему только теперь начинаю развертываться — на половине жизненного пути. Я сам чувствую, что с каждым днем расту. А Блок измотался, исписался. И, по всей вероятности, умолк раз и навсегда. Кончился. Да, — говорит Гумилев, задумчиво глядя в открытое окно, — хотя это и очень грустно, но Блок кончен. Безнадежно, безвозвратно кончен. Это факт!

Но с этим фактом я никак не могу согласиться. Я не могу не протестовать:

— Ведь вы, Николай Степанович, сами говорили, что он завален работой. Что у него нет минуты свободной. Где же ему тут писать стихи?

Гумилев кивает:

— Конечно, Блок, как мы все, и, пожалуй, даже больше нас всех, завален работой. Он чуть ли не директор Александринского театра и так честно относится к своим обязанностям, что вникает во все решительно, читает актерам лекции о Шекспире, разбирает с ними роли и так далее. Правда, актеры боготворят его. Монахов на днях говорил: «Мы играем только для Александра Александровича. Для нас его похвала — высшая награда». Он пишет никому не нужные «Исторические картинки» для Горького — вот недавно закончил «Рамзеса». Он переводит очень усердно и неудачно — очень

неудачно — Гейне. Разве это похоже на Лорелей:

Над страшной высотой  
Девушка дивной красоты  
Одеждой горит золотою,  
Играет златом косы...

То «золотою», то «златом». Одно из двух — или злато, или золото. И в следующей строфе:

Золотым убирает гребнем  
И песню поет она.

Спрашивается — что убирает? Сено на лугу или свою комнату цветами?

И дальше:

Пловец и лодочка, знаю,  
Погибнут среди зыбей.  
Так и всякий погибает  
От песен Лорелей.

Ну, на что это похоже? Каких таких «зыбей», хотя бы «рейнских» или «речных». А то просто «зыбей». А две последние строки — явная отсебятина. Ведь можно так точно перевести:

И это свою песней  
Сделала Лорелей.

Я не спорю. «Лорелей» очень плохо переведена. Но ведь и переводы Гумилева часто очень плохи. Хотя бы французские песенки XVII века. В них встречаются такие «жемчужины»:

...Они заехали в чашу.  
— Рено, Рено, я пить хочу.  
— Тогда свою сосите кровь,  
Вина не пробовать вам вновь.

Переводы делаются наспех для «Всемирной литературы». У Георгия Иванова, большого мастера перевода, было такое смешившее всех нас описание тайных ночных кутежей монахов в монастыре, втиснутое в одну строчку:

Порою пьянствуя, монахи не шумели.

К переводам никто не относится серьезно — это халтура, легкий способ заработать деньги. Смешно упрекать Блока в неудачных переводах. Он, во всяком случае, относится к ним добросовестнее остальных.

Хороши только переводы Михаила Леонидовича Лозинского. Но ведь для него, как для Жуковского, переводы — главное дело жизни.

— Конечно, — продолжает Гумилев, — Блок завален работой. Он к тому же сам таскает дрова на третий этаж и сам колет их, он, такой белоручка, барин. И дома у него сплошной ад, не «тихий ад», а с хлопаньем дверей, с криком на весь дом и женскими истериками. Любовь Дмитриевна, жена Блока, и его мать не выносят друг друга и с утра до ночи ссорятся. Они теперь все вместе поселились. А Блок их обеих любит больше всего на свете.

Я не выдерживаю:

— Как же в такой обстановке писать стихи? Ведь вы живете один...

Но Гумилев перебивает меня:

— Как? А он все-таки пишет. И это-то и является главным доказательством, что он кончен как поэт. Он все продолжает десять лет подряд трудиться над своим «Возмездием». А оно из рук вон плохо — настоящее возмездие за прежние удачи. Он потерял всякое критическое чутье, даже чувство юмора. Вот как он говорит о демонизме своего отца:

...Так

Вращает хищник темный зрак... —

или о возвращении его матери к родителям в Петербург после ужасной жизни в Варшаве:

Вдруг — возвращается она.

Что с ней? Как стан прозрачный тонок.

Худа, измучена, бледна...

И на руках лежит ребенок.

Чем не Козьма Прутков? И что значит «прозрачный стан»? Прозрачный, как эта тюлевая занавеска, это оконное стекло? А вернулась она не с тонким станом, а совсем даже напротив, с чрезвычайно округлым — и ре-

бенок не мог лежать у нее на руках. Ребенок — то есть сам Блок — родился уже в ректорском доме, в доме своего деда Бекетова.

У Блока неудачи так же крылаты, как и удачи. Вот вам еще описание Александра III:

И царь — огромный, водянистый,  
С семейством едет со двора.

Краски бывают водянистыми, а к царю, даже если он болен водянкой, такой эпитет неприложим. Как же Блок не чувствует этого? Вы, надеюсь, не будете спорить?

Нет, я не спорю. Но у кого не бывает смешных строк? Сам Гумилев не далее как на прошлой неделе, самодовольно улыбаясь, прочел Георгию Иванову и мне, энергично отчеканивая каждое слово, начало своего нового стихотворения про архистратига, у которого:

Половина туловища — пламя,  
Половина туловища — лед.

Георгий Иванов внимательно слушал и с невозмутимо серьезным видом сказал:

— Удивительно интересный архистратиг! Совсем особенный. Туловище из льда и пламени. А скажи, пожалуйста, голова, руки и ноги из чего? Из тумана или из варенья?

Меня подмывает напомнить Гумилеву о его архистратиге, но я удерживаюсь.

Но, должно быть, Гумилев сам заметил, что зашел слишком далеко.

— Только не подумайте, — говорит он, — что я хочу хоть как-нибудь умалить Блока. Я отлично понимаю, какой это огромный талант. Возможно, что это лучший поэт нашего века. Он, а не, как большинству кажется, Сологуб. Ни у кого со времени Лермонтова «звуки небес» не звучали так явственно. Его стихи иногда действительно становятся «музыкой сфер». Они так переполнены «звуками небес», будто не он владеет «музыкой сфер», а она им.

Гумилев задумывается на минуту и продолжает:

— Блок — загадка. Его никто не понимает. О нем судят превратно. Не только его враги и хулители — у него их немало, — но и самые пламенные его поклонники и



почитатели. Мне кажется, что я разгадал его. Блок совсем не декадент, на «кошкодав-символист», каким его считают. Блок — романтик. Романтик чистейшей воды, и к тому же — немецкий романтик. Недаром он по отцу немец. Ведь его пращур Иоганн Блок прибыл из Германии и стал лекарем императрицы Елисаветы. Немецкая кровь в нем сильно чувствуется и отражается на его внешности. Да, Блок — романтик со всеми достоинствами и недостатками романтизма. Этого почему-то никто не понимает, а ведь в этом ключ, разгадка его творчества и его личности.

Гумилев поворачивается ко мне и поднимает длинный указательный палец, как всегда, когда говорит что-нибудь очень значительное:

— Слушайте внимательно и постарайтесь запомнить.

Этого он мог бы и не говорить. Конечно, я слушаю его, как всегда, внимательнее внимательного.

— Для Блока, как для Фридриха Шлегеля, Слово — магическая палочка, которой он хочет заколдовать или расколдовать мир. Он, как Новалис, ищет самого тайного пути, ведущего его в глубины его собственного сознания. Он тоже в двадцать лет был бунтарем, хотел в своей гордыне сравняться с Творцом. Он тоже хотел заколдовать не только мир, но и самого себя. И тоже — до чего это романтично — был всегда недоволен своим творчеством:

Молчите, проклятые книги,  
Я вас не писал никогда.

Мучительно недоволен — и собой, всем, что делает, и своей любовью. Он не умеет любить любимую женщину. Ведь он сам сознает, что ему суждено:

Опять любить Ее на небе  
И изменять ей на земле.

Не умеет он и любить себя. И это еще более трагично, чем не уметь любить вообще. Ведь первым условием счастья на земле является самоуважение и разумная любовь к себе. Христос сказал: «Люби ближнего, как самого себя». Без любви к себе невозможна любовь к ближним. Романтики, как и Блок, ненавидят себя и презирают ближних, несмотря на то, что вечно горят в огне страстей.

Им, как и Блоку, необходимо раздражение всех чувств и повышенная впечатлительность, возможность видеть невидимое, «незримое», слышать неслышимое, «несказанное», как выражается Блок.

Даже в своей жизни Блок — и это, кроме меня, никому не приходило в голову — повторил эпизод из жизни и Вильгельма<sup>1</sup>, и Фридриха Шлегеля. Фридрих был влюблен в подругу Вильгельма Каролину, и они втроем создали союз дружбы и любви, тот самый союз, о котором мечтал Блок, когда Белый влюбился в Любовь Дмитриевну.

Но — не по вине Блока, а по вине Белого и Любви Дмитриевны — Блоку не удалось то, что удалось романтику Шлегелю.

И еще черта, роднящая его с романтиками, — для него, как и для них, молодостью исчерпывается жизнь и творчество. Только в молодости стоит жить и можно писать стихи. Блок в тридцать три года уже обращается к жене:

Милый друг, мы с тобой старики...

А потом и того хуже:

Пробудился — сорок лет,  
Хвать-похватъ, а сердца нет...

А как жить прикажете без сердца? Как продолжать жить, когда

...Жизнь отшумела и прошла...

Даже необходимость кутежей и пьянства объясняется тем, что романтику надо постоянно находиться в повышенно раздраженном состоянии, в полубреду, с болезненно обостренными чувствами. Так, например, Новалис гордился отсутствием хладнокровия и неумением объективно и разумно судить о событиях и людях, не внося страстности в свои слова. Он чувствовал себя счастливым только тогда, когда мысли, как падающие звезды, пронесились в его сознании и наполняли его душу лазурным и золотым дождем.

---

<sup>1</sup> Август Вильгельм Шлегель (*Примеч. ред.*).

Читая Тика, Шлегеля, Новалиса и немецких романтиков вообще, я всегда вспоминаю Блока. Все это мог сказать и он. У Блока даже внешность романтическая, в особенности в молодости, — его бархатные блузы с открытым белым воротником и его золотые буйные локоны. Он как будто сошел с портрета какого-нибудь друга Новалиса или Шлегеля.

И все-таки, — продолжает Гумилев, — Блок глубоко русский и даже национальный поэт, как, впрочем, все мы. Все, все мы, несмотря на декадентство, символизм, акмеизм и прочее, — прежде всего русские поэты.

Он широко улыбается и прищуривает левый глаз:

— Я, кажется, опять немного перехватил. А? Александр Александрович, может быть, и не такой уже романтический немец, как я его сейчас изобразил. Есть у него, слава Богу, и русские черты. Даже внешние. Что-то даже и от Бовы Королевича. И конечно, ни на одном языке он не мог бы передать своих «звучков небес», кроме русского. Ну разве мыслимо заставить их звучать так явственно, как в этих строчках:

Из страны блаженной, незнакомой, дальней  
Слышно пенье петуха...

У меня всегда дрожь пробегает по спине, когда я читаю или слышу их, — тихо произносит он.

Дрожь по спине... Да, я тоже чувствую ее сейчас. Будто вдруг широко распахнулось окно и в него влетел холодный ночной ветер. Я глубоко вздыхаю, прижимая руки к груди, и слушаю.

Я слушаю эти так хорошо знакомые строки — ведь я давно знаю их наизусть, — слушаю как в первый раз. Я не узнаю голоса Гумилева. Он звучит совсем по-новому, гулко и торжественно, будто он доносится и мне «из страны блаженной, незнакомой, дальней». О, только бы он не замолчал. И он продолжает звучать.

...Донна Анна спит, скрестив на сердце руки,  
Донна Анна видит сны.

...Анна, Анна, сладко ль спать в могиле?  
Сладко ль видеть неземные сны?

Я слушаю, я смотрю на Гумилева, и мне начинает казаться, что сквозь его некрасивые, топорные черты про-

свечивает другое, прекрасное, тонкое, строгое лицо. Я впервые вижу его таким.

Сейчас он похож на «рыцаря в панцире железном», на конквистадора. Его глаза смотрят прямо перед собой в окно, в закатное весеннее небо, и я знаю, что сейчас они не косят, что они синие, глубокие и сияют, как звезды.

Да, конечно, я помню, что Гумилев завидует Блоку и часто несправедлив к нему, но сейчас Блок опять победил его магией своих стихов. Победил, преобразил силой поэзии, вызвал к жизни все высокое, все лучшее, что прячется глубоко в горделивом, самолюбивом и все же горестно неуверенном в своей правоте сознании Гумилева.

Сейчас Гумилев любит Блока не меньше меня. И я восхищаюсь не только Блоком, но и Гумилевым, на минуту соединяя их, таких разных, в одно.

...Дева света, где ты, донна Анна,  
Анна, Анна... Тишина...

И тишина действительно настает.

Гумилев не читает последней строфы. Да она и не нужна. Сейчас необходима тишина. Несколько тактов, несколько строф тишины, чтобы я могла справиться с волнением, прийти в себя.

Ведь сейчас неизвестно, каким образом я поднялась до высшей точки поэзии, на страшную высоту, с которой можно или, преодолевая земное тяготенье, улететь на небо, или рухнуть, упасть в пропасть, разбиться на куски. Разбиться, как эта хрустальная пепельница. Если заговорить...

Но я молчу, и Гумилев молчит. Может быть, он переживает то же, что и я? И вдруг я начинаю чувствовать какую-то особую легкость, какую-то еще никогда не испытанную мною свободу, будто во мне что-то развязалось, открылось, и я сейчас могу без робости, смело и просто спросить о всем том, что мне так давно, так мучительно хочется знать, — все о Блоке.

Я собираюсь с мыслями. С чего начать? Ведь у меня столько вопросов.

— Николай Степанович, скажите...

Но он, не слушая меня, встает с кресла и шумно закрывает окно.

— Как холодно стало. Вы не озябли? У вас совсем замерзший вид.

Он пересаживается на диван, вытягивает перед собой длинные ноги в стоптанных башмаках. Он смотрит на меня косящими тусклыми глазами. Лицо у него, как всегда, плоское и некрасивое. И голос его звучит совсем обыкновенно, когда он говорит:

— Зажгите свет и садитесь на пол, на подушку.

Я встаю. Я зажигаю свет и быстро, чтобы не спугнуть чувства легкости, свободы и возможности обо всем спросить, сажусь на подушку.

Я люблю сидеть на полу. В группе, которую снимал фотограф Наппельбаум, Гумилев потребовал, чтобы я для полноты сходаства села на пол на подушку.

— Николай Степанович, а Блок действительно... — начинаю я. Я хочу узнать, действительно ли Блок был так влюблен в свою будущую жену, что хотел покончить с собой от любви.

Но Гумилев не дает мне спросить об этом. Он говорит:

— «Шаги командора» — безусловно, одно из самых замечательных русских стихотворений. Правда, и тема Дон Жуана — одна из тем, приносящих удачу авторам. Скольким шедеврам она послужила. Это победоносная тема. Ее использовали и Пушкин, и Мольер, и Мери-мэ, и Моцарт. Для великого произведения необходима уже много раз служившая общеизвестная тема. Это поняли Гете со своим «Фаустом», и Мильтон с «Потерянным раем», и Данте. Но нет правил без исключения — мой «Дон Жуан в Египте» далеко не лучшее, что я написал. Не лучшее, хотя мой Дон Жуан и спрашивает галантно:

Вы знаете ль, как пахнут розы,  
Когда их нюхают вдвоем?

Гумилев смеется и неожиданно обращается ко мне:

— А вы, вы знаете ль, кто был Дон Жуан?

Кто был Дон Жуан? Не знаю и знать не хочу. Я хочу говорить о Блоке, и только о нем.

Я качаю головой.

Ах, довольно, довольно о Дон Жуане!

Но Гумилев начинает подробно и методично излагать историю обоих Дон Жуанов, и мне ничего не остается, как слушать.

— Первого Дон Жуана, по всей вероятности, вовсе не существовало. Это миф — легендарный образ злодея-обольстителя, гениально созданный Тирсо де Молина,

а второй, Мигуэль де Маньяра, двенадцати лет поклялся в театре, на представлении «Дон Жуана», что сам станет Дон Жуаном, и повторил свою клятву на следующее утро в соборе перед статуей Мадонны...

Гумилев говорит плавно, длинно и подробно, будто читает лекцию о Дон Жуане в Доме искусств, совершенно забыв о стихах Блока и о нем самом.

Но мне нет решительно никакого дела до Дон Жуана, ни до первого, ни до второго. Пусть он действительно воплотил Дон Жуана и прославился любовными победами и убийствами. Пусть он влюбился в невинную Терезу и стал ей верным и примерным мужем. Пусть! Пусть после ее преждевременной смерти он сделался монахом ордена Калатрава, вынимал трупы повешенных из петли и развозил их в тележке, чтобы собрать деньги на их погребение. Пусть! Пусть даже на его могиле цветут, не отцветая, пять кустов роз и происходят чудеса. Меня все это не касается.

Гумилев, наконец, кончает свою лекцию. Но время безвозвратно потеряно. Я ни о чем больше спросить не могу.

Гумилев встает:

— Пора домой. Я у вас засиделся.

Я тоже встаю. Я не удерживаю его. Мне так грустно, что мне станет легче, когда он уйдет.

— Кланяйтесь от меня вашему батюшке, — церемонно говорит Гумилев. Кстати, о «моем батюшке» и о поклоне ему Гумилев вспоминает, только когда он у меня в гостях.

Я иду провожать его на кухню. Он надевает свое серое пальто в талию.

— Я его в Лондоне купил, — сообщает он.

А мне казалось, что в Лондоне все вещи, особенно мужские, — элегантны.

— Что с вами? — спрашивает Гумилев. — Отчего у вас такой кислый вид? Если бы вам сейчас смерить температуру, психологический градусник Гофмана, наверное, показал бы повышенный пессимизм и отвращение к собеседнику.

«Психологический градусник» — о нем у нас часто говорят. Его изобрел автор популярного у нас «Золотого горшка». Им будто бы измеряется настроение и чувство. Гумилев хвастается, что может с полной точностью определять их и без психологического градусника.

Он берет свою фетровую шляпу и отвешивает мне поклон до земли.

— Знаю, знаю, вы загрустили оттого, что не встретите Дон Жуана. Но погодите, даст Бог, поедете в Испанию и встретите там третьего Дон Жуана, который воплотится специально для вас.

Но мне совсем не хочется шутить.

Я запираю за ним дверь.

Я — о чем я и сейчас жалею — была очень мало знакома с Блоком. Я даже редко видела его. Он почти не появлялся ни в Доме литераторов, ни в Доме искусств.

Первая моя встреча с Блоком произошла в июне 1920 года. Произошла она, как мне тогда казалось, таинственным и чудесным образом.

Теперь, оглядываясь назад, на прошлое, я вижу, что в ней не было ничего ни чудесного, ни таинственного. Но в те дни все, что касалось Блока, принимало мистическую окраску, во всем чувствовалась «предназначенность» и «тяжелая поступь судьбы».

Было это так.

Знойный июньский день. До революции петербуржцы проводили лето кто в Царском, Павловске, Сестрорецке, Териоках или в своем имении, а кто поскромнее — в Парголово, в Озерках или просто на Охте или Лахте. На лето даже самые бедные чиновники выезжали со всем своим скарбом на дачу, и раскаленный, пыльный Петербург пустел.

Теперь же никто никуда не выезжает. Впрочем, «в те баснословные года» мы научились «попирать скудные законы естества» и легко переносить холод и голод, жару и усталость.

Жара и усталость... Сегодня особенно жарко, и я очень устала. Но я все же, возвращаясь из Студии, захожу, как обещала, за Гумилевым во «Всемирную литературу» на Моховой.

Швейцар меня хорошо знает и, поздоровавшись со мной, идет сообщить Гумилеву, что «вас барышня ожидают».

Я остаюсь одна в большой прохладной прихожей. От нечего делать я перебираю охапку жасмина, купленную мною при выходе из Студии. Жасмин еще совсем свежий и упоительно пахнет. Я представляю себе, что стою в цветущем саду в Павловске, возле подстриженного круглого жасминного куста.

Швейцар возвращается и со старорежимной почтительностью сообщает:

— Николай Степанович идет-с!

И действительно, наверху на площадке дубовой лестницы появляется Гумилев, в коричневом костюме, темной фетровой шляпе, с портфелем под мышкой.

Свой узорчатый африканский портфель он недавно уложил в чемодан вместе с дохой и ушастой оленьей шапкой.

— Весь экзотический зимний ассортимент — «до первых морозцев», как поется в частушке, — объяснил он, густо посыпая нафталином не только доху и шапку, но и портфель.

Я напрасно уверяла его, что моль кожи не ест. Он только пожал плечами.

— Кто ее знает? Дореволюционная не ела. А теперь, при новом режиме, изголодавшись, напостившись, могла изменить вкусы. Разве мы прежде ели воблу и картофельную шелуху? Береженого Бог бережет. — И он особенно тщательно засыпал портфель нафталином и прибавил: — Ведь он мне еще лет двадцать служить будет, как же за ним не поухаживать?..

Увидев меня, Гумилев широко улыбается.

— Вовремя. Минута в минуту, к концу заседания, — говорит он. — А я только что читал вашу балладу профессору Брауде. Очень ему понравилась. Он хочет познакомиться с вами.

С лестницы перед Гумилевым спускается какой-то господин, тоже в фетровой шляпе и с портфелем. Это, конечно, профессор Брауде. Он смотрит на меня, и я смотрю на него.

Он уже успел спуститься с лестницы. Он делает ко мне шаг и снимает передо мной шляпу. Я протягиваю ему руку. И вдруг чувствую толчок в груди — это Блок.

Я вся холодею. Моя рука застывает в воздухе. Что с нею делать? Отдернуть? Спрятать за спину?

Но он берет ее в свою большую теплую руку и осторожно пожимает.

И в это мгновение громко, как удар колокола, раздается удивленный, гулкий голос Гумилева:

— Разве вы знакомы, господа?

— Нет, — отвечает Блок, продолжая смотреть на меня.

Я чувствую, что гибну, тону, иду на дно океана. И все-таки, как эхо, испуганно повторяю за Блоком:

— Нет!

Гумилев тоже успел спуститься с лестницы.

— Александр Александрович, это моя ученица —



Ирина Одоевцева, та, что написала «Балладу о толченом стекле».

И Блок отвечает, что слышал о балладе, но еще не читал. Он будет рад, если я приду к нему и прочту ее. По вечерам он почти всегда дома.

— Я буду рад, — повторяет он.

Мы выходим все вместе из подъезда. Я смотрю себе под ноги. Только бы не упасть, не споткнуться.

Блок прощается со мной и Гумилевым: «Всего хорошего!» Он идет налево, мы направо.

— Странно, — говорит Гумилев, — что вы не узнали Блока. Ведь у вас в комнате висит его портрет.

— Он там совсем другой, — говорю я, овладев собой. — Слоконами, в бархатной блузе. Молодой. — И прибавляю мысленно: «Теперь он еще лучше. Гораздо лучше».

Гумилев кивает:

— Да, он очень изменился. Он очень постарел. Все же не до неузнаваемости. С профессором Брауде его, во всяком случае, не спутаешь. Тот гладкий, круглый, как ласковый черный кот... Блок вас тоже принял за кого-то. Тоже обознался. Странно... Очень странно...

Я молчу, и он продолжает уже недовольным тоном:

— Вы, конечно, завтра же поскачете к нему со своей балладой. Но знайте, он вас только из вежливости приглашал. Ему до чертиков надоели молодые поклонницы и их стихи. Ведь они на него настоящую облаву ведут, ждут у его подъезда, под его окнами шатаются, стихи ему пишат. Как хотя бы Марина Цветаева. Без году неделю в Петербурге провела, а успела и влюбиться, и воспеть его, и в Божьи праведники произвести:

Мимо окон твоих бесстрастных  
Я пройду в снеговой тиши,  
Божий праведник мой прекрасный,  
Свете тихий моей души... —

читает он певуче, подражая московскому выговору. — И вы, чего доброго, начнете писать ему стихи и гулять под его окнами, поджидая его. Но вы, как вас ни убеждай, все равно побежите к нему, — кончает он уже с явным раздражением.

— Нет, — говорю я, — нет. Я не побегу к Блоку.

И я тут же твердо решаю не ходить к Блоку.

Гумилев прав: Блоку совсем не до надоедливых поклонниц. И я так робею перед ним. Я умру от разрыва

сердца, прежде чем постучу в его дверь. Нет, я не пойду к нему. И под его окнами гулять не буду. И стихов ему не напишу. Для меня в этом было бы что-то святотатственное. Разве можно писать Блоку стихи?

У Толстого есть где-то фраза: «Он ее так любил, что ему от нее ничего не надо было».

Мне ничего не надо от Блока. Даже видеть и слышать его. Мне достаточно знать, что он живет и дышит здесь, в одном городе со мной, под одним небом.

И все-таки то, как он сходил с лестницы, внимательно глядя на меня, как он подошел ко мне и снял шляпу передо мной, кружит мне голову. Я вновь и вновь переживаю всю эту встречу. Вот он спускается, не сводя с меня глаз, ступенька за ступенькой, и мое сердце бьется в такт его шагов, — вот он останавливается передо мной, и я снова, как там, в прихожей «Всемирной литературы», холодею и застываю от ужаса и блаженства, узнав его.

«Я буду очень рад, если вы придете». Это он сказал мне. Даже если из вежливости, даже если это неправда, он все же произнес эти слова, и что-то похожее на улыбку промелькнуло на его темном, усталом, прекрасном лице.

В эту ночь я плохо спала. Мне казалось, что моя комната полна шороха и шепота. Было жарко. Окно осталось открытым, в него сквозь вздрагивающую от ночного ветра тюлевую занавеску светила луна и отражалась, как в озере, в круглом зеркале туалета.

Я томилась от предчувствия чего-то чудесного и необычайного. Нет, я не мечтала о новой встрече. Я не строила планов. И все же — не сознаваясь в этом даже самой себе — ждала.

Но предчувствие обмануло меня. Дни проходили за днями. Дальше ничего, ровно ничего не было. Блок никакой роли в моей жизни не сыграл.

Все же через два месяца мне было дано убедиться, что Блок с той первой встречи запомнил меня и мое имя.

«Вечер поэтов» уже не в Студии, а в огромном зале на Невском, под каланчой, вмещающем две тысячи слушателей.

Меня усаживают за кассу продавать билеты со строгим наказом заставлять брать нумерованные билеты, стоящие в два раза дороже остальных.

— Клянитесь и божитесь, — убеждает меня Гумилев, —

что зал переполнен и поскупившимся на нумерованный билет придется стоять. Это святая ложь на пользу Союза поэтов. Вам за нее три с половиной греха отпустится.

И не объяснив, почему три с половиной, а не три или четыре греха, — добавляет:

— Денег ни в коем случае не возвращайте. Даже если скандалить будут, не возвращайте. Я пришлю вам Оцу-па на подмогу.

И он уходит, пожелав мне удачи.

«Но какая уж удача тут?»

Все мои доводы пропадают даром.

— Чтобы в таком громадном помещении места не нашлось? Бросьте заливать. Давайте дешевый.

Только одна, пышно разодетая, красивая, рыжая дама, к моей великой радости, сразу поверила мне и, не споря, купила два билета в третьем ряду, одарив меня влажным блеском своей малиновой улыбки.

Но через минуту она, звеня браслетами и шурша шелковым платьем, снова стояла передо мной, темпераментно возмущаясь:

— Безобразие! Как вы смеете говорить, что нет мест, когда зал на три четверти пуст! Верните деньги немедленно, слышите!

На это я никак не могу согласиться:

— Раз билеты проданы... К сожалению...

Она приходит во все большее негодование и уже грозит мне, красная от гнева:

— Не хотите отдать? Ваше дело. Вот придет Сан Саныч, он вам покажет, как обманывать.

Какой еще Сан Саныч? Неужели и с ним придется воевать? Хоть бы кто-нибудь пришел мне на помощь. А то бросили меня на съедение диким зверям.

И вдруг в дверях появляется Блок. Рыжая дама в два прыжка оказывается рядом с ним. Она показывает ему меня, тыча в мою сторону пальцем. До меня доносятся звонкие обрывки ее возмущения:

— Эта девчонка... Пустой зал... Наврала!.. Содрала с меня...

Блок берет ее под руку. Я слышу его успокоительный шепот:

— Тише, тише. Это Ирина Одоевцева.

Он еще что-то говорит ей, и она, сразу успокоившись, — настоящее мгновенное «укрошение строптивой» — идет с ним в зал.

Проходя мимо меня, Блок кланяется, и она тоже гра-

циозно и мило кивает мне, снова даря мне малиновую улыбку.

Ко мне большими шагами спешит Николай Оцуп, сверкая своими знаменитыми желтыми сапогами:

— Вы, надеюсь, сообразили, что с Блока денег брать не полагается?

— Нет, — кричу я, почти плача. — Нет! Я именно ему, то есть ей, этой рыжей, продала единственные дорогие билеты.

Оцуп накидывается на меня:

— Вы с ума сошли! Как вы могли? Неужели вы ее не узнали? Ведь это певица Андреева-Дельмас, подруга Блока!

Андреева-Дельмас? Та самая, которой посвящен цикл «Кармен»? Это о ней:

Ты встанешь бурною волною  
В реке моих стихов,  
И я с руки моей не смою,  
Кармен, твоих духов?

Боже мой, что я наделала! Оцуп в ужасе и все продолжает упрекать меня.

Я не оправдываюсь. Я раздавлена тяжестью своей вины. Но мое сердце все-таки ликует.

Блок узнал меня. Блок запомнил мое имя.

Октябрь все того же 1920 года. Очень холодно, очень туманно.

Я спешу домой.

После обеда мне еще предстоит идти на собрание Клуба поэтов. Оно происходит по пятницам в доме Мурузи на Литейном.

Я взбегаю по лестнице и громко стучу в входную дверь.

Обыкновенно стучать приходится долго — квартира большая. Но сегодня дверь сейчас же открывается.

— Наконец-то, — говорит мой двоюродный брат, впуская меня. — Тебя тут уже два часа какая-то с флюсом дожидается. Ни за что не желала уходить. Я ее посадил мерзнуть в кабинет. Спробуй ее поскорее. Сейчас за стол сядем.

Я иду в кабинет, соображая, кто бы это мог быть? Теперь редко кто является незванным, без уговора.

«Не такое нонче время, мой товарищ дорогой», чтобы на огонек заходить. Я вхожу в кабинет. Навстречу мне с дивана вскакивает недавно приехавшая организовать Союз поэтов молодая поэтесса по прозвищу Москвичка — в пальто, с подвязанной щекой.

— Ну, слава Богу! — приветствует она меня недовольным голосом. — Я тут просто в отчаяние впала, в ледяную сосульку превратилась, а у меня еще зубы болят! Как у вас все в Петербурге чопорно и негостеприимно. Вы, надеюсь, не в претензии, что я к вам явилась?

Мне ничего не остается, как уверить ее, что, напротив, я очень рада. Но раз у нее болят зубы, не лучше ли ей было остаться дома, в тепле?

Она раздраженно трясет ушами своего завязанного на макушке платка.

Она похожа на толстую, круглую зайчиху из некраповского «Дедушка Мазай и зайцы».

— Вы ничего не понимаете! — заявляет она. — Я пришла к вам оттого, что была по делу на Суворовском. Не возвращаться же обратно на Офицерскую, чтобы снова нестись на Литейный. Вот я вас и разыскала.

Я продолжаю ничего не понимать:

— Но зачем вам, если у вас флюс и болят зубы, идти в Клуб Союза поэтов? Именно сегодня? Ведь каждую пятницу собрание...

Она всплескивает руками:

— Зачем? Какая вы бестолковая!.. Затем, что сегодня туда придет Александр Александрович, я только для него, несмотря на зубы.

Я отправляюсь в столовую сообщить, что ничего не поделаешь — придется Москвичку «накормить и обогреть».

И вот мы сидим с ней в столовой перед топящейся печкой-«буржуйкой», на ней готовится наш несложный обед.

Я почти незнакома с Москвичкой, но это не мешает ей, совершенно не стесняясь присутствием моего двоюродного брата, доверять мне свои сердечные тайны.

Впрочем, они известны всему литературному Петербургу. Приехав организовывать Союз поэтов, Москвичка сразу по уши влюбилась в Блока. Это было в порядке вещей и никого не удивляло. Но то, что она вообразила, что и Блок разделяет ее чувство, казалось не только удивительным, но и диким.

— Я прочла Александру Александровичу мои стихи,

они ему очень понравились, — торопливо рассказывает она. — Он на них ответ написал. Хотите, прочту? Раньше мое, потом его. Хотите?

Я киваю, и она, держась за щеку, с пафосом многозначительно произносит:

— Это мое:

У яблони есть цветы,  
У женщины — дети,  
А у меня только песни,  
И мне больно.

А вот ответ Блока. — Голос ее звучит еще торжественнее, и уши ее платка ритмически вздрагивают:

Цветы яблони засохли.  
Детей у женщины отняли.  
Осталась только песня,  
И сладостна боль ее.

Я не могу утверждать, что это четверостишие действительно принадлежит Блоку. Мне нигде не приходилось его читать. Я слышала его только раз в тот осенний вечер и цитирую его по памяти. В двух первых строчках я не уверена. Не то цветы засохли, не то замерзли. И детей тоже не то отняли, не то убили. Но я запомнила твердо:

Осталась только песня,  
И сладостна боль ее.

— Александра Андреевна в восторге от нашей дружбы с Александром Александровичем. Как? Неужели вы ее не знаете? Не видели никогда? Ах, это такая чудесная, такая невероятно очаровательная женщина! И как она ко мне привязалась! А вот Любовь Дмитриевна — напротив. Почему-то терпеть меня не может. — Заячьи уши взлетают и падают.

Минута молчания, чтобы дать мне, несообразительной, сообразить — из ревности — и пожалеть бедную жену Блока.

Теперь мне, конечно, следует задать ей несколько наводящих вопросов. Но мне неловко за нее, ведь она рассказывает все это не только мне, совершенно посторонней, но и моему двоюродному брату.

— Прочтите еще что-нибудь из ваших стихов, — прошу я.

И она снова начинает торжественно:

Моя судьба совсем по мне. Другой,  
Счастливой, пусть и легкой, мне не надо.

.....

И просто я гляжу в твои большие  
Угрюмые и светлые глаза.  
И две судьбы за нашими плечами  
Перекликаются, как сосны на скале.

Цитирую тоже по памяти — нигде я их не читала.

Стихи мне нравятся. Особенно перекликающиеся сосны. И я их хвалю. Она самодовольно улыбается.

— Вы, конечно, поняли, что это про Александра Александровича?

Я сбита с толку. Я недоумеваю.

— Неужели? А перекликающиеся судьбы? Как же так?

— Не спрашивайте. Я больше ничего сказать не могу.

Расспрашивать, конечно, я не стала.

После обеда мы благополучно добираемся до Клуба поэтов на Литейном.

Москвичка зорко оглядывает вешалки в прихожей.

— Александр Александрович уже здесь! Вот его пальто! — вскрикивает она. — Я ведь вас предупреждала, он очень аккуратный. А вы возились, причесывались, наряжались. Из-за вас мы опоздали. Из-за вас!

— Но ведь только десять минут девятого, а начало — в восемь, — защищаюсь я.

Она сердито разматывает свой платок, снимает свой тулупчик, повторяя:

— Из-за вас мы опоздали. Александр Александрович думает, наверно, что я не решилась прийти. Он, наверно, беспокоится...

Мы входим в гостиную. Да, Блок действительно уже тут. Он стоит с Гумилевым, Мандельштамом и Лозинским.

Гумилев — ведь он здесь хозяин, — гостеприимно улыбаясь, идет навстречу нам и приветствует нас:

— Как я рад!..

Но Москвичка, небрежно кивнув ему, бросается к Блоку.

— Александр Александрович, я опоздала из-за Одо-евцевой, — захлебываясь, объясняет она. — Я торопила ее, а она...

— Но ведь вы совсем не опоздали, — успокаивает ее Блок, — только напрасно вы пришли, раз у вас болят зубы.

— Что вы, Александр Александрович, — с чувством восклицает она. — Ведь я знала, что и вы придете...

Она берет Блока под руку:

— Сядем у камина. Я совсем замерзла.

Я отступаю на шаг, чтобы не мешать ей, не навязываться Блоку.

Но он пододвигает к камину два кресла: одно для нее, одно для меня — и стул для себя.

Мне ничего не остается, как сесть в кресло.

Так, почти против своей воли, я оказываюсь с Блоком совсем близко. На расстоянии двух аршин, не больше.

Остальных ни в этой гостиной, ни в соседней с ней нет. Остальных вовсе не существует.

Но Москвичка тут и звонко напоминает о себе, повествуя о московских литературных событиях, о Шершеневиче, Пастернаке, Маяковском.

Зубная боль не мешает ей говорить необычайно быстро: десять слов и больше в секунду.

Я не слушаю. Я смотрю на Блока и понимаю, что и он тоже не слушает. Он только притворяется, что слушает. У него усталое, грустное лицо.

И как он тяжело молчит. «Бездонно молчит», по определению Белого, «молчит похоронным молчанием».

Ему, должно быть, очень тяжело сидеть здесь у камина и слушать эту звонкую трескотню.

Как он бледен. И какое у него странное, отчужденное выражение лица.

В моей голове неожиданно начинают звучать его строки:

Как трудно мертвецу среди людей  
Живым и страстным притворяться.

Вздор, вздор, говорю я себе. Он совсем не похож на мертвеца. Он просто очень устал, и ему очень скучно.

Но мысли не слушаются, и строки продолжают звенеть в моей голове:



— Усталый друг, мне страшно в этом зале,  
Усталый друг, могила холодна...

Москвичка вдруг обрывает свой монолог и, вся изогнувшись, протягивает к нему руку. На ее изуродованном флюсом лице с опухшей, подвязанной черным платком щекой явственно проступает

Бессмысленный восторг живой любви.

Она с минуту молчит. Я жду. Что она ему скажет?

И она говорит:

— Александр Александрович, дайте папироску!

Нет, этого ей говорить не следовало. Нет. Все что угодно, но не это.

Разве она не знает — мне рассказывал Гумилев, — Блок «позволяет» себе выкурить только пять папирос в день. У него каждая папироса на счету. Если она сейчас возьмет одну папироску, у него на завтра останутся всего четыре.

Но Блок беспрекословно и любезно протягивает ей свой открытый портсигар.

— А вы ведь еще не курите? — спрашивает он меня.

Мне хочется ответить: «Не еще, а уже. Я бросила курить в прошлом году. Доставать папиросы сложно, а я курила по коробке в день».

Да, хорошо бы так ответить. Но я киваю, смутившись.

— Не курю...

— И отлично делаете, — одобряет Блок. — Успеете еще.

Москвичка закуривает папиросу о поднесенную ей Блоком спичку, глубоко затягивается и снова пускается в рассказы о Москве. На этот раз о Лито, о Пастернаке, об Асееве, о Брюсове.

— Я в молодости увлекался Брюсовым, — вдруг медленно и тяжело говорит Блок. — Я был просто одержим его «Urbi et orbi». Я читал его каждую ночь наизусть. Сколько в нем было для меня почти гениальных озарений. Сердце пронзалось каждой его запятой. Я даже откасался печататься в альманахе Брюсова, считая себя недостойным такой чести, и когда...

— А теперь, — звонко перебивает его она, — вы ни в грош его не ставите, и он этим огорчен. Впрочем, теперь все его развенчали, а он перед всеми расшаркивается,

всем кланяется, особенно молодым. Рассыпается бисером перед всякими ничевоками. Однажды, на вечере в Лито, он...

Блок даже не пытается вставить слово. Он опять «похоронно молчит» и, отвернувшись от огня, смотрит прямо перед собой.

Он сидит с правой стороны камина. Москвичка посередине, поближе к огню, я — слева.

Я как раз в фокусе его зрения. Его глаза встречаются с моими. Я смотрю в его глаза.

Вот они, эти синие очи  
На его постаревшем лице.

Вот они, так близко передо мной. Нет. Они не синие. Они бесцветные. Они полны тумана. Они холодны, и все-таки их тяжелый, усталый взгляд как будто обжигает меня.

Ахматова права:

У него глаза такие,  
Что запомнить каждый должен;  
Мне же лучше, осторожной,  
В них и вовсе не глядеть...

Да, мне лучше не смотреть в его глаза. Я беру кочергу и начинаю, чтобы скрыть смущение, поправлять поленья.

Москвичка продолжает:

— Маяковский кричал с эстрады: «Коммуна! Кому — на! Кому — нет! Кому зубы прикладом выставила, кому — как мне, вставила зубы». И улыбался новой великолепной вставной челюстью... А Есенин и Мариенгоф...

— Вы умеете растопить печку? — неожиданно спрашивает Блок.

Вопрос поставлен мне, и на него необходимо ответить.

Москвичка удивленно и обиженно замолкает.

— Нет, — говорю я. — Совсем не умею. Я даже не пытаюсь, когда я одна дома.

Он кивает.

— И я не умею, — говорит он серьезно и вдумчиво, как о чем-то очень важном. — Не умею. А надо уметь. Непременно. Все надо уметь делать самому. Толстой прав...

Москвичка снова наклоняется к нему:

— Александр Александрович, дайте папироску!

Блок вторично и так же охотно протягивает ей портсигар.

Я не выдерживаю — если она будет продолжать, она лишит его всех завтрашних папирос. Я незаметно толкаю ее ногой.

— Вы чего брыкаетесь? Если хотите папиросу, скажите прямо.

— Простите, я нечаянно толкнула вас, — бормочу я, краснея.

Москвичка, полужакрыв глаза, затягивается папиросой.

Блок переводит с меня на нее свой тяжелый взгляд.

— Очень хорошо, — медленно говорит он, — что вы молчите. Так и продолжайте. Объяснения ни к чему не ведут, ничего никогда объяснить нельзя. Кончилось бы только неприятностью. А так все к лучшему. Для меня во всяком случае. Меньше работы. Пусть торжествует и трудится Гумилев.

Ах, вот он о чем — о переизбрании в Союзе поэтов. Ведь Москвичка решила (по ее же выражению) «подарить Союз поэтов Блоку», но им завладел Гумилев.

Москвичка сжимает свои маленькие, твердые кулачки.

— Если бы не вы, Александр Александрович! Я бы с ним поговорила! — клокочет она, тряся своими заячьими ушами.

— Тише, тише, — успокаивает он ее. — Не забывайте, что молчание — золото. И ведь все к лучшему! Все к лучшему в этом лучшем из миров!

Он улыбается усталой и насмешливой улыбкой и встает.

— Очень приятно греться у камина. Жаль уходить, но мне еще здесь со многими повидаться надо, — и он, поклонившись нам, идет в соседнюю гостиную, откуда доносятся взволнованный голос Мандельштама и барственный баритон Лозинского.

Москвичке — я вижу — хочется вскочить и побежать за ним. Но она сдерживается. Здесь, у огня, в тепле, у нее, должно быть, меньше болят зубы.

— Вы чего брыкались? — недовольно спрашивает она.

— Как вам не совестно обкуривать Блока? Ведь у него мало папирос!

Она пожимает плечами.

— Вы же сами видели, как охотно он предлагал мне их.  
— Из вежливости, только из вежливости, — убеждаю я ее. — И сидел он с нами и разговаривал только из вежливости. Ему тяжело, ему скучно было.

Заячьи уши на ее голове приходят в движение.

— С вами-то он, наверно, только из вежливости говорил, и с вами ему, наверно, тяжело и скучно было, — заявляет она мне.

Я не спорю. Я встаю и на носках, чтобы не шуметь, подхожу к дверям соседней гостиной.

Мандельштам сидит в кресле под яркой хрустальной люстрой, откинув голову и делая протянутыми вперед руками пассы, сомнамбулически распевает, то повышая, то понижая голос:

Венецкой жизни мрачной и бесплодной  
Для меня значение светло...  
Вот она глядит с улыбкою холодной  
В голубое, дряхлое стекло.

На диване Блок, Кузмин и Лозинский.

Гумилев, скрестив руки на груди, слушает с видом Наполеона, осматривающего поле битвы после одержанной им победы.

Рядом с ним Георгий Иванов, как всегда подчеркнута элегантный, насмешливый, с челкой до бровей. Мне очень не нравится эта челка, хотя ее и придумал «сам Судейкин».

Анна Радлова, сверкая тяжеловатой восточной красотой, слушает, картинно застыв. Пяст в своих клетчатых панталонах, прозванных «двухстопными пятами», прислонился к стене с чрезвычайно независимым выражением лица, будто он здесь случайно и все это его не касается.

Я уже слышала «Венецкую жизнь» и все-таки с наслаждением, затаив дыхание, слушаю ее снова.

Мандельштам привез ее из своих «дальних странствий» и читал ее у Гумилева. Георгий Иванов успел уже сочинить на нее пародию, переделав «Венецкую» жизнь на «Милицейскую». Переделав ее всю нелепо и комично, вплоть до последних строк.

У Мандельштама:

Человек рождается. Жемчуг умирает.  
И Сусанна старцев ждать должна.

А у Георгия Иванова:

Человек рождается. Он же умирает.  
А милиция всегда нужна.

Георгий Иванов пошел на пари (на коробку папирос) с Гумилевым и Мандельштамом, что прочтет «Милицейскую жизнь» на вечере какой-то рабочей ячейки, где они втроем должны выступать. И никто ничего не заметит.

Георгий Иванов выиграл пари. Он действительно прочел «Милицейскую жизнь» с эстрады вместе со своими стихами, и ей, как и его стихам, похлопали должным образом.

А в антракте к нему подошел Кривич, сын Иннокентия Анненского, тоже поэт, и рассыпался в комплиментах:

— Меня просто потрясло ваше стихотворение о милиции! Совсем новая манера! Волшебное преобразование реальности...

Но «Милицейская жизнь», хотя я и смеялась над ней до слез, нисколько не мешает мне наслаждаться чтением Мандельштама.

Что же ты молчишь? Скажи, венецианка,  
Как от этой смерти праздничной уйти? —

страстно и горестно вопрошает он, сладостно, блаженно замирая на высоком звенящем «уйти». Пауза. И он, понизив голос, торжественно скандирует:

Черный Веспер в зеркале мерцает.  
Всё проходит. Истина темна...

Мандельштам кончил и, широко открыв глаза, испуганно озирается, будто вынырнул из омута поэзии и не понимает, что с ним случилось и где он находится.

Минута напряженного молчания. И вот уже все начинают говорить, и отдельные слова сливаются в нестройный хор восторга.

Конечно, я могу войти туда, в гостиную, я могу участвовать в этом хоре восторга. Я даже могу поздороваться с Мандельштамом, и Георгием Ивановым, и Кузминым — я с ними всеми знакома.

Ведь я с этой осени равноправный член Дома литераторов и Союза поэтов и скоро буду — что еще бóльшая

честь — членом Цеха поэтов, который Гумилев собирается восстановить.

Но в гостиной на диване сидит Блок. Я не хочу снова попадаться ему на глаза. Я уже и так слишком благодарна судьбе за эти полчаса у камина, совсем незаслуженно щедро подаренные мне.

И я возвращаюсь на свое прежнее место.

Теперь у камина сидит Наталия Грушко, грациозно поджав длинные, стройные ноги.

Наталия Грушко — молодая, хотя уже не только до-революционная, но и довоенная «поэтесса».

Она удивительно хорошенькая. Высокая, тонкая, с маленькой круглой головкой и точеным бледным лицом. У нее глаза, как черешни. Но она никому не нравится — даже Гумилеву. Совсем не нравится. К тому же она автор четверостишия, «прославившего» ее:

Эх, поедem к Фелисьену  
Пить вино и есть икру.  
Добрый муж простит измену,  
Если ж нет, то я умру.

— Вот у кого надо учиться! — воскликнул Гумилев, впервые прослушав его. — Краткость газетного происшествия и трагизм Эсхила! И какая динамика в развитии темы. Скажите, как вы это делаете? Научите!

Наталия Грушко так и не поняла, что он издевается над ней.

Пока у камина сидел Блок, никто из молодых поэтов — ни Оцуп, ни Рождественский — к камину не подходил. Теперь они стоят перед ним.

Москвичка говорит о преимуществе Москвы над Петербургом. Спор в полном разгаре.

— Прошли те времена, — вызывающе заявляет она, — когда

И перед младшею столицей  
Главой склонилася Москва.

Теперь извольте вы, петербуржцы, нам, москвичам, в пояс кланяться.

Все дружно накидываются на нее, как стая борзых на зайца.

— Чего же вы не возвращаетесь в вашу Москву, а сидите здесь, у нас?

Она старается придать своему подпухшему лицу таинственное выражение.

— По причинам личного характера, — важно заявляет она. — О них я не обязана вам давать отчет, — она гордо поднимается с кресла. — Пора. Наверно, Александр Александрович уже собирается домой. — И, сделав прощальный жест рукой, она удаляется.

Из той гостиной, из высших сфер, «спускаются» Лозинский, Гумилев, Георгий Иванов и Мандельштам и тоже подходят к камину.

— Вечер удался на славу, — констатирует Гумилев. — Все, кому полагалось, пришли. Блок мог убедиться, что мы...

Но в эту минуту снова появляется Москвичка.

— Александр Александрович! Где Александр Александрович?!

— Александр Александрович уже ушел. Он просил всем кланяться... особенно вам обоим... Он...

— Не может быть, — перебивает она Гумилева, — ведь мы должны вместе вернуться домой... Он не мог уйти!

Гумилев разводит руками:

— Представьте себе, все-таки ушел. Невероятно, но факт. Ушел!

Она бежит в прихожую, и мы все идем за ней.

Никаких сомнений. Пальто и шляпа Блока исчезли.

Москвичка окидывает диким взглядом пустую вешалку и вдруг хватается за щеку:

— Зубы, проклятые зубы!

Лозинский кивает сочувственно:

— Да. Знаю по опыту — зубная боль убийственная вещь. Я читал, что какой-то швейцарец даже застрелился, не мог ее вынести. А уж на что швейцарцы стойкий и разумный народ.

Все полны участия и наперебой дают советы:

— Главное не застудите, а то на всю жизнь останетесь с кривым лицом. Закутайте щеку потеплее!

— Смажьте десну йодом!

— Примите аспирин!

— Выпейте горячего чая, когда вернетесь домой. И сейчас же ложитесь!

О Блоке ни слова. Но легенде о любви Блока к Москвичке в этот вечер нанесен непоправимый удар.

Она уходит одна в своем тулупчике на рыбьем меху, закутанная до глаз серым шерстяным платком. Такая несчастная, такая одинокая.

Никому с ней не по дороге. Никому не приходит в голову пойти с ней, проводить ее.

Все начинают понемногу расходиться. Гумилев, чувствуя себя здесь хозяином, любезно прощается с гостями.

Мандельштам, не отставая от него ни на шаг, задает ему в десятый раз все тот же вопрос:

— Ты уверен, Николай Степанович, ты совершенно уверен, что Блоку действительно понравилось?

Гумилев отмахивается от него:

— Брысь! Я не попугай, чтобы повторять без конца одно и то же. Не приставай, Златозуб!

Мандельштам огорченно вздыхает:

— Блок, наверно, только из любезности... Ведь правда, Михаил Леонидович, Блок только из любезности похвалил?.. — обращается он уже не к Гумилеву, а к Лозинскому, и тот серьезно и терпеливо, как взрослый ребенок, объясняет ему:

— Нет, Осип Эмильевич, будьте уверены, Блоку действительно понравилась ваша «Венецианская жизнь». Не только понравилась, но и взволновала его. Существует неоспоримая примета. Когда Блока что-нибудь по-настоящему задевает и волнует, он встает и молча топчется на месте. О, совсем недолго, с полминуты, не больше. Вы же не могли не заметить, что он встал и потоптался перед тем, как произнести: «Мне нравится»?

— А я думал, что он ногу отсидел, — вскрикивает Мандельштам. — Значит, правда? правда? Но почему он ничего не сказал, кроме «мне нравится»?

Лозинский пожимает плечами:

— Да разве вы не привыкли к его лаконичной манере говорить? От него не дождетесь, чтобы он клохтал по-куриному от восторга. Ахи и охи не для Блока.

Пяст резким решительным жестом снимает с вешалки свое соломенное канотье — служащее ему круглый год, и бывшее непромокаемое пальто. Оно по старости и по количеству прорех давно потеряло право называться непромокаемым и стало, как многое теперь, «бывшим».

Должно быть, Пяст недоволен тем, что ему не предложили прочесть своих, всем нам уже известных и надоевших стихов, описывающих красавицу революционной эпохи:



Опухшее от длительных бессонниц  
Одно из нижних век,  
Но захоти, любой эстонец  
Умчит тебя навек.  
И порчею чуть тронутые зубы,  
Но порча их сладка...

Дойдя до «сладкой порчи зубов», Пяст обыкновенно весь исходит от неопишуемого блаженства, а слушатели начинают потихоньку давиться от смеха.

Пяст — не только поэт. Он еще и преподаватель чтения стихов в Институте живого слова. «Чтец-декламатор», как его прозвали. Он вначале учил там и меня.

Он действительно читает стихи на удивление всем — даже поэтам, — то звонко отщелкивая ритм, как метроном, то вдруг заливаясь по-соловьиному бесконечными трелями, то спотыкаясь на каждом слове, будто поднимается в гору по усыпанной камнями дороге.

У Пяста, безусловно, должны быть какие-то мне неизвестные большие достоинства. Ведь он был одним из очень немногих друзей Блока. Он, Зоргенфрей и Евгений Иванов — рыжий Женя — составляли его окружение, или, вернее, свиту. С ними Блок совершал прогулки в окрестностях Петербурга, с ними проводил бессонные ночи в ресторанах.

Но Пяст, несмотря на всю свою пламенную любовь и безграничное преклонение перед Блоком, порвал с ним из-за «Двенадцати». Единственный из всех поэтов, если не считать Зинаиду Гиппиус и ее знаменитого ответа на вопрос встретившего ее в трамвае Блока:

— Зинаида Николаевна, вы мне подадите руку?

— Общественно — нет. Человечески — да! — скрепленного рукопожатием.

Пяст пошел дальше даже Зинаиды Гиппиус. Ни «общественно», ни «человечески» он не подавал больше Блоку руки. И чрезвычайно мучился этим, стараясь всем, и главное себе, доказать свою правоту.

Он своей скользящей походкой, вызванной, вероятно, слишком длинными, узкими ботинками, похожими на лыжи, подходит к Мандельштаму.

— Я чувствую, Осип Эмильевич, что мне необходимо высказать вам, как вы меня очаровали. Да, вы действительно имели право приказать:

Останься пеной Афродита,  
И, слово, в музыку вернись!

Да, вы вернули слово в музыку. Даже смысл у вас становится музыкой. Вы — волшебник, вы — маг. Это уже не стихи и даже уже не музыка — это магия.

Мандельштам явно польщен. Он гордо закидывает голову и поправляет галстук.

— Вы — маг и волшебник, — восклицает Пяст торжественно. — Из всех современников я могу сравнить вас только с Блоком, только с ним одним, тоже волшебником, он тоже творит чудеса. Магия... Да, иначе не назовешь его стихов. — По лицу Пяста проходит нервная дрожь. — Но в этом большая опасность, Осип Эмилевич. Сможете ли вы справиться с духами, которых вызвали к жизни? А? Не погубят ли они вас, как погубили Блока, заставив создать «Двенадцать»? Достаточно ли вы сильны? И сумеете ли вы отличить белую магию от черной? Не станете ли и вы, незаметно для самого себя, как он, служить дьяволу?

Георгий Иванов с комическим отчаянием поднимает руки к потолку:

— Увы, увy! Блок не сумел... Заметили ли вы, что от него чуть-чуть, легонько, а все же пахнет серой со времени «Двенадцати»?

Все смеются, и больше всех, как всегда, Мандельштам.

Пяст улыбается кривой улыбкой. Нет, он не обиделся — или, вернее, — он не обижен больше, чем обычно.

Лозинский подает Гумилеву его доху:

— Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит... А кроме того, если мы сейчас не пустимся в обратный путь домой, нам придется познакомиться с прелестями «милицейской жизни». Ведь

Уж десять пробило давно,  
И стало в городе темно  
И страшно...

Все веселье сразу соскакивает с Мандельштама. Он безумно боится милиционеров, как прежде боялся городских. Он начинает суетиться, неумело кутает шею в клетчатый шарф и никак не может попасть в рукав своего пальто. Лозинский отнимает у него пальто.

— Позвольте ваш макферланчик. Я вам помогу. Я всегда следую старинному испанскому правилу: «В борьбе поддерживай слабого, а не сильного, и посему помогай человеку надевать верхнюю одежду, ибо в борьбе человека с нею человек слаб».

Все снова смеются. Да, наверно, нигде и никогда так много не смеялись поэты, как «в те баснословные года».

— А где Кузмин? — спрашивает Лозинский, застегивая свою шубу с бобровым воротником. Ее, кстати, он сам надел, не позволив никому помочь ему в этом, несмотря на испанское правило.

— Кузмин ушел вместе с Блоком, — объясняет Гумилев. — Ведь его дома Юрочка Юркун ждет. Он нигде не бывает без Юрочки, но в Клуб поэтов — ведь Юрочка прозаик — он привести его не решился.

Все спускаются по неосвещенной лестнице.

У подъезда долго прощаются. Георгий Иванов берет Мандельштама под руку:

— Берите его под другую руку, Михаил Леонидович, чтобы наш «юный грузин» не замерз. Будем его отогревать собственными боками. Только не болтай, Осип. Мигом доставим тебя в Дом искусств, в твою конуру. Шагай молча, дыши в шарф.

— Чик! — произносит Лозинский, церемонно отведывая поклон, и объясняет Мандельштаму: — Чик — сокращение «честь имею кланяться». Теперь сокращения в моде. Нельзя отставать от века.

— Чик! — повторяет Мандельштам, заливаясь хохотом.

Из-за крутящегося снега ни его, ни ведущих его Лозинского и Георгия Иванова уже не видно. Но ветер еще доносит взрывы его неудержимого, захлебывающегося хохота.

...Черный вечер,  
Белый снег,  
Ветер, ветер...  
На ногах не стоит человек.

Стоять на ногах действительно трудно. Гумилев берет меня под руку, чтобы я не упала.

— И зубная боль бывает иногда во спасение, — сентенциозно произносит он. — Москвичке было бы, наверно, еще невыносимее, если бы у нее сейчас не трещали зубы. А так одна боль заглушает другую.

Разве заглушает? По-моему, наоборот, увеличивает. Мне очень жаль Москвичку. Бедная, бедная. Как ей, должно быть, тяжело.

— Блок поступил с ней жестоко, — говорит Гумилев. — Всем кажется, что он добр, а на самом деле он жесток. Он то, что называется идеалист-эгоист. Его прекраснодушие приносит зло. Если бы он сразу откровенно и просто показал ей всю безнадежность ее надежд... Но он так вежлив и мягок в обращении. И бессердечен. Он и не подозревает, как она из-за него мучится.

Нет, конечно, он не подозревает, что она мучится из-за него. Иначе он не бросил бы ее одну. Но он не жесток, он не бессердечен. И если он даже иногда жесток и бессердечен,

...разве это  
Сокрытый двигатель его?  
Он весь — дитя добра и света,  
Он весь — свободы торжество, —

говорю я про себя.

А Гумилев продолжает:

— Это пойдет ей на пользу. Хороший урок.

Не верь, не верь поэту, дева,  
Его своим ты не зови —

в особенности без всяких оснований.

Я смеюсь, хотя мне и очень жаль Москвичку.

Снежный ветер дует мне в лицо. Я кричу, стараясь перекричать ветер:

Разыгралась чтой-то вьюга!  
Ой, вьюга, ой, вьюга!  
Не видать совсем друг друга  
За четыре за шага!

Даже на шаг не видать. Я не вижу Гумилева, шагающего рядом со мной.

Снег воронкой завился,  
Снег столбушкой поднялся.

Снег завивается, и кружится, и слепит мне глаза.  
Порыв и полет ветра, и вдруг — на одно только мгно-

вание — я вижу, ясно вижу, в взлетающем к небу снежном столбе грустное, усталое, прекрасное лицо Блока.

У меня захватывает дыханье. Вот сейчас ветер собьет меня с ног, закружит, унесет в снежную мглу, и я рассыплюсь на миллионы снежинок и поднимусь к небу вьюжным столбом...

Но Гумилев крепко держит меня под руку и не дает ветру сбить меня с ног.

— На редкость удачный вечер. На удивление. Ни сучка, ни задоринки, — деловито и самодовольно говорит он. — Учитесь: все в правильной организации, без нее...

Снежный ветер заглушает его слова, да я и не стараюсь слушать.

Мы почти дошли. А Москвичке, наверно, еще далеко до дома. Она сейчас, должно быть, еще на Невском

идет, шатаясь, сквозь буран.

Платок обледенел, стал твердым и колючим, и на ресницах заледенелые слезы. И зубная боль не заглушает, а еще увеличивает боль сердца и чувство обиды.

Я вздыхаю. Бедная, бедная. Как хорошо, что у меня не болят зубы. Как хорошо, что я не влюблена несчастно. Как хорошо, как чудно жить. Особенно сегодня...

Уже потом, в Париже, я прочла в Дневнике Блока его запись об этом вечере. Делаю из него выписку:

«Вечер в клубе поэтов 21 октября.

...Верховодит Гумилев — довольно интересно и интересно... Гвоздь вечера — О.Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос...

Пяст топорщится в углах (мы не здороваемся по-прежнему). Анна Радлова невпопад вращает глазами, Грушко подшлепнутая... У... больные глаза... Она и Рождественский молчат.

Крепкое впечатление производят одни акмеисты. Одоевцева».

Как бы я была счастлива, если бы я знала, что Блок нашел нужным написать мое имя отдельной строкой, как то, что непременно следует запомнить. Как бы я была безмерно счастлива тогда. Но и сейчас, через столько лет, мне это еще очень приятно.

В тот день я пришла в Дом искусств на лекцию Чуковского уже не в качестве студистки, а для собственного удовольствия.

У подъезда я встретила Николая Оцупа, румяного, улыбающегося, белозубого, в ярко-желтых высоких сапогах, с таким же ярко-желтым портфелем, в суконной ловкой поддевке с серым каракулевым воротником и в серой каракулевой шапке.

Вся эта амуниция досталась ему из шведского Красного Креста, где когда-то служил его теперь эмигрировавший старший брат. Она придает ему такой нагловатый комиссарский вид, что «хвостящиеся» перед кооперативом граждане безропотно и боязливо уступают ему очередь, как власть имущему.

В прошлое воскресенье мне и самой удалось воспользоваться магической силой портфеля и желтых сапог.

Мы с Мандельштамом и Оцупом проходили мимо цирка Чинизелли, осаждаемого толпой желающих попасть на дневное представление.

Мандельштам останавливается и, закинув голову, произносит с пафосом:

...Так, но прощаясь с римской славой,  
С capitoлийской высоты  
Во всем величье видел ты  
Закат звезды ее кровавый.  
Блажен, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые... —

блажен, вот как, например, мы. Блаженны — иначе не назовешь! Чем это вам не Древний Рим? Хлеба и зрелищ! Или, за неимением хлеба, — зрелищ! Зрелищ. Львов и тигров. А я достоверно знаю, что их, вместо христиан, кормят трупами расстрелянных буржуев. Правда, не на арене, а в клетках.

— Что за чепуху вы несете, Осип Эмильевич! — возмущается Оцуп. — Ведь никаких львов и тигров сейчас в цирке нет.

Мандельштам сбит с толку:

— Разве нет? Вы уверены, что нет? Впрочем, это дела не меняет. Нет, но могут быть. И пшенной каши львы и тигры есть не станут. Уж поверьте!

— А вы любите цирк? — спрашивает меня Оцуп.

— В детстве страшно любила, а теперь не знаю, я так давно...

— А я любил и продолжаю любить, — перебивает меня Мандельштам уже без всякого пафоса, скороговоркой. — Мы с Георгием Ивановым раньше постоянно ходили в цирк по субботам. Мы с ним были неразлучны. Даже общую визитную карточку завели. Он хотел, чтобы на ней значилось:

Осеоргий Эмирович  
Мандельштанов.

Он ведь свою карьеру эгофутуристом начал, но я предпочел классическую форму. А цирк мы оба любили. И Блок тоже любил. Особенно — французскую борьбу. Мы его часто встречали в цирке.

— А почему бы и нам в цирк сейчас не пойти? — предлагает Оцуп. — Хотите? Я это мигом устрою.

— Что вы, что вы, Николай Авдеевич. Это невозможно, — испуганно протестует Мандельштам. — По такому холоду да в очереди мерзнуть. И ведь «толпа-многоножка» уже все билеты разобрала. В другой раз. Весной. Когда теплее будет.

Но Оцуп, не слушая Мандельштама, уже размахивает, как саблей, своим желтым портфелем, прокладывая дорогу в толпе, и пробирается к кассе, увлекая нас за собой.

— Осип Эмильевич, не отставайте! Но и не лезьте на первый план, — в голосе Оцупа неожиданно появляются властные нотки. — А у вас, — обращается он уже ко мне, — «вид что надо» в вашей котиковой шубке с горностаевым воротником. Отлично, за «совкомку» сойдите. Ну, пошли! — И он, взяв меня под руку, наклоняется к окошку кассы.

— Вот что, товарищ кассир, — говорит он отрывисто-командирским, не терпящим возражений тоном. — Схлопочите-ка нам ложу. Хотим ваших лошадок и клоунов поглядеть. Товарищ Троцкий шибко хвалил...

Эффект полный.

Через пять минут мы, с трудом разыскав прячущегося за чужими спинами перепуганного Мандельштама, уже сидели в ложе, куда нас провели с поклонами...

— Вы, Николай Авдеевич, тоже на Чуковского пришли? — спрашиваю я Оцупа.

Оцуп кивает:

— На Чуковского.

Мы вместе поднимаемся по лестнице и входим в одну из гостиных Дома искусств, служащую студистам классом.

Мы усаживаемся в дальнем углу и приготавливаемся слушать.

Слушать Чуковского во время его студийных занятий с учениками действительно наслаждение.

Трудно себе представить лучшего лектора.

Чуковский сидит за маленьким столом на низком — не по росту — стуле, далеко протянув вперед длиннейшие ноги, весь извиваясь и как бы ломаясь пополам.

Студисты зорко подметили этот его «перелом» и увлекательно его в своем студийном гимне:

У входа в Студию Корней Чуковский  
Почтительно «ломался пополам».

«Почтительно» — тоже правильно подмечено: Чуковский полон почтения не только к поэтам и писателям, но и к своим ученикам. И даже к своим собственным детям. Ведь его знаменитый «Крокодил» посвящен: «Коле и Лиде Чуковским, моим многоуважаемым детям».

Сегодня Чуковский особенно в ударе.

Он широко жестикулирует своими длиннейшими руками, похожими на щупальца спрута, и весь исходит блеском и вдохновением.

— Не находите ли вы, — шепчет Оцуп, — что он похож на того зеленого человека-змею в цирке?

Я не отвечаю, но он не унимается.

— Отсюда, должно быть, и его змеиная мудрость. И, Боже мой, до чего он трудолюбив и работоспособен. Ведь он встает в пять утра...

Я прижимаю палец к губам: не мешайте слушать — и Оцуп замолкает на полужеле.

Да, я знаю, что Чуковский неправдоподобно трудолюбив и работоспособен, что он встает в пять часов, чтобы позаняться спокойно: весь день у него расписан лекциями, заседаниями, практическими занятиями и прочим — некогда дух перевести.

Исследуя творчество Некрасова — он им теперь занят, — он тратит бесконечное число часов на подсчеты повторяющихся у Некрасова слов и рифм, составляя целые картотеки и статистические таблицы.



Непонятно, каким образом из такого книжного, методичного, мертвящего труда получают вдохновенные статьи и лекции, похожие на импровизацию, трепещущие жизнью, рассыпающиеся блесками остроумия.

Я как-то в присутствии Лозинского удивлялась странному несоответствию между упорством, с каким работает Чуковский, и блистательной манерой преподавать результаты этой работы.

— Ничего тут удивительного нет, — с профессорским видом заявил Лозинский. — Всею виной Лафонтен и наш дедушка Крылов, привившие нам ложное понятие о муравье и кузнечике-стрекозе, противопоставляя тип труженика-муравья типу стреко-кузнечика. А они прекрасно уживаются и дополняют друг друга в Чуковском, наперекор басне.

Публичные лекции Чуковского всегда проходят при полном сборе. Но на эстраде, в огромном зале Чуковский совсем иной, чем здесь, в Студии.

Там он не вскипает, не пенится, не взмахивает своими спрутообразными руками, не извивается, не ломается пополам под натиском вдохновения.

Там он сидит неподвижно, нагнув голову, и читает по тетрадке страницу за страницей, монотонно, без пауз, не подчеркивая, не выделяя отдельные слова и фразы, ни разу даже не взглянув на слушателей.

Да, конечно, его публичные лекции пользуются большим успехом. Но что бы это было, если бы он преподавал их так, как в Студии!

По-видимому, Чуковскому, чтобы показаться во всем своем блеске, нужна интимная обстановка, не более двух десятков молодых, преданных ему учеников, а не огромная аудитория — «анонимное тысячеухое чудо-вище», по определению Гумилева.

Сегодня Чуковский особенно в ударе. С какой убедительностью он предостерегает поэтов от опасности, подобно Маяковскому, перегружать стихи парадоксами, вычурными образами, метафорами. Необходимо помнить о шкале читательской восприимчивости. За пределом ее сколько чудес или ужасов ни нагромождай, до читателя они «не дойдут».

Но Маяковский неистово, щедро забрасывает читателя все новыми и новыми диковинками.

— Хотите, — громогласно вопрошает Чуковский, подражая трубному голосу Маяковского, —

Хотите, выну из левого глаза  
Целую цветущую рошу?

И вдруг, весь съезжившись, безнадежно машет рукой, отвечая сонно:

— Вынимай, что хочешь. Мне все равно. Я устал.

Чуковский непередаваемо изображает этот диалог Маяковского с читателем, и класс так грохочет и рокочет от смеха, что даже подвески хрустальных люстр начинают заливчато позванивать и перекликаться.

После лекции мы, как всегда, не спешим расходиться. Никто не торопится домой. Тут, в Доме искусств, в Диске, мы чувствуем себя гораздо больше «дома», чем в собственных нетопленых квартирах.

Ко мне подбегает стриженная, как мальчик, Ада Оношкович-Яцына, лучшая и любимейшая ученица Лозинского, автор стихотворения:

— Я иду с своей судьбой не в ногу  
На высоких каблучках французских,  
Я устало села на дорогу,  
Пусть судьба уходит — мне не жалко, —

которое, к моему негодованию, часто приписывают мне — неизвестно почему.

— Как хорошо, что вы пришли. Я даже звонила вам по телефону, да вас уже не было. У нас — конкурс вальса.

— Вальса, — поправляю я.

— Нет, не вальса, а вольса.

И Ада сбивчиво и торопливо рассказывает мне, что вчера, во время класса переводов, Лозинский, объясняя строку дю Белле «опьянев от пьянящего танца», сообщил им, что речь шла о вольсе, из которого впоследствии вышел вальс. Вольс танцевали при французском дворе, танцевали его и на свадьбе Генриха Наваррского с Маргаритой Валуа, и только Людовик XIII наложил на него запрет.

Начиналось чем-то вроде польки. Но через несколько тактов кавалер должен был приподнять свою даму, продолжая кружить ее. Танец этот требовал большой

силы и ловкости и вызвал моду дамских подвязок, украшенных драгоценными камнями.

Вольсом заинтересовались в Студии, и студисты стали сейчас же упражняться в нем. Но никому из танцоров не удалось приподнять свою даму. Услышав о вольсе, Николай Оцуп сейчас же решил, что он отлично протанцует его, и предложил мне быть его партнершей, должно быть, из-за моей крайней «легковесности».

И вот в столовой, пустующей в эти послеобеденные часы, мы с Оцупом начинаем кружиться по паркету все быстрее и быстрее. Я крепко держу его за шею обеими руками. Толчок, и я чувствую, что отделяюсь от земли, и от страха закрываю глаза. Мне кажется, что он упадет вместе со мной или уронит меня и я сломаю себе спину. Мне так страшно, что я даже не могу кричать. Но он продолжает кружиться и кружить меня.

— Видите, так отлично выходит, — говорит он над самым моим ухом. — И совсем не трудно. Могу еще сколько угодно...

И я начинаю смеяться, но все же не решаюсь открыть глаза. И вдруг — резкий толчок. Оцуп выпускает меня из рук. У меня кружится голова, я с трудом удерживаюсь на ногах.

Отчего все вдруг замолчали? Отчего у Оцупа такое растерянное лицо?

Я поворачиваюсь и вижу — в дверях стоит Блок и серьезно и внимательно смотрит на эту дикую сцену.

— Что же вы перестали танцевать? — говорит он глухо и медленно. — Разве я уж такое страшилище? Я очень люблю, когда веселятся, когда смеются и танцуют. Я и сам бываю очень веселый.

Я готова умереть на месте, провалиться в преисподнюю, навсегда исчезнуть. Боже, какой позор!

Но Оцуп уже идет здороваться с Блоком и что-то объясняет ему.

— Очень красиво, — говорит Блок. — Как балет. В танцах не только прелесть, но и мудрость. Танцы — важнее философии. Следовало бы каждый день танцевать.

Все обступают Блока.

— А вы, Александр Александрович, любите танцевать? — спрашивает Ада Оношкович-Яцына.

— Нет, — серьезно отвечает он ей. — Я не танцую, к сожалению. Мною всегда владел дух тяжести. А для танцев надо быть легким. Надо, чтобы душа была легкая. И чувства. И мысли.

Все наперебой задают ему вопросы. И он отвечает им.

Я стою одна, совсем близко от двери. Шаг, и я уже за порогом. Я бегу. Я уже далеко. Я уже не слышу голосов.

Я останавливаюсь и прихожу в себя.

Ведь, в сущности, ничего непоправимого не произошло. Ну да, у меня был, должно быть, ужасно глупый вид, когда я летала с закрытыми глазами в воздухе и еще так идиотски смеялась. Но он, наверно, не обратил внимания. Он там, он разговаривает так просто со всеми. Мне хочется вернуться. Но я бегу все дальше и останавливаюсь только в «писательском коридоре».

Вот дверь комнаты Лозинского, а рядом живет Мандельштам. Мандельштам... Я вернусь вместе с ним — и все будет в порядке. Я стучу в дверь Мандельштама.

— Entrez!

Почему — «entrez», а не «входите», — ведь мы не во Франции. Но мне некогда подумать об этом. Я открываю дверь и вхожу в многоугольную комнату Мандельштама.

Она полна дыма и чада. Мандельштам сидит перед печкой на корточках среди разбросанных поленьев и обугленных газет.

— Осип Эмильевич, что у вас тут?

Он смотрит на меня отсутствующим взглядом. Глаза его красны и воспалены.

— Подумайте только. Чуть пожар не произошел. Я хотел разжечь проклятые мокрые дрова. Плеснул в печку керосину. А огонь положнул обратно, и газеты загорелись. Еле потушил. А то бы я сгорел, как белая страница. «Немного дыма и немного пепла» — вот все, что от меня осталось бы. Вам, наверно, смешно, — неожиданно негодует он. — Вы здесь все привыкли надо всем смеяться. А мне тошно. Я не кочегар. И не ведьма. Я не умею обращаться с огнем. Меня никто не жалеет...

Нет, мне совсем не смешно. Но и не жаль Мандельштама. Я думаю только о том, чтобы скорее вернуться в столовую, к Блоку.

— Бросьте печку. Пойдем. Я пришла за вами. Пойдем в столовую. Там Блок.

Мандельштам вскакивает.

— Блок здесь? Пойдем, пойдем!

Я подхожу к зеркальному шкафу и поправляю растрепавшиеся волосы и съехавший на сторону бант.

Мандельштам, стоя за моей спиной, тоже смотрится

в зеркало и проводит рукой по подбородку и щекам, поросшим рыжим пухом.

— Я не брился сегодня. Может быть, побриться? Как вы думаете?

— Не надо! — уверенно говорю я. — Совсем не заметно.

— Подождите, я только галстук перевяжу. Мигом! — Он начинает суетиться. Достает из ящика ночного столика помятый синий галстук в крапинку.

— Хорошо бы его выгладить. Да у меня утюга нет.

Я убеждаю его, что зеленый, который на нем, гораздо красивее.

— Разве красивее? Артур Лурье находит, что галстук в крапинку элегантнее всего, а он *arbiter elegantiarum*<sup>1</sup>. Может быть, переодеть пиджак? Надеть клетчатый? А?

— Бросьте, Осип Эмильевич, Блок ведь не дама вашего сердца. Ему безразлично, какой на вас пиджак. Идем скорее, — тороплю я его.

— Да, конечно, ему безразлично, — соглашается он и протягивает мне щетку. Я смахиваю с него пепел. У него всегда левое плечо засыпано пеплом — от привычки сбрасывать пепел папиросы за спину. Но обыкновенно он не доводит жест до конца и пепел попадает на его плечо. Все его пиджаки прожжены.

Мы наконец идем в столовую.

Мандельштам волнуется.

— Я с того вечера в Клубе поэтов не видел Александра Александровича. Мне о многом, об очень многом хочется с ним поговорить. Но ведь так трудно заставить его говорить.

Я успокаиваю Мандельштама:

— Сегодня он очень разговорчивый. Вот увидите сами.

Но увидеть ему не удалось. Когда мы пришли в столовую, Блока там уже не было. Чуковский увел его с собой, к великому огорчению студистов.

— Куда вы пропали? — накидывается на меня Оцуп. — Блок спрашивал о вас. Я сказал, что вы ушли домой. Он просил вам кланяться. И жалел...

Нет, конечно, он не жалел. Он сказал это только из вежливости. Но я-то, — о Господи, — я-то до чего жалел-ла!

---

<sup>1</sup> законодатель в области изящного (*лат.*).

Приглашение на «Торжественное собрание в 84-ю годовщину смерти Пушкина» в Доме литераторов получить было нелегко.

Из-за недостатка места число приглашений было крайне ограничено — в расчете на одну лишь «элисту».

Заведующие Домом литераторов Волковыский, Ирецкий и Харитон вежливо, но твердо отказывали в них рядовым членам, ссылаясь — по Диккенсу — друг на друга. Волковыский говорил:

— Я, конечно, с удовольствием дал бы вам билет. Я понимаю, вам необходимо его дать, но это зависит не от меня, а от Ирецкого. Это он составляет список приглашенных. Я тут ни при чем.

А Ирецкий, со своей стороны, ссылался на злую волю Харитона, хотя Харитон заведовал «хозяйственной частью» Дома:

— Ничего поделать не могу. Конечно, я разделяю ваше возмущение. Но Харитон вообразил себя диктатором и сам раздает приглашения, совершенно не слушая меня.

Рядовые члены бегали от Волковыского и Ирецкого к Харитону, упрашивали, убеждали и, ничего не добившись, уходили, затаив чувство обиды и жажду мести.

Мечь — что, впрочем, и естественно для Дома литераторов — вылилась в четверостишие:

Даже солнце не без пятен,  
Так и Харитон.  
Очень часто неприятен  
Этот Харитон.

Неизвестно, почему «мстители» избрали своей мишенью одного Харитона. Но ему, бедному, они действительно испортили много крови. Четверостишие это в продолжение многих месяцев ежедневно появлялось на стенах Дома литераторов. Его не успевали уничтожать, как оно уже красовалось на другой стене.

Обиженных было очень много. И, как это ни странно, среди обиженных оказался и Гумилев.

Не потому, конечно, что он не получил билета, а потому, что его не сочли нужным попросить выступить с речью о Пушкине.

Об этом он упомянул только один раз и то вскользь, как о чем-то незначительном:

— Могли бы, казалось, попросить меня как председа-

теля Союза поэтов высказаться о Пушкине. Меня, а не Блока. Или меня и Блока.

Больше он к этому вопросу не возвращался, но я поняла, что его самолюбие сильно задето.

— Я надена фрак, чтобы достойно отметить Пушкинское торжество, — заявил он тут же.

Я удивилась. Фрак на литературный вечер? Гумилев презрительно пожал плечами:

— Сейчас видно, что вы в Париже не бывали. Там на литературных конференциях все более или менее во фраках и смокингах.

Я все же старалась отговорить его от нелепого намерения.

— Ведь мы не в Париже, а в Петербурге. Да еще в какое время. У многих даже приличного пиджака нет. В театр и то в валенках ходят...

— Что же из этого? А у меня вот имеется лондонский фрак и белый атласный жилет, — он самодовольно взглянул на меня. — Я и вам советую надеть вечернее, декольтированное платье. Ведь у вас их после вашей покойной матушки много осталось.

Но я, несмотря на все послушание Гумилеву, этому его совету, как он ни убеждал меня, не последовала.

Гумилев стал заблаговременно готовиться к торжественному выходу. Фрак и жилет, покоившиеся в сундуке под густым слоем нафталина, были тщательно вычищены и развешаны на плечиках в неотопливаемом кабинете — на предмет уничтожения нафталинного духа.

Гумилев сам разгладил белый галстук, не доверяя его не только грубым рукам Паши, но и мне.

Все шло отлично, пока не выяснилось, что черные носки — единственную пару черных носков, хранящуюся на парадный случай в шляпной картонке между дверьми прихожей, — съели мыши.

Гумилев в полном отчаянии вынул их из прогрызанной мышами картонки, и они рассыпались кружевом в его руках.

— Слопали, проклятые! А я-то о них заботился!

О мышах Гумилев действительно «заботился», то есть не позволил Паше, когда в квартире появились мыши, взять напрокат соседского кота или поставить мышеловку.

— Кому мышь мешает? Даже веселее, не так одиноко себя чувствую. Все-таки живое существо! Пусть себе бегает! — И он нарочно оставлял на полу прихожей крошки хлеба.

— Катастрофа! Не смогу надеть фрак. Ведь все мои носки белые, шерстяные. В них невозможно, — повторял он, горестно вздыхая.

Мне было смешно, но я старалась выразить сочувствие. Я вспомнила, что у меня дома, по всей вероятности, найдется пара черных носков моего отца.

— Пойдемте ко мне, Николай Степанович, поищем.

— Если не будет черных носков, — неожиданно решил Гумилев, — я вообще не пойду. Без фрака не пойду! Ни за что не пойду!

Но, к великой радости Гумилева, носки у меня нашлись. И ничто не помешало его триумфальному появлению во фраке 13 февраля 1921 года на «Торжественном собрании в 84-ю годовщину смерти Пушкина».

Появление Гумилева во фраке было действительно триумфальным. Я уже сидела в зале, когда он явился, и видела ошеломляющее впечатление, произведенное им на присутствующих.

Должно быть, желание Гумилева появиться во фраке в сопровождении молодой дамы в декольтированном платье было настолько сильно, что оно как бы материализовалось.

Ничем иным нельзя объяснить то, что Ходасевич в своих воспоминаниях об этом вечере пишет: Гумилев явился во фраке под руку с молодой дамой в бальном платье.

Могу засвидетельствовать, что никакая «молодая дама в бальном платье» не сопровождала Гумилеву. Он пришел один.

А среди всех присутствующих представительниц прекрасного пола — почтенных и заслуженных — ни одной молодой дамы в бальном платье не только не было, но и быть не могло.

Я уверена, что этого выступления Блока и его речи никто из присутствовавших забыть не мог.

В этот вечер на эстраде Дома литераторов он держался, как всегда, очень прямо. И совершенно неподвижно. Казалось, он даже не открывал рта, произнося слова. Его глухой, усталый голос возникал как будто сам собой. Блок был скорее похож на статую, чем на живого человека. Но от его светлых вьющихся волос исходило сияние.

Конечно, это была только игра света и теней — электрическая лампа, как прожектор, освещала верхнюю часть его головы, оставляя в тени и без того темное лицо.



Но сияние это тогда многие заметили и рассказывали на следующий день не получившим приглашения на торжество:

— Блок был такой удивительный. Вся публика принарядилась кто как мог. Гумилев, подумайте, даже фрак надел! А Блок в синем костюме и в белом свитере, как конькобежец. Такой стройный, тонкий, молодой. Если бы не лицо. Ах, какое лицо! Темное, большеглазое, как лики святых на рублевских иконах. И над ним сияние, да, да, настоящее сияние, как на иконе. Не верите? Спросите других...

Блок действительно произвел в тот вечер на всех присутствовавших странное, неизгладимое впечатление.

Он стоял на эстраде. Его все ясно видели. И в то же время казалось, что его здесь нет. Но, несмотря на это смутное ощущение отсутствия — или, может быть, благодаря ему, — все, что он говорил своим глухим, замогильным голосом, еще и сейчас звучит в моих ушах. С первой же фразы:

— Наша память хранит с малолетства веселое имя Пушкина. Это имя, этот звук наполняет собой многие дни нашей жизни... Это легкое имя Пушкина...

Никогда до Блока никому и в голову не приходило назвать имя Пушкина веселым и легким.

Ничего легкого. Ничего веселого. Ведь Пушкин — от пушки, а не от пушинки. Что веселого, что легкого в пушке?

Но вот усталый, глухой, потусторонний голос произнес эти слова, и в ответ им, как ветер, пронесся радостный вздох слушателей. И все сразу почувствовали, как метко, как правильно это определение — «веселое, легкое имя Пушкина».

На мгновение отсвет веселого, легкого имени Пушкина лег и на темное лицо Блока. Казалось, он сейчас улыбнется. Но нет, Блок не улыбнулся. Только электрический свет над его головой как будто засиял еще ярче.

И всем стало ясно, что никто из современников-поздних — никто, кроме Блока, — не мог бы так просто и правдиво говорить о Пушкине. Что Блок — прямой наследник Пушкина. И что, говоря о Пушкине, Блок говорит и о себе.

— Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса. Пушкина убило отсутствие воздуха...

Слова гулко и тяжело падают на самое дно сознания.

И многим в этот вечер стало ясно, что и Блока убьет «отсутствие воздуха», что неизбежная гибель Блока близка, хотя никто еще не знал, что Блок болен. Но весь его вид и даже звук его голоса как бы говорили:

Да, я дышу еще мучительно и трудно.  
Могу дышать. Но жить уж не могу.

Блок кончил. С минуту он еще постоял молча, в задумчивости, безучастно глядя перед собой. Потом — не обращая внимания на восторженный гром аплодисментов — повернулся и медленно ушел.

Ушел с эстрады. И, не появившись больше на требовательные вызовы, — ушел домой.

А зал продолжал бесноваться. Такой овации в стенах Дома литераторов еще никогда не было.

Даже Гумилев, на минуту забыв о своем «фрачном великолепии», вскочил с места и, яростно отбивая ладони, исступленно кричал: «Блок!.. Блок!..»

На эстраду выбежал растерянный, смущенный Волковыский и, разведя руками, произнес, будто извиняясь:

— Александра Александровича здесь больше нет! Александр Александрович уже ушел!

К Гумилеву сразу вернулось все его олимпийское величие. Он спокойно обернулся ко мне:

— Надо сознаться, уход на редкость эффектный. Но ведь он даже не отдал себе в этом отчета, не заметил. Пойдемте и мы. Поциркулируем в кулуарах.

И он стал прокладывать дорогу в толпе зрителей, говоря громко, так, чтобы все слышали:

— Незабываемая речь. Потрясающая речь. Ее можно только сравнить с речью Достоевского на открытии памятника Пушкину. Но, знаете, и она тоже, как речь Достоевского, когда ее напечатают, наверно, многое потеряет. Только те, кто сами слышали... А так даже не поймут, что тут особенного.

Он остановился у стены и, сложив руки на груди, благосклонно, с видом царствующей особы, присутствующей на спектакле, принялся обозревать публику.

Все, кто были знакомы с ним — а таковых было большинство, — подходили к нему. Всем было интересно посмотреть на давно невиданное зрелище: на «человека во фраке».

И он, принимая это всеобщее внимание к себе как

вполне заслуженное, находил для каждого улыбку и любезное слово.

Так «Собрание в 84-ю годовщину смерти Пушкина» превратилось в апофеоз Блока и — по выражению Георгия Иванова — в «самофракийскую победу» Гумилева.

Через неделю, сидя в столовой с Лозинским и мною за неизменным дежурным блюдом «заячьи котлеты», приготовленным неизвестно из чего, но только не из зайца, Гумилев восхищался стихами Блока «Имя Пушкинского Дома»:

Имя Пушкинского Дома  
В Академии Наук!  
Звук понятный и знакомый,  
Не простой для сердца звук!..

Он их, к удивлению Лозинского, читал наизусть. Он утверждал, что прекрасные стихи запоминаются сразу и что поэтому-то «Имя Пушкинского Дома» он и запомнил с первого чтения.

Ему особенно нравилась строфа:

Пушкин! Тайную свободу  
Пели мы вослед тебе!  
Дай нам руку в непогоду,  
Помоги в немой борьбе...

— Как просто, по-пушкински ясно и гармонично.

Вот зачем, в часы заката  
Уходя в ночную тьму,  
С белой площади Сената  
Тихо кланяюсь ему.

— Как хорошо и как безнадежно: «Уходя в ночную тьму...» Знаешь, Михаил Леонидович, Блок действительно уходит «в ночную тьму». Он становится все молчаливее, все мрачнее. Он сегодня спросил меня: «Вам действительно так нравится мой “Пушкинский Дом”? Я рад, что мне удалось. Ведь я давно уже не пишу стихов. Но чем дольше я живу, чем ближе к смерти, тем больше я люблю Пушкина». И, помолчав, добавил: «Мне кажется, иначе и быть не может. Только перед смертью можно до конца понять и оценить Пушкина. Чтобы умереть с Пушкиным».

Гумилев недоуменно развел руками:

— Мы с Блоком во всем различны. Мне, наоборот, кажется, что Пушкина поэт лучше всего принимает «на подороге странствия земного», в полном расцвете жизненных сил и таланта, — как мы с тобой сейчас, Михаил Леонидович.

Он улынулся, и его косящие глаза весело заблестели:

— Я никогда еще не любил Пушкина так, как сейчас. Не умирать с Пушкиным. А жить с ним надо.

Но ведь и Гумилеву тогда, хотя он этого совсем не предчувствовал, оставалось, как поется в советской песне, — «до смерти четыре шага».

\* \* \*

Декабрь 1920 года. В Доме литераторов, как всегда, светло, тепло и по-домлитски уютно. Уютно совсем новым уютом, о котором до революции никто и понятия не имел.

Длинный хвост тянется к стойке, где две милые дамы наливают в тарелки, миски и жестяные банки — навывнос — похлебку с моржатиной, стараясь сдобрить ее любимым: «Сегодня, кажется, очень удалась».

Все как всегда. И посетители все те же. И вдруг, именно вдруг, неожиданно в хвосте появляется странная фигура, совершенно не похожая ни на писателей, ни на спутников кавалерственных дам. Вообще ни на кого не похожая. Ни на кого и ни на что. Малиновые высоченные валенки, меховая шапка повязана сверху по-бабьи серым шерстяным платком, под меховой шапкой большие очки, за ними глаза, зоркие, как у охотников в северных лесах. Пальто перетянута ремнем, из кармана выглядывают пестрые варежки. В одной руке ярко начищенная медная кастрюля, в другой — зеленый мешок и палка.

— Ремизов, Алексей Михайлович, — шепчет мне Гумилев и поспешно встает. — Пойдемте. Я вас представлю ему.

«Представлю», а не познакомлю с ним — от почтения. Я и сама не знаю, куда деваться от почтения и смущения. Но все же иду за Гумилевым.

Ремизову уже успели налить полную кастрюлю похлебки. Он, горбясь, пристраивает ее в свой мешок,

что-то по-старчески ворча. Гумилев склоняется перед ним в преувеличенно церемонном поклоне:

— Алексей Михайлович, позвольте вам выразить... Ваше посещение — честь для Дома литераторов и для нас всех...

Ремизов выпрямляется, быстро кладет свой мешок на чей-то стол перед каким-то едоком и, освободив руку, делает ею что-то вроде козы, собирающейся забодать Гумилева:

— А вот он где, кум-Гум, куманек-Гумилек! — задорно взвизгивает он, сразу из старичка превращаясь в школьника. — А мне моржатинки захотелось. Никогда не едал. Грех не попробовать. Как услышал, что тут моржатину дают, решил Серафиму Павловну угостить и сам полакомиться — если съедобная.

Ремизов поворачивается ко мне:

— А вы такая, как я думал.

Я смущенно краснею. Что значит «такая»? И разве он мог обо мне «думать»?

— Ну, домой, чтобы не простыла.

Он подхватывает свой мешок с кастрюлей. Мы провожаем его в прихожую, Гумилев открывает входную дверь.

— Заходите, Николай Степанович, чайку морковного попить. Серафима Павловна вам рада будет, — с чисто московским гостеприимством приглашает Ремизов. — И вы приходите, — это мне. — И вам Серафима Павловна рада будет.

Меховая шапка, повязанная платком, кивает еще раз на прощание, и вот уже Ремизов, ловко балансируя на скользких обледенелых ступеньках, спустился с крыльца, не пролив ни капли похлебки.

— Донесет. И не прольет, — Гумилев смотрит ему вслед и добавляет: — Такой уж он удивительный. Во всем.

Да, удивительный. Я не могу не согласиться. Я удивлена, поражена. Мне кажется, что в наш трехмерный мир вдруг на минуту ворвалось четвертое измерение. Но что в Ремизове такого четырехмерного, я ни тогда, ни сейчас сказать не могу. Особенность Ремизова, его «несхожесть» с другими, его «нечеловечность» — не могу найти нужное слово, — я ее чувствовала всегда.

Гордость его была невероятна. Все писатели более или менее гордые, даже часто не в меру гордые. Но гор-

дость Ремизова заключала в себе что-то высшее, люциферическое. Как и его «униженность». Ремизов был живым подтверждением исконно русского «унижение паче гордости».

Легенды о том или ином человеке обыкновенно возникают после его смерти. Но Ремизову удалось самому создать легенду о себе. Другие, конечно, помогали ему в этом, разнося слухи и сплетни. И он этому очень радовался.

Как-то вечером ко мне пришел Гумилев, весь белый от снега, и долго в кухне стряхивал снег со своей самодской дохи.

— Я к вам не по своей воле пришел, — сказал он наконец, с каким-то таинственным видом оглядываясь и кося еще сильнее, чем всегда. — Меня Кикимора привела. Шел от Ремизова домой. Ведь близко. Но тут меня закружило, занесло глаза снегом, завертело, понесло. Сам не знаю, по каким улицам. Отпустило. Смотрю — ваш подъезд. И свет в окнах. Отдохну у вас немного. А то, боюсь, собьет меня с дороги Кикимора.

Мы устроились на медвежьей полости перед камином и стали печь картошку в золе. Гумилев сыпал солью, единственной тогда приправой к картошке, поленья в печке, чтобы они «трещали, как в сказках Андерсена».

В кабинете было полутемно, тени скользили и тянулись по стенам и потолку, и косоглазое лицо Гумилева, освещенное красным пляшущим отсветом, чем-то напоминало мне никогда мной не виданную Кикимору, и мне казалось, что голос его звучит тоже по-кикиморски.

— Через всю комнату протянута веревка, как для сушки белья. «Они» — то есть Кикимора и прочая нечисть — все пристроены на ней. А за письменным столом сидит Алексей Михайлович, подвязав длинный хвост. Без хвоста он и писать не садится. Не верите? А я сам видел!

Голос его падает до шепота.

— Я как-то зашел к ним. Открыла мне Серафима Павловна. Сейчас же, как всегда, стала «чайком поить». Она такая пышная, белая, как сдобная булка. С ней и пустой чай пить вкусно. «А Алексей Ремизов пишет. Пойдите, позовите его. Он вас любит».

Я пошел. Открываю тихо дверь, чтобы не помешать, и вижу — собственными глазами вижу: Ремизов сидит за столом, спиной ко мне, размахивая хвостом справа налево, слева направо. На табурете сидит, хвост высоко равномерно взлетает в воздух, будто мух отгоняет. А на веревке Кикимора и вся нечисть пляшут, кувыркаются. Я понял — вдохновение снизошло. Мешать, Боже упаси! Закрыл дверь и на носках вернулся к Серафиме Павловне. Так в тот раз и не дождался Алексея Михайловича.

Косящий взгляд останавливается на мне:

— Неужели не верите? А ведь все это истинная правда. Такая же и даже бóльшая, чем холод, голод и аресты. Стыдно не верить.

Гумилев достает из кармана пиджака ярко разрисованный картонный квадратик.

— Знак Обезьяньего достоинства, — объясняет он. — Ремизов просил передать вам вместе с грамотой Обезьяньего царя Асыки. Здесь все сказано. По молодости лет он вас произвел только в оруженосцы. В моего оруженосца.

В грамоте — изумительном произведении графического искусства — действительно «все было сказано» витиеватым обезьяньим стилем. Этот орден стал предметом моей гордости и зависти «Серапионовых братьев» и прочих молодых писателей. Все мы безгранично уважали Ремизова. Помню, меня, шутя, «с монаршей милостью» поздравили и Замятин, и Георгий Иванов, и Лозинский. Вспоминаю об этом, чтобы подчеркнуть, как в литературных кругах, близких к Гумилеву и Цеху, чтити Ремизова.

\* \* \*

В конце лета 1920 года Гумилев решил «расширить сферу своей деятельности» и взяться за уже создавших себе имя молодых поэтов.

Первая лекция была назначена 20 августа в Доме искусств.

На ней я присутствовала уже не в качестве кандидата, а как молодой поэт — и тоже, как и в Цехе потом, была здесь единственной женщиной.

Слушать Гумилева собрались Георгий Адамович, только что приехавший на несколько дней в Петербург,

и неразлучный с ним Георгий Иванов, «два Жоржика», как их называли.

Кроме них, Оцуп, Нельдихен, если не ошибаюсь, Всеволод Рождественский, какой-то молодой латышский поэт в военной форме и несколько членов только что основанного Союза поэтов — имен их я не запомнила.

Все происходило по-домашнему — и лектор, и слушатели сидели за одним и тем же длинным столом.

Тут, как в «Живом слове» когда-то, совместно писали стихи.

На первой лекции к следующему разу было задано стихотворение о бульдоге со сложным чередованием четырехстопных и двухстопных хореев.

К моему удивлению, оказалось, что молодые поэты не так уж сильны в теории стихосложения, и что у них очень смутные понятия даже о такой общепринятой форме стиха, как сонет, и что им неизвестно, что такое рифмоид, анакруза и т.д. И они мало интересуются всей этой премудростью.

Из лекций и занятий этих большого толка не вышло, и они довольно скоро прекратились. Но если бы их не существовало, я, по всей вероятности, не стала бы женой Георгия Иванова.

Гумилев относился очень покровительственно к нашей начинающейся дружбе.

— Хорошо, что вы нравитесь Жоржику Иванову. Вы ему даже очень нравитесь, но он мальчик ленивый и за вами никогда ухаживать не станет и в верные рыцари вам не годится.

Гумилев ошибся, в чем он сам сознался мне впоследствии:

— Вот никак не думал, не гадал. Голову бы дал на отсечение. Мне всегда казалось, что вы можете влюбиться в одного только Блока, а Жоржик, Оцуп и все остальные для вас безразличны и безопасны.

И, разводя руками, прибавил:

— Плохой я оказался психолог. Впрочем, не совсем. Ведь я догадался, что он в вас влюблен, когда Жоржик прочел мне зимой свои новые стихи:

Не о любви прошу, не о весне пою,  
Но только ты одна послушай песнь мою.

Я сразу понял, о каких глазах идет речь. Он, может быть, и сам еще тогда не понимал, что это о вас...



Возвращаясь со мной с первой лекции, Гумилев спросил меня, как мне понравился Георгий Адамович, — я его еще никогда не видела — он не жил тогда в Петербурге.

— Очень, — ответила я, не задумываясь. — Он такой изящный — у него необычайное, «необщее» лицо, словно составленное из двух, совсем не подходящих друг к другу половин. Подбородок, рот и нос — одно, а глаза и лоб — совсем другое. Разные, как небо и земля. Особенно глаза, глаза действительно небесные. Будто это про них:

Поднимет — ангел Рафаэля  
Так созерцает Божество.

Гумилев смеется.

— Ну, это вы уже хватили! Но глаза у него действительно красивые. И вы правы, он очень изящен. Я помню, как-то еще до революции я его встретил в коридоре университета. Он, хотя и небольшого роста, выделялся среди толпы студентов, и я тогда подумал, что он скорее похож на произведение искусства, чем на всех этих вихрастых юнцов-студентов. И вы знаете, он очень умный и острый мальчик. И стихи он пишет совсем хорошие. Лучше многих. Я рад, что он вам понравился.

\* \* \*

Второй день Рождества 1920 года, последнего Рождества Гумилева.

Он только что вернулся из Бежецка и рассказывает мне о своей рождественской поездке.

— До чего стало трудно путешествовать. Прежде легче было до Парижа добраться, чем теперь до Бежецка. Особенно обратно — вагон полон пьяных. И где они самогон достают? Вонь, крики, гармошка, гам. Я ужасно устал.

Да, у него усталый, грустный вид. Он вздыхает.

— А как я любил Рождество. Всегда любил. Для меня, — говорит он, — слова «рождество», «сочельник», «елка» казались совсем особенными, магическими, полными тайны. Но я мальчиком-гимназистом скрывал это, снобировал, считал елку пережитком детства. Мне очень хотелось казаться взрослым, поскорее выка-

рабкаться из всего, что связано с детством, а теперь наоборот — мне часто хочется нырнуть туда, в глубь детства, на самое дно его, не только в младенчество, но даже в до-младенчество, в до-рождения, улечься там в утробной позе, сося большой палец в блаженном безмыслии. Не в бессмыслице, а в бессмыслице.

Он смеется:

— Надоело быть взрослым, вечно быть взрослым.

Он подбрасывает новое полено в печку.

— Мне бы хотелось, чтобы тут в углу стояла пышная елка до потолка, вся в золоте и серебре, в звездах и елочных свечках. И чтобы много подарков под ней лежало.

Он поворачивается ко мне.

— Ведь и у вас нет елки? Мне вас очень жаль. Вам, наверно, страшно грустно?

Елки у меня действительно нет. Но мне совсем, совсем не грустно. Даже напротив.

А он продолжает:

— Подарков вы, конечно, никаких не получили? Как же без подарков? Ах вы, бедная, бедная. Нет, этого нельзя так оставить. Вы непременно должны получить подарок — настоящий, стоящий подарок. Что вам такое подарить? А?

Он смотрит на меня выжидательно и повторяет уже нетерпеливо:

— Скажите скорее, что вам подарить?

Я трясую головой.

— Ничего, ничего. Правда, ничего не надо.

— Перестаньте играть в Девочку-Неточку. Зачем вы отказываетесь? Глупо отказываться. Я ведь знаю, вы обожаете подарки. Хотите, я подарю вам леопарда?

Леопарда, на котором я сейчас сижу. Он обыкновенно лежит перед кроватью в спальне, изображая коврик.

О нем Гумилев писал:

Колдовством и ворожбою  
В тишине глухих ночей  
Леопард, убитый мною,  
Занят в комнате моей...

Я почему-то не верю, что Гумилев сам его убил, а не просто купил его где-нибудь на базаре в Африке. Но, конечно, я никогда не говорила ему об этом.

Леопард небольшой, плохо выделанный, жесткий и

ничем не подбит. И хотя Гумилев и сокрушался в том же стихотворении:

Ах, не слушал я совета,  
Не спалил ему усов... —

усов у леопарда не видно. Я обратила на это внимание Гумилева, когда он мне впервые прочел «Леопарда», но он недовольно поморщился:

— Вздор какой! Должно быть, негр, когда дубил его шкуру, отрезал ему усы. Или мошь съела их. Но я сам не спалил их — в этом-то все дело.

Нет, леопард мне ни к чему, и Гумилев не настаивает.

— Не хотите, и не надо! — Он задумывается. — Что бы такое вам подарить? Ведь у меня здесь собственных вещей — раз-два и обчелся. Хотите мой черепаховый портсигар? Но к чему вам, раз вы не курите? Нашел! Забирайте Судейкина! Ведь вы им всегда любуетесь. Он-то уж вам нравится!

Я отказываюсь почти с испугом. Нет, я никак не могу принять такого ценного подарка. Но он уговаривает меня горячо и властно:

— Если не возьмете, сожгу его в печке. Честное слово! Сейчас сожгу.

Конечно, он преувеличивает, он картину жечь не станет — на такое варварство он не способен. Но я понимаю, что он действительно хочет подарить мне Судейкина.

И я соглашаюсь. Это чудесный подарок. Я страшно рада. Но разве ему не жалко? Ведь раз он привез его сюда из Царского, значит, он ему дорог. Он любит его...

— Конечно, люблю. И даже очень, — перебивает он меня. — Дарить надо то, что сам любишь, а не — на тебе, Боже, что мне негоже...

Ему, по-видимому, совсем не жалко, и он рад не меньше, чем я.

Мы идем в спальню, где висит Судейкин в золотой старинной раме. Гумилев становится на стул и снимает картину. На стене остается светлое пятно и большой черный крюк, и от этого плохо обставленная спальня становится еще некрасивее.

— Крюк завтра же вырву, — говорит он, — крюк — приглашение повеситься, даже когда к этому ни расположения, ни повода нет. К тому же у вас дома крюк вряд ли найдется, и — опять к тому же — они, крюк и карти-

на, друг к другу привыкли и сдружились, сжились, два года она на нем висела — разлучать их не следует. Завтра я приду к вам и собственноручно вколочу этот крюк в вашу стену. А Судейкина забирайте с собой.

Мы снова сидим перед печкой. Теперь не только я, но мы оба в превосходном, праздничном настроении.

— Вы так сияете, — говорит Гумилев, — что вас можно в угол вместо елки поставить.

Но и сам он сияет не меньше меня.

Кто выдумал, что Гумилев черствый эгоист? Разве можно быть щедрей, добрей и милей, чем он сейчас? Чем он вообще?!

А он теперь рассказывает о своем сыне.

— Левушка читает «Всадника без головы» Майн Рида и водит гулять Леночку, как взрослый, оберегает ее и держит ее за ручку. Смешно на них смотреть, такие милые и оба мои дети. Левушка весь в меня. Не только лицом, но такой же смелый, самолюбивый, как я в детстве. Всегда хочет быть правым и чтобы ему завидовали. Раз, еще до Бежецка, я повез его в трамвае в гости к его матери, к Анне Андреевне. Он всю дорогу смотрел, не отрываясь, в окно и вдруг спрашивает: «Папа, ведь они все завидуют мне, правда? Они идут, а я еду». Бедный ребенок. Я не стал его разочаровывать и ответил: «Конечно, Левушка, они завидуют тебе».

Гумилев смеется и продолжает:

— Леночка, та нравом пошла в Аню и очень капризна. Но уже понимает, с кем и когда можно капризничать.

Он вдруг перебивает самого себя и меняет тон:

— А со мной, когда я ехал к ним, странный случай произошел. Вы ведь на Званку ездите и знаете, какая теснота, мерзость и давка в поезде. В купе набилось тринадцать человек — дышать нечем. До тошноты. К тому же я терпеть не могу число тринадцать. Да еще под Рождество, в Сочельник. Вот я с трудом, через мешки и сидящих на них мешочников, и пробрался на площадку.

Холод волчий. Окно все в узорах, заледенело, ничего сквозь него не видно. Я подышал на стекло и стал смотреть в оттаявшую дырку на серое небо, на белый снег и черные деревья. Как, помните, у Андерсена Кай в сказке «Снежная королева».

Колеса стучат та-та́, та-та́-та́! Та́. Однообразно, ритмично. И я совсем машинально, не думая ни о чем, стал повторять про себя строчки Мандельштама:

Сегодня дурной день,  
Кузнечиков хор спит... —

ведь тот же ритм, как и стук колес. Повторяю еще и еще:

Сегодня дурной день...

И чувствую — я ведь очень нервный, — за мной стоит кто-то. Оборачиваюсь — высоченный красноармеец через мое плечо смотрит в надышанное мною, оттаявшее пятно на оконном стекле. И вдруг он, не меняя позы, продолжая смотреть на снежные поля и деревья, громко и отдельно произносит:

— Сегодня дурной день.

Больше ничего. Потом широко зевнул, повернулся и ушел.

Я просто обалдел. Смотрю ему вслед. Ведь он одновременно со мной сказал то, что я повторял про себя. И от этого я совсем неожиданно почувствовал полное, абсолютное слияние с поэзией. Такое, как редко, как почти никогда.

Только одна минута. Но такая полная, глубокая, тягеловесная и вместе с тем невесомая. Будто в ней все прошлое, и все будущее, и, главное, настоящее сегодняшнего дня, того времени, что сейчас идет. Минута, которую обыкновенно невозможно почувствовать. Остановка времени — на одну минуту. Нет, я не умею объяснить. Я всегда смеюсь над Блоком и Белым, что у них многое «несказанно». А тут и сам испытал это «несказанное» — иначе назвать не могу.

Слияние с поэзией. Будто она во мне и я в ней. Нет, вернее, будто я сам — часть поэзии. На одну минуту мне все стало ясно и понятно. Я все понял, все увидел...

Нет, я еще совсем не хочу умирать. Я еще совсем не готов к смерти, не изжил всего, предназначенного мне. Мне еще многое предстоит...

Он смотрит в огонь, продолжая ворошить угли. Он наклоняется к печке, и мне начинает казаться, что он говорит не со мной, а с огнем в печке.

Знакомое, неприятное ощущение — Гумилев забыл обо мне, и сейчас не я, а огонь, полумрак и тишина его собеседники. Очень неуютное ощущение. Оно как будто вычеркивает меня из жизни. Я как будто перестаю существовать.

Я сажу, не двигаясь, на леопарде. Если бы в прихо-

жей висело зеркало, оно, наверное, отразило бы Гумилева перед печкой и у ног его леопардовую шкуру. Больше ничего. Меня бы оно не отражало. Оттого, что меня тут нет. Не только тут, меня вообще нет. «Но это длится миг, короткий миг. И нет его».

Гумилев отворачивается от огня, его двоящийся, внимательный взгляд останавливается на моем лице, и я сразу снова чувствую себя. Я здесь. Вся здесь, со всеми моими мыслями и чувствами. Со всем своим настоящим и будущим.

Он говорит медленно:

— Напишите балладу обо мне и моей жизни. Это, право, прекрасная тема.

Но я смеюсь, я протестую, я утверждаю свое присутствие, свою независимость отказом.

— Нет. Как о вас напишешь балладу? Не могу! Нет!

Он не понимает. Я вижу, что он обижен моим отказом, моим смехом.

— Почему? — спрашивает он. — Почему вы не можете?

— Потому, что вы не герой, а поэт.

— А вам не приходило в голову, что я не только поэт, но и герой?

— Нет, — говорю я решительно, продолжая смеяться, — нет! Одно из двух: или вы поэт, или герой.

— Что же! — Он снова наклоняется к печке. Пламя освещает его задумчивое, неожиданно осунувшееся, постаревшее лицо. — Что ж! Не надо, если вы не хотите. А жаль!.. Это, право, прекрасная тема.

Я вскакиваю. Мне хочется двигаться. Мне хочется поскорее забыть о тягостном ощущении, пережитом мною сейчас.

— Если бы вы даже были героем, — говорю я, — о героях баллады пишут не при жизни, а после смерти. И памятники ставят, и баллады пишут после смерти. Вот когда вы через шестьдесят лет умрете... Только я к тому времени буду такая ветхая старушка, что вряд ли смогу написать о вас. Придется кому-нибудь другому, кто сейчас даже и не родился еще.

Гумилев тоже встает.

— Хорошо. Согласен. Уговорили. А сейчас, пока я еще жив, давайте есть рождественскую кутью. Я ее из Бежецка привез. Целый горшок. На меду с орехами, очень вкусная.

Уже в 1924 году, в Париже, я описала в «Балладе о Гумилеве» этот рождественский вечер. Все было так. Со всем так!

«На пустынной Преображенской снег кружился и ветер вѐл. К Гумилеву я постучала, Гумилев мне двери открыл.

В кабинете... (единственная неточность: не в кабинете, а в прихожей) — топилась печка, за окном становилось темней.

Он сказал: «Напишите балладу обо мне и жизни моей. Это, право, прекрасная тема». Но, смеясь, я ответила: «Нет! Как о вас написать балладу? Ведь вы не герой, а поэт».

Он не спорил. Но огорченье промелькнуло в глазах его. Это было в вечер морозный в Петербурге на Рождество...»

\* \* \*

Солнечный майский день. Я иду с Гумилевым по Дворцовой набережной, после его лекции в Доме искусств. Он вдруг останавливается и, перебивая самого себя на полуфразе, говорит:

— Поворачивайте обратно. Дальше вам меня провожать неудобно. Ведь там конспиративная встреча. О ней никто не должен знать. И вы забудьте. Идите себе домой с Богом. Через Летний сад. Кланяйтесь от меня статуям и деревьям. Дайте мне только на прощанье ветку сирени.

Весной и летом я всегда хожу с цветами. Они почти ничего не стоят и доставляют мне столько радости. Я разгуливаю с ними весь день и вечером ставлю в воду на ночной столик, чтобы, проснувшись, сразу увидеть их. Об этой моей странной манере разгуливать с цветами Георгий Иванов вспоминал в стихах в последний год своей жизни:

Ты улыбалась. Ты не поняла,  
Что будет с нами, что нас ждет.  
Черемуха в твоих руках цвела...

И в другом:

Поговори со мной о пустяках,  
О вечности поговори со мной.

Пусть — как ребенок, на твоих руках  
Лежат цветы, рожденные весной.

Я протягиваю Гумилеву ветку сирени.

— До завтра, Николай Степанович.

— До завтра. Не забудьте, кланяйтесь от меня деревьям и статуям Летнего сада. — И, понижая голос, добавляет: — Никому не говорите, куда я иду.

По-моему, ему вообще не следовало сообщать мне о «конспиративной встрече», раз о ней никто не должен знать. Все это несерьезно, а только игра в заговоры, театр для себя. Но я и виду не подаю, что не верю ему. Я говорю:

— Будьте осторожны, Николай Степанович. Ведь всюду провокаторы и даже у стен уши.

— Не бойтесь за меня. Я в огне не горю и в воде не тоню. — И он, самоуверенно улыбаясь, удаляется, размахивая веткой моей сирени.

Я возвращаюсь по набережной. Как все вокруг величественно и красиво. Какая чистая, какая синяя вода в Неве. Нигде в мире нет подобного города.

Я вхожу за кружевную решетку Летнего сада, дважды низко кланяюсь и говорю вполголоса:

— Один большой поклон всем статуям и один большой поклон всем деревьям — от Гумилева. Всем, оптом. А то шея заболит, если всем вам отдельно кланяться.

Я иду и прислушиваюсь к легкому волшебному шуму деревьев. Нигде в мире так легко, так волшебно не шумят деревья, как в Летнем саду. Может быть, оттого, что здесь часто звучит музыка Чайковского и отголосок ее слышится в их шуме? Или это от немого разговора статуй между собой? Не знаю. Но здесь все — даже воздух — совсем особенное.

Сад почти пуст. Только там вдаль медленно идут, держась за руки и глядя друг на друга, двое подростков, как в стихах Гумилева:

Вот идут по аллее, так странно нежны,  
Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя.

Нет, не «гимназист с гимназисткой», а комсомольцы. Но они так же странно тихи и влюблены. Я сворачиваю на боковую дорожку, чтобы не встретиться с ними, не вспугнуть их мечтательной тишины.

На одной из скамеек между зеленеющей липой и белой статуей сидит кто-то. Именно «кто-то», как у сим-



волистов. Сидит неестественно и странно. Даже будто не сидит, а полувисит в воздухе. Совсем неподвижно. Только длинные сияющие на солнце седые пряди волос слегка извиваются вокруг измученного бледного лица с закрытыми глазами.

Мне хочется как можно тише и быстрее пройти мимо него. Но он, должно быть, уже почувствовал мое присутствие. Он резко поворачивается, вытягивает шею вперед. Он смотрит на меня широко открытыми, большими глазами — смотрит с отчаянием. И я узнаю его. Это — Андрей Белый.

Я останавливаюсь, я растеряна. Ведь я увидела то, чего не имею права видеть, будто подглядела за ним сквозь замочную скважину. Мне хочется убежать, скрыться, но я бессмысленно стою на месте и, сознавая, насколько это глупо, громко говорю:

— Здравствуйте, Борис Николаевич! — И, сознавая, что гибну, прибавляю еще громче: — Простите, ради Бога. Я сейчас, сейчас уйду. Совсем уйду.

Он взмахивает руками, взлетает, и вот он уже стоит передо мной и крепко держит меня за локоть.

— Нет, нет, не уходите, — почти кричит он. — Не пу-  
щу.

Лицо его передергивается широкой сияющей улыбкой, будто он дернул себя за невидимую ниточку и — дерг-передерг — сразу весь пришел в движение.

— Как хорошо, что вы пришли! Я здесь погибал на скамье. Я бы умер на ней, если бы вы не пришли. У-у-  
умер!

Я сбита с толку. За кого он меня принимает? Ведь он, наверно, даже не помнит, где он меня видел и кто я такая.

А он уже радостно:

— Я тут погибал от одиночества и тоски. Я в оцепенение впал. А вы пришли и расколдовали меня. Сразу. Позвали по имени, назвали — Борис Николаевич! И я снова ожил, восстал из праха и хаоса. Вот — я весь тут. Могу двигаться. Видите?

Да, я вижу. Он, не выпуская моего локтя, притоптывает и пританцовывает.

— Как хорошо, что вы пришли! — В его сияющих глазах ужас. — Но вы пришли!

Он благословляет мой приход, он бурно благодарит меня, не слушая моих робких возражений.

— Пойдем, пойдем, сядем скорей!

Все еще приплясывая и держа меня за локоть, он ведет меня к скамье. Я говорю:

— Но раз вам было так тяжело на этой скамье, не надо на нее снова садиться. Поищем другую, Борис Николаевич!

Но он качает головой, седые пряди его волос высоко взлетают и падают, сверкая серебром на солнце.

— Нет, нет, именно на нее сядем. Именно на нее, а не на другую. Она теперь безвредная, добрая. Она теперь своя, родная. Вы ее тоже расколдовали. На ней нам будет очень хорошо, очень уютно. Ведь там, где много страдал, туда и тянет больше всего.

Он опускается на скамейку, подгибает одну ногу под себя и блаженно вздыхает:

— Сижу, как паша на тахте, роскошно раскинувшись, и вы тоже устраивайтесь поудобнее. Вот так, — он, широко жестикулируя, показывает, как мне сесть.

Я сажусь на край скамьи, подальше от него, чтобы не мешать бесперывному движению его рук. Это какой-то танец на месте, разворачивающийся на скамейке на расстоянии аршина от меня, — необычайно грациозный танец. Неужели все это для меня одной? Ведь я — единственная зрительница этого балета, этого «небесного чистописания» его рук. Я единственная слушательница безудержного водопада его слов. Неужели он расточает все это богатство для меня?

Но ему — я это помню — нет дела до меня. Я только повод для его прорвавшегося наконец наружу внутреннего монолога. И он говорит, говорит... Ему необходимы уши, слушающие его. Все равно чьи уши. Ведь они для него — всегда — «уши вселенной». Он всегда говорит для вселенной и вечности. Казалось бы, великая честь. Но Ефим, слуга Дома искусств, знаменитый своим баснословным сходством с Николаем II и гордящийся им — он даже носит серую суконную тужурку, как покойный государь на портрете Серова, — рассказывал мне:

— Борис Николаевич любят являться поздно, когда в столовой больше никого нет. Закажут стакан чаю и даже не притронутся. Начнут рассуждать. Уйти невозможно — обидятся! Вот и стоишь, как чурбан. И не поймешь, о чем это они так жалостливо разливаются, будто плакать собираются. Я им говорю: «Спокойной ночи, Борис Николаевич! Простите, я устал за день». А они хватить меня за рукав: «Да садитесь, голубчик. Садитесь.

Усталость пройдет!» Усаживают меня рядом с собой. Хоть революция и господ больше нет, а все же сидеть мне неловко. А они моего протеста в расчет вовсе не принимают и так и сыпят, так и сыпят, заговаривают меня до одури. Хороший барин. Деликатный. Жаль только, что с мухой.

Да, я сознаю, что сейчас я заменяю Ефима. Но я, не в пример Ефиму, стараюсь не пропустить ни одного слова. Все понять и все запомнить.

— Петербург, — вдохновенно говорит Белый. — Нигде в мире я не был так несчастен, как в Петербурге. Сколько было приездов с предчувствием неминуемой гибели, сколько ужасающих, постыдных отъездов-бегств. Я всегда тянулся к Петербургу и отталкивался от него. Я и свой лучший роман назвал «Петербург» — по совету Вячеслава Иванова, правда. Я хотел безвкусно «Лакированная карета». С таким бездарным названием весь роман мог провалиться в небытие. А ведь это лучшее, что я создал. Запись бреда. Такого ведь до меня нигде не было. Даже у Достоевского. Когда я писал, все время жил в кошмаре. Ужас! Ужас! Кошмар и днем, и ночью! Наяву и во сне бред.

Он поворачивает ко мне бледное лицо. Его широко раскрытые глаза сияют каким-то странным фосфорическим блеском. От него — я это явственно чувствую — исходят магнетические лучи.

— Я тогда, — продолжает он шепотом, будто доверяя мне тайну, — пересоздал Петербург. Мой Петербург — призрак, вампир, материализовавшийся из желтых, гнилых лихорадочных туманов, приведенных мною в систему квадратов, параллелепипедов, кубов и трапеций. — Он указательным пальцем вытянутой длинной руки чертит в воздухе геометрические фигуры. — Видите? Я вот так воссоздал Петербург. Это не только Петру, это и мне Евгений крикнул: «Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!» Ужо тебе! — Он откидывается на спинку скамьи и закрывает глаза. Но он не замолкает. Нет, он говорит еще быстрее, еще более взволнованно и напряженно:

— Я населил свой Петербург автоматами, живыми мертвецами. Я сам тогда казался себе живым мертвецом. Я и сейчас мертвец. Да, мертвец — живой мертвец. Разве вам не страшно со мной?

Дрожь проходит по моей спине. Да. Мне страшно. Страшно, как от присутствия существа другого мира.

Но встать, уйти? Ни за что! Я понимаю, что мне сейчас дана, может быть, единственная, неповторимая возможность с глазу на глаз видеть и слушать гения.

А он взмахивает руками, будто готов отделиться от скамьи. И мне вдруг начинает казаться, что он в своем черном пиджаке похож на огромную летучую мышь. На летучую мышь, раскинувшую крылья надо мной, над Летним садом, над Петербургом, действительно созданным им. Мне начинает казаться, что и я только один из персонажей, созданных им, что сама по себе я перестала существовать. О чем это он? Я не понимаю...

— Сократ Толстой — перевоплощение Сократа... Ясная Поляна — звезда России... Россию спасет эфирное явление Христа...

Я слушаю. Теперь слова тяжело и гулко падают, а не взлетают водопадом, не пенятся, не рассыпаются искрами. Слова падают, как камни: Дорнах! — пауза — Гетеанум! — пауза — доктор Штейнер!..

Ах, вот он о чем! Антропософия! Я знаю, что Белый — антропософ, хотя и не представляю себе ясно, что это значит. Гумилев относится к антропософии отрицательно, даже враждебно, и не пожелал мне объяснить толком: «Незачем вам антропософской чепухой заниматься. О переселении душ, о карме слышали? Ну и довольно с вас».

Я в недоумении смотрю на Белого. Он вдруг медленно поднимается со скамьи и, высоко подняв руки, провозглашает певучим, звенящим голосом:

— Близится эфирное явление Христа! Уже недолго ждать. Оно спасет мир. Спасет Россию. Оно избавит меня от страданий. — Он резко поворачивается ко мне, протягивая руки вперед: — Я несу на себе все страдания мира, — испуленно выкрикивает он. — Я один!.. Все страдания...

Я вскакиваю. Сирень падает на землю. Я вся дрожу и не могу справиться с собой. Я стараюсь не смотреть на него, не слушать его... Но он берет меня за плечи, заглядывает мне в глаза.

— Я вас испугал? Простите, я не хотел, голубушка! Успокойтесь, сядьте.

Я молчу, подбирая упавшую на землю сирень. И снова сажусь рядом с ним.

— Ну зачем я ломаюсь? Зачем я безумствую? Скажите, зачем? Скажите, голубушка, зачем? Я ведь всегда ломаюсь. Всегда ломался. Не мог не ломаться — это моя самозащита — с самого младенчества.

Он снова вдохновенно торопится, заливая меня не-  
удержимым потоком слов, и я, успокоившись, слушаю  
его, прижимая сирень к груди.

— Это все чушь про золотое детство. Тюрьма, пусты-  
ня детства. В сущности, и мое детство можно назвать зо-  
лотым. Еще бы! У меня даже колесо и палочка, которой  
я его подгонял, были золоченые и волосы совсем золо-  
тые. Золото. Всюду было золото. Я ходил в кружевном  
платице, обвешанный золотыми локонами. Мальчик  
или девочка? Вернее — ангелочек. Тогда-то я и научил-  
ся ломаться.

Родители вели из-за меня борьбу. Я был с уродом-  
папой против красавицы-мамы и с красавицей-мамой  
против урода-папы. Каждый тянул меня в свою сторону.  
Они разорвали меня пополам. Да, да. Разорвали мое  
детское сознание, мое детское сердце. Я с детства раз-  
двоенный. Чувство греха. Оно меня мучило уже в четы-  
ре года. Грех — любить маму. Грех — любить папу. Что  
же мне, грешнику, делать, как не скрывать грех? Я был  
замкнут в круг семейной драмы. Я любил и ненавидел.  
— И шепотом и почти с ужасом: — Я с детства потенци-  
альный отцеубийца. Да, да! Отцеубийца. Комплекс  
Эдипа, извращенный любовью. Мама била меня за то,  
что я любил папу. Она плакала, глядя на меня: «Высоко-  
лобый, башковатый. В него, весь в него. В него, а не в  
меня».

Как странно, что Белый, лысый и седой, говорит:  
мама и папа, а не отец и мать, как все. Но Блок тоже го-  
ворит: «Мама мне вчера писала», «Мама приехала». Я  
знаю это от Гумилева.

А Белый уже во весь голос все вдохновеннее продол-  
жает:

— Мама была настоящей красавицей. Ах нет, Досто-  
евский не прав — красота не спасет мир! Какое там —  
спасет! Мама была очень несчастна. Знаете, красивые  
женщины всегда несчастны и приносят несчастье дру-  
гим. Особенно своим единственным сыновьям. А она  
была красавицей. Константин Маковский писал с нее и  
со своей тогдашней жены, тоже красавицы, картину  
«Свадебный обряд». Раз они обе сидели на обеде в честь  
Тургенева. И Тургенев все время разглядывал их сквозь  
лорнет на широкой черной ленте. И жмурился, как кот,  
от удовольствия. А маме от ее красоты радости не было  
никакой. Одно горе. Ей и мне.

Он задумывается на мгновение и вздыхает.

— У меня в детстве только и было хорошего, что гувернантка Бэлла Радек. Некрасивая старая дева. Да, да, Радек, как теперешний Радек. Может быть, его сестра? А? Спросить бы у него. Она мне говорила: «Зачем ты, Боренька, ломаешься под дурачка? Ведь ты совсем другой». Она одна меня понимала. Если бы ее не выгнали, я бы, наверно, и стал другой. Но мама приревновала меня к ней. И я остался один — в четыре года. И с тех пор уже не переставал ломаться. Даже наедине с самим собой. Строю себе и теперь гримасы в зеркале, когда бреюсь. Ведь гримаса — та же маска. Я всегда в маске! Всегда.

Он весь поворачивается, как на оси. Поворот не только в пространстве, но и во времени.

— Я, знаете, однажды семь дней не снимал маски, не символической, настоящей, черной, бархатной. Я ее нашел в шкафу у мамы. Я тогда сходил с ума по Любове Дмитриевне Блок. Хотел покончить с собой. Лето. Жара. Я один в Москве. Мама за границей. Я сижу в маске в пустой квартире. И вдруг приходит Эллис. Он даже не спросил, отчего я в маске. Не удивился. Как будто несчастно влюбленному так и полагается сидеть в маске.

Когда он ушел, я снял маску и выбросил ее на улицу в окно. Выбросил. А все-таки с тех пор я всегда ношу маску. Даже наедине. Боюсь увидеть свое настоящее лицо. И знаете, — он скашивает глаза в мою сторону и высоко поднимает и без того высокие брови, — это тяжело. Не-вы-но-си-мо тя-же-ло! Не-вы-но-си-моо!

Я молчу. Я полна сочувствия, но не умею его выразить. Да он вряд ли ждет от меня чего-нибудь, кроме молчаливого присутствия. Ведь я для него только уши. Ушам полагается слушать, а не говорить.

Он снова вздыхает и задумчиво смотрит вдаль.

— Любовь, — произносит он медленно. — Для меня любовь всегда была трагедия. Всегда. И теперь тоже. Ася... Моя жена Ася... Да, да. С самого начала папа и мама. А потом, когда я вырос, Нина Петровская. Вы ведь, конечно, знали, помните Нину? Нину Петровскую, «Огненного ангела» Брюсова?

Нет, я «конечно» не знала Нину Петровскую. Не могла знать. Ведь все это происходило еще в 1903 году, в Москве. Но я слышала от Гумилева, что героиня «Огненного ангела» Рената списана с нее, что Белый — граф Генрих, а сам Брюсов — Рупрехт.

Я знаю, что двадцатидвухлетний Белый «очищал» и

спасал Нину Петровскую после «испепеляющей роковой страсти» Бальмонта — тогда все страсти были «испепеляющие» и «роковые» — других не полагалось. Я знаю, что Нина Петровская молилась на Белого и предалась ему всем сердцем. Он был для нее Орфеем, выводящим Эвридику из ада. Но ему это, как и Орфею, не удалось. Она осталась в аду. Вместо девятого платоновского неба, куда он стремился ее поднять, она захотела посетить с ним третье небо, где царствует Венера. Златокудрый молодой пророк отверг вспыхнувшую в ней «земную, звериную страсть». И она, смертельно оскорбленная, не переставая любить Белого, певца Вечной Женственности, преисполнилась к нему ненавистью. Брюсов, «Великий Маг», в свою очередь влюбился в нее и предложил ей с помощью черной магии овладеть душой Белого. Ей казалось, что он предлагает ей договор с дьяволом. И все же она согласилась на тайный союз с дьяволом и с «Великим Магом». Брюсов долго занимался с нею «магическими опытами», но не мог — или не захотел — приколдовать к ней Белого. Из всей этой безвыходной путаницы возникла влюбленность Нины Петровской уже не в Белого, а в самого Брюсова. Но Брюсов к тому времени, воплотив Нину Петровскую в свою Ренату, «Огненного ангела», уже перестал интересоваться той, которая послужила ему моделью для его героини.

— Да, да, — говорю я. — Да, я знаю. Когда Брюсов наконец бросил Нину Петровскую, она на вечере в Политехническом музее стреляла в вас как в главного виновника всех ее несчастий. Но револьвер дал осечку.

Белый отчаянно машет на меня руками.

— Ах, нет, нет! Совсем нет! То есть и нет, и да! Она действительно навела на меня револьвер, прицелилась в меня. А я не шелохнулся. Я стоял перед ней на эстраде, раскинув руки, и ждал. Ждал смерти. Но она не выстрелила в меня. Она перевела револьвер на Брюсова. А он, как барс, — и откуда в нем такая ловкость, в нем, неповоротливом и хилом? — прыгнул с эстрады и выхватил у нее из руки револьвер. Она все же успела выстрелить, но пуля попала в потолок. Никто не был убит. Никто даже ранен не был. Но бедная Нина — она в письмах всегда подписывалась «бедная Нина» — погибла от этого выстрела в потолок. Она больше не оправилась. Ее жизнь кончилась в ту ночь. Нет, она не застрелилась, не отравилась. Нет, хуже. Она уехала за границу, потом спи-

лась, стала морфинисткой. И все звала Брюсова. Но он не вернулся к ней. И она погибла.

— Но, — говорю я робко, — мне рассказывал Ходасевич, что она стреляла именно в вас и даже часто повторяла потом, что, хотя револьвер и дал осечку, она вас все же убила.

Белый трясет головой.

— Нет, я очень люблю, очень и очень уважаю Владислава Фелициановича, но здесь он ошибается. Забыл, путает. Нина стреляла в Брюсова, а не в меня. И я потом во времена Любви Дмитриевны жалел, что она не убила меня в ту ночь в Политехническом музее.

Белый говорит, говорит, говорит, затопляя все вокруг всплесками звуков и слов. Сколько слов в секунду — и ни одно слово не пропадает даром.

Я слушаю. Я вспоминаю его недавно слышанную мною лекцию о мифологии звуков. «Люди произошли из звуков и света», — утверждал он с пафосом с кафедры. «Звуколюди, звуколюди, выдыхаемые светом». «Волны света в нас глухо живут. Иногда мы выражаем их звукословием».

Тогда это казалось мне туманным и непонятым. Но сейчас я понимаю, что он сам и есть один из этих звуколюдей, выражающий волны света звукословием. Что он сам произошел из звуков и света.

В тот вечер, возвращаясь со своей лекции, он говорил Гумилеву. Гумилеву, а не мне. Я только шла рядом и слушала.

— Я переделал Евангелие от Иоанна. Помните? «В начале бе Слово». Но «слова» по-французски — *mots* и «страдания» — тоже *maux*, фонетически совпадает, одинаково произносится. И это правильно. Ясно, в начале — *mots*, или *maux* — страдания. Мир произошел из страданий. И оттого нам необходимо столько слов. Оттого, что слова превращаются в звуки и свет и избавляют нас от страдания.

«*Les mots nous délivrent des maux*»<sup>1</sup>. Разве вы не согласны, Николай Степанович?..

Тогда я не поняла. Но сейчас, когда он затопляет меня безудержными всплесками звуков и слов, когда я залита, как фантастической радугой, сиянием и светом его глаз, я согласна принять все, что он говорил тогда и что говорит теперь.

---

<sup>1</sup> «Слова избавляют нас от страданий» (фр.).



А он, закинув голову, как будто уже обращается не ко мне, а к проплывающим закатным облакам в небе:

— Саша Блок! Ах, как я его любил!.. — Пауза, вздох. — Как любил!.. Любил по его стихам, еще не видя его. Для меня его стихи были откровением. Все, что я хотел и не умел выразить. Я катался по полу от восторга, читая их. Да, да, катался и кричал, как бесноватый. Во весь голос. И плакал.

Знаете, — сияющий взгляд снова заливают меня светом, — с самого начала все между нами было мистерией, роком. Я написал ему и в тот же день получил от него чудесное письмо, как мистический ответ. Так началась наша дружба. Потом он пригласил меня быть шафером на его свадьбе. Но у меня тогда умер отец. Я не мог приехать. И в этом тоже таинственное предзнаменование — у него свадьба, у меня похороны. В тот же самый день.

Помните, у Лермонтова в драме «Странный человек»?.. «Свадьба, которая происходит в день похорон, всегда будет несчастной». То есть, конечно, брак будет несчастен, а не свадьба, — поправляется он. — Так и вышло. Хотя все предвещало им счастье, неземное счастье...

Я слушаю его. Не только его слова, но и то, что между слов, за словами, над словами. Слушаю ритм, музыкальный строй его водопадно льющихся фраз. Слушаю паузы, образующие провалы молчания между ними. Слушаю, зачарованная, околдованная Андреем Белым.

— Мы с Сашей познакомились только зимой, — говорит Белый. — Он и Любовь Дмитриевна приехали в Москву. Как я ждал его! Ночь перед нашей встречей я провел без сна. Я даже не ложился. Я слонялся по залитой лунным светом квартире, как привидение, останавливался перед зеркалами гостиной — завтра в них будет отражаться Саша.

Завтра... Но я боялся не дожить до завтра... Я его слишком любил. Я боялся, что его поезд сойдет с рельс, что он погибнет в железнодорожной катастрофе, так и не встретившись со мной.

Но в условленный час — минута в минуту — раздался звонок. Я понесся в прихожую. Горничная уже успела впустить их. Я смотрел на них, на него. Я весь дрожал. Никогда в жизни — ни прежде, ни потом — я не испытывал такой жгучей неловкости. И разочарования. Обман, обман! Меня обманули. Это не Блок. Не мой Саша Блок.

Но до чего он был красив! Высокий, стройный, статный. Курчавый. Весь как в нимбе золотых лучей, румяный с мороза. В студенческом сюртуке, широкоплечий, с осиной талией. От синего воротника его дивные глаза казались еще голубее. До чего красивый, но до чего земной, здоровый, тяжелый. Я почему-то — по его стихам — представлял его себе изможденным, худым, бледным и даже скорее некрасивым. А он оказался оскорбительно здоровым, цветущим, фантастически красивым. Он всем своим видом будто затмевал, уничтожал, вычеркивал меня.

Я не выдерживаю.

— Но, Борис Николаевич, — прерываю я его, — вы ведь и сами были фантастически красивы тогда. Я знаю, я слышала, что у вас были звездные глаза, опахала-ресницы, что вы очаровывали решительно всех.

— Вздор, вздор, вздор! — трижды вскрикивает он. — Миф. Легенда. Никакого сравнения с Сашей. Или нет. Может быть, я и был красив, но как Ставрогин. Слишком. На грани безобразия. И это я уже тогда чувствовал. Хотя у меня еще не было ни лысины, ни морщин, ни этого лягушиного рта. Но урод уже тогда проглядывал сквозь красавца, истерически ломаясь и хихикая. А Саша... Нет, я не умею объяснить.

Я поздоровался с ними за руку, для чего-то схватил муфту Любви Дмитриевны и, спохватившись, вернул ей ее с извинениями.

Я видел, что Саша смущен не меньше меня. Но он владел собой. Она же, совершенно спокойно и непринужденно смотрясь в зеркало, поправляла светлые волосы под большой шляпой со страусовыми перьями. Я запомнил ее палевые перчатки. Молодая светская дама, приехавшая с визитом.

Мама ждала нас в гостиной. Любовь Дмитриевна села рядом с мамой на диван. И так же спокойно и непринужденно молчала. Мы с Сашей в креслах напротив них ужасно мучились. Боже, до чего томительно и тяжело было! Говорила одна мама. О театре. И вдруг я, как сорвавшийся с горы камень, полетел и понес чепуху. И Саша застенчиво улыбнулся. Не тому, что я говорил, а мне. Улыбнулся душевной моей душой. И с этой минуты я по-новому, без памяти влюбился в него. И тут же почувствовал — наша встреча не пройдет мне даром. Я за нее заплачу. За все заплачу. — Пауза. — И заплатил.

А потом я стал ездить к Блокам каждый день — они

две недели прожили в Москве. Мы тогда втроем, с Блоком и Сережей Соловьевым... Ах, какой он был милый, славный мальчик-гимназист, а мы с Сашей уже студенты. Мы втроем основали Братство Рыцарей Прекрасной Дамы. Любовь Дмитриевна была для нас Женой, облеченной в Солнце, Софией Премудростью, Прекрасной Дамой. Мы все трое бредили идеями Владимира Соловьева — у ее ног. А она? Хотела ли она быть Прекрасной Дамой? Она стремилась на сцену, а мы поклонялись ей, как Богородице. Мы даже в лицо ей смотреть не смели, боялись осквернить ее взглядом. Все трое, Саша, как и мы с Сережей. Он признавался в стихах — ведь его тогдашние стихи — дневник:

Сердцу влюбленному негде укрыться от боли...  
Я не скрываю, что плачу, когда поклоняюсь...

Она, розовая, светловолосая, сидела на диване, свернувшись клубком, и куталась в платок. А мы, верные рыцари, на ковре экзальтированно поклонялись ей. Ночи напролет... До зари... Зори, зори, зори... Зори дружбы. Зори любви...

Он замолкает на минуту, будто весь уйдя в воспоминания.

Мне хочется знать, что было дальше. Я смутно слышала, что Белый влюбился в жену Блока и она хотела бросить Блока из-за Белого. Но почему-то ушла от Блока не с Белым, а с кем-то другим. Тогда-то Блок и написал:

Но час настал, и ты ушла из дому.  
Я бросил в ночь заветное кольцо.  
Ты отдала свою судьбу другому,  
И я забыл прекрасное лицо.

Летели дни, кружась проклятым роєм,  
Вино и страсть терзали жизнь мою.  
И вспомнил я тебя пред аналоем,  
И звал тебя, как молодость мою.

Я звал тебя, но ты не обернулась,  
Я слезы лил, но ты не снизошла.  
Ты в синий плащ печально завернулась,  
В сырую ночь ты из дому ушла.

Я так полна мыслями о Блоке, что не замечаю, что читаю его стихи вслух. И только дойдя до

Не знаю, где приют своей гордыне  
Ты, милая, ты, нежная, нашла, —

я вдруг слышу, явственно слышу свой собственный голос, произносящий нараспев эти звенящие в моей памяти строки.

О, Господи! Как я могла так забытья? Что подумает Белый? Я в страхе оглядываюсь на него.

Но он, как и я, не замечает, не слышит моего голоса. Но мой взгляд он, должно быть, все-таки почувствовал. Он мигает, как спросонок, и оборачивается ко мне. Глаза его полны тумана. Он с удивлением и любопытством разглядывает меня. Наверное, он забыл, что сидит со мной на скамье в Летнем саду.

Сейчас он встанет. Поднимет шляпу с земли и уйдет, даже не кивнув мне. И я не посмею пойти за ним.

Но он не встает, не уходит. Он снова продолжает свой монолог, как будто не было этой длительной паузы:

— А из дружбы и любви, из зорь, вышла вражда и ненависть. Как это могло случиться? Я и сейчас не понимаю...

Саша изменился. Тогда, вторым летом, в Шахматове. Дни и ночи по-прежнему проходили в мистериях. Но он иронизировал. Отвратительно. Бездарно. Или молчал. Бездонно молчал. И я почувствовал — мы духовные враги. Но я не смел сознаться ни ему, ни даже себе в этом. Исступленно объяснялся ему в любви и в статьях превозносил его безмерно. Я дико вдохновлялся его стихами и мистическим опытом. Я был мистически влюблен и в него, и через него в нее. Я тогда написал статью «Апокалипсис в русской поэзии» — о нем и о ней — чушь бесчеловечную: «Цель поэзии — найти лик музы, лик Жены, облеченной в Солнце» — это о ней. «Ты воскресла! Явись! Мир тоскует по тебе! Явись!» — громко и гулко на весь сад выкрикивает он. И вдруг, неожиданно, заливается мелким, беззвучным смехом, широко раскрывая рот и показывая зубы, белые, не тронутые порчей, молодые зубы, совсем не подходящие к его морщинистому лицу, к его, как он сам определяет его, «лягушиному рту».

— А из всего этого, — продолжает он грустно, словно

и не смеялся только что, — вышел «Балаганчик». Даже не балаган, а уменьшительно-уничтожительно — балаганчик. «Чик! Голову долой!» — как в армянском глупейшем анекдоте. Так Саша и чикнул нам всем голову долой. Всем нам, Аргонавтам, как золоторунным баранам. И ей — «Жене, облеченной в Солнце», «Прекрасной Даме». Она, обезглавленная, стала картонной куклой. Я чуть не помешался от негодования и обиды за нее. Ведь я любил ее священной любовью. А она оказалась картонной куклой. Ужас. Ужас. Но он был прав — картонная кукла. С кукольной душой. Нет, и кукольной души у нее не было. Ничего не было. Пар. Пустота. И все-таки из-за нее все погибло. Мы очутились в петле. Ни разрубить. Ни развязать. Ни с ней, ни без нее. О, до чего она меня измучила! Меня и его, Сашу. Тогда я и почувствовал:

Меня несут  
На Страшный суд.

За вину мою, за грех перед Сашей. Ведь это я погубил их жизнь. Он продолжает ее любить и по сегодняшний день, он всегда о ней заботится. Только для нее живет. Но не общей с нею жизнью. Жизни их никогда по-настоящему больше не сошлись. Я разбил их жизни. Хотя виноват не я, не я... Видит Бог! — Он вдруг опускает глаза и внимательно и пристально рассматривает свое колено. Что он там нашел интересного?

— Вот, скоро совсем продерется, — деловито замечает он. — Дыра, придется заплату положить. Но ведь на сердце заплатку не положишь. А оно у меня дырявое тоже. Но оно исходит не клюквенным соком, а кровью. И как это больно!

Гримаса боли или гримаса насмешки над самим собой, и он продолжает еще торопливее:

— Год «Балаганчика», самый роковой год. Для него, для нее и для меня. Да, «Балаганчик» — гениален. Но «Балаганчик» — низость, измена, предательство. И его совершил самый честный, самый благородный, самый справедливый человек на свете. Кому после этого верить? Кому? Из-за «Балаганчика» Саша потерял право на Любовь Дмитриевну. Она это сама поняла. Но она изменчива, как морская волна, как луна... Она просила меня спасти ее, увезти. И мы решили уехать за границу. Но один день она любила меня, а на следующий его, Са-

шу. А на третий — ни меня, ни его. Обоих ненавидела.

Саша готовился к государственным экзаменам. Кончал университет, зубрил, запершись в кабинете. А ночи проводил в кабаках и пил там, среди пьяниц с глазами кроликов. *In vino veritas*<sup>1</sup>.

После такой ночи, нет, во время такой ночи он и написал «Незнакомку». Может быть, лучшее... Нет, у него лучшее почти все. Но «Незнакомка» — особенно строка «дыша духами и туманами» — заставляла меня кричать от восторга как когда-то.

Чудовищная, трагическая весна 1906 года... Я не расставался с Любовью Дмитриевной. Она потребовала — сама потребовала, — чтобы я дал ей клятву спасти ее, даже против ее воли. А Саша молчал, бездонно молчал. Или пытался шутить. Или уходил пить красное вино.

И вот мы пришли с нею к Саше в кабинет. Ведь я дал ей клятву. Его глаза просили: «Не надо». Но я безжалостно: «Нам надо с тобой поговорить». И он, кривя губы от боли, улыбаясь сквозь боль, тихо: «Что ж? Я рад». И так открыто, так по-детски смотрел на меня голубыми, чудными глазами, так незащитно, беспомощно.

Я все ему сказал. Все. Как обвинитель. Я стоял перед ним. Я ждал поединка. Я был готов принять удар. Даже смертельный удар. Нападай!..

Но он молчал. Долго молчал. И потом тихо, еще тише, чем раньше, с той же улыбкой медленно повторил: «Что ж... Я рад...» Она с дивана, где сидела, крикнула: «Саша, да неужели же?..» Но он ничего не ответил. И мы с ней оба молча вышли и тихо плотно закрыли дверь за собой. И она заплакала. И я заплакал с ней. Мне было стыдно за себя. За нее. А он... Такое величие, такое мужество! И как он был прекрасен в ту минуту. Святой Себастьян, пронзенный стрелами. А за окном каркали черные вороны. На наши головы каркали.

Я в тот же вечер умчался в Москву. Достать деньги на отъезд за границу. У меня денег ведь никогда не было. Подготовить маму. Совсем сумасшедший. Раздираемый жалостью к Саше. Не веря ни ей, ни себе. Никому.

И все пошло прахом. Кубарем, кубарем с горы полетело. Разбилось на тысячу кусков. Но я все еще хотел их склеить. Надеялся. Хотел спасти ее — ведь клялся. А не то буду клятвопреступник. От нее ливень писем — страшно противоречивых.

---

<sup>1</sup> Истина в вине (*лат.*).

Потом она простудилась. Заболела серьезно. Саша вежливо, очень вежливо написал: «Лучше не приезжай сейчас, Боря...» Но я заподозрил заговор. И на следующее утро был в Петербурге. Сколько страданий, и как все глупо было. Саша слишком дружелюбный, а она в смятении, в нерешительности. Больная. Я просил, умолял, даже грозил. И наконец ее окончательное решение — через два месяца мы едем в Италию. Безотлагательно. В Италию!

Но мы никуда не поехали. Она провела лето с Сашей в Шахматове. Он, несмотря ни на что, — такая у него дисциплина, — сдал все экзамены. И осенью все опять волчком завертелось. Свидание с Сашей в «Праге» на Арбате. Минутное. Предъявили друг другу ультиматумы. Расходимся без рукопожатий. А лакей, ничего не понимая, откупоривает бутылку и разливает вино в бокалы — перед пустыми стульями.

По лестнице Саша идет впереди, твердо и быстро, оборачиваясь. Я сбегал вниз, следом за ним. Бросился в пролетку извозчика. На вокзал! Через два часа был у Сережи Соловьева в его Дедове. Решил заморить себя голодом. Но Сережа помешал. Потом вернулся в Москву. Там и засел в пустой квартире, в маске, и мечтал, что

Полумаску молотком  
Приколотили к крышке гроба.

И слышал стук молотка о крышку гроба. И опять умереть не удалось. Тогда я вызвал Сашу на дуэль. Через Эллиса. Но Саша отказался: «Поводов нет. Просто Боря ужасно устал».

Наконец, уже в сентябре я могу увидеть ее. Она принимает меня — чтобы уничтожить. Сбросить с Тарпейской скалы — раз и другой, еще и еще, — чтобы от меня даже мокрого места не осталось. Дьяволица, а не Богородица! Я не успел опомниться, я ничего не сумел ответить. Не оправдывался. Не защищался. И вот, оскорбленный, униженный, раздавленный — о, как она меня презирала, как сумела заставить и меня себя презирать! — я побежал топиться — броситься в Неву. Но — насмешка рока — там баржи, гнусные, живорыбные садки. И все кругом рыбой провоняло. Даже утопиться нельзя. Прилично утопиться. И вот я в гостинице написал прощальное письмо маме. А наутро чуть свет — записка от Любви Дмитриевны. Новое свидание. Сдержанное

предложение встретиться через год. Не писать и не видеться. Не выяснять отношений. Ждать год. Я соглашаюсь. Но не верю. Ничему больше. Еду в Москву, а оттуда — надолго — за границу.

Пауза. Длиннее прежних.

Мне хочется спросить, встречался ли он с ней еще? Неужели так все и кончилось? И он, точно читая мои мысли, кивает:

— Да. Так все и кончилось. Для нее, для него. Но не для меня. Для меня и сейчас не кончилось. И никогда не кончится. Даже после смерти. Любовь? Нет, нет, какая там любовь! Но боль. И угрызения. Угрызения совести. Угрызение сердца. Грызу свое сердце. Если бы можно было забыть. Но забыть нельзя.

Подумать, ведь я могла не пойти в Летний сад, не свернуть на эту аллею. И никогда не узнать бы всего того, что мне сегодня посчастливилось услышать от Андрея Белого. От самого Андрея Белого!

В моей переполненной стихами голове уже звенят строки:

Счастье, шаг твой благосклонный  
Не всегда проходит мимо.

Да, сегодня «благосклонный» шаг счастья не прошел мимо меня. Я не могу сдерживать волнения. Как я благодарна судьбе. Как я благодарна Андрею Белому. Я прижимаю сирень к сердцу, чтобы оно не стучало так громко, и, не в силах сдержаться, говорю:

— Борис Николаевич, спасибо. Как я вам благодарна. Как благодарна!

Протестующий взмах рук.

— Что вы? Что вы? Это я вам благодарен за то, что вы так ангельски терпеливо слушаете меня. — Восторженные, сияющие глаза приближаются ко мне. Я чувствую его горячее дыхание на моем лице. — Скажите, ведь вы еще будете приходить сюда, на эту скамейку? Приходить меня слушать? Потому что я теперь буду часто, я буду каждый день приходить сюда. Слушатель — это такая нежданная радость. Голубушка, если бы вы знали, как мне тяжело молчать. Никто меня не хочет слушать. Каждый только о себе. Мнение о стихах своих у меня выпытывают. Похвал ищут. Что ж? Я хвалю. Я щедро хвалю. Всех — без разбора. А стихи не слушаю. Кроме Блока да еще Ходасевича, нет никого... Еще о болезнях любят и о сво-



их бедах. Но у меня у самого болезни, у меня у самого беды — неисчислимы беды. Я не желаю знать чужие. Хватит с меня и своих. Настоящий, даровитый слушатель — редкость. Я страшно ценю. Я знаю ведь — это не легко. Я до обморока заговариваю. Да, да, я — без преувеличения — до обморока заговорил Сережу Соловьева. Да и не его одного. Мы с Сережей у него в Дедове часто до зари сидели. Я говорил, он слушал. И, как вы, никогда не прерывал. Только страшно бледный становился. И вот однажды, уже под утро, он молча встал с кресла и — бряк об пол, во всю длину. Еле откачали. Мог умереть.

Отлет головы, и:

— Но мне необходимо. Совершенно необходимо говорить. Как другим дышать, — в расширенных глазах ужас. — Я могу задохнуться. Я цепенею от молчания. Прошлое, как трясина, засасывает меня. Я иду ко дну, я гибну. Я не могу молчать. Не могу! А они не понимают...

Он вздыхает глубоко и закрывает глаза.

— Вот сейчас мне легко. Я и спать, наверно, буду хорошо. — Он останавливается на мгновение. — Я сам не понимаю, почему мне так необходимо говорить, вспоминать. Ведь я в сотый раз уже рассказываю все это. А надо снова и снова. И каждый раз как впервые. Будто — вот пойму, почему это так было. Вот сейчас разрешу загадку. А ведь знаю — никогда не разгадаю. Я не Эдип. Хотя еще несчастнее Эдипа. Самое страшное, что и загадки-то нет. Любовь Дмитриевна — сфинкс без загадки. Я знаю, а все-таки... Хочу разгадать, понять...

Вот гадалки предсказывают, открывают будущее. Я бы пошел к гадалке, я бы пошел к десяти гадалкам, если бы они вместо будущего открывали прошлое. Объясняли, что, зачем и почему было. — Он продолжает уже мечтательно: — Ах, если бы можно было приказать прошлому — помните «Али-Бабу и сорок разбойников»? — «Сезам, отворись!», и прошлое отворилось бы и впустило меня в себя. Но прошлое заперто на тридцать три ворота, и ключ брошен на дно моря.

Он вздыхает и задумывается. И, вдруг нагнувшись, поднимает с земли камушек, кладет его на ладонь и, раздув щеки, старательно дует на него.

Я смотрю на него с удивлением. Он поворачивается ко мне и, застенчиво улыбаясь, объясняет:

— Мне в детстве всегда казалось, что можно оживить

камушек, если долго на него дуть. Вдохнуть в него жизнь, и камушек вдруг начнет шевелиться. Станет жуком и улетит или червяком и уползет. А вам разве не казалось?

Я не успеваю ответить, что нет, не казалось. Он уже продолжает:

— Как давно и как недавно все это было... Детство... Молодость... Я теперь на вид старик. Седой. Лысый в сорок лет. Мне на днях в трамвае какой-то бородатый рабочий место уступил: «Садись, отец!» Хорошо еще, что не: «Садись, дед!» Я поблагодарил, но вылез на следующей станции, хотя мне надо было далеко ехать. От обиды. И с тех пор не пользуюсь трамваями.

Он проводит рукой по лбу.

— Какой вздор, какая чушь — «что пройдет, то будет мило». Если бы можно было не помнить. Забыть. Теперь все совсем другое. Я люблю Асю. Невыразимо люблю. Она нежная, легкая, прелестная. Ася Тургенева — «тучка золотая» — так ее звали в Москве. Она чудная. Она в Дорнахе у доктора Штейнера. Она ждет меня. Ждет, хотя и не пишет. А может быть, и пишет, но письма перехватывают, крадут. Всюду враги, шпионы. — Он испуганно оглядывается. — А здесь за деревьями никто не прячется, не следит за мной? Вы уверены? И за статуей никто не подслушивает? Ведь они выслеживают меня, ходят за мной по пятам. Они хотят помешать мне вернуться к Асе. А я тоскую о ней. Она все, что у меня осталось.

Он выпрямляется и, закинув голову, медленно и проникновенно декламирует, с какой-то старомодной выразительностью:

Мой вешний свет,  
Мой светлый цвет.  
Я полн тобой,  
Тобой — судьбой...

И вдруг, будто снова дернув себя за невидимую ниточку — дерг-передерг, — весь превращается в движение и «звукословие».

— Это я о ней. Асе. Я тоскую, мечтаю о ней. А думаю и говорю о Любове Дмитриевне. Не дико ли? Ведь от нее прежней ничего, решительно ничего не осталось. Ее узнать нельзя. Прекрасная Дама, Дева Радужных Высот. Я ее на прошлой неделе встретил на Офицер-

ской. Несет кошелку с картошкой. Ступает тяжело пудовыми ногами. И что-то в ней грубое, почти мужское появилось. Я распластался по стене дома, будто сам себя распял, пропуская ее. Она взглянула на меня незрячим взглядом. И прошла. Не узнала меня. А я все глядел ей вслед. Помните, у Анненского:

Господи, я и не знал,  
До чего она некрасива!..

Но от этого ничего не изменилось. Мне не стало легче. — Пауза. Вздох. — А он, Саша... Он все так же прекрасен. Или нет, иначе. Трагически прекрасен. Он измучен еще сильнее, чем я измучен. И как странно. Мы живем в одном городе. Мы часто встречаемся — то в Доме искусств, то во «Всемирной литературе» на Моховой. Здороваемся. «Здравствуй, Саша». — «Здравствуй, Боря». Рукопожатие. И все. Ни разу за все это время не разговаривали. Почему? — Недоумение в голосе. Недоумение в глазах. — Почему? Ведь мы были друзьями. И мы все друг другу простили. Все... Так почему? Почему?..

Он вдруг вскакивает, хватая меня за руку, заставляет встать.

— Знаете что? Пойдем сейчас к нему. Пойдем! Это будет чудесно. Чудесно! Мы позвоним, и он сам откроет. Он, наверно, даже не удивится. Но он будет рад. Ужасно рад. Мне. — И, спохватившись, быстро и убедительно: — И вам тоже будет ужасно рад! На вас розовое платье. И вы подарите ему вашу сирень. Вы напомните ему юность, розовую девушку в цветущем саду. Он поведет нас в кабинет, и мы втроем, потому что она-то не выйдет, она не простила, о, нет! Но это хорошо, что она спрячется, скроется. Мы втроем просидим всю короткую белую ночь до зари. Нет, не белую, серебряную. Видите, и сейчас уже все стало серебряным. — Он широким жестом охватывает небо и сад. — Все серебряное — и луна, и статуи, и деревья, и шорох листьев, и мы с вами. Сегодня волшебная ночь. Сегодня, я чувствую, я знаю, мы с Сашей будем прежними, молодыми. А вы будете сидеть на диване, свернувшись клубком, и слушать нас. Как она когда-то. Она ведь тоже умела прекрасно слушать. Идем, идем скорее. Ведь это совсем близко...

О, я знаю, — взволнованно повторяет он, — все будет

чудесно, волшебю. Сон в летнюю ночь. Серебряный сон волшебной серебряной ночью. Идем скорее!..

Он почти бежит к выходу, увлекая и меня за собой. Но я не хочу. Не могу. Я сопротивляюсь.

— Нет, нет, нет! Ни за что!

Разве я могу, разве я смею пойти к Блоку? Ведь Блок для меня не только первый, не только любимейший поэт. Блок для меня святыня. Полубог. Мне даже страшно подумать, что я могу так — без длительной подготовки, — сейчас, сегодня пойти к нему. Я умру от страха. Сердце мое кувырдается в груди, и горло сжимается. Я с трудом говорю:

— Нет. Я не могу. Мне надо домой. Меня ждут. Будут беспокоиться. Ведь очень поздно. Очень поздно...

О, мне безразлично. Пусть дома беспокоятся. Но довод о беспокойстве домашних производит неожиданное действие.

— Ваша мама? Она будет ждать, и волноваться, и плакать. Тогда... Тогда вам действительно нельзя идти. — Он останавливается, выпускает мой локоть и говорит изменившимся, трезвым тоном:

— Значит, ничего не будет. Все провалилось.

— Может быть, в другой раз, — робко предлагаю я. — Завтра?..

Но он вытянутой рукой проводит резкую черту в воздухе, словно вычеркивает все возможности будущего.

— Другого раза не будет. Сегодня это было возможно. Все углы сошлись на один раз. И это никогда не повторится.

Я уже колеблюсь. Я уже готова сдаться, готова просить, умолять: «Поведите меня к Блоку!..»

Но он надевает шляпу, как в Англии судья накрывает голову, произнося смертный приговор, и говорит мрачно и торжественно:

— Другого раза не будет. Может быть, и лучше, что не будет.

И сразу, будто мое присутствие теперь тяготит его, прощается со мной:

— Спокойной ночи! Бегите домой, торопитесь. Помните, у Блока:

Ведь за окном в тревоге давней  
Ее не ждет старушка мать...

А вас мама ждет. Бегите к ней. У вас ноги молодые. Бегите!

Я иду по Невскому. Нет, я не бегу. Я иду очень медленно — и плачу. Слезы текут по моему лицу и падают на сирень. На сирень, которую я могла отдать Блоку. Если бы я не испугалась так позорно. О, я отдала бы десять, двадцать лет своей жизни, чтобы сейчас стоять на лестнице перед дверью Блока и видеть, как его дверь медленно открывается...

Я останавливаюсь на Аничковом мосту и бросаю сирень в Фонтанку. Раз она не досталась Блоку, она мне не нужна. Я вытираю глаза и прибавляю шаг. Ведь дома, наверное, беспокоятся. С ума сходят, куда я пропала.

«Другого раза не будет», — сказал Белый. Но я все же надеюсь. Я хожу каждый день в Летний сад, сажусь на ту скамейку и жду. Жду долго. Целую неделю.

Я даже не хожу в Дом литераторов. Гумилев недоволен.

— Чем это вы так заняты? Вчера я звонил вам — и дома вас тоже не оказалось. Где вы пропадаете?

Я краснею, как всегда, когда лгу.

— Я хожу к тете. Она заболела.

Гумилев пожимает плечами.

— Ну, вряд ли вы хорошая сестра милосердия. Без толку время тратите. Зря.

Да. Он прав. Без толку, зря. И все же я не в силах прекратить это изводящее меня бессмысленное ожидание. Авдуг. Ведь Белый может вспомнить, что обещал «часто сюда приходить», и действительно прийти.

Возвращаясь из Летнего сада, я каждый вечер захожу в Дом искусств. И сейчас я, усталая и разочарованная, поднимаюсь по внутренней лестнице в столовую. Может быть, встречу кого-нибудь.

За длинным столом, накрытым скатертью, сидит Ходасевич. И рядом с ним Белый. От удивления и обиды я останавливаюсь. Он здесь распивает чай, а я его там ждала целых два часа.

Я подхожу и здороваюсь с ними.

— Подсаживайтесь к нам, — говорит Ходасевич. — Вот Борис Николаевич завтра возвращается в Москву. Это его последний вечер здесь.

— Да, да, — оживленно подтверждает Белый. — Слава Богу, последний. У-ез-жаю! Хватит! Не могу больше. Выпили меня здесь, выпотрошили. Ведь страшно подумать — я в Вольфиле пятьдесят лекций прочел. Нет, по-

жалуй, даже больше! Как не спятил? Бегу в Москву. Там отдохну. Пора...

Он обращается только к Ходасевичу, словно меня нет за столом.

— Владислав Фелицианович, возвращайтесь и вы. Ведь мы — москвичи, нам в Петербурге не по себе, нам тут плохо! Очень! Право, а? Вернулись бы вместе со мной, — убеждает он, близко заглядывая Ходасевичу в глаза.

Я слушаю молча и вдруг, набравшись храбрости, решаюсь:

— Борис Николаевич, вы больше не ходили в Летний сад?

Белый поворачивает голову и смотрит удивленно, явно не узнавая меня.

— В Летний сад? — безглаголиво тянет он. — Нет, зачем? Я его терпеть не могу. Я ничего там не потерял.

И он снова начинает страстно уговаривать Ходасевича вернуться в Москву вместе с ним.

— Я даже готов отложить отъезд на сутки. Если вы согласитесь, Владислав Фелицианович!.. Едем! Едем вместе!

Ходасевич, поблескивая пенсне, смеясь, отказывается ехать.

Я незаметно встаю и, не прощаясь, выхожу из столовой.

Что ж? Понятно. У Белого сейчас гораздо лучший слушатель, чем я.

А меня он даже не узнал...

\* \* \*

Гумилев любил читать вслух, особенно по-французски.

Однажды, читая мне какой-то рассказ Теофиля Готье о молодом поэте, собравшемся топить себя от несчастной любви и представляющем себе, насколько увеличится его посмертная слава от такого романтического конца, Гумилев сказал, отложив книгу:

— Очень правильно. Смерть действительно играет огромную, даже иногда решающую роль в славе поэта. Героическая смерть может поставить поэта на пьедестал.

Он задумался и продолжал:

— Я очень надеюсь, что Бог услышит мои молитвы и пошлет мне достойную, героическую смерть. Но, — он лукаво улыбнулся, сощутив глаза, — не сейчас, конечно. Лет так через пятьдесят. Не раньше. Ведь я еще столько должен сделать в жизни, хотя и сейчас немало делаю. — В этих словах, конечно, был скрытый намек.

Гумилев часто намекал на свою контрреволюционную деятельность, но мне казалось, что он, как и многие тогда, только играет в заговорщика.

Когда, возвращаясь со мной с лекции в кронштадтские дни, он остановился перед подъездом какого-то дома и сказал с таинственным видом, подавая мне свой портфель: «Подождите меня минутку. Я только за револьвером зайду. Обещали достать к сегодняшнему вечеру», — я спокойно осталась ждать, положив его тяжелый портфель на снег. Я не верила ему, и мне совсем не было страшно за него.

Он скоро возвратился, похлопывая себя по боку.

— Достал, ну, идемте! Только не проболтайтесь! Ведь это и для вас опасно.

Да, я знала, это очень опасно. Опасно даже играть в заговорщиков. И, конечно, никому не рассказала о «заходе за револьвером».

В Петербурге, в те кронштадтские дни, напряжение, волнение и ожидание достигли наивысшей точки. Нервы петербуржцев уже почти не выдерживали пытки надеждой.

Я иду по Бассейной. Пусто и тихо. В тишине явственно доносятся глухие выстрелы с оставшихся верными революции крейсеров. Снег лежит большими сугробами, и над белыми, покрытыми снегом крышами — дымно-красный, трагический закат. Страшно? Да, конечно, страшно. Страшно и все-таки весело.

Вот, наконец, и Дом литераторов.

Я вбегаю в прихожую, стряхивая с себя снег. Дом литераторов переполнен и жужжит, как улей. Будто это какой-то пролетарский митинг, а не чинное собрание поэтов, кавалерственных дам и сановных стариков.

Ко мне, последней пришедшей с улицы, кидаются со всех сторон за новостями:

— Ну, что?.. что нового?

Но я ничего нового не знаю, ничего не слышала, я только что из дома и никаких слухов — всегда «самых

достоверных и последних» — не могу сообщить. От меня разочарованно отходят, а я подхожу к группе, собравшейся вокруг Кузмина. Тут, конечно, Олечка Арбекина, Юрочка Юркун и Люся Дарская. Тут Георгий Иванов, пришедший с Каменноостровского, и Зоргенфрей, и Мандельштам, и Оцуп. Все слушают Кузмина, а он упоенно убеждает их:

— Да, да, мы еще увидим сияющие фонари на Невском. Мы еще будем завтракать у Альбера, мы еще будем ездить бриться к Моллэ, мы еще... — но, увидев меня, новое лицо с улицы, он, не доканчивая, что еще сделаем, обращает ко мне свои огромные, нежные, верблюжьих глаза:

— Что нового? Что? Что? Что?..

Почему бы мне не сфантазировать что-нибудь насчет форта «Золотое Семечко» или что мой кузен — белый офицер — умудрился прислать мне письмо, в котором точно описывает создавшуюся конъюнктуру и обещает...

Но у меня нет ни белого кузена, ни фантазии, чтобы создать его письмо.

И Кузмин, разочарованно фыркнув, продолжает прерванное описание неминуемого блаженства, ждущего нас.

Входная дверь снова открывается, и Гумилев входит в Дом литераторов.

Да, никаких сомнений, это он. Но в каком виде! В каком-то поношенном рыжем пальтишке, перетянутом ремнем в талии, в громадных стоптанных валенках, на макушке вязаная белая шапка, как у конькобежца, и за плечами большой заплатанный мешок.

Вид его так странен, что все молча и недоумевая смотрят на него. С минуту никто даже не задает ему обязательного в эти дни вопроса: «Что нового? Что вы слышали?»

Первым опомнился Кузмин.

— Коленька, ты что — на маскарад собрался? Не время, кажется.

Гумилев гордо выпрямляется, счищая рукавицей снег с груди.

— Я, Мишенька, спешу. Я иду на Васильевский остров агитировать и оделся так, чтобы внушить пролетариям доверие, — произносит он с достоинством.

Кузмин всплескивает руками.

— Бога ты побойся, Коленька! Какое уж тут пролетарское доверие? Ты похож на воронье пугало. А что у



тебя в мешке? — Он хлопает ладонью по мешку, и мешок начинает раскачиваться, как маятник. — Чем ты его набил? Воздухом, что ли, накачал?

— Старыми газетами, — объясняет Гумилев.

Я кусаю губы, чтобы не рассмеяться, но тут не выдерживаю и заливаюсь хохотом. За мною Олечка Арбенина. Люся Дарская срывается с места и, визжа, начинает скакать вокруг Гумилева, ударяя кулаком по его мешку.

Гумилев холодно отстраняет ее рукой и, обернувшись к нам с Олечкой Арбениной, медленно и веско произносит:

— Так провожают женщины героя, идущего на смерть!

Но тут к нашему смеху присоединяются и все остальные. Смеется Кузмин, смеется Георгий Иванов, смеется редко улыбающийся Юрочка Юркун, даже мрачный Зоргенфрей, а Мандельштам хохочет до слез.

Гумилев с минуту молча смотрит на нас холодно и с презрением, потом, кивнув головой в нелепой вязаной шапке, поворачивается и медленно, молча идет к выходу, унося свой, болтающийся у него за плечами, запла-танный мешок.

А мы продолжаем смеяться и долго еще не можем успокоиться, повторяя: «Так провожают женщины героя, идущего на смерть...»

\* \* \*

21 октября 1920 года.

Сегодня день рождения моего отца. По этому случаю у нас дома «торжественный обед», с гостями и, главное, с телячьим жарким.

Телятину привез со Званки, где он служит, мой двоюродный брат. Вчера вечером, когда он шел с драгоценной телятиной на вокзал через лес, на него чуть не напали волки, и тогда бы не было не только торжественного обеда, но и его самого.

К счастью, он сумел выбраться из леса прежде, чем шедшие по его следам, привлеченные запахом мяса волки решились наброситься на него.

Конечно, мне совершенно необходимо быть дома к приходу гостей.

Опоздать сегодня к обеду было бы — я это прекрасно понимаю — просто невозможно.

Но как грустно уходить из Дома искусств, когда там готовятся слушать Ремизова.

Ремизов будет читать — и как читать! Никто — ни один актер — не умеет так читать. Недавно я слышала «Вия» в «ремизовском исполнении», как говорит Гумилев.

Это было восхитительно и страшно. Казалось, Ремизов непонятным образом сам превращается то в Хому Брута, то в мертвую панночку, то в Вия. Это уж не было чтение, а сама жизнь.

Я все еще дрожала от ужаса, когда он, снова став Ремизовым, маленьким, сутулым, в громадных очках, весело кивал в ответ на восторженные аплодисменты и с деланным недоумением спрашивал, лукаво улыбаясь, Лозинского:

— И чего, Михаил Леонидович, они так беснуются? Неужели они все впервые слышат «Вия»? Неужели «Вия» так и не читал никто из них?

И вот мне приходится уходить. Я не смогу пять минут послушать Ремизова. Надо спешить. Уже семь часов. А у нас сядут за стол в половине восьмого.

И я, скрепя сердце, ухожу. Одна. Никому в голову не приходит уйти, не услышав Ремизова.

Я иду по Невскому.

В этом году снег выпал очень рано. Не то что в «Евгении Онегине»:

Зимы, зимы ждала природа,  
Снег выпал только в январе.

Нет, ни природе, ни нам зимы в эти революционные годы ждать не приходилось — зима всегда являлась сама и гораздо раньше, чем ей по календарю полагалось.

— Черный вечер,  
Белый снег.  
На ногах не стоит человек.  
Ветер, ветер на всем Божьем свете.

Я иду против ветра, торопясь и увязая в снегу.

Нет, вечер не черный, а синий, и в небе огромная сияющая луна.

Чья-то рука вдруг просовывается под мою руку. Я вскрикиваю и, оглянувшись, вижу улыбающееся лицо

Юрия Анненкова с круглым блестящим левым глазом. В нем, в этом блестящем глазу, отражается луна, и в памяти сразу выплывают строчки — не помню чьи:

И сумасшедшая луна  
В твоём глазу отражена...

Нет, кажется, там — «в твоих глазах», но у Анненкова, как у циклопа, виден только один глаз — круглый, блестящий, расширенный моноклом. Анненков — единственный человек в Петербурге, носящий моноколь. Он с ним никогда не расстается. Какая-то хорошенькая молодая балерина — балерины, молодые актрисы и художницы всегда окружают Анненкова прелестным, прельстительным роем бабочек — уверяла, стыдливо опуская ресницы, что он даже спит с моноклом.

Юрия Павловича Анненкова я постоянно встречаю в Доме литераторов и в Доме искусств.

Он почти «свой», несмотря на то что он не поэт, а художник. Он еще с тех баснословных, собачьебродячих лет на «ты» с Гумилевым, как, впрочем, на «ты» был с ними никогда мной не виданный, успевший эмигрировать «мэтр Судейкин».

Анненков, по определению Гумилева, «чертовски талантлив» — «физически талантлив».

— Я в его присутствии себя всегда как-то особенно чувствую, — объясняет Гумилев. — Он возбуждает во мне энергию. Он как аккумулятор энергии, жизненной силы и способностей, способностей решительно ко всему. Просто диву даешься — универсальный талант. Даже стихи он крепко, ловко и находчиво делает.

Действительно, ловко «делает» — ведь кроме того, что он стихи сочиняет, он еще и сам печатает их маленькими книжечками с рисунками. Недавно он выпустил такую книжечку — «Четверть девятого».

Я знакома с Юрием Анненковым, как знакома и с Добужинским, нарисовавшим для моей «Лунной поэмы», помещенной во 2-м номере журнала «Дом Искусства», заставки.

Но с Добужинским, с Анненковым и с другими художниками у меня знакомство скорее «шапочное». Ни с кем из них я не стараюсь сблизиться.

Не только с художниками, но даже с прозаиками я не сближаюсь. По-настоящему для меня существуют только поэты.

Даже на собраниях «Серапионовых братьев», сделавших мне неслыханную честь, приняв меня, поэта, в свою семью, я бываю редко. Они не интересуют меня, я исключительно и всецело предана поэзии. Одной только поэзии.

— Я испугал вас? — спрашивает меня Анненков.

Я качаю головой.

— Нет. Но так неожиданно. Я не слышала ваших шагов.

— Еще бы. Я в валенках. По снегу. Бесшумно.

Он, как всегда, в валенках, в своей голубой куртке на баране и при монокле.

У него, хотя и в другом роде, почти такой же ряженный вид, как у Гумилева и Ремизова.

И он, как и они, явно подчеркивает его и гордится им.

Одно из неожиданных «революционных завоеваний»: теперь в петербургском художественном мире, как в мире птиц и зверей, самцы наряднее и эффектнее самок.

Не все, конечно. Блок, Лозинский, Георгий Иванов, Адамович, Добужинский, Лурье, Козлинский и другие по-прежнему стараются сохранять петербургский подтянуто-эстетический вид. Но многие студисты, и актеры, и художники безудержно ряжутся в какие-то необычайные тулупы, зеленые охотничьи куртки, френчи, сшитые из красных бархатных портьер, и фантастические галифе. Не говоря уже о разноцветных обмотках и невероятно высоких и лохматых папахах. И где только они добывают весь этот маскарадный реквизит?

Анненков говорит:

— Как вы быстро шагаете. Я едва догнал вас. Даже запыхался.

Я недоумеваю. Догнал? Но зачем Анненкову понадобилось догонять меня? Ведь мы с ним при встречах ограничиваемся рукопожатием, сопровождаемым улыбками и стереотипным вопросом-ответом: «Как поживаете? — Отлично. Спасибо».

Но он уже сам объясняет:

— Я, собственно, шел в Диск послушать Ремизова. У меня сегодня выдался свободный вечер — ведь я завален работой. Только собрался завернуть на Мойку, вижу — вы идете. Такая тоненькая, на длинных ножках. Спотыкаетесь. Такая одинокая, беззащитная. И как-то, чем-то страшно похожая на мою первую любовь. Она такую же

круглую шапочку носила, только соломенную, а не котиковую. У меня даже сердце сжалось от нахлынувших воспоминаний, так вы ее мне вдруг напомнили. Я и пустился почти бегом за вами.

— Я на нее похожа, правда? — спрашиваю я. Ведь всегда лестно быть похожей на чью-нибудь любовь, в особенности на любовь художника.

Но он смеется и взмахивает рукой.

— Совсем не похожи. Куда там! Только силуэтом. Она была чернобровая, глаза, как вишни, и смуглая. Было это на Волге. Мой отец был директором большого пароходного дела... У нас на пароходе целая квартира была, и мы всю Волгу взад и вперед исколесили. И как чудесно! Вот там-то, в Сызрани, и разыгралась моя первая любовь.

Он рассказывает мне про свою первую любовь и про Волгу. Я, к сожалению, Волгу никогда не видела — я иду с ним под руку, в ногу, с интересом слушаю его.

На Аничковом мосту стоит собака. Стоит на задних лапках и машет передними. Просит подаяния. Как нищий. Этих нищих-собак всегда много около продовольственных лавок. Они становятся рядами у стены. Каждая на своем узаконенном месте, просят и ждут, чтобы сердобольные граждане бросили им кусочек от своего скудного хлебного пайка. Они никогда не грызутся. Не вступают в бой из-за брошенного куска, а чинно и терпеливо ждут, чтобы им «подали».

Они стоят и возле церквей, но здесь, на Невском я никогда не видела собаки-нищенки.

— Бедный несмышленный песик! Что ему подать? Хлеба ведь у нас нет. А деньгами он не берет. Ужасно жаль его. — Анненков горестно вздыхает. — Не могу видеть голодных. Особенно детей и стариков. И собак. Я собак очень люблю. А вы?

Мне тоже ужасно жаль бедного песика... И я тоже люблю, до страсти люблю собак. Настолько люблю, что в детстве мечтала о стране собак, где только собаки и ни одного человека, а я — собачья королева. И я, растроганная видом собаки-нищенки, рассказываю о «собачьей стране» Анненкову.

Рассказываю ему, этому почти незнакомому мне человеку, то, что я никому, даже Гумилеву, не рассказывала. Так просто, так откровенно. И это удивляет меня.

Ведь я от природы очень застенчива. Мне всегда как-то совестно и неловко говорить о себе.

То, что я застенчива, знают немногие. Большинству, напротив, я кажусь на редкость самоуверенной. Они составили себе мнение обо мне по моему «светскому» тону и манерам, по тому, с каким самообладанием я выхожу на сцену, читаю стихи и как я, в ответ на аплодисменты, «кланяюсь непринужденно».

Но все это только результат дрессировки — ведь даже зайца можно научить играть на барабане.

Для меня заячьей игрой на барабане явилось, главным образом, преодоление застенчивости, победа над ней.

Впрочем, только внешняя победа — внутренне я осталась прежней, — тут уж никакое, самое бесчеловечное «воспитание», никакая «полировка» и дрессировка ничего поделать не могли. Но, к счастью, моим внутренним миром мои воспитательницы занимались меньше всего. Ведь их идеалом благовоспитанности считалось не être, а paraître<sup>1</sup>.

Я, рассказывая Анненкову о «собачьей стране», не перестаю испытывать радостного удивления от возможности так легко говорить о себе.

Я чувствую, что между нами уже установилась крепкая нерушимая связь дружбы, что он правильно поймет меня и не станет надо мной смеяться.

И он действительно не смеется надо мной.

— Значит, — говорит он, — вы в детстве не были особенно счастливым ребенком.

— Разве не была? Право, не знаю. Но люди мне тогда были гораздо менее понятны и дороги, чем собаки.

— У меня был чудный сенбернар Каро. Как мы любили друг друга! Не собака, а брат.

Теперь уже Анненков катится кубарем в заповедное царство неисчерпаемых детских воспоминаний, а я «наостряю уши» — ведь слушать и запоминать слышанное одно из главных моих занятий.

Я узнаю, что Каро, как и полагается всем четвероногим друзьям, был замечательным псом, образцом всех собачьих достоинств и добродетелей.

— Однажды, когда мы с ним гуляли, какой-то уличный мальчишка стал к нему приставать, дразнить его и даже осмелился схватить его за хвост. Этого гордый Каро, при всей своей выдержке, не смог стерпеть. Он укусил мальчишку за руку. Мальчишка удрал, отчаянно крича.

---

<sup>1</sup> быть... казаться (фр.).

А через час к нам в дом явился пристав и безапелляционно заявил, что раз собака укусила мальчика, то она, по всей вероятности, бешеная.

— Узнать, бешеная она или нет, легко. Бешеные собаки, как всем известно, страдают водобоязнью, — произнес он с профессорским видом. — Если она не станет пить воду, дело ясно.

И он приказал прислуге принести миску воды.

Каро сидел в своей будке во дворе. Пристав поставил перед ним миску с водой и сделал пригласительный жест. Каро недружелюбно посмотрел на пристава — в России собаки почему-то терпеть не могли полицейских, почталыонов и велосипедистов — и презрительно и величественно отвернулся от него и от миски с водой.

— Никаких сомнений — бешеная. Не пьет! Боится воды, — торжествовал пристав. — Надо пристрелить. — И уже ко мне: — Отойдите, молодой человек, в сторону. Не трогайте ее. Она и вас цапнуть может.

Но я встал на колени перед Каро, обнял его за шею, шепча:

— Пей, Каро, пей. Пей!

Каро высунул язык, лизнул им меня по лицу и, наклонив голову, принялся гулко и старательно лакать воду, — вылакал всю до последней капли.

Приставу осталось только ретироваться, предварительно получив двадцать пять рублей за «собачий укус».

С Каро воспоминания Анненкова, махнув через десять лет, перенеслись на его попугая. На говорящего попугая, весь день свободно летавшего по его квартире и только на ночь для сна заглядывавшего в свою клетку.

Попугай часами сидел на плече Анненкова, свистел, пел романсы и приветствовал гостей, нравившихся ему, картавым криком: «Здравствуйте, здравствуйте. Как я рад». А тех, кто ему был не по сердцу, звонким: «До свиданья. Всего наилучшего. Счастливо оставаться!»

Может быть, если бы я жила не на Бассейной, а где-нибудь подальше, я узнала бы еще многое из детства и молодости Анненкова.

Но мы уже — совсем незаметно для меня — дошли до моего дома.

Я благодарю его за проводы. Это было так неожиданно и так приятно. Я и не предполагала, что художник может быть таким милым, уютным и «настоящим», таким, будто я с ним сто лет знакома и не фунт, а пуд соли съела.

Мы прощаемся у моего подъезда. Теперь уже совершенно ясно, что мы друзья навсегда и будем часто встречаться и разговаривать.

Поднимаясь ощупью по темной лестнице, я задаю себе вопрос: «А как отнесется Гумилев к моей внезапно возникшей дружбе с Анненковым?»

Как отнесется? Но отнестись ему к нашей дружбе никак не пришлось. По той простой причине, что мы со следующего же дня оба забыли о ней. При встречах обменивались лишь прежними рукопожатиями и прежними: «Как поживаете? — Спасибо, отлично», — сопровождаемыми улыбками.

Отчего? Наверное, оттого, что мы оба были слишком заняты нашими шедшими параллельно, но никогда больше не скрещивавшимися судьбами.

Лишь зимой 1921 года по желанию Якова Ноевича Блоха, издававшего книгу портретов поэтов работы Юрия Анненкова и пожелавшего, чтобы в ней был и мой портрет, мы опять встретились «по-настоящему».

Анненков тогда был в расцвете славы. Они рисовал не только всех знаменитых политических деятелей — Ленина, Троцкого, Луначарского и многих других, — но и писателей и поэтов, актеров и актрис.

Словом, всех, кто тогда играл какую-нибудь роль в Петербурге и Москве. Нэпманы и нэпманши были готовы заплатить что угодно, чтобы добиться чести быть изображенными «самим Анненковым».

В его прихожей на Кирочной я столкнулась с одной из таких нэпманш, кутавшейся в мех, шуршащей шелками, дышащей духами, с бледным до голубизны лицом, кроваво-красными губами и удлиненно подведенными глазами — новый тип женщины в революционном Петербурге.

Анненков встретил меня так сердечно и дружески, как будто он вчера, а не год тому назад провожал меня домой.

Но этот год — трагический год смерти Блока и расстрела Гумилева — все же послужил основной темой нашего разговора. И к воспоминаниям детства мы уже не возвращались. К тому же я за это время успела выйти замуж, о чем мы, конечно, тоже поговорили.

Анненков показал мне уже сделанные им портреты Анны Ахматовой, Замятина и Сологуба, предназначенные для его книги. Между прочим — и портрет Георгия Иванова.



— У него на редкость интересное лицо, — сказал он. — Совсем особенное. Да он и сам особенный.

Телефон беспрерывно звонил, отрывая Анненкова от работы.

— Нет, нет, никак не могу, — раздраженно отвечает он на клетот, доносящийся до меня. — Цена? Дело не в цене, а в том, что у меня нет времени. Понимаете, нет времени. — И, уже повесив трубку, добавляет: — И желания нет, сколько бы мне ни заплатили.

Я позировала Анненкову больше двух часов. Я терпеть не могу позировать, мне тяжело и скучно сидеть неподвижно и чувствовать на себе внимательный, будто ошупывающий меня взгляд.

Но с Анненковым я не чувствовала ни скуки, ни тяжести. Мне даже жаль, что сеанс уже кончен и надо уходить.

Следующий назначен на понедельник.

Я ухожу, не увидав наброска.

— В следующий раз покажу, а сейчас нельзя. Так не забудьте. В понедельник, в три.

Я смеюсь.

— У меня память хорошая. Да если бы и плохая была, все равно не забыла бы. Ведь мне очень лестно, что мой портрет будет в вашей книге. Будьте спокойны — приду, Юрий Павлович.

Но я не пришла. В тот же вечер меня телеграммой вызвали в Москву к моему опасно заболевшему брату.

А когда я через полтора месяца вернулась в Петербург, Анненкова там не было. Он куда-то уехал. Книга вышла без моего портрета, о чем я еще и сейчас жалею.

Но в книге в перечне портретов он указан.

\* \* \*

Лето 1921 года. Москва.

Я гошу у брата и, как здесь полагается, живу с ним и его женой в одной комнате, в «уплотненной» квартире на Басманной.

У нас в Петербурге ни о каких «жилплощадях» и «уплотнениях» и речи нет. Все живут в своих квартирах, а если почему-либо неудобно (из-за недействующего центрального отопления или оттого, что далеко от места службы), перебираются в другую пустующую квартиру: их великое множество — выбирай любую, даром, а

получить разрешение поселиться в них легче легкого.

Здесь же в квартире из шести комнат двадцать один жилец — всех возрастов и всех полов — живут в тесноте и обиде.

В такой тесноте, что частушка, распеваемая за стеной молодым рабочим под гармошку, почти не звучит преувеличением:

Эх, привольно мы живем —  
Как в гробах покойники:  
Мы с женой в комодке спим,  
Теща в рукомойнике.

Большинство жильцов давно перессорились. Ссоры возникают главным образом на кухне между жилицами, мужа неизменно выступают на защиту жен, и дело часто доходит до драки и во всяком случае — до взаимных обид и оскорблений.

Ко мне как к элементу пришлому и, главное, временному здесь относятся довольно гостеприимно.

Мне совсем не нравится в Москве, несмотря на то что меня закармливают всякими вкусностями. Но мне скучно. К тому же, что меня удивляет и огорчает, жена моего брата ревнует его ко мне. Я бы уже уехала домой, но боюсь огорчить брата, всячески старающегося угодить мне.

Сейчас он на службе, а его жена ушла на рынок за покупками. Я одна, и это очень приятно.

Я берусь за свою новую балладу, как всегда, когда остаюсь одна.

Вышло четверо их,  
Хлопнула дверь:  
— Улик никаких,  
Ищи нас теперь.  
Четверо — каждый убийца и вор.  
Нанимают мотор...

Дверь не хлопает, а отворяется без предварительного стука. В нее просовывается голова молодой беременной соседки, жены того самого рабочего, что распевает частушки. Она почему-то заужала меня, должно быть, за то, что я «из Питера». Она поверяет мне свои семейные тайны и советуется со мной, как с оракулом, о самых разнообразных предметах.

Так, она спросила меня сегодня утром в коридоре: «Правда ли, скажите, Ленин издал декрет, чтобы нам, пролетаркам, носить всего шесть месяцев, а буржуйкам двенадцать?»

На что я, чтобы не разбивать ее иллюзий, уклончиво ответила, что о таком декрете еще не слыхала.

— Там вас какой-то гражданин спрашивает, — звонко заявляет она.

Меня? Должно быть, ошибка. Я никого здесь не знаю.

— Вестимо, вас. Гражданку Одоевец из Питера.

Я бросаю карандаш и тетрадку и бегу в прихожую.

У окна стоит Гумилев, загорелый, помолодевший, улыбающийся, в белой парусиновой шляпе, лихо сдвинутой набок.

— Что, не ожидали? — приветствует он меня. — Не легко было вас найти. Я боялся, что вас дома не застану. И что тогда делать?

Я так удивлена, что даже не чувствую радости. Нет, я совсем не ожидала его. Мы расстались с ним около месяца тому назад. Я уехала к брату в Москву, а он отправился с Немицем в черноморское плавание.

Я веду его в нашу комнату и усаживаю на диван, служащий мне постелью.

— Как же вы меня разыскали?

— Я ведь хитрый, как муха, — отвечает он весело.

Это хвастливое «хитрый, как муха» — показатель его особенно хорошего настроения.

— Я только утром приехал и завтра пускаюсь в обратный путь, домой. Но сегодня, — он поднимает указательный палец, — я все же задам пир на весь мир. Быстрота и натиск. Буду вечером выступать в Доме искусств. Ну, конечно, как же без вас? К тому же тут Сологуб со своей Анастасией Николаевной. Он тоже придет на мой вечер. Я вас с ним познакомлю. Ах, как я чудесно плавал...

И, перебивая себя, оглядывает комнату.

— Вам здесь тяжело, да? Слишком мало пространства, и предметы все какие-то будничные, лишённые души. Вот эта ширма — от нее скука и даже страх. Здесь нельзя писать стихи. Ведь вы, наверное, за все это время ничего не написали?

Я киваю.

— Все бьюсь над одной и той же балладой. Никак не могу кончить.

Он торжествует:

— Я так и знал. Здесь вам не хватает пространства, главное, психологического пространства. Эта ужасная скученность людей и вещей — скученность скуки. Вам надо как можно скорее вернуться домой: завтра, самое позднее послезавтра. Брат огорчится? Вздор. Нечего ему огорчаться.

И вот уже вечер — «Вечер Гумилева в Доме искусств».

Но определение «пир на весь мир» совсем не подходит ему.

Гумилев выступает не в большом зале, где обычно проходят литературные вечера, а в каком-то маленьком длинном помещении, заставленном рядами стульев. Даже эстрады нет. Гумилев сидит за столиком на расстоянии аршина от первого ряда.

Но он, по-видимому, легко переживает это «отсутствие пространства», эту «скудную скученность» и, попирая «скудные законы естества», чувствует себя триумфатором и победителем.

Слушателей немного, и они — это как-то сразу чувствуется — настроены не в унисон Гумилеву. Стихи его не «доходят» до слушателей.

Рядом со мной Сергей Бобров, автор «Лиры лир», как всегда взъерошенный, несмотря на духоту и жару — в зеленом измятом непромокаемом пальто. Он криво усмешается, не скрывая презрения.

В Москве нас, петербуржцев, презирают, считают «хламом и мертвечиной», о чем мне без стеснения и обиняков было заявлено при первом моем посещении Союза поэтов:

— Все у вас там мертвецы, хлам и бездарности. У вас только одна Одоевцева. Да и то...

И когда я, покраснев, призналась, что я и есть эта «Одоевцева, да и то...», мне не поверили, пока я в доказательство не предъявила своей труд книжки.

Впрочем, и тогда ко мне отнеслись без энтузиазма.

Я оглядываю слушателей. Они не похожи на наших петербургских — какие-то молодые люди кокаиностического типа, какие-то девушки с сильно подведенными глазами, в фантастических платьях и шляпах.

В первом ряду Сологуб. Я сразу узнаю его по портрету Юрия Анненкова. Он совсем такой, как на портрете.

Нет, не совсем. Там он все-таки кажется менее застывшим и неподвижным. Менее неживым.

«Кирпич в сюртуке», как его называют. Но он не похож на кирпич. Кирпич красный. И грубый. А он беломраморный и барственный, как вельможи времен Екатерины Великой. Он скорее напоминает статую. Надгробную статую. Каменного Гостя. Памятник самому себе.

Он слушает с отсутствующим видом, застыв в собственном величии, и никак нельзя понять, нравится ему или нет.

Но большинству слушателей, я чувствую, стихи Гумилева совсем не нравятся. Это не только равнодушная, это враждебная аудитория.

Правда, выбор стихов неудачен. Гумилев, как будто нарочно, читает то, что должно вызвать здесь, в Москве, отталкивание: «Душу и тело», «Персидскую миниатюру», «Молитву мастеров», «Перстень»...

Нет, всего этого здесь читать не надо было. И в особенности — «Либерию». Зачем? Зачем он читает эту «Либерию»?

Но Гумилев не замечает, вернее, не хочет замечать настроения слушателей. Он торжественно произносит:

Вы сегодня бледней, чем всегда, —  
Позабывшись, вы скажете даме,  
И что дама ответит тогда,  
Догадайтесь, пожалуйста, сами.

— Ответит то же, что и мы: дурак! — раздается звонкий театральный шепот.

Это Бобров. Все слышали, и почти все смеются.

Я холодею от ужаса.

Гумилев не мог не слышать звонкого, хлесткого «дурак», брошенного в него. Что он ответит? Неужели афоризм Сологуба «Где люди, там скандал» получит здесь подтверждение?

Но Гумилев еще выше поднимает голову и гордо смотрит прямо перед собой поверх слушателей на стену, рот его растягивается широкой самодовольной улыбкой — будто он принял смех за одобрение. Ведь действительно смешно сказать негритянке, что она бледна. Как тут не рассмеяться?

И он спокойно продолжает:

То повиснув на тонкой лозе,  
То запрятавшись в листьях узорных,  
В темной чаше живут шимпанзе  
По соседству от города черных...

— Притворяется, что не слышал, — шепчет Бобров. —  
И вы тоже делаете вид, что не слышали, как смеются  
над вашим мэтром. Слушайте его внимательно, восхи-  
щайтесь, наслаждайтесь.

Я ничего не отвечаю. Он наклоняется ко мне:

— А лучше послушайте-ка стихи, тоже обращенные к  
негритянке и тоже о негритянских странах, — и начина-  
ет читать, прекрасно выговаривая:

Mon enfant, ma sœur  
Pense à la douceur  
D'aller vivre ensemble...<sup>1</sup>

Я прижимаю палец к губам.

— Молчите! Перестаньте!

Гумилев кончил, встает и кланяется. Жиденские ап-  
лодисменты, я напрасно отбиваю себе ладони, стараясь  
«подогреть аудиторию». У нас в Петербурге это безоши-  
бочно удается. Я в этом деле «спец», меня в Цехе так и  
называют — «мастер клаки».

Надо почти пропустить первую волну аплодисмен-  
тов, вступить в нее, когда она уже начинает падать,  
вступить с бешеной энергией и этим вызвать овацию.

Но здесь мои расчеты не оправдываются. Мало кто  
следует моему примеру. Слушатели шумно спешат к  
выходу, как ученики после скучного урока.

Я растерянно остаюсь на своем месте. Гумилев под-  
ходит ко мне. Весь его вид свидетельствует о том, что  
вечер прошел как нельзя лучше и он очень доволен и  
рад.

— А вас ждет приятный сюрприз, — говорит он мне,  
улыбаясь. — Мы сейчас отправимся с Федором Кузь-  
мичом и Анастасией Николаевной к Пронину. Он и вас  
пригласил, — широкий жест в сторону. — Позвольте  
вам представить Бориса Константиновича Пронина.

И сразу из-под протянутой руки Гумилева, как из-  
под земли, появляется Пронин.

<sup>1</sup> Дитя мое, сестра моя,  
Подумай с нежностью о том,  
Чтобы жить вместе... (фр.).

Так вот он какой: Пронин — перпетуум мобиле, Пронин — громокипящий кубок несбыточных проектов, Пронин — муж знаменитой Веры Александровны — «la maitresse du chien»<sup>1</sup> — и сам хозяин «Бродячей собаки» — иллюзионист Пронин.

Внешность — обыкновенная. Без особых примет. Но до чего он симпатичен. Он энергично и «задушевно» трясет мою руку и в порыве дружеских чувств как вихрь налетает на меня, чуть не сбивая с ног. Вот-вот он закроет меня в объятия и прижмет к своему любящему сердцу. Я отступаю на шаг.

Но до объятий все же не доходит. Он неожиданно кончает восторженную тираду вопросом:

— Надеюсь, вы не откажетесь осчастливить меня своим посещением?

И я, конечно, не отказываюсь.

А он уже, расталкивая встречаемых, летит, размахивая руками, к Сологубу, почтительно и шумно приветствуя его.

— Что, огорошил он вас? — спрашивает Гумилев. — К нему надо привыкнуть. Милый, но неправдоподобный человек. Весь разрывается от жажды деятельности. Если такую энергию к чему-нибудь путному приложить, мир перевернуть можно. Пойдемте в буфет, выпьем чаю.

И мы идем. Гумилев оглядывается.

— А этот рыжий уж опять тут как тут. Как тень за мной ходит и стихи мои себе под нос бубнит. Слышите?

Я тоже оглядываюсь. Да, действительно, — огромный рыжий товарищ в коричневой кожаной куртке, с наганом в кобуре на боку, следует за нами по пятам, не спуская глаз с Гумилева, отчеканивая:

Или, бунт на борту обнаружив,  
Из-за пояса рвет пистолет,  
Так, что сыплется золото с кружев,  
С розоватых брабантских манжет...

Гумилев останавливается и холодно и надменно спрашивает его:

— Что вам от меня надо?

— Я ваш поклонник. Я все ваши стихи знаю наизусть, — объясняет товарищ.

---

<sup>1</sup> «хозяйка собаки» (фр.).

Гумилев пожимает плечами:

— Это, конечно, свидетельствует о вашей хорошей памяти и вашем хорошем вкусе, но меня решительно не касается.

— Я только хотел пожать вам руку и поблагодарить вас за стихи. — И прибавляет растерянно: — Я Блюмкин.

Гумилев вдруг сразу весь меняется. От надменности и холода не осталось и следа.

— Блюмкин? Тот самый? Убийца Мирбаха? В таком случае — с большим удовольствием. — И он, улыбаясь, пожимает руку Блюмкина. — Очень, очень рад...

Вернувшись в Петербург, Гумилев описал эту сцену в последнем своем стихотворении «Мои читатели»:

Человек, среди толпы народа  
Застреливший императорского посла,  
Подошел пожать мне руку,  
Поблагодарить за мои стихи...

Кстати, читая мне это стихотворение, он особенно веско произнес:

И когда женщина с прекрасным лицом,  
Единственно дорогим во вселенной,  
Скажет: я не люблю вас, —  
Я учу ее, как улыбнуться,  
И уйти, и не возвращаться больше...

Он взглянул на меня и улыбнулся.

— Вот видите — так улыбаться, как я сейчас улыбаюсь. Это я о вас писал.

Но я не поверила и рассмеялась.

— Обо мне и многих других в прошлом, настоящем и будущем. Ах, Николай Степанович, ведь это вздор.

Я тогда была невестой Георгия Иванова. Гумилеву не хотелось, чтобы я выходила замуж. Он старался меня отговорить. Не потому, что был влюблен, а потому, что не хотел, чтобы я вышла из сферы его влияния, перестала быть «его ученицей», чем-то вроде его неотъемлемой собственности.

Но сегодня здесь, в Москве, мы не вспоминаем о том, что я чья-то невеста. Мы идем к Пронину все вместе — Сологуб и Анастасия Николаевна, Гумилев и я.

У Пронина — и это очень удивительно — в Москве большая пустая квартира. В ней явно никто не живет.



Пустая не только оттого, что не видно и не слышно обитателей-жильцов, но и благодаря отсутствию мебели.

В комнате, в которую Пронин нас вводит, стоит только длинный некрашенный кухонный стол. Но Пронин с грохотом и шумом сразу вкатывает в нее кресло с высокой спинкой, вносит венский стул, табуретку и маленькую, вышитую бисером скамеечку для ног.

Все размещены по рангам. Сологуб восседает, а не просто сидит на кресле с высокой прямой спинкой. Рядом с Сологубом, на венском стуле, его жена Анастасия Николаевна Чеботаревская, маленькая, смуглая, вечно встревоженная — чаще всего без всякого основания. Но сейчас ее тревога вполне обоснована. Скоро-скоро, через несколько дней, они наконец вырвутся за границу. И начнут новую жизнь. Для того чтобы скорее вырваться из «этого ада», они с Федором Кузьмичом и явились в Москву. Хлопоты увенчались успехом. Завтра же они с Федором Кузьмичом вернутся в Петербург и будут готовиться к отъезду.

Сколько ей еще предстоит тревог и волнений! И она, нервно поводя плечами, ежится и щурится, куря папиросу за папиросой. Да, тревог и волнений предстоит столько, что она не выдержит их бурного натиска и в день, когда наконец будет получено разрешение на выезд в «заграничный рай», выбежит из дома без шляпы и побежит стремглав к Тучкову мосту. Там, постояв в задумчивости, будто решая вопрос: куда же теперь идти, что теперь делать? — она вдруг широко взмахнет руками и бросится с моста в Неву.

Но все это произойдет через несколько недель. После того как умрет Блок и будет расстрелян Гумилев.

Пока же Гумилев, веселый и загорелый, каждым словом и жестом подчеркивает свое почтительнейшее отношение к Сологубу.

Гумилев сидит на некрашенной табуретке. Сам хозяин, без пиджака, в неестественно белой по тем временам рубашке, пристроился на углу большого кухонного стола. Мне досталась скамеечка, с которой я и смотрю на Сологуба снизу вверх — вся внимание и слух.

Разговор, несмотря на дружные старания Гумилева и Пронина, совсем не клеится. Сологуб величаво, с невозмутимым спокойствием, холодно, каменно молчит. Гумилев, переходя с темы на тему, стараясь всеми силами вывести Сологуба из молчания, коснулся вскользь

сорванного имажинистами посмертного юбилея не помню уж какого писателя.

— Безобразие! Мерзавцы! — шумно возмущается Пронин.

И тут вдруг неожиданно раздается каменный, безапелляционный голос Сологуба:

— Молодцы, что сорвали! Это имажинистам надо в актив записать. Для писателя посмертный юбилей — вторые похороны. Окончательные. Осиновый кол в могилу, чтобы уж не мог подняться. Надо быть гением, титаном, как Пушкин или вот еще Толстой. Тем ничто повредить не может. Никакие посмертно-юбилейные благо- и подло-глупости и досужие домыслы. А для остальных писателей посмертный юбилей — свинцовая стопудовая крышка. Даже мороз по коже, как подумаю, что обо мне напишут через десять или двадцать пять лет после моей смерти. Ужас!..

Он не спеша достает из кармана пиджака большой серебряный портсигар и закуривает папиросу от спички, подчеркнуто почтительно поднесенной ему вскочившим со своей табуретки Гумилевым.

— Из-за страха посмертного юбилея, главным образом, и умирать не хочу, — важно и веско продолжает Сологуб и, выпустив струю дыма из ноздрей, медленно прибавляет: — Хотя и вообще умирать-то не очень хочется. Еще по Парижу погуляю... Подышу легким воздухом земным...

От звука голоса Сологуба Чеботаревская еще нервнее дергает плечами и, рассыпая пепел по полу, звонко и быстро говорит, сверкая глазами:

— Конечно, Федор Кузьмич прав. И, конечно, Толстой гений и титан. Тургенев его недаром слоном называл. Но, — она вызывающе закидывает голову, — но всем известно, что он был неумен и необразован. Он даже университета не кончил! И что за слоновую чушь он нес о Шекспире. Нет, не спорьте, пожалуйста! Не спорьте!..

И она, раздраженно фыркнув, обиженно замолкает.

Но никто и не думает спорить. Толстой забыт. Разговор о славе пожизненной и посмертной уже катится неудержимо, как с горы.

Кстати, Сологуб напрасно страшился посмертного юбилея. Этот страх, как, впрочем, большинство страхов, не оправдался. И в России, и в эмиграции ничем не отметили ни его десятилетнего, в 1937 году, ни его два-

дцатипятилетнего, в 1952 году, посмертного юбилея. Сологуба забыли «всерьез и надолго». И теперь кажется странным, что он когда-то считался среди поэтов «первым из первых».

Сологуб непоколебимо верил и в свою прижизненную, и посмертную славу, тогда как Гумилев только мечтал завоевать и ту и другую. И, надеясь прожить еще лет пятьдесят, не предчувствовал, как близка к нему смерть. И как велика будет его посмертная слава.

Но я сейчас, сидя у ног Сологуба, не думаю о славе — ни о прижизненной, ни о посмертной. Вопрос о посмертных юбилеях совсем не интересует меня. Я смотрю на Сологуба, я слушаю его, и мне трудно поверить, что он, восседающий так каменно-величественно передо мной, написал эти легкие, качающиеся, тающие, превращающиеся в музыку стихи:

Друг мой тихий, друг мой дальний,  
Посмотри —  
Я холодный и печальный  
Свет зари.

Я напрасно ожидаю  
Божества.  
В этой жизни я не знаю  
Торжества.

Одинокий и печальный  
Поутру,  
Друг мой тихий, друг мой дальний,  
Я умру.

Как он мог? Я не понимаю. Я повторяю про себя его сомнамбулические строки:

Лила, лила, лила, качала  
Два тельно-алые стекла.  
Белей лилей, алее лала  
Была бела ты и ала.

Как может он произносить: лила, лила, лила, качала — своим каменно-тяжелым, деловым, трезвым голосом? Мне страшно хочется попросить его прочесть какие-нибудь его стихи. Но я не решаюсь. Я перебираю в

памяти его стихи, отыскивая строки, которые не противоречили бы так чудовищно резко его внешности. И нахожу:

В тени косматой ели  
Над сонною рекой  
Качает черт качели  
Мохнатою рукой.  
Качает и смеется...

Да, я могу себе представить, что Сологуб написал это. Я могу даже себе представить, как он это читает. Наверное, хорошо. Но разве можно произнести его голосом:

Я на ротик роз раскрытых росы тихие стрягну,  
Глазки-светики-цветочки песней тихою сомкну.

Откуда у Сологуба эта, как снежинка тающая, ангельская нежность? В стихах? А может быть, и в жизни?

Пронин, жестикулируя так, что белые рукава его рубашки мелькают, как крылья ветряной мельницы, восторженно-возмущенно рассказывает о том, что здесь, в Москве, на вечере Блока имажинисты кричали ему: «Мертвец! Мертвец! В гроб пора!» На что Блок спокойно сказал: «Да, они правы. Я давно умер».

— Я давно умер, — медленно и веско повторяет Сологуб, прерывая неистовый словесный поток Пронина.

Минута молчания. И снова раздается размеренный тяжелый голос Сологуба:

— Да, ощущение своей смерти — «я давно умер» — иногда посещает поэтов. Особенно нестарых. Поэты постоянно думают о смерти — своей и чужой. В сущности, у них только две темы: смерть и любовь. Но вот я, чем дальше живу, тем больше начинаю сомневаться в своей смерти. Мне все чаще кажется, что я не умру. Со всем не умру. Никогда. Какая-то во мне появилась надежда на бессмертие. Даже уверенность, что не все люди смертны, что самым достойным — одному на сотни миллионов — будет даровано бессмертие.

Сологуб говорит, вдохновляясь и оживая. Но теперь его окаменелость передалась его слушателям. Все окаменели, застыли, не смея шевельнуться. Только что буйно взлетавшие рукава белой рубашки Пронина безжизненно повисли. Рука Анастасии Николаевны с по-

тухшей папиросой застыла в воздухе. Ведь нельзя курить, когда Федор Кузьмич говорит.

— Возможно, что бессмертие выпадет именно на мою долю, — убедительно продолжает Сологуб. — У меня о бессмертии возникла целая теория. Видите ли... — Он задумывается. — Нет, это слишком сложно. В двух словах не объяснишь. К тому же пора расходиться. Завтра нам предстоит трудный день. Завтра мы с Анастасией Николаевной, да и вы, Николай Степанович, пускаемся в обратный путь. И потому...

Он встает со своего трона. И все, как по команде, оживают, встают, начинают двигаться и говорить. Пронин бросается к Сологубу, восторженно трясая его руку.

— Спасибо, что навестили меня, Федор Кузьмич! И как интересно вы говорили! Я тоже убежден в бессмертии, — и, спохватившись: — в вашем! В вашем, не моем! Спасибо!

Я встала со своей скамеечки и стою перед Сологубом, выжидая, что он и со мной попрощается. Его маленькие ледяные глаза останавливаются на мне. Он осматривает меня с головы до ног своим строгим «инспекторским» взглядом. И вдруг лицо его оживает — губы раздвигаются, обнаруживая крепкие, будто тоже каменные, зубы, большая бородавка на щеке медленно поднимается к глазу, и он улыбается.

Не мимолетно, не «улыбка блеснула и исчезла». Нет, улыбка застывает на его лице и так и не исчезает, пока он говорит со мной:

— Вас совсем недавно еще можно было в угол ставить. С вашим бантом. А правда, что вы пишете стихи, как уверяет Николай Степанович?

— Правда. — От смущения я картавлю еще сильнее, чем обычно.

Он, продолжая улыбаться, качает головой:

— Напрасно. Лучше бы учились чему-нибудь путному. Только ведь я сам знаю, поэтов не переубедишь. Главное, не торопитесь стать взрослой. Лучшее время жизни — ранняя молодость. Это понимают, когда она прошла. А вы постарайтесь сейчас понять и радоваться, что вы так молоды.

Мы вчетвером спускаемся по лестнице. Пронин успел опередить нас и распахивает перед Сологубом входную дверь.

К подъезду, будто они только и ждали нашего появления, подкатывают несколько извозчиков.

— Пожалуйте, граждане, пожалуйста!

— Пожалуйте, барин! Прокачу на резвой! — звонко кричит самый щеголеватый из них.

И Пронин широким распорядительским жестом приглашает Сологуба и Анастасию Николаевну сесть в его пролетку и бережно подсаживает их обоих. Происходит новый обмен прощальными приветствиями и пожеланиями счастливого пути.

Только после отбытия Сологуба Гумилев принимает-ся за выборы достойного возницы для нас. Делает он это со вкусом и знанием дела.

— У этой буланой, верно, хорошая рысь, по ушам вижу.

Я сажусь в пролетку. Меня никто не подсаживает — ни Пронин, ни Гумилев. Мы прощаемся с Прониным. Он машет рукой:

— Кланяйтесь Петербургу!

Гумилев, смеясь, цитирует:

Извозчик дернет вожжой,  
Лошадь дернет ногой.  
Извозчик крикнет: «Ну!»  
Лошадь ногу поднимет одну.  
Извозчик щелкнет кнутом —  
И двинутся в путь с трудом.

Нет, в путь мы двигаемся без труда. Буланая бежит резво и весело, а не «трусит усталой рысцой», как в моей балладе. Мы едем по незнакомым, ярко освещенным улицам. Здесь, в Москве нэп уже цветет пышно, не то что у нас в Петербурге. Гумилев рассказывает мне о своем плавании с Немицем.

— Чудесно было. Сплошное наслаждение. Во мне на корабле заговорила морская кровь. Ведь мой дядя был адмиралом, а отец морским врачом. Вот я и почувствовал себя настоящим морским волком. Если бы вы видели, как красивы берега Крыма, особенно на закате. А утром...

Я не перебиваю его. Но мне хочется говорить о Сологубе, а не о красотах Крыма. Он, должно быть, замечает, что я слушаю «без должного интереса». И недовольно морщится.

— Устали? Спать хотите? Ничего. Сейчас приедем.

Но я совсем не устала и не хочу спать. Я спрашиваю быстро:

— Скажите, насчет своего бессмертия он серьезно или только чтобы удивить?

Гумилев снисходительно улыбается:

— Ах, вот вы о чем. А мне показалось, что вы отвыкли от меня, одичали, разучились слушать. Ну, слава Богу, все в порядке, раз вам по-прежнему необходимо знать «отчего и почему». И в кого только вы такая ненасытно любознательная уродились?

Вопрос риторический, не в первый раз мне задаваемый и не требующий ответа. Гумилев продолжает:

— И почему это вас так интересует? Ведь это какая-то декадентская чепуха. Я о ней уже слышал. Мы с Сологубом как-то возвращались вместе из «Всемирной литературы». Он вдруг стал, как сегодня, говорить о бессмертии и даже разволновался. Но тут нас нагнал Лозинский. Мы пошли втроем. И как я ни старался, мне не удалось заставить Сологуба вернуться к его «теории бессмертия». Он очень трудный собеседник. Если его прервут, он сразу замолкает. А иногда может без конца говорить и до странности искренне и просто.

Я живу на Басманной. К сожалению, это недалеко, и мы уже приехали. И уже надо прощаться. На целых три дня.

— Не вздумайте откладывать отъезд, — говорит Гумилев. — Чего вам тут сидеть? У меня куча проектов. Откроем Дом поэтов. Весело заживем. А знаете, — прибавляет он неожиданно, — вы можете гордиться — вам улыбнулся Сологуб. Он крайне редко улыбается. Заслужить его улыбку лестно. Вроде ордена. Ну, спокойной ночи. И, надеюсь, до скорого. Чтобы не позже чем через три дня вы были дома. Непременно!

В эту ночь я плохо спала. Я вспоминала рассказы Гумилева и Георгия Иванова о Сологубе. Их было много, очень много. Как, впрочем, и о всех поэтах. Я действительно была «ненасытно любознательна», мне хотелось знать все, решительно все, что касается поэтов. В этом отношении мне очень повезло, Гумилев, как впоследствии и Георгий Иванов, с удовольствием отвечали на все мои бесчисленные вопросы и с увлечением рассказывали о тех баснословных аполлоно-бродяче-собачьих годах. Они вводили меня в тот зачарованный надзвездно-подводный мир поэзии и поэтов, о котором я мечтала с самого детства.

Да, рассказов о Сологубе было много. Вот несколько из них. Прежде всего о том, кто был Сологуб. Сологуб —

псевдоним. И зачем ему понадобилось брать графскую фамилию и еще писателя? Правда, он отбросил титул и второе «л», но все же... Настоящая фамилия его Тетерников. Ну и был бы, скажем, Терников<sup>1</sup>. Он сын портного и прачки. Говорили даже, что незаконный. Но я не берусь утверждать. Ему удалось окончить учительскую семинарию и стать учителем — нелюбимым учителем. Потом инспектором. Еще более строгим и еще менее любимым. Грозой уже не только учеников, но и учителей. Писать он стал поздно, но быстро прославился. И стал зарабатывать хорошо. Конечно, не стихами, а прозой. Стихами прокормиться удалось одному Блоку в первые годы женитьбы. Правда, Блок писал невероятно много стихов, и питались они с Любовью Дмитриевной изо дня в день исключительно гречневой кашей и пили шоколад. Но все же другого случая существования на поэтические гонорары я не знала.

А Сологуб своим «Мелким бесом», «Навьями чарами», «Жалом смерти» и прочим почти разбогател, бросил инспекторство и зажил не только в «палатах каменных», но и в «золотом терему», по собственному определению.

Вся квартира Сологуба была обставлена золоченой мебелью, на стенах — картины и зеркала в широких золоченых рамах. Золоченые люстры и консоли. Портьеры бархатные или атласные, пунцовые с золотыми кистями. От золота в глазах рябило. Все это было довольно аляповатое, скорее всего — купленное в Апраксином рынке.

— Как пышно, как богато! — воскликнула впервые посетившая его Зинаида Николаевна Гиппиус, стоя среди раззолоченной столовой и поднося лорнетку к своим зеленым, русалочьим, близоруким, но все подмечающим глазам. — И чашки золоченые, и ложки, и в птифуры, наверно, золотые пятирублевки запечены!

Сологуб каменно поклонился.

---

<sup>1</sup> В 20-х годах в Берлине в Доме искусств Н.М.Минский так рассказывал о происхождении псевдонима «Сологуб». Свои первые стихи Ф.К.Тетерников за своей подписью послал в журнал, где отделом стихов заведовал Н.М.Минский. Стихи редакции понравились, но подпись Минскому показалась для поэта «невозможной», и, чтобы найти какую-нибудь «подходящую для поэта» фамилию, Минский обратился к лежащей на столе газете. В ней он увидел фамилию «Соллогуб» и подписал стихи Тетерникова этой фамилией, но с одним «л». Так, по рассказу Минского, родился в русской литературе поэт Федор Сологуб (*Примеч. автора*).



— Непременно воспользуюсь вашим советом насчет пятирублевиков. Сознаюсь — люблю золото. Я бы и лысину себе с удовольствием вызолотил, да доктор говорит, вредно — талант пропадет и стану завистливым. А хуже этого я ничего не знаю.

— Вам ведь тоже не нравится? — спросил как-то Сологуб Георгия Иванова. — Ведь вы эстет. А я о такой именно обстановке мечтал, когда сидел в своей учительской каморке. На трясучем столе — груды ученических тетрадей. И до чего они мне осточертели! Сажу под керосиновой лампой и ставлю болванам двойки и единицы — с удовольствием. Авось его за мою двойку или единицу папенька с маменькой выпорют. А печка чадит. Из окна дует. И такая тоска, такая тоска. Закрою глаза и представлю себе, что сижу в алом шелковом кресле, по стенам зеркала и картины в золоченых рамках, на полу ковер в розы — точь-в-точь, как у меня здесь теперь. И казалось мне, что в этом золотом тереме я, если его добыю, буду проводить золотые дни. Ну, конечно, слегка ошибся. А все же жаловаться не могу. Недурно, совсем недурно себя чувствую. Конечно, в мечтах все много волшебнее, а все ж я доволен.

Как-то Сологуб сказал Гумилеву:

— Вот часто удивляются, как я мог создать Передонова. Какая жуткая, извращенная фантазия. А я его, видите ли, большей частью с себя списывал. Да, да, очень многое. И даже «недотыкомку». То есть она, наверно, появилась бы, материализовалась, если бы не было стихов как отдушины. Впрочем, и с поэзией надо осторожно, тоже многих к гибели приводит. А мне вот помогает... Вы меня поймете, Николай Степанович, вам самому поэзия мать, а не мачеха. Оберегает вас, помогает вам. А вот Блока ведет к гибели. И не его одного. Надо быть очень сильным, чтобы суметь справиться с поэзией, не дать ей проглотить себя. «В мерный круг твой бег направлю укороченной уздой» — мне всегда кажется, что это Пушкин о поэзии. Он-то умел с ней справиться. А Лермонтов — нет, не мог. Оттого и погиб.

Гумилев, хотя он совсем не был согласен, слушал не перебивая, не споря. Перебеешь — насупится и замолчит. Надо ждать, пока Сологуб сам задаст вопрос. А Сологуб продолжает отчеканивать:

— Вот еще меня упрекают в жестокости. Будто «Мелкий бес» — жестокая книга. Но ведь без капельки жестокости не бывает великих произведений. Это, как вы

знаете, Николай Степанович, еще Лопе де Вега сказал. И как это правильно. Капелька жестокости необходима. Без нее, как без соли, — пресно.

Сологуб, устроившись роскошно, завел у себя журналы. Сологуб был радушным, но чрезвычайно важным хозяином. Гости не могли не чувствовать, что он оказывает им немалую честь, принимая их у себя.

Анастасия Николаевна же совсем не годилась для роли хозяйки «раззолоченного терема». По внешности — типичная курсистка, синий чулок, небрежно причесанная и одетая, с вечной папиросой в руке, она всегда была чем-то взволнована и боялась каких-то интриг и заговоров против обожаемого ею Федора Кузьмича.

— Ах, Федору Кузьмичу все завидуют. Все хотят повредить ему, подкопаться под него. Погубить, но пока я жива, я не позволю его врагам... Но как обнаружить врагов? Они часто скрываются под видом друзей.

Самое трудное в положении бедной Анастасии Николаевны было то, что Сологуб требовал от нее равнолюбивого отношения ко всем гостям, а у нее сердце разрывалось от любви к друзьям и от ненависти к врагам. Но показывать чувства нельзя — Федор Кузьмич рассердится, не дай Бог. Страшнее этого она ничего представить себе не могла.

Гумилев сочувственно кивал головой:

— Не легко, не сладко быть женой великого поэта. И, откровенно говоря, вообще поэта. Даже, к примеру, моей женой.

И еще рассказ о Сологубе. Я вспомнила рассказ Гумилева о том, как он еще до революции вздумал вместе с Городецким издать какой-то альманах. Осведомившись по телефону, не помешают ли они, Гумилев и Городецкий не без робости отправились к Сологубу просить стихи для альманаха.

Сологуб принял их в своем раззолоченном кабинете, в шелковом халате. На письменном столе, среди рукописей, стоял крохотный серый котенок, пушистый клубочек шерсти, еле державшийся на тоненьких лапках, и усердно лакал молоко с блюдца, а Сологуб, нагнувшись над ним, внимательно и восторженно-удивленно наблюдал за ним.

— Нет, посмотрите, как старается! — проговорил Со-

логу, кивнув им наскоро. — Почти все блюдце вылакал. Ах ты, маленький негодяй. Утопить тебя хотели!

Он осторожно поднял котенка и посадил себе на ладонь. Городецкий слегка погладил котенка по шейке:

— Прелесть. И глазки зеленые, — лъстиво восхитился он.

Сологуб отвел руку Городецкого.

— Осторожно, Сергей Митрофанович. Не трогайте. Вы ему спинку сломаете. Ведь у него такие нежные косточки, а у вас грубые пальцы, — и, распахнув халат, Сологуб спрятал котенка на груди. Лицо его приняло умиленное выражение. — Я его вчера на лестнице нашел. Дворничиха четырех котят уже утопила, а этот неизвестно как добрался до ступенек и мяучит, жалуется. Я нагнулся, взял его, а он открыл ротик и стал сосать мой мизинец. Язык у него шершавый, теплый. И так странно вдруг я себя почувствовал. Будто во мне что-то утробное зашевелилось где-то там внутри. Что-то такое влажное, материнское, женское. Нет, даже кошачье. Во всем теле отдалось. Смешно и странно. Я хотел положить котенка на ступеньку и не могу. Жаль мне его. Ведь утопят. Принес его домой. И вот второй день вожусь с ним. Он меня уже узнает, такой шустрый.

Гумилев, начав с похвал котенку: «Да, удивительный котенок», — перешел к делу. Сологуб благосклонно согласился.

— С удовольствием, с большим удовольствием дам. Вот, выбирайте любые стихи. — И он протянул Гумилеву красную сафьяновую тетрадь. — Сколько хотите — берите, берите!

Обрадованный Гумилев стал громко читать стихотворение за стихотворением и восхищаться ими.

— Если позволите, эти пять. И как мы вам благодарны, Федор Кузьмич. Это такое украшение для нашего альманаха. Как мы вам благодарны...

— Но, к сожалению, — Городецкий откашлялся и продолжал быстро, — к большому нашему сожалению, мы можем платить только по семьдесят пять копеек за строчку. Конечно, для вас это не играет роли, но мой долг предупредить...

Лицо Сологуба вдруг снова окаменело.

— В таком случае, — он не спеша, но решительно протянул руку и отнял тетрадь у растерявшегося Гумилева. — Анастасия Николаевна, принесите, там на рояле стихи лежат, — крикнул он в зал.

Дверь отворилась, и вошла Анастасия Николаевна с двумя листками в руке.

— Вот эти могу дать по семьдесят пять. А остальные, извините...

Опешившие Гумилев и Городецкий поспешно откланялись и покинули квартиру Сологуба. Только на лестнице они прочли стихотворения, полученные для альманаха. Я запомнила строфу из первого:

За оградой гасли маки,  
Ночь была легка-легка,  
Где-то лаяли собаки,  
Чуя нас издалека.

Второе кончалось загадочной строкой «Не поиграть ли нам в серсо?», не имевшей никакого отношения к содержанию стихотворения и даже ни с чем не рифмовавшейся. Гумилев, недоумевая, взглянул на Городецкого.

— Что же это значит, Сергей Митрофанович? Объясни, пожалуйста.

Но Городецкий безудержно хохотал, держась за перила, чтобы не скатиться с лестницы.

«Не поиграть ли нам в серсо?» — повторяли потом в течение многих месяцев члены Цеха в самых разнообразных случаях жизни. А альманах, для которого предполагались эти стихотворения, так и не вышел.

— А что стало с котенком? — спросила я, выслушав Гумилева. Но о дальнейшей судьбе котенка Гумилев ничего не знал.

\* \* \*

В январе 1921 года Гумилев решил издавать журнал Цеха поэтов «Новый Гиперборей» — на гектографе. Стихи в нем появлялись в автографах с «собственно-ручными графиками» членов Второго цеха.

Всего было выпущено четыре тетрадки, все обозначенные «№ 1». Для радости библиофилов, по определению Гумилева: «Известно — библиофил особенно ценит первый номер журнала. Вот мы ему и потрафим». Гумилев сам шил тетрадки «Гиперборей», хотя, как он утверждал, хуже владел иглой, чем саблей.

— А все же, — самодовольно говорил он, — красиво получается!

В первом «№ 1» появились «Перстень» Гумилева, «В меланхолические вечера» Георгия Иванова и мой «Поэт»: «Белым полем шла я ночью», — явно написанный о Гумилеве.

Мандельштам, увидев мой рисунок, неодобрительно покачал своей «отягченной баками головой».

— Польстили, не в меру польстили вы вашему мэтру! Какой он у вас молодой, элегантный!

— Я и не думала рисовать Гумилева, — защищалась я. — Я не умею схватывать сходства. Ведь мой поэт совсем, совсем не похож на Гумилева.

— Мы-то это знаем. А те, кто не видели, будут думать, что он такой. Грех на вашей душе.

Но тут возмутился Гумилев:

— Я вовсе не желаю быть похожим на вашего конфетного поэта. Даже отдаленно. Не желаю!

— Тогда, — советует Мандельштам, — подпиши под «Поэтом»: «НЕ с меня рисован. Я совсем не такой. Даже напротив. Н.Гумилев».

Во втором «№ 1» «Гиперборея» были гумилевский «Слоненок» с его рисунком, «Не о весне пою» Георгия Иванова с автопортретом в снежно-чернильном раю и моя «Птица» с изображением орла.

Этот орел всем почему-то чрезвычайно понравился, особенно Мандельштаму.

Гумилев, всегда желавший всюду и во всем быть лучше остальных, заявил, что птиц рисовать легче всего, и для третьего «№ 1» дал свою «Канцону», иллюстрировав ее петухом.

Петух получился голенастый, длинноногий и пернастый.

— Это страус, а не петух! — решил Мандельштам.

— Не страус, а петух. Самый настоящий африканский петух, — объяснил Георгий Иванов. — Ты, Осип, в Африке не бывал, так и судить об африканском петухе не можешь и потому «Пепли плечо и молчи»!

Я в этот номер дала «Балладу о Роберте Пентегью» с девятью котами в виде иллюстрации. Георгий Иванов нарисовал закат, как персидскую шаль, к своему стихотворению «И дальний закат, как персидская шаль...», Мандельштам — «Я слово позабыл...» и обратился ко мне с просьбой немного помочь ему в его «собственно-ручной графике» — прибавить к ней слепую ласточку.

Я, конечно, согласилась. Он протянул мне чистый лист бумаги.

— Вот тут, в правом углу, прибавьте ласточку.

— Лучше вы все сперва нарисуйте, а потом уже я прибавлю ласточку.

— Но ведь все уже готово, только ласточки не хватает! — Мандельштам широким жестом указал на белый лист. — Вот они, горячие снега! Не хватает только детали — слепой ласточки, упавшей на них!

Я не стала спорить с ним и нарисовала ласточку. Мандельштам остался ею очень доволен.

— Только слепой не разглядит, что она слепая, действительно слепая! — Он провел под ласточкой волнообразную черту и подписался. — Жаль даже отдавать. В рамку бы вставить мой рисунок! «Музейная вещь», как говорит сынишка Анны Радловой. Прелесть! — восхищался он.

Четвертый «№ 1» собирался почему-то очень долго, и я не могу утверждать, что он «в соответствующем количестве экземпляров» вышел в свет. Я видела только оригинальный номер.

В нем Гумилев поместил свое «Слово», Мандельштам — «По каменным отрогам», Георгий Иванов — «В половине сентября», Оцуп — стихи про гвоздь, я — «Балладу об извозчике».

Рукописные оригиналы продавались дорого только уезжающим за границу. Остальным — по сходной цене или просто раздавались на добрую память добрым же знакомым.

Третий «№ 1» был отпечатан в пяти экземплярах, второй тоже в пяти, зато первый «№ 1» — ему повезло — в двадцати пяти экземплярах. Объяснялось это отсутствием бумаги и прочими «сложностями и техническими трудностями» того времени.

Весной «Новый Гиперборей» прекратил свое существование, надобность в рукописных журналах исчезла. Наступил нэп.

Вскоре вышел первый сборник Цеха поэтов в «нормально-благопристойном виде».

Яков Ноевич Блох основал книгоиздательство «Петрополис», стал печатать сборники стихов в «изысканно-эстетическом оформлении».

Он отдался своему делу всей душой и с невероятным энтузиазмом привлек к участию в нем не только поэтов, но и художников.

Начались споры о том, полезно или нет слишком эстетическое оформление для стихов.

Гумилев считал, что стихи должны издаваться классически просто и строго, без всяких художественных украшений, превращающих сборник стихов в предмет искусства.

Лозинский и Георгий Иванов, напротив, стояли за «художественное оформление».

Мандельштам, смотря по настроению, склонялся то на одну, то на другую сторону.

Издатель «Петрополиса» разрывался от волнения и сомнений, страстно советовался с поэтами и с художниками, стремясь, по выражению Лозинского, создать «книгоиздательство, равного коему не было, нет и не будет на свете».

Конечно, как и всякое явление тогдашней литературной жизни, книгоиздательское волнение и сомнения Я.Н.Блоха нашли отражение в комических стихах, и Георгий Иванов написал свою «Балладу об издателе».

Неправильно названная в собрании сочинений Н.Гумилева «поэмой», «Баллада об издателе» не является коллективным творчеством, а сочинена Георгием Ивановым, им одним.

Ни Гумилев, ни Мандельштам не принимали в ее сочинении ни малейшего участия. Она явилась для Гумилева и для Мандельштама такой же неожиданностью, как и для меня.

Я присутствовала при первом чтении ее весной 1921 года на квартире Гумилева и помню впечатление, произведенное ею на нас троих.

Гумилев пришел от нее в восторг, тут же записал и стал читать ее всем, с кем в те дни встречался. Отсюда, должно быть, и возникло мнение, что он ее автор.

Я.Н.Блох ошибается, считая Гумилева «основным автором» «Баллады», которую он тоже называет «поэмой». Ошибается он также, считая, что Гумилев придумал для нее и особый размер «молоссы» (?).

«Баллада об издателе» просто написана размером моих тогдашних баллад, в подражание им, с теми же, как и в моих балладах, мужскими рифмами.

Поднял Блох руку одну —

перделка строки моей «Баллады об извозчике»:

Не подняла лошадь ногу одну.

В собрании сочинений Н. Гумилева «Баллада об издате-  
теле» неправильно напечатана с самого начала:

На Надеждинской улице  
Жил один  
Издатель стихов  
По прозвищу  
Господин  
Блох.

Совершенно ясно, что в балладе с одними мужскими рифмами, всегда рифмующимися, невозможны дакти-  
лические окончания «улице — прозвищу», к тому же  
ни с чем не рифмующиеся. Они абсолютно не подходят  
к отрывчато-барабанному ритму баллады.

Мне наконец удалось восстановить в точности всю  
балладу, которую я и привожу:

#### БАЛЛАДА ОБ ИЗДАТЕЛЕ

На Надеждинской жил один  
Издатель стихов,  
Назывался он Господин  
Блох.  
Всем хорош — лишь одним плох:  
Фронтиспис очень любил  
Блох.  
Фронтиспис его и погубил,  
Ох!

Труден издателя путь, и тернист, и кремнист,  
А тут еще титул, шмуцтитул, заставки и титульный лист,  
Книгу за книгой Блох отсылает в печать,  
Издан с десяток и стал безнадежно скучать.  
Добужинский, Чехонин не радуют взора его,  
На Митрохина смотрит, а сердце, как камень, мертво.  
И шепнул ему дьявол, когда он ложился в постель:  
— Яков Ноич! А есть еще Врубель, Рембрандт, Серов,  
Рафаэль!

Всю ночь Блох  
Плохо спал,  
Всю ночь Блох  
Фронтисписы рвал.  
Утром рано звонит в телефон —  
На обед сзывает поэтов он.



И когда пришел за поэтом поэт,  
И когда собрались они на обед,  
Поднял Блох руку одну —  
Нож вонзил в зад Кузмину,  
Дал Мандельштаму яда стакан —  
Выпил тот и упал на диван.  
Дорого продал жизнь Гумилев,  
Умер, не пикнув, Жорж Иванов.  
И когда всех поэтов прикончил Блох,  
Из груди вырвался радостный вздох:  
— Теперь я исполню мечту мою,  
Книгоиздательство я открою в раю.  
Там Врубель, Рембрандт, Рафаэль, Веласкес и Бердслей,  
Никто не посмеет соперничать с фирмой моей!..

Кстати, прибавлю еще специально для литературоведов.

В комментариях к экспромту № 393, написанному весной 1921 года, сказано, что составителям его не удалось узнать, кто был автор поэмы об «Умеревшем офицере».

Автором ее был Оцуп, тогда же уничтоживший свою поэму, кончавшуюся строками:

И лежит, раскинув руки,  
Умеревший офицер.

Приведу и маленькую справку *pro domo sua*<sup>1</sup>.

В примечаниях № 398 к письму Гумилева сказано: «...и ...стих 18 “Над Волховом встает луна”», очевидно, взято из “Поэмы о Луне” самой Одоевцевой».

Нет. Совсем не очевидно. И даже напротив. Оно никак не могло ни по ритму, ни по содержанию быть взято из «Поэмы о Луне», напечатанной во 2-м номере журнала «Дом Искусства», а также в моем сборнике стихов «Двор чудес».

«Над Волховом встает луна» — просто строчка из моего четырехстопного письма, на которое письмо Гумилева явилось ответом.

Добавлю, что строка «Слегка стареющий поэт» взята Гумилевым из его стихотворения памяти Анненского: «Слегка седеющий поэт».

---

<sup>1</sup> в свою защиту (лат.).

В начале моего «ученичества» Гумилев подарил мне маленький, *in octavo*, очень толстый альбом из пергамента, купленный им, по его словам, еще когда-то в Венеции.

— Я буду в него записывать стихи, посвященные вам, — сказал он, подавая его мне. — Он пергаментный, вечный. Он перейдет к вашим внукам и пра-праправнукам. Берегите его.

На первой странице сверху стояло: «Н.Гумилев», а посередине: «Стихи, написанные Ирине Одоевцевой», внизу был нарисован чернилами один из всегдашних его пейзажей — пальма, необычайно высокая и разлапистая, крошечные негры, два громадных льва, один стоит, другой лежит, и на длинноногом, двугорбом верблюде «я сам с ружьем в руках». Под этим рисунком, изображающим охоту на львов, подпись:

N.G. fecit  $\frac{23}{8}$  1919.

Страницы альбома были очень малы, но Гумилев умудрялся помещать на одну страницу три строфы своим мелким, некрасивым, «неинтеллигентным», как он сам его называл, почерком.

Альбом этот погиб 5 августа 1921 года, после ареста Гумилева. Он был уничтожен моими родными вместе с письмами ко мне Гумилева, черновиком его автобиографии и всеми его книгами с надписями.

Сделано это было против моей воли, в мое отсутствие, из понятного страха — возможного у меня обыска.

Но страх, как и большинство страхов, оказался неоправданным — обыска у меня никто не производил, и мой альбом погиб совершенно напрасно.

Да, конечно, я очень болезненно пережила гибель моего альбома, я еще и сейчас с грустью вспоминаю о нем.

Но с чисто историко-литературной точки зрения гибель его не представляет собой большой потери. Ведь Гумилев успел еще при жизни составить свою последнюю книгу и включить в нее все стихи, которые он считал достойными быть напечатанными.

Остальные — их было немало — не представляли собой ценности, а являлись, по выражению Гумилева, «дифирамбальными упражнениями, далеко не всегда удачными».

Впрочем, я все же сообщила несколько из них Г. Струве, и они включены во 2-й том собрания сочинений Гумилева.

Приведу еще два стихотворения из моего альбома. Они интересны тем, что показывают, насколько Гумилев был аккуратен и экономен в своем поэтическом хозяйстве.

Первое:

Конквистадор в панцире железном,  
Признаю без битвы власть твою  
И в сопротивленьи бесполезном  
Не грущу, а радостно пою —  
В панцире железном, в тяжких латах, —  
Бант, сидящий словно стрекоза,  
В косах золотисто-рыжеватых,  
И твои зеленоватые глаза,  
Как персидская больная бирюза.

Строчки:

На твои зеленоватые глаза,  
Как персидская больная бирюза —

были им повторены в стихотворении «Лес», написанном через две недели после «Конквистадора».

И второе:

На веснушки на коротеньком носу,  
И на рыжеватую косу,  
И на черный бант, что словно стрекоза,  
И на ваши лунно-звездные глаза  
Я, клянусь, всю жизнь смотреть готов.  
Николай Степаныч Гумилев.

О сравнении «бант, словно стрекоза» Гумилев вспомнил больше чем через год и перенес его во второе стихотворение, написанное уже в декабре 1920 года.

Гумилев иногда «из экономии» даже посвящал свои мадригалы различным лицам.

Всем, например, известно — об этом уже не раз говорилось в печати, — что «Приглашение в путешествие» посвящалось многим, с измененной строфой, смотря по цвету волос воспеваемой:

Порхать над царственной вашей  
Тиарой золотых волос —

или:

Порхать над темно-русой вашей  
Прелестной шапочкой волос.

Были и «роскошные», и «волнистые» шапки волос, и «атласно-гладкие» шапочки волос.

Сам Гумилев в минуты откровенности рассказывал мне, сколько раз это «приглашение» ему «служило», как и второе его «ударное» стихотворение: «С тобой мы связаны одною цепью».

В моем альбоме их, конечно, не было, но в нем рукой Гумилева были записаны почти все его лирические стихи, сочиненные им в это время, вплоть до «Моим читателям».

Гумилев совершенно серьезно уверял меня, что они все написаны мне. Но я, несмотря на всю мою тогдашнюю наивность и доверчивость, не верила этому, что иногда сердило его.

Все же мой альбом мог послужить материалом для датирования стихотворений — Гумилев всегда ставил под ними точную дату.

Иногда, правда, довольно редко, попадались и «разночтения», как теперь принято говорить.

Так, в «Канцоне первой», открывающей мой альбом, вместо двух последних стрóf, начинающихся:

В этот час я родился,  
В этот час я умру, —

были строки:

Лишь несчастно влюбленным  
Снятся райские сны.

В этом мире полночном  
Мне дороже весны  
Ты, со взглядом зеленым  
И такой глубины,  
Что одним беспорочным  
На земле суждены.

Я удивилась необычайному чередованию рифм.

Гумилев обиженно пожал плечами.

— Пожалуйста, без критики. Много вы понимаете. Правила существуют для начинающих. А я, слава Богу, могу рифмовать как хочу. Кальдерон недаром говорил, что, изучив правила, надо запереть их на ключ, а ключ бросить в море — и только тогда приступить к творчеству. И писать по вдохновению...

Но через несколько дней он прочел мне измененный конец этой канцоны, такой, как он напечатан в «Огненном столпе».

Я попросила его записать мне в альбом окончательный вариант, но он, не без злорадства, отказался:

— Нет уж, пусть у вас остается прежний конец, хотя вы его и критикуете.

Больше я никогда — даже когда они мне совсем не нравились, как, например, «Перстень» — не позволяла себе «критиковать» его стихи.

Было и еще одно существенное «разночтение» — во втором стихотворении триптиха «Душа и тело» — вместо:

И женщину люблю... когда глаза  
Ее потупленные я целую,  
Я пьяно, будто близится гроза  
Иль будто пью я воду ключевую, —

в моем альбоме стояло:

И девушку люблю, что у судьбы  
Я отвою с яростью во взгляде,  
Ее прикосновенья жгут, как бы  
В ней соки бродят, будто в винограде.

Гумилев любил читать свои старые стихи, и напечатанные, и те, которые он считал недостойными появиться в его книгах. Все их помнил наизусть.

Так, он не раз читал мне стихи, опубликованные уже в Париже после его смерти под названием «К синей звезде», которое им дал Мочульский.

Из них — неизвестно почему — Гумилев включил в «Костер» далеко не лучшие, «Розу» или «Телефон».

Гумилев читал мне наизусть и надписи, сделанные им когда-то на книгах. Привожу из них две.

Первая, на «Чужом небе», — барышне, в которую он

был влюблен во время войны — не называю ее имени, — написавшей строчку с двумя спондеями:

Спондеическая поэтесса,  
Связной надписи не требуй  
К этому «Чужому небу»,  
Где лишь ты одна принцесса.

И вторая, на «Шатре», — сделанная приблизительно в то же время его будущей жене Ане Энгельгардт:

Об Анне, пленительной, сладостной Анне  
Я долгие ночи мечтаю без сна.  
Прелестных прелестней, желанных желанней  
Она!..

Мне она очень не понравилась, особенно усеченная последняя строка. Я немного поморщилась, хотя «криковать» не стала.

Он все же накинулся на меня:

— А вы думаете, что так легко «мадригалить»? Но, слава Богу, не все так требовательны, как вы, и приходят в восторг от всякого посвящения. Ведь я — в этом они твердо уверены — дарю им бессмертие, посвящая им стихи.

— Даже если эти стихи вами посвящены целой дюжине? Всем им дарите бессмертие? — спрашиваю я. — Оптом и в розницу?

Гумилев уже смеется.

— Каждая считает, что ей, и только ей одной. И счастлива этим.

Отправляясь на свидание, Гумилев всегда брал с собой заготовленный «мадригал». Но иногда, занятый спешной работой, он не успевал его сочинить.

Однажды, когда мы с Георгием Ивановым сидели в саду Дома литераторов, Гумилев подошел к нам с озабоченным видом и, наскоро поздоровавшись, спросил, не найдется ли у меня или у Георгия Иванова какого-нибудь подходящего к случаю стихотворения. У меня, конечно, ничего подходящего не оказалось, но Георгий Иванов вспомнил какую-то свою строфу о Психее, глядящейся в зеркало.

Гумилев, нахмурившись, выслушал ее и одобрительно кивнул.

— Ничего, сойдет. Скажу ей, что она похожа на Пси-

хею. — И тут же записал эту строфу под диктовку Георгия Иванова, поставив под ней свою подпись и дату — июль 1921 года, а над ней — посвящение.

Эта «Психея» вернулась к Георгию Иванову, когда он собирал стихи Гумилева для посмертного сборника, но он, к негодованию приславшей ее, не счел возможным включить свою строфу в сборник Гумилева.

Так как часто одно и то же стихотворение приносилось или присылалось с различными посвящениями, Георгий Иванов решил печатать такие стихи без посвящений, что вызывало ряд обид и возмущений.

Кстати, забавное недоразумение: Георгий Иванов дал и сам стихотворение Гумилева, но зачеркнул посвящение себе.

В типографии же сочли, что он подчеркнул посвящение, а не вычеркнул, и в сборнике оно появилось сделанным необычайно крупным шрифтом, к комическому отчаянию Георгия Иванова.

Говоря о неизвестных стихах Гумилева, я вспомнила, что мне известны два стихотворения Мандельштама, не попавших в его собрание сочинений.

Они были написаны еще во времена первой мировой войны.

Первое было напечатано в газете «Копейка», кажется, в 1916 году.

Вот оно:

Германская каска. Священный трофей  
Лежит на камине в гостиной твоей.  
Дотронься, она, как пушинка, легка.  
Пронизана воздухом сталь шишака.  
Нам только взглянуть на блестящую медь,  
А им... им, героям, в бою умереть.

В те дни и в газетах, и в журналах охотно печатали военные стихи, и это приносило поэтам немалый доход. Мандельштам тоже решил, скрепя сердце, — писать для денег.

Но дальше этой неудачной попытки, как он сам со смехом рассказывал мне, он не пошел:

— Напечатать напечатали и заплатили шесть рублей. Но редактору стихотворение совсем не понравилось — двусмысленное. Непонятно, кто «герои» — немцы или русские? Надо было определенно, ура-патриотично. А я не умел! Так и пришлось бросить...

Мандельштам в дореволюционные годы во время писания стихов сам варил себе крепчайший кофе и пил его в неограниченном количестве. Теперь же, когда кофе и в помине не было, он часто повторял с трагикомическими вздохами сочиненную им когда-то строфу:

Я давно полюбил нищету,  
Одиночество, бедный художник.  
Чтобы кофе варить на спирту,  
Я купил себе легкий треножник, —

и прибавлял:

— Подумайте только, как я был счастлив. А разве я ценил?..

Раз я упомянула о «Лесе», мне следует рассказать, отчего в «Огненном столпе» посвящение мне было снято.

Произошло это по моей просьбе, так как из-за этого посвящения в сборнике Цеха поэтов «Дракон» вышла неприятная история.

Некоторые участники «Всемирной литературы» повели кампанию против Гумилева, обвиняя его в том, что он открыто признается мне в любви и описывает мою наружность.

Голлербах даже нашел возможным высказать это мнение в своей критической статье о «Драконе».

Гумилев счел меня и, главное, себя оскорбленными, и дело чуть не дошло — а может быть и дошло — до третейского суда.

О суде я толком так ничего и не узнала. Эта история меня страшно волновала, и Гумилев стал делать вид, что все уладилось.

Я просто сходила с ума и тряслась от страха, что это станет известно у меня дома. Я умоляла Гумилева не обращать внимания на сплетни и враждебные выпады и не разыгрывать роль рыцаря, защищающего честь прекрасной дамы.

Я не чувствовала себя оскорбленной. Ничего, кроме пустого зубоскальства, в статье Голлербаха я не находила, а реакция на нее Гумилева действительно могла принести мне немало зла — вплоть до запрещения встречаться с Гумилевым и бывать в литературных кругах.

Но, слава Богу, все для меня обошлось без неприятных последствий и вскоре совсем забылось.



Гумилев не сразу согласился снять посвящение с «Леса». Но слезы и упреки Ани — ей тоже все это стало известно — подействовали на него. Он не только снял посвящение мне, но даже посвятил весь «Огненный столп» ей — что я очень одобрила, а ее привело в восторг.

Все же оставить меня совсем без посвящения в своем сборнике стихов он не желал и решил посвятить мне «Заблудившийся трамвай». Но я отказалась и от этого, что его не на шутку обидело.

— Мне кажется, я имею право посвящать свои стихи кому хочу, по своему собственному выбору — хоть китайской императрице.

— В следующем сборнике — сколько угодно, я буду ими страшно гордиться. А сейчас, во избежание разговоров, пожалуйста, не надо, — просила я.

В конце концов он послушался меня, но все же сказал с упреком:

— Вы пожалеете, и очень пожалеете, что отказались от такого подарка.

Да, он оказался прав — я жалею, и очень жалею, что «Заблудившийся трамвай» — мое самое любимое стихотворение Гумилева — не посвящено мне.

Все же я с удовольствием вспоминаю, что я была первой, услышавшей его.

Было это весной 1921 года. Я зашла за Гумилевым в 11 часов утра, чтобы идти вместе с ним в Дом искусств.

Он сам открыл мне дверь кухни и неестественно обрадовался моему приходу. Он находился в каком-то необычайно возбужденном состоянии. Даже его глаза, обыкновенно сонные и тусклые, странно блестели, будто у него жар.

— Нет, мы никуда не пойдем, — сразу заявил он. — Я недавно вернулся домой и страшно устал. Я всю ночь играл в карты и много выиграл. Мы останемся здесь и будем пить чай.

Я поздравила его с выигрышем, но он махнул на меня рукой.

— Чушь! Поздравить вы меня можете, но совсем не с выигрышем. Ведь мне в картах, на войне и в любви всегда везет.

«Разве всегда?..» — спросила я себя.

А он уже продолжал:

— Поздравить вы меня можете с совершенно необычайными стихами, которые я сочинил, возвращаясь домой. И так неожиданно, — он задумался на мгнове-

ние. — Я и сейчас не понимаю, как это произошло. Я шел по мосту через Неву — заря и никого кругом. Пусто. Только вороны каркают. И вдруг мимо меня совсем близко пролетел трамвай. Искры трамвая — как огненная дорожка на розовой заре. Я остановился. Меня что-то вдруг пронзило, осенило. Ветер подул мне в лицо, и я как будто что-то вспомнил, что было давно, и в то же время как будто увидел то, что будет потом. Но все так смутно и томительно. Я оглянулся, не понимая, где я и что со мной. Я постоял на мосту, держась за перила, потом медленно двинулся дальше, домой. И тут-то и случилось. Я сразу нашел первую строфу, как будто получил ее готовой, а не сам сочинил. Слушайте:

Шел я по улице незнакомой  
И вдруг услышал вороний грай,  
И звоны лир, и дальние громы —  
Передо мной летел трамвай.

Я продолжал идти. Я продолжал произносить строчку за строчкой, будто читаю чужое стихотворение. Все, все до конца. Садитесь! Садитесь и слушайте!

Я сажусь тут же в кухне за стол, а он, стоя передо мной, взволнованно читает:

Как я вскочил на его подножку,  
Было загадкой для меня.

Это совсем не похоже на прежние его стихи. Это что-то совсем новое, еще небывалое. Я поражена, но он и сам поражен не меньше меня.

Когда он кончил читать, у него дрожали руки, и он, протянув их вперед, с удивлением смотрел на них.

— Оттого, должно быть, что я не спал всю ночь, пил, играл в карты — я ведь очень азартный — и предельно устал, оттого, должно быть, такое сумасшедшее вдохновение. Я все еще не могу прийти в себя. У меня голова кружится. Я полежу на диване в кабинете, а вы постарайтесь вскипятить чай. Сумеете?

«Это ведь почти чудо», — говорил Гумилев, и я согласна с ним. Все пятнадцать строф сочинены в одно утро, без изменений и поправок.

Все же одну строфу он переделал. В первом варианте он читал:

Знаю, томясь смертельной тоскою,  
Ты повторяла: Вернись, вернись!  
Я же с напудренной косою  
Шел представляться Императрикс.

вместо:

Как ты стонала в своей светлице...

и так далее...

Машенька в то первое утро называлась Катенькой. Катенька превратилась в Машеньку только через несколько дней, в честь «Капитанской дочки», из любви к Пушкину.

Догадка Маковского, что «Машенька» — воспоминание о рано умершей двоюродной сестре Гумилева, неправильно, как и большинство таких догадок...

Сам Гумилев очень ценил «Трамвай».

— Не только поднялся вверх по лестнице, — говорил он, — но даже сразу через семь ступенек перемахнул.

— Почему семь? — удивилась я.

— Ну, вам-то следует знать почему. Ведь и у вас в «Толченом стекле» семь гробов, семь ворон, семь раз прокаркал вороний поп. Семь — число магическое, и мой «Трамвай» — магическое стихотворение.

Он улыбался, и я не знала, шутит ли он или говорит серьезно.

«У цыган» было написано им дней через десять.

— Я все еще нахожусь под влиянием «Заблудившегося трамвая», — говорил он. — «Цыгане» одной семьи с ним. Но они, я сам знаю, гораздо слабее. Надеюсь все же, что мне удастся перемахнуть еще через семь ступенек. Конечно, не сегодня и не завтра, а через полгода или год — ведь «великое рождается не часто».

Через полгода...

Кстати, о неправильных догадках. Тот же С.Маковский называл стихотворение Гумилева «Дева-птица» «запутанной криптограммой в романтически-метерлинкском стиле» и считал его чуть ли не центральным в поэзии Гумилева, тогда как это стихотворение, действительно, стоит особняком в творчестве Гумилева, но совсем по другой причине.

«Дева-птица» — единственное стихотворение Гумилева, написанное... по рифмовнику.

Гумилев, неизвестно где, раздобыл этот рифмовник — старый, затрепанный, в голубой бумажной обложке, и со смехом читал мне его.

— Отличное пособие. Я им непременно как-нибудь воспользуюсь и вам советую.

Я выразила сомнение в том, что он им воспользуется.

— Не верите? Хотите пари держать, что я напишу стихи по этому рифмовнику? Ведь

И в мокром асфальте поэт  
Захочет, так счастье находит,

а не то что стихи в рифмовнике.

Через несколько дней он, торжествуя, прочел мне «Деву-птицу».

— Вот видите, я сказал, что напишу, и написал! Вслушайтесь в качающийся, необычайный ритм. А началось с рифм: младенец — пленниц, прохладой — стадо, коровы — тростниковой, — я от них оттолкнулся и стал плести кружево, пользуясь все новыми готовыми рифмами: высокий — щеки, нагретой — браслеты, рифмоидом жальче — мальчик и так далее, а потом привел все в порядок, кое-что кое-где подчистил, и получилось совсем хорошо. И даже глубокомысленно.

Нет, по-моему, совсем не хорошо. Мне эта «Дева-птица» совсем не понравилась, в особенности

Никому не нужны мои губы  
И бледные, длинные щеки

первого варианта.

Мы с Георгием Ивановым, Мандельштамом и Оцупом дружно осудили эту «Деву-птицу», будто сошедшую, по выражению Георгия Иванова, с картины Самокиш-Судковской. И даже посмеялись над ней — конечно, не в присутствии Гумилева, а за его спиной.

Но когда на следующем собрании Цеха Гумилев огласил свою «Деву-птицу», никто не только не осудил ее, а все покривили душой и превознесли ее.

Было это так: на собраниях Цеха, происходивших в Доме искусств, пили чай с пирожными-эклерами — ведь нэп уже начался.

Каждому члену Цеха полагалось по эклеру. Георгия Адамовича не было, и решили его оставшимся эклером наградить автора лучшего прочитанного стихотворения.

В тот вечер Мандельштам читал «Я слово позабыл, что я хотел сказать», Георгий Иванов — «Легкий месяц блеснет», я — «Балладу об извозчике», Нельдихен — о двухсполовинноаршинной кукле, остальные — уже не помню что и о чем.

Голосование производилось поднятием рук.

И вот все руки, как по команде, поднялись за «Деву-птицу».

Все — за исключением одного Лозинского, голосовавшего за моего «Извозчика».

Вряд ли Лозинскому больше нравился мой «Извозчик», чем мандельштамовское «Я слово позабыл» или «Легкий месяц блеснет» Георгия Иванова, — вкус у него был безукоризненный. Лозинскому просто очень хотелось, чтобы пирожное досталось мне, единственной женщине в Цехе поэтов.

К стыду моему, и я, не задумываясь, подняла руку за «Деву-птицу» — так велик был престиж и власть громовержца-самодержца Зевса-Гумилева.

Никто из цеховцев при нем не мог даже

...сметь

Свое суждение иметь.

Гумилеву, впрочем, и в голову не пришло, что мы все занимаемся «подхалимажем». Наше голосование его ничуть не удивило, он принял эклер — как заслуженную награду. И съел его.

Я привела этот забавный случай с эклером как пример взаимоотношений между Гумилевым и нами всеми.

Н.Оцуп старался, после смерти Гумилева, создать миф о своей дружбе с Гумилевым. Никакой особенной дружбы между ними не только не существовало, но Гумилев, в последний год своей жизни, стал относиться к Оцупу очень сдержанно. Он не мог ему простить его участия в первоначальном Союзе поэтов, возглавляемом Блоком и враждебном Гумилеву.

Оцуп, несмотря на его утверждение, никакой роли в восстановлении Второго цеха не играл и был таким же рядовым членом его, как Рождественский, Нельдихен, я и остальные новоизбранные члены Цеха.

Я не стала бы касаться этого неприятного вопроса (с Оцупом я до самой его смерти была в наилучших отно-

шениях), если бы неправильные сведения о Гумилеве, автором которых является покойный Н.Оцуп, не начали проникать в печать — в собрании сочинений Н.Гумилева, отредактированных Г.Струве и Б.Филипповым, немало ссылок на Оцупа, дающих совершенно ложное понятие о Гумилеве и о его последних днях.

Вот, например, комментарий к экспромту Гумилева — кстати, самим Гумилевым читавшемуся так:

Не Царское Село — к несчастью,  
А Детское Село — ей-ей!  
Не лучше ль быть под царской властью,  
Чем стать забавой злых детей? —

а не как напечатано в собрании сочинений:

Что ж лучше: быть царей под властью  
Иль быть забавой злых детей?

Привожу примечание № 394, стр. 334 из собрания сочинений Н.Гумилева, т. II:

«По словам покойного Н.А.Оцупа, это — последний написанный Гумилевым экспромт. Вот что писал Оцуп, вспоминая о последних днях жизни Гумилева: “Мы встречались каждый день и ездили вместе в бывшее Царское, тогда уже Детское Село — Гумилев читать лекции в Институте живого слова, я проведать мать. С ней и Гумилев подружился. Ей написал он свой последний экспромт (о Царском Селе)...”»

Оцуп ошибается — экспромт этот был сочинен Гумилевым не летом 1921, а летом 1919 года.

В 1919 году Гумилев действительно часто ездил в Царское и даже перевез с помощью своих слушателей-красноармейцев всю свою многотомную библиотеку из своего царсосельского дома на квартиру на Преображенской улице, 5, куда он переехал из квартиры Маковского в начале 1919 года.

Оцуп пишет, что летом 1921 года Гумилев каждый день ездил в Царское Село читать лекции в «Живом слове» — и дальше о дружбе Гумилева с его матерью.

В 1919 году Гумилев действительно часто обедал у Оцупа в Царском. Брат Оцупа служил в Шведском Красном Кресте, и Оцупы продолжали жить «по-буржуйски», принимая поэтов, уже начавших подголаживать.

«Живое слово» выезжало летом на дачу в Царское не в 1921, а в 1919 году. Но Гумилев там лекций не читал. «Живое слово» обосновалось в Царском на летний отдых, и никаких занятий — кроме ритмической гимнастики, танцев и музыки — в нем не происходило. С конца 1920 года Гумилев прекратил чтение лекций в «Живом слове» за отсутствием слушателей.

Гумилев посетил однажды вместе со мной живословцев в августе 1919 года на их летней даче. В тот же день он повел меня в свой царскосельский дом, все в нем мне показывал и подробно рассказывал обо всем происшедшем там.

Я и сейчас помню обстановку всех комнат нижнего этажа.

В то время жена М.Л.Лозинского жила в верхнем этаже его дома вместе с маленьким сыном и дочкой.

В 1921 году дом Гумилева был уже давно занят не то под детский приют, не то каким-то учреждением, и Гумилев в Царское не ездил.

Оцуп здесь явно путает даты. К тому же и мать Оцу-па в 1921 году уже жила не в Царском Селе, а в Берлине.

Восстанавливая экспромт Гумилева о Царском Селе, я вспомнила еще один его экспромт, относящийся к тому же 1919 году, обращенный к тогдашним большевицанствующим поэтам:

Мне муза наша с детских лет знакома,  
В хитоне белом, с лирою в руке.  
А ваша муза в красном колпаке,  
Как проститутка из Отделнаркома.

Чтобы понять этот экспромт, надо знать, что арестованные проститутки содержались не в тюрьмах, а для исправления отбывали срок наказания в каком-то государственном учреждении, заменяя уборщиц. Красные колпаки на их головах напоминали им и остальным гражданам об их недавней позорной профессии.

Гумилев, рассказывая о проститутках в красных колпаках, недоумевающе разводил руками.

— А казалось бы, красный фригийский колпак для большевиков — самая святая святынь!

О причине гибели Гумилева существует много догадок, но в сущности мало что известно достоверно.

На вопрос, был ли Гумилев в заговоре или он стал жертвой ни на чем не основанного доноса, отвечаю уверенно: Гумилев бесспорно участвовал в заговоре.

Да, я знала об участии Гумилева в заговоре. Но я не знала, что это был заговор профессора Таганцева, — ни имени Таганцева, ни вообще каких-либо имен участников заговора он мне никогда не называл.

Об его участии в заговоре я узнала совершенно случайно.

Вышло это так.

В конце апреля я сидела в кабинете Гумилева перед его письменным столом, а он, удобно расположившись на зеленом клеенчатом диване, водворенном по случаю окончания зимы из прихожей обратно в кабинет, читал мне переплетенные в красный сафьян «Maximes» Вовенарга.

— Насколько они глубже и умнее, чем «Maximes» Ларошфуко. Это настоящая школа оптимизма, настоящая философия счастья, они помогают жить, — убежденно говорил он. — А вот пойдите, о маркизе Вовенарге у нас мало кто даже слышал, зато Ларошфуко все знают наизусть. Слушайте и постарайтесь запомнить: «Une vie sans passions ressemble á la mort»<sup>1</sup>. До чего верно!

Я, как я это часто делала, слушаю то, что меня не особенно интересовало, слегка вдвигала и выдвигала ящик его письменного стола. Я совершенно не умела сидеть спокойно и слушать, сложа руки.

Не рассчитав движения, я вдруг совсем выдвинула ящик и громко ахнула. Он был туго набит пачками кредиток.

— Николай Степанович, какой вы богатый! Откуда у вас столько денег? — крикнула я, перебивая чтение.

Гумилев вскочил с дивана, шагнул ко мне и с треском задвинул ящик, чуть не прищемив мне пальцы.

Он стоял передо мной бледный, сжав челюсти, с таким странным выражением лица, что я растерялась. Боже, что я наделала!

— Простите, — забормотала я, — я нечаянно... Я не хотела... Не сердитесь...

<sup>1</sup> «Жизнь без страстей подобна смерти» (фр.).



Он как будто не слышал меня, а я все продолжала растерянно извиняться.

— Перестаньте, — он положил мне руку на плечо. — Вы ни в чем не виноваты. Виноват я, что не запер ящик на ключ. Ведь мне известна ваша манера вечно все трогать. — Он помолчал немного и продолжал, уже овладев собой: — Конечно, неприятно, но ничего непоправимого не произошло. Я в вас уверен. Я вам вполне доверяю... Так вот...

И он, взяв с меня клятву молчать, рассказал мне, что участвует в заговоре. Это не его деньги, а деньги для спасения России. Он стоит во главе ячейки и раздает их членам своей ячейки.

Я слушала его, впервые понимая, что это не игра, а правда. Я так испугалась, что даже вся похолодела.

— Боже мой, ведь это безумно опасно!

Но он спокойно покачал головой.

— И совсем уж не так опасно. Меня вряд ли посмеют тронуть. Я слишком известен. И я ведь очень осторожен.

Но я все повторяла, не помня себя от страха:

— Нет, это безумно опасно. Как бы вы ни были известны и осторожны, безумно опасно!

Он пожал плечами:

— Даже если вы правы и это безумно опасно, обратного пути нет. Я должен исполнить свой долг.

Я стала его умолять уйти из заговора, бросить все. Слезы текли по моему лицу, но я не вытирала их.

— Подумайте о Левушке, о Леночке, об Ане, о вашей матери. О всех, кто вас любит, кому вы необходимы. Что будет с ними, если... Ради Христа, Николай Степанович!..

Он перебил меня:

— Перестаньте говорить жалкие слова. Неужели вы воображаете, что можете переубедить меня? Мало же вы меня знаете. Я вас считал умнее. — Он уже снова смеялся. — Забудьте все, что я вам сказал, и никогда ни о чем таком больше не спрашивайте. Поняли?

Я киваю.

— И клянетесь?

— Клянусь.

Он с облегчением вздыхает.

— Ну, тогда все в порядке. Я ничего вам не говорил. Вы ничего не знаете. Помните — ровно ничего. Ни-че-го! А теперь успокойтесь и вытрите глаза. Я вам сейчас чистый носовой платок из комода достану.

И все же с этого дня я знала, что Гумилев действительно участвует в каком-то заговоре, а не играет в заговорщиков.

Да, я знала. Но это было какое-то «абстрактное знание», лишь слегка скользнувшее по моему сознанию, не вошедшее в него, не связанное с реальностью.

Оттого ли, что Гумилев больше никогда не напомнил мне о «том» разговоре, будто его действительно не было, или оттого, что я в те дни уже начала понемногу отдаляться от него и чувствовать себя слегка вне его жизни и всего, что происходит в ней, — ведь я только что стала невестой Георгия Иванова, и Гумилев, не сочувствовавший этому браку, всячески старался отговорить меня от него, — но хоть это и странно, я действительно, по своему невероятному тогдашнему легкомыслию, совсем не думала об опасности, грозящей Гумилеву.

Гумилев вернулся в Петербург в июле 1921 года в Дом искусств, куда он переехал с женой еще до своего черноморского путешествия.

Гумилев всегда отличался огромной работоспособностью и активностью, хотя и считал себя ленивым, а теперь, отдохнув и освежившись за время плавания, просто разрывался от энергии и желания действовать.

Он только что учредил Дом поэтов, помещавшийся в доме Мурузи на Литейном. В том самом доме Мурузи, где когда-то находилась Литературная студия, с которой и начался, по его определению, весь «Новый Завет».

— Вы только вспомните, кем вы были, когда впервые переступили этот священный порог, — насмешливо говорит он мне. — Вот уж правда, как будто о вас: кем ты был и кем стал. А ведь только два года прошло. Просто поверить трудно. И все благодаря мне, не вздумайте спорить.

Да. Я не спорю. Я сознаю, что я ему многим — если не всем — обязана.

— Без вас, Николай Степанович, я бы никогда в жизни...

Но он не дает мне закончить.

— Предположим даже, что вы мне благодарны, — говорит он, меняя шуточный тон на серьезный. — Пусть так. И все-таки вы скоро отречетесь от меня, как, впрочем, и остальные. Вы и сейчас уже отреклись от ме-

ня и только притворяетесь, чтобы не обидеть меня. Но я ведь чувствую, я знаю!

— Неправда, — быстро говорю я. — Я никогда, никогда не отрекусь от вас.

Но я не успеваю объяснить ему, почему я всегда буду ему верна, — к нам подходят Лозинский и Адамович, и разговор становится общим.

Здесь в сутолоке Дома поэтов «выяснять отношения» трудно. Да к тому же сам Гумилев учил меня никогда не «объясняться».

Дом поэтов — своего рода клуб, почти ежевечерне переполняемый публикой.

Гумилев нашел необходимого капиталиста — некоего Кельсона. Гумилев уговорил своего брата Димитрия, юриста по образованию, стать юрисконсультom Дома поэтов и даже... кассиром. Гумилев всем заведует и все устраивает сам. Он — душа, сердце и ум Дома поэтов. Он занимается им со страстью и гордится им.

В Доме поэтов очень весело. Судя по аплодисментам и смеху посетителей, им действительно очень весело, но нам, участникам и организаторам, еще гораздо веселее, чем им.

Мы с Гумилевым по-прежнему продолжаем ежедневно видаться, но всегда на людях — в Доме искусств, в Доме поэтов, в Доме литераторов, где он теперь, ведь он далеко живет, редко показывается.

Никаких «задушевных» разговоров с глазу на глаз мы больше уже не ведем. Хотя он и успел сообщить мне, что снова влюблен, счастливо влюблен, — с чем я его и поздравила. Все же он снова и снова уговаривал меня не выходить замуж за Георгия Иванова. Но все это происходило как-то вскользь, мимоходом, случайно — я была слишком занята своей личной жизнью.

Гумилев мечтал создать из Дома поэтов что-то совершенно небывалое.

Кроме чтения стихов, предлагается еще и «сценическое действие», сочиненное и разыгранное поэтами.

— Я чувствую, что во мне просыпается настоящий Лопе де Вега и что я напишу сотни пьес, — говорит он смеясь. — Они будут ставиться у нас, как в Испании XVII века, грандиозно и роскошно, со всяческими техническими усовершенствованиями и музыкальным аккомпанементом.

Пока же представления скорее походят на веселый балаган.

Гумилев, большой поклонник и почитатель д'Аннунцио, решил достойно почтить его на сцене Дома поэтов.

Сюжетом для одного из первых спектаклей послужило взятие Фиуме.

Несмотря на то что в Доме поэтов еще отсутствовали «технические усовершенствования», сражения на воде и суше происходили в невероятном грохоте и треске «орудий».

Гумилев, конечно, играл главную роль — самого д'Аннунцио — и был довольно удачно загримирован по его портрету.

Мне поручили «символическое воплощение победы», что было нетрудно.

Мне полагалось только носиться по полю сражения с распущенными волосами и лавровым венком в протянутой руке, а в сцене апофеоза возложить лавровый венок на чело д'Аннунцио — «увенчать его славой».

Все шло благополучно, но когда я, стоя за спиной сидящего на табуретке д'Аннунцио, торжественно возложила венок на его голову, венок сразу соскользнул на его глаза и нос. Мне пришлось снять его и держать его над его головой в вытянутой руке.

Гумилев не изменил своей величественной позы и, сохраняя невозмутимое спокойствие, «даже бровью не повел».

Уже за кулисами он, указывая широким жестом на себя и на меня, произнес с трагикомическим пафосом:

— Венчанный и развенчанный победой.

Нет, не д'Аннунцио, а Гумилев!.. —

и только тогда присоединился к неудержимому хохоту всех участников «Взятия Фиуме».

В начале лета 1921 года Гумилев переехал с Преображенской в Дом искусств вместе с вернувшейся к нему из Бежецка Аней. Леночка, двухлетняя дочка Гумилева и Ани, была помещена в детдом, управляемый женой Лозинского.

Я зашла к Гумилеву накануне его переезда. Меня впустила Аня. Ее хорошенькое личико сияло. Наконец-то исполнилась ее мечта, она вырвалась из опостылевшего ей Бежецка, она снова в Петербурге и — «Поду-

майте, как чудесно! Мы будем жить в Доме искусств, где мне даже хозяйством заниматься не надо и всегда с утра до вечера можно встретить столько знакомых, и все знаменитости. Это просто рай, мне все еще не верится!» — и, блеснув на меня своими прелестными темными глазами, она, вся извернувшись, звонко кричит:

— Коля, Коля, Коля, к тебе твоя ученица!

Я застаю Гумилева за странным занятием.

Он стоит перед высокой книжной полкой, берет книгу за книгой и, перелистав ее, кладет на стул, на стол или просто на пол.

— Неужели вы собираетесь брать все эти книги с собой? — спрашиваю я.

Он трясет головой.

— И не подумаю. Я ищу документ. Очень важный документ. Я заложил его в одну из книг и забыл в какую. Вот я и ищу. Помогите мне.

Я тоже начинаю перелистывать и вытряхивать книги. Мы добросовестно и безрезультатно опустошаем полку.

— Проклятая память, — ворчит Гумилев. — Недаром я писал: «Память, ты слабее год от года!»

Мне надоело искать, и я спрашиваю:

— А это важный документ?

Он кивает:

— И даже очень. Черновик кронштадтской прокламации. Оставлять его в пустой квартире никак не годится!

Черновик прокламации? Я вспоминаю о заговоре. Да, он прав. Необходимо найти его. И я продолжаю искать с удвоенной энергией.

— А вы уверены, — спрашиваю я снова, безрезультатно просмотрев еще несколько десятков книг, — вы уверены, что действительно положили его в книгу?

Он раздраженно морщится.

— В том-то и дело, что совсем не уверен. Не то сунул в книгу, не то сжег, не то бросил в корзину для бумаг. Я с утра тружусь, как каторжник, — все ищу проклятый черновик. Ко мне заходил Жоржик Иванов и тоже искал. Кстати, он просил передать вам, что будет ждать вас в Доме литераторов с двух часов.

С двух часов? А теперь скоро четыре, и, значит, он стоит уже два часа на улице, поджидая меня. Он всегда ждет меня перед входом в Дом литераторов, а вдруг я — зная, что опоздала, — не зайду туда, а пройду мимо.

Гумилев оборачивается ко мне.

— Вам, конечно, хочется бежать? Ну и бегите. Все равно мне не найти проклятого черновика. Верно, я его сжег. И ведь никто здесь не поселится. Ключ от квартиры останется у меня. Я смогу приходить сюда, когда хочу, — уже улыбаясь, он оглядывается на дверь, — смогу назначать здесь любовные свидания. Очень удобно — *ried-á-terge*<sup>1</sup>, совсем как в Париже.

Он начинает ставить книги обратно, а я торопливо надеваю свою широкополую шляпу и прячу под нее бант.

— До свидания, Николай Степанович.

— Не говорите никому о черновике, — доносится до меня его голос, и я, кивнув наскоро Ане, готовящей что-то в кухне на примусе, выбегаю на лестницу.

После ареста Гумилева, при обыске на Преображенской, 5, чекисты искали более умело и тщательно и нашли, кажется, черновик.

В списке предъявленных Гумилеву обвинений значилось: принимал деятельное участие в составлении контрреволюционной прокламации.

\* \* \*

Моя последняя встреча с Гумилевым.

Та последняя встреча, неожиданно открывающая глаза вспоминающего на многое, чего он не только не видел, но о чем даже не подозревал, освещающая «нездешним светом» того, с кем происходит она, эта последняя, роковая, незабываемая встреча, звучащая последним, траурным аккордом, ставящая последнюю необходимую точку, после которой уже ничего добавить нельзя.

Такой последней роковой встречи, редко происходящей в действительной жизни, но совершенно неизбежной в разукрашенных фантазией воспоминаниях, у меня с Гумилевым не было.

Не было ни «нездешнего света», ни траурного аккорда, ни необходимой последней точки.

Ведь в жизни чаще всего как у Кузмина в «Картонном домике». Судьбой не точка ставится в конце, а клякса.

Мы теперь жили далеко друг от друга и уже вместе не возвращались домой.

---

<sup>1</sup> временное пристанище (*фр.*).

Все же Гумилев был по-прежнему откровенен со мною.

Так, я узнала от него, что его роман развивается очень удачно.

— Я чувствую, что вступил в самую удачную полосу моей жизни, — говорил он. — Обыкновенно я, когда влюблен, схожу с ума, мучаюсь, терзаюсь, не сплю по ночам, а сейчас я весел и спокоен. И даже терпеливо ожидаю «заветный час свиданья». Свидание состоится в пятницу, 5 августа, на Преображенской, 5, и, надеюсь, пройдет «на пять».

Я поздравила его и, смеясь, спросила:

— Раз вы так счастливо влюблены, вы, надеюсь, не будете больше уговаривать меня не выходить замуж?

Но он покачал головой.

— Еще как буду! Влюбляйтесь сколько хотите, но замуж выходить за Георгия Иванова не смейте!

— А оставайтесь навсегда ученицей Гумилева! — прибавила я. — У вас пренесносный характер, Николай Степанович. Удивляюсь, как я могла так долго терпеть, — и я, смеясь, сделала ему глубокий реверанс.

— Как это прикажете понимать? Вежливое: вот хомут вам и дуга, я вам больше не слуга, то есть больше не ученица? — спросил он, тоже смеясь. — Так, что ли?

Разговор этот происходил 2 августа 1921 года в столовой Дома искусств, куда я зашла на минутку по дороге в Летний сад, где меня ждал Георгий Иванов.

Взглянув на часы, я вдруг вспомнила, что он уже давно ждет и, не отвечая на вопрос Гумилева, торопливо попрощалась с ним.

— До свидания, Николай Степанович, всего вам наилучше-лучшего.

Он проводил меня до внутренней винтовой лестницы.

Я сбежала по ступенькам, обернулась и взглянула наверх.

Он стоял, перегнувшись через перила, и, улыбаясь, смотрел на меня.

— Кланяйтесь Жоржику и будьте счастливы! До свидания! — сказал он и помахал мне рукой на прощанье.

Гумилева арестовали в среду 3 августа.

В тот вечер, проходя мимо Дома искусств, Георгий Иванов предложил мне зайти к Гумилеву.

Но я торопилась домой, был уже десятый час.

У подъезда Дома искусств ждал автомобиль. Но это нас не удивило.

Нэп уже успел пышно расцвести, и автомобиль у подъезда не наводил больше ужаса.

Если бы мы в тот вечер поднялись к Гумилеву, то, конечно, тоже попали бы в засаду, как в нее попали многие обитатели Дома, желавшие навестить Гумилева, в том числе и Лозинский.

Впрочем, всех их, продержав сутки на Гороховой, 2, выпустили, убедившись в их полной непричастности к заговору.

В.Ходасевич ошибался, описывая свою эффектную «встречу-точку» с Гумилевым.

Возможно, что эта встреча была именно такой, но только она никак не могла произойти 3 августа и Ходасевич никак не мог в ту ночь «поздно засидеться у Гумилева». Когда Гумилев вернулся к себе, там его уже ждали приехавшие за ним чекисты.

Все описанное Ходасевичем, по всей вероятности, происходило 1 или 2 августа.

О том, как Гумилев вел себя в тюрьме и как погиб, мне доподлинно ничего не известно.

Письмо, присланное им из тюрьмы жене с просьбой прислать табак и Платона, с уверениями, что беспокоиться нечего, «я играю в шахматы», приводилось много раз.

Остальное — все только слухи.

По этим слухам, Гумилева допрашивал Якобсон — очень тонкий, умный следователь. Он якобы сумел очаровать Гумилева или, во всяком случае, внушить ему уважение к своим знаниям и доверие к себе. К тому же, что не могло не льстить Гумилеву, Якобсон прикинулся — а может быть, и действительно был — пламенным поклонником Гумилева и читал ему его стихи наизусть.

По слухам, Гумилев во время долгих бесед с ним не только не скрывал своих монархических взглядов, но даже сильно преувеличивал их. Так, он якобы с восторгом вспоминал о своем пребывании в лазарете Александры Федоровны в Царском. Гумилев действительно находился там на излечении после контузии и уверял, что он был влюблен в великую княжну Татьяну, ухаживавшую за ним.

О том, что великие княжны прелестны, особенно



Татьяна Николаевна, он говорил и мне, но о своей влюбленности никогда не упоминал.

На вопрос о том, был ли виновником гибели Гумилева какой-то провокатор, я ответить на берусь.

Не исключена возможность, что провокатор действительно существовал.

Но, во всяком случае, Георгий Иванов и Ходасевич говорят не об одном и том же лице. Предположение Ходасевича настолько фантастично, что на нем даже останавливаться не стоит.

Георгий Иванов говорит о молодом человеке, хорошо известном мне, но я не уверена, что Георгий Иванов не ошибается. Никаких неопровержимых данных о том, что этот молодой человек действительно предал Гумилева, ни у Георгия Иванова, ни у меня не было. И поэтому я не считаю возможным возводить на него такое чудовищное обвинение.

О причине гибели Гумилева ходили еще и другие разнообразные слухи, но так как они все не поддаются проверке и ничего не уясняют, то я их и приводить не хочу.

Смерть Блока. Его похороны.

Арест Гумилева. Неудачные попытки его спасти. Даже заступничество Горького ни к чему не привело. Расстрел Гумилева.

Нет, я ничего не могу рассказать о том, что я тогда пережила.

У французов существует выражение *douleur sacrée* — священная боль.

О ней лучше всего молчать.

И ведь уже сколько раз описывали смерть и похороны Блока.

И столько было рассказов «очевидцев» о том, как умирал Гумилев...

...И нет на его могиле  
Ни холма, ни креста, ничего.

Но любимые им серафимы  
За его прилетели душой,  
И звезды в небе пели:  
— Слава тебе, герой!..

То, что Анастасия Николаевна бросилась с Тучкова моста в Неву, выяснилось лишь весной 1922 года. После ледохода ее труп прибило к берегу. Тогда же обнаружился и очевидец-свидетель — какой-то матрос видел, как пожилая гражданка «из бывших барынь, наверно», без шляпы, в черной разлетаеке вбежала на Тучков мост и остановилась. Шел дождь. Торопиться, бежать естественно, а останавливаться и смотреть через перила в воду — и чего в ней увидишь? — странно. Он уже хотел подойти к ней, спросить, не потеряла ли она что-нибудь, как вдруг она перегнулась и бросилась в воду. Он подбежал. Но ее уже не увидел. Только круги по воде. Потонула, что тут поделаешь? Ведь не сигать же за ней в Неву?

Неизвестно, сообщил ли он властям о происшествии. Во всяком случае, Сологуб о том, что какая-то «из барынь» утопилась, ничего не знал. Все его поиски не дали результатов. Впрочем, мало ли женщин бесследно исчезало в те дни? Ничего контрреволюционного в таких исчезновениях не усматривалось.

Анастасия Николаевна ушла, когда Сологуба не было дома. На вопрос прислуги: «Скоро ли она вернется?» — она ответила: «Не знаю». «Не знаю» — значит, предполагала, что может задержаться. Задержаться надолго. И Сологуб стал ее ждать. Она вернется. Она непременно вернется.

Обед по-прежнему готовили на двоих, и на стол ставилось два прибора. Постель Анастасии Николаевны ежедневно стелилась. Сологуб сердился, если прислуга забывала менять простыни на ее постели, как было заведено, два раза в месяц.

Вернется... Теперь уже скоро вернется... По вечерам он писал стихи и переводил французские бержеретты<sup>1</sup> вроде:

Что со мной случилось ночью,  
Знает только Ипполит.  
Но, наверно, милый мальчик  
Эту тайну сохранит.

Весной, когда стало известно, что Анастасия Николаевна никогда не вернется, Сологуб недели две не вы-

<sup>1</sup> Пастушеские песни, пасторали.

ходил из дома. И все опасались за его жизнь. Но навещать его никто не решался.

Появился он совершенно неожиданно, к всеобщему изумлению, в Доме литераторов. Спокойный и каменно-важный, как и прежде. На вопрос: «Как поживаете?» — он просто и уверенно отвечал: «Хорошо, спасибо».

Все недоумевали. Уж не сошел ли Сологуб с ума? Но нет, никаких признаков ни сумасшествия, ни нервного расстройства он не проявлял. И стал даже приветливее, чем прежде.

Вскоре выяснилась причина его хорошего настроения. Оказалось, что две недели, проведенные им безвыходно дома, он не переставая работал, разрешая вопрос о существовании загробной жизни. Подошел он к этому вопросу «научно» и с помощью высшей математики разрешил его для себя, убедился в существовании загробной жизни. Результатом чего и явилась уверенность в неминуемой встрече с Анастасией Николаевной и — хорошее настроение. Ведь он скоро, очень скоро встретится с Анастасией Николаевной. Навсегда.

В эту мою последнюю «петербургскую зиму» мне приходилось встречать Сологуба то тут, то там. Он стал заходить в Дом литераторов, даже бывал на поэтических вечерах, хотя сам и не соглашался выступать на них, сколько его ни упрашивали.

Да, я видела его довольно часто, но разговаривала с ним только один раз. Это было почти накануне моего отъезда за границу.

Мы с Георгием Ивановым зашли в Дом литераторов в поисках тех, с кем еще не успели проститься. Уезжали мы «легально» и отъезда своего не скрывали. Конечно, мы не предчувствовали, что уезжаем навсегда. Все же мы прощались как перед длительной разлукой, полагая, что год, а может быть, даже и два, будем в отсутствии. Но, во всяком случае, никак не больше. Ведь нэп уже начался, и, как тогда говорили в наших кругах, Россия семимильными шагами идет по пути к буржуазной республике. Может быть, мы вернемся и гораздо раньше домой.

Уезжали весело и беспечно. Ведь так интересно увидеть Берлин, Париж, а может быть, и Венецию. И прощались так же весело и беспечно. Принимали заказы на подарки, которые привезем, когда вернемся.

— Духи. И пудру... Парижскую шляпу... Галстук в крапинку... Шелковое вязаное зеленое кашне...

Я аккуратно записывала, кому что привезти.

— Кланяйтесь от меня Парижу. — Те, кто бывали в Париже, добавляли, щеголяя своим знакомством с ним: — Особенно кланяйтесь Елисейским полям (или — Булонскому лесу, или — Сорбонне).

Ирецкий горячо настаивал:

— Непременно побывайте в Италии. Непременно. Без Италии заграничное путешествие не в счет. Италия — венец всего.

Рукопожатия. Поцелуи. Объятия.

— Счастливая! Как я вам завидую! — вздыхает Олечка Арбенина.

Я согласна. Странно было бы не завидовать мне, уезжающей в Париж. Мы шумной гурьбой обходим все комнаты. В gobеленной столовой, возле окна, сидит Сологуб. Сидит и курит, задумчиво глядя в небо. Спокойный и величественный, как всегда.

Мне вдруг приходит в голову дерзкая мысль. Я хочу попрощаться с Сологубом. Очень хочу. Хочу пожать ему руку и чтобы он пожелал мне счастливого пути. Я сейчас же признаюсь в своем желании Георгию Иванову, пусть он пойдет и скажет Сологубу, что я хочу проститься с ним. И Георгий Иванов подходит к Сологубу. Сологуб кивает. И я уже иду к нему — с замиранием сердца. Он поворачивает голову и смотрит на меня маленькими ледяными глазами. Под его взглядом мне, несмотря на жару, становится холодно. Не надо было. Зачем я это выдумала? Но он уже протягивает мне руку.

— А я вас узнал, — говорит он, держа мою руку в своей тяжелой, каменной руке. — По банту. Вы успели замуж выйти за Георгия Иванова, но с бантом не расстались. Это хорошо. А что за поэта замуж вышли — плохо. В поэзии толка нет. Один обман и ложь. За нее слишком дорого платить приходится. А знаете, — добавляет он, — Анастасии Николаевне тоже понравился бант. И как вы картавите. Она очень забавно передразнивала, как вы произносите «прррравда» через четыре «р». А я так не могу. У меня не выходит.

— Я уезжаю, — говорю я растерянно, только чтобы сказать что-нибудь. — В Берлин. И в Париж.

Он кивает.

— И вы, конечно, думаете, что скоро вернетесь? Только прокатитесь по Европе? Да? А вернетесь вы лет через пятьдесят. Если вообще вернетесь. Запомните. Это прррравда, через четыре «р».

Каменный раскат четырех «р» еще больше смущает меня. Я чувствую, что краснею. Сологуб явно доволен моим смущением.

— Раз вы захотели, — продолжает он, не спуская с меня своего ледяного взгляда, — со мной проститься, что мне лестно и приятно, я вам сделаю подарок. Подарю два совета. Первый — бросьте писать по-русски. Вы ведь, наверно, знаете иностранные языки? Да? Ну, так вот. Начинайте сейчас же, как обоснуетесь, писать по-немецки, или по-французски, или по-английски. На языке страны, в которой живете, а не по-русски. Непременно. А второй совет — научитесь курить. Не сейчас. Если бы вы теперь вздумали курить, вас за это надо было бы в угол поставить. Нет. Потом, когда вас уже в угол ставить нельзя будет и вы перестанете носить бант. Вот тогда непременно начните курить. Табак — единственное удовольствие. И утешение в старости. И в горе.

Он снова протягивает мне руку.

— Ну, прощайте. Прощайте, а не до свидания. Мы никогда больше с вами не увидимся. Да и вряд ли вы увидите кого-нибудь из ваших здешних молодых приятелей. Ну, ну, не огорчайтесь. Я же не пифия и не цыганка, чтобы знать будущее. Могу и ошибиться.

Неужели правда? Неужели больше никогда не увижу всех тех, кого я так люблю? И Петербурга больше не увижу? Мне было так весело, когда я подходила к Сологубу. А теперь у меня от смущения и грусти даже в носу щекочет.

— Не огорчайтесь, — повторяет он. — Это ни к вашему банту, ни к вашим веснушкам не идет. Кто может знать? Может быть, еще и вернетесь? Во всяком случае — счастливого пути. — Он крепко, до боли, пожимает мою руку своею каменной рукой и улыбается. Вторично улыбается мне. — Пусть не прощай, а до свидания. До свидания — если не на этом, так на том свете.

— До свидания, Федор Кузьмич. Спасибо за советы.

— Обязательно исполните их. Не забудьте.

Я не забыла. Но я не стала писать по-французски. Георгий Иванов воспротивился этому — чтобы русский писатель писал не по-русски? Он считал это чем-то вроде измены. Я послушалась его, хотя тогда я и жалела об этом. Зато я не жалею, что не последовала второму совету Сологуба и не выучилась курить.

Сологуб умер в 1927 году в Царском Селе. Но я и сейчас еще вижу его, бредущего по аллеям Царскосельского парка между статуями, похожего на ожившую на время статую. Кругом тихо и пусто. Деревья легко шумят, падают золотые осенние листья, кружатся в осеннем воздухе и ложатся на землю шуршащим золотым ковром. Он идет, устало опираясь на палку, и вполголоса читает свои стихи:

Подыши еще немного  
Тяжким воздухом земным,  
Бедный, слабый воин Бога,  
Весь истаявший, как дым.

Что Творцу твои страдания?  
Капля жизни в море лет!  
Вот — одно воспоминанье,  
Вот — и памяти уж нет.

Но как прежде — яркие зори,  
И как прежде — ясен свет.  
«Плещет море на просторе».  
Лишь тебя на свете нет.

Прочитав в «Последних новостях» о его смерти, я вспомнила тот вечер у Пронина в Москве и странную уверенность Сологуба, что он бессмертен.

И вот он умер.

Но, может быть, он умер только оттого, что сам пожелал умереть, чтобы встретиться с Анастасией Николаевной, подумала я смутно.

Может быть... Кто знает...

\* \* \*

В ту зиму мне очень часто пришлось встречать Кузмина. Он постоянно бывал в Доме литераторов. Он жил близко, на Надеждинской, и предпочитал, как и многие тогда, проводить дни и вечера в хорошо натопленном и ярко освещенном Доме литераторов, чем у себя в холодной и темной квартире на Кирочной.

Он всегда приходил с Юрочкой Юркуном, красивым и удивительно молчаливым. А вскоре к ним присоединилась и Олечка Арбенина, молодая актриса, подруга

жены Гумилева Ани Энгельгардт. Прежде Олечка находилась в орбите Гумилева и часто сопровождала его, пока под новый 1921 год не познакомилась с Юрочкой Юркуном и не стала неотъемлемой частью окружения Кузмина. С тех пор они всюду и везде появлялись втроем, «троицей единосущной», как их окрестили. Впрочем, мне так и осталось неясно, почему «единосущной»?

В обращении Кузмин был как-то по-старушечьи старомодно ласков. Гумилева он называл Коленька, Георгия Иванова — Егорушка, Георгия Адамовича — Жоржик. На «ты», что было так принято среди поэтов, был только с Гумилевым. Интересовался он исключительно «злобою дня», то есть домлитовскими слухами и сплетнями. Главным образом любовными.

В Домлите и в Диске стояла особая атмосфера влюбленности, как в доме Ростовых в «Войне и мире». Все были более или менее влюблены, и Кузмин внимательно следил за завязками и развязками романов.

Кузмин мелкими, торопливыми шажками, опережая Юркуна и Олечку Арбенину, подходит к нам с Гумилевым.

— Слышал, Коленька, говорят, жена сбежала от твоего, — тут имя поэта всем известного, — с музыкантом!

Гумилев недовольно морщится.

— Вздор. Просто поехала в деревню подкормиться.

— Нет, сбежала, сбежала, — упрямо настаивает Кузмин, — не спорь! Она сама призналась двоюродной сестре одной знакомой приятеля Юрочки.

Гумилев перебивает его:

— Даже если и так — вернется. Непременно вернется.

Глаза Кузмина еще увеличиваются от любопытства.

— Почему ты так уверен, что вернется?

И Гумилев важно отчеканивает:

— Потому что он — мой друг.

И Кузмин, поняв, что это значит — жена моего друга, как и жена Цезаря, выше всяких подозрений, — перепрыгивает на другую тему.

— А вы тут что? Опять о стихках? И как не надоест? Стихи надо писать, а говорить о них скучно. Что? Что?

И он, улыбаясь, мелко кивая, уже спешит к противо-

положному концу стола, к более чутким собеседницам, чтобы с ними подробно обсудить происшествие, осудить и сбежавшую жену с музыкантом, и оставленного мужа — всем воздать по их заслугам, «всем сестрам по серьгам».

Нет, эта «бытовая» сторона Кузмина мне всегда не нравилась. Как и его страсть погружаться с головой в воспоминания и захлебываться ими. Его воспоминания, к сожалению, никогда не касаются того, что интересует меня. Чаще всего он вспоминает Тамару Карсавину и Тамару Персиц. Об этих двух Тамарах, одинаково им любимых, он может рассказывать часами. Об их платьях и прическах, о том, какими булочками и пирогами они его угощали.

— Никто в Петербурге не одевался так хорошо, как Тамара Персиц, — в сотый раз рассказывал он. — У нее было замечательное платье цвета gorge de pigeon<sup>1</sup> с отделкой из шиншиллы...

Нет, этот Кузмин мне не нравился. Но со временем я привыкла к нему. Меня уже не поражали его огромные подведенные глаза. Вблизи они казались не такими неправдоподобно огромными. «Византийские»? Да. Пожалуй. Но больше всего они, когда я их хорошо рассматривала, напоминали глаза верблюда. Ведь у верблюда глаза выпуклые, томные, совсем как у прелестных персианок на картинках «Тысячи и одной ночи». И у Кузмина точь-в-точь такие. Из-за этих глаз он и сам стал для меня кем-то вроде персонажа «Тысячи и одной ночи», которому нельзя вполне доверять.

Я увидела Кузмина впервые в августе, а теперь ноябрь. Я успела привыкнуть к его наружности с его «рожками и ножками» и ко всем его странностям — к постоянной прибавке к каждой фразе: «Что? Что?» Эту манеру говорить многие поэты, в том числе Георгий Иванов, у него переняли.

— Как вы поживаете? Что? Что? Сегодня страшный мороз. Что? Что?

Эти «Что? Что?» меня долго сбивали с толку. Я не знала, чем на них ответить. Пока не поняла, что они просто одна из форм риторических украшений речи. И никакого ответа не требуют.

Другая — уже житейская, бытовая — странность Кузмина: он не позволяет делать запасов. Никаких продо-

---

<sup>1</sup> серовато-переливчатый (фр.).



вольственных запасов. К отчаянию ведущей его и Юрочкино хозяйство матери Юрочки. Как-то ей удалось выменять на предметы своего скромного гардероба несколько фунтов сахара и четыре бутылки подсолнечного масла, но Кузмин тут же, несмотря на ее слезы и мольбы, вылил масло в раковину умывальника, оставив только одну бутылку, и, выйдя на улицу, раздарил встречным детям сахар — кроме одного фунта. Фунт не представляет собой запаса.

Делал он это из суеверия. Из суеверного ужаса перед предусмотрительностью и заботами о будущем. Предусмотрительность, по его мнению, ведет к гибели прямым путем.

Не знаю, как это совмещалось с тремястами шестьюдесятью пятью жилетами — цифрой фантастически, как я впоследствии узнала, преувеличенной. Жилетов было не больше двенадцати. Но все же и дюжину жилетов можно считать «жилетным запасом».

Да, Кузмин был крайне суеверен. Еще суевернее Гумилева. Суеверие Гумилева было скорее «театром для себя». Он слишком часто подчеркивал его:

— Я сегодня три раза возвращался к себе перед тем, как выйти, — объяснял он мне, — первый раз споткнулся о порог кухни, второй раз кошка на дворе шмыгнула мне наперерез, а в третий я, спускаясь по лестнице, подумал, что, если я не вернусь сейчас же обратно, со мной случится неприятность. Большая неприятность. Вот оттого и опоздал. Уж вы извините.

Были у него всяческие удачные и неудачные места для встреч и расставаний. Плохо было встретиться около бывшего Бассейного рынка, над которым высоко в небе поднимался железный болт с развевающейся на его конце, громяющей на ветру железной цепью.

— Как виселица, — говорил Гумилев. — Будто на ней все мои несбывшиеся надежды болтаются. И я сам с ними.

Зато встреча в Доме литераторов или по дороге в него неизменно считалась удачной. После нее полагалось ждать что-нибудь очень приятное...

Но был и другой Кузмин. Кузмин стихов, песенок и прелестного «Картонного домика».

Еще до революции вся Россия распевала: «Дитя, не тянися весною за розой». Но мало кто знал, что и музыка, и слова — Кузмина. На нотах «Дитя» красовался портрет певца-исполнителя. Ему и приписывали этот романс.

В Петербурге, в литературно-светских салонах, от песенок Кузмина были «без ума». И не только в светских салонах. Самые серьезные критики и ценители, как профессор Брауде и Метнер, превозносили их. Сам Кузмин, понимая свои недостатки и достоинства, говорил:

— У меня не музыка, а музычка, но в ней есть яд.

Я не присутствовала при том, как Кузмин «сводил с ума» своим пением весь светско-литературный Петербург, ни в салонах, ни в «Бродячей собаке». Я — и это одно из моих больших сожалений — никогда не была в «Бродячей собаке». Но судя по рассказам Георгия Иванова и Гумилева, это происходило хотя и пышнее, но почти так же, как и в гостиной Диска или в одном из гостеприимных домов «недорезанных буржуев».

— Спойте, Михаил Алексеевич! Пожалуйста! Просим! Просим!

Кузмина усадить за рояль не легко. Он капризно отказывается:

— Нет, в другой раз... Я не в голосе... Не могу. У меня от пения зубы болят.

Но какой-нибудь ревностный поклонник уже берет его под руку и ведет к роялю. И Кузмин, не без удовольствия, уступает насилью. И вот Кузмин за роялем. По гостиной пронесется восторженный вздох. Кузмин наклоняет голову к клавишам и весь как-то съеживается, на глазах стареет, становится старичком. Нет, даже не старичком, а старушкой. Вернее, старичком, похожим на старушку. Он жеманно, по-старушечьи касается клавишей маленькими коричневыми, высохшими ручками.

Кузмин поет. Голоса у него нет. Он пришептывает и, как рыба, округлив рот, глотает воздух:

Любовь расставляет сети  
Из крепких силков.  
Любовники, как дети,  
Ищут оков...

Я слушаю и чувствую, как мало-помалу в мои уши, в мое сознание, в мою кровь проникает яд его «музычки». Обольстительный, томный и страшный яд, идущий не только от этой «музычки», но и от его лукавых, широко открытых глаз, от его томной улыбки и жеманно взлетающих пальцев. Яд неверия и отрицания. Яд грации,

легкости и легкомыслия. Сладкий, обольщающий, пьянящий яд.

Вчера ты любви не знаешь,  
Сегодня — весь в огне,  
Вчера ты меня презираешь,  
Сегодня клянешься мне.

Полюбит, кто полюбит,  
Когда настанет срок,  
И будет то, что будет,  
Что уготовил нам рок.

Кузмин прищуривает глаза. Лицо его принимает чуть-чуть хищное выражение. Сознает ли он власть над душами своих слушателей?.. Рядом со мною на диване хорошенькая студентка в волнении кусает губы, и я вижу, насколько ей кружит голову этот пьянящий яд. Кузмин неожиданно обрывает на высоком нежном «ля», захлопывает крышку рояля и жеманно оглядывается.

— Не слишком наскучил вам? Не заснули еще? Что? Что?

В ответ негодующие протесты и возгласы:

— Еще, Михаил Алексеевич, еще! Спойте «Дитя, не тянися». Спойте! Умоляю... Умоляем!..

И Кузмин уступает. «Дитя, не тянися весною за розой» — его коронный номер. Он исполняет его с несвойственным ему пафосом. В особенности строфу:

Теперь твои губы, как сок земляничный,  
Щеки, как розы Gloire de Dijon<sup>1</sup>,  
Теперь твои кудри, как лен шелковистый,  
Твои поцелуи, как липовый мед.

Кузмин произносит «Глуа де Дижон» торжественно, округло и гулко. «Глуа» звучит как удар колокола. Он заливчато закатывается на «поцелуи». Четыре слога «па-ца-лу-и» вылетают из его рта с все возрастающей, взрывчатой силой. И, как четыре выстрела, укладывают слушателей наповал. Дальше спуск, скат до последнего всхлипывающего патетического полупшепота: «Помни, что летом фиалок уж нет».

Крышка рояля снова хлопает. Кузмин встает, оправ-

---

<sup>1</sup> Слава Дижона (фр.), сорт розы.

ляет жилет и фалды визитки, протирает шелковым платком запотевшие стекла пенсне.

— Больше не буду! Не буду! У меня зубы разболелись. Не просите, — капризно и нетерпеливо заявляет он. — Дайте мне чаю! Горячего чаю!

Кузмин в моем присутствии почти никогда не говорил серьезно. Он был очень болтлив, но не выносил ученых разговоров, как он их называл.

— Нет уж, Коленька, избавь меня, — прерывает он Гумилева. — Дай мне уйти, тогда и выкладывай свою ученость на здоровье. А сейчас лучше ответить, правда ли, как я слышал, Анна Андреевна хочет развестись с Шилейко? Тебе, как ее бывшему мужу, наверно, известно. Правда разводится?

Лицо Гумилева становится строгим.

— Если бы я даже что-нибудь и знал, Мишенька, я бы не счел себя вправе ответить на такой вопрос, — холодно отчеканивает он.

Кузмин всплескивает руками:

— И откуда ты такой респектабельно-деревянный? Даже жалко тебя, прости Господи, Коленька. Пойдемте, Юрочка. Пойдемте, Олечка. От него ничего интересного не узнаешь. Только время зря тратишь...

Все же мне довелось однажды увидеть и услышать совсем другого Кузмина.

Было это после гибели Гумилева. Когда я уже стала женой Георгия Иванова. Зимой 1922 года. Моей последней «петербургской зимой».

Мы возвращаемся с Васильевского острова от Анны Радловой. Анна Радлова славится своей несколько тягеловатой, но бесспорной красотой, своим мужем Сергеем Радловым, передовым режиссером, и особенно двумя строчками своих стихов:

Нет губ, чтоб с тобой целоваться,  
Нет рук, чтоб с тобой обниматься...

Своей красотой, впрочем, она не гордится.

— Гордиться мне нечем, — объясняет она, опуская глаза, — ведь красота от Бога.

Кузмин в наилучших отношениях с Анной Радловой, покровительствует ей литературно и проводит у нее уютные вечера за чаем с булочками.

Мне не очень хотелось идти к ней сегодня. Но Олечка Арбенина, с которой я дружу еще с ее гумилевской, до юркуно-кузминской эпохи, уговорила меня.

— Не пожалеете, — предсказала она мне.

И вот мы возвращаемся по сонным, снежно-пушистым линиям Васильевского острова, голубоватым от луны. Впереди Олечка и Юркун. Сзади Кузмин и мы с Георгием Ивановым. Я стараюсь умерить шаг, идти в ногу с Кузминым. Он после приятно проведенного вечера настроен лирически.

— Ах, что за ночь! И какая восхитительная луна. И облака какие — прелесть. Летят, как дикие гуси. А вон то похоже на крокодила.

Георгий Иванов тоже смотрит на облака.

— А это на ангела, — говорит он.

Я, думая доставить удовольствие Кузмину, цитирую:

Если бы ты был небесный ангел,  
Вместо смокинга носил бы ты орарь.

Но он не слушает и не отрываясь смотрит в небо.

— Вы правы, Егорушка. Совсем ангел. А знаете, ведь я когда-то видел ангела.

Он поворачивает ко мне лицо с огромными глазами. Они не такие, как всегда. В них сейчас, как в темных зеркалах, отражаются облака и луна. И мне кажется, что такими глазами можно видеть ангела.

Но когда? И где он видел его? А он, не дожидаясь вопросов, уже сам рассказывает взволнованно и отрывчато, с какой-то интимной задушевной откровенностью:

— Это было очень, очень давно. Я в молодости жил трудно. Мучительно трудно. Страдал от самого себя. Хотел стать праведником, святым, а выходило наоборот. «Мнозии страсти бороли меня», и я боролся с ними. Тяжело это. Невероятно, невыносимо тяжело.

Он вздыхает и останавливается. И мы останавливаемся рядом с ним.

— Я даже руки на себя наложить хотел. Верите ли, Егорушка, о самоубийстве стал помышлять. Но, конечно, только помышлял. Хотя и упорно. Все же до дела не дошло, слава Богу, — продолжает он. — Я даже вериги носил, а грешить не мог бросить. Так в веригах и предавался греху. И грех от этого даже как будто еще слаще становился. Зато потом до чего каялся. И вот я

решил все бросить. Уйти из мира, постричься в монахи. Да, да, теперь мне смешно, а тогда другого выхода я не видел. Я почти год провел в Италии, в монастыре около Генуи. Постился, спал на досках, изнурял плоть. Молился. Ночи напролет простаивал на коленях. Молился почти до кровавого пота. Иногда совсем один в темной церкви. Страшно это. Нигде так не страшно, как в церкви ночью. Читаю молитву и боюсь обернуться. Боюсь увидеть возле себя свой двойник, черный, греховный. И еще страстнее молюсь о спасении. А кости ноют, трещат. Ноги затекли. И все, все болит. До тошноты в мозгу болит. И вот однажды под утро, когда заперестрели витражи, чувствую, что умираю, что пришел мой конец. И не жалко, не боязно умирать. Напротив, легко. Спокойно. Вздохнул и чувствую, будто ниточка оборвалась в груди и душа вылетела из тела. И такая тишина, такое сияние. Нестерпимое сияние, как в «Раю» Данте.

Он замолкает. Неужели он не закончит? Не расскажет об ангеле?

Но он продолжает, все еще стоя на месте.

— Не знаю, сколько времени я лежал один в церкви на полу. В обмороке. Но когда я открыл глаза, я увидел ангела. Не такого, как на картинах, а настоящего ангела. Ангел нагнулся надо мной, взял меня на руки и понес. Будто я ничего не вешу. И я понял — это он мою душу несет. А я весь исхожу от счастья. Никогда, ни прежде, ни потом, я не испытывал такого блаженства, такой благодати. И вдруг ангел улыбнулся мне ангельской улыбкой и поцеловал меня прямо в губы. И вернул меня к жизни. И я очнулся. Пришел в себя. И узнал его. Это был молодой послушник Джiovанни. И в то же время это был ангел. Да, ангел. Ангел принес меня в мою келью. Я с ним провел весь следующий день и ночь. А на второе утро я ушел из монастыря. Совсем. Навсегда. Все такой же счастливый. Я понял, что никакого греха нет. Люди придумали. И больше уже никогда себя не мучил. А он, ангел Джiovанни...

— Что вы так отстали? — доносится голос Юрочки Юркуна. — Мы замерзли, вас ожидая.

Кузмин весь приходит в движение и суету.

— Ах, Господи! Идем, идем. Сейчас, Юрочка! Это я виноват, когда говорю, не могу быстро идти. А им холодно. Они могут простудиться.

Он почти бежит, повторяя: «Только бы Юрочка не простудился!» Мы нагоняем Юркуна и Олечку и уже

впятером продолжаем путь до самого нашего дома на Почтамтской.

Мы живем у Георгия Адамовича, в квартире его тетки, успевшей уехать во Францию. Мы прощаемся. Мне очень хочется спросить Кузмина об ангеле. Видел ли он его еще раз или никогда больше? Но я не решаюсь.

Мы поднимаемся по лестнице. Георгий Иванов говорит, зажигая спичку, чтобы осветить ступеньки:

— Ты, конечно, поверила. А мне кажется, что он все это тут же придумал.

— Нет, он так искренне, так правдиво... — начинаю я.

Но Георгий Иванов перебивает меня:

— Оттого-то и так искренне, и так правдиво, что он все выдумал. Послушник Джиованни, наверно, существовал, а остальное — фантазия.

— Нет, нет, я убеждена, все это правда. Даже если и не совсем так было — правда.

И Георгий Иванов не спорит.

— Кто его знает? Может быть, и правда. Кузмин прикидывается простым, а на самом деле очень сложный. Как всякий поэт.

Он зажигает новую спичку.

— И ведь любимое существо всегда кажется ангелом, — говорит он, глядя на меня.

Последняя прощальная встреча с Кузминым. В Домлите. Перед нашим отъездом.

— Счастливица! — щебечет Олечка. — Как бы я хотела душиться парижскими духами, носить парижские платья и шляпы, говорить с парижанами по-французски!

— Только не слишком засиживайтесь там. Возвращайтесь скорее, — советует Кузмин. — Помните: в гостях хорошо, а дома лучше. В Петербурге — дома. Ведь по-настоящему дома можно чувствовать себя только в Петербурге.

С чем и Георгий Иванов, и я соглашаемся.

— Да, только в Петербурге... Но мы ведь скоро вернемся домой, в Петербург.

Я увидела Ахматову впервые летом 1918 года в Петербурге на Литейном проспекте.

Она шла мне навстречу.

Я сразу узнала ее, хотя до этого дня видела ее только на портрете Натана Альтмана. Там она вся состояла из острых углов — углы колен, углы локтей, углы плеч и угол горбинки носа.

Я узнала ее, хотя она была мало похожа на свой портрет. Она была лучше, красивее и моложе. И это в первую минуту даже слегка разочаровало меня — ведь я привыкла восхищаться той, альтмановской Ахматовой. Но я уже шла за ней, восхищаясь ее стройностью и гибкостью, ее легкой, летящей походкой. Шла с Литейного до Морской, где она, ни разу не обернувшись, исчезла в каком-то подъезде.

Я прождала ее больше часа у этого подъезда, но она так и не показалаась.

С того дня я больше не видела ее до августа 1921 года. Но она все эти годы незримо присутствовала в моей жизни. Ведь она была первой женой Гумилева, и он постоянно рассказывал мне о ней, начиная с их общих царскосельских гимназических воспоминаний, о которых она писала:

В ремешках пенал и книги были.  
Вместе возвращались мы из школы.  
Эти липы, верно, не забыли  
Наши встречи, мальчик мой веселый.

Только, ставши лебедем надменным,  
Изменился сизый лебеденок.  
А на грудь мою лучем нетленным  
Грусть легла, и голос мой незвонок.

— Анна Андреевна, — говорил мне Гумилев, — почему-то всегда старалась казаться несчастной, нелюбимой. А на самом деле — Господи! — как она меня терзала и как издевалась надо мной. Она была дьявольски горда, горда до самоуничтожения. Но до чего прелестна, и до чего я был в нее влюблен!

Я уверена, что Ахматова была главной любовью Гумилева и что он до самой своей смерти — несмотря на свои многочисленные увлечения — не разлюбил ее.



Уверенность моя основана на его рассказах о ней и, главное, на том, как он говорил о ней. Не только его голос, но даже выражение его лица менялось, когда он произносил ее имя. Я постоянно расспрашивала Гумилева об Ахматовой и задавала ему самые нелепые вопросы, вроде: любила ли она халву? Как она причесывалась еще гимназисткой? Хорошо ли она танцевала? Была ли у нее собственная собака? И даже: что вы подарили ей на Рождество в первый год свадьбы?

Он смеялся над моим неутомимым любопытством, но охотно отвечал, «погружался в прошлое». А о том, что он подарил Ахматовой на Рождество в первый год, рассказал даже очень подробно:

— Я купил у Александра на Невском большую коробку, обтянутую материей в цветы, и наполнил ее доверху, положил в нее шесть пар шелковых чулок, флакон духов «Коти», два фунта шоколада Крафта, черепаховый гробень с шишками — я знал, что она о нем давно мечтает, — и томик «Les amours jaunes»<sup>1</sup> Тристана Корбьера.

Как она обрадовалась! Она прыгала по комнате от радости. Ведь у нее в семье ее не особенно-то баловали.

Когда я женился на Анне Андреевне (он почти всегда называл Ахматову Анна Андреевна, а не Аня), я выдал ей личный вид на жительство и положил в банк на ее имя две тысячи рублей, — продолжает он с плохо скрытым сознанием своего великодушия. — Я хотел, чтобы она чувствовала себя независимой и вполне обеспеченной.

Он подробно описывает мне их свадебное путешествие, все, что они видели и где побывали.

— Возвращаясь из Парижа домой, мы встретились с Маковским, с рара Макó, как мы все его называли, в wagon-lits<sup>2</sup>. Я вошел в купе, а Анна Андреевна осталась с рара Макó в коридоре, и тот, обменявшись с ней впечатлениями о художественной жизни Парижа, вдруг задал ей ошеломивший ее вопрос: «А как вам нравятся супружеские отношения? Вполне ли вы удовлетворены ими?» На что она, ничего не ответив, ушла в наше купе и даже мне об этом рассказала только через несколько дней. И долгое время избегала оставаться с ним с глазу на глаз.

Но я снова спрашиваю, была ли у нее в Царском собственная собака?

---

<sup>1</sup> «Желтая любовь» (фр.).

<sup>2</sup> спальный вагон (англ.).

— Нет, собственной собаки у нее не было. В деревне у нас, в Слепневе, было много дворовых псов, но комнатных собак, за исключением моей старшей сводной сестры, у нас никто не заводил. Ни собак, ни кошек. Зато у Анны Андреевны был розовый какаду, тот самый, знакомый вам по ее стихам:

А теперь я игрушечной стала,  
Как мой розовый друг — какаду...

Этот розовый друг какаду отличался не только красотой, но и пренеприятным голосом и, как только заговорят в соседней комнате, а в особенности если читают стихи, начинал кричать на весь дом. На его клетку натягивали большой черный мешок, и он успокаивался и замолкал, считая, должно быть, что настала ночь и пора спать.

— А когда, — спрашиваю я, — когда и где Ахматова впервые напечатала стихи?

— У меня, в моем журнале «Сириус», — не без гордости отвечает Гумилев. — Я первый напечатал ее еще в 1907 году в издаваемом мною журнале в Париже. Я был не только издателем «Сириуса», но и редактором и главным сотрудником его. Я печатал в нем свои стихи и свою прозу под всевозможными псевдонимами: Грант, Терин и сколько еще других... Но «Сириус», к сожалению, вскоре лопнул. Издатель не вынес полной убыточности этого великого предприятия, а редактор и сотрудники изнемогли под тяжестью литературной нагрузки. Мецената не нашлось. Вышло только три номера. Так бесславно провалилась «безумная мечта поэта» сразу завоевать славу.

И как это тогда было горько и обидно. И как забавно теперь! Ведь я плакал, плакал, как девчонка. Мне казалось, что я навеки опозорен, что я не переживу гибели своей мечты.

Я спрашиваю:

— Вы помните, какие стихи Ахматовой появились у вас в «Сириусе»?

— Конечно, помню! — И он читает мне наизусть:

На руке его много блестящих колец  
Покоренных им девичьих нежных сердец.  
Там ликует алмаз, и мечтает опал,  
И красивый рубин так причудливо ал.

Но на бледной руке нет кольца моего,  
Никому, никому не отдам я его.

Я не пришел в восторг от этого стихотворения, а конец: «Мне ковал его месяца луч золотой...» — я советовал вовсе отбросить. Но я все же напечатал его и даже с последней строфой. Я ведь был катастрофически влюблен и на все готов, чтобы угодить Ахматовой. Впрочем, она тогда была еще Анна Горенко. Ахматовой она стала позже, уже моей женой. Ахматова — фамилия ее бабушки-татарки, той самой, о которой она писала:

Мне от бабушки-татарки  
Были редкостью подарки...

Мне тогда еще и в голову не приходило, что она талантлива. Ведь все барышни играют на рояле и пишут стихи. Я был без памяти влюблен в нее. Как-то, когда я приехал к ней в Севастополь, она была больна свинкой. И она показала мне с уродливо распухшей шеей еще очаровательнее, чем всегда. Она, по-моему, была похожа на Афину Палладу, а когда я сказал ей об этом, она решила, что я издеваюсь над ней, назвала меня глупым, злым и бессердечным и прогнала. Я ушел, но весь вечер простоял под ее окном, ожидая, что она позовет меня. А утром уехал, так и не увидев ее снова. Как она меня мучила! В другой мой приезд она, после очень нежного свидания со мной, вдруг заявила: «Я влюблена в негра из цирка. Если он потребует, я все брошу и уеду с ним». Я отлично знал, что никакого негра нет, и даже цирка в Севастополе нет, но я все же по ночам кусал руки и сходил с ума от отчаяния.

— Когда вышла ее первая книга «Вечер»? — спрашиваю я.

— В 1912 году, в издательстве Цеха поэтов. Мы ее составляли вместе. Тогда я уже понял, что она настоящий поэт. Я понял свою ошибку и горько раскаивался. Но зла я ей своим неверием не принес. Она почти молниеносно прославилась. И как я радовался ее успехам!

— Я никогда не видела «Вечер» и нигде не могла, как ни старалась, его найти.

— Ну еще бы! Ведь всего триста экземпляров было отпечатано, и они в тот же год разошлись до последнего. «Вечер» теперь — библиографическая редкость, — объясняет он.

— А у вас сохранился «Вечер»?

Он кивает:

— Конечно. С надписью! Я его храню как зеницу ока, никому даже в руки его не даю...

Разговор этот происходил во время одного из наших совместных возвращений из Дома искусств.

Когда я на следующий день пришла к нему, он, не дожидаясь моей просьбы, протянул мне тоненькую книжку в голубой обложке. Я растерялась и не сразу решилась взять ее:

— Ведь вы сказали, что никому «Вечер» в руки не даете!

Он улыбнулся:

— Берите. Вы можете. Ведь вы так благоговейно относитесь к поэзии.

Но я все же не решаюсь взять «Вечер». Он раскрывает его и показывает мне репродукцию картины Ланкрэ — «Женщина с распущенными волосами в саду».

Картина не нравится мне и, по-моему, совсем не подходит к стихам Ахматовой.

На титульном листе, наверху, у самого края, мелким, еще не установившимся почерком надпись: «Коле. Потому что я люблю тебя, Господи!»

Он качает головой:

— Нет, это она только так, в шутку написала.

— Неужели только в шутку? Разве она не любила вас? Ведь столько ее чудных стихов...

Он нетерпеливо перебивает меня:

— Стихи — одно, а жизнь — другое. Если она и любила меня, то очень скоро разлюбила. Мы абсолютно не подходили друг другу. Абсолютно! — повторяет он, будто стараясь убедить не столько меня, как себя в том, что они не подходили друг другу. — Наш брак был ошибкой. Впрочем, как всякий брак... Счастливых браков не бывает. Это уже Ларошфуко заметил.

Он замолкает на минуту, и лицо его принимает какое-то несвойственное ему, мечтательное, умиленное выражение.

— А как восхитительно все началось, и как я был счастлив. Я, как Толстой, думал, что такое счастье не может кончиться со смертью, что оно должно длиться вечно... — Он недоуменно разводит руками: — А оно не продлилось даже и года.

Нет повести печальнее на свете,  
Чем повесть о Ромео и Джульетте... —

если не считать повести о Николае и Анне, о ней и обо мне... Печальнее всего, что все было так просто, буднично и скучно. Сразу же выяснилось, что у нас диаметрально противоположные вкусы и характеры. Мне казалось, что раз мы женаты, ничто на свете уже не может разъединить нас. Я мечтал о веселой, общей домашней жизни, я хотел, чтобы она была не только моей женой, но и моим другом и веселым товарищем. А для нее наш брак был лишь этапом, эпизодом в наших отношениях, в сущности, ничего не менявшим в них. Ей по-прежнему хотелось вести со мной «любовную войну» по Кнуту Гамсуну — мучить и терзать меня, устраивать сцены ревности с бурными объяснениями и бурными примирениями. Все, что я ненавижу до кровомщения. Для нее «игра продолжалась», азартно и рискованно. Но я не соглашался играть в эту позорную, ненавистную мне игру.

Мы оба были разочарованы. Недаром я уже в первый год писал:

Из города Киева,  
Из логова змиева  
Я взял не жену, а колдунью...

А она, правда, позже, уже после рождения Левушки:

Он любил три вещи на свете:  
За вечерней пенью, белых павлинов,  
Истертые карты Америки.

Не любил, когда плачут дети,  
Не любил чая с малиной  
И женской истерики.  
...А я была его женой...

Он высоко поднимает брови и щурится.

— Полагаю, что все ясно. Комментарии излишни. А, казалось бы, кому, как не ей, быть счастливой? У нее было все, о чем другие только мечтают. Но она проводила целые дни, лежа на диване, томясь и вздыхая. Она всегда умудрялась тосковать и горевать и чувствовать себя несчастной. Я шутя советовал ей подписываться не Ахматова, а Анна Горенко. Горе — лучше не придумать.

— Разве слава не радовала ее? — спрашиваю я.

— В том-то и дело, что почти не радовала. Она как

будто не желала ее замечать. Зато необычайно страдала от всякой обиды, от всякого слова глупца-критика, а на успехи не обращала внимания.

И все-таки я продолжал любить ее не меньше, чем прежде. И никогда, если бы она сама не потребовала, не развелся бы с ней. Никогда! Мне и в голову не приходило.

Я всегда весело и празднично, с удовольствием возвращался к ней. Придя домой, я по раз установленному ритуалу кричал: «Гуси!» И она, если была в хорошем настроении — что случалось очень редко, — звонко отвечала: «И лебеди» или просто «Мы!», — и я, не сняв даже пальто, бежал к ней в «ту темно-синюю комнату», и мы начинали бегать и гоняться друг за другом.

Но чаще я на свои «Гуси!» не получал ответа и сразу отправлялся к себе в свой кабинет, не заходя к ней. Я знал, что она встретит меня обычной ненавистной фразой: «Николай, нам надо объясниться!» — за которой неминуемо последует сцена ревности на всю ночь.

Да, конечно, — продолжает он, — теперь я сознаю, я был во многом виноват. Я очень скоро стал изменять ей. Ведь «Святой Антоний может подтвердить, что плоти я никак не мог смирить». Но я не видел греха в моих изменах. Они, по-моему, прекрасно уживались с моей бесмертной любовью. А она требовала абсолютной верности. От меня. И от себя. Она даже каялась мне, что изменяет мне во сне, каялась со слезами и страшно сердилась, что я смеюсь. Смеюсь, значит, разлюбил. Или, вернее, никогда не любил. Помните, у Блока:

Если сердце ищет гибели,  
Тайно просится на дно...

Ее сердце всегда искало гибели, тайно просилось на дно. И теперь с Шилейко получило то, чего просило. Да, с ним, действительно, у нее:

Было горе,  
Будет горе,  
Горю нет конца.

С ним она настоящая Анна Горенко — Горе.

— Но ведь, — говорю я, — она, кажется, уже хочет разводиться с ним? Я слышала...

Выражение его лица сразу меняется.

— Об этом мне ничего не известно. А вам советую не слушать вздорные слухи. И не повторять их, — холодно и надменно произносит он.

В тот весенний день 1921 года я пришла к Гумилеву со специальной целью — проститься с его портретом, написанным молодой художницей Шведе, очень талантливой и милой.

Вечером она пришлет за ним, и это огорчает Гумилева.

— Я к нему привык. Мы с ним тут жили целых три недели и очень подружились. Без него будет пусто и скучно, — жалуется он, глядя на портрет. — Удивительно хорошо она меня передала. Будто я смотрю на себя в зеркало. И я разноглазый, как на самом деле. А все другие художники почему-то старались скрыть эту Божию отметину. Она сумела изобразить меня по-настоящему, передать меня всего, будто вывернула меня, как перчатку, наизнанку и показала меня всего — снаружи и внутри. Удивительно талантливо, — восхищается он.

Портрет действительно на редкость похож и удачен. Шведе несколько не приукрасила Гумилева и все же придала его косящим глазам и всем чертам его лица какое-то не поддающееся определению, но явно осязаемое обаяние.

Портрет большой, в натуральную величину. Гумилев сидит на стуле очень прямо, слегка закинув голову назад, и держит в тонкой, поднятой, отлично выписанной руке маленькую красную книжку, что, по мнению Гумилева, придает портрету «нечто апокалиптическое». А за ним, как фон, десятки детских воздушных разноцветных шаров поднимаются в голубое небо.

— Да, жаль, что приходится с ним расстаться, — повторяет он. — Будто с частью самого себя, с лучшей частью.

— А вы попросите ее сделать для вас копию с портрета. Или подарить его вам, — ведь она такая милая, наверно, согласится.

Но он качает головой:

— Нет, не хочу ни подарка, ни копии. Пусть он живет у других. А я помещу фотографию с него в моем полном юбилейном собрании стихов, когда мне стукнет пятьдесят лет.

Он улыбается, он шутит, но по тому, как он нервно

закуривает и, затянувшись папиросой только два раза, ожесточенно тушит ее и давит окурочек в пепельнице, я вижу, что он раздражен. И даже очень раздражен.

— Что с вами, Николай Степанович? Что случилось?

— Ничего не случилось. Ни-че-го! — отчеканивает он резко.

— Так отчего вы... — начинаю я, но он не дает мне кончить.

— Не суйте, прошу вас, ваш короткий нос в то, что вас не касается! И откуда вы такая наблюдательная, такая кошачья чувствительная, а?

Я продолжаю молчать, отвернувшись от него.

— Ну, ну, не сердитесь! Бросьте. Вы правы. Я действительно расстроился, возвращаясь из «Всемирной литературы» с Лозинским. Он рассказал мне, что его постоянно допытывают студисты, правда ли, что я из зависти мешал Ахматовой печататься, что я не мог удовлетвориться моей ролью принца-консорты и предпочел развестись с ней. Лозинский, конечно, старался их разубедить. Он-то лучше всех знает, насколько я высоко ставил и ставлю Анну Андреевну. Но они не верят, убеждены, что я и сейчас еще завидую ей. Ведь вы тоже слышали?

Еще бы не слышала! И сколько раз... Я киваю смущенно.

— Да. Но я знала, что это неправда. Всегда знала.

— Так я вам и поверил! Наверно, и вы, как они все, твердили: Ахматова — мученица, а Гумилев — изверг.

Он встает, с шумом отодвигая стул.

— Господи, какой вздор! Ведь, как вы знаете, хотя мне казалось, что ее стихи ровно ничего не стоят, — я первый стал печатать их. А когда я понял, насколько она талантлива, я даже в ущерб себе самому постоянно выдвигал ее на первое место.

Он, как всегда, когда волнуется, начинает шагать взад и вперед по кабинету.

— Сколько лет прошло, а я и сейчас чувствую обиду и боль. До чего это несправедливо и подло! Да, конечно, были стихи, которые я не хотел, чтобы она печатала, и довольно много. Хотя бы вот:

Муж хлестал меня узорчатым,  
Вдвое сложенным ремнем...

Ведь я, подумайте, из-за этих строк прослыл садистом. Про меня пустили слух, что я, надев фрак (а у меня и



фрака тогда еще не было) и цилиндр (цилиндр у меня, правда, был), хлещу узорчатым, вдвое сложенным ремнем не только свою жену — Ахматову, но и своих молодых поклонниц, предварительно раздев их догола.

Я не выдерживаю и хохочу, представляя себе эту нелепую картину.

Он круто останавливается.

— Смеетесь? А мне, поверьте, совсем не до смеха было. Я старался убедить ее, что таких выдумок нельзя печатать, что это неприлично — дурной вкус и дурной тон. И не следует писать все время о своих вымышленных любовных похождениях и бессердечных любовниках. Ведь читатели все принимают за правду и создают биографию поэта по его стихам. Верят стихам, а не фактам. И верят ей, когда она сознается, что

Боль я знаю нестерпимую —  
Стыд обратного пути.  
Страшно, страшно к нелюбимому,  
Страшно к тихому войти... —

то есть ко мне, к мужу, нелюбимому, тихому, хлещущему ее узорчатым ремнем. Но я ничего не мог поделаться с ее украинским упрямством. Я только старался не заводить споров с ней при свидетелях. А она, напротив, жаловалась на меня многим, что я почему-то придираюсь к ее стихам.

Он проводит рукой по лбу.

— Никто не знает, как мне бывало тяжело и грустно. Ведь, кроме поэзии, между нами почти ничего не было общего. Даже Левушка не сблизил нас. Мы и из-за него ссорились. Вот хотя бы: Левушку — ему было четыре года — кто-то, кажется, Мандельштам, научил идиотской фразе: «Мой папа поэт, а моя мама истеричка!» И Левушка однажды, когда у нас в Царском собрался Цех поэтов, вошел в гостиную и звонко прокричал: «Мой папа поэт, а моя мама истеричка!» Я рассердился, а Анна Андреевна пришла в восторг и стала его целовать: «Умница, Левушка! Ты прав. Твоя мама истеричка». Она потом постоянно спрашивала его: «Скажи, Левушка, кто твоя мама?» — и давала ему конфету, если он отвечал: «Моя мама истеричка».

Она не только в жизни, но и в стихах постоянно жаловалась на жар, бред, одышку, бессонницу и даже на

чахотку, хотя отличалась завидным здоровьем и аппетитом, и плавала как рыба, что при слабых легких никак невозможно, и спала как сурок — пушками не разбудишь.

Нет, это уже слишком! Нет, этого я не желаю слушать! Я вскакиваю с дивана.

— Николай Степанович! Разве можно так об Ахматовой! Перестаньте!

Но он, войдя в азарт, машет на меня рукой, заставляя меня замолчать.

— Можно и даже должно! Ведь и с Шилейкой все то же продолжалось. С первых дней...

От любви твоей загадочной,  
Как от боли, в крик кричу,  
Стала желтой и припадочной,  
Еле ноги волочу...

Слава Богу, это уже от его, а не от моей любви. И это уже ему, а не мне она любезно предлагает:

Но когти, когти неистойвой  
Мне чахоточную грудь...

Это в доме Шилейко, а не в моем

И висит на стенке плеть,  
Чтобы песен мне не петь...

Это уже о нем, а не обо мне:

Мне муж палач, и дом его тюрьма...

Конечно, Шилейко — катастрофа, а не муж. И все-таки я не могу не посочувствовать, не пособлезновать ему. Но и я в свое время немало потерпел от высокой чести быть мужем Ахматовой, от ее признаний вроде:

Любовникам всем своим  
Я счастье приносила...

Мне было не очень-то весело гулять по Петербургу этим ветвисторогим оленем!

— Но ведь этого не было! Это было только в стихах, —

почти кричу я. — Ведь вы сами рассказывали, что никакого «замученного совенка» не существовало. Она все это придумала только для своих чудесных стихов.

Он разводит руками.

— Ну и что из того, что не существовало? Когда вся Россия свято верит, что студент-католик повесился из-за несчастной любви к Ахматовой! Верит, и эту веру ничем не уничтожить. Легенда создана и переживет нас всех. Что написано пером... а в особенности чудными стихами, — того действительно никаким топором не вырубешь. И второй легенде, о том, что Ахматова была без памяти влюблена в своего знаменитого современника с коротким звонким именем — Блок, вся Россия тоже верит свято и нерушимо. Сознаться, что и вы не составляете исключения?

Я молчу. Да, я тоже верила. Я считала естественным, что Ахматова любила Блока. Я даже немного разочарована. Неужели правда, что ничего между ними не было?

— Ровно ничего! Они даже были мало знакомы и редко встречались. Блок не бывал ни в «Бродячей собаке», ни у нас в Царском. К тому же, — что ее, конечно, раздражало, — он совсем не восхищался ее стихами. Он говорил: «Поэт должен стоять перед Богом, а Ахматова всегда стоит перед мужчиной». Она посвятила ему:

Я пришла к поэту в гости  
Ровно в полдень в воскресенье... —

и он отблагодарил ее стихами за ее стихи. На этом все и кончилось, а легенда все же создалась.

И он продолжает уже другим, менторским тоном:

— Запомните, надо быть крайне осторожным с посвящениями. Лучше всего вовсе обходиться без них. Читатели — ищейки, выдумают Бог весть что и пришьют вам легенду, от которой и после смерти не отделаться.

Он садится на диван рядом со мной и снова закуривает. Уже без прежней нервности.

— Но вот, — продолжает он, сделав паузу, — с чем я никак не мог примириться, что я и сейчас не могу простить ей, — это ее чудовищная молитва:

Отними и ребенка, и друга... —

то есть она просит Бога о смерти Левушки для того,

Чтобы туча над скорбной Россией  
Стала облаком в славе лучей...

Она просит Бога убить нас с Левушкой. Ведь под другом здесь, конечно, подразумеваюсь я. Впрочем, меня она уже похоронила, как только я ушел на войну:

Вестей от него не получишь больше...

Но против извещения о моей смерти я не протестовал. Меня даже забавляла ее уверенность, что «Архистратиг Михаил меня зачислил в рать свою» и что теперь она может молиться мне, «заступнику своему». Но просить о смерти сына, предлагать своего ребенка в кровавую жертву Богу Молоху, нет, этого никогда нигде, с сотворения мира, не бывало.

— Но, Николай Степанович, — перебиваю я его, — вы ведь всегда утверждаете, что в стихах надо говорить то, что еще никто не говорил.

Я втягиваю голову и жмурюсь, ожидая взрыва его возмущения. Но он вдруг начинает громко смеяться.

— Правильно! Вы меня ловко подцепили!

Он вытирает слезы с глаз.

— Давно я так не хохотал! Да, оригинальнее этой молитвы днем с огнем не сыщешь! Конечно, я с моей точки зрения прав. Левушка мой сын, моя плоть от плоти. К тому же я суеверен. Но, слава Богу, эта чудовищная молитва, как и большинство молитв, не была услышана. Левушка — тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить! — здоровый и крепкий мальчик.

Он вдруг неожиданно протяжно зевает.

— Довольно, довольно, а то я черт знает до чего договорюсь. Ни слова, ни звука о прошлом. Запрем его на три поворота, а ключ бросим в пучину морскую. Давайте жить сегодняшним днем. И для начала выпьем чаю. У меня от воспоминаний даже горло пересохло. И как я устал! Мне даже трудно двинуться. Будьте милой, скажите Паше, чтобы она нам чай подала, и достаньте из буфета в столовой кулек с изюмом. Бергсон недаром считает, что прошлое пожирает настоящее. Но я предпочитаю все же, чтобы не прошлое, а будущее пожирало настоящее. Ведь будущее всегда полно надежд — пусть

несбыточных, — а в прошлом одни разочарования и огорчения!

Я не успеваю дойти до порога, как он останавливает меня:

— Еще минуточку, чтобы окончательно уже *vider mon sac*<sup>1</sup>... Впрочем, это уже не вчерашний, а сегодняшний день. Представьте себе, Анна Андреевна возмущена, что в журнале «Дом Искусства» о ее «Подорожнике» появился недостаточно хвалебный отзыв Жоржа Иванова и что из всех ее стихов, как будто на смех, приведено только:

Мурка, мурка, не мурлычь,  
Бабушка услышит...

Замятин почтительно объяснил ей, что редакция здесь ни при чем — Георгий Иванов сам отвечает за свое мнение своей подписью. Но она, уже совершенно рассердившись, заявила: «Я знаю. Это все Колины проделки. Коля уговорил его не только кисло написать обо мне, но еще и привести детский стишок, как будто в “Подорожнике” ничего лучшего нет. Это все Коля, не спорьте! Он виноват. Он все еще мстит мне!»

Гумилев разводит руками:

— А я, видит Бог, здесь совершенно ни при чем — ни словом, ни духом. Жоржик чистосердечно привел «Мурку», очень понравившуюся ему. Конечно, не следовало поручать ему писать о «Подорожнике». Ведь он, как и Блок, не особенно восхищался стихами Ахматовой. Но я-то в редакции журнала «Дом Искусства» не состою. При чем тут я? А она твердит: «Это Коля виноват. Он мне мстит». Я желаю ей только добра и с радостью расхвалил бы «Подорожник», если бы редакция обратилась ко мне, написал бы о нем, как когда-то написал о «Четках» в «Аполлоне». И — Господи! — сколько на меня за это собак вешали. Муж, видите ли, не вправе восхвалять свою жену! Но ведь я восхвалял не свою жену, а поэта Анну Ахматову. И всегда готов восхвалять ее. А теперь бегите за чаем!

Он прислоняется к стене и закрывает глаза, а я бегу на кухню к Паше.

---

<sup>1</sup> выложить все начистоту (фр.).

За все время своего брака с Шилейко Ахматова ни разу не появлялась ни в Доме литераторов, ни в Доме искусств, ни на литературных вечерах.

Но, разведясь с Шилейко, она стала всюду бывать. Конечно, она была и на похоронах Блока:

Принесли мы Смоленской Заступнице,  
Принесли Пресвятой Богородице  
На руках во гробе серебряном  
Наше солнце, в муках погасшее,  
Александра, лебедя чистого...

Я, должно быть, видела ее в то солнечное августовское утро, но я не запомнила ее, как не запомнила почти никого из провожавших Блока на Смоленское кладбище.

Панихида по Гумилеву в часовне на Невском.

О панихиде нигде не объявляли. И все-таки часовня переполнена. Женщин гораздо больше, чем мужчин.

Хорошенькая заплаканная Аня беспомощно всхлипывает, прижимая платок к губам, и не переставая шепчет: «Коля, Коля, Коля, Коля. Ах, Коля!» Ее поддерживают под руки, ее окружают.

Ахматова стоит у стены. Одна. Молча. Но мне кажется, что вдова Гумилева не эта хорошенькая, всхлипывающая, закутанная во вдовий креп девочка, а она — Ахматова.

Еще одно из моих немногих воспоминаний об Ахматовой, о ее первом, после многолетнего перерыва, публичном выступлении в Доме искусств.

Она стоит на эстраде — высокая, тонкая до хрупкости, легкая, почти воздушная. С ее угловатых плеч спадает знаменитая ложноклассическая шаль — большой черный «кустарный» платок в красные розы. Она очень бледна, и даже губы почти бескровны. Она смотрит вдаль, поверх слушателей. Да, Гумилев был прав, «назвать нельзя ее красивой». К ней не подходит «красивая». Скорее уж «прекрасная», но совсем по-особенному, безнадежно и трагически прекрасная.

И как она читает! Это уже не чтение, а магия:

Бесшумно ходили по дому,  
Не ждали уже ничего,  
Меня привели к больному,  
И я не узнала его.

Казалось, стены сияли  
От пола до потолка...

Это стихи из «Белой стаи». Я знаю их наизусть. Но сейчас мне кажется, что они написаны уже после расстрела Гумилева.

И сказала: Господи Боже,  
Прими раба Твоего... —

смиренно, молитвенно и торжественно произносит она.

И, не делая паузы, будто не желая дать замершим, потрясенным слушателям прийти в себя, уже начинает новое, никому еще не известное стихотворение:

Пока не свалюсь под забором  
И ветер меня не добьет,  
Мечта о спасении скором  
Меня, как проклятие, жжет.

...Войдет он и скажет: «Довольно!  
Ты видишь, я тоже простил». —  
Не будет ни страшно, ни больно,  
Ни роз, ни архангельских сил...

Она смотрит все так же вдаль, поверх слушателей, и кажется, что она читает не для них, а для него, для него одного, для него, который, «прежний, веселый, дневной», «уверенно в дверь постучался», в ее дверь. Она кончила. Она стоит все в той же позе и все так же смотрит вдаль, будто забыв, что она на эстраде.

Никто не аплодирует, никто не смеет даже вздохнуть. В зале такая напряженная, наэлектризованная тишина, что я боюсь — нет, не выдержу! Я встаю и осторожно на носках пробираюсь к выходу.

В пустой полуосвещенной столовой, в темном углу,

прижавшись к стенке, громко плачет одна из молодых участниц «Звучащей раковины».

Я с ней хорошо знакома, я знаю, что она была влюблена в Гумилева и он нежно относился к ней.

Мне хочется подойти к ней, обнять ее. Но что я могу сказать ей, чем утешить? И я, делая вид, что не замечаю ее, так же осторожно и бесшумно прохожу мимо.

Я только один-единственный раз в моей жизни понастоящему разговаривала с Анной Ахматовой.

Произошло это неожиданно и случайно, на вечере в Доме искусств.

Я в тот вечер выступала в последний раз перед моим отъездом за границу, и мне показалось, что еще никогда мне так много не аплодировали и никогда столько раз не вызывали. Я читала все свои баллады и две длиннейшие поэмы, а слушатели все не хотят отпускать меня. И когда я, наконец, окончив чтение, вошла в зрительный зал, меня и тут встретили овацией.

Это был особенно многолюдный и пышный вечер. Или это только казалось мне? В буфете, еще не совсем придя в себя от волнения и радости, я всем улыбаюсь и невпопад отвечаю на вопросы. Леткова-Султанова, та самая, что когда-то соперничала в красоте с матерью Андрея Белого, обнимает меня и, как всегда, восхищенно повторяет: «Совсем наша Зина, ну совсем, совсем наша Зина!» Хотя, как я впоследствии удостоверилась, я ничем, кроме, пожалуй, волос, не походила ни внешне, ни внутренне на «ее Зину» — на Зинаиду Гиппиус.

Аня Гумилева, — овдовев, она из Ани Энгельгардт, наконец, превратилась в Аню Гумилеву и в Анну Николаевну, — только недавно сбросившая траур и нарядившаяся в розовую «дусю-блузку», как она называет ее, восторженно передает мне лестное мнение, высказанное о ней сегодня ее учительницей пластики: «Грации никакой! Зато бездна темперамента!» Она вся извивается и высоко взмахивает локтем: «Бездна темперамента!» — и так же восторженно продолжает: «Вы непременно должны познакомиться с Артуром Сергеевичем Лурье!» Я не успеваю спросить, почему «непременно должна»? Лурье уже стоит передо мной, и я протягиваю ему руку.



Конечно, я знаю с виду композитора и пианиста Артура Лурье. Я знаю даже, что он живет на Литейном в одной квартире с Олечкой Судейкиной и с «самой» Анной Ахматовой и что Артур Лурье не только один из самых элегантных представителей художественного Петербурга, но и создатель и разрушитель женских репутаций. Стоит ему заявить: «X очаровательна», — как все тут же начинают ощущать ее очарование, которого они прежде не замечали, и у X появляется длинный хвост поклонников. Но стоит Лурье заметить вскользь, мимоходом: «Z не так уж хороша», — как вокруг бедной Z образуется зона пустоты и холода.

Он осматривает меня от банта до туфель на высоких каблучках и лениво произносит:

— Я вас слушал. Вы хорошо читаете. Вы, должно быть, очень музыкальны.

Я привыкла к всевозможным комплиментам и принимаю их как должное. Но тут я все же протестую:

— Нет, я совсем не музыкальна. Даже напротив...

— Неужели? — произносит он полуиронически, не споря и не настаивая.

Аня весело щебечет, уничтожая одно пирожное за другим.

— Ваш муж уже уехал? — спрашивает Лурье.

— Да, Георгий Иванов уже уехал на пароходе в Берлин по командировке. А я еду эшелонам по железной дороге, как латвийская гражданка. Мой отец, эмигрировавший уже зимой, ждет меня в Риге. Мы с Георгием Ивановым жили в квартире Адамовича на Почтамтской. А теперь я перебралась к себе, на Бассейную, чтобы последние дни перед отъездом провести в моей семье.

— Значит, — говорит Лурье, — мы можем вместе вернуться домой. Нам с Анной Андреевной с вами по дороге.

— С Анной Андреевной? Вы хотите сказать — с Ахматовой?

Он кивает:

— Ну, конечно. С Анной Андреевной Ахматовой. Чего вы так всполошились?

— И она согласится?

Он пожимает плечами.

— А почему бы ей не согласиться? Мы сначала проводим ее, а потом уж я один доведу вас до вашего «дома по Бассейной, 60».

Аня Гумилева шумно приветствует этот проект.

— Как жаль, что я не могу пойти с вами, — вздыхает она. — Я так люблю гулять ночью по Петербургу.

Неужели я действительно сейчас выйду на улицу вместе с Ахматовой и пройду рядом с ней всю длинную дорогу до ее дома?

С Ахматовой я знакома. Месяца два тому назад, на одном из здешних вечеров, Георгий Иванов подвел меня к ней.

— А это, Анна Андреевна, моя жена — Ирина Одоевцева.

Ахматова подала мне руку и чуть-чуть улыбнулась мне.

— Да, я знаю. Вы были ученицей Коли. Поздравляю вас.

Я не поняла, с чем она меня поздравляет — с тем, что я была ученицей Коли, или с тем, что я стала женой Георгия Иванова.

Я протянула ей свой недавно вышедший «Двор чудес». Для того чтобы самой отдать его ей, я и решила познакомиться с ней.

Ахматова открыла его и прочла мою надпись. Я хотела написать «по-настоящему» восторженно. Но Георгий Иванов убедил меня, что надо писать сухо и коротко: «На добрую память» или «С приветом». Все остальное — дурной тон.

Я послушалась — и напрасно. Ахматова, прочтя мою «На добрую память», слегка сдвинула брови, захлопнула «Двор чудес» и заговорила с Георгием Ивановым, будто забыла обо мне. А я отступила на шаг и скользнула за широкую спину тут же стоявшего Лозинского...

Лурье оглядывается, ища в толпе Ахматову, но ее здесь в столовой нет.

— Она, должно быть, в гостиной, — говорит он. — Кончайте ваше пирожное и ждите. Не вздумайте уходить без нас.

Этого он мог бы и не говорить. Разве я могу уйти? Я оставляю пирожное недоеденным. Но я все еще не верю. Неужели сейчас действительно?.. И Ахматова действительно появляется в дверях вместе с Лурье.

Она здоровается со мной, как с хорошей знакомой, и, по-видимому, совсем не удивлена тем, что Лурье навязал меня ей в спутницы.

Мы втроем спускаемся по лестнице и выходим на улицу. Ахматова посередине, слева Лурье, справа я.

Ахматова спрашивает меня, успела ли я уже привыкнуть к аплодисментам.

— Я их просто боялась вначале, — говорит она. — Я страшно волновалась, читая стихи, и путала их. Для меня долгое время это было просто мукой. Я даже в Цехе не любила читать.

Нет, меня аплодисменты никогда, с самого начала, не пугали, а радовали и приводили в восторг.

Я не могу удержаться, я слишком поспешно выбегаю на вызовы. Я даже стала ставить стул у выхода на эстраду. Я садилась на него и старалась досчитать до десяти, прежде чем снова появиться перед слушателями. Я читала, что Байрон в молодости заставлял себя, прежде чем заговорить с дамой, досчитать до десяти. Но мне никогда не удавалось досчитать дальше семи — волна аплодисментов смывала меня со стула и выносила на эстраду.

Мне хочется рассказать об этом Ахматовой, но я не могу связать и двух слов и на все ее вопросы отвечаю односложно «да» или «нет». И она, убедившись в моей молчаливости, обращается уже не ко мне, а к Лурье. А я иду рядом с ней, слушаю их разговор и думаю о том, что с каждым шагом мы приближаемся к Литейному.

О, я дала бы пять, десять лет своей жизни, чтобы так идти с ней и слушать ее всю ночь, до утра.

Но вот уже Литейный. И вот уже конец. Сейчас она скажет мне «спокойной ночи» и войдет в подъезд своего дома. Я останусь одна с Лурье, и он, шагая со мной по бесконечной Бассейной, будет удивляться моей растерянности. Ведь он, наверно, слышал, что я очень веселая и живая. Даже, по мнению Георгия Адамовича, чересчур живая и веселая для такой «известной женщины». Он всегда советует мне притворяться скучающей и разочарованной. Но я не умею притворяться.

Ахматова неожиданно останавливается и обращается не к Лурье, а ко мне:

— Я тоже хочу проводить вас. Ночь такая чудесная. Жаль расставаться с ней. Идемте!

Она берет меня под руку, просто и дружески. Я чувствую сквозь рукав тепло ее руки. Я вижу совсем близко ее тонкий горбоносый профиль и спускающуюся из-под полей круглой шляпы незавитую челку, до бровей.

В лунном сиянии ее лицо кажется мне нереальным, будто это не ее живое лицо, а моя мечта о нем.

Я иду с ней нога в ногу, боясь от радости, захлестнувшей меня всю, сбиться с шага. Теперь она говорит совсем по-новому, доверчиво и откровенно, о чувстве сохранности, никогда не покидавшем ее даже в самые страшные, самые черные ночи революции.

— Нет, я никогда не боялась. Я возвращалась одна домой по совершенно пустым, глухим улицам. Я знала, что Бог хранит меня и со мной ничего не может случиться. Других грабят, других убивают, но меня, я верила и знала, это не касается.

У меня сжимается сердце. Ведь и я тоже испытывала чувство сохранности и уверенности, что со мной ничего дурного не может случиться, я тоже ничего не боялась.

И я рассказываю ей о моих ежевечерних одиноких возвращениях домой из «Живого слова» зимой 1919 года.

Она внимательно слушает. Она кивает.

— Да. Мне кажется, все поэты испытывают это чувство сохранности и присутствия Бога. — Она на минуту замолкает. — И Коля, должно быть, тоже... Он вам не говорил?

— Нет. Он мне никогда не говорил. Но он был уверен, что его никто не посмеет тронуть, что он слишком знаменит, и ничего не боялся.

— Ах, это совсем не то! — в голосе ее звучит разочарование. — Если бы он испытывал чувство сохранности и Божьей защиты...

Она обрывает. Неужели ей кажется, что Гумилева, если бы он верил в Божью защиту, не расстреляли...

Мы проходим мимо темного, спящего Дома литераторов.

— Коля часто, я знаю, бывал здесь. Ведь он жил совсем близко, на Преображенской. — И прибавляет, вздохнув: — Я у него там ни разу не была. Я ходила смотреть на его дом. Уже после...

Я понимаю — после его смерти. Если бы я посмела, я бы объяснила ей, что Гумилев ни в чем не винил ее, что он уже давно мог сказать, как в ее стихотворении, «Довольно! Ты видишь, я тоже простил», что он любил ее до самой смерти.

Она сейчас — я в этом уверена — поверила бы мне. И перестала бы мучиться. Ведь она мучится — она думает,

что он не простил. Если бы я решилась, если бы посмела... Но я молчу.

И вот уже серая громада «дома по Бассейной, 60». И надо прощаться. Луна ярко светит. Я смотрю в лицо Ахматовой и вдруг вспоминаю, что Гумилев иногда, в минуты нежности, называл ее «маленький зуб» — один из ее верхних зубов неправильно посажен и короче других, и это трогало и умиляло его, по его словам, «почти до слез». Мне хочется увидеть этот маленький зуб. Но хотя она сейчас и улыбается, она лишь слегка приоткрывает губы, не показывая зубов. Она улыбается скорее глазами и бровями, чем ртом.

— Спокойной ночи, — она протягивает мне руку. — Я рада, что пошла вас проводить. Такая прелестная ночь. И Коля ведь постоянно ходил по этой длинной улице. Она вся исхожена его ногами.

Она больше не улыбается. Она говорит почти с осуждением, устало:

— А вы все-таки напрасно уезжаете. И Коля, наверно, не одобрил бы... Так не забудьте. Зайдите проститься. Я вечером почти всегда дома.

— Спокойной ночи, Анна Андреевна, — я не решаюсь прибавить: «Спасибо!» Ведь это было бы смешно.

Зато Лурье я горячо и бурно благодарю:

— Спасибо, большое спасибо, Артур Сергеевич!

О, конечно, не за проводы, а за счастье этой неожиданной встречи с Ахматовой.

Он, как там, в Доме искусств, снова окидывает меня взглядом с головы до ног.

— Не стоит благодарности! — И прибавляет полуиронически: — Гулять по ночному Петербургу очень приятно. Спокойной ночи!

Я вхожу в подъезд своего дома, но вместо того, чтобы подняться по лестнице, снова выбегаю на улицу. Мне хочется еще раз, в последний раз увидеть прекрасное, бледное лицо Ахматовой, мне хочется догнать ее и крикнуть: «Анна Андреевна, пожалуйста, ради Бога, поцелуйте меня! Поцелуйте меня на прощанье!»

Она, конечно, удивится. Но она рассмеется и поцелует меня и скажет Лурье: «Нет, до чего она забавная!»

Вот они идут вдвоем по пустой, залитой лунным светом Бассейной. Идут, отбрасывая на белый тротуар длинные черные тени.

Я уже готова броситься за ними, но вдруг вижу, что их

уже не двое, а трое, что справа от Ахматовой идет еще кто-то, тонкий и высокий. Кто-то, не отбрасывающий тени.

И я узнаю его.

Конечно, это только кажется мне, но я застываю на месте, не в силах двинуться, и вижу, ясно вижу, как они втроем, а не вдвоем удаляются в лунном сиянии. И я не смею бежать за ними.

Я долго смотрю им вслед. И вот их совсем не видно. Только прямая пустая улица, залитая лунным светом.

Я снова вхожу в подъезд, медленно поднимаюсь по лестнице и отпираю входную дверь своим ключом.

Как тихо, как темно. Как пусто. Будто я одна во всей квартире. Я осторожно, чтобы никого не разбудить — ведь все уже спят, — на носках пробираюсь по темному коридору к себе в спальню. Шторы на окне не затянуты. В комнате совсем светло, и луна плавает в «лебедином озере» — в моем круглом туалетном зеркале, на лебедях.

Я смотрю на луну в окне, на луну, отражающуюся в зеркале. Конечно, там на улице мне только показалось... Но я не могу успокоиться. И до чего мне грустно!..

Я раздеваюсь, не зажигая электричества.

— Все хорошо, — уговариваю себя. — Я просто слишком много волновалась, слишком много переживала. Оттого мне и показалось. Ничего не было. Мне только показалось.

Я кладу голову на мягкую, прохладную подушку, натягиваю простыни до подбородка. Все хорошо, все чудесно! Через три дня я уеду в Берлин, в Париж — в запоздалое свадебное путешествие. А теперь надо спать. И я действительно засыпаю.

Я сплю, но сквозь сон слышу, как где-то в углу или за стеной скребутся мыши. Комната полна шелеста, и шороха, и шепота, и чей-то тонкий комариный голос звенит над моим ухом: «Бедная, бедная! Она спит, она не знает, что ее ждет!..»

Я открываю глаза. Нет! Я не сплю. Вздор, я ничего не боюсь. И трижды, как заклинание, громко произношу:

— Я всегда и везде буду счастлива!

Я прислушиваюсь к своему голосу в тишине: «Всегда и везде буду счастлива!»

Но нет. Я не верю своим словам. Мне вдруг становит-

ся страшно. Я прижимаю руки к груди. Зачем я уезжаю? Зачем? Что ждет меня там, в чужих краях?..

Мне еще сегодня вечером, когда я стояла на эстраде, казалось, что это только начало длинной восхитительной жизни, полной удач и успехов. А сейчас я чувствую, я знаю, что это не начало, а конец. Слезы текут по моим щекам. Я плачу все сильнее, уже не сдерживаясь, не стараясь убедить себя, что я везде и всегда буду счастлива.

Нет, я чувствую, я знаю, такой счастливой, как здесь, на берегах Невы, я уже никогда и нигде не буду.

1967

# НА БЕРЕГАХ СЕНЫ

*Светлой памяти  
Юрия Терапиано*



**Любовь движет солнце и другие звезды.**  
*Данте*

## От автора

Мои воспоминания — «На берегах Невы» и «На берегах Сены» — своим появлением на свет обязаны исключительно Юрию Константиновичу Терапиано, памяти которого я и посвящаю эту книгу. Он был ее первым читателем, первым судьей. Конечно, глава о самом Юрии Константиновиче написана мною уже после того, как смерть безжалостно похитила его у нас. Он не дождался выхода книги в свет. Но то, о чем он мечтал, то, во что заставил поверить и меня, сбывается: моя книга, которая за рубежом дошла всего до нескольких тысяч читателей — плачевно малы стали тиражи наших эмигрантских изданий! — теперь отправляется к сотням тысяч читателей на нашей родине. Я счастлива, что могу донести до вас, мои дорогие читатели, дыхание и чувства тех, кто так долго жил без родины, счастлива, что могу их сегодня для вас воскресить.

В предисловии к книге «На берегах Невы» я просила у читателя любви к тем, о ком пишу, потому что, как сказал Габриэль Марсель, «любовь дарует временное бессмертие». Каждый раз, когда произносишь «я тебя люблю», — это значит, что ты не умрешь, не умрешь, пока я, любящий тебя, буду жить.

И читатели в своем сердце и памяти откликнулись на мою просьбу. За это я им глубоко благодарна.

Теперь я обращаюсь к вам с той же просьбой о любви к людям, о которых я пишу в этой книге. Все они нуждаются в еще большей любви не только потому, что «горек хлеб и круты ступени земли чужой», но и потому, что еще более, чем хлеба, им не хватало любви читателя, и они задыхались в вольном воздухе чужих стран. Ведь всем поэтам больше всего нужна любовь. Петрарка писал: «Я не хочу, чтобы меня через триста лет читали. Я хочу, чтобы меня любили».

Нет другой страны, где так любят и ценят писателей, а особенно поэтов, как в России. Здесь считают, что поэты мыслят стихами.

Я согласна с Мариной Цветаевой, говорившей в 1923 году, что из страны, в которой стихи ее были нужны, как хлеб, она попала в страну, где ни ее, ни чьи-либо стихи никому не нужны. Даже русские люди в эмиграции перестали в них нуждаться. И это делало поэтов, пишущих на русском языке, несчастными.

И если вы, мои читатели, исполните мою просьбу и полюбите тех, о ком я сейчас пишу, — вы обязательно подарите им временное бессмертие, а мне сознание, что я не напрасно жила на этом свете.

О, любите их, любите, удержите их на земле!

1983—1989

Париж — Москва

Вот уже три месяца, как я — навсегда, о чем я еще и не подозреваю, — покинула Петербург. Первый месяц я прожила в Риге, где обосновался мой отец, а оттуда переехала в Берлин.

Нравится мне здесь, за границей? Нет, совсем не нравится. Все тут «не то и не так». Не об этом я мечтала в Петербурге, не так я себе представляла заграничную жизнь.

Мне часто хочется вернуться домой, но об этом я и заикнуться не смею — мой отец упал бы в обморок, услышав, что я хотела бы вернуться в Петербург.

Я никому не признаюсь в том, что я разочарована. Большинство бежавших из России в восторге от берлинской жизни и наслаждается ею. Подумать только — сплошной праздник — магазины, где можно все что угодно купить, рестораны, кафе, такси. Чего же еще желать?

О стихах здесь как будто все забыли. Трудно поверить, что эти самые люди еще совсем недавно шли по неосвещенным, страшным ночным улицам, усталые, голодные и озябшие, шли в мороз, под дождем, часто через весь Петербург, только для того, чтобы в Доме искусств или в Доме литераторов послушать стихи.

В Берлине я живу одна, на положении «соломенной вдовы». Георгий Иванов вот уже неделя, как уехал в Париж, повидать свою маленькую дочку Леночку, ну и, конечно, свою первую жену. Уехал с моего позволения и даже благословения — я, слава Богу, не ревнива. На время его отсутствия я устроилась вполне комфортабельно — у меня спальня и приемная в немецком пансионе, и меня, «соломенную вдову», постоянно навещают друзья и знакомые, заботящиеся, по его просьбе, обо мне.

Я, как полагается, с утра бегаю по магазинам, обедаю в ресторанах «Медведь» или «Ферстер», а по вечерам бываю в разных кафе, сборных пунктах беженцев.

Словом, по Оцупу:

Я время дельно провожу,  
Я изучаю модный танец,  
В кинематограф я хожу —  
Это ведь тоже полагается.

Модные танцы мы все в Берлине усердно изучаем. Ими увлекается и седоволосый Андрей Белый, связывающий, как это делал и Ницше, танец с философией. Для него теперь день без танцев — пропавший день. Он в одной из «танцевальных академий» часами проделывает с вдохновенным видом особую «кнохен гимнастик» и пляшет, как фавн, окруженный нимфами.

Зрелище довольно жуткое, особенно когда эти пляски происходят в каком-нибудь берлинском «диле»-кафе, где танцуют. Там Андрей Белый, пройдя со своей партнершей в фокстроте несколько шагов, вдруг оставляет ее одну и начинает «шире, все шире, кругами, кругами» ритмически скакать вокруг нее, извиваясь вакхически и гримасничая. Бедная его партнерша, явно готовая провалиться сквозь пол от стыда, беспомощно смотрит на него, не решаясь тронуться с места. А благодушные немцы, попивая пиво, качают головами, посмеиваясь над *verrücktem Herr Professor*'ом<sup>1</sup>, и даже иногда поощрительно аплодируют ему.

Сегодня — совсем особенный день. Сегодня мой первый бал. Первый настоящий бал, на который я поеду.

Ведь в Петербурге я ходила пешком на балы — в валенках, проваливаясь по колени в снежные сугробы, держа в руках мешок с моими летними туфлями — бальных у меня там, конечно, не было, как и собственного бального платья — я ограничивалась платьями моей покойной матери, правда, парижскими, наскоро подшитыми и неумело суженными мною самой. А тут я впервые еду на бал — в специально сшитом для этого случая белом шелковом платье с большим вырезом, широченной юбкой и туго-натуго перехваченной талией, причесанная парикмахером по-бальному, с тюлевым бантом в волосах, в парчевых бальных туфельках. Еду, правда, не в карете, а в такси, на котором заедут за мной

---

<sup>1</sup> сумасшедшим профессором (нем.).

Николай Оцуп и мой петербургский знакомый Борис Башкиров, «полупоэт», как мы называем «пишущих стихи без достаточных на то оснований».

Еду, тоже как полагается, слегка взволнованная, в самом праздничном настроении — ведь первый бал своего рода событие в молодой жизни, и, хотя я уже два года жена Георгия Иванова, я чувствую себя почти дебютанткой.

И вот я на балу. И меня тут сразу охватывает разочарование. Нет, опять «всё не то и не так». Наши балы в Петербурге были совсем другие — в них было что-то великодержавное, какое-то трагическое величие и великолепие.

В огромных колонных залах черномраморного особняка графа Зубова на Исаакиевской площади, нетопленных и тускло освещенных, мы, щелкая от холода зубами, танцевали и веселились до упаду, до головокружения. Помню, на одном из этих балов, зимой 1920 года, кто-то из присутствующих долго добивался у всех — где здесь можно раздобыть вино? И на ответ, что здесь никакого вина нет и не было, недоуменно развел руками, указывая на меня:

— А где же тогда эта девушка клюкнула? Ведь без вина такой веселой не будешь!

А здесь все мелко и плоско, на всем какой-то налет мелкобуржуазности, мелкотравчатости. Все очень прилично и чинно и должно, казалось бы, нравиться — и оркестр, и сияющие люстры, как в зеркале, отражающиеся в навощенном паркете, и кусты цветов в кадках, и буфет в глубине зала с батареей бутылок, тортами, пирожными и сэндвичами. А вот мне не нравится, совсем не нравится. Я, оглядевшись, даже начинаю испытывать мне малознакомую скуку.

Но, хотя бал и не оправдал моих надежд, чувство разочарования и скуки растаяло, как только я начала танцевать, и мне снова стало весело. Не так, как там, но все же весело. Я даже нахожу, что здесь забавно. Конечно, хуже, чем в Петербурге, но по-своему, по-берлински, — хорошо.

А меня, я это сознаю, просто грызет тоска по родине. Отсюда и мое недовольство всем и вся.

Здесь много знакомых петербуржцев, много писателей и поэтов, мне известных только по именам. Оцуп, приехавший в Германию раньше меня, знакомит меня с ними — с А.Толстым, с Минским, с Эренбургом.

В перерыве между двумя танцами ко мне подходит Башкиров.

— Здесь Игорь Северянин. Хотите познакомиться с ним?

— Игорь Северянин? Хочу! Очень хочу! Покажите, где он. Я его никогда не видала. Даже на фотографии. Где он?

— Вон там, в углу за третьим столиком, — указывает мне Башкиров, — со своей женой-принцессой, как он ее называет, хотя эта чухончка совсем и не похожа на принцессу. Видите?

За третьим столиком действительно сидит скромная молодая женщина, вовсе не похожая на принцессу, в темном платье с длинными рукавами, просто, по-домашнему причесанная и даже не напудренная — нос ее предательски поблескивает. Рядом с ней долговязый брюнет в длиннополом старомодном скюртуке. Черты его большого лица так неподвижны, что кажутся вырезанными из дерева. Он держится прямо, высокомерно закинув голову. Весь он какой-то чопорный, накрахмаленный, как его непомерно высокий, подпирающий подбородок воротник. Таких не только в Берлине, но и в Петербурге уже не носят.

Он сидит молча, с напряженно-беспокойным видом путешественника, ждущего на вокзале пересадки, и явно чувствует себя здесь совсем не на своем месте. Никто не обращает на него внимания. Никто как будто не знает, кто он.

Неужели это на самом деле Игорь Северянин? Тот самый «гений Игорь Северянин», гордо провозгласивший о себе:

Я покорил литературу,  
Взорлил, гремящий, на престол?

Нет, совсем не таким я представляла себе «принца фиалок».

— Я пойду, скажу ему. Подождите тут. Я сейчас приведу его.

Башкиров отправляется за Северяниным, а я стою у стены и жду.

Я вижу, как Башкиров, подойдя к Северянину, что-то говорит ему, и тот отрицательно качает головой, не двигаясь с места.

Башкиров возвращается ко мне, смущенный и растерянный.

— Представьте себе, он заявил, что привык, чтобы женщины сами представлялись ему, а он ходить знакомиться с женщинами не согласен. Ни в коем случае!

— Вот какой важный! Ну и Бог с ним. Обойдусь без знакомства с гением Игорем Северяниным.

И я, даже не взглянув в его сторону, иду танцевать с пригласившим меня очередным партнером. Я танцую и больше не думаю о Северянине до самого конца бала, когда передо мной, уже уезжающей, в холле неожиданно появляется он сам в сопровождении Башкирова.

Я хочу пройти мимо, но он загораживает мне дорогу.

Башкиров торжественно представляет его мне. Северянин кланяется, и я подаю ему руку. Он целует ее с таким видом, будто этим оказывает мне величайшую милость. Должно быть, по его понятиям, не он женщине, а она ему должна целовать руку.

— Вы уже уезжаете? А мне хотелось бы поговорить с вами. Не согласитесь ли вы, повременив с отъездом, посидеть со мной за моим столиком, — и подчеркнуто добавляет, — очень прошу!

— Нет, спасибо, — говорю я. — Мне пора домой — я устала.

Мой отказ, видимо, удивляет его, тень недовольства ложится на его лицо.

— Не желаете? А я хотел поговорить, познакомиться с вами по-настоящему, — и уже с обидой, — впрочем, не в моих правилах навязываться женщинам — уезжайте себе с Богом!

— Нет, нет, — вмешивается Башкиров, — этого так никак нельзя оставить. Можно организовать встречу, — он просительно оборачивается ко мне, — у вас. Завтра или послезавтра? Чудесно получится!

— Ничего против такого проекта не имею, — важно заявляет Северянин.

— Вот и отлично, — обрадованно вскрикивает Башкиров.

Мне ничего не остается, как согласиться:

— Если вы свободны, Игорь Васильевич, приходите ко мне послезавтра, во вторник, чай пить — со своей женой, в четыре часа.

Лицо его светлеет — ему, по-видимому, приятно и мое приглашение, и то, что мне известно его имя, отчество.

— Почту за честь...

Он снова величаво целует мою руку.

— Я заеду за вами, — обещает ему Башкиров, — отведу вас! Ждите!

И я, кивнув Северянину на прощание: «Так до вторника, Игорь Васильевич!» — спускаюсь по лестнице к выходу.



Во вторник я, накупив печений и пирожных к чаю, жду с четырех часов Игоря Северянина и его жену. Жду с нетерпением.

Я сегодня иду обедать к немецким друзьям моего отца. Мне надо успеть переодеться перед тем, как ехать к ним.

Но вот уже шесть часов, а их все нет. Я начинаю нервничать. Если они опоздают еще на полчаса, я не смогу их принять. Опаздывать на немецкий званый, чинный обед совершенно невозможно. Меня больше никогда не пригласят и сочтут варваркой, с которой надо раззнакомиться.

В четверть седьмого они, наконец, появляются. Северянин входит с папиросой в зубах, за ним перекошенный от волнения Башкиров и не менее взволнованная «принцесса».

Я, скрывая свое недовольство, любезно здороваюсь с ними и, не дожидаясь объяснений, отчего они так опоздали, предупреждаю их, что, к моему большому сожалению, мне самой придется уехать через полчаса. Но чай мы все же успеем выпить.

— Садитесь, пожалуйста!

«Принцесса» робко садится на край стула. Северянин, продолжая стоять, скептически осматривает стол.

— А вино? Вино у вас есть? — резко спрашивает он.

— Вина у меня нет, — говорю я.

— Чая не пью, — отчеканивает он. — Пошлите за вином! На мой счет!

Я удивленно оборачиваюсь к растерянному Башкирову. Он торопливо и сбивчиво объясняет, что Северянин по дороге ко мне заходил в разные кафе и бары подкрепиться — для храбрости, для вдохновения.

— И вот... Ради Бога, не сердитесь. Простите. Поймите...

Нет, я не сержусь. Я поддвигаю пирожные «принцессе», и она испуганно кладет одно из них на свою тарелку, но прикоснуться к нему или к чаю, принесенному ей горничной, не решается.

— Едем в ресторан! — требует Северянин. — Едем! Что тут сидеть и киснуть? Скучища!

Тут сидеть ему действительно ни к чему. Я шепчу Башкирову:

— Уведите его скорее!

Башкиров берет его под руку.

— Правильно, едем в ресторан! Едем! — И ведет его к двери.

«Принцесса», красная от стыда, встает, протягивает мне руку лодочкой и шепчет:

— Простите, ах, пожалуйста, простите!

Северянин останавливается на пороге и поворачивается ко мне.

— А вы? Одевайтесь скорее! Я без вас не уйду. Без Одо-евце-вой не уйду! Живо! Не копайтесь!

Башкиров тащит его.

— Одоевцева придет прямо в ресторан. Честное слово, придет! Через пять минут придет, — уверяет Башкиров.

— Только не копайтесь, — снова повелительно кидает мне Северянин. — Без проволочек! Терпеть не могу ждать! — И наконец дает себя увести.

«Принцесса» чуть ли не плача уходит с ними.

— Простите. Ради Бога, простите! — все повторяет она.

Я запираю за ними входную дверь и облегченно вздыхаю. Слава Богу, ушел! Ведь он мог начать бить посуду, скандалить. А так все обошлось благополучно.

Впрочем, не совсем. Спускаясь по лестнице, он звонил во все квартиры.

«С ним все навсегда кончено! Больше я никогда не встречу с ним, никогда!» — решаю я и бегу переодеваться.

На следующее утро ко мне является Башкиров с просьбой понять — простить: «Северянин в отчаянии. Всю ночь не спал. Он мечтал очаровать вас, как своих бесчисленных поклонниц когда-то, и для вдохновения, по дороге к вам...»

— Я совсем не сержусь, — прерываю я его. — Передайте ему — понимаю и прощаю. Но видеть его больше не хочу. Никогда!

Башкиров театральным жестом хватается за голову.

— Это кошмар! Катастрофа! Ведь он хочет прийти сегодня же к вам. Вы не можете быть такой жестокой.

— Перестаньте. Никакого кошмара, никакой катастрофы. Скажите ему, что я желаю ему и его эстонецке всего хорошего и кланяюсь ему. Пусть не огорчается. А вы перестаньте приставать ко мне, не то я действительно рассержусь, и не только на него, но и на вас, и вас тоже не пожелаю видеть.

Прошло несколько дней, полных разнообразных впечатлений — ведь тут, в Берлине, «ощущения бытия» не похожи на прежние, петербургские. Занятая этими, новыми для меня «ощущениями», я совсем не думала о Северянине, Башкиров тоже остерегался напоминать мне о нем.

Я сижу у себя и читаю, когда горничная в белом пе-

редничке — здесь они еще не перевелись — докладывает мне, что меня спрашивает какой-то господин. Нет, фамилии своей он не назвал.

Я удивлена. Я никого не жду. Мои друзья и знакомые просто — без доклада — проходят прямо ко мне. Кто бы это мог быть?

Я выхожу в прихожую. У окна стоит Северянин в пальто, со шляпой в руке. Увидя меня, он весь дернулся и ринулся ко мне так стремительно, что я отступаю на шаг.

— Вы не выгоните меня? Я уезжаю завтра, но я не могу уехать, если вы не простите меня. Не могу... — Он очень бледен, голос его дрожит: — Поймите, как для меня это ужасно. Дожить еще и до того, что женщина отказалась меня принять!

Я протягиваю ему руку.

— Успокойтесь, и раз вы пришли — оставайтесь. Пойдем ко мне.

— Не выгоните? Правда?..

Я иду по коридору, он за мной. У себя я сажусь на диван и указываю ему место рядом с собой, но он остается стоять, даже не сняв пальто.

— Снимите пальто и садитесь, — говорю я.

Он стоит передо мной, долговязый, застенчивый, в полной растерянности.

— Я только на минутку, не задержу вас. Но если позволите... — и он, сняв пальто, садится не рядом со мной и не в кресло, а на стул. Так робко, что я не узнаю в нем того «бального», надутого, высокомерного, накрахмаленного Северянина.

— Мне было необходимо видеть вас, я бы просто не мог...

Не мог? Чего бы он не мог? Но я не спрашиваю.

А он, будто убедившись, что теперь я пойму его, продолжает торопливо:

— Я очень, я страшно несчастен. Вы себе и представить не можете, до чего! И вот то, что со мной, которому женщины поклонялись как Богу, могло случиться такое, меня просто доконало. Помните рассказ Чехова? Бедная девушка, совсем бедная, полуголодная, целый день бегала по объявлениям в поисках работы, изнемогая от усталости, и вот вечером в какой-то конторе швейцар не впустил ее и, так как она все же хотела войти, толкнул ее в грудь: «Место уже занято! Говорят вам, занято!» Не грубо, совсем легко толкнул, а она повернулась, добежала до моста и бросилась с него в Неву! Все могла перенести, а это ее доконало. Как ваш отказ принять меня.

— Но ведь я ничем не обидела вас, — протестую я, краснея, — право, ничем. Я боюсь пьяных. Я боялась скандала.

— Да, да. Вы не могли иначе поступить. А обо мне вы не подумали. До меня вам никакого дела не было.

Я сознаю, что он прав. Мне действительно не было дела до него. А сейчас... Сейчас есть. И еще какое! Мне его очень жаль. Мне хочется утешить его. Но чем?

И я говорю наобум первое, что мне приходит в голову:

— Я никогда не была на ваших поэзовечерах, но знаю, что у вас был невероятный, небывалый успех, и я...

Он не дает мне закончить:

— Да, да. Небывалый, громокипящий успех. Уличное движение останавливали, когда я выступал в зале под Думской каланчой. А в Керчи, в Симферополе, на Волге лошадей распрягали, и поклонники на себе везли меня, триумфатора! Страшно вспомнить, какое великолепие! Купчихи бросали к моим ногам на эстраду бриллиантовые браслеты, серьги, брошки...

Он весь преображается, голос его звенит.

— До чего чудесно было! Сказка из «Тысячи и одной ночи». Даже еще чудесней! Сологуб возил меня по всей России, и всюду вечный праздник, беззакатное торжество! На меня, как из рога изобилия, сыпались цветы, слава, влюбленные женщины... И деньги! Сколько денег! Просто золотой дождь!

Он мечтательно закрывает глаза и улыбается. Я впервые вижу его улыбку — и на балу, и в злосчастный вечер его прихода ко мне у него было самоуверенное, злое, почти наглое лицо, а теперь его улыбка придает ему что-то беззащитное, наивное, почти детское.

— Если бы я тогда копил деньги, я бы и сейчас был богатым человеком. Но я деньги безрассудно отдавал другим, себе брал только славу. Но и она оказалась, как все в моей жизни, чертовыми черепками. Все обмануло, все погибло — все!..

Он тяжело вздыхает.

За окном ранние зимние сумерки. В комнате полутемно. Я протягиваю руку к выключателю.

— Нет, нет — не надо. Не зажигайте, — просит он, — так мне легче говорить. Сумерки создают особое настроение.

Да, настроение действительно особенное. Совсем не то, что я ждала, когда почти против собственной воли впускала его к себе.

Мне вдруг начинает казаться, что время покатилося назад, мы с ним сидим не в берлинском пансионе, а у

меня, на Бассейной, 60, в Петербурге, и я с жадной молодой любознательностью слушаю его, как когда-то слушала Гумилева, стараясь запомнить каждое его слово.

А он говорит:

— Подумать страшно, — я живу на хлебником у простого эстонца-мыйжника. Только оттого, что женился на его дочери. Я для него не знаменитый поэт, а барин, дворянин, сын офицера. За это он меня и кормит. Ему лестно. А я ловлю рыбу. И читаю свои стихи речным камышам и водяным лилиям — нениюфарам. Больше ведь некому. Кругом глушь, мужичье. Ночью я часто сажусь в лодку и выезжаю на середину реки. Звезды отражаются в воде, камыши так ритмично, так мелодично шуршат, как аккомпанемент моим стихам. Я читаю и сам слушаю свой голос и плачу. Мне начинает казаться, что я не читаю, а только слушаю то, что поют «хоры стройные светил». И тогда почти смиряется души моей тревога...

Он неожиданно обрывает и будто спохватившись:

— Простите. Я, как лягушка, бесстыдно расквакался. Я, должно быть, кажусь вам жалким презренным паяцем. Но если бы вы знали, как я измолчался, как мне необходимо говорить... Вам правда не надоело меня слушать? Мне сейчас хочется говорить. Говорить без конца. Я изголодался по слушателю. До чего изголодался! Вам не скучно?.. Действительно не скучно?..

— Нет, нет. Напротив, — уверяю я его, — продолжайте, пожалуйста.

— А о детстве можно? — робко осведомляется он.

— О чем хотите. Мне все интересно.

И это правда.

— Раз уж вы согласны слушать, то и пеняйте сами на себя.

И он начинает рассказ о своем детстве. Очень счастливым, «золотом детстве» — зимой в Петербурге, летом в имении, и о катастрофе, завершившей его. В катастрофе я не совсем разобралась, не все в ней поняла, но переспрашивать его я не решаюсь. Не ручаюсь, что это все так именно и было. По его словам, его мать, молодая жена старого генерала, очень рано овдовела. Генерал — ревнивый старик — оставил завещание, по которому все его большое состояние в случае, если его вдова снова выйдет замуж, переходит их маленькой дочери, а в случае ее смерти — родственникам генерала.

— Что же, погоревала она немного, как полагается, но, конечно, захотелось ей любви. Вот и решила она выйти замуж за поручика, давнишнего ее молодого поклонника, постоянно бывавшего еще при муже-генера-

ле в их доме. Девочка была к нему сильно привязана, и он к ней. Все было, как нельзя лучше. Все любил друг друга и были счастливы. О завещании и не вспомнили — дочка обожала мать и считала ее, а не себя хозяйкой петербургского дома, имения и денег. Так прошло несколько счастливых лет, во время которых, к общей радости, и я успел родиться. Девочка была уже подростком. И вдруг она заболевает менингитом и умирает в три дня. Мать чуть не помешалась от горя. Но тут на нас обрушился новый удар — нотариус объявил ей, что она должна покинуть свою квартиру, так как и дом, и имение, и капитал принадлежали дочери и переходят к родственникам генерала. Так моя мать все сразу и потеряла, и настало бедственное существование на жалкие гроши жалования поручика Лотарева. Родственники покойного генерала обобрали ее до ниточки.

Северянин тяжело вздыхает.

— Да, много горя мы тогда с мамашей хлебнули. Пожалуй, не меньше, чем я теперь. Постыдное, тяжелое начало жизни. Постыдный, тяжелый конец. Сколько страданий и унижений. От них вся душа в ссадинах, синяках и кровоподтеках. Судьба тогда била и теперь бьет меня в морду, как в бубен, и не только в морду, но и в душу. А ведь душа у меня гордычка, неженка, небожительница. Каково ей? Понимаете ли вы?

Да, понимаю. Понимаю и сочувствую. Молча. Что уж тут скажешь? И он, не дождавшись моего ответа, продолжает:

— Я приехал сюда в надежде переиздать мои книги. Но куда там! И слышать не хотят, а всякую бездарь и шваль печатают. Объяснили: вы больше никому не нужны и не интересны. В альманах «Окно» меня не пустили. Устроить мой вечер и то не удалось — Союз писателей отказал наотрез. При встречах притворяются, что не узнают меня. А мерзавец Толстой в ресторане «Медведь», хлопнув меня по плечу, заголосил, передразнивая меня: «Тогда ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин!» — расхохотался идиотски во всю глотку и гаркнул на весь ресторан: «Молодец вы, Северянин! Не обманули! Сдержали слово — привели нас, как обещали, в Берлин. Спасибо вам, наш нежный, наш единственный! Спасибо!» И низко, в пояс поклонился. Это случилось в тот самый день, когда я к вам пришел пьяный. С горя напился. С горя пью. Вам этого, конечно, не понять.

Не понять? Нет, я прекрасно понимаю. Мне его страшно, до боли жаль. Не надо, чтобы он говорил об этом, и я перебиваю его:

— Игорь Васильевич, я никогда не слышала, как вы читаете свои стихи. Если вы не торопитесь, почитайте мне, пожалуйста.

Он поспешно встает со стула.

— Неужели не слышали?.. С огромной радостью... Сколько хотите... Сколько хотите!

В комнате почти темно, но ведь он просил не зажигать. Я вижу, как блестят его глаза. Теперь он кажется почти красивым. И какое у него вдохновенное лицо.

— Что вам прочесть? — спрашивает он взволнованно.

Мне совершенно безразлично что, и мне совсем не хочется слушать его поэзы, но я говорю: «Это было у моря».

И он, скрестив по-наполеоновски руки на груди и закинув голову, уже начинает запевать на знакомый мне мотив — Георгий Иванов отлично имитировал его пение-декламацию, уверяя, что оно как гипноз действует на слушательниц и доводит их до беспамятства:

Это было у моря, где ажурная пена,  
Где встречается редко городской экипаж.  
Королева играла в башне замка Шопена,  
И, внимая Шопену, полюбил ее паж...

Закончив, он без паузы переходит ко второму стихотворению, уже не спрашивая, что я предпочитаю, потом к третьему, к четвертому и так далее и так далее. Я теряю счет им. Тут и

В шумном платье муаровом, в шумном платье  
муаровом  
По аллее олуненной вы проходите морево...

и

...Когда вуалится фиоль,  
Офлера ручеек,  
Берет Грасильза канифоль,  
И скрипку, и смычок...

и

О милая, как я печалюсь, о милая, как я тоскую.  
Мне хочется тебя увидеть печальную и голубую...

и

Ты ко мне не вернешься даже ради Тамары,  
Ради нашей дочурки, крошки вроде кроля...

Нашей дочурки? Разве у него была дочь? Мне хочется его спросить, но я не решаюсь прервать его. Он с таким упоением, так самозабвенно распекает. Он как будто впал в транс. Прервать его — все равно что разбудить лунатика. Я продолжаю слушать эти знакомые мне с детства поэмы, над «фантастической безвкусицей, безграничной пошлостью и лакейски-приказчицкими изысками и новаторством» которых Гумилев и все мы привыкли издеваться. Но сейчас они кажутся мне совсем иными. Я как будто впервые слышу их, и они очаровывают меня. Пошлость, вульгарность, изыски? Да, конечно. Но это все наносное, несущественное. В этих, пусть смехотворных, стихах явно слышатся, несмотря ни на что, «вздохи муз, и звоны лиры, и отголоски ангельского пения». В них высокая, подлинная поэзия. И сейчас я в этом не сомневаюсь — Северянин настоящий поэт. Прав был Сологуб, прославлявший его, «большого русского поэта». Да, я сейчас впервые понимаю это.

Я все сильнее подпадаю под власть его необычайно-го чтения-пения, «гипнотически» действующего и на меня. Я закрываю глаза, я тону, я иду на дно этого искрометного, громокипящего водоворота поэзии.

О, только бы слушать его. Только бы он не замолчал.

Я смутно сознаю, что завтра «в трезвом, беспощадном свете дня» я с удивлением вспомню то, что чувствую сейчас, и мне снова будет ясно, что Гумилев был прав в своем строгом суде над Северяниным. Но сегодня я покорена, я очарована, я «осеверянина». О, только бы слушать его еще и еще.

Стук в дверь.

— Вас просят к телефону!

Я вскакиваю с дивана, мигая от вдруг вспыхнувшего электрического света, — кто зажег его, я или он? — и бегу в прихожую.

Когда я возвращаюсь, он уже в пальто и встречает меня с озабоченным видом.

— Простите, я безбожно заболтался и задержал вас. Ведь уже семь часов.

— Да, а в половине седьмого я должна была быть у моих друзей. Они ждут меня. Но я не жалею. Напротив. Я очень рада, что...

Он перебивает меня.

— Вы тем, что приняли и выслушали меня, сделали мне неоценимый подарок. Я никогда не забуду. Теперь я могу почти спокойно уехать.



— Приезжайте снова в Берлин поскорее.

Он качает головой.

— Вряд ли я еще раз выберусь из своей дыры. Наверно, так и умру в ней. Это была моя последняя попытка выкарабкаться из нее. И как она скверно обернулась. Вы единственное светлое пятно в ней.

Я иду в прихожую провожать его. Мне хотелось бы сказать ему так много, но я не нахожу нужных слов.

— Счастливого пути, — говорю только. — И будьте счастливы, Игорь Васильевич.

Он пожимает плечами.

— Ну нет, желать мне счастливого пути все равно что желать счастливого пути тому, кого ведут вешать. А вот вам можно пожелать счастья — оно вам к лицу, как ваш бабочка-бант. — И прибавляет деловито: — Писем вам писать не буду. Не ждите. И мне не пишите. Ни к чему это — раз больше мы никогда не встретимся.

— Кто знает. А мне кажется, непременно встретимся. Но он качает головой.

— Nevermore!<sup>1</sup> Как говорил ворон По. Nevermore! — грустно повторяет он, целуя мою руку на прощанье.

И вот он уходит. Дверь медленно и бесшумно закрывается за ним.

Я стою одна в прихожей, не двигаясь с места, забыв, что мне надо торопиться — ведь меня ждут, но, вместо того чтобы надеть пальто, я снимаю телефонную трубку и вызываю нужный мне номер.

— Не ждите меня, — говорю я, — у меня вдруг заболела голова и горло. Боюсь, что я простудилась. Нет, нет, ничего серьезного. Приезжать не надо. К утру все пройдет. Отправляйтесь без меня в «Аллаверды». И поселитесь. А я сейчас лягу. Завтра позвоню.

Я иду к себе, чувствуя непонятную тревогу и тоску. Что это со мной? Неужели я действительно расхвораюсь? Ведь у меня ничего не болит, и ничего скверного со мной не случилось. Так отчего мне так тяжело? Так грустно?

Я ложусь, не раздеваясь, на постель, прислушиваясь к тишине, стараюсь успокоиться. И вдруг начинаю плакать. О чем? Ведь у меня нет никакого горя. Все хорошо. Все очень хорошо. Но слезы все сильнее текут по моим щекам, и я не могу их удержать.

О Господи! До чего мне грустно! Как жестока жизнь! Как несчастны люди! Особенно поэты.

Бедный, бедный Игорь Северянин!

---

<sup>1</sup> — Никогда! (англ.)

— Nevermore! Мы никогда больше не увидимся, — сказал мне, прощаясь со мной в январе 1923 года в Берлине, Игорь Северянин.

И мы действительно никогда больше не увиделись. Но слышать о нем мне все же еще пришлось.

Однажды в гостеприимном доме Мильруда, редактора рижской газеты «Сегодня», за литературным завтраком, что не мешало ему быть очень вкусным, — на нем присутствовал, как всегда, кроме нескольких членов редакции, и Петр Пильский, — я выразила удивление, что никогда не вижу в «Сегодня» стихов Северянина.

— Разве он перестал писать стихи?

Мильруд с притворным отчаянием схватился за голову.

— Ах, не вспоминайте о нем! Какое там перестал — просто закидывает меня стихами и требованиями, чтобы они безотлагательно появлялись. Много он мне крови испортил, пока меня не осенило чисто соломоново решение — платить ему ежемесячно пенсию за молчание. С предупреждением — пришлите хоть одно стихотворение — тут и каюк! Конец пенсии. И он, слава Богу, внял голосу благоразумия.

Меня это ошарашило, я просто задыхалась от возмущения.

— Но ведь это бесчеловечно, чудовищно! Как вы, такой добрый, могли быть таким зверски жестоким?

Мильруд пожимает плечами.

— Посидели бы вы в моей шкуре директора — иначе заговорили бы. Не только не бесчеловечно и жестоко, а гуманно и доброжелательно. Так у него, и правда, не на ананасы и шампанское, а на табачок и водочку хватает. Чего ему еще? Ведь он живет даром у своего тестя-мыйжника. Конечно, ему было бы лучше не задерживаться на земле и на крылатой яхте пристать к ледяной луне...

— Где, — прерывает его Георгий Иванов и поет (подражая Северянину): — «на луне все любезны оттого, что все немые». Вот вы и стараетесь помочь ему онеметь и стать любезным. Дело доброе!

Все, кроме меня, смеются.

— Да, страшное дело для поэта пережить себя, умереть при жизни, — провозглашает Пильский.

Георгий Иванов насмешливо щурится:

— А по моему скромному мнению, и в обыкновенной смерти мало приятного. Я бы, пожалуй, согласился умереть как поэт, чтобы продолжать как человек жить до ста лет — с табачком и водочкой, разумеется.

— Ну, вам-то, Георгий Владимирович, трудно судить, как чувствует себя поэт, которого перестали

печатать, — вы во всех редакциях желаннейший гость. Каждому воздается по делам его, — сентенциозно заявляет Пильский. — Если бы Северянин так пошло, безвкусно не кривлялся в своих поэзах, и его бы печатали. А то у него нет ни одного сносного стихотворения — сплошное оголтелое издевательство над русским языком, паясничество и непонятность.

Но тут уж я не выдерживаю и протестую:

— Нет, у него много прелестных, совсем простых стихов. Хотя бы вот это:

— Всё по-старому... — сказала нежно. —  
Всё по-старому... —  
Но смотрел я в очи безнадежно —  
Всё по-старому...

Улыбалась, мягко целовала —  
Всё по-старому...  
Но чего-то всё доставало —  
Всё по-старому!..

Или еще более очаровательное и грациозное:

Она на пальчиках привстала  
И подарила губы мне.  
Я целовал ее устало  
В сырой осенней тишине.

И слезы капали беззвучно  
В сырой осенней тишине.  
Гас скучный день, и было скучно,  
Как всё, что только не во сне.

Мне очень нравится, а вам? Так просто, так все ясно. Ну что, скажите, здесь непонятного?

Пильский кивает.

— Недурно, хотя мне не очень нравится. Но тут все понятно. Только нельзя рифмовать «беззвучно» и «скучно». Ведь надо произносить «скушно». Это всем известно, — безапелляционно заявляет Пильский.

Но Георгий Иванов не согласен.

— Нет, простите, это в Москве говорили «скушно», а у нас в Петербурге — «скучно». Тогда следует говорить и «я скушаю» вместо «я скучаю». Где это видано, чтобы «ч» переходило в «ш»?

И вот уже готов загореться один из обычных эмиг-

рантских споров о том, как надо говорить, и о произношении. Но я стараюсь не дать ему разгореться. Я говорю Мильруду:

— Я не могу успокоиться. Вы не только обидели бедного Северянина вашей «пенсией за молчание», вы его прямо зарезали. Подумайте, как вы его унизили, его, «победившего» — по его мнению — литературу. Его, которому поклонялись и кому не только грубого слова, но даже косого взгляда не приходилось...

Но тут меня неожиданно и решительно перебивает один из «первоприющей тройки», как мы с Георгием Ивановым прозвали трех немолодых «молчальников», неизменно присутствующих на завтраках у Мильруда. Я с ними, конечно, знакома и даже знаю, что они занимают какие-то немаловажные должности в редакции. Но за столом они никак не проявляют себя, никогда не вступают в разговоры и присутствуют здесь скорее как античный хор, правда, молчаливый.

Выступление одного из них удивляет всех, даже неизменно равнодушно-любезно улыбающаяся хозяйка дома с любопытством и выжидательно смотрит на него.

А он, не смущаясь вызванным им общим интересом, говорит:

— Ну уж позвольте, позвольте! Это не совсем верно. Не совсем так. Даже совсем не так.

Я нетерпеливо пожимаю плечами. Сейчас он начнет методично доказывать, что квалифицированная критика не признавала Северянина, что славу ему создали истерички-курсистки и восторженные юнцы, а серьезные читатели издевались над ним и его поэмами.

Да, да. Конечно. Петр Пильский мог бы изложить эти общеизвестные истины гораздо лучше, чем совсем некстати заговоривший «молчальник». Заведет он теперь шарманку на битый час, а я слушаю. Хотя это мне и очень скучно в квадрате — с московским и петербургским произношением.

Но услышать мне пришлось совсем не то, что я ожидала...

Поклон в мою сторону, и он говорит:

— Нет, позвольте, насчет того, что никто так уж не смел косо взглянуть, не совсем правильно. Даже очень смел, и грубых слов «принцу фиалок» пришлось немало наслушаться. Я это достоверно знаю от моего приятеля, капитана полка, в который был направлен Северянин, с хохотом рассказывавшего мне о новобранце Лотареве-Северянине, бывшем посмешищем полка. Не поддавался никакой муштровке. Фельдфебель из сил выби-

вался, никак не мог заставить его не поворачиваться налево при команде направо, до хрипоты орал на него, разбивавшего весь строй: «Эй ты, деревня! Куда гнешь опять? Сено-солому тебе, что ли, к сапогам привязать надо? А еще образованный!» Целый месяц с ним возился безуспешно. В конце концов определили его в санитары на самую черную работу — по уборке и мытью полов — на другую у него способностей и смекалки не хватало. Я специально ездил к моему приятелю в полк полюбоваться на «принца фиалок» с ночной посудиною в руках. Презанимательное было зрелище, смею вас уверить!

Все, исключая меня, смеются. Пильский от смеха чуть даже не поперхнулся. Но громче всех смеется Мильруд:

— «Эй ты, деревня! А еще образованный!» Я даже не знал, что его призывали.

— Нет, Михаил Семенович, я знал, но о его блестящей военной карьере мне ничего не было известно, кроме того, что он обещал «тогда ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин». Он считал, должно быть, что у него для похода на Берлин вполне достаточная военная подготовка, — спокойно замечает Георгий Иванов.

Новый взрыв смеха. Смеются все. Но мне совсем не смешно. Мне больно, мне обидно за бедного Северянина.

Но тут «молчальник», явно ободренный шумным успехом своего выступления, обращается уже не ко мне, а к Георгию Иванову:

— Если не ошибаюсь, вы изволили начинать свою поэтическую карьеру эгофутуристом? С Северяниным? Георгий Иванов кивает:

— Как же. Даже в директорате эгофутуристов состоял вместе с сыном Фофанова Константином Олимповым и Граалем Арельским при самом Северяnine. Мы действовали решительно, выпустили манифест эгофутуризма и подготовляли эгофутуристическую революцию. Но все это длилось недолго. Меня сразу же после выхода моего «Отплытия на остров Цитеру» приняли в Цех. И я покинул Северянина. С большим сожалением. Я во что бы то ни стало хотел, чтобы и Северянин стал членом Цеха. И даже уговорил Гумилева позволить мне привести Северянина на заседание Цеха и баллотироваться.

И вот уже Георгий Иванов рассказывает так, как, кроме него, никто рассказывать не умеет, о единствен-

ном посещении Северяниным Цеха поэтов. И все с интересом слушают. По дороге в Цех Северянин, свежесвыбранный, напудренный, тщательно причесанный, в лучшем своем костюме и новом галстуке, сильно волновался и все повторял, что едет в Цех только для того, чтобы увидеть эту бездарь in сохроге<sup>1</sup> и показать им себя — настоящего гения.

Гумилев, синдик Цеха поэтов, принял его со свойственным ему высокомерием и важной снисходительностью и слушал его стихи холодно и строго. Северянин начал читать их преувеличенно распевно, но под холодным, строгим взглядом Гумилева все больше терял самоуверенность. И вдруг Гумилев оживился:

— Как? Как? Повторите!

Северянин повторил:

И, пожалуйста, в соус  
Положите анчоус.

— А где, скажите, вы такой удивительный соус ели? Северянин совершенно растерялся и покраснел:

— В буфете Царскосельского вокзала.

— Неужели? А мы там часто под утро, возвращаясь домой в Царское, едим яичницу из обрезков — коронное их блюдо. Я и не предполагал, что там готовят такие гастрономические изыски. Завтра же закажу ваш соус! Ну, прочтите еще что-нибудь!

Но от дальнейшего чтения стихов Северянин резко отказался и, не дожидаясь ни ужина, ни баллотировки, ушел.

— Ушел в ярости на Гумилева. И, конечно, на меня. Впрочем, его все равно «прокатили бы на вороных». Цеху он совсем не подходил, только мне по молодости лет могла прийти в голову такая нелепая мысль. Но я был очень привязан к нему и очень огорчен.

— Разве он был симпатичный? — спрашивает хозяйка дома. — А правда, что в него женщины влюблялись дюжинами?

— Дюжинами, сотнями, тысячами, куда ни приедет, — вместо Георгия Иванова отвечает Пильский. — Хвостом за ним ходили. Ночевали под окнами его дома.

— А правда, что он бессребреник? Что он, не считая, раздавал деньги направо и налево? — спрашивает «молчальник».

— А правда, что у него был сумасшедший успех? Что

---

<sup>1</sup> вместе (лат.).

распрягали лошадей?.. Что его забрасывали цветами?

Вопросы сыплются один за другим.

Я с удивлением слушаю. Неужели здесь, за этим столом только что так зло издевались над бедным Северяниным, а теперь с таким интересом расспрашивают о нем, о его внешности, о его романах, о его характере, вкусах и настроениях?

Георгий Иванов отвечает на все вопросы.

— А правда, что Северянина прославил Толстой? — спрашивает принимающая деятельное участие в вопросах хозяйка дома.

Георгий Иванов пожимает плечами:

— «Прославил» тут не то слово. Но славу он Северянину действительно подарил. Правда, против воли, желая его уничтожить, с позором выгнать из русской поэзии. Вот как это было. Толстой, допустив — после долгих просьб — пред свои очи «представителя прессы», с возмущением и гадливостью процитировал прочитанные им в каком-то журнале строки Северянина:

Воткните штопор в упругость пробки,  
И взоры женщин не будут робки...

и

Ананасы в шампанском,  
ананасы в шампанском...  
Весь я в чем-то норвежском,  
весь я в чем-то испанском...

«И такую гнусность смеют считать за стихи! — захлебывался от негодования Толстой. — До какого падения дошла русская поэзия!»

И так как он отнюдь не запретил распространять его мнение о Северянине, представитель прессы на следующий же день тиснул слова Толстого в «Новом времени», ошибочно полагая, что Толстой уничтожил Северянина, раздавил его, как клопа. А на самом деле Толстой подарил Северянину славу — северянинские строки, процитированные «самим» Толстым, прогремели на всю Россию, ударили по сердцам тысяч читателей. Никакая восторженная статья не могла бы так вознести Северянина. С этого момента и пошла его всероссийская фантастическая слава.

— Впрочем, — заканчивает Георгий Иванов, — я не уверен, что это не апокриф. Я тогда еще не был знаком с Северяниным. При мне он никогда не вспоминал об

этом. Он считал, что своей славой он обязан исключительно себе самому, и с полной самоуверенностью заявил:

Я год тому сказал: я буду.  
Год отсверкал. И вот  
я есть!..

— Я — гений Игорь Северянин, своей победой упоен, — подхватывает Пильский и поднимает стакан. — Выпьем за Игоря Северянина! Может быть, еще и настанет его час. Как знать, кто в будущем станет знаменитым, а кто исчезнет без следа. Ведь современники Пушкина считали Бенедиктова равным ему...

— И, — перебивает Пильского Георгий Иванов, — кто мог думать, что Гумилев так посмертно прославится?

Пильский кивает.

— Давайте пошлем ему коллективное письмо с дружеским приветом.

— Что вы, что вы, Петр Моисеевич! — хватаясь за голову, вскрикивает Мильруд. — Угробить меня хотите? Ведь Северянин в ответ начнет забрасывать меня ворахами своих стихов, и тогда уже его никакими силами не уймешь.

Все, в том числе и я, смеются.

Пильский притворно-горестно вздыхает:

— Раз в жизни хотел доброе дело сделать — и то не удалось! Но вы, Михаил Семенович, пожалуй, правы, со своей точки зрения. Аннулирую свое предложение. Точка!

— А я, — торжественно провозглашает Георгий Иванов, — предлагаю тост за посмертную славу Игоря Северянина. Ведь, несмотря ни на что, он все-таки настоящий поэт, и будущие читатели, возможно, поймут это.

И все чокаются и пьют за Северянина, как на поминках.

\* \* \*

Я заканчиваю укладку чемоданов. Завтра утром я уезжаю в санаторию в Браунлаге, в Гарце.

Я уже провела в ней две недели перед Рождеством, бегала на лыжах, съезжала с гор на санках и даже побывала на Брокене, где чувствовала себя почти ведьмой.

В санатории жить приятно и весело. Я очень рада,



что еду на целый месяц и хорошенько отдохну от беспрерывных берлинских развлечений.

Телефон на моем ночном столике звонит. Это Оцуп. Он зовет меня обедать. А после обеда танцевать.

Мы все очень часто танцуем во всяких «дилях» и дансингах. Оцуп даже возил меня в «Академию современного танца», где седовласый Андрей Белый, сосредоточенно нахмурив лоб и скосив глаза, старательно изучал шимми и тустеп, находя в этом, казалось бы, легкомысленном времяпрепровождении ему одному открывающиеся поля метафизики.

— Я уж собираюсь ложиться, — говорю я в телефонную трубку. — Я ведь завтра утром...

Но он перебивает меня:

— Знаю, знаю. А пообедать все же совершенно необходимо. И проститься тоже необходимо, ведь — «Кто может знать при слове расставанье, какая нам разлука предстоит?» Танцы — те действительно лучше отложить до вашего возвращения. Я буду у вас через десять минут. Согласны?

И я соглашаюсь.

Оцуп появляется у меня ровно через десять минут — он, как всегда, удивительно точен.

Это совсем не тот Оцуп, что в Петербурге — в высоких ярко-желтых сапогах, с всегдашним большим портфелем под мышкой. От комиссарского вида и помина не осталось.

В Берлине он превратился в элегантного, преуспевающего в делах «шибера»<sup>1</sup>. Хотя у него с «шибером», как и с комиссаром, ничего общего нет. Он похож на картинку модного журнала в своем коротком пальто, в костюме оливкового цвета и остроносых, плоских башмаках. Даже голос и манеры у него изменились. Только самодовольство все то же.

В Берлине ему живется «вольготно и привольно». Его брат, тот самый, что работал в Шведском Красном Кресте, и здесь отлично устроился и широко помогает ему.

— Такси ждет внизу, — сообщает он, наскоро поздоровавшись со мной.

И вот мы у Ферстера, в знаменитом русском ресторане тех баснословных лет, — месте встреч всех эмигрантов.

Тут, как всегда, шумно и многолюдно. Метрдотель ведет нас к свободному столику. Но мы не успеваем

---

<sup>1</sup> спекулянт (от нем. Schieber).

дойти до него. От длинного стола, уставленного никелированными ведрами и бутылками — за ним явно «кутит», а не обедает голосистая компания, — вдруг, с треском отбросив и уронив стул, вскакивает светловолосый молодой человек, стриженный под скобку.

Он бросается к нам, хватая руку Оцупа и трясет ее.

— Оцуп! И вы тут! Вот здорово! — звонко приветствует он его. — Идем, идем скорей к нам. С девушкой вашей, идем!

Оцуп, несмотря на всю свою самоуверенность, совершенно теряется под этим бурным натиском.

— Здравствуйте, Сергей Александрович. Э... э... э... — тянет он, как всегда в минуты сомнения и нерешительности. — Мы, собственно, хотели... э... э... э... пообедать. — И, уже овладев собой, более уверенно: — Рад вас видеть, Есенин!

Так вот это кто, — вот он какой, неистовый скандалист Есенин. И правда, какой он напористый, налетающий, как вихрь, как смерч. Попадись такому — голову оторвет!

Рука Есенина, выпустив руку Оцупа, описывает полукруг и властно берет меня за локоть:

— Идем!

И он, завладев моим локтем, уже ведет меня к своему столу. Оцуп идет за нами, невнятно бормоча не то протест, не то согласие.

Сидящие за столом с любопытством уставляются на нас с Оцупом.

— Будьте знакомы! — звонко выкрикивает Есенин. — Это Оцуп! Николай Оцуп, цеховщик и стихотворных дел мастер. А эта девушка, — кивок светловолосой головы в мою сторону, — не знаю, кто такая. Впервые вижу.

— Ирина Одоевцева! — вместо меня громко отвечает Оцуп.

Есенин широким взмахом руки указывает на всех сидящих за столом.

— А это моя кувырк-коллегия. *Nomina sunt odiosa*<sup>1</sup>. Да настоящих имен среди них еще и нет. Но со временем, как нас учили, все они — так или иначе — прославятся. В разных областях, конечно, кто в литературной, а кто в уголовной.

Он садится на кем-то услужливо пододвинутый ему стул и приказывает своему соседу:

— Сократись! Уступи место Ирине Одоевцевой! А

---

<sup>1</sup> Имена ненавистные, одиозные (лат.).

вы, Оцуп, не девушка — сами устраивайтесь и заказывайте все, что хотите, — бросает он Оцупу.

Я сижу рядом с Есениным. Все это произошло так быстро, что я не успела произнести ни одного слова.

— Вот вы какая, — говорит Есенин, в упор, внимательно разглядывая меня, как предмет, выставленный напоказ в витрине магазина. — Не думал, что вы такая.

Меня раздражает его бесцеремонное обращение со мной.

— Мне очень жаль, что я «не такая», — насмешливо говорю я. — Но ничего не поделаешь! Такая, как есть, а не другая.

Он добродушно смеется.

— Ну, жалеть-то тут не приходится. Скорее наоборот. Вы все об извозчиках и солдатах пишете. Я и полагал: мужеподобная, грубоватая. А на вас я как посмотрел, так и вспомнил свою же строчку: «О верю, верю, счастье есть».

Я смущаюсь, я чувствую себя обезоруженной. Я очень люблю комплименты. Все же я не сразу сдаюсь.

— Вы цитируете самого себя. Он n'est jamais aussi bien servi que par soi-même<sup>1</sup>. Так ведь?

Он как будто не замечает моего язвительного тона.

— Вы знаете, — доверчиво продолжает он, — мне кажется, мы с вами давным-давно знакомы.

— Конечно, — я киваю, — мы с вами встречались на углу Хеопсовой пирамиды. Отлично помню.

Он морщится.

— Бросьте, бросьте. Оставьте эти петербургские штучки вашим кислым эстеткам. Вам они совсем не к лицу. Так выражалась Ахматова, а злая оса Гиппиус, та еще сильнее жалила. Сколько они мне крови испортили! Потом, конечно, тоже были готовы хвостиками вилить, когда я прославился. А сначала все, кроме Блока и Городецкого, меня в штыки приняли. Особенно это воронье пугало, Гумилев. Холодом обдавали. Заморозить хотели.

Да, я знаю. В 1912 году Есенина действительно приняла более чем холодно, а ведь он — крестьянский самородок — приехал покорить Петербург! Как-то на каком-то чопорном приеме Гиппиус, наставив лорнет на его валенки, громко одобрила их: «Какие на вас интересные гетры!» Все присутствующие покатались со смеху.

Такие обиды не прощаются. И не забываются.

---

<sup>1</sup> Никто о тебе не позаботится так же хорошо, как ты сам (*фр.*).

— Очень мне обидно было и горько, — говорит он. — Ведь я был доверчив, наивен...

И он действительно смотрит на меня своими васильковыми глазами — доверчиво и наивно. В нем — что-то очень не по годам молодое, даже мальчишеское, совсем не вяжущееся с его репутацией.

Лакей уставляет стол передо мной всевозможными закусками. Но у меня пропал аппетит. Как всегда, когда мне очень интересно, мне есть не хочется.

Есенин наливает мне рюмку водки.

Я качаю головой.

— Не пью.

— Напрасно! Вам необходимо научиться. Водка помогает.

— От чего помогает?.. — спрашиваю я.

— От тоски. От скуки. Если бы не водка и вино, я уже давно смылся бы с этого света! Еще девушки, конечно! Влюбишься, и море по колено! Зато потом, как после пьянки, даже еще хуже. До ужаса отвратительно.

Он на минуту замолкает.

— Вот еще животные. Лошади, коровы, собаки. С ними я всегда, с самого детства, дружил. Вы хорошо сделали, что ввели свою обмызганную лошадь в рай. Крестьяне животных совсем не понимают. Как они грубы и жестоки с ними. Ужас! А я их всегда любил и жалел. Вдесять лет я еще ни с одной девушкой не целовался. Не знал, что такое любовь, а целуя коров в морду, просто дрожал от нежности и волнения. Ноздри мягкие и губы такие влажные, теплые, и глаза у них до чего красивые! И сейчас еще, когда женщина мне нравится, мне кажется, что у нее коровьи глаза. Такие большие, бездумные, печальные. Вот как у Айседоры. А шампанею, — перебивает он себя, — вы непременно должны выпить. За нашу встречу! Хоть один бокал.

И я чокаюсь с ним и пью.

Кругом шумят, но я слышу только то, что говорит Есенин. Я гляжу на него. Нет, я не могу поверить, что это тот самый хулиган-скандалист. Он так трогательно нежен. Он нежный, нежный, «нежности нежней!» Просто, по Маяковскому, «не мужчина, а облако в штанах». И до чего очарователен.

Ресторан совсем опустел. Пора уходить. Лакеи подают ему на тарелке сложенный счет с отогнутым уголком, в нем вписано многозначное число. Есенин обрывает на полуслове начатую фразу и, совершенно переменявшись, деловито и сосредоточенно начинает проверять счет.

— Э, нет, врешь! Не проведешь! Никакого омара никто не требовал. Не было омара! — заявляет он лакею.

— Извиняюсь. В конце стола тот господин, кажется, заказали-с, — оправдывается неуверенно лакей.

— Врешь! Шашлык они заказали-с, — отчеканивает Есенин, — шашлык-с! И он тут помечен. — Он достает из кармана карандаш и вычеркивает омара. — И шампаней не семь, а шесть бутылок. — Он снова вычеркивает что-то, затем усердно подсчитывает и, вынув из кармана пиджака толстую пачку кредиток, рассчитывается. Должно быть, он хорошо, даже очень хорошо, оставил на чай. И метрдотель, и лакеи провожают нас с поклонами.

Швейцар подает ему пальто необычайного фасона. Таких в Берлине никто не носит. Где только он раздобыл его? Он почему-то называет его «пальмерстон».

Он ухарски надевает шляпу набекрень. На его пушистой светловолосой голове шляпа, криво посаженная, кажется до смешного неуместной.

Он говорит:

— Айда! Едем в Аделон, к Айседоре! Она рада будет — заждалась меня. Едем! Не все, конечно. — И он начинает отбирать тех членов кувырк-коллегии, которых он удостоит чести взять с собой сегодня в Аделон, к Айседоре.

Мы едем в такси втроем. Я посередине, слева Оцуп, справа Есенин.

Они переговариваются через меня.

Есенин говорит:

— Как хорошо, что вы сегодня пришли к Ферстеру, ловко вышло. Я ведь и сам не собирался туда, хотел с Айседорой в какой-нибудь шикарный немецкий Weinstube<sup>1</sup> — она это любит — пообедать, да перед самым выходом поругался с ней. Часто мы с ней ругаемся. Вздорная баба, к тому же иностранная — не понимает меня, ни в грош не ставит.

— Может быть, тогда нам лучше к ней не ехать? Неудобно, раз она сердится, — начинает тянуть Оцуп.

— Вздор, — перебивает его Есенин. — Я вас только предупреждаю. Если она будет ерепениться и морду воротить, не обращайтесь внимания, а вклейте ей какой-нибудь комплимент позабористее по женской части. Сразу растает. Она ведь, в сущности, неплохая и даже очень милая иногда.

---

<sup>1</sup> ресторан, винный погребок (нем.).

У меня слегка шумит в голове от непривычного шампанского. Я смотрю, прищурившись, в окно такси на пустые унылые ночные улицы Берлина. От фонарей тянутся длинные, острые лучи, совсем как когда-то в детстве от лампадки.

— А ведь могли и не встретиться, — продолжает Есенин. — Теперь давайте каждый день видеться. Завтра с утра, то есть в час, приходите туда же к Ферстеру завтракать, а потом закатимся куда-нибудь за город, в «зеленое», как немцы говорят. Согласны? Идет?..

Это уже ко мне.

— Нет, — отвечаю я, — нет. Не идет. Завтра в девять часов утра я уезжаю в Браунлаге, в санаторию.

Он быстро наклоняется ко мне:

— То есть вы хотели ехать, но не поедете. Побоку поездку в санаторию. К черту ее. Отложите недели на две, пока я буду в Берлине.

Я качаю головой:

— Невозможно. Меня ждут. Я уже списалась, и комната мне оставлена.

Он пожимает плечами.

— Велика важность, подумай! Пошлем телеграмму с отказом, и все тут. Вот и Оцуп такого же мнения.

— Не совсем... э-э-э, — тянет Оцуп, — все же неудобно, раз решено. И Георгий Иванов...

— Ну, кто о муже думает, когда он в Париже. — Есенин берет меня за локоть. — Вы не можете уехать, раз я не хочу.

В темноте его светлые голубые глаза кажутся прозрачными. Я смотрю в них, как сквозь стекло, и мне кажется, что я действительно вижу — ему очень хочется, чтобы я осталась.

— Нет, — я вздыхаю, — к сожалению, не могу.

— Не можете? Правда? — переспрашивает он, растягивая слова. — А что вы скажете, если я сам приеду к вам, в вашу санаторию? Махну туда?

Я не могу скрыть своей радости!

— Я буду вас ждать! Приезжайте! Непременно приезжайте!

Он откидывает голову.

— Так, — произносит он, будто ставит точку, и, помолчав: — Только я не приеду. Не ждите. И даже письма вам не напишу. Скатертью дорога! Но вы когда-нибудь пожалеете. Да поздно будет.

Автомобиль останавливается.

Оцуп помогает мне выйти из него, Есенин расплачивается с шофером.

Мы входим в Аделон. Остальные члены кувырк-коллегии уже тут и ждут в холле, не решаясь без Есенина подняться к Айседоре.

Есенин окидывает их взглядом:

— Все тут? Ну, пошли, — командует он.

Он первый входит в широкий лифт, остальные за ним. Потом под его же предводительством, по обитому бобриком коридору все чинно, попарно следуют за ним.

Он останавливается перед одной из дверей и, не постучав, открывает ее и входит через прихожую в нарядную гостиную с большим роялем в углу.

— А вот и мы! — провозглашает он. — Принимай гостей, Айседора.

Айседора Дункан — я узнаю ее по портретам — сидит в глубоком кресле, обитом розовым шелком. На ней похожее на хитон сиреневое платье без рукавов. Светлые волосы уложены «улитками» на ушах. На плечах длинный шарф.

У нее бледное, ничего не выражающее, слегка опухшее лицо и какой-то неподвижный, отсутствующий взгляд.

— Эсенин, — не то с упреком, не то радостно вскрикивает она и сразу встает с кресла, разогнувшись, как спираль.

Есенин бросает прямо на ковер свой пальмерстон и садится в ее кресло, далеко протянув перед собой ноги в модных плоских ботинках «шимми».

Она с полуулыбкой поднимает его шляпу и пальто, вешает их в прихожей и любезно здоровается с Оцупом и со мной. Есенин не нашел нужным нас с ней познакомиться, но это, по-видимому, ее не удивляет.

Я смотрю на нее. Нет, она не такая, как ее описывали еще в Петербурге, — грузная, дряблая. Напротив, она стройна и похожа на статую. Не только телом, но и лицом. Кажется, что она, как статуя, смотрит — по Гегелю — не глазами, а всем телом.

Члены кувырк-коллегии, успевшие снять свои пальто в прихожей, скромно рассаживаются поодаль.

— Шампанею, — приказывает Есенин. — И чаю, кофе, конфет, фруктов. Живо. Ванька, тащи тальянку. Я буду частушки петь.

Лакей разносит чай, кофе, печенье, шампанское. Гости, присмирившие было, снова начинают шуметь.

Есенин, подыгрывая себе на гармонике, залихватски и ритмично выкрикивает слова частушек.

Ему бурно хлопают:

— Еще, Сережа, еще. Жарь! Жарь!

Весело? Нет, здесь совсем не весело. Не только не ве-

село, но как-то удивительно неуютно. И хотя в комнате тепло, кажется, что из завешенных розовыми бархатными шторами окон тянет сквозняком и сыростью. Что-то неблагоприятное в воздухе, и даже хрустальная люстра светится как-то истерически ярко среди дыма от папирос.

Есенин здесь совсем другой, чем там, в ресторане, в такси. В нем какое-то озорство и удаль, похожие на хулиганство. Ничего не осталось от его райской нежности и наивной доверчивости.

Айседора садится на диван, рядом со мной, и заводит разговор — о себе и обо мне. Очень женский, очень интимный разговор.

— Как хорошо, что с вами можно говорить по-английски. Ведь друзья Есенина ни слова, кроме как на своем языке, не знают. Это страшно тяжело. И надоело. Ах, до чего надоело! Он самовлюбленный эгоист, ревнивый, злой. Никогда не выходите замуж за поэта, — неожиданно советует она мне.

Я смеюсь:

— Я уже жена поэта.

Она неодобрительно качает головой:

— Пожалее, и как еще, об этом! Вот увидите. Поэты — отвратительные мужья и плохие любовники. Уж поверьте мне. Хуже даже, чем актеры, профессора, цирковые борцы и спортсмены. Недурны — военные и нотариусы. Но лучше всех — коммивояжеры. Вот это действительно любовники. — И она начинает восхвалять качества и достоинства коммивояжеров. — А поэты, — продолжает она, — о них и говорить не стоит — хлам! Одни словесные достижения. И большинство из них к тому же пьяницы, а алкоголь, как известно, враг любовных утех.

Есенин подходит к дивану, неуверенно ставя ноги, будто идет по скользкому льду. Пьян он или только притворяется? Его васильковые глаза неестественно блестят, точно стеклянные. Он тяжело садится рядом с Айседорой.

— Ну что, как у вас тут? Вздоры да уморы — бабьи разговоры? — насмешливо спрашивает он меня. — Жалуются на меня? А вы уши развесили? Так! Так! А лучше бы она сплясала. Любопытно, занято она пляшет. Спляши, Айседора! — обращается он уже не ко мне, а к ней. — Спляши, слышь! — Он резким движением сдергивает с ее плеч длинный шарф и протягивает его ей. — Ну, allez! go on!<sup>1</sup> Валяй!

---

<sup>1</sup> давай (фр.), продолжай (англ.).



Она, вся по-птичьи востепенувшись, растерянно смотрит на него.

— Пляши! — Уже не просит, а приказывает он. — Ай-да! Живо! Allez! — И он начинает наяривать на гармони-ке.

Она встает. Неужели она будет танцевать перед этой полупьяной кувырк-коллегией? И разве она может танцевать под эти ухарские, кабацкие раскаты?

Она прислушивается к ним, будто соображая что-то, потом, кивнув Есенину, выходит на середину комнаты какой-то развязной походкой.

Нет, это уже не статуя. Она преобразилась. Теперь она похожа на одну из тех уличных женщин, что «любовь продают за деньги». Она медленно движется по кругу, перебирая бедрами, подбоченясь левой рукой, а в правой держа свой длинный шарф, ритмически вздрагивающий под музыку, будто и он участвует в ее танце.

В каждом ее движении и в ней самой какая-то тяжелая, чувственная, вульгарная грация, какая-то бьющая через край, неудержимо влекущая к себе пьянящая женственность.

Темп все ускоряется. Шарф извивается и колыхается. И вот я вижу — да, ясно вижу, как он оживает, как шарф оживает и постепенно превращается в апаша. И вот она уже танцует не с шарфом, а с апашем.

Апаш, как и полагается, сильный, ловкий, грубый хулиган, хозяин и господин этой уличной женщины. Он, а не она, ведет этот кабацкий, акробатический танец, властно, с грубой животной требовательной страстью подчиняя ее себе, то сгибает ее до земли, то грубо прижимает к груди, и она всецело покоряется ему. Он ее господин, она его раба. Они кружатся все быстрее и быстрее...

Но вот его движения становятся менее грубыми. Он уже не сгибает ее до земли и как будто начинает терять власть над ней. Он уже не тот, что в начале танца.

Теперь уже не он, а она ведет танец, все более и более подчиняя его себе, заставляя его следовать за ней. Выпрямившись, она кружит его, ослабевшего и покорного, так, как она хочет. И вдруг резким и властным движением бросает апаша, сразу превратившегося снова в шарф, на пол и топчет его ногами.

Музыка сразу обрывается.

И вот женщина стоит, вся вытянувшись и высоко подняв голову, застыв в торжествующей победоносной позе.

Гром и грохот восторженных криков и аплодисмен-

тов. Один из членов кувырк-коллегии кидается перед ней на колени:

— Божественная, дивная Айседора! Мы, все мы недостойны даже ножку вашу целовать.. — И он в каком-то пьяном упоении действительно целует ковер под ее ногами.

Но она как будто даже не замечает его. Есенин смотрит на нее. По его искажившемуся лицу пробегает судорога.

— Стерва! Это она меня!.. — громко отчеканивает он.

Он подходит к столу, уставленному стаканами и никелированными ведрами с шампанским. Трясущейся рукой наливает себе шампанское, глотает его залпом и вдруг с перекосившимся, восторженно-яростным лицом бросает со всего размаха стакан о стену.

Звон разбитого стекла. Айседора по-детски хлопает в ладоши и смеется:

— It's for good luck!<sup>1</sup>

Есенин вторит ей лающим смехом:

— Правильно! В рот тебе гудлака с горохом! Что же вы, черти, не пьете, не поете: многая лета многолетней Айседоре, тудить ее в качель! Пляшите, пейте, пойте, черти! — кричит он хрипло и надрывно, наполняя стаканы. — И чтобы дым коромыслом, чтобы все ходуном ходило! Смотрите у меня!

Оцуп берет меня за локоть:

— Пора. Ведь вам завтра рано вставать. И вообще пора. Дальнейшего вам видеть не полагается.

Я согласна.

— Да, пора. Надо только проститься с ними.

— Нет, не надо, незачем, — решает Оцуп. — Начнут уговаривать, не пускать. Просто улизнем. Они и не заметят.

И они действительно не замечают.

Мы осторожно пробираемся в прихожую, находим свои пальто и шляпы и, стараясь не шуметь, закрываем за собой дверь, спускаемся в лифте.

Полутемный холл пуст.

На улице дождь. Швейцар с огромным красным зонтиком провожает нас до такси.

Я снова смотрю в окно такси на спящий ночной тоскливый Берлин. Мне начинает казаться, что я плачу, что не капли дождя стекают по стеклу окна такси, а слезы по моим щекам.

— Досадно, что Жоржа не было с нами, — говорит

---

<sup>1</sup> — Это на счастье! (англ.)

Оцуп, — удивительно забавный вечер. Просто необычайно удачный. А вы капризничали, не хотели ехать обедать.

— Я лучше бы не ездила, — быстро говорю я. — Я радовалась, что завтра вечером буду в санатории, а теперь мне так грустно. И все отвратительно. Господи, до чего грустно и отвратительно!

— Что с вами? — удивленно спрашивает Оцуп. — Со всем на вас не похоже. С чего это вы раскисли? С одного стакана шампанского. Ведь я видел — вы только один стакан...

Неужели он не понимает? Не чувствует? Я вздыхаю:

— Бедный Есенин! Мне так жаль, так жаль его.

— Жаль его? — возмущенно переспрашивает он. — Жаль Есенина? Ну, это вы бросьте! Жалеть его абсолютно не за что. Редко кому, как ему, в жизни везет. Не по заслугам везет. Дарованьице у него маленькое, на грош, на полушку, а он всероссийскую славу, как жар-птицу, за хвост поймал, женился, пусть на старой, но все-таки мировой знаменитости и отправился в турне по Европе и Америкам. Лучше уж, раз у вас такие большие запасы жалости, пожалейте всех бедных, бездомных эмигрантов, да и тех, кто в России мучаются, а не счастливого Есенина, — уже с раздражением запальчиво заканчивает он.

Он ждет, что я начну с ним спорить.

Но я не спорю.

— Вы правы. Мне всех жалко. Господи, как жестока жизнь, как несчастны люди! Все без исключения. Особенно Есенин и она, Айседора. Ведь и ей очень тяжело...

Когда я вернулась из санатории, Есенин уже уехал в Америку.

Письма от него я так и не получила. Ведь он сказал мне, что не напишет. Но я почему-то все же думала, что он вспомнит обо мне, вспомнит и напишет.

Мне почему-то казалось, что мы еще непременно встретимся. Не сейчас, так когда-нибудь потом. Но встретимся непременно.

И только когда до Парижа дошло известие о самоубийстве Есенина и мне стало ясно, что другой встречи с ним у меня никогда не будет, я заплакала, будто потеряла близкого друга.

Мы приехали в Париж в самое неудачное время — в августе месяце. Почти все магазины были закрыты. В то время каникул для рабочих еще не существовало, и толпа на улицах была серая. Все элегантные люди уезжали в отпуск, отдыхать на курорты в горы. С прелестью и очарованием Парижа я познакомилась позже. Я целыми днями бегала по музеям до тошноты, до головной боли. Я побывала в Лувре и Люксембургском дворце, ездила в Версаль и Мальмезон. Но толком ничего не видела. Но на Эйфелеву башню я поехала только тогда, когда мои знакомые «американцы русского происхождения» приехали осматривать Париж. Эйфелева башня меня не удивила, и я не понимаю до сих пор их восторга этой эмблемой Парижа. С целой толпой туристов мы поднимались на нее. Впечатление было слабое. Но мне тогда вспомнилась история, рассказанная Адамовичем. Он во время революции возвращался из Старой Руссы. Вагон был набит — как сельди в бочке! В публике, сидевшей в вагоне, находилась старушка, из бывших, как говорится, буржуев. Она вдруг забеспокоилась и стала ерзать на месте: «Товарищи, пропустите, — взмолилась она. — У меня разболелся живот, мне надо выйти...» Но в ответ раздался хохот. «Где же тут выйдешь? Придумала тоже, по головам, что ли?» Но она не унималась и умоляла ее пропустить. Любезные красноармейцы предложили ей: «А мы тебя, бабушка, возьмем за ноги и за руки и вывесим в окно». Она пришла в ужас, но делать нечего, согласилась. Под общий гогот и отпускаемые шуточки. Потом, когда ее снова посадили на место, она, сидя красная, как вареный рак, закрывала лицо руками. И вдруг воскликнула: «Господи, и это со мной, какой позор. И это со мной, которая видела Эйфелеву башню».

Мы приехали с отцом и поселились очень неудачно, в огромном мрачном отеле без лифта. Знакомая моего отца говорила, что это один из лучших отелей. Но мне, привыкшей к берлинским элегантным пансионатам, такая жизнь показалась совсем невозможной. Обедать мы ходили в огромный ресторан, неуютный и тусклый. Я обычно обедала в лучших ресторанах. Мы гуляли по бульварам. В 11 часов все уже было закрыто. На улицах было темно. Открыто было только небольшое казино. Все театры закрыты. Работал лишь маленький «Пти-ка-

зино», в котором когда-то подвизался Майоль. Но больших звезд не было, пойти было некуда, смотреть и слушать было некого.

К тому же в первую нашу ночь после приезда треснуло большое каминное зеркало, и хозяин хотел предъявить нам иск. Мы его убеждали, что так, сверху донизу, оно по нашей вине треснуть не могло, и он наконец с нами согласился. Но впечатление все это на меня произвело тяжелое и угнетающее, как предчувствие будущей жизни. А суеверный Георгий Иванов был попросту потрясен. Шум на улицах не давал нам спать. Все было не так, как мы ожидали.

Ту зиму, зиму 1925—1926 года, мы с Георгием Ивановым проводили в Ницце.

Из Парижа Георгий Адамович писал нам, что он постоянно бывает у Мережковских и что они, как когда-то в Петербурге, возобновили свои «воскресенья», игравшие немалую роль в дореволюционной литературной жизни.

Я еще в детстве увлекалась трилогией Мережковского — «Петром и Алексеем», «Юлианом Отступником» и особенно «Леонардо да Винчи». Читала я и «Александр Первый», «Гоголь и черт», «Толстой и Достоевский». Видела на сцене и «Павла I», до революции находившегося под запретом.

Знала я, конечно, и стихи Зинаиды Гиппиус. Они мне не очень нравились своей рассудочностью и, главное, тем, что она писала о себе в мужском, а не в женском роде.

Все же я знала наизусть два ее стихотворения. Первое очень любил Блок:

Окно мое высоко над землей,  
Высоко над землей.  
Я вижу только небо с вечернею зарей,  
С вечернею зарей —

с его качающимся ритмом, с его редко свойственной Гиппиус музыкальностью и неожиданно прелестным концом, таким характерным для всегда и всем недовольной Гиппиус:

Мне нужно то, чего нет на свете,  
Чего нет на свете.

И второе:

Единый раз вскипает пена  
И рассыпается волна.  
Не может сердце жить изменой,  
Измены нет — любовь одна...

Читала я, конечно, и Антона Крайнего (псевдоним Гиппиус), беспощадного критика, ведущего суд и расправу над современной прозой и поэзией.

Антон Крайнего боялись не меньше, чем самого Брюсова. Приговоры его были убийственны. Критические статьи его пестрели определениями вроде «рыжая бездарность», «идиот», «недоносок», «кретин» и тому подобными вежливыми характеристиками писателей.

На похвалы Антон Крайний был чрезвычайно скуп. Даже о «Стихах о Прекрасной Даме» Блока он отозвался более чем сдержанно.

О Зинаиде Гиппиус в Петербурге ходили всевозможные легенды, как, впрочем, обо всех знаменитых писателях и писательницах.

Рассказывали, что она выходила на сцену в белом хитоне с распущенными длинными рыжими волосами, держа лилию в руках, и молитвенно произносила:

Я сам себя люблю, как Бога.

Рассказывали, что она требует, чтобы все ее бесчисленные поклонники, те, что женаты, отдавали ей свои обручальные кольца, и что она нанизывала их на цепочку, висевшую в изголовье ее кровати.

Видела я и прославленный портрет Бакста, где она изображена в черном трико, казавшемся в те далекие годы фантастически неприличным и скандальным.

Мне не раз в Петербурге приходилось слышать во время моих чтений стихов восхищенные восклицания пожилых представительниц художественной богемы:

— Совсем наша Зина!

Хотя, судя по ее портрету, я ничем не была похожа на нее.

О Мережковском я знала, что он всемирно знаменит, дома ходит в ночных туфлях с помпонами, пишет четыре часа в день, каждый день, что бы ни случилось, а остальное время проводит в бесконечных дискуссиях с Розановым, Булгаковым, а главное — с Философовым и Зинаидой Гиппиус.

Адамович писал нам, что З.Н.Гиппиус выразила желание познакомиться с Георгием Ивановым и мной, и мы, недолго думая, собрались и приехали в Париж.

И вот мы на 11-бис, рю Колонель Боннэ, у Мережковских.

Вполне буржуазный дом, вполне буржуазная, хотя и очень скромная и безвкусно обставленная, квартира с многотомной библиотекой. Мережковский всегда и всюду первым делом обзаводился библиотекой. Он не мог и дня прожить без книг. В разговоре он постоянно цитировал древних и средневековых авторов. Его недаром называли «полководцем цитат».

Квартира была снята Мережковским еще задолго до войны, чтобы во время приездов в Париж не приходилось — «Ведь это так неудобно» — жить в отеле. «И как она теперь пригодилась! Ведь в Париже квартирный кризис. Что бы мы стали делать, если бы у нас ее не было?»

Чаепитие почему-то происходит в это воскресенье не в столовой, а в смежной с нею гостиной, за небольшим столом. Гости сидят вокруг него двойным кольцом.

Адамович представляет Георгия Иванова и меня Зинаиде Николаевне Гиппиус. Она, улыбаясь, подает мне правую руку, а в левой держит лорнет и в упор разглядывает нас через него — попеременно — то меня, то Георгия Иванова.

Я ежусь. Под ее пристальным, изучающим взглядом я чувствую себя жучком или мухой под микроскопом — очень неуютно.

Мережковский, здороваясь с нами, рассеянно оглядывает нас и продолжает свои рассуждения об Атлантиде.

Злобин, играющий одновременно роль секретаря Мережковского и роль *jeune fille de la maison*<sup>1</sup>, находит для меня место за столом и приносит мне чашку чая.

Зинаида Николаевна усаживает Георгия Иванова возле себя с правого, слышащего уха и, не обращая внимания на общий разговор, подвергает его перекрестному вопросу-допросу: «что, как и зачем, а если нет — то почему?», стараясь выпытать у него, «интересуется ли он интересным».

Оказывается — интересуется. Если не всем, то все же главным — спасением России и поэзией.

Я смотрю на Зинаиду Николаевну. Она все еще вре-

---

<sup>1</sup> девушка в доме (фр.).

мя от времени наводит на меня стекла своей лорнетки. Я знаю, что она очень близорука, но меня все же удивляет это бесцеремонное разглядывание. Удивляет и смущает, но не обижает. Обижаться было бы неуместно. Обижаться не полагается.

Нет, она совсем не похожа ни на портрет Бакста, ни на воображаемый портрет, созданный мною по рассказам о ней. И она ничем не похожа на меня. Абсолютно ничем. И слава Богу!

Впрочем, одним она все же схожа со своим воображаемым портретом — страстным желанием нравиться, «будить повсюду восхищение», сквозящим в каждом ее жесте, в каждом слове, лениво и капризно произносимом ею.

Да, она могла снимать с рук своих поклонников обручальные кольца.

Я спрашиваю себя: уж не потребует ли она и у Георгия Иванова его обручальное кольцо?

Но как мог Блок называть ее «зеленоглазой наядой»? «Женщина — безумная гордячка» — еще и сейчас правильно сказано о ней. Но «зеленоглазая наяда»... Как он мог?..

У нее мутно-болотистые, бесцветные глаза. Лицо без рельефа. Плоский лоб. Довольно большой нос. Узкие, кривящиеся губы... Она очень сильно набелена и нарумянена. Морковно-красные волосы, явно выкрашенные хной, уложены в замысловатую, старомодную прическу с шиньоном. Волос чересчур много. Должно быть, большая часть их фальшивые.

Но я ошибаюсь. Волосы, как я потом узнала, все ее собственные. Она до последних дней сохранила длинные густые волосы и любила распускать их и хвастаться ими.

На ней пестрое платье какого-то небывалого фасона, пестрое до ломоты в глазах. И, будто этой пестроты ей еще мало, на груди большая ярко-зеленая роза и кораллово-красная ленточка на шее.

Я разочарованно гляжу на нее. В ней что-то неестественное, даже немного жуткое. Она чем-то — не знаю чем — о, только не красотой — смутно напоминает мне Панночку «Вия».

Но, может быть, я несправедлива к ней и слишком строга?

У нее тонкие ноги в узеньких, остроносых, бронзовых туфельках и стройная, изящная фигура.

Может быть, надо только привыкнуть к ее гриму, к ее маскарадному наряду, к ее жеманно-ленивой манерно-



сти и лорнету? Может быть, она действительно могла казаться когда-то «зеленоглазой наядой»?

Нет, я еще не могу правильно судить о ней. Я не доверяю первым впечатлениям. Я перевожу взгляд на сидящего рядом с ней Георгия Иванова, и по выражению его лица мне сразу становится ясно, что он-то уже подпал под ее шарм, что он уже покорен ею. А ведь он очень строго судит о людях, и понравиться ему трудно. Возможно, я ошибаюсь. И я действительно в тот день ошибалась, судя о ней. Никогда я так неправильно, так несправедливо не судила — ни о ком, как в ту первую встречу о Гиппиус.

Но смягчающее мою вину обстоятельство — ни у кого «внешнее» и «внутреннее» так не расходились и даже, казалось, не враждовали друг с другом.

Я видела всегда только ее внешнее. О ее внутреннем я ничего не знала и даже не догадывалась, какое оно...

Я перевожу взгляд на Мережковского. Он-то по крайней мере совсем, точь-в-точь, как мне его описывали — маленький, худой, сутулый до сгорбленности, с поразительно молодыми, живыми, зверино-зоркими глазами на старом лице, обрамленном интеллигентской бородкой.

Вот он встает. Ему понадобилась в разгаре спора, для цитаты, какая-то книга, и он мелкими, бесшумными шажками идет за ней в кабинет.

Да. Он совсем точь-в-точь такой. Для полного сходства не хватает только помпонов на синих войлочных туфлях. Но где в Париже найти туфли с помпонами?

Он возвращается, держа раскрытую книгу в руках и убедительно произнося непонятную мне греческую цитату.

Он весь сверкает и горит вдохновеньем. Слова его пенятся, плещут и льются водопадом. Я за всю жизнь не встречала никого, умеющего так говорить и импровизировать.

Никого, за исключением Андрея Белого, тоже рассыпавшегося блесками, искрами и брызгами в яростном водовороте слов и образов, — он, как на качелях, взлетающий на доказательствах, рушившийся в бездну отрицания и закруживающий, как на карусели, слушателя до отупения, до головокружения, до невозможности спорить, до безоговорочного принятия всего и согласия со всем, что с неистовым красноречием утверждает Андрей Белый.

Впрочем, у Мережковского была черта, отсутствовавшая у Андрея Белого, — умение концентрироваться и постоянное, никогда не ослабевающее устремление

всех мыслей и воли к одной цели: к созданию Царства Духа, к преображению души.

Сейчас он спорит с чисто юношеской запальчивостью и жаром о дате смерти какого-то неизвестного мне фараона с сидящим рядом с ним худошавым брюнетом — с Юрием Терапиано, как мне услужливо сообщает устроившийся во втором круге за моей спиной очень длинный и длинноволосый, седеющий молодой поэт Антонин Ладинский, как он мне представился, по-военному щелкнув каблуками.

Здесь, за исключением Адамовича и Оцупа, Георгия Иванова и меня, почти все «молодые поэты». Молодые не столь годами, как творчеством. Все они начали печатать свои стихи уже в эмиграции.

Всех их я вижу впервые. Я обвожу их взглядом, переиспытывая с одного незнакомого лица на другое, запоминаю лишь какую-нибудь деталь — серьезный, сосредоточенный вид Терапиано, красивые глаза Мамченко под резко очерченными темными бровями, энергичное, жизнерадостное выражение лица Кнута, очки Злобина, горделиво закинутую пышноволосую голову Бахтина.

Все они, вместе с Гиппиус и Мережковским, Адамовичем и Оцупом, сливаются в одну картину. Ее надо непременно запомнить. Ее нельзя забыть. Ведь это одно из самых интересных и значительных событий, что сейчас происходят в эмиграции, — «воскресенье» на рю Колонель Боннэ.

Зинаида Николаевна уже перестала наводить на меня лорнет. Она подносит чашку кофе к губам, прислушиваясь к тому, что говорит Мережковский.

Перед ней стоит маленький кофейник. Пить кофе полагается только ей одной. Остальные, независимо от их вкусов, о которых никто не осведомляется, довольствуются чаем.

— Нет, Димитрий. Я не согласна! — вдруг громко, капризным тоном заявляет она, прерывая страстную тираду Мережковского.

«Я не согласна» — фраза, наиболее часто — кстати или не совсем кстати — произносимая ею. Утилитарная, ширпотребная фраза, паспарту. Ее разговоры часто начинаются именно с нее: «Я не согласна с Эйнштейном!» Или — с Бергсоном! Или — с Алдановым! Или — со Степуном!

Иногда, по глухоте — она из кокетства старается скрывать ее, — не расслышав, о чем спрашивают, отвечает: «А я не согласна!..»

И чаще всего ее ответ производит магическое действие.

Так, например, молодой поэт, робея и смущаясь, задает ей вопрос:

— Зинаида Николаевна, вы читали мои стихи в «Звезде»?

И она роняет капризно-кокетливо:

— Нет. Я не согласна.

Спрашивающий в смущении замолкает. Стихи его, должно быть, не понравились Зинаиде Николаевне, неизвестно почему. Но не стоит настаивать. Ведь она любит повторять афоризм: «Если надо объяснять, то не надо объяснять». И он не решается требовать объяснений.

Сейчас я впервые слышу от нее ее знаменитый протест, о котором мне когда-то рассказывал еще Гумилев в Петербурге.

Я вся превращаюсь в слух. Я хочу знать, с чем она, собственно, не согласна, мне хочется услышать парадоксальные выводы и доводы ее блестящего, острого, неженского ума.

Нет, все-таки женского — ведь ведьма — женщина. Троицкий писал когда-то: «Я не верю в существование нечистой силы (цитирую по памяти). Не верю ни в чертей, ни в ведьм. Впрочем, все-таки в существование ведьм верю, — вспомнил Зинаиду Гиппиус». И тут же отдает дань ее исключительному уму.

Но послушать Зинаиду Николаевну мне в тот день не удается.

Ко мне близко наклоняется сидящий за мной Антонин Ладинский и шепчет мне в самое ухо:

— Какой ваш любимый цветок?

Я поворачиваюсь и чуть не стукаюсь лбом о его лоб.

— Что?

— Какой ваш любимый цветок? — повторяет он. — Я уверен, что роза. Правда? Я угадал?

Переход от рассуждений об Атлантиде к любимому цветку так неожиданно фантастичен, что я с трудом удерживаю смех.

А он, наклонившись ко мне, ждет моего ответа.

Верно, он, глядя на меня, подумал: «Бедненькая, сидит, молчит и скучает, слушая непонятное. Надо ее занять подходящим разговором», — и, как телеграфист, гуляющий по железнодорожной платформе со станционной барышней, задал мне галантный, доступный моему пониманию вопрос.

Я киваю.

— Вы правильно угадали — роза!

Он широко улыбается, прикрывая рот характерным жестом, и произносит:

— Я был уверен. Вы сами похожи на белую розу!

Я не успеваю поблагодарить его за такой оригинальный комплимент.

Зинаида Николаевна встает, и все за ней. Прием окончен. Шум отодвигающихся стульев. Все подходят прощаться с Зинаидой Николаевной. Подхожу и я.

— Надеюсь, вы будете постоянно бывать у нас. Каждое воскресенье, — любезно и капризно тянет она. — С вашим мужем мы уже сговорились. Он обещал. А вы?

И я, краснея от удовольствия:

— Обещаю, Зинаида Николаевна.

Да, я тогда, в то первое «воскресенье» у Мережковских, еще не могла правильно судить о Зинаиде Гиппиус.

Я многое в ней не разглядела и не поняла. Я не разглядела даже, что у ее лорнетки не два, как полагается, а только одно стекло, что это не лорнетка, а единственный в своем роде предмет — монокль на ручке, должно быть, сделанный по особому заказу.

В те далекие годы монокли еще были в ходу — их носили изящные старики и снобистские молодые люди. Но, конечно, не дамы. Дама в монокле или с моноклем была совершенно немыслима.

Но, как почти всегда, действительность оказалась более фантастичной, чем фантазия. Зинаида Николаевна носила монокль. Правда, она носила его исключительно на улице, вставляя его в левый глаз перед зеркалом, в прихожей, перед тем как надеть перчатки.

Гиппиус и Мережковский представляли собой на улице совершенно необычайное зрелище.

Как известно, парижан редко чем можно удивить. Они равнодушно смотрят на китайцев с длинной косой — тогда такие китайцы еще встречались, — на восточных людей в тюрбанах, на японок в вышитых хризантемами кимоно, с трехъярусными прическами, на магарадж и прочих.

Но на идущих под руку по улицам Пасси Гиппиус и Мережковский редко кто не оборачивался и, остановившись, не глядел им вслед.

Я и сама, встретив их впервые, не смогла не остановиться, пораженная их видом.

Они шли под руку — вернее, Мережковский, почти переломившись пополам, беспомощный и какой-то потерянный, не только опирался на руку Гиппиус, но прямо висел на ней. Гиппиус же, в широкополой шля-

пе, замысловатого, совершенно немодного фасона — тогда носили маленькие «клоши»<sup>1</sup>, надвинутые до бровей, — с моноклем в глазу, держалась преувеличенно прямо, высоко подняв голову. При солнечном свете белила и румяна еще резче выступали на ее лице. На ее плечах неизменно лежала рыжая лисица, украшенная розой, а после визита Мережковских к королю Александру Сербскому — орденом Саввы II степени.

Король Александр Сербский пожаловал Гиппиус Савву II степени, а Мережковскому того же Савву, но I степени, что ею было принято не без некоторой обиды. Мережковский, впрочем, никогда о своем Савве I степени не вспоминал и никогда не надевал его, не в пример Зинаиде Николаевне, не расстававшейся со своим орденом, как с любимой игрушкой.

Они ежедневно обходили небольшую часть Булонского леса, называемую Парк де ля Мюэтт, а потом, тоже по раз навсегда заведенному ритуалу, шли пить кофе в кафе на площади, садясь всегда за один и тот же столик.

В кафе их хорошо знали. Не только гарсоны, но и постоянные посетители. Знали, что это *deux grands écrivains russes*<sup>2</sup>, и к ним относились с должным уважением.

И во время прогулки, и в кафе они говорили не умолкая. Они всегда находили интересную для них тему и горячо обсуждали события двадцатилетней давности и происшествия сегодняшнего дня. Они как будто не чувствовали ни «груза времени», ни даже границ между жизнью и смертью. О живых и мертвых они говорили совершенно одинаково. Для них мертвые, наравне с живыми, действовали и участвовали в их беседах.

— Нет-нет, — повторяла Зинаида Николаевна, — я не согласна с Яковом Петровичем. Ему кажется, что он всегда прав и что он пишет хорошо. А по-моему —

Писатель, если только он  
Есть нерв великого народа —

просто плохо. Почему писатель должен быть нервом народа? И какой такой «нерв народа»? Один нерв?.. И дальше: что это значит? —

Не может быть не поражен,  
Когда поражена свобода.

---

<sup>1</sup> «колокол» (от *фр. cloche*).

<sup>2</sup> два больших русских писателя (*фр.*).

Поражен — удивлен? Или поражен — от поражения — то есть не понести поражения? — И, пожимая капризно плечами: — Не понимаю. И понимать не хочу. А Яков Петрович спорит. Он ведь всегда доволен собой, «своим обедом и женой».

Она говорит «спорит», а не «спорил». Спорил больше чем тридцать лет тому назад. Но для Зинаиды Николаевны Полонский не умирал, он по-прежнему ее собеседник. И с ним, как и с другими, игравшими какую-нибудь роль в ее жизни, встреченными ею на длинном жизненном пути, она продолжает споры-разговоры.

С того первого нашего «воскресенья» я бывала на 11-бис, Колонель Боннэ, почти каждое воскресенье. Зинаида Николаевна очень подружилась с Георгием Ивановым. Она часто приглашала его к себе вечером и просиживала с ним до «глубины ночи», с глазу на глаз, и он ни разу не отказался навестить ее. Даже когда я бывала больна и он никуда из дома не выходил, для Зинаиды Николаевны он делал исключение.

Правда, мне и в голову не приходило попросить его не ходить к ней. Я знала, что эти вечерние посещения доставляют ему большое удовольствие.

Мережковские вели размеренную, по часам, жизнь. Зинаида Николаевна ложилась поздно, проводя полночи в писании писем, дневника, стихов, рассказов и статей, и вставала очень поздно. Ее утро было занято «обрядностями туалета». К ним она относилась крайне серьезно и добросовестно, никогда не забывая произвести над своим лицом все то, что могло «*gêner de l'âge l'irréparable outrage*»<sup>1</sup>.

Она выходила из своей комнаты только к завтраку, уже вполне одетая, причесанная, подкрашенная и подтянутая.

Мережковский ложился рано, вставал рано и работал все утро до завтрака.

После завтрака они шли гулять в любую погоду — в холод и дождь, считая прогулку не менее необходимой, чем сон и пищу.

Они оба курили. Но не больше раз навсегда положенного числа папирос и только после завтрака. О лечении и гигиене у них были свои особые, довольно странные понятия.

Так, например, на мой совет поехать летом в Виттель или в Виши Мережковский в ужасе замахал на меня руками:

---

<sup>1</sup> «обратить вспять необратимое время» (фр.).

— Бога побойтесь. Смерти вы нашей хотите, что ли? Минеральная вода — яд!

И Зинаида Николаевна поддержала его:

— Лучше уж, чем минеральную воду, скипидар пить, как Владимир Соловьев. — И тут же пояснила: — Владимир Соловьев пил скипидар, чтобы избавиться от чертей. Он был уверен, что черти не выносят запаха скипидара и не заберутся к нему в рот. — Зинаида Николаевна подняла свой лорнет-монокль к глазам и, полюбовавшись произведенным впечатлением, продолжала: — Но и скипидар не помог. Только смерть его ускорил. А черти преследовали его по-прежнему. Правда, мне, как я ни старалась, не удалось их увидеть, хоть мне и очень хотелось...

Ларошфуко в своих «Максимах» утверждает, что «существуют хорошие браки, но восхитительных браков не бывает». И это, к сожалению, правильно. В особенности у нас, русских, и особенно в художественных и литературных кругах.

Тэффи, «великая умница-остроумница», как ее называл Бунин, со свойственным ей юмором прерывала надоевшие ей политические споры, без которых не обходился ни один эмигрантский обед:

— Довольно! Теперь займемся очередными литературными делами, поговорим о романах, о том, кто с кем разводится, кто на ком собирается жениться и кто кому с кем изменяет.

И действительно, среди писателей почти не существовало ни одной супружеской пары, не разведившейся, не вступавшей по нескольку раз в новый брак. Даже Михаил Осоргин, героически решившийся перейти, для женитьбы на Рахили Григорьевне, в еврейство, и тот не выдержал, не избежал общей участи — развода.

Но брак Гиппиус—Мережковский опровергает утверждение Ларошфуко. Это был поистине «восхитительный брак».

Вернувшись из Италии, куда они ездили по приглашению Муссолини, Зинаида Николаевна на одном из «воскресений», делясь своими «итальянскими впечатлениями», рассказывала между прочим и о мелких, неизбежных неприятностях. О том, как они забыли в Риме ключи от своих чемоданов и обнаружили это, только приехав уже не помню в какой город:

— Так досадно и глупо. Так утомительно. Нам пришлось возвратиться в Рим. И сколько денег стоило.туда и обратно два билета в спальном вагоне.

— Но почему же не поехал Димитрий Сергеевич один? Почему вы, Зинаида Николаевна, тоже ездили? — недоумевали слушатели.

Она только плечами пожимала.

— Ну нет! Совершенно невозможно. Немыслимо! Чтобы мы хоть одну ночь провели не вместе? Этого за всю нашу жизнь не было. И надеюсь, никогда не будет.

Они так до самой смерти Димитрия Сергеевича и прожили, не расставаясь ни на один день, ни на одну ночь. И продолжали любить друг друга никогда не ослабевающей любовью. Они никогда не знали скуки, разрушающей самые лучшие браки. Им никогда не было скучно вдвоем. Они сумели сохранить каждый свою индивидуальность, не поддаться влиянию друг друга. Они были далеки от стереотипной, идеальной супружеской пары, смотрящей на все одними глазами и высказывающей обо всем одно и то же мнение. Они были «идеальной парой», но по-своему. Неповторимой идеальной парой. Они дополняли друг друга. Каждый из них оставался сам собой. Но в их союзе они как будто переменились ролями — Гиппиус являлась мужским началом, а Мережковский — женским. В ней было много М — по Вейнингеру, а в нем доминировало Ж. Она представляла собой логику, он — интуицию.

Они вели непрерывно дискуссии и споры, опровергая друг друга. Со стороны это казалось чрезвычайно странным. В особенности, когда эти споры происходили на собраниях «Зеленой лампы».

Зинаида Николаевна, всегда усаживавшаяся на эстраду рядом с выступавшим Мережковским, чтобы чего-нибудь не пропустить, не недослышать, вдруг прерывала его речь капризами:

— Нет, я не согласна, Димитрий. Ты ошибаешься. Это совсем не так! — После чего сразу же закипала яростная словесная дуэль, оба противника скрещивали шпаги и наносили друг другу искусные и жестокие удары.

Слушатели замирали от изумления. Некоторые из них даже считали, что это подстроено, что это «трюк» для придачи занимательности выступлениям Мережковского. Разве можно поверить, что Мережковский публично ссорится с Гиппиус? И чем же это кончится, если это не подстроено? Чем?..

А кончалось это обычно так же неожиданно, как и начиналось. Высказав с предельной резкостью все свои доводы, Мережковский сразу превращался в любящего



мужа, нежно и заботливо брал Гиппиус под руку, помогая ей сойти с эстрады:

— Осторожно, Зина, ступенька. Не оступись! — подводил ее к месту в первом ряду, усаживал ее и бережно поправлял лисицу, спустившуюся с ее плеча, осведомляясь: — Тебе не холодно? Не дует, Зина? Не принести ли тебе шубку? Не простудись.

И она, улыбаясь, благодарила его:

— Нет, хорошо. Спасибо, Димитрий, — и приготовлялась слушать следующего оратора.

Заседания «Зеленой лампы»...

«Зеленая лампа», безусловно, одно из замечательнейших явлений довоенной эмиграции.

Она была задумана на «воскресеньях» на 11-бис, Колонель Боннэ, с каждой неделей становившихся все более интересными и многолюдными. Теперь на «воскресеньях» бывали уже и Ходасевич с Ниной Берберовой, и Фондаминский, и Бунин, и Керенский, и Варшавский, и Шаршун, и Тэффи, и Шестов, и Бердяев... Кто только не посещал «воскресений»! Всех не перечечь.

На «воскресеньях» обсуждались общественные, политические, литературные и религиозные вопросы, чаще всего под свойственным Мережковскому «метафизическим углом зрения».

Отвергал Мережковский только разговоры, общепринятые за чайным столом, — о здоровье, о погоде и тому подобном, и немедленно пресекал их возмущенным возгласом:

— Обывательщина!

Вскоре выяснилось, что «воскресенья» становятся чем-то вроде «инкубатора идей», каким-то тайным обществом или заговором. И Мережковский, и Гиппиус, одержимые страстью «глаголом жечь сердца людей» и владеть их умами, решили расширить поле своей деятельности, перенести дебаты-дискуссии, в которых из столкновений мнений должна была рождаться истина, из их столовой на «общественную арену». Расширить круг «тайных заговорщиков», перебросить мост в толщу аморфной эмиграции и заставить ее приобщиться к истине.

Название «Зеленая лампа» напоминало о тайном кружке Всеволожского. В нем участвовал и Пушкин.

Теперь, через столько лет, мне кажется, что Мережковские мечтали создать что-то вроде Pugwash<sup>1</sup>, о котором столько пишут и говорят сейчас. Не интернациональный и не научный, а эмигрантский писатель-

<sup>1</sup> Пагуошское движение за мир, разоружение и международную безопасность.

ско-философско-религиозный. Как и нынешний *Pugwash*, являющийся некоей доброй, оккультной силой, «Зеленая лампа» должна была спасти если не весь мир, то по крайней мере Россию и ее филиал — эмиграцию.

Что эмиграцию надо спасти не только от «обывательщины», но и от гордыни и самоунижения, от отчаяния и потери веры в будущее, что надо ей помочь организовать духовно и управлять ею, было для Мережковского несомненным. Всем этим с помощью «заговорщиков-воскресников» и должна была заняться «Зеленая лампа».

«Зеленая лампа» начала свое существование 5 февраля 1927 года.

В день открытия В.Ф.Ходасевич объяснил собравшимся, чем была «Зеленая лампа» во времена Пушкина. После чего был прочитан первый доклад, сопровождавшийся прениями, сразу, как и доклад, произведшими на слушателей сильное впечатление отсутствием академичности и необычной страстностью, горячностью и парадоксальными мыслями, высказываемыми не только Мережковским, но и большинством «заговорщиков».

Так, во время одного из первых заседаний молодой поэт Довид Кнут заявил, что литературная столица России теперь не Москва, а Париж, чем, конечно, вызвал бурные дебаты и реплики с места.

Доклады следовали один за другим. Гиппиус говорила о «Русской литературе в изгнании», Фондаминский-Бунаков — о «Русской интеллигенции как о духовном ордене», Адамович — о том, «Есть ли цель у поэзии», и так далее, и так далее.

«Зеленой лампой» заинтересовались широкие круги эмиграции. Многие стали «добиваться чести» попасть на ее заседания. Для этого требовалось письменное приглашение. Правда, дававшееся без особых затруднений.

Аудитория первых лет существования «Зеленой лампы» была повышено нервной, верившей в то, что с такой страстью проповедовал Мережковский. Она выражала свое одобрение взрывами аплодисментов, а несогласие и протест — криком и топотом ног.

Мережковский, в особенности в ответах оппонентам, когда он импровизировал, а не произносил заранее подготовленную и продуманную речь, достигал не-

обычайной силы и даже магии. Да, именно магии, не нахожу другого слова.

Казалось, что он вырастает, поднимается все выше и выше, отделяется от земли. Голос его звенел, широко открытые глаза смотрели куда-то вдаль, как будто сквозь стену, туда, в ему одному открытое будущее, которое он так пламенно описывал очарованным, околдованным, боящимся перевести дух слушателям.

Тогда он действительно казался пророком, и слушатели свято верили, что он — «носитель мысли великой».

«Зеленая лампа» заставила многих слушателей (слушателей действительно бывало много, особенно когда заседания происходили в зале «Плейель») серьезнее и лучше понять происходящее и — что не менее важно — самих себя.

«Воскресенья» и «Зеленая лампа» воспитали ряд молодых поэтов, научив их не только думать, но ясно высказывать свои мысли. Ведь большинство воскресных «заговорщиков» выступали с докладами, предварительного обсуждавшимися на 11-бис, рю Колонель Боннэ, и принимали участие в прениях.

Из всех посетителей «воскресений», кажется, только я одна ни разу не прочла в «Зеленой лампе» доклада, никогда не участвовала в прениях и даже с места не подавала реплик. Все же я, по настойчивому требованию Мережковского, выступила один раз на большом вечере «О любви», двойном вечере в зале «Плейель».

Слушателей собралось на такую интересную для всех тему видимо-невидимо.

Не скрою, что я, как, впрочем, большинство французских ораторов, написала свою речь и выучила ее наизусть, не раз старательно прорепетировала перед зеркалом жесты и мимику. И неожиданно «блеснула красноречием» — ко всеобщему удивлению.

Мережковский даже заявил на последовавшем после вечера «О любви» «воскресенье», что «речь Одоевцевой была лучше всех». Что, конечно, никак не соответствовало истине. Просто он был удивлен, что и я могу что-то сказать, что-то соображаю. Моя внешность и мой тогдашний легкомысленный вид как будто противоречили этому.

Сам Мережковский произнес на первом вечере блестящую речь:

— Миром правят Нейкос и Филотес, Распря и Дружество — учит Эмпедокл. Или — противоположное, созвучное: Эрос и Эрис, Любовь и Ненависть, Мир и Война. Язва убийства — война; язва рождения — Содом.

Пол с войной пересекается... Кровь сначала загорается похотью, а потом льется на войне...

Благодарю Тебя, Господи, что я никого не родил и никого не убил. В этой, несколько странной для непосвященных, молитве русский ученик Платона, Владимир Соловьев, соединяет эти две язвы в одну...

И я поэтому с Соловьевым! — воскликнул Мережковский, ударяя себя в грудь.

Не обошлось и без курьеза. На втором из этих вечеров выступила Тэффи — ведь это был полный парад-алле и смотр всех, посещавших «воскресенья».

Тэффи, должно быть, сознавая всю ответственность предпринятого ею дела, взялась за него даже слишком глубокомысленно и написала целый ученый доклад — об аскезе.

Когда она в нарядном красном платье появилась на эстраде, в зрительном зале все радостно встрепенулись и заулыбались — наконец-то можно будет посмеяться!

И действительно, с первой фразы Тэффи об аскезе, с первой, с трудом произнесенной ею греческой цитаты раздался то тут, то там смех. Должно быть, некоторым слушателям показалось, что это все очень забавно и остроумно, а они одни не понимают такого тонкого юмора. И они на всякий случай стали смеяться.

Тэффи, разложив перед собой большие листы, испианные ее крупным, неровным почерком, торопливо читала, напрягая голос, чтобы перекричать смех, свой длиннейший обстоятельный доклад. Начала она с языческого аскетизма, всесторонне разобрала египетский монахизм и его три стадии, приведя ряд греческих и латинских цитат.

Она, наконец, после подробного описания жизни св. Антония, сделанного Апаназом (в нем должно место было отведено и свинье св. Антония), перешла к различным мифам, посвященным отцам-пустынникам. О том, как львы похоронили св. Павла в пустыне, о том, как лев — должно быть, уже другой, не из компании тех львов-могильщиков — уступил св. Мальку свою пещеру, о крокодиле, переправившем на своей спине какого-то пустытника через Нил, о картине Веласкеса, изображавшей ворона, принесшего спорящим монахам-аскетам, забывшим среди молитв и споров о Боге подкрепиться монастырской трапезой, хлеб. Теперь хотел уже весь зал.

Бедная Тэффи все же мужественно дочитала свой

ученый доклад. Дочитала до самой последней точки, не пропустив ни одной цитаты.

И слушатели устроили ей грандиозную овацию.

— Ах, уж эта Надежда Александровна! Ну кто, кроме нее, может придумать такое смешное? — восторженно повторяла седая дама меценатской внешности, отбивая свои пухлые, украшенные бриллиантами руки. — Ах, до чего, до чего смешно! Даст же Бог такой талант человеку!

Тэффи вошла в артистическую красная, краснее своего красного платья, и, остановившись на пороге, развела руками:

— Слышали? Я когда-то, еще до революции, написала рассказ об аптекарском ученике Котомко, читавшем на концерте свои стихи и не понимавшем, почему слушатели хохочут. «Покажи им Венеру Милосскую, так они, наверное, лопнут от смеха» — рассуждает он про себя. Вот и я сейчас моего Котомку разыграла. — Она швырнула рассыпавшиеся листы на пол. — А сколько мне труда и времени эта проклятая аскеза стоила! Нет, в первый и последний раз в жизни читаю доклад. Дайте лимонаду. Даже горло пересохло.

В антрактах Гиппиус, улыбаясь, объясняла подходившим к ней, что ей доклад Тэффи многое открыл.

— Я благодарна Надежде Александровне. Очень благодарна. Я поняла то, чего раньше не понимала, не хотела понять. — И, понизив голос, полушепотом: — Не об аскезе, нет. Я впервые из-за Тэффи оценила здравый смысл дедушки Крылова, поняла, что и он бывает прав. Да еще и как:

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,  
А сапоги тачать пирожник.

Гиппиус и Тэффи не очень симпатизировали и охотно критиковали друг друга, конечно, за глаза.

Но Тэффи все любили. И читатели, и знакомые, и друзья. Я никогда никого не встречала, относившегося к ней плохо. Тогда как Гиппиус многие терпеть не могли. Ее не мог терпеть, прямо ненавидел даже очаровательный Андрей Седых, один из самых милых и добрых людей эмиграции. Правда, она действительно скверно поступила по отношению к нему.

В 30-х годах «Зеленая лампа» уже не горела ослепительно и не проливали яркого света на эмиграцию, освещая

щая ее совесть, душу, ум. Все, не исключая Мережковского и Гиппиус, чувствовали, что «заговор» не удался, хотя и не сознавались в этом не только публично, но даже самим себе.

Некоторые участники «Зеленой лампы» покинули ее.

Так, ушел Ходасевич. Уход Ходасевича был воспринят очень болезненно — Ходасевич был одним из ярких лучей «Лампы». Уход его стал считаться «изменой». И отношения между ним и Гиппиус—Мережковским оладились навсегда.

Все же «Лампа», все более сокращая круг своей деятельности, просуществовала до самой войны. Роль ее была значительно большей, чем принято считать. Конечно, она не достигла цели, к которой стремились Мережковский и Гиппиус. Все же она оставила по себе светлую память и сформировала умы целого ряда молодых поэтов. Кроме всего прочего, «воскресенья» и «Зеленая лампа» являлись настоящей школой красноречия.

Когда-то, еще на берегах Невы, в «Живом слове» я слушала лекции Кони по ораторскому искусству и принимала участие в практических занятиях, руководимых Кони. Но обмен мыслей и мнений на «воскресеньях» и в «Лампе», хотя там и не преподавались правила красноречия, достигал несравненно больших результатов, чем лекции и практические занятия Кони.

Общепризнанный лучший оратор эмиграции Георгий Адамович многому научился в «Лампе» и в бесконечных дискуссиях с Мережковским. «Зеленая лампа» всячески старалась привлечь к себе внимание, в особенности в последние годы своего существования. Так, уже в 1936 году «Зеленая лампа», «Возрождение» и варшавская газета «Меч» — в обеих газетах сотрудничали Мережковский и Гиппиус — устроили «всезарубежный конкурс» на историческое драматическое произведение. Премированное драматическое произведение обещали поставить в варшавском театре и напечатать в газете «Возрождение». Кроме того, автор должен был получить диплом.

Но с этим конкурсом получился «скверный анекдот»: первый приз, после многих месяцев, был присужден драме «Государь» — из эпохи итальянского Ренессанса, о чем сообщалось в газете «Меч». Написала ее шестнадцатилетняя эмигрантка, жившая в Сирии. Она, как она потом сама мне рассказывала, находилась только под большим влиянием Мережков-

ского и Макиавелли и написала свою драму, помня о них.

Когда до нее дошла ошеломившая ее весть о том, что ей присужден первый приз, она, как древняя Рахиль, села на песок пустыни, благословила облака и поблагодарила Бога за ниспосланную ей славу.

Но время шло — день за днем, неделя за неделей. Ее лично никто ни о чем не осведомлял. Тогда она наконец решила написать в варшавский «Меч», ответивший ей более чем необычайно: «Вас действительно премировали. Но Вашу драму поставить невозможно из-за множества костюмов. Поэтому высылаем Вам, в виде премии, том Фонвизина и диплом с печатью».

Том Фонвизина и похвальный лист — как в школе при переходе из класса в класс — вот и все, что получил молодой автор, думавший, что уже завоевал славу.

Драма «Государь» не была напечатана в газете «Возрождение» — неизвестно почему. Ведь «обилие костюмов» не могло помешать напечатать ее.

Результатом этого конкурса было только то, что русская эмиграция лишилась замечательно талантливой писательницы. Она после такой обиды стала писать не только по-русски, но и по-французски. Теперь она один из лучших — если не лучший автор «научной фантастики» — Наталия Энненберг.

Все же через много лет как утешение она узнала от Цурикова, что Мережковский как-то сказал ему: «Моя лучшая ученица — маленькая девочка из Сирии». При мне однажды Мережковский, жалуясь, что у него нет последователей, поправил самого себя:

— Кроме одной, до чего одаренной, прелестной, большеглазой девочки. Я ее фотографию видел. Но ведь она живет в Сирийской пустыне. Вот бы ее к нам выписать!

Уже после войны, в Париже, Наталия Энненберг услышала чрезвычайно фантастическое объяснение этого дела. Якобы жюри, так как пьесы были подписаны не именами авторов, а их девизами, решило, что она принадлежит перу... самого Мережковского! Но, вскрыв конверт с девизом и убедившись в своей ошибке, жюри решило, что ни ставить драму никому не известного подростка, ни публиковать ее в «Возрождении» нет никакой надобности. Довольно девочке и тома Фонвизина.

Не думаю все же, что жюри могло быть настолько наивным и считать возможным, чтобы Мережковский посылал свои произведения на конкурс. Должно быть, существует другое объяснение. Но факт остается фактом

— из-за этого конкурса еще одна замечательная писательница не стала украшением русской литературы.

Георгий Иванов был бессменный председатель собраний «Зеленой лампы», Гиппиус и Мережковский тогда уже, после выхода его сборника стихов «Розы», провозгласили его первым русским поэтом. Мережковский даже сделал ему надпись на «Атлантиде» — «Лучшему поэту современности». Да, Георгий Иванов был очень близок с ними, особенно с Гиппиус. Я же никогда ни с Гиппиус, ни с Мережковским не сблизилась, хотя всегда оставалась с ними в самых лучших отношениях и усердно посещала «воскресенья» и собрания «Зеленой лампы».

Меня не так интересовали идеи, высказываемые на 11-бис, рю Колонель Боннэ, как сами Гиппиус и Мережковский. Я не переставала удивляться им обоим. Вид Мережковского, в особенности в дни, когда ему нездоровилось и он казался особенно бледным, изможденным и тщедушным, всегда заставлял меня вспомнить чье-то определение Жозефа Жубера: «Он был только душой, встретившей хилое тело, душой, сумевшей подчинить себе это хилое тело...» Мережковский всегда казался мне более духовным, чем физическим существом. Душа его не только светила в его глазах, но как будто просвечивала через всю его телесную оболочку.

У Зинаиды Николаевны, напротив, душа как будто пряталась где-то глубоко в теле и никогда не выглядывала из тусклых, затуманенных глаз.

Она была чрезвычайно (некоторые даже находили — чрезмерно) умна. Хотя я никогда не понимала, как можно быть «чрезмерно умной». По всей вероятности, она была гораздо умнее Мережковского (как многие утверждали). Но и тут я не берусь судить — ведь ум состоит из стольких разнообразных и часто противоречивых элементов, что суждение об уме не может не быть субъективным. Все зависит от того, что считаешь главным в уме.

Зинаида Николаевна была совершенно лишена энтузиазма, вдохновения и способности восхищаться чужими мыслями. У Мережковского же страсть к восхищению выражалась иногда даже комично.

Так, например, ведя как-то беседу с молодым поэтом Заковичем, он вдруг весь насторожился, встрепетулся, протянул к нему руку и воскликнул:



— Совсем как Тертуллиан! Будто не Закович, а Тертуллиан говорит! Зина, нет, ты только послушай! Послушай!

Но Закович, недавно лишь приведенный Поплавским на «воскресенья», скромный и застенчивый молодой поэт, так смутился, что не мог больше связать и двух слов и только испуганно оглядывался на Поплавского.

После этого случая Мережковский долгое время называл Заковича Тертуллианом.

— Придет сегодня Тертуллиан? — спрашивал он, выходя из своего кабинета к уже собравшимся в столовой гостям. Он всегда выходил с опозданием, тогда как Зинаида Николаевна с самого начала приема, то есть с четырех часов, уже занимала свое место за чайным столом.

Мережковский был очень, даже чересчур снисходительным к своим собеседникам, преувеличивал их ум и знания и часто находил особую значительность и глубину в самых обыкновенных мыслях и словах, если только они, по Мережковскому, касались метафизики, и он мог оттолкнуться от них, как от трамплина, перелететь в четвертое или в энное измерение, рассыпаясь фейерверком идей.

Глубину, мудрость, мистику он видел часто там, где их вовсе не было, — так он однажды неожиданно обнаружил их и во мне. В то воскресенье почему-то решили читать стихи, что не было принято. Стихи читали и о стихах говорили с Зинаидой Николаевной группировавшиеся около нее и не принимавшие участия в дебатах с Мережковским.

Но тут устроили «всеобщий день поэзии», и все присутствующие, не исключая и самого Мережковского, должны были участвовать в нем.

День поэзии происходит в гостиной, поэты выходят на середину комнаты и читают стоя. Я сижу на диване рядом с Зинаидой Николаевной в ожидании своей очереди.

— Вы не застали, — говорит она, — эпохи, когда Дмитрий Сергеевич гремел как поэт. Всякие «Сакья Муни», «Песни шута» и тому подобное. Гремел, но гром-то был бутафорский. И до чего он иногда громыхал. О какой-то своей изменнице, еще до меня. Я до слез смеялась. Вот послушайте... — И она скандирует с комическим пафосом:

Но если б ты могла понять, какая сила  
Была у ног твоих, когда со мной шута  
Играла ты в любовь и всё потом разбила.

Не я, а ты в отчаянье немом  
Рыдала бы теперь горячими слезами.

— А публике, представьте, нравилось, и критике тоже. И его переводы, Бодлера, например, были под стать:

Голубка моя, умчимся в края,  
Где все, как и ты, — совершенство! —

Он приспособил Бодлера для шарманки. И все шарманки эту «Голубку» играли. Мне было стыдно за него.

Она прижимает палец к губам.

— Сейчас Димитрий Сергеевич. Давайте слушать.

Мережковский, держа тетрадку в руке, быстро сменя ногами в синих войлочных туфлях, становится спиной к окну — маленький, сутулый.

Я мысленно переносу его в Петербург конца XIX века, на эстраду громадного, бурлящего и кипящего зала, переполненного студентами и курсистками, и стараюсь представить себе, как он произносил:

Бог, великий Бог лежал в пыли —

и овации, которые там устраивали ему.

Он перелистывает страницы тетрадки с какой-то застенчивой полуулыбкой, несвойственной ему, начинает читать — очень скромно, очень просто и совсем хорошо. И стихи его очень простые, очень скромные и совсем хорошие. Музыкальны, легки и даже чуть-чуть трогательно наивны. О каких-то странниках-паломниках и о прелестной северной русской весне. Они чем-то отдаленно напоминают мне Сологуба.

— Вам нравится? — спрашивает шепотом Гиппиус.

— Очень.

Она кивает.

— Слава Богу, это совсем не то, что прежде. Но теперь это никому не нравится. Димитрий Сергеевич уже давно перестал печатать свои стихи.

После Мережковского читает Гиппиус. С места, сидя на диване. Нараспев. Ясно, сухо, вразумительно, без привычных капризных ноток в голосе:

Какая-то лягушка (всё равно)  
Свистит под небом черно-влажным  
Заботливо, настойчиво, давно...  
А вдруг она о самом важном?

Лягушку мы все знаем наизусть. Хотя аплодировать не полагается, Зинаиде Николаевне все же аплодируют, и это ей явно приятно.

Поэты сменяют поэтов. И о каждом из них Гиппиус — она одна — говорит несколько слов. Она хвалит Адамовича, Мамченко, Терапиано за стихи «В день Покрова» и, конечно, Георгия Иванова.

Голубоватый идет солдат,  
Как этот вечер голубоват, —

нараспев выкрикивает один из молодых поэтов.

Зинаида Николаевна наводит на него свой монокль-лорнет и громко шепчет:

— А по-моему, еще лучше было бы: «как этот вечер, глуповат».

Все смеются. Молодой поэт смущается и не хочет продолжать.

— Вздор, — заявляет Гиппиус, — вы не салонная поэтесса, чтобы обижаться. — И без всякой последовательности продолжает: — Ко мне раз явились в Петербурге просить стихи для салонного женского альбома, а я им ответила: по половому признаку не объединяюсь! — И кивает в сторону молодого поэта: — Ну, читайте. Не ломайтесь.

Наконец очередь доходит и до меня. Я выхожу на середину гостиной, еще не решив, что буду читать. Я уже совсем не та, что на берегах Невы. Я уже не живу стихами и для стихов и не ношу больше банта. Здесь и то, и другое было бы неуместно и даже смешно.

Здесь стихами интересуются одни поэты, и то эгоистично, даже эгоцентрично — своими собственными стихами. А читателям стихи в лучшем случае безразличны и не нужны.

Русские в эмиграции — и в Берлине, и в Париже — совсем не то, что в Петербурге. Я не узнаю их. И не нахожу с ними общего языка.

Сколько раз я в первый год, в Берлине, хотела вернуться к себе домой. Домой, в Петербург. Нет, мне совсем не нравится «заграница». Ни Берлин, ни даже Париж.

К тому же, и это очень странно, для меня в эмиграции время как будто пошло назад, вспять. Я как будто неожиданно помолодела. Из поэта настоящего, поэта, возраст которого не играет роли, я тут превратилась в «молоденькую поэтессу» и «молодую романистку», как меня постоянно величали в прессе. И что уж совсем ди-

ко — я так и оставалась «молодой поэтессой» и «молодой романисткой» бесконечно долго, чуть ли не до окончания войны. Со мной в эмиграции случилось обратное, чем с гадким утенком в сказке Андерсена. Гадкий утенок там превратился в лебедя, я же, напротив, из «лебедя» превратилась в «гадкого утенка».

Вот и сейчас, стоя посреди гостиной, я чувствую, что слишком высоко поднимаю голову и держусь слишком самоуверенно для «гадкого утенка». Я все еще не могу привыкнуть ко всеобщему равнодушию, окружающему меня здесь.

Что мне читать? Ведь здесь никто не знает и не любит моих стихов. Только не слишком длинное. Скоро Рождество — значит, это пойдет.

И я начинаю с моими прежними интонациями, паузами и жестами, как когда-то на берегах Невы:

Белым полем шла,  
И странник шел со мной.  
Он тихо сказал, качая  
Белоснежной головой:  
— На земле и на небе радость,  
Сегодня Рождество...

Окончив, я возвращаюсь к дивану и сажусь рядом с Зинаидой Николаевной. Она наводит на меня свой лорнет-монокль и улыбается мне.

— Я не ждала, что вы так хорошо умеете выступать. Так независимо и гордо. Я сама когда-то выходила на сцену, как в тронный зал. Будто я — королева, а слушатели — мои подданные. Я никогда не кланялась на аплодисменты, я принимала их как должное. Пусть себе хлопают, раз им хочется. Я не устаивала слушателей вниманием.

К дивану подходит Димитрий Сергеевич и берет меня за руку.

— Я никак не предполагал, — взволнованно говорит он, — в вас такой глубины, такого мистического прозрения. Невероятно! Необъяснимо!

Я чувствую, что сейчас и я буду названа Тертуллианом, или Франциском Ассизским, или святым Бернаром. А может быть, даже Данте.

— Но ведь это совсем банально. Это все только бутафория, и дешевая... — протестую я. — Направо — добро, налево — зло... Это все рифмованная чепуха.

— Тогда еще замечательнее, раз вы сами не сознаете, что создали. Это... это прямо невероятно.

Я кусаю губы, чтобы не рассмеяться, и больше не спорю. Сейчас, сейчас, он провозгласит меня Франциском Ассизским.

Но Зинаида Николаевна неожиданно вмешивается.

— Как это у вас? Выползет черепаха, пролетит летучая мышь? Да? И что змея появляется — хорошо. У меня тоже когда-то было стихотворение про змею:

Я такая добрая, добрая,  
Как ласковая кобра я...

— Зинаида Николаевна, прочтите, пожалуйста, о ласковой кобре, — прошу я. И она не заставляет себя долго просить, к общему и, главное — моему удовольствию.

Мережковский, слушая ее, забывает о моей «небывалой глубине и мистическом прозрении», и слава Богу.

Зинаида Николаевна медленно, грациозно встает с дивана.

— А теперь пойдем чай пить. Давно пора.

И все переходят вместе с нею в столовую и усаживаются вокруг стола.

Владимир Ананьевич Злобин, как всегда, ловко и быстро наливает и разносит чай, успевая в то же время любезно предлагать гостям бисквиты и сдобные булочки, как будто он, а не Зинаида Николаевна здесь хозяйка — очень внимательная хозяйка.

Разговор становится общим. Сегодня, исключение из правила, рассуждают только о стихах. Георгий Иванов проникновенно приводит цитату из Лермонтова, своего любимого поэта, восхищаясь ею:

В небесах торжественно и чудно,  
Спит земля в сиянье голубом...

— Чушь! — перебивает его опоздавший на «День поэзии» Бахтин и, гордо закинув рыжеволосую голову, безапелляционно заявляет: — Лермонтов — бездарность!

Меня такое заявление Бахтина не задевает и не удивляет. Я привыкла к его эксцентричным выпадам. Не далее как в прошлое воскресенье он заявил во всеуслышание, что «Евангелие — просто пустая книга, которой безумно повезло».

Но молодые поэты дружно и возмущенно хором протестуют, перекрикивая друг друга.

— Зина, посмотри, сколько он сахара кладет! — не-

ожиданно среди шума и гула спорящих раздается возглас Мережковского. Указательный палец его вытянутой через стол руки указывает прямо на Георгия Иванова, действительно, как всегда, положившего пять кусков сахара в свою чашку чая.

Зинаида Николаевна поворачивает голову к Георгию Иванову, занимающему свое обычное место возле нее, с правого слышащего уха.

— Очень правильно делает, — говорит она одобрительно. — Необходимо хоть немного подсластить нашу горькую жизнь и наш горький чай. Ведь как скучно: и разговоры, и чай, и обед, все одно и то же. Каждый день. Не только в Париже, но и прежде, там, в Петербурге, еще до революции. Всегда одно и то же, говорили, ели и пили. Я как-то на одном обеде Вольного философского общества сказала своему соседу, длиннородому и длинноволосому иерарху Церкви: «Как скучно! Подают все одно и то же. Опять телятина! Надоело. Вот подали бы хоть раз жареного младенца!» Он весь побагровел, поперхнулся и чуть не задохся от возмущения. И больше уж никогда рядом со мной не садился. Боялся меня. Меня ведь Белой Дьяволицей звали. А ведь жареный младенец, наверное, вкуснее телятины.

— Это как у Свифта? Жареные ирландские младенцы? — спрашиваю я.

Зинаида Николаевна недовольно щурится.

— Свифт? — недоумевающе тянет она. — При чем тут Свифт? Я вообще его никогда не читала!

Я удивлена. Я спрашиваю:

— Даже «Гулливера»? Неужели? Никогда?

Но она делает вид, что не слышит. Я испортила своим неуместным вопросом о Свифте эффект «жареного младенца». Она недовольно щурится и неожиданно обращается к Злобину:

— Чай пить, правда, скучно. Володя, достаньте из буфета нашего «*mon miraculeux*»<sup>1</sup>.

Ликер «*Le moine miraculeux*» — единственный ликер, признаваемый Мережковскими. Они приписывают ему какие-то чудодейственные целительные свойства.

Но пьют его на 11-бис, рю Колонель Боннэ, только по большим праздникам, и то не все гости, а лишь избранные, по одной рюмочке, не больше. И сейчас, как всегда, Зинаида Николаевна указывает, кого следует угостить «чудодейственным монахом».

— Володя, налейте рюмку Георгию Викторовичу

---

<sup>1</sup> «чудодейственный монах» (фр.).

(Адамовичу), Георгию Владимировичу (Иванову), Виктору Андреевичу (Мамченко), Юрию Константиновичу (Терапиано). И Бахтину.

Остальным — в том числе и мне — «монаха» не полагается. Я, впрочем, все равно отказалась бы от него. Я еще не научилась пить ни ликеры, ни водку. Но раз мне не предлагают, то и отказываться не приходится. Как и обижаться не приходится.

В прихожей раздается звонок. Злобин идет открывать.

Зинаида Николаевна прислушивается, вытянув шею, к доносящимся из прихожей голосам.

— Это Александр Федорович, — объясняет она. — Он сегодня обедает у нас. — И спрашивает: — Который час? Разве уже так поздно?

Уже восемь часов. Мы непозволительно засиделись. Все разом встают. Как всегда, Зинаида Николаевна и Мережковский идут провожать гостей.

В прихожей Керенский. Он успел снять пальто и поправляет галстук перед зеркалом.

Я впервые вижу Керенского так близко. Я знакома со многими знаменитыми людьми, но с таким знаменитым человеком, как он, мне еще не приходилось встречаться. С таким знаменитым — был ли кто-нибудь знаменитее Керенского весной и летом 1917 года?

Правда, с тех пор прошло десять лет, но мне кажется, что отблеск его прошлой славы все еще окружает его сиянием.

Он здоровается с Зинаидой Николаевной, с Мережковским и со всеми «воскресниками», даже с теми, кого, как меня, он видит впервые, крепким рукопожатием.

Рукопожатия. Я вспоминаю, что ему пришлось носить правую руку на перевязи в июле 1917 года после тысяч рукопожатий. Неужели таких же крепких, как сейчас?

Пожимая руки, он бросает властно и отрывисто, как будто отдает приказания: «Здравствуйте! Как поживаете? Рад с вами познакомиться».

Прищуренные глаза, как две щели на большом, широком, массивном лице. Густые серо-стальные волосы бобриком и какая-то военная выправка, хотя он до своей головокружительной карьеры был штатским — петербургским помощником присяжного поверенного Сомова.

Мне кажется, что, несмотря на свой громкий голос и

резкие движения, он очень застенчив. Хотя вряд ли он кому-нибудь сознается в этом, даже себе.

Он чрезвычайно близорук, но из непонятного кокетства не желает носить очки или пенсне. Вместо очков он пользуется, как мне рассказывали, лорнеткой. Мужчина с лорнеткой для меня так же невыносим и невероятен, как женщина с моноклем.

Но вот они — женщина с моноклем и мужчина с лорнеткой, должно быть, единственные на свете, — стоят здесь рядом передо мной.

Керенский действительно достает из бокового кармана пиджака тоненькую дамскую лорнетку. В памяти моей всплывают строки Кузмина о маркизах:

Кто там выходит из боскета,  
В жилет атласный затянутый?  
Стекла блеснули его лорнета...

Да, стекла лорнета Керенского блестят, но Керенский совсем не похож на маркиза.

Лорнетка кажется особенно хрупкой, игрушечной в его увесистом кулаке. Он подносит ее к глазам, и от этого его массивное, широкое лицо принимает какое-то странное, жалкое выражение — не то стариковское, не то старушечье.

Лорнеткой, правда, как я слыхала, он на улице не пользуется, хотя по близорукости ему и очень трудно обходиться без нее. Он не узнает знакомых, не отвечает на поклоны. О нем рассказывают, что он однажды, быстро переходя улицу Пасси — он всегда ходит очень быстро, всегда спешит, — натолкнулся на автомобиль и, приподняв шляпу, вежливо извинился: «Пардон, мадам». Но это, конечно, анекдот.

Я внимательно, во все глаза разглядываю его. Ведь это тот самый Керенский, воплощавший свободу, тот самый, кого боготворили толпы, тот самый, под чьей фотографией красовалась подпись:

Его, как первую любовь,  
России сердце не забудет.

Если бы я вела дневник, я в тот вечер, вернувшись домой, записала бы на чистой странице: «Сегодня я познакомилась с Керенским». И поставила бы точку.

Но я не вела дневника. Эту первую встречу с Керенским я записала в своей памяти. Без комментариев.



— Человек почти всегда добивается того, о чем мечтает, чего страстно желает, беспрестанно, днем и ночью, во сне и наяву, — каждую минуту. Например, «как я хочу получить Нобелевскую премию», — убежденно произнес на одном из «воскресений» на 11-бис, рю Колонель Боннэ, Димитрий Сергеевич Мережковский.

О том, что он страстно желает получить Нобелевскую премию, знали все посетители «воскресений». Мережковский не скрывал, а даже, скорее, подчеркивал свое желание. Он считал, что Нобелевская премия по справедливости должна быть присуждена ему и он один достоин ее.

— Бунин? Но разве можно считать Бунина серьезным конкурентом? Он просто бытовик, бытописатель, надоедливо и скучно фотографирующий скучные мелочи существования вперемежку с надоевшими всем давно закатами, снегопадами, дождливыми вечерами и заходами солнца. Кому это нужно? Кому это интересно? «Жизнь Арсеньева»? — безмерно растянутое описание молодости никчемного дворянского недоросля, к тому же перегруженное описаниями природы. Ну, еще два-три томика всяких нудных рассказов и хваленая «Деревня». — Ее Мережковский, о чем он любил поминать, так и не мог одолеть: — Каждый раз засыпал от скуки на двадцатой или тридцатой странице, как ни старался. Пришлось бросить. — Он вздыхал с притворным огорчением и добавлял: — Все же я постоянно держу эту самую «Деревню» на ночном столике — на случай бессонницы. Великолепно помогает!

Нет, положа руку на сердце, Мережковский не считал Бунина серьезным конкурентом:

— Ведь не совсем же идиоты судьи, не слепые же кроты они! Разве можно сравнивать меня и Бунина?!

И все же его тревожили и беспокоили слухи о кампании, ведущейся в пользу Бунина. В ней участвовало столько «именитых» эмигрантов с Густавом Нобелем и Конжунцевым во главе. Да и среди писателей не все были сторонниками Мережковского, хотя бы тот же Алданов, ведущий яростную кампанию в пользу Бунина среди своих «иностранных коллег» — не только французов, но и шведов.

Быть вполне уверенным, что Нобелевская премия достанется ему, а не Бунину, Мережковский все же не мог и считал, что лучше обеспечить себя на всякий случай.

Однажды, весной 1932 года, Мережковский на од-

ном из «воскресений» предложил Бунину (Бунин, Вера Николаевна и Галина Кузнецова во время своих наездов в Париж из Грасса изредка навещали «воскресенья» Мережковского):

— Давайте, Иван Алексеевич, заключим пакт. Если мне достанется Нобелевская премия, я вам отдам половину, если вам — вы мне. Поделим ее пополам. Застрахуемся взаимно. Тут, в присутствии их всех, — он обвел взглядом сидящих за столом. — Дадим друг другу честное слово, что поделим премию.

Но Бунин решительно покачал головой.

— Ну уж нет, Дмитрий Сергеевич. Не согласен. Заранее заявляю — делиться и не подумаю. Вам присудят — ваше счастье. Мне — так мое.

Мережковский на минуту весь даже съежился, глаза его и все лицо поблекли и затуманились, будто в нем погас свет, освещавший его изнутри.

Он, по-видимому, никак не ожидал такого решительного, резкого отказа на свое великодушное (ведь премия, по всей вероятности, достанется именно ему) предложение.

— Воля ваша, — проговорил он хрипло, преодолевая обиду. — Боюсь только, что вы пожалеете, и очень, что так опрометчиво...

Но Бунин, удобнее откинувшись на спинку зеленого кресла, широко и свободно взмахнул рукой.

— Ну, что там гадать на кофейной гуще. Поживем — увидим. А связывать себя обещаниями я всегда терпеть не мог. И страховок не признаю. — И закончил убежденно: — А в звезду свою я верю!

В январе 1934 года, вернувшись из Риги, где мы с Георгием Ивановым провели год, мы отправились к Мережковским на «воскресенье». Не успела я поздороваться со всеми и ответить на многочисленные вопросы Зинаиды Николаевны, как раздался звонок и в столовую вбежал взволнованный, растерянный Злобин, звонко крича:

— Бунин!

Минута замешательства.

Это действительно была историческая минута, и все сразу почувствовали ее значение.

Бунин недавно вернулся из Стокгольма. И это был его первый (и последний) визит к Мережковским. Ответный визит: Мережковский еще до отъезда Бунина в Стокгольм для получения Нобелевской премии ходил

поздравлять его в отель «Мажестик». Но не застал.

— Не был принят. Не удостоился лицезреть, — уверяла Зинаида Николаевна. — Понятно — зазнался Иван. Теперь уж он к нам ни ногой.

И вдруг Бунин, «сам Бунин», во всем сиянии и блеске своего величия и славы...

Шум отодвигаемых стульев. Все, за исключением одной Зинаиды Николаевны, встали и почтительно замерли на своих местах.

Мережковский, побледнев до пепельной серости, вскочил и, еще больше сгорбившись, суетливо, почти вприпрыжку бросился встречать.

Казалось, даже тусклая лампа над столом засветила ярче, когда в столовую легко, твердо и не спеша вступил, держась необычайно прямо, новонобелевский лауреат. Его худое, бритое лицо с зоркими глазами, с чуть презрительно сжатыми тонкими губами выражало царственную, высокомерную благосклонность.

За ним, придавая еще большую торжественность его появлению, скромно шли Вера Николаевна и Галина Кузнецова.

Зинаида Гиппиус одна среди этого моря почтительного волнения сохраняла спокойствие и хладнокровие, внимательно рассматривала вошедших сквозь стекло своего лорнета. Грациозно подавая руку Бунину, она протянула лениво:

— Поздравляю, — добавив после короткой паузы: — и завидую.

Она здоровается с Верой Николаевной и Галиной Кузнецовой, в упор уставляя на них свой лорнет.

— Какое на вас красивое платье, Вера Николаевна, — растягивая слова, произносит она, — верно, страшно дорого стоило? — Улыбка в сторону Галины Кузнецовой: — И на вас тоже... С каким вкусом и, верно, тоже страшно дорогое... Садитесь возле меня, Иван. Мне так интересно услышать, как вас приветствовал шведский король и как он вам кланялся.

Бунин, перед тем как занять место около нее, с той же царственной благосклонностью обошел всех, принимая поздравления. Я удостоилась даже его картавого передразнивания.

— Здравствуйте, здравствуйте. Страшно пррриятно вас видеть.

Галина Кузнецова садится возле меня. Я очень люблю Галину и всегда рада встрече с ней. Она смотрит на меня своими прелестными грустными глазами и тихо вздыхает:

— Ах нет, Ириночка, совсем не так чудесно, как вам кажется, — это было очень утомительно. И беспокойно. Новый год мы встретили в поезде. На обратном пути Иван Алексеевич хотел непременно в Германии заехать к Степуну. Я простудилась. И там...

Я слушаю ее взволнованный, милый, чуть задыхающийся голос. До чего она вся мила. В ней что-то невинное, трогательное, девичье, какой-то молодой «трепых», особенно очаровательный не у девушки, а у женщины. Русский молодой «трепых». У иностранок его не бывает.

Бунин красноречиво описывает свою поездку в Швецию, церемонию получения премии.

Мережковский, успевший овладеть собой, пускает в него несколько отравленных стрел, плохо закамуфлированных лестью. Не долет. Перелет. Ни одна стрела не попадает в цель. Бунин просто не замечает их и отвечает на вопросы Мережковского с той же величавой благосклонностью.

Снова звонок. На этот раз двери открывает прислуга, а не Злобин, весь ушедший в свою роль *jeune fille de la maison* — в угощение «высоких гостей» — чаем, печеньем и появляющимся только по большим праздникам ликером «*moine miraculeux*».

Из прихожей быстро входит известный художник Х, останавливается на пороге и, устремив взгляд на сидящего в конце стола Мережковского, как библейский патриарх, воздевает руки к небу и восклицает:

— Дождались! Позор! Позор! Бунину дать Нобелевскую премию!

Но только тут, почувствовав, должно быть, наступившую вдруг наэлектризованную тишину, он оглядывает сидящих за столом. И видит Бунина.

— Иван Алексеевич! — вскрикивает он срывающимся голосом. Глаза его полны ужаса, губы вздрагивают. Он одним рывком кидается к Бунину: — Как я рад, Иван Алексеевич! Не успел еще зайти принести поздравления... От всего сердца...

Бунин встает во весь рост и протягивает ему руку.

— Спасибо, дорогой! Спасибо за искреннее поздравление, — неподражаемо издевательски произносит он, улыбаясь.

Я смотрю в зеркало в предпоследний раз и, как всегда перед отходом, недовольна собой. Всегда что-нибудь не так — или шляпа, или волосы, или платье,

или выражение моего лица. Какой у меня сегодня нелепый вид.

Потом я об этом забуду, но сейчас я совсем не нравлюсь себе. Надо торопиться, я опять, как всегда, опаздываю. Я еду на коктейль к своим французским друзьям, они просили не опаздывать. Я ищу перчатки. Георгий Иванов уже снял с вешалки мою шубку и подает ее мне.

— Непременно приезжай в «Зеленую лампу», ты уже в прошлый раз не была. Прямо в «Лампу», если задержишься там. И позвони мне, чтобы я не ждал напрасно дома. Непременно. Ты ведь знаешь, как я беспокоюсь о тебе.

Да, знаю, отлично знаю. Он вечно беспокоится обо мне. Зря беспокоится.

— Хорошо, хорошо, приеду в «Лампу», хотя мне и не очень хочется, — обещаю я, надевая шубку.

И в эту минуту звонит телефон.

— Вот, меня уже и вызывают. Скажи, что я уже уехала.

Он, кивнув, берет трубку.

— Алло? Алло? — до меня доносятся какие-то щелкающие звуки, но слов я разобрать не могу.

— Что? Что? Повтори, — кричит Георгий Иванов срывающимся от волнения голосом. — Что случилось?

Нет, это не мои французские друзья. Что-то случилось. Но что?

Я в недоумении жду, не решаясь уйти, не узнав, в чем дело.

Наконец он вешает телефонную трубку.

— Только что убили президента, — говорит он. — Убил русский. Боятся, что начнется избиение русских. Ты никуда не поедешь — опасно. Я с ума сойду от страха, если ты уедешь.

Русский убил президента? Будут громить и убивать русских? Готовят Варфоломеевскую ночь? Да, уезжать мне действительно нельзя. И я соглашаюсь остаться. Георгий Иванов благодарит меня:

— Слава Богу, хоть ты благоразумна. Спасибо. А как быть с «Лампой»?

Снова звонит телефон. Это Оцуп. Он уже знает и в ужасе. Что нас всех ждет? Но он сегодня должен читать доклад в «Лампе». Состоится ли заседание или его отменят?

— Решай, ведь ты председатель «Лампы».

— Надо отменить, — говорит Георгий Иванов, — но я один, без Димитрия Сергеевича и Зинаиды Николаев-

ны, решать никак не могу. А у них нет телефона. Я ведь только липовый, номинальный председатель.

Телефон продолжает беспрерывно звонить. Звонит Адамович, Фельзен, звонят знакомые, интересующиеся «Лампой». И все в один голос:

— Отменить, слишком опасно. Ты (или вы) как постоянный председатель можешь (или можете) и без Мережковского.

Но Георгий Иванов не согласен.

— Я пойду к нему. Ведь мне с Франклин до Колонель Боннэ совсем близко. А ты сиди тихо и жди меня. Я скоро вернусь.

Но я не хочу оставаться одна.

— Нет, я пойду с тобой.

Он не сразу соглашается, но я настаиваю, и он, как почти всегда, уступает мне.

— Хорошо, только не говори по-русски и вообще молчи.

И вот мы идем по гудящей и кипящей, обыкновенно такой буржуазно чинной и тихой улице Пасси. «...» — ясно доносится до меня. Я вздрагиваю. Неужели это о нас? Нет, это о русских вообще. Георгий Иванов ускоряет шаг. Мы почти бежим, но никто в толпе не обращает на нас внимания.

И вот мы уже входим в дом Мережковских. Дверь открывает горничная.

Мережковский стоит на пороге гостиной бледный, с перекошенным лицом и как будто еще больше сгорбившийся.

— Конец мира наступает, — торжественно произносит он, поднимая руку, — апокалиптический конец. Страшный...

Но Георгий Иванов сразу перебивает его.

— Дмитрий Сергеевич, надо отменить «Лампу». И как можно скорее, ведь уже половина шестого.

— Отменить? — возмущенно говорит Мережковский и смотрит на него. — Отменить? Но ведь это будет просто историческое заседание — в день убийства президента русским! И ведь все надо соборно обсудить. И решить, как в дальнейшем действовать. Нет, отменить невозможно. Это был бы просто позор, преступление. Опасно? Что же, что опасно, — отмахивается он от доводов Георгия Иванова. — Мы не презренные трусы. Мы должны исполнить наш долг.

Георгий Иванов оглядывает пустую гостиную.

— А где Зинаида Николаевна? Что она думает?

Мережковский, уже подхваченный волной вдохно-

вения, уносящей его за облака, снова сразу возвращается на землю.

— Она тоже считает, что необходимо отменить «Лампу». Она пошла вниз все узнать, убедиться в настроении, на улицу, прощупать пульс жизни. Она сейчас вернется и все расскажет. Тогда и решим.

— А Владимир Ананьевич где?

— Он с утра уехал в Ампер к больному знакомому.

Мы садимся с ним на диван и ждем, слушая неубедительные уверения Мережковского о необходимости сегодняшнего исторического заседания «Лампы».

Проходит полчаса, а Зинаида Николаевна все не возвращается.

Георгий Иванов смотрит на часы.

— Что же это? Где она? Не случилось ли с ней чего? — спрашивает он встревоженно.

Его тревога передается Мережковскому.

— Она так неосторожна, могла вступить в разговор, заспорить с французами. Она так потрясена, не могла усидеть дома, так захвачена этим чудовищным убийством...

Проходит еще полчаса.

Георгий Иванов встает.

— Я пойду вниз, поищу ее.

— Невероятно, неправдоподобно, я просто умираю от беспокойства, с ума схожу, — говорит Мережковский. — Идите, Георгий Владимирович. Идите.

Звонок. Георгий Иванов открывает дверь.

В прихожую несвойственной ей быстрой и резкой походкой входит совершенно расстроенная Зинаида Николаевна. Даже перья на ее большой, криво сидящей шляпе как-то необычайно топорщатся.

— Ну что? Что ты узнала? — кидается к ней Мережковский. — Отчего ты так долго? Что случилось?

Но она, не отвечая ему и не здороваясь с Георгием Ивановым, возмущенно кричит:

— Все, все испортила! Все перешить надо! И юбка коротка, и рукава узки! И складок мало! И ко вторнику готово не будет!

...А заседание «Лампы» в тот вечер все же отменили.

Мережковский говорил, что биографии писателей и поэтов, как и воспоминания о них, чаще всего превращаются не в цветы, а в тяжелые камни, падающие на их могилу, придавливающие ее. Что о поэтах и писателях должны писать только поэты и писатели, и то далеко не

все. И тут часто такие биографии и воспоминания становятся памятниками не тем, о ком они пишутся, а авторам их. Я и Толстой. Я и Пушкин. Я и Блок. Я и русская поэзия. В подтверждение права выдвигать себя на первое место приводятся письма своих друзей и почитателей.

— Не смейте писать обо мне! Не смейте приводить моих писем! — восклицал он, в порыве вдохновения потрясая рукой. — Запрещаю! Не вколачивайте меня в гроб! Я хочу жить и после смерти.

И все-таки я нарушаю этот запрет.

Но не для того, чтобы «вколотить его в гроб», а для того, чтобы помочь ему жить в сердцах читателей таким, каким он был, а не таким, каким он кажется многим. Очистить, защитить его от клеветы и наветов.

Это нелегко. Трудно спорить с утверждающими, что он был «чудовишно эгоистичен и эгоцентричен», что он никого на свете не любил и не уважал, кроме «своей Зины», что ему на все и на всех было наплевать, только бы он и она могли пить чай, — это казалось ему справедливым и естественным.

Да, он считал и ее, и себя исключительными людьми, для которых «закон не писан». Мораль — для других-прочих, для обыкновенных, а они могут поступать, как для них выгоднее и удобнее.

Удобства он чрезвычайно ценил. Его поступки совсем не должны совпадать с его «высокими идеалами» и могут идти вразрез с ними.

Как-то на одном из «воскресений» он допытывался у Адамовича, как тот мог написать хвалебную статью об одном из явно бездарных писателей:

— Неужели он правда нравится вам?

Адамович всячески старался отвертеться, уверяя, что, в конце концов, тот, о ком он писал, в сущности, не так уж плох. Но Мережковский не унимался, и Адамович, выведенный из себя, вздохнул и сознался:

— Просто из подлости, Димитрий Сергеевич. Он мне не раз помогал.

Мережковский радостно закивал:

— Так бы и говорили! А то я испугался, что он вам действительно нравится. А если из подлости, то понятно, тогда совершенно не о чем говорить. Мало ли что из подлости можно сделать!

Вот этим «из подлости» и объясняется его поведение во время войны, его так называемая измена России — «гитлерство», речи по радио и прочее.

На самом деле все это делалось только «из подлости»



и не касалось его действительных взглядов и чувств. Мережковские жили тогда, как и мы, в Биаррице, постоянно встречались с нами, и я могла наблюдать за всеми стадиями его якобы превращения из ярого ненавистника Гитлера в его поклонника.

Положа руку на сердце, утверждаю, что Мережковский до своего последнего дня оставался лютым врагом Гитлера, ненавидя и презирая его по-прежнему.

В спорах с Георгием Ивановым, считавшим, как и Черчилль, что «хоть с чертом, но против большевиков», Мережковский называл Гитлера «маляр, воняющий ножным потом».

Кстати, меня удивляет это его невероятное презрение к Гитлеру: он считал его гнусным, невежественным ничтожеством, полупомешанным к тому же.

А ведь он всю жизнь твердил об Антихристе, и когда этот Антихрист, каким можно считать Гитлера, появился перед ним, — Мережковский не разглядел, проглядел его.

\* \* \*

Осенью 1932 года мы с Георгием Ивановым оказались в Риге, где жил мой отец. Нам совсем не хотелось покидать Парижа — там уже начался зимний сезон, и вечера и литературные собрания следовали один за другим. В те довоенные года литературная жизнь кипела и бурлила в Париже. Туда съехались почти все большие русские поэты и писатели, и Париж, а не Москву в шутку стали называть «столицей русской литературы». Уезжать из него нам казалось обидно.

Но мой отец смертельно заболел, и мне хотелось провести с ним его последние дни.

Я уезжала из Парижа в самом удрученном состоянии, с самыми мрачными предчувствиями.

Но предчувствия, как почти всегда, обманули меня.

Мой отец встретил меня веселый и жизнерадостный. Он совершенно не походил на умирающего. Никаких болей он не испытывал и не подозревал о своем скором конце. Мой приезд был для него настоящим праздником, и он всячески старался устроить мою жизнь как можно лучше и приятнее: возил меня в рестораны и в театры и снял для меня и Георгия Иванова, чтобы мы чувствовали себя самостоятельными и независимыми, отличную меблированную квартиру — в ней до нас жил «сам Макс Рейнгард». Если бы не сознание неизбежно-

сти рокового конца моего отца, я бы чувствовала себя здесь совсем хорошо.

Мы провели в Риге целый год, и этот год, непохожий на длинную вереницу моих остальных эмигрантских лет, лежит в памяти моей, «как белый камень в глубине колодца».

Рига, нарядная столица Латвии, особенно пышно цвела и расцветала, доживая свои последние светлые дни перед гибелью.

Она вся утопала в садах и эспланадах, а Старый город, с его кривыми улочками, средневековыми зданиями и великолепной площадью Черноголовых, придавал ей очень нравившийся мне, слегка сказочный вид.

В Риге обосновалась масса эмигрантов со всей России. Большинство из них, по-видимому, вполне сносно устроилось. Насколько я могла судить, лучше, чем у нас в Париже. Латышские власти не притесняли русских и относились к ним более чем сносно.

В Риге была отличная опера и драматический театр, где наряду с латышскими шли русские представления.

Вскоре после моего прибытия в Ригу, когда я еще жила на квартире отца одна — Георгию Иванову долго пришлось хлопотать о латвийской визе, и он приехал в Ригу только через месяц после меня, — ко мне явилась интервьюировать меня для газеты «Сегодня» молодая журналистка. Покончив с интервью, она передала мне привет от редактора Мильруда и приглашение «пожаловать поскорее в редакцию. И Петр Пильский тоже будет счастлив познакомиться с вами».

Принимая приглашение и обещая прийти, я неожиданно рассмеялась. Она удивленно взглянула на меня — что тут смешного? Но я не стала объяснять ей причину своего непонятого смеха, и она, получив от меня мою фотографию, так и ушла, явно недоумевая и, должно быть, считая «эту Одоевцеву очень странной».

А мой смех был вызван трагикомическими воспоминаниями о моем знакомстве с Мильрудом. Я не хотела о нем говорить, надеясь, что он начисто забыл его. Ведь это было так давно — целых десять лет тому назад!

Я снова смеюсь и, как говорил Андрей Белый, «с головой погружаюсь в свое прошлое».

...Вот я, только две недели тому назад покинувшая Петербург, здесь, в Риге, у отца. Я уже успела до отказа насладиться прелестями сытной рижской жизни и почувствовать, что мне здесь все-таки чего-то не хвата-

ет. Чего? Ну, понятно, «литературного амбьянса<sup>1</sup>» — как это называлось у нас в Цехе, — казавшегося мне тогда не менее необходимым, чем воздух. В Риге существует ежедневная газета «Сегодня» — я с удовольствием читаю ее каждое утро. Она ведется живо и интересно и вовсе не похожа на наши «Правду» и «Красную газету». Вокруг нее, должно быть, группируются поэты. Надо пойти в «Сегодня», познакомиться с ее редактором Мильрудом и отнести ему мои стихи в подарок — бесплатно. Он, наверное, будет очень рад появлению русского поэта, только что прибывшего из Петербурга, и познакомит меня со здешними поэтами.

Недолго думая, я переписываю три своих стихотворения, засовываю свой бант под замшевую круглую шапочку с помпоном, надеваю свое рыжее клетчатое пальто — то самое, из моих стихов о статуе в Летнем саду, — и отправляюсь знакомиться с Мильрудом.

Редакция газеты «Сегодня» помещается на захолустной Суворовской улице в старом скромном домике. Я вхожу и заявляю звонко шелкающей на пишущей машинке барышне, что желаю видеть редактора газеты Мильруда.

— У вас рандеву? — спрашивает она.

Я качаю головой.

— Нет.

Она удивленно поднимает подрисованные брови.

— Вы хотите видеть лично его? По какому делу?

— Без всякого дела. Я пришла с ним познакомиться.

Я — Ирина Одоевцева, — не без гордости говорю я.

Но мое имя ей, по-видимому, незнакомо. Она еще выше поднимает брови.

— Вряд ли он вас примет. Но я пойду доложу ему.

И она уходит. Я остаюсь одна, немного сбита с толку. Не такого приема я ожидала. Впрочем, откуда этой маленькой рижской машинистке разбираться в делах поэзии?

Она возвращается и предлагает мне последовать за ней. Ну, конечно, иначе и быть не могло. И я поднимаюсь с ней по узкой обшарпанной лестнице на следующий этаж.

Редактор Мильруд сидит за большим некрашеным столом, заваленным бумагами, в пустоватой, бедно обставленной комнате. Он высокий и плотный, еще совсем нестарый и симпатичный на вид. Но меня он окидывает не приветливым, а скорее удивленным взглядом.

Он слегка приподнимается, не предлагая мне сесть.

<sup>1</sup> окружение, атмосфера (от фр. *ambiance*).

— Чем могу служить? Предупреждаю, что мы уже нашли машинистку и вакантных мест у нас в «Сегодня» больше нет...

Я сажусь на венский стул перед тем, как ответить.

— Нет, я не ищу места. Я пришла с вами познакомиться. Я — Ирина Одоевцева и принесла вам мои стихи.

Он слегка морщится:

— Стихи? Этого товару у нас и так больше, чем надо. Ни к чему нам. Вот маленький рассказик, если подойдет...

Я перебиваю его. Он, должно быть, не расслышал моего имени, и я повторяю отчетливо и громко:

— Я — Ирина Одоевцева и рассказов не пишу. Я — поэт Ирина Одоевцева.

— Как? Ирина Ода-овца? Простите, не слыхал... — И любезно кивнув: — А вы попробуйте. Авось вам удастся. Коротенький, фабульный рассказик. Мы против начинающих ничего не имеем. Даже поощряем. И небольшой гонорар заплатим, если возьмем. А теперь простите, — он снова приподнимается. — Очень занят. — И уже вполне дружелюбно улыбнувшись: — До скорого! Надеюсь, с рассказиком!

Я встаю, стараясь совладать с собой, и, уничтожающе взглянув на него, отчеканиваю:

— Вам, редактору газеты, следовало бы лучше знать имена русских поэтов, — и, слегка поклонившись, гордо выхожу.

Спускаясь по лестнице, я крепко держусь за перила — только бы не полететь кубарем вниз от душасшего меня возмущения. Но у меня же хватает самообладания, чтобы, проходя мимо машинистки, кивнуть и пожелать ей как ни в чем не бывало:

— Всего хорошего!

Дома я, уже не сдерживаясь, рассказываю отцу, как меня «оскорбил» Мильруд. Он остро переживает мою обиду — как и полагается горячо любящему отцу — и решает тут же больше не читать «Сегодня» и прекратить его выписывать. Решение это он, впрочем, все же не осуществляет.

— Ода-овца, — повторяю я и снова смеюсь.

Это было десять лет тому назад, многое за эти годы переменялось, и, «сама покорна общему закону, переменялась я».

Да, я теперь совсем не та, что там, на берегах Невы. Даже мой бант — казалось бы, составлявший часть меня самой, — давно исчез. Расставаться с ним мне было

нелегко. Но я поняла, что здесь он просто невозможен.

Прошло несколько дней после моего интервью, и вот я иду в «Сегодня» вторично знакомиться с Мильрудом, надеясь, что о первом знакомстве с «Ода-овцой» он забыл.

Редакция «Сегодня» помещается теперь в фешенебельной части города в собственном большом, чрезвычайно безобразном особняке. Но внутри его все на удивление пышно и богато. И до чего не похоже на более чем скромную редакцию наших парижских «Последних новостей».

Меня, как только я назвала себя, вводят в огромный, роскошный кабинет Мильруда, и он сам уже идет ко мне навстречу, сияя радостью.

— Наконец-то! Я уже заждался вас!

Он усаживает меня в глубокое удобное кресло. И сразу же:

— А я уже боялся, что вы все еще не простили мне моего — помните — приема десять лет тому назад.

О Господи, значит, он не забыл!

А он продолжает:

— Я тогда же хотел извиниться перед вами. Ведь вы тогда имели и право, и основание называть себя «русским поэтом». Мне это объяснил ваш горячий поклонник Максим Горький, перевозносивший до небес ваши баллады и поэму о Луне. Но мне вы показались в вашей шапочке с помпоном удивительно забавным подростком с просто дьявольским апломбом. Вы с таким высокомерием заявили мне, что мне следовало бы лучше знать имена русских поэтов, что я просто остолбенел и долго потом без смеха не мог вспомнить о вас. Даже Максиму Горькому рассказал, думая посмешить его.

Лучше бы он об этом не вспоминал. Я киваю:

— Да. Я не могла не показаться вам смешной. Я тогда была чересчур самонадеянной и уверенной в себе. У меня еще не было понятия о табели о рангах, господствующей в эмиграции. Я еще думала и вела себя, как в Петербурге. Теперь я стала гораздо скромнее. С меня здесь успели сбить спесь. А вот вашему тогдашнему совету — попробовать написать рассказик — я, как видите, последовала.

— И до чего удачно! Петр Пильский в восторге от ваших двух романов... И у нас, видите, — продолжает он, покончив с похвалами мне как прозаику, — и у нас здесь

много переменялось за эти десять лет. И, слава Богу, к лучшему.

Он посвящает меня в тайны здешней литературной жизни и расспрашивает о парижских новостях и сплетнях, о «воскресеньях» на Колонель Боннэ у Мережковских, о Буниных. О том, у кого из них больше шансов на Нобелевскую премию.

Но на этот вопрос я ничего не могу ответить, хотя, как и многие в Париже, считаю, что ее следует дать Мережковскому.

Мильруд и тогда, десять лет тому назад, с первого взгляда показался мне симпатичным, а теперь я вижу, что он действительно очень симпатичен и к тому же на редкость интересный и блестящий собеседник, все понимающий с полуслова.

Я с большим удовольствием провожу в его кабинете почти час, и он, по-видимому, тоже очень доволен этим первым контактом.

— А Петр Пильский придет в отчаяние от того, что он вас прозвал — ведь он ушел за несколько минут до вашего прихода. Боюсь, что он снова напьется с горя, — говорит он, провожая меня до выхода.

Я иду домой в самом радужном настроении. До чего же мое посещение редакции «Сегодня» не похоже на то — первое!

А дома меня ждал неожиданно приехавший во время моего отсутствия Георгий Иванов.

В Риге мы с Георгием Ивановым вели более светскую, чем литературную жизнь, что ему было совсем не по душе, — по-настоящему хорошо он чувствовал себя только среди «деятелей искусства».

Один из его друзей юности, «очаровательный Валечка Пастухов», поселился в Риге, и с ним я сразу подружилась.

Этот Валечка Пастухов, действительно на редкость очаровательный, застенчивый и нежный, заслуживший в Петербурге прозвище — по Маяковскому — «не мужчина, а облако в штанах», был женат на Марии Владимировне Майборода, на «женщине с бородой», как ее называли из-за фамилии, а главное, из-за ее мужеподобия, энергии и активности. Более нелепого брака, кажется, и придумать нельзя было, а оказалось, что Валечка всем был обязан своей жене, без нее он — бывший миллионер и отличный пианист, совершенно не способный к жизненной борьбе, — в эмиграции, конечно,

влачил бы жалкое существование, давая грошовые уроки музыки, за которые большинство его учеников не платило бы вовсе. Она же взяла дело в свои железные руки и добилась того, что в Риге учиться музыке у Пастухова считалось честью, далеко не всем желающим доступной и очень дорого стоящей. Завела она к тому же и связи в рижском свете и сумела сделать из своего — правда, талантливом — мужа местную знаменитость. Супругов Пастуховых мы часто встречали в рижских светских кругах.

В них большую роль играл дипломатический корпус. В Латвии, как в самостоятельном государстве, были представлены многие страны — правда, не послами, а посланниками. Присутствие этих посланников придавало особый блеск балам, вечерам, приемам и обедам. Светские дамы так обменивались впечатлениями:

— Ах, вчера у таких-то был чудесный обед: устрицы, специально выписанные из Остенде, седло дикой козы, спаржа, пломбир, шампанское и четыре посланника! А вот на прошлой неделе у таких-то обед был совсем плохонький — бульон с пирожками, ростбиф, бордо и сливочный крем. И только один французский консул!

Меня очень забавляла эта гастрономически-дипломатическая критика обедов и приемов, этого я никогда и нигде, кроме как в Риге, не слыхала.

На одном из таких гастрономически-дипломатических обедов моим соседом за столом был недавно присланный в Ригу итальянский посланник. Разговор, между прочим, коснулся хиромантии, и я рассказала ему, что умею читать линии рук.

Он очень заинтересовался и попросил меня посмотреть, что его ждет. После обеда я занялась рассмотрением его рук. И тут я увидела, что он скоро переменит карьеру, о чем я ему и сообщила. Но он вежливо объявил мне, что я абсолютно ошибаюсь, этого быть не может, скорее Рим провалится. Он дипломат и останется дипломатом до дня смерти, как его прадед, дед и отец. Все в их семье вот уже два века дипломаты.

— Просто смешно думать, что я могу перестать быть дипломатом! — взволнованно убеждал он меня.

Я, конечно, не стала настаивать и согласилась, что не права. Каково же было мое и всех присутствовавших на этом обеде удивление, когда через две недели Муссолини отозвал этого посланника в Рим, заставил его подать в отставку, и он поселился в своем имении. Этот случай принес мне некоторую популярность, и я при желании даже могла бы стать «известной хироманткой».

В Риге в то время было много молодых поэтов: очень талантливая Ирина Сабурова, молодой редактор журнала «Для вас». Ею и сейчас гордятся прибалтийцы, разбросанные по всему миру, — в Канаде они так и называют себя «сабуровцами». В Риге жил и ее муж, композитор и поэт Александр Перфильев, сюда наезжал и Игорь Чиннов, только начинавший свое блестящее восхождение к славе.

Но с ними всеми я тогда, о чем жалею теперь, и знакома не была.

Познакомилась я с ними много позже, тогда же я проводила большую часть дня с отцом, а остаток — в светских развлечениях.

Все же мы с Георгием Ивановым сотрудничали в «Сегодня» и часто встречались с Пильским и Мильерудом и бывали друг у друга.

\* \* \*

Слава Тэффи в дореволюционной России была огромна. Ее читали, ею восхищались буквально все — начиная от почтово-телеграфных чиновников и аптекарских учеников, как известно, самой низшей ступени читателей тех лет, — до... императора Николая II.

Когда при составлении юбилейного сборника 300-летия царствования дома Романовых почтительно осведомились у царя, кого из современных русских писателей он желал бы видеть помещенным в нем, царь решительно ответил:

— Тэффи! Только ее. Никого, кроме нее, не надо. Одну Тэффи!

И с явным неудовольствием, после долгих уговоров, согласился, чтобы в юбилейном сборнике появились имена и портреты и других поэтов и писателей, во главе с Гиппиус и Мережковским.

Георгий Иванов слышал это еще в Петербурге, в 1913 году, от А.А. Мосолова и как-то, уже в Париже, спросил Тэффи, было ли ей известно, что царь был ее горячим поклонником.

Тэффи покачала головой.

— Представьте себе, понятия не имела. А то, наверно, задрала бы нос. Впрочем, нет, — я тогда уже объелась славой. Я почувствовала себя всероссийской знаменитостью в тот день, когда посыльный принес мне большую коробку, перевязанную красной шелковой лентой. Без визитной карточки или сопроводительного письма.



Должно быть, от какого-нибудь из анонимных поклонников моего таланта, — такие случаи уже бывали. Я связала ленту, раскрыла коробку и ахнула. Она была полна конфетами, завернутыми в пестрые бумажки. И на этих бумажках мой портрет в красках и подпись: «Тэффи»! Тут действительно от гордости у меня как будто выросли крылья. Это ли не слава, не звонкая, сладостная, всероссийская слава?!

Я сейчас же бросилась к телефону и стала хвастаться своим друзьям, приглашая их к себе попробовать конфеты «Тэффи». «А вкусные?» — не без зависти спрашивали они. «Удивительно, невообразимо вкусные! Так приходите!»

Я звонила и звонила по телефону, созывая гостей, в порыве гордости уписывая конфеты «Тэффи» и добросовестно уничтожая их. Я опомнилась, только когда опустошила почти всю трехфунтовую коробку. И тут меня замутило. Я объелась своей славой до тошноты и сразу узнала обратную сторону ее медали.

Вместо того чтобы весело отпраздновать свою славу с друзьями, мне пришлось пригласить доктора, посадившего меня на неделю на диету и уложившего меня в постель с грелкой на печени. И больше меня уже никакими доказательствами славы не проймешь. Спасибо, я уже объелась ею раз и навсегда.

И прибавила, разводя руками:

— А конфеты, как ни странно, люблю по-прежнему. Должно быть, оттого, что они мне запрещены.

Женские успехи доставляли Тэффи не меньше, а возможно, и больше удовольствия, чем литературные. Она была чрезвычайно внимательна и снисходительна к своим поклонникам.

— Надежда Александровна, ну как вы можете часами выслушивать глупейшие комплименты Н.Н.? Ведь он идиот! — возмущались ее друзья.

— Во-первых, он не идиот, раз влюблен в меня, — резонно объясняла она. — А во-вторых, мне гораздо приятнее влюбленный в меня идиот, чем самый разумный умник, безразличный ко мне или влюбленный в другую дуру.

Как-то я рассказала ей, что еще в Петербурге один мой знакомый — она тоже его знала — считал ее самой интересной и очаровательной женщиной из всех, кого ему приходилось встречать в жизни, и с восторгом говорил о ней.

Она вся вспыхнула, расцвела улыбкой и, обняв меня, трижды поцеловала.

— Какая вы милая! Спасибо, спасибо, что не скрыли. Приятное ведь редко кто передает, вот неприятное-то уже всегда — незамедлительно и с удовольствием. Но как жаль, что он сам не сказал мне этого еще тогда, в Петербурге.

— Нет, так нельзя, — поучала она как-то при мне молодую писательницу, резко оборвавшую своего собеседника. — Ведь он ваш поклонник. А поклонников надо холить и бережно к ним относиться. Не то, чего доброго, он сбежит к вашей сопернице. Тогда-то вы пожалеете, белугой завоюете, да поздно будет. Она-то его не отпустит. Мертвой хваткой в него вцепится, чтобы вам насолить. По своей вине с носом останетесь.

Впрочем, она и сама не всегда «холила» своих поклонников, особенно при первой встрече.

Вот представляют ей нового поклонника. Никакого сомнения в том, что он ее поклонник, быть не может, — несмотря на солидный возраст и осанистую фигуру, он робеет перед ней, как мальчишка.

— Я так счастлив, — сбивчиво начинает он, почти-тельно прикладываясь к ее руке, — так мечтал... столько слышал о вас, Надежда Александровна, и...

— Не верьте, не верьте ни одному слову, — перебивает она его. — Все это ложь и сплетни!

— Но помилуйте, — почти вскрикивает он, — я только самое лучшее, только самое замечательное о вас слышал...

— Ну, тогда уже и подавно ложь и сплетни, — отрезает она.

Он, сбитый с толку, испуганно смотрит на нее, переступая с ноги на ногу, и не находит, что сказать.

Но тут она приходит ему на помощь:

— И давно вы мечтали познакомиться со мной?

— Давно. Ужасно давно, — растерянно отвечает он. — Еще в Берлине в 1923 году, когда вас впервые увидел. Все искал удобного случая быть вам представленным...

Она разводит руками:

— Подумать только! Но, слава Богу, нашли-таки долгожданный случай. Теперь будем знакомы. Но сколько вы лет проморгали! «А годы проходят, все лучшие годы». И их не вернуть, — поучительно и весело добавляет она. — Теперь нам с вами придется часто встречаться, чтобы хоть отчасти наверстать потерянное время, — уже совсем любезно обещает она новому поклоннику.

Тэффи в своих довоенных фельетонах в «Возрождении» и в «Последних новостях» из недели в неделю описывала эмигрантов и их быт. Остроумно и порой зло.

Доставалось решительно всем, без исключения. Все же ее излюбленными «козами отпущения», как она их сама называла, являлись стареющие, не в меру молодящиеся эмигрантки.

Помню, как в одном из своих фельетонов в «Последних новостях» она издевалась над одной такой «козой», потратившей с трудом скопленные деньги на покупку красного обезьяньего колпачка с победоносно торчащим вверх фазаньим пером. Колпачок этот придавал ее усталому, помятому жизненными невзгодами и непогодами лицу такой залихватский и вместе с тем жалкий вид, что, глядя на нее, хотелось расхохотаться и заплакать над ней одновременно, а главное, посоветовать ей: «А ты бы в зеркало посмотрелась, чучело!»

Такие обезьяньи колпачки были тогда в большой моде и действительно уродовали неосторожно соблазнившихся ими немолодых женщин.

Бедные! Прочитав фельетон Тэффи, ни одна из этих молодящихся модниц не посмеет больше надеть свой обезьяний колпачок. А ведь он дорого стоил.

В тот же день мы с Георгием Ивановым отправились на какой-то очередной литературный вечер — их в те довоенные годы было очень много.

В антракте у буфета я увидела Тэффи и чуть не ахнула. На ее голове гордо восседал красный обезьяний колпачок с длинным фазаньим пером, совсем как в фельетоне.

Боже мой, как она могла надеть его? Она, должно быть — ведь она была необычайно чутка, — поняла, о чем я думаю, и, здороваясь со мной, насмешливо прошептала:

— А ты бы в зеркало посмотрелась, чучело! — И уже громко продолжала: — Только зеркало не помогает. По опыту знаю. Ведь я — по секрету признаюсь вам — чаще всего с самой себя списываю, себя описываю. «Познай самого себя» — если хочешь по-настоящему растрогать или рассмешить читателя. Это уже Гоголь до меня делал. Еще успешнее, чем я.

Тэффи не только замечательно писала, но и замечательно рассказывала и гордилась своим даром сказительницы.

— Мне бы Шехерезадой быть! Вот это занятие как раз по мне — по мерке. Ублажать пашу, услаждать его слух сказками, а не строчить 1001 фельетон для газет, — не раз повторяла она. — Из меня, без сомнения, вышла бы отличная Шехерезада — во всех отношениях. Я не только умею очаровывать, рассказывать были и небылицы, но и заговаривать боль.

Все же ее умению заговаривать боль, хотя, конечно, я и виду не показала, — не поверила тогда. Ведь не знахарка, не колдунья же она, в самом деле?

Но я была не права, не поверив ей.

Уже после смерти Тэффи, слушая как-то воспоминания о ней Юрия Терапиано, я — с удивлением — узнала, что она не хвасталась, а действительно могла заговаривать боль.

Тэффи и Терапиано лечили зубы у одного и того же дантиста и, конечно, — как говорила Тэффи, — «поверяли друг другу свои зубные тайны и беды».

Перед тем как обзавестись вставной челюстью, Терапиано было необходимо удалить воспаленный коренной зуб. Без наркоза — очень болезненная операция.

Тэффи его всячески ободряла:

— Пустяки! Не бойтесь! Я пойду вместе с вами и буду вам зуб заговаривать. Боли не заметите! — обещала она ему.

Так и сделали. В назначенный день и час она, предвзительно переговорив с дантистом по телефону, явилась вместе с Терапиано в зубоучебный кабинет. И сразу же начала увлекательнейший рассказ.

Дантист успокоил Терапиано, что он еще не собирается вырывать его зуб, а только примеривается, как удобнее произвести это, и Терапиано, поверив, успокоился и стал слушать Тэффи.

И вдруг — он даже крикнуть не успел — зуб оказался вырванным.

Тэффи торжествовала:

— Вот видите! Не обманула вас! Сдержала свое обещание. Ведь боли вы не почувствовали. Лучше всякого наркоза действую.

Их совместные визиты к дантисту продолжались еще больше месяца.

Покидая в последний раз зубоучебный кабинет, Тэффи предложила Терапиано зайти в кафе:

— Ведь у нас с вами самые молодые зубы во всей зарубежной литературе. Совершенно необходимо вспрыснуть их!

Военные годы Тэффи провела в Биаррице, как и мы с Георгием Ивановым.

Нам троим приходилось довольно часто бывать в одном нелитературном, но крайне гостеприимном доме, где кормили вкусно и обильно, что по тем полуголодным временам было очень приятно.

— До чего я люблю бывать у них. Накормят на целую неделю, да еще короб словечек и выражений для будущих рассказов с собой унесешь. Сразу получаешь и телесную, и духовную пищу, так сказать, универсально обедаешь. «Не хлебом единым...»

Хозяйка дома действительно выражала свои чувства и мысли оригинально и красочно. Так, встретившись с Георгием Ивановым на набережной, она задала ему неожиданный вопрос:

— Скажите, вы очень чувственный? Не правда ли? — Он опешил, а она, приняв его молчание за согласие, пояснила: — А я сама безумно чувствена. Иногда, глядя на закат, я просто слез удержать не могу. Но вы поэт и, конечно, еще чувственнее меня.

— Только завтра вечером у них садитесь поближе, чтобы мы могли вести «немые разговоры», — уславливается со мной Тэффи.

«Немые разговоры» — то есть попросту многозначительно подмигивать друг другу в самых патетических местах монолога хозяйки.

Впрочем, «разговоры» не всегда остаются немymi. Иногда Тэффи и Георгий Иванов подхватывают какое-нибудь из ее особенно колоритных выражений и вышивают вокруг него фантастический узор, разыгрывают целый скетч, понятный мне одной.

Так и сегодня, за этим обедом.

После закусок, бульона с пирогами подают гуся.

Тэффи сладко жмурится, любуясь им.

— Обожаю собрата по перу! — радостно восклицает она. — Особенно золотисто-зажаренного, с яблоками и тушеной капустой.

Георгий Иванов провозглашает тост, указывая на гуся:

— За него и за всех его братьев по перу. И за всех наших братьев по перу, тех, что сейчас и мечтать не смеют о таком пиршестве!

Хозяева сияют, как, впрочем, и гости.

На несколько минут наступает тишина, вызванная усердным, сладострастным уничтожением гуся.

Хозяйка самодовольно оглядывает жующих гостей. Но пауза, брешь в застольной беседе, по-видимому, ка-

жется ей слишком большой, и она, стараясь заполнить ее, начинает жаловаться на трудные времена:

— Ах, до чего все мучительно трудно в наши дни! Все, без исключения! — лирический вздох, заканчивающийся удивительной находкой. — Особенно — кухня. Ведь кухня такая утопия!

Я боюсь взглянуть на Тэффи и еле сдерживаю смех.

Но Тэффи как ни в чем не бывало деловито поддерживает хозяйку:

— Как правильно вы определили кухню — утопия она. Я и сама, как только начинаю возиться с кастрюлями и сковородками, думаю это.

— Да, — подхватывает Георгий Иванов тоном провинциального резонера, — кухня — тут и сомнения не возникает — утопия. Однако же не одна лишь кухня, а и многое другое. К примеру взять — даже литература, и та утопия.

Тэффи резко протестует:

— Ну уж нет! Позвольте, позвольте! Экую гиль понесли! От вас-то я этого никак не ожидала. Никаких взаимоотношений между литературой и утопией существовать не может. Каждому ясно — слово «утопия» происходит от глагола «утопнуть» и, как и он, употребляется исключительно в просторечии.

— Нет уж, Надежда Александровна, теперь вы позвольте! — Георгий Иванов начинает в притворном негодовании повышать голос. — Вы не станете, надеюсь, отрицать...

Хозяйка переводит встревоженный взгляд с него на Тэффи. Чего они так горячатся. Не к добру это. Спор легко может перейти в ссору и погубить ее дорогого стоивший обед.

— Надежда Александровна, — умоляюще произносит она, — возьмите еще крылышко. И печеное яблочко. А у вас, Георгий Владимирович, совсем нет подливки.

Но не так-то легко прекратить этот словесный поединок, принимающий — по ее мнению — опасные размеры.

Георгий Иванов не унимается.

— «Утопия», — продолжает он веско и убедительно, — происходит и от слова «топь». А оно-то издревле приобрело права гражданства и в прозе, и в стихах. И провело туда за собой и «утопию». Вспомните хотя бы знаменитую строфу Пастернака, в коей они оба фигурируют.

Тэффи, предвидя мистификацию, сосредоточенно сдвигает брови:

— Не помню. Что-то мелькает в памяти. Но нет. Нет. Прочитайте-ка ее!

Георгий Иванов, отбивая отчетливо ритм, «цитирует» тут же им сочиненную строфу:

По крыше дождя дробь,  
В саду болота топь.  
Ну, прямо копия  
Картины Клевера —  
Бездарная утопия  
Осеннего севера...

Тэффи, прослушав ее внимательно, трижды кивает:  
— Признаю себя побежденной по всей линии. Вы совершенно правы. Спасибо, что вспомнили Пастернака, — не без легкой обиды говорит она.

Я смотрю на нее. Лукавый огонек исчез из ее глаз. Она уже непритворно хмурится, снова принимаясь за гуся.

Неужели ей неприятно, что Георгий Иванов приписал выдуманную им строфу Пастернаку?

Да, этого ему, пожалуй, делать не следовало. Лучше бы он провозгласил Андрея Белого или Маяковского ее автором. С Пастернаком у Тэффи связаны неприятные воспоминания. За несколько лет до войны она, как тогда говорили, «оскандалилась, села в калошу», напечатав в «Иллюстрированной России» «нечто несосвятимо-невообразимое» в ответ на статью Марины Цветаевой «Световой ливень», воспевающую Пастернака в «Современных записках».

«Пастернак. Никогда я не слыхала о таком поэте. Зато с детства знаю:

Танцевала рыба с раком,  
А петрушка с пастернаком», —

опрометчиво заявила Тэффи в «Иллюстрированной России», надолго возмутив и восстановив против себя молодых эмигрантских поэтов.

Сколько огорчений и обид ей тогда доставил этот танец рыбы с раком!

Неужели Георгий Иванов хочет снова напомнить ей о них?

Но нет. Он, улыбаясь, обращается к хозяйке:

— Должно быть, и вы забыли эту строфу? Но вы, я уверен, любите Пастернака?

— Ну, конечно, — радостно и смущенно соглашает-

ся она. — Как же можно не любить его? — хотя о Пастернаке она вряд ли слышала что-нибудь, кроме танца с петрушкой. — Он так много говорит русскому сердцу, — неожиданно добавляет она.

Тэффи достает из сумочки помятый конверт и огрызок карандаша.

— Запишите мне, Георгий Владимирович, эту строфу. А то опять забуду. Ведь и моему сердцу Пастернак так много говорит. Он мой любимый поэт, — правда, с недавних пор, — ехидно поясняет она. — А строфа эта просто прелестна.

— И как по-пастернаковски. Его ритм. Его дыхание! — восхищаюсь я. — Кто, кроме него, мог бы так?..

— Даст же Бог человеку талант! — сентенциозно заканчивает лингвистический диалог Тэффи, принимаясь за появившийся на ее тарелке третий кусок «собрата по перу».

Хозяйка, видя, что все пришло в порядок и ничто больше не грозит нарушить благочинность ее пышного пира, снова сияет.

Обед удался во всех отношениях — даже в интеллектуальном. Тэффи и Георгий Иванов говорили так умно, так интересно. Многому можно научиться, слушая их. Да. Хозяйка права. Обед действительно прошел удачно. И даже блестяще.

Впрочем, все обеды и завтраки с Тэффи всегда удачны и блестящи.

Одна наша общая с ней знакомая наивно призналась мне, что «за Надеждой Александровной угощеньице никогда не пропадает. Она умеет превратить самый скромный обед в банкет. При ней все вкуснее. И самые скучные, унылые, брюзжащие гости, от которых мухидохнут, при ней преображаются — становятся веселыми и приятными. Прямая выгода для хозяйки приглашать Надежду Александровну».

Когда я передала Тэффи эти слова о ней, она развела руками:

— Лестно, что и говорить! Чувствую себя «Подарком молодым хозяйкам» — молодым и старым. Своего рода «Молоховцом» да и только!

Тэффи, что так редко встречается среди юмористов, была и в жизни полна юмора и веселья. Казалось, она в событиях, даже самых трагических событиях, как и в людях, даже самых мрачных, видела прежде всего их комическую сторону, скрытую от других. И тут же, не об-



ращая внимания на гробокопательное настроение окружающих, весело сообщила о своих наблюдениях и радовалась, если ей удавалось вызвать ими смех.

— Дать человеку возможность посмеяться, — объясняла она, — не менее важно, чем подать нищему милостыню. Или кусок хлеба. Посмеешься — и голод не так мучает. Кто спит — тот обедает, а по-моему — кто смеется, тот наедается досыта. Или почти досыта.

Она провела годы войны в тяжелых материальных условиях. Но всегда старалась сохранять бодрость и веселье, лишь изредка позволяя себе падать духом.

Без смеха ни одна наша встреча с ней не обходилась, даже в самые темные дни. Завидя ее издали, я уже начинала улыбаться — с ней всегда и всюду было приятно и весело.

Большинство наших случайных встреч заканчивались в кафе на набережной. Ведь у нас дел никаких. У меня хоть бридж, у Тэффи и того нет — в бридж она не играет. Ее «светские вылазки» ограничиваются редкими зваными обедами, являвшимися своего рода событиями в те голодные годы.

Сегодня ни бриджа, ни обеда не предвидится. Мы сидим за круглым мраморным столиком и задушевно беседуем. «Задушевно» от «задушить», по ее определению. Тэффи хмурится.

— Как бы мне хотелось задушить, уничтожить, вычеркнуть все эти скучные, пустые дни. Все эти завтра, послезавтра, через неделю, через месяц! До чего они меня изводят. Тянутся, тянутся, и конца им не видно. Сразу бы — прыг! — и перескочить в «после войны», очутиться снова у себя дома, в Париже. Но как подумаешь — страшно отдавать кусок жизни. Ведь неизвестно, сколько лет мне еще осталось жить. Вдруг, после такого прыжка «из царства необходимости в царство свободы», по выражению Бердяева, я окажусь не у себя в Париже, а на кладбище, в могиле. Нет, лучше уж перетерпеть, тем более, что и прыгнуть-то нельзя.

Она глубоко вздыхает и, помолчав немного, протягивает руку, указывая на пылающий над океаном закат.

— Вот, — говорит она, — это все-таки утешение. Каждый день новый, особенный. Я не такая уж страстная поклонница красот природы, не схожу с ума от них. А все-таки и меня пробирает. И еще как! Не могу на закат наглядеться. И так странно — чувствую одновременно страх смерти до дрожи в спине и дикую, бешеную жажду жизни. Жить! Жить полной жизнью. Радоваться жизни. И работать. Но не то, что я обычно пишу, а совсем

другое. Замечательное. Оставить после себя след на земле.

Она снова вздыхает.

— Но я прекрасно сознаю, что никакого, даже легкого следа не оставлю. Целиком полечу вверх тормашками в небытие и забвение. Все, что я пишу и писала, — как эти белые однодневные бабочки, которые кружатся около нас, принимая нас по глупости за цветы, должно быть. Я такая же, как и они, однодневка и...

Я перебиваю ее:

— Какой вздор, Надежда Александровна! Кого, кого, а вас-то никогда — или, во всяком случае, очень, очень долго не забудут. Вспомните хотя бы, что говорил Алданов о вас.

Она, насторожившись, сдвигает брови.

— Обо мне? Алданов? Когда?

— У Мережковских. На одном из «воскресений».

Помните?

Она качает головой.

— Не помню. У Мережковских?

И вдруг, вся просветлев, улыбается.

— Ах, да! Про анналы и что я Пимен в юбке. Как же, как же! Но ведь это только слова, слова — лесть и вранье. А все-таки — приятно вспомнить. Постойте, постойте, давайте восстановим все по порядку, со всеми подробностями.

Она на минутку задумывается.

— Да, вы правы. Это было в воскресенье. Перед Рождеством. Шел дождь, а в дождь и слякоть меня всегда тянет на люди. У Мережковских я давно не была. И подумала: дай-ка пойду к ним — и идти недалеко, и многолюдно. Авось забавно будет. И вышло забавно. Вы ведь помните?

Да, я помню. Я хорошо помню. Вот как это было.

Парижское дождливое предрождественское воскресенье.

Мы сидим за длинным чайным столом на 11-бис, Колонель Боннэ. Мы — то есть хозяйева, Алданов и все «воскресники», за исключением Адамовича, уехавшего в Ниццу к матери и тетке на праздники.

Алданов здесь довольно редкий гость. Очень почтенный, но не очень любимый. По мнению Гиппиус — «он не интересуется интересным. Он неверующий, атеист. Даже не активный, воинствующий, а пассивный атеист — что уже хуже всего. И слишком насквозь литературный, абстрактный. Конечно, он умен, чрезвычайно умен и тонок, но мне с ним не о чем говорить. И Димит-

рию Сергеевичу тоже. Скучно», — и она подавляет зевок в знак того, что ей скучно даже говорить о нем.

Вот и сейчас она посадила его возле себя, с правого, лучше слышащего уха, и с полулюбезным, полускучающим видом ведет с ним литературный разговор, спрашивает о его планах.

Мережковский, что с ним редко случается, не в удаче, и это передается всем «метафизикам», группирующимся вокруг него. Настроение у них кислое. Мережковский вяло и бесцветно обсуждает последнее заседание «Зеленой лампы», не взлетая, как обычно, в надзвездные края, не ныряя в метафизические бездны. Все сегодня как-то не клеится — нет ни ожесточенных споров, ни яростных столкновений мнений. Все не то и не так.

Звонок. И неожиданно-негаданно появляется Тэффи. Нарядная, веселая. Полная бьющей через край жизнерадостности.

— Что, не ждали меня? — весело и звонко осведомляется она. — Незванный гость хуже татарина, знаю, знаю. А я все-таки взяла и пришла. Принимайте!

И Гиппиус, обрадовавшись, что не надо больше заниматься Алданова, «принимает» ее с подчеркнутым удовольствием.

— Вы прекрасно сделали, что навестили нас, Надежда Александровна. Вы повсюду вносите веселье и свет. А у нас сегодня как раз — *sombre dimanche*<sup>1</sup>.

Романс «*Sombre dimanche*» сейчас с утра до вечера распевают все граммофоны и передают по радио. «*Sombre dimanche*» особенно прославился после того, как под его звуки застрелилось несколько человек. Ведь и на самоубийства своя мода.

Меня немного удивляет, что Гиппиус знает о существовании «*Sombre dimanche*»: на 11-бис, Колонель Боннэ, нет ни граммофона, ни радио.

Взлет лорнетки и повелительное:

— Николай Бернгардович, уступите, пожалуйста, ваше место Надежде Александровне!

И Фельзен, милый, благовоспитанный «Спарженька», безропотно перебирается на конец стола в царство Мережковского, где группируются «метафизики» — Поплавский, Варшавский, Терапиано, Дикой, — хотя ему чуждо все, о чем там рассуждают. Ведь он, как Алданов, тоже насквозь литературный.

С появлением Тэффи все сразу меняется. Все ожили.

---

<sup>1</sup> пасмурное воскресенье (фр.).

Мережковский, будто в него пустили магнетический заряд, начинает страстно предсказывать неизбежность мировой катастрофы. И хотя он обращается не к Тэффи, мне кажется, что именно она является источником оживления и вдохновения, охватившего его и слушателей.

Гиппиус, Алданов и Тэффи к ним не относятся, как и я. Но Георгий Иванов принимает деятельное участие во вдруг разгоревшемся споре о судьбах мира и России. Его все, что касается России, неизменно волнует и задает.

Зинаида Николаевна, только что расспрашивавшая Алданова о его литературных планах, обращается с тем же вопросом к Тэффи. Услышав от Тэффи, что скоро выйдет еще одна ее книга, она слегка морщится. И понятно — сколько уже их, этих книг, Тэффи издала в эмиграции. А ей, Гиппиус, кроме двух тонких сборников стихов, не удалось ничего издать. Ровно ничего. У нее в сундуке спят беспробудным сном целых семнадцать романов. Никто не желает их знать. Гиппиус унизилась даже до помещения в «Иллюстрированной России» одного из своих романов с заглавием (если не ошибаюсь) «Будут ли они счастливы?» Но ей, автору, это счастья не принесло. Роман прошел почти незамеченным. С рассказами дело обстоит не многим лучше — в «Последних новостях», в «Числах», в варшавском «Мече», в «Новом доме» и «Новом корабле» их, конечно, — из уважения к ней — печатают. Но без энтузиазма. Как же ей не завидовать?

— Поздравляю, — цедит она сквозь зубы, — ваша новая книга — событие, конечно.

— Да, да, — подхватывает Алданов, — еще бы не событие! И еще какое! Ведь вас, Надежда Александровна, можно сравнить с самим Грибоедовым. Как его строки из «Горя от ума» стали поговорками, так и ваши словечки и выражения вошли в эмигрантский язык и обогатили его. Не счастье алмазов в каменных пещерах! Чего стоит одно ваше знаменитое «*Ке фер?*<sup>1</sup> *Фер-то ке?*!»

Тэффи благосклонно слушает его:

— Вот это комплимент так комплимент! Обогащать русский язык, пусть эмигрантский! Большая, неслыханная честь. Спасибо.

Тэффи прищуривается и с невинным видом продолжает:

— Только жаль, что из всех моих «алмазов» вы вы-

---

<sup>1</sup> Что делать? (от *фр.* *Que faire?*)

брали как раз тот, который мне не принадлежит. «Ке фер? Фер-то ке?» выдумала не я, а мой брат, генерал Лохвицкий. Да, да, тот самый. Остроумней его я никого не знала. Куда мне до него.

Алданов слегка сбит с толку. Он самый вежливый и тактичный человек эмиграции. Неужели же он обидел Тэффи?

Но она весело продолжает.

— Не вздумайте извиняться. И огорчаться. Но кесарево — кесарю. И мне ведь лестно, что у меня такой остроумный генеральствующий брат.

Алданов, возможно, из желания загладить свою «бестактность», продолжает убежденно и убедительно:

— Ваши рассказы, Надежда Александровна, может быть, самое ценное, что создала эмигрантская литература. Это — наши анналы, свидетельство эпохи, материал для будущих историков. Просто памятник эмиграции.

Тэффи кивает, радостно сверкая глазами.

— Чувствую, как я начинаю стареть, седесть, превращаться в этакого седобородого Пимена. И насчет памятника, как ловко, как верно. — Она лукаво улыбается. — Никто, кроме вас, не умеет так угодить авторскому самолюбию. Может быть, еще что-нибудь прибавите, чтобы я себя памятником почувствовала, так сказать, эмигрантским памятником, возведенным во вторую или энную степень — если только мои скудные остатки алгебры не изменяют мне.

Алданов разводит руками:

— Помилуйте, Надежда Александровна! Я совершенно серьезно. Я действительно считаю вас...

— Пименом! Седобородым Пименом в юбке. И нерукотворным памятником. Принимаю. Верю. И горжусь собой.

Алданов смотрит на Тэффи своими слишком красивыми, газельими глазами, странно не гармонирующими с его одутловатым, немолодым лицом.

— Надежда Александровна, я без шуток, совершенно искренне восхищаюсь вами. Ведь юмор — самый трудный род литературы. Откуда вы все это берете?

— Откуда? Из себя, — не задумываясь, отвечает она. — Из себя. Черпаю, как из бочки.

— Из бездонной бочки, — веско роняет Гиппиус.

— Совершенно правильно, — подхватывает Алданов. — Как из бездонной бочки. Так легко, так неисчерпаемо. А ведь, как вы изволите знать, остроумие, по Сент-Бёву, схоже с карандашом. Его постоянно надо оттачивать, чтобы оно не притупилось.

Алданов, приведя какую-нибудь цитату, неизменно прибавляет «как вы изволите знать», подчеркивая этим свою уверенность в знаниях собеседника.

— А вот, представьте себе, я и не изволю знать мнения Сент-Бёва об остроумии, — капризно и запальчиво заявляет Зинаида Николаевна. — Но запомню. И буду точить свой карандаш, чтобы он не притупился. Остроумие ведь и критику необходимо, — она переводит свой лорнет на Тэффи. — Но вам, Надежда Александровна, точить ничего не надо. Вы пишете самопишущим пером.

Алданов хотя и понимает, что Гиппиус начинает раздражаться, терять терпение и пора переменить тему, все же продолжает восхвалять Тэффи, игнорируя двусмысленное, не совсем понятное «самопишущее перо».

— Мы все, Надежда Александровна, должны быть вам благодарны за то, что вы заставляете нас смеяться. Ведь тот, кто смешит людей, оказывает им настоящую услугу, заставляя их забывать о страхе смерти. А от страха смерти, как известно, люди старятся преждевременно. Недаром французы говорят: «Le jour où l'on cesse de rire, on commence à vieillir». (В день, когда перестаешь смеяться, начинаешь стареть.) Вы сохраняете нашу молодость. Не позволяйте нам стареть.

Гиппиус кивает насмешливо.

— Понимаю, понимаю, — растягивая слова, произносит она. — Надежда Александровна фабрикует эликсир вечной молодости. — Она — еще и алхимик. Вернее — алхимичка. И подумать, что я об этом и не догадывалась! Спасибо, Марк Александрович, вы меня просветили, открыли мне истину. — И, сделав многозначительную паузу: — А я как раз, слушая вас, решила сообщить вам в награду интересную новость. Это пока секрет, но я собираюсь посвятить вам большую статью. Написать о вашем «Ключе» и последовавших за них «ключиках». И о «Чертовом мосте» и прочем историческом. Все сказать, что думаю о всем вашем, о вас. Мне уже давно хочется. Обещаю вам.

Алданов меняется в лице.

— Ради бога, Зинаида Николаевна!.. Не пишите! — испуганно вскрикивает он срывающимся голосом. И, спохватившись, багрово краснеет до корней волос. У него, всегда такого выдержанного, отлично умеющего собой владеть, совершенно потрясенный, потерянный вид. На него жалко смотреть.

Но Гиппиус с явным удовольствием наводит на него свой лорнет и любуется эффектом, произведенным ее

обещанием. Помолчав немного, она любезно предлагает, будто ему необходимо подкрепиться после пережитого волнения:

— Не налить ли вам чашечку моего кофе?

Но Алданов так потрясен, что даже не благодарит за редчайшее желание угостить его ее кофе. Она не настаивает и, все так же пристально глядя на него, говорит:

— Успокойтесь, Марк Александрович. Я пошутила. Правда, мне хочется написать о вас. Но я еще не знаю когда. Никакой статьи о вас у меня еще в проекте нет. Может быть, я отложу «на завтра, на потом, на послезавтра», — лорнетка снова взлетает и на этот раз останавливается на мне. — Как в стихотворении Ирины Владимировны: «на когда умрем».

Должно быть, Гиппиус очень довольна. Если делает мне неслыханный «омаж»<sup>1</sup> — цитирует мои строчки. Я никогда не предполагала, что она знает их наизусть.

Да, Гиппиус действительно пришла в прекрасное настроение и хочет всех одарить своей благосклонностью.

— Володя, — обращается она к Злобину, — принесите из моей комнаты «Числа».

Злобин возвращается с последним номером «Чисел» и подает ей журнал. Она начинает его перелистывать.

— Удивительно удачно все. Да, как ни странно, на этот раз все. Но особенно мне нравятся Адамович, Георгий Иванов, Оцуп, Терапиано, Поплавский, Фельзен, — и она перебирает имена почти всех участников. — Куда же «Сов. запкам» (то есть «Современным запискам») до «Чисел»! — кончает она, с улыбкой глядя на засиявшего Оцупа. — Поздравляю, Николай Авдеевич.

И «воскресенье» заканчивается вполне благополучно...

— Мне сейчас кажется, — мечтательно произносит Тэффи, — что это было давным-давно. «Это было давно. Я не помню, когда это было. Может быть, никогда». А вот мы с вами, — прибавляет она уже другим тоном, — восстановили то «воскресенье» во всех подробностях и деталях. И сейчас мы, как два пуделя, только что вылезших из пруда, отряхиваемся, и брызги воспоминаний летят во все стороны. Жаль, что нас никто не слушает.

Она улыбается, глядя перед собой на все разгорающийся закат, но вряд ли видит его, погруженная в воспоминания.

— Ведь как правильно: «Что пройдет, то будет мило». Тонкий психолог Жуковский. Тогда я и внимания на

---

<sup>1</sup> «уважение» (от фр. *hommage*).

слова Алданова не обратила, а сейчас до чего приятно вспомнить, до чего мне его панегирик нравится! И сама я себе сейчас та, прежняя, та, прошлая, очень нравлюсь. «Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была»... Безусловно лучше. Ведь голод и скука не красят. И одета я в тот день была прекрасно — в новом бархатном платье, и причесана соответствующе. Зинаида Николаевна на меня весь свой лорнет проглядела — не без зависти. А я страшно люблю вызывать зависть. Каюсь в женском тщеславии! Пусть лопаются от зависти! Вот я какая! И не стыжусь!

Она горделиво оглядывает сидящих за соседним столиком и самодовольно улыбается.

— Да, о том панегирике Алданова мне сейчас очень приятно вспомнить. Чего он только тогда не наговорил! И все-таки, — продолжает она, и тень ложится на ее только что улыбавшееся лицо, — по-настоящему такие славословия меня не трогают. Ведь он восхищался моим «смешным». А я больше всего ценю свое «серьезное» — то, что я называю «слезами моей души», то, что Мережковский не постеснялся объявить пошlostью, прямо мне в глаза: «Пошlostь весь этот жемчуг вашей души!» Потом он, правда, извинялся: «Я погорячился, оговорился. Мой язык часто произносит не то, что я думаю». Я не обиделась. Но мне больно, что мое «серьезное» не признают — особенно стихи. Со стихами мне ужасно не везет. Моим песенкам — «Ах, какая прелесть! Еще, еще спойте!» — хлопают, восторгаются, а от моих настоящих стихов отворачиваются брезгливо. И представить себе нельзя, что они появятся в «Современных записках», в «Числах» или в каком-нибудь «Смотре» или «Новом доме». Со стихами мне у поэтов и у критиков всегда не везло. Еще до первой войны Брюсов меня прославил рецензией на мой сборник стихов «Семь камней»: «Камней действительно семь, но все они фальшивые».

Вот моя сестра Мирра Лохвицкая, ту все сразу признали и захвалили. И Брюсов в том числе. Игорь Северянин просто поклонялся ей. Ее прозвали «русской Сафо». Правда, мальчики шли на смерть, распевая «Три юных пажа» и «Мимо стеклышек иллюминатора», но Гиппиус уверяет, что это от полуинтеллигентского безвкусыя. Признайтесь, — она поворачивается ко мне, — вы ведь тоже терпеть не можете мои стихи? — И сразу, не дав мне времени ответить: — Не надо, не отвечайте. Если похвалите — я не поверю. Если скажете правду, мне будет больно. Лучше давайте-ка разойдемся, как в море корабли, до следующей, такой же, надеюсь, приятной встречи.



The rest is silence<sup>1</sup>, — с трудом произносит она и смеется, — я ведь от безделья учусь английскому языку. Только выговор у меня корявый, как и у моей учительницы, впрочем. Я ей уроки русского даю в обмен. Я превосходная учительница. У меня своя система. Вот как я учу ее счету:

Раз, два, три, четыре,  
Скучно жить мне в этом мире,  
Пять, шесть, семь,  
Слишком мало пью и ем,  
Восемь, девять, десять,  
Вот бы фюрера повесить.

И так далее — до ста. Она гораздо ббльшие успехи делает, чем я. My tailor is rich<sup>2</sup>, — вот и все, что я пока усвоила. Да этот самый silence. Но подождите, скоро заговорю, как англичанка. Хотя мне это решительно ни к чему. Просто лекарство от скуки. Но и оно не помогает.

Весеннее утро 1942 года. Я только что встала.

Звонок. В столовую входит Тэффи. Ее появление в такой ранний час немного удивляет нас с Георгием Ивановым, но мы ее, как всегда, радостно встречаем.

— Простите, — говорит она взволнованно и торопливо, — врываюсь к вам в такую рань. Только мне совершенно необходимо.

Мы с недоумением переглядываемся. О чем это она? Что с ней?

— Если не у вас, так ни у кого здесь не найду, а мне до зарезу надо, — продолжает она так же торопливо и взволнованно. — Есть у вас «L'Histoire de la magie»<sup>3</sup> Леви, Элифаса Леви?

— Нет, — отвечаем мы хором. — Никакого Элефанта Леви у нас не было и нет.

— И я даже о нем никогда не слыхала. Ни о нем, ни о его «Histoire de la magie», — поясняю я.

— Так... — разочарованно и протяжно произносит Тэффи, — значит, я напрасно взгромоздилась с петухами и даже кофе не успела выпить.

— Кофе мы с вами выпьем сейчас вместе, мы ведь тоже еще не пили. А Элефанта вам придется поискать в

<sup>1</sup> Об остальном умолчим (англ.).

<sup>2</sup> Мой портной богат (англ.).

<sup>3</sup> «История магии» (фр.).

другом месте. Элефанты и леонты у нас браков не учиняют.

Тэффи морщится.

— Не Элефанта, а Элифаса. Странно, что вы не слышали о такой знаменитой книге. — И с робкой надеждой в голосе: — А может быть, у вас все-таки «Dogmes et rituels de la haute magie»<sup>1</sup> найдется?

Георгий Иванов качает головой:

— Не найдется.

— И вообще ничего о магии? Завалящегося?

— Ни-че-го, — отчеканивает Георгий Иванов. — Этого товара в доме не держим.

— Вот, если хотите, по хиромантии или графологии, — предлагаю я. — Или по астрологии. Этого у меня немало. Но по магии...

Тэффи сокрушенно вздыхает:

— Придется из Парижа выписать. Только надо неделю ждать, а мне приспичило. Вчера вечером вспомнила об этой книге и не могла спать, все о ней думала. Еле утра дождалась, чтобы прийти к вам. Я в такую полосу попала. Накатывает на меня. Так торопилась, что даже красоту на фасад не успела навести. Не смотрите на меня, пожалуйста.

Да, она действительно «красоты не навела». А ведь обыкновенно она никому не показывается «в натуральном виде» — ненапудренная, с неподкрашенными губами и неподведенными глазами, или когда у нее «неавантажный вид».

— Хочу нравиться всем, всегда, — откровенно сознается она.

И одета она сейчас не так тщательно, как обыкновенно. Бархатный берет, обычно кокетливо скошенный на левый глаз, строго и прямо надвинут на лоб до самых бровей, скрывая затейливые завитки на висках. От этого черты ее лица как будто заострились и приняли строгое, серьезное выражение. Клетчатый шарф, обычно не без лихости и кокетства закинутый вокруг шеи, распластан на плечах.

Я смотрю на нее, соображая, кого, собственно, она мне напоминает? Где я видела такой бархатный берет, надвинутый на лоб, такой клетчатый шарф и такое умное, строгое, старое лицо? И вспоминаю: на портрете моего прадеда, гейдельбергского профессора начала XIX века, висевшем когда-то в кабинете моего отца. До чего она сейчас похожа на него!

---

<sup>1</sup> «Догматы и обряды высшей магии» (фр.).

— Надежда Александровна, — начинаю я и на минуту останавливаюсь: а вдруг она обидится? — У вас сейчас такой серьезный, умный, ученый вид! Ну прямо ни дать ни взять — немецкий профессор.

— Разве?

Она подходит к большому зеркалу на стене и внимательно рассматривает себя в нем.

— А ведь правда! Ни дать ни взять старый профессор. И конечно, немецкий, не то Вагнер, не то сам доктор Фауст. А то и сам Кант. Впрочем, я его портрета никогда не видела.

Она продолжает себя разглядывать:

— Я сейчас открытие сделала. Никогда не знала, что старуха может походить на старика. Старики, тех часто легко можно принять за старух. Еще позавчера художник М. сидит у меня, весь крутится и вьется, как угорь на сковороде, и все напрашивается на комплименты: «Вы не находите, Надежда Александровна, что у меня сегодня какой-то странный вид?» А я ему чистосердечно брякнула: «Ничего странного. Обыкновенный старик, похожий на старуху». Он, бедный, сразу скис. Огорчила я его. Ушел обиженный. А вот чтобы старуха на старика походила, вижу впервые...

Георгий Иванов прерывает ее:

— Ну какая же вы, Надежда Александровна, старуха? Помилуйте! Вы ведь моложе всех молодых! Сознайтесь, это вы только для красного словца.

Она кивает:

— Ну, конечно, для красного словца. Старухой я никогда не буду. Даже в день смерти. А на старого профессора все же похожа сейчас. На доктора Фауста, до пакта с Мефистофелем.

Она снова возвращается к так страстно интересующим ее сношениям с темными силами.

О них у меня смутные познания, не то что у Тэффи.

— Откуда вы все это знаете, Надежда Александровна?

— Я много читала об этом, — говорит она. — Я вообще много, слишком много читаю. Я не пью, не курю. Чтение, «се vice impii»<sup>1</sup>, как его определяет Валери Ларбо, единственный мой порок. Чтение — мой грех, мой безгрешный грех. Вот у вас столько книг, я вам завидую, что вам удалось перевезти сюда вашу библиотеку. Я на вашем месте читала бы ночами напролет. Жаль только, что о магии...

— Постойте, — перебиваю я ее, — у нас, кажется,

---

<sup>1</sup> «этот безнаказанный порок» (фр.).

все-таки найдется кое-что интересное для вас. Магические рассказы Нодье. Читали? И Шамиссо — «Человек, потерявший свою тень».

— Нет. Не читала. Но, конечно, слыхала давно о них и очень хотела прочесть. Как чудесно, что вы мне их одолжите. Не бойтесь, верну. Чужого мужа могу украть, сознаюсь. Книгу — никогда.

Я приношу ей обе книги. Она перелистывает их.

— Значит, я не напрасно притащилась к вам. Это, кажется, действительно страшно интересно, судя по иллюстрациям. А знаете, какая разница между феерией и фантастикой? — спрашивает она.

— По-моему, одно и то же, — неуверенно отвечаю я.

— Ничего подобного, — отрезает Тэффи. — А вы, Георгий Владимирович, конечно, знаете?

Он качает головой:

— Нет, не знаю, представьте себе.

Тэффи торжествует и, захопнув Нодье, поучает нас, как профессор с кафедр:

— Феерия — добро. Стремление к счастью. Жизнь. Фантастика — зло. Смерть. Феерия — светлый сон. Фантастика — кошмар. Семнадцатый век — помесь фантастики с феерией — похож на наш двадцатый век. Особенно на годы, которые нам теперь приходится переживать. Фантастика и феерия диаметрально противоположны. «Феерия» происходит от феи, в ней все светло, она стремится к счастью, в ней действуют добрые силы. В магии — темные силы. Она стремится к смерти, к разрушению жизни. Магия и феерия — как две стороны одной и той же чудесной монеты. Одна сторона темная — смерть. Другая светлая — жизнь. Сказки фееричны. Они ведь всегда хорошо кончаются.

Она произносит все это с жаром. Она довольна, что ей удалось блеснуть ученостью перед понимающей, квалифицированной аудиторией. Она улыбается и вдруг, совершенно преобразившись:

— Вот и мой сегоднешний приход к вам фееричен, раз мне удалось раздобыть такие интересные книги. Подождите минутку.

Она открывает сумочку, достает зеркальце, подкрашивает губы.

— А то когда у меня ненамазанные губы, у меня голос звучит глухо и ничего веселого я сказать не могу. Теперь только попудриться.

Она ловким привычным движением придает своему бархатному берету залихватский уклон, высвобождает из-под него завитки волос на висках, сбрасывает

клетчатый шарф и пальто и с явным удовольствием любуется собой в зеркале.

— От Herr Professor'a и следа не осталось. Снова Тэффи, похожая на Тэффи, — победоносно заявляет она. — На себя и ни на кого другого. А теперь, если угостите, не прочь кофе выпить. И даже основательно закусить — зверски проголодалась.

И она весело садится за накрытый стол.

— Мне было бы не так грустно и скучно в этом противном Биаррице, если бы у меня была кошка, — мечтательно говорит Тэффи, снова сидя со мной на террасе кафе. — С кошкой мне было бы легче. Только чем бы я стала ее кормить? Ведь я и сама живу впроголодь. А кошка — ужасная привередница, — той дряни, которой я питаюсь, я ей давать не посмела бы. Да она бы только фыркнула презрительно — станет она рютабагу есть! Замяукала бы, требуя печенки или рыбы. Но где их взять? Нет, лучше уж одной мучиться. Что бы я стала делать, если бы моя кошка от голода кричала?

Да, Тэффи любит кошек. Так же, как Колетт. Обе они о кошках много писали.

— Я просто не понимаю, — как можно не любить кошек, — продолжает Тэффи. — Для меня человек, не любящий кошек, всегда подозрителен, с изъязном, наверно. Неполноценный. Вот даже Вера Николаевна Бунина — на что уж, кажется, она добра и мила, а что она не переносит кошек, боится их — как стена между ней и мной. Близости, дружбы между нами настоящей быть не может. Всегда чувствую отчужденность. Симпатизирую ей сдержанно, признаю все ее бесспорные качества. Но кошек ей простить не могу. Люди для меня делятся на тех, кто любит кошек и кто их не любит. Человек, не любящий кошек, никогда не станет моим другом. И наоборот, если он кошек любит, я ему много за это прощаю и закрываю глаза на его недостатки. Вот, например, Ходасевич. Он любил кошек и даже написал стихи о своем коте Мурре...

— А вы, Надежда Александровна, — спрашиваю я, — вы тоже писали стихи о кошках?

— А еще бы! И очень много. У меня кошачьих стихов набралось бы на целый том. Но они слишком интимны, чтобы их обнародовать, придавать гласности. Хотите, прочту какое-нибудь из них?

Я, конечно, хочу. И она начинает:

Белолапка-серокошка  
Раз уселась на окошко,  
А по улице идет  
Очень важный тигрокот.  
Скок! И сразу хватъ в охапку  
Серокошку-белолапку,  
Под себя ее подмял  
Тигрокот, ну и нахал!

— Нравится вам? Хорошо?

По звуку ее голоса, по выражению ее лица мне ясно, что она с волнением и тревогой робко ждет моего одобрения.

— Очень нравится! Прелесть! — совершенно искренне говорю я. — Как выразительно, сколько динамики!

Она, совсем как начинающая карьеру молодая писательница, вспыхивает от радости.

— Действительно нравится? — переспрашивает она. — Я боялась, что и это вы осудите. Ведь вы знаете, мне со стихами не везет. Настоящие поэты-мэтры меня даже презирают. Мне это очень обидно.

— Прочтите, пожалуйста, еще какое-нибудь «кошачье», — прошу я, желая избежать разговора о ее «серьезных» стихах. — Или нет, раньше повторите еще про тигрокота, чтобы я его хорошенько запомнила. Он просто восхитителен.

Она охотно соглашается. Она, как, впрочем, и большинство поэтов, готова читать свои стихи «сколько угодно и еще немного — с полчаса».

— У меня целый кошачий эпос, — объясняет она. — Тигрокот и белолапка его главные герои. Они кошачьи Тристан и Изольда или Ромео и Джульетта. Но и других вымышленных кошек и котов у меня много. Они меня постоянно навещают. В особенности когда я больна. Такие добрые, чуткие — сейчас же тут как тут. Развлекают и утешают меня. Это я о них:

Все коты пришли гулять  
На зеленую кровать  
И пошли домой потом  
Кошка с кошкой, кот с котом.

Вас, наверно, удивляет «на зеленую кровать» — будто на зеленый луг. А это просто оттого, что у меня зеленое покрывало на кровати.

Она так улыбается и так смотрит вдаль, будто действительно видит перед собой процессию котов и кошек, чинно шествующих попарно.

— Они удивительно умные, — продолжает она оживленно. — Я как-то сочинила о них целую поэму. И, представьте себе, они сразу же стали исполнять ее хором, на разные голоса. И что уже совершенно невероятно, прибавлять к ней разные ими самими сочиненные строфы, особенно когда у меня жар. Да так ловко, так находчиво. Я просто диву даюсь. Куда мне! Гораздо лучше меня. Да, пожалуй, и всех наших поэтов. Беда только в том, что я их запомнить не могу никак, хоть и стараюсь. Но проснусь: нет, ни слова не помню! До слез досадно. Совсем как у Гейне. Про его сон с «ципрессами»<sup>1</sup>. Вы, может быть, помните?

— Да, я помню:

Ich wache auf, und der Strauß ist fort,  
Und das Wort hab ich vergessen<sup>2</sup>.

— Вот-вот, — радостно кивает Тэффи. — Это самое. Конечно, немецких поэтов сейчас цитировать неприлично. Всех, даже Гете. Но ведь Гейне — еврей. Его гитлеровцы из своих антологий исключили. Он не немецкий, он просто поэт. Его можно.

— А кошачья поэма, — напоминаю я.

Тэффи поправляет съехавший в сторону берет и проводит пуховкой по покрасневшемуся от вдохновения и волнения лицу и начинает читать с нескрываемым удовольствием:

Тридцать три и два кота  
И четыре кошки...

Поэма очень длинная. Я запомнила из нее только эти две строчки. А жаль — в ней было много остроумных находок и прелести.

Тэффи все же, как и полагается юмористке, была неврастенична, и даже очень неврастенична, хотя и старалась скрыть это. О себе и своих переживаниях она говорила редко и, по ее словам, «терпеть не могла интимничать», ловко парируя шутками все неудачные попытки «залезть к ней в душу в калошах».

— Почему в калошах? — удивленно спрашиваю я.

---

<sup>1</sup> «кипарисы» (от нем. Zypressen).

<sup>2</sup> Я просыпаюсь — и ветки нет,

И я не припомню ни слова (нем.).

— Без калош не обойтись, — объясняет она. — Ведь душа-то моя насквозь промокла от невыплаканных слез, они все в ней остаются. Снаружи у меня смех, «великая сушь», как было написано на старых барометрах, а внутри сплошное болото, не душа, а сплошное болото.

Я смеюсь. Но Тэффи даже не улыбается. Она шагает рядом со мной и, подняв голову, сосредоточенно оглядывает дома по обе стороны улицы.

Она, должно быть, устала. Мы возвращаемся с прогулки. Со слишком большой прогулки для нее. Я забыла, я не подумала, что такой «спортивный пробег» в семь километров ей не по силам.

— Надежда Александровна, вы устали? — спрашиваю я.

Она качает головой.

— Нет, не то. Или все-таки устала. Но не от прогулки только, а оттого, что на этой несносной улице столько домов и все высокие. А я должна сосчитать, сколько окон в каждом этаже. Утомительно!

Я удивлена.

— Почему вы должны считать окна?

Она пожимает плечами.

— Разве я знаю, почему и зачем? Должна, и все. Иногда не могу на улицу выйти — сейчас же обязана считать окна — четное или нечетное число их. Нечетное — да. Четное — нет. Четное приносит мне несчастье. Я и номера автомобилей считаю. Но теперь, слава Богу, автомобилей почти нет. А в Париже просто беда. Идешь и головой крутишь: то на окна, то на автомобильные номера смотришь, легко самой под автомобиль угодить. Не каждый день это со мной. Но последнее время все чаще. Очень тяжело это и неприятно. И мучительно.

Я знаю, что считать номера автомобилей и окна домов — один из признаков неврастения. Но я говорю:

— Я и сама суеверна. А Жорж, тот суеверен до смешного.

Она морщится.

— Нет, это не суеверие. Хотя я, конечно, тоже суеверна. Но окна — другое. Из области чтения наоборот. Ведь я читаю во второй раз справа налево каждую строку книги, письма и даже то, что сама пишу. Это изводит меня. И ничего не могу с собой поделывать. Будто кто-то приказывает мне. Если не послушаюсь, знаю, плохо будет. И слушаюсь.

Мы выходим на набережную.

— Давайте посидим в «нашем» кафе, — предлагает она. — Вы меня действительно слегка загоняли. Отдох-



нем. Может быть, настроение улучшится. Хотя вряд ли. Мы устраиваемся на террасе.

Она достает из сумочки зеркальце, смотрит в него, состроив гримасу.

— До чего противная физиономия! — она засовывает зеркальце обратно в сумку и звонко щелкает затвором. — Смотреть на себя тошно, да и на других тоже. — И спохватившись: — К вам не относится, ведь о присутствующих...

— Не говорят, — кончаю я. — Не говорят, а думают. Все же, Надежда Александровна, скажите мне что-нибудь очень лестное, какой-нибудь комплимент, вроде как в одном из ваших рассказов, помните:

Твои глаза порой похожи  
На снівшийся во сне топаз.  
Ни на одной знакомой роже  
Я не видал подобных глаз.

Я смеюсь. Она поднимает брови в недоумении.

— Разве смешно? По мне, просто глупо. Хотя я это не выдумала, не сочинила. Это один прапорщик написал барышне в альбом; он был в нее влюблен, а она требовала от него мадригалов. Был у него еще и такой:

Вижу, вижу девку рыжу,  
Да и ту я ненавижу.

Бедный! Ничего придумать не мог. Она была рыжая. Обиделась. Прогнала его. А через месяц его на войне убили. И это скорее грустно, чем смешно. Как жестока жизнь, как несчастен человек. Каждый мой смешной рассказ, в сущности, маленькая трагедия, юмористически повернутая.

Она проводит несколько раз перед глазами рукой, будто отгоняет муху или комара. Но ни комара, ни мухи нет. Я не решаюсь спросить, что означает ее жест.

— Иногда я чувствую себя странно. И отвратительно. Как сейчас вот. Мне кажется, что я когда-нибудь сойду с ума.

Я смотрю на нее испуганно. Голос ее звучит глухо, и в глазах несвойственное выражение тоски.

— Надежда Александровна, — робко советую я, — вы бы к доктору сходили.

— К доктору? — спрашивает она насмешливо. — Вздор! Пробовала. И не раз. Ни к чему не привело. Нет доктора, способного понять, что со мной делается.

— К специалисту по нервным болезням, — продолжаю я советовать.

Она прищуривается.

— Ну, конечно, нервами все объяснить можно. Все от нервов, как уверяла моя нянька, все — и куриная слепота, и понос, и пожар, и сап у лошадей. Только нервы здесь, как при сапе или пожаре, вряд ли виноваты. Вот я ломаюсь, как свинья на веревочке. Грожу сойти с ума. Да только, как правильно говорит Мережковский, умные с ума не сходят. А в том, что я, Тэффи, умна, никто ведь сомневаться не может. Не так ли? — лукаво спрашивает она. — Все от безделья, от скуки. Печататься нигде, впрок я писать не умею, вот глупые мысли и расплодились в мозгу, как тараканы. Шуршат, бегают, усиками шевелят. А мне от них коломятно и тошно. До того, что иногда просто хочется головой о стенку.

Она замолкает на минуту, отодвигает нетронутую чашку кофе и решительно встает.

— Ну, довольно с меня! До свидания. А таскать меня в такую даль на Côte Basque<sup>1</sup> вам не следовало. «Не такое нонче время, мой товарищ дорогой», чтобы на голодный желудок километры отмахивать. Пойду к себе — отлеживаться.

— Вы сердитесь, Надежда Александровна? Простите, — растерянно говорю я. — Мне казалось, что это не далеко. И ведь так красиво.

— Ну и что, что красиво? — перебивает она. — «Красота спасет мир»? Успокоит и накормит? А вышло наоборот. Я действительно обозлилась. Нет, не на вас. На себя. За это дурацкое хождение по мукам. У меня ноги болят, распухли. Каждый шаг мука. А я из гордости скрываю. И зачем, спрашивается, я перед вами расквасалась? Стыд и срам!

Она сердито надвигает берет на лоб, протягивает мне руку и вдруг неожиданно заливается своим милым, легким смехом.

— Ну, ну! Не вздумайте огорчаться. Какая вы, право, забавная! Нельзя так за других расстраиваться в наши жестокие дни. Рано еще плакать надо мной. И совсем мне уже не так плохо! Даже совсем не плохо! Бросьте! Бегите себе весело домой. Благо у вас дома тепло и уютно, и обед вкусный, и любящий муж. А обо мне не думайте. Пользуйтесь жизнью, пока судьба к вам так благосклонна. Ведь колесо фортуны вертится. Кто знает, может быть, и вы тоже когда-нибудь окажетесь под ним.

<sup>1</sup> Баскское побережье, район во Франции, на берегу Атлантического океана (Примеч. ред.).

Так старайтесь быть как можно счастливее теперь, чтобы потом было бы о чем вспомнить. Впрочем, не слушайте мои глупые советы. И воспоминания ни к чему, когда на душе мерзко. Все это вздор. Кланяйтесь Георгию Владимировичу.

И она, кивнув мне на прощание, быстро уходит.

Я смотрю ей вслед. Обыкновенно она, пройдя несколько шагов, оборачивается и машет мне рукой.

Но сейчас она идет по набережной, опустив голову, и даже не обращает внимания на пылающий над океаном закат, который она так любит.

Значит, ей действительно очень тяжело и очень плохо.

Как-то еще до войны, в Париже, Тэффи пришла к нам, сильно хромая. В тот вечер у нас собрались друзья.

— Ух, еле добралась! — и она тяжело опустилась в кресло, вытянув ноги вперед.

Все бросились к ней с расспросами. С минуту она, ни с кем не здороваясь, сидела молча с закрытыми глазами, потом вдруг встрепенулась, как птица, готовая к полету, оглядела всех присутствующих по очереди и рассмеялась:

— Что, напугала я вас? А теперь вам кажется, что я для забавы свою хромоножку по Достоевскому разыграть хотела — «ведь эта Надежда Александровна всегда что-нибудь уморительное придумает!» А вот и ошиблись! Я сейчас вместо того, чтобы блистать на этом пышном приеме, могла бы лежать с переломленной спиной на больничной койке в госпитале, а то и вовсе, пожелав вам всем долго жить, отдать Богу душу. — И, сделав паузу и полюбовавшись эффектом, вызванным ее словами, продолжала: — Вылезаю из метро на станции Пасси, взбираюсь по лестнице. А передо мной какой-то шустрый мальчишка лет восьми удивительно ловко скачет, на каждой ступеньке замысловатый прыжок проделывает. Очень мне понравилось и самой захотелось. Дай-ка, думаю, попробую. И попробовала! Хорошо еще, что за перила уцепилась, а то бы покатилась вниз, и поминай как звали! Ведь лестница высоченнейшая, а я уже почти до верха добралась. Видно, мой час еще не настал. Мне еще рано умирать. А теперь, пожалуйста, пейте за мое здоровье, провозглашайте тосты, говорите речи! Люблю почет и уважение. И сознаю, что сегодня вполне заслужила — чувствую себя героиней. Нога-то здорово болит, а я все-таки притащилась, что-

бы не огорчить вас моим отсутствием. Так начинайте же воспевать и превозносить меня!

В этот вечер Тэффи была необычайно — даже для себя — весела и остроумна. Трудно было поверить, что она так умеет скрывать боль. Но на следующее утро она вызвала доктора, и ей пришлось пролежать в постели несколько дней.

И тогда я поняла, насколько она стойка и мужественна.

\* \* \*

В тот вечер мы с Георгием Ивановым ждали Буниных и Галину Кузнецову, с которой я дружила.

Они неожиданно привезли с собой Аминадо.

— Принимаете незваных гостей? — спросил он, не успев даже поздороваться с нами. — Примите, очень прошу. — И еще округлив свои темные и без того круглые глаза, быстро продолжал: — Деваться мне абсолютно некуда. Настроение собачье, самоубийственное. Пошел к Буниным, а они к вам собрались, я и увязался за ними. Моей дочке Леночке вырезали гланды. Моя жена вместе с Леночкой будет ночевать в клинике. Дома никого. А я не выношу одиночества. Не выношу... — И он, молитвенно сложив руки, почти пропел: — Не гоните меня!

Я, конечно, принялась уверять его, что мы с Георгием Ивановым страшно рады, с чем он, сразу переменив тон, шутливо согласился:

— Не сомневаюсь ни минуты! Дона Аминадо принять и угостить всем лестно. Он превращает обыкновенный день в праздник.

И хотя он, конечно, шутил, но это так и было. Наш обед действительно благодаря ему превратился в праздник.

Мы сели за стол, Бунин безглаголиво отодвинул тарелку:

— Я сегодня ничего есть не могу. Мне что-то с утра нездоровится.

Вера Николаевна испуганно заморгала и со своего места громко зашептала:

— Ян, неудобно. Ешь! Ведь они так потратились.

Я с трудом удержала смех. Я уже знала, что Бунин почти всегда, придя в гости, грозил, что он сегодня есть не станет, что, впрочем, не мешало ему тут же проявлять отличный аппетит.

Так, конечно, случилось и на этот раз.

Закусив и выпив, Бунин принялся изображать в лицах общих знакомых, как всегда, неподражаемо талантливо передразнивая их. Дон Аминадо, забыв о своем самоубийственном настроении, подавал ему остроумные реплики и сыпал тут же сочиненными в порыве вдохновения афоризмами и двустишиями. Из них я запомнила одно:

Жорж, прощай! Ушла к Володе.  
Ключ и паспорт на комод.

Целый эмигрантский роман в двух строчках.

После обеда Буниным, как всегда, овладела «охота к перемене мест», и мы, не споря с ним, погрузились вшестером в такси и отправились на Монпарнас, где кочевали из кафе в кафе, нигде не засиживаясь.

Это продолжалось долго. Вера Николаевна, Галина Кузнецова и я начали проявлять признаки усталости. Даже Бунин притих. Георгий Иванов украдкой позевывал. Один Дон Аминадо никак не соглашался ехать домой.

— Неужели вы все так бессердечны, что хотите бросить меня одного на съедение тоске! — возмущался он, поднимая руки к небу. — Я просто не могу войти в пустую квартиру и лечь, как в гроб, в кровать. Вы обязаны, понимаете — обязаны остаться со мной до утра! Мы утром выпьем в «Доме» кофе с горячими круассанами, — ведь это так вкусно, — и только тогда расстанемся.

Но этот план был нами единодушно отвергнут, и Дону Аминадо пришлось подчиниться общему решению.

В такси, везшем нас по темным пустым улицам спящего Парижа, он горестно вздохнул:

— Вот вы все не верите. Мне действительно очень тяжело и грустно. Мне всегда грустно и страшно одному. Меня сейчас же начинают грызть всякие страхи и предчувствия. Ведь хоть и легкая, а все-таки операция. Мало ли что может случиться? Да и вообще, мало ли что может случиться? Я, как муха в безвоздушном пространстве, в одиночестве лопаюсь от тоски.

Бунин сочувственно кивнул.

— Что ж, понятно! Вы, дорогой Аминад Петрович, как и полагается заправскому юмористу, — пессимист, неврастеник, самогрыз, самоед. Как и Тэффи. Та, бедная, даже читать спокойно не может: все должна в уме складывать, умножать и делить буквы. От неврастении, конечно. Вот могильщики и поэты — те, напротив, на-

род отчаянно веселый, беспечный. Я еще в Одессе знал одного такого — ежедневно умирал в стихах, а в жизни...

И Бунин, оживившись, пустился в красочные воспоминания о каком-то весельчаке — могильщике-поэте.

Дон Аминадо молча слушал, отвернувшись к окну.

«Нет, он не притворяется», — думала я, глядя на него. Ему действительно тяжело и грустно. Он слишком любит своих — до преувеличения. И он, наверное, не меньше Бунина боится смерти, постоянно помнит о ней. Но Бунин боится своей смерти, а Аминадо — смерти близких, любимых. И это, конечно, еще тяжелей.

В те «баснословные года» литературная жизнь цвела в Париже. Литературные вечера происходили в огромных залах «Сосьете Савант», «Ласказ», в «Плейель» и делали полные сборы.

В 1927 году Дон Аминадо вместе с Тэффи устроили общий вечер в «Плейель».

Тэффи, молодая, эффектная, в ярко-красном длинном платье, и Дон Аминадо во фраке, подтянуто-элегантный, вели на сцене блестящий юмористический диалог-поединок, стараясь превзойти друг друга в остроумии. Зрители хохотали до изнеможения, до слез, до колик. Хохотали даже над тем, что, казалось бы, не должно было вызывать такой бурной реакции.

Так, рассказ Тэффи о том, что вчера она в аптеке собственными ушами слышала, как одна из наших дам-беженок подошла к аптекарю и, умильно заглядывая ему в глаза, попросила: «S'il vous plaît, rendez-moi, monsieur»<sup>1</sup>, — был покрыт раскатами долго не смолкавшего хохота.

Через год Аминадо уже самостоятельно устроил свой собственный вечер в «Плейель».

Этот вечер я особенно хорошо запомнила оттого, что я была на нем конференсье. Вместе с Балиевым. Когда Аминадо сообщил мне о своем желании, чтобы я конференсовала, я наотрез отказалась.

— Да что вы! Я не могу, не умею. Я даже в любительских спектаклях никогда не участвовала.

Но он взял меня под руку и безапелляционно заявил: — Бросьте. Не спорьте со мной. Недаром про меня сочинили: «Молчи! Так надо! Я — Дон Аминадо». И вы молчите. Я решил. С вас ничего не требуется. Вы только наденете свое голубое платье, в котором блистали на но-

<sup>1</sup>Вместо *pesez-moi*; то есть «повесьте меня» вместо «взвесьте меня» (Примеч. автора).

вогоднем балу в «Лютеции». Все остальное предоставьте мне. Все без исключения. Соглашайтесь сейчас же!

И я согласилась.

Мне действительно не пришлось ни о чем заботиться. Аминадо не только написал текст всего, что мне полагалось сказать, но и прорепетировал его со мною несколько раз.

Я, выйдя на сцену, должна была не спеша дойти до самой рампы, остановиться, оглядеть зрительный зал, открыть сумочку, достать пудреницу и старательно сдуть с нее пудру в сторону зрителей. После чего, «попудрившись необычайно грациозно, улыбнуться своему очаровательному отражению в зеркале». И только поделав все это, объявить о начале вечера.

Для представления каждого выступающего мне пришлось выучить наизусть несколько фраз.

Так, представляя Мориса Ростана, я должна была сказать, указав на него плавным взмахом руки: «Le poète de “La Gloire” et la gloire des poètes»<sup>1</sup>. Морис Ростан был автором пьесы «La Gloire».

На последней репетиции, когда Аминадо уже убедился, что я исполняю все в точности, он вдруг хлопнул себя по лбу и воскликнул:

— А самое главное я почти проворонил. Ведь вы ходить по сцене не умеете!

И хотя я его убеждала, что это-то я как раз и умею, он не поверил.

— Завтра привезу к вам Балиева. Пусть он с вами займется. Ждите нас около двух часов. Не уходите никуда. Сидите и ждите.

На следующий день он действительно приехал ко мне с Балиевым.

Балиев в прихожей долго и шумно переводил дыхание, будто поднялся на пятый этаж без лифта, хотя мы жили в «рэ де шоссе»<sup>2</sup>. Войдя, он сейчас же тяжело опустился на диван, недовольно выпятив толстые губы:

— Только для вас, Аминад Петрович, пошел на эту мороку. Посмотрите на этого Ангела Смерти (я тогда недавно выпустила свой роман «Ангел Смерти»), ходит совсем недурно. А на сцене, конечно, прокатится, как игрушечный заяц на колесиках. Ну, начнем!.. Валяйте от двери до окна, — вы на сцене, помните!.. На сцене!

Я прошла широкими шагами, как меня когда-то учили, еще в Петербурге, на уроках пластической гимнастики.

---

<sup>1</sup> «Поэт “Славы” и слава поэта» (фр.).

<sup>2</sup> «первый этаж» (от фр. rez de chaussée).

Балиев свистнул и развел руками.

— Ну, этого Ангела, пожалуй, учить ходить по сцене нечего. Он сам всякого научит. Тащите чай или что вы там для нас приготовили.

Вечер Дона Аминадо прошел прекрасно. Мне даже казалось, что это был самый удачный из всех литературных вечеров того времени.

В антракте, в переполненной комнате для артистов, я протолкалась к Аминадо и схватила его за локоть.

— Ах, как чудесно! Как весело! Как я рада, что вы уговорили меня. Мне никогда еще не было так весело, как сегодня!

Он мрачно взглянул на меня.

— Рад, что вам весело, а мне так совсем невесело!

— Но почему? Почему? — недоумевала я. — Ведь все так чудесно! Такой восхитительный вечер! И полный сбор, конечно...

— Пропади он пропадом, этот вечер! — перебил он мои восторги. — Мою мать посадили не в ту ложу, которую она хотела, и она на меня страшно рассердилась. Даже уехать хотела...

\* \* \*

То «воскресенье» на 11-бис, Колонель Боннэ, было, как ему и полагалось, многолюдно и многоречиво. Мережковский ожесточенно спорил с Адамовичем, Поплавским, Терапиано, вдохновенно — с помощью россыпи цитат всевозможных древних авторов — отстаивая свою точку зрения. Георгий Иванов, сидевший, как всегда, со стороны правого, менее глухого уха Зинаиды Николаевны, вел с ней разговор о стихах.

Звонки и Злобин вводит в столовую нового гостя, шедшего за ним какой-то совсем особенной походкой. И весь он был какой-то совсем особенный, резко отличавшийся от других посетителей «воскресений». Особенными были и его манера наклонять голову, и его узкие очки в металлической оправе — в те дни большие очки в широкой роговой оправе уже входили в моду, — и его руки с широко отставленными большими пальцами, которыми он странно жестикулировал.

Я сразу почувствовала, что он чужой, а не свой, не «составная часть высокого собрания», а иностранец, и это впечатление еще увеличилось, когда он замедленно, с перерывами и паузами произнес несколько слов, здороваясь с Зинаидой Николаевной, и пожал ее руку, яв-



но высоко поданную для верноподданнического поцелуя.

— А, Шаршун, как хорошо, что вы вспомнили наконец-то и нас, — любезно протянула она, приветствуя его.

Шаршун. Так вот кто он. О Шаршуне, авангардном художнике, поселившемся в Париже еще до войны 1914 года, я уже слыхала как о большом оригинале. И действительно, в оригинальности ему отказать было нельзя.

Злобин усадил его на свободное место у стола и принес ему чашку чая.

Спор продолжался. Никому и в голову не пришло объяснить новопришедшему, чем спор был вызван. Впрочем, обмен мнениями являлся необходимой, если не главной частью программы «воскресений». Спор как спорт, спор ради спора. Но исключительно на высокие темы. Никакой обывательщины Мережковский не переносил и не допускал.

Шаршун сидел, как все мы, за тем же столом, но мне казалось, что он своим присутствием нарушает магнитическую цепь, образованную присутствующими, что он не сливается гармонически с остальными, а сидит сам по себе, отделяясь от всех, как будто выше, в стороне от стола.

Это первое поразившее меня тогда смутное впечатление и потом не покидало меня. Мне всегда казалось, что Шаршун находится не на одном уровне с остальными, а немного выше их или немного в стороне от них. Никогда не вместе с ними, а всегда сам по себе. Одиноко. Один. Всюду не свой, а чужой. Другого измерения или с другой планеты — чужой и непонятный.

И это не мешало нам всем, с Зинаидой Николаевной и Мережковским во главе, относиться к нему с большой симпатией и уважением. Пожалуй, эта его отчужденность и особенность и вызывала уважение к нему. Был он к тому же добрый и отличный товарищ, готовый помочь нуждавшимся, хотя он сам тогда едва-едва мог сводить концы с концами и жизнь его была очень нелегка. Но об этом я слышала от других, сам он никогда ни на что не жаловался.

Я знала, что он антропософ — в те дни об антропософии я почти ничего не слыхала и не интересовалась ею.

Знала я также, что он не только художник, но и писатель. Адамович в одном из своих критических подвалов в «Последних новостях» предсказал ему блестящее литературное будущее, через сто лет.

Но когда нашелся настоящий издатель, поверив-

ший Адамовичу и пожелавший выпустить роман Шаршуна, Адамович, смеясь, отсоветовал ему это: «Что вы, что вы. Ни в коем случае. Верный провал». И роман Шаршуна так и не вышел в свет, но отрывки его печатались в журнале «Числа». Мне они нравились, но ни читатели, ни критики не обращали на них большого внимания. Шаршуна печатали скорей из-за личной симпатии к нему.

Все же «Числа» издали в 1934 году на ротаторе в количестве 200 экземпляров его «Долголикова», которого Шаршун назвал поэмой, посвятив ее Георгию Адамовичу. В 1938 году там же и тем же способом, в том же количестве вышло его «Небо-колокол», на этот раз посвященное «Поэту Георгию Иванову». Впоследствии он сам издал сборник своих рассказов и ряд листовок «Клапан», начав ими своего рода зарубежный самиздат.

Все это читалось довольно вяло и настоящего успеха — хотя тут было много интересного — не имело. Но сам Шаршун никогда и нисколько не сомневался в своей гениальности, как художника, так и писателя, и спокойно, открыто и без ложной скромности заявлял об этом в разговорах.

Однажды, явившись на очередное, очень бурное «воскресенье», он, еще не успев поздороваться ни с Зинаидой Николаевной и Мережковским, ни с посетителями, заявил не без некоторой торжественности:

— Господа, я всю ночь не спал и пришел к неожиданному выводу. Я не только гениальный художник и прозаик, я еще и гениальный поэт. Вы не можете с этим не согласиться. Вот послушайте.

И он, сбиваясь и запинаясь, заикаясь от волнения, прочел сложное и длинное стихотворение.

На аудиторию ни его провозглашение себя гениальным поэтом, ни его стихотворение не произвели должного впечатления. Только одна Зинаида Николаевна капризно протянула:

— Поздравляю. Вот и у нас появился свой Элюар и русский сюрреалист или подреалист. А мы здесь очень страстно обсуждаем «Распад атома» Георгия Иванова. Садитесь, Сергей Иванович, скорей и слушайте. Хотите моего кофе?

Кофе она пила одна из маленького кофейника. Остальным, в том числе и Мережковскому, полагался чай. Предложение выпить «ее» кофе воспринималось как проявление монаршей милости. Шаршун от него даже слегка обиженно отказался и сел насупившись. Дальнейших отзывов о его «гениальном» стихотворении не

последовало, все были слишком увлечены разбором «Распада атома», названного Мережковским «изумительнейшей» книгой двадцатого века.

Стихотворения Шаршуна я не запомнила. На меня оно не произвело большого впечатления. Не могу ручаться, но мне кажется, что оно осталось его единственным поэтическим произведением того времени. Кажется, раньше он писал стихи.

В тот вечер мы, покинув Мережковских, собрались все в кафе, прозванном почему-то «Ла-ба», и тут, в отсутствие Шаршуна, долго смеялись над его выступлением. Что он действительно гениален в какой бы то ни было области, никому из нас и в голову не могло тогда прийти. Его считали слегка тронувшимся милым чудачком.

С живописью его я почти не была знакома. Только однажды побывала у него в студии, и он в тот день подарил мне одну из своих картин. Она погибла в моем доме во время бомбардировки Биаррица, и я до сих пор жалею об этом.

Мы встречались с Шаршуном довольно часто на «воскресеньях» и на Монпарнасе. Георгий Иванов — очень строгий к людям — высоко ценил его как писателя и человека. Но настоящей дружбы у него, как и у меня, с Шаршуном не получилось.

Время шло. Я почти потеряла его из виду в военные и послевоенные годы. И только когда я в 1958 году переселилась в предместье Парижа, в Ганьи, я услышала, что Шаршун стал знаменитым художником, и это очень меня обрадовало.

Но моя встреча с ним произошла значительно позже — в 1973 году, на одном из «Медонских вечеров» в квартире Ренэ Юлиановича Герра, нашего «русского француза», как я прозвала его.

Ренэ Герра — чистокровный француз, хотя по чистоте речи и по своей бороде лопатой может легко сойти за стопроцентного русского. Его молодая жена, дочь русских эмигрантов, кажется гораздо меньше русской, чем он.

Ренэ Герра — литературовед, влюбленный — не нахожу более подходящего слова — в русскую зарубежную литературу и живопись. Его квартира — настоящий музей и хранилище тысяч книг, рукописей, писем, фотографий и документов, написанных в эмиграции.

Эти «Медонские вечера» по своему высокому культурно-художественному уровню могли бы даже конкурировать со знаменитыми «воскресеньями» Мережков-

ских. У них для будущего, к тому же, одно несомненное преимущество — все, что говорилось на них, записывалось Ренэ Герра на магнитофоне, тогда как, к сожалению, о том, что говорилось на «воскресеньях», записано лишь в памяти немногих еще оставшихся в живых участников их.

Председателем «Медонских вечеров», устраивавшихся приблизительно раз в два месяца, был Юрий Терапиано, интересно, благодаря своему многолетнему довоенному опыту, ведший их и умевший создавать высокоинтеллектуальную атмосферу.

На этих собраниях из писателей и поэтов бывали Я.Н.Горбов, С.Р.Эрнст, В.С.Варшавский, А.Е.Величковский, И.П.Шувалов, Г.Е.Озерецковский, А.С.Шиманская, А.В.Ровская, Е.Ф.Рубисова и др. Из художников: Ю.П.Анненков, Д.Д.Бушен, М.Ф.Андреевко, Н.И.Исаев и Сергей Иванович Шаршун.

Собрания эти делились на две части — первая посвящалась докладу или новому произведению какого-нибудь из посетителей, разбору его и обмену мнениями. Выступали и художники — Шаршун и Андреевко, Анненков, тоже читавшие свою прозу. Бывали также вечера, посвященные поэзии. Помню один особенно удачный, на котором читали свои стихи Софья Прегель, Величковский, приехавшая с юга Таубер и др.

Вторая часть заключалась в ужине, протекавшем очень весело. Очаровательная молодая жена Ренэ Герра, успевшая уже стать известным врачом, была к тому же хлебосольной хозяйкой, обладающей большими кулинарными способностями. Эти ужины, вкусные и очень веселые, немало способствовали успеху «Медонских вечеров».

Вот на этих ужинах я, сидя рядом с Шаршуном, и возобновила с ним прежние отношения и даже гораздо лучше, чем прежде, узнала его.

Итак — Шаршун передо мной. Первое ошеломляющее впечатление — удивление, похожее на страх. Как же так? Значит, времени нет?

И уводит легонький след —  
Прямо в молодость, в... —

нет, не в Летний сад, а в довоенный Париж.

Да. Прежний Шаршун. Абсолютно такой, каким сохранила его моя память. Не постаревший, не облысевший, не растолстевший, не похудевший, не сгорбившийся. Совсем точь-в-точь такой же, как до войны.

Мне даже кажется, что на нем все тот же самый потерянный пиджак и старый, криво завязанный галстук. Я просто глазам своим не верю. Ведь за это время те немногие, которые еще не умерли, так изменились, что и узнать нельзя.

А Шаршун совсем прежний. Только волосы седые. Но это почти незаметно — ведь и прежде они были неопределенного пегого цвета. А может быть, он уже и тогда был седым?

Я смотрю на него и вдруг мысленно переношусь в «воскресенья» на рю Колонель Боннэ и вижу Зинаиду Николаевну, как всегда, набеленную и нарумяненную, рыжую, замысловато и старомодно причесанную, в зеленом платье с неизменным лорнетом в тонкой руке. Справа от нее Георгий Иванов, слева — красивый, черноглазый, ставший под конец ее жизни ее лучшим молодым другом Виктор Мамченко, для которого она и «изменила» прежним молодым друзьям Адамовичу и Георгию Иванову. Дальше по кругу — неистовый Бахтин, черноволосый, тонкий Терапиано, Фельзен, похожий на прибалтийского немца, Поплавский в черных очках и сам Мережковский, вдохновенно вещающий что-то об Атлантиде.

И все они умерли, умерли...

Мне становится страшно, я закрываю на мгновение глаза и снова открываю их, чтобы вернуться в сегодняшней день, чтобы почувствовать себя здесь и «сейчас», а не там, в прошлом. Здесь, с Шаршуном, вынырнувшим прямо из прошлого.

Он, общепризнанный гениальный художник, которого Пикассо считает одним из лучших, здороваётся со мной так просто, будто мы виделись только вчера или неделю тому назад.

— Здравствуйте. Как поживаете? — без обычного «Как я рад, что наконец... Сколько зим...» и т.п.

Я, ответив, что поживаю, как всегда, очень хорошо, не высказываю ему своего изумления отсутствием перемен в его внешности. И про себя тут же думаю — у него все особенное. Обыкновенно люди меняются, и очень сильно, только внешне, а внутри остаются все теми же, застывают в своих чувствах, мыслях и взглядах, и в этом их трагедия. А он, наоборот, внешне все такой же, а внутри у него, должно быть, происходят революции и землетрясения, не оставляющие следов снаружи.

Мне хочется спросить его, так ли это, но я не решаюсь задать ему такой вопрос. А он говорит, что не пропускает ни одного «Медонского вечера», что он ведет

затворническую, одинокую трудовую жизнь и для него эти «вечера» настоящий праздник. Особенно оттого, что здесь говорят по-русски, ведь ему приходится встречаться только с французами.

В один из «Медонских вечеров» он, недавно вернувшись из поездки на Галапагосские острова, делился с присутствующими своими впечатлениями, такими оригинальными, непохожими на привычные рассказы и описания путешествий, что я, слушая его, вся превратилась в слух.

Острова открыли ему, по его словам, не только новый мир красок и света, но и новый взгляд на живопись. В 87 лет! Это похоже на чудо. Он говорит об этом просто, увлекательно, искренне, без хвастовства и самолюбования, как о чем-то вполне естественном.

— Все стало новым для меня. И я сам как будто стал новым.

В тот же вечер я, как и другие присутствовавшие, получила приглашение на вернисаж его выставки в галерее «Ля Сэн», и мы вчетвером — А.Шиманская, Ю.Терапиано, Я.Горбов и я — отправились туда в назначенный день. Результат этого нашего посещения — моя статья в «Русской мысли»:

## О СЕРГЕЕ ШАРШУНЕ

С Сергеем Ивановичем Шаршуном я познакомилась еще в середине двадцатых годов, когда мы с Георгием Ивановым окончательно поселились в Париже.

Знакомство наше произошло на одном из «воскресений» у Мережковских, где собирались представители старшего и младшего литературного поколения во главе с Буниным.

С.И.Шаршун считался среди нас главным образом прозаиком-модернистом, о нем как о художнике мне было мало что известно. Я знала только, что он живописец-модернист.

Держался он хотя и очень дружески, но все же слегка в стороне, особняком, не примыкая ни к старшему, ни к младшему поколению.

Было что-то особенное в его манере говорить и держаться, не принимая участия в разговорах, волновавших посетителей «воскресений», но эта особенность вызвала в них не только симпатию к нему, но и уважение. Был он к тому же прекрасным товарищем, всегда готовым прийти на помощь нуждающимся, несмотря на его более чем скромные средства к существованию.

Его литературные произведения печатались в самом передовом журнале «Числа». Георгий Адамович отзывался о них с большой похвалой и предсказывал ему блестящее будущее как писателю.

Как талантливую писателя я его знала хорошо, но с Шаршуном-художником и человеком по-настоящему мне удалось познакомиться только недавно — на его последнем вернисаже в феврале, на котором меня поразили его «Белые симфонии», напомнившие мне пушкинские строчки, вдруг зазвучавшие в моей голове:

...Проснувшись рано,  
В окно увидела Татьяна  
Поутру побелевший двор,  
Куртины, кровлю и забор,  
На стеклах легкие узоры,  
Деревья в зимнем серебре...

Да, эти полотна, «белые на белом», показались мне окнами, за которыми лежит русский снег, магически все освещающий своим особенным русским сиянием, снег, от которого становится светло на душе.

Я вдруг впервые почувствовала, насколько Шаршун русский, несмотря на больше чем полвека, проведенные им в Европе, насколько он кровно связан с Россией. Насколько он наш национальный художник, которым мы по праву можем гордиться.

С удовольствием отмечаю, что и Ренэ Герра в своей статье «Profil de Charchouppne», помещенной в монографии «Charchouppne», изданной Galerie de Seine, разделяет мое мнение — Шаршун был и остался исконно русским. Он своего рода «чужестранец» среди французских художников, несмотря на то что обосновался в Париже уже в 1912 году.

Ренэ Герра подробно говорит о всех фактах жизни и творческого пути Шаршуна. Мы узнаем, что он — всегда оставаясь самим собой — сближался со всеми авангардными художественными течениями, не только французскими, но и европейскими, что он много путешествовал, побывал в Испании и в Германии и что он совсем недавно, в июне 1971 года, не побоялся отправиться на «край света» в Галапагос и вернулся оттуда с запасом впечатлений, заставивших его пересмотреть его творческое мировоззрение и пуститься на новые художественные поиски и открытия.

Особенно интересно то, что Герра говорит о влиянии музыки на творчество Шаршуна. О том, как Шаршун

передает и воплощает Бетховена, Баха, Стравинского, Чайковского и других композиторов в своих картинах, как он переносит звуковые волны своего маленького транзистора на полотно, превращая музыку в живопись, создавая музыкально-живописные композиции.

Герра не только дает биографию Шаршуна, но и создает его человеческий облик, своеобразный облик мученика искусства, готового взойти на костер за свои идеи и взгляды.

Статья Ренэ Герра заставит иных, считающих, что они хорошо знакомы с Шаршуном — художником и человеком, понять, что они многого недоглядели в нем и не до конца оценили его.

В этом главная заслуга Герра, за которую ему нельзя не быть благодарным.

Эта статья, непонятно чем и почему, восхитила Шаршуна. Настолько восхитила, что он стал читать ее каждую ночь перед сном, что уже совершенно невероятно. Когда он рассказал мне об этом, то назвал даже точно число этих своих чтений:

— Я читал вашу статью двадцать семь раз и еще буду читать! Спасибо!

С того дня, как я побывала на вернисаже «Белых симфоний» Шаршуна и прочла монографию Ренэ Герра о нем, я стала постоянно думать о нем и его творчестве. Мне хотелось узнать того нового, прославившегося Шаршуна, увидеть его новые картины. И вот 17 июня — в незабываемый для меня день — Ренэ Герра повез меня и Я.Н.Горбова в Ванв, в мастерскую Шаршуна.

Мастерская его — маленький особнячок в саду. Перед ним две стройные прямые березы. Почему-то во Франции березы кособоки, мучительно изогнуты, а у этих чисто «русская стать». Шаршун, должно быть, очень любит их.

Большая студия с огромным окном. Ренэ Герра, сверкая белозубой улыбкой и окладистой черной бородой, ловко и хозяйственно расставляет полотна по мольбертам. И вот они перед нами.

Несколько совершенно темных полотен, с солнцем в правом верхнем углу, а в центре солнца — маленький крест. «И вчерашнее солнце на черных носилках несут», — вспоминаю я. Остальные — ибисы, моржи, пингвины на фоне тропического пейзажа.

Неужели их написал Шаршун? Даже не верится, так они не похожи на все, что он делал до сих пор, так они как будто идут вразрез с его прежним творчеством.



Я вспоминаю, как при нашей встрече после долгой разлуки подумала: внешне он совсем такой же, но внутри в нем, наверное, происходят революции, катаклизмы и землетрясения.

И теперь я вижу, что была права — революции, землетрясения, не оставляющие камня на камне, ломающие, вычеркивающие все старое начисто во имя нового. У него редчайший дар не только возрождаться, не только магически преображать видимый мир, но как бы заново создавать его.

Эти фламинго, пингвины и моржи, казалось бы, — реализм. Но они так же далеки от реализма в его обыденном определении, как от абстрактности. Это магический реализм. Это новый Шаршун. Другого названия не нахожу.

Шаршун в 88 лет, увидев мир чистыми, невинными, младенческими глазами, с помощью всего своего накопленного за столько лет мастерства сумел его изобразить и передать.

Так часто повторяемая художниками фраза: «Важно не только то, что на картине, а и то, что за ней», — всплывает в моей памяти.

Глядя на картины Шаршуна, я мысленно добавляю — не только, что «за», но и «вокруг» картины важно. Мне кажется, что я вижу вибрирующий вокруг них, похожий на сияние воздух. Нет, они не исчерпываются тем, что на них изображено. Здесь не только то, что изображено, здесь еще и впечатление от изображенного, и это, может быть, важнее всего.

Мы расписываемся в толстом альбоме. Ренэ Герра снимает нас на фоне картин и рядом с ними.

И вот уже надо уходить. Шаршун провожает нас до автомобиля. Идет мелкий дождь, но Шаршун непременно хочет проводить нас.

Ренэ Герра снова нас снимает, — у него, должно быть, не меньше ста фотографий Шаршуна. Мы прощаемся — до осени. Мы осенью все снова встретимся. Непременно. До свидания. До свидания...

Но встретиться с Шаршуном мне больше не пришлось. 17 июня 1974 года я видела его в последний раз.

\* \* \*

Адамович так говорит в своих воспоминаниях о Бунине: «Я никогда не мог смотреть на него, говорить с ним, слушать его без щемящего чувства, что надо бы на

него наглядеться, надо бы его послушаться, именно потому, что это один из последних лучей какого-то чудного русского дня».

Но, заменив Ивана Алексеевича Георгием Викторовичем и Бунина — Адамовичем, я, не меняя ни одного слова, могла бы написать все это об Адамовиче. Это как раз то, что я чувствовала, глядя на него. Да, я никогда в последнее время не глядела на него без щемящего чувства, что надо бы на него наглядеться, надо бы его послушаться... именно потому, что это один из последних лучей какого-то чудного русского дня. Один из последних? Нет, последний. Больше не осталось никого. Как точно, как хорошо и правильно он, говоря о Бунине, сказал это о себе.

Адамович, как и Бунин, редко вел связные отвлеченные беседы и любил говорить только о пустяках. Но эти пустяки всегда были переполнены «скрытой содержательностью» и светились его глубоким умом. Он сам знал за собой эту черту и часто повторял строки Георгия Иванова:

Поговори со мной о пустяках,  
О вечности поговори со мной.

Ведь «пустяки» всегда перекликались у него с «вечностью». В капле воды для него, как для Блейка, отражался весь океан. Самый, казалось бы, пустяковый разговор с ним открывал «поля метафизики», как он сам насмешливо говорил. Еще о его отношении к «пустякам» — его собственными словами. И опять как будто о нем самом — из его некролога об Александре Гингере: «Всегда разговор с ним бывал интересен, даже если и касался сущих пустяков или какой-нибудь смешной мелочи. Ум человека обнаруживается в пустяках, пожалуй, очевидней, чем в предметах важных и высоких, где за фразеологией и туманами так легко скрыть мыслительную нищету. Он был умен в мельчайших своих наблюдениях, а наблюдал он людей и жизнь усердно».

Да, все это как будто о нем, будто он сам о себе писал.

Когда осенью 1971 года он объявил мне, что хочет лететь в Америку, я испугалась — ведь это ему не по силам. Его утомляет каждый выход из дома, каждый разговор. А тут полет, бесконечные встречи и приемы, чествования, выступления. Он согласился со мной:

— Да, конечно. Но если я сейчас не полечу, то мне уже никогда не удастся. Никогда.

Против этого спорить было невозможно.

— Что ж? Раз доктор вам разрешил... — я не стала его отговаривать, да он и не послушался бы меня.

Все время, пока он был в Америке, а он отсутствовал гораздо дольше, чем предполагал, я очень волновалась, несмотря на то что он писал успокоительные письма, только вскользь упоминая, что был болен — «съел что-то неподходящее», и уверял, что он «осторожнее осторожного», отказывается от многих выступлений, сиднем сидит дома и совсем не утомляется.

Я успокоилась, только когда он вернулся в Париж. Ну, слава Богу! Я напрасно волновалась. Все мои предчувствия оказались вздором. Полет в Америку, казалось, даже пошел ему на пользу. Он как будто даже поздоровел и помолодел. Оттого, что «хлебнул славки», как я шутливо говорила.

Но он только махнул рукой.

— Ну какая там «славка». Сами знаете. К тому же я не честолюбив. Буря в стакане воды.

Этому я не верила.

— Бунин утверждал, что нечестолюбивых писателей нет и быть не может. Только одни это скрывают и ловко прикидываются скромными. Вы не согласны с ним, Георгий Викторович?

Адамович пожал плечами.

— Не согласен. Но давайте не спорить. Терпеть не могу спорить. Доказывать утомительно, но и молчать, когда хочется возражать, тоже утомительно. Мне с вами так легко оттого, что я с вами почти всегда одного и того же мнения. Вы меня и я вас с полслова понимаем. Должно быть, оттого, что когда-то мы с вами вместе дышали петербургским воздухом тех баснословных лет — «Блажен, кто им когда-нибудь дышал».

И, как он постоянно делал, перескакивая с темы на тему, без связи между ними, продолжал:

— Довид Кнут был настоящий поэт. А кто его теперь помнит?

Я кивнула и произнесла нараспев:

Имя тебе непонятное дали — ты забытье,  
Или, вернее, цианистый калий имя твое.

Он улыбнулся.

— Что ж? Вот вы и без спора как будто победили меня. Сознаюсь, мне очень приятно, когда меня цитируют, когда помнят мои старые стихи наизусть. Все же, повторяю, я не честолюбив и даже скромнен.

Спорить мы в ту, почти последнюю, встречу не ста-

ли. Разговор перешел на общих знакомых в Америке — кто как живет и что делает. И кто помнит меня и просил мне кланяться.

Теперь я спрашиваю себя — был ли Адамович скроммен? И, вспоминая всевозможные факты его жизни и всяческие его высказывания, почти с уверенностью могу ответить — да. Он был скромнен.

Конечно, это не мешало ему быть самолюбивым и памятливым. Я не хочу сказать — злопамятливым; хотя все обидное, сказанное о нем, помнил десятками лет, он никогда не мстил за обиды. Но нанесенные его самолюбую обиды все же эмоционально окрашивали его суждение об обидевших его.

Так, он, сам того не сознавая, не мог простить Марине Цветаевой ее «Цветника», кстати, чрезвычайно неудачного критического произведения, совсем недостойного ее таланта. Она, так великолепно умевшая восхищаться, не умела, как учил когда-то Чуковский, «проткнуть острым пером врага так, чтобы раненого унесли с поля битвы». Адамович, несмотря на одно из лучших его стихотворений, посвященных ее тени, «Поговорим хотя б теперь, Марина», до конца, по существу, остался ей враждебен и в своем последнем письме из Ниццы писал мне: «Вчера я писал разные мелочи для себя и для вечности впрок и написал, что трех писателей мне иногда читать неловко (за себя и за них) в нисходящем порядке: Достоевского, Розанова и Цветаеву».

Конечно, его многое раздражало в неудержимом размахе Цветаевой. Раздражал ее московский стиль, его коробило от ее эгоцентризма и мифотворчества. Но если бы не было ее злосчастного «Цветника», он все же, я думаю, гораздо снисходительнее судил бы о ней. Особенно после ее трагической смерти.

Хотя это и кажется парадоксальным, Адамович в стихах меньше всего ценил талант.

— Слишком безудержно, слишком пенится, звенит и летит. Слишком талантливо, — говорил он о стихах одного из наших лучших поэтов. — Признаю все достоинства, но они оставляют меня холодным, а стихи должны волновать и задевать.

Таланту он предпочитал одаренность, ум, чувство меры, экономию средств, умение вовремя замолчать. Так, он считал, что «поистине без волнения внимать невозможно» стихотворению Баратынского:

Царь небес! Успокой  
Дух болезненный мой,

Заблуждений земли  
Мне забвенью пошли  
И на строгий твой рай  
Силы сердцу подай.

И был «готов смиренно преклонить колени» перед автором, как он сам писал в своих «Комментариях».

Это было наше с Адамовичем единственное крупное расхождение во взглядах и вкусах. Нет, я совсем не была согласна с ним. Но это не вызывало ни спора, ни пререканий. Он говорил только:

— Что ж? Это доказывает, что у вас безошибочный, правильный вкус и слух на все дурное, а о прекрасном вы иногда судите неверно.

— А может быть, — отвечала я, — вам кажется, что я всегда правильно сужу о дурном оттого, что и вы того же, как и я, мнения. А на самом деле мы оба ошибаемся. И это совсем не плохо, а только нам обоим кажется плохим.

Он кивнул:

— И это возможно. Но Баратынского я вам не уступлю.

— Зато я вам с удовольствием уступлю место в его строгом раю. Довольно с меня мучений и неприятностей на земле. В раю я надеюсь блаженствовать.

Он рассмеялся.

— Спасибо. С охотой займу ваше место.

На этом и закончился наш несостоявшийся спор. Я почувствовала, что говорить о моем возмущении не следует, что это может кое-что испортить. «Если надо объяснить, то не надо объяснять», — часто повторяла Зинаида Гиппиус. И это было особенно правильно в отношении Адамовича. Он понимал с полуслова, без объяснений, или не понимал вовсе. Не принимал, не соглашался, несмотря ни на какие объяснения и доводы. В стихах он больше всего ценил не «за сердце хватающие строки», не «звуки небес», не «доплеснуть до луны», а тяжесть слов, падающих подобно камням. Паузы и то, что скрыто за паузами.

Еще до войны мне — и не мне одной — казалось, что Адамович не очень любит стихи, что для него лучшее стихотворение не стоит «непоправимо белой страницы». Одним словом, что парадоксальное утверждение «современная музыка идет к молчанию» могло быть повторено и в отношении поэзии, и что поэзия идет к молчанию, и Адамович всеми силами стремится помочь ей в этом.

Но я, конечно, ошибалась. В чем смиренно признаюсь. Редко кто так любил и так мучился поэзией, как он. Он жил и дышал ею.

Как всегда, когда я пишу или говорю об Адамовиче, я уклоняюсь в сторону, я уношусь или вперед, или назад в воспоминанья. Я слишком много думала и знала о нем, он играл слишком большую роль в моей жизни. Мне трудно остановиться на каком-нибудь часе или дне, проведенном с ним, трудно правильно, последовательно писать о нем. Он как-то слишком не то что велик, вернее, глубок, слишком широк и многообразен.

«Mouvante comme l'onde»<sup>1</sup> — так он неоднократно и в письмах, и в разговорах характеризовал меня и прибавлял: «оставаясь неизменной». Но и сам он был такой же, оставаясь, по существу, неизменным.

Как-то после выхода моей книги «На берегах Невы» мы говорили о том, как надо писать воспоминания. Я спросила его, хочет ли он, чтобы я написала о нем. И он ответил:

— Хочу, конечно, вы ведь пишете доброжелательно. Пожалуй, даже слишком доброжелательно. Все всегда у вас лучше, чем были. Немного такие, как их задумал Бог. Вы смываете с них их грехи и пороки. Они как отражение в магическом зеркале. Вы так ловко это делаете, что они все у вас оживают. Но неужели вам не хочется рассказать про них и дурное? Они от этого еще выиграли бы. Неужели вам не хочется показать их неприукрашенными, в их «натуральном безобразии»?

Я покачала головой:

— Не хочется. Я ведь никогда не привираю. Я только иногда не все говорю, что знаю.

— А знаете вы действительно много. Я бы на вашем месте написал дополнение. Чтобы его напечатали через двадцать пять лет после вашей смерти, и в нем все, без утайки, рассказал про всех. Все про всех. Хотя и сейчас уже не мешало бы кое-что подсолить и подперчить — для пикантности.

Но на это я не могла согласиться:

— Ну нет. Никогда. Это было бы злое дело. Ведь дурное всегда гораздо ярче запоминается, и это значило бы заклеить и опозорить всех поэтов и писателей — чистым не остался бы ни один. Ведь за каждым что-нибудь да числится.

— Это как раз то, что отделяет писателей от обывате-

---

<sup>1</sup> «Подвижная, как волна» (фр.).

лей и придает писателям человечность. «Подл, да не как вы», — как про Байрона сказал Пушкин.

Я спрашиваю:

— А вы хотели бы, чтобы я про вас написала?

Он задумывается на мгновение.

— Откровенно — хотелось бы. Но, конечно, не все, что знаете. Кое о чем необходимо промолчать. Но очень многое можно рассказать — конечно, с тактом. — И уже меняя тон: — А вам, наверное, кажется, что вы меня насквозь видите, до конца знаете? Так ведь?

Я качаю головой.

— Нет, совсем не кажется. Очень приблизительно вижу и знаю. Но все же, пожалуй, лучше, чем другие.

— Никто никого не знает, — полусентенциозно, полуиронически произносит он. — А меня действительно особенно трудно узнать. Ведь и я сам себя не знаю и часто удивляюсь своим поступкам. И даже словам.

— Вы заперты, как тюремные двери, на три поворота: на крюк, болт и цепь, — говорю я в тон ему шутливо.

Он кивает.

— Или как сейф. Но, может быть, в сейфе вместо золота и долларов пуговица хранится. Или еще хуже — он пуст. Жаль, что я молчать не умею. Я о себе много лишнего говорю. И о других. Пожалуйста, никогда не открывайте мне ваши тайны. Побожусь, поклянусь и тут же разболтаю. Не могу не разболтать. А потом жалею.

В тот же вечер, уже прощаясь со мной у входа в метро, он сказал:

— Не торопитесь писать обо мне. О живых писать трудно. Неблагодарное это дело. И не слишком покрывайте меня сахарной глазурью. Я не был тем, кем мечтал быть в молодости. И сейчас не такой, как хотел бы. А мяться поздно. — И он как-то застенчиво добавил: — Все же помните, когда будете писать обо мне:

А ведь из человеческих сердец

И это обманувшее сияние...

Я уже спускалась по лестнице. Он смотрел мне вслед растерянно и печально. Мне вдруг стало невыносимо жаль его. Я быстро повернулась, поднялась к нему и протянула ему руку. Я хотела утешить его, сказать, что понимаю его, но не находила слов.

— Георгий Викторович... я...

Но он улыбнулся, грустно, высоко поднимая брови.

— «Знаем всё сами, молчи», — произнес он нараспев эту так часто повторяемую нами брюсовскую строчку и

прибавил тихо: — Спасибо. Бегите скорей, а то на поезд опоздаете.

Он, не выпуская моей руки, смотрел на меня «своими чудными глазами». Да, действительно чудными. И мне в эту минуту показалось, что в них проходит вся его неудавшаяся жизнь, все его одиночество. И тоска. Я стояла перед ним молча, не решаясь уйти. Он повторил:

— Спасибо. Ну, бегите, а то опоздаете.

И я снова, уже не оборачиваясь, спустилась в метро, а в памяти моей звучали его строки:

О том, что мы живем,  
О том, что мы умрем,  
О том, как грустно всё  
И как непоправимо...

«Есть в близости людей заветная черта», — писала Ахматова. Черта, которую невозможно перешагнуть. И я ее особенно чувствовала именно с Адамовичем. В нем было что-то мешавшее окончательному дружескому сближению, что-то останавливающее на этой «черте», делающее последнюю откровенность невозможной — какая-то душевная стыдливость и застенчивость. И отсюда недоговоренность, скрытность, вернее, замалчивание самого главного. Вот-вот, казалось, он заговорит до конца откровенно, щемящим сердце голосом, о самом тайном, сокровенном, что мучит его. Вот-вот... Но он вдруг обрывал на каком-нибудь словце, выкидывал «риторическое» коленце или прятался за какую-нибудь цитату стихов и продолжал о «пустяках».

Были у нас с ним и заповеданные области разговоров, разговоров, которые он вел только со мной — как он уверял меня. Хотя я в этом совсем не уверена. Он был, насколько мог, откровенен со мной с самого начала. Но не оттого, что я сразу же внушила ему какое-то особенное доверие. Нет, просто оттого, что он был в те годы очень дружен с Георгием Ивановым, и я, выйдя замуж за Георгия Иванова, поселилась вместе с ними на Почтамтской в квартире его тетки, где мы прожили все три года целый год в самой предельно близкой дружбе.

Часто молодые жены ревнуют своих мужей к их друзьям и становятся помехой в мужской дружбе. У нас же произошло обратное. Я подружилась с Адамовичем сильнее, чем с самой любимой из моих подруг. Так, как с ним, ни до него, ни после я ни с кем не была дружна.

Квартира его тетки, мадам Белэй, хотя и очень роскошная и прекрасно обставленная, все же состояла



лишь из трех огромных комнат: спальни, столовой и кабинета.

Адамович поселился в спальне, мы с Георгием Ивановым — в кабинете. Жили мы семейственно-интимно и целые дни проводили вместе. И только на ночь расходились по своим комнатам.

Я проводила с Адамовичем не меньше времени, чем с Георгием Ивановым. Мы с Адамовичем вставали рано, тогда как Георгий Иванов по скверной привычке спал до двенадцати. Хозяйством я совсем не занималась и чувствовала себя здесь гостьей. У нас — ведь это было уже в 1921 году во время нэпа — была прислуга, отлично готовящая и сама составлявшая наши меню. Она ставила нам самовар, и мы с Адамовичем пили утренний чай вдвоем.

К «брекфесту»<sup>1</sup> он являлся в шелковом персидском халате, доставшемся ему по наследству от «господина Белэя», покойного мужа его тети. Халат этот был слишком велик и широк для Адамовича. Туго перетянутый в талии, он образовывал множество топорщившихся складок и доходил до земли.

Голову Адамович повязывал голубым газовым шарфом, чтобы волосы лежали как можно глаже. В этом наряде он производил странное впечатление, очень забавлявшее меня.

Как-то раз, когда Марианна отлучилась, он открыл на стук дверь кухни какому-то красноармейцу, пришедшему предложить свои услуги:

— Хозяйка, дров поколоть не надоть? Или полы натереть? — И, не получая ответа от ошеломленного Адамовича: — Что, хозяйка, оглохла, што ль? Дрова колоть не бабье дело. А я, мне сподручно.

Адамович, давясь от смеха, еле выговорил:

— Не надо. Мой муж наколет.

И, закрыв за ним дверь, бросился ко мне в столовую рассказать о «приисшествии». Мы так громко смеялись, что разбудили Георгия Иванова. И он присоединил свой смех к нашему. В продолжение нескольких недель мы называли Адамовича «хозяйка», что неизменно веселило и его, и нас. Об этом, как и о многих других мелочах и «пустяках», мы с ним часто вспоминали и здесь, в Париже.

Разговоры у нас, конечно, были разные, но они часто соскальзывали в заветную область «странностей любви» в прошлом и настоящем. Я не собираюсь рас-

---

<sup>1</sup> «завтраку» (от *англ.* breakfast).

сказывать о ней, несмотря на его совет рассказать о других, и о нем в том числе, все, что я знаю, чтобы «все про всех». Все же мне кажется необходимым подчеркнуть одну его мало кому известную черту: его стихийную — не нахожу другого слова — страстность, его огненный темперамент, так плохо, казалось бы, вязавшийся с его внешностью, с его благовоспитанной сдержанностью, с его петербургской изысканной подтянутостью. Этот безудержный темперамент заставлял его терять голову и совершать неразумные поступки; он проявлялся и в его картежной страсти. Адамович был безрассудно и неудержимо азартен. Он начал играть уже в Петербурге, в 1921 году, в только что открывшихся клубах. Ему чрезвычайно не везло. Он постоянно проигрывался в пух и прах.

— Опять «пух и прах»! — сообщал он мне утром за чаем и, заламывая руки, стонал: — О Господи! Какая тоска, какая скука!..

На что я неизменно произносила фразу из какого-то переводного романа:

— Зачем вы так поступаете, сэръ?

Он продолжал вздыхать.

— Звезды, звезды, какая тоска!..

Скука и тоска нападали на него и терзали его, «как дикие звери», по его же словам.

— Не уходите, посидите со мной, — просил он меня. — Одному мне еще более тошно. Я весь исхожу скукой, как клюквенным соком. С вами мне легче.

Георгий Иванов шутя говорил, что Адамович феноменально, гениально, нечеловечески скучает и это заменяет ему вдохновение. Сам Адамович признавался в стихах: «Но так скучать, как я теперь скучаю, Бог милосердный людям не велел». Впрочем, эти приступы скуки не мешали ему быть почти постоянно в хорошем настроении и всегда очень вежливым со мной. Но скучал он не только после карточных проигрышей. Иногда, в самые, казалось бы, благополучные дни, когда я одевалась к утреннему чаю, до меня доносилось:

— Господи! Какая скука, какая тоска!

Но ведь он вчера никуда не ходил, не играл. У нас были гости. И значит, это не от проигрыша. Я выходила, притворяясь, что не слышала его вздохов и стонов. И начинала говорить о стихах. О его, о своих, о чужих — в те дни стихи были главным содержанием моей жизни. И он, понемногу втягиваясь в разговор, забывал о своей скуке.

Я удивлялась, как стихи сравнительно мало места за-

нимали в разговорах Адамовича и Георгия Иванова, предпочитавших им «пустяки» и говоривших о поэзии легкомысленно. Я привыкла к серьезному, благоговейному отношению Гумилева к поэзии. К тому, что «служенье муз не терпит суеты». А здесь, на Почтамтской, царствовала суета. Даже суета сует. И лень. Они целыми днями куда-то спешили, чем-то были заняты, чему-то смеялись. И ничего не делали. И это меня очень удивляло. Мне, ученице Гумилева, казалось, что поэты должны работать, что день без нового стихотворения — потерянный день. Но такие взгляды смешили их.

— Стихотворения появляются вот так — из ничего. Работать над стихами, — насмешливо уверяли они, — глупая и даже вредная затея.

Кстати, Георгий Иванов сохранил этот взгляд на всю жизнь. Он остался таким же ленивым, как был, или, пожалуй, стал еще ленивее. Тогда как Адамович в эмиграции очень изменился и стал по-настоящему трудолюбив, хотя и отрицал это, уверяя, что пишет из «преодоленной лени» и необходимости существовать, — «а так бы ни строчки».

У большинства людей характер с годами портится. Они становятся эгоистичнее, скупее на чувства, черствеют и озлобляются. Это естественно. Умнеют ли люди под старость? Мне кажется — нет. Становятся скептиками. Приобретают «жизненный опыт». И теряют доброту.

Почти все. Но Адамович — исключение.

— Вы с годами теряете недостатки и приобретаете достоинства, — говорила я ему шутя.

— Ах, нет, дело не во мне, а в вас. Вы стали добрее, снисходительнее, а может быть, и менее наблюдательной. Вот вам и кажется, что я стал лучше.

Я соглашаюсь.

— Возможно, что я стала лучше, хотя вряд ли.

Онегин, я тогда моложе,  
Я лучше, кажется, была...

Он откидывает голову и смотрит в окно на парижское вечернее небо.

— «Онегин, я тогда моложе...» Это для меня одни из самых божественных строк — вся эта глава. «Сегодня очередь моя...» И в особенности — «Руки бесчувственной своей...» Ведь если «бесчувственной руки своей» — вся прелесть, вся магия пропала бы. А эта, казалась бы, ничем не вызванная перестановка слов...

И вот Адамович говорит о Пушкине, весь преобразившись. Говорит серьезно и долго, с увлечением. Пушкин, Лермонтов и Толстой для него те «три кита, на которых держится русская литература». И вдруг:

— А ведь мы с Жоржем, это было еще до вас, хотели исправить Пушкина. И выпустить «Исправленного Пушкина». Я и сейчас холодею, когда вспоминаю об этом.

Я смеюсь.

— Конечно, знаю, помню. Ничего, по-моему, страшного не произошло бы, если бы действительно выпустили. Ведь вы тогда были очень молоды.

Он морщится.

— Не всякое идиотство можно оправдать молодостью. Слава Богу, что мы не решились. Я бы этого себе никогда не простил. Ни себе, ни Жоржу. Это его была идея. Ведь он начал эгофутуристом, а я...

— А вы всегда были классиком — с младых ногтей. И остались им. Но, Онегин, вы сейчас гораздо лучше, чем раньше.

Адамович действительно становился лучше с годами. Он, хотя этому и трудно поверить не знавшим его еще «в те баснословные года» в Петербурге, как-то душевно «молодел», приобретал качества, присущие молодости: отзывчивость, доброту, желание контакта, легкость общения и готовность заводить новые дружбы. Он становился все менее эгоистичным, все более снисходительным к слабостям других.

— Надо прощать, — часто повторял он. — Конечно, это не легко и мне не всегда удается. Я ненавижу тех, кто передает мне: — А тот или та о вас сказали... — Я ведь и сам и о той, и о том... это вовсе не значит, что я о них плохо думаю. Только для острого словца, раз они мне под язык или под перо попались в письме. И они обо мне так. Но в чужой передаче все становится оскорблением. И трудно забыть и простить.

Правда, даже и о своих друзьях, о тех, к кому относился с настоящей симпатией и уважением, он почти всегда говорил с насмешкой, остро подмечая их комические черты, давая им забавные клички. Я привыкла к такой его манере. Но вот уже лет десять он все реже высказывал резкие мнения о людях и все чаще говорил:

— Нет, в сущности, он не глуп, а только кажется глупым, если его невнимательно слушать. Он просто не дает себе труда разобраться в путанице своих мыслей.

Или:

— Она, конечно, зла, но ведь она очень несчастна.

Оттого и зла. И к тому же ведь дура. Пожалеть ее надо.

Об одном нашем общем знакомом:

— Конечно, он постоянно меняет свои мнения. Но он искренен. Каждую минуту. Правда, на одну только эту минуту, в следующую он уже может переменить мнение. Но всегда искренен.

— Надо быть гораздо снисходительней к людям, — и прибавлял полунасмешливо: — «Не суди и не судим будешь». А я вот не могу. Сужу с утра до вечера всех и вся. И первого себя. За то, что сужу. И вообще за все.

Адамович — я не знаю, замечал ли это кто-нибудь, кроме меня, — был очень застенчив, хотя умело маскировал свою застенчивость. Но победить ее, как он победил свой эгоизм, ему не удалось. Застенчив он был не только внешне, но и внутренне. Внешнюю свою застенчивость он научился хорошо скрывать. И вряд ли кто, принимая его у себя, догадывался, что ему стоило мучительных усилий войти в гостиную, полную гостей, и поцеловать руку хозяйки. Он сам признавался мне, что у него сжимается сердце, когда он переступает порог чужого дома. Даже самого дружеского, где его с нетерпением ждут. Правда, только на одну минуту. Потом совершенно проходит.

— А вот выступать публично мне гораздо легче. Даже совсем легко. Пойдите поймите почему. — Он подымал брови и с недоумением смотрел на меня.

— Оттого что вы прирожденный оратор и эмигрантский златоуст, — уверяла я его.

Адамович действительно прекрасно говорил. И очень легко. Как-то раз, еще до войны, мы с ним приехали в «Зеленую лампу» прямо после обеда у нас. Он должен был выступать с докладом, но ни за обедом, ни в такси ни слова не было сказано о его предстоящем докладе. И только приехав в «Зеленую лампу», он отошел от нас с Георгием Ивановым и уселся на стул в коридоре.

— Подождите. Я останусь тут. Мне надо обдумать, что я буду говорить. Пять минут. Через пять минут, не раньше — можешь объявить заседание открытым.

Георгий Иванов был бессменным председателем «Зеленой лампы». Правда, роль эта была чисто декоративная. Он ограничивался только тем, что открывал и закрывал заседания и предоставлял слово ораторам. В отличие от Адамовича Георгий Иванов не обладал никакими ораторскими данными и в публичных дебатах не участвовал. За все существование «Зеленой лампы» он прочел один лишь доклад. Прочел по написанному, а не сказал. О символизме.

Пяти минут для Адамовича оказалось вполне довольно. Он в тот вечер — как, впрочем, и всегда — отлично говорил. Адамович был великолепным оратором, что обнаружилось уже в собраниях «Зеленой лампы» в конце 20-х годов. Но блестящим собеседником, тем, что французы когда-то называли «causeur»<sup>1</sup>, он не был. И даже слегка гордился этим.

— Нет, — говорил он, — я совсем не завидую «тэйблтоковым»<sup>2</sup> успехам Жоржа. Мне непонятно, как это он режет и бреет и мгновенно отвечает *du tac au tac*<sup>3</sup>. Иногда мне даже неловко за него, и в то же время я восхищаюсь им. «Таких уж нет и скоро совсем не будет» — по определению Ильфа и Петрова в «Золотом теленке» или в «Двенадцати стульях».

Да, таких блестящих собеседников «уж нет и скоро совсем не будет». Мне, по крайней мере, за все годы эмиграции ни в Европе, ни в Америке никого, кто бы мог сравниться в этом отношении с Георгием Ивановым, встретить не пришлось. Не исключая и Тэффи. В Петербурге равным ему был один Михаил Леонидович Лозинский, тоже «остроумный свыше всякой меры, блистательный разговорщик».

Зинаида Николаевна Гиппиус сразу оценила Георгия Иванова и стала сажать его за чайным столом с своего правого, лучше слышащего уха. С ним она вела длинные беседы не только по «воскресеньям», но часто и вечерами, когда она приглашала его одного «поговорить с глазу на глаз» о стихах и о русских делах. Русские дела интересовали его не менее, чем ее.

К психологическим, метафизическим и религиозно-философским дебатам он был абсолютно холоден, лишь изредка прерывая их каким-нибудь саркастическим замечанием, вызывавшим общий смех. Так, на одном из «воскресений», когда И.И. Фондаминский говорил об Ордене интеллигенции и обещал скорое всемирное царство элиты, Георгий Иванов, вздохнув, произнес:

— Все это так, Илья Исидорович. Только — элита едет — когда-то будет? — чем «зарезал» пламенную речь Фондаминского. После взрыва смеха он уже не мог найти прежнего тона.

Кстати, от превращения «улиты» в «элиту» рикошетом пострадал и Элита-Величковский, тут же переиме-

---

<sup>1</sup> «говорун», «разговорщик» (фр.).

<sup>2</sup> «застольно-разговорным» (от *англ.* table — стол, talk — говорить).

<sup>3</sup> метко (фр.).

нованный Зинаидой Николаевной в Улиту-Величковского. Она, как Адамович и Георгий Иванов, тоже любила давать людям клочки. Так, одного христианского философа она прозвала «подкольным ягненком». Придумала она и пожелание: «Степун тебе на язык!» — так она отреагировала однажды на мрачные предсказания Мережковского о «холоде и мраке грядущих дней».

Адамович в те довоенные, догитлеровские годы принимал горячее участие в религиозно-философских спорах с Мережковским, доходивших иногда до курьезов. Так, на одном заседании «Зеленой лампы» Мережковский, весь исходя раздражением и вдохновением, теряя почву под ногами, задал слушателям ошеломляющий вопрос:

— Господа, с кем же вы? С Христом или с Адамовичем?

Но воспоминания опять уносят меня назад, к тому сказочному двадцать первому году. Моя жизнь там, на Почтамтской, в квартире тетки Адамовича, резко отличалась от прежней. Там все было совсем иначе — другой быт, другие привычки и понятия. Как будто я переехала не из одной части Петербурга в другую, а в неведомую, фантастическую страну. Там многое поражало меня и очаровывало, а иногда и коробило. Все было совсем не так, как у меня на Бассейной, 60. Я привыкла вставать рано, делать гимнастику, обтираться даже зимой холодной водой и, одевшись, съев остаток хлебного пайка, засаживаться за очередное писание стихов.

Но здесь, на Почтамтской, по моим понятиям, вставали очень поздно — часов в девять вставал Адамович, а Георгий Иванов — тот иногда окончательно просыпался только к двенадцати.

Когда мы куда-нибудь шли вместе, а это происходило постоянно, — мне приходилось их ждать. Я одевалась быстро, они же, уже готовые к выходу, в пальто, останавливались перед зеркалами, осматривая себя, особым образом подтягивали галстук или приглаживали и без того гладкие волосы. Были они оба очень, даже чересчур изящны, по мнению Гумилева. «Не люди, а какие-то произведения искусства. Оба — и ваш Жорженька больше, чем Адамович. Ни дать ни взять этрусская ваза. Но за этрусскую вазу, как бы она вам ни нравилась, выходить замуж невозможно», — говорил он.

На Почтамтской никто не работал, за исключением дней перед сдачей переводов во «Всемирную литературу». Тогда и Адамович, и Георгий Иванов засаживались за них на целый день и нередко на целую ночь. Перево-

дили они оба с удивительной легкостью и быстротой и очень хорошо. Георгий Иванов перевел почти всю «Орлеанскую Деву» Вольтера, а Адамович — «Чайльд Гарольда» Байрона и многое другое.

Конечно, и на Почтамтской писались стихи. И даже много стихов. Большая часть «Чистилища» Адамовича написана именно там. Но писались они незаметно, проходя, как бы возникая неизвестно откуда. Мою манеру сочинять стихи они оба дружно высмеивали.

— Это ремесленная, а не поэтическая работа. Брось! Брось! Пиши, только когда почувствуешь, что это тебе необходимо, — твердил Георгий Иванов.

— Не высиживайте стихов, как курица цыплят, — поддерживал его Адамович.

Мы жили очень дружно и, несмотря на отчаянные кризисы скуки Адамовича, очень весело. И он, и Георгий Иванов были крайне вежливы и предупредительны не только со мной, но и друг с другом. За одиннадцать месяцев нашей общей жизни мы ни разу не поссорились. Мне они постоянно старались угодить всячески, главным образом гастрономически, принося пирожные и семгу. Тогда уже начался нэп, и кондитерские открывались на каждом шагу.

Как-то вечером Георгий Иванов уехал на сутки к сестре в Петергоф, я была одна дома и читала. Адамович просунул голову в дверь кабинета:

— Я принес вам семгу. Она на буфете в столовой. Съешьте ее всю, мне не оставляйте, пожалуйста. А я пойду к себе. Мне надо спешно кончить перевод. Простите, мне некогда.

Я обрадовалась — я была голодна — и, поблагодарив, отправилась в столовую и осмотрела буфет. Семги не было.

— Георгий Викторович, — крикнула я, — на буфете нет!

— Неужели? Верно, я по рассеянности куда-нибудь в другое место положил, — ответил он из спальни. — Простите, я очень занят! Поищите, не мешайте мне, пожалуйста!

И я принялась искать всюду, где только можно, побывала в прихожей, осмотрела подзеркальник, обшарила ящик для перчаток.

— Нет нигде! — снова крикнула я ему.

Я придвинула стул и влезла на него. Но на высоком шкафу с посудой, кроме пыли, ничего не оказалось. Дверь в спальню осталась открытой. Стоя на стуле, я заглянула в нее. Адамович не сидел за сверкающим своей



золотистой поверхностью столом из карельской березы, и на нем не было ни листка бумаги, ни чернильницы, ни книг — решительно ничего. Адамович стоял спиной к двери перед большим зеркалом, в котором отражались часть столовой и я на стуле.

— Нигде нет! — повторила я устало.

Он вышел из спальни ко мне и громко рассмеялся.

— Нет? И там нет? Неужели? Ну, и настойчивая же вы, — давясь от смеха произнес он, — я уже четверть часа люблюсь, как вы ищете и рыщете. Настоящая ищейка. Нет семги? Конечно, нет. Ведь я ее и не покупал!

Я оторопела.

— Зачем же вы? Зачем?..

— А чтобы посмеяться, — невозмутимо объяснил он. — Мне было так скучно и тоскливо. Я ведь опять «в пух и прах». Вот мне и захотелось развлечься.

Я продолжала смотреть на него во все глаза. Молча. Потом слезла со стула.

— Вы сердитесь? — спросил он удивленно. — Неужели?

Я покачала головой.

— Нет. Но я очень удивлена. Я вас не знала. Вы не такой, как мне казалось. Совсем не такой.

— А какой?..

Но я, не ответив, повернувшись, прошла в кабинет и закрыла за собой дверь. Через несколько минут, когда я уже успела раздеться и лечь, он постучался ко мне, но я не ответила. «Нет, конечно, — думала я, засыпая, — этого я никогда не прощу ему. Он мне больше не друг. Я не хочу жить у него. Я уговорю Жоржа. Мы уедем. Мы переедем в Дом искусств. Завтра же».

Но на следующее утро он так искренне, так истово просил у меня прощения и так горестно каялся, что я не только простила, но даже пожалела его за очередной пух-и-прахский проигрыш. За всю нашу более чем полувековую дружбу это была единственная, так и не состоявшаяся, ссора.

Когда несколько лет тому назад, обедая с ним, я вспомнила о случае с семгой, он долго не мог вспомнить его. А вспомнив, огорчился.

— Неприятно о себе такое вспоминать, очень неприятно. Мне, когда я думаю о себе в прошлом, о себе прежнем, всегда хочется повторить: «Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется...» А вот оказывается, что и в молодости не лучше, а даже еще хуже.

Я перебила его:

— Да, вы стали лучше, чем были в молодости. Помоему, это очень хорошо. И редко кому удается.

Он задумчиво посмотрел на меня:

— Странно это, и как-то даже не верится. Мне казалось, что у меня к вам тогда было столько нежности. Одна только нежность...

Да, нежности у Адамовича ко мне тогда действительно было много. Как-то я, набегавшись за целый день, прилегла на диван в ожидании вечернего чая и заснула. И вот сплю и чувствую сквозь сон, что кто-то смотрит на меня. Я с трудом открываю глаза и вижу Адамовича. Он стоит, немного наклонившись надо мной, и смотрит на меня с каким-то несвойственным ему выражением грусти.

— Вы так трогательно, так беззащитно спали, — говорит он тихо. — Простите, я вас разбудил. Но мне вдруг стало так страшно за вас, что у меня даже сердце сжалось. Вы ведь всегда ждете счастья, вы уверены, что будете счастливы. А я боюсь, что вам придется пережить много тяжелого, очень много. И мне так хотелось бы вас защитить. Вы еще не понимаете, насколько жизнь жестока, насколько люди несчастны. В особенности здесь и теперь.

Но я засмеялась:

— Нет, нет, неправда! Именно здесь и теперь я очень счастлива. А дальше будет еще лучше, гораздо, гораздо лучше, уверяю вас, вот увидите!

Он покачал головой.

— Что же, хорошо, если вы хоть сейчас счастливы. Счастливы не только наяву, а и во сне. Ведь вы улыбались во сне. Лежите, лежите!..

Он подошел к роялю, стоявшему тут же в нашем кабинете. Он любил и хорошо знал музыку, но играл очень плохо. Настолько плохо, что я иногда с трудом узнавала в его исполнении знакомые мне вещи. Он стал что-то тихо наигрывать, а я снова закрыла глаза.

— Узнаете? — вдруг тихо спросил он меня.

Я прислушалась.

— Кажется, «Мне верить хочется» — моя мать когда-то пела. Да, да, конечно, это «Мне верить хочется».

— А слова вы помните?

— Да, помню: «Мне верить хочется, что этих глаз сиянье не омрачит гроза житейских бурь...»

Он продолжал играть, пока в прихожей не стукнула дверь.

— Жорж вернулся! — Я вскочила, готовая бежать ему навстречу. Адамович закрыл крышку рояля и встал.

Там же, на Почтамтской, я пережила благодаря Адамовичу и свою настоящую встречу с Тютчевым. До этого времени я чувствовала к нему больше почтения, чем любви. Но однажды, когда мы, что с нами довольно редко случалось, сидели одни за вечерним чаем, никуда не собираясь и не ожидая гостей, Адамович вдруг, без всякой связи с тем, что только что говорил, откинул голову и стал медленно и как-то мечтательно читать:

Вот бреду я вдоль большой дороги...

Это стихотворение было мне неизвестно. В моем томе Тютчева, составленном его вдовой, его вовсе не было. Я слушала, не зная, чье оно, слушала, чувствуя, что стены столовой раздвигаются, исчезают и потолка над головой уже нет... Летний вечер. Сумерки. Я стою в траве и вижу, что далеко впереди по большой дороге тяжело идет кто-то «в тихом свете гаснущего дня», а над ним в прозрачном небе — облако, похожее на ангела, или ангел, похожий на облако.

«Ангел мой, ты видишь ли меня?..» — почти шепотом кончает Адамович.

Я так потрясена, что не могу даже спросить: чьи это стихи? Я молчу. Но и Георгий Иванов тоже молчит, и только дав молчанию продлиться, а стенам и потолку вновь занять свои места, говорит:

— Как ты чудно читаешь, Жорж! Это мое любимое стихотворение Тютчева. Но так, как ты, его никто не читает.

А я все еще не могу ничего сказать и только смотрю на побледневшее, вдохновенное лицо Адамовича. Это была одна из моих самых потрясающих, как мы тогда говорили, самых забываемых встреч с поэзией.

Жизнь на Почтамтской мне казалась особенной, необыкновенной не только потому, что это были медовые месяцы моего брака с Георгием Ивановым. Она была очаровательна сама по себе, очаровательна благодаря обоим Жоржам — Георгию Иванову и Георгию Адамовичу.

Оба они очаровывали меня. Я даже не знаю, который из них сильнее. Очаровывали всем. Но больше всего своей манерой говорить. При Гумилеве у нас в Цехе полагалось «говорить с придаточными предложениями»,

исчерпывать тему до конца и формулировать мысли с акмеистической точностью. Но они говорили не только без «придаточных предложений», но даже без главных предложений, одними отрывками, лоскутками фраз, собственными, ими придуманными словами — как бы на собственном языке. И это восхищало меня. Мне часто казалось, что я присутствую при каких-то таинственных переговорах, что они владеют какими-то эзотерическими знаниями.

Они между собой никого почти никогда не называли по имени или фамилии. У всех были прозвища и клички — или, как мне тогда казалось, «тайные имена». Так, Ахматову они называли Амхой, Гумилева — Великим Мугом или просто Мугом, и я не могла понять, почему и откуда они знают эти «тайные имена», и только уже в Париже Георгий Иванов открыл мне, что это просто наоборот читающиеся фамилии — Ахматова — А вот Амха, Гумилев — Велимуг — никакой тайны и магии. Но тогда все казалось мне полным чудес. Они казались мне воплощением поэзии. Такие легкие, легкомысленные и вместе с тем глубокие, с бездонными сердцами и умами. Особенно Адамович, с его кризисами скуки и тоски, поражавшими меня. Мне казалось, что его тоска — библейская тоска, та, что «тяжелее морского песка».

В ту зиму на Почтамтской я любила сидеть с ними на широком диване втроем в сумерках, «entre chien et loup»<sup>1</sup>, как они изысканно называли переход дня к вечеру, и слушать их. Уже в Париже Адамович прочел мне свое стихотворение:

Без отдыха дни и недели,  
Недели и дни без труда.  
На синее небо глядели,  
Влюблялись — и то не всегда.  
И только. Но брезжил над нами  
Какой-то особенный свет,  
Какое-то легкое пламя,  
Которому имени нет.

И я вдруг увидела с невероятной отчетливостью огромный кабинет в наступающих зимних сумерках, широкий диван, и на нем нас троих — посередине меня, с бантом в волосах, справа Адамовича, слева Георгия Иванова в его любимой позе с подогнутой ногой. И над нами, освещающая нас, «какое-то легкое пламя, которому

<sup>1</sup> «между собакой и волком» (фр.).

имени нет». Увидела глазами памяти то, что не умела разглядеть тогда, в ту мою последнюю, счастливую зиму в Петербурге.

В начале июля 1922 года Георгий Иванов, добившись с большими трудностями и хитростями «командировки для составления репертуара государственных театров на 1923 год», спешно покинул Петербург. Спешно оттого, что его командировка была на редкость «липовой» и в «верхах» могли понять это и отменить ее. Конечно, Георгий Иванов мог оптировать литовское подданство — он родился в Ковенской губернии, в имении своего отца. Но стать, хотя бы по паспорту, литовцем казалось ему изменой России.

К театральному делу Георгий Иванов никак не был причастен, ровно ничего в театре не понимал и не любил его. Для своего удовольствия он в театр никогда не ходил, а бывал в нем только на представлениях пьес — Кузмина, Ал. Толстого, Ауслендера и других «людей нашего круга», хотя он и был в дружеских отношениях с целым рядом актеров и балетных танцоров с Мейерхольдом и Бобишей Романовым во главе. Но это уже по линии «Бродячей собаки» и «Привала комедиантов». Действительно, лучшего «театрального спеца» найти было трудно. Но Луначарский тогда еще не лишился своей власти и выдавал самые фантастические командировки.

Мои бумаги еще не были готовы — я оптировала с большими сложностями латвийское гражданство и покинула Петербург с эшелонам через две недели после того, как Георгий Иванов уплыл на торговом корабле в Германию.

На эти две недели я перебралась к себе домой на Басейную, 60. С Адамовичем я продолжала видеться ежедневно. Мы так привыкли друг к другу за этот год, что это нам казалось совершенно необходимым. Или я приходила на Почтамтскую, или он ждал меня в Доме искусств, и мы вместе шли в Летний сад. Мы проводили вместе много времени, он провожал меня вечером до моего подъезда и, прощаясь, полунасмешливо цитировал себя:

— Еще, еще минуточку повремени, палач! — И уже серьезно продолжал: — Постоим тут еще минуту. Ведь скоро вы уедете. Еще несколько дней, и вас не будет. То есть вы, конечно, будете где-то. Но для меня вы исчезнете. Мне трудно привыкнуть к этой мысли. Очень трудно.

Я была переполнена самыми радужными надеждами и нетерпеливо ждала часа отъезда.

— Но ведь вы скоро приедете в Берлин. И все будет еще лучше, гораздо лучше, чем здесь, — убеждала я его. — Как часто мы мечтали о Париже, а теперь мы будем жить в Париже. Разве это не чудесно?

— Да, — соглашался он. — Да, конечно. Но когда еще это случится. И я совсем не уверен, что это будет чудесно. И что мы правильно поступаем. Во всяком случае, здесь теперь кончается часть нашей жизни. Навсегда, безвозвратно кончается. И это очень грустно. «Это молодость наша уходит — это наша любовь умирает, улыбаясь прекрасному миру — и не веря уже ничему», — как правильно сказал Жорж. Он ведь, уезжая, чувствовал то же, что и я. И тоже грустил. А вот вы полны иллюзий. Дай Бог, чтобы вы не разочаровались. И чтобы мы все трое скоро вернулись домой.

Незадолго до его очередной поездки в Ниццу я спросила его, обедая с ним в ресторане на Елисейских полях:

— А помните, как вы мне однажды, когда мы гуляли в Летнем саду, рассказывали, что вы всю ночь не могли решить вопроса — согласились ли бы вы умереть, чтобы весь мир был счастлив. За счастье всех людей. Умереть неизвестно, анонимно. Так, чтобы никто и не знал, отчего вы умерли. И никогда никто не узнал бы.

Он кивает.

— Помню. Отлично помню. Ведь эта мысль занимала меня очень долго. Но я так и не мог решить, способен ли я или нет. А впрочем, и сейчас не знаю. Думаю, что нет. Хотя, казалось бы, тем ничтожным количеством дней и ночей, которые мне еще осталось жить, пожертвовать не так уже трудно. Цена очень невысока. Жить-то мне осталось...

Но я перебиваю его:

— Никто не знает, сколько кому осталось жить. Вот Зайцеву уже девяносто лет, а он совсем бодр. А мы с вами и до ста с хвостиком... На меньшее я не согласна.

Он насмешливо улыбается:

— Конечно. «Знать никому не дано то, что судьбой суждено», как вы глубокомысленно заявили в вашем стихотворении о Елизавете Австрийской. К тому же ведь я вам уже говорил не раз — я вообще в свою смерть не верю. По недомыслию не верю. Не могу себе представить. Не верю, в сущности, все так же, как в девятнадцать лет на берегах Невы. Я износился главным обра-

зом снаружи, а не внутри. Зато снаружи... — Он вдруг начинает смеяться. — Я каждое утро, когда бреюсь перед зеркалом, повторяю, глядя на себя, — я ведь после сна весь в мешках и морщинах, одутловатый, с кругами под глазами и желтый: «Как вы молоды! Может ли быть, чтобы старость играла в прятки?» Действительно! Как я молод! До чего вы мне польстили в вашем стихотворении!

Но я спорю, я не соглашаюсь, и это ему явно приятно.

— А седых волос у меня, правда, и сейчас мало. Хотя волос и вообще мало, и все меньше. — Он проводит рукой по гладкопричесанной голове привычным жестом. — Я ведь стал почти лысый. Вы заметили?

Но я уверяю его:

— Нет, не заметила. — И это ему тоже приятно.

— А помните, как я вам подарил Тютчева? — спрашивает он неожиданно.

Половина наших разговоров, как всегда, полна всевозможными «а помните?»

— Ну, конечно, помню. — И я подробно восстанавливаю перед ним тот сентябрьский вечер 1921 года.

Он слушает, слегка зажмурившись.

— Да, да, так все и было. Но как будто не со мной. Как будто на другой планете. И вместе с тем — безусловно со мной и даже совсем недавно, на днях. Ну, как мой американский полет.

О своем американском полете он рассказывает сравнительно немного.

— Вы же сами знаете, как все там. Я старался поменьше утомляться. И вот видите, благополучно вернулся. А вы боялись. Я рад, что вас не послушался. Было бы жаль, если бы я так и не увидел Америки. Все-таки это прекрасное воспоминание, на всю жизнь.

«На всю жизнь», а жить ему оставалось немного больше месяца. Ведь этот разговор происходил в нашу предпоследнюю встречу.

— А о Тютчеве я вспомнил оттого, — продолжает он деловито, — что ломаю себе голову, его ли эта строчка «Я просиял бы и погас»? Или это Анненский? Не знаете?

Нет, я не знаю. Но мне тоже кажется, скорее, Анненский.

— У меня нет Тютчева. А мне нужно для моих записок, — говорит он.

Для «Записок для себя и для вечности», как он шуточно называет их. Он не раз говорил мне, что много пишет в последнее время — «так, взгляд и нечто» — по его определению.

— У вас, кажется, есть Тютчев. Поищите, если не лень.

Я обещаю поискать.

И я действительно искала, но торопливо и небрежно. И не нашла. А через несколько дней все же я послала найденный томик Тютчева Адамовичу в Ниццу.

13 февраля 1972 года Адамович писал мне: «*Madame chérie...*»<sup>1</sup>. Он всегда называл меня «мадам» вот почему: когда мы все трое в 1923 году поселились в Париже, меня очень огорчало и даже сердило, что в магазинах меня неизменно называли «мадемуазель». Я постоянно жаловалась ему на это. Это смешило его — «Радоваться надо, а не огорчаться. Значит, вы очень молодо выглядите. Ну ничего, чтобы утешить вас, я буду звать вас “мадам”». И так до конца он всегда с тех пор и звал меня «мадам».

«...А за Тютчева тем более “верный дружбе, глубокий поклон”, что я, едва раскрыв его, напал на строчку: “Я просиял бы и погас”. А я был уверен, что это Анненский! И вообще спасибо за Тютчева, так как я многое забыл и перечитываю иногда, как новое (то хочется поставить 5 с тремя плюсами, то тройку. Пушкин гораздо ровнее). Ну, что еще? Ничего, в сущности, и, пожалуй, *tant mieux...*»<sup>2</sup>.

«Ничего, в сущности» — кроме смерти, в которую он «не верил». И, хотя он вряд ли сознавался в этом самому себе, — боялся.

Перечитывая письма Адамовича, я неожиданно нашла среди них на отдельном листке «Мадригал Ирине Одоевцевой». В свое время я почти не обратила на него внимания, но теперь он тронул меня настолько, что мне захотелось привести его здесь:

Ночами молодость мне помнится,  
Не спится... Третий час.  
И странно, в горестной бессоннице  
Я думаю о Вас.

Хочу послать я розы Вам,  
Всё — радость. Горя нет.  
Живите же в тумане розовом,  
Как в 18 лет.

Г.А. Ницца, 1971

<sup>1</sup> «Мадам, дорогая...» (фр.).

<sup>2</sup> тем лучше (фр.).



Розы он мне тогда действительно прислал из Ниццы. А вот его комментарии, сопровождавшие «Мадригал»:

«Это, конечно, не Бог весть что, но от лучших чувств. И правда, я ночью в Ницце думал о Вас, как все у Вас случилось в прошлом и настоящем. Если надо объяснять, то не надо объяснять. А тут и объяснять нечего».

И дальше в том же письме: «Если Вам правда, а не для приятного словца, нравится моя “Марина”, то я рад. Мне все кажется, что только теперь, в самой старости, я мог бы писать настоящие стихи, но понимаю, что поздно и ничего не выйдет.

Ну, дорогая Madame, обнимаю Вас, шлю всякие пожелания и очень хотел бы знать, что все у Вас хорошо. Как Несчастливцев говорит Счастливицу: “Ты да я, кто же еще?” Это во всех смыслах.

Ваш Г.А.»

Как-то, уже после своего возвращения из Америки, Георгий Адамович, обедая со мной на Елисейских полях, вдруг оборвал рассказ об американских встречах и впечатлениях.

— Да, чтоб не забыть... — Он на минуту задумался, будто не решаясь продолжать. — Вот что. Если вы меня переживете — а это, по всей вероятности, так и будет, — защищайте меня от преувеличенной хвалы и хулы. И сами, пожалуйста, без дифирамбов излишних.

Как всегда, когда он говорил о своей смерти, — а ее он, хотя и старался скрыть это, панически боялся, даже больше, пожалуй, чем Бунин, — голос его звучал глухо, и его большие чудесные глаза тускнели и суживались, а рот горько и безнадежно кривился.

— Ведь жизнь наша висит на волоске, вот-вот оборвется. А я не хочу, чтобы после моей смерти...

— Старьем торгуете! — притворно весело прервала я его. Выражение это еще с петербургских времен, как и многие словечки, вошло в наш домашний обиход. — Сколько уже раз вы меня просили *la vérité, rien que la vérité*<sup>1</sup>, однако же отнюдь не всю, а с оглядкой и «тактом». Помню, знаю. И свято обещаю. Будьте благонадежны! Но помните, что и вы, если я первая представлюсь, обещали учредить Общество памяти Ирины Одоевцевой.

---

<sup>1</sup> правду, ничего, кроме правды (фр.).

И я на этот раз уже не притворно, а весело рассмеялась.

— Не скрываю, что я к посмертной славе отнюдь не равнодушна. Не то что вы. Или Жорж. Он ведь тоже уверял, что ему его посмертная слава безразлична. Но я ему не верила и вам не верю. Не бывает поэта, не интересующегося посмертной славой. Помните, Гумилев...

И вот уже разговор, переменив направление, катится по вполне безопасным рельсам, лицо Адамовича светлеет, и он с удовольствием вспоминает о жажде Гумилева, Кузмина и Сологуба посмертной славы, иллюстрируя все это забавными анекдотами. Ведь он больше всего любит интимные экскурсии в прошлое, когда он, не боясь разглашения, позволяет себе «раздавать всем сестрам по серьгам», живым и усопшим. Со мной он в этом отношении вполне спокоен. Все это оставалось между нами. Но сам себя он опасался:

— Продает меня проклятый язык! Не могу удержаться. И сколько я себе этим зла принес.

Я закрываю глаза и чувствую, что я, как дубовый листок, гонимый ветром, качусь назад, все дальше и дальше в прошлое. И вот я опять в 1926 году, в Ницце. Уже более трех лет, как мы с Георгием Ивановым обосновались на берегах Сены, в Париже, а конец зимы проводим в Ницце.

Ее обожает Георгий Иванов, я же к ней довольно равнодушна. Она для меня слишком ослепительно-красочно-лазурна. «О этот юг, о эта Ницца, как этот блеск меня тревожит» и тяготит. Но мне всегда нравится стремящаяся превращать будни в праздник вечная праздничность здешней жизни. Мне здесь не скучно, тем более, что Адамович тоже тут — он приезжает сюда почти одновременно с нами к своей тетке-миллионерше, к матери и сестре Олюше. К тому же каждый уик-энд нас навещает Жорж Батай — наш общий — особенно мой — большой друг. Он еще скромный служащий Национальной Библиотеки и еще более скромный сюрреалист, только что примкнувший к модному авангардному движению, и не подозревает еще о славе, которая увенчает его — особенно после смерти.

Дни в Ницце проносятся легко, быстро и приятно. Утром, как только мы успеем выпить кофе, к нам приходит Адамович, и мы вместе отправляемся на Проме-

над дез-англэ<sup>1</sup> «других посмотреть и себя показать», шагая в толпе разряженных туристов, бесцеремонно рассматривающих друг друга. Здесь действительно есть на кого и на что посмотреть. Особенно оригинальны старые английские леди, — у одной из них на левом плече восседает большой попугай, громко и хрипло выкрикивающий «Good morning, darling! Look at me!»<sup>2</sup>. Другая держит под мышкой маленькую обезьянку в красном колпачке.

Проходя по цветочному рынку, Адамович и Георгий Иванов покупают охапку белых гвоздик для меня, в память моего «хождения по цветам» в Петербурге. Оба они очень любят восстанавливать наше прошлое в бытовых мелочах.

Эти утренние прогулки чрезвычайно нравятся Адамовичу. Он огорчается, если я — правда, очень редко — отказываюсь сопровождать его:

— Один или вдвоем с Жоржем не пойду! — заявляет он обиженно.

Я сдаюсь, и мы отшагиваем полагающиеся два часа по Променаду дез-англэ.

Но ровно в 12 он, протрившись с нами, бежит домой завтракать. Опоздать к завтраку хотя бы на пять минут немислимо. Семья Адамовича — совсем особая семья, — до крайности чопорная, снобистская и церемонная. Ею правит его тетка-миллионерша, «вдовствующая королева», как мы про себя называем ее. В огромной вилле-дворце царит железная дисциплина и время рассчитано по часам и минутам.

Наше первое посещение Адамовичей — по письменному приглашению на «чашку чая» — было торжественно обставлено. Адамович очень волновался — понравлюсь ли я его тетке. Георгия Иванова она знала еще в Петербурге. Адамович долго решал, какое платье и шляпу мне надеть, и о чем говорить, и о чем не говорить — избегая целый ряд «табу», неполагавшихся тем разговора. Но все, слава Богу, обошлось хорошо — тетка нашла, что я вполне *somme il faut*<sup>3</sup> и благовоспитанна, и мы с того дня стали «приглашаться» «к фэйф-о-клокно-му чаю с церемониями», как Георгий Иванов называл эти чаепития, приведшие к совершенно неожиданному результату.

Тетка Адамовича, скуповатая, ни разу не сделавшая за всю свою жизнь ни одного более или менее ценного

<sup>1</sup> Набережная англичан (*фр.*).

<sup>2</sup> «Доброе утро, дорогая! Посмотри на меня!» (*англ.*)

<sup>3</sup> приличный, порядочный (*фр.*).

подарка своему племяннику, вдруг решила проявить невероятнейшую, просто головокружительную щедрость — купить в Париже квартиру, обставить ее и подарить ее Адамовичу с тем, чтобы мы с Георгием Ивановым поселились у него и втроем жили в ней «как люди». «Жить как люди» — одно из ее излюбленных выражений.

Она знала, что я получаю ежемесячную пенсию от отца и вполне платежеспособна. Вот она и решила, что я буду платить Адамовичу за занимаемые нами у него две меблированные комнаты, а хозяйство мы будем вести совместно. Мы все трое с восторгом приняли этот сногшибательный проект, чего же лучше?

— Никогда мне и во сне не снилось, что тетя Вера способна на такое геройство! — растерянно повторял Адамович. — Но до чего же это чудесно! Заживем, как в Петербурге.

Вернувшись в Париж, мы стали искать подходящую квартиру. Тут не обошлось без споров и разногласий. Я хотела, чтобы она была в Пасси или во всяком случае в шестнадцатом аррондисмане<sup>1</sup>. Адамовичу нравился больше Монмартр, Георгию Иванову — Монпарнас.

Через неделю беготни и поисков наконец нашлась та квартира, которая нам была нужна.

Именно та — как по особому заказу, — в новом элегантном доме с лифтом. Четыре больших комнаты с видом на внутренний садик с газоном, по которому гуляют, распутив веером хвосты, круглые белые голуби.

Мы сразу, не споря, решаем, что ее надо купить — лучшей не найти, лучшей не бывает. С этим согласен Михаил Львович Кантон, помогающий нам в поисках практическими, благоразумными советами. Он адвокат, бывший помощник М. Винавера, издателя «Звена». Он охотно занимается всеми нашими литературными и прочими делами.

— Просто редкий случай, настоящее помещение капитала. Пишите скорее вашей тете, — торопит он Адамовича.

В тот же день Адамович пишет ей, а на следующий день она высылает ему деньги. Он получает их в субботу под вечер — значит, покупку квартиры надо отложить до понедельника. Но он все-таки уже снесся с нотариусом. В понедельник они с Кантором идут к нему в половине одиннадцатого.

Чтобы отпраздновать такое радостное событие, мы обедаем в дорогом ресторане с нашим «квартирохозяи-

---

<sup>1</sup> городской район (от фр. *arrondissement*).

ном», как Георгий Иванов называет Адамовича. Очень пышно, вкусно — и до чего весело — обедаем.

Но Адамович не только весел, но и нервно взвинчен и возбужден. И это понятно — ведь в его бумажнике лежат десятки тысяч. Он все время прижимает руку к груди, к сердцу, чтобы убедиться, тут ли бумажник.

— Чувствую себя несгораемым шкапом, да и только!

За обедом мы заняты обсуждением важных вопросов — о цвете обоев, о коврах, о мебели — где ее покупать? По случаю или новую? Но, конечно, у нас будет очень красиво, — у Георгия Иванова большие декораторские способности.

После обеда мы едем на Монпарнас. Но Адамовичу не сидится в «Ротонде»: «несгораемо-шкапное состояние» не дает ему покоя.

— Как вы думаете, не пойти ли мне к Кантору? Не лучше ли оставить деньги у него? А то, не ровен час, украдут в моем поганом отеле. Я по глупости похвастался хозяйке, что получил много денег на покупку квартиры. Она даже в лице переменялась от почтения. Стала меня поздравлять. И уже, наверно, всем жильцам разблагоестила об этом. А жильцы у нас народ стреляный, блатной.

Георгий Иванов кивает:

— Конечно, оставь деньги у Кантора. У него они будут в сохранности. Бери такси и поезжай к нему. И завтра пусть они лежат у него. Носить их на себе опасно.

— Ты прав. Как это я сразу не сообразил до обеда?

Он наскоро озабоченно прощается с нами.

— В такси, а не в метро поеду. До завтра, — и он исчезает.

Но назавтра от него телефонный звонок:

— Не ждите меня. Я простудился и решил не выходить. Боюсь расхвораться, а нотариус нас ждет в половине одиннадцатого в понедельник.

— Сиди дома! Только не хватает, чтобы ты расхворался. Прими аспирину. Непременно! — и Георгий Иванов вешает трубку.

— А деньги он оставил у Кантора? — спрашиваю я.

Георгий Иванов пожимает плечами.

— Наверное, оставил, не идиот же он, сам понимает, что за них его прирезать могут в его отдельной дыре.

Вечером за мной заходит Жорж Батай, и мы с ним вдвоем отправляемся смотреть Питовых. Георгий Иванов терпеть не может театра. Он предпочитает лежать на диване с детективным романом. Он, как и Зинаида Гиппиус, читает по детективному роману в сутки.

Когда я после театра возвращаюсь домой, он встречает меня криком:

— Катастрофа! Жорж проиграл десять тысяч! — И, переведя дыхание, продолжает: — Прямо от нас вчера он помчался в клуб. И сегодня днем... Он только что был здесь, он в полном отчаянии. Я отобрал у него, что осталось. Но раз десяти тысяч не хватает, квартиру купить нельзя.

Я, сознавая, что это катастрофа, что все погибло бессмысленно, все же спрашиваю:

— Что же теперь делать? Что?

— Необходимо спасти положение! Ты одна можешь помочь. Напиши своему отцу, что тебе надо сделать операцию. Попроси у него десять тысяч. Это Жорж придумал. Ведь твой отец тебя так любит. Он пришлет деньги, и мы сможем...

Я перебиваю его:

— Нет. Мой отец мне денег не пришлет. Если я напишу, что меня должны оперировать, он сам придет сюда ко мне, чтобы быть уверенным, что все делается в наилучших условиях. Об этом и говорить не стоит.

Георгий Иванов растерянно смотрит на меня.

— Ты, пожалуй, права. Мне тоже казалось, что это вздор! Но Жорж думал...

Я снова перебиваю его:

— Вздор, вздор, вздор! А если просто написать правду? Может быть, она поймет и простит?..

— Чтобы она поняла, чтобы она простила? Ты смеешься, должно быть.

Нет, я совсем не смеюсь, мне совсем не смешно. Я так радовалась, столько строила радужных планов новой жизни. И теперь...

— Сделать мы ничего не можем, — говорит Георгий Иванов, снимая с меня шубку. — И придумать ничего нельзя. Надо было сразу вместе с ним отнести деньги Кантору. Но мне и в голову не пришло... Давай больше об этом не говорить. Давай ложиться спать.

Не говорить? Или говорить? Ах, не все ли равно? Я все еще стою на месте, не двигаясь.

— Ка-тас-тро-фа. Да, это катастрофа. Не только для нас. Но и для Адамовича.

Я сплю. Мне снится что-то очень приятное, но Георгий Иванов будит меня.

— Вставай скорее! Жорж пришел. Он в отчаянии, что ты не согласна написать отцу. Он непременно хочет тебя видеть.

— Зачем? Не надо было меня будить, — сонно бормочу я. — Ведь я не могу ему помочь ничем.

— Он такой несчастный, совсем погибающий.

— Несчастный? Погибающий? — переспрашиваю я и быстро встаю с кровати, надеваю халатик и, даже не взглянув в зеркало, не пригладив волосы, выбегаю в соседнюю комнату.

Адамович стоит у окна. Вид у него действительно несчастный и потерянный. Он, наверное, не спал всю ночь — под глазами большие темные круги, и веки опухли.

— Правда, мадам, вы не хотите написать отцу? Неужели вы не хотите мне помочь?

— Не не хочу, а не могу. Из этого, кроме скандала, ничего не получилось бы. Верьте мне, я все готова для вас сделать, но просить у отца деньги на вымышленную операцию не могу.

Мне его так жаль, что я на самом деле готова для него «все» сделать. Но это «все» ровно ничего не значит — я ничем, решительно ничем не могу ему помочь.

— А я так надеялся на вас! — Он вздыхает.

Я молчу, и Георгий Иванов тоже молчит. Да что уж тут и скажешь?

— Все? — спрашивает вдруг Адамович изменившимся, срывающимся голосом. — Все согласны для меня сделать? Тогда, может быть, я еще и выкарабкаюсь. Если вы согласны отыграть эти деньги.

Я не понимаю.

— Отыграть?

— Да, да! Отыграть — в рулетку отыграть. — Он умоляюще смотрит на меня. — Это единственный выход. Другого нет. Мы поедem в Монте-Карло, и вы отыграете десять тысяч в казино.

Я просто не верю своим ушам.

— Вы серьезно? Это какая-то фантастика.

— Ничуть не фантастика. Когда вы с отцом ездили в Монте-Карло, вы ведь отыгрывали все, что он терял. Разве не правда?

Я киваю.

— Да, но мы играли для развлечения, на пустяки. Ни разу больше чем на двести франков. А на такую большую сумму...

Но Адамович настаивает.

— Важно не то, много или мало вы выигрывали, а то, что вам везет, постоянно везет. Вы ведь сами рассказывали, что еще до революции у себя дома и у своего дяди, когда взрослые играли в макао, «примазывались» и всегда выигрывали.

Я пожимаю плечами.

— Об этом и вспоминать смешно. Это была детская забава. Отец и дядя давали мне золотой, и я ходила вокруг карточного стола, примазывалась и выигрывала несколько рублей. Мне тогда казалось, что это очень много. Но серьезно, на большие деньги... Нет, я не могу.

Но Адамович так загорелся фантастическим планом поездки в Монте-Карло, что не принимает моих, казалось бы, разумных доводов и все продолжает настаивать. Я не сдаюсь, и это начинает его раздражать.

— Так вы только пустяки выигрывали для забавы? — вдруг неожиданно резко спрашивает он. И, сделав паузу, почти со злобой: — А когда отыграли казенные деньги, проигранные каким-то советским служащим, это тоже были пустяки?..

Я так поражена, так ошеломлена, что могу только выговорить:

— Откуда вы знаете? Откуда?..

Ведь я в тот день дала честное слово, что «никому никогда», ведь это могло кончиться трагически — расстрелом, если бы кто-нибудь донес. Расстреливали тогда за меньшее, и только уже покинув Россию, как-то ночью я, молодая влюбленная жена, не удержалась и все рассказала Георгию Иванову, чтобы у меня от него не было никакой тайны, — рассказала под величайшим секретом, и вот, оказывается, он меня по легкомыслию и болтливости выдал.

Я оборачиваюсь к нему:

— Так, значит, ты, Жорж?..

Георгий Иванов смущен.

— Конечно, я. Но в этом ничего плохого не было. Даже напротив.

— Но ведь я дала честное слово.

Он поднимает брови.

— Ну, знаешь, слова в те дни не очень-то держались.

Да, «не очень-то держались». Но я действительно за все эти годы не только никому, кроме Георгия Иванова, не рассказала этого, но и сама никогда не вспоминала. Настолько, что почти забыла. И теперь все эти воспоминания, вдруг ожив, как волны, захлестывают меня, я то-ну в них, и вот я уже не в Париже, а в Петербурге, и снова переживаю то, что случилось тогда со мной.

...Зима 1920 года. Тревожные кронштадтские дни. Что-то будет? Господи, что-то будет? Я иду по Бассей-



ной, непривычно пустой и тихой. Страшно? Конечно, страшно.

Вот и Дом литераторов. Я вбегаю в прихожую. Дом литераторов переполнен и скорее похож на какой-нибудь митинг, чем на чинное собрание поэтов, кавалерственных дам и сановных старичков. Ко всем новопршедшим бросаются со всех сторон с вопросами:

— Ну, что? Что нового?.. Что?..

Один Кузмин, как всегда, спокоен. Волноваться, по его глубокому убеждению, глупо — ведь для него в жизни все — «милый вздор».

Покрутившись немного по Дому литераторов и наслушавшись всевозможных вернейших прогнозов, я решаю вернуться домой.

Георгий Иванов идет меня провожать. Мы шагаем по оснеженной, тихой, безлюдной улице. Над белыми, покрытыми снегом крышами — огромный, зловещий, красный закат.

— Я с радостью отдал бы все свои стихи, — взволнованно говорит Георгий Иванов, — только бы они победили.

Это меня удивляет. Мне кажется, что для поэта его стихи важнее всего на свете — легче умереть, чем лишиться своих стихов.

До моего дома совсем близко, и мы уже прощаемся.

— Позавидуйте мне, — хвастаюсь я, — сейчас я буду есть страшно вкусные вещи — курицу, ветчину, колбасу, даже икру, а я вот уже почти год ни кусочка мяса не ела. — И я рассказываю ему о том, что друг моего двоюродного брата, Дима, приехавший в командировку из Москвы, привез нам все это великолепиие, и они оба, наверное, уже приготовили лукуллов пир и ждут меня.

Георгий Иванов, как всегда, старается продлить прощание.

Роскошь ждущего меня обеда не производит на него впечатления — он, благодаря переводам для «Всемирной литературы», живет и питается вполне прилично.

Но я тороплюсь. Я протягиваю ему руку.

— До свидания. Спасибо, что проводили меня. «В воздухе веет катастрофой», как говорит Лозинский. Мне одной было бы неуютно возвращаться. До свидания, до скорого! Впрочем, «кто может знать при слове расставанье, какая нам разлука предстоит». Особенно теперь, «когда в воздухе веет катастрофой».

И я, рассмеявшись и кивнув ему на прощанье, вбегаю в свой подъезд и поднимаюсь по скользкой обледенелой лестнице — воду приходится носить со двора, и ее постоянно проливают.

Я стучу в дверь. Обыкновенно стучать приходится долго — квартира очень большая. Но тут дверь мгновенно открывается. Перед дверью стоит мой двоюродный брат.

— Наконец-то! Мы тебя давно ждем. Входи скорее.

Я недоумеваю.

— Но ведь я пришла раньше, чем было условлено. Обед готов?

— Какой там обед! С Димой случилось несчастье!

Я вдруг вижу, хотя в прихожей и полутемно, что у него совершенно бледное перекошенное лицо.

— Несчастье? — как эхо повторяю я. — С Димой? Арестован, заболел, под трамвай попал?

Володя машет на меня рукой.

— Хуже! Проиграл казенные деньги, — он называет астрономическую цифру и торопливо и сбивчиво рассказывает, что Дима вчера ужинал со своими московскими приятелями. Хорошо выпили, а Дима пить не привык, и когда они после ужина пошли в знакомый домашний картежный клуб, он увязался за ними. И тут он, хотя у него собственных денег было мало, проиграл их и, уже ничего не соображая, стал отыгрываться на казенные деньги, доверенные ему для закупок, и тоже проиграл их. А теперь ему грозит расстрел.

— Расстрел? — снова повторяю я, недоумевая, не соображая, как все это могло случиться с Димой, таким разумным, уравновешенным, с «железным характером», к тому же только три месяца тому назад женившимся на Леле, прелестной шестнадцатилетней большеглазой девочке, совершенно беспомощной, всецело от него зависящей.

— Как он мог? Ведь его действительно расстреляют за растрату.

— Он был пьян! Он ничего не соображал. Его, конечно, расстреляют. И Леля тоже погибнет вместе с ним.

Он берет меня за плечи и, наклонившись надо мной:

— Его надо спасти. Мы с тобой должны его спасти!

— Что же мы можем сделать? Ведь у нас нет денег!

Но он пристально заглядывает мне в глаза:

— Надо постараться отыграть деньги. — И у самого моего уха: — Ты должна постараться отыграть их!

Я так поражена, что резко отталкиваю его.

— Ты с ума сошел! Чтобы я...

Но он, не слушая меня, продолжает:

— Мы с Димой решили. Тебе всегда везет. Ты отыгрываешь. А если проиграешь — результат прежний. Но

все-таки это шанс спасения. Ты должна согласиться и пойти туда!

— Чтобы я пошла в карточный клуб? Но ведь это страшно опасно: игроков, если красноармейский налет, арестовывают, сажают, ссылают. А сейчас, в связи с Кронштадтом...

— У них милиция подкуплена. Никакой опасности.

— Нет, — решительно говорю я, — нет! Я никуда не пойду. Это безумие. Я играть не умею. Пусть он сам отыгрывается, а я наотрез отказываюсь. Сумасшествие какое-то!

Мы все еще стоим в прихожей. Дверь залы вдруг отворяется, и Дима, пробежав несколько шагов, бросается передо мной на колени.

— Спасите меня, спасите!

Слезы текут по его молодому мужественному лицу, придавая ему не то младенческое, не то старушечье выражение.

— Спасите меня, спасите! Спасите Лелю, ведь она тоже погибнет. Это единственный шанс, пусть ничтожный, но все-таки шанс! Леля в положении! — всхлипывает он, как будто этот довод должен меня убедить.

Мне отвратительно, мне страшно, я закрываю глаза, чтобы не видеть его.

А они вдвоем наперебой уговаривают меня всеми возможными и невозможными способами.

— Если ты не пойдешь и Диму расстреляют, — почти кричит Володя, — у тебя всю жизнь будут угрызения совести. Ты всю жизнь будешь мучиться!

Дима, должно быть, истощив все доводы, только громко всхлипывает и целует мои бархатные, покрытые снегом сапожки.

Я совершенно потеряна. Я больше ни минуты не могу выдержать этого безумия.

— Хорошо, — говорю я, сама удивляясь тому, что я говорю. — Я согласна. Я пойду. Но только перестаньте. Перестаньте! Прекратите сейчас же!

Дима вскакивает.

— Вы ангел, вы ангел! Вы мое спасенье! Спасибо! Спасибо! Спасибо!

Володя присоединяется к нему, и вот они в два голоса благодарят меня.

Но это как-то не доходит до меня. Все вдруг потеряло реальность, как только я произнесла — «я согласна», все мне стало безразлично, как будто все это происходит не со мной и меня не касается.

Я все еще стою в прихожей у входной двери, словно

я только что вернулась из Дома литераторов. Но я уже совсем не та, которая так весело вбежала сюда. Я другая. Вернее, я — никто.

— Надо спешить, — торопит Володя деловым тоном, — ведь «хождение» разрешается только до шести, а теперь уже пять. Это очень далеко — на Васильевском острове, 12 линия. Идем, идем скорее!

Я вижу, как они торопливо надевают пальто и шапки, закутывают шеи шарфами. Я жду. Мне одеваться не надо — ведь я даже не успела сбросить с себя шубки.

Мы спускаемся по лестнице. Они беспрерывно говорят что-то, но я не слушаю, вернее, даже не слышу. Они с двух сторон поддерживают меня под руки. Я не протестую, хотя мне, наверное, было бы легче идти одной. Нет, не знаю — легче или труднее, я как-то не чувствую, что иду и даже, вероятно, очень быстро иду — ведь мы уже на Невском. Мы идем не по тротуару, а по середине проспекта.

Туман. Особенный, петербургский туман. В полутьме слабо белеют сугробы и снег под ногами. Мимо нас сквозь туман проскальзывают редкие прохожие, похожие на тени.

В памяти всплывают строки:

И совсем не в мире мы, а где-то  
На задворках мира среди теней.

Да, среди теней, и я тоже тень.

В тишине глухо доносятся орудийные выстрелы. Это там, в другом мире, стреляют почему-то...

И вот наконец Васильевский остров. Мы продолжаем шагать. Я совершенно не знаю Васильевского острова.

— Пришли. Слава Богу, — говорит Дима. — Слава Богу, не опоздали!

— Перестань Бога славить, — обрывает его Володя. — Еще сглазишь. — И мне: — Ну, ни пуха тебе, ни пера!

Пришли?.. Значит, сейчас...

На мгновение мне становится страшно, мне хочется бежать, спрятаться.

Но я уже вхожу с Димой в темный дом. Не поднимаясь по лестнице, он стучит в какую-то узкую дверь явно условным стуком. За дверью хриплый голос:

— Пароль?

— Золотой зонтик! — отчеканивает Дима. И дверь открывается.

Мы входим в большую накуренную комнату. С по-

толка спускается керосиновая яркая лампа. Под ней за зеленым столом сидят пять человек спекулянтского типа. На столе лежат нераспечатанные колоды карт. При нашем появлении все поворачивают головы и с любопытством уставляются на нас.

Дима сбивчиво объясняет, что он привел заместительницу, которая будет играть вместо него. И он широким жестом указывает на меня:

— Будьте знакомы!

Один из игроков, с длинными усами, похожий на моржа, встает и, подойдя к нам, с изумлением осматривает меня сверху донизу и, подняв руку, тыча мне указательным пальцем почти в грудь, недоумевающе спрашивает Диму:

— Это будет играть?

«Это» — в среднем роде.

Дима кивает.

— Да, да. Вместо меня.

Похожий на моржа игрок пожимает плечами и снисходительно:

— Что ж? Попробуем...

И он придвигает для меня стул к столу.

Я сбрасываю шубку на грудь мужских шуб, лежащих на сундуке, и, не снимая меховой шапочки, сажусь за стол.

Длинноусый игрок берет колоду карт.

— Начнем! — торжественно объявляет он. — Больше ждать некого. Мало кто рискует выйти из дома сегодня.

И мы начинаем играть.

Дима кладет передо мною пачку денег — ему удалось занять их у своих приятелей. Я даже не пересчитываю их.

Я играю совершенно механически с тем же чувством отсутствия себя и нереальности всего, что сейчас происходит. Играю с переменным успехом, но все же скорее с успехом. Пачка денег слегка увеличилась.

Дима стоит за моим стулом.

— Ставьте крупней, — шепчет он по-французски, — ставьте крупней! Крупней!

Я оборачиваюсь к нему:

— Не смейте говорить по-французски. Не мешайте мне. Сядьте там в угол и молчите!

Я сама удивляюсь своему властному, повелительному тону, но он молча повинуется и садится в дальний угол. А я продолжаю так же играть.

Время идет незаметно. На больших часах на противоположной стене без четверти четыре утра, значит, я си-

жу здесь уже столько часов! Но усталости я не чувствую и — хотя это, казалось бы, невозможно — ни о чем не думаю, равнодушно глядя на медленно утолщающуюся пачку денег передо мной.

Если так будет продолжаться, я к утру отыграю лишь ничтожную часть нужной астрономической суммы. Но это меня как-то не касается, не доходит до моего сознания.

И вдруг я вздрагиваю, будто по мне прошел электрический ток. Все сразу меняется и вокруг меня, и во мне. Меня охватывает необычайное волнение, на меня налетает вихрь с ума сводящего вдохновения и восторга — вот-вот захлебнусь в нем и умру тут, за этим столом.

Это длится не больше минуты, и все опять приходит в порядок, но ощущение восторга и вдохновения все еще продолжается, как будто над моим ухом трубит победная труба. Да, победа! Победа! Мне сразу становится ясно, что это победа, что поражения быть не может, что все, что я сейчас делаю, непременно должно удалиться. Все, даже самое невероятное.

Мне сейчас все доступно. Я все могу. Волнение сменяется блаженным покоем и уверенностью. Я уже совсем по-новому начинаю играть — не механически, а сознательно, с чувством редкого удовольствия.

Я удваиваю, утраиваю ставки, я то и дело говорю: «Ва-банк!» — и не удивляюсь нисколько, что передо мной теперь целая гора денег.

Ведь я знаю, что не могу проиграть. Я играю так довольно долго. Часы на стене показывают пять.

Я смутно соображаю, что я, наверно, отыграла уже весь Димин проигрыш и начинаю, шурша деньгами, подсчитывать их, в чем мне любезно помогает игрок, сидящий рядом со мной.

Оказывается, я действительно отыграла все, даже немного больше суммы, казавшейся мне астрономической.

Теперь бы я могла прекратить игру. Но я знаю — это у игроков считается неприличным.

И к тому же еще половина шестого, а «хождение по улицам» разрешено с шести. Значит, надо продолжать. И я продолжаю. Но теперь с желанием проиграть излишек. Мне жаль этих игроков — может быть, это не те, что вчера обыграли Диму. А я их обобрала.

Но проиграть мне ничего не удастся, хотя я нарочно играю совершенно безрассудно.

Игрок напротив меня вдруг обращается ко всем остальным:

— Я проиграл все наличные деньги. Согласны вы играть на эквиваленты?

Его сосед с большим бриллиантом на пальце качает головой.

— Ну нет! Помилуйте. Кто их знает, почему эти ленты и есть ли на них спрос. На ленты я не играю.

— А каковы ваши эквиваленты? — спрашивает другой игрок.

Владелец эквивалентов вынимает из портфеля длинную золотую цепочку и серебряную сумочку.

Я киваю:

— Я согласна.

Мне очень хочется проиграть — но к моей горе денег прибавляется и золотая цепочка, и серебряная сумочка.

А часы показывают шесть.

И можно расходиться.

Все шумно встают.

Дима в совершенном пароксизме счастья, выкрикивая что-то, кидается ко мне.

— Не устраивайте истерики! Молчите и забирайте деньги. Сумочка и цепочка — подарок Леле, — говорю я и с трудом поднимаюсь со стула. Длинноусый игрок галантно подает мне мою шубку.

— Если вам захочется когда-нибудь поиграть — милости просим! Вы, видно, честный игрок, — он улыбается, растянув узкие губы, и еще сильнее становится похожим на моржа.

— Спасибо. Значит, «это» оказалось порядочным игроком? — спрашиваю я его, тоже улыбаясь.

Он смущается:

— Простите, ради Бога! Меня поразил ваш молодой вид.

Я протягиваю ему руку:

— Я несколько не обиделась. До свидания. И еще раз спасибо.

Дима все никак не может уложить деньги в свой портфель дрожащими руками.

Двое игроков помогают ему укладывать их. Они, по видимому, совсем не огорчены своим проигрышем и весело шутят.

Я прощаюсь со всеми ними за руку. Дима, прижимая обеими руками туго набитый портфель к груди, продолжая сиять от счастья, открывает входную дверь.

И я, еще раз кивнув всем на прощание, выхожу вместе с ним...

Да, все это было так, совсем так. Я, стоя с Адамовичем и Георгием Ивановым в Париже, у себя дома на сквер Ренуар, 4, неожиданно не только вспомнила невероятно ясно, но и пережила это снова, как будто все это случилось сегодня ночью. И сейчас, вынырнув из глубины воспоминаний, еще не совсем придя в себя, моргаю как спросонок.

Но, должно быть, мое путешествие в страну прошлого длилось лишь несколько мгновений, раз они оба ничего не заметили и продолжают все так же уговаривать меня, как будто наш разговор и не прерывался.

— Ты должна непременно согласиться, — настаивает Георгий Иванов. — Непременно! Не упрямься!

Но я решительно качаю головой.

— Нет, ни за что. Тогда это было чудо. Единственное чудо за всю мою жизнь. И оно, конечно, никогда не повторится.

Он нетерпеливо перебивает меня.

— Почему не повторится? И чудеса могут повторяться. Всякое бывает. — И уже насмешливо прищурясь: — А вдруг ты окажешься чудотворицей?

Но я, отмахнувшись от него рукой, продолжаю:

— Нет, вторичного чуда не будет — это глупая затея. Я не поеду в Монте-Карло. Я тогда согласилась только потому, что положение было действительно трагическим, дело шло о расстреле. А тут ваша тетя Вера, конечно, рассвирепеет и будет вас распекать, бранить и пилить. Но ведь это все буря в стакане воды — в конце концов, она вас простит, и все войдет в свою колею.

— А мама? — вскрикивает Адамович. — Если бы одна тетя Вера, я бы все перенес. Но мама! Ведь это для нее будет позор и горе. Это почти убьет ее!

Мама, как Адамович по-детски называет свою мать, милая Елизавета Семеновна, совсем не похожа на свою властную сестру, вдову английского миллионера господина Белэй, как Адамович почтительно величает его. Назвать его дядей Белэй ему и в голову не могло прийти.

Да, для бедной Елизаветы Семеновны то, что ее сын, ее Жоржик, мог проиграть данные ему на покупку квартиры деньги, будет страшным ударом. Ведь она гордится и восхищается им. Лучше его, добрее, умнее и талантливее никого на свете нет. А какой он любящий, замечательный сын!

О его пагубной страсти к игре, как это ни странно, у нее и понятия не было. В семье Адамовича члены ее все скрывали друг от друга и, главное, от матери — чтобы не огорчать ее, из любви к ней.



— Подумали вы о маме? Каково ей будет житья после того, как все обнаружится? Тетя Вера будет ее поедом есть из-за меня.

Я не спорю.

— Наверное, не очень сладко.

— Так вы хоть для нее. Пожалейте ее! — уже с отчаянием просит он, и все лицо его вдруг собирается в мелкие морщинки, будто он сейчас заплачет.

— Не понимаю, — говорит Георгий Иванов, — как ты можешь так долго упрячиться? Что тебе стоит? Проедешься в Монте-Карло. Проиграешься — не твоя вина. Соглашайся! Едем!

Я вдруг неожиданно сдаюсь.

— Хотя я и уверена, что не отыграю, но хорошо — едем!

И тут сразу меняется картина. Адамович, такой сдержанный всегда, чуть не прыгает на месте от радости, бормоча что-то непонятное.

Георгий Иванов обнимает меня.

— Едем. Отыграешь или нет — там видно будет. Главное, едем! Откладывать незачем — едем сегодня же вечером с восьмичасовым поездом.

Адамович тоже находит, что ехать надо сегодня же.

— В первом классе! — гордо заявляет он. — Туда и обратно.

— Зачем в первом? И во втором так же доедем, — протестую я.

Но он настаивает:

— Нет, непременно в первом!

Георгий Иванов уже достает чемодан.

— Давай скорее укладываться!

Адамович открывает шкаф с моими платьями.

— Что вы возьмете с собой? Пожалуйста, поэлегантней!

Как будто мы едем не на неизбежный провал, а на праздник.

Но я и тут не спорю.

— Отбирайте сами, что хотите. Мне безразлично.

Адамович вынимает из шкапа мой белый костюм и несколько нарядных платьев, будто я в Монте-Карло только и делать буду, что гулять и переодеваться.

— А туфли какие, а шляпу? — спрашивает Георгий Иванов.

— Туфли белые и шляпу и сумочку тоже белые и светлые чулки, — команду я. Он аккуратно укладывает все это в чемодан, а я иду одеваться.

Весь день проходит в суматохе и подготовке к поезд-

ке. Я хочу не думать о ней, но это мне не удается. Хотя я и уверена, что из нее ничего не выйдет, я стараюсь заставить себя надеяться — а вдруг все-таки и удастся. Как бы это было хорошо. Я буду жить в доме, который мне так нравится, с деревьями перед окнами и белыми голубями, распускающими веером хвосты. Таких голубей я видела лишь на картинках, кажется, они называются турманы. И до чего мне хочется, чтобы мы жили именно в этом доме с Адамовичем! И как чудесно, если это осуществится!

И вот мы наконец в поезде. В купе 1-го класса. Мне никак не удалось уговорить Адамовича не тратить зря денег — ведь они нужны на игру.

Пообедать мы не успели, но Адамович купил всякой съедобной всячины — и ветчины, и закусок, и пирожных, и минеральной воды, и вина, и даже бумажных салфеток. Они оба веселы. Их веселье мало-помалу передается и мне. Раз они оба так уверены в удачном результате — может быть, они и окажутся правыми. И как бы это было великолепно!

Жорж захватил с собой мой зеленый пушистый плед и мою круглую замшевую подушку. Оба они гораздо хозяйственнее меня. Я ложусь и спокойно сплю до самого утра.

Но к утру все мои иллюзии и надежды рассеялись. Я просыпаюсь в самом скверном настроении — меня за ночь укачало.

Они оба по-прежнему веселы и довольны и твердо верят в удачу. Пусть себе. Я не хочу их разочаровывать.

Зачем только я согласилась на эту глупую авантюру? Зачем?

Поезд идет возмутительно медленно. Нет, меня не восхищает ни лазурное небо, ни сияющее море, ни красные скалы Сен-Рафаэля, — я повторяю про себя:

Много раз я это видел  
И потом возненавидел...

Я действительно смотрю почти с ненавистью и отвращением на всю эту красоту.

И вот наконец Монте-Карло. Слава Богу! Впрочем, славить Бога незачем. Ведь я уверена, что ничего, кроме неприятностей, меня здесь не ждет. Но я все-таки, выйдя из поезда, вздыхаю с облегчением.

Меня устраивают с чемоданами в кафе, а они оба отправляются разыскивать отель. Я, такая нетерпеливая от природы, готова к долгому ожиданию, так мне все

безразлично. Но они уже возвращаются. Они нашли отель в двух шагах от казино.

— Отличный отель, — хвастливо заявляет Адамович. — И комната ваша отличная!

Как будто это важно.

Отель действительно хороший. И, наверное, дорогой. Напрасно Адамович зря тратит столько денег — ведь они нужны для рулетки. Но я не упрекаю его.

— Хорошо бы, мадам, поскорее переодеться и успеть побывать в казино до обеда — попытать счастье. Как по-вашему? — спрашивает Адамович.

Но тут Георгий Иванов благоразумно протестует:

— Ну нет! Ей надо отдохнуть. Она еле на ногах стоит. После обеда пойдем. Успеем.

Я киваю. Да, мне необходимо отдохнуть. Торопиться незачем. Успеем, успеем. Лучше бы мне вовсе не входить в казино. Но раз я обещала...

Восемь часов. Я уже успела отдохнуть, принять ванну и переодеться в белый костюм.

Надо идти обедать, но Адамович где-то пропадает, и мы его нетерпеливо ждем.

— А может быть, он просто лег и спит?

Георгий Иванов стучит в дверь его комнаты, смежной с нашей. Ответа нет. Георгий Иванов возмущен.

— Он так торопился начать поскорее играть, а теперь запропастился куда-то, и я голоден. Давно пора обедать.

Но тут возвращается Адамович с букетом белых гвоздик.

— Это я для вас, мадам.

— Очень надо было, — ворчит Георгий Иванов. — Положи их в умывальник и поскорее идем обедать, а потом в казино.

Адамович ставит цветы в вазу.

— Я уже побывал в казино. Посмотрел, как играют, как вертится рулетка.

— Но, надеюсь, не играли? — спрашиваю я.

— Нет. Только умственно. Задумываю номер и, представьте себе, часто правильно.

— Так и продолжайте умственно играть. Вреда от этого не будет, — говорю я. — Но ради Бога, не на деньги.

Мы обедаем в каком-то маленьком ресторане, выбранном мной за недорогие цены, и, как полагается, едим спагетти, очень торопливо, не проявляя гастрономического интереса. Нам не до того. Мы спешим в казино.

В казино, как всегда, начинается с формальностей.

Меня, к моему удивлению, опять спрашивают, как спрашивали уже два года тому назад, когда мы были здесь с отцом, совершеннолетняя ли я. На что я не без гордости отвечаю, что я уже пять лет замужем. И вот мы входим в святая святых — в игорные залы.

Здесь все, как два года тому назад, и, как тогда, меня сразу охватывает и как бы всю пронизывает насквозь атмосфера азарта. Я ощущаю ее почти болезненно. Она действует на мои нервы и раздражает меня. Должно быть, я антиазартна или, напротив, очень азартна. Я не отдаю себе в этом отчета. Но во всяком случае, мне всегда неприятно и тяжело в казино.

Мы обходим игорные залы. Я выбираю стол. Я всегда стараюсь сесть рядом с крупье во избежание возможных недоразумений с игроками, желающими забрать чужой выигрыш, шумно настаивающими, что это их ставка. Своими жертвами они, по большей части, выбирают одиноких молодых женщин, уступающих им из страха скандала.

Играющих в этот поздний час немного, и мне удается занять место рядом с крупье. Я взяла с собой три тысячи, но для начала намениваю лишь одну на пятифранковые жетоны. И сыпаю большинство их в свою сумочку.

Георгий Иванов и Адамович оба стоят за моей спиной. Я оборачиваюсь к ним:

— Уходите, вы мне мешаете.

Но они и не думают уходить, и я, решив не обращать на них внимания, начинаю играть.

У меня нет никакой системы, я играю просто по интуиции. Играю очень осторожно и мелко, пока не наиграю заранее решенную сумму, которую прячу в сумку.

При такой манере играть большие проигрыши невозможны, даже в случае невезения, а при малейшем везении неизменно, пусть мелко, но выигрываешь.

Недаром в Монте-Карло на мелкие выигрыши живет стая старичков и старушек, каждый день отбывающих «трудовую повинность» в казино в продолжение двух-трех часов.

Правда, все они что-то записывают и высчитывают, но дело не в их расчетах и «системах», а в осторожности, в выдержке, с которой они играют.

Первые мои три ставки удачны, и я, ободренная ими, начинаю чувствовать себя более уверенной.

— Ставьте крупнее. Чего вы скаредничаете? Ведь вам везет, — шепчет Адамович мне в ухо. — Ставьте крупнее!

Но этого я никак не могу перенести.

— Если вы сейчас же не уйдете, я перестану играть. И ты, Жорж, тоже убирайся. Вы мне оба мешаете!

И они оба исчезают, а я продолжаю все так же «скаречно» и расчетливо играть.

Результат скорее благоприятный. За два часа я выиграла тысячу двести франков. Но до чего же я извелась и устала! Пора кончать, и я меняю свои жетоны.

Они вдруг оба снова появляются за моей спиной. На этот раз я оборачиваюсь к ним, улыбаясь.

— Ну как? — спрашивают они в один голос.

— Не очень блестяще, но ничего. Лучше, чем я думала, — тысяча двести франков! Может быть, мы и не напрасно приехали. Но легче камни дробить на улице, чем так играть.

Я жду, что они оба очень обрадуются. Но Адамович хмурится, а Георгий Иванов зевает.

— Мне чертовски надоело слоняться от одного стола к другому и смотреть на эти алчные морды и дрожащие руки. Отвратительное зрелище, — он отодвигает мой стул и помогает мне встать.

Я оставляю несколько пятифранковых жетонов на столе, как полагается. Крупье благодарит, бросает их в кружку и любезно прощается со мной:

— A bientôt, j'espère<sup>1</sup>.

Я киваю:

— A demain<sup>2</sup>.

Ведь «завтра снова день безумный и веселый». Нет, совсем не веселый, а чрезвычайно тягостный. С этого первого вечера началось мое «монте-карловское хождение по мукам», как я впоследствии называла мое сидение с самого утра до позднего вечера в казино — с короткими перерывами на завтрак и обед, во время которых я не успеваю отдохнуть и хоть на минуту не думать и не говорить о рулетке.

К моему удивлению, то, что мне в первые же дни удалось — правда, с таким трудом — выиграть пять тысяч, не вызывает энтузиазма ни в Адамовиче, ни в Георгии Иванове, больше вообще не появляющемся в казино, а предпочитающем лежать в нашей отдельной комнате с романом Агаты Кристи. Адамович все продолжает хмуриться и упрекать меня за то, что я слишком «скаречно» играю.

— Вы могли бы в первый же вечер все отыграть, если бы ставили крупно!

— Да, но могла бы и все проиграть! Перестаньте меня учить. Я рисковать не намерена.

---

<sup>1</sup> До скорого, надеюсь (фр.).

<sup>2</sup> До завтра (фр.).

Георгий Иванов неожиданно заявляет:

— Мне кажется, ты была права. Нам ехать в Монте-Карло не стоило. Все это глупая затея.

Я просто не верю своим ушам.

— Не стоило? Ты шутишь, Жорж?

Но на него набрасывается Адамович.

— Что ты за чушь несешь? Молчи!

Георгий Иванов пожимает плечами.

— Не бесись, Жорж! Молчу. Но мне больно видеть, как Ира изводится за этой проклятой рулеткой. Ведь у нее слабое здоровье. Ей такой сизифов труд не по силам.

Разговор этот происходит по дороге в отель — всего несколько шагов, и мы уже входим в холл.

Я даже не спрашиваю, почему «сизифов труд», — ведь мой труд приносит осязаемые результаты. Я так устала, мне так хочется спать, что не до расспросов. Лечь, скорее лечь...

Еще один день, проведенный в казино. Огромный, тяжелый, переполненный волнением и страхом. Каждая минута как час. Время тяжелым грузом ложится мне на плечи. Господи, до чего я устала!..

Я играю осторожно, мелко, тружусь, как муравей, — я почти ничего не выигрываю. Я стараюсь победить неудачу, перехожу к другому столу, прерываю игру. Но нет, неудача не покидает меня до самого вечера.

Мне почему-то стыдно признаться обоим Жоржам, что я за весь день выиграла — с каким трудом — лишь триста франков. Но я, правда, не виновата.

Адамович хмурится.

— Нет, виноваты. Вы пропустили шанс, когда вам везло. И вчера, и позавчера.

Георгий Иванов насмешливо пожимает плечами.

— Так, так, правильно. Нашел-таки козлика отпущения, виноватого во всем.

Он предлагает мне отправиться завтра в Грасс к Бунинным, прекратить на время толочь воду в ступе. Ведь явно ничего из этого не получится. Но я о том, чтобы ехать в Грасс, и слышать не хочу, и Адамович поддерживает меня.

— Никаких поездок — вы правы. Сегодня вам не везло, завтра повезет.

Я киваю.

— Конечно, может повезти.

И действительно, на следующее утро, как только я заняла свое — все то же — место возле крупье, мне с первой ставки начинает везти, я играю все так же «скаредно» и осторожно, тружусь, как муравей, боясь риско-

вать, — так вернее. Но я чувствую присутствие «крылатой удачи». Меня охватывает радостное волнение. Победа! Победа! Холмик жетонов передо мной хотя и медленно, но явно увеличивается.

И тут неожиданно за моей спиной, в неурочный час — ведь еще рано идти завтракать — появляется Адамович. Я улыбаюсь, указывая ему на грудку жетонов:

— Видите, вы были правы. Мне везет сегодня.

Он протягивает руку:

— Мадам, дайте мне!..

Я просто своим ушам не верю.

— Но вы же обещали не играть. Вы...

Он прерывает меня:

— Мадам, дайте мне!

Это уже не просьба — это требование. Меня оно возмущает.

— Вы с ума сошли! Ни одного жетона не дам. Уходите! Не мешайте мне!

Он сразу весь меняется. Таким я его никогда не видела. Лицо его становится злым и жестоким, голос визгливым.

— Не дадите? Мне не дадите? Вот как? А чьи это деньги? Ваши или мои?

Я, оторопев, смотрю на него.

— Георгий Викторович, вы шутите?

— Нисколько не шучу! — еще визгливее вскрикивает он. — Чьи это деньги — ваши или мои?

— Ваши! Ваши! Берите!

Я вскакиваю со стула и вытряхиваю из своей сумки жетоны и бумажные деньги. Они разлетаются во все стороны.

— Вот — берите! Берите всё!

Он трясущимися руками подбирает жетоны и деньги и, не обращая на меня внимания, начинает пригоршнями разбрасывать их по плато.

Убегая, я еще успеваю увидеть, как крупье своей лопаточкой сгребает все его ставки.

Меня трясет от оскорбления и отчаяния. Все пропало. Я остаиваюсь на последней ступеньке лестницы казино и перевожу дыхание. Надо прийти в себя, взять себя в руки. Я поправляю съехавшую набок шляпу, всовываю руку в карман за носовым платком и вынимаю из него неизвестно как туда попавший большой, продолговатый, прозрачный стофранковый жетон. Значит, я Адамовичу не все отдала. Надо вернуться, швырнуть ему его. И я стремглав возвращаюсь в казино. Но тут происходит что-то непонятное.

Вместо того чтобы бежать в тот зал, где я играла, где сейчас Адамович проигрывает мной с таким трудом добытые деньги, я останавливаюсь в первом зале, подхожу к столу и, разменяв стофранковый жетон на двадцать красных пятифранковых, начинаю играть. Как во сне. Почти не сознавая, что делаю. Ставлю ставку за ставкой.

И выигрываю еще и еще. Передо мной уже снова лежат стофранковые жетоны. Я впиваюсь глазами в шарик, кружащийся с жужжанием в рулетке. Мне кажется, что это не шарик, а мое сердце кружится там в рулетке. И как это больно! Но какое ослепительное счастье, когда крупье объявляет номер, тот, на который я поставила.

Я играю вопреки всем моим правилам, безрассудно рискуя. Но, должно быть, «крылатая удача» не только не покинула меня, но руководит моими ставками. Я играю так, будто от выигрыша или проигрыша зависит вся моя жизнь, все мое будущее.

И вдруг в дверях появляется Адамович, бледный, растерянный, с искаженным лицом. Только бы он не увидел меня! Но он уже идет ко мне несвойственной ему подпрыгивающей походкой. Он протягивает руку к моим жетонам.

— Мадам, вот вы где! Я все проиграл. Дайте мне!

Я даже не протестую. Я сразу сдаюсь и молча отхожу в сторону, уступая ему место, и вдруг, не в силах сдержаться, заливаюсь слезами, даже всхлипываю. Боже, какой позор! Я без оглядки вылетаю из казино. Мчусь в отель, земля качается подо мной, деревья и цветы несутся мне навстречу, только бы они не сбили меня с ног, только бы не упасть. Лифт... коридор... дверь нашей комнаты. Я кричу:

— Жорж! Все погибло! Он отобрал у меня деньги! Он всё проиграл! Он всё проиграл!

Но Георгий Иванов как будто не понимает, не слышит. Он обнимает меня.

— Успокойся, не плачь, не плачь!

— Все погибло, — кричу я. — Все погибло. Он проиграл все деньги.

Но это потрясающее известие совсем не потрясает его. Зато он потрясен моими слезами.

— Успокойся, успокойся, — умоляет он. — Ничего не погибло! Не плачь, ради Бога. Напротив, это даже к лучшему. Ведь Жорж в первый же день проиграл все деньги, и ты напрасно старалась. Он упросил меня скрыть от тебя. Он был как помешанный, он надеялся,



что ты все отыграешь. Я просто боялся за него, я очень виноват. Прости меня.

Я задыхаюсь от обиды. Значит, они оба обманывали меня?

— Не прощу. Никогда не прощу. И все кончено с ним. Раз и навсегда, — сквозь слезы бормочу я, сорвав шляпу и бросаясь на постель, и плачу, уткнувшись в подушку.

Георгий Иванов продолжает просить прощения и успокаивать меня.

— Ничего плохого для нас не произошло. Не плачь! Мы вернемся домой, в нашу квартиру. Я спрятал деньги, чтобы здесь расплатиться, у нас обратные билеты. Все хорошо. Ради Бога, не плачь, — все повторяет он.

Но я не слушаю. Я проваливаюсь в сон.

Сквозь сон скрип открывающейся двери и шепот:

— Вы спите, мадам?

В комнате полутемно. Я смутно различаю Адамовича у стены.

— Ради Бога, простите, — шепчет он, — я разбудил вас. И за все простите. Но я больше не мог оставаться один.

— Где Жорж? — спрашиваю я.

— Он уехал в Ниццу, к тете Вере. Уже три часа прошло. Я просто схожу с ума. Что там с мамой? — Он умолкает на минуту и снова: — Я даже не смею просить у вас прощения. Вы не можете простить. Это было чудовищно грубо. Но мне ночью приснилось, что я все отыграю, и я поверил сну. Я был в забытьи, в беспамятстве. Я и сейчас ничего не соображаю. Но если бы я не пришел к вам, я мог выброситься в окно. Мама не перенесла бы. Ведь вы знаете, мой старший брат Володя — он был белый офицер — застрелился в Сибири. Мама так горевала, что доктора боялись за ее рассудок. И если бы я покончил с собой... — Пауза, потом: — Могу я остаться у вас?..

Я не сразу отвечаю:

— Оставайтесь, только молчите!

В комнате так тихо, будто я одна. Но он здесь. Его черная тень неподвижно лежит на светлом ковре.

Я закрываю глаза. Мое сердце сжимается от тоски и страха. Я сознаю, что мне волноваться нечего. В сущности, нам «общая квартира» не так уж была нужна. Мы отлично живем у себя. А я все-таки не могу успокоиться. Отчаяние Адамовича, продолжающего стоять там, у стены, захлестывает, душит меня. Шел бы он в свою комнату. Но я не решаюсь прогнать его.



Айседора Дункан и Сергей Есенин



Игорь Северянин

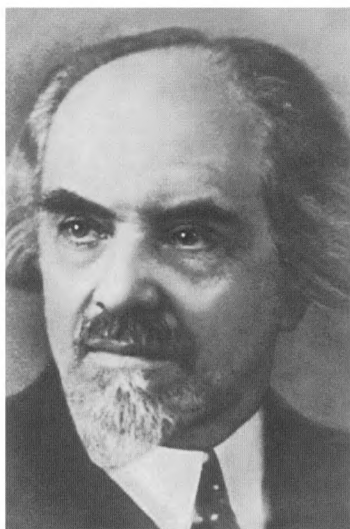


Николай Оцуп

З.Н.Гиппиус. 1940

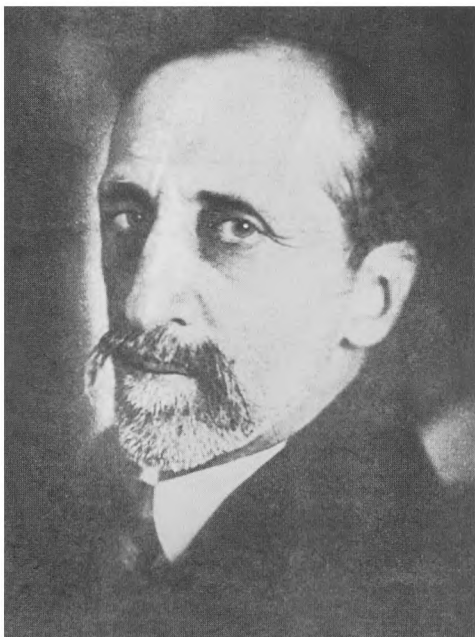


Марк Алданов. Фото П.И.Шу-  
мова. Париж, 1931



Н.А.Бердяев. 1935

Д.С.Мережковский.  
Фото П.И.Шумова.  
Париж, 1931



Лев Шестов. Мюнхен,  
ноябрь 1928

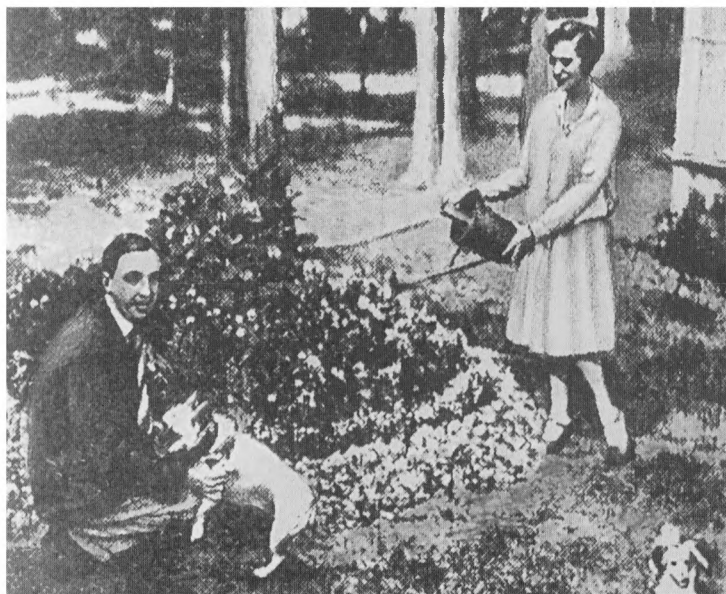


А.Ф.Керенский. Петроград,  
1917



Ирина Одоевцева. Середина 1920-х годов

Георгий Иванов и  
Ирина Одоевцева.  
Дружеский шарж.  
Репродукция из га-  
зеты «Сегодня». 1927



Георгий Иванов и Ирина Одоевцева на даче в Сосновом (ныне  
Приедайне). Репродукция с фото в газете «Сегодня». 1927



К.Д. Бальмонт.  
1930-е годы



Никита Балиев. Рисунок  
Ю.П. Анненкова. 1933



Дон Аминадо



Н.А.Тэффи

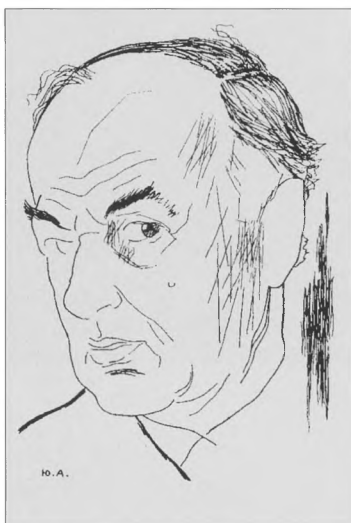




М. И. Цветаева.  
1940



И. И. Фондаминский



Юрий Анненков. Автопортрет



Борис Поплавский



Довид Кнут



Союз молодых писателей и поэтов. Сидят слева направо: Софья Прегель, Алла Головина, Леонид Зуров (председатель Союза), Лидия Червинская, Анна Присманова. Стоят: Виктор Емельянов, Борис Закович, Юрий Мандельштам, Владимир Смоленский, Юрий Фельзен, Георгий Адамович, Анатолий Штейгер, Елена Бакунина, Георгий Раевский, Юрий Бек-Софиев, Перикл Ставров. Париж, 1930-е годы



Георгий Иванов. Рига, 1934



Ирина Одоевцева. 1930-е годы



И.А.Бунин. Париж, 5 июля 1948



Слева направо: Г.Н.Кузнецова, И.Троцкий, В.Н.Бунина, Андрей Седых, И.А.Бунин, «Лючия». Стокгольм, 1933



И.А.Бунин  
и Оля Жирова.  
Дача La Domi-  
nante, 1938



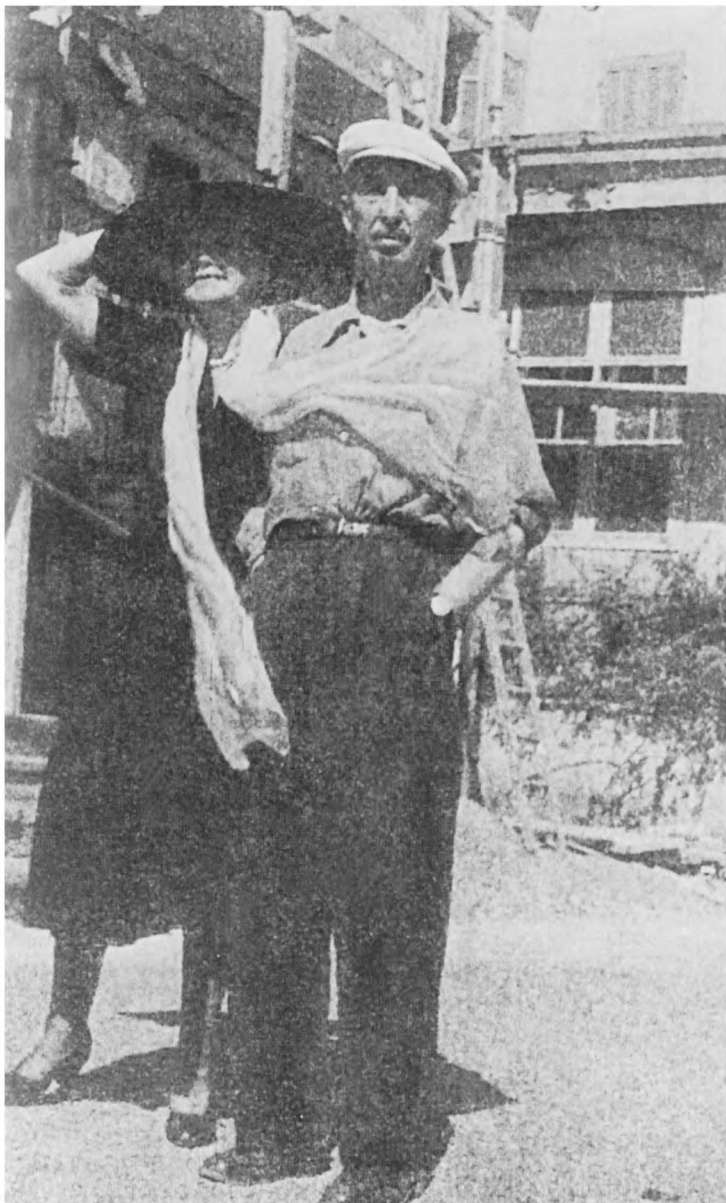
Г.В.Адамович. Париж, 1950-е годы



С.И.Шаршун



Б.К.Зайцев. 1960-е годы



Ирина Одоевцева и Георгий Иванов в доме престарелых в Йере.  
Фото К.Д.Померанцева. Август 1957





Николай Евсеев, Ирина Одоевцева и Юрий Терапиано.  
Гань, 1970



Ирина Одоевцева  
и Яков Горбов

Мне кажется, что я так лежу очень, страшно долго. Почему Жорж не возвращается? Я больше не в состоянии переносить этой тишины, перегруженной отчаянием и ожиданием.

— Георгий Викторович, — говорю я неожиданно для себя самой, — я больше не сержусь на вас.

— Не сердитесь? — почти испуганно спрашивает он. — Нет, не может быть. Я не верю.

— Не сержусь, — повторяю я. — Я понимаю, что можно стать игроком. Я бы и сама могла. Все мы так слабы.

Я с удивлением прислушиваюсь к своим словам. Неужели, правда, я могла стать игроком, как «Игрок» Достоевского, как сам Достоевский, как Адамович? Неужели? Но играя на последний, найденный в кармане жетон, я, наверное, почувствовала все то, что чувствует настоящий игрок. И значит, и я...

Он благодарит меня. Он весь исходит благодарностью. Он был уверен, что я никогда не прощу такого оскорбления. Никогда. До того, что я могла стать игроком, ему и дела нет. Он весь поглощен своим отчаянием. И продолжает:

— Мой брат Володя совсем не был похож на меня. Мы никогда не дружили, не были близки. Он учился в кадетском корпусе, у него были совсем другие вкусы и взгляды. Но мы все-таки были сыновьями одних родителей. В нас та же кровь, и то, что он покончил с собой, я никогда не забываю. И сейчас, сегодня, если бы вы не позволили мне остаться здесь, с вами... Меня уже не раз тянуло... Не застрелиться, нет, выброситься в окно или утопиться...

И вот он начинает перечислять все случаи, когда он «хрустел на зубах жизни» и мог покончить с собой. Он говорит с какой-то исступленной откровенностью, ничего не скрывая, весь — душа нараспашку, «сердце на ладони». Он, всегда такой по-петербургски подтянутый, «застегнутый на все пуговицы», презирающий «водопадное изливание чувств», сейчас сам «водопадно изливает свои чувства». Глухим, торопливым, прерывающимся голосом. Мне даже не верится, что это тот самый Адамович, которого, мне казалось, я так хорошо знаю.

В комнате уже совсем темно. Я больше не вижу его тени. Голос доносится ко мне как будто откуда-то издалека. После всего того, что я пережила и перенесла сегодня, все кажется мне странным, почти фантастическим. Нет, я больше не сержусь на него. Я до боли жалею его. Нет, он ни в чем не виноват. Я впервые понимаю, до

чего он несчастен и одинок. И какая в нем огромная нежность и жажда любви. До чего он скрытен, замурован сам в себе! И до чего его, казалось бы, удачная жизнь трагична.

Если бы не его отчаяние, не все, что произошло, он никогда не мог бы так беззастенчиво, почти бесстыдно исповедоваться мне, и я бы не подозревала, какой он на самом деле. Он никогда не был мне так дорог, как сейчас...

...Дверь открывается, вспыхивает свет. Георгий Иванов стоит на пороге с видом триумфатора:

— Жорж, все в порядке! Я все устроил. Елизавета Семеновна ни о чем знать не будет. Бросайся мне на шею! Рассыпайся в благодарностях!

Адамович, застыв на месте, широко открытыми глазами глядит на него.

— Правда? Правда, Жорж? Мама ничего не узнает? Правда? — дребезжащим голосом недоверчиво спрашивает он.

Георгий Иванов поднимает руку:

— Клянусь — ничего не узнает! Мадам Белэй проявила невероятное величие духа. Но до чего же трудно было заставить ее проявить его!

Вот как все было.

Встретила она его, как условились по телефону, одна в неопишуемой тревоге за «Жоржика», — ведь от него после телеграммы, подтверждающей получение денег, не было ни слова — что с ним? Умоляю, скажите только, что Жоржик жив! Но когда Георгий Иванов со всевозможной осторожностью сообщил ей причину молчания «Жоржика», разразилась буря, гроза. Она отреклась от своего племянника. Георгий Иванов ждал с покорным видом, пока гроза отбушует, и тут, не прося за Адамовича, заслужившего справедливое наказание, заговорил о его матери. Ведь у нее слабое сердце, она может умереть, узнав. Необходимо скрыть от нее. Но об этом мадам Белэй и слышать не хотела. Лгать? Ни за что на свете! Понадобился целый час, чтобы убедить ее в необходимости солгать. Она молча начала ходить из угла в угол, сосредоточенно думая, и вдруг остановилась и подняла голову.

— Передайте ему мое решение: Лизе я скажу, что его ограбили, он не решался сознаться в этом, оттого и не писал. Пусть он приезжает по-прежнему. Но я буду говорить с ним лишь в присутствии Лизы. Без нее ни слова. Пусть он не смеет даже здороваться со мной. Его для меня больше не существует. — И добавила с видом

вдовствующей королевы: — Я приношу эту жертву Лизе. Но его не прошу никогда! Никогда! Он для меня умер. Так и скажите ему, — и королевским жестом, указывая этим, что аудиенция окончена, протянула руку, и он благодарно приложился к ней.

Адамович все так же смотрит на Георгия Иванова широко открытыми глазами, ни разу не прерывая его. Но по мере того, как он слушает, его измученное, темное, постаревшее лицо светлеет и молодеет и его чудесные глаза начинают сиять.

— Да, тетя Вера сдержит слово! Мама не узнает! Никогда. Ничего, — с расстановкой произносит он. — Спасибо, Жорж, — и вдруг улыбается своей всегдашней чуть застенчивой, чуть насмешливой длинной улыбкой.

— Трудно поверить, но я сейчас почти счастлив! Повтори, повтори, Жорж, еще раз все с начала, с самого начала.

В тот же вечер за обедом, когда Георгий Иванов был всецело поглощен составлением меню, Адамович наклонился ко мне и тихо сказал:

— Пожалуйста, не верьте, мадам, ни одному слову из всего, что я вам нагородил. Я никогда не мог бы покончить с собой, никогда не решился бы. Я даже никогда в жизни серьезно не думал об этом. Все это вздор!

В тот же вечер мы втроем решили никому — кроме Жоржа Батая — не рассказывать о случившемся.

На следующий день мы уехали в Париж.

Мы с Георгием Ивановым поселились в нашей квартире на сквер Ренуар, а Адамович — в таком же дурном монмартрском отеле, как и прежде.

На Пасху он, не без опасения, отправился в Ниццу, где «тетя Вера» оказала ему ледяной прием и в продолжение всей Страстной недели обращала на него, вне присутствия его матери, меньше внимания, чем на муху.

Но — этого он никак не мог ожидать — она, христосуясь с ним во время заутрени, шепнула ему на ухо:

— Все прощено. Все забыто, Жоржик! — и вернулась с ним под руку — как в былые годы — из церкви. И все пошло по-старому.

Вот из этого-то «рулеточного приключения», как Адамович впоследствии окрестил нашу поездку в Монте-Карло, и вырос миф о проигранной вилле, разорившей, по одной версии, его мать, по другой — его тетку, и о его угрызениях совести.

На самом же деле воспоминание о «рулеточном приключении» не только не вызывало в нем «угрызений со-

вести», а, напротив, превращалось во что-то очень забавное. Приходя в хорошее настроение, он не раз с усмешкой спрашивал меня:

— А помните, мадам, как я вас по первому классу в Монте-Карло возил?..

21 февраля 1972 года Георгий Адамович умер.

Значит, со дня его смерти прошло больше десяти лет. Целых десять лет!

А мне кажется, что только вчера в мою комнату быстро вошел Терапиано и срывающимся от волнения голосом сказал:

— Звонили из «Русской мысли». Адамович умер! Умер Адамович! Сегодня. После завтрака лег, как всегда, отдохнуть. А когда к нему вошли, он лежал на полу. Мертвый!

— Адамович умер, — повторяю я, и от звука мною произнесенных слов чувствую удар в лоб. В глазах темно. Или это я закрыла лицо руками?

Терапиано говорит еще что-то. Но я не слушаю, не стараюсь понять.

Я слышу, как он закрывает дверь за собой. Значит, он ушел. Значит, я одна.

Адамович умер?

Говорят, что перед умирающим мгновенно проносится вся его жизнь. Не знаю, так ли это или это только литературная выдумка. Ведь проверить ее никто из живых не может.

Но передо мной каждый раз, когда я узнаю о неожиданной смерти близкого, любимого человека, мгновенно проносится все, что мне известно о нем, и я с невероятной отчетливостью и силой снова переживаю все, что мне пришлось пережить с ним. Все — от первой встречи до последнего «до свидания», превратившегося в «прости навеки».

Вот и сейчас — все, все с самого начала, вся жизнь Адамовича на трагическом фоне бессмыслицы наших дней разворачивается передо мной так ярко, с такой силой, что я забываю о себе, теряю себя, всецело захваченная его жизнью. Она как будто еще не кончилась, она тут, рядом что-то требует от меня.

Я вдруг вспоминаю, что за нашим прощальным обедом перед его отъездом в Ниццу, оказавшимся последним, он мне сказал:

— Я в Нью-Йорке как-то случайно прочел в «Новом журнале», что вы написали о Бунине, и, знаете, пожалел, что я никогда не попадаюсь вам под стило.

Тогда я сочла это просто за *table talk*<sup>1</sup>, а он, не настаивая, заговорил о другом. Но теперь я чувствую, что мне необходимо написать о нем, чтобы в сердцах и умах читателей запечатлеть его образ, чтобы они услышали его голос, увидели его по-новому — его настоящего — и полюбили его еще сильнее, чем любили его при жизни, что он это требует от меня.

Да, мне надо было непременно написать о нем. И я написала. Статья моя появилась в «Новом журнале». В ней я рассказала о начале нашей жизни у него, в квартире его тетки на Почтамтской, когда я вышла замуж за Георгия Иванова.

И вот прошло десятилетие. Десять лет со дня его смерти. И я опять чувствую необходимость написать о нем. Но теперь совсем иначе, чем тогда. Прежде всего, мне надо напомнить о нем: ведь его почти совсем — все же, надеюсь, не окончательно — забыли. Все, что он так усердно писал «для вечности», так и осталось неизданным. А он говорил мне, что то, что он пишет теперь — то есть тогда, перед своей смертью, — «самое значительное, самое важное». Он торопился, чтобы успеть все сказать, он сознавал, что времени у него осталось мало, хотя и не предвидел такого скорого конца.

— С трудом преодолеваю свою лень, — говорил он. — Мне хочется поваляться в кровати, послушать радио, почитать газету, поболтать по телефону, а я вместо того до поздней ночи не покладая рук стучу на машинке «для вечности». Знаю, что впервые в жизни делаю настоящее, нужное дело, что все, что я прежде делал, ни в какое сравнение не идет с теперешним, что мое «*outré tombe*»<sup>2</sup> потрясет умы и сердца.

Он был уверен, что после его смерти сейчас же издадут все оставленное им и каждая его страница будет изучаться, разбираться и комментироваться.

— Я стану властителем дум грядущих поколений, — полунасмешливо говорил он. — Жаль, что я не увижу этого. С того света вряд ли что разглядеть удастся. Но знаю, так будет, и это сознание заставляет меня писать. Хотя, ох! Как иногда не хочется. А надо!

Адамович, как большинство писателей, после смерти вступил в полосу «временного забвения», но это все же не помешало возникновению всевозможных мифов и легенд о нем, а как раз этого он очень опасался.

— Подумать только, какой вздор болтают об Ахмато-

---

<sup>1</sup> застольная беседа (англ.).

<sup>2</sup> «посмертное» (фр.).

вой — о ее любви к Блоку, о том, что из-за нее повесился студент, о том, что Гумилев не отец ее сына Левы! А о Гумилеве! Какой-то болван выдумал даже, что он косил оттого, что у него был стеклянный глаз. А читатели верят каждому печатному слову. Боюсь, что и обо мне будут черт знает что сочинять. А я хочу, чтобы обо мне писали бы только правду, — говорил он мне как-то еще до своей поездки в Америку за одним из наших еженедельных обедов в ресторане на Елисейских полях.

— Всю правду без утайки?

Он поморщился.

— Никто не хочет, чтобы о нем знали всю правду. Есть вещи, о которых нельзя говорить, — у каждого. Но я против лжи, против наведения тени и против того, чтобы меня покрывали сахарной глазурью — ах, он был ангел, добрый до святости! Пожалуйста, помните это, если когда-нибудь вам захочется писать обо мне — *la vérité, rien que la vérité*<sup>1</sup> — но, конечно, *ne toute la vérité*<sup>2</sup>. Ведь вы обо мне все знаете, больше, чем кто-либо другой.

Да, действительно, я знала о нем очень много. Сам он уверял меня, что ни с кем на свете не был так — до конца, как на духу, — откровенен. Ни с сестрой, ни с любимицами, ни с друзьями.

— Вы все обо мне знаете, — говорил он.

Но я была в этом далеко не уверена. Все же думаю, что я лучше, чем кто-либо, знала его жизнь и его самого.

— Я не хочу казаться тем, кем я не был, — тогда же сказал он мне. — Ни ходуль, ни крыльев у меня нет. — И, уже улыбаясь, добавил: — Если вам удастся пережить меня, позаботьтесь о моей посмертной репутации. Не хочу, чтобы меня сделали мумией. А я обещаю вам, если вы первая преставитесь, учредить Общество ревнителей памяти Ирины Одоевцевой и стать его председателем. И прославлять вас.

Я смеюсь.

— Спасибо. Значит, мне, в интересах моей посмертной славы, не следует слишком долго задерживаться на этом свете и поскорее перебираться на тот? Но довольно, довольно гробокопательных разговоров. Да и рано их вести — мы с вами ведь еще молоды, ведь у нас с вами

---

<sup>1</sup> правду, ничего, кроме правды (фр.).

<sup>2</sup> всю правду (фр.).

Жизнь прошла,  
А молодость длится —  
Ваша молодость и моя, —

цитирую я строки из посвященного ему стихотворения.

Он пожимает плечами.

— Как ни дико, а иногда я на самом деле чувствую себя молодым. В особенности с вами, как будто мы еще в Петербурге, на Почтамтской. Все же обещайте свято и нерушимо говорить и писать обо мне — после моей смерти — одну правду без прикрас и мифов.

И я поднимаю руку и торжественно произношу:

— Одну правду! Обещаю. Без прикрас и мифов.

В тот вечер он, как всегда, провожал меня до метро, и мы, стоя перед широкой лестницей, долго сговаривались о дне следующего «междусобойчика», как он — любитель забавных выражений — называл наши обеды. Он, как всегда, старался шутить, но мне было ясно — он расстроен и виной этому наш разговор о смерти...

И вот теперь я чувствую, что настало время исполнить данное мной ему в тот вечер обещание и разрушить мифы, искажающие его образ.

Но трудно решить, с чего начать, — так их много.

Начну с мифа о дружбе Адамовича с Блоком. Никакой дружбы между ними не существовало, о чем в своих «Комментариях» писал сам Адамович. Но несмотря на это, его продолжали называть даже в печати другом Блока. А на самом деле он с ним почти не был знаком и ни разу в жизни с ним не разговаривал. Миф этот был основан на единственном письме Блока, в ответ на посылку Адамовичем ему своего первого сборника «Облака», с довольно отрицательным отзывом и советом: «Раскачнитесь сильнее на качелях жизни!»

Фразу эту Адамович часто повторял, прибавляя с комическим вздохом:

— К сожалению, я совету Блока последовал. И сами знаете, каковы были результаты.

Вот из этого «Раскачнитесь сильнее на качелях жизни!» и возник миф о дружбе Адамовича с Блоком.

Второй миф. О последних годах Адамовича. Они якобы были очень тяжелы. Он сильно нуждался и страдал от одиночества. Жил чуть ли не впроголодь, покинутый, почти в нищете, слегка позолоченной общим признанием. Тогда как, напротив, последние его годы были одними из самых благополучных в его жизни. Он жил



именно так, как сам хотел, — в «одиночестве и свободе».

Он по своей воле покинул университет в Манчестере, надоевший ему до чертиков и даже еще больше, как он говорил, несмотря на то что его настойчиво и горячо упрашивали продолжать читать в нем лекции и соблазняли чуть ли не вдвойне увеличенным окладом. Но он остался непоколебимым.

— А жить-то когда? — спрашивал он, разводя руками. — Я хочу наслаждаться оставшимися мне днями по-своему.

И, действительно, зажил именно так, как хотел, — в двух комнатах для прислуги, что главным образом и послужило основанием для этого мифа.

Но комнаты эти находились почти на самых Елисейских полях, и Адамовичу не раз предлагали сменять их на комфортабельную квартиру в более скромном районе, о чем он и слышать не хотел. Он был чрезвычайно привязан к ним. Настолько, что, вернувшись из Нью-Йорка, где жил по приглашению одного своего приятеля в очень комфортабельном отеле, он призвался мне: «До чего приятно вернуться в свой угол! Нигде я лучше себя не чувствую, чем в нем. Я, как кошка (?), привязан к нему, просто люблю его».

Миф о бедности Адамовича. Напротив, он был вполне обеспечен и мог бы, по его же словам, зарабатывать много больше — скриптами для радио «Свобода» и статьями в журналах и газетах.

— Но на что мне столько денег? Я и так впервые чувствую себя буржуем — к моему собственному удивлению. Даже обзавелся банковским счетом. Каждый раз, когда выписываю чек, спрашиваю себя: «Маргарита, ты ли это?» Не верится, да и только. Ведь я постоянно находился накануне катастрофы, «страшной бездны на краю» — из-за карт. А теперь, в особенности после инфаркта, — ни карт, ни рулетки. Тишь да гладь — Божья благодать. Но — «О, как все это я любил».

Покинутым он также совсем не был. Даже напротив. Он не раз жаловался мне на переизбыток дружеских забот и приглашений. А ходить в гости так утомительно. Вот телефонные разговоры — дело другое. По телефону он мог говорить часами и ежедневно вел бесконечные беседы с целым рядом знакомых. На меня он даже обижался: «Отчего вы так редко мне звоните?»

И еще один, пожалуй, самый нелепый миф — будто Адамовича очень мучила совесть оттого, что он проиграл в карты деньги, вырученные от продажи виллы в Ницце, принадлежавшей его матери. Эта вилла якобы

была всем тем, что осталось от ее бывшего богатства, и, проиграв ее, он обрек свою мать на бедность. И этого он никак не мог себе простить, так как боготворил свою мать.

Но никакой виллы, как и никакого богатства, у его матери и в помине не было. Отец Адамовича был «тюремным генералом», то есть не то директором тюрьмы, не то управляющим ее в генеральском чине. Он рано умер, оставив жене и четырем детям всего лишь скудную пенсию. Адамович, чтобы помочь матери сводить концы с концами и поддерживать известный «стэндинг»<sup>1</sup>, еще гимназистом давал уроки, а студентом ездил «на кондиции»<sup>2</sup> летом — «обучать оболтусов».

В эмиграции его мать и его незамужняя сестра жили в Ницце у тетки Адамовича, очень чопорной и властной вдовы английского миллионера. К ней на все каникулы ездил и Адамович. Вот эта тетка действительно продала свою роскошную виллу-дворец. Но само собой разумеется, к этой продаже Адамович ровно никакого отношения не имел. А миф о проигрыше родился из той — уже не трагической, а скорее трагикомической — истории, которую я рассказала. Сам Адамович вспоминал ее со смехом.

\* \* \*

Если бы меня спросили, кого из встреченных в моей жизни людей я считаю самым замечательным, мне было бы трудно ответить — слишком их было много.

Но я твердо знаю, что Георгий Иванов был одним из самых замечательных из них.

В нем было что-то совсем особенное, не поддающееся определению, почти таинственное, что-то — не нахожу другого слова — от четвертого измерения. Мне он часто казался не только странным, но даже загадочным, и я, несмотря на всю нашу душевную и умственную близость, становилась в тупик, не в состоянии понять его, до того он был сложен и многогранен. В нем уживались самые противоположные, взаимоуничтожающие достоинства и недостатки. Он был очень добр, но часто мог производить впечатление злого и даже ядовитого из-за насмешливого отношения к окружающим и своего «убийственного остроумия», как говорили в Петер-

---

<sup>1</sup> положение, вес в обществе (от *англ.* standing).

<sup>2</sup> быть в услужении (от *фр.* être en condition).

бурге. Гумилев советовал мне, когда я еще только мечтала о поэтической карьере: «Постарайтесь понравиться Георгию Иванову. Он губит репутации одним своим метким замечанием, пристающим раз и навсегда, как ярлык».

Зинаида Гиппиус уверяла, что в нем таятся метафизические прозрения и глубины и невероятная легкость мыслей, что она особенно ценила. Она же называла и считала его «идеалом поэта — поэтом в химически чистом виде».

С тем, что Георгий Иванов был «поэтом в химически чистом виде», я вполне согласна. Ни один из известных мне поэтов, даже Блок или Мандельштам, не воплощал так полно и явственно стихию поэзии, как он. Никто из них не был так орфеичен. Он действительно был абсолютным воплощением поэта.

Но он старался скрыть от чужих глаз это и казаться совсем не тем, чем он был, создавая свой «портрет без сходства» и забавляясь тем, что ему это ловко удастся. Только очень немногие близкие ему знали его таким, каким он был в действительности.

Большинство поэтов долго учатся поэтическому ремеслу. Но Георгий Иванов никогда ему не учился. Оно было дано ему с самого детства. Ни в рифмах, ни в размерах он никогда не ошибался, у него был абсолютный поэтический слух.

Стихи давались ему невероятно легко, как будто падали с неба законченными. По известной формуле Теодора де Банвиля, «стихи — то, что совершенно и не требует исправления». Именно такими и были стихи Георгия Иванова. Они не требовали исправления. Он, впрочем, и не стал бы их исправлять. Стихи были для него своего рода живыми существами. Он считал, что они должны оставаться такими, какими родились, что невозможно «производить над ними операции и вивисекции», как он говорил. Они «появлялись вот так, из ничего», почти мгновенно.

Возвращаясь домой после недолгого отсутствия, он часто приносил с собой два-три стихотворения, сочиненные им по дороге. Многие из стихов «Дневника» такого происхождения, то есть сочинены им на ходу.

Друг друга отражают зеркала,  
Взаимно искажая отраженья —

было сочинено им во время приготовления обеда. Одна-

жды, сидя со мной за утренним чаем и ведя самый незначительный разговор, он вдруг прервал самого себя на полупhrase:

— Постой, постой, подожди... — задумался на минуту: — Вот я сейчас сочинил. Послушай!

Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу.  
Как далеко до завтрашнего дня!..  
И Лермонтов один выходит на дорогу,  
Серебряными шпорами звеня.

Я почувствовала дрожь в груди и закрыла глаза от волнения. То, что эти гениальные стихи были созданы здесь, при мне, мгновенно, казалось мне чудом. А он, не понимая моего волнения, спокойно рассказал мне, что только что, бреясь в ванной, он сочинил начало стихотворения «Мелодия становится цветком» и сейчас, размешивая сахар в чашке, досочинил его конец.

Он совсем не понимал, не отдавал себе отчета, что эти стихи — одна из вершин русской поэзии XX века.

Музыка, мелодия стихов были его стихией — в них воплощались «звуки небес», главное в поэзии.

Один знакомый мне антропософ рассказывал, что приехавшая в Париж шведка-антропософка, занимавшаяся эвритмией и не знавшая русского языка, прослушала ряд стихов русских поэтов от Пушкина до наших дней и выбрала из всех поэтов — по звуковому и мелодийному совершенству — только стихи Лермонтова и Георгия Иванова.

Но вот один из ученейших и почтеннейших литературоведов считает Георгия Иванова «стихотворцем, а не поэтом». Он же предполагает, что у Георгия Иванова была своего рода стихотворная лаборатория, в которой он усердно, тщательно и умело работал, дозируя душистые масла и ювелирно отделывая каждую свою строку.

Миф о стихотворчестве Георгия Иванова отнюдь не единственный. Чего только не выдумывали о нем не только как о поэте и человеке — но даже о его внешности. Пальма первенства во всех этих мифах принадлежит автору, среди несусветной чепухи и карикатурного изображения Георгия Иванова «объяснившему», что «он шепелявил от полного отсутствия зубов». У Георгия Иванова как раз были на редкость великолепные зубы — в шестьдесят три года у него даже не было ни одного запломбированного зуба.

Меня упрекали многие поклонники Георгия Иванова в том, что я уделила так мало места ему в «На берегах

Невы». И они совершенно правы. Но это только оттого, что я боялась — да и теперь еще боюсь — не быть в состоянии написать о нем так, как он того достоин, и заставить читателей «увидеть» его и понять, каким он был изумительным поэтом и человеком.

О Георгии Иванове я услышала впервые осенью 1919 года в Студии на лекции Гумилева о трехстопных размерах.

Гумилев изобрел — для запоминания их — свою систему, основанную на именах поэтов: дактиль — удар на первой стопе — Анна Ахматова, анапест — удар на третьей стопе — Николай Гумилев, амфибрахий — удар на второй стопе — Георгий Иванов.

Но кто такой этот амфибрахийный Георгий Иванов, я понятия не имею.

Я толкаю локтем своего соседа по парте:

— А вы слышали о Георгии Иванове?

Он кивает:

— Еще бы! Георгий Иванов — член Цеха поэтов, сотрудник «Аполлона». Автор «Вереска». В «Лукоморье» косяками печатались его военные стихи. Его даже прозвали «маститый лукоморец».

Вот он какой известный, этот амфибрахийный Георгий Иванов! Я не знала. Так вот же он какой!

Надо хорошенько запомнить его имя, не путать его с Вячеславом Ивановым — стихов его я тоже не читала. Амфибрахий — Георгий Иванов. Георгий, а не Вячеслав Иванов.

В том, что я никогда не слыхала о Георгии Иванове, я не решаюсь сознаться Гумилеву.

А через несколько дней — я возвращалась из Студии вместе с ним, — мы живем по соседству, он на Преображенской, 5, я на Бассейной, 60, — передо мной промелькнул, как видение, этот самый амфибрахийный Георгий Иванов. Он несется во всю прыть по противоположному тротуару. Увидев Гумилева, он, не останавливаясь, кричит: «Николай Степаныч! Прости, — лечу! спешу!» — и срывает с головы клетчатую, похожую на жокейскую, шапочку. Под ней челка, спускающаяся до резко очерченных бровей. Я успеваю заметить еще удивительные белые зубы, удивительно красный рот на удивительно белом лице и то, что он высокий и тонкий. Гумилев машет ему вслед рукой, улыбаясь:

— Ночевать тебе, Жоржик, в милиции! — И, повер-

нувшись ко мне: — Сумасшедший! Ведь ему на Каменноостровский, а комендантский час начинается через десять минут. Захлопают милиционеры когда-нибудь.

— Кто это? — спрашиваю я.

Гумилев удивлен:

— Как! Вы никогда не видели Жоржика Иванова?

— Неужели это Георгий Иванов? Я думала — он старый, с бородой, раз его называют «маститый лукоморец», а он...

— А он молодой и с челкой, — перебивает меня Гумилев. — Самый молодой член Цеха. И самый остроумный. Даже остроумнее Михаила Леонидовича Лозинского. Язык у него, как бритва. Чик, голова долой! Непременно старайтесь ему понравиться. Его называют «общественное мнение». Он создает и губит репутации.

Слушая рассказ Гумилева о Георгии Иванове, я дохожу до моего дома. И уже надо прощаться, что меня всегда немного огорчает.

Нет, это первое «видение» Георгия Иванова не произвело на меня должного впечатления, как и вскоре состоявшееся полузнакомство с ним, когда он зашел в Студию к Гумилеву. Я, робея, спряталась за спины других учеников Гумилева. Раз он такой насмешливый, он, наверное, этот Георгий Иванов, высмеет и мой бант, и мою картавость, и мои веснушки.

Потом было еще несколько мимолетных, незначительных встреч в Студии и в Доме литераторов. Он мне не очень нравился. Он, по моим тогдашним понятиям, скорее походил на одного из товарищей моего двоюродного брата-правоведа: подчеркнуто элегантный, с лощеными манерами и снобическим выговором, вернее, нарочитым невыговором некоторых букв. Не такими должны быть поэты. Впрочем, и остальные поэты все — кроме Ахматовой и Блока — кажутся мне «не такими». Как девочка в анекдоте, могу сказать — я видела льва, но он не похож. Все поэты «не похожи», включая и Гумилева, каждый по-своему. С этим мне надо примириться.

Так прошла зима, не внесшая изменений в мои отношения с Георгием Ивановым. Однажды все-таки Гумилев сообщил мне как о чем-то очень приятном: «А вы нравитесь Жоржику Иванову. Но не надейтесь. Он ленивый и невлюбчивый мальчик — ухаживать за вами он не станет». Это мне, кстати, было

совершенно безразлично. Лишь бы он не издевался надо мной.

И вдруг негаданно-нежданно этот самый Жоржик Иванов сыграл огромную роль в моей тогдашней жизни, произведя в ней настоящий переворот.

Об этом я подробно рассказываю в книге «На берегах Невы». А здесь вкратце: случилось это 30 апреля двадцатого года, «прием-раут» на квартире Гумилева в честь прибывшего в Петербург Андрея Белого. На нем состоялся «смотр молодых поэтов» — Оцупа, Рождественского и меня. Я, впрочем, не в пример им двоим, еще студистка и только мечтаю стать молодым поэтом. То, что я участвую в «смотре», наполняет меня гордостью. Мы все трое читаем перед Белым свои стихи, явно не произведшие на него ни малейшего впечатления, хотя он и рассыпается в безграничных похвалах и восторгах перед каждым из нас.

Георгий Иванов опоздал на «смотр» и пришел только к «торжеству чаепития». Гумилев специально для него предложил продолжить «смотр».

Но Георгию Иванову хорошо известны стихи Оцупа и Рождественского. Все же, чтобы не огорчать хлебосольного хозяина, непременно желающего угостить его «смотром», он соглашается прослушать меня:

— Твою ученицу я еще никогда не слышал.

Гумилев, скрывая недовольство, кивает мне:

— Тогда читайте вы одна!

Но я так смущаюсь, что не знаю, что читать, и растерянно моргаю. В голове моей пусто. Гумилев нетерпеливо ждет.

— Все равно что! У вас ведь так много стихов.

Но я продолжаю моргать и молчать, и он уже явно начинает раздражаться.

— Ну, хотя бы эту вашу, как ее там? — «Балладу», если ничего не помните. Хотите, я вам ее принесу?

Чтобы я прочла балладу? Но ведь он забраковал ее еще в октябре, когда я ее сочинила, переписала и принесла ему. Он тогда заявил, что хоть она и «вполне недурна», но никому в наши дни не нужна: современный читатель требует лирики, а не эпоса и не выносит стихотворений больше чем в семь строф, а вы сколько строф здесь нагородили!

Он тогда же спрятал ее в толстую папку с надписью «Братская могила неудачников» и больше о ней, к моему огорчению, никогда не вспоминал.

Почему же он теперь, будто желая пригвоздить меня к позорному столбу, заставляет меня читать мою злосчастную балладу?

— Хотите, я вам принесу ее? — снова нетерпеливо спрашивает он.

Я чувствую, что гибну, иду на дно отчаяния, но все же отвечаю:

— Нет. Я помню ее наизусть. Не надо, — и, встав — мы всегда читаем стихи стоя, — начинаю:

### БАЛЛАДА О ТОЛЧЕНОМ СТЕКЛЕ

Солдат пришел к себе домой,  
Считает барыши.  
«Ну, будем сыты мы с тобой,  
И мы, и малыши!  
Семь тысяч! Целый капитал!  
Мне здорово везло —  
Сегодня в соль я подмешал  
Толченое стекло».

Я отчетливо произношу каждое слово, и мой голос не дрожит. Я так переволновалась, так боюсь этого безжалостного Георгия Иванова, который не может не высмеять балладу и ее автора, что меня охватывает, на меня снисходит покой, похожий на летаргический сон, — волноваться уже незачем, все равно я навеки опозорена. Я умерла — «мертвые сраму не имут».

И тут вдруг происходит самое невероятное событие во всей моей молодой жизни. Георгий Иванов провозглашает мою балладу «литературным событием», «новым словом в поэзии» — он, всегда такой насмешливый и холодный, клоочет, как самовар:

— Современная баллада — как раз то, что сейчас нужно! Я ей предсказываю огромное будущее на десятилетия! Это замечательно.

Гумилев кивает, не споря, сразу переменив свое мнение:

— Ты прав, Жоржик... это замечательно!

Я слушаю, не совсем понимая. Неужели это обо мне?..

А через три дня на своей публичной лекции в зале под Думской каланчой Чуковский в присутствии громадной толпы слушателей кланяется мне, «сгибаясь пополам», и произносит громогласно:

— Одоевцева! Я в восторге от вашей чудесной баллады!

И все видят, все слышат.

С этого вечера я, по моему хотению, по щучьему велению, из никому неведомой студистки превратилась



не только в «известного молодого поэта» — слово «поэтесса» считалось у нас «пежоративным»<sup>1</sup>, а в «надежду русской поэзии», и моя «Баллада о толченом стекле» в десятках рукописных экземпляров стала ходить по Петербургу.

Этим я обязана Георгию Иванову. Без него, по всей вероятности, моя баллада никогда не увидела бы света и так бы и осталась в «Братской могиле неудачников» на дне ящика письменного стола Гумилева.

Как ни странно, я не была Георгию Иванову особенно благодарна и посвятила «Балладу о толченом стекле» не ему, а Чуковскому. Наши отношения не изменились, хотя мы теперь и разговаривали при встречах. Я перестала бояться его злого языка и нашла нужным познакомиться с его «Вереском», но мне его стихи, за исключением «Горлинка пела, а я не слушал», не особенно нравились. Они казались мне лишенными содержания, слишком декоративными и слишком музыкальными. Слишком «*de la musique, avant toute chose*»<sup>2</sup>, как мы говорили тогда.

Осенью того же 1920 года я зашла к Гумилеву проститься накануне моего отъезда на Званку, где служил, «электрифицируя» ее, один из моих двоюродных братьев.

Гумилев в тот вечер встретил меня в совершенно не свойственном ему волнении. Только что к нему приходил Георгий Иванов и принес свой перевод «Кристабели» Кольриджа.

— Я просто потрясен. Это замечательно, чудесно, — говорит он. — Нет, вы только послушайте!..

И, не ожидая моего согласия «послушать», начинает читать мне целую лекцию. Оказывается, «Кристабель» написана размером англосаксонского эпоса XVI века. Перевести ее по-русски невероятно трудно, почти невозможно. А Георгий Иванов не только изумительно передал совершенно необычайный для русского языка ритм и размер, но и все звуковые эффекты.

— Это просто чудо! — повторяет Гумилев.

Я не протестую, хотя я и не интересуюсь ничьими переводами. Сама я никогда ничего не перевожу и в Студии даже не посещаю семинаров великолепного переводчика Лозинского. А сейчас мне, к тому же, хочется вести «задушевный разговор» о предстоящей разлуке на «целую» неделю и слушать уверения Гумилева в том,

---

<sup>1</sup> уничижительным, пренебрежительным (от *фр.* pejoratif).

<sup>2</sup> «музыка прежде всего» (*фр.*).

что он будет скучать по мне, и его уговоры вернуться скорее.

На письменном столе лежит очень толстая рукопись. Неужели мне придется ее всю прослушать? Но делать нечего. Я, вздохнув, сажусь на диван, готовая проскучать, сколько надо будет, а он начинает читать все так же взволнованно.

Но по мере того, как я его нехотя слушаю, я чувствую, что его волнение передается и мне, и вот я уже всецело поглощена и очарована. Я не читала «Кристабели» по-английски, но сейчас в русском переводе она меня потрясает. Я жадно слушаю до самого конца и уже ни о чем, кроме нее и «чуда этого перевода», не могу говорить. Даже забываю о предстоящей разлуке с Гумилевым.

На следующий день я уехала в «званскую жизнь», как я называла пребывания на Званке.

Правда, моя «званская жизнь» ничем не напоминала «званскую жизнь» Державина — ни великолепием и пышностью, ни гастрономическими утонченностями и изобилием. Но то, что Державин так любил Званку, придавало ей для меня совсем особую прелесть, окрашенную поэтичностью.

Была осень. Мой двоюродный брат, как всегда, пропадал с утра до вечера на работе. Я, предоставленная самой себе, одиноко бродила по «в багрец и золото» одетому лесу, не в состоянии отделаться от воспоминаний о «Кристабели». Меня преследовали запавшие мне в память строки перевода Георгия Иванова.

Стоя на берегу Волхова, я декламировала их, прислушиваясь к звукам своего голоса, смешанного с шорохом золотого листопада, и вздохам осеннего ветра:

Хотя полнолуние, но луна  
Мала за тучей и темна,  
Ночь холодна, сер небосвод.  
Еще через месяц — маю черед,  
Так медленно весна идет...

В сумерках в лесу становилось таинственно и жутко. Мне казалось, что между деревьями мелькают тени Кристабели и Джеральдины. Где-то над моей головой в темных ветвях истошно вопила выпь, и вопли ее напоминали пророческий вой старой суки лорда Леоляйна. В блаженном ознобе я выбегала из леса и стрелой летела в деревню, в избу, где меня ждали ужин и ночлег.

Так, еще более прелестно, чем всегда, проходила на этот раз моя «званская жизнь», как будто я оторвалась от будничной повседневности. Я чувствовала, что мне необходимо написать что-то. Но я совсем не знала, что именно. Однажды утром вместо того, чтобы идти в лес, я достала из своего чемодана карандаш и бумагу и, сев за стол, написала на белом листе, сразу, без помарок:

К жабе прилетает летучая мышь  
Говорить о том, что ночь страшна  
Оттого, что мертва луна.  
— Пресвятая Дева, помилуй нас,  
Добрый сон бежит от испуганных глаз,  
А дурного не надо сна...

Я с изумлением смотрю на то, что я написала. Что это значит? О чем это? В голове моей кружатся какие-то слова и образы, какие-то обрывки мыслей.

И вот понемногу они начинают складываться во что-то похожее на содержание, запутанное, смутное, но все же содержание. Я долго сижу в раздумье, перед тем как снова начать писать:

Далеко в темный лес заехал граф,  
Преследовал вепря он.  
Пред ним душистое море трав  
И старые сосны со всех сторон,  
А вепря исчез и след...

Но теперь я знаю, о чем пишу. И пишу не отрываясь. Это какой-то запутанный, таинственный миф о луне, превращающейся то в рысь, то в прелестную деву. Он сложился в моей голове, когда я, думая о Кристабели, бродила одна в лесу. Нет — я не совсем уверена, что он сложился в моей голове. Возможно, что я когда-то, еще в детстве, слышала его, и он теперь, под наплывом вдохновения превратившись в звуки рифмы и ритма, воскрес в моей памяти.

Я пишу так до вечера и весь следующий день напролет, торопливо, почти без исправлений, так, как я — ученица Гумилева, привыкшая обрабатывать и оттачивать каждую строку, — никогда еще не писала.

Мне даже кажется, что пишу не я и не я автор этой «Поэмы о Луне», как я окрестила ее. Она — подражание «Кристобели». Нет, не подражание, а отголосок «Кристобели» в русском переводе Георгия Иванова.

Мне моя «Поэма о Луне» кажется очаровательной. Я уверена, что она очарует всех. Не может не очаровать и не восхитить всех.

И хотя этому трудно теперь поверить, она действительно очаровала и восхитила всех. Всех, исключая Георгия Иванова, насмешливо заявившего, прочитав ее: — Вот и моя Кристабель яичко снесла, до чего романтическое яичко!

«Поэма о Луне» была сразу же напечатана во втором номере «Дома Искусства» по желанию самого Горького, прослезившегося, слушая ее, о чем мне сообщил Чуковский, объяснивший, что у Горького «глаза на мокром месте». Горький же потребовал, чтобы Добужинский нарисовал к «Поэме о Луне» заставки, что тоже было небывалой честью для молодого, пусть даже уже прославленного, но еще никогда нигде не печатавшегося автора.

Я в те дни уже постоянно выступала на поэтических вечерах с моей «Балладой о толченом стекле», теперь же слушатели неизменно требовали и «Поэму о Луне».

Этим незаслуженным успехом я обязана Георгию Иванову, то есть его переводу «Кристалели», родившей мою «Поэму о Луне». «Кристабель» способствовала и тому, что я стала смотреть на Георгия Иванова совсем другими глазами и не понимала, как он когда-то мог мне не нравиться.

Я вышла замуж за Георгия Иванова 10 сентября 1921 года и прожила с ним до самого дня его смерти тридцать семь лет.

Наша жизнь с ним мало походила на то, что принято называть супружеской жизнью.

Мне всегда казалось, что, как в стихах Адамовича, —

Реял над нами  
Какой-то особенный свет,  
Какое-то легкое пламя,  
Которому имени нет.

Мне казалось, что мы живем на пороге в иной мир, в который Георгий Иванов иногда приоткрывает дверь, живем как будто в двух планах одновременно — «здесь и там».

Притом «там» для него, а иногда и для меня, было не менее реально, чем «здесь».

Но вижу, что для того, чтобы быть в состоянии хоть

приблизительно описать Георгия Иванова и нашу жизнь с ним, мне необходимо давать его биографию.

Я всегда тщательно избегала писать биографии. Я считала это скучным, «мертвым делом» — не для меня. Но теперь вот — ничего не поделаешь — приходится.

Георгий Иванов родился 29 октября 1894 года...

Нет, настоящая классическая биография начинается не с рождения данного человека, а гораздо раньше. Надо нырнуть в прошлое, к его истокам, в его предысторию и потревожить тени его родителей рассказом о том, кем они были.

Итак: отец Георгия Иванова происходил из полоцких дворян, ни родовитостью, ни богатством не отличавшихся. Отец, дед и прадед его были военными, и он, естественно, последовал их примеру. Окончив Павловское училище, он вышел в III Гвардейскую артиллерийскую бригаду — из пехотного училища в артиллерию. Это удалось ему лишь оттого, что его имя красовалось на золотой доске Павловского училища.

Проделав восточную войну, он не сразу вернулся в Варшаву, где стояла III артиллерийская бригада, а был причислен к Гвардейскому сводному полку, состоявшему при Александре Баттенбергском (в то время болгарском короле) и последовавшему за ним в Болгарию, где отец Георгия Иванова, как и А.А. Мосолов, стал флигель-адъютантом (это там называлось как-то иначе) Александра Баттенбергского.

Незадолго до войны он женился на только что окончившей институт баронессе Вере Бир-Брау-Браурер ван Бренштейн. Она, впрочем, звалась просто Бренштейн.

Она происходила из голландской древней родовой семьи, насчитывавшей среди своих предков крестоносцев. Один из баронов Бир ван Бренштейн триста лет тому назад переселился из Голландии в Польшу и вскоре перебрался в Россию, где поступил на военную службу.

Все его потомки, так и остававшиеся в России, были военными.

Мать Георгия Иванова, очень красивая и светская, блистала при дворе Александра Баттенбергского и заняла без интриг и борьбы первое место среди «придворных дам», не оспаривавших его у нее.

В Болгарии жизнь русских, окружавших Александра Баттенбергского, превратилась в непрерывный празд-

ник. Приемы, балы, театральные представления сменяли друг друга, как и всевозможные развлечения.

На великолепных лошадях кавалькадами носились по Балканам над пропастями, соперничая в ловкости и бесстрашии, не только офицеры, но и их жены в амазонках и маленьких цилиндрах с длинными развевающимися вуалями. И здесь тоже мать Георгия Иванова была первой, поражая всех своей смелостью и грацией.

Так, не предвидя конца этому вечному празднику, родители Георгия Иванова прожили целых семь лет — до падения Александра Баттенбергского.

Отец Георгия Иванова не без удовольствия вернулся после такого долгого отсутствия в свой полк и ревностно преданся службе. Но жена его никак не могла примириться с новыми условиями жизни. Она, привыкшая переодеваться по нескольку раз в день в выписанные из Парижа платья, веселиться с утра до вечера и танцевать ночи напролет, томилась и скучала, к тому же денег было в обрез — их нельзя было тратить, как она привыкла, не считая. Приходилось экономить, что возмущало ее.

Так буднично и тускло тянулась для нее жизнь в Варшаве, ничем не напоминая волшебные годы, проведенные в Болгарии.

И вдруг все переменялось. Умерла сестра отца Георгия Иванова — княгиня Багратион-Мухранская — и оставила ему по завещанию все свое огромное состояние. Ему одному, хотя, кроме него, у нее были еще три брата.

О намерении сделать любимого брата своим единственным наследником она никому не сообщала, и вскрытие завещания у нотариуса произвело впечатление взорвавшейся бомбы. Братья потребовали раздела наследства. Но об этом мать Георгия Иванова и слушать не хотела, заявив им, что воля умершего священна и нарушать ее смертный грех. Произошел скандал, окончившийся разрывом.

Отцу Георгия Иванова, пораженному смертью любимой сестры, это с неба свалившееся богатство, да еще вызвавшее ненависть братьев, не принесло радости. Скорее, даже напротив. Все же он, с огорчением покинув свой полк и выйдя в отставку в чине полковника, решил стать образцовым помещиком и принялся хозяйничать в своих имениях.

Зато мать Георгия Иванова была на седьмом небе. Теперь она могла устроить у себя вечный праздник. Что она и не преминула сделать.

Гумилев утверждал, что у поэта обязательно должно

быть или очень счастливым, или, напротив, — очень несчастное детство, одинаково — по его мнению — открывающее пути в поэзию.

Если это действительно так, — в чем я, впрочем, сомневаюсь, — Георгий Иванов двойным образом был предназначен стать поэтом — детство его было и необычайно счастливым, и необычайно несчастным.

Родился он, как я уже говорила, 29 октября 1894 года и все свои первые годы провел в Студенках. Имение Студенки его отец купил у своего товарища по полку князя Сейн-Вингенштейна по его настойчивой просьбе.

Имение это находилось на границе Польши и подлежало, по вышедшему тогда закону, «отчуждению», то есть могло принадлежать только русскому подданному. Сейн-Вингенштейн, по-видимому, не был русским подданным. Продал он его более чем по сходной цене отцу Георгия Иванова оттого, что не желал, чтобы в его родных, страстно любимых Студенках жили неизвестные ему люди.

Студенки действительно были восхитительны и славились по всей округе своей красотой. Они мало походили на русские имения и казались каким-то чудом, перенесенным сюда из Италии.

Поэт Мицкевич, посетивший их когда-то, посвятил им стихи, начинавшиеся — в русском переводе —

Ева потеряла рай,  
Но нашла его снова в Студенках.

В этом «найденном Евою рае» и прошли райские годы детства Георгия Иванова, Юрочки, как его звали. Он был младшим в семье — сестра его Наташа, на пятнадцать лет старше его, главным образом и занималась им, никогда не браня и предоставляя ему абсолютную свободу во всем. Были у него, конечно, и нянька, и учитель, когда он подросток, но и они ничем не докучали ему.

В студенском парке было много прудов, и на самом большом из них — остров. Этот остров принадлежал Юрочке. Отец, не чаявший в нем души, не только подарил ему остров, но даже выстроил на нем крепость — Юрочкин Форт.

Было у него и собственное потешное войско из дворовых мальчишек и даже собственный флот — большой игрушечный крейсер, плавающий по пруду.

Был у него и шотландский пони, на котором он,

вооруженный пикой с картонным щитом, гарцевал по парку, воображая себя рыцарем.

Мать Георгия Иванова — страстная меломанка, поклонница певцов — баритонов, а не теноров, что тогда было в моде, — всячески старалась заманить их к себе и гордилась их присутствием, когда это удавалось, и они проводили целые месяцы в Студенках. Особенно часто приезжал Камионский, приводивший Юрочку в восторг арией тореадора.

Гостей, кроме знаменитых баритонов, было очень много. Большинство из них приезжало на все лето. Тут были и друзья по Болгарии, и семьи артиллеристов — сослуживцев отца Юрочки, и приятели и приятельницы старших детей, часто наезжали и офицеры полка, стоявшего в ближайшем городе.

Жили шумно и весело с постоянными выездами, пикниками, фейерверками и домашними концертами. Отец Юрочки, с утра до вечера занятый хозяйством, не принимал участия в этих непрерывных удовольствиях, но ничем не мешал им.

Жизнь взрослых мало касалась Юрочки. Он проводил время так, как ему хотелось, в полной свободе, без обычных детских обид и огорчений. Так, за обедом и завтраком никто не приказывал ему: «Ешь суп! Ешь шпинат! Не встанешь, пока не съешь!..» Он сидел в конце стола за скрывающей его вазой с пышным букетом и лукулловски пировал, объедаясь тем, чего обыкновенно не дают детям. Подававший за столом лакей был с ним в стачке и накладывал ему огромные порции того, что Юрочка любил, и молча обносил его остальными блюдами.

Такой режим, противоречивший всем правилам детского питания, не мог, казалось бы, не причинить ему вреда. Но Юрочка никогда не хворал. Даже в отношении здоровья судьба — в раннем детстве — была к нему на редкость добра и милостива.

Художественные вкусы развились в нем очень рано. Этому, возможно, способствовала окружавшая его красота — и парка, и дома, великолепно, с большим вкусом обставленного Сейн-Вингенштейнами.

На закате, когда взрослые или гуляли, или играли в крокет и дом пустел, Юрочка пробирался в «музейную» гостиную, где стены были сплошь увешаны картинами, усаживался с ногами в большое кресло и начинал наблюдать за тем, как меняются картины, как закатные лучи таинственно преображают их. Сердце его радостно замирало. Он переводил взгляд с одной картины на другую, восхищаясь ими.



Особенно ему нравился — за безудержную яркость красок — экзотический пейзаж с пальмами и пестрыми попугаями. Тогда он еще не знал, что это картина Гогена. Он смотрел на нее не отрываясь, и ему казалось, что пальмы начинают приветливо и ласково махать ему своими длинными, блестящими листьями и попугаи расправляют крылья, готовясь сорваться с полотна. Вот-вот они сейчас с криком вылетят к нему. Вот-вот сейчас они оживут.

Он ждал их, глядя на них во все глаза. Но веки его тяжелели и в конце концов закрывались. Он засыпал и спал до тех пор, пока лакей, приходивший зажигать керосиновые лампы в гостиной, не находил его свернувшимся калачиком в кресле, не уносил его в детскую и не передавал с рук на руки няне, укладывавшей его в постель.

Иногда, правда, довольно редко, его мать, проснувшись утром, вдруг вспоминала о своем маленьком сыне и посылала горничную за ним, чтобы вместе с ним выпить утренний шоколад, и тут становилась очень ласковой и нежной — «настоящей мамой», сажала его к себе, расчесывала его локоны и, целуя его, со смехом повторыла: «Как это я могла создать такую прелесть?» — Юрочка действительно был очень красивым ребенком — темноглазым, с длинными золотыми локонами и ярко-красным ротиком. Впоследствии от всей его детской красоты остался лишь ярко-красный рот, ставший к тому же чрезмерно большим и до того ярко-красным, что многим казался подкрашенным.

Повозившись и поиграв с ним, как с куклой, мать вдруг решительно ссаживала его на пол: «Ну, довольно! Беги, Юрочка!» — и, встав с постели, поспешно уходила в сопровождении горничной в соседнюю комнату. Вход в эту комнату был ему раз навсегда строго-настроено запрещен. Оставшись один, он еще долго стоял перед дверью, спрашивая себя, что там происходит? Почему нельзя туда?

Он знал много сказок, в том числе и сказку о Синей Бороде. Ему непременно, как жене Синей Бороды, хотелось побывать там, узнать, что происходит в ней.

И вот однажды, когда все взрослые, в том числе и Наташа, уехали на очередной пикник, он решился на героический шаг — проникнуть в запретную, таинственную комнату. Дрожа и замирая от страха, он взялся за ручку заветной двери. А вдруг она заперта? Но дверь легко поддавалась и приоткрылась, и он увидел большую комнату со шкафами и множеством зеркал, отражавших

друг друга и наполнявших ее блеском. Больше ничего. Но страх не проходил, а еще сильнее сдавливал ему горло. Ему захотелось бежать, но он, преодолевая страх, заставил себя, шепча «Помяни, Господи, Царя Давида и всю кротость его!», войти в нее и остановился в полной растерянности. И вдруг ему показалось, что кто-то толкнул его в спину. Одно из зеркал растворилось перед ним, и он шагнул в него, холодея от ужаса, и пошел по длинному, сияющему коридору. Он чувствовал, что с каждым шагом растворяется в этом сиянии и блеске, что он уже не может вернуться, и все-таки продолжал идти...

Очнулся он только от шума экипажей, возвращавшихся с пикника, и, не понимая, что с ним случилось, бросился бежать вон из комнаты, скатился с лестницы и помчался в глубь парка, где спрятался между цветущими жасминовыми кустами.

Он слышал, как Наташа звала его, но не откликнулся. И вдруг заплакал, сам не зная отчего. Он чувствовал, что с ним случилось что-то невероятное, но что об этом нельзя никому говорить, даже Наташе. Но если бы об этом и можно было говорить, сказать ему было нечего. Это было и страшно, и прекрасно. Но что это было, он не знал. Не помнил. Он вошел в зеркало. А что было дальше?

Об этом своем детском зеркальном приключении Георгий Иванов рассказал мне уже в Париже, в тот вечер, когда он написал, вернее, изустно сочинил, готовя обед, свое стихотворение «Друг друга отражают зеркала».

— Знаешь, это тогда я впервые почувствовал что-то, похожее на вдохновение, — рассказывал он мне, — я лежал на траве и сквозь душистые жасминовые ветки смотрел в небо на звезды и совсем не понимал, что со мной происходит. Сердце мое как-то особенно легко и звонко билось. Мне было грустно и вместе с тем необычайно хорошо. И вот сейчас так ясно вспоминаю все. Точно это было вчера... А тогда, назавтра, все опять пришло в порядок, как будто и не было этого «зеркального приключения». Я его начисто забыл и вспомнил о нем только уже взрослым.

К зеркалам Георгий Иванов относился странно. С опаской, почти враждебно. Проходя мимо зеркала, он отворачивался, не желая увидеть в нем свое отражение.

— Оттого, — объяснял он мне, — что я чаще всего испытываю неприятный шок, когда вижу себя в зеркале с руками, ногами и головой. А мне кажется, что на самом

деле я что-то вроде эллипсиса из тумана и не хожу по земле, а плыву в воздухе.

Это смешило меня:

— Одним словом, ты, по Маяковскому, — «не мужчина, а облако в штанах»...

Но эти разговоры происходили уже через много лет. Пока же Юрочка был все тем же счастливым ребенком. Правда, уже очень ненадолго. Это были его последние счастливые годы, а он и не знал. Он ничего не предчувствовал и совсем не слышал тяжелой поступи надвигающегося рока.

Последняя счастливая зима — зимы обитатели Студенок, как и большинство соседних помещиков, проводили в губернском городе — проходила все так же весело и празднично. Балы, приемы, званые обеды следовали один за другим. И на всех них блистала Юрочкина мать. В свободные от выездов и гостей вечера она неустанно посещала оперу, куда часто брала с собой Юрочку, наряженного в черный бархатный костюм с кружевным воротником, на который падали его золотые локоны.

— Берет тебя с собой, — с негодованием говорила ему Наташа, — для декорации, чтобы оттенить свою собственную темнокудрую красоту. Ты молодишь ее.

Наташа уже успела окончить институт и стать, как тогда говорили, «барышней на выданье». Но мать не только не «вывозила» ее, а, напротив, предпочитала как можно реже появляться с нею в обществе. Она, впрочем, не мешала Наташе веселиться с ее подругами и друзьями, бывать у них, принимать их у себя и не скупилась на ее наряды.

Юрочка очень любил театр. Ему чрезвычайно нравились оперы и музыка и то, что поют, а не говорят. Особенно восхитила его опера «Quo Vadis»<sup>1</sup>. О существовании этой оперы я узнала впервые от Георгия Иванова. Она просто потрясла его, хотя он и не мог разобраться в ее содержании. О чем он, вернувшись домой, поведал Наташе. Она тут же пришла ему на помощь, подарив ему роман Сенкевича под тем же названием. Подарила она ему, так как он очень заинтересовался древним Римом, и детскую мифологию. Мифы очаровали его. Он знал наизусть историю всех богов и богинь. Особенно почитал он Юпитера.

Как-то осенним вечером старший брат Володя показывал ему звезды и называл их.

— Запомни, Юрочка, вот эти семь звезд, похожие на

---

<sup>1</sup> «Камо грядеши» (лат.).

ковшик, — Большая Медведица, а это Орион, а эта вот самая сияющая и яркая — Юпитер.

И он понял, что Юпитер перебрался с Олимпа на эту звезду и теперь живет там. Оттого она и называется его именем. Но об этом он никому, даже Наташе, не говорил.

На масленицу состоялся костюмированный бал у предводителя дворянства. Юрочка, наряженный пажом, сопровождал свою мать, изображавшую королеву. Это был его первый выход в свет. Он робел и волновался, неся ее длинный трен<sup>1</sup>. Но все отлично обошлось. Королева и паж имели большой успех.

Так весело и беспечно проходила эта последняя зима. Ничто не предвещало катастрофу. И все-таки она разразилась.

Началось все с пожара. Дом в Студенках загорелся ночью, в бесснежную бурю. Огонь перекинулся на парк, на хозяйственные постройки и конюшни. Все сгорело дотла. С лошадьми. Сгорела и Юрочкина лошадка — его любимый «Конек-Горбунок», недавно подаренный ему взамен пони. Это было его первое настоящее безутешное детское горе.

Так и не удалось установить, был ли это несчастный случай или поджог.

С пожара все началось, рухнуло, понеслось в безудержном вихре крушения и гибели. Удары и беды сыпались непрерывно. Оказалось, что по недосмотру управляющего срок страховки пропущен. Тут же выяснилось, что денежные дела страшно запутаны и находятся в самом плачевном состоянии. Юрочкин отец, по-видимому, не обладал ни хозяйственными, ни деловыми способностями. Несмотря на его энергию и трудолюбие, все его многочисленные предприятия лопались одно за другим, принося большие убытки.

Удары падали на него, как на многострадального Иова, с чисто библейской беспощадностью. Он, совершенно потеряв голову, пустился, в надежде спасти хоть крохи прежнего состояния, в банковские операции без всякого понятия о сложной биржевой игре. И в результате окончательно разорился.

Все это происходило уже в Петербурге, куда он в погоне за спасением переселился с семьей. И здесь счастливейшее детство Юрочки превратилось в невообразимое несчастье.

В Студенки больше не возвращались — ведь жить

---

<sup>1</sup> шлейф (от фр. *traine*).

там было негде. Все пошло вверх дном, закружилось в вихре отчаяния. Мать Юрочки, всегда нарядная, веселая и улыбающаяся, теперь целые дни проводила в своей комнате, откуда выходила только к столу, непричесанная, в халате, с красными заплаканными глазами, жалуясь на мигрень, раздражаясь по всякому поводу. Юрочка, опасаясь ее гневного окрика, боялся шевельнуться при ней.

Наташа, хмурая и озабоченная, мало обращала на него внимания и зубрила латынь, готовясь поступить на высшие курсы.

Отец пропадал с утра и возвращался домой измученный, мрачный и, наскоро поцеловав Юрочку, сейчас же отправлялся спать.

Юрочка бродил по комнатам петербургской квартиры. Ему казалось, что он перенесся из рая в ад. Но он ошибался. Это еще не был ад — ад был еще впереди: отец все больше запутывался в делах, здоровье его пошатнулось, но он продолжал метаться без отдыха, ища выхода. В довершение всех бед его разбил паралич. Случилось это ночью, и Юрочка, спавший в соседней со спальней отца комнате, первый услышал стоны и хрип и бросился к нему.

Это было самое ужасное из всех ужасов, пережитых им. Отца он обожал. Он целыми ночами простаивал на коленях, со слезами молясь за отца. Он был уверен, что Бог услышит его молитвы, — и отец его действительно слегка поправился. Он снова мог говорить и, хоть опираясь на палку, ходить. Но теперь он стал тенью самого себя, ни на что уже не способный, ни на что уже не надеющийся, погруженный в свои мрачные мысли. Юрочка, не отходивший от его постели, пока он болел, сопровождал его всюду.

И вдруг отец объявил, что уезжает — один. Юрочка умолял позволить ему сопровождать его. Но отец, никогда ему ни в чем не отказывавший, наотрез отказал, как тот ни плакал и ни просил. И даже не позволил ехать провожать его на вокзал.

Прощаясь, он, как всегда перед разлукой, благословил его и обещал скоро вернуться. Но Юрочка, вцепившись в полу его шинели, кричал, захлебываясь от слез:

— Не уезжай, не уезжай, папа! Не пушу! Ты не вернешься, если уедешь!

И все-таки отец, осторожно освободившись, уехал.

А на следующий день пришла телеграмма: отец скоропостижно скончался. Это не поразило Юрочку. Он предчувствовал, что отец не вернется.

О том, как это все происходило, у меня только смутное представление. Георгий Иванов о второй, несчастной поре своего детства говорил очень редко и то только ночью, в темноте, вскользь, обрывочными фразами, каким-то несвойственным ему, надломленным, глуховатым голосом. Я слушала его, и мне казалось, что к нему из темноты протянуты нити, связывающие его с трагическим прошлым, продолжающим мучить его.

В том, что его отец покончил самоубийством, Георгий Иванов признался мне только через много лет после нашей свадьбы. До того он говорил, что его отец умер от второго удара. Тогда же он сказал мне, что его отец застраховался, перед тем как покончить с собой; что он умер, чтобы обеспечить семью, и, симулируя несчастный случай, выбросился из поезда на ходу.

О том, когда и как он это узнал, я никогда не спрашивала...

Получив телеграмму о смерти отца, мать и Наташа в тот же вечер выехали на похороны. Юрочка даже не просил взять его с собой. Его оставили на попечение старой прислуги, непременно пожелавшей самой уложить его спать.

Когда она наконец, плача и причитая, ушла, он встал с постели, широко открыл окно и придвинул к нему стул. Он сидел перед открытым окном, глубоко вдыхая ледяной воздух, смотрел на звезды и молился.

Но не Богу, нет. Ведь Бог не услышал его молитв. Нет, он молился Юпитеру. Юпитер сделает все, что надо: Юпитер поможет ему!

Скоро, скоро он будет с папой. Без него он не хочет, не может жить. Юпитер — добрый, Юпитер поможет. Он с мольбой и надеждой смотрел на звезды, стараясь найти среди них Юпитер. Но в тот августовский вечер, когда Володя показал ему Юпитер, небо было ясным и звезды отчетливо сияли на нем, а теперь их скрывал морозный туман; их почти нельзя было разглядеть. Но он верил, он знал — Юпитер услышит и соединит его с папой.

Холода он не чувствовал, все повторял:

— Помоги, помоги, Юпитер!

Так, босой, в одной ночной рубашке, он просидел до рассвета перед открытым окном, и только когда небо посветлело и звезды совсем исчезли, он с трудом встал, окоченевший, застывший, и лег в постель. Закрывать окно уже не было сил. И к чему? Ведь он сейчас умрет и улетит в открытое окно. Надо только поглубже вздохнуть еще раз, и душа его оборвет тоненькую ниточку,

привязывающую ее к телу, — и он полетит прямо к папе. Вот так! Вздохнуть глубоко, и ниточка оборвется...

Больше он ничего не помнил. Пришел он в себя много дней и ночей спустя и заплакал — понял, что он не умер. Вокруг него хлопотали и мать, и Наташа, и доктор, и прислуга. Все они улыбались и радовались. Он с отвращением закрыл глаза, чтобы не видеть их, и снова погрузился в темноту, в беспамятство.

Через несколько часов, или несколько дней, он очнулся вторично. Но теперь совсем иначе. Он чувствовал себя необычайно хорошо. Лежать было очень приятно. Он с радостью открыл глаза, улыбнулся доктору и спросил наклонившуюся над ним Наташу:

— Я не умру?

То, что он не умер, доставляло ему теперь большое удовольствие, как и все, что происходило кругом. Он смотрел на все новыми глазами.

Он как будто забыл, что он хотел умереть, забыл, почему хотел умереть.

Прошлое отошло далеко и не мешало жить.

Он быстро поправился, казалось, что теперь он совсем другой и новый. Глядя в зеркало, он не узнавал себя — вытянувшегося, тощего, с круглой стриженной темноволосой головой. Ему казалось, что он не прежний Юрочка, а новый Юра, что Юрочка умер в ту ночь, а место его занял Юра.

— Знаешь, — говорил мне Георгий Иванов, — я уверен, что если бы у меня не было тогда воспаления легких, я бы не перенес смерти отца. Я бы зачах от горя, от тоски по нем. Меня спасло то, что я сам чуть не умер, что жизнь во мне переборола смерть. Я смог снова жить и, когда я совсем поправился и меня отдали в корпус, стать обыкновенным мальчиком-кадетом.

Так кончилось его детство и началось отрочество.

С первого дня поступления в корпус Георгий Иванов — Юра, как его теперь звали, — почувствовал себя в нем очень хорошо. Он сразу сошелся с товарищами и был принят ими как свой, что редко кому удавалось. Обычно «новичку», не говоря уже о разлуке с родными, приходилось в первые дни терпеть немало огорчений, неприятностей и обид, пока он наконец не «приспособился» к условиям корпусной жизни и не был принят, как равный, товарищами.

Но Юру все сразу полюбили, и одноклассники, и воспитатель. И он сразу полюбил всех.

Казалось, он, выросший на полной свободе, должен был бы тяготиться дисциплиной и кадетской муштрой,

но он сразу почувствовал себя в корпусе дома. Корпус на много лет стал его настоящим домом, его настоящей семьей. Он по субботам, уходя в отпуск, покидал его не без сожаления и с радостью возвращался в него в воскресенье вечером. Для него быть оставленным без отпуска — за шалости и проказы — было не наказанием, как для его товарищей-петербуржцев, а наградой.

Правда, его отпуска не приносили ему удовольствия. Мать и Наташа, ставшая курсисткой, переехали в новую, комфортабельно обставленную квартиру и зажили в ней, не мешая друг другу, — мать, как в былые времена, элегантная и моложавая, опять ездила в оперу и в гости. Все как будто наладилось без осложнений к общему благополучию.

Но Юра чувствовал себя в этой новой квартире чужим. И мать, и Наташа считали нужным, отказавшись от своих обычных выходов, проводить весь его отпуск с ним, стараясь создать «семейный уют», что им совсем не удавалось. К тому же они все еще называли его Юрочка и обращались с ним, как с маленьким. Время тянулось томительно медленно и скучно. Иногда — не очень часто — Наташа водила его в кинематограф на комические фильмы. К Глупышкину и Максусу Линдеру Юра был равнодушен, хотя они все же, хоть отчасти, скрашивали его отпуск.

Но его отпуска стали еще непригляднее, когда Наташа решила закончить свое образование в Швейцарии и переехала туда, а мать, не переносившая одиночества, стала разъезжать по своим иногородним друзьям, поручив Юру своей кузине Варваре, жене егермейстера Малама. Та взялась за порученное ей дело со свойственными ей энергией, авторитетностью и чувством ответственности, обнаружив при этом педагогические склонности, не находившие прежде — она была бездетной — применения.

Тетя Варя, как он ее звал, строго следила за ним. Она, чего не делали ни его мать, ни Наташа, стала ездить в корпус, не пропуская ни одного приема, познакомилась, интересуясь его школьными успехами и неудачами, с его учителями и воспитателем, относившимися к ней с глубоким почтением.

Юра терпеть не мог и стыдился ее посещений, обставленных с театральной пышностью, вызывавшей в корпусе своего рода сенсацию, — она приезжала неизменно в дворцовой карете и «шествовала» в актовый зал. За ней шагал слуга в ливрее, несший кульки с фруктами и сладостями. Юра, сидя рядом с ней, прово-



дил мучительнейший час до ее столь же пышного отбытия.

Жила она вместе с мужем-егермейстером в доме министерства внутренних дел, на Моховой, где ему приходилось теперь проводить свой отпуск. Она уже с нетерпением ждала его — опаздывать не полагалось — и сейчас же начинала донимать его расспросами и поучениями. После чего засаживалась с ним за урок английского языка. «Знание английского языка необходимо порядочному человеку, — повторяла она постоянно. — Я твоя тетя и желаю тебе добра. Не ленись».

Но все ее усилия не привели ровно ни к чему. Говорить по-английски он так и не научился.

Время у Малама тянулось для него еще более скучно и медленно, чем у матери. К чаю обыкновенно являлся в домашних ковровых туфлях живший с Малама на той же площадке министр Щегловитов. Он трепал Юру по плечу и, задав ему все тот же вопрос: «Ну как, сын Марса? Финансы поют романсы?» — засовывал ему трехрублевку в карман.

Эта необычайная щедрость и ласковость к чужому мальчику, когда Георгий Иванов рассказал мне о ней, — удивила меня. Я знала от моего двоюродного брата-правоведа, жившего вместе с сыном министра, что к своему собственному сыну Щегловитов был не только страшно строг, но просто жесток.

У Малама жила двоюродная бабушка Юры, очаровательная тоненькая старушка, голубоглазая и беленькая, похожая на фарфоровую статуэтку. Она была совершенно слепая и не выходила из своих двух комнат, в которых за тонкой проволочной решеткой пели и летали десятки канареек. При ней неотлучно находился маленький казачок, читавший ей «Новое время» — от доски до доски, — вряд ли понимая хоть что-нибудь.

Она, сидя в большом кресле, мечтательно устремив невидящие голубые глаза на заливавшихся канареек, слушала его не перебивая, но тоже вряд ли понимала, что он ей читал.

Юре полагалось на время пребывания у Малама ежедневно «свидетельствовать ей свое почтение». Она принимала его улыбаясь, ласково гладила по лицу своими тоненькими пальчиками, называя его «мой милый внучок Юрочка». Но что друг другу сказать — ни он, ни она не находили. И он, покрутившись немного вокруг нее, оглушенный трелями канареек, целовал ее руки и, произнося, как его научила тетя Варя, «честь имею кланяться, бабушка», — покидал ее.

Кстати, история этой его бабушки, как, впрочем, и всех почти членов его семьи, была необычайна и любопытна. Ее Георгий Иванов рассказал в одной из тетрадей «Возрождения» в 1951 году под заглавием «Из семейной хроники».

По воскресеньям у Варвары Васильевны бывали журфиксы. На них, чтобы научиться вести себя в обществе и приобрести светский лоск, — полагалось присутствовать и Юре, хотя он предпочел бы ждать часа, когда наконец можно будет вернуться к себе в корпус, читать Ната Пинкертона.

Но по воскресеньям наступали и приятные минуты, когда Варвара Васильевна, занятая надзором за приготовлением к приему, посылала его в кондитерскую Крафта за шоколадом, лучшим в Петербурге. У Крафта, зная, что этот кадетик — племянник егермейстера Малама, любезно встречали его и закармливали шоколадом, заставляя попробовать все разнообразные сорта. Он жалел только, что не может, вместо того чтобы все съесть здесь, взять этот шоколад с собой для товарищей.

На журфиксах бывало множество гостей. Иногда, не слишком часто, приходила и молодая жена министра Щегловитова — его вторая жена, урожденная Хренова. Юру, знавшего, что она живет в том же доме, на том же этаже, удивляло, что она всегда в шляпе, в перчатках и даже в собольей накидке. Иногда, тоже не очень часто, появлялись и блестящие племянники Малама, молодые конногвардейцы, если не ошибаюсь. Они принадлежали к высшим кругам, близким ко двору, к «камарии». Юра заметил, что тетя Варя очень гордится их посещением. Раз или два появлялся здесь и Феликс Юсупов, поразивший Юру своей необычайной красотой и очарованием, окружавшим его, как аура.

Наулыбавшись — *keep smiling!*<sup>1</sup> — учила его тетка, зорко следившая за ним, — накланявшись и наскучавшись сверх меры, Юра, наконец, с облегчением возвращался к себе в корпус — домой.

Но и в корпусе не все нравилось Юре — ведь и «на солнце есть пятна». Пятнами на солнце были для него школьные занятия.

Юра, по определению своего воспитателя, был «срвиголовой, живой, как ртуть, главный коновод шалостей, способный, но ленивый и рассеянный ученик». Учился он плохо, считая уроки неизбежным злом.

---

<sup>1</sup> сохраняя улыбку! (англ.)

Учился прилежно только тому, что интересовало и увлекало его.

За свои школьные годы он пережил три главных увлечения.

Первое его увлечение было рисование. Он так хорошо рисовал в младших классах, что учитель рисования стал считать его будущим художником, давать ему частные уроки и вести с ним разговоры о живописи.

Тогда же, по Юриной настойчивой просьбе, Наташа подарила ему «Историю искусства» Грабаря, которую он досконально изучил.

Георгий Иванов, вспоминая те дни, когда он просто бредил живописью, рассказывал мне, что он постоянно, глядя на какой-нибудь пейзаж или на каких-нибудь людей, представлял их себе картинами в рамах.

За увлечением живописью неизвестно почему последовало увлечение химией. Ей он, совершенно забросив живопись, преданся с такой страстностью и успехом, что учитель химии даже разрешил ему производить опыты и доверил ключ от химического кабинета. Попутно с химией Юра заинтересовался фотографией и даже изобрел какую-то треножную подставку для фотографического аппарата. Его «изобретение» оказалось настолько дельным, что о нем с рисунком треножника появилась в фотографическом журнальчике, издаваемом при магазине Доциара, статья, подписанная «Георгий Иванов», прославившая его среди одноклассников.

— Так я сразу с первого появления в печати стал знаменит, — говорил, шутя, Георгий Иванов.

Как-то, уже в Париже, в разговоре с Марком Александровичем Алдановым, химиком по образованию, Георгий Иванов неожиданно обнаружил знание химии, поразившее Алданова, и тот воскликнул:

— Георгий Владимирович, отчего вы скрываете, что вы, как и я, химик? Разве это, по-вашему, позорит поэта или писателя?

Георгий Иванов, смеясь, объяснил ему, что свои химические познания он приобрел в четырнадцатилетнем возрасте кадетом и с тех пор почти все успел позабыть и стать абсолютно чуждым химии. Но как он ни уверял Алданова в этом, тот так и не поверил ему и, разведя руками, со своей обычной преувеличенной вежливостью заявил:

— Не смею спорить! Но, простите, не верю. — И помолчал: — Пусть будет по-вашему, хотя мне и обидно за химию. Напрасно вы, Георгий Владимирович, отрекаетесь от нее.

Химические опыты Юры, которые он продолжал производить, чуть не кончились бедой. Было это во время рождественских каникул, проводимых им у Наташи, ненадолго вернувшейся из Швейцарии. Его увлечение химией достигло тогда своего высшего расцвета. Ничего, кроме нее, его не интересовало, и он скучал и томился от невозможности производить опыты в химическом кабинете. И вот в сочельник, когда Наташа после завтрака отправилась покупать елочные украшения, он, оставшись один, решил, не теряя времени, заняться приготовлением «царской водки» — якобы растворяющей даже золото и платину. Он хотел попробовать, правда ли это, на своем крестильном крестике.

Пробравшись в Наташину спальню, он расставил на ее туалете принесенные с собою на всякий случай колбы и начал переливать и подогревать какие-то жидкости. Все шло отлично, как вдруг произошел взрыв, зеркало с треском лопнуло, колбы опрокинулись, проливая на ковер жидкость, с шипением прожигавшую его. Юра в отчаянии смотрел на разгром — ведь Наташа так любит свой туалет, так радовалась, купив его и этот персидский ковер. Хороший подарок он ей преподнес к Рождеству. Ему захотелось бежать из дому неизвестно куда. Но тут он столкнулся в прихожей с вернувшейся Наташей. Схватив ее за рукав шубы, он потащил ее, не помня себя от отчаяния, в ее спальню, крича:

— Прости, прости. Это я сделал. Я хотел приготовить «царскую водку». Колба взорвалась...

Услышав, что он готовил «царскую водку», она пришла в ужас.

— Ведь это страшный яд, ты мог ослепнуть, тебя могло изуродовать на всю жизнь, тебя могло убить! — плача от волнения, все повторяла она, будто он спасся от неминуемой гибели. — Слава Богу, что все благополучно кончилось, слава Богу!

Ни тогда, ни после она не упрекнула его за произведенный разгром и даже не напомнила ему о нем.

Все же по окончании рождественских каникул она — в чем призналась ему только много лет спустя — поехала в корпус, познакомилась с его учителем химии, рассказала ему о случившемся и потребовала, чтобы он отнял у Юры ключ от химического кабинета, скрыв от него ее посещение. Выслушав ее, учитель побледнел и схватился за голову:

— Какой же я идиот! Я совсем забыл, что он еще неразумный ребенок — ведь он мог взорвать весь корпус!

По моей вине. До чего я вам благодарен, что вы мне открыли глаза. По гроб жизни благодарен!

Вернув ключ учителю, потребовавшему его под предлогом ремонта химического кабинета, Юра продолжал еще некоторое время интересоваться химией, пока новое — третье увлечение, еще более сильное и пламенное, чем два предыдущих, — не заставило его навсегда расстаться с химией и забыть о ней.

Этим третьим и последним увлечением была поэзия. Никакое другое уже не сменило его. Поэзии он «по гроб жизни» не изменял.

Что вызвало охлаждение Георгия Иванова к химии — мне неизвестно. Но о том, как началось его увлечение поэзией, он мне рассказывал не раз.

Случилось это так: в тот памятный для него вечер он, как всегда, носился с товарищами по длинным коридорам, пока не наступил час приготовления уроков. Еще разгоряченный бегом, он неохотно взялся за учебники. Решив алгебраическую задачу — что в тот вечер ему удалось без труда, — он, морщась, открыл хрестоматию — на завтра надо было выучить наизусть «Выхожу один я на дорогу».

Георгий Иванов учился плохо, но учитель русского языка считал его одним из лучших — если не лучшим своим учеником. Он отлично писал сочинения (их часто читали перед классом) и был совершенно грамотен с самого поступления в корпус. Но он был неспособен запомнить стихи, и без помощи товарищей, ловко ему подсказывавших, не мог ни одного стихотворения прочесть наизусть.

Дело тут было не в отсутствии памяти — память у него была отличная, — а в том, что он не умел сосредоточиться, мысли его разлетались во все стороны, и он не знал, как с ними справиться. Зажмурившись и заткнув пальцами уши, он зубрил, повторяя все то же, и никак не мог ничего запомнить. Так было и на этот раз. Безрезультатно промучившись минут десять, он захлопнул хрестоматию и взялся за географию. Она легко давалась ему. Он представлял себе, что путешествует по городам, морям и океанам, как альпинист, поднимается на вершины гор или едет, как бедуин, на верблюде по пустыням. Благодаря этому имена гор, океанов, пустынь и т.д. запоминались сами собой. То, что он опять не выучил стихов, его не беспокоило, — его недавно вызывали — вряд ли вызовут завтра. И вечер, как всегда, кончился приятно и весело.

Ночью, чего с ним почти никогда не случалось, — он

проснулся. Проснулся в каком-то необычайном волнении, не понимая, что с ним происходит. В темноте, и в какой-то особой, насторожившейся тишине, смутно белели ряды кроватей. И вдруг над его ухом чей-то голос громко и певуче произнес:

В небесах торжественно и чудно,  
Спит земля в сияньи голубом, —

и ему показалось, что потолок раздвинулся, и он увидел, действительно увидел, как

В небесах торжественно и чудно,  
Спит земля в сияньи голубом.

Это было так прекрасно, его охватило такое чувство блаженства, что он боялся пошевелиться или передохнуть. Прижав руки к груди, не отрываясь, смотрел он на эту еще никогда не виданную землю и на голубое сиянье, в котором она спала. Все это было совсем не похоже на реальность, а принадлежало другому миру, миру поэзии, вдруг открывшемуся перед ним.

А тот же голос над его ухом все продолжал звучать:

Выхожу один я на дорогу,  
Сквозь туман кремнистый путь блестит.

Он жадно слушал. О, только бы голос не умолкал!

И вдруг он понял, что это его собственный голос произносит те стихи, которые он сегодня напрасно старался запомнить и которые теперь пели в его голове, в его груди.

Сердце его громко забилося, он, изнемогая от восторга, закрыл глаза, и ему показалось, что он летит в небо.

Его, как всегда, разбудила труба. Он лежал, не понимая, где он, и, вспомнив, натянул на голову одеяло, чтобы как можно дольше не возвращаться в это шумное школьное утро.

С этой ночи началось его увлечение поэзией. Чтение стихов стало его главным занятием. Он даже отказывался от «ледовых побоищ». Когда в большую перемену весь класс с криками выбежал во двор играть в снежки, он, сев где-нибудь в уголке, погружался в принесенный с собой том стихов.

Теперь под подушку он вечером клал уже не учебник с невыученным уроком, а стихи, чтобы ночью видеть их во сне.

У него — и это бесконечно радовало его — неожиданно открылся «чудесный песенный дар». Он и прежде легко рифмовал и мог экспромтом говорить рифмованно и ритмично. Сочинял он и для «Кадетского журнала» всякие пародии и сатирические вирши, помещаемые в журнале всегда на почетном месте. Но все это — он сам понимал — никак не относилось к поэзии, а делалось шутя, на потеху товарищей. Теперь же сочинение стихов глубоко потрясло его и стало для него «делом его жизни». Он, ни с кем об этом не советуясь, решил стать поэтом. Решил твердо, бесповоротно. И начал готовиться к этому «делу своей жизни».

Прежде он никогда не задумывался, кем будет, когда станет взрослым. Военная карьера, о которой мечтало большинство его товарищей, не прельщала его. Он жил день изо дня и строил планы только на ближайшее время. А что будет дальше, его мало интересовало. Теперь же он стал тяготиться кадетской муштрой и с нетерпением ждал дня, когда он наконец сбросит кадетский мундир и станет поэтом. То, что ему из-за этого придется выдержать ряд сражений с матерью и особенно с Наташей, его не пугало. Никто и ничто не могло поколебать его решения.

Не знаю, каким образом ему удалось познакомиться с Георгием Чулковым, основателем «мистического анархизма». По всей вероятности, Георгий Иванов сам в какой-то день отпуска, набравшись храбрости, решил пойти к нему. Почему он выбрал именно Георгия Чулкова, а не Бальмонта или Блока, мне неизвестно. Впрочем, возможно, что он побывал и у них. В те годы молодые «кандидаты» в поэты постоянно осаждали знаменитых поэтов, порядком надоедая им. Но «мистический анархист» Чулков отнесся к Георгию Иванову не только доброжелательно, а просто с энтузиазмом и пришел в восторг от его стихов, находя в них «чисто пушкинскую гармонию и прозрачность».

Эти неумеренные восторги не вскружили ему голову, как и уверения, что он будущий Пушкин, они скорее сместили его. О том, что во II Корпусе появился «будущий Пушкин», Чулков в порыве анархо-мистического восторга сообщил и Гумилеву, отнесшемуся к этому сенсационному известию без всякого любопытства.

Георгия Иванова в литературоведческих изданиях принято называть учеником Гумилева. Но на самом деле он им никогда не был, как, впрочем, никогда не был ничьим учеником. В поэзии он был самоучкой. Он вполне самостоятельно изучил ее.

Знакомство его с Гумилевым произошло много позже, когда, уже успев побывать эгофутуристом и выпустить свой первый сборник «Отплытие на остров Цитеру», он без баллотировки был приглашен в Цех поэтов.

Став членом Цеха поэтов, он почувствовал себя не только настоящим поэтом, но и совершенно взрослым, как он утверждал.

Но мне казалось, да и теперь еще кажется, что все же по-настоящему взрослым он так до самой смерти и не стал.

Не помню, кто из французских поэтов задал вопрос: «Peuton jamais gîérir de son enfance?»<sup>1</sup>. Конечно, многим это удастся: дельцам, политическим деятелям, чиновникам и тому подобным; но поэты, и тем более русские поэты, часто так и не могут выздороветь, освободиться от детства. Не мог освободиться от него и Георгий Иванов.

Я нарочно так подробно остановилась на его детстве. Оно продолжало присутствовать в его взрослой жизни. Им объясняются многие противоречивые черты его характера. Это подспудное присутствие детства помогает, по-моему, хоть отчасти понять всю «непонятность» Георгия Иванова.

О том, чтобы стать членом Цеха поэтов, Георгий Иванов и мечтать не смел. И когда он неожиданно-негаданно получил письмо от «самого синдика» Цеха поэтов, извещающее его, что он зачислен в члены без баллотировки, и приглашающее явиться в «Бродячую собаку» для знакомства, он просто ошалел от восторга.

Восторг этот принял гиперболические размеры и выразился в том, что он стал носиться по всей Наташиной квартире, хлопая оглушительно дверями, вскакивая на кресла и перепрыгивая с одного на другое. За ним бегала, стараясь его успокоить, испуганная Наташа, повторяя:

— Перестань, Юрочка! Перестань! Спину сломаешь!

Но он, не обращая на нее внимания, все продолжал неистовствовать, не зная, что еще сделать, чтобы освободиться от с ума сводившего его восторга и радости.

Когда много лет спустя мы с ним вместе смотрели фильм Чарли Чаплина, глядя на то, как Чаплин в пароксизме счастья выпускает пух из подушек, он взволнованно схватил меня за руку:

---

<sup>1</sup> «Можно ли когда-нибудь вылечиться от детства?» (фр.)



— Вот так! Совсем так и я, когда узнал, что я член Цеха. Только мне хотелось тогда не пух из подушек выпустить, а запустить в зеркало и перебить всю посуду. Но я все же не решился, из-за Наташи.

В тот же вечер он мне подробно рассказал об этом «сверхъестественном событии» и о первых своих шагах в Цехе поэтов.

Георгий Иванов в то время уже не был новичком в поэзии. Он даже успел «удостоиться высокой чести» быть одним из трех «директоров» «Директората» эгофутуризма, основанного Игорем Северяниным. Двумя другими «директорами» были: Константин Олимпов, полупомешанный-полуталантливый сын Фофанова, и Грааль Арельский — вечный студент Степан Петров, взявший по настоянию Игоря Северянина этот пышный псевдоним, — вполне нормальный и вполне бесталаный. Северянин советовал и Георгию Иванову сменить свою «невозможную» для поэта фамилию на «Цитерский» и стать Георгием Цитерским, на что тот не согласился.

Быстрая карьера, сделанная им у эгофутуристов, не могла не льстить ему, но все же не вполне удовлетворяла. Все это, хотя и забавляло Георгия Иванова, не казалось ему серьезным. Он совсем не разделял взглядов Северянина на поэзию и не чувствовал склонности к эгофутуризму, не шедшему ни в какое сравнение с акмеизмом Гумилева. Свидание «для знакомства», назначенное Гумилевым в субботу на той же неделе, должно было произойти в «Бродячей собаке». В ней Георгий Иванов никогда еще не бывал. Ему, как «директору» эгофутуристического «Директората», ходить туда не полагалось. Там, по мнению главы эгофутуристов, собирались враги, там царил Гумилев со своим презренным штабом — Цехом поэтов, по мнению Северянина, сплошь состоявшим из «обнаглевшей бездари». «Бродячая собака» была табу. Но с этим Георгию Иванову и в голову не пришло считаться.

Оставшиеся до субботы три дня Георгий Иванов не ел, не пил и не спал от страха, что не произведет должного впечатления, «провалится на экзамене» — ведь его позвали «познакомиться», то есть на смотрины — и всемогущий Гумилев еще может вычеркнуть его из списка членов Цеха.

И вот наконец наступила суббота. С утра его мучил вопрос — какой галстук надеть. Конечно, не эгофутуристический бант, а синий в белые горошки галстук-бабочкой, что тогда считалось верхом элегантности, или

темный, длинный, придававший ему хоть некоторую солидность.

Остановившись на длинном галстуке, он «облачился» в свой синий свежевыглаженный костюм. Тут выбирать не пришлось: костюм был единственный, сшитый ему по выходе из корпуса. Убедившись лишним раз, проведя рукой по подбородку, что бриться ему все еще незачем, он, покрутившись перед зеркалом и оставшись крайне недовольным своим непоправимо мальчишеским видом, в восемь часов вечера отправился в «Бродячую собаку».

«Страж врат» «Собаки», зорко следивший за тем, чтобы ни один беспропускной буржуй не проник в это «святилище», задал ему ритуальный вопрос: «На каком основании?» Георгий Иванов с гордостью протянул ему гумилевское письмо, и тот, узнав почерк Гумилева, молча отступил в сторону, разрешая ему войти.

«Собака» была почти пуста. Осмотрев всех присутствующих и убедившись, что Гумилева нет, он, как полагается тут, в буфетной сам раздобыл себе рюмку вина и сел с нею напротив входной двери. Томительно-шемящее волнение, мучившее его все эти дни, продолжало терзать его и даже увеличивалось. «Собака» была совсем как ему описывали — точь-в-точь такая — и подвал, и расписные стены, столы без скатертей и скамьи. Но если бы даже она была совершенно иной, он так волновался, что едва ли заметил бы это.

Дверь непрерывно открывалась, впуская все новых посетителей. Вот вошел Кузмин с Судейкиным, вот балетный танцор Бобочка Романов, вот актеры Ходотов и Юрьев, вот какие-то буржуи во фраках и дамы в бальных платьях. Но он не разглядывал их, весь охваченный томительным ожиданием. Время тянулось, вернее, ползло невообразимо медленно. На эстраде что-то происходило. Борис Пронин, его он знал с виду, как всегда надрываясь и клопоча, шумно и радостно приветствовал входящих.

Кто-то звонко запел гимн «Бродячей собаки»:

На втором дворе подвал,  
В нем приют собачий.  
Каждый, кто в него попал,  
Просто пес бродячий...

Его с энтузиазмом подхватил разноголосый нестройный хор. Но Георгий Иванов не присоединился к нему, хотя знал слова «Собачьего гимна» — в Петер-

бурге многие, побывавшие в «Собаке», распевали его.

Гром аплодисментов. За роялем сам себе аккомпанирующий Кузмин. Стекла его пенсне поблескивают. Огромные подведенные глаза закатываются. Слегка заикаясь, он заливается сладостно и упоенно:

Ди-ди-ди-тя, не тянися весною за розой!..

Но Георгий Иванов не слушает «заикающегося соловья», как его прозвал Сологуб. Теперь «Собака» переполнена, до отказа набита — «яблоку упасть негде». Часы показывают двенадцать. Значит, Гумилев не придет, занят чем-то другим. Что с того, что назначил встречу Георгию Иванову. Подумаешь, какой важный гусь! Станет Гумилев с ним считаться!

Но что дальше делать? Ехать домой или ждать — напрасно ждать, потеряв всякую надежду — до закрытия «Собаки»?

А потом что? Ждать нового письма или просто явиться на очередное заседание Цеха, узнав у Кузмина, когда и у кого из членов Цеха оно на этот раз состоится? Да, это, пожалуй, лучше всего. Он встал, оставив свою так и не выпитую рюмку на столе, и пустился, работая локтями, на поиски Кузмина.

В эту самую минуту дверь растворилась перед вступавшими в «Собаку» Гумилевым и Ахматовой. Гумилев держался удивительно прямо и важно. Ахматова будто сошла с портрета Натана Альтмана. Голубое декольтированное платье шло ей. Она была без знаменитой, легендарной, «ложноклассической» шали, воспетой столькими поэтами: ее тогда еще не существовало. «Ложноклассическая шаль» — большой бабий платок, набивной, черный в красные розы, был вскоре после этого куплен для нее Гумилевым за три рубля в кустарном магазине. Лучшего подарка он сделать ей не мог. Платок этот чудесно преобразил ее, придав ей почти царственную величавость.

В «Собаке» появление Гумилева и Ахматовой произвело своего рода сенсацию. Перед ними, как по шучьему велению, мгновенно освободился стол, за которым какие-то буржуи распивали шампанское. Даже электрический свет ярче, казалось, загорелся в накуренном воздухе. Со всех сторон к ним ринулись поэты и непоэты, окружив их стол кольцом.

Увидев Гумилева и Ахматову, Георгий Иванов застыл на месте. Ему вдруг захотелось скрыться в толпе,

бежать отсюда. Нет, он никогда не посмеет подойти и представиться Гумилеву. Он не сводил с него глаз, не замечая, что загораживает дорогу в буфетную и что его нещадно толкают.

С трудом справившись с собой, он, наконец, стора от смущения, подошел к Гумилеву и представился. Гумилев, вскинув голову, внимательно уставился на него своим косоглазым взглядом и вдруг рассмеялся и свистнул:

— Я знал, что вы молоды, но все же не думал, что до того!

Георгий Иванов совсем растерялся. Но тут Ахматова протянула ему с улыбкой, как спасательный круг, свою узкую руку.

— Не робейте, не смущайтесь. Это так быстро проходит. И как это грустно. Ведь юность — лучшее время жизни. Потом, знаю по опыту, жалеть будете. А сейчас садитесь рядом со мной и не смущайтесь.

Георгий Иванов благодарно поцеловал ее надушенные пальцы, и, еще не оправившись от смущения, сел на кем-то любезно уступленный ему стул, рядом с ней.

После этого все сразу стало чудесно и он сам — невзростно счастливым. Он сидел рядом с Ахматовой, отвечал на вопросы Гумилева, знакомился с членами Цеха, его поздравляли, за него, нового члена Цеха, пили, чокаясь с ним. Он ел «собачьи битки», коронное блюдо «Собаки», пил вино, коньяк и черный кофе, но все было как в волшебном сне, все тонуло в каком-то сияющем тумане.

Когда на рассвете он, исходя блаженством и усталостью, возвращался домой на извозчике, ему смутно казалось, что счастливее, чем сейчас, он никогда в жизни не будет, счастливее быть нельзя. Но что и дальше все будет великолепно.

И действительно, все пошло великолепно. На Наташу, — она и сама была не чужда литературных интересов и стремлений, — его принятие в Цех произвело настолько сильное впечатление, что она сняла ему за 40 рублей у какого-то отставного полковника комнату. Она требовала только, чтобы он ежедневно приходил к ней обедать, за что, впрочем, он тут же получал рубль. Вначале он аккуратно являлся за своим рублем, хотя эти «семейные визиты» и нарушали распорядок его дня и тяготили его, но вскоре он перестал нуждаться в этом рубле и зажил вполне самостоятельно, печатаясь в «Аполлоне» и всевозможных журналах и газетах. Их до войны 1914 года выходило великое множество. Алексей

Суворин, редактор «Нового времени», неожиданно предложил ему ошеломляющий контракт: стать постоянным сотрудником «Нового времени» с окладом в шесть тысяч в год и построчным гонораром.

— Только посоветуйтесь, прежде чем соглашаться, с Гумилевым и вашими друзьями, — прибавил он. — Мне бы очень хотелось, чтобы вы стали сотрудником «Нового времени», но я не хочу вредить вашей литературной карьере.

В тот же вечер Георгий Иванов сообщил Гумилеву о своей невероятной удаче. Но Гумилев замахал на него руками.

— С ума ты спятил, Жоржик. Беги скорей, откажись! Ведь ты навсегда опозоришь себя — нигде тебя ни печатать, ни принимать не будут. Крышка!

И на следующий день Георгий Иванов отправился к Алексею Суворину. Тот, взглянув на него, сразу понял, в чем дело.

— Я так и знал! — воскликнул он. — Не огорчайтесь, ничего другого ждать нельзя было. Для левой общест-венности вы бы стали «нововременским молодцом», чем-то вроде прокаженного.

Во время войны Георгий Иванов, словчившийся благодаря связям не поступить в армию, стал «фабриковать», по его же определению, «военные стихи», и даже процвел на этом поприще. Писал он их очень много, благо на них был всюду большой спрос. В «Лукоморье», издаваемом Алексеем Сувориным, но благодаря охватившему всех патриотизму не считавшемуся позорным, он печатал стихи не только под своим именем, но и под псевдонимом, и ему, к тому же, охотно давали большие авансы. Как-то редакторшу «Лукоморья», фамилию ее я забыла, спросили: «Почему у вас нет Блока?» Блок был чуть ли не единственным петербургским поэтом, никогда не печатавшимся в «Лукоморье». Она развела руками: «Ну на что Блок? Ведь у нас имеется Георгий Иванов».

Георгий Иванов женился не то в 1915, не то в 1916 году, женился зря, по глупости, на милой французской девушке-далькрозистке, соученице Тани Адамович. Инициатором этого брака был Георгий Адамович, построивший нелепый план: его сестра Таня была подругой Гумилева, и он решил, что если Георгий Иванов женится на Габриэль, то Гумилев разведется с Ахматовой и женится на Тане. Непонятно, как ему могла прийти в

голову такая глупость, но как бы там ни было, он сумел уговорить Георгия Иванова. Он имел на него большое влияние и убедил, что женитьба придаст ему солидность, которой ему не хватало. Георгий Иванов женился, и у него родилась дочь.

Конечно, он вскоре понял все безумие своего поступка и облегченно вздохнул, когда Габриэль с отцом и маленькой дочерью уехала во Францию. Перед отъездом, чтобы восстановить свое французское гражданство, ей пришлось разводиться с Георгием Ивановым. Так, без драм и скандалов, и кончился этот неправдоподобный брак. Но я об этой истории узнала только потом; когда я выходила замуж за Георгия Иванова, я знала только, что он разведен.

В ноябре 1920 года Гумилев восстановил Цех поэтов под названием «Второй цех поэтов». Членом этого Второго цеха стала и я. Это окончательно укрепило мою «поэтическую позицию», придав мне нужный вес и серьезность. «Член Цеха поэтов» звучало как чин или титул и вызывало уважение. К тому же, что, по мнению Гумилева, должно было мне льстить, я была единственным «женским элементом» Второго цеха поэтов.

В тот свой последний год Гумилев жил какой-то утробной жизнью и развивал, как он сам определил, громокипящую динамику, «попирая скудные законы бытия». Он и прежде был очень энергичен, но теперь стал просто фантастически активен: ежедневные лекции и заседания, всевозможные выступления на литературных вечерах, занятия с молодыми поэтами в Студии и в «Звучащей раковине», поездки в Москву, плавание с Немицем и т. д., и т. д. Кроме этого, он делал переводы, писал критические статьи и стихи и подготовил к печати книгу.

— Просто удивительно, — говорил он не без самодовольства, — откуда у меня столько сил? Кто, кроме меня, вынес бы такую «трудовую нагрузку»? А я даже не чувствую усталости и великолепно поживаю.

Он как будто предчувствовал, что ему остается «до смерти четыре шага» и надо торопиться, не пропускать ни одной минуты. Но нет, никаких предчувствий у него не было. Даже напротив: свою новую книгу стихов он решил назвать, по Данте, «На половине странствия земного» и на одном из заседаний Цеха обсуждал это название, вызвавшее всеобщее одобрение. Но на следующий день, зайдя ко мне, он заявил с притворно грустным видом:

— Печальная новость: «На полдороге» превратилось

в «Огненный столп». Почему? Потому что я ночью проснулся и вдруг так и обмер от страха. Господи! «На полдороге». Значит, раз мне сейчас тридцать четыре года, я самовольно решаю умереть в шестьдесят восемь лет! Но я меньше чем на девяносто, да еще с хвостиком, не согласен. А вдруг «там» из-за этого названия сократят мое «странствие земное». Нет, хоть и жаль, но лучше отложить его лет так на пятнадцать — когда я действительно достигну половины моего странствия земного. А теперь — чур меня, чур меня! Не ровен час!

Он, конечно, шутил. Но из суеверия переименовал свою новую книгу. «Огненный столп» вышел уже после его расстрела.

Той же зимой Гумилев, выписав жену Аню из Бежецка, где она погибала от скуки, переселился с нею в Дом искусств. Теперь нам с ним было уже не по дороге. Меня, вместо него, на мою Бассейную, 60, стал провожать Георгий Иванов, хотя сам он жил на Каменноостровском. Эта «дистанция огромного размера» его не стесняла. Кроме того, он часто заходил за мной или ждал меня в Доме литераторов на той же Бассейной или в Летнем саду. Так прошла вся зима и наступила весна — весна начала нэпа, сразу все преобразившая: открылись магазины, зажглись фонари, появились извозчики и такси. Гумилев окрестил эту весну крылатой, волшебной и уверял, что еще никогда не было такой блаженной весны, — с чем соглашались и мы с Георгием Ивановым.

И той весной я стала невестой Георгия Иванова...

О нашей с ним общей жизни мне писать трудно — это слишком близко касается меня, а я терпеть не могу писать о себе. Прибавлю все же, что, женившись на мне, он продолжал оставаться баловнем судьбы.

В последний период жизни с чьей-то нелегкой руки его стали называть «поэт-maudit»<sup>1</sup> и сокрушаться о его горестной судьбе. За ним это закрепилось надолго. Однако он отнюдь не был отверженным или неудачником. Скорее наоборот, баловнем судьбы, может быть, лишь за исключением последних лет своей жизни, начиная где-то с 1948 года. Все тяжести и катастрофы падали на меня, а его касались только рикошетом. Но, как ни странно, он даже с некоторым удовольствием принимал это прозвище.

Все почему-то решили, что он с горя спивается, хотя

---

<sup>1</sup> «проклятый поэт» (фр.).

пил он всегда в меру. И все время спрашивали его, правда ли, что он пьет чистый спирт? На что он, подчеркивая этим свое презрение, отвечал, что «да, и не только чистый, но и нашатырный». Впоследствии он даже стал играть эту роль. Так, после хорошего сна, утром, выпив кофе, он писал: «Всю ночь ходил по кабакам», — а если писал женщине, то — «и думал о вас, дорогая...» Когда я говорила: «Что ты делаешь, ведь она поверит!» — он отвечал: «Пусть получает то, что хочет». И в то же время сочинял стихи:

Творю из пустоты ненужные шедевры,  
И слушают меня оболтусы и стервы...

И перед тем, как слег, в своем последнем стихотворении писал:

...Со всякой сволочью «на ты».

Как я уже сказала, все удары, сыпавшиеся на нас постоянно, падали на меня, а не на него. И всю жизнь он жил, никогда и нигде не работая, а писал, только когда хотел. Впрочем, хотелось это ему довольно редко, хотя и в «Современных записках», и в «Последних новостях», и в «Днях» он был желанный гость. Он считал, что журналистская работа вредит поэту, а он прежде всего считал себя поэтом. К тому же он был безгранично ленив, а проза, не в пример стихам, давалась ему с трудом, даже когда он был всецело увлечен своей темой. Так, во время «создания» «Распада атома» он был так захвачен темой, что работал сутки напролет, переделывая чуть ли не каждую фразу. Чтобы ему не мешали телефонные звонки и навещавшие меня знакомые и друзья, он даже поселился в отеле...

Жили мы вполне комфортабельно на ежемесячную пенсию моего отца, сохранившего в Риге доходный дом. А когда отец в сентябре 1932 года умер, мы получили большое наследство и зажили почти богато — в роскошном районе Парижа, рядом с Булонским лесом. И замечательно обставились стильной мебелью. Даже завели лакея. А кроме того, я накупила золота.

Когда началась война, мы перебрались в Биарриц, увезя с собой всю мебель, и поселились на авеню Эдуард VII в двух шагах от моря.

Мы сразу вошли в высшее общество города. В Биаррице еженедельно выходила маленькая газета, где в светской хронике часто появлялись наши имена. Я



научилась играть в бридж и устраивала «бриджи» или у нас, или у кого-то, о чем оповещалось в газете.

Георгий Иванов так и не научился играть в бридж и, решив не ломать себе голову, никогда не принимал в нем участия.

Однажды мы устроили большой прием, на котором был даже английский адмирал. Перечень всех гостей появился в газете. Наш друг, «Спарженька» Фельзен, бежавший с матерью из Парижа и пробиравшийся в Швейцарию, нашел у нас эту самую газету с отчетами, прочитал и ахнул: «Вот как живут наши». Этим открытием он решил поделиться с Адамовичем. Но Адамович тогда был на войне, и письмо шло несколько месяцев. А когда он его получил, то решил, что мы принимаем немецкий генералитет, и оповестил об этом всех знакомых, украсив рассказ «цветами своей фантазии». А именно, что я разъезжаю с немецкими офицерами верхом и играю с ними в теннис. Хотя я и с английскими офицерами верхом не ездила и в теннис не играла.

Все поверили этому и отвернулись от нас, даже такие друзья, как Керенский, который бывал у нас с женой и, прощаясь, целовал нас и крестил.

С этого и начались все наши несчастья.

Через некоторое время у меня украли все золото, купленное после получения наследства. Россия оккупировала Латвию. А немцы во время нашего отсутствия реквизировали дом в Огрете под Биаррицем.

Но мы все еще плохо отдавали себе отчет в этих несчастьях и, вернувшись в Биарриц, жили по-прежнему широко. Но ни о каких приемах, конечно, речи уже не было.

И тут разбомбили наш дом. Правда, я успела увезти мебель, благодаря чему квартира в Биаррице была прекрасно обставлена. Это была еще «позолоченная бедность», и мы себе плохо представляли, что с нами случилось, надеясь на то, что скоро все пойдет по-прежнему и даже лучше прежнего.

Казалось, надежды эти имели основания, так как началось время не только невероятных удач, но и широкой известности — и Георгия Иванова, и моей.

В дни победы мы ездили в Париж, чтобы присутствовать на торжествах. Это было удивительное время. Весь Париж, казалось, сошел с ума от счастья.

Тогда я написала три пьесы по-французски. А кроме того, бывший глава петербургского «Сатирикона» свел меня с Гастоном Бонёром, предложившим мне написать роман, содержание которого я тут же принялась обдумывать.

В Париже мы очень весело прожили две недели. Георгий Иванов уехал обратно в Биарриц, а я осталась вести переговоры с театром о постановке одной из моих пьес. Неожиданно я получила от Георгия Иванова письмо. Он сообщал, что у него было видение во сне: ему явились моя мать, его мать и Гумилев. Они были обеспокоены нашим положением и сказали ему, что для того, чтобы все поправилось, мы должны написать роман. После этого наши дела пойдут блестяще. И он просил меня приехать, чтобы как можно скорей засесть за работу. Все это было им описано так красочно и эмоционально, что я решила бросить все переговоры с театром и приехала в Биарриц.

Георгий Иванов уже придумал содержание и решил, что я буду писать только о молоденькой героине, а он берет на себя всю политическую часть.

С работой я справилась очень быстро, где-то за неделю, и поступила в американский университет, помещавшийся напротив нашего дома. Там я завела знакомства с американскими профессорами и даже одному из них давала уроки французского языка, что было очень интересно. Деньги, конечно, уплывали, но мы об этом не очень беспокоились.

Время шло, а Георгий Иванов каждый вечер читал мне все одни и те же написанные им первые страницы. Я терпеливо слушала. Однажды, когда я вернулась домой из английского театра, куда ходила с профессорами, он начал опять читать мне все те же главы, лишь слегка исправленные. Я не выдержала и сказала:

— Послушай, довольно. Так ты будешь писать бесконечно, а нам необходимо закончить книгу как можно скорей. Я напишу за тебя.

Он страшно изумился:

— Как, ты? Смешно.

На следующее утро я засела за работу и писала в день по шестьдесят страниц. В шесть недель я кончила всю книгу. Когда Георгий Иванов впервые прочитал то, что я написала, он схватился за голову и воскликнул:

— Я бы никогда не поверил, что это написала ты, если бы не присутствовал при этом. Как ты могла?!

С этого момента он наконец поверил в меня как в писателя и даже стал допускать в свою писательскую кухню. Он поручал мне дописывать свои статьи, которые, в отличие от стихов, всегда давались ему с трудом.

В 1946 году мы окончательно переехали в Париж, поселились в отеле «Англетер» в Латинском квартале и начали искать издателя для нашего романа.

Георгий Иванов отнес его в «Грассэ» Брису Парену, который хорошо говорил по-русски. Но через несколько дней Брис Парен позвонил нам и сказал, что роман берут, но, к сожалению, раньше чем через год выпустить его не смогут. Мы же хотели издавать его сейчас же. Парен предложил нам одного молодого издателя, который тут же взял нашу рукопись.

Нашли переводчицу, но когда принесли перевод, я просто ахнула. Она переводила слово в слово, чего никак нельзя было делать. Конечно же, мы не могли отдать роман в таком виде, и я решила перевести его сама, кое-что сократив и даже изменив для французской книги. Перевод мой оказался хорошим, чему издатель очень удивился. Мне дали большой аванс, на который мы стали жить, полные надежд, что все идет к лучшему.

И тут подвернулась вторая удача: некий Компанеец, кинопродюсер, предложил нам писать сценарии к фильмам. Он платил по десять тысяч франков за сценарий. В один вечер я придумала три сценария и записала их вкратце по-русски на маленьких клочках бумаги. На следующее утро Георгий Иванов понес их показывать. Дело было перед выходным. В понедельник Георгий Иванов ушел за ответом, а я осталась ждать его звонка дома. Он обещал позвонить тут же. Прошел час, два, три, и я уже начала беспокоиться. Но вдруг является Георгий Иванов, совершенно обалдевший, и говорит:

— Знаешь, я все еще как в тумане. Все это время ходил по Парижу.

Оказалось, что Компанеец объявил ему, что за один из предложенных сценариев он дает не десять, а семьдесят пять тысяч. Он просил Георгия Иванова привести меня к нему, для того чтобы обучить сценарному искусству и всем тонкостям мастерства.

Окрыленная надеждой на успех, я стала по два раза в день бегать в кинематограф, изучая новое для меня дело. В одном из итальянских фильмов я, к своему удивлению, встретила мою тему. Значит, идея носилась в воздухе.

Я начала писать сценарии. Но продать удалось только два, что обмануло все наши надежды. Зато я сильно переутомила и слегла: у меня болел затылок, я не могла ходить — меня шатало из стороны в сторону.

В то же время я получила телеграмму из Голливуда с просьбой подтвердить согласие на экранизацию моего романа «Оставь надежду навсегда». Мы сейчас же подтвердили согласие. На следующий день мы уже пили в ресторане шампанское за будущий успех фильма. Но

переговоры с Голливудом затянулись надолго, и в конце концов ничего не вышло: контракт так и не был подписан.

Так было всегда: все мои надежды оказывались чертовыми черепками и не приносили нам ничего.

С Георгием Ивановым было то же самое. Приехавший из Америки профессор М. сообщил ему, что Америка представит его кандидатом на Нобелевскую премию следующего года, если будет благоприятствовать политическая конъюнктура. Но конъюнктура, как и можно было ожидать, оказалась неблагоприятной. Нобелевскую премию получил Мартен дю Гар.

В то же время Георгий Иванов стал очень популярен, его считали первым поэтом эмиграции, к чему он сам относился иронически. Когда один не в меру приткий критик как-то принес ему показать свою статью, написанную для «Русской мысли» — «Георгий Иванов — первый поэт мира», — он спокойно выслушал критика и, сохраняя серьезность, заметил: «Да, это верно, только надо добавить: мира и его окрестностей»...

Между тем у нас кончились все средства к существованию, и мы вынуждены были переехать в дешевый отель. Мы очутились в комнате, выходившей в темный дворик, напоминавший колодец, стенка к стенке.

Георгий Иванов начал работать в «Возрождении», где ему платили гроши, и нам не хватало даже на еду. Помогая ему, я иногда писала по пятнадцать часов подряд. Так мною почти целиком были написаны «Закат над Петербургом», «Из семейной хроники» и, кроме того, вступительная статья к Есенину, за что мы получили просто смешную сумму — всего пять тысяч франков.

Георгий Иванов был совершенно растерян. С утра до вечера бегал он по Парижу в поисках денег, чтобы заплатить за комнату и прокормить меня.

И тут я заболела. Пришел милый доктор Серов и, прослушав меня, взглянул глазами, полными слез:

— У вас процесс...

— Чахотка? — переспросила я.

— Да.

Георгия Иванова не было в комнате.

— Только, ради Бога, не говорите Жоржу, — попросила я, — скажите, что у меня просто бронхит.

С этого дня я стала готовиться к смерти.

О бесплатных санаториях и леченьях я тогда понятия не имела и представляла себе, что мучительно умру в

больнице. И я решила умереть сама, никому ничего не объясняя. Я просто прекратила есть, и то небольшое, что приносил мне Жорж, потихоньку выбрасывала.

Георгий Иванов, видя, что я больна, окончательно растерялся и целыми днями бегал по Парижу, чтобы всеми правдами и неправдами мне помочь.

Приходили еще два доктора и подтвердили диагноз.

Мы уже были не в состоянии платить за комнату, и ко мне, больной, стучали в дверь и грозили отвезти меня в больницу, если мы не заплатим.

И тут случилось чудо. Приехал доктор Н. и, завернув меня в одеяло, отнес в свой автомобиль, привез к себе, где просветил и выяснил, что никакой чахотки у меня нет, а просто сильное воспаление легких и страшное малокровие от переутомления. Мне стали делать впрыскивания. И я поправилась...

В то время мы неожиданно получили деньги от чеховского издательства за книгу «Оставь надежду навсегда», опубликованную по-русски, и решили переехать из Парижа в Монморанси.

К тому времени я совсем окрепла, и мы начали хлопотать о старческом доме, где не совсем подходили по возрасту. Нам пришлось пойти на общий осмотр. Георгий Иванов тянул меня назад: все равно не примут. Но мы прошли. Нас устроили в старческом доме в Йере на юге Франции. Это был очаровательный городок. Наш дом был окружен пышным садом с розами и соловьями. Мы могли, наконец, вздохнуть свободно.

Но от всего пережитого у Георгия Иванова страшно повысилось давление, хотя сердце было здоровым. И оказалось, что южный климат ему вреден. Мы хотели переехать под Париж, но из Ганьи, несмотря на врачебное свидетельство, нам ответили, что Георгий Иванов просто скучает по прежнему окружению и что они не могут нас принять. Никто нас не поддержал и не помог ему, чего он никак не мог пережить. Давление все повышалось, стало сдавать сердце...

Через три года он умер на больничной койке, чего всегда боялся.

В предсмертных стихах он писал:

Отчаянье я превратил в игру —  
О чем вздыхать и плакать, в самом деле?  
Ну, не забавно ли, что я умру  
Не позже, чем на будущей неделе?

Умру, — хотя еще прожить я мог  
Лет десять иль, пожалуй, даже двадцать.

Никто не пожалел. И не помог.  
Ну как тут можно не смеяться.

*Август 1958*

И еще:

Ночь, как Сахара, как ад, горяча.  
Дымный рассвет. Польша свеча.  
Вот начертил на блокнотном листке  
Я Размахайчика в черном венке,  
Лапки и хвостика тонкая нить...

«В смерти моей никого не винить».

\* \* \*

Я познакомилась с Юрием Анненковым еще в Петербурге зимой 1920 года. Он достиг тогда апогея своей известности. Не только известности, но и славы. Тогда он и создал портреты почти всех писателей, живших в те времена в Петербурге. Большинство портретов было превосходно, особенно Сологуба, Ахматовой и Замятина — каждый по-своему. Он сумел передать не только внешность моделей, но и их характеры, их внутренний мир.

Были среди них и менее удачные, как, например, портрет Олечки Судейкиной, не передающий ни ее внешности, ни присущей ей воздушной, немного кукольной прелести, или Георгия Иванова, слегка похожий на шарж. Мне с моим портретом, заказанным Блохом (издательство «Петрополис») для «Русских писателей», не повезло. Он настолько не удался, что Блох отказался его поместить. Анненков начал рисовать меня вторично, почти накануне моего отъезда из Петербурга, и не успел закончить. Так я осталась без портрета в «Русских писателях», о чем до сих пор жалею.

Да, Анненков в то время действительно был знаменит и прославлен. Особенно в кругу нэпманов. При мне одна молодая, чрезмерно нарядная нэпманша, случайно появившаяся в Доме литераторов, громко рассказывала своей приятельнице, что ее муж в виде именинного подарка предложил ей на выбор кольцо с бриллиан-

том, соболий палантин или ее портрет работы Анненкова.

— Ну, конечно, я не такая простофиля — я выбрала портрет Анненкова. Разве бриллиант или соболя могут идти в сравнение с таким произведением искусства? — говорила она. — Только боюсь, сумеет ли муж уговорить Юрия Павловича. За ценой муж, конечно, не постоит. Но Юрий Павлович завален заказами. Ведь он даже Ленина и Троцкого писал. Ах, это такой талант, такой талант!..

Анненков в те дни действительно был «завален заказами». Во время сеансов, на которых я позировала ему, телефон, стоявший возле мольберта, почти беспрерывно звонил. Анненков, продолжая рисовать правой рукой, левой хватал телефонную трубку и кричал в нее:

— Нет, нет! Сейчас не могу. Занят по горло. Ни за какие деньги. Не могу. Сожалею, — и вешал трубку. — И чего пристают? — с недоуменным видом спрашивал он, поблескивая моноклем. — Какая-то просто бешеная мода у них пошла на мебель карельской березы и на мои портреты.

Работоспособность его была изумительна, как и его продуктивность. Но несмотря на то, что он трудился целыми днями, он ухитрялся всюду бывать и не пропускал ни одного литературного собрания или вечера. Знаком он был решительно со всеми поэтами и писателями и со многими из них дружил.

Маленький, подвижный, ловкий, всегда оживленный, с моноклем, как бы ввинченным в правый глаз, во френче полувоенного образца, он проносился по Дому искусств и по Дому литераторов, успевая всех повидать, со всеми поговорить и посмеяться.

Гумилев, глядя на него, только руками разводил:

— Ртуть, а не человек. Какую ему Бог дьявольскую энергию дал. Просто зависть берет. Ураганную деятельность развивает. И на все время находит. Даже на стихи.

Стихи Анненков действительно писал. Очень хорошо сложенные, авангардные стихи, оригинальные и ритмически, и по содержанию. У меня долго хранилась подаренная им маленькая книжечка его стихов с его собственными иллюстрациями — в кубофутуристическом стиле. Но сам он себя поэтом отнюдь не считал, относясь к своим «поэтическим упражнениям» как к «забавному озорству».

В эмиграции Анненков продолжал проявлять — почти до самой смерти — все ту же «ураганную деятельность». И уже не только как художник, но и как теат-

рально-кинематографический декоратор, и как писатель и художественный критик.

Перед войной, под псевдонимом Темирязов, появилась его большая сюрреалистическая «Повесть о пустынях», пользовавшаяся большим и вполне заслуженным успехом. А в 1966-м он выпустил два толстых тома «Дневник моих встреч» с подзаголовком «Цикл трагедий». И действительно, судьбы поэтов, писателей и актеров, этих «детей страшных лет России», о которых так живо, красочно и талантливо рассказывает Анненков, почти все трагичны. Единственное исключение — судьба Алексея Толстого, «рабоче-крестьянского графа», баловня самого Сталина.

Я, как уже говорила, познакомилась с Юрием Анненковым в 1920 году и с тех пор — до самого конца его жизни — сохраняла с ним добрые, ничем не омраченные отношения, хотя виделись мы с ним нечасто и никаких особо примечательных встреч — кроме одной — у меня с ним не было.

Произошла эта замечательная встреча летом 1946 года.

За два дня перед этим Георгий Иванов уехал в Биарриц, где мы продолжали жить, а я осталась в Париже еще на неделю, чтобы закончить дела с выходом моего романа. Но, кроме дел, были и другие причины. Одна из них — «большой поэтический прием», «литературный раут» в честь Эренбурга и Симонова, любезно согласившихся посетить Руманова, в далеком прошлом бывшего представителем редакции «Русского слова» И.Д.Сытина в Петербурге, а в эмиграции — сотрудником великого князя Александра Михайловича, вместе с ним ездившего в Америку распространять его «Religion of Love»<sup>1</sup> среди тамошних миллионеров, а ныне Руманов — деятельный участник и сотрудник газеты «Советский патриот».

К Эренбургу, как и ко всем его писаниям, я вполне равнодушна, но Симонова мне непременно хотелось повидать из-за его строчки «Жди меня... Только очень жди» и — главное — из-за его стихотворения, покоровшего все русские сердца, и мое в том числе, — «Ты помнишь, Алеша...»

Я еду в набитом до невероятности вагоне метро. В противоположном конце его чья-то рука приветственно

---

<sup>1</sup> «Религия любви» (англ.).



машет. Приглядываюсь — это Анненков, вытянув шею, кивает мне. Я тоже машу рукой и киваю ему. Подойти друг к другу из-за давки невозможно. Мы высаживаемся на станции «Порт де Версай» и весело здороваемся.

— На раут? — осведомляется Анненков.

— Конечно, на раут.

— И, как полагается, мы опаздываем, — констатирует он.

— Но торопиться все же не будем. Пойдем чинно, плавно и грациозно, как в менюэте.

Анненков, как всегда, весел и оживлен. Даже, пожалуй, еще веселее и оживленнее, чем всегда. Он всю дорогу смешит меня. Мы почти дошли. Он вдруг, будто споткнувшись, приостанавливается:

— А меня сегодня Наталия Беляева бросила, — говорит он, глядя в сторону.

— Бросила? — переспрашиваю я. — На каникулы уехала? И вы теперь такой же соломенный вдовец, как я — соломенная вдова?

Но он отрицательно трясет головой:

— Совсем бросила. Ушла навсегда. И дочку взяла с собой.

Я ошеломлена. Наталия Беляева — молодая кинематографическая актриса, недавно вышедшая за него замуж. Он всеми силами тщетно старался сделать из нее соперницу Марлен Дитрих. И она бросила его? Не может быть! Он шутит.

А он продолжает скороговоркой:

— Теперь вы знаете. Мне необходимо было сказать кому-нибудь. Необходимо. Только, пожалуйста, не утешайте. Не жалейте меня. Обещаете?

— Обещаю.

Да и как и чем я могла бы его утешить? Мне его страшно, до слез жаль. Ведь я знаю, что он боготворил свою молодую жену и безмерно гордился своим запоздалым отцовством — от прежних браков детей у него не было, а ему уже под шестьдесят.

Он коротко вздыхает:

— Вот я вам сказал. И мне сразу легче стало. А теперь — марш вперед, труба зовет...

Мы входим в подъезд, поднимаемся на лифте. Дверь квартиры Руманова полуоткрыта. В прихожую вбегает маленький круглый Руманов. За ним, широко ступая своими длинными ногами, — тощий высокий Антонин Ладинский.

— Ни дать ни взять — Санчо Панса и Дон Кихот, — шепчет мне на ухо Анненков.

— Их все еще нет! — взволнованно говорит Руманов, поздоровавшись с нами, характерным жестом оттягивая воротник рубашки, будто он его душит. — Обещали в семь, а теперь уже больше девяти. Я просто голову теряю. Не случилось ли с ними что?

Анненков хлопает его по плечу.

— Не теряйте головы — она еще может вам в хозяйстве пригодиться. Ничего с ними не случилось. Просто засиделись за обедом. Приедут, раз обещали.

У гостиной Румановых сегодня необычный вид. В левом углу парадно накрытый стол. На нем бутылка красного вина и большой пышный торт со взбитыми сливками — угощение для «высоких гостей». И на конце стола — начищенный самовар и чайные чашки.

Остальные гости, так называемые «молодые поэты», — хотя они уже давно перестали быть молодыми, — Гингер, Присманова, Пиотровский, Раевский, Ладинский и прочие — рассажены вдоль стены. С соответствующим, более скромным угощением в виде чая и сухого печенья — времена еще рестрикционные. Нас с Анненковым усаживают на заранее предназначенные стулья, довольно далеко друг от друга.

Я оказываюсь рядом с Раевским, о чем мне не пришлось жалеть. Раевский, воспользовавшись тем, что Руманов и его жена Лидия Ефимовна на минуту покинули гостиную, подскочил к столу и отхватил два больших куска торта. Один — для себя, другой — для меня.

Я испуганно протестовала, но он поставил тарелку с тортом мне на колени.

— Ешьте скорее, а то поймают вас с поличным. Торт превосходный.

Все следят за тем, как мы с Раевским расправляемся с тортом. Но последовать такому дерзкому примеру никто не решается. А вернувшиеся в гостиную хозяева, глядя на разгром торта, возмущаются и негодуют. Благговоспитанно-молча, про себя. Время идет. «Высокие гости» все еще не появляются. Руманов и Ладинский снова и снова, слышав шум поднимающегося лифта, выбегают в прихожую и возвращаются разочарованными.

— Нет, не они. Теперь уже и ждать нечего. Не приедут.

Все же Ладинский решает — уже в самый последний раз — снова спуститься вниз, на улицу. Ведь они могли забыть номер дома.

Ожидание длится. Он не возвращается. И вдруг он появляется, размахивая своими длинными руками, как

крыльями ветряной мельницы, — сразу и Дон Кихот, и ветряная мельница.

— Прибыли! — провозглашает он.

Руманов, сорвавшись с места, бросается в прихожую. И на пороге уже появляются Эренбург и Симонов в сопровождении сияющего Руманова. Я давно не видела Эренбурга. Как он изменился! Просто до неузнаваемости. Прежде он производил довольно невыгодное впечатление и почему-то казался мне глуховатым и подслеповатым, хотя я и знала, что он видит и слышит нормально. Теперь у него вид «недорезанного буржуа», барственный осанка и орлиный взгляд. Одет он тоже не в пример прежнему, добротнo, солидно и не без элегантности. Симонова я никогда — даже на фотографиях — не видела. Он статен и красив.

Ладинский, взяв на себя роль церемониймейстера, уже приступил к церемонии представления. Но он так взволнован, что из этого ничего не вышло. Назвав Пиотровского вместо Корвин-Пиотровский чуть ли не Пиотр-Корвинский, он совершенно растерялся и смущенно указал на еще не представившихся — в том числе и на меня — «и остальные». Так нам всем «остальным» и пришлось ограничиться кивком головы Симонова и Эренбурга вместо их рукопожатия.

Все занимают свои места. Симонов и Эренбург обмениваются с хозяином несколькими любезными фразами, объясняющими причину их опоздания. «Остальные» — и я в том числе — молча и почтительно слушают. Нет, ни вина, ни торта они не хотят. Нет, спасибо.

— Тогда, если позволите, приступим к чтению стихов, — предлагает успевший справиться с волнением Ладинский. И сразу, по заранее выработанной программе, «приступают к чтению стихов». По очереди. Все, как на подбор, читают ультраурапатриотические стихи, восхваляющие победу над врагом, родину и самого «отца народов». Ладинский в придачу еще воспекает и судьбу счастливых поселян-колхозников.

Эренбургу и Симонову, наверное, кажется, что они присутствуют не на парижском, а на московском «дне поэзии». Они благосклонно слушают, раздают благосклонные улыбки и привычные похвалы — как в Москве.

Очередь доходит до меня. Я не готовилась к чтению такого рода стихов, их и нет у меня. Минутный соблазн: а не прочесть ли мне «Балладу о Гумилеве»? — отпадает сам собой. Ведь этим я погубила бы весь «блестящий прием» и невероятно огорчила бы милого Руманова и

его не менее милую жену. И я читаю стихотворение, все же падающее камнем в зеркальную гладь патриотических чувств:

Было счастье подвенечное,  
Было платье бесконечное,  
Шлейф, как Млечный Путь.

Эренбург удивленно поднимает брови. Ни одобрения, ни осуждения. На сияющее лицо Руманова ложится тень. Он испуганно смотрит на меня. Испуганно и просяще. Но я уже кончила. И следующий поэт — Раевский — легко восстанавливает гармонию, нарушенную мною.

Чтение «молодых поэтов» закончено. Ладинский от лица всех нас, безмолвствующих, просит Симонова оказать нам честь — услышать его стихи в его собственном исполнении.

Симонов любезно соглашается оказать нам эту честь. Он начинает со своих американских впечатлений. Очень негативных, конечно. Америка ему не понравилась. Читает он прекрасно, полнозвучным музыкальным голосом. С настоящим, а не напускным вдохновением. Осудив Америку, он заканчивает своим «Ты помнишь, Алеша...», вызывающим бурю восторга и взрыв непредусмотренных программой аплодисментов.

Руманов сияет, как стоящий тут же на столе ярко начищенный самовар. И есть от чего — прием удался на славу.

Анненков — он уже успел поздороваться с Эренбургом и познакомиться с Симоновым — подходит ко мне.

— Попросите Эренбурга подвезти нас. Вам, как женщине, удобнее. Вам он не откажет. Они остановились в отеле «Пор-Руаяль». А то как мы с вами домой доберемся? Уже половина второго. Метро давно уже нет.

Мы с Анненковым живем в двух шагах друг от друга. Я, немного поколебавшись, подхожу к Эренбургу и, стараясь сохранить независимый вид, напоминаю ему, что мы с ним когда-то еще в Берлине... Да, я действительно еще в Берлине в 1922 году познакомилась с Эренбургом. Но в Париже мы даже не раскланивались из-за разницы политической установки. Он притворяется, что сразу меня узнал. И рад встрече.

— Как же, как же, Ирина Одоевцева. Я о вашей «Балладе об извозчике» еще в Ленинграде писал, что осел Жама мог позавидовать вашей лошади.

Он знакомит меня с Симоновым.

Ну, конечно, они с удовольствием довезут нас до своего отеля. Дальше, к сожалению...

Анненков очень доволен.

— Вот видите, как все ловко устроилось. Как только начнутся прощания и взаимные благодарности, так и двинемся в путь.

Мы вчетвером, сопровождаемые Румановым и Ладинским, спускаемся вниз и усаживаемся в черный «ситроен».

Руманов снова растроганно и горячо благодарит и долго трясет руки Симонова и Эренбурга. И за компанию и мне с Анненковым, неизвестно за что горячо благодаря. Ладинский машет вслед удаляющемуся автомобилю.

Никакой натянутости в разговоре. Анненков спрашивает о судьбе Анны Ахматовой. Эренбург рассказывает, как Ахматова впервые через столько лет выступала на своем большом вечере. Все, как один человек, встали при ее появлении на эстраде.

— В своем знаменитом черном платке в красных розах? — спрашиваю я.

— Нет. Без «ложноклассической шали». Очень просто одетая. Седая. Располневшая. Величественная. Похожая на Екатерину Великую в старости.

— А Левушка, ее сын? — не совсем кстати осведомляется Анненков.

Но Эренбург и Симонов вполне охотно рассказывают и о Льве Гумилеве. Он — молодой ученый, специалист по истории Центральной Азии. Очень способный. На отличном счету.

— До чего жаль покидать Париж! — Эренбург осторожно переводит разговор на более безопасную тему. — Сколько воспоминаний. Ведь я еще до войны 1914 года... Тогда Париж был совсем другой. Помните, как мы с вами, Юрий Павлович, и с Модильяни, на Монмартре...

И вот Эренбург и Анненков в два голоса, перебивая и дополняя друг друга, начинают восстанавливать тот, навсегда исчезнувший баснословный Париж.

— Кто не жил до первой мировой войны, тот не знает настоящей *douceur de vivre*<sup>1</sup>, — вздыхает Эренбург. — Как мы великолепно голодали и бедствовали тогда!

Но автомобиль уже останавливается. А мне так хотелось бы послушать их еще.

---

<sup>1</sup> сладость жизни (фр.).

— К сожалению, дальше вам придется идти пешком. Но уже ведь близко.

Да, совсем близко. Мы благодарим. Мы просим передать Москве наши приветы. Мы прощаемся. Анненков берет меня под руку, и мы дружно шагаем.

— Советский автомобиль нас, конечно, довести до наших белогвардейских гнезд не мог. Но как хорошо, что они нас забрали с собой, — говорит Анненков. — А Симонов очарователен.

Я киваю.

— Очарователен. Мне он очень понравился. Но Эренбурга как будто подменили. Другой человек и только.

Анненков согласен со мной.

— Тот, прежний Эренбург — просто карикатура на теперешнего. Этот — сенатор, вельможа. Сам себе памятник. Но вы-то, вы-то хороши! Нашли место, где вашим контрреволюционным шлейфом, как Млечным Путем, блеснуть. Взорвали-таки бомбу.

Мы смеемся, восстанавливая подробности «раута», как Раевский — вот молодец! — отхватил четверть торта. Бедная Лидия Ефимовна, наверное, и сейчас еще горюет о разгроме своего торта.

Мы уже подходим к отелю, в котором я живу. Я, продолжая смеяться, протягиваю руку Анненкову:

— Спокойной ночи, Юрий Павлович!

Но моя рука повисает в воздухе. Он не берет ее.

Я удивленно смотрю на него. И только теперь замечаю, что он очень бледен, совсем белый. Его круглое застывшее лицо похоже на гипсовую маску. Да, это не живое лицо. Это гипсовая маска. Монокль, неестественно поблескивающий, придает ей что-то жалкое и страшное.

Я испуганно отступаю на шаг.

— Одоевцева! — голос его срывается. — Ради Бога! Не бросайте меня. Не уходите. Я не могу, не могу остаться один. Ради Бога!..

Он хватает меня за плечо, как утопающий хватается за спасательный круг.

— Не бросайте меня! Не уходите! — И как стон или вздох: — Пожалейте меня!..

Я потрясена. Это слишком неожиданно. Неправдоподобно. Ведь он только что так весело смеялся. Мое сердце сжимается от жалости и страха за него. Лицо его больше не похоже на гипсовую маску. Оно ожило. Оно дергается, перекашивается, корчится от боли. Это белое лицо со сверкающим нелепым моноклем.

— Не уходите, — просит он жалобно. — Не бросайте меня. Я боюсь, если останусь один. Я не смогу... Не вынесу...

— Нет, нет. Я не уйду. Я останусь с вами. Сколько хотите.

— Не уйдете? Правда? Обещаете? Честное слово?

— Честное слово! Ведь Жорж в Биаррице. Он меня не ждет. Я совсем свободна. Я могу остаться с вами хоть до утра, — убежденно говорю я. — Я не устала. Я не хочу спать. Правда.

— Правда? — недоверчиво переспрашивает он. И вдруг крепко берет меня под руку. — Тогда пойдем. Походим еще.

Голос его звучит спокойно. От такого резкого перехода — от отчаяния к спокойствию — я чувствую себя совершенно потерянной. Мы снова шагаем. Лицо его все так же бледно, но он уже справился с собой и даже старается насмешливо улыбнуться.

— Воображаю, как Симонов и Эренбург потешались над Ладинским с его славословиями счастливым колхозникам, — говорит он. — «Явились жницы, как на бал». Умора!.. Умри, Денис! Лучше не напишешь!

Улицы совсем пусты. Луна ярко светит, и все вокруг кажется нереальным. Все — и наши громкие голоса, и наши гулкие шаги, нарушающие эту тишину, и наши следующие за нами длинные черные тени. «И совсем не в мире мы, а где-то. На задворках мира, среди теней», — проносится в моей памяти. Все действительно нереально. Все, кроме его отчаяния.

Мы шагаем и шагаем. Мы уже несколько раз обошли весь квартал. Я страшно устала. Я рассеянно слушаю его, а он, ни на минуту не умолкая, говорит, явно чтобы занять меня, — о Петербурге, о Доме искусств, о Доме литераторов, о Блоке, Кузмине, Гумилеве и обо мне тогдашней — с бантом, как стрекоза в волосах, похожей на стрекозу.

Я протестую.

— Никто не находил, что я была похожа на стрекозу. На кошку, на рысь, на леопарда, но не на стрекозу. Нет.

Но он не согласен.

— А я нахожу, что на стрекозу. А «бант, как стрекоза» — это ведь Гумилев, а не я сказал. Да еще в стихотворении о вас.

Неужели он помнит этот нигде никогда не печатанный стишок? Но я не успеваю спросить его об этом. Он неожиданно останавливается и, закинув голову, смотрит в небо. И вдруг медленно, с отчаянием произносит:

— Если бы вы только знали, как я ее любил! И как я несчастен!

Я замираю на месте. А он, будто спохватившись, снова пускается в путь. Я снова шагаю с ним нога в ногу, слушая его. Мне хочется спать. Но ведь я обещала до утра. А до утра так страшно далеко. Перед запертым кафе «Флор» на тротуаре стоят столики и стулья, почему-то неубранные на ночь.

— Давайте сядем здесь, — предлагает он, — сядем здесь и вообразим, что вокруг сидят все постоянные посетители кафе «Флор» с Сартром во главе.

— Только не они сами, а их тени, — говорю я, легко входя в игру.

Он кивает.

— Их тени. Это еще забавнее. Пусть они спят, а мы вызовем сюда их тени. И будем с ними беседовать.

Мы усаживаемся.

— Как же мы будем вызывать их тени? — спрашиваю я его.

Но он не отвечает. Он закидывает голову и молча смотрит на качающуюся в облаках луну. Я сижу напротив него, не зная, что сказать и надо ли вообще говорить. Он, по-видимому, уже забыл о вызове теней. Я напрасно согласилась сесть здесь. Идти было все-таки легче, чем так томительно, так мучительно молча сидеть. Он как будто забыл не только о тенях, но и моем присутствии. Он один со своим отчаянием.

Его запрокинутое белое застывшее лицо снова похоже на гипсовую маску. Мне тяжело смотреть на него. Я не выдерживаю.

— Юрий Павлович! Пойдемте! Мне надоело здесь сидеть.

Он вздрагивает и удивленно смотрит на меня, будто не сразу узнает. И вдруг весь приходит в движение, вскакивает, отодвигает стол, помогает мне встать.

— Да, да, — говорит он быстро, — уйдем отсюда. Здесь отвратительно. Мы с вами здесь целую вечность просидели. Я, кажется, даже успел заснуть. Уж вы извините.

И вот мы снова идем, и он снова, не умолкая ни на минуту, весело болтает. Эти невероятные переходы от веселья к отчаянию. Как он может? Будто взлет и падение качелей.

— А сейчас я вам покажу чудесную площадь. Площадь Фюрстенберга. Ее почти никто даже из местных жителей не знает. А вы-то уж и подавно, — уверенно говорит он.



Нет, я знаю эту площадь. Мы с Георгием Ивановым довольно часто на ней бывали. На ней живет один из наших друзей. Но я об этом не сообщаю Анненкову. И когда мы доходим до этой, действительно чудесной, маленькой площади, я притворно-восторженно охаю и ахаю.

— Какая прелесть! И как я вам благодарна, что вы мне ее показали. Без вас я никогда бы не увидела ее!

Он улыбается.

— Я рад, что хоть чем-нибудь мог отблагодарить вас.

Уже светает. Ночь прошла. Но я не решаюсь оставить его. Я жду, чтобы он сам отпустил меня спать, а он, по-видимому, еще и не думает об этом.

— Восход солнца, — мечтательно говорит он. — Нигде солнце, кроме Петербурга, не восходит так волшеб-но, как в Париже.

Я удивлена.

— Неужели? А в Риме, в Лондоне, в Венеции?..

Он смеется. Опять смеется.

— Ну, конечно. Когда я в Риме, Лондоне или в Венеции, я говорю — только в Риме, или в Лондоне, или в Венеции и в Петербурге. Петербург — неизменная величина. Впрочем, в Петербурге меня больше всего пленяли белые ночи. Я просто с ума от них сходил.

И он с увлечением начинает описывать белые ночи, как будто я их никогда не видела. Мы проходим — в который раз — мимо моего отеля. Ведь мы все кружим по кварталу, в котором оба живем. Он вдруг обрывает фразу на полуслове, останавливается и совсем просто прощается со мной.

— До свидания. Или, вернее, прощайте. Ведь вы скоро уезжаете в Биарриц? Кланяйтесь Жоржу. И счастливого пути.

Это так неожиданно, что я теряюсь.

— До свидания. Прощайте, — как эхо, повторяю я.

Я даже забываю подать ему руку. Входная дверь отеля уже раскрылась. Я уже вхожу в холл, и только тогда он говорит мне вслед изменившимся, захлебывающимся голосом:

— Я вам страшно благодарен. Если бы не вы... Я, кажется, не перенес бы, не смог. Спасибо. Я всегда буду помнить... Всегда... Всегда...

Но помнил ли он? Не думаю. Во всяком случае, он при всех наших многочисленных встречах, последовавших за этой трагической ночью, никогда даже намеком не вспоминал о ней.

1928 год. Мы с Георгием Ивановым живем в Париже, в меблированной квартире (13, rue Franklin<sup>1</sup>), напротив особняка Клемансо. Окна наши выходят в хозяйский сад, в нем гуляют круглые большие голуби, распутив по-павлиньи хвосты. Они, особенно когда освещены солнцем, кажутся фарфоровыми. А деревья шумят здесь — или это мне только кажется — совсем особенно, как в Летнем саду, а не как в Люксембургском или Булонском лесу — скорее шелестят, тихо и легко шепчутся по-русски.

Мережковский, когда он впервые с Зинаидой Николаевной побывал у нас и осмотрел наш дом, воскликнул:

— Нет, все-таки я бы ни за что не поселился здесь! Ни-за-что! В 13 номере. Ведь теперь все удары и невзгоды посыпятся на вас.

Георгий Иванов саркастически улыбается:

— А сами вы, Дмитрий Сергеевич, позвольте узнать, в каком номере изволите проживать?

Мережковский удивленно уставился на него — ведь Георгий Иванов уже несколько лет еженедельно бывает на 11-бис, Колонель Боннэ. Зачем же он спрашивает? Все же, привыкший к точности, он отвечает:

— Разве вы не знаете? На 11-бис.

Брови Георгия Иванова взлетают еще выше.

— А что это такое, 11-бис? Тот же 13, только замуфлированный, что ему, конечно, придает еще ббльшую злобредность.

Мережковский, пораженный никогда не приходившей ему в голову мыслью, растерянно оборачивается к Зинаиде Николаевне:

— Зина, ты слышишь, что он говорит? Мы, оказывается, живем в 13 номере! Этого быть не может, скажи ему!

Но Зинаида Николаевна вовсе не потрясена таким открытием. Как всегда, она кокетливо-капризно тянет:

— Георгий Владимирович прав. Мы живем в замуфлированном 13 номере. Ведь следующий дом 15-й. И стыдно быть таким суеверным. Успокойся!

Но Мережковский в тот вечер не мог успокоиться и оставался задумчивым — в постройке его мировоззрения вдруг обнаружилась щель, пусть микроскопическая, но все же щель. Он был страшно суеверен.

<sup>1</sup> улица Франклина (фр.).

Впрочем, Георгий Иванов был, наверное, еще суеверней его. Но числа 13 он не боялся и даже любил его. Как бы то ни было, мы благополучно прожили на 13, rue Franklin, до 1931 года, и ничего скверного с нами там не случилось.

Но сейчас только 1928 год. Я в сопровождении нашего с Адамовичем общего, а особенно моего, «авангардного» французского друга Жоржа Батая собираюсь на сюрреалистический вернисаж. Он старается открыть для меня новые горизонты.

Но мы с Георгием Ивановым и Адамовичем все трое относились довольно скептически к его открытиям. Нас, выдавших и футуризм, и всяческих ничевоков, сюрреализмом не удивишь.

Батай восхищается русской революцией, что нас не сердит, а смешит и не мешает нашей дружбе. Нам этот будущий великий философ кажется очень симпатичным, наивным и милым и не слишком умным.

Я, как всегда перед выходом, долго верчусь перед зеркалом в прихожей, примеряя то одну, то другую шляпу. Шляпы тогда еще играли большую роль в женском туалете. У меня их было много — на все случаи жизни.

Батай терпеливо ждет. Георгий Иванов смотрит на часы:

— Двадцать минут пятого, Поплавский уже не придет. Клялся и божился, что будет у меня в половине четвертого. И как просил, чтобы я принял его. Безобразие. Больше не пушу его к себе.

— Наверное, проспал или забыл... — примирительно говорю я. — Не сердись!

Георгий Иванов пожимает плечами:

— Буду я сердиться. Подумаешь. Но ведь как умолял, чтобы я выслушал его стихи. И вот не пришел.

Я натягиваю перчатки и в последний раз оглядываю себя в зеркале.

— Пожалуйста, если почему-либо задержишься, позвони по телефону.

Без этой ритуальной напутственной фразы я никогда не выхожу из дома. Но когда опаздываю, все же почти никогда не звоню.

— Я вернусь к обеду, беспокоиться тебе нечего.

Георгий Иванов открывает дверь. Перед ней, держа в одной руке очки, а в другой тетрадку, стоит Поплавский. От неожиданности он роняет очки и тетрадку на пол. Исписанные страницы падают к его ногам.

— Поплавский! — удивленно вскрикивает Георгий

Иванов, нагибаясь за черными очками, лежащими на ковре. Ведь без них Поплавский, наверное, ничего не видит. То, что он носит очки «зря», нисколько не нуждаясь в них, «для прикрытия глаз», еще неизвестно Георгию Иванову.

У Поплавского совершенно растерянный вид. Все это так забавно, что я не могу удержать смех.

— Что же вы тут стояли и не звонили? — спрашиваю я смеясь.

— Я, — почти плачущим голосом объясняет Поплавский, — уже давно тут стою. Больше получаса. Пришел слишком рано. Боялся позвонить. Не мог...

Наконец все страницы подобраны, и мы с Батаем уходим.

В тот вечер я, как всегда, опоздала к обеду, но Георгий Иванов даже не ворчал. Он взволнованно начал читать мне отрывки стихов Поплавского:

— Послушай, это удивительно талантливо, хотя и сильно смахивает на Рембо.

Приходите к нам в гости,  
Когда мы уйдем...

.....  
Не занимайтесь моими следами,  
Ветру я их поручаю стереть...

С этого дня Георгий Иванов, открывший много молодых талантов, в том числе и Смоленского, серьезно занялся Поплавским. Для начала он выдержал бой с Адамовичем, тогда еще совершенно не признававшим стихи Поплавского, и повел его к Мережковским.

Зинаида Николаевна хорошо приняла его, и он вскоре сделался желанным гостем на «воскресеньях». Выяснилось, что он замечательный оратор. Лучший даже, чем «златоуст эмиграции» Адамович.

Конечно, ни его, ни Адамовича я «святотатственно» не сравниваю с «самим» Мережковским — действительно ни с кем не сравнимым. Впрочем, оратором Мережковского назвать трудно. Такое определение к нему не совсем подходит — в особенности когда он не произносит тщательно обдуманый доклад, а импровизирует в «Зеленой лампе» или на «воскресенье», когда он, уносясь порывом дикого вдохновения, как бы вырастает на глазах у слушателей и, кажется, поднимается в воздух над своим стулом. Он пророчествует, как библейский пророк.

Холодная дрожь восторга, похожего на священный

страх, пробегает по моей спине. Я слушаю его не только ушами, но всем существом. Я не особенно разбираюсь в том, о чем он пророчествует, меня не очень интересуют вопросы об Атлантиде, о Тайне Трех или Апокалипсисе. Но я покорена, я раздавлена, я готова, не рассуждая, подписаться под его словами. В эти минуты он владеет не только истиной, но и моей волей, как и волей большинства слушателей. Очень немногие могут не поддаться его магии.

Потом, когда он кончит пророчить и превратится снова из библейского пророка в маленького сутулого старика с шаркающей походкой, слушатели снова овладеют собой и пустятся в дискуссию с ним, опровергая высказанные им тезисы.

Ведь бесконечные дискуссии — главное содержание не только заседаний «Зеленой лампы», но и «воскресений». Поплавский постоянно блистал на них.

Да, повторяю, он был прекрасным оратором. И это несмотря на чрезвычайно невыигрышную внешность — внешность слепца. Отсюда и черные очки, скрывающие его кажущиеся слепыми глаза. Он, впрочем, отлично видит. Он сам, должно быть, сознавал странное впечатление, производимое его глазами, и никогда не снимал черные очки.

Ведь глаза — зеркало души. Но его глаза вряд ли были зеркалом его души. Это были странные, неприятные глаза, производившие на многих просто отталкивающее впечатление. В них совсем не отражалась его душа — душа поэта.

Его черные очки, впрочем, были иногда и полезны. В метро и в автобусах, даже в часы наплыва, для него всегда находилось сидячее место: уступи место слепенькому.

Адамовичу в его ораторской карьере помогали его очень красивые и большие глаза, проникновенно устремленные вдаль, и его изящный петербургский подтянутый вид.

Поплавский же был мешковат, небрежно одет и на эстраде производил довольно жалкое впечатление. Голос его был гнусавый и какой-то обиженный, почти плачущий. Казалось бы, как выступать публично при таких данных?

И все же стоило ему бочком взобраться на эстраду, произнести несколько плохо между собой связанных слов, потрянуть головой и выпрямиться, как речь его уже лилась неудержимо, удивляя блеском, остротой мыслей и главное — парадоксами, а иногда просто ошарашивая слушателей.

Так, он чуть ли не на первом своем выступлении в «Зеленой лампе» объявил, что скорбит об участи непосильно трудящихся, особенно о грузчиках и проститутках, чем на полвека предвосхитил свое время. Его заявление возмутило многих в те далекие времена.

Умел он и возбуждать у дам не только улыбку, но и негодование «огнем неожиданных эпиграмм» и парадоксов. Так, на одном из «воскресений» у Мережковских присутствовали гости из Москвы — супруги «рыбьи профессора», написавшие много книг о рыбах и пожелавшие посетить светочей, «великих борцов за свободу» Гиппиус и Мережковского.

Поплавский, пользуясь короткой паузой, перебивая Зинаиду Николаевну, громко заявил, что свобода несет горе и беды и что ее следует заменить прекрасным рабством, так как рабы наисчастливейшие люди на земле, что в России надо восстановить крепостное право и подарить мужикам счастье рабства.

«Рыбьи профессора» испуганно заморгали, стали смотреть на часы, встали из-за стола, ссылаясь на то, что их ждут, очень ждут, и они уже сильно опаздывают.

Уговоры Зинаиды Николаевны не уходить остались без результата. Они не уходили, а бежали в полном расстройстве чувств. Подавая пальто «рыбьей профессорше», Злобин разобрал, как она про себя шептала, как бы в забытьи: «Господи, и это эмиграция! Какие страшные зубры! О Господи!» — о чем он, вернувшись в столовую, и рассказал со смехом.

Конечно, Зинаида Николаевна отчитала Поплавского за его неприличную выходку, но больше для виду. Ему, первому из молодых поэтов — к тому времени он уже успел им сделаться, — многое было позволено, даже слишком многое.

Поплавский с легкой руки Георгия Иванова и при «попустительстве» Адамовича молниеносно вознесся и стал в первом ряду молодых поэтов.

Молодыми поэтами считались те, кто начал свою поэтическую карьеру уже за рубежом, хотя некоторые были старше «маститого» Георгия Иванова и даже Адамовича.

Но Поплавский был действительно молод. Родился он в 1903 году и учился, вернее, недоучился в Константинополе. Грамотно писать он ни на одном языке так и не выучился, и рукописи его пестрели просто чудовищными ошибками.

Но отсутствие грамотности, как известно, не помеха таланту. Гумилев был почти так же безграмотен, как и Поплавский.

Еще об удивительном ораторском даре Поплавского. Заседание «Зеленой лампы». Доклад Николая Оцупа. Переполненный зал избранных слушателей. Вход только по личным приглашениям, рассылаемым Злобиным. Антракт. Николай Оцуп спускается с эстрады, важно поделившись своими мыслями и домыслами о Прусте и Джойсе. У Оцупа совсем особая манера произносить речи с эстрады. В обыкновенной жизни он говорит гладко, легко, просто и ясно, не обнаруживая никаких речевых недостатков. Но на эстраде все меняется коренным образом. Он весь как бы тяжелеет, кроме рук, принимающих большое участие в его выступлении. Они грузно и энергично упираются в стол, будто выдавливая из него странный длительный звук э-э-э, прерывая старательно отчеканенные фразы. Выражение лица напряженно-мучительное, жилы на шее надуты — нелегко даются ему эти выступления.

Я недоумеваю: к чему так мучить себя? Лавров ему его выступления не приносят. Слушать его тяжело. Аудитория все же наградила Оцупа, как и следует, — ведь он так старался, бедняга, — аплодисментами, правда, не очень звонкими. Он кланяется, улыбается, блестя черными глазами, — и вот уже он такой, как всегда: красивый, белозубый, стройный, просто и ясно осведомляющийся о впечатлении от его речи на слушателей.

Я — а как же иначе — кривлю душой: очень хорошо, Николай Авдеевич, как всегда, хорошо, содержательно и умно.

Для меня в заседаниях «Зеленой лампы» самое интересное — антракты и кулуары, как мы называли литературные встречи и разговоры. Сегодня здесь особенно много знакомых. Даже и мой большой друг Василий Алексеевич Маклаков. Мы только успели поздороваться и обрадоваться друг другу, как ко мне, решительно шагая, подошел Поплавский и произнес плачущим голосом:

— Очень прошу. Простите. На два слова. Очень нужно.

Я удивленно смотрю на него. Я с ним не в близкодружеских отношениях, а, скорее, далеко-далеких. Что ему так спешно могло понадобиться от меня?

— Очень прошу, очень! — настаивает он.

Я сдаюсь и, кивнув Маклакову, отхожу с Поплавским в сторону.

— Неужели вы не могли подождать?

— Ради Бога, простите, — перебивает он, — никак не мог. Читали ли вы Джойса?

Я киваю:

— Читала. Ну, и?..

— Мне необходимо. Только вы, кажется, можете. Расскажите скорей о нем и о Прусте. Правда про усы? Кота? И что все длится один день?

Он закидывает меня вопросами. Я добросовестно отвечаю на них. О Прусте: название всех томов и все имена — Сван, Германт...

— Но ведь вы перепутаете.

— Нет, нет, только скорей, ради Бога. Пробковая камера была? Сван женился на Одетте? А Джойс ирландец? И преобразовывал язык? Вы не сочиняете? Правда? Так все и было? А насчет стиля Пруста и Джойса Оцуп правильно говорил?..

Но Георгий Иванов, бессменный председатель «Зеленой лампы», уже звонит в колокольчик, объявляя заседание открытым, и Поплавский, на полуслове оборвав очередной вопрос, устремляется к эстраде.

И вот уже он плачущим, захлебывающимся от волнения и вдохновения голосом убедительно передает только что услышанное от меня, проникновенно углубляя, расширяя, преображая и украшая его «цветами своего красноречия» и словесной находчивости.

Я с изумлением слушаю его. Если бы он сам десять минут тому назад не признался мне, что не читал ни Пруста, ни Джойса, я была бы уверена, что он тщательно изучал их.

Рядом со мной сидит Николай Бернгардович Фрейдштейн-Фельзен, «Спарженька», как его окрестила Зинаида Николаевна. На одном из «воскресений» она, сквозь лорнет оглядев посетителей, собравшихся за чайным столом, обнаружила отсутствие Фельзена и недовольно протянула:

— А этот, как его... эта спаржа сегодня не пришла?

«Спаржа» действительно как нельзя лучше подходила к внешности Фельзена. Он был еврей, но до чрезвычайности походил на немца, к тому же он окончил Петер-шULE, немецкую петербургскую гимназию. Очень тонкий высокий блондин с голубыми светлыми глазами, он действительно походил на спаржу, и, с легкой руки Зинаиды Николаевны, его так и стали звать — «Спаржа» или «Спарженька», на что он совсем не обижался.

Был он знаток и почитатель Пруста и себя считал «русским Прустом», правда, без больших прав на это. Не понимаю, почему Поплавский обратился ко мне, а не к нему, специалисту-прустианцу, за сведениями.



Должно быть, из-за Джойса — им «Спаржа» не интересовался.

— Пруст жил, — говорит Поплавский, — в пробковой камере, в которую не доносился ни один звук из внешнего современного мира, запер в нее восстанавливаемое им прошлое, воскрешая его для бессмертной жизни...

«Спаржа» поворачивается ко мне и шепчет:

— Удивительно. Я и не подозревал, что он так чувствует и понимает Пруста. Какой молодец! Какая светлая голова! Я просто поражен и восхищен им. Казалось бы, я все о Прусте знаю, а он открывает мне новое. Надо будет перечитать Пруста.

Я киваю. Я тоже поражена. Я тоже восхищаюсь. Какой молодец!

И Поплавский с того вечера прослыл знатоком Пруста и Джойса, так, по всей вероятности, никогда и не удосужившись прочесть их.

В тот вечер он снова удивил меня. Мы после «Зеленой лампы» шли целой группой на Монпарнас, обсуждая блестящее выступление Поплавского, и он, упоенный успехом, был особенно оживлен, переходя от одного собеседника к другому.

Вдруг он остановился, нагнулся и поднял с земли длинный железный прут и, повертев его в руках, заявил:

— Я могу его свернуть жгутом.

— Вздор. Брось хвастаться, Бобка, — запротестовали остальные.

— Нет, сверну! Сказал сверну, и сверну! — настаивал он.

Но никто его уже не слушал. Разговор перешел на другие темы.

Поплавский отстал от группы, и никто не обращал на него внимания. Только перед самым входом в кафе «Куполь» он подбежал к Адамовичу:

— Георгий Викторович, смотрите, я свернул! — кричал он победно.

Руки его, как и голос, дрожали. Лицо блестело от пота, несмотря на то что было холодно.

Адамович брезгливо поморщился:

— Стоило тоже! — Спортивными достижениями, кроме теннисных, он не интересовался. И Поплавский стал показывать свернутый жгут остальным.

В смерти Поплавского много неясного: естественная ли это смерть или самоубийство? Многие утвер-

ждают, что это было самоубийство. По их мнению, иначе и быть не могло. У него, как они говорили, было «лицо самоубийцы». Он стремился к самоуничтожению, он обязательно должен был трагически окончить жизнь и т.д.

Конечно, я не могу судить о том, «что было бы, если бы не было...» И не спорю о том, «стремился ли он к самоуничтожению» и была ли его трагическая судьба написана на его лице. Я только утверждаю, что он не был самоубийцей, а был убит. Вот факты, позволяющие мне говорить это.

Кто был Поплавский? На этот вопрос я не берусь ответить, да и вряд ли кто-нибудь может это сделать. Он такая же «неразгаданная загадка», как и Рембо, имевший большое влияние на него не только как поэт, но и как личность.

Поплавский очень быстро «вознесся». Он издал сборник стихов «Флаги» и занял одно из первых, если не первое место среди молодых поэтов. Известность его достигла апогея к концу жизни. Он начал печататься даже в «Современных записках» — цитадели старых знаменитостей.

Но скоро выяснились странности его характера. Он сам говорил о себе:

— Опять я одним перехамил, перед другими пере-кланялся. Я всегда — или в морду, или в ножки.

К сожалению, с годами этих перехамлений и мордобитий становилось все больше. Но ему все сходило с рук. Он постоянно устраивал скандалы. Я сама тогда редко бывала на Монпарнасе и, к счастью, на них не присутствовала. Но Георгий Иванов с возмущением рассказывал мне о них:

— Безобразие! Ведет себя, как хулиган. Я его предупредал, что не потерплю этого. Он позорит поэтов, потом униженно просит прощения, клянется, что больше не будет, а на следующий день снова устраивает скандалы. Мое терпение лопнет, если он не изменится.

И терпение его действительно лопнуло. Поводом к этому послужило происшествие на балу в пользу молодых поэтов.

Один из мемуаристов описал случай на этом балу довольно фантастично. По его версии, на балу, устроенном какими-то дамами-патронессами в Русской консерватории, Поплавский дал пощечину кинозвезде, герою фильма «Буря над Азией» Инкижинову. Узнав об этом, Георгий Иванов собрал всех молодых поэтов и пошел с ними извиняться перед Инкижиновым. Но тот,

не приняв извинений, выругался по-русски и ушел со своей дамой.

На самом деле все произошло не так. Бал этот устраивала я, а не «дамы-патронессы», и не в консерватории, а в особняке одной моей знакомой маркизы на Champ de Mars<sup>1</sup> — впоследствии этот случай на балу получил прозвище «Буря на Champ de Mars». Поплавский действительно, получив отказ танцевать с его дамой, ударил Инкижинова по лицу, но извинялась перед ним одна я как хозяйка бала. Поплавского тотчас же оттащили, и он, громко ругаясь, «покинул бой».

И тут Инкижинов просто изумил меня своим тактом и благородством, уверяя, что я напрасно принимаю к сердцу эту пьяную хулиганскую выходку. Он обещал мне в Москве никому не рассказывать о ней, понимая, какое зло это может принести зарубежью. К хулиганам он и у себя дома привык. Он объяснил, что никак не реагировал на оскорбление, не желая превращать этот столь удачный бал, навверное, стоивший немало труда, в кулачный бой. После этого разговор перешел на другие темы. Я еще посидела с ними, выпили шампанского, и он мирно уехал со своей дамой. Я же вернулась в главный зал, где пел Вертинский.

На следующий день Георгий Иванов получил письмо от Поплавского с мольбой простить его, так как он был совершенно невменяем и не мог отвечать за свои поступки, что он на улице подрался с полицейскими, был зверски ими избит и провел остаток ночи в участке. Он клянется, что это его последний скандал, и умоляет о прощении.

Но Георгий Иванов не простил его, а подверг остракизму, запретив всем поэтам общаться с ним. Власть Георгия Иванова была почти безгранична, и этот декрет был безоговорочно принят. Поплавский, как потерянный, бродил один по Монпарнасу, и никто не смел с ним разговаривать или здороваться.

— Конечно, только в твоём присутствии, — говорила я Георгию Иванову. — Без тебя, я уверена, они по-прежнему дружат с ним.

Так прошел год. Георгий Иванов решил, что наказание длилось достаточно долго, простил его и даже пригласил к нам. У нас в то время устраивались «четверги» с чтением и разбором стихов, и Поплавский присутствовал на одном из них — в первый и последний раз в жизни...

Мы с Георгием Ивановым приняли его очень любезно, а он сиял, исходя восторгом. Он в этот вечер дейст-

---

<sup>1</sup> Марсово поле (фр.).

вительно казался счастливым. Ведь его не только простил Георгий Иванов, но, как он сообщил нам, он еще и закончил свой роман «Домой с небес». Его поздравляли как именинника, и тут же было решено, что он будет читать его у нас в будущий четверг. Мы, как всегда, уселись в круг, чтобы читать стихи. Я ясно помню, как Поплавский написал записку, и ее стали передавать, пока она не дошла до Лидии Червинской, которой была адресована. Она прочла, подняла руку, сделала ею отрицательный жест и громко сказала:

— Во вторник я занята.

Это было приглашение на тот роковой «наркотический пир», стоивший жизни Поплавскому. Через неделю после смерти Поплавского во французских газетах появилось письмо наркомана, пригласившего тогда Поплавского на этот пир. В письме он писал своей невесте, что кончает жизнь, но так как ему страшно умирать одному, то он берет с собой попутчиков.

\* \* \*

Я не стану перечислять всех книг Зайцева, говорить о его несравненном, воздушном, акварельном стиле, о его изумительных описаниях русской и итальянской природы, читая которые я часто вспоминала строки Осипа Мандельштама — они действительно

С их итальянскою и русскою душой  
Напоминают мне явление Авроры,  
Но с русским именем и в шубке меховой.

О его стиле, о том, что он был поэтом в прозе и целые страницы «Путешествия Глеба» или «Голубой звезды» можно считать стихами в прозе, — уже много писалось, как и о том, что он «оставил пустое место после себя» — то пресловутое «пустое место», которое со времен смерти Вольтера неизменно фигурирует, с большим или меньшим основанием, в некрологах писателей.

Спора нет, после смерти Бориса Константиновича место, занимаемое им, осталось пустым, и никому из современных писателей его не занять.

Я очень любила Бориса Константиновича — не только как писателя, но и как человека, хотя наши жизненные пути никогда не скрещивались и особой близости между нами не существовало. Мы, до последних лет, даже редко встречались.

О горьком жребии эмигрантских писателей вспоминать тяжело и больно. Это сплошной перечень имен преждевременно умерших, погибших в газовых камерах нацистов или кончивших свои дни в унижительной бедности, бедности, которой не удалось избежать даже нашему Нобелевскому лауреату Бунину.

Все они, кроме превратившихся из русских писателей в иностранных, чувствуют себя непризнанными, непонятыми, несчастными и оскорбленными жизнью.

Исключение — с моей точки зрения — составлял один только Борис Константинович Зайцев.

Теперь, когда смерть уже потушила свечу, освещавшую страницы его жизни, — как говорил когда-то Лев Толстой, — я с полным убеждением называю Бориса Константиновича Зайцева счастливым.

Ведь был ли человек счастлив или нет, возможно судить лишь после его смерти — как правильно советовал своим современникам Софокл в «Эдипе в Колоне»:

И пока свой день последний не увидит тот, кто смертен,  
На земле не называйте вы счастливым никого.

Всего за несколько дней до своей кончины Борис Константинович был весел, спокоен, бодр, и никому из навещавших его и в голову не приходило, что это их последнее прощальное свидание с ним.

Скончался он легко. Смерть, как и жизнь, не была к нему жестока.

Но, — возразят мне, — как вы можете утверждать, что Зайцев был счастлив? Ведь и он пережил все ужасы революции, ведь и он узнал тяжести и горести изгнания, и он на себе испытал, «как горек хлеб и как круты ступени в эмиграции». К тому же его горячо любимая жена пролежала полупарализованная восемь лет перед своей смертью. Какое уж тут счастье?

И все же, настаиваю, — Борис Константинович был счастлив.

Конечно, и на его долю выпало немало «хождений по мукам», но ходил он по ним «легкой поступью, с светлым лицом, с сердцем, полным веры и любви», не проклиная, не ненавидя никого бунинской «собачьей ненавистью», перенося все страдания как ниспосланное испытание.

Он как будто «попирал скудные законы бытия» и умел в самые темные дни своей жизни оставаться благостным и кротким и не роптать на Бога.

То счастье, о котором я говорю, было главным обра-

зом в нем самом. Возможно, что другой на его месте не сумел бы его сохранить, растерял бы его на всех горестных этапах жизненного пути и достиг бы конца безнадежным, усталым, озлобленным и несчастным. Никому не простив, ничему не веря и ни на что не надеясь.

Я еще в Петербурге слышала от Гумилева и от Георгия Иванова, что в кругу «аполлонцев», так строго и пристрастно судивших писателей-москвичей, Бориса Зайцева ценили и уважали, не в пример прочим «белокаменным» писателям и поэтам.

С Борисом Константиновичем Зайцевым я знакома не была, но читала и любила его «Голубую звезду». То, что его так нравящаяся мне повесть называется «Голубая звезда», а мой первый рассказ — «Падучая звезда», как бы устанавливало невидимую связь между нами, какое-то «звезда с звездой говорит».

В 1926 году, как я узнала из «Последних новостей», Борис Константинович должен был праздновать свой 25-летний юбилей<sup>1</sup>. Конечно, я непременно должна быть на юбилее автора «Голубой звезды». Тем более, что я там встречу с Буниным, выразившим желание познакомиться со мной...

Борис Константинович Зайцев оказался именно таким, каким я его себе представляла.

Глядя на него, я вспомнила картины Нестерова: нежные, трогательные, тонкие березки, и просвечивающееся лучистой голубизной бледное северное небо, и пятна талого снега на земле. Этот нестеровский пейзаж непонятным образом всегда служил ему фоном в моем воображении.

Борис Зайцев был как-то совсем по-особенному тихо-ласков и прост, аристократической, высокой простотой, дающей только избранным.

Как и полагается на юбилейном банкете, приветственные речи следовали одна за другой.

Бунин благосклонно выслушивал ораторов и благодарственно кивал им — будто все эти речи относились не к Зайцеву, а к нему. Но когда один из писателей срывающимся от волнения, плачущим, захлебывающимся голосом стал истово поздравлять Зайцева, Бунин, оглядев его с брезгливой улыбкой, процедил сквозь зубы:

— Врешь! Здесь не поминки! Плакать не полагается. — И так комично, передразнивая его, всхлипнул, что соседи покатались со смеху.

---

<sup>1</sup> От начала творческой деятельности (Примеч. ред.).

Я со своего места за столом не сводила с них обоих глаз. Они оба всецело поглощали мое внимание. Меня больше всего удивляло и притягивало их несходство, резкий контраст между ними — будто они не принадлежали к одной и той же семье писателей и их образ мыслей, занятия, интересы и уклад их жизни были диаметрально противоположны.

Но странно — чем дольше я глядела на них, тем яснее мне становилось, что не Бунин, а Зайцев здесь центр.

Бунин, несмотря на то что он явно старался играть первую роль, как-то начинал отступать на задний план, ступшеываться перед спокойным, ласково улыбающимся Зайцевым.

Перед самым концом банкета, когда присутствующие длинной вереницей потянулись к Борису Константиновичу с бокалами шампанского, Бунин, как будто сам почувствовав, что роль его окончена, встал со своего места и пересел на конец стола. Но я, хотя он сел совсем близко от меня, продолжала как очарованная смотреть на Зайцева. И любоваться им.

Как я жалела, что в тот вечер мне так и не удалось познакомиться с самим юбиляром. Мне очень хотелось поздравить его. Но подойти к нему я не решилась.

Познакомилась я с Борисом Константиновичем в том же году на одном из очередных «воскресений» у Мережковских, куда, правда, не слишком часто, приходил и он с Верой Алексеевной.

Это было особенно бурное собрание, похожее на стихийно взбунтовавшийся океан.

Ораторы старались перекричать друг друга, яростно споря.

Сам Мережковский, исходя вдохновеньем и широко раскрыв руки, казалось, поднялся на воздух и парил над этим неистово бушующим океаном, похожим на океан, когда-то поглотивший Атлантиду, ту Атлантиду, о которой здесь как раз и шла речь.

Мережковский, полузакрыв глаза, пророчествовал, как в забыты:

— Европа — Атлантида... Если мы не сумеем победить близнецов, двух величайших соблазнов: Эриса — войну, и Эроса — сладострастия, не преобразимся и не переродимся, нас всех ждет гибель! Неминуемая гибель!..

В эту минуту наивысшего нервного напряжения в столовую вошел, в сопровождении Злобина, Борис

Константинович. Вошел удивительно тихо и скромно, стараясь не прерывать Мережковского, ласково поклонился всем общим поклоном, поцеловал грациозно протянутую ему руку Зинаиды Николаевны и сел рядом с Мережковским на спешно уступленное ему одним из молодых участников дискуссии место.

И сразу, хотя Борис Константинович не произнес еще ни одного слова, волны океана, уже, казалось, готовые поглотить всех нас, улеглись.

Мережковский, как это ему было свойственно, резко оборвав свое пророчество, любезно обратился к Зайцеву:

— А Вера Алексеевна? Сегодня не придет? Жаль! Очень жаль, так и передайте ей. Забыла она нас совсем.

В дальнейшем разговоре Атлантида — Европа и наша общая гибель, если мы не сумеем победить Эриса и Эроса, больше не упоминались. Вместо них вспоминали литературную Москву начала века, и Зайцев уютно рассказывал о своих встречах с Чеховым.

В тот день — не в пример обычным «воскресеньям» — никто больше не спорил и не «скрещивал мечей красноречия».

Тогда это меня поразило! Зайцев одним своим присутствием внес покой в мысли и сердца сидевших за столом.

Даже Зинаида Николаевна, слушая Зайцева, ни разу не проронила своего знаменитого «А я не согласна!», не протестовала, а одобрительно кивала головой в знак согласия.

Мне и потом приходилось наблюдать, как присутствие Зайцева разряжало наэлектризованную, взвинченную атмосферу. При нем как будто невозможно было ссориться и даже страстно спорить.

Много лет спустя, уже после смерти Георгия Иванова, я стала сотрудничать в «Русской мысли». Мы каждую среду собирались в редакции, и я каждую среду встречалась там с Борисом Константиновичем.

В те годы, до самой смерти Водова, среды стали для меня праздничным днем — так приятны были эти собрания.

Борис Константинович, с удивительной в его почтенном возрасте легкостью осилив бесчисленное количество «крутых ступенек», первым делом отправлялся в кабинет бессменного секретаря Евгении Николаевны Рышковой — «Маркизы», как ее титуловали



все в «Русской мысли». И только обсудив с ней все литературные новости и события за истекшую неделю, Борис Константинович являлся в кабинет Водова, где уже все сотрудники и друзья «Русской мысли», во главе с Софьей Юлиевной Прегель, были в сборе и ожидали его.

Он всегда, здороваясь с Софьей Юлиевной, обменивался с нею традиционными дружескими поцелуями, а я неизменно приседала перед ним в реверансе, как перед членом императорской семьи, на что он отвечал мне чем-то тоже похожим на реверанс, наклоня голову и слегка подгибая колени.

Поздоровавшись со всеми, Борис Константинович передавал Водову папку с просмотренными им стихами и рассказами с собственноручными пометками — Д. или Н. — да или нет. После чего начинались бесконечные разговоры и обмены мнениями.

В редакцию на собрания «Русской мысли», превратившиеся при новом редакторе — Зинаиде Шаховской — из «сред» в «пятницы» и ставшие вместо еженедельных ежемесячными, Борис Константинович не переставал являться до самого последнего времени, мужественно преодолевая усталость, вызванную подъемом на шестой этаж.

Правда, теперь его доставляла на своем автомобиле его дочь, Наталья Борисовна Соллогуб, «идеал дочери», как я ее про себя прозвала, заставлявшая меня жалеть, что я не обзавелась потомством. Но, впрочем, кто знает, была бы моя дочь «идеалом дочери» и, выйдя замуж, подарила ли бы она мне такого заботливого и милого зятя, каким для Бориса Константиновича являлся А.В.Соллогуб.

В 1971 году Борис Константинович отпраздновал свое 90-летие. За 45 лет, отделявших этот юбилей от первого, он внешне изменился очень мало. Был чрезвычайно моложав — стройный и подвижный, ни седых волос, ни лысины, ни морщин. Только лицо его приобрело особое спокойно-благостное выражение и стало напоминать иконописные лики. Но его ласковая, легкая, иногда слегка лукавая улыбка была все та же.

Казалось, время мало касалось его. Казалось, он проживет еще долгие годы счастливой старости.

В предпоследний раз я встретилась с Борисом Константиновичем на свадьбе молодого литературоведа Ренэ Герра с русской девушкой Екатериной Андреевной Зербино.

На приеме, после венчания, устроенном в Морском

собрании, я сидела рядом с Борисом Константиновичем. Он был очень весел, оживлен, пил шампанское за здоровье молодых и не торопился домой.

— А как это у вас о старости? — неожиданно спросил он меня. — В вашем стихотворении в «Новом журнале»? Если помните — прочтите.

И я прочла:

Ведь старость — светлый вечер жизни —  
Несет с собою лампу Аладдина,  
Рассеивая скуку темных будней,  
Все превращая в торжество.

Он внимательно выслушал меня и медленно повторил:

— Ведь старость — светлый вечер жизни... Но редко кто понимает, что старость хороша... Даже очень хороша...

\* \* \*

Я очень любила и высоко ставила Бальмонта. Но Гумилев разъяснил мне, что это ошибка, добавив все же, что в прошлом у него большие заслуги. «Это он, — говорил Гумилев, — открыл для читателей сокровищницу мировой поэзии, хотя его перевод из рук вон плох. Конечно, он также внес в русское стихосложение всевозможные изощренности, и это он первый, а не я, пригласил Музу дальних стран на пир русской поэзии. Я ведь только видел “Чужое небо” Африки, а он видел десятки Чужих небес.

Но, — со вздохом продолжал Гумилев, — все это было давно. Теперь он попросту графоман, страдающий болезнью недержания стихов. Его будущее в его прошлом. Чтобы продолжать любить его стихи, никогда не надо заглядывать в его новые книги».

Такого же мнения, к сожалению, придерживался и Блок, хотя стихи Бальмонта с годами становились не только не хуже, а даже лучше.

В моей молодой жизни Бальмонт сыграл очень большую роль. Он был первый поэт-модернист, очаровавший и потрясший меня. В его стихах я впервые почувствовала что-то совсем новое, какое-то дуновение потустороннего мира, какие-то отголоски ангельского пения, меня околдовавшие. Я просто бредила его стихами и постоянно шепотом повторяла их, разыгрывая на рояле

скучные упражнения Черни. Перед сном и просыпаясь, я с наслаждением повторяла:

Заводь спит. Молчит вода зеркальная.  
Только там, где дремлют камыши,  
Чья-то песня слышится печальная,  
Как последний вздох души.

Это плачет лебедь умирающий,  
Он с своим прошедшим говорит,  
А на небе вечер догорающий  
И горит и не горит... —

и, дочитав «Лебеда», переходила к стихам:

У Моря ночью, у Моря ночью  
Темно и страшно, хрустит песок,  
О как мне больно у Моря ночью.  
Есть где-то счастье, но путь далек... —

а потом непременно к магически действовавшим на меня «Камышам»:

Полночной порою, в болотной глуши  
Чуть слышно, бесшумно шуршат камыши.  
О чем они шепчут? О чем говорят?  
Зачем огоньки между ними горят?

Мигают, играют и снова их нет.  
И снова забрезжил мигающий свет.  
Полночной порой камыши шелестят...

Но дальше я не шла, и следующей строчки —

В них жабы гнездятся, в них змеи свистят —

не произносила, так как панически боялась жаб и змей.

Они казались мне совершенно неуместными в этих волшебных стихах. Так уже в свои девять лет я позволяла себе «свое суждение иметь», как заправский критик.

Но в своем выборе стихотворений Бальмонта я оригинального вкуса не проявляла — Бальмонта для меня открыл мой двоюродный брат-студент, и я восхищалась теми же стихами, что и он, и вся тогдашняя молодежь, особенно женская ее половина. Тут были и «Я мечтою ловил уходящие тени», и «Скользят стрижи в лазури не-

ба чистой», и «В моем саду мелькают розы красные», а также и «Она отдалась без упрека», хотя, конечно, я не понимала, что это, собственно, может значить, но мое непонимание придавало еще большую прелесть и какую-то особую остроту этому стихотворению.

Уже став студийкой, я постоянно приставала к Гумилеву с расспросами о Бальмонте, и он много рассказывал мне о нем. Вот один из его рассказов — о том, как Бальмонт стал поэтом.

Случилось это — по словам Гумилева — в 1895 году. Бальмонт, тогда еще никому не известный, несмотря на бесчисленные переводы, которыми он наводнял редакции журналов и издательства, жил почти впроголодь, перебивался с хлеба на квас. Он отличался чудовищной работоспособностью и столь же чудовищной влюбчивостью.

Его донжуанский список был так же велик, как и список его переводов. Женщины покорялись ему безропотно и сразу. Он гипнотизировал их, как удав кролика, и считал свои победы совершенно естественными. Все же нашлась одна, не поддавшаяся его чарам, что привело его в бешенство, а затем и в отчаяние, доведшее до попытки самоубийства.

В полубезумном состоянии он выбросился из окна своей комнаты на третьем этаже, выходявшей во двор. Как раз под этим окном находилась мусорная яма. В нее-то и угодил Бальмонт. Большого вреда падение ему не принесло. Он только набил себе на голове огромную шишку. И тут произошло чудо. Эта чудодейственная шишка и сделала прозаика Бальмонта поэтом.

Когда его подобрали и в бессознательном состоянии принесли в комнату и уложили в постель, он открыл глаза и вдруг, к ужасу окружающих, заговорил гладкими, певучими стихами. А потом тут же потребовал перо и бумагу и, не теряя времени, стал писать одно стихотворение за другим. Так и продолжает по сей день — почти безостановочно. Кроме стихотворного дара, мусорная яма сделала ему еще один подарок. Он стал слегка прихрамывать, что, по его мнению, роднило его с Байроном. Впрочем, в его хромоту, как и в его предка «Белого лебедя», мало кто верил — он прихрамывал то справа, то слева, а когда хорошенько выпивал, что с ним случалось постоянно, переставал хромать совершенно.

Этот саркастический рассказ, конечно, просто легенда, как и многое другое, что рассказывали о Бальмонте.

На самом же деле все было совсем не так. Правда, в

1895 году Бальмонт после первого, крайнего неудачного брака, истерзанный и вконец исстрадавшийся, действительно решил покончить с собой и выбросился из окна третьего этажа. Он разбился почти насмерть и оправился лишь через год, проведенный в постели. За этот год он, правда, очень изменился и написал много стихов в совсем новом стиле. Но стихи он писал с самого детства, с восьми лет. Все это я узнала только теперь, а прежде верила, как и многие другие, в «чудодейственную шишку».

«Темен жребий русского поэта». Да, бесспорно. Но в этом «темном жребии поэта» почти всегда — трагические события и обстоятельства, тогда как в «темном жребии» Бальмонта они не играли главной роли. Молниеносно прославившись в 1894 году на всю Россию своей второй книгой стихов «Под северным небом» (первая, «Сборник стихотворений», изданная Бальмонтом на собственный счет, прошла незамеченной), он стал настоящим кумиром не только читателей, но и поэтов и критиков.

Брюсов, с которым он познакомился в том же году, впоследствии признавался, что встреча с Бальмонтом была одной из самых значительных в его жизни. Бальмонт — по его словам — имел на него огромное, благотворное влияние и многое открыл ему в поэзии.

Новые ритмы, игра аллитераций, необычайные напевы стихов Бальмонта буквально всех ошеломили. Каждая новая книга Бальмонта — а выпускал он их очень часто — вызывала все большие восторги. Бальмонт стал действительно властителем дум и душ того времени. Критика превозносила его до небес и ждала от него еще бесконечно многого. Сборник «Только любовь», появившийся в 1903 году, был встречен обычным хором славословий. Никому тогда в голову и прийти не могло, что так высоко поднявшаяся звезда Бальмонта скоро померкнет. Все были уверены, что она, разгораясь все больше и больше, будет еще ослепительней заливать и преобразовать своим магическим светом русскую поэзию.

Но что-то случилось. Спуск на тормозах славы Бальмонта начался именно со сборника «Только любовь». В читательских кругах им продолжали восторгаться и восхищаться, но критики и поэты с этого времени стали заметно охладевать к нему. Безудержное поклонение Бальмонту длилось недолго. «Литургия красоты» уже не вызывала прежних славословий и даже разочаровала. Стали говорить, что Бальмонт начал исписываться, что

«Только любовь» была его последней гениальной вспышкой.

«Жар-птица», появившаяся в 1907 году, — возврат к былинным темам и героям — вызвала уже не только разочарование, но даже возмущение. Брюсов в «Весах» резко осудил Бальмонта за желание улучшить былины, переделать их на современный вкус, нарядив Илью Муромца и Садко в пиджачную пару декадентов, и негодовал на то, что Бальмонт посмел заменить былинный, народный язык гладким, сладкозвучным, да к тому же еще и рифмованным стихом.

Хотя Амфитеатров и продолжал утверждать, что Бальмонт — «самая большая и оригинальная сила в русской поэзии», и Блок хвалил Бальмонта за «превращение некоторых бедных легенд в бриллианты», говоря, что Бальмонт, став проще, сохранил всю свою магию (мнение, которое он впоследствии, к сожалению, изменил), никто уже из поэтов и критиков не соглашался с ними. Но Бальмонт, несмотря на перемену отношения к нему, продолжал свою ураганную деятельность и выступал на поэтических вечерах, всегда проходивших с огромным успехом. Особенно им восхищалась молодежь. Его популярности очень способствовало его революционное настроение. Он открыто читал на студенческих вечерах свои «Песни мстителя». Он не только не скрывал своих революционных взглядов, но даже бравировал ими. Слух о них наконец дошел и до правительственных кругов. В 1907 году Бальмонту было предложено покинуть пределы России, на что он ответил отказом, ссылаясь на отсутствие средств. Тогда ему была ассигнована сумма в две тысячи рублей, обеспечивавшая его отъезд с женой и дочерью Миррой. Об этом мне уже в 1919 году рассказывал Гумилев, удивлявшийся мягкости царского правительства:

— Нет, вы подумайте! Теперь бы его за распеванье таких песен к стенке поставили. А тогда только вежливоенько попросили уехать, да еще снабдили прогонными!..

На прощальном обеде поэты, провожавшие Бальмонта в ссылку, по словам Брюсова, плохо скрывали удовлетворение, вызванное его насильственным отъездом. Бальмонт успел многим надоесть и со многими рассориться.

Он часто бывал высокомерным и резким.

Бальмонт с семьей поселился в Париже, где с удвоенной энергией продолжал писать стихи и делать переводы. Горький, которому он посылал свою огромную про-

дукцию, оплачивал ее всю, но печатал лишь небольшую часть ее в своем «Знании».

В Петербурге и Москве по-прежнему выходили книги ссыльного поэта — «Зовы древности», «Из чужеземных поэтов» и т.д. Но поэтическая репутация Бальмонта продолжала идти на убыль.

В те годы Бальмонт носился по всему миру, совершил второе кругосветное путешествие, и, как он сам говорил, «на всех морях мечту баюкал звоном». Он бывал в Париже только между очередными путешествиями, привозя с собой груды новых стихов.

В 1912 году был скромно отпразднован в его отсутствие его литературный юбилей. На нем вместе с другими ораторами выступили Блок и Вячеслав Иванов с речами, сдержанно хвалебными. В том же году ему позволили вернуться, несмотря на то что он издал в Париже свои «Песни мстителя».

5 мая большая толпа, в которой преобладали женщины и студенты, на Брестском вокзале встречала ссыльного поэта. Ему поднесли красные розы, но тут до речей не дошло.

Через несколько дней в Московском художественном кружке ему был устроен торжественный прием. Бальмонт, сияя золотистыми кудрями, спадавшими ему на плечи, с зелеными глазами, черным галстуком-бантом и изумрудом, вколотым в него, торжественно делился со слушателями своими мексиканскими впечатлениями и стихами и принимал поздравления.

Все шло прекрасно, как вдруг из задних рядов раздался громоподобный бас Маяковского: «Константин Дмитриевич, позвольте и мне поздравить вас от лица ваших врагов». За «поздравлением» последовала издевательская речь, высмеивающая стихи Бальмонта и его самого. Бальмонт, не теряя хладнокровия, с улыбкой выслушал Маяковского и ответил ему экспромтом, в котором высказал сожаление, что принять «поздравление» не может, так как он поэт, а у поэтов врагов не бывает.

Это, конечно, не соответствовало истине — у Бальмонта по возвращении домой врагов было очень много.

Русская поэзия ко временам возвращения Бальмонта из ссылки, то есть к 1912 году, сильно изменилась и не переставала меняться. Все новые поэты — Кузмин, Игорь Северянин, Осип Манделштам. Гумилев — глава акмеизма — вершил судьбами поэтов в «Аполлоне». Восходило беззакатное солнце Ахматовой. Футуристы, имажинисты и прочие новаторы неистово скандалили. Блок приобрел все больше поклонников...

Между поэтами разных направлений шла беспре-  
рывная борьба. Бальмонт, не принадлежавший ни к од-  
ному из этих направлений, как ни странно, стал мише-  
нью для ударов и слева, и справа. На него все дружно об-  
рушивались. Чуковский громил его переводы, особенно  
переводы из Шелли. Эгофутуристы — к ним тогда при-  
надлежал и совсем юный Георгий Иванов — печатно  
возмущались в своем альманахе тем, что «глупая публи-  
ка все еще считает Бальмонта великим поэтом». Даже  
Розанов счел возможным присоединить свой голос к  
хору хулителей Бальмонта, уверяя, что у Бальмонта во-  
все нет души, а только — вместо нее — мешок, набитый  
африканскими, индийскими, цейлонскими и тому по-  
добными одеждами, в которые он и наряжает свою пус-  
тоту.

Такое отношение к Бальмонту в поэтических кругах  
продолжалось до самой революции.

Бальмонт радостно приветствовал революцию. Как  
бывший «борец за свободу», он был вправе ожидать  
больших наград, почестей и признания своих заслуг пе-  
ред революцией. Но его ждало горькое разочарование  
— торжествовали его враги футуристы, имажинисты,  
ничегоки и весь тогдашний авангард поэзии. Они  
«сбрасывали Пушкина с корабля современности», рас-  
клеивали по Москве афиши, извещавшие о смерти Ах-  
матовой, кричали Блоку на его выступлениях в Доме  
литераторов:

— Мертвец! Мертвец! В могилу пора!

Конечно, они не щадили и Бальмонта, проявляя к  
нему еще большую ненависть и презрение, чем к Блоку,  
— все это под снисходительным взглядом председателя  
Московского союза поэтов Брюсова, галантно расшар-  
кивавшегося перед ними.

Первые годы революции, проведенные Бальмонтом  
в Москве, были для него чрезвычайно тяжелы. Он холо-  
дал и голодал в своем кабинете, стараясь как можно ре-  
же покидать его, — все остальные комнаты его кварти-  
ры были «уплотнены». Встречался он только с одной  
Мариной Цветаевой, еще более обездоленной, чем он.

К счастью, эстет Луначарский чувствовал к Баль-  
монту большую симпатию и выхлопотал ему временное  
разрешение на поездку за границу, не подозревая, что  
Бальмонт собирается эмигрировать.

Прибыв в Париж, Бальмонт поселился с женой и  
дочерью Миррой в более чем скромном отеле на площа-  
ди Данфер-Рошере и зажил по-беженски.

Вскоре он сблизился с группой молодых поэтов —



один из них проживал в том же отеле, что и Бальмонт. Эти молодые поэты относились к нему с большим уважением и считали его настоящим мэтром. Бальмонт «воспрял духом» и принялся мечтать об объединении эмигрантов, желая стать первым поэтом. И это тогда казалось вполне возможным. Он с большим успехом выступал на вечерах молодых поэтов, уже образовавших свой собственный союз.

Слушатели горячо принимали его. Конечно, это не были триумфы его выступлений в тысячеместном зале Московского политехнического, не вмещавшем всех его поклонников и поклонниц, но это же был настоящий успех и полный контакт с аудиторией — восторженные аплодисменты, бесконечные вызовы.

Его стихи, особенно стихи о России, трогали и волновали. Они и сейчас не потеряли своей свежести и обаяния и могли быть написаны и в наши дни.

## ПРИМИРЕНИЕ

От тебя труднейшую обиду  
Принял я, родимая страна,  
И о том пропел я панихиду,  
Чем всегда в душе была весна.

Слово этой пытки повторю ли?  
Боль была. Я боль в себе храню.  
Но в набатном бешенстве и гуле  
Всё, не дрогнув, отдал я огню.

Слава жизни. Есть прорывы злого,  
Долгие страницы слепоты.  
Но нельзя отречься от родного,  
Светишь мне, Россия, только ты.

Но тут опять что-то случилось, и звезда Бальмонта, начавшая вторично подниматься и ярко сиять, снова померкла. Он, как когда-то в России, и здесь, за рубежом, «просиял и погас», на этот раз уже окончательно.

Как это ни грустно и ни обидно, в его вторичном, окончательном крушении-погашении главную роль сыграл Георгий Адамович.

Адамович в те годы только начинал свою карьеру первого зарубежного критика, но уже совместно с Георгием Ивановым «царил» на Монпарнасе среди молодых

поэтов, и мнение его, как и мнение Георгия Иванова, было для них законом.

К Бальмонту и Адамович, и Георгий Иванов относились довольно сдержанно, но, в сущности, ничего против него в роли, которую он собирался играть в зарубежье, мечтая объединить его и стать его «певцом», не имели и мешать ему не собирались. До того трижды злосчастливого дня, когда Адамович, случайно встретившись с Бальмонтом в редакции «Последних новостей», где они оба сотрудничали, завел с ним спор об иностранной литературе, вскоре принявший неприятный оттенок. Бальмонт, обладавший исключительной эрудицией, прочитавший тысячи книг на языках всего мира, открыто высказал свое удивление неосведомленностью в этой области Адамовича, хорошо знавшего лишь французскую литературу и французский язык.

По уходе Адамовича из редакции он громко и возмущенно заявил находящимся в ней сотрудникам, что считает Адамовича «недоучившимся лопухим гимназистом», с тех пор так всегда и называл его, но, в сущности, скорее добродушно.

К сожалению, это прозвище сразу же было передано Адамовичу. Адамович был крайне самолюбив и обид никогда никому не прощал, хотя и скрывал это тщательно, уверяя, что он «совершенно безразличен к хвалам и хулам».

Бальмонта он тогда же возненавидел и стал вредить ему где только мог.

За Бальмонта Адамович взялся энергично, решив его уничтожить. Он объявил его в своих критических статьях графоманом, у которого и в прошлом не было никаких заслуг, к тому же внесшим в русскую поэзию тлетворную «бальмонтовщину», от которой раз навсегда надо отделаться.

Молодые поэты Монпарнаса подхватили его слова и не только охладели, но и начисто отвернулись от Бальмонта. И даже стали смеяться над ним. Анекдотов, высмеивающих Бальмонта, в те годы было немало.

Вот один из них: «Бальмонт пишет стихи почти без передышки и сразу начисто, на пишущей машинке — черновики у него нет. Утром, выпив кофе, он, как полагается по его программе, настукивает три стихотворения, потом идет завтракать, а когда после завтрака снова усаживается за машинку, возле нее лежат уже не три, а шесть стихотворений — три из них нащелкала сама пишущая машинка, и он не знает, которые принадлежат

ему, которые ей, и все их вместе посылает в редакции журналов».

В то, что Бальмонт «нащелкивает» свои стихи начисто, без поправок и переделок, верили все. В этом отчасти виновато его стихотворение, написанное им еще в 1905 году:

### КАК Я ПИШУ СТИХИ

Рождается внезапная строка,  
За ней встает немедленно другая,  
Мелькает третья ей издалика,  
Четвертая смеется, набегая.

И пятая, и после, и потом,  
Откуда, сколько, я и сам не знаю,  
Но я не размышляю над стихом  
И, право, никогда — не сочиняю.

В действительности это не соответствовало истине. Бальмонт бесспорно обладал совершенно исключительным «песенным даром», и у него часто появлялись стихи «вот так, из ничего», будто слетая к нему с неба, но иногда он их и «сочинял», долго работая над ними, иначе как мог бы он «сочинить» столько безукоризненно правильных, прекрасных сонетов, ведь сонет — одна из труднейших и сложнейших форм стихосложения, требующая не только мастерства, но и работы. А Бальмонт сочинял не только сонеты, но и венки сонетов — с ними без усидчивого труда — знаю это по моему собственному стилистическому опыту — справиться невозможно.

А отсутствие черновиков Бальмонта — их, кажется, действительно не существовало — объясняется тем, что он проделывал всю работу над стихами в голове и записывал их уже готовыми. (Так, впрочем, по ее собственным словам, «творила» и Ахматова.)

Бальмонта, с нележкой руки Адамовича, постоянно упрекали в пустозвонстве и пустословии его новых стихов, на самом же деле они становились все лучше, и Бальмонт относился к ним гораздо ответственнее, чем в далекую эпоху «Горящих зданий», «Будем как Солнце» или «В тишине», утверждая, что надо писать стихи только тогда, когда на самом деле есть что сказать. А «что сказать» с годами у него было все больше, и он все лучше «говорил» и писал.

Бальмонт тяжело пережил охлаждение к себе и крушение своей мечты стать первым поэтом зарубежья. Он, как когда-то в Москве, ушел в себя, перестал выступать на вечерах. Старался как можно чаще уезжать в Бретань, на берег океана, где, как он сам говорит о себе в стихотворении «Забытый»:

Я в старой, я в седой, в глухой Бретани,  
Меж рыбаков, что скудны, как и я.  
Но им дается рыба в океане,  
Лишь горечь брызг — морская часть моя.

Отъединен пространствами чужими  
Ото всего, что дорого мечте,  
Я провожу все дни, как в сером дыме,  
Один. Один. В бесчасьи. На черте.

Да, он действительно там жил «один в бесчасьи». На черте жизни, отчаяния и смерти.

Что это не пустозвонные слова, а правда, я убедилась, когда в первый и последний раз встретила с Бальмонтом.

Случилось это на одном из очередных «воскресений» у Мережковских. То «воскресенье» было совсем обыкновенное, ничего особенно интересного не обещающее. Обычные посетители его сидели на своих местах в полном составе, за исключением одного Адамовича, уехавшего на Пасху в Ниццу, вокруг длинного стола и пили чай — тут, как всегда, были Фрейдентштейн, Терапиано, Лидия Червинская, Мамченко, Георгий Иванов, сидевший со стороны правого, лучше слышавшего уха Зинаиды Николаевны, и прочие. Вокруг Мережковского, как всегда, велись дискуссии и диспуты об Атлантиде, о материке Май, разбирались прошлый доклад и обсуждалось будущее «Зеленой лампы». Все как всегда. Вдруг звонок. Злобин идет открывать дверь: «Наверное, Ильюша, он обещал».

Зинаида Николаевна с приветливой улыбкой наводит лорнет на дверь, ведущую из прихожей в столовую. Ильюша — И.И. Фондаминский, здесь он всегда желанный гость. Но это не он. В столовую в сопровождении Злобина входит совсем не знакомый мне довольно странного вида человек с длинными золотистыми волосами до плеч, маленькой острой бородкой, с артистическим галстуком-бантом. Он держится очень прямо, гордо закинув голову, но движения его связаны и весь он какой-то растерянный.

Приветственная улыбка Зинаиды Николаевны становится слегка насмешливой.

— Вот это кто, — тянет она капризно, протягивая ему высоко поднятую для поцелуя руку, — наконец небожитель вспомнил о нас, смертных, и спустился к нам! Давно пора!

Я смотрю во все глаза на вошедшего.

— Это Бальмонт, — шепчет мне мой сосед Фрейденштейн.

Бальмонт? Неужели? А я почему-то думала, что он совсем другой, гораздо старше, седой, самоуверенный и заносчивый. А он кажется даже немного застенчивым. И, поздоровавшись с Мережковскими, отвешивает всеобщий поклон и садится на принесенный Злобиным стул.

Появление его только на минуту прервало вдохновенную речь Мережковского. Он уже снова говорит. Бальмонт молча слушает его и пьет чай со слегка обиженным видом. Никто не обращает внимания. Диспут продолжается, будто Бальмонта здесь нет.

Он сидит так тихо и скромно, а я слышала, что, где бы он ни был, сейчас же вынимает из кармана записную книжечку со стихами и начинает их читать, зачитывая присутствующих до полуобморочного состояния. Значит, и это неправда, как многое, что говорят о нем.

Мне очень хочется послушать, как он читает стихи, но я сижу далеко от него и не решаюсь обратиться к нему через весь стол.

Теперь разговор идет уже не о докладе в «Зеленой лампе», а об Индии, и в нем принимает участие и Бальмонт. Просто и ясно формулируя свои мысли, он рассказывает о священных коровах, об ашрамах, о Ганге. Без жестикуляций и «цветов красноречия», которые ему всегда приписывают. Терапиано задает ему вопросы, и он умно и дельно на них отвечает. Все, даже Мережковский, слушают его с интересом. Но уже семь часов, и пора уходить. Зинаида Николаевна провожает гостей до прихожей.

— Вас, Константин Дмитриевич, — говорит она Бальмонту, — я не прошу заходить. Вы все равно больше к нам не заглянете — знаю. Но за то, что вспомнили о нас, — спасибо.

— Я пришел проститься, — объясняет он. — Я завтра уезжаю в Бретань...

— И вдруг мы не увидимся больше никогда, — кончает она его фразу. — Ведь каждая разлука навсе-

гда. Значит, прощайте, до свиданья в этом или в том мире.

Мы все спускаемся по лестнице и выходим на улицу.

Я подхожу к Бальмонту.

— Константин Дмитриевич, мне жаль — до чего жаль, что вы не читали ваших стихов, мне так давно хотелось послушать вас.

— Правда? Отчего же вы не сказали? Я бы с удовольствием...

Он пристально смотрит на меня. У него действительно, как рассказывают, зеленые глаза, очень блестящие, молодые. Он совсем другой, чем там, у Мережковских, — оживленный, помолодевший, улыбающийся, вдохновенный. Он, взмахнув рукой, снимает шляпу. Закатное солнце освещает его длинные золотистые волосы, превращая их в сияние.

— Это можно исправить, — быстро говорит он; теперь и голос его звучит иначе, чем там, у Мережковских, более звучно и певуче, — я готов читать вам стихи сколько хотите. Зайдемте в кафе. Или лучше поедemте ко мне. Я весь вечер буду вам читать, весь вечер, всю ночь, сколько хотите.

— Но я, к сожалению, занята. Мы должны идти обедать к знакомым. Я тороплюсь. Мне надо еще переодеться дома.

Он явно огорчен.

— Неужели вы не можете, не хотите? Ведь я завтра уезжаю в Бретань. Придется отложить на потом, и это плохо. Как говорила Гиппиус, каждая разлука навсегда. Откажитесь от обеда ради меня.

Георгий Иванов берет меня под руку.

— Нет, Константин Дмитриевич, отказаться никак нельзя. Будем надеяться, что эта разлука не навсегда. Вы приедете к нам или мы к вам, когда вы вернетесь. А сейчас, простите, мы спешим. Мы и так уже опаздываем.

— Что же, раз нельзя, — разочарованно произносит он, — значит, не судьба. Прощайте.

— Кланяйтесь океану, — говорит Георгий Иванов. — Счастливого пути.

Бальмонт пожимает плечами.

— Путь вряд ли будет счастливым. Счастья у меня давно ни в чем нет. Сплошное несчастье, вернее, горе. А океану поклон передам. Я рад, что уезжаю на океан. Там хорошо — такое одиночество, такая тоска.

Я протягиваю ему визитную карточку:

— Вот наш адрес и телефон. Непременно известите меня, когда вы вернетесь. Непременно. Обещаете?

Он кивает.

— Обещаю, хотя, может быть, и не сдержу обещания. Там видно будет.

— Нет, пожалуйста, пожалуйста, — настаиваю я. Мы прощаемся и расходимся. Мы налево, он направо к метро.

Я смотрю ему вслед. Мне вдруг становится его страшно жаль.

Такой одинокий, такой несчастный. Мне хочется догнать его, сказать, как я рада, что познакомилась с ним, как люблю его стихи и его самого. «Непременно, непременно пойду к нему, как только он вернется», — обещаю я себе. И все ему скажу.

Но я не пошла к нему, и он не пришел к нам. Я даже не знаю, была ли я в Париже, когда он вернулся из Бретани...

Уже потом, перед самой войной, я слышала, что он серьезно болен нервной депрессией и был даже помещен в клинику для душевнобольных. В их роду была тяжелая наследственность — его старший брат сошел с ума и умер совсем молодым.

Во время оккупации Бальмонт поселился в Нуазиле-Гран в русском общежитии матери Марии, где и умер в декабре 1942 года.

На похоронах его ни поэтов, ни поклонников не было.

Шел сильный дождь. Когда гроб стали опускать в могилу, она оказалась наполненной водой, и гроб всплыл. Его пришлось придерживать шестом, пока засыпали могилу.

\* \* \*

Это было на юбилее Бориса Константиновича Зайцева в 1926 году.

Мы, то есть Георгий Иванов и я, приехали нарочно из Ниццы, где проводили зиму.

Мне уже не казалось тогда, как на берегах Невы, что в жизни главное — и даже единственное — поэзия. Я убедилась, что существует еще немало удовольствий и глупо отказываться от них.

Стихов я почти не писала. Зачем? Раз они никому здесь не нужны. «Хоть собственной кровью на скале, на необитаемом острове», как говорил Рескин. Роман-

тическое преувеличение. Стихи надо писать для современников, а не для проблематических потомков. Можно ли быть уверенным, что потомки найдут, прочтут и оценят мои стихи?

Гораздо проще перестать писать их. Я так и делала.

Но ничего не писать оказалось мне все же не по силам. И вот в одно январское утро я совершенно неожиданно для себя написала рассказ «Падучая звезда».

Написала прямо начисто, почти без помарок — к своему собственному удивлению и к еще большему удивлению Георгия Иванова, одобдившего его.

Через два дня «Падучая звезда» была отправлена в Париж, в литературное приложение «Последних новостей», еженедельную газету «Звено». А через двенадцать дней уже появилась в ней.

Так началась моя прозаическая карьера.

Странное и, казалось бы, труднообъяснимое явление, много раз наблюдаемое мной: начинающие, никому еще не известные и — к чему скрывать — слабые писатели и поэты получают гораздо больше читательских писем, чем знаменитые.

Может быть, читатели боятся писать знаменитостям, они заранее уверены, что ответа не будет. Не знаю. Но и я на свой первый рассказ получила три отклика.

Два от читателей, третий от... Бунина! Бунин прислал открытку редактору «Звена» Винаверу с очень похвальным отзывом о моей «Звезде». Заканчивалась она так: «Кто такая Ирина Одоевцева? Пожалуйста, передайте ей мой привет и скажите ей, что я хочу с ней познакомиться».

И под твердым четким росчерком — Ив.Бунин — приписка: «Я слышал, что она прелесть какая хорошенькая».

Конечно, эта приписка сильно умаляла лестный отзыв о моем рассказе. А если бы я была длинноногая, горбатая старая дева?

Все же, несмотря на приписку, мне было очень приятно, что Бунину понравился мой рассказ и он хочет познакомиться со мной.

В Париже мы побывали на воскресном завтраке у Винавера, где еженедельно собирались сотрудники «Звена», а вечером отправились на юбилей Зайцева.

В тот вечер, хотя я и привыкла в Петербурге к знаменитым поэтам и писателям, я все же волновалась.

Не из скромности или застенчивости — в те годы я была гораздо самоувереннее, чем сейчас, ведь я (может



быть, и не по заслугам) была очень избалована успехом.

Волновалась я, как всегда перед знакомством с большим поэтом или писателем, оттого, что они все своим внешним обликом разочаровывали меня.

Исключение из этого правила составляли только Ахматова и Блок. Все остальные, включая и Алексея Толстого, и Марину Цветаеву, с которой я познакомилась в Берлине в двадцать третьем году, с первого взгляда составляли меня пожалеть, что я с ними встретилась, — ах, лучше бы я их не видела совсем!

Я, как та девочка в анекдоте, могла написать: «Папа! Я видела льва, но он не похож».

Неужели и эти львы окажутся «непохожими» и я опять почувствую разочарование?

Но на этот раз я не испытала ни огорчения, ни разочарования: Борис Константинович Зайцев оказался именно таким, каким я его себе представляла.

Борис Зайцев был как-то совсем по-особенному тихо-ласков и прост. Прост той высокой простотой, дающей только избранным, которую никаким воспитанием приобрести нельзя.

Бунин рядом с ним казался как бы его прямой противоположностью: необычайно величественный, гордый, даже надменный.

Он был среднего роста, но держался преувеличенно прямо, горделиво закинув голову. И от этого или оттого, что он был очень строен, казался высоким.

Его красивое, надменное лицо выражало холодное, самоуверенное спокойствие, но светлые глаза смотрели зорко, пристально и внимательно и, казалось, замечали и видели все — хоть на аршин под землей.

Он сидел возле Зайцева. И можно было подумать, что не скромно-ласковый Борис Константинович, улыбающийся светлой улыбкой всем и каждому, а он — юбиляр.

Меня повел знакомить с Буниным Винавер.

— Иван Алексеевич, это и есть Ирина Одоевцева. Она, чтобы исполнить ваше желание, приехала из Ниццы.

Бунин подал мне руку и не спеша оглядел меня пристальным, холодным взглядом с головы до ног, задержав взгляд на ногах.

Винавер кивнул мне:

— Ну, оставляю вас на попечение Ивана Алексеевича, — и отошел от меня, а Бунин продолжал бесцеремонно меня разглядывать.

— А вы, — заговорил он слегка насмешливо, — видно, не из трусливого десятка. Ведь от моего взгляда, как

от взгляда Иоанна Грозного, робкие женщины в обморок падают. А вы даже не смутились и не покраснели. Все же, сознайтесь, сердечко-то вот как стучит!

И, не дав мне ответить, продолжал:

— Сохраните мою открытку. Не теряйте ее. Она вам может пригодиться как аттестат. Бунин своих похвал зря не раздает.

И вдруг неожиданно обворожительно улыбнулся и начал уже совсем другим, потеплевшим дружелюбным тоном расспрашивать меня обо мне и давать мне литературные советы.

— Главное — пишите только о страшном или о прекрасном. Как хорошо ни изобразите скуку, все равно скучно читать. Только о прекрасном и страшном — запомните.

Мы стояли посреди зала. Я видела, что многие прислушивались к словам Бунина и что он отлично сознает это и потому говорит так громко и внятно — для слушателей-поклонников. Было ясно: Бунин внушал им такое почтение, что приблизиться к нему никто из них не решался.

Так мы разговаривали довольно долго, пока Вера Алексеевна Зайцева (ее я тоже видела впервые), наряженная, гибкая, как ветка ивы, и вся как будто сверкающая от переполняющей ее жизнерадостности и внутреннего огня, не подошла своею легкой походкой и решительно не взяла его под локоть:

— Ну, хватит, Иван! Довольно тебе мелким бисером рассыпаться перед молодой писательницей. Ты и так уже в лоск очаровал ее. Она эту встречу с тобой, поверь мне, на всю жизнь запомнит. Идем! — и она, грациозно помахав мне рукой, увела его.

Да, Вера Алексеевна оказалась права. Эту встречу я на всю жизнь запомнила. Каждый взгляд, каждое слово, сказанное в тот вечер Иваном Алексеевичем.

Впоследствии нам, то есть Георгию Иванову и мне, часто приходилось встречаться с Буниным и бывать у него и Веры Николаевны.

Он был неизменно мил с нами и очень забавно передразнивал мою картавость.

Впрочем, передразнивал он не только меня, но и всех друзей и недругов, дарил «всем сестрам по серьгам», как он сам говорил, рассыпая искрометно блестящие карикатурные портреты.

Он был на редкость замечательным собеседником и рассказчиком. В его присутствии просто нельзя было себе представить, что такое скука.

Он все видел как-то по-своему и находил для всего новые, неожиданные сравнения и определения.

Однажды, проходя с Галиной Кузнецовой (жившей тогда у Буниных) и мною по улице Пасси, он указал нам на сидевшую на тротуаре собаку.

— Посмотрите, какой у нее провинциальный вид! Сразу видно — не парижанка.

— У собаки провинциальный вид, — повторила я.

Он быстро повернул ко мне голову.

— Нравится вам? Так берите себе. Я вам дарю для рассказа собаку с провинциальным видом. Мне не жалко. Я царски богат.

Кстати, о блистательной правильности русской речи. Бунин требовал, чтобы говорили: «у вас хороший или плохой вид», и считал «вы хорошо или плохо выглядите» недопустимым.

В домашнем быту Бунин сбрасывал с себя все свое величие и официальность. Он умел быть любезным, гостеприимным хозяином и на редкость очаровательным гостем, всегда — это выходило само собой — оставаясь центром всеобщего внимания.

Он бывал естествен, весел и даже уютен. От величественности не оставалось ни малейшей тени.

Но когда ему это казалось нужным, он сразу, как мантию, накидывал на себя всю свою величественность.

Много лет спустя — во время поездки в Стокгольм, которую так неподражаемо описал Андрей Седых в своей книге «Далекие близкие» и где Бунин как будто живет и дышит на каждой странице, Бунин сумел поразить и шведов.

Вера Николаевна Бунина-Муромцева рассказывала мне, что присутствовавшие во дворце при вручении ему Густавом V Нобелевской премии восхищались тем, с каким достоинством Бунин держал себя и как великолепно кланялся.

— Когда наш король протянул Нобелевскому лауреату руку и тот пожал ее, нам всем показалось, что два короля приветствуют друг друга. Да! Такого писателя никто из нас здесь не видел. И вряд ли когда-нибудь увидит.

После этой первой встречи мы стали часто встречаться в Париже.

Своим званием академика Бунин очень, даже чрезмерно, гордился. В литературных кругах звание акаде-

мика не пользовалось особым уважением. Рассказывали, смеясь, что Бунин, представляясь, важно произносил:

— Академик Бунин.

И уже в эмиграции злые языки уверяли, что он в Париже завел себе визитную карточку: «Ivan Bounin Immortel»<sup>1</sup>.

Этому я не очень верю, хотя некоторые клялись и божились, что «видели» ее не раз. Но что Бунин придавал чрезвычайно большое значение званию академика, подтверждается рассказом Веры Николаевны на одной из наших прогулок о том, что, приехав в Париж, он счел себя вправе как академик нанести визит президенту Республики.

— Жили мы тогда в маленьком дешевеньком отеле в Пасси. И вдруг к подъезду нашего отельчика подъезжает президентский автомобиль, и шофер, войдя в бюро, протягивает обалдевшему от удивления и почтения хозяину визитную карточку Мильерана для господина академика Бунина.

Эффект потрясающий и полнейший! Когда мы вернулись с прогулки, нас встретили с глубокими поклонами, предложили сменить наши комнаты на самые лучшие в отеле за ту же цену и больше не подавали ежедневных счетов, а ждали, когда Ян соблаговолит заплатить. Впрочем, он мог бы и вовсе не платить как друг президента Республики и денег сколько угодно взять в долг. Ведь его пребывание было честью для отеля, хозяин которого через много лет все еще при встречах чуть ли не в пояс нам кланялся. Если захотите поселиться в этом отеле, ссылайтесь на нас, — закончила со смехом Вера Николаевна, — ссылайтесь на l'ami du President<sup>2</sup>.

В гостях он иногда бывал неприятен и даже невыносим. Так, на одном званом обеде вскоре после окончания войны, где он, само собой разумеется, был главным гостем, после закусок и бульона с пирожками подали телячье жаркое.

В те «рестрикционные времена» такое телячье жаркое можно было увидеть только на картинке или во сне — или приобрести его на черном рынке чуть ли не на вес золота. Хозяйка обернулась к сидевшему по ее левую руку Бунину и произнесла, скромно, но торжествующе улыбаясь:

<sup>1</sup> «Иван Бунин, бессмертный», т.е. член Французской академии (фр.).

<sup>2</sup> друг президента (фр.).

— Это я специально для вас, Иван Алексеевич.

Но Бунин, резко отодвинув подносимое ему горничной блюдо, громко заявил вибрирующим от злости голосом:

— Кто же не знает, что Бунин телятины не ест?

Хозяйка чуть не лишилась чувств, что, впрочем, никак не смутило Бунина, преспокойно принявшегося уничтожать какие-то спешно открытые для него американские консервы.

Возражений он не переносил. Он привык к тому, что все благоговейно слушают его, не решаясь прервать.

Как-то на другом обеде, когда Бунин был на редкость в ударе и без устали рассказывал о дореволюционной жизни Москвы и о Художественном театре, — один из гостей вдруг прервал его:

— Позвольте, Иван Алексеевич, а по моему мнению...

Бунин через плечо окинул его уничтожающим взглядом и с нескрываемым изумлением почти пропел:

— По вашему мнению, — растягивая и подчеркивая «вашему». — Скажите, пожалуйста... — будто не допуская возможности своего мнения у человека, осмелившегося прервать его.

Тот настолько смутился, что, багрово покраснев, уже не в силах был высказать «своего мнения», а Бунин, брезгливо усмехнувшись и пожав плечами, продолжал, как ни в чем не бывало, свой рассказ, не отдавая себе отчета, что он смертельно обидел человека.

Да, Бунин мог быть иногда очень неприятен, даже не замечая этого. Он действительно как будто не давал себе труда считаться с окружающими. Все зависело от его настроения. Но настроения свои он менял с поразительной быстротой и часто в продолжение одного вечера бывал то грустным, то веселым, то сердитым, то благодушным.

Он был очень нервен и впечатлителен, чем и объяснялась смена его настроений. Он сам сознавался, что под влиянием минуты способен на самые сумасбродные поступки, о которых потом жалел.

— И зачем только я его огорчил? — с недоумением спрашивал он. — Ах, как нехорошо вышло. Зря человека обидел...

Меня за все годы нашего знакомства Бунин огорчил только один раз.

У нас в тот день собралось много писателей. Была и Лулу Канегиссер.

Лулу Канегиссер давно, еще с Петербурга, дружила с

Алдановым, но — хотя это и кажется странным — никогда не встречалась с Буниным.

Когда я приглашала ее, она, узнав, что он будет у нас, очень обрадовалась:

— Я так давно хочу с ним познакомиться.

Она приехала к нам одной из первых, нарядная, надушенная, замысловато причесанная «в честь Бунина», как она, смеясь, созналась мне.

Бунин, как всегда, сильно запаздывал, и Лулу начала волноваться, боясь, что он вовсе не придет. Я успокоила ее:

— Раз обещал — придет. Вот и Вера Николаевна — она уже здесь — сказала, что он придет.

И Бунин действительно пришел, но лучше бы он в тот день не приходил вовсе.

Войдя в гостиную и поздоровавшись со мной, Бунин, явно сознавая, что его все здесь ждут с нетерпением — без него за стол не сядут, — направился прямо к располжившейся на диване Тэффи, поклонился ей и громко произнес, целуя обе ее руки:

— Надежда Александровна! Целую ручки и прочие штучки.

На что Тэффи, не задумываясь, радостно и звонко воскликнула:

— Ах, спасибо, Иван Алексеевич, спасибо! Спасибо за штучки. Их давно уже никто не целовал!

И в эту самую минуту, не давая Бунину времени сообразить, как поостроумнее ответить, возле него оказалась Лулу и быстро и взволнованно заговорила:

— Я так счастлива, Иван Алексеевич. Наконец-то я могу вам выразить, как мне понравился, в какой восторг меня привел ваш рассказ «Цыганка». Я его еще во время войны читала. Сколько лет ждала, чтобы сказать вам, как он мне понравился!

Бунин оглядел ее с головы до ног, прищурившись, и холодно и высокомерно произнес, отчеканивая каждое слово:

— То, что вам, сударыня, понравился мой рассказ, свидетельствует о том, что у вас хороший вкус. Но не понимаю, почему вам так хотелось довести это до моего сведения?

И он, отойдя от Тэффи, стал здороваться со всеми присутствовавшими.

Лулу осталась стоять посреди гостиной.

Я подошла к ней.

— Я ни минуты здесь не останусь, — прошептала она. Ее губы дрожали и все лицо дергалось. — Нет, нет, не уговаривайте. Не могу остаться. Не могу!

Я проводила ее в прихожую и помогла ей надеть пальто, стараясь ее утешить. Она заплакала:

— Господи! Какой он злой, скверный! А я столько лет мечтала, как скажу ему... И вот... За что?

Я сама чуть не плакала. Закрыв за ней дверь, я вернулась в гостиную. Бунин весело разговаривал с Тэффи и Алдановым.

— Иван Алексеевич, за что вы обидели Лулу? Ведь вы...

— Ну, знаете, — перебил он меня, — женщину, которая носит имя Лулу, и обидеть не грех. Экая пошлость!

Мадам Лулу в своем углу  
В шезлонге звонко хохочет, —

как поет эта идиотка Иза Кремер. Напрасно вы таких Лулу-Глуглу к себе пускаете, да еще со мной знакомить хотите! Я с Надеждой Александровной обмениваюсь любезностью, а она, как подворотная шавка: «Тяф! тяф! тяф!» — на меня накинулась. Вот я ее и взгрел. И поделом. Не лезь, шавка.

— Бога побойтесь! — перебила его Тэффи. — Ведь это Лулу Канегиссер. Сестра Канегиссера, убившего Урицкого!

Бунин уставился на нее:

— Сестра того Канегиссера! — И уже Алданову: — Марк Александрович, неужели правда?

Алданов горестно и смущенно кивает:

— Да, Иван Алексеевич, к сожалению, сущая правда. Елизавета Акимовна, Лулу — сестра Лени Канегиссера, на редкость умная и обаятельная, совершенно исключительная женщина.

— Так чего вы меня не предупредили? — набросился Бунин на меня. — Откуда я знать мог, кто она? Вы во всем виноваты. Если бы вы меня предупредили, что это сестра Канегиссера...

Я даже не пыталась защищаться.

Алданов горестно вздыхал. Он действительно очень любил и ценил Лулу. Он советовался с нею о характере своей героини Муси Кременецкой. Она же давала ему сведения об улицах, кондитерских и театрах Петербурга для его романов. Лулу была коренной петербуржанкой, Алданов же лишь изредка, на несколько дней приезжал в Петербург из Киева или из-за границы.

— Вы во всем виноваты, — продолжал яростно упрекать меня Бунин. — Вы одна. Из-за вас я оскорбил сестру героя. Я вам этого никогда не прощу!

Тэффи сочувственно закивала:

— Правильно, Иван Алексеевич! Так ее, хорошенько. Кройте ее! Рвите ее на куски! Обидела вас, бедненького, злодейка Одоевцева!

Бунин, взглянув на Тэффи, вдруг неожиданно рассмехался:

— Я, кажется, правда, хватил через край. — И, переменяв тон, мне: — Приношу извинения или, как говорят в Одессе, «извиняюсь, мадам». Но мне действительно очень обидно. Не знаю, как исправить...

— Исправлять никогда ничего не следует, — сентенциозно заявила Тэффи. — Даст Бог, со временем, а может быть, и ранее, вы еще встретитесь где-нибудь с Лулу Канегиссер и вам удастся очаровать ее. Ведь вы на это мастер.

Но «ни со временем, ни ранее» очаровать Бунину Лулу Канегиссер не удалось. Больше они нигде не встречались. Происходило это поздней весной 1939 года перед самой войной. А в 1941 году Лулу была арестована гестаповцами в Ницце и увезена в Германию, где и погибла в газовой камере. А была она действительно на редкость умна, мила и прелестна.

Ни мстительности, ни зависти, ни мелочности мне никогда не приходилось видеть в Бунине. Напротив — он был добр и великодушен. Даже очень добр и великодушен. И по-настоящему щедр. Так, он в 1930 году, прочитав талантливую первую книгу «Кадеты» Леонида Зурова, жившего в Эстонии, выписал его к себе, и с той поры и до самой своей смерти содержал его и заботился о его литературной карьере, хотя пребывание Зурова в его семье принесло Бунину много огорчений и неприятностей.

Но, кроме Леонида Зурова, у Буниных в Грассе часто гостил и Николай Рошин, по прозвищу «Капитан». От него, как и от Зурова, Бунин видел мало радости — и полное отсутствие благодарности.

Гостили в Грассе и другие, несмотря на то что, по определению самого Ивана Алексеевича, в те времена — до получения Нобелевской премии — в доме Бунина «жили впроголодь и часто обедали через день». Бунин любил окружать себя теми, кого считал своими учениками и последователями, и часто появлялся в Париже в сопровождении своей свиты. Злые языки прозвали ее «бунинским крепостным балетом».

Бунин был способен на почти героические поступки, что он не раз доказал во время оккупации, когда, рискуя жизнью, укрывал у себя евреев.



Все его дурные черты как бы скользили по поверхности. Они оставались внешними и случайными, вызванными трудными условиями его жизни или нездоровьем. К тому же его нервная система была совершенно расшатана. Нельзя забывать, что нервность он получил в «проклятое» наследство не только от отца-алкоголика, но и от мученицы матери, слишком много видевшей горя с самого начала своего замужества. Да, он был очень нервен. Но кто из русских больших писателей не был нервным? Все они были людьми с ободранной кожей, с обнаженными нервами и вибрирующей совестью.

«От хорошей жизни не полетишь», — утверждал Горбунов.

С крепкими здоровыми нервами не станешь русским писателем. Французским — почему бы и нет, — но не русским. Здоровые, с крепкими нервами русские становились инженерами, докторами, юристами, в худшем случае — журналистами и критиками.

Но писателями — никогда. Для них в этой области места не находилось. Обостренные, расстроенные, разбитые нервы — часто, как Достоевский или Гоголь, — почти клинические случаи. Но ни в ком, как в них, не горела так ярко искра Божия, никто не поднимался на такую духовную высоту, как они, никто не возвеличивал так литературу, как они, — никто не принес столько утешения читателям.

А ведь и Достоевский, и Гоголь очень часто бывали нетерпимы не только с чужими, но и в собственной семье.

Бунин же в кругу близких и домашних отличался покладистостью и добродушием. Он, хотя и ссорился с домашними, легко и быстро мирился с ними, прощая настоящие или вымышленные обиды. И сам сознавался, что он порой чересчур обидчив.

День нашего приезда в Жуан-ле-Пэн в октябре 1947 года. Ослепительный золотой и синий тревожный день. Мистраль сухо шуршит в саду листьями одинокой пальмы. Под ней кусты пышных белых зимних роз. За домом тянутся рядами оливковые, апельсиновые и лимонные деревья. С балкона нашей комнаты видны снежные вершины Альп.

После завтрака мы с Георгием Ивановым идем к морю. Он постоянно на ходу сочиняет забавные экспромты и тут же их забывает. Но я стараюсь их запомнить и даже иногда, вернувшись домой, записываю.

Вот и сейчас он, глядя на мои ноги, осторожно ступающие по кочкам и камням, рассыпанным по скату пригорка, спускающегося от «Русского дома» к железнодорожному полотну, говорит:

Шагайте смело, в добрый час,  
Хорошенькие ножки!  
Шагать придется вам не раз  
По этой вот дорожке.

Конечно, «не раз», а «еще много, много раз» мне придется спускаться и подниматься «по этой вот дорожке». Ведь мы приехали сюда на полгода.

Мы проходим мимо отеля «Провансаль», похожего на пряничный замок какой-то южноморской феи. Сейчас он заколочен на зиму. Сосны, окружающие его, — от них и название Жуан-ле-Пэн, — меланхолично перешептываются и вздыхают. Нет, не от мистралья, а от одиночества, заброшенности и солнечной тоски.

И вот — море. Я давно не видела моря. Я смотрю на него и, как всегда после долгой разлуки с тем, что очень любишь, чувствую разочарование.

Может быть, Брюсов прав:

Создал я в тайных мечтах  
Мир идеальной природы.  
Что перед ним этот прах...

Нет. «Мир», созданный мною в «тайных мечтах», гораздо скромнее и бледнее, чем тот великолепный «прах», что расстилается сейчас передо мной. Но мой мир до каждой песчинки, каждой капли морской, каждого дуновения ветра переполнен грацией, легкостью, нежностью и чем-то еще, что до боли отзывается во мне и роднит меня с ним.

А здесь, на «лазурном берегу», я чувствую свою отчужденность от всей этой грандиозной, подавляющей, фантастической красоты. Я здесь не на своем месте. Все слишком великолепно. Бескрайнее, сияющее море. Бескрайнее, сияющее небо. Все бескрайно.

Мне кажется, что время здесь тоже бескрайно и пусто. Будто время переходит в пространство, в это синее, сияющее море, в это синее, сияющее пустое небо. Мне кажется, что бескрайнее время своей пустотой и тяжестью уже ложится мне на плечи. Все эти синие, сияющие средиземноморские дни, такие длинные, высокие и глубокие — и пустые. До чего пустые! Их все придется

прожить. Каждый день, каждый час, каждую минуту отдельно, до конца. Нестерпимый блеск, золотисто-синее сияние, — что мне делать со всей этой чуждой мне красотой?

Сердце сжимает «золотая забота, как мне времени бремя избыть». «Золотая забота» или попросту — страх скуки.

Да, я боюсь, что мне здесь будет скучно, очень скучно. Я уже готова вздохнуть: «Ах, зачем я приехала сюда?..»

Я стою рядом с Георгием Ивановым. Он, как и я, смотрит на это море и на это небо. Но он чувствует совсем не то, что я. Для него сейчас ничего лучшего не могло случиться, чем вместе со мной снова стоять у любимого Средиземного моря. И оттого, что мне нельзя громко сказать: «Мы напрасно приехали сюда!» — ведь это огорчит его, — мне становится очень грустно.

Но я в тот первый день ошиблась. Ошиблась, как уже много раз ошибалась, думая о своем будущем.

Я совсем не скучала в Жуан-ле-Пэн. Напротив — месяцы, проведенные мною там, были одними из самых замечательных и незабываемых за все мои эмигрантские годы.

Ведь там, в «Русском доме», мне удалось по-настоящему узнать Ивана Алексеевича Бунина.

В эту ночь я плохо спала из-за мистраля, буйствовавшего в саду и хлопавшего сорванными с петель ставнями.

Успокоился он только под самое утро, и то ненадолго. Я проснулась от грохота, шума и хлопанья уже дверей, а не ставен. Казалось, мистралю надоело буйствовать в саду, и он после короткой передышки, набравшись новых сил, ворвался в дом и бесчинствует в нем.

Я наскоро одеваюсь и выхожу на площадку узнать, в чем дело. Снизу доносятся голоса. Перегибаясь через перила, я вижу красного, взъерошенного, растрепанного Роговского, директора «Русского дома», неистово жестикулирующего. Отсюда сверху он похож на ветряную мельницу: сверху мне не видны его длинные, тонкие ноги, а только его почти квадратное туловище с крутящимися, как крылья мельницы, руками.

Тут же слуга-казачок, повар и две женщины в передниках. Все они суетятся вокруг Роговского, яростно отдающего им приказания охрипшим от крика голосом.

Все это необычайно и странно — Роговский никогда

не появляется в «Русском доме» в такой ранний час. Он приезжает из Ниццы, предупредив предварительно по телефону, под вечер к обеду, который в этот день в его честь обильнее и вкуснее, чем всегда. Приезды его носят праздничный характер. Роговский — он сам себя считает «шармером»<sup>1</sup> — старается очаровать всех обитателей, а особенно обительниц «Русского дома», расточая комплименты, улыбки и поклоны с чисто польской преувеличенной галантностью.

Мне никогда не приходилось видеть его таким неистовствующим, таким непохожим на себя.

Я кричу ему сверху:

— Евгений Францевич, что случилось?

Он поднимает голову и уставляется на меня шалыми глазами. Обыкновенно, увидев меня, он исполняет целый ряд церемонных приветствий, состоящих из низких поклонов, радостных улыбок и какого-то балетного расшаркивания. Но сейчас он даже не здоровается со мной, даже не меняет грубого тона, отвечая мне:

— Спать можно! Бунин завтра приезжает. Как снег на голову! Прислал телеграмму! А я его только через неделю ждал! — И уже не мне, а казачку и повару: — Дармоеды, лентяи, грязь повсюду развели! Всех выгоню! Навоштить ступеньки! Живо!

Я решаю вернуться в нашу комнату и предупредить Георгия Иванова о завтрашнем приезде Бунина. Но Роговский машет мне рукой:

— Пойдите, подождите! — И, забыв о своем больном сердце, заставляющем его всегда медленно, с остановками подниматься по лестнице, летит ко мне, перепрыгивая через три ступеньки. И вот уже он стоит передо мной и, задыхаясь, не давая себе времени справиться с одышкой, бормочет:

— Я хочу вас просить!.. Пожалуйста!.. Ведь вы понимаете... Бунину нельзя отказать. Если он захочет. Вы уж уступите...

— Что уступить? Нашу комнату? Нет, не уступлю. Я заплатила за нее за шесть месяцев вперед из аванса за свой французский роман. Именно за нее, а не за другую, и не перееду из нее ни за что...

— Да кто вам о комнате говорит? — перебивает он меня. — Комнаты Иван Алексеевич еще летом себе выбрал. Они его ждут. Я о столе... о столе, который у вас. Его к вам по ошибке поставили. Я не подумал. Вдруг Иван Алексеевич пожелает его взять к себе. Уж вы его

---

<sup>1</sup> очарование, обаяние (от фр. charme).

уступите, пожалуйста, ему. Я вам за него второе кресло дам.

Стол, большой кухонный стол, выкрашенный черным лаком, Георгию Иванову и мне очень нравится. Мы оба сразу, сидя за ним, можем писать, не мешая друг другу. Отдавать его мне очень жаль. Но я все же говорю:

— Хорошо. Но только если Бунин мне сам скажет, что ему нужен наш стол.

Роговский шумно вздыхает:

— Ух, гора с плеч! Ведь Иван Алексеевич такой требовательный. Чуть что — обижается. Отказов не переносит.

Дверь в комнату наискосок от нашей открыта. В ней казачок щеткой моет красный кирпичный пол. Комната маленькая, на север — с камином. Очень невзрачная. Рядом такая же для Веры Николаевны.

Я удивлена. Странно, что Бунин выбрал такие мрачные комнаты. Наша гораздо лучше.

Роговский кивает:

— Безусловно. А вот Иван Алексеевич именно эти две требует. И в письме опять требует — других не желаю! Его не убедишь, что другие лучше. Господи, только бы успеть! Просто голова кругом идет. Еще окна вымыть. Ковер разостлать.

— Как к высочайшему посещению готовимся! — вдруг насмешливо заявляет казачок и протяжно свистит. — Подумаешь, какой царь-государь едет!

Роговский свирепо обрушивается на него:

— Молчать! Не рассуждать! Тащите матрацы! Зовите Мари сюда. Просто сердце лопнет от волнения. — Он хватается за грудь, вытирает платком вспотевший лоб, а я, посоветовав ему не волноваться — ведь ему вредно, — отправляюсь к себе сообщить Георгию Иванову сенсационную новость.

На следующий день мы с Георгием Ивановым стоим и ждем на крыльце «Русского дома» приезда Буниных — за ними Роговский отправился на такси.

Бунин, несмотря на скудость средств, всегда путешествует в *train bleu*<sup>1</sup>, в первом классе. Вера Николаевна не разделяет его вкусов — он предпочла бы третий класс обыкновенного поезда. Но она всегда и во всем подчиняется Бунину и уступила ему на этот раз.

Мы ждем долго. Уже четверть второго, а их все нет.

— Что же, мы тут до вечера торчать будем на ветру? — негодует Георгий Иванов. — Простудимся. Холодно. Ветер ледяной.

---

<sup>1</sup> синий вагон (фр.).

Действительно, холодно и ветрено. И солнце прячется за тучами. Серый, скучный день. Совсем не подходящий для торжественного приезда. Скорее для отъезда.

— Есть хочется, — жалуется Георгий Иванов, — что за идиотство заставлять всех голодать в ожидании Буниных? Как будто мы не могли, как всегда, в двенадцать позавтракать, а они бы уже потом.

Но Роговский решил, что общий завтрак с парадно накрытыми столами в до блеска вычищенной столовой необходим для торжественной встречи.

— Ты как хочешь, а я войду в дом, простуживаться не намерен. И тебе не советую. Как будто они без нас не могут приехать. Очень им нужно, чтобы мы их встречали, подумаешь!

— Конечно, очень нужно! Я по себе знаю, как важно, чтобы были встречающие. Совсем иначе себя чувствуешь, когда встречают, — объясняю ему я.

— Ты бы еще цветы купила, с букетом их встречала, — насмешливо говорит он. — Но раз это так необходимо, постоим здесь еще — авось не простудимся.

И вот наконец в сад через ворота, трубя и пыхтя, въезжает старый автомобиль и останавливается перед подъездом. Из него кубарем выкатывается казачок, захваченный Роговским «на всякий непредвиденный случай», за ним, с несвойственной ему поспешностью, Роговский. И вот они оба, как даме или тяжелобольному, стараются помочь Бунину выбраться из автомобиля.

Но Бунин резко отстраняет их широким жестом — не мешайте! сам могу! — и уже легко поднимается на крыльцо, хмурясь и брезгливо морщась.

— Дрянь погода! Черт знает что. Я говорил — не стоило приезжать, — произносит он сквозь зубы. Увидя меня и Георгия Иванова: — А, и вы здесь? Пррриехали! Ну здррравствуйте! Здррравствуйте, — передразнивая меня. — И вы — Болгарин — здравствуйте. Наверное, тоже жалеете, что приехали сюда? Чертовски скучаете, а?

Веру Николаевну никто не высаживает. Казачок и Роговский всецело заняты разгрузкой багажа. Она с трудом выбирается из автомобиля и, подняв с земли один из многочисленных чемоданов, усталой походкой направляется к крыльцу.

Георгий Иванов сбегает к ней вниз.

— Вера Николаевна, позвольте мне.

Но она не хочет отдавать ему чемодан.

— Нет, спасибо. Он не такой уж тяжелый, я сама могу. Я привыкла.

Но он настаивает, и она уступает.

— Спасибо. Я правда очень устала.

Она поднимается, держась за перила. Я смотрю на нее. Как она изменилась, держась за перила! Она и раньше была бледна, бледна какой-то мраморной белизной статуи, а теперь она кажется совершенно бескровной. Голова ее трясется мелкой, непрерывной дрожью.

Она целует меня.

— Как хорошо, что вы тут. Яну будет веселей.

Бунин раздраженно фыркает.

— Веселей? Скажешь тоже. Меня ничто и никто развеселить не может.

Мы входим в дом в сопровождении Роговского.

В холле на пороге столовой выстроились все пансионеры.

Но Бунин, не достаивая их взглядом, не то что кивком головы, проходит мимо них к внутренней лестнице. Мы за ним.

— Иван Алексеевич, — растерянно объясняет Роговский, — мы вас ждали с завтраком. Может быть, сначала закусим?..

Бунин морщится и продолжает подниматься.

— Избавьте от завтрака. Лечь хочу. Лечь! Утомился. Понимаете?

На верхней площадке он останавливается, разворачивает длинный пестрый шарф, закутывающий его шею, и расстегивает пальто, зашпиленное сверху большой английской булавкой.

Эта английская булавка — без нее он и в Париже не обходится зимой — всегда удивляла меня. Ведь Бунин очень занят своей наружностью и элегантностью.

— Слыхали, конечно, слыхали, — обращается он к нам с Георгием Ивановым, — травят меня! Со свету сживают! Я, видите ли, большевикам проданся. В посольстве советском за Сталина водку пил, икру жрал! А я, как только посол предложил тост за Сталина, сразу поставил рюмку на стол и положил бутерброд. Только успел надкусить его. Не стал я есть их икру и пить их водку. Это все гнусные сплетни, выдумки.

Вера Николаевна уже успела пройти в комнаты и устраивается в них с помощью казачка и Роговского.

— Ян, Ян, — зовет она. — Тебе надо лечь. Иди скорее. Успеешь им все рассказать. Успеешь...

Да, Вера Николаевна оказалась права. «Все рассказать» — и не раз — Бунин действительно нам успел.

В этот же вечер Вера Николаевна постучалась к нам.

— Ян просит вас к себе. Ненадолго, он очень устал и

ослабел с дороги. И, пожалуйста, Георгий Владимирович, не спорьте с ним, не заводите разговоров о поэзии, о Блоке или Есенине. Ведь Ян так нервен. Вот если вы бы похвалили его стихи...

Но похвалить стихи Бунина, несмотря на то что он всегда всячески старается угодить Вере Николаевне, Георгий Иванов не обещает.

И она, мелко трясая головой, прибавляет, обращаясь уже к нам обоим:

— Вы представить себе не можете, как мне теперь тяжело с Яном. Он сам изводится и меня изводит. Так помните, будьте с ним осторожны, соглашайтесь с ним, не противоречьте ни в чем. Я очень надеюсь, что вы развлечете его. Он сам послал меня за вами.

И вот мы у Бунина в его маленькой, жарко натопленной комнате.

Бунин сидит в кресле перед камином, в длинном халате из верблюжьей шерсти, в ночных туфлях и... широкополой синей полотняной шляпе.

Я еще никогда не видела его в таком виде и, боясь выдать свое удивление, отвожу глаза и смотрю в огонь.

Халат и туфли — хотя только восемь часов вечера, куда бы ни шло, но эта нелепая шляпа!..

Я знаю, что Анатолий Франс и Андре Жид в старости тоже увлекались «головными уборами». У них обоих были целые коллекции беретов — шелковых, бархатных и фетровых для домашнего обихода. Были у них, судя по фотографиям, и всякие другие «домашние шляпы».

Но шляпа Бунина все же бьет все рекорды нелепости. Она похожа на птицу, распутившую крылья, на птицу, присевшую на его голову перед дальнейшим полетом. На синюю птицу.

В памяти моей вдруг начинает звенеть песенка Митили и Тильтиля:

Мы пойдем за синей птицей, птицей, птицей.

Нет, мы никуда не пойдем. Мы чинно усаживаемся на пододвинутые нам Верой Николаевной стулья, а она достает из одного из стоящих на полу чемоданов коробку конфет и протягивает ее мне.

— Нилус принес ее на вокзал, — объясняет она. — Он нас провожал. И Леня...

— Не берите, — перебивает ее Бунин, — дрянь конфеты. Проглотить нельзя. Я тоже взял и выплюнул. Выбросить их надо, а не угощать ими.

Но я все-таки беру конфету, и она оказывается прев-



кусная. Теперь ведь еще конфеты в редкость, и отказываться от них, даже чтобы угодить Бунину, я не в силах и беру еще вторую и третью.

Но Бунин не обращает на это внимания. Он снова говорит о своих «врагах и гонителях», о тех, что в Париже, о тех, что шлют ему письма из Америки.

— Со света меня сживают! В гроб живым заколачивают! — негодует он.

Вера Николаевна, мелко трясая головой, еще более бледная, чем утром, старается его успокоить:

— Перестань, Ян. Брось! Не надо о них. Тебе вредно волноваться.

Но он, не слушая ее, продолжает:

— А читали вы, что про меня этот мерзавец Ширяев...

Вера Николаевна взглядом, зывающим о помощи, молча смотрит на Георгия Иванова и на меня.

— Ну знаете, Иван Алексеевич, о таком негодяе вам и вспоминать стыдно. Собака лает — ветер носит. А он хуже самой паршивой собаки. Плюньте на него. Забудьте. «Повесим их в молчаньи, — как учила Зинаида Гиппиус, — всех их повесим в молчаньи».

— Легко советы подавать, — запальчиво отрезает Бунин. — В ярость меня приводят всякие «Я бы на вашем месте, Иван Алексеевич... Надо быть выше этого...» и так далее. Вот ваш Адамович меня все поучал мудрости и долготерпению, а теперь и вы вздумали. Только напрасно. Напрасно стараетесь!..

Да, конечно, напрасно. Никакие уговоры и советы не помогут, но успокоить его все же необходимо. И я, уносимая жертвенным порывом, вдруг говорю:

— А не нужен ли вам, Иван Алексеевич, стол?

Бунин поворачивает ко мне искаженное злобой лицо.

— Стол? При чем тут стол? Какой стол?

— Стол, — торопливо объясняю я. — Вроде письменного. Отличный стол. Очень большой, метра два длины. Очень удобный, — и, как будто это главное достоинство стола, прибавляю, — черным лаком отлакированный. Черный стол.

Бунин, все еще недоумевая, смотрит на меня, а я продолжаю быстро и сбивчиво:

— Он пока что стоит у нас. Но мы его вам с удовольствием, с радостью отдадим, если вы хотите. Очень хороший. Черный стол.

— Черный стол? — переспрашивает Бунин, прищуриваясь. — Метра в два длины? То есть такой, как в похоронном бюро, чтобы покойников на него класть? Вы

его мне изволите предлагать? Так ли я вас понял? Так ли?

Я растеряна. Мне казалось, что я, отдавая ему стол, который мне и Георгию Иванову очень удобен и нужен, совершаю добрый поступок. Против такого подарка, конечно, ни злоба, ни раздражение устоять не могут. А он смотрит на меня, саркастически кривя губы. Улыбка? Нет, не улыбка. Скорее волчий, хищный оскал зубов.

— Так ли я вас понял? — повторяет он. — Вы хотите, чтобы сюда, в мою комнату поставили черный погребальный стол. — Пауза. И он продолжает, не дождав-шись моего ответа: — Да я бы, если бы этот ваш черный стол очутился здесь у меня, изрубил бы его топором и выбросил бы его в окно. Ни за что на свете я бы не лег спать в комнате, где стоит погребальный черный стол. Мне бы казалось, что он только и ждет — вот я умру и меня положат на него.

Я растеряна. Я знаю, что Бунин панически боится смерти и всего, что хоть смутно напоминает о ней. Как-то весной, в Париже, еще до войны, я посоветовала ему пойти на Елисейские поля.

— Там сейчас так прелестно цветут каштаны.

— Прелестно? — переспросил он насмешливо. — А я бы, будь на то моя воля, — все эти проклятые цветущие каштаны с их похоронными свечами вырубить велел. Ненавижу их. Вы бы еще для развлечения посоветовали мне прогулку в морг!

Почему цветущие каштаны напоминали ему похоронные свечи, я тогда не решила его спросить. Я знаю, что Бунин поставил себе правилом никогда не ходить ни на чьи похороны. Даже на похоронах своей матери, — а он ее обожал, — он не присутствовал. Правда, по ее собственному желанию — она понимала, что это было бы ему нестерпимо тяжело.

И все же он однажды изменил этому правилу. Было это, кажется, в 1929 году. Мы с Георгием Ивановым решили провести рождественские праздники и встретить Новый год в Ницце.

Грасс и дача Бельведер, где тогда жили Бунины, близко от Ниццы, и Георгий Иванов захотел навестить их.

Он отправился в Грасс один, а я предпочла пойти с друзьями танцевать в казино.

Приехав в Грасс и отыскав Бельведер, он застал там,

как почти всегда при неожиданном посещении Буниных, атмосферу неблагополучия и надвигающейся катастрофы.

На этот раз Вера Николаевна и Галина Кузнецова обе были сильно взволнованы и огорчены тем, что Бунин, не слушая их уговоров, отправился в Ментону поклониться праху только что скончавшегося великого князя Николая Николаевича.

— Я так боюсь, — вздыхала Вера Николаевна. — Ведь Ян не выносит вида покойников. Это потрясет его. Он заболит. Он может там в обморок упасть. Боже мой, Боже мой, даже подумать страшно. Но он такой упрямый. Его не уговоришь.

Георгий Иванов, видя, что приехал не вовремя, хотел поскорее покинуть Грасс. Но Вера Николаевна и Галина Кузнецова обе наперерыв стали его упрашивать дожидаться возвращения Бунина.

— Он наверное будет страшно расстроен и подавлен. Вы развлечете его, расскажете ему парижские новости и сплетни. Оставайтесь, пожалуйста. Оставайтесь.

Георгий Иванов скрепя сердце остался ждать Бунина. А Бунин вопреки всем страхам вернулся в прекраснейшем настроении, на редкость бодрый и веселый.

Правда, его там приняли с большим почетом и уважением, к чему он был очень чувствителен. Но и вид мертвого великого князя Николая Николаевича не только не потряс его ужасом, а восхитил.

— Лежит в гробу, длинный, тощий, рыжий. Грудка как у цыпленка. А кулачище — во! И в кулачище, как дубина, кипарисовый крест зажат. Красота! Царственный покойник, — в восторге рассказывал он.

Кстати, то, как он ездил поклониться праху великого князя, он описал потом в «Жизни Арсеньева»...

— Нет, — говорит Бунин, — держите ваш черный стол у себя на здоровье. А меня от него избавьте, прошу.

Я еще больше теряюсь и молча оглядываюсь на Георгия Иванова — ведь он так находчив, так остроумен, он умеет одним брошенным вскользь замечанием дать разговору другое направление, разрядить тягостное настроение, прекратить спор, готовый перейти в ссору. Но он как назло молчит, зорко наблюдая за Буниным.

Я чувствую, что гибну, и бормочу в отчаянии:

— Ради Бога, простите, Иван Алексеевич. Не сердитесь. Я не хотела, не думала...

Бунин наклоняется вперед. Широкополая шляпа, вздрагивая, как птица, готовящаяся сняться с места, перемещает тени на его лице. Лицо его постепенно светлеет, теряет озлобленное выражение. И вот уже что-то похожее на улыбку заменяет волчий оскал зубов. Он протягивает руку и кладет ее мне на плечо.

— Ну, ну, бросьте. Я не сержусь, — говорит он мягко. — У вас такой грустный вид, того и гляди — расплачетесь. И тогда не вам, а мне придется просить прощения. А я этого терпеть не могу. Предоставляю вашему любимому Достоевскому униженно и восторженно умолять о прощении. И каяться истерически. Мне это не к лицу.

— Как и Толстому, — неожиданно произносит Георгий Иванов, — Толстой, хоть и каялся, но очень неубедительно, и, кажется, никогда не просил ни у кого прощения.

— И отлично делал! Да и у кого бы, спрашивается, Лев Толстой мог просить прощения? И за что? — подхватывает Бунин, оживившись. Одно упоминание имени Толстого магически действует на него. Толстого он боготворит и способен часами говорить о нем.

А Георгий Иванов — хотя он читал книгу Бунина о Толстом и слышал все бунинские рассказы о нем — спрашивает с невинным видом любознательного протачка:

— Вы ведь, Иван Алексеевич, если не ошибаюсь, и сами толстовцем были когда-то?

Бунин кивает.

— Как же, как же, был.

— И, наверное, очень хорошо его лично знали?

Бунин качает головой:

— Нет, к сожалению, знал очень мало, вернее, совсем не знал. Всего один раз осмелился пойти к нему и раз говорил с ним на улице.

И Бунин с увлечением начинает подробно описывать свои встречи с Толстым, забыв, что он уже не раз вспоминал о них при нас.

Но мы трое — особенно Вера Николаевна — слушаем, будто все это для нас ново и чрезвычайно интересно.

Я очень довольна. Лишнее доказательство того, что добрые дела идут прежде всего на пользу совершающим их. Добро, как, впрочем, и зло, обладает свойством бумеранга — возвращается к бросившему его. Стол останется у нас.

Георгий Иванов наклоняется над большим открытым чемоданом, набитым книгами. Сверху лежит «Анна Каренина».

— Зачем вы, Иван Алексеевич, столько книг с собой привезли?

— А как же! Мне они все необходимы.

Но Георгий Иванов не понимает.

— Все, даже Толстой? Ведь здесь в библиотеке Дома...

— Терпеть не могу библиотечных книг, — перебивает его Бунин. — Предпочитаю читать собственные. А без Толстого мне невозможно. Сколько раз перечитываю и всегда как впервые. Заметили ли вы, что произведения великих писателей — таких, как Толстой, Шекспир, Гете и даже их французский Бальзак, — старятся вместе с читателями? Автору их всегда тот же возраст, как и читателю. Молодому кажется, что это написано молодым, что только в молодости и можно так чувствовать и понимать жизнь, человек средних лет находит в них опыт и зрелость, свойственную его возрасту, ну а старик, вроде меня, открывает в них глубину и мудрость старости, которой он прежде в них не видел. Это исключительная черта гениев. А остальные писатели, даже очень хорошие, пишут по своему возрасту и для читателей своего возраста. Поэтому многое, что я с увлечением читал в молодости, сейчас перечитывать не могу. А последний «Новый журнал» вы видели? — перебивая себя, спрашивает он Георгия Иванова. — Там у меня их несколько номеров в чемодане. Возьмите почитайте. Не люблю одалживать своих книг, но вам так и быть. Дайте-ка мне вот этот номер. Последний, сверху. — Он берет «Новый журнал». — Неужели вы еще не читали рассказа нашей знаменитости? Подождите. Я вам сейчас презабавное место найду, поучительное — пример, как не следует писать. — И он, отыскав нужную страницу, начинает читать вслух.

Читает он как никто из писателей. С ним мог сравниться только Ремизов, хотя их манеры чтения резко отличались друг от друга. Сейчас Бунин с комическим пафосом издевательски выделяет некоторые выражения и фразы. И это делает трагический текст таким комичным, что мы с Георгием Ивановым хохочем, будто он нам читает рассказ Тэффи или Зоценко.

Вера Николаевна сидит на кровати, устало сложив руки на коленях. Пока Бунин неистовствовал и бранился, у нее был мучительно-напряженный вид. Теперь она, распустив нервы и мускулы, отдыхает.

Она поворачивает посветлевшее лицо ко мне и выразительно смотрит на часы. Я понимаю — пора уходить. Бунин закрывает книгу. Он улыбается. Он доволен произведенным на нас впечатлением.

— Конечно, — говорит он, — не все молодые так пишут. Есть молодые и замечательные. Ну хотя бы Сирин. Тоже штукарит. А не поспоришь — хорошо. Победителей не судят.

Я встаю. Но Бунин не хочет нас еще отпускать.

— Что вы, с курицами здесь ложитесь? Посидите еще.

— Нет, надо уходить.

Сейчас он, слава Богу, пришел в хорошее настроение. Лучше всего уйти, пока он не вспомнит снова об американском письме или о чем-нибудь подобном.

— Спокойной ночи, Иван Алексеевич, — говорю я решительно. — Спокойной ночи, Вера Николаевна.

Он церемонно встает, прощаясь с нами.

— До завтра. Ведь мы теперь, хотите не хотите, а будем каждый день видеться.

У нас в комнате Георгий Иванов шумно вздыхает.

— Утомительное зрелище. Но и поучительное. Нам дано присутствовать при гибельных предпоследних днях великого писателя русской земли, — и, как всегда, перескакивая с одной темы на другую: — русской земли, как написал Тургенев, хотя все почему-то говорят «земли русской». Так им красовитее, должно быть, кажется. А Бунина и особенно Веру Николаевну мне ужасно жаль. Он долго не протянет.

— Вздор, — говорю я. — Он ведь ничем серьезно не болен и еще долго будет жить — очень долго и...

— Если бы он был буржуй, а не писатель — пожалуй, — перебивает он меня. — От чего умирают писатели и поэты? Отчего умер Блок? Оттого, что ему, как он сам сказал о Пушкине, не хватило воздуха. Бунину, разве ты не видишь, тоже не хватает воздуха. Он задыхается, он мог бы сказать о себе:

Да, я дышу еще мучительно и трудно.

Могу дышать, но жить уж не могу.

Разве ты не видишь, что он обречен? Как, впрочем, и все мы, поэты и писатели эмиграции. Нас убивает отсутствие воздуха. И любви. Невнимание и безразличие. Ему бы следовало вернуться в Россию. Но никогда не говори с ним об этом. Никогда.

В «Русском доме» Бунин зажил странно, на удивление и огорчение его обитателей. Приезд Бунина был для них большим событием. Подумать только — жить с «самим» Буниным под одной крышей, завтракать и обедать с ним в одной столовой, может быть, даже за тем же столом, постоянно встречаться с ним и — даже — почему бы и нет? — подружиться с Нобелевским лауреатом!

Но их ждало разочарование — Бунин сиднем засел в своих комнатах, выходя из них только на прогулку или для редчайших поездок в Ниццу. Даже к завтраку и обеду он не спускался. Вера Николаевна по своей чрезмерной доброте, не желая давать казачку лишней работы, сама носила на второй этаж тяжелый поднос с судками и тарелками.

У себя Бунин, кроме Роговского и приезжавших изредка из Ниццы М.А.Алданова, Клягина и нас с Георгием Ивановым, никого не принимал.

Он проводил весь день в жарко натопленной комнате, в халате и в ночных туфлях. Одевался и брился он только перед прогулкой, а вернувшись, сразу же снова облачался в халат и водружал себе на голову вышитую тюбетейку или полотняную широкополую шляпу.

Мы жили на одной площадке, — и Бунин заходил к нам в «домашнем виде».

Обыкновенно он являлся после завтрака и усаживался в наше единственное кресло лицом к окну.

— Из-за этого окна, — объяснял он нам, — я, главным образом, так часто и хожу к вам. Из моего окна, как и из окна Веры Николаевны, одинаковый вид — скрюченные, похожие на корчащегося в муках грешника в аду, оливковые деревья, коза на веревке, щиплющая серую, жесткую траву, забор и пыльная проезжая дорога — будничнейший, тоскливый, безнадежный вид. А у вас в окне — розы и пальма и вдали сияющие снежные Альпы. Как будто переезжаешь в праздничную счастливую страну. Да, из-за этого окна я и хожу к вам.

Это, конечно, было не очень лестно для нас. И не совсем правда. Ходил Бунин к нам не только из-за «праздничного окна» (кто, спрашивается, заставил его выбрать для себя безнадежный, тоскливый вид в окне?), а оттого, что ему были необходимы собеседники и, главное, слушатели.

Усевшись поудобнее, он начинал долго и монотонно жаловаться и брюзжать. Все всегда было не то и не так. Все раздражало его.

Георгий Иванов не выдерживал и часто, ссылаясь на

то, что ему надо купить папиросы или отослать письмо, покидал нас.

Я же терпеливо выслушивала все жалобы Бунина, не прерывая его. Я знала, что это только еще больше раздражит его: нужно было ждать, пока пройдет его приступ «пищеварительного раздражения», как Георгий Иванов называл скверное настроение Бунина, обычное после завтрака.

— И как ты можешь это выносить? — удивлялся Георгий Иванов. — Каждый день одно и то же. Как тебе не скучно?

Нет, скучно мне никогда с Буниным не было. Тяжело, неприятно бывало, но скучно — никогда. В его присутствии нельзя было скучать. Я, во всяком случае, не могла.

Он, как никто, умел заставлять слушающего переживать вместе с ним все его чувства и мысли, видеть его глазами, слышать его ушами. Он делился со слушателем своей радостью, своим горем, делал его участником своей жизни, до такой степени приобщая его к своим переживаниям, что тому часто казалось, что дело идет о нем самом, а не о Буине. Граница, отделяющая Бунина от его слушателя, как бы исчезала.

— Это какая-то магия, гипноз, — рассказывал мне один очень нервный и впечатлительный поклонник Бунина. — Я просто боюсь его. Мы как-то ехали с ним в поезде, одни в купе. Бунин был очень взволнован, жаловался на свою судьбу. А я слушал и все с ним вместе переживал. И так же, как он, волновался. И вдруг он говорит — рука затекла, болит. И я чувствую, что и у меня болит рука — его рука у меня болит, понимаете? Я встал, вышел в коридор. Так всю дорогу и простоял. Мне страшно было. Я будто потерял себя...

По раз навсегда заведенному ритуалу, покончив с брюзжанием, Бунин доставал из кармана табак и методично и аккуратно скручивал папиросу. Своим искусством скручивать папиросы он гордился и был недоволен, что Георгий Иванов не высказывал желания обучиться ему.

— И дешевле, и лучше готовых папирос, — убеждал он его.

Я ставила перед ним на подоконник пепельницу, и он молча выкуривал первую папиросу, понемногу забывая о том, что только что так сердило его, начиная с увлечением говорить на всевозможные темы.

Он тогда недавно издал «Темные аллеи» и возмущался, что их недооценивают и даже осмеливаются осуждать.



— Я считаю «Темные аллеи» лучшим, что я написал, — заявлял он запальчиво, — а они, идиоты, считают, что это порнография и к тому же старческое бес- сильное сладострастие. Не понимают, фарисеи, что это новое слово в искусстве, новый подход к жизни!

Мне нравятся «Темные аллеи». Но меня удивляло количество самоубийств и убийств в них. Мне кажется, что это какое-то юношеское, чересчур романтическое понимание любви. Чуть что — ах! и она вешается, или он стреляется, или убивает ее. Я говорю ему об этом очень осторожно.

Он сердито пожимает плечами:

— Вот как? По-вашему, незрело, романтично? Ну, значит, вы никогда не любили по-настоящему. Понятия о любви у вас нет. Неужели вы еще не знаете, что в семнадцать и семьдесят лет любят одинаково? Неужели вы еще не поняли, что любовь и смерть связаны неразрывно? Каждый раз, когда я переживал любовную катастрофу — а их, этих любовных катастроф, было немало в моей жизни, вернее, почти каждая моя любовь была катастрофой, — я был близок к самоубийству. Даже когда никакой катастрофы не было, а просто очередная размолвка или разлука. Я хотел покончить с собой из-за Варвары Панченко. Из-за Ани, моей первой жены, тоже, хотя я ее по-настоящему и не любил. Но когда она меня бросила, я буквально сходил с ума. Месяцами. Днем и ночью думал о смерти. Даже с Верой Николаев- ной... Ведь я был все еще женат, и моя первая жена мне назло не желала со мной развестись. Я боялся, что Ве- ра Николаевна откажется. Не решится соединить свою жизнь со мной. Ведь это было еще до первой мировой войны. Светские условности и предрассудки «Анны Ка- рениной» были еще живы. А она — Муромцева, дочь из- вестного профессора, племянница председателя I Ду- мы. Но жизнь без нее я себе не представлял. Если бы она не решилась, отказала мне, я бы непременно... — он за- молкает на минуту, глядя в окно. — И теперь еще, — го- лос его звучит устало и грустно. — Совсем недавно. Вы же знаете...

Да, я знаю. Хотя «недавно» я это назвать не могу. Пятнадцать лет для меня очень большой срок.

— Скажите, Иван Алексеевич, — спрашиваю я. — Не- ужели вы действительно, серьезно, по-настоящему хоте- ли?.. Или только так, в мыслях, в мечтах? Вы когда-ни- будь решились на самом деле? Окончательно? Вы дейст- вительно покушались на самоубийство? Стрелялись?.. Или как-нибудь там иначе?.. Вешались?.. Топились?..

Он снова умолкает и молчит довольно долго. Нет, мне не следовало задавать ему такой бестактный вопрос. Надо было слушать и ни о чем не спрашивать. Он, наверное, рассердился. Обиделся.

Сейчас он, как делал уже не раз в спорах о поэзии, о Блоке или Достоевском с Георгием Ивановым, молча встанет и, подобрав обеими руками длинные полы своего халата, мелкой старческой походкой заспешит к двери. Молча. И никакими объяснениями, извинениями и просьбами его не удержишь тогда.

Георгий Иванов называет это «толстовским уходом».

Серьезных последствий, впрочем, «толстовские уходы» не ведут за собой. Бунин очень отходчив. Обычно он через какие-нибудь четверть часа снова тут или посылает за нами Веру Николаевну — как будто ничего не было.

Но на меня Бунин, слава Богу, еще ни разу не обижался. Неужели и я сегодня обидела его? Этого я себе не прощу.

Я сижу за нашим «погребальным» столом, слева от окна. Мне виден только затылок Бунина. Я не знаю, какое у него выражение лица. Я не решаюсь встать, подойти к нему, заглянуть в его глаза, я не решаюсь даже сказать:

— Иван Алексеевич, простите. Я не хотела. Не сердитесь...

Но он поворачивается ко мне, задумчиво смотрит на меня. И вдруг улыбается своей чуть насмешливой улыбкой.

— Оказывается — только в мечтах, — говорит он, разводя руками. — Вот я себя проверил. Все случаи до одного. И вижу, нет, я никогда не мог застрелиться. Хотя тогда был уверен — могу. А теперь вижу — нет, последней жажды смерти у меня никогда не было. Я всегда откладывал на потом. Нетерпения — скорее, скорее покончить со всем этим — не было. Всегда хотелось еще немного, хоть день, хоть ночь прожить еще. Я слишком страстно люблю жизнь и всегда любил.

Он снова достает табак из кармана халата, аккуратно скручивает папироску и, закурив, продолжает, глядя на меня, а не в окно:

— В сущности, я был очень несчастен в ранней молодости. Хотя я, как редко кто, расположен к счастью. Казалось бы, как в молодости не быть счастливым? Но столько противоречивых страстей терзали, просто рвали меня на куски. К тому же бедность. И характер у меня тяжелый. Не только для других, но и для меня само-

го. Мне с собой не всегда легко. А «vivre loin de moi-même»<sup>1</sup>, как жил, по его словам, Анатоль Франс, — не могу, не научился. Прав Малларме: «Поэт должен быть несчастен». А я все-таки, хотя вы с Болгаринном и не признаете моих стихов, прежде всего поэт. Поэт! А уж потом только прозаик.

Он смотрит на меня с вызовом и явно готов отпарировать какой-нибудь выпад вроде: «Нет, я не согласна. Вы — прозаик. И стихи ваши — стихи прозаика. Ведь и Тургенев писал стихи. И неплохо. Хотя бы “Утро туманное”».

Но мы уже не раз спорили об этом. Я молчу. И он, сделав паузу и убедившись, что возражений не будет, продолжает:

— Вот я говорю по трафарету — поэту полагается быть несчастным. Вздор, совсем не полагается, совсем не обязательно. Даже напротив. Счастье тоже может вести к поэзии. И к святости. Я в этом глубоко уверен. Ведь — опять же по трафарету — одни страдания ведут к святости. Надо как-то оправдать и облагородить, украшая страдания — вот и делают их лестницей, по которой поднимаешься на небо к поэзии и святости. А мне иногда до слез жаль, что длительно счастлив я никогда не был. Только вспышками. Минутами. Гете говорил, что он за всю жизнь был счастлив всего лишь семь минут. Я все-таки, пожалуй, наберу, наберу счастливых минут на полчаса — если с детства считать. Ведь я очень, до страсти, любил свою мать.

— А когда вы получили Нобелевскую премию? Неужели вы и тогда?..

— Ах, нет! — перебивает он меня, болезненно морщась. — Совсем нет. Секунду одну. Когда в кинематографе, в темноте, вспыхнул фонарик и я услышал: «Звонили из Стокгольма!» Ведь столько мучительного, с ума сводящего ожидания, столько бессонных ночей!.. А когда я понял, поверил, осознал, сразу будто пусто внутри стало. И даже на скуку похоже и на разочарование. И вся эта утомительная возня, морока с поездкой в Стокгольм. Только милый Яша Цвибак меня и развлекал — всегда веселый, энергичный. И как ловко он со всем справлялся. Без него бы я пропал. Меня ничего не радовало, все утомляло и злило. Потом, конечно, приятно было вспомнить. Да и лестно. Я ведь честолюбив. Не скрываю — очень честолюбив.

---

<sup>1</sup> «жить далеко от самого себя» (фр.).

Бунин выходил на прогулку только на закате, хотя Вера Николаевна и доктор старались убедить его, что это безумие — он каждый раз рискует простудиться.

Предсказания и предупреждения их, кстати, сбылись: в результате этих прогулок Бунин болел воспалением легких не только в тот раз, но и в следующем году, когда он снова приезжал с Верой Николаевной в Жуанле-Пэн.

Упрямства его никто победить не мог, даже он сам. Ведь он прекрасно знал, что этот закат, что «этот блеск — есть смерть», — и все же ежедневно подвергал себя риску заболеть, только бы еще раз увидеть великолепный, торжественный средиземноморский закат.

Обыкновенно он гулял один.

— Терпеть не могу, не переношу, — объяснял он свое пристрастие к одиночеству, — чтобы со мной рядом этакий ротозей порол всякую чепуху или, что еще хуже, восхищался идиотски: «Ах, какое фантастическое облако! А нарисовать — ведь не поверят!» А если шагает молча и смотрит, как корова на новые ворота, — тоже противно, тоже злит меня. Значит, брюхом всю эту красоту переживает. Сдерживаюсь, чтобы не послать его ко всем чертям в преисподнюю, где ему уже место заготовлено. И уж какое тут наслаждение возможно!..

Наслаждение. Да, как ни удивительно, Бунин всегда наслаждался каждым, даже мимолетным общением с природой. Каждый порыв ветра, прозрачность воздуха, надвигающаяся гроза, перемена освещения — все регистрировалось им мгновенно, волновало и радовало.

Он был неразрывно связан с природой, и связь эта ощущалась им иногда не только как радость, но и как мучение — настолько была она самодовлеющей, все себе подчиняющей, настолько прелесть мира до боли восхищала и терзала его.

Зрение, слух и обоняние были у него развиты несравненно сильнее, чем у обыкновенных людей.

— У меня в молодости было настолько острое зрение, — рассказывал он, — что я видел звезды, видимые другим только через телескоп. И слух поразительный — я слышал за несколько верст колокольчики едущих к нам гостей и определял по звуку, кто именно едет. А обоняние — я знал запах любого цветка и с завязанными глазами мог определить по аромату, красная это или белая роза. Это было какое-то даже чувственное ощущение.

Раз со мной такой случай произошел. Поехали мы с моей первой женой, Аней, к ее друзьям, на дачу под

Одессой. Выхожу в сад вечером и чувствую — тонко, нежно и скромно, сквозь все пьянящие, роскошные запахи южных цветов тянет резедой. «А у вас тут и резеда», — говорю хозяйке. А она меня на смех подняла: «Никакой резеды нет. Хоть у вас и нюх, как у охотничьей собаки, а ошибаетесь, Ваня. Розы, олеандры, акации и мало ли что еще, но только не резеда. Спросите садовника». «Пари, — предлагаю, — на 500 рублей».

Жена возмущена: «Ведь проиграешь!»

Но пари все же состоялось. И я выиграл его. Всю ночь до зари во всех клумбах — а их было много — искал. И нашел-таки резеду, спрятавшуюся под каким-то широким, декоративным листом. И как я был счастлив! Стал на колени и поцеловал землю, в которой она росла. До резеды даже не дотронулся, не посмел, такой она мне показалась девственно невинной и недоступной. Я плакал от радости. Что вы смотрите на меня? Не верите? Думаете, вру? — в голосе его уже звенит раздражение.

Я чувствую, что краснею.

— Неужели действительно плакали?

— Действительно. Я ведь вообще легко плачу, — это у меня наследственное — романтическая певучесть и слезоточивость сердца, — от отца. Плакал, да и теперь плачу по разным поводам — от горя, от обиды, от радости. Особенно много от любовных огорчений. И ревности. Я ведь очень ревнив, и это такая мука.

Я не могу скрыть удивления. Нет, я никак не ожидала. Я бы не поверила, если бы мне сказали, что Бунин плакал. Мне трудно представить себе, что из его зорких, холодных глаз могут течь слезы.

— Не вяжется с вашим представлением обо мне — свирепый эгоист, эгоцентрик, мнящий себя солью земли? Так ведь? А о моей душе вы не подумали? У меня ведь душевное зрение и слух так же обострены, как физические, и чувствую я все в сто раз сильнее, чем обыкновенные люди, и горе, и счастье, и радость, и тоску. Просто иногда выть на луну от тоски готов. И прыгать от счастья. Да, даже и сейчас, на восьмом десятке. Хотя какое же у меня теперь счастье? Конец жизни похож на начало. Нищенская, грустная юность, нищенская, тяжелая старость. Сколько унижения, оскорблений! С протянутой рукой — парлэ ву франсэ, шпрехен зи дойч? Подайте великому писателю, Нобелевскому лауреату! Это при моей-то гордости, — ведь я нечеловечески, я дьявольски горд, и почести поклонения принимал всегда как должное. Представляете себе, каково мне теперь? А?.. Представляете?..

После завтрака мы с Георгием Ивановым поднимаемся к себе наверх.

Он ложится на кровать с новым, только что купленным, желтым томиком Агаты Кристи. Как и Зинаида Гиппиус, он читает по детективному роману в день — для успокоения.

— Пойдем гулять, — предлагаю я. — Такой чудный день, тепло, как летом. Успеешь провести с Агатой Кристи вечер.

Но он не соглашается. Нет, с Агатой Кристи ему сейчас расстаться трудно.

— Тогда я одна пойду.

Но и это его не устраивает.

— Лучше подожди немного. Я только дочитаю эту главу. Через полчаса пойдем вместе.

Через полчаса, знаю по опыту, книга выпадет у него из рук, и он заснет с очками на носу.

— Лежи, лежи, читай, — говорю я примирительно. — Я только спущусь, схожу по саду и вернусь.

На это он соглашается.

— Только, пожалуйста, не уходи никуда одна. И возвращайся скорее. Ты ведь знаешь, как я всегда беспокоюсь, когда тебя нет.

Да, он всегда беспокоится. Слишком много и часто беспокоится. По всякой причине и без всякой причины.

— Я обойду три раза сад и вернусь, — говорю я уже с порога и осторожно закрываю за собой дверь.

После завтрака полагается «соблюдать полную тишину» — большинство обитателей дома спит. «Полную тишину» нарушает один лишь Бунин. Он переговаривается из комнаты в комнату с глуховатой Верой Николаевной так громко, что и этажом ниже слышно каждое его слово, хлопает дверьми и с треском выдвигает и задвигает ящики комода. Но на то он и «сам Бунин» — для него закон не писан.

Я, стараясь не шуметь, спускаюсь по лестнице и выхожу в сад.

День действительно чудесный. Еще лучше, чем казался из окна нашей комнаты.

Я останавливаюсь под пальмой. Под ней, во время своих одиноких прогулок, часто стоит Бунин, глядя вдаль на снежные вершины Альп.

Как странно, я столько лет знакома с Буниным, а теперь мне кажется, что я только месяц тому назад, здесь, в Жуан-ле-Пэн, познакомилась с ним. Он центр здешнего маленького мирка. Все вертится вокруг него. Верчусь и я. И мне это приятно.

Он занял такое огромное место в моей жизни, что я просто не представляю себе, что бы я стала здесь делать без него.

Вот и сейчас — я в саду оттого, что он вчера сказал, прощаясь:

— Завтра попробую поработать. А то с приезда ни строчки. Только проклятые письма пишу и рву. Попробую. Так что завтра вы меня весь день не увидите.

Этот «весь день» без Бунина кажется мне очень длинным. И пустым.

Я медленно обхожу дом. За домом — вид из окна Бунина — оливковые деревья тянутся правильными рядами, невысокие, мучительно изогнутые от беспрерывного ветра. Они, Бунин прав, напоминают грешников, корчащихся в аду.

Я вспоминаю иллюстрации Густава Дорэ к «Божественной комедии» — большая, толстая, черная книга с золотым обрезом, стоявшая на книжной полке в моей детской. Я ее очень боялась. Особенно по ночам.

Дальше за серыми оливковыми «грешниками» апельсиновые и лимонные деревья, уже нежно осыпанные легкими белыми лепестками.

Все это — вид из окна Бунина, того, второго слева, во втором этаже. Почему он кажется ему таким безнадежным? У забора молодое прелестное дерево мимозы, все в солнечно-золотых мохнатых шариках. Трава совсем не жесткая и серая, как он говорит, а такая, как я себе представляла ирландскую траву, — шелковистая, изумрудно-зеленая. И воздух легкий, тонкий, лоснящийся от ветра и солнечного света.

Какой очаровательный день, какой очаровательный сад. И как все цветет и дышит и полно одной и той же опьяняющей жизнью. Какая гармония во всем. Будто все вокруг составляет одно восхитительное целое, и оливковые грешники совсем не нарушают его. Все на своем месте.

Даже коза. Коза, привязанная к одному из апельсиновых деревьев толстой веревкой. Она смотрит на меня коричневато-лиловыми глазами, беспрерывно двигает носом и губами, трясет бородкой, будто хочет мне что-то сказать.

Я смотрю на козу и вдруг чувствую, что понимаю не только козу, но и все вокруг — и деревья, и траву, и облака. Я чувствую такую близость ко всему, такое родство со всем, будто и я тоже часть этого сада, будто я сама по себе не существую или, вернее, существую во всем здесь, и в цветах апельсинового дерева, и в перистом

облаке, проплывающем над садом, и в мимозах, и в птичке, усевшейся на крышу дома. И в козе. Да, больше всего в козе. Она, все так же двигая носом, протяжно заблеяла. Я понимаю — она полна нежности и дружбы ко мне. Я подхожу к ней с чувством не только дружбы, но и родства. Я протягиваю руку, чтобы ее погладить.

Но коза, нагнув рогатую голову, делает большой скачок и предательски бросается на меня. Я еле успеваю отпрыгнуть назад. Веревка натягивается и скрипит. Коза яростно блеет.

Так вот она какая! А я думала — милая, бедная, нежная. Так вот же она какая!

Я сразу чувствую себя выброшенной из всей гармонии сада. Родственная связь не только с козой, но и с деревьями, ветром, облаками и птицами порвана. Я сама по себе. Я чужая этому саду. Мне здесь все чуждо. Минутное ощущение дружбы и родства исчезло.

Коза — просто глупое, злое животное. И все вокруг совсем уж не так прелестно, как мне только что казалось. Что я так расчувствовалась?

Пора возвращаться. Жорж должно быть, уже проснулся. Я в последний раз медленно обхожу сад и поднимаюсь на крыльцо. Но на пороге вдруг появляется Бунин.

Именно — вдруг, неожиданно. Ведь он никогда не выходит из дома раньше четырех.

— Что, не ожидали? Удивлены? — спрашивает он. — Это я для вас. Видел в окно, как вас коза чуть не забодала. Ну, и поспешил вам на помощь. Ах вы, неразумная горожанка! Не знаете разве, что «коза рогатая, бодатая, на молоко богатая»? Можно ли подходить к ней так близко? Непременно боднет и с ног собьет.

— Я хотела ее погладить. Она так жалобно блеяла. Мне казалось, что козы ласковые.

— И мурлычут, как котята, когда их гладят, — заканчивает он. — Видно, что вы в деревне не жили. Всякие там Павловски, Териоки и Кисловодски. А о русской деревне у вас и понятия нет.

Неправда. Я в детстве часто проводила лето в имениях, а во время революции даже жила в крестьянской избе на Званке. Но я не спорю. О русской деревне у меня действительно довольно смутное понятие. А с козами мне близко встречаться никогда еще не приходилось.

— Я боялся, что вы уйдете гулять без меня. Что вы все на месте топтались?

— Я обещала Жоржу не выходить из сада. Мне пора домой. Он ждет меня...



— Вздор. Мы пойдем гулять. Вы не можете меня сейчас бросить. Ведь я для вас так торопился одеться. А я терпеть не могу торопиться. Я и работу свою оставил для вас. Мне страшно хотелось вдруг, в изъятие из правил — сделать большую прогулку. В Антибы пойти. С вами.

— Подождите минутку, Иван Алексеевич, пожалуйста, — прошу я. — Я сбегая наверх предупредить Жоржа. И сейчас же вернусь.

— Никаких минуток! — отрезает он. — Или идем, или не идем. Решайте!

Он уже начинает раздражаться и смотрит на меня, насмешливо прищурившись.

— Подумаешь, какая подбашмачная жена выискалась. Спит ваш Болгарин. Спит и даже не заметит, что вы не вернулись.

Нет, конечно, заметит. И, конечно, будет беспокоиться — куда я делась? Но прогулка с Буниным слишком большой соблазн. Если откажусь, буду потом жалеть. И как еще!

Я киваю, решившись.

— Хорошо, Иван Алексеевич. Идем.

Мы спускаемся с горки, на которой стоит наш дом.

Мимо нас, вниз по каменной дороге, мчится на велосипеде совсем молодой монашек. От встречного ветра рукава его черной рясы развеваются, из широкого ворота торчит тонкая мальчишеская шея. Круглая, коротко остриженная голова откинута назад. На его бледном лице, в широко открытых глазах, в судорожно сжатых губах — выражение упоения, блаженства и ужаса.

— Какое у него странное лицо, — говорю я.

— А, вы тоже заметили? Будто он в первый раз в жизни целует любимую девушку. Но ведь ему, бедному, этого нельзя. Вот он и заменяет любовь опасностью сломать шею. И упивается, наслаждается этим. Ведь очень страшно так по камням с горы мчаться, дух захватывает. Ах, бедный, бедный.

Я слежу взглядом за исчезающим велосипедистом.

— Он уже на дороге внизу. Слава Богу, не сломал себе шею.

Бунин пожимает плечами.

— Бога славить тут, пожалуй, нечего. Может быть, лучше ему бы разбиться, прахом рассыпаться. Трах — и конец. Ужас и блаженство. А какая тяжелая, грустная жизнь его ждет — если, конечно, он правоверный католик. Но в молодости почти все веруют. И мучатся. Потом, конечно, с годами многие монахи живут весело,

блудно и пьяно. Но в молодости редко кто из них не аскет. И как мне жаль их.

Я смотрю на Бунина. Он шагает энергично, уверенно и широко. У него эластичная ритмическая походка. С ним легко идти в ногу.

Он совсем не похож на себя, того домашнего, в халате, в ночных туфлях и в одном из своих умопомрачительных «головных уборов». От старческой сутулости, суевливости не осталось и следа. Он держится очень прямо, высоко и гордо подняв голову. Каракулевая круглая шапка, надвинутая на лоб, молодит его худощавое, породистое лицо.

Сейчас его нельзя назвать не только старым, но даже пожилым, столько в нем жизни, так ясно и предпримчиво смотрят его зоркие глаза.

Возраст Бунина. Я, сидя с ним около его камина или перед окном нашей комнаты, часто удивляюсь, как меняется его внешность. В продолжение какого-нибудь часа он будто проходит разные эпохи жизни. То он кажется старым-престарым старцем, то человеком средних лет, то молодым. Его выразительное лицо меняется невероятно быстро, преобразается под влиянием настроения, чувств и мыслей.

Мы пересекаем железнодорожную насыпь.

— Рельсы, — говорит Бунин, — всегда будят во мне мою ненасытную страсть к путешествиям. Ведь больше всего на свете я люблю путешествия. И воспоминания о них. Я объездил чуть ли не весь мир. В одном Константинополе был тринадцать раз. А вот Японии и Китая так и не удалось увидеть. Я и сейчас жалею об этом.

Он с чисто восточной роскошью и богатством образов, сведений и деталей рассказывает об Африке, о Цейлоне, об Индии.

Я иду рядом с ним, слушаю его и снова, как всегда, изумляюсь тому, как он умеет показывать то, о чем говорит. Я уже чувствую себя в Дакаре, в Египте, на берегах Ганга.

Но он вдруг прерывает свои описания, поворачивается ко мне и смотрит не на меня, а поверх меня вдаль.

— Как давно я так, как с вами, вспоминая прошлое, не гулял. Как давно меня так, как вы сейчас, никто не слушал.

Оживление медленно сходит с его лица, и голос его звучит приглушенно и грустно.

— Только с ней когда-то. Мы с ней вдвоем постоянно гуляли, исходили все дороги, объездили все окрестности. И как это было чудесно. Она мало говорила, но

как она умела слушать. И понимать меня. Раз, когда мы с ней возвращались домой, до того усталые, что с трудом передвигали ноги, я подумал — как хорошо было бы сейчас лечь здесь, под шуршащим тополем, обняться и уснуть вместе. И — ведь мысль о смерти всегда присутствует в любви — мне вдруг мучительно захотелось не только уснуть, но умереть вместе с нею. Умереть с нею. Не сейчас, конечно. А когда придет мой час. Я пожелал это с такой силой, что почувствовал боль в горле. Но я не сказал ей: я хочу умереть вместе с тобой. Нет, ведь она на столько лет моложе меня. Она, конечно, переживет меня и будет еще долго жить после моей смерти. Я сдержался. Я не сказал ничего. И все-таки она почувствовала. Она поняла. Ее нежные, прелестные пальцы вздрогнули в моей руке. В ответ. Будто выражая согласие и готовность исполнить и это мое желание. — Он молчит с минуту, потом говорит срывающимся голосом. — И все-таки она меня бросила, бесчеловечно бросила. Бросила, зная, что это убьет меня.

Убьет? Но ведь он жив. Он не умер. Он пережил.

Как же так? Ведь он произнес «убьет» так убежденно, с таким отчаянием.

Мы проходим по площади мимо безобразного «памятника павшим героям последней войны».

— Какой отвратительный памятник, оскорбительный для памяти бедных убитых солдат, — говорю я первое попавшееся, только чтобы отвлечь внимание Бунина от его любовной драмы.

Он кивает, брезгливо морщась.

— Да, меня просто тошнит от вида этих каменных экскрементов. Я всегда обхожу их стороной. Мне кажется, что они воняют. А ведь бараны — отцы города — с ослом-мэром одобрили его. И стоил он дорого, наверно. Но меня удивляет, что и вы понимаете, какая это гнусность. Ведь вам нравятся разные Пикассо и всякие там Элюары.

И он раздражается длинной тирадой, уничтожающей современное искусство.

Взгляды Бунина на футуристов, декадентов и абстракционистов — он всех их валит в одну кучу — мне давно и хорошо известны.

Я не спорю, не подаю реплик, даже на удар не в бровь, а прямо в глаз:

— Хорош ваш Блок! Просто эстрадный фигляр. В ночном кабаке после цыган — отчего же — послушать можно. Но к поэзии это никак не относится. Решительно никак. Эти — пусть музыкальные — вирши даже не

спуск в преисподнюю, в ад, а в грязное подполье, в подвал «Бродячей собаки», где «пьяницы с глазами кроликов — in vino veritas кричат», кричат, как в цирке: «Браво, рыжий! Браво, Блок!» Ведь ваш Блок — просто рыжий из цирка, просто клоун, шут балаганный, из своего же собственного позорного «Балаганчика».

Я даже не стараюсь объяснить, что Блок терпеть не мог «Бродячей собаки» и никогда в ней не бывал.

Я ничего не возражаю. Должно быть, моя необычайная кротость приятно удивляет Бунина. Обыкновенно, особенно если поэтический спор происходит в присутствии Георгия Иванова, не обходится без того, чтобы не «грязнул бой, Полтавский бой».

Георгий Иванов необычайно вежлив и выдержан, но в литературных спорах часто теряет не только меру, но и самообладание.

Так, он без всякого стеснения объясняет Бунину, что не считает его поэтом и что Гумилев и все аполлоновцы возмущались, когда такая высококвалифицированная типография, как «Голике», отпечатала его «Листопад».

Мне еще там, на берегах Невы, внушали презрение к стихам Бунина. Я робко призналась, что мне очень нравилось стихотворение Бунина «Ночь печальна, как мечты мои», положенное — не помню кем — на музыку. Его пела моя мать. Гумилев издевательски заметил:

— А вот я так плакал навзрыд, когда моя мать мне пела: «У кота-воркота была мачеха лиха». И понятно: «те песни, что певала мать», нас всегда восхищали, оттого что она их пела.

То, что я даже не защищаю Блока, застает Бунина врасплох. Он удивлен. Он спрашивает:

— Вы что? Устали? Уморились?

Я смотрю на часы на руке.

— Уже четверть четвертого. Жорж будет беспокоиться — куда я пропала.

Он кивает.

— Конечно, будет. Как не беспокоиться, когда он так вас любит, слишком сильно любит. Толку от такой любви никакого. Ни вам, ни ему. Одно беспокойство и мученье. Знаю. И как еще знаю — по опыту. А поделаться ничего нельзя — приходится терпеть. Теперь он, конечно, с ума сходит, а вернетесь вы — закатит вам скандал. И еще какой! Все как полагается. Это и есть великая любовь, посланная богами смертным, как наказание и лютая казнь. Самая неподдельная, великая любовь.

— А Веру Николаевну вы тоже так любите? — неожиданно спрашиваю я и, смутившись от собственной бес-

тактности, чувствую, что краснею. Ведь меня с детства учили: «No personal questions or remarks»<sup>1</sup>. А это ли не «personal question»?

Но у Бунина, должно быть, другое представление о бестактности. Он с полной готовностью отвечает:

— Веру Николаевну? Нет. Совсем другое дело. Даже сравнивать дико. Люблю ли я ее? Разве я люблю свою руку или ногу? Разве я замечаю воздух, которым дышу? А отсеки мне руку или ногу или лиши меня воздуха — я изойду кровью, задохнусь — умру.

«Умру» — он вторично сегодня произносит это слово. Но сейчас — на житейском плане, где смерть — предел существования.

— Да, без нее я вряд ли могу жить. Но сказать, что я ее люблю, — он недоумевающе разводит руками. — Нет, или, вернее, люблю, как себя, не замечая этого. Ведь о том, что я люблю себя, я не помню и даже рассержусь, если кто-нибудь назовет меня «самолюбцем». Возможно, что это и есть самый высокий, правильный род любви — по завету Христа: «Люби ближнего, как самого себя». Без преувеличений, трагедий и мук. Не замечая своей любви. Она часть меня, составная, неотъемлемая часть меня. Яснее я объяснить не могу. Но с ней разлуку мне бы пережить не удалось. — И, помолчав, заканчивает: — Всегда благодарю Бога, до последнего моего вздоха благодарить Его буду за то, что он послал мне Веру Николаевну.

Мы выходим на набережную. Бунин указывает широким жестом на море.

— Ну, как бы вы описали это волшебство, вы — не любительница описаний природы? — спрашивает он меня.

Я смотрю на легкие золотисто-розовые облака, тающие в голубом небе, и говорю первое, что пришло мне в голову, сознавая всю банальность моих слов:

— Закатные облака похожи на ангелов, пролетающих над морем, чтобы утешить чаек, рыб и рыбаков, попрощаться с ними, перед тем как вернуться к себе домой, в рай.

Он, внимательно выслушав про моих утешающих рыб и чаек облаков-ангелов, неодобрительно качает головой.

— Ну, конечно, конечно. Без ангелов у вас всех не обходится. Ангелы у вас всех, особенно у Смоленского, какая-то домашняя птица, вроде курицы, под всячески-

---

<sup>1</sup> «Без интимных вопросов или замечаний» (англ.).

ми соусами подаются. Жареные, вареные, свежооципаннные — ведь и перья из ангельских крыльев на поэтическую потребу идут. А уж о лире и не говорю. Кому только ангелы ее не протягивали. Даже Ходасевичу, помните: «Мне ангел лиру подает...» — На, играй на ней райские песни! Сладкозвучничай!

Возразить на это мне нечего. Да, правда. У меня и у самой неоспоримое пристрастие к ангелам — недаром я назвала свой первый роман «Ангел смерти». Но вдруг я, не дослушав, прерываю его.

— Нет, Иван Алексеевич, простите. Нет, я бы не стала об ангелах. Я ошиблась. Я сказала бы, — я протягиваю руку и указываю на яхту вддали, — я сказала бы только:

Белеет парус одинокий  
В тумане моря голубом...

Больше ничего.

Лицо его освещается улыбкой.

— Вот это вы действительно ловко. Это действительно хорошо и умно. Лучше не скажешь. И как этот «Парус» меня всегда потрясает. Каждый раз по-новому, каждый раз иначе. Иногда грустью. Иногда вдохновеньем. Иногда счастьем — до боли. И какой торжественный, волшебный конец. Одни из самых изумительных строк во всей русской поэзии:

А он, мятежный, просит бури,  
Как будто в бурях есть покой.

Мне всегда кажется, что это обо мне сказано. — Он взмахивает рукой и повторяет: — А он, мятежный, просит бури...

И вдруг со свойственными ему резкими переходами из одной тональности в другую:

— Что вы гримасничаете? Что вам не понравилось?

— У меня глаза ломит от солнца. Я забыла взять свои черные очки.

— А на что они? Я вот могу прямо на солнце смотреть, — и он действительно уставляется на огненный шар солнца, нестерпимо пылающий на горизонте. — Как орел смотрю на солнце! А вам очки подавай!

— Видно, я не орлиной породы, — соглашаюсь я. — Я и орлов терпеть не могу. Как и всех хищных птиц. Терпеть не могу. И даже боюсь.

Но моя боязнь птиц нисколько не интересуется его. Он вряд ли слышал, что я сказала. Он смотрит вдаль и, ка-

жется, весь поглощен тем, что видит и что чувствует. Он медленно говорит:

— Как мне хочется хоть раз еще все увидеть. И Грасс, и Бельведер. Там, где я был счастлив. И несчастен. Но даже в самые черные, несчастные минуты я всегда чувствовал всю эту красоту и как-то краешком сознания наслаждался ею. А ведь большинство людей вовсе не замечает ее. — Он замолкает на минуту.

— Подумать только, — продолжает он, — что мадам де Севинье жалела свою дочь за то, что она живет в отвратительном Провансе, безобразнее которого ничего на свете нет. А Мишле считал Тулон и окрестности Тулона адом. Ведь до Руссо никто не любовался видами природы и даже не замечал захода солнца. Их просто не существовало. Только на картинах, а в жизни, в действительности, их не было. Потом, по Уайльду, «природа стала подражать искусству», и тогда их увидели и начали ими восхищаться. Это у французов, но и у нас, русских, не лучше было...

На обратном пути Бунин непременно хочет зайти в кафе выпить вина. Я отказываюсь.

— Вы же знаете, Иван Алексеевич, я не могу, меня Жорж ждет.

Но он и слышать не желает.

— Зайти в кабачок совершенно необходимо. Без этого прогулка не прогулка. Ведь это мой первый и, наверно, единственный большой выход. Я обыкновенно обогну раза три сад, выгляну за калитку и назад в свою конуру. Сил нет. Устаю. А сегодня сколько мы с вами отмахали. Почти как в далекие прошлые годы. Неужели вы так жестокосердны и захотите все испортить?

Я не даю ему договорить. Раз для него это так важно, я согласна.

Перед кафе на деревянной стойке — корзины с устрицами.

Рыжеволосый, веснушчатый парень в розовой рубашке открывает устрицы кривым ножом и укладывает их на блюдо со льдом.

— Ишь, как ловко работает. Молодец! — восхищается Бунин. — А ведь это нелегко. Я пробовал открыть устрицу. Никак не мог. А он — раз и готово! Без промаха, без осечки.

Парень, понимая, что иностранный господин заинтересовался им, особенно быстро и щеголевато работает ножом.

— Две дюжины, — заказывает ему Бунин. — Самых крупных.

Парень широко улыбается и, взглянув на нас зелено-вато-серыми влажными глазами, с еще большей энергией начинает орудовать ножом.

— Вы заметили, — говорит Бунин, входя в кафе, — что у него глаза похожи на устриц?

— А ведь правда, на устриц, — соглашаюсь я радостно. — Такие странные, будто скользкие, неприятные. Как я сразу не догадалась? На устриц! Будто нарочно у продавца устриц глаза, как две устрицы.

— Запомните, — советует он. — Может пригодиться для рассказа. Я вам дарю эти «глаза, как устрицы». Берите, берите. Я царски богат. Мне не жалко.

За соседним столиком три молодых человека с жаром обсуждают вчерашний футбольный матч, усиленно жестикулируя.

— Посмотрите, как они руками машут, кажется, сейчас заедут друг другу в морду, и как отчаянно горлачат. А они просто дружески беседуют. Что значит южный темперамент! А вино совсем приличное, и устрицы великолепные. Не хуже, чем в Париже у Прюнье. Пейте... Ведь приятно, когда устанешь, посидеть так в кабчке. А вы артачились.

Внимание его опять занято соседями по столу.

— Мне часто хотелось написать о таких вот французских парнях. Но по-настоящему я не чувствую их, не понимаю до конца... Между нами, русскими, и ими — пропасть, они другие, чем мы. Непонятные нам. Мы так же не понимаем их, как и они нас. Одна *âme slave*<sup>1</sup>, приписываемая нам, чего стоит. И все же они по-своему правы — в душах как раз главная разница. В наших и в их душах. У нас души православные, у них души католические, — главное различие между ними и нами — религия, вера. У католиков совсем иное мироощущение, чем у православных. Они все чувствуют по-другому, чем мы. Наши древние иконы действительно окна в рай. У католиков все до ужаса реально, чувственно. На их снятие с креста смотреть нельзя, не содрогаясь. И пылающее, исходящее кровью сердце Христа, и прелестные женственные Мадонны, все это земное, полное земной прелести, земной реальности и земного ужаса и страдания. Даже монахини — подумать только — для них жених, супруг — Христос. Терпеть не могу Вячеслава Иванова, а он правильно о монашках сказал: «И каждая с грешной жадой целует Его в уста», или как там у него, не помню. Но он правильно понял. Он недаром и

---

<sup>1</sup> славянская душа (фр.).



сам в католичество перешел. Теперь кардинал при Папе в Ватикане или что-то в этом роде, шут с ним совсем.

Бунин наливает себе и мне по новому стакану вина, подвигает ко мне самые большие устрицы.

— Но ведь не все французы правоверные католики, — говорю я. — Сколько среди них протестантов. И атеистов.

Он качает головой.

— Ничего не значит. Это у них в крови, прирожденное, наследственное. Они воображают себя свободомыслящими — ни в Бога, ни в черта, — не крестят своих детей, не венчаются в церкви. Но ведь души-то их слагались столетиями. Готические соборы недаром возникли таинственным образом во Франции, а не в какой-нибудь другой стране. И крестовые походы, и религиозные столкновения, всякие там Нантские эдикты и прочее. А Варфоломеевская ночь чего стоит. Безбожнику французу только кажется, что он безбожник, душа у него глубоко религиозная и к тому же католическая, расчетливая, меркантильная, веселая, чувственная. А наши русские православные души лиричны, аскетичны, мрачны и сумасбродны. Напрасно считают французов легкомысленными. Мы гораздо легкомысленнее их, только русское легкомыслие принимает мрачные, а не веселые формы. Я и сам очень долго, лет до тридцати, был способен на самые сумасбродные поступки. А как я жил. Угла собственного у меня никогда не было. Скитался из города в город, часто без гроша в кармане. Был способен по шпалам пешком идти, только бы не оставаться на одном месте. Будто меня кто гнал. О будущем я совсем не думал, ни на какую работу способен не был. Верил, слепо верил в свой талант, в свою звезду и что когда-нибудь прославолюсь на весь мир.

— Но ведь вы и прославились, — прерываю я его. — На весь мир прославились.

Он разводит руками.

— Ну и что из того? Если бы в своей стране. А то здесь. Что мне эта Нобелевская премия — а сколько я о ней мечтал — принесла? Чертовы черепки какие-то. И разве иностранцы оценили меня? Вот я написал лучшую свою книгу «Темные аллеи», а ее ни один французский издатель брать не желает.

Да, я знаю. Не только «Темные аллеи», но и «Лица», хотя Бунин уже давно подписал контракт с Грассе или Галимаром, — все еще не появляется.

Мы приехали в Жуан-ле-Пэн на аванс, полученный

мною за «Laisse toute espérance»<sup>1</sup>. Но Вера Николаевна, о чем мне не преминули сообщить, только горестно трясла головой: «Бедненькая Ирина! Она воображает, что ее роман действительно будет напечатан. Мне ее очень жаль. Ведь контракт и аванс ровно ничего не значат. Контракт контрактом, а книга так и не выйдет никогда. Раз даже книги Яна не выходят...»

— Да, — говорит Бунин, снова вспоминая «Темные аллеи», в который уже раз, — это лучшее, что я за всю мою жизнь написал. А разве кто понимает? В Нью-Йорке даже несколько рассказов не решились целиком напечатать — почтительно просят удалить «слишком соленное». Ненавижу, когда меня до сих пор называют автором «Деревни».

Он все сильнее волнуется, щурит глаза и сдвигает брови.

— До чего мне обидно! Значит, между мной и читателями пропасть. Полное непонимание...

Какое у него сейчас бледное трагическое лицо на черном фоне окна. Черном? Но ведь оно только что было красным. Я смотрю на свои часы. Боже мой, уже без четверти шесть!

Я быстро встаю со стула.

— Нет, теперь действительно пора идти. Я ни минуты больше не могу...

— Неужели пора? Неужели ни минуты? — разочарованно переспрашивает он. — Ведь вы все равно так опоздали — семи бедам не бывать, а одной не миновать. Посидим еще немножко, возьмем еще вина.

Но видя, что я решительно не согласна, он подзывает хозяина и расплачивается.

— А жаль, что уже и конец.

Он оглядывается с порога и кивает, будто прощается не только с хозяином, но и со всем кабачком.

— Да, жаль, очень жаль, — повторяет он грустно. — Вряд ли нам с вами удастся еще раз так погулять. Вряд ли эта прогулка повторится.

И она действительно не повторилась...

Мы сидим перед печкой.

Бунин простудился и второй день не выходит из своей жарко натопленной комнаты. Сидя в кресле, высоко закинув ногу на ногу, поминутно раздраженно, с брезгливым выражением лица запахивает полы своего верб-

---

<sup>1</sup> «Оставь надежду навсегда» (фр.).

люжьего халата. На голове у него, в изъятие из правил, — не шляпа и не кепка, а каракулевая шапка, которую он надевает, идя на прогулку.

— Я в собачьем настроении, — запальчиво заявляет он мне, как будто это и так не ясно.

Я молчу. Я по опыту знаю, что, когда он «в собачьем настроении», говорить не следует. Все, что ни скажешь, только рассердит его. Я чувствую себя неловко.

Может быть, мне лучше всего уйти? Молча? Не попрощавшись с ним? Но я не решаюсь встать.

Он смотрит в огонь отсутствующим взглядом и медленно и задумчиво произносит, будто говорит сам с собой:

— Какая у меня отвратительная, мерзкая старость! Но и молодость была не лучше. Сколько тяжелого. Дикое одиночество. И нищенская бедность. Я о всем этом потом просто и вспоминать не хотел. Вычеркнул из памяти. А теперь нет-нет да и вспомнится. И так ясно, будто это все вчера было, будто я из молодости прямо перешагнул в старость. А всего остального и не существовало.

Он наклоняется, берет кочергу и начинает поправлять дрова в печке. Медленно и осторожно, а не разбрасывает их яростно, так что искры вылетают во все стороны. Одна из таких искр недавно прожгла мою юбку.

Значит, он не сердится. И значит — за месяц нашего совместного пребывания в Жуан-ле-Пэн я успела изучить переходы его настроений и привычки — он, по всей вероятности, собирается говорить о себе, «погружается в свое прошлое». Пауза. Я жду. И он снова, так же задумчиво продолжает:

— Вот все думают, что «Жизнь Арсеньева» — моя автобиография. Но я о многом, об очень многом, о самом тяжелом не писал. «Жизнь Арсеньева» гораздо праздничнее моей жизни. В ней много подтасовано и подтешано. А ведь никто не верит. И мне это неприятно.

Он поворачивается ко мне, этим движением производя меня в слушателя и даже в собеседника.

И я спрашиваю, осмелев:

— Почему бы вам, Иван Алексеевич, не написать комментарий к «Жизни Арсеньева» и все поставить на свое место?

Он морщится.

— Ну нет. Ни к чему это. И не удалось бы мне. Я пробовал писать о себе правду. Не удавалось. Должно быть, от душевной застенчивости. Я ведь болезненно стыдлив, целомудрен и застенчив внутренне — хотя никто не верит. Мне как-то стыдно писать о себе правду.

— А в ваших письмах? Ведь вы такие изумительные письма пишете.

Он снова морщится.

— Ну, уж о письмах и говорить не стоит. Кто когда писал правду о себе и о других в письмах? Всегда надо считаться с тем, кому и когда они написаны, учитывать, сколько в них фальши, желания польстить тому, кому они адресованы, или, напротив, самохвальства. И чисто литературной красоты. Ведь я всегда помню, что мои письма всеми сохраняются и рискуют быть напечатанными после моей смерти. Хотя вот уже сколько лет прошу и завещаю, чтобы все мои письма — до последнего — сожгли. Разве кто-нибудь в письмах до конца честен, правдив и откровенен? В особенности писатели? В жизни можно быть честным, в письмах нельзя.

Он замолкает на минуту.

— Нет, сам я о себе написать не могу. А что у меня нет, и не будет, хорошей биографии, мне иногда жаль.

— Но, может быть, о вас еще и напишут замечательно? И здесь. И в России.

Он упрямо трясет головой.

— Вздор. Никто не напишет. И главное, написать не сможет. Ведь чтобы правильно написать о человеке, надо не только его знать, но и быть равным ему, если не во всем, то все же во многом. Главное — по таланту и уму. А кто — совсем между нами, — скажите, в эмиграции равен Бунину? Кругом одни пигмеи, какие-то раздувающиеся лягушки. Одна фанаберия, «головное воображение о себе». Я говорю о старых писателях, тех, кто — с хорошим, кто — с неважным именем прибыли сюда. Разве среди них кто-нибудь равен Бунину? Или среди новых?

И в России — теперь там мной интересоваться начинают — никто по-настоящему написать не может. «По материалам» — да ведь это мертвечина и отдает трупным запахом. Статистика с картpostalными иллюстрациями. Нет. Никто никогда. Правильно сказал Мережковский, хоть я его и терпеть не могу, — «каждая новая книга о Наполеоне камнем падает на его могилу и еще больше мешает понять и увидеть Наполеона». Так и со мной, конечно, будет. Лучше никто и не писал бы. Ничего, никогда.

Но я не согласна. Я протестую:

— Нет, совсем не надо быть равным писателю, чтобы правильно описать его. Это особая способность, иногда отсутствующая даже у гениальных писателей и встречающаяся хотя бы у Зинаиды Гиппиус в ее «Живых

лицах». А ведь проза Гиппиус не очень хороша. Она — поэт, она — критик. Но прозаик слабый. Исключение — «Живые лица».

Я напрасно упомянула о Зинаиде Николаевне. Бунин, успев высказать все, что хотел, о биографиях, больше о них слышать не хочет. Я всячески стараюсь вернуть его к прежней теме. Но он начинает изображать, как Зинаида Николаевна однажды в его обществе покупала ленточку и бантики в Ницце, в «Галери ла-файет». Он передразнивает ее забавно и правдиво, капризно тянет французские слова и подносит грациозным жестом воображаемую лорнетку к прищуренным глазам.

— В эти минуты у нее, — говорит он, — как у стрекозы, две пары глаз — она, несмотря на свою подслеповатость, все видела и впивалась взглядом в ленточки — в те, что лежат перед ней, и в те, что сбоку, и в те, что сзади, на другом прилавке. Кто не покупал ленточек и бантиков с Зинаидой Николаевной — не поймет ее. Это поучительное зрелище. Жаль, что вам так и не пришлось сопровождать ее в охоте за бантиками, земля ей пухом!

Я смеюсь, и он тоже начинает смеяться.

— Разве я уж так смешно ее изображаю?

Да, так смешно, что сейчас, через много лет, я, вспоминая о том, как Бунин изображал Зинаиду Гиппиус, покупающую бантики, смеюсь. Через двадцать два года смеюсь. Но тогда, двадцать два года тому назад, в тот февральский средиземноморский день, я все же спросила:

— А мне, Иван Алексеевич, если мне когда-нибудь очень захочется, можно будет написать о вас?

Он внимательно оглядывает меня с головы до ног, будто видит меня впервые.

— Да ведь вы же только стихи и романы пишете?

— Я на всякий случай осведомляюсь. Мало ли что бывает, вдруг захочу... Не сейчас. А потом, на старости лет...

— После моей смерти? — Он задумывается. — Что вам ответить? Если я даже запрешу, вы, как, впрочем, и другие, не послушаетесь. Так уж лучше я вам разрешу. Тем более, что я совсем не вижу вас в роли очкастой мемуаристки, записывающей в книжечку, ежеминутно вынимаемую из сумки, мелким почерком все, что видит и слышит. Мемуаристы ведь совсем особая порода, как и переводчики. Для них чужое ближе своего. А поэты — лирики. Они что бы ни писали, всегда «обо мне и о се-

бе». И вы ведь, как и я, прежде всего поэт. Впрочем, слушать вы действительно умеете. И это мне в вас нравится. Это хорошо.

Еще бы! Неужели бы Бунин проводил со мною столько времени, если бы я не умела его слушать? Ведь для него, как и для Белого когда-то, лучший собеседник — слушатель. «Активный слушатель», по определению Белого.

Бунин снова поправляет поленья в печке и осторожно и аккуратно ворошит угли.

— Вот вы спрашиваете, разрешу ли я вам писать о себе, — выдержав паузу, продолжает он. — Не только разрешаю, но буду рад, если вы когда-нибудь это сделаете.

Он смотрит на меня торжествующе, нисколько не сомневаясь, что я, осчастливленная его монаршей милостью, чувствую себя на седьмом небе.

И я, сознавая, что он ждет от меня верноподданнической благодарности, говорю:

— Спасибо, Иван Алексеевич, сегодня же вечером начну дневник. Буду все записывать о вас.

Он кивает.

— Вот это умно. Непременно заведите дневник. Увидите, как он вам потом пригодится. Поможет вам меня по-настоящему понять. Не только меня, но и себя понять и узнать. Ведь вы, наверно, как большинство, воображаете себя совсем другой, чем вы на самом деле. — И, помолчав: — А вот я действительно «познал самого себя». Не хуже самого Сократа... Так непременно заведите дневник.

Но я так и не завела дневника. Я тогда совсем не собиралась писать о Бунине. Ни о Бунине, ни о ком другом. Я была слишком занята своею собственной жизнью.

Но как знать? Не будь тогда этого разговора, я, может быть, не решилась бы так подробно рассказывать о моих немногочисленных встречах с Буниным.

Нет, я не надеюсь показать «живого Бунина». Это вряд ли кому удастся — слишком уж он многогранен, не укладывается ни в какие рамки, не поддается измерению.

Но, может быть, все же эти страницы о нем помогут хоть смутно, как сквозь туман, увидеть его, услышать его голос, на минуту почувствовать его присутствие тем, кому не было дано встретиться с Буниным.

— Я теперь постоянно о смерти думаю, — говорит Бунин. — Какой-то перелом во мне произошел. Я как

будто не только умом, но и всем телом понял, что я, как и Кай, смертен. Смерть как будто вошла в меня — в мою голову, в сердце, в кровь. Правда, я только минутами, но все чаще чувствую ее в себе. И это тяжело. И страшно. Ведь как ни крути — восьмой десяток, жить осталось совсем мало.

— Ну что вы, Иван Алексеевич! — перебиваю я его. — Вы всех нас переживете. До ста лет, а то и больше проживете.

Я уверена, что именно этих слов он ждет от меня.

Но он отмахивается от них раздраженным жестом.

— Вздор! Помру через год-два, много пять лет. Устал я и ослабел. И все так мерзко. Началось с этой гнусности. Как волка меня травят. Но я еще, слава Богу, не только огрызаться, но и задрать могу. Из последних сил могу. Вот утром опять письмо пришло...

Он протягивает руку и берет со стола длинный конверт с трехцветной каемкой и американской маркой. Сейчас он начнет мне читать злосчастное письмо. С сочувствующими, полновесными, трехэтажными комментариями. И тогда уже мне никак не удастся развлечь его. Эта «волчья» тема, пожалуй, еще хуже темы о смерти. А ведь я обещала Вере Николаевне, ушедшей за покупками, привести Бунина в хорошее настроение к ее возвращению домой.

Я, как за спасательный круг, хватаюсь за мелькнувшую в моей голове мысль. Скорей, пока он еще не начал читать письмо.

— Иван Алексеевич, я все думаю о «Лике». Только, пожалуйста, не сердитесь. Обещайте не сердиться.

Он сразу настораживается и высоко поднимает голову. И вот уже его худое морщинистое лицо выражает не злость, а высокомерие.

— Позвольте узнать, сударыня, что вы думаете о «Лике»? Что-нибудь очень обидное, раз вы просите не сердиться, — издевательски произносит он.

Злосчастный конверт, слава Богу, выпал из центра его внимания. И даже из его руки. Он упал на пол и голубеет длинным узким четырехугольником у его ног. Но Бунин не наклоняется за ним. Через минуту он может вспомнить о нем. Надо воспользоваться этой минутой, и я говорю:

— Вы знаете, сколько раз я перечитывала «Лику»...

Да, я не лгу. Я действительно много раз перечитывала «Лику» после того, как написала роман по-французски. Я боялась, что французский стиль, так не похожий на русский, помешает мне хорошо писать на родном

языке. И я принялась за изучение «Лики». У кого же лучший язык, чем у Бунина?

Он нетерпеливо морщится и холодно смотрит на меня.

— К делу. Без вступлений. Что вам в ней не нравится?

Я растерянно мигаю, не зная, как найти нужные слова.

— Почти в самом конце... Такое волшебное описание...

Я лечу, как с горы. Сейчас упаду, разобьюсь, навсегда погибну для Бунина. «Критиковать меня вздумали!» Нет, этого он при его самолюбии мне не простит.

Бунин сердито сдвигает брови.

— Чем же вам «почти конец» «Лики» не угодил? — насмешливо спрашивает он.

И я говорю правду.

— Укусные деревья... — и перевожу дыхание. — Все так прелестно и поэтично, все как продолжение сна. Так чудесно, «точно по воздуху пошел». И вдруг эта аллея укусных деревьев.

Эти укусные деревья действительно каждый раз, когда я перечитывала сон о давно умершей Лике, портили мне все очарование. Какие такие укусные деревья? Я их никогда не видела, я не могла себе их представить, но чувствовала, что у меня от них сводит рот, будто я глотнула укуса.

Я опускаю голову. Я боюсь взглянуть на него, увидеть его негодующее лицо.

Но он не негодует, не сердится. Он говорит задумчиво:

— Знаете, пожалуй, вы и правы. Это мне и в голову не приходило. Для меня укусное дерево все равно что тополь или кипарис — обыкновенное дерево. А для вас, северян, оно не сливается с пейзажем, а назойливо торчит таким вопросительным знаком, о который разбивается ваше внимание. — И добавляет, помолчав: — Вполне дельное замечание. А что вы так любите «Лику» — мне приятно, я и сам люблю ее больше всего в «Жизни Арсеньева».

Он закидывает ногу на ногу. У него узкие, аристократические ноги, и он, как он сам не раз признавался, гордится ими. «По рукам и ногам порода видна».

— Да, — говорит он, глядя в огонь, — вот вам, я знаю, не нравится обилие описаний природы у меня. Вам они скучны. А ведь нельзя отделить человека от природы, ведь каждое движение воздуха — движение



нашей собственной жизни. Мы слиты с природой, мы часть ее. Это надо чувствовать. Если не любить природы, не можешь любить и понимать человека. А тогда и писать не о чем и незачем. Мало ли какие приятные занятия можно, кроме писания, найти. Да и писание совсем не приятное занятие, а изнурительный труд. И мука.

Я не прерываю его, и он, помолчав и по-старчески пожевав губами, продолжает:

— Знаете, какой главный недостаток ваших писаний? — Он делает паузу и произносит веско: — Слишком интересно. Слишком динамично, будто одним дыханием. Да, представьте себе! Вы изумлены, вам кажется, что это ваше главное достоинство, а выходит наоборот. Вы как вцепитесь в читателя, так и катаете его в лифте вверх и вниз, на давая ему отдохнуть, прийти в себя, отложить книгу, пойти по своим делам. Где уж там! Если начнешь читать вечером, так и будешь читать до вторых петухов. Вам кажется, что так и надо, что это хорошо? Вы этого и добиваетесь?

Он смотрит на меня насмешливо.

— Напрасно, сударыня! Пушкин говорил: поэзия, прости Господи, должна быть глуповата. А я говорю — проза, прости Господи, должна быть скучновата. Настоящая, великая проза. Сколько в «Анне Карениной» скучных страниц, а в «Войне и мире»! Но они необходимы, они прекрасны. Вот у вашего Достоевского скучных страниц нет. Нет их и в бульварных, и в детективных романах. Я не читал, но был такой роман — я видел объявление в газете «Сегодня»: «Только факты, сэр!» Лучшего названия не найти.

И вдруг, раздражаясь, отчеканивает:

— Я бы сжег эти «Только факты, сэр!» вместе с автором, тут, в печке.

— И меня тоже? — спрашиваю я.

Он поворачивается ко мне и смотрит на меня улыбаясь.

— Нет, я к вам чудно отношусь — правда. Я хочу вам добра, оттого и учу уму-разуму.

— Так не сожжете меня? — добиваюсь я смеясь.

— Нет. И вообще никого не только не сожгу, а и сжигать не хочу. Злости во мне, настоящей, веселой злости, как в молодости, больше ни на грош. А ведь она писателю необходима. Так, брюзжу еще, но больше по привычке. По-настоящему я уже не могу прийти в ярость. Должно быть, мысль о смерти мешает. Ведь о смерти я теперь постоянно...

Он опять о смерти. Что же мне делать?

— А кто сегодня ночью, — перебиваю я его, стараясь заставить свой голос звучать весело, — кто так яростно бушевал, что всех в доме разбудил?

Он удивленно смотрит на меня и вдруг начинает смеяться.

— Разбудил? Неужели? Вера Николаевна куда-то за-сунула мои ночные туфли. У нее страсть все прятать. А я, если стану босиком на холодный пол, сразу простужусь. Вот я и спрашивал ее через стену. Она ведь глухая, не слышит. Но разве уж я так яростно орал?

Я подтверждаю:

— Да, орал яростно и бранились еще яростнее. Во всеуслышанье.

— А меня, представьте себе, никто даже упрекнуть не посмел. Что значит быть Нобелевским лауреатом.

Он самодовольно улыбается. Улыбка его ширится, поднимается вверх, захватывает глаза, мешочки под глазами и лоб, разгоняя на нем морщины. Все лицо его на минуту становится веселым, дерзким. И молодым.

Меня всегда поражает в Бунине то, что я при каждой встрече с ним как бы вижу его в разные эпохи его жизни.

Вот сейчас он совсем молодой. Глаза его полны отвагой и желанием все себе подчинить, и ясно, что он чувствует себя центром мира. Но ведь только что он так устало опускал лиловато-серые тяжелые веки над подпухшими зоркими, безнадежно грустными, старческими глазами и беспомощно жевал губами.

Он слегка наклоняет голову. Я больше не вижу его глаз. Лицо его, освещенное двойным светом средиземноморского заката за окном и пылающей печки, медленно теряет свое юношеское веселое и злое сверкание, становится матовым, не молодым и не старым, умным лицом, вне возраста.

— Меня всегда, как ни странно, тянуло к кладбищам, — заявляет он, и неожиданный переход от Нобелевского лауреата к кладбищам слегка сбивает меня с толку. И пугает. Неужели он опять начнет о смерти?

Но он продолжает деловито:

— Сколько я их на своем веку перевидал. И даже писал о них. Помните мой рассказ о могиле Терезы-Анжелики Обри — богини Разума?

— Да, я помню. Я ходила на Монмартрское кладбище и отыскивала ее, прочитав ваш рассказ.

— Вот это хорошо, — одобряет он. — Если даже не ходили, а только сейчас выдумали, чтобы доставить мне удовольствие, то и это хорошо.

— Нет. Честное слово, ходила.

Он кивает.

— Что ж, верю. — И, сделав паузу: — А страсть к кладбищам — русская, национальная черта. Страсть к кладбищам очень русская черта. В праздничные дни провинциальный город — ведь вы, и как это жаль, совсем не знаете русской провинции — великодержавный Санкт-Петербург — как будто все в нем одном. На праздниках на кладбище фабричные всей семьей отправлялись — пикником — с самоваром, закусками, ну и, конечно, с водочкой. Помянуть дорогого покойничка, вместе с ним провести светлый праздник. Все начиналось чинно и степенно, ну, а потом, раз, как известно, веселие Руси есть пити, напивались, плясали, горланили песни. Иной раз и до драки и поножовщины доходили, до того даже, что кладбище неожиданно украшалось преждевременной могилой в результате такого праздничного визита к дорогому покойничку.

Он смотрит на часы.

— Скоро обедать пора. Что это Вера Николаевна не идет? Вам небось давно бежать хочется. Надоело со мной сидеть.

— Что вы, Иван Алексеевич, я так люблю...

— Скучать с вами, — заканчивает он. — Знаю, знаю, не сомневаюсь ничуть. Интересно и поучительно. И всякому лестно.

Он иронически прищуривается, встает, подобрав полы халата, и мелкой, шаркающей походкой идет в комнату Веры Николаевны. Я за ним.

— Не могу долго сидеть на одном месте, хоть в другую комнату, такую же поганую, перейти, все же не так тоскливо. Будто легче дышать.

Он садится в обитое пестрым ситцем кресло около окна.

— Я ведь бродник. Что, никогда не слыхали такого слова? Это такие казаки-бродники бывали. Не могли усидеть на месте, все их тянуло бродить. Таков и я всю жизнь был. Ведь я почти весь мир объездил. Где только я не был! — Он вздыхает и закрывает глаза: — А теперь вот сиднем сижу, выйду на полчаса и обратно в свою конуру. Устал.

Он вздыхает и закрывает глаза. Да. У него очень усталый вид. Голова его опускается на грудь. Он, должно быть, задремал. Я встаю и, стараясь не шуметь, на носках пробираюсь к двери. Но он резко откидывает голову на спинку кресла и смотрит на меня холодными и

зоркими внимательными глазами. Смотрит, злорадствуя и торжествуя, будто поймал меня на месте преступления.

— Что? Бежать?.. Думаете, заснул старикан. Как бы не так! — Но видя мое смущение, объясняет дружелюбно: — Я все утро вспоминаю всевозможные рассказы — те рассказы, которые я хотел написать и не написал. И вот сейчас вспомнил одну удивительную историю. Кладбищенскую, как раз продолжение нашего разговора. — И уже почти весело, тоном, не терпящим возражений: — Садитесь! Расскажу. А вам спешить, слава Богу, некуда. Да и чтобы меня послушать, можно и важное дело отложить. Не так ли?

— Не только можно, но нельзя не отложить, — говорю я, снова усаживаясь против него.

Он оживленно начинает рассказывать. А я вся превращаюсь в слух.

— Было это с одним моим приятелем, довольно красивым, стройным и статным парнем. Таким же бродячком, как и я. Приехал он в какой-то украинский городок просто так, без всякого дела, взглянуть на него — и дальше, как и я в молодости часто делал. Днем все, что полагается, осмотрел, хотя, в сущности, и осматривать было нечего. Поужинал в трактире. И стало ему скучно и тоскливо. Не стоило приезжать сюда, зря только последние деньги истратил. Ведь у него, как и у меня, деньги всегда были последние. Вышел он из трактира, а ночь такая лунная, таинственная, по Гоголю: «Знаете ли вы украинскую ночь? — Нет, вы не знаете украинской ночи». К тому же — весна, в садах вишни в цвету, среди них белые дома. Все, как снег, сверкает. В огромном пустом небе высокая одинокая луна катится. Такая тишина. Такое одиночество. Будто он один в этом чужом, спящем городе.

А в небе облака, похожие на снежные сугробы. Высокая, круглая голубая луна то проваливается в них, то снова выплывает на бескрайнюю синюю гладь. Ночь такая прекрасная, пустая, одинокая и грустная — под стать ему. И все кругом так странно в своем ночном совершенстве, бесцельно-сияющее, полное ожидания. Улицы пусты. И такая тишина. Такое одиночество. На душе у него тревожно, будто он ждет чего-то, сам не зная чего.

И вдруг совсем близко виолончелью запела калитка. Из душистого белого сада на улицу вышла молодая женщина. От луны ли и неожиданности, или действительно она была так уж хороша, но его сразу неудержимо потянуло к ней.

Она остановилась у калитки и вскинула на него сияющую черноту своих глаз, неопределенно улыбнулась, сверкнув белыми зубами. Под ловким, туго перехваченным в талии черным платьем угадывалось ее молодое, легкое, гибкое тело. Кружевная косынка обрисовывала маленькие круглые груди.

Он тоже остановился, а она подняла руку и поманила его — догоняй, мол, меня. Пошла вперед, тонкая, стройная, перебирая на ходу крутыми бедрами, вихляя юбкой, все ускоряя шаг. Он за ней. Вот она обернулась, убедилась, что он идет за ней, и снова улыбнулась, уже по-новому — радостно.

Он нагнал ее. Снял шляпу и поклонился ей, не зная, что сказать от смущения. Она тоже смутилась, видно, еще не привыкла к ночным приключениям.

— Вы приезжий? — спрашивает.

Он ей объяснил, что он здесь проездом, уезжает завтра утром и очень хотел бы с ней провести этот вечер, если можно.

— Вот это хорошо, — обрадованно сказала она и взяла его под руку. — Можно. Даже очень можно.

Пошли вместе. Но разговор не клеится. Она отвечает односложно — «да» и «нет» и, хотя продолжает улыбаться, кажется озабоченной.

— Зайдемте ко мне в гостиницу, — осмелев, предлагает он, — выпьем вина, посидим в моем номере.

— Нет, в гостиницу мне идти не с руки, — отвечает она. — Меня тут каждая собака знает. Но, вот увидите — мы прекрасно и без гостиницы, без вашего номера обойдемся! — И она рассмеялась, как ему почудилось, щекочущим русалочьим смехом. И стала еще прелестней.

Он порывисто обнял и поцеловал ее в горячую нежную шею, упоительно пахнущую чем-то женским. Она не оттолкнула его, но как-то деловито заторопилась:

— Идем, идем! — И снова, взяв его властно под руку, зашагала еще быстрее, дробно стуча своими подкованными полусапожками.

— Куда вы меня ведете? — все же осведомился он, хотя ему было безразлично, куда она его ведет, лишь бы чувствовать ее горячую руку сквозь рукав пиджака, лишь бы шагать с ней в ногу и любоваться ее прелестным лицом, освещенным луной.

Они прошли молча несколько пустых улиц, завернули в какой-то переулок. Он вдруг увидел кладбище и испуганно попятился.

— Здесь нам никто не помешает. Здесь нам будет хо-

рошо, — горячо и страстно зашептала она, — увидишь, как будет хорошо!..

Ворота кладбища были открыты, и он, не рассуждая, чувствуя, что уже весь в ее власти, пошел с ней мимо могил. На узких аллеях пестрели пятна света и теней. Кресты и памятники сахарно белели между черными пирамидальными тополями, уходящими к звездам. Тишина кладбища странно мешалась с лунным светом, тоже заколдованным и неподвижным. Он шел рядом с ней, уже ничего не сознавая, кроме ее близости.

Она остановилась перед одной могилой. На ней туманно белел огромный венок с широкой красной лентой.

Он вдохнул запах свежей земли и отвратительно-сладкий, удушливый, тлетворный запах тубероз.

— Тут нам будет хорошо, — снова зашептала она, — увидите, как хорошо!

Она стала торопливо стаскивать тяжелый венок с могильного холма.

— Помогите же мне, — отрывисто произнесла она, — мне одной не под силу. Тащите его! Тащите!

Но у него так дрожали руки от страха и страсти, что он скорее мешал, чем помогал ей. Наконец она справилась с венком и не то со вздохом, не то со стоном упала плашмя на могильный холм. Уже лежа, потянула его за руку.

— Иди ко мне!

Он мельком увидел белизну ее колен и с помутившейся головой бросился на нее, ощупью нашел ее горячие губы и в смертельной истоме жадно припал к ним. Она иступленно обняла его.

Он чувствовал, что что-то страшное и дивное свершается в его жизни. Подобного счастья он еще никогда не испытывал. Ему казалось, что до этой минуты он не знал ни любви, ни страсти. Она была его первой женщиной. Та, с которой он навеки должен был соединиться в самой тайной, блаженной, смертельной близости. Эта близость ничем в мире уже расторгнута быть не могла. Они навеки неразрывно связаны. Сразу же в его отуманенной голове стал возникать план остаться в этом украинском городе навсегда. Или увезти ее с собой в Москву. Жениться на ней. И никогда, до самой смерти не расставаться с ней.

Она — он это чувствовал — делила его восторг, вся извивалась и дико и самозабвенно вскрикивала:

— Ах, хорошо, хорошо! Еще! Еще!

Потом, после изнурительно-страстных объятий, они долго лежали, тесно обнявшись.

Кругом была заколдованно-светлая ночь, бесконечно безмолвная, с бесконечно длинными тенями крестов и тополей. Они оба молчали, будто боясь нарушить лунное очарование безмолвья. Ведь и без слов все было раз и навсегда понятно теперь, когда они нашли друг друга и уже не смогут расстаться.

Он, чувствуя восторг и благодарность, осторожно целовал ее маленькие круглые груди с крохотными сосками. «Да ведь она еще совсем девочка», — с мучительной нежностью думал он.

Она была бледна какой-то серебристой, лунной бледностью. Чернота ее глаз и волос стала еще черней. Никогда ни на чьем лице он не видел такого выражения блаженства.

Она счастливо и устало вздыхала и вдруг вся вытянулась, выскользнула из его объятий, ловким, гибким движением вскочила на ноги и принялась стряхивать со своего измятого платья прилипшие к нему комья земли.

Он тоже поднялся и во все возрастающем порыве восторга и благодарности стал на колени, покрывая поцелуями ее маленькие тупоносые козловые полусапожки, остро пахнувшие свежей землей и ваксой.

— Ой, что вы делаете? — вскрикнула она. — Встаньте! Я тороплюсь. Не мешайте мне. Не ровен час свекровь меня хватится.

Она торопливо застегнула пуговицы лифа на груди и, держа шпильки в белых зубах, высоко подняв тонкие руки, оплела голову своей великолепной разметавшейся косой.

Он, сбитый с толку, молча стоял перед ней, следя за тем, как она поспешно приводила себя в порядок.

— Два года мечтала — вот сдохнешь, гад, а я на твоей могиле... И дождалась-таки! — вдруг свистящим, яростным шепотом произнесла она.

Он так и оторопел.

— Чья это могила?

— Чья? — звонко переспросила она и залилась своим щекочущим русалочьим смехом. — Мужа моего, вестимо! А то чья же еще? Вчера только его, старого уroda, схоронили. Я уже давеча выходила, до самого рассвета гуляла. Да, обида какая, никого подходящего не встретила, — охотно и радостно объяснила она. — А вас, голубчик, мне просто Бог послал. Молодой, пригожий, ласковый, да к тому же не из наших мест. Ох, как мне хорошо теперь. Спать как я сегодня чудесно буду! — и она сладко и протяжно зевнула.

— Вы, — спросил он, заикаясь, холодея от страха, — вы помогли ему умереть?

Угли ее улыбающегося рта дрогнули. Тень сожаления скользнула по ее сияющему счастьем лицу.

— Нет. Какое там! Сам сдох, шелудивый пес. Опился. На чердак полез и с лестницы кубарем. Спину сломал. А я все мечтала, как я его грибками угощу осенью. Ну, да и так хорошо. Жалеть не стоит. — Она снова засмеялась своим щекочущим русалочьим смехом. — Выто свое сполна получили, а обо мне и говорить нечего — я сейчас как в раю.

Он все еще стоял перед ней, бессмысленно глядя на нее. Она взяла его руку своей маленькой горячей рукой и крепко пожала:

— Спасибо, голубчик! До чего же вы мне угодили! Как по заказу! Ну, я пошла. Дорогу в гостиницу сами легко найдете — все прямо по этой аллее, а как выйдете за ворота, свернете налево, так сразу и наткнетесь на нее. Не собьетесь.

Она аккуратно оправила складки платья и вдруг, низко нагнувшись над могильным камнем, отчетливо, с каким-то яростным восторгом произнесла отборное национальное ругательство и звонко плюнула на могилу.

— Получай, гад!

Потом сразу выпрямилась, закинула голову и залила его сияньем своих счастливых черных глаз.

— Ну, прощайте, голубчик! Не поминайте лихом, — и, кивнув ему, быстро пошла своей легкой походкой по узорчатой от игры света и теней аллее, то попадая в полосу света, то пропадая в тени.

Пройдя уже довольно далеко, она, не останавливаясь, обернулась и, приложив руки рупором к губам, крикнула:

— А звать-то вас как?

— Андрей! — голос его прозвучал так странно и хрипло, будто не он, а кто-то другой ответил за него.

— Даже имечко у вас красивое! Это я, чтобы за здравие ваше подавать. Век буду молиться за вас, Андрюша! — донеслось до него. И все смолкло.

Он долго бессмысленно и бездумно стоял, глядя на опустевшую аллею. Потом, опомнившись, со всех ног бросился вон с кладбища. Уже почти добежав до своей гостиницы, он почувствовал ветер в волосах и смутно вспомнил, что его новая поярковая шляпа осталась там, на могиле. Она стоила очень дорого, но он даже не пожалел о ней...

— Вот вам рассказ моего приятеля, вот вам украинская ночь — не по Гоголю, — заканчивает Бунин, сдвигая свою каракулевую шапку на затылок и закуривая.



Я слушала молча, ни разу не перебивая. Как он рассказывает! Я никогда не думала, что можно так рассказывать — так живо, красочно, образно, заставляя слушателя все видеть.

— А он? Что с ним потом было? — спрашиваю я.

— Ну, он, конечно, потрясся до самого основания, долго не мог в себя прийти. Чуть не заболел нервным расстройством. Но, слава Богу, оправился. Но ее никогда забыть не мог.

— Скажите, Иван Алексеевич, а это действительно с вашим другом произошло, а не с вами? — спрашиваю я.

Он разводит руками.

— Ах вы, Фома неверующий! Стал бы я выдумывать? Но клясться не намерен. — И, помолчав, продолжает: — Я хотел этот случай в «Темные аллеи» включить, да раздумал. Он бы детонировал. Слишком уж «макаберно»<sup>1</sup>, возмутил бы святош — осквернение могилы. Заклевали бы меня за него. — Бунин произносит «макаберно» так, будто ставит его в кавычки. Он умеет ставить слова в кавычки, произнося их особым образом.

— А по-моему, вы непременно должны написать этот рассказ...

Шаги в коридоре. Дверь открывается. Вера Николаевна входит с немного виноватым видом. Она долго отсутствовала.

— Разве долго? А я и не заметил.

У Веры Николаевны сразу меняется выражение лица. Она пожимает мне руку.

— А ветчину не забыла купить? — накидывается на нее Бунин.

Она протягивает ему сверток, и он торопливо разворачивает его и шумно одобряет ветчину:

— Отличная! Сочная! Чуть с жирком, как я люблю. Молодец, Вера!

Она улыбается и за его спиной кивает мне заговорщически. Мы обе понимаем. Ветчина хороша оттого, что Бунин пришел в хорошее настроение. А мог бы и пробурчать: «Дрянь. Покупать не умеешь. Зря деньги тратишь. Не стану есть!» Что, впрочем, не помешало бы ему съесть ее всю, до последнего кусочка.

С ветчиной у Бунина сложные отношения и счета. Еще до войны доктор однажды предписал ему есть ветчину за утренним завтраком. Прислугу Бунины никогда не держали, и Вера Николаевна, чтобы не ходить с раннего утра за ветчиной, решила покупать ее с

<sup>1</sup> «погребально» (от фр. macabre).

вечера. Но Бунин просыпался ночью, шел на кухню и съедал ветчину. Так продолжалось с неделю, Вера Николаевна стала прятать ветчину в самые неожиданные места — то в кастрюле, то в книжном шкафу. Но Бунин постоянно находил ее и съедал. Как-то ей все же удалось спрятать ее так, что он не мог ее найти. Но толку из этого не получилось. Бунин разбудил Веру Николаевну среди ночи: «Вера, где ветчина? Черт знает что такое! Полтора часа ищу», — и Вера Николаевна, вскочив с постели, достала ветчину из укромного места за рамой картины и безропотно отдала ее Бунину.

А со следующего же утра стала вставать на полчаса раньше, чтобы успеть купить ветчину к пробуждению Бунина.

После завтрака Бунин, как он это часто делает, громко стучит в дверь нашей комнаты и сразу входит, не дожидаясь ответа.

Я встаю из-за черного «погребального стола» и спешу ему навстречу. Он, как всегда, церемонно целует мою руку, не снимая при этом широкополой шляпы, и мелкой, старческой, шаркающей походкой направляется к креслу у окна, подбирая полы длинного верблюжьего халата. Он тяжело опускается в кресло. Я смотрю на него. В «ярком, беспощадном свете дня», средиземноморского ослепительного зимнего дня, он кажется очень усталым. И очень старым.

В его по-прежнему зорких, внимательных и холодных глазах появилось несвойственное им выражение терпения и покорности. Синеватые мешки под глазами, горькие морщины по углам тонких, брезгливо сжатых губ, аскетически худые щеки. Нет, никогда он не казался мне таким смертельно усталым и несчастным. И как он бледен. Уж не болен ли он?

Я ставлю перед ним на подоконник пепельницу и осторожно спрашиваю:

— Вы себя хорошо чувствуете сегодня, Иван Алексеевич?

Он возмущенно пожимает плечами.

— Что за дикий вопрос! Я уже забыл, когда я себя хорошо чувствовал. Отвратительно — вот как я, извольте ли видеть, себя чувствую. От-вра-ти-тельно!

Он резко и раздраженно выхватывает пакет табаку из кармана халата и начинает сворачивать папиросу, но вместо того, чтобы закурить, кладет ее в пепельницу рядом с коробкой спичек и говорит, глядя прямо в окно:

— Неужели ни одна добрая душа не вспомнит обо мне? Если бы вы еще любили меня, то не могли бы видеть без негодования ту бесславную жизнь, которой я теперь живу.

К кому он обращается? К небу, к пальме в саду или к Альпам на горизонте? Во всяком случае, не ко мне.

Я молча снова усаживаюсь за свой черный стол и жду. Он поворачивает голову и вскидывает на меня глаза.

— Думаете, это я? А это опять же Макиавель. Все он как будто за меня говорит.

Он на минуту задумывается.

— Вот я, читая, оторваться не мог, — продолжает он. — А дочитав, что ж? и хорошо, и плохо. «Теза и антитеза», по выражению самого Мережковского. Недостает убедительности в разговорах и размышлениях. И утомительно, и растянута. Следовало бы навести стиль, подчистить и сократить. И хотя это и замечательно интересно, а все-таки только прикладное искусство — к настоящей, высокой литературе никак не относится. Написать рассказ о жизни обыкновенных людей Мережковский не в состоянии. Ему подавай героев, святых, королей, знаменитостей. За блеском их имен он прячет свое творческое бессилие. И правильно делает. Набрел на интересную тему, «на историческое» — и прекрасно с ней справился. До него ведь у нас настоящих исторических романов не было. Все эти Загоскины, Салиасы и Соловьевы — чтение для юношества. А у него серьезный подход к событиям. И знаний много.

Впрочем, и тут он иногда увлекается. Например, с Джиокондой. Ведь она — одна из немногих загадок истории, вроде «Железной маски». Ведь Джиоконда — миф. Неизвестно даже, чей это портрет — женщины или юноши. А у него и она, и ее роман с Леонардо да Винчи протокольно описан и доведен до ее смерти. Да и в остальном много безудержной и безвкусной фантазии.

Вот с ведьмами, с шабашем, тут уж сомневаться не приходится. В ведьмах кто-то, а уж он, муж Зинаиды Гиппиус, толк знал. Недаром ее Белой Дьяволицей прозвали. Она ведь с ним и с Философовым всякие мистерии, радения и «Тайны трех» разыгрывала, свое собственное кощунственное неохристианство с чертовщиной изобретала. Меня, Бог миловал, они не соблазняли и не приглашали ни духовно, ни телесно соединиться с ними. Но многих они соблазнили. Гиппиус у них своего рода Хлыстовской Богородицей была. Впрочем, что

они там проделывали, я толком не знаю. Не интересовался. Я душевно брезглив.

Он наконец закуривает и говорит, следя за дымом папиросы:

— Терпеть не могу Мережковского и его писаний, а тут даже симпатию к нему почувствовал. И засомневался — прав ли я? Не слишком ли строго сужу его? Все-таки «Леонардо да Винчи», да и вся трилогия замечательна. Этого одного достаточно, чтобы прославить писателя.

А все, что он тут в эмиграции настрочил, следовало бы для его посмертной славы попросту уничтожить.

Тут уж я не могу не протестовать:

— Ну нет. Вряд ли Мережковского радовала бы такая посмертная слава. Ведь он считал, что перерос себя, из писателя превратился в пророка. Его все последние годы интересовало только «Царство духа», и он стремился достичь его, воплотить его в своих писаниях. Исторические романы казались ему чем-то мелким, ненужным по сравнению с грандиозной задачей, которую он задал себе.

Бунин пожимает плечами.

— Что ж из этого? Писатели редко судят правильно о себе. Вздор, что «ты сам свой высший суд». Со стороны судят гораздо правильной.

— А вы ведь уверены, что правильно судите о себе? Не так ли, Иван Алексеевич? — задаю я коварный вопрос.

Он надменно шурится.

— Представьте себе, сударыня, совершенно уверен и убежден, что не ошибаюсь. Поэтому-то я, что бы вы там со слов вашего Гумилева ни говорили, и ценю так свои стихи. Больше всего. И «Темные аллеи». Я, не в пример Мережковскому, написал в старости лучшее в своей жизни, а он чем дальше, тем все хуже писал — стиль у него стал совсем невозможный.

— Но ведь он не придавал никакого значения стилю, — протестую я снова, — он хотел только высказать свои мысли, безразлично как. Для него было важно не как, а что, он хотел, чтобы читатели его поняли. Он спешил, не отделявая фраз, и...

— Напрасно так спешно и так много писал, — насмешливо перебивает меня Бунин. — Поспешность нужна только при ловле блох. И такое трудолюбие, ежедневно покрывать страницы за страницами, тоже совсем ни к чему. Дает печальные результаты.

— Но ведь вы же не считаете Мережковского графоманом?

— Что за вздор! Я считаю его большим писателем, под старость лет сбившимся с пути и вообразившим себя — не без помощи той же Зинаиды Николаевны — Мудрецом и Проповедником с большой буквы. У него много ценного было и кроме трилогии. Хотя бы его замечательный «Гоголь и черт». Да и «Вечные спутники». Только вот его «Толстой и Достоевский» совсем плох. Никуда не годится. Ни в одном, ни в другом он ровно ничего не понял. Достоевским он был ушиблен раз навсегда, превозносил его, молился ему, а ведь Достоевский...

Но мнение Бунина о Достоевском, его презрение и ненависть к нему мне уж слишком хорошо известны. Мне не хочется в который раз слышать, как он издевается над ним, и я, чтобы переменить тему, спрашиваю:

— А помните, Иван Алексеевич, ваше посещение Мережковских после возвращения из Стокгольма?

Переход от Достоевского, на которого Бунин уже готов громоподобно обрушить свою ненависть и презрение, к событиям пятнадцатилетней давности так неожидан, что заставляет его недоуменно сдвинуть брови.

— О чем вы это? После Стокгольма? Постойте, постойте. — И вдруг, оживившись: — Не о моем ли последнем визите на рю Колонель Боннэ? Когда Зинаида Николаевна, как оса, старалась меня побольней и полюбезней ужалить, а художник X вошел и, не заметив меня, воздел руки к потолку и гаркнул на всю столовую: «Дожили! Позор! Позор! Нобелевскую премию Бунину дали!»

Он высоко поднимает руки и сразу весь преображается. И вот уже передо мной не Бунин, а художник X, расширенными от ужаса глазами уставившийся на меня. Мгновение — и он, не меняя выражения лица, срывающимся истерически-восторженным голосом взвизгивает:

— Иван Алексеевич! Дорогой! Поздравляю, от всего сердца поздравляю! Счастлив за вас, за всех нас! За Россию! Простите, не успел лично прийти засвидетельствовать...

Сходство так изумительно, и сцена так неподражаемо великолепно разыграна, вернее — восстановлена, что я смеюсь. Смеюсь до слез.

А он, полюбовавшись впечатлением, произведенным на меня его актерским талантом (он втайне гордится им, несмотря на свою враждебность к театру и отрицание его), уже снова хмурится.

И уже совсем не похож на художника X.

Март 1948 года.

Все тот же дом в Жуан-ле-Пэн.

Бунин сидит в кресле у окна нашей комнаты. В окне — «дальний закат, как персидская шаль». На фоне заката четко обрисовывается его гордый тонкий профиль, похожий на профиль какого-то римского императора на античной медали.

Он говорит:

— Я почти с самого детства, как только стал сознательно читать и понимать, очень много думал о героях и героинях романов. О героинях больше, чем о героях, и это меня удивляло. Женщины были мне как-то ближе, понятнее, их образы для меня полнее воплощались. Они как будто жили перед моими глазами, и я не только сочувствовал их горестям и радостям, но и соучаствовал в их жизни. Я влюблялся в героинь романов. Они снились мне. Даже днем иногда я чувствовал их присутствие. Сижу, бывало, за столом у себя и зубрю немецкие вокабулы — когда меня взяли из гимназии, со мной брат Юлий занимался и очень налегал на иностранные языки — и вдруг чувствую, что кто-то стоит за моей спиной, наклоняется надо мной, кладет мне руку на плечо и легкая душистая прядь волос касается моей щеки. Я оглядывался — никого. Комната пуста, и дверь плотно закрыта — меня охватывает такая тоска. Такое одиночество. Хоть о стенку головой.

Он вздыхает и, помолчав, продолжает:

— Да, все эти женщины и девушки из романов, в которых я поочередно был фантастически влюблен, играли большую роль в моем тогдашнем диком одиночестве. Я жалел, что мне никогда не придется встретиться с ними. Как я жалел, да еще и сейчас жалею, что никогда не встречался с Анночкой.

— С Анночкой? — удивленно переспрашиваю я. — С какой Анночкой?

— С Анной Карениной, конечно. Для меня не существует более пленительного женского образа. Я никогда не мог и теперь еще не могу без волнения вспоминать о ней. И о моей влюбленности в нее.

— А Наташа Ростова? Для меня Наташа...

Но он не дает мне договорить.

— Ну уж нет, простите. Никакого сравнения между ними быть не может. В начале Наташа, конечно, прелестна и обаятельна. Но ведь вся эта прелесть, все это обаяние превращается в родильную машину. В конце Наташа просто отвратительна. Неряшливая, простоволосая, в капоте, с засранный пеленкой в руках. И вечно

или беременная, или кормящая грудью очередного новорожденного. Мне беременность и все, что с нею связано, всегда внушали отвращение. Не понимаю, как можно восхищаться женщиной, которая «ступает непроизвольно, неся сосуд нерукотворный, в который небо снизошло» — как выразился Брюсов. Страсть Толстого к детопроизводству — ведь у него самого было семнадцать детей, — я никак, несмотря на все мое преклонение перед ним, понять не могу. Во мне она вызывает только брезгливость. Как, впрочем, я уверен, в большинстве мужчин. А вот женщины, те действительно часто одержимы ею.

Была у моих родителей кухарка, отличная стряпуха. Таких пирогов, как она пекла, я никогда нигде не ел. И нрава прекрасного — работает не покладая рук, веселая, зубы скалит и песнями заливается с утра до ночи. Только иногда на нее тоска находила. Сидит, бывало, под окошком, пригорюнившись, и жалобно вздыхает: «Родонуть бы мне!» Протомится так с месяц, все хозяйство запустит. И лишь как снова забеременеет, снова развеселится, поет, пироги печет. А как родит дите, свезет его в «шпитательный» — незамужняя была. Через год, много два — затомится, затоскует и опять: «Родонуть бы мне!» — стонет.

Он с такой чисто бабьей иступленной страстностью произносит это «родонуть бы мне», что я смеюсь, безудержно раскатисто смеюсь.

— Родонуть бы мне, — повторяю я сквозь смех.

— Прошла охота хохотать? — спрашивает он, неодобрительно глядя на меня. — А веселиться абсолютно нечего. Не только мне, да и вам, насколько мне известно. Ведь и ваши дела-то не ахти как хороши. А мои просто хуже не бывает.

И он начинает жаловаться.

— Разве это жалкое прозябанье на земле можно назвать жизнью? А? Как по-вашему?

Я обрываю смех и растерянно молчу. Да и что я могу ему сказать? Ведь я уже столько раз слышала все эти жалобы.

Он поворачивается к окну и смотрит на великолепный, триумфальный феерический закат. Смотрит долго, не отрываясь. И вдруг говорит задумчиво, как бы про себя:

— Какая красота! Господи, какая красота.

Он поворачивает ко мне лицо, освещенное закатным светом.

— Меня иногда красота пронзает до боли. Иногда я,

несмотря ни на что, чувствую острое ощущение блаженства, захлестывающего, уносящего меня, даже и теперь. Такое с ума сводящее счастье, что я готов плакать и на коленях благодарить Бога за счастье жить. Такой восторг, что становится страшно и дышать трудно. Будто у меня, как, помните, у Мцыри, в груди пламя и оно сжигает меня. Или нет. Будто во мне не одна, а сотни человеческих жизней. Сотни молодых, безудержных, смелых, бессмертных жизней. Будто я бессмертен, никогда не умру.

Я смотрю на его освещенное закатом лицо. И мне кажется, что оно окружено сиянием, как лики святых на иконах.

Пауза, и он продолжает, уже без вдохновения, без полета, тихим матовым голосом:

— Зато как тяжело потом, когда снова придешь в себя и посмотришь с холодным вниманием вокруг... Но нет, вы ошиблись, Михаил Юрьевич, жизнь не пустая и глупая штука, а дьявольская ловушка, издевательство. А все-таки... ведь не всегда смотришь с холодным вниманием... И за эти минуты все можно простить.

Вести беседу с Буниным и легко, и трудно. Трудно потому, что ему скоро надоедает обычное общепринятое перебрасывание пустых фраз о здоровье, текущих домашних делах и прочем и он, не стесняясь, начинает зевать, проявляя зевотой скуку. Легко потому, что, предложив ему интересную тему, можно спокойно слушать, как он ее развивает, зная, что он всегда говорит с удовольствием, увлекаясь собственными мыслями и умением их высказывать просто и ясно.

Я говорю:

— У вас много описаний природы. Для вас природа...

— Да, — перебивает он меня, не дослушав. — Вам кажется, что я слишком много пишу о природе, знаю, знаю, — напрасно. Я скорее слишком мало, а не слишком много пишу о природе. Для меня природа так же важна, как человек. Если не важнее. И всегда так было. Вот я недавно перечитал свои юношеские записки. Ведь я писал их только для себя. Мне и в голову не приходило их показывать кому-нибудь, даже брату Юлию. А сколько описаний ветра, облаков, травы, леса, столько в них встреч с природой! Я писал о природе гораздо больше, чем о людях, с которыми сталкивался. Я любил, я просто был влюблен в природу. Мне хотелось слиться с ней, стать небом, скалой, морем, ветром.

Я мучился, не умея этого высказать словами. Я выходил утром страстно взволнованный и шел в лес, как



идут на любовное свидание. Как остро я любил жизнь и все живое. До страсти. Пастернак назвал свой сборник стихов «Сестра моя — жизнь». Но для меня жизнь была не только сестра, а сестра, и мать, и любовница, и жена — вечная женственность.

Мне хочется спросить: «Вечная женственность» — разве природа? Ведь у Соловьева она — «София Мудрость».

Но я не спрашиваю. Я боюсь прервать его. Я слушаю.

— Писатели, не чувствующие природу, — скверные, ничемные писатели. Глухие, слепые кроты. Сколько раз я повторяю это, а в вашу голову вбить не могу. Ваш Достоевский — вот кого бы надо было, как когда-то футуристы намеревались Пушкина, — «сбросить с корабля современности». Сбросить с палубы в океан, чтобы его акулы сожрали. Вы ведь никогда не видели акул? Как они за пароходом стаяй плывут в ожидании добычи и головы на аршин из воды высовывают. У них пасть низко помещена. Значительное зрелище, вроде балета. Я их в Тихом океане наблюдал. Вот бы им вашего Достоевского со всеми его бездарными романами бросить. Он-то уж о природе никогда не писал. У него всегда дождь, слякоть, туман и на лестницах воняет кошками. У него ведь нет описаний природы — от бездарности.

— Ну, а Чехова? — прерываю я его, чтобы в который раз не слышать, как он поносит «своего врага Достоевского».

Он разводит руками.

— Это уже особь статья. Победителя не судят. Чехов умеет — он один — показать в капле воды океан, в песчинке — пустыню Сахару, в одной фразе целый пейзаж дать. Но ведь и он был постоянно занят природой, носил с собой книжечку, в которой записывал наблюдения над ней. И так чудесно у него ночью клочья тумана, как призраки, гуляют. А вот о дворянах он напрасно брался писать. Не знал он ни дворян, ни дворянского быта. Никаких вишневых садов в России не существовало. И пьесы его все чепуха, чушь, как бы их ни раздували. Никакой он не драматург.

Я не выдерживаю:

— А весь мир восхищается именно его пьесами. Вот когда в Биаррице был американский университет, я в нем слушала лекции и была знакома с большинством профессоров. Один из них мне как-то сказал, что считает лучшими драматическими произведениями всего мира и всех времен «Бурю» Шекспира и «Вишневый сад» Чехова. И, видя, что я с ним не согласна, восклик-

нул: «Как? Вы не считаете “Бурю” величайшим произведением?» То, что я могу не считать «Вишневый сад» величайшим произведением, он даже и допустить не мог.

Бунин пожимает плечами.

— Ну и что из этого? Что это доказывает? Что ваш американский профессор — болван и баран, как большинство профессоров — американских и других. Напрасно трудились мне это сообщить — я и без вас знаю и знал.

И неожиданно спрашивает:

— А Теннисона вы, конечно, не любите?

Я киваю:

— Не люблю. Но когда-то в детстве любила и даже очень.

— В моем переводе читали?

— Нет. В подлиннике. Тогда нравилось, а теперь нет.

Он хмурится и вдруг делает нелестный для меня вывод:

— Это доказывает — извольте ли видеть, — что в детстве вы были умнее и больше понимали в поэзии, чем теперь. Только и всего.

Он встает и отвешивает мне насмешливый поклон.

— Честь имею кланяться. Вера Николаевна, должно быть, давно вернулась. — И уже в дверях: — Скажите поклон Болгарину. Пойду прилягу — наговорился до упаду.

В «Русском доме» я успела насколько возможно изучить сложный, сотканный из противоречий характер Бунина. Пускаясь на «военные хитрости», я умела почти всегда удержать его у себя, когда мне этого хотелось. Научилась я также вести с ним беседы, развлекающие его. Интересующие Бунина «спасительные темы» — за них я хватаюсь, когда мне хочется его развлечь: его детство и юность. Путешествия. О любви. О природе. О его семье.

О его семье у меня смутное представление, основанное на отрывочных сведениях. Только в 1958 году, прочитав книгу Веры Николаевны Буниной, я составила себе более или менее верное понятие о семье Бунина. Странная это была семья. Даже очень странная. Впрочем, по рассказам Бунина я уже поняла, что семья была не без странностей, но очаровательной. Особенно отец, казавшийся Ивану Алексеичу воплощением барства.

— Вот, — не раз говорил он, — все думают, что

«Жизнь Арсеньева» — моя автобиография. Какой вздор! Я все и всех — и себя в том числе, изменил почти до неузнаваемости. Только мой отец, пожалуй, не подвергся ломке и переделке и остался в романе таким, каким был в жизни. А был он удивительный. Совсем по-особому талантливый, физически талантливый. И здоровый. Умственно, духовно здоровый. Уравновешенный, веселый. Отчаянно легкомысленный. Добрый. У него было совсем особенное, романтическое, «певучее» сердце.

Этот отец, которым так восхищался Бунин, не только пустил своих детей по миру, прожил состояние жены, не дал младшим детям — ни Ивану Алексеевичу, ни сестре его Маше — никакого образования, но был алкоголиком, допившимся до белой горячки и стрелявшим в свою несчастную жену, от страха забравшуюся на дерево и спасающуюся только тем, что упала с дерева раньше, чем он успел в нее выстрелить.

О нем Иван Алексеевич всегда говорил с любовью и почти с восторгом, восхищался его талантливым, легким, веселым нравом. И ни разу при мне не осудил его. Отца он идеализировал и не мог говорить о нем без волнения.

— Ах, какой это был чудесный, талантливый человек! — часто повторял он.

Мать свою он обожал. Мать его действительно была своего рода святой. Мученицей. Но как мог он ни в чем не упрекнуть отца и даже с юмором описывать сцену — мать карабкается ловко, как белка, на дерево, а отец вроде охотника стреляет в нее?

Брата его Евгения, «крепостника в душе», крестьяне ненавидели и чуть не убили в 1905 году. Бунин с большим вкусом описывал спасение Жени собаками:

— Если бы умные псы не налетели на мужика и не стали бы срывать с него портки, — ведь мужик уже за нож схватился и хотел всадить Жене нож в брюхо. А тут пустился наутек, и псы за ним. Он еле от них отбился. Вся деревня гоготала — бежит, разорванные штаны, как флаг, развеваются, и псы, скаля зубы и ворча, скачут за ним.

Об отце Бунин говорил:

— Редко можно себе представить более очаровательного человека. Барин, дворянин, аристократ с головы до ног, до конца ногтей на ногах. И какой талантливый, просто физически талантливый. Как он на гитаре играл и пел! Как о Севастополе рассказывал! Прелесть!

Даже о легкомыслии отца он отзывался с похвалой.

Даже оно казалось ему достоинством, а не недостатком. И никогда ни одного упрека.

— Я, признаюсь, унаследовал от отца, — говорил он, — легкомыслие. Но к нему, к сожалению, примешалась меланхолия и грусть моей матери, отчего у меня такой сложный, трудный характер. Отец был солнечный, ясный, веселый, не то что я.

«Слава Богу, что вы не пошли в него, — хочется мне сказать. — Жалеть об этом нечего». Но, конечно, я этого не говорю.

О своей сестре Маше он тоже охотно рассказывал и отвечал на мои вопросы о ней.

— Она была миловидной, мечтательной, нежной, грациозной девушкой. Нет, не красавицей, но очень привлекательной, стройной, с лучистыми глазами. Шестнадцать лет, а кругом никого, кто бы мог влюбиться в нее, в кого она могла бы влюбиться. Ведь это драма. Она часами расчесывала волосы перед зеркалом и смотрелась в него. Повязывала голову пестрым шарфом, надевала кружевные блузки, сквозь которые просвечивала ее молодая, высокая грудь. Она улыбалась мне, строила мне глазки и наивно кокетничала со мной, больше решительно ведь не с кем было. Я хвалил ее прически и бархатку на шее, это радовало ее. Она приходила в восторг, когда я приглашал ее пойти гулять со мной или просил ее спеть под гитару старинный романс. И так мило краснела от моих похвал и комплиментов! Мои стихи она выучивала наизусть, но, кроме них, ничего не читала. Меня она считала вторым Пушкиным — ничуть не хуже Пушкина. Впрочем, о существовании других поэтов у нее были самые смутные понятия. Я хотел познакомить ее с Лермонтовым и Тютчевым, но вскоре убедился, что это бесполезно. Кроме меня и Пушкина, для нее не существовало поэта. Я для нее был не только поэтом, но чем-то вроде божества. Как это ни удивительно, но она, несмотря на свою необразованность, была прелестной романтической русской девушкой. Не только чувствовала мои стихи, но и совсем не глупо о них судила. У нее был врожденный вкус. До своего брака. Ведь она вышла замуж за простого стрелочника — какой позорный брак, конечно. Потом на нее было грустно смотреть, — хотя ее муж казался очень порядочным, честным человеком, — так она изменилась! А я, когда ей было шестнадцать лет, был даже слегка влюблен — как Гете, как Шатобриан, как Байрон — в свою сестру, следуя романтической традиции, о которой я, впрочем, тогда еще и не слышал.

Это было смутное неожиданное влечение. Возможно, если бы я не прочел биографий Гете и Шатобриана, мне бы и сейчас в голову не пришло, что моя любовь к Маше напоминала влюбленность. А прочитав, я даже стал гордиться общей чертой с великими писателями. И уже почти поверил, что и я «питал к сестре противоположные чувства». Хотя на самом деле чувства мои были совершенно естественны — всего только окрашенная романтизмом братская нежность, похожая на влюбленность.

Еще один из моих разговоров с Буниным в ту же зиму в Жуан-ле-Пэн.

— А вы, Иван Алексеевич, рано начали писать стихи? — спрашиваю я. Ведь Бунин считает себя прежде всего поэтом, и мой неожиданный, необоснованный интерес к его стихам ему наверное будет приятен.

Я не ошибаюсь. Вопрос мой ему явно доставляет удовольствие. Он кивает.

— Очень. Даже слишком рано. С самого младенчества. Как только научился читать и писать. Чуть ли не первыми моими книгами были валявшиеся у нас на чердаке «Одиссея» и толстый том «Английские поэты». Я как-то сразу стал писать и прозой, и стихами. Сочинять стихи — правда, очень плохо — стало для меня привычным делом. Печататься начал в шестнадцать лет. В «Родине». Стихотворение, которое я туда послал, выбрал мой брат Юлий. Мне оно нравилось меньше других. О деревенском нищем. Но Юлий был революционер. «Сейте разумное, доброе, вечное», чтобы русский народ мог сказать вам, то есть мне, «спасибо сердечное». Иначе поэзия ни к чему. У меня уже тогда были совсем другие взгляды, и народного «спасибо» я не искал, но я послушался его. И хорошо сделал. Стихи мои действительно появились. Правда, с задержкой. Сколько я мучился, ожидая их появления. У меня дрожали руки, когда я разворачивал новый номер «Родины». Опять ничего. Прошло несколько месяцев, я уже отчаялся — не приняли. Надеяться больше не на что. И вдруг в мае они появились. Когда я впервые увидел свое имя «Ив. Бунин» напечатанным, я почувствовал спазм в сердце и головокружение до тошноты. Зато потом я был невероятно счастлив и горд. Это был один из счастливейших дней моей молодости. С того дня и в моей семье никто не сомневался, что я поэт. А сам я уже был уверен, что добьюсь всероссийской славы.

— И не ошиблись, — говорю я. — Не только всероссийской, но и всемирной славы.

Он смотрит на меня прищурившись.

— «Польсти, польсти!» Хоть я и знаю, что вы неискренни, а все-таки приятно. Люблю лесть. Даже самую грубую, неприкрытую, вот как ваша. Но тонкая лесть, конечно, еще приятнее. В лавке Суханова спрашиваю приказчика как-то, хороши ли вновь полученные консервы из налимьей печени, а он отвечает почтительно: «Кто их знает, Иван Алексеевич. Не пробывал-с. “Темные аллеи”». А вот чайную колбасу могу рекомендовать. Прелесть. “Митина любовь”, да и только-с!» Вот как польстить сумел. А вы? Так я вам и поверил, что вы интересуетесь моими стихами.

Мне становится неловко. Ведь он прав, я совсем не интересуюсь его стихами. Мне просто хочется доставить ему удовольствие — у него сегодня опять такой несчастный вид. «У него несчастный вид». А не «он выглядит несчастным». Боже упаси сказать при Бунине «выглядит». Я, даже думая о нем, заменяю привычное ненавистное ему «выглядит несчастным» не нравящимся мне «у него несчастный вид».

Я спрашиваю:

— После первого триумфа вы, наверно, много печатались в «Родине»?

Он качает головой:

— Представьте себе, нет. После моего первого ошеломившего меня появления в печати я больше туда стихов не посылал, хотя и писал их с утра до вечера и с вечера до утра. Как князь Курбский — «прочтет, улыбнется и снова прочтет. И снова без отдыха пишет». Просто не мог не писать.

Только через год я решил послать стихи, но уже не в «Родину», а в «Книжки недели», казавшиеся мне не хуже «Вестника Европы». И три моих стихотворения сразу появились в них. Впрочем, это уже не потрясло меня до боли. Такого пронзительного, душевраздирающего восторга я уже не испытал. Я был рад и горд, но принял это почти как должное. И скоро послал в «Книжки» еще стихи — уже без с ума сводящего волнения. А в «Родине» тогда же появились мои первые рассказы. Очень, правда, слабые. Я понял, что стихами не прокормишься, проза прибыльнее. Стихи — слава. Проза — деньги. Деньги мне были до зарезу необходимы. Мы впадали все в большую бедность. Я ведь был настоящим дворянским недорослем, ничего делать не умел, ни на какую службу поступить не мог.

Не в писцы же было идти. Вместо писца я стал писателем.

Он умолкает на минуту и вдруг будто с недоумением обращается ко мне:

— Но как, скажите мне, родители мои могли не думать о моем будущем? До чего они — особенно мой отец — были легкомысленны. Ведь если бы я не вытаскил счастливый билет, меня бы попросту в солдаты забрили. Это меня-то, белоручку, барчука. Хорош бы я был. Представляете себе? Вот я все жалуясь на свою несчастную молодость — а ведь мне иногда дьявольски везло, — не вытяни я тогда счастливое билета, забрили бы мне лоб — и никакого писателя Бунина, академика и «при Нобель» — не было бы. Я бы не вынес казармы и муштровки. Ведь я здоровьем совсем не отличался. Легко простуживался, часто хворал. Нет, мне в жизни иногда безумно везло. Вот и академиком в тридцать лет стал. Как мне вся писательская братия завидовала, как злилась. Особенно Куприн. В голос вылет от обиды. Раз, когда мы с ним в ресторане сильно выпили, он весь затрясся, побледнел и вдруг свистящим шепотом сказал: «Уйди от меня. Ненавижу тебя. Уйди, а то задушу!» Встал из-за стола, коренастый, руки длинные, и смотрит на меня с чисто звериной ненавистью. Не человек — медведь разъяренный. Действительно может задушить. Я подозвал лакея, расплатился и, не прощаясь с ним, молча вышел. Потом мы с ним при встречах отворачивались друг от друга. А через год приблизительно опять сошлись. Он забыл. И все пошло по-старому.

— Неужели он действительно мог вас задушить, Иван Алексеевич?

— А еще бы! Он настоящий зверь, особенно во хмелю. Через несколько лет он первой жене своей, рассердившись на нее, облил одеколоном платье и поджег. Еле затушили. Но я его все-таки любил. И он меня. Только простить мне не мог моего превосходства над ним. И что я академик. Злился даже, что я ему «покровительствовал» и помогал. Но, в общем, мы с ним до конца, до того как его «шкуру дохлого медведя» его вторая жена продавать в Москву повезла, мы с ним дружили. Виделись. Он бывал у меня, правда, редко. Ругался он виртуозно. Как-то пришел он ко мне. Ну, конечно, закусили, выпили. Вы же знаете, какая Вера Николаевна гостеприимная. Он за третьей рюмкой спрашивает: «Дамы-то у тебя приучены?» К ругательству, подразумевается. Отвечаю: «Приучены. Валяй!» Ну и пошел, и

пошел он валять. Соловьем заливається. Гениально ругался. Бесподобно. Талант и тут проявлялся. Самородок. Я ему даже позавидовал.

Воспоминания Бунина несравненно злее и ядовитее его рассказов. В его рассказах о тех же лицах, несмотря на сарказм и карикатуру, часто проскальзывала добродушная усмешка, симпатия, даже жалость к тем, над кем он издевался, показывая их в кривом, но волшебном зеркале.

О зависти Куприна и о его, пусть только временной, ненависти к Бунину я до этого рассказа Бунина никогда не слышала ни от него, ни от других. Рассказ о том, что Куприн облил свою жену одеколоном и поджег, я слышала и от Петра Пильского — еще в Риге в 1933 году.

В своих воспоминаниях Бунин говорит о Куприне чрезвычайно дружелюбно, как редко о ком, как почти ни о ком. Я сомневалась — надо ли этот его рассказ приводить, но решила все же привести, он не лишен интереса для будущих литературоведов.

В воспоминаниях же нет ни волшебства, ни жалости. Они как будто написаны старческой желчью. Он читал, я помню, отрывки из них на своем вечере в Русской консерватории в 1947 году.

Мы с Георгием Ивановым, как и все присутствовавшие писатели, сидели на эстраде — в зале все места были заняты. Зал был переполнен. Но после антракта он оказался наполовину пустым. Слушатели, не в силах перенести издевательства над любимыми писателями и шутовского передразнивания их, стали уходить, не дожидаясь конца чтения. В тот вечер Бунин был особенно в ударе, в злом ударе. И наносил беспощадные удары всем, о ком читал, изображая их в лицах. Играл и даже переигрывал, исходя желчью и злобой.

— Как он отвратительно кривляется! Неужели ему не стыдно всех поливать грязью? — слышалось в публике. — Неужели же он ни о ком доброго слова не скажет? Какой он злощый.

Хорошо и тепло он говорил об одном только Рахманинове. И Татьяна Сергеевна Коньное, дочь Рахманинова, сидевшая в первом ряду, горячо аплодировала ему, не в пример остальным слушателям, еле сдерживавшим негодование.

Меня, тогда же, его воспоминания очень огорчили. Они и теперь огорчают меня. Не оттого, что он несправедлив к тем, кого он так зло высмеивает, а главным об-



разом оттого, что он этими воспоминаниями причинил зло не им, а себе, создав ложное представление о себе, изобразив себя — автора этих воспоминаний — желчным, мелочным, злопамятным и чванным. Он в своих воспоминаниях как бы создал не только их, но и свою карикатуру.

Ведь на самом деле он был совсем не такой. Он был добр, благороден и великодушен и, казалось бы, не мог быть автором таких воспоминаний.

Но обиды, болезнь, бедность и горе плохие советники. «Человек начинается с горя» — строчка поэта Эйснера, ставшего известным именно благодаря этой, часто повторяемой в эмиграции строке.

«Человек начинается с горя». Нет, далеко не всегда. Горе чаще унижает человек, уничтожает в нем все лучшее. И — это уже мое личное наблюдение — чем замечательнее, чем талантливее человек, тем легче он поддается горю, унижающему, уничтожающему его.

Средние люди, возможно, и «начинаются с горя». Но больших людей горе часто приканчивает, добивает.

А сколько горя Бунин видел в последние годы своей жизни!..

— А детей, хотя у меня и нет «родительской страсти», я все-таки очень люблю, — задумчиво говорит он. — Да, я очень люблю детей. Милых, добрых, умных, как почти все дети. Ведь злые, капризные, глупые дети исключение. Они почти всегда карикатуры своих родителей. В моей семье, хоть нас никак не воспитывали и мы были на редкость свободны, все дети, каждый по-своему, были милы, добры и умны. Должно быть, оттого, что у нас были по-настоящему хорошие родители.

Он умолкает на минуту. Сейчас он, по всей вероятности, «погрузится» в детство и расскажет мне какой-нибудь эпизод из жизни своих родителей. О своем очаровательном «непутевом» беспечном отце и о своей матери. Мать свою он боготворит и не может без волнения вспоминать о ней.

Когда-то Гумилев говорил:

— У большого писателя детство обязательно или очень счастливое, или очень несчастное. Никогда не серенькое, среднее, обыкновенное. Никогда не то, что называют «золотым детством». Ведь такое детство — только скучная подготовка к дальнейшей скуке и безобразию существования среднего человека.

Я, как и полагалось мне, его ученице, приняла безоговорочно это утверждение.

Но Бунин заставил меня засомневаться в правильности его. Нет, очень счастливым его детство по всему, что я слышала от него и от Веры Николаевны, я назвать не могу. Но и очень несчастным тоже. Конечно, оно не обыкновенное, не среднее, не серенькое — в нем столько, с самых первых лет, огромных огорчений и радостей. Скорее сказочное, чем золотое, детство. И это все усиливающееся трагическое предчувствие разорения, гибели и катастрофы над его семьей.

Каждый раз, когда Бунин рассказывает о мальчике Ване, каким он когда-то был, я узнаю что-нибудь совершенно новое о нем, о чем я еще не догадывалась, и это помогает мне лучше понять слова и поступки старого Бунина.

Но я ошиблась, ожидая рассказа о его детстве. Он явно совсем не расположен возвращаться сейчас к истокам своей жизни. Он говорит:

— Как это ни странно, мне очень редко приходилось по-настоящему сталкиваться, сближаться с детьми. Их как-то всегда было мало вокруг меня, в моей жизни и в том, что я писал. Детская психология меня особенно не интересовала. А детей, когда мне приходится с ними встретиться по-настоящему, когда они входят в мою жизнь, как вот Олечка, — очень люблю, — я ее как собственную дочку люблю, вы ведь знаете. Но вот своих племянников, детей моей сестры Маши, — к ним я был совсем равнодушен. И ничего, кроме жалости, какой-то брезгливой жалости, я не испытывал к ним. Были они заморенные, престолярные, совсем не господские дети, и я удивлялся, глядя на них, что в них текла бунинская голубая кровь. Но ведь отец их, муж Маши, был простым стрелочником. Жили они на станции в доме, похожем на лачугу, и мамочка с ними. Я, впрочем, редко у них бывал.

О том, что сестра Ивана Алексеевича вышла замуж за простого стрелочника, я слышала уже и от него, и от Веры Николаевны. И это меня очень удивляло. Ведь она не была толстовкой. Она не влюбилась в стрелочника до умопомешательства, а решила на такой неравный брак оттого, что у нее, по-видимому, других женихов не предвиделось, из-за полного оскудения и обнищания их дворянского гнезда. А была Маша, по словам Ивана Алексеевича, красивая, статная, привлекательная, как и все Бунины.

Меня удивило, но об этом я, конечно, не говорила ему, и то, что Иван Алексеевич, когда стал известным

писателем и хорошо зарабатывал, не позаботился о своей сестре Маше и, главное, о своей матери, жившей в семье Маши, ведшей — с каким трудом — ее грошовое хозяйство и воспитывавшей ее детей.

Он ограничивался только тем, что иногда появлялся — спускался с Олимпа — в их жалкую лачугу, ослепляя и восхищая всю узловую станцию своим блеском и щедростью, широко одаривая племянников, Машу, деверя и свою мать, на несколько дней превращая их жалкое существование в сплошной праздник.

— А вот у Бибиковых, у Панченко, у Варвары Владимировны была замечательно славная дочка Милица — Милка, Милочка, — продолжает он. — Талантливая, чудная девочка. Очень музыкальная. Я на нее смотрел и любовался ею. Она мне напоминала свою мать в молодости. Она могла быть моей дочерью. Но только тогда она была бы, конечно, еще талантливее и прелестнее.

— Дочь вашей Лики? — спрашиваю я.

Он кивает и разводит руками.

— Ну, все-таки не дочь Лики — а дочь Вари Панченко. Она ведь, бросив меня, вышла замуж за Бибикова. Он был самостоятельный, да и во всех отношениях больше годился ей в мужья.

— А с ее дочкой, с Милкой, что стало? — спрашиваю я снова.

Он хмурится.

— Она простудилась. Потом оказалось, что у нее чахотка. Ее послали в санаторию в Швейцарии. Когда война началась, отец приехал за ней. Трудно было тогда путешествовать. Она умерла по дороге домой. — Он вздыхает. — И как я по ней тосковал. Никому, даже Вере Николаевне не признавался, а по ночам плакал. Будто действительно свою дочку потерял. Пока она была жива, я даже ее особенно не любил. А как умерла, снова все горе с Варей Панченко пережил. Хотя она сама — госпожа Варвара Бибикова — мне совсем разонравилась и я стал к ней абсолютно равнодушен. Я даже не понимал, как я мог по ней когда-то сходить с ума. А вот смерть Милочки все опять воскресила. Еще и сейчас больно вспоминать.

Он отворачивается к окну и смотрит вдаль, откинув голову на высокую спинку кресла. Я молчу. Я понимаю, что ему очень грустно, очень тяжело.

С какой невероятной силой он переживает прошлое! Будто для него прошлого нет. Будто для него все, что было когда-то, длится, происходит здесь, сегодня, сейчас.

Господи, зачем он вспоминает? Разве ему мало тяжести и грусти этих безрадостных старческих дней?

Мне самой всегда казалось — да и теперь кажется, что

Тихий вечер жизни — старость  
Несет с собою лампу Аладдина,  
Рассеивая скуку жалких будней  
И ужас неизбежной смерти,  
Всё превращая в очарованье и торжество.

Но старость Бунина... Нет, она ничего не превращает ни в очарованье, ни в торжество. Трудно себе представить более безотрадную старость.

Но мне и в голову не приходит поделиться с ним моим взглядом на старость.

Я прекрасно знаю, что он, как уже не раз делал, презрительно пожмет плечами и процедит сквозь зубы:

— А вы проживите с мое, сударыня, тогда и рассуждайте. — И уже раздражаясь: — Смешно и глупо! Выдумали тоже! Оригинальничать хотите и несете всякий вздор. Старость — отвратительна и позорна. Гнусна!

Нет, мне никак не удастся убедить его, что старость, если только человек здоров, не отвратительна, а прекрасна.

— Да, — говорит он, — дети в моей жизни не играли большой роли. Их было немного. Теперь вот Олечка Жирова. К ней у меня совсем особые чувства — уже не отцовские, а дедовские. Какая прелесть эта Олечка! Никто мне ее заменить не может. Я по ней скучаю, чудная девочка.

Я соглашаюсь:

— Действительно чудесная девочка. Но насчет дедовских чувств, нет, простите, Иван Алексеевич, у вас к ней, по-моему, скорее братские чувства. Когда я увидела, как вы с ней вокруг стола прыгали, я просто глазам своим не поверила. Не дедушка с внучкой, а двое ребят взапуски прыгают.

Да, я помню, я как-то случайно зашла к Буниным. Дверь мне открыла Вера Николаевна.

— Ян с Олечкой в столовой свой новый танец отплясывает, пойдете полюбуемся на них, — весело предложила она.

И я действительно «полюбовалась», от удивления остановившись на пороге столовой. Надменный, гордый Нобелевский лауреат, казалось, превратился в семилетнего мальчика и самозабвенно, восторженно скакал и прыгал вокруг стола с прехорошенькой маленькой

девочкой. Увлеченный танцем, он даже не повернулся, чтобы узнать, кто пришел. Должно быть, он даже не слышал звонка. Но Олечка уже бежала ко мне и вежливо, как полагается благовоспитанной девочке, поздоровалась со мной.

— Мы с Ваней танцуем новый танец, — деловито объяснила она. — Он его только сегодня выдумал. Он уже много танцев выдумал, — и она поощрительно, как старшая младшему, улыбнулась ему. — Он у меня умный, Ваня.

И Бунин весь засиял лучистыми морщинами ответной улыбки.

В тот день мне было дано впервые увидеть совсем другого, нового Бунина. Я и не предполагала, что в нем столько детского и такой огромный запас нежности.

С Олечкой он не только играл, исполнял все ее капризы и слушался ее. Рассердившись на него, она ставила его носом в угол, и он покорно простаивал в углу, пока она его не простит. Он писал ей шуточные стихи. Она была строгим критиком и не всегда хвалила их. Однажды она даже обиделась и возмутилась на описание угощения «Из кондитерской Бока» у одних знакомых — стихи эти были напечатаны в «Новом журнале». Олечка нашла их гадкими, поставила Бунина в угол и прочла ему нотацию.

Но чаще они проводили время в безмятежной дружбе, играли во всевозможные игры, танцевали и рассказывали друг другу сказки.

Вера Николаевна тоже была очень привязана к Олечке. Она и Бунин ревновали друг к другу Олечку.

— А все-таки Олечка любит меня больше, чем Веру Николаевну, — самонадеянно уверял Бунин. — Она умная, тактичная девочка, молчит об этом. Но меня обмануть трудно. Я уверен, что она любит меня больше всех. Даже больше своей матери.

Бунин смотрит на меня с неподдельным удивлением. Я только что поделилась с ним моим огорчением — три дня бьюсь над концом стихотворения и чувствую себя совершенно бездарной.

— Вот так так. Бездарной? — переспрашивает он. — А вы, оказывается, сомневаетесь в себе. Это хорошо. Очень хорошо. Сомневаться в себе, в своем таланте необходимо. Даже Толстой, и тот... Но вот признаваться другим в этом, особенно братьям-писателям, никак не следует, — поучает меня Бунин. — Помните: скром-

ность ничуть не украшает писателя. Пусть же лучше вас считают гордячкой и даже за спиной подсмеиваются над вами. Я сам многим кажусь гордецом, надутым, как индейский петух. И ничего против такого мнения не имею. Хотя на самом деле я часто, в особенности теперь, когда до смерти осталось четыре шага, сомневаюсь в себе. Вижу, что я почти ничего не сделал. Мог, должен был сделать гораздо больше. А теперь поздно. Теперь я бессилен. И как это грустно.

Он задумывается, глядя в огонь.

— Почему не сделал? Не знаю. Не могу объяснить. Но иногда мне кажется, что многое, что я писал, совсем не то. И не так.

Он снова замолкает и продолжает после паузы:

— Слава Богу, такие мучительные мысли не часто приходят. Вот ночью, во время бессонницы. А утром вспоминаю, что я совсем недавно написал лучшее во всей моей жизни — «Темные аллеи», — и чувствую гордость. И кто знает — может быть, я еще много лет проживу, окрепну, поздоровею и напишу еще новые «Темные аллеи» — ведь этой темы на десять томов хватит. Я в «Аллеях» ее не исчерпал, а только слегка коснулся, тронул ее. Надо пойти гораздо дальше по «Темным аллеям» в самую глубину их. Без страха, и ложного стыда, и фарисейства.

Он вдруг обрывает, будто вспомнив обо мне, и продолжает меня учить:

— Нет, никогда никому не говорите, что вы чувствуете себя бесталанной, а то так бесталанной и прослышите. Все с удовольствием вам поверят. И даже пожалеют вас: бедненькая! А как пожалеют — крышка. Надо вызывать зависть, а не жалость. Запомните! Волки загрызают раненого или больного волка. А в нашем волчьем мире приканчивают друг друга жалостью. И презрением. Никогда не признавайтесь в сомнении в своем таланте, — повторяет он наставительно. — Храните это необходимое сомнение в себе на самом дне сознания. Для себя. Это не только драгоценный совет, а и подарок мой вам.

И вдруг, неизвестно отчего, неизвестно на что раздражившись, он продолжает желчно и саркастично:

— Скромность? Подумаешь, тоже добродетель! Достоинство для писателя? Да я просто не верю, что существуют скромные писатели. Притворство одно! Вот Чехов был деликатным, скромным, как красная девушка, — это мнение Толстого. А на самом деле он на всех свысока смотрел, с братом своим, художником, и с его

приятелями разговаривать не желал. Презирал их всех. Кроме разве Левитана. Левитан хоть и еврей, а шибко в гору шел. Впрочем, и с ним у Чехова дружбы не получилось — описал он его в «Попрыгунье». Об остальных писателях и говорить не стоит — все считали и считают себя гениями. Всех грызет зависть, все волки. Только прикидываются овечками. Всех распирает самомнение.

Я протестую:

— Но ведь вы сами, Иван Алексеевич, мне рассказывали о скромности и деликатности Чехова.

Он взмахивает рукой.

— Ну что же из этого, подумаешь. Я не попугай, чтобы повторять всегда одно и то же, как Толстой правильно говорил. Зарубите на своем коротком носу — нечестнолюбивых писателей не существует. Вы-то сами, сознайтесь, ведь ох как честолюбивы.

Я киваю.

— Да, очень. И огорчаюсь отсутствием успеха. Только там, в Петербурге, я и знала...

Но он прерывает меня. Ему совсем не интересны мои петербургские успехи.

— Молодец, что не кривляетесь. А скажите, вы тоже считаете, что я напрасно «угробил» — какое вульгарное слово — Лику?

Я качаю головой.

— Нет, не считаю.

Как-то он с возмущением вспоминал, что одна из парижских дам-меценаток осмелилась сказать ему: «А свою Лику вы, Иван Алексеевич, напрасно угробили. Ведь в действительности эта ваша Панченко, бросив вас, вышла выгодно замуж, устроилась и родила дочь».

— Учить меня вздумала! Нет, какова наглячка!

Я не выдерживаю.

— За что вы ее так? Ведь она, в сущности, ничего страшного не сказала и не сделала. Вспомните, Иван Алексеевич, до чего Чехов был скромен и деликатен — как барышня, по определению Толстого.

— А вы так и поверили? — запальчиво напустился он на меня. — Вы ведь Чехова в глаза даже не видели, а я-то его отлично знал. Чепуха все рассказы о его девичьей скромности! Ложь! Чехов был дьявольски честолюбив, как, впрочем, все писатели. И прекрасно знал себе цену. Вся скромность и деликатность — только поза. Он умел ловко притворяться. Скромность шла к его внешности, к его люстриновым пиджакам и пенсне на черной тесемочке. А о дворянах он зря писал. Дворянско-поме-

щичьего быта он совсем не знал. Никогда никаких вишневых садов не существовало. Да он еще этот сад вырубил, хотя вишневые деревья даже на дрова не годятся. Сам все выдумал, и очень неудачно.

О том, что Чехов не знал дворянского быта, я от Бунина не раз уже слыхала, как и о его скромности.

— А вам, Иван Алексеевич, скромность действительно была бы не к лицу.

Он стоит передо мной, держась преувеличенно прямо, гордо закинув голову. Я смотрю на него и вдруг решаюсь сказать то, что давно думаю.

— Но не кажется ли вам, Иван Алексеевич, что и ваша гордость и надменность тоже только поза? Что на самом деле вы гораздо деликатнее и скромнее? И даже немного застенчивы? И только старательно скрываете это?

Он резко поворачивается ко мне.

— То есть позвольте, сударыня. Вы, кажется, тоже начинаете дерзить мне, как та наглядка? С Нобелевским лауреатом следовало бы, пожалуй, попочтительнее.

Я не на шутку пугаюсь. Боже, что я наделала, я обидела его. Теперь он подберет полы своего халата и, шаркая ночными туфлями, уйдет к себе.

— Ради Бога, простите. Я шутила.

Но он, вместо того чтобы совершить один из своих «толстовских уходов», как это называет Георгий Иванов, усаживается в кресло.

— Во всяком случае, мнение преоригинальное, — говорит он медленно, — и если подумать, не лишнее некоторого основания. Кто его знает. Познать себя, сколько ни старайся, трудно. Но до чего вы меня удивили. А с удивления, по Платону, начинается философия.

На масленицу, как полагается, в «Русском доме» были традиционные блины. Устраивались они в складчину. За пансион в «Русском доме» брали чрезвычайно мало, но зато и кормили впроголодь — без всяких излишеств. Блины, да еще с кетовой икрой, семгой и водкой, в те первые послевоенные годы легко подводились под категорию «излишеств». Бунин ни на какие просьбы и уговоры участвовать в коллективных блинах не поддался и не удостоил своим присутствием масленичный обед.

Все же «блинное повторение», устраиваемое в нашей комнате несколькими «насельниками» «Русского дома», он обещал посетить.



— Но предупреждаю, испорчу вам все. У меня настроение собачье. И есть ничего не стану. И одеваться из-за ваших дурацких блинов не намерен, приду в халате. Но раз вы настаиваете — приду. А там уж пеняйте на себя.

В назначенный день он действительно пришел. Даже раньше назначенного часа, когда хорошенькая Гэдди, подвязав передник, жарила блины на маленькой спиртовке. Он скептически оглядел накрытый белыми листами бумаги вместо скатерти «погребальный» стол и заявил:

— Думаете, удадутся у вас блины? Как бы не так. Бросьте, Гэдди, ничего у вас не получится. Бросьте. Так черт яйцо на печке пек.

Но Гэдди, мило улыбаясь ему, продолжала весело хозяйничать, не обращая внимания на его воркотню.

К Гэдди Бунин был слегка равнодушен, как, впрочем, ко многим молодым хорошеньким женщинам. Вера Николаевна не только не ревновала, но даже поощряла его «увлечения».

— Пусть, ведь это хоть немного развлечет его. Яну необходимо общество молодых женщин, которые ему нравятся. — В верность Бунина она верила свято и нерушимо. — Ян даже в мыслях мне ни разу не изменил, хотя Бог знает, что про него злые языки рассказывают, — часто повторяла она.

К Гэдди она относилась очень хорошо и даже приглашала ее поселиться у них, если Гэдди придет в Париж.

— У нее такой легкий, веселый, ровный характер. И она так женственна! Это как раз то, что больше всего нравится Яну. И она очень хозяйственна, не то что я, — объясняла она.

Сама Вера Николаевна — она это прекрасно сознавала — была начисто лишена хозяйственных способностей и не умела, да и не стремилась создать у себя дома хоть какое-нибудь подобие уюта. Даже после получения Нобелевской премии, когда средств было достаточно, они остались жить в довольно жалкой мебелированной квартире, занимаемой ими и прежде, на 1, рю Оффенбах, превратив ее только из «меблированной» в квартиру по контракту, не сменив мебели и ничем решительно не украсив ее.

Бунин, усевшись в кресло у стола и мешая мне расставлять закуски и рюмки, хмуро следил за нашими с Гэдди и Георгием Ивановым хлопотами.

— Охота вам! Подумаешь, был кот — с печки упал! Бросьте!

Но нам «была охота», и мы продолжали хлопотать. Блины, несмотря на предсказания Бунина, вполне удались. Гости ели и хвалили.

Бунин, сидя в кресле на главном месте перед пустой тарелкой, с брезгливым удивлением наблюдал за тем, как быстро уменьшается стопка блинов, и вдруг, подняв вилку, потянулся к ней, ткнул вилкой в блин и положил его на свою тарелку.

— Э, да так мне не останется ни блина, ни икры, ни водки!

— Подождите, Иван Алексеевич, я вам сейчас свежий спеку, эти уже остыли, — заволновалась Гэдди.

— Свежие второй порцией. И этот отличный. — Бунин, забыв о своем твердом намерении ничего не есть, уже поливает блин маслом, накладывает на него икру и сметану и прикрывает вторым блином. — А ну-ка, налейте!

Я наливаю ему рюмку водки, и он с явным удовольствием принимает за «блинопоглощение».

И неожиданно — для других, а не для меня — ведь я нисколько не сомневалась, что этим и кончится, — он превращается в приятнейшего гостя, радующего меня, хозяйку хлебосольную, отличным аппетитом, очаровывающего всех слушателей несмолкаемыми рассказами.

Он вспомнил масленичную «Вербу», разыграл несколько сценок из нее, изображая всех: и зрителей-зевак, и знатных господ, глазеющих на народное гулянье, и зазывателей балаганов, и продавцов. Все так магически живо, будто мы, сидящие за столом, вдруг очутились на «Вербе» и это нам предлагают увидеть «Александровскую колонну в натуральности своей» и купить умирающую тещу или чертика в коробочке. Так неудачно начавшиеся по вине Бунина блины превратились, благодаря Бунину же, в одно из самых приятных воспоминаний пансионеров «Русского дома». «Блины с Буниным» остались у них надолго в памяти.

Как-то в Нью-Йорке, на моем вечере, когда я в перерыве надписывала свои «На берегах Невы», ко мне подошла пожилая дама и сказала мне:

— А ведь мы с вами знакомы. Мы вместе жили в Жуан-ле-Пэн в «Русском доме». Помните? Ах, как там чудесно было! Помните блины с Буниным?

Из всего «чудесного», пережитого ею в Жуан-ле-Пэн, самым чудесным для нее явно остались эти «блины с Буниным».

То, что Бунин был особенный человек, чувствовали многие, почти все.

Мы с ним однажды зашли купить пирожные в кондитерскую Коклена на углу Пасси, где я бывала довольно часто.

В следующее мое посещение меня спросила, смущаясь, кассирша:

— Простите, пожалуйста, но мне очень хочется узнать, кто этот господин, приходивший с вами позавчера?

Я не без гордости ответила:

— Знаменитый русский писатель.

Но ответ мой не произвел на нее должного впечатления.

— Писатель, — разочарованно повторила она. — А я думала, какой-нибудь гран-дюк<sup>1</sup>. Он такой... такой, — и она, не найдя подходящего определения, характеризующего Бунина, принялась отсчитывать мне сдачу.

Мне часто приходилось замечать, что Бунин притягивал к себе взгляды прохожих на улице.

Однажды, говоря о Бунине с Алдановым, очень любившим его и всегда восхищавшимся им, я спросила, замечал ли он это. Алданов закивал радостно, глядя на меня своими большими прелестными глазами, глазами лани, совсем не подходящими к его слегка обрюзгшему лицу:

— Ну еще бы, еще бы, не раз замечал. Иван Алексеевич, даже когда молчит, всегда попадает в центр, в фокус внимания присутствующих. Разве вы сами не чувствуете магнетических волн, идущих от него? Он обладает какой-то особенной гипнотической силой, — убежденно объяснял Алданов. — Он очаровывает собеседников и заставляет их соглашаться с собой. Этот редко встречающийся дар был присущ и Наполеону. У Наполеона он переходил даже, как вы изволите знать, в своего рода демонизм. Ведь Наполеон мог, когда хотел...

Я осторожно вернула Алданова, уже готового пуститься в историческую экскурсию о Наполеоне, к интересующей меня теме о Бунине.

— А вы, Марк Александрович, на себе испытывали обаяние Бунина?

Мой наивный вопрос даже удивил его.

— Ну конечно. Еще бы. Как же иначе? Для меня, когда Бунин в Париже (разговор наш происходил в 1930 году, когда Бунин большую часть года проводил в Грассе), наступают похожие на праздник «бунинские дни». Да, я их так и называю «бунинские дни». Присутствие Бунина все как-то меняет и украшает. И жить, и дышать

---

<sup>1</sup> великий герцог (от *фр.* grand duc).

становится как-то легче, оттого что он здесь. После каждой встречи, каждого разговора с ним я чувствую себя бодрее, лучше. Будто побывал у моря или в горах. Отдохнул. Помолодел душой. Никто на меня так благотворно не действует, как Иван Алексеевич. У него действительно какая-то магическая власть над душами, умами и сердцами.

Я кивнула, соглашаясь, хотя на себе не испытывала магической власти Бунина.

— Вы правы, Марк Александрович.

Ведь Алданов, не только от присутствия Бунина, но просто даже говоря о нем, на моих глазах оживился и помолодел. А за минуту до этого он казался таким усталым и грустным.

Да, я в тот день действительно убедилась в магической власти и очаровании Бунина.

— Мне сегодня так скучно, так безнадежно, дико, отчаянно скучно, как уже давно не было, — вздыхает Бунин.

Разве давно? Ведь и в Париже перед отъездом, и тут, в Жуан-ле-Пэн, он не раз уже жаловался мне на дикую, отчаянную скуку. Но я просто говорю:

— Должно быть, от мистраля. Ведь всю ночь ставни хлопали, не давали спать. Мне тоже...

— И вам спать не давали? — оживившись, перебивает он. — Мне почему-то казалось, что вас, как говорит-ся, пушками не разбудишь.

Я качаю головой.

— Нет, совсем нет. Я отвратительно сплю с детства.

— Вот бы не думал. Вы совсем не похожи на бессонную страдалицу. Значит, и вы знаете, какое это мучение.

Я вижу, ему приятно, что я плохо сплю, это как будто утешает его.

Может быть, чтобы привести его в хорошее настроен-ие, мне сейчас следовало бы пожаловаться на горькую судьбу и на всяческие, пусть вымышленные, неприятности, обиды и огорчения? Начать с чего-нибудь вроде — я только кажусь такой веселой и беспечной, на самом деле я очень несчастна, дико одинока и мне все отчаянно надоело. Ах, до чего!..

Но вместо этого я спрашиваю:

— А Гэдди уже была у вас сегодня?

Гэдди — милая и миловидная молодая женщина, недавно приглашенная Роговским заведовать «Русским

домом». Вера Николаевна сейчас же поняла, что она, как и я, может стать своего рода «громоотводом», то есть отвлекать Бунина от его черных мыслей. И развлекать его.

Бунин морщится недовольно.

— Была. Но убежала через пять минут хлопотать по хозяйству. Ей всегда некогда.

Понятно — в пять минут ей не удалось развлечь его. Но я располагаю целым утром, и мне это непременно должно удалиться. Ведь я обещала Вере Николаевне.

— Неужели вы действительно страдаете с детства бессонницей? — Бунин недоверчиво смотрит на меня. — Нет, я в детстве отлично спал... — он обрывает и задумывается.

Детство... Детство — прекрасная тема, лучше не найдешь, чтобы развлечь его.

— Расскажите мне, Иван Алексеевич, какой вы были. Не Алеша Арсеньев, а вы. Ведь вы не совсем такой, как он. У вас, наверное, многое еще в детстве было, о чем вы не писали.

Он кивает.

— Ну, конечно. Я уже говорил вам — «Жизнь Арсеньева» вовсе не моя автобиография. Многие неточно, подтасовано, подчищено. Я в детстве был очень добр, гораздо добрее Алеши... Но столько было тяжелого и мучительного уже и тогда...

Нет, о тяжелом, о мучительном не надо ему давать вспоминать, и я говорю быстро:

— Расскажите мне о каком-нибудь вашем особенно добром детском поступке. О самом добром, пожалуйста, Иван Алексеевич, расскажите.

— О самом добром? — Он берет кочергу и начинает медленно и осторожно поправлять дрова в печке. Это хороший знак.

Я жду и знаю, что он уже готов «погрузиться в прошлое», как когда-то говорил Андрей Белый.

И он действительно не заставляет больше просить себя и начинает рассказывать чудесно, как только он один умеет рассказывать, и с явной охотой:

— Самый добрый? Трудно определить, какой из моих тогдашних детских поступков был самым добрым. Все они были добрые. Добрым было и мое отношение к жизни и ко всему, окружающему меня. Я все и всех любил — и родителей, и братьев, и сестру, и слуг, и собак, и лошадей, и каждое дерево в саду, каждую птицу на ветках дерева. Я просто дышал любовью и добротой. И как трудно, как тяжело мне дались мои гимназические

годы. Будто гора на меня обрушилась и надолго придавила меня. Будто я попал в тюрьму, нет, и в тюрьме, должно быть, легче. В гимназии мне было все отвратительно — главное, идиотская дисциплина, — ведь в деревне я рос совершенно свободным, я всегда делал то, что хотел. А вот слушайся беспрекословно, сиди сиднем пять часов в классе.

Это было для меня невыносимо и мучительно. Поселили меня у старообрядца-мещанина. И там мне было даже еще хуже, чем в гимназии. Мы хотя и были бедны, но у нас дома все дышало барством и дворянским изяществом. Стол был всегда красиво и как-то даже парадно накрыт. У нас были почтительные старые слуги, всячески старавшиеся мне угодить — ведь я был всеобщим любимцем. А в доме старообрядца-мещанина, куда меня поместили на хлебником, царил мрачный грубый быт: рубцы, от запаха которых меня мутило, подавались на стол прямо в кухонном горшке; я сам должен был чистить свое платье и башмаки и стелить свою постель. Мне казалось, что это унизи-тельно для моего дворянского достоинства. Я знал, что происхожу из знаменитого богатого рода, и гордился этим.

В гимназии я ни с кем из товарищей не сходилась. Все это были дети разночинцев с хамскими ухватками. Несмотря на свой общительный нрав, я держался особняком. Я страдал от одиночества, к тому же меня мучила тоска по дому и семье.

Он вздыхает:

— Даже вспомнить тяжело, как я тогда тосковал. И тут-то я, пожалуй, и совершил свой самый добрый поступок. Вот как это было.

Однажды зимой, в сретенский лютый мороз, я возвращался из гимназии по почти безлюдным улицам. Градусов пятнадцать ниже нуля — все по домам попрятались, никто без крайней нужды носа на улицу не высунет! И вдруг вижу мальчика-нищего. Стоит он возле обледенелой, в ледяных сосульках водосточной трубы в рваном, коротком рыжем балахончике, сам рыжий, веснушчатый, лицо бледное до голубизны. Я смотрю на него, и у меня сердце екнуло. Чем-то, не знаю уже чем, напомнил он мне моего любимого теленка Бычка, белого с рыжими пятнами. Ну совсем мой теленок. А он протянул ко мне тощую, голую до плеча руку и жалобно пропел охрипшим голоском: «Подайте, Христа ради, сиротке копеечку!»

Копеечки у меня не было. Рубль, который я ежеме-

сячно получал от отца, я уже успел истратить. Но так жалко мне его стало, что я, долго не размышляя, бросил ранец на тротуар — тогда еще школьники ранцы на спине носили, — расстегнул торопливо металлические пуговицы, снял шинель и протягиваю ее ему. «На, возьми! Надень скорее! Не то замерзнешь». Он смотрит на меня ошалелыми, голубыми, телячьими глазами, но шинельки не берет. «Да бери же! — кричу я. — Бери! Я тебе дарю! — И сую ему шинель в руки. — Надень!»

Тут только он понял. Схватил шинель, прижал к груди и, даже не поблагодарив, со всех ног бросился бежать. Верно, испугался, что я раздумаю, погонюсь за ним и отберу у него шинель.

А я подхватил свой ранец и пошел дальше. И так хорошо, так радостно у меня на душе, что я даже мороза не чувствовал. Иду и горжусь собой — ведь так поступали святые, о которых мне читала мать. И рыцари тоже отдавали голым нищим свои плащи...

Но тут я вспомнил, что в кармане моей шинели остался мой новый перочинный ножик с четырьмя лезвиями и свисток. И это сразу испортило мою радость. Шинели мне не было жаль по-прежнему, но вот перочинного ножика и свистка ужасно, просто невыносимо жаль.

Мое появление без шинели вызвало в доме хозяина-мещанина переполох. Я весь трясся и, как голодный пес, щелкал зубами. Хозяйка, благодушная толстая баба, заохала и заохала надо мной. Хозяин стал добиваться, почему я без шинели. Я к тому времени уже научился хитрить. Я понял, что он моего поступка не оценит, не поймет. «Мы на улице играли в снежки, — солгал я, — шинель мне мешала. Я ее снял и повесил на забор, а когда кончили играть, ее не оказалось». «Вестимо, сперли, — решил он. — Если бы мой малец не углядел за своей шинелью, я бы его так отхлестал, что он бы неделю сесть не мог», — мрачно и грозно проговорил он, видимо, жалея, что меня он отхлестать не смеет.

Ночью у меня поднялся жар. Вызвали доктора. Оказалось воспаление легких. Очнулся я только дома. Как сквозь сон помню, что мать не отходила от меня. Я проболел довольно долго и чуть не умер.

Когда я поправился, я рассказал матери, что отдал свою шинель нищему мальчику. Я ждал, что она придет в восторг и станет меня хвалить. О том, что я пожалел — да еще как! — о перочинном ножике и свистке, я промолчал, чтобы не испортить ей удовольствия.

Но она, к моему удивлению, только поцеловала ме-

ня, глубоко, горько вздохнула и будто про себя прошептала: «Бедный мой, добрый мальчик!»

Меня из детской переселили в комнату, смежную со спальней родителей. Я лежал на широкой мягкой тахте под голубым пуховым одеялом. В окне — покрытые снегом, сверкающие от инея ели, будто и не ели, а елки, и все такое праздничное, чудесное, будто сегодня Рождество!

Лежать удивительно приятно, во всем теле блаженство разлито, как всегда, когда выздоравливаешь. А тут еще уверенность, что я заслужил это своим добрым делом, это награда герою. Ведь не отдай я тогда шинели мальчику-нищему, я бы сейчас томился в классе на уроке арифметики или латыни. А сейчас все так восхитительно и чудесно!

За стеной — разговор родителей. Ну, конечно, обо мне. Радуются, конечно, что я поправился. Я прислушиваюсь. Голос отца: «Слава Богу, кончилась морока. Теперь уже скоро можно будет Ваню в город отвезти. Ведь сколько он в гимназии пропустил, догонять ему придется. Не то, не дай Бог, на второй год останется. Дернуло же его! Сколько его идиотская выходка денег нам стоила — доктор, лекарства, а еще и новую шинель ему шить придется. А денег откуда взять? Придется, должно быть, столовое серебро в ломбард заложить». И голос матери: «Ах, Господи! Как все тяжело, как больно! Бедные, бедные, несчастные мы. До какого позора, какого падения... Бедный мой Ванечка, такой добрый...» И снова голос отца: «Не плачь! Перестань. Все как-нибудь да устроится, уладится, увидишь». И уже со свойственным отцу веселым легкомыслием: «Пойду постараюсь зайца подстрелить, Ваня любит, да и я тоже. В сметане, с бурачками. Не плачь! Прошу тебя, не могу видеть. Перестань!»

Дверь спальни хлопнула. Шаги отца в коридоре.

А я весь обомлел. И тут меня осенило. Господи, что я наделал! Ведь я обожал мать. Я в отчаянии прыгнул с тахты, хотя мне было запрещено вставать, босиком, в одной длинной ночной рубашке ринулся в спальню матери.

Она сидела перед туалетом в красном стеганом капоте с распущенными волосами, держа щетку в руке. Я увидел в туалетном зеркале ее любимое лицо, по которому текли слезы. Она обернулась ко мне, испуганно ахнув. Я бросился к ней, обхватил ее теплую шею руками и отчаянно, исступленно закричал: «Прости меня, мама! Прости! Мама, мама, я больше никогда не буду делать добрых дел! Мама, я больше никогда не буду добрым!»



Бунин вынимает из кармана пакет табаку, аккуратно и методично, как всегда, свертывает папиросу, закуривает об уголек из пачки и уже обыкновенным, разговорным тоном говорит:

— Вот я вам и рассказал о самом добром, о последнем добром моем поступке в детстве. — И, помолчав, добавляет: — Никому никогда я этого не рассказывал. Вам первой.

Я потрясена. Мне трудно сдержать слезы от волнения. Мне жаль, мучительно жаль его — его тогдашнего, бедного мальчика, и его сегодняшнего — старого, несчастного. Мне кажется, что я сейчас лучше понимаю его, яснее вижу и чувствую — будто этот рассказ о его детстве — магический ключ к сердцу Бунина.

Магический, да, именно магический — как и весь его рассказ. Оттого-то я так глубоко взволнована и потрясена. И как мне лестно, что он только мне, мне одной...

Он поворачивается ко мне и внимательно смотрит на меня своими зоркими глазами.

— Что, пробрало, прошибло вас? Плакать вам хочется? Глазки-то у вас, знаю, на мокром месте. Что же, поплачьте, это для здоровья полезно. Ведь трогательно, — как тут не заплакать?

Зачем он так холодно, так насмешливо? Я спрашиваю, задыхаясь от волнения:

— А дальше что было? Новую шинель вам сшили?

Он покачал головой:

— Представьте себе, нет. Не сшили.

Я сбита с толку.

— Как так? В чем же вы ходили? Ведь еще была зима.

— Ну, конечно, зима. Лютая зима. Ходил в старой, в той же шинели. Все мои гимназические годы в одной и той же. Ведь мне ее, как полагается, на вырост сшили.

— В старой? Как же так? Раз вы ее отдали? Неужели отобрали у нищего мальчика?

— И этого не пришлось. Хотя, конечно, эффектно бы получилось — по Достоевскому: отыскал нищего мальчика, снял с него шинель, да еще в придачу вздул его за слезы моей матери.

— Я не понимаю, — растерянно сознаюсь я. — Чем же все кончилось?

Он затягивается папиросой и следит за ее дымом.

— Чем кончилось? Да ничем! Ничем не кончилось, как ничем и не начиналось. Ведь ничего этого не было. Не было ни нищего мальчика, похожего на нашего теленка, ни подаренной шинели, ни воспаления легких.

Все это я тут же сочинил. В одну минуту, чтобы позабыться. Вы ведь, конечно, когда просили меня рассказать о моем самом добром детском поступке, вспомнили идиотское *petit-jeu*<sup>1</sup> Фердыщенко — тьфу, какая гнусная фамилия, — рассказы о самом дурном своем поступке на вечере Настасьи Филипповны. В «Идиоте» — так ведь? Вот я и захотел разыграть вас. Вышло даже еще лучше, чем я ожидал. И совсем по вашему Достоевскому. Вы так трогательно, так самозабвенно, умиленно слушали меня, так наивно, бесхитростно, простодушно поверили моей сахарной, сусальной выдумке, что чем не сцена из вашего Достоевского?

Он вдруг начинает, глядя на меня, громко, самодовольно смеяться.

— Нет, до чего забавно, у вас сейчас, по вашему же Достоевскому, «опрокинутое лицо». А я, как у него и полагается, рассказав о добром поступке, сделал дурной — и до чего забавный поступок.

Он продолжает все так же самодовольно смеяться.

— Вывернул перчатку наизнанку. Да заодно и вас. Ведь так?..

Я готова заплакать — уже от обиды. Но сдерживаюсь, кусая губы.

— Нет, — говорю я. — Нет. Вы ошибаетесь. Я очень довольна. Ведь я пришла к вам с целью привести вас в хорошее настроение. Мне это удалось, раз вы смеетесь. Чего же мне еще желать?

И я, гордо кивнув ему, выхожу из комнаты.

\* \* \*

Париж. Лето 1938 года. Послезавтра мы с Георгием Ивановым едем в Биарриц на целых три месяца. К океану. И я уже полна легким радостным волнением.

Сегодня я целый день бегала по магазинам. Я очень устала. И все-таки мне не хочется оставаться дома и провести вечер, читая или слушая радио.

— Пойдем куда-нибудь, Жорж!

Георгий Иванов, как всегда, согласен. Только куда пойти? Все наши друзья и знакомые уже разъехались. Даже на Монпарнасе никого не встретишь.

— Хочешь, пойдем в кинематограф?

— Нет, решительно не хочу. Я сейчас совсем не в состоянии неподвижно сидеть перед экраном.

---

<sup>1</sup> салонная игра (фр.).

— А Гингеры? — вдруг вспоминает он. — Они ведь еще в Париже. Сегодня четверг, по четвергам у них «Свидание поэтов». Хочешь, пойдём к ним? Мы бесконечно давно у них не бывали. Они будут очень, очень довольны.

— Больше чем довольны — в восторге. И Гингер, и Присманова — оба — они так тебя любят. Едем. Но непременно в такси, а не в метро. Туда и обратно в такси. Я страшно устала.

И мы едем.

Дверь нам открывает сам Гингер. Но, к моему удивлению, он не только не выражает восторга от неожиданного появления Георгия Иванова, а, скорее, смущен и растерян, хотя и старается скрыть это.

— Вот уже кого никак не ждал. Великолепно, чудесно. Спасибо, — отрывчато произносит он, неловко топчась перед нами, укладывая наши шляпы на комод в прихожей, как будто желая задержать нас подольше. И вдруг будто решась:

— А у нас Марина Ивановна. Пришла проститься перед своим отъездом в Москву.

Ах, вот в чем дело — Марина Цветаева здесь. Она терпеть не может ни Георгия Иванова, ни Адамовича, ни меня, считая нас петербургскими снобами-эстетам.

Особенно Георгия Иванова — с тех пор, как он — по ошибке — в своих «Петербургских зимах» приписал стихотворение Мандельштама «Как скоро ты смуглянской стала», посвященное ей, какой-то «хорошенькой, вульгарной зубоврачихе».

Но о романе Цветаевой и Мандельштама никто в Петербурге не слышал. Сам Мандельштам никогда в разговоре не упоминал ее имени, а о хорошенькой «зубоврачихе», вставившей ему искусственные зубы в кредит, вспоминал с удовольствием довольно часто.

Марина Цветаева сочла себя обобранной, решила огласить свои права на это стихотворение в прессе, в фельетоне, написанном ею для «Последних новостей». Но Милюков не пожелал напечатать его, что глубоко возмутило ее и еще больше восстановило против Георгия Иванова.

Совершенно понятно, что наше неурочное появление обеспокоило бедного Гингера. Ему казалось, что оно может испортить его «последний вечер с Цветаевой».

Впрочем, страх его был неосновательным. Нам нередко приходилось встречаться с Мариной Цветаевой

на литературных вечерах и в гостях у «меценатов». Иногда мы даже обменивались несколькими ничего не значащими словами, хотя она всегда старательно избегала нас, как и мы ее.

Но сейчас пути к отступлению были отрезаны. Гингер вводит нас в комнату, где за столом перед листом бумаги сидит Марина Цветаева. Тут же Софиев, Корвин-Пиотровский, Закович и еще несколько так называемых молодых поэтов.

Присманова кидается нам навстречу. Ей и в голову не приходит, что из-за нас может произойти какое-нибудь недоразумение. Она вообще вряд ли знает о взаимоотношениях своих друзей и знакомых. Это ее не интересует. Она выше всего этого, постоянно витая в заоблачных сферах поэзии.

Георгий Иванов спешно здоровается с ней.

Марина Цветаева смотрит на нас, прищурившись. Она очень близорука, но, казалось бы из совсем не свойственного ей кокетства, — не носит очков.

Наше появление ей явно неприятно. Она гордо выпрямляется и как-то вся ощетинивается, становясь — по своему собственному определению — тем «камчатским медведем без льдины», которого я привыкла видеть в гостях у «меценатов», где она всегда как будто готова принять бой. И сейчас она тоже как будто готовится к бою.

Но Георгий Иванов быстро подходит к ней и целует ее руку, которую она с некоторой задержкой подает ему.

— Марина Ивановна! Как я рад! Я боялся, что мне не удастся проститься с вами перед вашим отъездом.

— Рады? — холодно переспросила она, — вот не ожидала.

— Страшно рад! — горячо подтверждает он, — ведь мы вряд ли скоро увидимся.

— Никогда больше не увидимся. Никогда, — так же холодно отрезает она. И уже мне, чуть потеплевшим голосом: — А вы, скажите, тоже рады?

— Ужасно рада! — совершенно искренне говорю я.

Она пожимает плечами.

— Просто чудеса в решете. Что ж? Я почти готова поверить. А ведь меня теперь большинство прежних знакомых на улице не узнает; не кланяются мне, отворачиваются от меня.

— Мерзавцы! — отчеканивает Гингер. — Повесить бы их всех, буржуев и богачей.

— А мы, — перебивает его Закович, обращаясь к Георгию Иванову, — как раз одному такому буржую, по

инициативе Марины Ивановны, сочиняем коллективную просьбу дать деньги на каникулы N.N.

N.N. — милая молодая писательница, только что перенесшая тяжелую болезнь. Ей действительно необходимо отдохнуть где-нибудь в горах или у моря. И мы с Георгием Ивановым с полной готовностью включаемся в «коллективную работу». Ею руководит Марина Цветаева.

— Софиев, прочтите-ка, что мы написали начерно.

Софиев читает:

— Глубокоуважаемый и дорогой...

— Не дорогой, а милый, — поправляет она, — милый — чувствительней, — буржуй ведь сентиментален. Дальше?

Софиев продолжает:

— Мы, зная ваше золотое сердце и то, что вы всегда оказываете щедрую помощь...

— Золотое сердце — это хорошо, — прерывает чтение Марина Цветаева. — Польсти, польсти! Зальем его лестью, пусть захлебнется в ней — авось раскошелится.

— Не беспокойтесь, Марина Ивановна, раскошелится. Мы его как лягушку на эту бумажку поймаем, — и Георгий Иванов указывает на исписанный лист. — Если бы кто-нибудь из нас с глазу на глаз его просил — безусловно отказал бы, но ведь тут гласность, общественность — не отвертится.

Текст бумажки, на которую, как лягушку, поймают скупца-богача, обсуждается фраза за фразой и трижды переделывается. Георгий Иванов острит, как всегда, и смешит всех. Я не думала, что Марина Цветаева может так звонко и весело смеяться. Я никогда не видала ее такой оживленной и дружелюбной. И я вполне очарована ею.

Наконец «бумажка» готова и красиво и четко переписана.

— Теперь подписи. Первым вы, Георгий Владимирович. Очень красиво с росчерком. Ведь вы любимец «Современных записок», не то что я. Мне в них ходу не давали, ни моим стихам, ни прозе. Сколько раз возвращали...

Наконец и с подписями покончено, и даже адрес на конверте каллиграфически выведен.

Марина Цветаева смотрит на часы, висящие на стене.

— Господи! Половина двенадцатого, а Мур еще не ужинал, и завтра мне надо встать в половине шестого!

— Зато, — сентенциозно заявляет Пиотровский, —

благодаря вам N.N. сможет отдохнуть на берегу моря. Вы совершили доброе дело, Марина Ивановна.

Все шумно и весело прощаются с Присмановой и Гингером. Они оба сияют — такого удачного «свидания поэтов» у них еще не было.

Мы выходим гурьбой на пустынную спящую улицу, залитую лунным светом.

— Проводим Марину Ивановну до метро. Тут все равно такси не найти, — предлагает мне Георгий Иванов.

Мы идем к метро попарно. Впереди Марина Цветаева со мной, остальные — немного отстав от нас.

Она торопится, быстро и легко широко шагает, недовольно морщась:

— Как далеко они живут от метро.

Да, далеко, но я хотела бы, чтобы еще гораздо дальше, чтобы я могла еще долго идти с ней так рядом, плечо к плечу.

— С вами удобно ходить. Вы хорошо держите шаг. А мне казалось, что вы на своих высоких каблучках должны ходить неровно, с прискоком, по-дамски. По походке узнаешь человека не меньше, чем по рукопожатию, — говорит она убежденно.

— Марина Ивановна, вы рады, что возвращаетесь в Россию? — задаю я ей вопрос, преследовавший меня весь вечер. — Очень рады?

Она качает головой.

— Ах, нет, совсем нет. Вот если бы я могла вернуться в Германию, в детство. Туда бы я хотела — там такие широкие площади и старинные готические здания. А в России все теперь чужое. И враждебное мне. Даже люди. Я всем там чужая.

Она вздыхает и замедляет шаг.

— Все же я довольна, что покидаю Париж. Я его изжила. Его больше не существует для меня. Сколько горя, сколько обид я в нем перенесла. Нигде я не была так несчастна. А когда-то в Праге — там я очень скучала — я мечтала, как хорошо будет в Париже. А в Париже Прага стала казаться мне чуть ли не потерянным раем. А теперь я еду в Москву. Сыну там будет лучше. Но мне?.. Выперла меня эмиграция.

Она снова вздыхает.

Луна ярко светит. Слишком ярко. В ее свете мне все начинает казаться нереальным. Меня охватывает странное ощущение. Я как будто теряю чувство времени и места. Разве это Париж и лето 1938 года?

И вдруг я, как сквозь сон, вспоминаю, что когда-то

совсем такой же теплой, летней, лунной ночью я много лет тому назад шла рядом с Анной Ахматовой по пустым, спящим улицам Петербурга — в первый и последний раз в жизни... Совсем так, как сейчас иду с Мариной Цветаевой. Да, совсем так — в первый и последний раз в жизни.

Но тогда уезжала не Ахматова, а я — уезжала, полная радостных надежд. А теперь уезжаю не я, а Марина Цветаева, уезжает в безнадежной, бездонной тоске.

Я смотрю на ее бледное, усталое, грустное лицо.

У меня сжимается сердце. Мне ее мучительно жаль. И страшно за нее. Нет, нет — ей нельзя ехать туда! Там ее ждет гибель. Там она погибнет, как погиб Мандельштам. И сколько других.

Мне хочется крикнуть ей: «Не уезжайте! Вам нельзя ехать». Но я не решаюсь. И она все равно не послушает меня. Даже если я стану перед ней на колени и буду умолять ее.

Я совершенно беспомощна. Я ничем не могу помочь ей. Но если бы я могла хоть немного утешить ее. И я говорю:

— Марина Ивановна, я хочу, чтобы вы знали, я всегда страшно любила ваши стихи. Еще в Петербурге Гумилев мне подарил ваш «Вечерний альбом», и я просто бредила им. Он читал мне наизусть ваши чудные стихи Блоку и Ахматовой. Он восхищался ими.

— Правда? — недоверчиво спрашивает она. — Неужели правда? Я почему-то думала, что Гумилев был против меня. И вы все тоже. Цеховая выучка. Отсюда и преследование меня Адамовичем. Хорошо, что вы сказали. — Она слабо улыбается, и лицо ее молодеет. — Мне приятно, что Гумилев любил мои стихи.

И вот уже вход в метро, и надо расставаться. Мне так грустно, что я еле удерживаю слезы.

— А вы совсем другая, чем мне казались. Очень жаль. Значит, еще одной несостоявшейся встречей больше. Сколько их было в моей жизни, этих несостоявшихся встреч! И вот еще одна.

Она протягивает мне руку.

— Прощайте. Прощайте навсегда. Будьте счастливы. А мне ни счастья, ни счастливого пути не желайте. Ни к чему это мне.

К нам подходят догнавшие нас Георгий Иванов и Пиотровский. Она прощается с Георгием Ивановым. Он несколько раз подряд целует ей руку. Ее серебряные кольца тускло поблескивают.

Я смотрю на нее, стараясь как можно лучше и точнее

запомнить ее — всю, во всех подробностях, навсегда сохранить ее в памяти такой, какой я вижу ее сейчас. Ведь я никогда больше не увижу ее. Никогда.

Последние рукопожатия.

— Так не забывайте о нашей несостоявшейся встрече. — Она грустно улыбается. — И меня не забывайте.

Мне хочется ее перекрестить, но я не решаюсь.

И вот она уже спускается по лестнице рядом с Пиотровским. Я смотрю ей вслед. Но она не оборачивается. И вот ее уже не видно...

Марина Цветаева — наш общий грех, наша общая вина. Мы все перед ней в неоплатном долгу.

Зинаида Шаховская в своих «Отражениях» приводит слова Марины Цветаевой, произнесенные ею со вздохом при их последней встрече: «Некуда податься — выживает меня эмиграция».

Она была права — эмиграция действительно «выжила» ее, нуждающуюся в любви, как в воздухе, своим полным равнодушием и холодом — к ней.

Мы не сумели ее оценить, не полюбили, не удержали от губельного возвращения в Москву. Не только не удержали, но даже, скорее, толкнули на этот пагубный шаг.

Я хотела бы хоть отчасти искупить свой грех.

В том, что Марина Цветаева — прекрасный стилист, теперь согласны все. Не только прекрасный, но, по всей вероятности, лучший стилист нашего времени — лучше Бунина, Белого, Сологуба, Мандельштама.

Особенно хорош ее «Дом у старого Пимена», перепечатанный в «Неизданном» Марины Цветаевой. Этот «Дом у старого Пимена» появился впервые — после каких унижительных хлопот и обидных задержек — в «Современных записках» в 1937 году и очаровал даже скептически относящегося к Марине Цветаевой Адамовича, посвятившего ему целый чрезвычайно хвалебный отзыв в «Последних новостях», вызвавший негодование Милюкова — нашли тоже, кого хвалить. А хвалить — и еще как! — ее следовало за ее чудесные воспоминания о Волошине, о Белом, о собственном детстве, за ее несравненное, присущее только ей умение писать «по-цветаевски», то есть превращать людей и события в мифы и легенды.

«Повесть о Сонечке» написана также не без мифотворчества, и от нее, как от всего, вышедшего из-под пера Цветаевой, оторваться нельзя.



И все же ее — в некотором смысле — я не решаюсь назвать удачей. В ней Марина Цветаева не достигла поставленной себе цели — прославить молодую актрису Сонечку Голидей и заставить читателя безмерно восхищаться ею. Она обращается к ней: «Сонечка! Я бы хотела, чтобы после моей повести в тебя влюбились — все мужчины, изревновались к тебе — все жены, исстрадались по тебе — все поэты...»

Этого при напечатании первой части «Повести о Сонечке» в 1938 году в «Русских записках» явно не произошло. В Сонечку тогда, насколько мне известно, никто и не подумал влюбляться, ни один поэт не «исстрадался» по ней. Повесть о ней прошла почти незамеченной.

Своего впечатления о ней, о тогдашнем первом появлении ее, я, к удивлению своему, не помню. Вернее всего, я ее просто не читала.

Теперь же — сознаюсь — Сонечка мне не очень нравится, и я была бы почти равнодушна к повести о ней, — если бы в ней, как в магическом «влюбленном зеркале», сродни зеркалу Кокто, не отражалась бы необычайно ясно, точно и отчетливо сама молодая Марина Цветаева — совсем не похожая на ту — безысходно несчастную, обреченную, — знакомую нам, — на того «камчатского медведя без льдины», в которого ее превратили годы скитаний, обид и горя. А молодая, торжествующая, победоносная, счастливая, окруженная тройным кольцом влюбленности, поклонения и обожания, принимающая это как должное, — как по праву принадлежащее ей, без ложной скромности, с чудесной, высокой искренностью и силой, она восстанавливает себя, ту — молодую, счастливую и живую.

Благодаря этому «Повесть о Сонечке» не только не неудача, а напротив — блестящая победа — над временем и даже над смертью. В ней живет, продолжает жить молодая Марина Цветаева.

Действие в «Повести о Сонечке» почти отсутствует, что сознает и сама Марина Цветаева, — перечисляя в конце ее действующих лиц и их дальнейшую судьбу, она поясняет: «Я сказала: “действующие лица”. По существу же, действующих лиц в моей повести не было. Была любовь. Она и действовала — лицами».

Прибавлю от себя — была Марина Цветаева и была любовь — сверх-, ультраромантическая, просто чудовищная любовь. «Чудовищная», как мы когда-то говорили на берегах Невы, уверенные, что в слове «чудовищное» всегда, кроме чудовища, присутствует и чудо.

Действительно была «чудо-вишняя любовь». Вернее, чудо любви, объектом которого, сама превратившись в чудо, была Марина Цветаева.

Ведь надо помнить — все это происходит в Москве в 1919 году, а он был, как она называет его, «самый чумной, самый черный, самый смертный из всех годов Москвы». Ей, хотя она ни разу не напоминает об этом, не может не житься «черно, чумно и смертно». Она одна — муж ушел воевать против красных, одна с двумя маленькими дочками Алей и Ириной. И все же она умудряется быть счастливой. Любовь, обожание и поклонение заменяют ей хлеб насущный; о нем, о его отсутствии и прочих трудностях и бедствиях — ни полслова. Она героически попирает «скудные законы бытия», она не снисходит до мучений холодом и голодом, испытываемых не только ею и ее дочками. Она как будто не замечает окружающего, вознесенная в какие-то фантастические высоты, с которых трудно разглядеть то, что творится внизу на земле. И она счастлива.

Нет, я не знала, что она все же когда-то получила в подарок от судьбы это, пусть эфемерное, счастье, что ей, чего она так страстно желала, поклонялись и молились, как божеству.

И это меня утешает.

Ее упрекали, что в своих «Юношеских стихах» она слишком восхищается собой. Но она на это имеет право, так как сама преклонялась и восхищалась другими поэтами. Вспомним ее дивные стихи Блоку и Ахматовой. Кстати, ей казалось, что Ахматова носила ее стихи с собой в сумочке, пока они не рассыпались. Но, к сожалению, этого не было. Ахматова относилась к ней чрезвычайно сдержанно и, кажется, не сумела ее оценить.

Марина Цветаева рассказывала, как она отнесла свои «Юношеские стихи» в Лито и как почти через год ей их вернули с отзывом Брюсова: «Стихи М. Цветаевой, как ненапечатанные своевременно и не отражающие соответствующей современности, бесполезны».

Трудно поверить, что он действительно думал это. По всей вероятности, он просто мстил ей, так как был «очень против нее».

Стихи эти прелестны, полны подлинной юношеской свежести и непосредственности. Излишне прибавлять, что они свидетельствуют о ее огромном таланте и оригинальности.

Первое стихотворение датировано 1913 годом. И сразу — удар в сердце:

Посвящаю эти строки  
Тем, кто мне устроит гроб, —

и вторые — снова о смерти, о могиле:

Я вечности не приемлю!  
Зачем меня погребли?  
Я так не хотела в землю  
С любимой моей земли, —

и еще и еще о смерти. И даже в чудесной просьбе о любви, бывшей ей нужнее воздуха, она не забывает о смерти.

Меня до слез трогает одно из ее ранних стихотворений:

К вам всем (что мне, ни в чем не знавшей меры,  
Чужие и свои?!)  
Я обращаюсь с требованьем веры  
И с просьбой о любви.

И день и ночь, и письменно и устно  
За правду *да и нет*,  
За то, что мне так часто слишком грустно  
И только двадцать лет,

За то, что мне прямая неизбежность —  
Прощение обид,  
За всю мою безудержную нежность  
И слишком гордый вид,

За быстроту стремительных событий,  
За правду, за игру...  
Послушайте! Еще меня любите  
За то, что я умру.

Смерть, смерть, смерть — мысли о ней не покидают ее, но это не мешает ей страстно любить жизнь:

Быть нежной, бешеной и шумной  
— Так жаждать жить! —  
Очаровательной и умной,  
Прелестной быть,

Нежнее всех, кто есть и были,  
Не знать вины.  
О возмущенье, что в могиле  
Мы все равны...

Нельзя без волнения читать эти стихи, они как будто перекликаются с ее трагической гибелью и одновременно дополняют образ молодой, счастливой Марины Цветаевой из «Повести о Сонечке».

\* \* \*

Телефон громко звонит. Нет, только не просыпаться, я так устала. И это, наверно, ошибка. Кто и зачем может нам звонить ночью? Но звонок не унимается, и уже нельзя не проснуться. Я иду в столовую, где все еще звонит телефон, и снимаю трубку.

— Алло?

Задыхающийся, взволнованный голос:

— Это я, Вера Евгеньевна... Наконец, Ирина Владимировна, дорогая, я уже боялась, что вас нет дома, что вы уехали. Мы только что узнали, что умер Юрий Константинович. Люся плачет...

Я ничего не понимаю: никакой Веры Евгеньевны и никакой Люси я не знаю. Какое мне дело, что она плачет. Я говорю:

— Ничего не понимаю. Позвоните завтра утром. Вы меня разбудили.

— Ради Бога, простите. Я звоню из Вашингтона, и я забыла, что у вас другое время в Париже.

Все сразу становится ясным. У меня действительно нет знакомой Веры Евгеньевны. А Люся — не она, а он, Людвиг Леопольдович Домгер, друг детства Терапиано. Вера Евгеньевна — его милая жена. Через Терапиано они стали и моими заокеанскими друзьями. Я бывала у них в Вашингтоне и обоих их не только знаю, но и люблю.

Я рассказываю ей о смерти Юрия Константиновича, подробно отвечаю на все ее вопросы. Она хочет все о нем знать. Наконец мы прощаемся. Я возвращаюсь к себе и ложусь. Но уснуть уже не могу до самого утра, потрясенная, как будто это был звонок не из Вашингтона, а с того света, звонок, все взбаламутивший в моем сознании. То, о чем я только что рассказывала, воскресает передо мной. Воспоминания кружатся с невероятной силой. Я не могу бороться с ними, я теряю себя, тону в них и снова все переживаю, все с самого начала.

Сентябрь 1958 года. 8 часов утра. Холодно. Моросит. Я только что прибыла в Париж, просидев всю ночь в вагоне, и теперь в такси въезжаю в сад Дома отдыха Ганьи.

Я выхожу из такси и быстро вхожу в подъезд. Из окон дома на меня смотрят какие-то старухи с явным любопытством. Значит, они знают, что я должна приехать, и ждут меня.

Да, здесь меня действительно ждут. Сам тогдашний директор Новиков идет со мной в мою комнату на первом этаже. Я вздрагиваю. Комната совсем маленькая, да еще на север. Но тогда не то, что теперь: одиночных комнат в домах почти не было. Претензий высказывать нельзя.

— Завтрак в двенадцать. Если хотите, спуститесь, вам подадут кофе в столовой.

Дверь захлопывается. Я остаюсь одна. Я чувствую себя мышью, попавшей в мышеловку. Снимаю пальто и ложусь на постель. Жизнь моя кончена. Меня прежней нет. Я умерла там, на юге.

Открываю глаза, стараюсь не думать. Но это мне не удается. Прошлое ожило, оно тут, в моей комнате. Нет, это не воспоминания о том, что случилось там когда-то, это живая жизнь. Ее надо прожить, изжить снова, каждый год, каждый день — с самого начала. Это необходимо. Ничего не поделать с тем, что «прошлое пожирает настоящее», по утверждению Бергсона. Раньше я с ним не соглашалась, но теперь убеждаюсь, что это правда.

Мне казалось, когда я въезжала в сад, окружающий Дом Ганьи, что я вижу над воротами черную надпись «Оставь надежду всяк сюда входящий», что это мое последнее траурное новоселье в этой *anti-chambre de la mort*<sup>1</sup>, как французы называют такие дома, что жизнь моя безнадежно кончилась.

Но я ошиблась, как уже не раз ошибалась, совершенно лишенная дара предвидения и предчувствия.

Нет, в тот день я никак не могла предвидеть, что это не конец, что мне еще предстоит «вписать новую главу в книгу жизни и стихов».

Тогда это мне казалось невозможным, и я не поверила бы, что снова смогу улыбаться и превращать будни в праздник. И этим я обязана главным образом Юрию Терапиано. Не знаю, во что превратилась бы моя жизнь, если бы я тогда не встретила с ним. Смогла бы я вынести людскую злобу и злорадство, обрушившиеся

---

<sup>1</sup> прихожая смерти (фр.).

на меня тогда, не раздавили ли бы они меня, несмотря на весь мой оптимизм и мою неизбывную жизнерадостность. Я тогда написала для себя:

Нет в мире дружеской руки,  
Которая бы удержала  
В час огнедышащей тоски  
Меня от гибели паденья.

Но, повторяю, я ошибалась: Юрий Терапиано не только поддержал меня, но и вернул в литературу.

Как это ни странно, но мы с Юрием Константиновичем почти не были знакомы до моего переезда в Ганьи — вернее, наше знакомство было чисто шапочное — как говорили в те далекие довоенные годы.

Конечно, мы встречались на литературных вечерах — их тогда бывало очень много, на воскресных чаепитиях у Мережковских и на собраниях «Зеленой лампы», но — в отличие от Георгия Иванова, не пропускавшего ни одного из них, — завсегдатаем их я не являлась. К тому же я всегда была окружена друзьями, а Терапиано к числу их не принадлежал и не бывал у нас. Но я все же чувствовала симпатию к нему за его благородный и безрассудно смелый поступок: в самый разгар вражды Ходасевича и Георгия Иванова он, которому Ходасевич всячески покровительствовал, после появления «Роз» Георгия Иванова прочитал доклад о них. И впервые «провозгласил» Георгия Иванова первым поэтом эмиграции, с чем, впрочем, уже тогда были согласны Зинаида Гиппиус и Мережковский, но публично никто не называл Георгия Иванова первым поэтом. Этим докладом Терапиано заслужил вечную ненависть Ходасевича, отрекшегося от него.

Хотя Ходасевич вскоре и помирился с Георгием Ивановым и даже сблизился с ним, Терапиано он измены не простил до самой своей смерти и старался всюду и всегда мстить ему. Георгий Иванов был на редкость равнодушен к хвале и хуле и даже не поблагодарил его и не защищал его от несправедливых нападок Ходасевича. Так этот акт чистого благородства принес Терапиано — как это, к сожалению, часто бывает — одно зло. Но он все же вызвал мою симпатию к нему, хотя она тогда ничем не проявилась.

То, какую роль ему предстоит сыграть в моей литературной жизни, я тогда не предчувствовала. А роль эта, без преувеличения, оказалась очень большой.

После смерти Георгия Иванова я решила распро-

ститься с литературой раз и навсегда. Решение мое, как мне тогда казалось, было непоколебимым и вызывалось следующими обстоятельствами: в литературных кругах стали распространяться слухи, что после смерти Георгия Иванова мне придется уйти из литературы, так как писать я не умею, и все романы и стихи за меня писали сначала Гумилев, а потом Георгий Иванов. И я решила действительно замолчать. Об этом решении в первый же день моего переезда в Ганьи я сообщила Терапиано, спросившего меня, что я теперь пишу.

— Ничего не пишу и писать не буду. Кончено! Ни строчки больше не напечатаю! Никогда!

Он тут же стал доказывать невозможность такого категорического, опрометчивого решения и уговаривать меня отказаться от него. Но я и слушать его не хотела.

— Перестаньте, а то я рассержусь! Оставьте меня в покое! Не приставайте!

Однако он, не опасаясь моего гнева, все продолжал уговаривать и «приставал» ко мне со все возрастающей настойчивостью.

А время шло. И я в конце концов уступила ему. Ведь это происходило, когда я еще не справилась со своим горем, и у меня просто не хватило сил сопротивляться.

И я опять послала свои стихи в «Новый журнал», а потом начала печататься в «Русской мысли» и понемногу вошла в литературную жизнь.

Терапиано торжествовал и праздновал победу. Но ему и этого казалось мало. Он стал настаивать, чтобы я писала воспоминания. На эту мысль его толкнула моя, помещенная в «Русской мысли», заметка о неожиданно скончавшемся Николае Оцупе.

— Это необходимо! — убеждал он меня. — Просто грех, если вы не напишете воспоминаний о Петербурге того времени. Кроме вас, никто не сможет это сделать.

И я снова уступила ему — Юрию Терапиано. «На берегах Невы» обязаны своим появлением только ему одному. Без его настойчивости я бы их никогда не написала. И, по всей вероятности, как я тогда решила, после смерти Георгия Иванова, — ничего больше никогда не напечатала бы. Ни строчки!

Вся заслуга — если, конечно, это можно считать заслугой, — принадлежит ему. Как я могу не быть ему благодарна?

Так началась наша дружба. За двадцать лет ежедневного общения мы ни разу не поссорились и даже не повздорили.

Моя жизнь в Ганьи была совсем не похожа на прежнюю. Здесь я стала не только снова писательницей, но и журналисткой. До этого я никогда не написала ни одной статьи. Георгий Иванов считал, что работа журналиста «вредит таланту», идет во вред творчеству, в чем он был не прав, как и в «запрете» посещать редакции: «Тебе там не место».

Вернувшись в литературу, я начала писать статьи, ходить в редакцию «Русской мысли» и принимать участие в редакционной жизни. Это новое занятие увлекало меня.

В те годы литературная жизнь хотя и не цвела так бурно, как до войны, но все же не засохла и не заглохла, как теперь. Поэтических вечеров еще было много, и в большинстве из них участвовал Терапиано.

Ежегодно устраивались и его, и мои вечера — с помощью милой Софочки Прегель, бравшей на себя всю материальную сторону по их устройству и предварительной продаже билетов и проявлявшей и тут свои ключевые такт, доброту и энергию. Мы с Терапиано ездили в Париж не менее трех раз в неделю, часто с Верой Васильевной Савицкой. Бывали в кинематографе, потом обедали. Терапиано постоянно навещал своих друзей Рубисовых, с которыми и я вскоре подружилась.

Иногда Терапиано читал лекции и в «Соленом» кружке, учрежденном Озерецковским. После его смерти кружком стала заниматься, взяв его в свои энергичные руки, Евгения Николаевна Берг. Мы с Юрием Константиновичем были на 25-летию кружка, праздновавшемся уже на квартире новой устроительницы. Помню, на тогдашнем юбилее было много писателей и гостей: Софья Юлиевна Прегель, сын Андреева, Игорь Леонидович, Кирилл Дмитриевич Померанцев и другие. Юбилей прошел очень весело и удачно. Процветает кружок и сегодня. В 1981 году состоялся уже его пятидесятилетний юбилей. И я с огорчением вспоминала отсутствующих...

Но и в Ганьи нам жилось хорошо и даже празднично. Превращению будней в праздники помогали мне и Терапиано, и Вера Васильевна. Я стала устраивать «междусобойчики», как их по-одесски называла Софочка Прегель. В моей крошечной комнате за столом сидело по 18 человек, и никто не жаловался на тесноту. Адамович, читавший тогда лекции в Манчестере,



вернувшись на каникулы в Париж, пришел на один из «междусобойчиков» и только руками развел:

— А я и не знал, мадам, что вы умеете укладывать слона в спичечную коробку!

И с тех пор в свои приезды в Париж он неизменно бывал на наших сборищах.

Вскоре меня перевели в другую, большую комнату, и состав «междусобойчиков» расширился и изменился. Теперь на них стали бывать Е.Ф. и Г.А.Рубисовы, Н.Н.Евсеев, И.И.Махотин, Ренэ Герра, его невеста, русская молодая девушка Екатерина Зербино, и другие.

С Ренэ Герра, молодым литературоведом, я познакомилась в 1967 году, на Пасху, у Бориса Константиновича Зайцева, которого мы с Адамовичем пришли поздравить. Он привез мне фотографию с моего силуэта работы Кругликовой, и я пригласила его в Ганьи. Через несколько дней он действительно приехал и привез мне букет красных роз. Тут он познакомился с Терапиано, и они очаровались друг другом. Так началась их большая дружба. Терапиано наговорил для него целый том воспоминаний об эмигрантских писателях, о «Зеленой лампе», о Мережковском, Зинаиде Гиппиус и «молодых» поэтах. Герра постоянно ездил к нам. За ним часто приезжала его невеста, а когда он женился, Зайцев был его посаженным отцом, а свидетелем — Юрий Константинович. Венчание их происходило в Соборе Александра Невского, пышно и торжественно, а после венчания был прием в Морском собрании.

После женитьбы Герра вместе с женой поселился в Медоне. У него на квартире стали устраиваться «Медонские вечера». На них присутствовали, кроме гостей, в основном писатели и художники. Все доклады и обсуждения записывались на пленку, и сегодня это интереснейший материал к истории эмигрантской литературы. К сожалению, «вечера» продолжались только три года.

Юрий Константинович был их бесценным председателем и душой. Однажды, когда он был болен и я его заменяла, я предложила начать медонскую «Чукоккалу» — альбом, в котором записывали бы свои стихи и рисовали наброски все члены кружка и его гости. Теперь этих альбомов, успешно продолженных с того вечера, насчитывается больше двадцати четырех. И хотя нет уже «Медонских вечеров», художники и поэты, посещающие Герра, продолжают эту традицию.

Весна 1976 года. Теплая ранняя весна. На деревьях уже зеленеют первые трогательные листочки, и на клумбах робко расцветают нарциссы.

Мы, то есть Юрий Константинович, я и Вера Васильевна Савицкая — наш общий с ним большой друг, живущая с нами в одном Доме, — сидим в саду.

С Верой Васильевной он дружит в «общечеловеческом» и в «метафизическом» плане. Она — последовательница учения йогов, бывала в Индии. Он, большой эрудит по всем оккультным вопросам, если не уезжает в Париж, раскладывает замысловатые пасьянсы. Это занятие я не одобряю и не принимаю участия в нем, считая потерей времени.

— А мне, — уверяет он, — пасьянсы совершенно необходимы. Они проветривают мои мозги, дают мне блаженное ничегонедумание. Я, раскладывая их, просто выключаюсь из жизни. Благодаря им работать легче. Непременно попробуйте, — советует он мне.

Но этому мудрому его совету я так и не последовала.

Весной он всегда чувствует особенный прилив сил и жизнерадостности и сейчас, улыбаясь, цитирует строки Георгия Иванова:

И вновь мы за счастье готовы платить  
Какою угодно ценою.

— Нет, вам, Юрий Константинович, платить за счастье не придется, — говорю я. — Вы и так счастливый человек. Ведь счастлив тот, кто вправе — с полным основанием, без всякого эгоцентричного попустительства — быть довольным собой. А вы вправе не только быть довольным, но даже гордиться собой. Остальное уже не так важно. Хотя и даже «остальное» очень недурно. Вы совершенно здоровы, окружены любовью и почтением, живется вам приятно, и вы еще не собираетесь кончать свою ураганную деятельность. А обыкновенно старый писатель даже в своей стране...

Но он удивленно и обиженно прерывает меня:

— Старый? Почему вы называете меня старым?

Я не могу не рассмеяться:

— Да просто потому, что вам восемьдесят четыре года. Вспомните, что Толстого во время его восьмидесятилетнего юбилея называли «Всероссийским старцем».

Он тоже смеется:

— А вы правы! Я — старый, я — старец, Мафусаил. Но вот никак не чувствую этого. Мне все кажется, что у ме-

ня впереди годы и годы. Никакого груза времени не ощущаю, как будто я еще молод.

— Ощущение вечной молодости — еще лишнее доказательство, что вы счастливый человек, — настаиваю я.

Но он протестует:

— Нет, нет и нет. Вы ошибаетесь. Вот вам кажется, что моя литературная карьера удалась. А она вовсе не удалась. И даже напротив, как писал Достоевский. Ведь я прежде всего поэт. Но кто об этом помнит, кто читает мои стихи? Кто?..

Тень огорчения проходит по его улыбающемуся лицу.

Да, правда, поэтическая карьера его не удалась, хотя она и начиналась блестяще. Он занимал одно из видных мест в ряду тогдашних «молодых» поэтов — Довида Кнута, Смоленского, Поплавского, Мамченко, Ладинского, Гингера, Присмановой. Он был первым председателем «Союза молодых поэтов», основанного им самим в 20-е годы. Его второй сборник стихов «Бессонница» распродался целиком, чего ни с одним сборником стихов, кроме «Роз» Георгия Иванова, за рубежом не случалось. Но, став присяжным критиком, он как будто перестал для читателей быть поэтом. Для них, по-видимому, поэзия несовместима с критикой. Или поэт, или критик. А что он критик «Божьей милостью», ни в ком сразу же сомнений не вызывало. Отсутствие интереса к его стихам, непризнание их читателями очень огорчало его. Ведь он сам сознавал, что его стихи становятся с годами все лучше и делаются более глубокими.

Юрий Терапиано — действительно большой поэт. Стихи его — одни из тех, за которыми, как когда-то говорилось в Цехе поэтов, «открываются поля метафизики». Слова в них как бы приобретают новый смысл, созданный мелодией звуков и ритмом, преображающим содержание стихотворения.

Я киваю:

— Да, как поэта вас еще не открыли. Но не сомневайтесь, откроют — и прославят.

И, уже смеясь, цитирую себя:

И зачем вам славу ждать?  
И зачем о ней мечтать?  
Слава всё равно придет,  
Не сейчас, так через год  
Или после смерти.

На следующий вечер я ждала его, чтобы вместе с ним ехать в Париж обедать. Он вошел ко мне и сказал:

— Поезжайте одна. Мне что-то нездоровится. Я при-  
му аспирин и лягу — даже пасьянс раскладывать не бу-  
ду. Извинитесь за меня, объясните и кланяйтесь. Нет,  
беспокоиться нечего. За ночь все пройдет.

Я беспечно уехала, мне и в голову не пришло, что это  
начало конца жизни Терапиано.

— Завтра все пройдет, — сказал он. Но назавтра ему  
стало хуже, и он остался лежать. Домашний доктор не  
мог определить, что с ним, и отправил его в клинику для  
исследований. Там выяснилось, что это последствия  
неудачно сделанной операции — удаления желчного  
пузыря, через двадцать пять лет неожиданно, с таким  
опозданием, проявившиеся.

«Нет, это не представляет жизненной опасности и не  
требует новой операции, требуется только серьезное  
лечение, отдых и уход», — решили доктора. Он вернул-  
ся в Ганьи и стал исполнять предписания врачей —  
серьезно лечиться и отдыхать, не вставая с кровати.  
Уход за ним — необычайно тщательный — взяла на се-  
бя его большой друг Аглая Шиманская. С ней он позна-  
комился вскоре после войны, когда она только начина-  
ла свою поэтическую карьеру. Он помог ей стать на-  
стоящим поэтом, а теперь она, в свою очередь, пришла  
ему на помощь и даже переехала из Парижа в Ганьи.

Но доктора ошиблись. Время шло, а ему становилось  
все хуже. К тому же у него появились ежедневные боли.  
И тут-то начался его мученический, медленный спуск к  
могиле, длившийся целых четыре года.

Я тогда уже покинула Дом в Ганьи, но часто навеща-  
ла Терапиано и со все возрастающим огорчением следи-  
ла за тем, как он слабел. Надежды на его полное выздо-  
ровление уже не оставалось. Все же в таком состоянии  
он мог еще долго жить. Но с Аглаей Шиманской, свои-  
ми заботами о нем буквально вдыхавшей в него жизнь и  
удерживавшей его на земле, случилось несчастье. Она  
упала и сломала ногу. Перелом оказался очень слож-  
ным. Ее оперировали, и она долго находилась в клини-  
ке.

Без нее, хотя уход за ним был вполне хорош и к нему,  
несмотря на собственную болезнь, ежедневно приходи-  
ла и проводила с ним много времени Вера Васильевна,  
— состояние его здоровья резко ухудшилось. Лечивший  
его все эти четыре года врач был на каникулах, а послан-  
ный к нему новый доктор не разобрал, в чем дело, от-  
правил его в госпиталь. Госпитали он ненавидел.

Я видела его в последний день его жизни. Меня привез в госпиталь Ренэ Герра. Сиделка ввела нас в комнату, в которой лежал, скрестив руки на груди, незнакомый, скелетообразный старик.

— Вы ошиблись, — сказала я ей. — Это не Терапиано.

— Нет, это он, — и она указала на дощечку, приделанную к спинке кровати, с надписью: «Georges Tegariano».

Значит, это действительно он! Но, Господи, как мог он так чудовищно измениться? Ведь я была у него в Ганьи всего лишь две недели тому назад и даже удивлялась его обманчиво здоровому виду. Он казался таким, как прежде, и только похудел, что даже как-то молодило его. Сколько страданий он должен был вынести, чтобы стать таким!

Я наклонилась над ним и позвала его по имени. Но он даже глаз не открыл. С другой стороны кровати стоял Герра и с испуганным изумлением вглядывался в него.

Постояв молча над ним, мы так же молча вышли из комнаты, спустились по лестнице и сели в автомобиль. Герра был очень бледен, отчего его борода казалась еще чернее. Должно быть, он чувствовал то же, что и я. Но как это выразить словами? Так мы и промолчали всю дорогу.

В памяти моей снова всплыли строки из «Эдипа в Колоне»:

И пока свой день последний не увидит тот, кто смертен,  
На земле не называйте вы счастливым никого.

И я поняла, как была не права, называя Терапиано счастливым в тот солнечный день в саду четыре года тому назад.

В тот же вечер — телефонный звонок: Юрий Терапиано скончался в семнадцать часов 3 июля 1980 года.

Похороны на кладбище в Ганьи... Цветы, венки... И вот уже гроб опускают в могилу, и брошенная мной горсть земли с глухим стуком ударяется о крышку гроба...

Но мимо, мимо! Я не хочу, не могу думать о его смерти. Для меня он все еще жив. Стоит мне закрыть глаза, и я вижу его таким, каким он был в тот весенний день в саду, таким, каким он был все двадцать лет, прожитых нами под одной кровлей. Воспоминания всех этих лет кружатся вокруг меня, и каждое из них требует, чтобы я

снова пережила его. И я наугад останавливаюсь на одном из них.

1970 год. Зимний, будничный день. Мы — Юрий Константинович и я — после завтрака пьем кофе, как обычно бывает, если мы не уезжаем в Париж. Кофе пьется у Евсеевых, в их большой, хорошо обставленной комнате. Они тоже живут в Доме Ганьи, даже на одном этаже со мной. В былые времена мы втроем с Верой Васильевной отправлялись пить кофе за три километра, в городок Ренси, а теперь ходьба стала их утомлять.

Николай Николаевич Евсеев — казачий поэт, почти из номера в номер печатал свои стихи в «Русской мысли» при Водове. Он — единственный поэт зарубежья, умудрившийся издать сборник своих стихов, да еще «толщиною в целый том», по подписке читателей-почитателей. Он на редкость симпатичен и добродушен, так же, как и его жена, Софья Александровна. Они чрезвычайно гостеприимны. Постоянно устраивают «пиры и приемы», на которых мы неизменно присутствуем. Они большие друзья Ивана Ивановича Махонина, знаменитого и, без преувеличения сказать, гениального изобретателя, волею неисповедимой судьбы заканчивающего свою фантастическую жизнь в Доме Ганьи. Мы с ним в самых лучших отношениях.

Выпив кофе с сухариками, любимыми Юрием Константиновичем (Евсеев специально покупает их для него у Жюльена), и послушав и похвалив его новое стихотворение — стихи он пишет с необычайной легкостью в необычайном количестве, — мы с Терапиано отправляемся «протоптаться», но наша короткая прогулка, как всегда, заканчивается заходом в кафе.

— Я не пью и не курю. Нужен же и мне какой-нибудь порок. Вот я и стал «неумеренным кофепийцем», — объясняет он.

И сейчас мы, как всегда, снова сидим в кафе.

— Когда мы вернемся домой, я прочту вам свою новую статью, — говорит он.

Я изумлена.

— Неужели вы уже написали ее? — Ведь только вчера вечером в поезде, увозившем нас из Парижа, он сообщил мне, что собирается «заняться Шестовым». И вот она уже готова. — До чего вы трудолюбивы!

Он качает головой:

— Ну нет! Я совсем не трудолюбив. Я даже ленив от природы. Но я просто не могу не исполнить, не сделать немедленно то, что надо, то, что решил. Тут же отвечаю на письма, всегда пишу статьи в срок и даже впрок. Ни-

когда ничего не откладываю на завтра. Никаких «Morgen, Morgen, nur nicht heute»<sup>1</sup>. Этим я обязан своей немецкой фрейлейн Марихен. И как я за это благодарен ей!

Он, склонив голову набок, улыбаясь, смотрит вдаль. По изменившемуся выражению глаз мне ясно, что он готов «нырнуть в прошлое», и я, чтобы облегчить ему этот «нырок», задаю «наводящий вопрос»:

— Вы уже в детстве решили стать поэтом?

Он отвечает с явной охотой:

— Нет. В раннем детстве я хотел стать городовым и управлять уличным движением, а когда подрос, решил, что буду ученым и археологом. Я увлекался древней историей. В мои годы в гимназии уже не преподавали греческого, и я брал частные уроки.

Я увлекался классической поэзией. У меня была великолепная память, все, что я читал, отпечатывалось в моей голове. А просодия мне далась очень легко. Я стал переводить гекзаметрами древних поэтов. А на выпускном экзамене со мной даже произошел забавный случай... — Он вдруг остановился. — Но вам, должно быть, скучно слушать меня. Вы ведь терпеть не можете воспоминаний о «золотом детстве» или же о «золотой юности».

— Нет, нет, продолжайте! Мне надоедают только скучные, стереотипные воспоминания. А вас я с удовольствием слушаю, — совершенно искренне убеждаю я его. И он, успокоившись, продолжает:

— Так вот, на выпускном экзамене по латыни в присутствии попечителя учебного округа я вытянул билет о Горации и без запинки прочел наизусть его оду «Похвала старости». Попечитель выслушал меня, одобрительно кивая головой: «А теперь переведите то, что вы так хорошо продекламировали». И я прочел мой собственный перевод этой оды. Попечитель кивал все более одобрительно: «Отличный перевод. Чей это? Я что-то не помню». «Мой», — отвечал я. «Ваш? Не может быть. Неужели?» — воскликнул он. У него даже пенсне соскочило с носа. Учитель поспешил мне на помощь, рассыпаясь в похвалах своему лучшему за всю его педагогическую карьеру ученику. А попечитель, отпуская меня, торжественно заявил: «Вы далеко пойдете, молодой человек. Вы затмите самого Гнедича!»

Это был мой первый литературный успех. Конечно, я очень гордился им. Но карьера Гнедича и вообще по-

---

<sup>1</sup> «Завтра, завтра, только не сегодня» (нем.).

эзия не соблазняли меня. Поэтому я себя почувствовал только после революции. Я все еще хотел тогда стать археологом. Страсть к археологии мне внушил мой любимый дядя-археолог. Я проводил все свои свободные дни с ним в его особняке, похожем на музей, разглядывая его сокровища, слушая его рассказы о раскопках в Азии, в Греции и мечтая о том времени, когда я смогу их производить вместе с ним.

Мне было шестнадцать лет, когда он неожиданно скончался, оставив мне одному все свое очень большое состояние, чтобы я мог, не заботясь ни о чем, продолжать его дело. Но это как снег на голову свалившееся на меня богатство не изменило моей жизни. Я только завел себе собственную лошадь и экипаж и стал ездить, а не ходить в гимназию, да еще ежедневно покупать шоколад и угощать им всех родных и домашних, в том числе и моего тигрового кота, проявлявшего противоестественные вкусы в отношении шоколада. Это был чудо-кот, необычайно умный, даже мудрый, страшно важный, чувствовавший себя хозяином дома. Звали его Васко да Гама. Правда, в начале своего скромного существования на кухне он, как полагается, назывался попросту Васька; но, переселившись в барские хоромы, был переименован мною в Васко да Гама. Я ждал, что он непременно прославится, обогнет каким-то образом мыс Доброй Надежды или совершит что-нибудь вроде того. Удалось ему это или нет, мне неизвестно. Он остался в России, когда я ее покинул, и вестей мне о себе никогда, «к сожалению», не давал...

Терапиано — великий «котофил», по его собственному определению. О котах он может говорить часами. Даже во мне, довольно равнодушной к ним, что отчасти объясняется тем, что у меня никогда ни одного представителя кошачьего мира, кроме «лукоморного кота», живущего в моих стихах, не было, — он сумел возбудить интерес к ним. Он, как многие поэты и писатели, испытывает страсть к котам и согласен с Колетт, утверждавшей, что в Древнем Египте котов не только считали богами, но что тогда они действительно были богами. По его мнению, в них сохранилось еще и сейчас что-то божественное.

— Они — мистические существа и посланы людям в утешение, — говорит он. И произносит целый панегирик котам.

— А вам известно, что Тэффи писала стихи о котах? — спрашиваю я.



— Ну еще бы. У нее был целый кошачий эпос. Я особенно люблю ее прелестную «Белолапку», — и он с увлечением читает мне ее наизусть:

Белолапка-серокошка  
Раз уселась на окошко,  
А по улице идет  
Очень важный тигрокот.  
Увидал он белолапку —  
Скок! И хватъ ее в охапку,  
Под себя ее подмял  
Тигрокот, ну и нахал!

— Просто чудесно. Какое мастерство! Ни одного лишнего слова. Из-за этой «Белолапки» мне иногда даже кажется, что я был слишком строг, несмотря на ее ужасающие безвкусные «Драгоценные камни» и «Слезы души», к ее стиховторству, раз она смогла так написать. Впрочем, у Тэффи была кошка, и это она ее, должно быть, вдохновляла. — И с грустью добавляет: — До чего мне здесь в Ганьи не хватает кота! — Он встает. — Мне надо идти домой, а то я не успею прочесть вам свою статью до обеда.

И мы уходим...

Теперь, оглядываясь назад, я ясно вижу, что тот день, когда мы втроем сидели в саду, был последним светлым днем жизни Терапиано. Но тогда я не услышала тяжкой поступи надвигающегося на него рока, не увидела гибели, уже стоявшей за его плечами. Прошли годы, но никто мне его не заменил и не заменит.

\* \* \*

В Русской консерватории сегодня мой вечер поэзии. Мы с Юрием Константиновичем Терапиано только что приехали из Ганьи и направляемся к вешалке. Народу в вестибюле собралось порядочно. Терапиано помогает мне снять пальто. В это время ко мне подходит элегантный пожилой господин с маленькой бородкой. «Горбов, — представляется он, поклонившись, и протягивает мне конверт, — Абрам Осипович Гукасов просил меня передать Вам 100 франков». Я отказываюсь: «Я послала ему бесплатный пригласительный билет». Но Горбов настаивает: «Абрам Осипович будет обижен, и

100 франков на улице не валяются», — добавляет он с улыбкой. Приходится согласиться. Да и в самом деле деньги на улице не валяются...

Вечер прошел удачно. Было много аплодисментов и много цветов. Цветы я раздала присутствующим и хотела одну розу подарить Горбову, но в этот вечер его больше не видела.

Так состоялось мое первое знакомство с Яковом Николаевичем. Это было в 1963 году. Никакого предчувствия я в тот вечер не имела и не думала, что эта встреча будет для меня иметь какое-то значение. О существовании русско-французского писателя Горбова я знала, конечно, и раньше, а он позже признался мне, что буквально влюбился в мою «Изольту», написанную в 1929 году. С этой книжкой он не расставался, она побывала с ним даже на фронте, куда он отправился в 1940 году, вступив добровольцем во французскую армию. «Изольта» приняла участие и в одном бою, где Яков Николаевич был ранен, и на ней остались пятна крови...

Через неделю в журнале «Возрождение» появилась лестного содержания заметка о моем вечере, подписанная Горбовым. Я не сочла нужным его за нее поблагодарить. В это время я вела переговоры с Гукасовым о своем вступлении в журнал «Возрождение» в роли «эмигранс гриз»<sup>1</sup>. Я хотела, чтобы такой финансово обеспеченный журнал стоял бы на должной высоте в литературном отношении, чего на самом деле не было. Я предлагала расширить журнал, пригласив сотрудничать таких русских писателей, пишущих по-французски, как Труайя и др., а также русских американцев и освободиться от сотрудников, не представляющих настоящей ценности. Для Гукасова я была настоящей находкой, идеальной сотрудницей. Во-первых, я не требовала вознаграждения (а надо сказать, что Гукасов был сказочно скуп), во-вторых, я знала английский язык, что в его глазах почему-то было большим плюсом. Из этого предприятия, однако, ничего не вышло. Засевшая в журнале братия, боясь перемен, приняла меня в штыки. Воевать с ними я не собиралась и решила отойти. Единственный, кто меня там поддерживал и был на моей стороне, — это Яков Николаевич. Я несколько раз с ним завтракала в ресторане, по его любезному приглашению, и мы с ним договорились устроить два вечера русской поэзии, пригласив к участию поэтов из Америки. Конечно, и тут не обошлось без трений. Многие не-

---

<sup>1</sup> «тайный советник» (от фр. *eminence grise*).

приглашенные мне этого простить не могли до конца жизни.

Гукасов умер. «Возрождение» закрылось, так как он не оставил средств для его дальнейшего существования. С Горбовым я долго не встречалась. Напомнил о нем Терапиано. Однажды, вернувшись из Шелль, где он навещал разбитого параличом поэта Мамченко, он мне сказал, что встретил там Горбова и ужаснулся его виду. Он осунулся, оброс седой бородой, одет неряшливо в какой-то старый поношенный костюм и ежедневно ездит из Парижа в Шелль. Целыми днями просиживает со своей потерявшей рассудок женой или водит ее под руку по саду... Я содрогнулась, представив себе эту картину, и мне стало страшно жаль Горбова и захотелось ему чем-нибудь помочь. Я думала, что после закрытия «Возрождения» он остался без средств, и хотела устроить его в нашем доме, в Ганьи. Отсюда ему и ближе будет ездить в Шелль к жене, и будет жить на всем готовом. Я поделилась с Оболенским моими планами, но он махнул рукой. «Горбов — конченный человек, он не только ничего не пишет, но совсем одичал, нигде не бывает, кроме как в Шелль, замкнулся в себе...» Я не хотела с этим согласиться и, увидев Горбова в день юбилея Б.К.Зайцева, куда он все-таки зашел, хотела с ним поговорить. Увидев, что мы с Терапиано к нему приближаемся, он буквально шархнул в сторону, явно избегая встречи, но мы его остановили, и я ему предложила вернуться с нами к Зайцеву, куда мы направлялись. «Нет, нет... мне надо домой», — отказался он. Вид его был действительно жалкий. И он мне напомнил в эту минуту героя одного из его романов — отца Транкиля, человека глубоко несчастного и убежденного, что он приносит несчастье и другим. Еще раз, случайно, я встретила Горбова в поезде. Сажу, задумавшись. Вдруг слышу: «А меня не узнают». Оказывается, рядом со мной сидит Горбов. Действительно, его было все труднее и труднее узнать. Вид у него был болезненный, измученный, был он какой-то странный, рассеянный. Я пригласила его приехать ко мне в Ганьи на обед. Он вдруг согласился и действительно приехал, и на этот раз побритый и прилично одетый. Переехать в наш дом он отказался, сказав, что не бросит своей квартиры, где прожил 35 лет. Я проводила его на вокзал, и на этом все кончилось.

Только через полгода у гостеприимного Р.Ю.Герра на вечере, где собиралась творческая эмигрантская элита, я снова столкнулась с Горбовым. С тех пор наши встречи участились. Он стал ежедневно приезжать в Га-

ныи после визита в Шелль. Мое влияние оказалось благотворным. Он становился теперь неузнаваемым, но в положительном смысле. Снова стал элегантным, следил за своей внешностью. Я теперь, главным образом, старалась вернуть его к литературной деятельности. По моей просьбе Терапиано написал о нем две хорошие статьи. А я перевела на русский язык его роман «Мадам Софи». Мы сближались душевно. Он писал мне ежедневно, кроме ежедневных визитов. И как-то раз он открыл мне свои чувства, просил меня заняться им, не бросать его... В конце концов Горбов мне сделал предложение быть его женой. Мысль эта была, конечно, несуществима, так как жена его была жива и, кроме того, умственно ненормальна, что по существующему закону исключает возможность нового брака, а я, со своей стороны, о браке с Горбовым не помышляла и ответила ему, что если выйду замуж, так только за миллиардера, чтобы пользоваться всеми земными благами... «Тогда мне остается только одно — выброситься из окна», — сказал Горбов, но в душе, как видно, надежды не терял. Я уже говорила, что Горбов писал мне ежедневно. Одна его фраза мне понравилась и запомнилась: «Сегодня утром я вышел на улицу — день какой восхитительный! И прохожие симпатичные, девочка очаровательная и ведет собачку... Что это со мной? Господи, да это счастье!»

Тогда он действительно чувствовал себя счастливым, помолодел лет на двадцать — он сиял! Для него это было редкостью, так как вообще он был склонен к пессимизму, ожидал всегда каких-то катастроф и любимой его фразой было: «Теперь будет еще хуже...» Эта эйфория продолжалась недолго, хотя чувства его ко мне не слабели. Но пессимизм взял верх. Появились первые признаки недомогания. Во время страшной жары он ходил без шляпы. У него на голове появились черные пятна. Я советовала ему сейчас же обратиться к доктору и надеть шляпу. Но он был чрезвычайно упрям, шляпы не надевал и к доктору не пошел. Его доктор Зернов как раз был в отъезде, а он не любил менять докторов и ходить к другим. Кончилось это все тем, что мне вдруг звонят: Горбова отвезли в клинику в Антони... Я немедленно поехала к нему и стала его регулярно посещать. Он был между жизнью и смертью. Ему сделали операцию — поставили сердечный стимулятор. Мало-помалу он стал поправляться, вышел из клиники. Вскоре умерла его жена, которая последнее время его уже не узнавала. Горбов мне сказал: «Я могу перенести эту потерю оттого, что теперь нет препятствия, чтобы вы стали моей

женой. Я буду горд, если вы согласитесь носить мое имя». Мне это показалось совершенно невероятным. Мое имя было связано с именем Георгия Иванова и всем тем, что неотделимо от него: Петербург, поэзия, молодость, все прошлое, далекое, но незабываемое... «Если вы меня оставите, тогда мне конец...» Во мне боролись два чувства. Передо мной был страдающий, опустошенный человек, который тянулся ко мне, как к спасательному кругу. Было бы бесчеловечно его оттолкнуть, и я все еще надеялась, что заставлю его снова писать, спасу его как русского писателя...

Брак состоялся 24 марта 1978 года. Что дала нам совместная жизнь? Писателя Горбова я не смогла вернуть к творческой жизни. Его физическое состояние, как видно, здесь сыграло свою роль. Характеры наши были совершенно противоположны. Яков Николаевич любил тишину, уединение, семейный уют — все то, что навело на меня нестерпимую скуку. Я, наоборот, любила всегда быть окруженной людьми, у нас не переводились гости, или мы бывали приглашены куда-нибудь. Я тащила Горбова с собой. Он стойчески переносил такой образ жизни, хотя это явно его утомляло, но не даром еще в начале нашего сожительства он мне сказал: «Что бы ты ни сделала со мной, я за все тебе скажу спасибо».

Его влюбленное отношение ко мне продолжалось и трогало меня бесконечно. Я дружески заботилась о нем. Он открыл мне всецело свою душу, но один уголок ревниво оберегал, и мне туда доступа не было. Он ни за что не соглашался прочитать мне свои стихи, которые когда-то писал. Надо сказать, что он был страшно самолюбив и не переносил критики, а моя критика, наверное, ему была бы абсолютно неприятна. Его стихи я прочитала только после его смерти. Прожили мы с ним недолго — три года и несколько месяцев. В сентябре 1982 года Я.Н.Горбов скончался. Похоронен на кладбище в Шелль, в одной могиле со своей первой женой...

Что еще нужно сказать о Горбове? Родился он в 1896 году в Пушкино под Москвой. Кроме самого названия места его рождения, как будто ничего не предназначало его к литературе. В Петербурге он закончил Николаевское военное училище. Участвовал в войне 1914 года. Был потом в Добровольческой армии. После отхода из Крыма очутился в конце концов во Франции. Здесь закончил Высшую текстильную школу и один из отделов Католического института. Дипломы, однако, не спасли его от общей эмигрантской участи. Как большинство его сверстников по оружию, он меняет саблю на шо-

ферский руль. За рулем он обдумывает свои будущие произведения. В 1947 году выходит его «Les chemins de l'Enfer»<sup>1</sup>. В 1951-м — «Le second avènement»<sup>2</sup>, в 1955-м — «M-me Sophie»<sup>3</sup>. Сотрудничает в лучших французских журналах, таких, как «Нувель литтерер». Все его романы были восторженно встречены французской критикой, а в 1954 году его роман «Осужденные» («Les condamnés») был награжден премией «четырёх жюри», и ему не хватило только одного голоса, чтобы получить высшую французскую литературную премию Гонкуров. В 1961 году он становится редактором журнала «Возрождение», начинает публиковаться на русском языке. Печатает также ценнейшие заметки и отзывы о новых книгах. На русском языке вышли его романы «Все отношения» и «Асунта». Высокую оценку эти романы получили в статьях Зайцева, Завалишина, Терапиано. По характеру своему Яков Николаевич был человеком очень добрым и отзывчивым, но до болезненности самолюбивым. Он совершенно не искал рекламы и, может быть, из-за этого, будучи известен как литератор во французских литературных кругах, был мало известен русскому читателю, даже в эмиграции. До сих пор были переведены на русский язык только два его романа, хочется надеяться, что со временем будут переведены многие из его романов и русские читатели смогут оценить его творчество.

---

<sup>1</sup> «Дороги ада» (фр.).

<sup>2</sup> «Второе пришествие» (фр.).

<sup>3</sup> «Мадам Софи» (фр.).

## Послесловие

В этой новой книге «На берегах Сены» я не говорю (за исключением Поплавского) о так называемых молодых писателях, то есть о тех поэтах и прозаиках, что начали писать уже за пределами родины. А среди них были и есть интересные, талантливые люди. В первую очередь мне хотелось бы написать о поэтах: В. Смоленском, А. Величковском, А. Штейгере, Д. Кноте... Если Бог даст мне силы осуществить мое желание, я постараюсь оживить перед будущим читателем этих рано ушедших поэтов, обрисовав их индивидуальные личности в житейской обстановке.

## ОДНА ДУША НА ДВОИХ

А вдруг пушистый лисий хвост —  
Он серебристо-черно-бур —  
Преобразится в легкий мост  
И я по нем перебегу  
Домой, в Россию, в Петербург  
И там останусь навсегда.  
И что тогда?..

*И. Одоевцева*

Иногда мне кажется, что наша встреча с Ириной Владимировной Одоевцевой была предопределена, что какая-то высшая неведомая сила повела и вывела меня к ней, что если в чем-то я и сумела быть ей полезной, то просто потому, что иначе и быть не могло — именно мне по неведомой милости кто-то уготовил эту роль, и я благодарю Бога за это.

Объясняя, почему она посвятила «На берегах Невы» мне, Ирина Владимировна говорила: «Эта книга ваша, Анна, потому что она привела вас ко мне».

В те годы каждый, как мог, спасался от реальности. Лично я жила тогда «серебряным веком» — увлечение им передал мне мой дед, преподаватель русского языка и литературы. Он обожал поэзию; был у него даже крохотный сборничек Одоевцевой «Двор чудес».

В короткую хрущевскую оттепель — а пришла она на годы моей юности — попала ко мне и книга Одоевцевой «На берегах Невы». Почитать дали, как это тогда бывало, только на ночь. Читала взахлеб. Как поэму. Я и сейчас уверена: это и есть поэма — проза поэта, стремящегося удержать мгновения утекающей жизни. Ведь не случайно книга о прошлом написана в настоящем времени, и люди, в ней изображенные, словно продолжают жить рядом с тобой — здесь, сейчас. Конечно, Одоевцева — мастер; ее словесная живопись еще и ярка, предметна, знакомые художники не раз говорили мне: она — живописец, слова ее — краски, вот, допустим, Манделъштам — по книге Одоевцевой можно написать его портрет.

С тех пор я не переставала мечтать о Париже: ужасно хотелось повидать Ирину Владимировну, расспросить о многом... Но тогда Париж казался почти нереальным и таким далеким — как космос. Все же вести из него доходили. В начале восьмидесятых дошла в самиздате на бумажных клочках и новая книга Одоевцевой — «На берегах Сены». Значит, Одоевцева жива!

И вот в 1986 году какая-то неведомая сила буквально выталкивает меня из Москвы в Ленинград. Белые ночи, пустынные улицы. Брожу по адресам книги «На берегах Невы». Квартира Ирины Владимировны на Бассейной, 60, последняя квартира Гумилева на Преображенской, 5, переулки и улицы, по которым ходили он — мэтр, учитель, и она — тоненькая студистка с черемухой в руках.

Возвращаюсь в Москву. А через две недели я уже в Париже: как с неба упала турпоездка от Союза журналистов. Думала, в Париже куп-



лю сразу же в киоске «Русскую мысль», узнаю нужные телефоны. Но не тут-то было: «Русская мысль» продается далеко не везде, чтобы позвонить, надо где-то купить телефонную карту. Языка не знаю, спросить ничего не могу. На пальцах объясняю портье, чтобы включил в номере телефон. Не представляю, сколько это может стоить, денег — туристские копейки, но рискую. Звоню и... всюду натыкаюсь, как на стену, на автоответчик. А утром нас должны увезти в Версаль — на праздник газеты «Юманите»...

Утром, перед отправлением автобуса, в отчаянии заскакиваю к себе в комнату, наугад набираю один из номеров, по которым звонила вчера. И — о чудо! — слышу живой голос! Быстро объясняю, что я — туристка из СССР, что номер телефона мне дала в Ленинграде знакомая из Русского музея. Меня приглашают к чаю.

Отрываюсь от группы. Иду по городу, «знакомому до слез». Адрес приводит к сестрам Гржебиным. Это дочери издателя Гржебина, вместе с отцом уехавшие из России в 1921 году. Они балерины, у них тут же, в доме, студия. Я уверена, что у цели: ведь это люди первой эмиграции, а она в моем представлении едина. Говорю, что разыскиваю Ирину Владимировну Одоевцеву, поэтессу, ученицу Гумилева. В ответ слышу: «А она жива? Да что вы? Ей ведь лет-то о-го-го!» Но все же звонят в «Русскую мысль». В редакции никого — суббота. Сестры очень хотят мне помочь и продолжают звонить — в дом престарелых, в больницы, где могут быть русские, обзванивают всех своих знакомых. Никто ничего об Одоевцевой не знает.

И вот одна из сестер уже провожает меня на улицу, другая возвращается на телефонный звонок, и вдруг: «Вернитесь! Одоевцева у себя дома, ее телефон...» Взлетаю по лестнице. Набираю номер, путаясь, спешу объяснить, кто я. И слышу в трубке картавый голос: «Я страшно рада. Приходите. В понедельник. Только я плохо слышу. Если не откроют — ключ у двери под половичком».

В понедельник спешу по указанному адресу. Ключ, действительно, под половичком. Отпираю дверь, вхожу — лежит в постели женщина... В самом воздухе чувствуется непоправимое: старость, болезнь... Присаживаюсь, начинаю растерянно говорить что-то вроде: «Ирина Владимировна, я просто ваша читательница, приехала “во имя ваше”. До этого была в вашем доме, на Бассейной, 60. Прошла всеми вашими тропками. Вот ваша книга, у меня все друзья ее читают. Она у нас не напечатана, но будет, обязательно будет напечатана!»

Что тут с ней стало — трудно передать. Блеснули зазеленевшие глаза. Она приподнялась, всплеснула руками: «Боже мой, вы, наверное, ангел с неба. Дайте я до вас дотронусь. Если мне еще дышать на этой земле, то вы не представляете, что это для меня такое».

И мы плачем и говорим, говорим, как очень близкие люди, никак не можем наговориться... На прощанье Одоевцева роняет, что всегда, всегда хотела вернуться, но все ее попытки оказались тщетны, и единственное, чего она хочет теперь, — умереть на Родине... С уверенностью, которую ни себе, ни кому другому до сих пор не могу объяснить, я обещаю: «Вы вернетесь, я вас увезу. Там ваши книги будут читать». Почему я это пообещала? И что, в сущности, я могла? Ну, почему в больнице обещают умирающему: ничего, все будет в порядке?

В Москве встречаю Егора Яковлева — он только что стал редактором «Московских новостей». Рассказываю об Одоевцевой. Он сразу загорелся: «Напиши».

Так появилась в «Московских новостях» моя заметка «Русская квартира на парижской улице».

А дальше?

Дальше иду в только что созданный Советский фонд культуры. Рассказываю об Одоевцевой всем, кому могу. И потом уже само собой покатилося: «Литературка» напечатала об Одоевцевой материал, написали другие газеты... Ей предложили вернуться... Она ни минуты не колебалась: «Еду, даже если умру в дороге».

И вот встреча Ирины Владимировны в Ленинграде. Телевидение. Корреспонденты газет. Делегация от Союза писателей. Улыбки. Рукопожатия. Цветы.

Но, как известно, у нас больше любят покойников. После пышной встречи, после того, как Ирину Владимировну поселили в гостинице «Европейская» — обещанная квартира на Невском к ее приезду еще не была готова, в доме шел капитальный ремонт — и слынул первоначальный ажиотаж, по городу поползли отвратительные слухи: что это, мол, за церемонии, у нас Ахматова бедствовала, Цветаева повесилась, а тут такой прием... Да с какой стати! Кто она такая!..

Поначалу, когда Одоевцева еще жила в «Европейской», у нее дежурили люди из Красного креста, а потом Красный крест свой пост снял и фактически бросил ее на произвол судьбы. К счастью, не все были так равнодушны. Кое-кто помогал, вместе мы пытались разрешить ставшие вдруг неразрешимыми проблемы.

Но вот, наконец, в ленинградских журналах напечатаны отрывки из книг Одоевцевой, книги ее воспоминаний вставлены в план издательства — правда, Бог знает на какой год (когда бы они вышли по этим планам, Ирины Владимировны уже не было бы в живых). Год я металась из Москвы в Ленинград и обратно, хлопотала о переводе французской пенсии Ирины Владимировны: для Иньюрколлегии год — не срок, тем более что ленинградские чиновники книг Одоевцевой не читали. Этот год был для нее самым трудным. Журнальные гонорары таяли: ведь надо было обеспечивать быт не просто старого и одинокого, но прикованного к постели человека (еще в Париже Одоевцева перенесла шесть неудачных операций — у нее был тяжелый перелом шейки бедра). Невероятными усилиями удалось перетащить ее в писательский дом творчества в Переделкине. Но и там должен был кто-то за ней ухаживать. А главная беда: книги Одоевцевой по-прежнему не изданы.

Так прошли полтора года ее жизни в России. И вот на каком-то юбилее за одним столом напротив оказывается Дмитрий Федорович Мамлеев, ни много ни мало — первый заместитель министра печати. Жалуюсь ему на безысходность ситуации... И через три месяца — в немислимо короткие для того времени сроки — выходит книга «На берегах Невы»! Правда, в мягкой обложке, но тираж — 250 тысяч. С сигнальным экземпляром мчусь к Ирине Владимировне в Переделкино — вместе смеемся и плачем от радости.

Вот когда к Одоевцевой пришло настоящее признание на родине. Книгу раскупили мгновенно. По всем каналам телевидения, по всем программам радио прошли с Ириной Владимировной интервью. Состоялись авторские вечера — в Центральном Доме литераторов, в Центральном Доме актера, в Центральном Доме работников искусств, в Переделкине... Когда открывался занавес и из зала видели подтянутую, непринужденно сидящую в кресле Ирину Владимировну, многим и в голову не приходило, что на сцену ее «вывезли», — так легко, естественно держалась она, так живо и остроумно вела разговор со слушателями.

Наконец-то Ирина Владимировна получила читателя. И какого!

К ней приходили, приезжали — поблагодарить, пожать руку, поклониться. Помню: один молодой человек из Киева — в Ленинграде он был проездом — примчался между поездами только для того, чтобы поцеловать ей руку. «Боже мой, как подумаю, что меня читают сотни тысяч! — говорила она. — Боже мой, какое это счастье для писателя!»

Вскоре вышла и вторая книга Одоевцевой — «На берегах Сены» — тиражом уже в 500 тысяч экземпляров. Ее слава как писателя упорочилась. И, кажется, внутренне она обрела покой.

За три с половиной последних года ее жизни на родине у нее было всякое: успех и неприятности, выпад в прессе, порой жестокие и несправедливые, слава, нелепые старые счеты, сплетни, наконец, наш тяжелый быт. «Неужели нельзя купить хорошей ветчины?» — «У нас же революция, Ирина Владимировна». Одоевцева в ужасе: «Как, опять?»

Она была избалована, аристократически нежна и капризна и одновременно сильна и тверда духом. Ей не надо было молодиться или подлаживаться под молодых — она была абсолютно молода. С невероятным мужеством перенося тяжелый недуг, она умела выводить людей из состояния уныния, вселять в них уверенность, умела сама быть счастливой и всегда говорила: «Возраста не существует». Она была необычайно щедрой и доброжелательной. Взыскательная к людям, умела всегда всем все прощать. Она легко поддавалась влиянию и говорила, что Георгий Иванов называл ее «соглашателем». А в главном, высоко, была абсолютно непоколебима. Помню, как перед выходом книги «На берегах Невы» ее уговаривали выбросить одно место — там, где про деньги, которые она увидела в ящике письменного стола Гумилева. Говорили, что если она этого не сделает, то навсегда останутся «баррикады» между нею и советским читателем, пугали даже «крайней мерой» — книга ее может не выйти здесь. А она отвечала: «Уйду я, и уйдете вы, и может быть, дай нам Господь, не будет больше баррикад. А я, последний свидетель этих событий, не должна ни солгать, ни смолчать. Пусть литературоведы и прокуроры копаются в этом хоть целый век, я пишу только то, что видела собственными глазами и слышала собственными ушами».

Одна из последних глав этой книги рассказывает, как шли по зимнему Петрограду 1922 года Одоевцева и Ахматова, и Одоевцевой казалось, что ей не жалко отдать пять, десять лет своей жизни за то, чтобы продолжать вот так же идти рядом с Ахматовой и слушать, слушать ее, — она умела любить и восхищаться. То же самое испытала позже и я — по отношению к самой Одоевцевой. Волна любви, пришедшая ко мне через ее книги, подхватила меня — и произошло чудо. Уже в Ленинграде Ирина Владимировна мне говорила: «Вы так меня понимаете, как будто у нас с вами одна душа на двоих». И свою вторую книгу, «На берегах Сены», вышедшую здесь, она мне надписала: «Анна. Одна душа на двоих. Половинка Одоевцевой».

Книга, которую читатель держит сейчас в руках, сделана с той любовью и с той добросовестностью, каких Ирина Владимировна, безусловно, заслуживает. Хочется верить, что вместе с читателями этому изданию порадуются и она. Потому что ведь смерти нет — так утверждала Одоевцева. Есть только Жизнь и Любовь.

*А. Колоницкая*

# СОДЕРЖАНИЕ

<i>Евгений Витковский</i>	
«Мне нравятся неправильности речи...»	5

## СТИХОТВОРЕНИЯ

### *Двор чудес*

Памяти Гумилева	31
Баллада о толченом стекле	32
«Всегда всему я здесь была чужою...»	34
«Дрожит и стынет...»	35
Баллада об извозчике	36
«Ты заснул тревожным сном...»	38
«За старой сосной зеленела скамья...»	38
Сон	39
Баллада о Роберте Пентегью	40
«Облаками, как пушистой шалью...»	41
«Январская луна. Огромный снежный сад...»	42
«Он сказал: — Прощайте, дорогая!...»	42
«С луны так сладостно и верно веет...»	44
Саламандра	44
Поэт	49
Три совета	51
«Окрепил паруса. Отрадно кораблю...»	54
«Под окном охрипшая ворона...»	54
Отрывок	55
Баллада о том, почему испортились в Петрограде водопроводы	56
Луна	58

## *В те баснословные года...*

«Нет, я не буду знаменита...»	68
« — Скажите, вам приятно жить?...»	68
«А ко мне в полуночном сне...»	69
«Вьется вихрем вдохновенье...»	69
«Скрипнула зловеще половица...»	70
«В городе не знаешь даже, что зима...»	70
«Любовь. Как изучать ее законы?...»	71
«Летят на юг соловьи...»	72
«Луна. Новогодняя ночь...»	72
«Я знаю...»	73
«Сияет дорога райская...»	73
Баллада о площади Виллет	74

## *Контрапункт*

«Я сегодня с утра весела...»	76
«По набережной ночью мы идем...»	76
«Всё, о чем душа просила...»	77
«На дорожке мертвый лист...»	77
«Ночь глубока. Далеко до зари...»	78
«К луне протягивая руки...»	78
«Сквозь музыку и радость встречи...»	79
«В этот вечер парижский, взволнованно-синий...»	79
« — В этом мире любила ли что-нибудь ты?...»	80
«Всё снится мне приборой...»	80
«Над водой луна уснула...»	80
«В такие вот вечера...»	81
«В легкой лодке на шумной реке...»	81
«Потомись еще немножко...»	82
«Я помню только всего...»	82
«Каждый дом меня как будто знает...»	83
« — Теперь уж скоро мы приедем...»	84
«Как неподвижна в зеркале луна...»	84
«Облокотясь на бархат ложи...»	85
«В руках жасминовый букет...»	85
«Летала, летала ворона...»	86
«Угли краснели в камине...»	86
«Серебряной ночью средь шумного бала...»	87
«Далеко за арктическим кругом...»	88
«За окном сухие ветки...»	88
«Ключья света, обрывки тепла...»	89

«Банальнее банального...»	89
«В белом дыму паровоза...»	90
«Прощанье на вокзале...»	90
«Из счастья не вышло ничего...»	91
«Не дни, не часы, а столетья...»	92
«Весной в лесу таинственном...»	92
«Всё на земле кончается...»	93
«Под лампой электрической...»	94
«В аллеях бродят сумерки...»	95
«Было счастье подвечное...»	96
Баллада о Гумилеве	96

### *Стихи, написанные во время болезни*

«Мне казалось всегда, что писатель...»	100
«Помурлычь, Серокошка-Краля...»	100
« — Вам надо уехать в Египет...»	101
«Вот палач отрубил мне голову...»	102
«Над зеленой высокой осокой скамья...»	104
«Подушка, тетрадь, чернила...»	104
«Фотография, книжная полка...»	104
«Я всё понимаю и слышу...»	105
«В окнах светится крест аптеки...»	106
«Прилетают голуби поштучно...»	106
«...Горит над пустыней звезда...»	107
«Началось. И теперь опять...»	107

### *Десять лет*

«Ни спора с судьбой. Ни укора...»	110
«Я говорю слова простые эти...»	110

### *Одиночество*

«В городском саду...»	112
«Сон без начала и конца...»	112
«Сердце чужое (ваше, читатель?...»	114
«Довольно вздор нести...»	115
«В сквере женщина седая...»	117
«Как ты любила зеркала...»	117
«Над золотую полосой заката...»	118
«Я живу день изо дня...»	119
«Этот дом совсем обыкновенный...»	120
«Я поздравленья к Рождеству...»	120

## Златая цепь

«Парапсихическое ощущение...»	122
«Королевская мантия...»	122
«Тень пространства, времени тень...»	123
«Снег — серебряный порошок...»	124
Антитеза	125
«Я благодарна небу и судьбе...»	129
«Ненароком...»	129
«Он мне полушутя писал из Ниццы...»	130
«А если нет, а если да?...»	131
«Лунный блик и горсточка пыли...»	132
«Я — поэт и вдова поэта...»	132
«Я с юности всегда умела...»	133
«Как этот летний вечер тих...»	134
«В рассветный час метаморфоз...»	135
«Я в руку камушек беру...»	136
«“Вращается Фортуны колесо”...»	137
«Луна качается на облаках...»	137
«Нежданно, хоть, пожалуй, зря...»	138
«Но была ли на самом деле...»	138
«Дни лучезарней и короче...»	139
«В чужой стране...»	140
«Ожиданье Страшного суда?...»	143
«Да, бесспорно, жизни начало...»	143
«Сияли фонари. Текла спокойно Сена...»	144
«Неволя ты, невольница...»	145
«Волшебная, воздушная весна...»	146
«“Островом стать может каждый!”...»	147
«За прозрачной, сквозной занавеской окна...»	148
«Еще один окончен день...»	150
«У зеркального пруда...»	151
«Лепестками вечности...»	152
«Уже не в Йере, а в Ганьи...»	152

## Портрет в рифмованной раме

«Я не только в стихах живу...»	154
«И вот слова...»	154
«Я всегда была такой...»	155
«Нет, я не нахожу свои стихи...»	156
Стихи, сочиненные во сне	157
«Открытка — море, и скала...»	157

«В этом мире, враждебном поэтам...»	158
«Об Офелии, о фее...»	159
«Птица-самолет. Светлая истома...»	159
«Дождь шумит по грифельной крыше...»	160
«Средь меланхолических ветвей...»	161
«На заре вернувшись с бала...»	161
«Дни считать напрасный труд...»	163
«Сорок градусов в тени...»	163
«Гладью вышитый платок...»	164
« — За верность. За безумье тост...»	167
«Это молоточек-память...»	168
«Не во мне, а там, вовне...»	169
Ночь в вагоне	170
«Ты говорил: — На вечную разлуку...»	172
«О жизни, что прошла давно...»	173
«Отравлен воздух, горек хлеб...»	175
«Ты видишь, как я весело живу...»	176
«Средиземноморский ад...»	177
«Золотой Люксембургский сад...»	180
«“Человек человеку бревно”...»	181
«Скользит слеза из-под усталых век...»	182
«Верной дружбе глубокий поклон...»	183
Разностопные ямбы	185
«Я не могу простить себе...»	187
«Последнее траурное новоселье...»	188
«Всё было, было, бы...»	189
«Неправда, неправда, что прошлое мило...»	190
«Банальнее банального...»	191
Ночь без сна	192
<b>НА БЕРЕГАХ НЕВЫ</b>	<b>193</b>
<b>НА БЕРЕГАХ СЕНЫ</b>	<b>567</b>
<i>А. Колоницкая</i>	
Одна душа на двоих	951



**Одоевцева И.**

О-44 Избранное: Стихотворения. На берегах Невы. На берегах Сены / Составл., подгот. текста, вступ. ст. Е.В.Витковского. Послесл. А.П.Колоницкой. — М.: Согласие, 1998. — 960 с., ил.

ISBN 5-86884-061-5

Всемирно известные мемуары Ирины Одоевцевой «На берегах Невы» и «На берегах Сены» впервые приходят к российскому читателю без купюр, сделанных цензурой в советское время и заметно искажавших авторский текст.

В издании также впервые представлены все семь поэтических сборников Ирины Одоевцевой, одного из крупнейших поэтов русского зарубежья 1950—1970-х годов. Для многих ее поздние стихи станут настоящим откровением.

УДК 882

ББК 84(2Рос=Рус)6

Книги издательства «Согласие» можно приобрести по адресу:

113054, Москва, ул.Бахрушина, 28.

Телефон: (095) 959-20-60, факс: 959-20-39.

Распространение в Европе: Buchgalerie «Soglasie»,

Buttermarkt, 19, 50667 Köln, Deutschland.

Telefon: (049) 221-257-82-40, Fax: 221-257-82-37.

**Ирина Одоевцева**

**ИЗБРАННОЕ**

Компьютерный набор *М.А.Баймухаметова*

Компьютерная верстка *Г.С.Азимов*

Корректоры *Г.В.Заславская, Л.М.Кочетова*

ЛР №040555 от 16 декабря 1992 г. Сдано в набор 11.03.97. Подписано в печать 16.10.97. Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 50,4. Уч.-изд. л. 52,2. Заказ №5493.

АО «Согласие». 113054, Москва, ул. Бахрушина, 28.

АО Типография «Новости». 107005, Москва, ул. Фр.Энгельса, 46.

